Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЖАН-ЖАК РУССО

# ЮЛИЯ,
# или
# НОВАЯ ЭЛОИЗА

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968

Вступительная статья
И. Верцмана

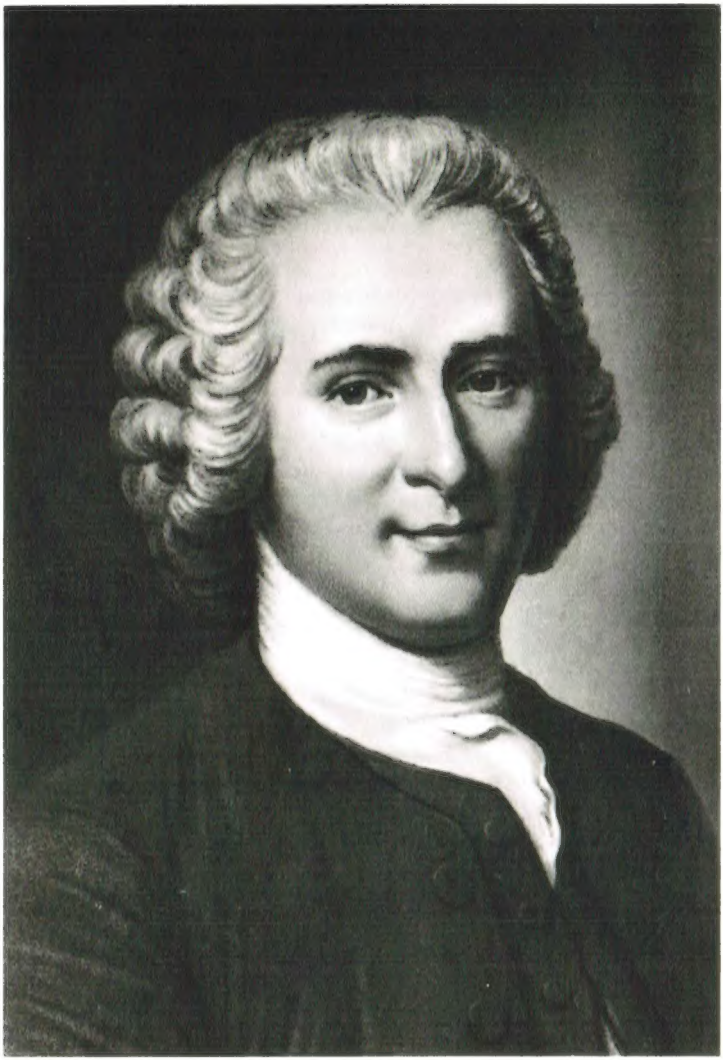
И (Фр)
Р 89

Перевод
Н. Немчиновой и А. Худадовой

под редакцией
В. Дынник и Л. Пинского

Иллюстрации
Ю б е р а  Г р а в е л о

7-3-4
Подп. изд.



# ФИЛОСОФСКО-ЛИРИЧЕСКИЙ РОМАН XVIII ВЕКА

К «Новой Элоизе» автором написаны два предисловия — одно короткое, в полторы страницы, другое длинное, в виде диалога между автором и предполагаемым критиком. Короткое предисловие ошеломляет нас заявлением: «Большим городам надобны зрелища, развращенным народам — романы... Отчего не живу я в том веке, когда мне надлежало бы предать их огню!»

Странная декларация! Зачем же было сочинять еще один роман, усугубив этим моральное растление народов? Парадокс в устах всякого, но не Жан-Жака Руссо. С его сложным, во многом противоречивым мировоззрением следует ознакомиться хотя бы в общих чертах.

Свою негладкую, нелегкую, временами мучительную жизнь он описал пером гениального художника в автобиографической книге «Исповедь», проливающей свет и на многие загадочные места лежащего перед читателем произведения. Из этой книги мы узнаем: родившись в 1712 году в семье часового мастера, Руссо свое детство и юность провел в Женеве; в гравериой мастерской он впервые осознал, как плохо быть «жалким подмастерьем из квартала бедняков Сен-Жерве». Мастерскую покинул, испытал горькое чувство унижения, когда голод вынудил его надеть ливрею лакея. В доме приютившей его женщины — г-жи де Варанс он получил возможность читать хорошие книги. Здесь он пробыл более десяти лет, затем направился в 1741 году в Париж и вскоре обратил на себя внимание деятелей Просвещения, среди которых были известные всей Европе Вольтер, Монтескье, Гольбах, а также Дидро и д'Аламбер — издатели знаменитой «Энциклопедии», куда и Руссо вскоре начал писать статьи о музыке. Однако с просветителями он разошелся во взглядах на общество в целом и духовную жизнь отдельного человека.

Трактат Руссо «О влиянии искусств и наук на нравы» (1750), как и его трактат «О происхождении неравенства среди людей» (1754) адресованы были не только двум господствующим сословиям, но и образованной верхушке третьего, а смысл этого обращения приблизительно таков: если вы, господа, верите в универсальную, спасительную для всего рода человеческого мощь прогресса, то почему торговля, промышленность, науки, искусства служат утопающим в роскоши тунеядцам, а труженики — подавляющее большинство каждой нации — лишены необходимых средств к существованию? Рассказывая, как возникло и углубилось неравенство между людьми, а с ним и гнет, деспотизм, рабство, Руссо идеализирует элементарнейшие формы жизни и труда, вплоть до эры дикости, не ведавшей никаких соблазнов цивилизации. Просветители, которые тоже придумывали для своих философских новелл неправдоподобно здравомыслящих дикарей, не соглашались, однако, с Руссо, когда он из стремления возвеличить беднейшие слои третьего сословия прославлял невежество. Но суждения-крайности иногда будоражат ум сильнее, чем строго взвешенные; парадоксальные выводы Руссо, казалось бы начисто зачеркнувшего ценности культуры, волновали общественную мысль того времени, да и более позднего тоже.

В сфере политики мысль Руссо особенно решительна. Сравнивая Швейцарию с Францией, он чаще восхвалял, чем порицал строй и нравы первой,— буржуазная республика для него всегда лучше феодальной монархии, хотя и в родном городе он видит неравенство состояний и прав, антагонизм богатых и бедных. Наблюдая в 1737 году гражданскую войну между правительством и народом, он «был охвачен первым порывом патриотизма, какой возбудила [в нем] восставшая с оружием в руках Женева» («Исповедь», кн. 5). Уже в юности фантазия его рисовала себе благородное зрелище свободы, «картину равенства, единения, кротких нравов», однако «заблужденьем» считает он, что «видел все это на своей родине». Республиканец Руссо — вполне сложившийся демократ, отвергающий возможность уговорами, доводами логики побудить власть имущих — будь то монарх и дворянство, или Совет двухсот и Малый совет буржуазного патрициата — отказаться хотя бы от толики своих привилегий. По отношению к власть имущим Руссо бескомпромиссен, тогда как просветители заплатили дань иллюзии «просвещенного абсолютизма». В трактате «Об общественном договоре» (1761) Руссо исходит из некоей «общей воли» гражданского общества, из принципа гармонии интересов, о классовой борьбе только догадываясь; республику будущего он представляет себе как царство равенства и умеренных, согласованных друг с другом потребностей. Хотя практически это оказалось неосуществимым, трактат Руссо, сформулировавшего идею народного суверенитета и право народа свергать тиранов, является одной из вершин политиче-

ской мысли буржуазной демократии, во всяком случае — самым революционным сочинением того времени.

Но это не весь Руссо. Когда во Франции и Швейцарии против его идей, которые были объявлены угрожающими основам порядка, выступили парламенты, епископы, кальвинистская консистория, а бывшие соратники-энциклопедисты — от них Руссо, впрочем, сам отрекся — приписывали ему несносный характер чудака-мизантропа, он задумался над «страшной призрачностью человеческих отношений», от которых он все чаще бежит к «творцу милой природы». Не той природы, что служит полем действия дикаря или Робинзона, а той, что окружает нас, как только мы покидаем шумные улицы города; не к тому малоприветливому богу, которого изображают пастыри всех церквей, а к Другу-утешителю, которого только отчуждают от нас посредники в лице священнослужителей. Собственная душевная жизнь изумляет Жан-Жака, с одной стороны, таинственной мощью, с другой стороны — беззащитностью перед грубой, на каждом шагу оскорбляющей действительностью. Поборник душевной простоты, нравственного целомудрия, Руссо всегда человеколюбив, общителен, а в «Исповеди» и в «Прогулках одинокого мечтателя» производит впечатление то впадающего в меланхолию, то слишком гордого собой индивидуалиста. На деле же, говоря о своих успехах, о достигнутой славе и откровенно выставляя напоказ свои прегрешения и ошибки, Руссо дает нам знать, что искупаются они не столько его неповторимой самобытностью, которая выше унаследованной знатности, сколько великой социальной и моральной правдой, которую он выстрадал и которую несет теперь людям, всему человечеству.

Предлагая нам своего рода антиэстетику, враждебную всем без исключения искусствам, Руссо по праву клеймит собственное художественное произведение. Недоумение вызывает, зачем следовало над ним трудиться; всплывает и другой вопрос, гораздо более широкий: вклад Руссо в дело «моральной порчи» человечества отнюдь не сводится к одной лишь «Новой Элоизе». Что ж, Руссо не безоружен против такого упрека и отводит его со стороны предполагаемого критика с условным именем N во втором предисловии к своему роману: «Перечитайте «Письмо о зрелищах» и перечитайте этот сборник,— говорит критик.— Будьте последовательны или откажитесь от своих взглядов...» Имеется в виду тот факт, что, несмотря на «Письмо к д'Аламберу» (1758), где театр объявлен вреднейшим, самым безнравственным учреждением, Руссо сочинял веселые пьесы, либретто и музыку к операм,— его музыкальная комедия «Деревенский колдун» (1752) ставилась при дворе, и восхищался ею сам король. Можно было бы напомнить мосье N еще другие «грехи» Руссо: монодраму «Пигмалион» (1770), поэмы, стихи, романсы, аллегорическую сказку.

На словах — одно, на деле другое? Нет, и Руссо предлагает нам снова продумать «Письмо о зрелищах», а также предисловие к комедии «Нарцисс» — там он разъяснил свою точку зрения. Мы ее знаем и по трактатам Руссо, и по некоторым его письмам к друзьям: в далекую эру дикости, когда люди обитали в лесах, не было ни искусств, ни законов, ни управлений, и жилось тогда привольно, просто, хорошо. Теперь, в условиях цивилизации, они нужны народам, как старикам — костыли, обратно колесо истории не повернуть. Так пусть все они служат добродетели, такое вполне возможно при сознании гражданской ответственности. Вот и «Новую Элоизу» — вернемся к первому предисловию — невинным девушкам предлагать рискованно, а женщин, «сохранивших хотя бы стремление к порядочности», роман этот наставит на путь истины.

Полное название книги: «Юлия, или Новая Элоиза» с подзаголовком: «Письма двух любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп». И еще кое-что сказано на титульном листе: «Собраны и изданы Ж.-Ж. Руссо».

Очевидно, любовные отношения Юлии и Сен-Пре повторяют историю средневекового богослова Абеляра и его ученицы Элоизы — их переписка в XVIII веке была широко известна. Но имя Абеляра Руссо не внес в название своего романа — вероятно потому, что тот отличался себялюбием и когда лишился, изувеченный, возможности быть мужем Элоизы, заточил ее — против ее воли — в монастырь, тогда как Сен-Пре, потеряв надежду обладать Юлией, склоняется перед всеми ее решениями. Жалея Элоизу, Сен-Пре утверждает, что «ее сердце было создано для любви, Абеляру же... столь же чужда была любовь, как и добродетель» (п. XXIV, ч. 1). Надо полагать, таково мнение и Руссо. В примечании к VII письму 6-й части романа Руссо говорит по адресу Сен-Пре: «Наш влюбленный философ, подражавший поведению Абеляра, вздумал позаимствовать также и его учение. Их взгляды на молитву во многом схожи» (речь идет о том, вправе ли человек просить бога совершить для него чудо). Сходство лишь в этом, и Руссо своего Сен-Пре не величает «Новый Абеляр», как в 1778 году назовет своего героя Ретиф де ля Бретон. За исключением цитированных двух-трех писем аналогия Абеляр — Элоиза, Сен-Пре — Юлия автором больше не приводится: уж очень мало общего имеет трагическая ситуация, в которой очутились действительно существовавшие любовники XII столетия, с печальной драмой вымышленных любовников, происходившей будто бы в 30-х годах XVIII века.

Быть может, роман Руссо — вариант темы ричардсоновской «Клариссы Гарлоу», изданной в 1748 году? Автор «Новой Элоизы» немалым обязан английскому писателю — его психологическим открытиям в области эпистолярного жанра, и особенно тому, что он внес в художествен-

ную прозу высокий этический пафос. Однако у Ричардсона па уровень трагедии поднято совращение нравственной девушки из буржуазного класса циником-аристократом, играющим своими жертвами; у Руссо скромный учитель-разночинец, из среды бедных мещан, влюбляется в дочь барона, которую превозносит до небес, и трагедия в том, что неразумный строй общества лишает счастья обоих. Там преимущественно моральная проблема, здесь на первом плане — социальная, ибо Ричардсону достаточно исправить свое общество, Руссо хотел бы в корне изменить свое.

Еще один важный момент: за письмами ричардсоновских романов стоит писатель, не знающий, кажется, что такое улыбка, шутка; автор серьезный и даже сверхсерьезный; при этом вы с первых строк уже понимаете, к судьбам каких своих персонажей он неравнодушен. Когда же Руссо демонстрирует свою «непричастность» к наивному содержанию и чересчур взволнованному языку якобы найденных им писем, наиграно деловым тоном сообщая нам, что такое-то вошло в текст книги «до получения предыдущего», или совсем «пропало», или является «ненужным повторением», он старается подчеркнуть, что чрезмерная полнота чувств кларанских любовников ему смешна: они «...говорят вздор и несут чепуху,— бедняги совсем потеряли голову». Подстрочные замечания «от издателя» фиксируют милую ложь, самообман влюбленных, ловят их на противоречиях. Очевидно, у автора нет ничего общего с героями романа — отсюда его трезвый юмор. Но как бы тут не попасть впросак. Несмотря на легко обнаруживаемую горячую симпатию Ричардсона к определенным его героям, как художник слова он более независим, а потому и пластичен, эпически объективен. Между тем Руссо в «Исповеди» признается, что свою «Новую Элоизу» творил «в самом пламенном экстазе», и неожиданно мы узнаем, что этот роман — сублимация его интимных отношений с г-жой д'Удето: «...среди многих любовных восторгов я сочинил для последних частей «Юлии» несколько писем, насыщенных тем упоением, в котором их написал» (кн. 3). Камуфляж с опубликованием «найденных» писем не может скрыть от читателя явные перевоплощения Руссо в своих героев — его близость к ним не как эпика, а как лирика, ибо герои эти в романе становятся «мембранами» его умонастроений и «рупорами» его идей.

Касаясь заимствований и влияния Ричардсона на Руссо, нельзя забывать и о других литературных источниках, его вдохновивших. В одном новейшем исследовании доказывается, что все содержание «Новой Элоизы» навеяно не только природой, бытом, нравами Швейцарии XVIII столетия, но и духовной ее атмосферой[1]. Вряд ли; в основном идейная почва романа — Франция с ее жизнью и культурой, не говоря уже о ее

---

[1] F. Jost, J. J. Rousseau suisse, Fribourg, 1961.

политической мысли, философии, эстетике: без Расина и Мари Лафайет, Дидро и Прево не было бы «Новой Элоизы».

С именем Руссо принято связывать «культ природы». Как известно, природа для Руссо и лоно всех вещей, вселенская родительница человека, давшая ему могучий инстинкт свободы, цельность характера, нравственное чувство, доброту, великодушие — все то, что исчезает или фальсифицируется в цивилизованном обществе; и необъятный простор земли, горы, реки, моря, любуясь которыми он забывает о своем «я» с его преходящими радостями, печалями, обидами. Всегда ли Руссо такой наедине с мировым целым? Порывы к самоутверждению охватывают его не только среди людей; любуясь природой, он часто вспоминает о своей способности изменять, преображать все видимое: «Трудно самой природе превзойти богатство моего воображения». Руссо имеет в виду и «прекрасные химеры», и то, что его «упрямой голове» мало «украшать действительность», его голова «желает творить». Творить! Другими словами, создавать что-то непохожее на конкретные явления и формы жизни. «Если бы меня,— провозглашает Руссо,— заключили в Бастилию, я создал бы там картину свободы».

Да, он умеет сделать мечту жизненной. Ведь «картина свободы» — реальное стремление, вызванное реальной несвободой, и в определенных условиях оно становится призывом к борьбе, программой действия. В высказываниях Руссо с небывалой до него энергией подчеркнуты *субъективный* момент умственной деятельности, *активность* ее, допускающая самые далекие полеты мысли и фантазии. Всего этого просветители еще не знали, и недаром в литературе их реализм, чуждый всему, что за пределами прямого наблюдения и типического правдоподобия, «созерцателен», если разрешить себе аналогию с характером их материализма в философии.

Уже начиная с XIX века очевиден стал рационализм просветительства, которое, не сумев понять человека во всех сторонах его жизни и деятельности, считалось только с уровнем его сознания. Так как Руссо в своих философских трактатах придает решающее значение неосознанным желаниям, потребностям, а в художественных произведениях — чувствам, страстям, подчеркивая главным образом *эмоциональную* активность человека, то «Новую Элоизу» относят к особому направлению в европейской литературе — так называемому «сентиментализму». Термин однозвучен слову сентиментальность, но второе встречается и в просветительской литературе, которая вводит в сферу изображения домашнее, жанровое, трогательное, не переставая быть рационалистичной. «Новая Элоиза» представляет совсем другой комплекс идей и образов, нечто более сложное и высокое. Внешне формальные признаки этого романа таковы: героям трудно, почти невозможно отдать себе отчет в происходящем, в их полумыслях, полуфразах и многословных

излияниях меньше всего логики; неясные очертания фигур, событий, общего хода действия,— следовательно, и картины в целом, зато красок, светотеней — переизбыток. В «Новой Элоизе», верно заметил Дидро, колорит имеет перевес над рисунком. Описывая в 4-й книге своей «Исповеди» швейцарский городок Веве, Руссо обронил мысль: «Не создала ли природа эту живописную местность специально для какой-нибудь Юлии, какой-нибудь Клары, какого-нибудь Сен-Пре...?»

Классика признает в картине прежде всего линию, четкий контур, ясный рассудок. Благодаря Руссо в арсенале могучих средств художественной прозы закрепилось живописное начало, а с ним и лиризм и музыкальность — предвестья романтической эстетики.

Перед нами Юлия. Ее мягкость, деликатность, чуткость — черты belle âme — «прекрасной души», по выражению, принятому в XVIII веке. В следующем столетии отметят ахиллесову пяту «прекраснодушия» — страх окунуться в житейские конфликты, запятнать белое одеяние невинности; Руссо пока что находит в этом психологическом феномене «нечто безгранично сладостное и трогательное». Итак, ничего не желала бы Юлия, кроме тихого, спокойного существования. Увы, ей уготована иная судьба. Как Юлия ни рассудительна, сколько бы ни было в ней благоразумия, она не может «укротить свои страсти», до глубины существа своего потрясена она любовью, какая возможна лишь раз в жизни. Эти драматичные события можно передать следующим образом: невероятной силы чувство, над которым властна только природа, столкнулось с бесчеловечным законом; закон этот установлен извращенным порядком общества: родовитой девушке нельзя стать женой разночинца. Если родители против такого брака, он невозможен, и самовольно заключить его — поступок дерзкий, нарушение всех принятых правил. То, что вскоре произошло, в свете этих правил еще более недопустимо: однажды, когда отсутствовала ее верная подруга Клара, Юлия стала любовницей Сен-Пре... Крушение устоев морали, скажет приверженец семейных традиций дворянского сословия. Ничего подобного. В романе Руссо это выглядит как победа нравственности, одержанная самой природой, а раз ею, то ничего не может быть чище и выше.

Книга Руссо — манифест свободы чувства; подлинный манифест, в котором записаны золотые слова: «Пусть же люди занимают положение по достоинству, а союз сердец пусть будет по выбору,— вот каков он, истинный общественный порядок. Те же, кто устанавливает его по происхождению или по богатству, подлинные нарушители порядка, их-то и нужно осуждать или же наказывать» (п. II, ч. 2). И вот взбунтовавшаяся против родительской деспотии Юлия. Мятеж, поднятый девушкой, воспитанной в духе строгого послушания, когда она впервые осмели-

лась пойти наперекор отцу, сказав ему, что он волен распоряжаться ее жизнью, только не сердцем, и что никакие силы не изменят ее решение. Какой твердый характер открылся вдруг в нежной, хрупкой Юлии — никому не совладать с нею!

Если Юлия уступила, то не испугавшись гнева деспотичного отца, а из жалости к нему. Упрямо защищая свою дворянскую «честь», барон д'Этанж добился своего, отдав дочь пятидесятилетнему Вольмару, спасшему его однажды от смерти. Юлия покорилась. Затем... Затем начала убеждать себя, что, расставшись с Сен-Пре, она навсегда закрыла себе путь греха и порока — ведь чувственная любовь мимолетна, и, если всегда искать ее, не ограничиться одной любовной связью, а брак с пожилым супругом вернул ее к истинной добродетели, так как фундамент семьи — долг, а не влечение. Стало быть, удел женского существования — дом, дети; для души — вопросы благочестия, друзья, чтение нравственных книг. Все это внушила себе сама Юлия, поэтому не приходится сомневаться, что ее истины кажутся ей непреложными. Между тем... Когда несколько лет спустя вернувшийся из дальних путешествий Сен-Пре и замужняя Юлия во время прогулки в Мейери видят ее имя, высеченное его рукой на скалах и деревьях, не только он не в силах погасить в себе пламя проснувшейся любви,— ей это тоже очень, очень нелегко.

И все же Юлия устояла. Когда над сословным ложноморальным предрассудком — до замужества Юлии — одержала верх могучая страсть, с нею была сама природа. Теперь эта страсть толкает ее к безнравственному. Снова мораль, но теперь подлинная: измены, адюльтеры — порождение цивилизации, супружеская верность — в согласии с природой. Но Юлия и на этом не ставит точку, ее требования к себе и каждому человеку гораздо более всеобъемлющи и суровы. Вот некоторые из ее поучительных сентенций: «Безмятежность обретаешь только в мудрости», а мудрость в том, что «нельзя потакать чувственным страстям». Еще неожиданней, что автор романа, однажды шутливо ласково обозвавший Юлию богомолкой, вторит ей подстрочным примечанием: «...не лучше ль научить нас их преодолевать». Их, то есть страсти... Круто же повернулись взгляды Руссо на человеческую натуру, если такой ценой добывает он «безмятежность духа», он, сказавший в книге «Эмиль»: «Я знаю, что человек без страстей — химера».

К чему приведет этот поворот, увидим дальше. Пока на время оставим Юлию и начнем знакомиться с ее, увы, неудачливым возлюбленным. В Сен-Пре горячности, пыла куда больше, чем дисциплины рассудка... Это он целовал ступени лестницы, которой касались ноги Юлии. Это он мчался к заболевшей оспой Юлии, чтобы заразиться у ее постели и умереть одновременно с ней. Это он, не умеющий держать в руке шпагу, чуть не вызвал на дуэль знакомого Юлии, будто бы оскорбившего ее, впоследствии своего же друга. Но подобными эксцессами чувства мы во-

все не исчерпали характеристику Сен-Пре. Поглощенный любовью, он далеко не индифферентен к большому социальному миру. Предтеча романтического скитальца — l'âme vagabonde, Сен-Пре уезжает в кругосветное путешествие,— быть может, в другом полушарии найдет он «душевный покой, которого не обрел в этом» (письмо XXVI к подруге Юлии — Кларе, ч. 3). Побывав в Южной Америке, Мексике, Перу, Бразилии, Африке, Сен-Пре увидел там несчастных обитателей, жалкие остатки некогда могучих народов, чьи земли опустошают, грабят «цивилизованные», алчные к золоту и драгоценностям европейцы. Вот о чем Сен-Пре сообщает той же Кларе (п. III, ч. 4), и главное в этом рассказе — не столько впечатления от экзотических стран, сколько моральное возмущение. А ведь цель путешествий Сен-Пре — эгоистичная: забыть свое сердечное горе, не больше.

Это очень характерно для Сен-Пре. Когда задолго до этого он ездил в Париж, он и там искал не развлечений. Циклу парижских писем следует уделить больше внимания. Пока Сен-Пре в Кларане, он одержим только Юлией, теперь он говорит о кларанском периоде: «Сильные страсти превращают человека в существо дитя» (п. XVI, ч. 2). В столице Франции нашего Сен-Пре как будто подменили: если Юлия снабдила его деньгами, то Руссо — сложившимся опытом зрелого мыслителя. И такого «интеллигента», к тому же литератора, судя по намеку Сен-Пре в письме XXXIV к Юлии (ч. 1 романа), направил в «столицу самого знаменитого в мире народа» тот самый Руссо, который чаще всего восхваляет «людей простых, словно только что вышедших из рук природы». Свою образованность, эрудицию Сен-Пре выявляет, когда касается художественной литературы и сценического искусства. Часто цитирует Сен-Пре поэтов итальянского Возрождения — Петрарку, Тассо. Понимает он всю тонкость мысли и чувства, воплощенную в драмах Расина. Однако от Сен-Пре не скрыты и отрицательные стороны достижений классицизма. Форма, стиль! Никогда еще не приносилось в угоду им такое количество художественных жертв: в академической опере гибнет мелодия — голос сердца заглушается ученым грохотом оркестра, в драматических спектаклях величаво-неподвижная поза и строго логичная речь вытесняют действие, индивидуальное начало, первичное, непосредственное чувство — на том основании, что ими обусловлена хаотичность выражения. И вот на сцене древние греки и римляне, одетые по моде придворных; мифологические или исторические фигуры, столь никого не волнующие, что актер для публики — такой-то актер, а не персонаж трагедии. Все живое отброшено ради мертвой условности, из художественного выхолощено все жизненное. В своих письмах Сен-Пре выше всех других драматургов ставит Мольера: пусть, исправляя придворных, он их пороки выставил соблазном для городских жителей, зато он правдиво «вывел французов прошлого века, так что они увидели себя

воочию»... «дерзнул нарисовать мещан и ремесленников наряду с маркизами», тогда как нынешние сочинители «сочли бы для себя унизительным знать, как протекает жизнь в лавке или в мастерской» (п. XVII, ч. 2).

Словно предвидя в далеком будущем эру художественной анархии, бесформенности, бесстильности, Сен-Пре отдает должное творчеству французских писателей XVII века. Но, учитывая сухость их рационализма, он хотел бы отбросить всякие нормы, догмы, кодексы — все, что порабощает чувство. Его замечательный разбор портрета Юлии в XXV письме части 2-й содержит требование не помпезности, не надуманной красивости, а психологической правды, воспроизведения индивидуального облика, сквозь который «просвечивает душа». Когда же у Сен-Пре возникает потребность в природном ландшафте, он совсем не думает об аллеях с подстриженными деревьями,— чарует его английский парк или сад «Элизиум» Вольмаров с темными гротами, беседками из живой листвы, извилистыми дорожками, чащами, скрывающими линию горизонта. Сен-Пре на седьмом небе, когда видит «прелестные луга» и «возделанные поля» — мирные идиллические пейзажи, но еще больше восхищают его грандиозные панорамы с нависшими над головой скалами, высокими горами над безднами, бурными потоками, каменистыми подъемами и спусками, гигантскими кедрами. Тут уж дело не в сдержанной форме, не в упорядоченном стиле, тут могучие раскованные стихии самой природы — природы дикой, вольной, «романтической».

Как и следовало думать, интерес Сен-Пре к Парижу шире одной эстетической проблематики — посланцу Руссо не терпится изучить великосветское общество. Что «философ стоит от него слишком далеко, светский же человек слишком близко», Сен-Пре вскоре замечает. «Философом» в XVIII веке называли любого сторонника передовых идей, желавшего скорых или медленных преобразований, реформ, писавшего книги, литературные произведения, нередко статьи в «Энциклопедию». Для недовольства «философами» у Сен-Пре гораздо больше оснований, чем то, что они судят о свете, недостаточно его зная; главной причиной этого недовольства займемся ниже. Пока нас интересует, как решает Сен-Пре свою задачу — с короткой дистанции познать мир светских людей. И вот Сен-Пре бывает в салонах, соблюдает этикет учтивости, церемонности, с каждым говорит, как с ровней; что касается жеманства, лицемерия, то молча разоблачает их для себя с помощью «внутреннего образа добродетели». Этой не лишенной хитрости тактикой Сен-Пре обнаружил за любезностью тона — фальшь и бездушие, едко заметив: все здесь не прочь поболтать о возвышенных интересах, но будь в разглагольствованиях на эту тему хоть капля искренности, кто был бы менее привязан к собственности? На фоне вопиющих к небу контрастов «пышной роскоши и отчаянной нищеты» вельможа — владелец кареты — надменно взирает на пешеходов; простолюдины для него — «жители совсем

другого мира». Имена богатых и титулованных у всех на устах, они «знаменитости», а кто из них заслуживает почтения? «Кучка наглецов — с ними не стоило бы и считаться, если бы не зло, которое они творят».

После этих резких слов, которыми выражена *плебейская* ненависть Сен-Пре к вышестоящим, удивительно, что *дворянка* Юлия советует ему не ограничивать свои наблюдения дворцами и отелями, подняться на чердаки и спуститься в подвалы, где живут честные труженики — этот «самый уважаемый класс людей». К сожалению, Сен-Пре не послушался Юлии, и в этом повинен также автор романа. Его Сен-Пре, который ближе стоит к народу, чем Юлия, притом не только происхождением, но и взглядами, ищет выход в патриархальном укладе. Такой уклад Сен-Пре находит в Верхнем Вале среди горцев, с их безденежным натуральным хозяйством, и в имении Вольмаров, где сглажен антагонизм хлебороба и землевладельца, ибо хозяева поместья отечески заботливы к своим крестьянам. Так как аристократический Париж — реальность, а поместье Вольмаров — поэтический вымысел, идиллия, утопия, Сен-Пре разделяет критический взгляд автора романа в первом случае; во втором случае — заблуждение его.

Вернемся теперь к разногласиям Сен-Пре и «философов». Тут дело уже не в поверхностном знании «света», а в чем-то более существенном: хотя «философ» мыслит чаще всего материалистически и в спорах с церковью защищает земные потребности человека, стихийного проявления страстей он боится. Боится и со стороны народных масс, которым дает советы осторожности в борьбе против власти, и со стороны отдельной личности, рекомендуя ей контроль рассудка над своим поведением.

Итак, «философа» Сен-Пре (кстати, сам философствующая личность) недолюбливает за то, что тому давно хотелось бы выработать для всех людей одну и ту же систему правил поведения, хотя один индивид редко бывает похож на другого. Эти правила, остроумно шутит Сен-Пре, как бы «издали угрожают страстям». Раз система — значит, динамизм страстей игнорируется. Но ведь человека понять до конца нельзя, потому что его ум и сердце, воля и характер вступают в неразрешимые конфликты, при этом сердце оказывается «умнее» ума, а характер действует «правильнее» правил.

Самого себя Сен-Пре, во многом похожий на своего создателя, ощущает сотканным из противоречий: то он медлителен, то в ущерб инстинкту самосохранения — порывист; то робок, то настойчив; мужественен, не боится, например, «опасной службы» на корабле, а порой исходит слезами, как женщина; весьма общительный, он тянется к людям, и слишком часто предпочитает одиночество в объятиях природы, «умиротворяющей самые неистовые страсти». Он патетичен, иногда саркастичен, резок, готов на жертвы. Так что же — «правильный» человек Сен-Пре или «неправильный»? К нему хотелось бы применить то,

что сказал Руссо об одном из своих друзей: если бы он не имел противоречий и недостатков, то, быть может, нравился бы менее, так как, «чтобы быть интересным, он должен иметь нечто такое, что приходится ему прощать».

Однако по части этической проблематики, в романе доминирующей, тон задает не Сен-Пре; решает здесь Юлия, и на стороне ее — автор. Поэтому романтический бунт чувства постепенно уступает место спокойной дисциплине разума, сила которого в логике, и этот разум все больше походит на тот, от имени которого выступали философы Просвещения.

Поскольку отличительный признак «сентиментализма» — предпочтение эмоциональных, чувствительных, импульсивных натур людям, склонным к злой иронии, язвительной насмешке, рассудочному анализу, «Новая Элоиза» — роман антипросветительский. «XVIII век,— цитирую я В. Г. Белинского,— создал себе свой роман, в котором выразил себя в особенной, только одному ему свойственной форме: философские повести Вольтера и юмористические рассказы Свифта и Стерна — вот истинный роман XVIII века. «Новая Элоиза» Руссо выразила собою другую сторону этого века отрицания и сомнения — сторону сердца, и потому она казалась больше пророчеством будущего, чем выражением настоящего, и многие из людей того времени (в том числе и Карамзин) видели в «Новой Элоизе» только одну сантиментальность, которою одной и восхищались» [1]. «Казалась пророчеством», «многие видели... одну сантиментальность» — эти оговорки являются прозрачным намеком: «Новая Элоиза» не лишена и критического начала, свойственного просветителям с их апологией разума.

Со второй половины романа психология «философа», которому в Париже не доверял Сен-Пре, так сказать, реабилитируется. И вот антипод Сен-Пре — Вольмар. Когда вступают в игру чувства, Сен-Пре для Вольмара — значительно превосходящий соперник, зато в Вольмаре больше самообладания, у него «от природы душа спокойная, а сердце холодное», он «лишен страстей, мешающих следовать велениям разума». Если и есть у Вольмара какая-либо страсть, «то лишь страсть к наблюдениям» (п. XII, ч. 4). Слова Вольмара: «Сам я не люблю играть роли, люблю только смотреть, как играют другие», удивительно совпадают и по смыслу и фразеологически с посмертно изданной книгой Дидро «Парадокс об актере», где общество делится на людей активных, охваченных какой-нибудь страстью, и людей рационально мыслящих, стоящих вне действия, наблюдателей; уподобив жизнь театру, первых можно отнести

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1955, стр. 134.

к актерам, вторых — к зрителям. Так и Вольмар — «зритель». К тому же он немногословен, во всем любит порядок, на главном месте у него расчет, мысль, ум; в отличие от Юлии, он атеист. Сколько стараний приложил Сен-Пре, чтобы доказать нам: философский склад ума отличается недобротой, холодом, а вот перед нами гуманный философ.

А чем не «философ» Юлия — она, столь склонная к рассуждениям на всевозможные темы: о нравах в древних республиках и об изнанке светской жизни, о богословских вопросах и о дуэли. Как она поучала в дни оны своего Сен-Пре! Благочестивая, она никогда не брала катехизиса в руки и при смерти не желает молиться богу, отказываясь принять священника. Перед кончиной она беседовала с друзьями о воспитании детей, излагала пастору свое понимание деизма, советовала врачу лечить без лекарств — и ни разу не вспомнила бога, оставаясь при этом верующей, в духе «Исповеди савойского викария» из книги об Эмиле.

Не забудем также Эдуарда Бомстона — о нем написан замечательный по драматизму рассказ, вплетенный в ткань романа, рассказ, в котором особенно потрясает «падшая» девушка Лаура. Глубокое сочувствие Юлии к этой девушке гораздо более оправданно, чем безжалостное отношение к ней Сен-Пре, неожиданно превратившегося из свободолюбивого бунтаря в раба так называемого «общественного мнения» и своим вмешательством заставившего бедняжку Лауру постричься в монахини. Вернемся, однако, к «философу» как типу человека. Так вот, Бомстон знает, что «голос чувства» нельзя принимать за «голос разума», что впечатление от предмета — это еще не оценка его, что «кто ничего не чувствует, ничему не научится», но в отношения между человеком и внешним миром нельзя проникнуть без того, чтобы прежде всего изучить отношения, существующие во внешнем мире; «недостаточно знать страсти человеческие, если не можешь разбираться в предметах страстей, а эту вторую половину изысканий производить можно лишь в спокойствии и в размышлениях» (п. I, ч. 5). Эдуард Бомстон умеет укрощать свой темперамент, стоицизм — его «кредо». И как раз он, хотя и лорд, убежденно, вдохновенно проецирует в будущее «гармонию мыслящих существ» — светлый мир без тирании, суеверий, сословных предрассудков. Жаль только, что в тексте романа Бомстон — персонаж второго плана; он, как и Клара при Юлии, друг и наперсник Сен-Пре, не больше.

Правда, Руссо и тут не удержался от тона «издателя», подтрунивающего над не им созданным персонажем: Эдуард, говорит он, «лучше всего философствует, когда делает глупости, и никогда так хорошо не рассуждает, как в тех речах, когда сам не знает, что говорит». Все та же маска легкого юмора на лице автора романа по отношению к одному из любимых своих героев. Если же вдуматься в ход мысли романа, то Руссо явно вернул разуму его престиж.

Вернул престиж разуму, но прежде всего морали, которая интересы общества ставит выше интересов индивида. В идеальной республике «Договора» действует железный закон равенства — в противном случае погоня за богатством отдельных буржуа нанесет ущерб сплоченности граждан; закон этот так суров, что требует нивелировки даже талантов, о чем Руссо давно писал в статье «Политическая экономия» для «Энциклопедии». Не менее сурово в романе «Новая Элоиза» обязанности личности по отношению к другим людям подавляют присущее ей же стремление к счастью. И если Руссо радикальнее просветителей в вопросах политических, в этическом плане он менее снисходителен к проявлениям даже оправданного эгоизма — эгоизма влюбленного. Ни один материалист XVIII века не восхвалял так бурно свободу чувства, как Руссо, и ни один моралист того времени не сковал так свободу чувства всякими долженствованиями, как Руссо. Оказывается, правильно поступила Юлия, сделавшись женой нелюбимого человека. И для Сен-Пре полезно, что страсти его наконец остыли. Пора одуматься и Эдуарду Бомстону, сделавшему двух любящих его женщин несчастными... Руссо не только обуздал своих героев. Черная тень катастрофы легла на их судьбы: жизнь Юлии оборвала простуда после того, как она бросилась в озеро спасать свое тонущее дитя, и потому лишился жены Вольмар. Еще до этого овдовела Клара. Единственный луч света: на руинах разбитого счастья воздвигнуто царство гражданских обязанностей. Радуйтесь: Сен-Пре будет учителем сирот Вольмаров, Эдуард — членом английского парламента, и оба решили навсегда остаться холостяками.

Мрачноватая развязка. И все-таки в подтексте другая тема — оптимистическая: каким хотел бы Руссо видеть человека? Только мыслящим существом? Нет — и деятельным тоже. Следовательно, и гармоничным. В книге об Эмиле написано: «Разум многим обязан страстям, а страсти — разуму». Не страсти хотел бы «преодолеть» Руссо, а *созерцательность* просветительского мировоззрения. Пусть активность своих героев Руссо не сумел представить живыми картинами: о делах Вольмара в Петербурге мы узнаем из лаконичного сообщения Юлии; о кругосветном путешествии Сен-Пре — не на много более подробная информация — в письме к Кларе. Все же знаменательно, что Вольмар (кстати, не русский ли он?) был участником какой-то заговорщической, вероятно, революционной группы, едва избежал ссылки в Сибирь и потерял состояние. Все-таки, хотя Сен-Пре интеллектуально общается лишь с людьми высших классов, от народа практически обособлен, его возмущение тем, что он наблюдает в обоих полушариях земли и во Франции, таит в себе стимул к борьбе не только печатным словом.

Соединить желанные ему черты в одном образе Руссо не хотел, для такого художественного эксперимента он недостаточно романтик. В «Но-

вой Элоизе» эти черты рассредоточены: Юлия необычайно отзывчива, гуманна; Сен-Пре импульсивен, пылок, богат разнообразными вибрациями чувств; Эдуард Бомстон темпераментный и волевой; Вольмар сдержан, дальновиден, внутренне собран. Между строк романа выплывает облик «героя времени», героя предреволюционной Франции, и не только этой страны: он пока еще слабее своих чаяний и дум, недоволен собой, зато упорно решает какие-то проблемы — этические, политические, художественные,— томится, счастливым быть не может, а что сулит ему будущее, не знает. Идеал человека, каким смутно представляет его себе Руссо, тем не менее обрисован, и потому «Новая Элоиза» — не только философско-лирический, но и в точном смысле слова *идейный* роман.

Если пытаться свести к единому знаменателю мнения о «Новой Элоизе» современников Руссо, это оказывается невозможным. Во втором предисловии, как мы уже знаем, фигурирует критик консервативного вкуса, привыкший к литературным персонажам с изысканными манерами, светским модницам, вельможам, военным, а тут какие-то безрассудные провинциалы, «будто из другого мира они». Господина N шокируют герои столь наивные, мечтательные, знакомые лишь с патриархальными нравами глухих местечек и деревень, понятия не имеющие о блеске французской столицы. Сен-Пре — влюбленный безумец, какой-то Селадон из галантного романа французского писателя XVII века д'Юрфе. Угрюмая Юлия и чересчур снисходительная Клара — две болтуньи, томные влюбленные Астреи того же романа. Эдуард Бомстон — донкихот. А как смешон Вольмар, усердствующий в том, чтобы ввести в свой дом недавнего любовника жены! И как непоследователен Руссо: требуя строжайшей цензуры к искусству, показывающему страстные чувства, он рисует сцену в роще, где происходят достаточно интимные встречи любовников.

Острословы Парижа, возражает «собеседнику» Руссо, презирают добродетели всех видов, а мечтатели из городка Кларан сохранили чистоту и силу нравственного чувства. Старомодный провинциализм — источник достоинств более высоких в измерениях подлинной человечности. В романе «Новая Элоиза», говорит еще Руссо языком реалиста, «нет ничего неожиданного, никаких театральных эффектов»; среди персонажей романа «нет никаких совершенных людей». Вместо «хорошего общества», где даже «легкость состоит из множества правил», а воспитанность — в том, чтобы «ловить все модные новшества»,— самобытные личности, и таких — большинство... «Разве вы не знаете,— обращается Руссо к «собеседнику»,— насколько люди отличны друг от друга, насколько противоположны их характеры, насколько нравы и предрассудки меняются в зависимости от времени, места и возраста? Кто же дерзнет

установить точные границы естественности и скажет: вот до сего предела человек может дойти, а дальше нет?»

В лице г-на N выступает образованный дворянин с присущей ему эстетикой застывших нормативов. Тем не менее взгляд его на «безрассудства» героев «Новой Элоизы» мог быть одобрен в среде энциклопедистов. Так и было в действительности: за исключением д'Аламбера, они встретят роман Руссо без особого восторга. Печатный орган просветителей дал «Новой Элоизе» в общем положительную оценку, упрекнув только Руссо в нарушениях правдоподобия и «странной картине человеческого сердца». Резче высказался Вольтер, очевидно имея в виду малопривлекательные образы парижан и обаятельные образы швейцарцев: «Наполовину галантный, наполовину моральный роман, но в нем нет ни истинной галантности, ни истинной морали, ни вкуса, ни одного достоинства, кроме клеветы на нашу нацию».

Тем не менее уже в XVIII веке «Новая Элоиза» завоевала читателей всех стран Европы и выдержала более 60-ти изданий. Руссо получил тысячи писем. Проявила интерес к роману и аристократическая публика, интерес даже более сочувственный, чем тогдашняя буржуазная, особенно в Швейцарии. В Англии симпатии к Руссо выразили Голдсмит, Юнг, Каупер, Бернс; в Германии — Гердер и Лессинг, Гете и Шиллер, поэты «бури и натиска», навеки считавшие себя обязанными автору «Новой Элоизы» за раскрепощение внутреннего чувства. Повсюду этот роман способствовал созданию атмосферы героической, самоотверженной борьбы против крепостнического и абсолютистского режима. На ораторов и писателей периода французской революции Руссо оказал влияние не только как автор трактатов, но и как автор популярнейшего романа.

Не случайно в самый разгар великих событий — французская монархия низложена, запутанная борьба партий — появилась книга с программным названием: «О Ж.-Ж. Руссо, одном из главных писателей, подготовивших революцию». Автор этой книги — Мерсье разъяснял французам 1791 года: «Никогда еще художник слова не показывал, что в равной степени могут волновать столь отдаленные друг от друга, прямо противоположные сферы — красноречие страстной любви и теоретические сложности политики — «Новая Элоиза» и «Общественный договор» написаны одной и той же рукой» [1]. В романе Руссо «ярко изображена любовь, чтобы оправдать заблуждения этой страсти», продолжал Мерсье. В отличие от ричардсоновской Клариссы, Юлия не без слабостей, но какой отец будет краснеть, если его провинившаяся дочь вернется на стезю добродетели?.. Попутно разоблачен принцип дворянской чести — этот варварский предрассудок наследственной аристократии, по мнению

---

[1] L. S. Mercier, De J. J. Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs de la Révolution, Paris, juin 1791, p. 4.

которой, все, кто к ней не принадлежит, являются «сбродом, ничтожествами, канальями»... Недаром слова Юлии: «Жена угольщика более достойна уважения, нежели любовница принца» — вызвали ярость г-жи де Помпадур. Наконец, и прежде всего: сколько душевного благородства в Сен-Пре, готовом на все жертвы ради избранницы своего сердца! Восхваляя Сен-Пре, Мерсье обошел вопрос, почему в революционной Франции больше интересуются «заблуждениями» любовной страсти Сен-Пре, больше «жертвами», которые он принес «добродетели», чем самой любовью его и ее трагическим исходом.

В XIX веке Руссо освещали как предтечу Байрона, с его «мировой скорбью», и Шелли, имея в виду пантеизм английского поэта и его веру в человечество. От Сен-Пре тянутся нити к образам Шатобриана, Сенанкура, Мюссе, русского романтика В. Ф. Одоевского, вспомнившего «особенных» людей Руссо в рассказе «Странный человек». Неизданный при жизни Бальзака роман в письмах «Стени, или Философские заблуждения» (1818—1819) повторяет многие темы «Новой Элоизы», создатель «Человеческой комедии» воспринял оттуда критическое отношение к блеску титулов и притягательной силе богатства, ко всей цивилизации с ее классовыми антагонизмами. Чернышевский вложил в уста героини романа «Что делать?» мысль о том, что в «Новой Элоизе» впервые родилась женщина с чувством достоинства. Впрочем, по мнению Чернышевского, этот роман устарел. Л. Н. Толстой, напротив, сказал: «Руссо не стареет», и два месяца прожил в Кларане — «в том самом местечке, где жила Юлия Руссо». О самом романе великий русский писатель сказал: «Эта прекрасная книга заставляет думать».

Многие тревоги Руссо о судьбах человечества созвучны нашему времени, но из книг и статей некоторых буржуазных критиков мы узнаем, что он якобы весь растворился в «полутонах» собственной душевной жизни или «пещерах своего духа», где царит кромешная тьма, что, по его убеждению, человек обречен на страдания, на полное одиночество, непонимание окружающих, и миг счастья — единственное для него утешение. Исчезает Руссо-демократ, идеолог «четвертого сословия» внутри третьего — тружеников города и деревни; остается эксцентричный нелюдим с «разорванным сознанием», вечными терзаниями, драматическими спорами с самим собой, неверием в исторические перспективы и в силу разума... Жалкий, слабый человек, и как раз поэтому «человек XX века»!

Ничего подобного не найти в марксистской науке о творчестве Руссо. С уважением подчеркнул Маркс «тот простой моральный такт», который предохранял Руссо от всякого — «хотя бы только кажущегося компромисса с существующей властью» [1]. Возражая английской

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 16, стр. 31.

буржуазной газете «Таймс», клеймившей «гибельную софистику, которую Жан-Жак завещал человечеству», Ленин в июне 1905 года писал: «В эпоху демократической революции пугать якобинизмом могут только безнадежные реакционеры или безнадежные филистеры» [1]. Что Руссо не был противником разума, мы уже убедились по «Новой Элоизе». Объяснение взглядов Руссо содержится в глубокой мысли Ленина: «Когда народные массы сами, со всей своей девственной примитивностью, простой, грубоватой решительностью, начинают творить историю, воплощать в жизнь прямо и немедленно «принципы и теории» — тогда буржуа чувствует страх и вопит, что «разум отступает на задний план»...[2] Именно этот «массовый разум», на первых порах еще стихийный, угадал Руссо, когда вложил в уста Сен-Пре динамическую формулу: «Холодный рассудок не создает ничего замечательного». На первых порах стихийный, ибо в своем натиске народ не сразу обретает ясное сознание цели. Именно поэтому Руссо колеблется от апологии примитивных форм жизни к развитой гражданственности в республике будущего.

Современные буржуазные критики доказывают пессимизм Руссо грустными раздумьями Сен-Пре о «стране химер», как единственной, где стоило бы жить, или последними словами Вольмара: «Приходите разделить со мною горе мое», или печальными словами Клары, когда хоронят ее подругу: «В гробнице есть еще место... Недолго придется ей ждать». Напоминаем, однако, что двойник Руссо — Сен-Пре возмущен «непреодолимой преградой для справедливых стремлений его сердца», что мозг его сверлит одна и та же мысль: не будь Юлии, ему «никогда не довелось бы ощутить, как нестерпимо противоречие между возвышенным духом и низким общественным положением» (п. XXVI, ч. 1). Вот эта мысль — одна из искр, зажигающих пламя революции, и не только той, что произошла в XVIII веке, ибо угнетаемых, заслуживших право на достойную человека жизнь, на земном шаре еще немало.

Один из шедевров мировой литературы, роман «Новая Элоиза» выступил за границы своего века и помогает человечеству сегодня бороться за всеобщую справедливость.

*Н. ВЕРЦМАН*

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 226.
[2] Там же, т. 12, стр. 327.

# ЮЛИЯ, или НОВАЯ ЭЛОИЗА

## ПИСЬМА ДВУХ ЛЮБОВНИКОВ, ЖИВУЩИХ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ У ПОДНОЖИЯ АЛЬП

*Собраны и изданы Ж.-Ж. Руссо*

---

Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe:
Conobill'io ch'a pianger qui rimasi.

*Petrarca*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Большим городам надобны зрелища, развращенным народам — романы. Я наблюдал нравы своего времени и выпустил в свет эти письма. Отчего не живу я в том веке, когда мне надлежало бы предать их огню!

Я выступаю в роли издателя, однако ж не скрою, в книге есть доля и моего труда. А быть может, я сам все сочинил, и эта переписка — лишь плод воображения? Что вам до того, светские люди! Для вас все это и в самом деле лишь плод воображения.

Каждый порядочный человек должен отвечать за книги, которые он издает. Вот я и ставлю свое имя на заглавной странице этого собрания писем, отнюдь не как составитель, но в знак того, что готов за них отвечать. Если здесь есть дурное — пусть меня осуждают, если — доброе, то приписывать себе эту честь я не собираюсь. Если книга плоха, я тем более обязан признать ее своею: не хочу, чтобы обо мне думали лучше, чем я того заслуживаю.

Касательно достоверности событий,— заверяю, что я множество раз бывал на родине двух влюбленных и ровно ничего не слышал ни о бароне д'Этанж, ни о его дочери, ни о господине д'Орб, ни о милорде Эдуарде Бомстоне, ни о господине де Вольмаре. Замечу также, что в описании края допущено немало грубых погрешностей: либо автору хотелось сбить с толку читателей, либо он сам как следует не знал края. Вот и все, что я могу сказать. Пусть каждый думает, что ему угодно.

Книга эта не такого рода, чтобы получить большое распространение в свете, она придется по душе очень немногим. Слог

ее оттолкнет людей со взыскательным вкусом, предмет отпугнет блюстителей нравственности, а чувства покажутся неестественными тем, кто не верит в добродетель. Она, конечно, не угодит ни набожным людям, ни вольнодумцам, ни философам; она, конечно, не придется по вкусу легкомысленным женщинам, а женщин порядочных приведет в негодование. Итак, кому же книга понравится? Да, пожалуй, лишь мне самому; зато никого она не оставит безразличным.

А тот, кто решится прочесть эти письма, пускай уж терпеливо сносит ошибки языка, выспренний и вялый слог, ничем не примечательные мысли, облеченные в витиеватые фразы; пускай заранее знает, что писали их не французы, не салонные острословы, не академики, не философы, а провинциалы, чужестранцы, живущие в глуши, юные существа, почти дети, восторженные мечтатели, которые принимают за философию свое благородное сумасбродство.

Почему не сказать то, что я думаю? Это собрание писем в старомодном вкусе женщинам пригодится больше, чем философские сочинения. Быть может, оно даже принесет пользу иным женщинам, сохранившим хотя бы стремление к порядочности, невзирая на безнравственный образ жизни. Иначе дело обстоит с девицами. Целомудренная девица романов не читает, я же предварил сей роман достаточно ясным заглавием, дабы всякий, открывая книгу, знал, что́ перед ним такое. И если вопреки заглавию девушка осмелится прочесть хотя бы страницу — значит, она создание погибшее; пусть только не приписывает свою гибель этой книге,— зло свершилось раньше. Но раз она начала чтение, пусть уж прочтет до конца — терять ей нечего.

Если ревнитель нравственности, перелистав сборник, почувствует отвращение с первых же его частей и в сердцах швырнет книгу, вознегодовав на издателя, подобная несправедливость меня ничуть не возмутит: может статься, я и сам поступил бы так на его месте. Но уж если кто-либо прочтет книгу до конца и осудит меня за то, что я выпустил ее,— то пускай, если ему угодно, трубит об этом на весь мир, но мне ничего не говорит: чувствую, что я не способен с уважением относиться к подобному человеку.

## ПИСЬМО I

*К Юлии*

Сомненья нет, я должен бежать от вас, сударыня! Напрасно я медлил, вернее, напрасно я встретил вас! Что же мне делать? Как быть? Вы мне посулили дружбу; убедитесь, в каком я смятении, и поддержите меня советом.

Как вам известно, я появился у вас в доме лишь по воле вашей матушки. Зная, что мне удалось развить в себе кое-какие полезные способности, она рассудила, что это окажется не лишним для воспитания ее обожаемой дочери,— ведь в здешних краях не сыскать учителей. Я же с гордостью стал помышлять о том, что помогу расцвесть вашей богатой натуре, и смело взялся за опасное поручение, не предвидя для себя ни малейшей угрозы или, скорее, не страшась ее. Умолчу о том, что я уже начинаю расплачиваться за свою самонадеянность. Поверьте, я никогда не позволю себе забыться и не стану вести речей, которые вам не подобает слушать, буду помнить, что должно с уважением относиться к вашей добродетели — еще в большей степени, чем к происхождению вашему и вашей красоте. Страдая, я утешаюсь мыслью, что страдаю один, и не хотел бы добиваться своего счастья ценою вашего.

Однако мы ежедневно встречаемся, и вы невольно, без всякого умысла усугубляете мои терзания; впрочем, сочувствовать им вы не можете, и даже знать о них вам не подобает. Правда, мне известно, что приказывает благоразумие в тех случаях, когда не может быть надежды. И мне пришлось бы ему повиноваться, если бы я знал, как согласовать благоразумие с приличием. Но под каким же удобным предлогом отдалиться от дома, куда я был приглашен самой хозяйкой, которая благоволит ко

мне и верит, что я принесу пользу самому дорогому ей на свете существу? Вправе ли я лишить радости нежную мать, мечтающую удивить супруга вашими успехами в учении, которые она пока от него утаивает? Должен ли я распроститься столь неучтиво, без всяких объяснений? Должен ли я открыться ей во всем и не оскорбят ли ее мои признания, если ни мое имя, ни мои средства не дозволяют мне даже мечтать о вас?

Есть лишь один выход из этого тягостного положения: пускай та рука, что ввергла меня в него, меня и освободит, пускай и наказание, как моя вина, исходит от вас; пожалуйста, хотя бы из сострадания, откажите мне от дома сами. Передайте это письмо своим родителям; велите закрыть передо мною двери, прогоните меня, под каким угодно предлогом; от вас я все приму, но сам я не в силах вас покинуть.

Как! Вам — прогнать меня, мне — бежать от вас? Но почему? Почему преступно питать нежные чувства к тому, что достойно, и любить то, что заслуживает уважения? Нет, это не преступно, прекрасная Юлия,— ваша прелесть ослепила меня, но она никогда бы не пленила мое сердце, если б не более могущественные чары. Трогательное сочетание пылкой чувствительности и неизменной кротости; нежное участие к чужому горю; ясный ум, соединенный с чувством изящного, чистый, как ваше сердце,— одним словом, ваша душевная прелесть восхищает меня еще больше, чем ваша красота. Допускаю, что можно вообразить вас еще прекраснее, но вообразить вас милее, достойнее сердца порядочного человека, о, нет, Юлия, это не в моих силах!

Иногда я дерзко тешу себя мыслью, что по воле неба есть тайное соответствие между нашими чувствами, так же как между нашими вкусами и возрастом. Мы оба так молоды, что наши врожденные склонности еще не извращены, наши влечения схожи во всем. Мы еще не подчинились одинаковым условностям света, а у нас одинаковые чувства и взгляды,— так разве я не вправе вообразить, что в наших сердцах царит такое же согласие, какое царит в наших суждениях? Подчас наши взоры встречаются; подчас мы одновременно вздыхаем или украдкой утираем слезы... О Юлия! Что, если такое сродство ниспослано свыше... предназначено самим небом... Никакие силы человеческие... О, простите меня! Рассудок мой помутился: я принимаю мечты за надежды, пылкая страсть манит несбыточным.

С ужасом вижу я, на какие муки обречено мое сердце. Я вовсе не хочу возвеличивать свои страдания; мне бы хоте-

лось их ненавидеть... Судите, сколь чисты мои чувства,— ведь вы знаете, какой милости я у вас прошу. Уничтожьте, если возможно, ядовитый источник, который поит меня,— поит, но и убивает. Я жажду одного — исцеления или смерти, и молю вас о жестокости, как молят о взаимной любви.

Да, я обещаю, я клянусь вам сделать все, чтобы вернуть себе рассудок или заточить в глубине сердца смятенные чувства,— но будьте милосердны, отвратите от меня свой взор, нежный взор, несущий мне смерть; скройте от меня свои прелестные черты, лицо, руки, плечи, белокурые волосы, весь свой легкий стан, обманите мои дерзкие, ненасытные глаза; приглушите проникновенные звуки своего голоса,— ведь его нельзя слышать без волнения; станьте иной, и сердце мое вновь обретет спокойствие.

Хотите, я признаюсь? В часы игр, порожденных вечерним досугом, вы при всех ведете себя так непринужденно, жестоко терзая меня, держитесь со мною, как с любым другим.

Вот еще вчера, когда мне назначили фант, я чуть не поцеловал вас: ведь вы почти не противились. По счастью, я не настаивал. Я чувствовал, что волнение мое все растет, что я теряю голову, и отошел. Ах! Почему я не насладился вашим упоительным лобзанием; оно слилось бы с моим последним вздохом, и я бы умер счастливейшим из смертных!

Умоляю, не затевайте подобных игр — их последствия гибельны. И каждая, даже самая ребяческая, по-своему опасна. Я всякий раз боюсь коснуться вашей руки; не знаю отчего, но наши руки всегда встречаются. Стоит вам дотронуться до моей руки, и я вздрагиваю; от этой игры меня бросает в жар, вернее — я лишаюсь рассудка; ничего уже не вижу, ничего не чувствую и, охваченный исступлением, не знаю, что делать, что говорить, куда бежать, как сохранить власть над собой.

Когда мы с вами читаем, возникает иной повод к тревоге. Стоит нам на минутку остаться наедине, без вашей матушки или кузины, и вы тотчас же меняетесь, напускаете на себя такую важность, такой леденящий холод, что из боязни не угодить вам я теряю присутствие духа и здравый смысл и, дрожа, еле бормочу слова урока,— даже вы, при своем даре все схватывать на лету, вряд ли их понимаете. Ваше подчеркнутое высокомерие не приносит пользы ни вам, ни мне: меня вы приводите в отчаяние, а сами не усваиваете урока. Не могу постичь, отчего у столь рассудительной девицы так меняется расположение духа. Осмелюсь спросить, как это вы, такая резвушка в обществе, вдруг становитесь столь строги, когда мы

остаемся с глазу на глаз? Казалось бы, напротив, полагается быть сдержаннее на людях. Наедине со мной вы чопорны, при всех — веселы, а меня смущает и то и другое. Пожалуйста, ведите себя ровнее, и я, быть может, не буду так теряться.

Из сострадания, свойственного благородным душам, сжальтесь над несчастным, к которому, смею полагать, вы питаете некоторое уважение! Ведите себя иначе, и вы облегчите ему участь, поможете выдержать и муки молчания, и муки любви. Если его сдержанность и его чувства вас не трогают и вам угодно воспользоваться своим правом и погубить его, на все ваша воля, он не будет роптать: он предпочитает погибнуть по вашему приказу, нежели пасть в ваших глазах, забывшись в порыве страсти. Словом, как вы ни распорядитесь моей судьбой, мне, по крайней мере, не придется укорять себя за безрассудные надежды; прочитав это письмо, вы исполнили все, о чем я осмелился бы просить,— что бы там ни было, уж в этом вы мне не откажете!

## ПИСЬМО II

*К Юлии*

Как заблуждался я, сударыня, когда писал вам первое свое письмо. Нет умиротворения моим печалям,— напротив, я умножил их, подвергнув себя вашей немилости; да, чувствую, что случилось самое худшее,— я вас разгневал. Ваше молчание, холодность, замкнутость,— слишком ясные знаки моего несчастья. Исполнив мою просьбу лишь наполовину, вы тем самым еще больше наказали меня:

E poi ch'amor di me vi fece accorta,
Fur i biondi capelli allor velati,
E l'amoroso sguardo in se raccolto [1].

Вы и при других уже не допускаете невинных вольностей,— а я, безумец, на них сетовал; но еще суровее вы бываете наедине со мною; вы изощренно жестоки и в снисходительности и в строгости.

---

[1] Насторожась перед моей любовью,
Прикрыли вы свои златые кудри
И на меня глядели отчужденно *(итал.)*.
Здесь и далее стихи даются в переводе В. Дынник.— *Ред.*

Если б вы знали, как меня терзает ваша холодность, вы бы поняли, что я наказан сверх меры. Страстно хотелось бы мне вернуть прошлое и сделать так, чтобы вы не видели этого рокового письма. Да, из боязни снова оскорбить вас, я бы не стал более писать, если б не первое письмо,— я не хочу усугублять свою ошибку, а хочу исправить ее. Быть может, ради вашего успокоения сказать, будто я заблуждался? Уверять, будто я к вам не питаю любви?.. Как! Ужели я выговорю такие кощунственные слова? Пристойна ли для сердца, где вы царите, эта гнусная ложь? Ах, пусть я буду несчастлив, если так суждено, но, повинный в безрассудстве, я не хочу трусливо прибегать ко лжи,— и если мое сердце свершило преступление, перо мое от него не отречется.

Я заранее чувствую силу вашего гнева и жду его последствий, как той единственной милости, что мне доступна,— ведь страсть, снедающая меня, заслуживает наказания, а не пренебрежения. Прошу вас, не предоставляйте меня самому себе. Соблаговолите, по крайней мере, решить судьбу мою. Изъявите свою волю. Я подчинюсь любому вашему приказу. Вы приговорите меня к вечному молчанию? Что ж, я заставлю себя молчать. Прогоните меня с глаз долой? Что ж, клянусь, вы больше меня не увидите. Повелите умереть? Ах, это далеко не самое трудное! Подчинюсь всем вашим приказаниям, кроме одного,— разлюбить вас; впрочем, даже этому я подчинился бы, если б только мог.

Сто раз на день готов я броситься к вашим ногам, оросить их слезами, вымолить себе смертный приговор или прощение. Но смертельный ужас всякий раз леденит мое сердце, колени дрожат, не сгибаются; слова замирают на устах, а душа теряет мужество, боясь вашего гнева.

Можно ли вообразить более тягостное состояние духа? Мое сердце чувствует всю свою вину, но ничего не может поделать с собою, и преступные мысли, и угрызения совести терзают меня. Не зная еще своей участи, я полон невыносимых сомнений и то уповаю на милость, то страшусь наказания.

Но нет, я ни на что не надеюсь, нет у меня права надеяться. Ускорьте же казнь — вот единственная милость, которой я жду. Свершите справедливую месть. Я сам молю вас об этом,— вот как велики мои страдания! Покарайте меня,— это ваш долг; но если в вас есть жалость, не будьте так холодны, так недовольны, не доводите меня до отчаяния,— когда преступника ведут на казнь, ему уже не выказывают гнева.

## ПИСЬМО III

*К Юлии*

Запаситесь терпением, сударыня! Я докучаю вам в последний раз.

Когда мое чувство к вам еще лишь зарождалось, я и не подозревал, какие уготовал себе терзания. Вначале меня мучила только безнадежная любовь, но рассудок мог бы одолеть ее со временем; потом я испытал мучения более сильные — из-за вашего равнодушия; ныне испытываю жесточайшие муки, сознавая, что и вы страдаете. О Юлия! Я с горечью вижу, что мои жалобы смущают ваш покой. Вы упорно молчите, но своим настороженным сердцем я улавливаю тайные ваши волнения. Взор у вас сделался сумрачен, задумчив, он устремлен в землю — вы лишь иногда мельком растерянно взглядываете на меня; яркий румянец поблек, несвойственная вам бледность покрывает ланиты; веселость вас покинула; вас гнетет смертельная тоска; и только неизменная кротость умеряет тревогу, омрачающую вашу душу.

Волнение ли чувств, презрение или жалость к моим мукам, но что-то вас томит, я это вижу. Боюсь, не я ли причиной ваших горестей, и этот страх удручает меня сильнее, чем радует надежда, которую я мог бы для себя усмотреть,— ибо или я ошибаюсь, или ваше счастье мне дороже моего собственного. Меж тем, размышляя о себе, я начинаю понимать, как плохо судил о своем сердце, и вижу, хотя и слишком поздно, что чувство, которое мне казалось мимолетною вспышкой страсти, будет моим уделом на всю жизнь. И чем вы печальнее, тем я слабее в борьбе с собою самим. Никогда,— о, никогда огонь ваших глаз, свежесть красок, обаяние ума, вся прелесть вашей былой веселости не оказывали на меня такого действия, какое оказывает ваше уныние. Поверьте мне в этом, о божественная Юлия. Если бы вы только знали, какое пламя охватило мою душу за эту томительную неделю, вы бы сами ужаснулись тому, сколько причинили мне страданий. Отныне им нет исцеления, и я, в отчаянии, чувствую, что снедающий меня огонь погаснет лишь в могиле.

Нужды нет! Если счастье и не суждено мне, то, по крайней мере, я могу стать достойным его, и добьюсь того, что вы будете уважать человека, коему вы даже не соблаговолили ответить. Я молод и успею завоевать уважение, которого ныне еще не достоин. А пока нужно вернуть вам покой, исчезнувший для меня навеки, а вами утраченный по моей милости. Справедли-

вость требует, чтобы я один нес бремя проступка, если виноват лишь я сам. Прощайте же, о дивная Юлия, живите безмятежно, пусть вернется к вам былая веселость; с завтрашнего дня мы более не увидимся. Но знайте, моя пылкая и чистая любовь, пламя, сжигающее меня, не угаснет во всю мою жизнь. Сердце, полное любви к столь достойному созданию, никогда не унизится для другой любви; отныне оно будет предано лишь вам и добродетели и вовеки не осквернит чуждым огнем тот алтарь, что служил для поклонения Юлии.

### ЗАПИСКА

*От Юлии*

Не внушайте себе мысль, что отъезд ваш неизбежен. Добродетельное сердце найдет силы побороть себя или умолкнуть, а быть может, и стать суровым. Вы же... вы можете остаться.

### ОТВЕТ

Я молчал долго; ваша холодность в конце концов заставила меня заговорить. Можно преодолеть себя во имя добродетели, но презрение того, кого любишь, непереносимо. Я должен уехать.

### ВТОРАЯ ЗАПИСКА

*От Юлии*

Нет, сударь, если чувства, в которых вы мне открылись, слова, которые вы осмелились высказать, не были притворством, то такого человека, как вы, они обязывают к большему; уехать — этого мало.

### ОТВЕТ

Притворство было лишь в том, что страсть якобы укрощена в моем отчаявшемся сердце. Завтра вы будете довольны, и, что бы вы ни говорили, так поступить мне легче, чем уехать.

### ТРЕТЬЯ ЗАПИСКА

*От Юлии*

Безумец! Если тебе дорога моя жизнь, страшись посягать на свою. За мной неотступно следят, я не могу ни говорить с вами, ни писать вам до завтра. Ждите.

## ПИСЬМО IV

*От Юлии*

Вот мне и приходится в конце концов признаться в роковой тайне, которую я так неловко скрывала. Сколько раз я клялась себе, что она покинет мое сердце лишь вместе с жизнью! Но твоя жизнь в опасности, и это заставляет меня открыться; я выдаю тайну и утрачиваю честь. Увы! Я была уж слишком стойкой,— ведь утрата чести страшнее, чем смерть!

Что же мне сказать? Как нарушить столь тягостное молчание? Да ужели я не все тебе сказала и ты не все понял? Ах, ты слишком хорошо все видел, и ты, конечно, обо всем догадался! Я все более запутываюсь в сетях гнусного соблазнителя, не могу остановиться и вижу, что стремлюсь в ужасную бездну. Коварный! Моя любовь, а не твоя, придает тебе смелость! Ты видишь смятение моего сердца, ты, на мою погибель, берешь над ним верх; по твоей вине я достойна презрения, но наперекор себе вынуждена презирать тебя, и это самое тяжкое мое горе. Ах, злодей, я питала к тебе уважение, а ты навлекаешь на меня бесчестие! Но верь мне, если б твое сердце могло мирно вкушать радость победы, оно бы никогда ее не одержало.

Ты знаешь,— и это должно умножить укоры твоей совести,— что в моей душе не было порочных наклонностей. Скромность и честность были мне любезны. Я взращивала их, ведя простой и трудолюбивый образ жизни. Но к чему все старания, если небо их отвергло? С того дня, когда я, к своему несчастью, впервые увидела тебя, тлетворный яд проник в мое сердце и рассудок; я поняла это с первого взгляда; и твои глаза, чувствования, речи, твое преступное перо с каждым днем делают яд все смертоносней.

Что только не делала я, чтобы пресечь эту гибельную, все растущую страсть! Сопротивляться не было сил, и я стремилась уберечься от нападения, но твои домогательства обманули мою тщетную осторожность. Сотни раз порывалась я припасть к стопам тех, кому обязана своим рождением, сотни раз порывалась я открыть им свое сердце, но им не понять, что творится в нем; они прибегнут к обычным врачеваниям, а недуг неизлечим; матушка слаба и безответна, я знаю неумолимо крутой нрав отца, и я добьюсь лишь одного: погибну, опозорив себя, свою семью и тебя. Подруга моя уехала, брата я лишилась; и на всем свете мне не найти защитника от врага, который меня

преследует; тщетно взываю к небу,— небо глухо к мольбам слабых. Все разжигает страсть, снедающую меня; я предоставлена самой себе или, вернее, отдана на твою волю; сама природа словно хочет стать твоей соучастницей; все усилия тщетны; я люблю тебя наперекор себе. Мое сердце не устояло, когда было полно сил, ужели теперь оно лишь наполовину отдастся чувству? Ужели сердце, не умеющее ничего утаивать, не признается тебе до конца в своей слабости! Ах, не следовало мне делать первый, самый опасный шаг... как теперь удержаться от других? Да, с первого же шага я почувствовала, что устремляюсь в пропасть, и ты властен усугубить, если пожелаешь, мое несчастье.

Положение мое ужасно, мне остается прибегнуть лишь к тому, кто довел меня до этого; ради моего спасения ты должен стать моим единственным защитником от тебя же. Знаю, я бы могла пока не признаваться в своем отчаянии. Могла бы некоторое время скрывать свой позор и, постепенно уступая, обманывать себя. Напрасные ухищрения,— они бы только польстили моему самолюбию, но не спасли бы честь. Полно! Я хорошо вижу, слишком хорошо понимаю, куда ведет меня первая ошибка, хоть я стремлюсь не навстречу гибели, а прочь от нее.

Однако ж, если ты не презреннейший из людей, если искра добродетели тлеет в твоей душе, если в ней еще сохранились благородные чувства, которых, мне казалось, ты был исполнен,— могу ли я думать, что ты человек низкий и употребишь во зло роковое признание, исторгнутое безумием из моей груди? Нет, я знаю тебя: ты укрепишь мои силы, станешь моим защитником, охранишь меня от моего же сердца.

Твоя добродетель — последнее прибежище моей невинности. Свою честь я осмеливаюсь вверить твоей — тебе не сохранить одну без другой. Ах, благородный друг мой, сбереги же обе и пожалей меня, хотя бы из любви к себе.

О господи! Ужели мало всех этих унижений? Я пишу тебе, друг мой, стоя на коленях, я орошаю письмо слезами, возношу к тебе робкую мольбу. И все же не думай, будто я не знаю, что мольбы могли бы возноситься ко мне и что я подчинила бы тебя своей воле, стоило лишь уступить тебе с искусством, достойным презрения. Возьми суетную власть, друг мой, мне же оставь честь. Я готова стать твоей рабою, но жить в невинности, я не хочу приобретать господство над тобой ценою своего бесчестия. Если тебе угодно будет внять моей просьбе, то какой любовью, каким уважением воздаст тебе та, которой ты

вернешь жизнь! Сколько очарования в нежном союзе двух чистых душ! Побежденные желания станут источником твоего счастья, и эти сладостные утехи будут достойны ангелов.

Я верю, я надеюсь, что сердце, заслуживающее, как мне кажется, безраздельной привязанности моего сердца, не обманет моих ожиданий и будет великодушно; и надеюсь, что, если б, напротив, оно оказалось способно, в низости своей, злоупотребить моим смятением и теми признаниями, которые вынудило у меня, тогда чувство презрения и негодования вернуло бы мне рассудок; я еще не так низко пала, чтобы для меня опасен был возлюбленный, за которого пришлось бы краснеть. Ты сохранишь добродетель или станешь достойным презрения; я сохраню уважение к себе или исцелюсь. Вот она, единственная надежда, оставшаяся у меня, кроме самой последней надежды — умереть.

## ПИСЬМО V

*К Юлии*

Боже всемогущий! Ты даровал мне душу для страданий. Даруй же мне душу для блаженства! Любовь, эта жизнь души, явилась поддержать ее слабеющие силы. Невыразимая прелесть добродетели, неописуемое очарование голоса любимого существа, блаженство, радости, восторги,— о, как метко разят ваши стрелы! Кто устоит перед ними! О, как справиться с потоком упоительных радостей, хлынувших в мое сердце! О, чем искупить тревогу моей робкой возлюбленной! Юлия... нет — моя Юлия!..— на коленях! Моя Юлия проливает слезы!.. Та, пред кем должна благоговеть вселенная, умоляет человека, обожающего ее, не оскорблять ее, не бесчестить себя самого. Если бы я мог сердиться на тебя, я бы рассердился, ибо твои опасения нас унижают. О чистая, небесная красота! ты должна лучше знать, в чем твоя власть. Я без ума от твоих чар именно потому, что в них отражается чистая душа, вдыхающая в них жизнь, и на всех твоих чертах лежит ее божественная печать. Ты боишься, что уступишь моим домогательствам, но каких домогательств опасаться той, кто может внушить лишь чувство благородное и почтительное? Да найдется ли на земле такой негодяй, который осмелился бы оскорбить тебя?

Позволь же, позволь мне насладиться нежданным счастьем — быть любимым, любимым тою... О, что пред этим власть над целой вселенной! Бесконечное число раз готов я перечитывать дивное письмо твое,— любовь и все чувства как бы выж-

жены в нем огненными буквами и, несмотря на сердечное волнение, я с восторгом вижу, как в благородной душе даже самые пылкие страсти принимают небесный облик добродетели... Только изверг, прочтя твое трогательное письмо, злоупотребил бы твоим состоянием и выказал наглым поступком своим глубокое неуважение к самому себе. Нет, дорогая, нет, возлюбленная моя, верь своему другу — он тебя не обманет. Пускай навсегда я утрачу рассудок, пускай все растет смятение чувств моих, отныне ты для меня не только самая желанная, но и самая запретная святыня, когда-либо вверенная смертному. Моя страсть и ее предмет навеки сохранят незапятнанную чистоту. Перед посягательством на твою целомудренную красоту я бы сам содрогнулся сильней, чем перед гнуснейшим кровосмешением; и рядом со своим возлюбленным ты в такой же безопасности, как рядом с отцом своим. О, если наедине с тобой счастливый возлюбленный хоть когда-нибудь забудется,— значит, у возлюбленного Юлии низкая душа!.. Нет, если я отрекусь от любви к добродетели, я разлюблю тебя; и я сам хочу, чтобы при первом же безнравственном поступке ты меня разлюбила.

Успокойся же, заклинаю тебя во имя нашей чистой и нежной любви; она — залог своей сдержанности и уважения к тебе. Ты за нее в ответе перед нею же самой. Зачем ты простираешь свои страхи дальше, чем я свои помыслы? О каком ином счастье мне мечтать, если мое сердце едва вмещает то, которым оно сейчас наслаждается? Мы оба молоды, это правда; мы любим первый, единственный раз в жизни, и нет у нас никакой опытности в делах любви: да, но разве честь, руководящая нами, может указать нам ложный путь? Разве она нуждается в том сомнительном опыте, что приходит с пороком? Быть может, я и обольщаюсь, но мне кажется, что в глубине моего сердца живут самые честные чувства. Я вовсе не гнусный соблазнитель, как ты в отчаянии называешь меня,— я человек простодушный и чувствительный, я прямо высказываю чувства свои и не испытываю таких чувств, за которые должно было бы краснеть. Одним словом, ненависть к преступлению во мне еще сильнее, чем любовь к Юлии. И не знаю, поистине не знаю, как совместима любовь, внушенная тобою, с забвением добродетели, как может человек непорядочный почувствовать все твое очарование. Чем более я тобою очарован, тем возвышеннее становятся мои чувства. Прежде я совершил бы любой добрый поступок во имя добра, теперь же я совершил бы его, дабы стать достойным тебя. О, прошу, верь страсти, которую ты

внушила мне и облагородила! Знай, я обожаю тебя, и этого довольно, чтобы я всегда чтил сокровище, доверенное мне тобою. О, какое сердце будет мне принадлежать! Истинное счастье,— честь того, кого любишь, торжество любви, гордой своею чистотой,— сколь ты драгоценнее всех любовных утех!

## ПИСЬМО VI

*К Кларе от Юлии*

Ужели хочешь ты, милая кузина, всю жизнь только и оплакивать свою бедняжку Шайо, ужели, думая о мертвых, надо забывать о живых? Твоя печаль понятна, и я разделяю ее; но нельзя же печалиться вечно! Правда, с того дня, как ты утратила свою мать, она воспитывала тебя с неусыпной заботой; она скорее была твоей подругой, нежели гувернанткой. Она нежно любила тебя, и меня она любила потому, что ты меня любишь; она всегда внушала нам одни лишь разумные и высокие правила. Все это я знаю, душенька, все это охотно признаю. Но признай и ты, что добрая наша наставница была не очень осторожна; она без надобности пускалась в весьма нескромные признания, без конца занимала нас беседой об искусстве покорять сердца, о своих похождениях в молодости, о проделках любовников — и хотя, стремясь уберечь нас от сетей, расставляемых мужчинами, она и не учила нас самих расставлять эти сети, но зато преподала нам многое, о чем девице и слышать не подобает. Утешься же в своей утрате — у этого несчастья есть и хорошая сторона: в нашем возрасте уроки Шайо становились опасны, и, быть может, небо отняло ее у нас в тот миг, когда ее присутствие могло бы принести нам вред. Вспомни, что ты говорила, когда я потеряла лучшего на свете брата. Ужели Шайо тебе дороже? Ужели у тебя больше причин оплакивать ее?

Возвращайся, дорогая; она в тебе больше не нуждается. Увы! Как решаешься ты терять время, проливая напрасные слезы и не думая о том, что может стрястись еще одна беда! Как же ты не боишься, зная состояние моей души, оставлять подругу среди опасностей, которые устранило бы твое присутствие? О, сколько событий произошло со времени твоего отъезда! Ты ужаснешься, узнав, какой угрозе я подвергалась из-за своего безрассудства. Надеюсь, что теперь я избавилась от нее; но я завишу от доброй воли другого, и ты должна вернуть меня

самой себе. Так приезжай поскорее! Я ни о чем не просила, покуда в твоих заботах нуждалась бедняжка Шайо, я первая убеждала бы тебя не оставлять ее. Но с той поры, как ее не стало, твой долг — окружить заботами ее семью; ты легче осуществишь это здесь, сообща со мною, чем одна в деревне, и выполнишь свой долг, подсказанный благодарностью, ни в чем не поступаясь и долгом дружбы.

С того дня, как уехал отец, мы вернулись к прежнему образу жизни, и матушка теперь реже оставляет меня. Но делается это скорее по привычке, нежели из недоверия. Светские обязанности все же отнимают у нее много времени, однако она не хочет, чтобы я пропускала уроки, и иногда ее заменяет весьма нерадивая Баби. Право, я нахожу, что моя добрая матушка чересчур уверена во мне, но все не решаюсь предостеречь ее; мне бы так хотелось избавиться от опасностей, не утратив ее уважения,— и лишь ты одна можешь все это уладить. Приезжай, моя родная Клара, приезжай поскорее. Мне жаль, что ты пропускаешь уроки, которые я беру без тебя, и я боюсь узнать слишком много. Учитель наш не только человек достойный, но и добродетельный, это еще опаснее. Я чересчур им довольна,— и потому недовольна собой. И он и мы в таком возрасте, что как бы ни был добродетелен мужчина, но если он не лишен приятности, то в его обществе лучше бывать двум девицам, нежели одной.

## ПИСЬМО VII

*Ответ*

Внимаю тебе и ужасаюсь. Впрочем, я не верю, что опасность так близка, как ты рисуешь. Право же, твой страх умеряет мои опасения; но все же будущее меня пугает, и, если тебе не удастся одержать победу над собою, я предвижу одни лишь несчастья. Увы! Сколько раз бедняжка Шайо предрекала, что первый порыв твоего сердца предопределит твою судьбу на всю жизнь! Ах, сестрица, неужто твоя участь уже решена,— ведь ты еще так молода! Как нам будет недоставать умудренной опытом наставницы, хотя ты и говоришь, что эта утрата — к нашему благу. Быть может, нам надобно было с самого начала попасть в более надежные руки; в ее руках мы стали чересчур сведущи, чтобы теперь дозволить другим управлять нами, хотя и не настолько сведущи, чтобы самим управлять собою; она одна могла бы охранить нас от опасностей, которым

сама же и подвергла. Она многому нас научила; и, думается, мы для нашего возраста много размышляли. Горячая и нежная дружба, соединяющая нас чуть ли не с колыбели, как бы просветила сердца наши с юных лет в том, что касается до страстей человеческих. Мы довольно хорошо знаем их признаки и последствия; нам недостает лишь искусства их подавлять. Дай-то бог, чтобы твой юный философ знал это искусство лучше нас.

Ведь ты понимаешь, что когда я говорю «мы», то главным образом подразумеваю тебя: ведь наша милая Шайо всегда твердила, что ветреность заменяет мне здравый смысл, что у меня никогда недостанет серьезности, чтобы узнать истинную любовь, что я слишком безрассудна для безрассудной страсти. Юлия, душа моя, остерегайся: чем больше Шайо ценила ум твой, тем больше она боялась за твое сердце. Впрочем, не падай духом: я знаю, твое сердце свершит все то, на что способны целомудрие и честь, мое же свершит все то, на что, со своей стороны, способна дружба. Хотя мы с тобой слишком сведущи для нашего возраста, но такие познания ничуть не повредили нашей нравственности. Право, дорогая, есть на свете немало более наивных девиц, далеко не таких порядочных, как мы,— мы же с тобой порядочны лишь потому, что хотим такими быть, и, поверь мне,— это более верный путь к нравственному совершенству. Однако ж после твоего невольного признания я не обрету ни минуты покоя, пока не буду рядом с тобой, ибо раз ты боишься опасности — значит, она не совсем мнимая. Верно и то, что избежать ее легко: два словечка твоей матушке, и с этим покончено, но я тебя понимаю,— тебе не хочется прибегать к таким решительным мерам; тебе хочется избавиться от опасности падения, но не от чести победы. Ах, бедная сестрица!.. Если б хоть малейший луч надежды... Но как же это возможно, чтобы барон д'Этанж согласился отдать свою дочь, свое единственное дитя человеку без роду и племени!.. Ужели ты надеешься?.. На что же ты надеешься?.. Чего добиваешься? Бедная, бедная сестричка! Не опасайся, во всяком случае, меня. Дружеская душа сохранит твою тайну. Многие сочли бы, что честнее разоблачить ее; и, пожалуй, были бы правы. Но я, хоть я и не великая умница, не терплю такой порядочности, которая предает дружбу, веру; по-моему, для всех человеческих отношений, для всех возрастов есть свои правила, свои обязанности и свои добродетели; то, что для других — благоразумие, для меня — предательство; и, слушаясь тех, кто в этом не разбирается, мы не станем разумными, а станем злы-

ми. Если любовь твоя не сильна, мы ее победим; если она достигла крайней степени, то действовать резко — значит, привести к трагедии, а дружбе должно попытать лишь те средства, за которые она отвечает. Зато тебе придется ходить по струнке, когда попадешь под мою охрану. Погоди, увидишь, что такое восемнадцатилетняя дуэнья!

Я живу вдали от тебя, сама ты знаешь, не ради развлечения. Да и весна в деревне не столь уж приятна, как тебе кажется: страдаешь и от холода и от жары, на прогулке нигде не найдешь тени, в доме нужно топить печи. Даже отец, хотя он и занят своими постройками, все жалуется, что газету доставляют сюда с запозданием, не то что в городе. Таким образом, мы только и мечтаем вернуться, и я надеюсь, что через четыре-пять дней ты меня обнимешь. Но меня беспокоит, что в четырех-пяти днях так много часов и что немало из них будет принадлежать твоему философу. Понимаешь, сестрица? Ты подумай только, ведь каждый час будет ему благоприятен!

Пожалуйста, не красней и не потупляй глаза. Не напускай на себя важность,— она не идет к твоим чертам. Ведь ты знаешь, что я смеюсь, даже когда проливаю слезы, но это не значит, что я не чувствительна, не тоскую в разлуке с тобой; не значит, что я не горюю о кончине бедняжки Шайо. Бесконечно благодарна тебе за то, что ты хочешь разделить со мною заботы о ее близких, я и так не покину их до конца жизни, но ты изменила бы себе самой, упуская случай для доброго дела. Я согласна, наша славная Шайо была болтушкой, вела вольные разговоры, не очень-то была сдержана в присутствии девиц и любила поговорить о своем прошлом. Поэтому я сокрушаюсь не столько о качествах ее ума, хотя среди них наряду с плохими были и превосходные,— я оплакиваю доброе ее сердце, бескорыстную привязанность ко мне, сочетание материнской нежности и сестринской доверчивости. Она заменяла мне семью,— мать свою я едва помню, отец любит меня, насколько он способен любить; мы потеряли твоего милого брата, своих я почти никогда не вижу. Я будто покинутая всеми сирота. Родная моя, теперь ты у меня одна на свете, ибо твоя добрая мать и ты — одно целое. Однако ж ты права. Ведь у меня остаешься ты, а я плакала! Я просто сошла с ума,— что мне плакать!

P. S. Опасаюсь случайностей и адресую письмо нашему учителю — так оно вернее дойдет.

## ПИСЬМО VIII[1]

*К Юлии*

Как прихотлива любовь, о прекрасная Юлия! Сердцу моему даровано больше, чем оно ожидало, а оно все недовольно! Вы любите меня, вы говорите мне об этом, а я вздыхаю! Неблагодарное сердце смеет желать большего, когда желать уже нечего; его причуды терзают меня и не дают насладиться счастьем. Не думайте, будто я позабыл о законах, предписанных мне, или не желаю их соблюдать; нет, но тайная досада волнует меня, когда я вижу, что законы эти тяжки для меня одного, а вы,— та, которая уверяла меня в своей слабости, вы ныне так сильны; ведь мне даже мало приходится бороться с собой, ибо вы предупреждаете всякий повод к этому.

Как вы изменились за два месяца, хотя ничто, кроме вас, не изменилось! Исчезла томность, нет и в помине дурного расположения духа или уныния; былою прелестью дышит все существо ваше; воскресли все ваши чары — распустившаяся роза не так свежа, как вы; снова блистаете вы остроумием; со всеми шутите, даже со мной шаловливы, как прежде; и что досаднее всего — вы так весело клянетесь мне в вечной любви, будто говорите о забавнейшей вещи в мире.

Скажите, ветреница, скажите, разве это свидетельствует о всепокоряющей страсти, вынужденной бороться с собою, и разве необходимость подавить в себе даже самую ничтожную прихоть не омрачила бы вашего веселого расположения духа? О, раньше вы были гораздо милее, хотя и не так дивно хороши. Мне жаль былой трогательной бледности, этого бесценного залога счастья для того, кто любит, я ненавижу здоровый румянец, покрывший ваши щечки, в ущерб моему покою. Да, я предпочел бы видеть вас измученной недугом, нежели смотреть на довольное ваше лицо, блестящие глаза, свежие краски и ощущать в сердце жестокую боль. Значит, вы уже не помните, какой вы были, когда умоляли меня о милосердии! О, Юлия, Юлия! Как быстро успокоилась ваша пылкая любовь!

Но еще более оскорбляет меня то, что, предавшись моей воле, вы будто остерегаетесь меня и избегаете опасностей, словно они вам еще страшны. Так-то вы уважаете мою сдержан-

---

[1] Здесь чувствуется пробел, и это будет часто встречаться на протяжении всей переписки. Многие письма потеряны; иные уничтожены; в иных есть вымаранные места,— однако же все самое главное можно легко восполнить с помощью того, что осталось.

ность! Заслужил ли я за свое благоговение такую обиду? После отъезда вашего отца мы не только не пользуемся бо́льшей свободой, но, напротив, теперь мы почти не видимся наедине. Вы неразлучны с кузиной, она от вас не отходит ни на шаг. Так мы возвратимся, пожалуй, к прежнему образу жизни и будем по-старому всего остерегаться, с тем лишь различием, что прежде это было вам в тягость, а ныне вам нравится.

Какую же награду за свою безупречную почтительность я получу, если нет в вас ко мне уважения! Во имя чего осуждать себя на вечное и добровольное отречение от радостей жизни, если та, которая требует этого, так неблагодарна? О, я устал от напрасных страданий, от того, что обрек себя жестоким лишениям, не надеясь на награду. Как! Вы будете безнаказанно хорошеть и презирать меня? Ужели мне только и суждено, что пожирать взглядами ваши прелести, не смея прикоснуться к ним устами? Ужели, наконец, я должен сам отказываться от всякой надежды и даже не заслужу уважения за такую мучительную жертву? Нет, раз вы не полагаетесь на мое слово, я не хочу больше исполнять его: несправедливо, чтобы залогом вашей безопасности было и мое честное слово, и ваши предосторожности. Либо вы слишком неблагодарны, либо я слишком щепетилен. Я не желаю более отказываться от счастливых случайностей, даруемых судьбой, помешать ей вы не можете. И, наконец, будь что будет, я чувствую, что взял на себя непосильное бремя. Итак, Юлия, оберегайте себя сами, я не отвечаю за сокровище, которое стало слишком большим искушением для его верного хранителя, а вашему сердцу сберечь его будет не так уж трудно, как вы твердили в притворном страхе.

Да, я не шучу: отныне полагайтесь на самое себя — или же прогоните меня прочь, иначе говоря, лишите меня жизни. Я взял на себя безрассудное обязательство. И я поистине удивлен, что выполнял его так долго. Знаю, что обязан так поступать и впредь, но, право, мне это не под силу. Тот, кто взвалил на себя такое опасное бремя, обречен на падение. Верьте мне, дорогая и нежная Юлия, верьте моему чувствительному сердцу, которое бьется лишь ради вас; оно всегда будет вас боготворить. Но я боюсь потерять голову в упоении страсти, свершить злодейство, которому ужаснулся бы сам, обретя хладнокровие. Счастливый тем, что не обманываю ваших ожиданий, я боролся с собою два месяца, а заслуживаю от вас награду за целых два века страданий.

## ПИСЬМО IX

*От Юлии*

Понимаю: наслаждаться порочными утехами, но слыть добродетельным — вот когда б вы были довольны! В этом и заключается ваша нравственность? Быстро же прискучило вам великодушие, друг мой! Чем же оно было, как не притворством! Странное проявление привязанности — вы сетуете на то, что я здорова! Или вы надеялись, что безумная страсть в конце концов истощит меня, ждали, что я стану умолять вас спасти мне жизнь? А может быть, все рассчитав, вы решили меня уважать лишь до той поры, пока я буду неприступна, но отказаться от уважения, когда я стану более любезной? В подобных жертвах я не вижу заслуги.

Несправедливо и упрекать меня за то, что я стараюсь спасти вас от тяжкой борьбы с самим собою, вам следовало бы, напротив, лишь благодарить меня. Вместе с тем, отрекаясь от обязательств, которые вы взяли на себя, вы ссылаетесь на их непосильную трудность. Итак, в одном и том же письме вы жалуетесь и на то, что тяготы ваши слишком велики, и на то, что их вам облегчают. Подумайте хорошенько обо всем этом да постарайтесь избегнуть противоречий с самим собою, придайте своим вымышленным горестям хотя бы менее вздорный оттенок. А всего лучше, оставьте такое притворство, оно не свойственно вашей натуре. Что бы вы ни говорили, ваше сердце довольно моим, хоть и не выказывает этого. Неблагодарный, вы хорошо знаете, что мое никогда не провинится перед вами! Само письмо ваше своей игривостью уличает вас, да и вы не были бы так остроумны, если б тревожились о себе; но, пожалуй, довольно тщетных попреков на ваш счет, перейдем к тем, которые относятся ко мне и на первый взгляд как будто лучше обоснованы.

Безмятежная и тихая жизнь, которую мы ведем вот уже два месяца, не согласуется с моим признанием, и, говоря откровенно, вас не без причины поражает это противоречие. Вначале вы видели, в каком я была отчаянии; сейчас вы находите, что я слишком спокойна. Поэтому вы и обвиняете меня в том, что мои чувства поверхностны, что сердце мое изменчиво. Ах, друг мой, не слишком ли вы сурово судите? Не один день нужен, чтобы все это узнать. Подождите — быть может, вы сочтете, что любящее вас сердце достойно вашего.

Если б вы поняли, как испугали меня первые проявления моего чувства к вам, вы бы могли судить о том смятении,

какое меня охватило. Воспитана я в столь строгих правилах, что чистейшая любовь представлялась мне верхом бесчестия. Все меня учили, все внушали, что чувствительная девушка погибла, если хоть слово любви слетит с ее уст. В моем смятенном воображении грех и нежное признание сливались воедино, этот первый шаг внушал мне такой ужас, что, по моим понятиям, он сразу привел бы к последнему шагу. Неуверенность в себе множила мои тревоги, в голосе скромности мне слышалось веление целомудрия. Меня мучило желание высказаться, а я принимала эти муки за вспышки страстного влечения. Я думала, что погибну, как только произнесу слова признания, а признаться было нужно, иначе я потеряла бы вас. И вот, не в силах скрывать свои чувства, я воззвала к благородству ваших чувств и, полагаясь более на вас, нежели на себя, решила призвать на помощь вашу честь и обрести силу, которой, как мне казалось, я обделена.

Я убедилась в том, что это был самообман. После моего признания мне стало легче, а как только вы мне ответили, я и вовсе успокоилась. Два же месяца испытаний показали, что если моему нежному сердцу нужна любовь, то чувствам моим ничуть не нужен любовник. Судите сами — ведь вы такой почитатель добродетели! — как меня обрадовало это счастливое открытие. Я вышла из бездны стыда, куда низвергли меня страхи, и упиваюсь восхитительным наслаждением чистой любви. Состояние это — радость моей жизни; оно сказалось и на расположении моего духа, и на здоровье. Нельзя представить себе ничего более сладостного,— согласие между любовью и невинностью кажется мне блаженством земного рая.

С той поры я перестала вас бояться, однако стараюсь не бывать с вами наедине,— не только ради себя, но и ради вас, ибо ваши взоры и вздохи свидетельствуют о порывах страсти, а не о благоразумии; и если вы забыли о добровольном обете, то я о нем никогда не забуду.

Ах, друг мой, отчего я не могу вдохнуть в вашу душу блаженство и покой, которые царят в моей душе! Отчего не могу научить вас безмятежно наслаждаться этим отраднейшим состоянием! Вся прелесть союза сердец для нас — в сочетании с прелестью невинности. Ничто — ни страх, ни стыд — не смущает наше блаженство; вкушая истинные радости любви, мы можем не краснея говорить о добродетели:

E v'è il piacer con l'onestade accanto [1].

---

[1] И здесь наслаждение сочетается с честностью *(итал.)*.

Но какое-то печальное предчувствие теснит грудь мою и твердит, что небо судило нам вкушать счастье лишь в эти немногие дни. Я предвижу в грядущем одни лишь бури, разлуку, тревоги и преграды. Любая перемена в нашем нынешнем положении, по-моему, не приведет к добру. И если бы узы более нежные соединили нас навсегда, боюсь, что такой избыток счастья развеял бы скоро во прах и само счастье! Миг обладания — решительный миг, и для нашей любви всякие перемены опасны: мы можем лишь ее утратить.

Заклинаю тебя, мой нежный и единственный друг, укроти свои тщетные безумные желания, ведь за ними всегда следуют сожаление, раскаяние, тоска. Будем же безмятежно наслаждаться настоящим нашим положением. Тебе приятно заниматься со мной науками, и ты отлично знаешь, как мне отрадны твои уроки. Пусть они станут еще чаще, будем разлучаться лишь ради благопристойности. Те минуты, когда нам нельзя видеться, посвятим нашей переписке. Не будем же упускать драгоценного времени — быть может, когда-нибудь мы пожалеем, что оно миновало. Ах, пусть все так и останется до конца наших дней! Ум становится изощреннее, суждения яснее, душа укрепляется, сердце блаженствует! Чего нам недостает для счастья?

## ПИСЬМО X

*К Юлии*

Вы правы, Юлия, я вас совсем не знаю! Мне казалось, будто мне известны все сокровища вашей души, но я без конца открываю новые. Есть ли на свете женщина, которая, подобно вам, сочетала бы нежность и добродетель и, умеряя одну другою, придала бы им такое очарование? В этом благоразумии, сокрушающем меня, есть что-то пленительное, что-то неотразимое, и вы столь мило скрашиваете те лишения, на которые меня обрекаете, что они чуть ли не становятся мне дороги.

С каждым днем я все сильнее чувствую, что любовь ваша — величайшее благо; ничего равного ей нет и быть не может; и если б мне даже пришлось выбирать между вашим сердцем и правом обладать вами, прелестная Юлия, я бы ни секунды,— да, ни секунды не колебался. Но чем может быть вызвана необходимость произвести этот горестный выбор? Зачем полагать несовместимым то, что соединила сама природа? Время дорого, будем радоваться тому, что у нас есть, говорите вы,

не надо нетерпеливо нарушать его спокойное течение. Что ж, пусть проходят дни и будут безмятежны! Но, радуясь своему приятному уделу, следует ли забывать о лучшем уделе и предпочитать покой высшему блаженству? Разве не теряешь время, не умея им лучше воспользоваться? Ах, если хочешь прожить тысячу лет в четверть часа, к чему уныло считать оставшиеся дни?

Спору нет, вы правы, говоря, что мы ныне в счастливом положении. Признаю, нам должно быть счастливыми, а между тем я не испытываю счастья! Вашими устами гласит благоразумие, но тщетно! — голос природы громче. Как противиться ему, когда он созвучен с голосом сердца? Ничто, ничто на свете, кроме вас одной, не способно завладеть моей душою и чувствами: нет, без вас природа для меня ничто, но ее власть — в вашем взоре, и тут она непобедима.

Вы смотрите на мир иначе, божественная Юлия! Вы плените чувства других, но вам не нужно бороться со своими. Очевидно, человеческим страстям недоступна столь возвышенная душа; вы прекрасны, как ангел,— и ангельски чисты. О, чистота, перед которой я, рохля, преклоняюсь! Почему, Юлия, не могу я заставить вас сойти с ваших высот, не могу сам возвыситься до вас! Но нет, мой вечный удел — ползать по земле, а ваш — сиять в небесах. Ах, будьте счастливы, нарушив мой покой; наслаждайтесь своими добродетелями, и да погибнет презренный смертный, если он посягнет на одну из них. Будьте счастливы; я постараюсь не думать о том, как я жалок, и ваше счастье облегчит мне страдания. Да, дорогая возлюбленная, мне кажется, что любовь моя так же совершенна, как обожаемый ее предмет; все мои желания, воспламененные вашей прелестью, угасают, они покорены совершенствами вашей души; ведь она так безмятежна, что я не решаюсь смутить ее покой. Всякий раз, когда, поддавшись искушению, я готов украдкой похитить у вас мимолетную ласку, меня удерживает не только боязнь вас оскорбить,— еще сильнее страшится мое сердце нарушить столь непорочное блаженство. Я думаю лишь о том, чего будут вам стоить те радости, которых я так жажду, и, не умея сочетать свое счастье с вашим, я отрекаюсь от своего,— судите сами, как я люблю вас!

Сколько непонятных противоречий в чувствах, которые вы мне внушаете! Я покорен и дерзок, неистов и сдержан,— стоит мне взглянуть на вас, и во мне начинается душевная борьба. Ваши взоры, голос наполняют мое сердце любовью, и так трогательно обаяние невинности, что жаль разрушать эти божест-

венные чары. Когда вас нет со мною, я лелею дерзкие надежды; не смея говорить вам о своих желаниях, я обращаю их к вашему образу, и он расплачивается за сдержанность, которую я вынужден выказывать вблизи вас.

Между тем я томлюсь, я сгораю. По жилам моим течет огонь, ничто не может ни потушить его, ни утолить; я стараюсь сдержать его, а он от этого становится еще яростнее. Я должен почитать себя счастливым, я счастлив — не спорю, я не жалуюсь на свою участь; какая она ни есть, я бы не поменялся ею с царями земными. И все же меня поистине терзает недуг, и я тщетно с ним борюсь. Я не хочу смерти — и все же умираю. Я хочу жить ради вас, а вы лишаете меня жизни.

## ПИСЬМО XI

*От Юлии*

Друг мой, с каждым днем я привязываюсь к вам все сильнее. Я уже не в силах расстаться с вами; даже недолгая разлука для меня невыносима, мне надобно видеть вас или писать вам, надобно всегда быть с вами.

Итак, моя любовь растет вместе с вашей; ибо теперь-то я знаю, как вы любите меня, ведь вы так искренне боитесь не угодить мне, меж тем как прежде лишь притворствовали, чтобы достигнуть своей цели. Я отлично вижу, какую власть взяло ваше сердце над разгоряченным воображением; по-моему, во сто крат больше страсти в нынешней вашей сдержанности, нежели в первоначальном пыле. Я вижу также, что ваше состояние хотя и тягостно, все же не лишено радостей. Истинно влюбленному отрадно даже принесение жертв,— они зачитываются ему, и ни одна не остается без ответа в сердце, которое его любит. Впрочем, кто ведает, уж не прибегаете ли вы, зная мою чувствительность, к более тонким уловкам, чтобы обольстить меня? Но нет, я несправедлива, вы не способны лукавить со мною. Однако, будь я благоразумна, я бы еще более остерегалась жалости, нежели любви. Меня гораздо сильнее трогает ваше уважение, чем восторги, и я боюсь, что ваше самое честное решение окажется самым опасным.

Должна открыть свою душу и высказать мысль, справедливость которой чувствую всем своим сердцем,— да и ваше сердце подскажет вам ее: вопреки неравенству нашего положения, вопреки родителям и нам самим, судьбы наши соединены навек, и теперь мы всегда должны быть вместе и в

счастье и в горе. Наши души, так сказать, соприкасаются во всех точках, и мы везде чувствуем силу сцепления (поправьте меня, друг мой, если я некстати применяю ваши уроки физики). Судьба, быть может, и разлучит нас, но ей никогда нас не разъединить. Отныне мы будем радоваться одной радостью, печалиться одной печалью, и, как в предании, которое вы рассказывали, двое любовников испытывают одинаковые движения души, даже вдали друг от друга,— так и нас будут волновать те же чувства, хотя бы мы с вами и находились на противоположных концах света.

Отбросьте всякую надежду, если она у вас была, что вам удастся составить свое счастье ценою моего. Не надейтесь: если я утрачу честь, оно для вас невозможно, вы не в силах будете спокойно взирать на мой позор и слезы. Верьте мне, друг мой, я лучше знаю ваше сердце, чем вы сами. Нежная и искренняя любовь должна научиться управлять желаниями; но если вы будете настаивать, вы погубите себя и, доверившись мое несчастье, будете сами несчастны.

Предоставьте мне заботы о нашей общей судьбе — мне бы хотелось внушить вам, как это важно для нас обоих. Неужто вы сомневаетесь, что я люблю вас больше жизни, неужто воображаете, что для меня существуют радости, которых вы бы не разделили? Нет, друг мой, у меня те же стремления, что и у вас, но чуть-чуть больше рассудка, и я могу управлять ими. Согласна, я моложе вас, но разве вы не замечали, что, хотя женский рассудок обычно уступает мужскому в силе и скорее теряет остроту, зато складывается он раньше, подобно тому как хрупкий подсолнечник вырастает и погибает быстрее дуба. С юных лет приходится нам оберегать то, что так легко утратить, и эти заботы рано пробуждают в нас здравый смысл: живо чувствовать опасности, которым мы подвергаемся,— наилучший способ верно судить о последствиях того, что происходит. Чем больше я размышляю о нашем положении, тем яснее вижу, что сам здравый смысл требует от вас жертвы, которой я прошу от имени любви. Так покоритесь ее нежным увещеваниям и дозвольте вести вас другому,— увы, тоже слепцу, но по крайней мере не потерявшему надежной опоры.

Не знаю, друг мой, обретут ли наши сердца счастье, поймут ли они друг друга и разделите ли вы, читая эти строки, нежное волнение, которое их продиктовало. Не знаю, придем ли мы к согласию во взглядах и чувствах, но хорошо знаю одно: надобно предпочесть мнение того из нас, кто свое счастье не отделяет от счастья другого.

## ПИСЬМО XII

*К Юлии*

Как умиляет ваше простодушное письмо, дорогая Юлия! Как чувствуется в нем ясность невинной души и нежная заботливость любви! Ваши мысли изливаются безыскусно и свободно; они оказывают на сердце чудесное действие, какого никогда не окажет вычурный слог. Вы приводите неопровержимые доводы с такою простотой, что над ними следует задуматься, чтобы понять всю их силу, и высокие чувства для вас так естественны, что ваши суждения легко могут показаться общепринятыми истинами. Разумеется, лишь вам надлежит управлять нашими судьбами, и это не только право, которое я предоставляю вам, а ваш долг, к которому я вас призываю, это справедливость, о коей прошу, и ваш рассудок должен вознаградить меня за ущерб, причиненный вами моему рассудку. Отныне я вручаю вам до конца моей жизни власть над моей волей: располагайте мною как человеком, у которого уже нет ничего своего, все существо которого принадлежит вам одной. Не сомневайтесь, я не изменю своему слову, подчинюсь вашему любому велению. И тогда, стану ли я лучше, станете ли вы счастливее,— в любом случае я буду вознагражден за послушание. Итак, смело вручаю вам заботу о нашем общем счастье, создайте его для себя — это все, что требуется. А мне, тому, кто не в силах ни на миг забыть вас или подумать о вас без восторга, который надо подавлять, мне предстоит лишь творить вашу непреклонную волю.

За год занятий мы только и делали, что читали без всякой системы и почти без выбора, скорее угождая вашему вкусу, нежели его развивая. Впрочем, мы находились в таком душевном смятении, что нам трудно было сохранить ясность мысли. Взор не мог сосредоточиться на книге, уста произносили слова, но внимание отвлекалось. Ваша сестрица, не столь рассеянная, вечно упрекала нас в неумении углубиться в предмет и, обгоняя нас, гордилась этой нетрудной победой. Она незаметно стала учителем учителя, и хотя мы иногда смеялись над ее самоуверенностью,— в сущности, из нашей троицы только она и получила кое-какие знания.

Итак, чтобы наверстать потерянное время (ах, Юлия, да было ли оно когда-нибудь потрачено лучше!), я придумал план, который благодаря своей методе, пожалуй, восполнит брешь в наших познаниях, нанесенную рассеянностью. Посылаю его

вам; в скором времени мы его прочтем вместе, а пока я ограничиваюсь лишь небольшими замечаниями.

Если бы мы, мой нежный друг, задались целью выставлять напоказ свою ученость и приобретать знания для других, а не для самих себя, моя метода никуда не годилась бы, ибо она стремится извлечь малое из многого и выбрать основное из множества сочинений. Наука в большинстве случаев подобна монете, которая при всей ценности своей содействует благосостоянию только тогда, когда ее пускаешь в оборот, и годится лишь при сношениях между людьми. Лишите наших ученых удовольствия рассуждать перед слушателями, и науки перестанут их привлекать. Они копят знания у себя в кабинете с единственной целью — расточать их перед публикой; одного они жаждут — прослыть мудрецами и, конечно, не стремились бы к знаниям, если б лишились почитателей [1]. Мы же, стремясь воспользоваться знаниями, накапливаем их не ради того, чтобы перепродавать, а чтобы обратить себе на пользу; не ради того, чтобы обременять себя, а чтобы ими питаться. Читать не много, но много размышлять о прочитанном, или, что одно и то же, подолгу беседовать друг с другом — вот средство, помогающее лучше усвоить знания. Когда у человека есть понятливость, развитая привычкой к размышлению, то, полагаю, гораздо лучше своим умом доискиваться до всего, что можно найти в книгах,— верный способ применить знания к своему образу мыслей и овладеть ими! А вместо этого мы их получаем готовыми и почти всегда в чуждой нам форме. Мы гораздо богаче, чем полагаем, но, как говорит Монтень, нас одевают в долг и с чужого плеча, приучают пользоваться подачками, а не своим добром. Или, вернее, мы беспрестанно копим, не смея ни к чему притронуться,— мы уподобляемся скупцам, которые только и думают, как бы наполнить свои амбары, и на лоне изобилия умирают с голоду.

Согласен, на свете найдется немало людей, коим прибегать к этой методе было бы весьма вредно и, напротив, надобно больше читать и меньше размышлять, ибо в голове у них такая несуразица, и хуже того, до чего они сами додумаются, не найти. Вам же я предлагаю иное — ведь вы умеете вложить в прочитанное еще и свой, лучший смысл, и ваш живой ум создает как бы вторую, подчас лучшую книгу. Так станем же обмени-

---

[1] Так думал сам Сенека. «Если б мне даровали знания,— говорил он,— с условием не обнаруживать их, я бы от них отказался». О возвышенная философия! Вот какова ты на деле!

ваться мыслями: я буду рассказывать вам, что думали другие, а вы будете мне рассказывать, что вы сами думаете об этом предмете, и порою, закончив урок, я уйду более просвещенный вами, нежели вы мной.

Чем меньше вы будете читать, тем тщательнее следует выбирать книги. И вот на чем зиждется мой выбор. Главная ошибка учащихся, как я только что сказал, в том, что они слишком доверяют книгам и недостаточно пользуются своим умом, не помышляя, что собственный наш разум почти всегда обманывает нас меньше, чем все другие софисты. Стоит углубиться в себя, и сразу угадаешь доброе и отличишь прекрасное; не надо учить нас пониманию того или другого, ибо каждый из нас только тогда обманывается, когда желает обмануться. Но высшие примеры доброго и прекрасного встречаются реже и менее известны; их приходится искать вдали от нас. Из тщеславия мы мерим сильные характеры по нашим слабостям и считаем пустой выдумкой те достоинства, коих за собой не знаем; из лени и порока утверждаем, что достоинства эти мнимые, а ведь, по мнению человека ничтожного, то, чего не встречаешь ежедневно, не встречаешь никогда. Вот это заблуждение и следует опровергнуть. Нужно приучить себя чувствовать и видеть великое, дабы лишить себя оправдания в том, что не подражаешь ему. Душа возвышается, сердце воспламеняется от созерцания божественных образцов; чем больше размышляешь о них, тем больше стремишься уподобиться им, и все посредственное уже внушает тебе невыносимое отвращение.

Не станем же в книгах искать начал и правил, которые скорее обретешь внутри самого себя. Пренебрежем всеми этими пустыми спорами философов о счастье и добродетели, а время, которое они тратят на тщетные поиски путей к тому и другому, употребим на то, чтобы стать добрыми и счастливыми. Постараемся подражать великим примерам, а не следовать бесполезным системам.

Я всегда думал, что добро — это лишь прекрасное, претворенное в действие, что они тесно связаны и в совершенной человеческой натуре их питает один и тот же источник. Сообразно такой мысли, вкус следует совершенствовать при помощи тех же средств, что и благонравие, и если прелесть добродетели глубоко трогает души, то они должны в равной степени быть чувствительны ко всем другим родам красоты. Мы упражняем как зрение, так и чувство; или, лучше сказать, верное зрение есть не что иное, как тонкое и острое чувство. Так, художник, увидев прекрасный ландшафт или прекрасную

картину, приходит в восторг от таких предметов, на которые заурядный зритель не обратит внимания. Сколь многое воспринимается лишь чувством, в котором невозможно отдать себе отчет! Как много неопределенных оттенков улавливаем мы то и дело, повинуясь лишь указаниям вкуса! Вкус — это своего рода микроскоп для суждения; благодаря ему становится возможно распознать малое, и его действие начинается там, где прекращается действие суждения. Что же нужно для развития вкуса? Нужно так же учиться видеть, как учиться чувствовать; судить о прекрасном, полагаясь на изощренное зрение, как о добром — полагаясь на чувство. Да, я даже утверждаю, что не всякому сердцу дано почувствовать волнение при первом взгляде на Юлию.

Вот почему, моя прелестная ученица, я ограничиваю все ваши занятия чтением книг нравственных и отмеченных хорошим вкусом. Вот почему, сведя свою методу к наглядным примерам, я предлагаю вам не определение добродетелей, а только образы людей добродетельных, не правила хорошего слога, а только книги, написанные хорошим слогом.

Не удивляйтесь же, что я сделал кое-какие изъятия из того, что мы читали прежде; надобно уменьшить количество книг, чтобы читать с пользой,— таково мое убеждение; с каждым днем я все яснее вижу — лишь то, что говорит душе, достойно вашего изучения. Мы отменяем занятия языками, оставим лишь итальянский, ибо вы его знаете и любите. Откажемся и от начальной алгебры и геометрии. Мы простились бы и с физикой, если бы у меня хватило духу лишить вас терминов, которые вы из нее черпаете. Мы навсегда откажемся от новой истории, за исключением истории нашего отечества, да и то лишь потому, что в нашей стране царят свобода и простота, что здесь и в новые времена еще встречаются люди, отмеченные добродетелями древних. Только не слушайте тех, кто уверяет, будто для каждого человека всего увлекательнее история его отечества. Это неправда. Есть страны, историю которых просто нет силы читать, если ты, конечно, не глупец и не дипломат. Увлекательнее всего та история, в которой найдешь больше наглядных примеров добрых нравов, разнообразных характеров,— одним словом, того, что служит поучению. Кое-кто вам скажет, будто у нас этого не меньше, чем у древних. Это неправда. Откройте-ка новую историю, и тем, кто так говорит, придется замолчать. В наше время народы безлики, им не нужны живописцы, в наше время правители бесхарактерны, им не нужны историки: достаточно знать, какое положение

занимает человек, чтобы предвидеть, что он совершит. Вам скажут, будто у нас нет хороших историков, но спросите — отчего? Все это неправда. Дайте предмет для хорошей истории, и хорошие историки найдутся. Вам, наконец, скажут, будто люди во все времена одинаковы, что у всех те же добродетели и те же пороки, а древними восхищаются лишь потому, что они древние. Это тоже неправда, ибо встарь совершали великие дела малыми средствами, а ныне — делают наоборот. Древние были современниками своих историков и тем не менее научили нас ими восторгаться. Без сомнения, если наши потомки и станут восторгаться нашими историками, то не мы их этому научим.

Я оставил в угоду вашей неразлучной подруге кое-какие занимательные книжки,— для вас я бы их не оставил. Кроме творений Петрарки, Тассо, Метастазио и великих французских драматургов, в моем плане нет стихов, нет и книг о любви, которые обычно дают читать представительницам вашего пола. Да что мы узнаем о любви из этих книжек? Ах, Юлия, наше сердце поведает нам гораздо больше,— напыщенный книжный язык холоден для влюбленных. Кроме того, такое чтение напрасно возбуждает душу, изнеживает ее и лишает твердости. Истинная же любовь, напротив,— всепожирающий огонь, он воспламеняет другие чувства и вдыхает в них новые силы. Вот почему и говорят, что любовь создавала героев. Счастлив тот, кому судьбой предназначено стать героем и чьей возлюбленной будет Юлия!

## ПИСЬМО XIII

*От Юлии*

Ведь я говорила вам, что мы были счастливы; и лучшее доказательство этому тоска, которая охватывает меня при недолгой разлуке. Если б у нас были беды потяжелее, ужели мы страдали бы, расставшись на два дня? Я говорю — мы, ибо знаю, что мой друг разделяет со мной нетерпеливое ожидание; разделяет, я это чувствую, и он сам чувствует: ему нет нужды говорить мне об этом.

Мы в деревне лишь со вчерашнего вечера, и еще не настал час нашей обычной встречи, однако ж от самой перемены места наша разлука мне еще несноснее. Если б вы не запретили мне геометрию, я бы сказала, что тоска моя прямо пропорциональна разделяющему нас времени и расстоянию

между нами; ибо, по-моему, чем дальше мы друг от друга, тем горше разлука.

Я привезла сюда ваше письмо вместе с планом занятий и, решив подумать и над тем и над другим, уже дважды перечитала письмо. Последняя фраза меня бесконечно умиляет. Вижу, друг мой, что ваша любовь — любовь истинная, ибо пока она не отвратила вас от благородных деяний и ваше чувствительное сердце еще способно приносить жертвы во имя добродетели. В самом деле, просвещать женщину, желая развратить ее,— гнуснейшее обольщение, а кто хочет романами растрогать ее сердце, тот, значит, не может этого добиться собственными силами. Если б вы толковали философию себе на пользу, если б попытались внушить принципы, выгодные лишь вам, желая ввести меня в заблуждение, я быстро бы вас разгадала; но вы этого не делаете — вот что всего опаснее и обольстительнее. Как только мое сердце стало жаждать любви и я почувствовала стремление к вечной привязанности, я начала умолять небо, чтобы оно соединило меня не просто с милым человеком, но с человеком, обладающим прекрасной душой, ибо я хорошо знаю, что из всех благ, дарованных человеку, только она не принесет разочарования и что прямота и благородство украшают все чувства, с которыми сочетаются. В награду за добрые побуждения я получила, подобно царю Соломону, не только просимое, но и то, о чем даже не просила. В этом я вижу хорошее предзнаменование для всех своих заветных желаний и не теряю, друг мой, надежды в один прекрасный день сделать вас счастливым, как вы того заслуживаете. Путь к этому долог, труден, неверен; препятствия огромны. Не смею загадывать, но верьте: я добьюсь всего, чего в силах достигнуть любовь и терпенье. А вы, как прежде, старайтесь угодить моей матушке; когда же вернется отец, решивший после тридцатилетней службы выйти наконец в отставку, вам придется сносить надменность старого дворянина, человека грубоватого, но с благородной душой,— он полюбит вас, не выказывая желания обласкать, и будет уважать вас, не распространяясь об этом.

Я прервала письмо — захотелось побродить по рощицам, неподалеку от нашего дома. О желанный друг! Я и тебя повела с собою — вернее, унесла в душе твой образ: я выбирала места, которые мы посетим вдвоем, я облюбовывала уголки, достойные приютить нас; сердце у нас заранее переполнялось восторгом в очаровательных приютах уединения, где еще упоительней становилась радость нашей встречи; они же, в свою очередь, делались еще краше, дав убежище двум истинно любящим сердцам,

и я дивилась тому, как же я до сих пор не примечала тех красот, которые обрела, оказавшись там вместе с тобою!

Среди естественных рощиц, разбросанных по этим прелестным местам, есть одна, всех прелестней, где мне дышится вольнее всего, и вот что я придумала: там будет ждать моего друга сюрприз. Пусть же он не твердит, что всегда бывает почтителен, а я никогда не бываю великодушна. Пусть он здесь и почувствует, насколько, вопреки пошлым предрассудкам, дар сердца ценнее добычи, взятой насильно. Впрочем, боюсь дать волю вашему чересчур пылкому воображению и предупреждаю, что в рощу мы пойдем в сопровождении «неразлучной».

Кстати, вот что мы с ней решили: если вам не очень трудно, навестите нас в понедельник. Матушка пошлет коляску за сестрицей; будьте у нее в десять часов; сестрица вас привезет, вы проведете с нами весь день, и мы все вместе вернемся во вторник, после обеда.

Я написала эти строки и призадумалась: как передать вам письмо? Здесь это не так просто, не то что в городе. Сперва я придумала было послать вам одну из ваших книг с Гюстеном, сыном садовника,— вложить в книжку письмо и обернуть все в бумагу. Но вы вряд ли догадаетесь, искать не станете, а вдобавок было бы непростительной неосторожностью подвергать случайностям судьбу всей нашей жизни. Поэтому я ограничусь запиской о встрече в понедельник, а письмо оставлю и передам вам из рук в руки. К тому же и забот поубавится: не стану раздумывать о том, что вы вообразили о загадочном сюрпризе в роще.

## ПИСЬМО XIV

*К Юлии*

Что ты сделала, ах, что же ты сделала, моя Юлия! Хотела наградить меня, а вместо этого — погубила. Я охмелел — вернее, я обезумел. Чувства мои в смятении, ум помутился, и всему виною твое губительное лобзание! И этим ты хотела облегчить мои муки? Жестокая! Ты сделала их еще нестерпимей. Из уст твоих я испил яд; он волнует, зажигает кровь, убивает меня, и состраданье твое грозит мне смертью.

О, неизгладимое воспоминание об этом миге сказочного самозабвения и восторга! Нет, никогда, никогда ты не исчезнешь из души моей, и, пока в ней запечатлен чарующий образ Юлии, пока неспокойное сердце трепещет и страдает, ты будешь мукой и счастьем всей моей жизни.

Увы! Я наслаждался мнимой безмятежностью; подчиняясь твоей верховной воле, я не роптал на судьбу, руководить которой ты великодушно согласилась. Я обуздал страстные порывы дерзкого воображения; накинул завесу на свои взоры и наложил оковы на сердце; я научился сдерживать пыл своих речей; я был доволен насколько мог. И вот получаю твою записку, лечу к твоей кузине; мы приезжаем в Кларан, я вижу тебя, и сердце мое трепещет; я слышу нежные звуки твоего голоса, и оно бьется еще сильнее; подхожу к тебе, будто завороженный; и, не приди на помощь твоя кузина, мне не удалось бы скрыть волнение от твоей матери. Мы втроем прогуливаемся по саду, мирно обедаем; ты украдкой передаешь мне письмо, но я не смею прочесть его на глазах опасного свидетеля; солнце уже клонится к закату, мы бежим в рощу, скрываясь от последних его лучей,— и в наивной безмятежности своей я не могу представить себе ничего сладостнее столь блаженного состояния.

Еще на опушке я не без тайного волнения увидел, что вы с кузиной подаете друг другу какие-то знаки, улыбаетесь, и вдруг ты заливаешься ярким румянцем. Входим в рощу, и, к моему удивлению, твоя сестрица приближается ко мне и с шутливым видом просит поцеловать ее. Ни о чем не догадываясь, я поцеловал твою прелестную подругу, но, как она ни мила, как ни обворожительна, я понял тогда, что чувством любви повелевает сердце. Но что сталось со мной спустя мгновение, когда я почувствовал... перо дрожит в моей руке... сладостный трепет; твои уста, подобные лепесткам розы... уста Юлии прикоснулись, прильнули к моим устам, ты прижалась ко мне в тесном объятии! Нет, молния не вспыхивает так внезапно и так ярко, как тот огонь, что мгновенно воспламенил меня! Всем существом я почувствовал твою восхитительную близость. Жаркие вздохи срывались с наших пылающих уст, и сердце мое замирало от нестерпимой неги, когда вдруг я увидел, что ты побледнела, дивные очи закрылись и ты, припав к плечу своей сестрицы, потеряла сознание. Страх за тебя сковал душу, вкусившую блаженство, и счастие погасло, как вспышка молнии.

Не пойму, что происходит со мной с того рокового дня. Впечатление глубоко врезалось в мою память и никогда не изгладится. Так это — милость?! Нет, это несказанные муки! Не лобзай же меня больше... я не перенесу этого... твои поцелуи так жестоко ранят, они пронизывают, впиваются и жгут до мозга костей, они сводят с ума. Одно-единое твое лобзание помутило мой разум, и мне никогда не исцелиться. Ныне я уже не тот, что прежде, и ты стала для меня иной. Да, ты для меня уже

не прежняя Юлия, недоступная и строгая,— теперь я беспрестанно ощущаю тебя у своей груди, ощущаю твои объятия, длившиеся лишь одно мгновенье. Юлия, какую бы судьбу ни сулила мне страсть, с которой я уже не в силах совладать, как бы сурова ни была ты со мною,— я не могу больше жить в таком состоянии и знаю, что придет день, и я умру у твоих ног... или в твоих объятиях.

## ПИСЬМО XV

*От Юлии*

Друг моей, нам надобно на время расстаться,— вот вам первое испытание; посмотрим, будете ли вы послушны, как обещали. Поверьте, раз я требую этого именно сейчас, значит, основания у меня веские; право, так надобно, и вы хорошо знаете, что без особых причин я на это не решилась бы, для вас же достаточной причиной должно служить мое волеизъявление.

Вы уже давно собирались совершить путешествие по горам Вале. Вот мне и хочется, чтобы вы отправились в путь немедля, до наступления холодов. Здесь еще стоят погожие осенние дни, но, смотрите, вершина Дан-де-Жамана [1] уже побелела, а месяца через полтора я не позволю вам путешествовать по столь суровому краю. Постарайтесь отправиться в путь завтра же; вы будете мне писать — адрес я прилагаю, а мне пришлите свой, когда попадете в Сион. Вы ни разу не пожелали поведать мне о состоянии своих дел. Но ведь вы вдали от родных мест; впрочем, я знаю, что и там у вас нет большого достатка; ввело вас в расходы и пребывание здесь, где вы остаетесь только ради меня. Итак, полагая, что часть содержимого моего кошелька должна принадлежать вам, посылаю в счет этого немного денег; но не открывайте шкатулку с кошельком на глазах посыльного. Не думаю, что вы станете противиться; я слишком уважаю вас и не верю, что вы способны на такой поступок.

Запрещаю вам не только возвращаться без моего приказания, но даже прийти проститься. Напишите моей матери или мне: просто оповестите нас, что вам пришлось внезапно уехать по непредвиденному делу, причем, пожалуйста, дайте мне указания, какие книги мне следует прочесть до вашего приезда. Обо всем этом надо сказать просто и без всякой таинственности. Прощайте, друг мой; не забывайте, что вы увозите с собой сердце и покой Юлии.

---

[1] Высокая гора в кантоне Во.

## ПИСЬМО XVI

*Ответ*

Я перечитываю ваше ужасное письмо, и каждая строка повергает меня в трепет. И все же я повинуюсь; обещанное до́лжно выполнять, повинуюсь. Но вы не знаете, беспощадная, вы никогда не узнаете, чего стоит моему сердцу такая жертва. Ах, незачем было вам устраивать испытание в роще,— и без того жертва была бы мучительна; утонченная жестокость, уже забытая вашей безжалостной душой, не могла усугубить мое несчастие.

Возвращаю вам шкатулку со всем ее содержимым. Присоединять к жестокости еще и унижение,— нет, это уж чересчур! Я предоставил вам право распоряжаться моей судьбой, но отнюдь не моей честью! Это — священное сокровище (увы, единственное, которое мне остается), и я никому не доверю его до конца моей жизни.

## ПИСЬМО XVII

*Возражение*

С жалостью прочла я ваше письмо: единственный раз в жизни вы написали нелепость.

Так, значит, я оскорбляю вашу честь,— а ведь ради нее я тысячу раз готова жизнь отдать! Так, значит, я оскорбляю твою честь,— а ведь ты видел, неблагодарный, что ради тебя я чуть не пожертвовала своей! В чем же твоя честь, которую я оскорбила? Отвечай, недостойное сердце! Отвечай, бесчувственная душа! Ах, как же ты жалок, если у тебя лишь та честь, о которой Юлия не ведает! Как? Ужели те, кто готов разделить и радость и горе, не смеют поделиться имуществом, и ужели того, кто утверждает, что он отдает в мои руки свою судьбу, может оскорбить мой подарок? С каких же это пор стало позором принимать дары от любимого существа? С каких пор дар любящих сердец бесчестит тех, кто его принимает? Как! Презирать человека, принимающего дар у своего ближнего? Презирать человека неимущего? Да кто же будет презирать? Одни лишь низкие души, для которых честь — это богатство, измеряют добродетель количеством золота! Разве на таких низменных правилах основана честь порядочного человека? И не склоняется ли наш разум уже заранее предпочесть того, кто беднее?

Без сомнения, есть дары унизительные, и порядочный человек их не примет. Но поймите, что они так же бесчестят и руку

дающего, а дар от чистого сердца всегда принимаешь с чистым сердцем. Таким образом, я ни в чем не могу себя упрекнуть, напротив — горжусь своим поступком [1]. Нет на свете ничего презреннее мужчины, продающего свое сердце и нежное внимание — разве только женщина, которая это покупает. А для двух сердец, связанных узами любви, общность состояния основана на справедливости и долге. У меня больше денег, чем у вас, и я без стеснения оставляю себе излишек, но считаю, что я ваша должница. Ах, если дары любви — бремя, значит, сердце человеческое не знает благодарности!

Уж не вообразили ли вы, что я нуждалась в тех деньгах, которые предназначила для ваших нужд? Сейчас я вам приведу безусловное доказательство противного. Дело в том, что в кошельке, который я вам возвращаю, в два раза больше того, что посылалось в первый раз, и я могла бы удвоить содержимое. Батюшка дает мне на расходы известную сумму, по правде говоря довольно скромную, но у меня нет нужды ее расходовать: матушка заботливо снабжает меня всем необходимым, уж не говоря о том, что у меня вдоволь кружев и вышивок своего изделия. Правда, я не всегда была так богата; роковая страсть принесла мне столько тревог, что я забросила наряды и не расходуюсь на них, как прежде; и это еще одна из причин, побудившая меня так распорядиться деньгами; следует наказать вас за все то зло, которое вы мне причинили, и только одна любовь искупит ваши проступки.

Перейдем же к главному. Вот вы сказали, что честь мешает вам принимать от меня подарки. Если так, то говорить не о чем: я согласна, вы не имеете права препоручить заботу о своей чести другому. Если вам угодно доказать это, докажите ясно, неопровержимо и безо всяких ненужных увертoк, ибо вам известно, что я не терплю софизмов. Кошелек можете вернуть; я приму его безропотно и никогда не обмолвлюсь об этом ни словом.

Но я не люблю людей мелочных и людей с ложным самолюбием, поэтому, ежели вы вторично возвратите мне кошелек, не приведя оправданий, или же станете оправдываться неубедительно, мы больше не увидимся. Прощайте. Поразмыслите обо всем этом.

---

[1] Она права. Скрытая причина, вызвавшая необходимость путешествия, говорит о том, что никогда еще деньги не были израсходованы с более достойной целью. Жаль только, что все это не принесло пользы.

## ПИСЬМО XVIII

*К Юлии*

Я принял ваш подарок; отправился в путь, не повидавшись с вами, и вот я уже далеко от вас. Довольны ли вы своей тиранической властью? Достаточно ли я послушен?

Рассказывать о путешествии нечего; пожалуй, я и сам не представляю себе, как совершил его. За эти три дня я прошел двадцать лье; с каждым шагом, отдалявшим меня от вас, я чувствовал, что душа моя готова покинуть тело, и меня томила предсмертная тоска. А ведь я намеревался писать вам обо всем, что мне доведется видеть. Тщетное намерение! Всюду мне виделись только вы, и писать вам я могу об одной лишь Юлии. Потрясения, испытанные мною одно за другим, сделали меня рассеянным; мне все казалось, будто я еще нахожусь там, где меня уже нет; мне доставало рассудка лишь на то, чтобы не сбиться с дороги и выспрашивать о ней,— так и добрался я до Сиона, не покидая Веве.

Вот каким способом удалось мне обойти ваш суровый запрет и видеть вас, не став ослушником! Да, жестокосердная, невзирая на все старания, вам не удалось меня отринуть совсем. Не весь я повлекся в изгнание, а лишь моя бренная оболочка; все, что во мне одухотворено, неотступно с вами. Дух мой безнаказанно лобзает ваши очи, уста, грудь, все прелести ваши: он, как некий пар, окутывает вас, и я так счастлив наперекор вам, как никогда не бывал по вашей воле.

Здесь я вынужден кое с кем видеться, улаживать кое-какие дела, и это приводит меня в уныние. Я нисколько не сетую на уединение: ведь оно позволяет мне думать о вас и переноситься туда, где вы находитесь. Лишь необходимость действовать, отвлекающая порою все мои силы, для меня нестерпима. Я стараюсь тогда наскоро все закончить, лишь бы побыстрее освободиться и вволю побродить по диким местам, составляющим, на мой взгляд, очарование здешнего края. Надо ото всего бежать и быть одному как перст, если не суждено быть вместе с вами.

## ПИСЬМО XIX

*К Юлии*

Ничто меня здесь не удерживает, кроме вашего повеления. Пяти дней, проведенных здесь, с избытком хватило для всех моих дел, если, впрочем, можно назвать делами то, чему чуждо

сердце. Словом, у вас не осталось ни малейшего повода держать меня в отдалении, если б не ваше желание меня помучить.

Начинаю тревожиться о судьбе своего первого письма. Оно было написано и отправлено почтой, как только я сюда прибыл; адрес списан правильно с того, что вы мне прислали, с такой же точностью я сообщил вам свой, и если б вы без промедления отправили мне ответ, то он уже дошел бы. А ответа все нет и нет; мой смятенный ум рисует всякие ужасы, послужившие причиной такого опоздания. О Юлия моя! Ужели за эту неделю разразилась какая-то внезапная беда, навсегда разорвав нежнейшие на свете узы! Трепеща от страха, у меня остался лишь один путь к счастью и множество к несчастью [1]. Ужели вы забыли меня, Юлия? Ах, что может быть ужаснее! Я готов к любым испытаниям, но стоит мне только подумать о таком несчастии, и все душевные силы меня покидают.

Сам понимаю, как мало поводов для таких опасений, но ничего не могу с собой поделать. Вдали от вас я все острее чувствую свои горести. У меня и без того невзгод предостаточно, а я вдобавок придумываю еще новые и растравляю свои раны. Сперва я не так сильно тревожился. Волнения, связанные с внезапным отъездом, дорожные впечатления — все это приглушило мою тоску. Она вновь оживает в тиши одиночества. Увы! Я боролся, но грудь моя пронзена смертоносным клинком, а боль начинаешь ощущать не сразу после ранения.

Сотни раз, читая романы, я смеялся над выспренними жалобами разлученных любовников. Ах, тогда я не знал, как нестерпима станет для меня однажды разлука с вами. Теперь я понимаю, что, когда душа спокойна, она не может судить о страстях и что глупо смеяться над чувствами, которых сам не испытал. И все же,— признаться ли вам? — не знаю отчего, но стоит мне подумать, что мы разлучены по вашей воле, как одна эта мысль приносит мне отраду и утешение, утоляет горечь разлуки. Страдания, которые вы мне причиняете, не столь тягостны для меня, как страдания, ниспосланные судьбой; и если они вас тешат, пусть длятся: ведь они — залог будущей награды, ибо я слишком хорошо знаю вашу душу и не верю, что вы жестоки без всякой цели.

---

[1] Мне скажут, что обязанность издателя исправлять ошибки языка. Да, если издатель придает этому значение или если в книге можно исправить слог, не нарушая и не портя его; да, это хорошо, когда ты уверен в своем стиле и своими ошибками не заменишь ошибок автора. И при всем том, выиграет ли книга, если швейцарец будет говорить, как французский академик?

Если вам угодно было испытать меня, я не буду больше жаловаться. Ведь вам надобно знать, постоянен ли я, терпелив ли, послушен ли — одним словом, достоин ли даров, которые вы для меня предназначили. О боги! Если я угадал, Юлия, ваше намерение, то мне не должно сетовать — ведь я еще мало страдаю! Да, да, чтобы растить в моем сердце сладостную мечту, придумайте для меня, если возможно, страдания, соразмерные награде.

## ПИСЬМО XX

*От Юлии*

Я получила сразу оба ваши письма, и, читая второе из них, где вы тревожитесь о судьбе первого, я убеждаюсь, что когда воображение чересчур стремительно, то разум, не поспевая за ним, и вовсе оставляет его! Вы, верно, воображали, явясь в Сион, что почтарь уже наготове, вот-вот отправится в путь и только и ждет вашего письма, что письмо будет вручено тотчас же, как он прибудет на место, что все так же благоприятно сложится и для отправки моего ответа. Нет, милый друг, не так-то все просто! Оба ваши письма дошли одновременно, потому что почтарь отправляется один-единственный раз в неделю и он двинулся в путь лишь тогда, когда подоспело ваше второе письмо; [1] а ведь нужно время для распределения писем; нужно время и для того, чтобы рассыльный украдкой вручил мне пакет, да и почтарь не отправляется отсюда на следующий же день после прибытия. Таким образом, если хорошо все высчитать, то, оказывается, надобен недельный срок (да притом, когда подгадаешь день отправки почты), чтобы получить ответ; все это я объясняю вам, желая раз навсегда усмирить ваше горячее нетерпение. И вот, пока вы витийствуете, обличая жестокость судьбы и мое невнимание, я, как видите, осторожно обо всем выведываю, чтобы облегчить нашу переписку и избавить вас от волнений. Решайте сами, кто же из нас проявляет больше нежных попечений!

Но обратимся к более приятным предметам, милый друг мой! Ах, представьте себе и разделите со мной мою радость: после восьми месяцев разлуки я увиделась с моим отцом, лучшим из всех отцов на свете. Он приехал в четверг вечером, и с этого счастливого мгновения я думаю лишь о нем [2]. О, почему же ты,

---

[1] Теперь почта ходит два раза в неделю.

[2] Из предыдущего видно, что здесь она говорит неправду.

больше всех любимый мною,— если не считать тех, кто даровал мне жизнь,— почему ты своими письмами, своими упреками печалишь мне душу и смущаешь первые радости семейного свидания? Тебе хотелось бы, чтоб мое сердце вечно было занято только тобою; скажи, неужто ты мог бы полюбить девушку, лишенную родственных привязанностей, которая, горя страстью, забыла бы о дочернем долге и, слушая жалобы возлюбленного, стала бы равнодушна к отцовской нежности? Нет, достойный друг, не отравляй несправедливыми укорами невинное счастье, навеянное столь сладостным чувством. Твоя душа так нежна и отзывчива, ты понимаешь, как святы для дочери чистые, священные объятия отца, когда он привлекает ее к груди, трепещущей от радости. Подумай, может ли тогда сердце хоть на миг раздвоиться и отнять у природы ее права!

Sol che son figlia io mi rammento adesso [1].

Но нет, не думайте, что я забываю вас. Возможно ль забыть того, кого полюбишь? Если порою и возобладают более свежие впечатления, то все же они не могут изгладить те, другие. С грустью провожала я вас, когда вы уезжали, с радостью встречу, когда вы воротитесь. Но... но запаситесь, подобно мне, терпением, ибо так надобно, и не расспрашивайте меня. Верьте мне, я призову вас, как только это будет возможно. И знайте, не всегда тот, кто громче сетует на разлуку, страдает больше другого.

## ПИСЬМО XXI

*К Юлии*

О, как я исстрадался, пока не получил желанного письма! Я ждал его на почте. Вот почта вскрыта, я сразу называю свою фамилию, становлюсь назойлив. Мне говорят, что письмо на мое имя есть. Я трепещу. Прошу поскорее дать его мне, обуреваемый смертельным нетерпением. Наконец получаю. Юлия! Я узнаю строки, начертанные дивной твоей рукою! Я протягиваю дрожащую руку за заветным сокровищем, готов осыпать поцелуями священные буквы! Но до чего осмотрительна боязливая любовь! Я не смею прильнуть губами к письму, не смею распечатать его перед толпой свидетелей. Спешу скрыться. Колени мои дрожат, волнение все растет, и я едва различаю

[1] Я дочь его! — одно лишь это помню *(итал.)*.

дорогу. За первым же поворотом я распечатываю письмо, читаю его, пожираю глазами, и, едва дойдя до строк, где так хорошо описана сердечная отрада, которую ты испытываешь, обнимая своего почтенного батюшку, я заливаюсь слезами. Прохожие смотрят на меня; дабы скрыться от любопытных глаз, я сворачиваю в аллею. Там мною овладевают чувства, испытанные тобою, в восторге я мысленно целую твоего счастливого отца, с которым едва знаком. Голос природы напоминает мне о моем отце, и я вновь проливаю благоговейные слезы, в память о нем.

Что могут дать вам, лучшая из дочерей, мои бесплодные и скучные познания? Учиться надобно у вас — всему, что может украсить, облагородить человеческие сердца, в особенности божественному сочетанию добродетели, любви и естественности, свойственному только вам! Не сыскать на свете такого чистого чувства, которого не испытало бы ваше сердце, еще облагораживая его своею нежностью. И чтобы мне поучиться лучше управлять своим сердцем, я, уже подчинив все свои действия вашей воле, должен еще подчинить вам все чувства свои.

Но как различны ваше и мое положения,— подумайте об этом, прошу вас. Я вовсе не имею в виду сословное положение или же богатство — честь и любовь все восполняют. Но вы окружены людьми, которых вы любите, они обожают вас. Заботы нежной матери, отца, для которых вы — единственная отрада; дружба кузины, для которой, как видно, вы — все на свете; семья, чьим украшением вы являетесь, весь город, почитающий за честь, что вы в нем родились,— все это занимает место в вашем сердце, всему вы должны уделять что-то из своих чувств. Любви достается лишь меньшая часть, остальное похищают кровное родство и дружба. У меня же, Юлия,— увы! скитальца, лишенного семьи и даже чуть ли не родины,— нет никого в мире, кроме вас, и любовь мне заменяет все. А потому не удивляйтесь, что моя душа умеет любить сильнее, хоть ваша более чувствительна, и если я уступаю вам во многом, зато в любви беру над вами верх.

Но не бойтесь, впредь я не стану докучать вам нескромными жалобами. Нет, я не буду посягать на ваши радости, и потому что они так чисты, и потому что они ваши. Воображение мое будет рисовать трогательные сцены, и я издали буду радоваться вместе с вами: раз уж мне не дано наслаждаться собственным счастьем, я буду наслаждаться вашим. Я с уважением отношусь к причинам, из-за которых вы меня удалили; к чему мне знать о них, ведь все равно я должен подчиняться вашей воле, даже если не согласен с ними. Ужели хранить молчание мне будет

труднее, чем разлучиться с вами? Помните, о Юлия, что ваша душа управляет двумя существами и что тот, кого она избрала и в кого вдохнула жизнь, сохранит навсегда неизменную верность:

...nodo piu forte:
Fabricato da noi, non dalla sorte [1].

Итак, я молчу, а до той поры, пока вам не будет угодно положить конец моему изгнанию, постараюсь рассеять свою тоску и исхожу горы Вале, благо они еще доступны. Право, этот глухой край заслуживает внимания, и, чтобы восхищаться им, недостает лишь зрителей, которые им любовались бы. Постараюсь собрать кое-какие наблюдения, достойные вашего внимания. Какую-нибудь хорошенькую женщину развлекают рассказами о жизни народа любезного и учтивого. Для тебя же, моя Юлия, для твоего сердца, будет приятнее описание жизни простого и счастливого народа.

## ПИСЬМО XXII

*От Юлии*

Наконец-то первый шаг сделан: речь зашла о вас. Хоть вы и невысокого мнения о моих знаниях, батюшку они поразили; не менее он был поражен и моими успехами в музыке и в рисовании [2], и, к великому удивлению матушки, предубежденной из-за ваших наговоров [3], он остался весьма доволен моим развитием, кроме как в геральдике, которая, по его мнению, у меня запущена. Но ведь развитие не достигается без учителя. Пришлось назвать его имя. И я это сделала, с важностью перечислив все науки,— за исключением лишь одной! — которым наставник готов меня обучить. Батюшка вспомнил, что несколько раз встречался с вами в свой прошлый приезд, и мне показалось, что он говорит о вас не без приязни.

Затем он осведомился, каково ваше состояние, ему ответили, что состояние весьма скромно; осведомился, какова ваша родословная, ему ответили, что вы из порядочной семьи. А ведь

---

[1] ...те крепче узы,
Что не судьбою созданы, а нами *(итал.)*.

[2] Вот, право, двадцатилетний мудрец, знающий уйму всяких вещей. Надо сказать, что, когда ему минуло тридцать, Юлия поздравила его с тем, что он перестал быть ученым.

[3] Это относится к уничтоженному письму, адресованному матери и написанному несколько двусмысленно.

слово «порядочный» звучит весьма неопределенно для слуха дворянина и возбудило подозрение, подтвержденное дальнейшими ответами. Узнав, что вы не дворянин, батюшка тотчас же спросил, сколько же вам платили в месяц. Тут матушка заметила, что об оплате не могло быть и речи и что, мало того, вы постоянно отвергали даже все ее подарки — такие, от которых обычно не отказываются. Но проявление подобной гордости лишь подстрекнуло папенькину гордость. Да разве можно перенести мысль, что ты чем-то обязан человеку не знатному! Итак, было решено предложить вам плату, если же вы откажетесь, то, невзирая на ваши бесспорные достоинства, с вами распроститься. Вот, друг мой, суть беседы о моем достопочтенном наставнике — беседы, в продолжение которой смиренная ученица была сама не своя. Мне представилось необходимым поскорее известить вас, чтобы дать вам время поразмыслить. Как только вы примете решение, немедля же сообщите мне; решать здесь можете только вы сами — мои права столь далеко не простираются.

С огорчением я узнала о ваших походах в горы, не оттого, чтобы я сомневалась, найдете ли вы там приятную возможность развлечься, и не оттого, чтобы ваши обстоятельные описания не доставляли мне радости,— нет, я боюсь, вы утомитесь: ведь вы не отличаетесь выносливостью. Да и пора уже поздняя: вот-вот все скроется под снегом, и я уверена, что стужа для вас будет еще мучительнее усталости. Если там, у себя, вы заболеете, мне никогда не утешиться. Так уезжайте оттуда, любезный друг, поселитесь где-нибудь неподалеку от меня. Еще не время возвращаться в Веве, но мне так хочется, чтобы вы все же избрали для себя менее суровые края,— да и письма доходили бы скорее. А где именно обосноваться, предоставляю вашему выбору. Только постарайтесь все сделать так, чтобы здесь не узнали, где вы находитесь, будьте скрытны, однако ж не напускайте на себя таинственности. Не стану наставлять вас подробнее. На одно полагаюсь — ведь вы сознаете, как нужно вам соблюдать осторожность и ради вас самих, и еще в большей степени ради меня.

Прощайте, друг мой! Больше не могу говорить с вами. Вы ведь знаете, к каким предосторожностям я прибегаю в нашей переписке. Однако это еще не все: батюшка привез с собой старинного своего друга, почтенного иностранца, давным-давно, во время войны спасшего ему жизнь. Судите же сами, как мы стараемся ему угодить. Завтра он уезжает, и мы спешим напоследок развлечь нашего благодетеля и выказать ему горячую признательность. Меня зовут, пора кончать. Еще раз прощайте!

## ПИСЬМО XXIII

*К Юлии*

За какую-нибудь неделю я обошел край, для изучения которого понадобились бы годы. Но, не говоря уж о том, что я спасался от снега, мне хотелось опередить почтальона: надеюсь, он доставит от вас письмо. В ожидании я взялся за послание к вам — если понадобится, напишу еще одно в ответ на ваше.

Сейчас я вовсе не намерен обстоятельно описывать свое путешествие и наблюдения; отчет уже составлен, и я рассчитываю передать его вам из рук в руки. Переписку надобно посвящать тому, что ближе касается нас с вами. Я поведаю лишь о своем душевном состоянии: следует отчитаться относительно того, что принадлежит вам.

В путь я отправился удрученный своим горем, но утешенный вашей радостью; все это навевало на меня какую-то смутную тоску — а она полна очарования для чувствительного сердца. Медленно взбирался я пешком по довольно крутым тропинкам в сопровождении местного жителя, который был нанят мною в проводники, но за время наших странствий выказал себя скорее моим другом, нежели просто наемником. Мне хотелось помечтать, но отвлекали самые неожиданные картины. То обвалившиеся исполинские скалы нависали над головой. То шумные водопады, низвергаясь с высоты, обдавали тучею брызг. То путь мой пролегал вдоль неугомонного потока, и я не решался измерить взглядом его бездонную глубину. Случалось, я пробирался сквозь дремучие чащи. Случалось, из темного ущелья я вдруг выходил на прелестный луг, радовавший взоры. Удивительное смешение дикой природы с природой возделанной свидетельствовало о трудах человека там, куда, казалось бы, ему никогда не проникнуть. Рядом с пещерой лепятся домики; начнешь собирать сжевику — и видишь плети виноградных лоз: на оползнях раскинулись виноградники. Среди скал — деревья, усыпанные превосходными плодами, над пропастью — возделанные поля.

Но не только труд внес в эти удивительные края столько причудливых контрастов; такое разнообразие видишь порою в одном и том же месте, что кажется, будто самой природе любезны эти противоречия. На восточных склонах — вешние цветы, на южных — осенние плоды, на северных — льды и снега. В едином мгновении соединяются разные времена года; в одном и том же уголке страны — разные климаты; на одном и том же клочке земли — разная почва. Так, здесь, по воле при-

роды, порождения долин и гор изумляют невиданными сочетаниями. А ко всему этому добавьте картины, вызванные обманом зрения: вообразите различно освещенные вершины гор, игру света и тени, переливы красок на утренней и вечерней заре — и вы отчасти представите себе ту непрерывную смену ландшафтов, которые манили мой восхищенный взор и как будто показаны были на театре, ибо глаз охватывает сразу перспективу отвесных горных хребтов, тогда как убегающая вдаль перспектива равнин, где один предмет заслоняет собою другой, открывается взору постепенно.

В первый же день я этой прелести разнообразия приписал тот покой, который вновь обрела моя душа. Я восхищался могуществом природы, умиротворяющей самые неистовые страсти, и презирал философию за то, что она не может оказать на человеческую душу то влияние, какое оказывает череда неодушевленных предметов. Душевное спокойствие не оставляло меня всю ночь, а на следующий день еще возросло — и тут я понял, что этому была еще какая-то другая причина, покамест мне не понятная. В тот день я блуждал по отлогим уступам, а затем, пройдя по извилистым тропинкам, взобрался на самый высокий гребень из тех, что были окрест. Блуждая среди облаков, я выбрался на светлую вершину, откуда в летнюю пору видно, как внизу зарождаются грозы и бури,— таким вершинам напрасно уподобляют душу мудреца, ибо столь высокого величия души не найти нигде, разве что в краю, откуда взят этот символ.

Тогда-то мне стало ясно, что чистый горный воздух — истинная причина перемены в моем душевном состоянии, причина возврата моего давно утраченного спокойствия. В самом деле, на горных высотах, где воздух чист и прозрачен, все испытывают одно и то же чувство, хотя и не всегда могут объяснить его,— здесь дышится привольнее; тело становится как бы легче, мысль яснее; страсти не так жгучи, желания спокойнее. Размышления принимают значительный и возвышенный характер, под стать величественному пейзажу, и порождают блаженную умиротворенность, свободную от всего злого, всего чувственного. Как будто, поднимаясь над человеческим жильем, оставляешь все низменные побуждения; душа, приближаясь к эфирным высотам, заимствует у них долю незапятнанной чистоты. Делаешься серьезным, но не печальным; спокойным, но не равнодушным; радуешься, что существуешь и мыслишь; все слишком пылкие желания притупляются, теряют мучительную остроту, и в сердце остается лишь легкое и приятное волнение,— вот как благодатный климат обращает на счастье человека те стра-

сти, которые обычно лишь терзают его. Право, любое сильное волнение, любая хандра улетучится, если поживешь в здешних местах; и я поражаюсь, отчего подобные омовения горным воздухом, столь целительные и благотворные, не прописываются как всесильное лекарство против телесных и душевных недугов:

Qui non palazzi, non teatro o loggia,
Ma'n lor vece un'abete, un faggio, un pino
Trá l'erba verde e'l bel monte vicino
Levan di terra al Ciel nostr'intelletto [1].

Вообразите всю совокупность впечатлений, которые я только что описал, и вы отчасти поймете, как прелестны эти края. Постарайтесь представить себе, как поразительны разнообразие, величие и красота беспрерывно сменяющихся картин, как приятно, когда вокруг все для тебя ново — причудливые птицы, диковинные, невиданные растения, когда созерцаешь иную природу и переносишься в совсем новый мир. Этому неописуемому богатству ландшафтов еще большее очарование придает кристальная прозрачность воздуха: краски тут ярче, очертания резче, все как бы приближается к тебе, расстояния кажутся меньше, чем на равнинах, где плотный воздух обволакивает землю; глазам нежданно открывается такое множество подробностей на горизонте, что дивишься, как он их в себе умещает. Словом, в горном ландшафте есть что-то волшебное, сверхъестественное, восхищающее ум и чувства; забываешь обо всем, не помнишь себя, не сознаешь, где находишься.

В дни странствий я, вероятно, все время как зачарованный любовался бы природой, не будь у меня еще большей отрады — в общении с местными жителями. В моем описании вы найдете очерк их нравов, простого уклада жизни, уравновешенного характера и того блаженного покоя, который делает их счастливыми,— не оттого, что они наслаждаются радостями, а оттого, что избавлены от страданий. Но невозможно описать их бескорыстное человеколюбие и гостеприимство по отношению к чужеземцам, которых к ним приводит случай или же любопытство. Поразительное доказательство тому получил я сам, сторонний человек, появившийся здесь в сопровождении одного лишь проводника. Как-то под вечер я вошел в какую-то деревушку, и жители так настойчиво стали зазывать меня в свои дома, что я попал в затруднение. Победитель же в этом состязании так

[1] Взамен дворцов, театров или лоджий
Между зеленым лугом и горою
Лишь ель, сосну или бук найдешь порою —
И духом воспаришь к небесной выси *(итал.)*.

обрадовался, что я сперва приписал его рвение стяжательству. И как я был удивлен, когда, проведя целый день у него в доме и считая себя постояльцем, я не мог его заставить взять деньги, и он был даже оскорблен моей попыткой; так случалось повсюду. Итак, заботам о наживе я приписал всеобщее сердечное радушие. Они до того бескорыстны, что за все путешествие я не истратил ни патагона[1]. И правда, на что тратить деньги в стране, где хозяева не принимают вознаграждения за свои расходы, а челядь за услуги и где нищих нет и в помине! Однако деньги немалая редкость в Верхнем Вале, но оттого-то люди там и живут в довольстве: край изобилует всякой снедью, а вывоза нет; нет и внутри страны никакой роскоши, и трудолюбивые земледельцы — горцы — не утрачивают вкуса к работе. Как только у них заведутся деньги, они обеднеют — это неминуемо. Но они столь мудры, что понимают это и запрещают разрабатывать золотую руду, попадающуюся в горах кантона.

Вначале меня весьма удивило отличие здешних обычаев от обычаев Нижнего Вале, где по дороге в Италию у путешественников довольно грубо вымогают деньги. И мне трудно было постичь, как сочетаются столь разительно противоречивые черты у одного и того же народа. Объяснил мне это местный житель.

— Чужестранцы, проезжающие по долине,— сказал он,— это или купцы, или же люди, ведущие всякие прибыльные дела. И они по справедливости часть своих доходов оставляют стране, мы относимся к ним так же, как они ко всем другим. А в наши края ничто не привлекает дельцов-чужеземцев, и мы уверены, что здесь путешествуют не ради корыстной цели, поэтому и мы оказываем бескорыстный прием. Чужеземцы — наши гости, они любезно навещают нас, и мы принимаем их по-дружески. В конце концов,— добавил он с усмешкой,— гостеприимство нам обходится не дорого, и вряд ли кто-нибудь захочет на нем нажиться.

— О, разумеется,— отвечал я.— Что делать среди людей, живущих во имя жизни, а не ради наживы или почестей? Счастливые люди, достойные своего удела! Я полагаю, что надобно хоть несколько походить на вас, дабы хорошо себя чувствовать в вашем кругу.

Гостеприимство не стесняло ни их самих, ни меня, и это всего приятнее. Жизнь в доме шла своим чередом, будто меня не было, а я мог вести себя так, словно живу один. Им не свойственно суетное стремление оказывать иностранцу почести и тем самым напоминать ему о присутствии хозяина, то есть под-

---

[1] Местная монета.

черкивать, что ты от него зависишь. Я не выказывал никаких желаний, и они полагали, что мне по душе заведенный ими порядок, но стоило бы мне вымолвить слово, и я мог бы жить по-своему, не вызвав ни недовольства, ни удивления. За все время я услышал от них одну-единственную любезность: узнав, что я швейцарец, они сказали, что мы братья, и просили располагаться у них, как дома. А потом и не думали вмешиваться в мои дела, не представляя себе, что я могу усомниться в искренности их гостеприимства или почувствовать угрызения совести за то, что им пользуюсь. Так же обходятся они и друг с другом; дети, вступившие в сознательный возраст, держатся наравне с отцами, батраки садятся за стол вместе с хозяевами — свобода царит в домах и в республике, и семья является прообразом государства.

Одно стесняло мою свободу — невероятно долгие трапезы. Разумеется, я был волен не садиться за стол, но если садишься, изволь проводить за ним полдня и много пить. Можно ли представить себе, чтобы мужчина, и притом швейцарец, не любил выпить! Признаюсь, хорошее вино — превосходная штука, и я не против возлияний, если только к ним не принуждают. Я всегда примечал, что трезвенники — лицемеры: воздержность за столом частенько связана с притворством и двоедушием. Человек искренний не боится откровенной беседы и сердечных излияний — спутников легкого опьянения; но надобно вовремя остановиться и не позволять себе излишества. А мне это никак не удавалось в компании с такими рьяными винопийцами, как жители Вале, где к тому же и местные вина очень крепки, а на столах не увидишь воды. Ведь нелепо было бы разыгрывать трезвенника и обижать добрых людей. И я из благодарности к ним пил допьяна, и так как невозможно было за их гостеприимство платить деньгами, то расплачивался за это своим разумом.

Не меньше стеснял меня и другой обычай: мне было неловко, когда жена и дочки хозяина прислуживали мне, стоя за моим стулом,— так заведено даже в домах должностных лиц. Учтивый француз поспешил бы исправить эту несуразицу, тем более что у уроженок Вале, даже у батрачек, такая наружность, что становится не по себе, когда они прислуживают. Можете мне поверить, они хороши собой, раз я почитаю их красавицами: ведь мои глаза привыкли любоваться вами и взыскательны к красоте.

Однако я уважаю обычаи страны, в которой живу, больше, чем обычаи, подсказанные вежливостью, и принимал их услуги

молча, с важностью, как Дон-Кихот в замке герцогини. Порой я улыбался, сопоставляя окладистые бороды и грубые лица своих сотрапезников с белоснежными и румяными лицами молоденьких красавиц, до того робких, что они так и вспыхивали при каждом обращенном к ним слове,— и хорошели еще больше. Но меня коробило от необъятной полноты их бюстов — лишь ослепительной белизной своей напоминающих совершенство образца, с коим я дерзал их сравнивать,— дивного образца, скрытого от взоров, который своими очертаниями, как я украдкою подметил, повторяет очертания той знаменитой чаши, моделью для коей служила прекраснейшая на свете грудь.

Не удивляйтесь, что я так много знаю о том, что вы тщательно скрываете от взоров, знаю вопреки всем вашим стараниям,— порою одно из наших чувств помогает познать другое, невзирая на самую ревностную бдительность, и самое строгое платье не скроет тайных прелестей: увидишь их в скромнейшем вырезе,— и словно прикоснешься к ним. Дерзкий, жадный взор безнаказанно проникает под цветы, приколотые к платью, скользит под бархатом и газом, и ты словно осязаешь упругие и твердые перси, коих никогда не посмел бы коснуться.

Parte appar delle mamme acerbe e crude,
Parte altrui ne ricopre invida vesta;
Invida, ma s'agli occhi il varco chiude,
L'amoroso pensier giá non arresta [1].

Я обратил внимание также на изрядный недостаток в одежде уроженок Вале; сзади корсаж у них так короток, что кажется, будто они горбаты; это да небольшие черные наколки и другие части костюма, не лишенные, впрочем, изящества и простоты, придают им нечто своеобразное. Я привезу вам такой костюм — право, он будет вам к лицу. Он сшит по мерке самой стройной девушки в этом краю.

А что было с вами, моя Юлия, пока я, восторгаясь, странствовал по здешним местам, столь мало известным, но достойным внимания? Ужели ваш друг мог забыть вас? Забыть Юлию! Да скорее я забуду самого себя! Могу ли я хоть на мгновение отрешиться от вас, ведь я только и живу вами! Никогда я не замечал яснее, что невольно представляю себе наше общее сущест-

---

[1] Упругие чуть приоткрыты перси,
А дальше все закутано сурово,—
Но как покровам строгим ни доверься,
Перед мечтою страстной нет покрова! *(итал.)*

вование то в одном, то в другом месте, в зависимости от состояния своей души. Стоит мне затосковать, и она ищет прибежище близ вас и утешение в местах, где находитесь вы,— так было, когда я разлучился с вами. Стоит мне испытать радость, и уже не хочется радоваться в одиночестве, и я призываю вас к себе. Так было в дни моих странствий, когда я упивался разнообразными впечатлениями и всюду водил вас с собою. Я не ступал без вас ни шагу. Любуясь ландшафтами, я спешил их показать вам. Деревья укрывали вас своей сенью, на траве вы отдыхали. Подчас, сидя рядом, мы вместе любовались видами; подчас, у ваших ног, я любовался красотой, еще более достойной восхищения чувствительного человека. Бывало, встретится мне препятствие на пути, и я вижу, как вы с легкостью через него перескакиваете, словно молоденькая косуля вслед за матерью; надобно было перейти через поток — и я осмеливался прижать к груди сладостную ношу; и переходил через поток не спеша, с упоением, сожалея, что уже показалась тропа, к которой я пробирался. Все напоминало мне вас в мирных этих краях — и волнующие душу красоты природы, и первозданная чистота воздуха, и простота нравов здешних жителей, и их спокойное, надежное благоразумие, и милая стыдливость девушек, их невинная прелесть,— все, что приятно поражало мои глаза и сердце, все рисовало воображению ту, которую они всюду искали.

«О Юлия моя! — твердил я с нежностью.— Отчего я не могу проводить дни вместе с тобой в этих никому не ведомых краях, радоваться своему счастью, а не подчиняться людскому мнению? Отчего не могу отдать всю свою душу тебе одной и, в свою очередь, заменить для тебя весь мир! Милая моя, обожаемая, тогда бы тебе воздались все почести, коих ты достойна. Радости любви! Вот когда сердца наши наслаждались бы вами вечно. В долгом и сладостном упоении мы не замечали бы, как течет время, но когда годы усмирили бы наконец жар юной страсти, привычка думать и чувствовать вместе подарила бы нам взамен такую же нежную дружбу; исчезла бы страсть, но все благородные чувства, вскормленные в молодости вместе с любовью, заполнили бы зияющую пустоту; среди здешнего счастливого народа и по его примеру мы выполняли бы долг человеколюбия, души наши слились бы для благого дела, и мы почили бы, насладившись жизнью».

Пришла почта. Кончаю и бегу за вашим письмом. Только бы выдержало сердце до этого мгновенья. Увы! Сейчас я был так счастлив в мечтах. Счастье улетает вместе с ними. Что же сулит мне действительность?

## ПИСЬМО XXIV

*К Юлии*

Отвечаю немедля на ту часть вашего письма, где вы упоминаете об оплате,— слава богу, мне не было нужды долго размышлять. Вот, Юлия, что я думаю по этому поводу.

В том, что называется честью, я различаю честь, подсказанную общественным мнением, и честь, порожденную уважением к самому себе. Первая состоит из пустых предрассудков, еще более зыбких, чем морская волна; вторая зиждется на бессмертных началах нравственности. Светская честь может быть выгодной для положения в обществе, но она отнюдь не проникает в душу и не оказывает никакого влияния на истинное счастье. Подлинная честь, напротив, составляет сущность счастья, ибо только в ней обретаешь неиссякаемое чувство самоудовлетворения, а ведь только оно одно может сделать счастливым существо мыслящее. Применим же, Юлия, эти принципы к затронутому вами вопросу, и мы его легко разрешим.

Предположим, я выдаю себя за философа и подобно безумцу из басни за деньги наставляю людей в мудрости; в глазах света — это низкое занятие, и, готов признаться, в нем есть что-то нелепое. Однако ж человек должен как-то добывать себе пропитание, и так как проще всего добывать его собственным трудом, то отнесем презрение к труду в разряд опаснейших предрассудков. Не будем столь глупы и не станем жертвовать счастьем из-за неразумного мнения. Вы не станете меньше уважать меня, а я не буду более достоин жалости, если стану зарабатывать на жизнь при помощи дарований, которые развивал в себе.

Но при этом, милая Юлия, нам следует взвесить и иные обстоятельства. Оставим заботы о внешнем и заглянем внутрь себя. Кем же в действительности я буду в глазах вашего отца, получая от него плату за уроки, продавая ему часть своего времени, то есть часть самого себя? Наемником, слугою на жалованье, чем-то вроде лакея, порукой же для его доверия и для сохранности его достояния будет моя показная верность — такая же, как у самого последнего из его слуг.

Но что для отца дороже единственной дочери, даже будь она иной, чем Юлия? Как поступит человек, который будет продавать отцу свои услуги? Заставит замолчать свои чувства? Ах, да ты сама знаешь, возможно ли это! Или же он, отдавшись без оглядки сердечному влечению, нанесет самый страшный удар тому, кому обязался верно служить. В таком случае учитель — лишь вероломный негодяй, попирающий священные пра-

ва [1], предатель, обольститель, втершийся в дом; законы по справедливости приговаривают ему подобных к смертной казни. Надеюсь, что та, кому я пишу, поймет меня: не смерти я страшусь, а заслуженного позора и презрения к самому себе.

Помните, когда вам на глаза попались письма Элоизы и Абеляра, я выразил свое мнение об этой книге и о поведении богослова? Элоизу я всегда жалел, ее сердце было создано для любви. Абеляра же я всегда считал негодяем, достойным своей участи: ему столь же чужда была любовь, сколь и добродетель. Я осудил его,— так неужто я стану подражать ему? Горе тому, кто проповедует мораль, не воплощая ее в жизнь. Кто столь ослеплен страстью, скоро понесет наказание от нее же, утратив вкус к чувствам, ради которых принес в жертву честь. Стоит любви проститься с честью, и она лишается самой большой своей прелести; дабы чувствовать всю цену любви, сердцу надобно восхищаться ею и возвышать нас самих, возвышая предмет нашего чувства. Лишите ее идеи совершенства, и вы ее лишите способности восторгаться; лишите уважения, и от любви ничего не останется. Да может ли женщина чтить человека, обесчестившего себя? Да может ли он сам боготворить ту, которая решилась отдаться гнусному соблазнителю? Итак, вскоре они станут презирать друг друга; любовь для них превратится в постыдную связь. Они утратят честь, но не обретут блаженства.

Иначе бывает, моя Юлия, со сверстниками, когда они горят одной страстью, соединены взаимной привязанностью, не ограниченной другого рода отношениями, когда они свободны в своем выборе и никто не вправе запретить им обменяться обетами любви. Суровейшие законы приговорят их лишь к одной каре — к любви. Единственное наказание за то, что они полюбили друг друга,— это обязательство любить вечно; если и есть на свете такие злосчастные края, где узы невинной любви бывают разорваны по воле изверга, он, разумеется, и несет возмездие за это, ибо стеснение свободы порождает преступления.

Вот мои доводы, мудрая, добродетельная Юлия; это лишь

---

[1] Несчастный юноша! Он не понимает, что, принимая вместо платы благодарность и отказываясь от денег, он попирает еще более священные права. Он не поучает, а развращает; он не вскармливает, а дает яд; обманутая им мать благодарит его за то, что он погубил ее дитя. Однако ж чувствуется, что он искренне почитает добродетель, хотя страсть вводит его в заблуждение; и если б сумасбродная молодость не служила ему оправданием, красноречивый проповедник оказался бы просто злодеем. Наши влюбленные достойны жалости; зато мать не заслуживает снисхождения.

здравое толкование тех доводов, которые вы приводили с таким жаром и красноречием в одном из своих писем; но довольно об этом, вы и без того видите, как я их усвоил. Вспомните, я не упорствовал, отказываясь от ваших даров, и несмотря на все свое отвращение,— отзвук предрассудков,— молча их принял; и правда, истинная честь не подсказала мне никаких причин для отказа. Но сейчас я не могу не внять голосу долга, разума, самой любви. И если надо выбирать между честью и вами, мое сердце готово даже потерять вас. О Юлия, его любовь слишком велика, чтобы сберечь вас такою ценой.

## ПИСЬМО XXV

*От Юлии*

Милый друг, отчет о ваших странствиях очарователен; я бы влюбилась в его автора, если бы мы даже не были знакомы! Но я должна пожурить вас за одно место, и вы догадываетесь за какое, хотя я невольно смеялась над вашей хитростью,— вы скрылись за Тассо, как за каменной стеной. Ужели вы не понимаете, что писать для публики или к своей возлюбленной — вещи разные? Любовь так пуглива, так чутка,— она требует к себе больше уважения, чем диктует благопристойность. Да разве вы не знали, что этот стиль не в моем духе? Или вы старались досадить мне? Но, пожалуй, я слишком долго задерживаюсь на предмете, не стоящем внимания. К тому же я так озабочена вашим вторым письмом, что не могу подробно отвечать на первое. Итак, друг мой, отложим Вале до другого раза, а пока ограничимся нашими делами,— они доставят нам немало хлопот.

Я предугадывала, какое вы примете решение. Мы столь хорошо знаем друг друга,— так неужто надо объясняться по поводу самых простых истин! Если когда-либо добродетель нас оставит, поверьте мне, произойдет это не от недостатка мужества или жертв с нашей стороны[1]. При внезапном нападении сразу начинаешь сопротивляться; и я надеюсь, что мы победим, как только неприятель вынудит нас взяться за оружие. Страшнее те опасности, что подстерегают нас во время сна или на лоне отрадного покоя. Но всего опасней — нестерпимый гнет долгих страданий: душе легче противиться острому горю, нежели длительной печали. Вот, друг мой, какое тяжелое сра-

---

[1] Как вскоре будет видно, вряд ли когда-либо предсказание могло так не соответствовать грядущим событиям.

жение нам придется отныне вести. Не героических порывов требует от нас долг, а героической стойкости перед беспрерывными страданиями.

Я слишком хорошо предвидела все это. Пора безмятежного счастья промелькнула как молния. Настала пора невзгод, и кто скажет, когда она минует! Все тревожит меня и приводит в уныние; душой владеет смертельная тоска. Казалось бы, и нет повода к слезам, а непрошеные слезы катятся из глаз. Будущее не пугает меня неизбежными бедами; но я лелеяла надежду, а она с каждым днем все увядает. Увы! К чему поливать листву, когда дерево подрублено под корень?

Я чувствую, милый друг, что не вынесу тяжкой разлуки! Жить без тебя я не в силах,— вот что страшит меня всего больше. Сотни раз на день я брожу по тем местам, где мы бывали вместе, но тебя там не вижу. Я жду тебя в урочный час, но время идет, а тебя нет. Все вокруг напоминает о тебе, словно твердит, что я тебя потеряла. Тебе не понять эту ужасную пытку. Только сердце говорит тебе о том, что я далеко. Ах, знал бы ты, что разлука гораздо мучительнее для того, кто остается, ты бы понял, что твое положение лучше моего.

Если б я могла пожаловаться, поведать о своих страданиях, излить душу, мне стало бы легче. Но я должна подавлять каждый свой вздох — и лишь иногда я вздыхаю украдкой, припав к груди сестрицы. Надобно сдерживать слезы, надобно улыбаться, хоть я и чувствую, что умираю.

Sentirsi, oh Dei, morir;
E non poter mai dir:
Morir mi sento! [1]

И что хуже всего, огорчения эти углубляют тяжкое мое горе, и чем больше печалят меня воспоминания о тебе, тем приятнее вызывать их в своей душе. Скажи мне, друг мой, любимый друг, понимаешь ли ты, какую нежность пробуждает в сердце тоска и какую силу придает любви печаль?

Много всего мне хотелось поведать вам, но, не говоря о том, что лучше повременить, пока я не буду с точностью знать, где вы сейчас находитесь, я просто не могу продолжать письмо — в таком смятении моя душа. До свиданья, друг мой! Кончаю письмо, но знайте — не кончаю думать о вас.

---

[1] О боги, в смертный час
Не сметь шепнуть хоть раз:
«Я умираю...» *(итал.)*

## ЗАПИСКА

Посылаю с незнакомым лодочником эту записку по обычному адресу, дабы сообщить, что я решил обосноваться на противоположном берегу, в Мейери: буду тешить себя хоть видом тех мест, приблизиться к которым не смею.

## ПИСЬМО XXVI

*К Юлии*

Как изменилось мое положение за несколько дней! Я ближе к вам, но какая горечь примешивается к радости! Печальные размышления осаждают меня! Я предвижу столько опасных препятствий! О Юлия! что за роковой дар неба — чувствительная душа! Того, кто обладает этим даром, ждут на земле одни лишь скорби и печали. Он — жалкая игрушка погоды и времен года; солнце или туман, хмурое или ясное небо управляют его судьбою, и по воле ветров он либо доволен, либо удручен. Он — жертва предрассудков, и бессмысленные правила возводят непреодолимую преграду для справедливых стремлений его сердца. Люди покарают его за независимость взглядов, за то, что судит он обо всем по совести, пренебрегает условностями. Таким образом, он сам навлечет на себя несчастия, забывая о благоразумии и поддаваясь божественной прелести всего, что благородно и прекрасно, меж тем как тяжкие цепи необходимости привязывают его ко всему низменному. Он будет искать высшего блаженства, забыв, что он человек; его сердце и разум будут находиться в непрестанной борьбе, а желания, не знающие границ, уготовят ему лишь вечную неудовлетворенность.

Вот в какое тягостное положение ввергли меня судьба, угнетающая меня, и чувства, меня возвышающие, и твой отец, презирающий меня, и ты сама — радость и мучение моей жизни. Не будь тебя, о моя роковая любовь, мне никогда не довелось бы ощутить, как нестерпимо противоречие между возвышенным духом и низким общественным положением. Ведь я бы и жил спокойно, и умер бы довольным, даже не задумавшись над тем, какое же общественное положение я занимал на этом свете. Но видеть тебя — и не иметь права обладать тобой, обожествлять тебя — и быть самому только человеком! Быть любимым — и не иметь права на счастье! Жить в одном краю с тобой —

и не иметь права жить вместе! О Юлия, я не могу от тебя отказаться! О судьба моя, в которой я не властен, какую ужасную внутреннюю борьбу ты разожгла во мне, а ведь мне никогда не преодолеть ни своих желаний, ни своего бессилия!

Какое странное и непостижимое явление — с тех пор как я поселился поблизости от вас, голова моя полна одних лишь сумрачных мыслей. Быть может, само место навевает тоску. Унылое, мрачное место; зато оно лучше всего подходит к моему душевному состоянию, да я, пожалуй, и не снес бы жизни в местах менее мрачных. Голые утесы тянутся чередой по берегу и окружают мое убежище, такое неуютное в зимнее время. Ах, моя Юлия! К чему мне иные места, к чему иное время года, если мне суждено отказаться от вас!

Какое-то неистовое волнение гонит меня с места на место. Я все куда-то спешу, без устали лазаю по горам, взбираюсь на скалы, быстрым шагом хожу по окрестностям. Но суровый ландшафт повсюду лишь вторит моей безысходной тоске. Уже нигде не видно зелени, трава пожелтела и поблекла, листья с деревьев облетели, под порывами ветра с востока и студеным северным ветром растут сугробы снега и горы льда; вся природа мертва вокруг меня, как мертва надежда в глубине моего сердца.

Здесь, на берегу, среди скал, я нашел уединенный уголок — небольшую площадку, откуда открывается вид на весь благословенный городок, в котором вы живете. Судите сами, с какой жадностью взоры мои устремляются к милым сердцу пределам. В первый день я долго старался отыскать ваш дом; но он терялся вдали, все усилия мои были тщетны — воображение вводило в обман мои усталые глаза. Я побежал к священнику, попросил зрительную трубу и с ее помощью увидел — а вернее, уверил себя, будто вижу,— ваш дом. И с той поры я провожу целые дни в укромном уголке, созерцая благословенные стены, за которыми скрывается источник моей жизни. Невзирая на непогоду, я отправляюсь туда поутру и возвращаюсь лишь к ночи. Костер из сухих листьев и валежника да быстрая ходьба оберегают меня от лютой стужи. Я так пристрастился к дикому уголку, что приношу сюда чернильницу и бумагу, и вот сейчас пишу вам письмо на камне, отколотом глыбою льда от соседней скалы.

Здесь-то, моя Юлия, твой несчастный друг вкушает, быть может, последние радости, которые суждены ему в этом мире. Он решается тайно проникнуть в твою опочивальню сквозь

толщу воздуха и стены. Твои пленительные черты вновь приводят его в изумление, нежные взгляды вдыхают жизнь в его истомленное сердце; он слышит звуки твоего милого голоса; он дерзает вновь заключить тебя в объятия и вкусить то восхитительное упоение, какое вкусил тогда в роще. Пустой бред взволнованной души, обезумевшей от страсти! Тут я заставляю себя опомниться и стараюсь просто вообразить себе твою невинную жизнь. Издали слежу я за тем, как ты проводишь день в разнообразных занятиях,— ведь когда-то мне посчастливилось быть их свидетелем,— я вижу тебя поглощенной заботами, и мое уважение к тебе растет, а твоя неисчерпаемая доброта умиляет и восхищает мое сердце. Сейчас, говорю я себе поутру, она встает от безмятежного сна, личико ее свежо, как роза, душа ее полна тихою радостью, она посвящает творцу день, который не будет потерян для добродетели. Вот она в опочивальне матери; одаривает родителей всей нежностью своего сердца; помогает им в домоводстве; быть может, утешает нерадивого слугу, тайком увещевает его, а может быть, и заступается за провинившегося. А вот она усердно занимается рукоделием; она украшает свой ум полезными знаниями, обогащает изысканный вкус, наслаждаясь изящными искусствами, и танцами развивает свою природную грацию. А то я вижу простой и красивый убор на прелестной головке, хотя, впрочем, он ей совсем и ненадобен. То я вижу отселе, как моя Юлия советуется с почтенным пастором, желая помочь неимущей семье, стыдливо сносящей бедность. То приходит с помощью или утешением к горькой вдове или позабытой всеми сиротке. То умными и скромными речами она очаровывает благородное общество; то, веселясь в кругу подруг, возвращает безрассудную младость на стезю благоразумия и добрых правов. Порою... Ах, только не сердись! Порою я осмеливаюсь себе представить, что ты думаешь обо мне. Вижу, как твой потеплевший взор пробегает по одному из моих писем; вижу по ласковым и томным глазам твоим, что ты выводишь строки, предназначенные для твоего счастливого друга, с сердечным волнением рассказываешь о нем сестрице. О Юлия, Юлия! Ужели союз наш невозможен! Ужели наша жизнь потечет врозь и нам суждена вечная разлука? Нет, пусть эта страшная мысль никогда и не приходит мне в голову! Во мгновение ока умиление мое превращается в ярость. Я в неистовстве бегаю из пещеры в пещеру; невольно из груди моей вырываются стоны и вопли. Я рычу, как рассвирепевшая львица. Я способен на все, кроме одного: я не в силах отказаться от тебя. И чего бы только не сделал

я, да, чего бы не сделал, только бы обладать тобою или же умереть!

Этими словами я закончил письмо и ждал только надежной оказии, как вдруг получил из Сиона новое письмо от вас. Оно дышит печалью, укрощающей мою печаль! Поразительный пример того, о чем вы говорили,— союза наших душ на расстоянии! Признаю, ваша тоска терпеливее, моя — пеистовей, но ведь одно и то же чувство и должно принимать окраску сообразно характеру человека, и ведь тот, кто больше теряет, тот и страдает больше. Но что я говорю — теряет! Да разве допустима такая утрата! Пойми же наконец, Юлия моя, мы предназначены друг для друга,— это непреложная воля неба, высший закон, которому мы должны повиноваться; ведь вся цель жизни — соединиться с тем, кто сделает ее для нас отрадной. Я вижу, с горечью вижу, как ты заблуждаешься, строя неосуществимые планы,— надеясь уничтожить непреодолимые преграды, ты пренебрегаешь единственной возможностью достигнуть цели; в пылу благородной восторженности ты делаешься безрассудной; твоя добродетель становится просто-напросто сумасбродством.

Ах, если б ты всегда могла быть молодой и прекрасной, как ныне, я бы молил небо лишь о том, чтобы ты вечно была счастлива,— я бы видел тебя лишь раз в году, всю жизнь провел бы среди этих скал и боготворил бы тебя, издали созерцая твой дом. Но, увы, взгляни, как стремительно, никогда не останавливаясь, движется это светило; оно летит, и годы мчатся, ускользает время. Твоей красоте,— даже твоей красоте,— настанет конец; придет день, и она увянет, исчезнет — так осыпается несорванный цветок. А я меж тем страдаю, томлюсь, молодость моя исходит слезами, истощается горем. Подумай, подумай, Юлия, мы уже насчитываем целые годы, утраченные для наслаждения. Подумай, ведь их уже не воротить,— а если мы и сейчас упустим время, так будет и с годами, что нам еще суждено прожить. О, ты ослеплена, моя возлюбленная! Ты гонишься за призрачным счастьем, надеясь на времена, когда нас уже не будет на свете. Ты заглядываешь в отдаленное будущее и не замечаешь, что мы сгораем и наши души, изнемогая от любви и страданий, скудеют, и иссякают, как вода в роднике. Опомнись, пока не поздно, опомнись, моя Юлия,— заблуждение гибельно. Оставь все свои замыслы и вкуси счастье. Приди, о душа моя, в объятия своего друга, пусть воссоединятся две половины нашего существа! Приди, и пред лицом неба, покровителя нашего бегства, свидетеля наших клятв,

мы дадим обет жить и умереть друг ради друга. Я знаю, бедности ты не боишься и без моих уговоров. Будем же счастливы, хоть и бедны! Ах, какое сокровище мы бы обрели! Не будем оскорблять человечество, решив, что на земле нет места для двух несчастливых влюбленных. У меня есть руки, я силен; хлеб, добытый моим трудом, покажется тебе вкуснее пиршественных яств. Да и может ли быть невкусной еда, приправленная любовью! Ах, моя нежная, милая возлюбленная, ужели нам суждено было упиваться счастьем лишь миг, ужели ты хочешь расстаться с быстротечной жизнью, так и не испытав блаженства?

О Юлия, добавлю лишь одно. Вам известно, что в древности Левкадийская скала служила последним прибежищем для несчастных любовников. Здесь много с нею схожего: скала отвесна, воды глубоки, а я — я в отчаянии.

## ПИСЬМО XXVII

*От Клары*

Нет сил писать вам, в таком я унынии. Нас с вами постигло безысходное горе. Милая Юлия при смерти, она не проживет и двух дней. Так тягостна ей была разлука с вами, что ее здоровье надломилось; разговор с отцом подействовал на нее еще сильнее; другие — недавние — огорчения растревожили ее еще больше, и все довершило ваше последнее письмо. Она была так взволнована, что провела ночь в ужасной душевной борьбе и вчера заболела горячкой; ей становилось все хуже, и, наконец, она стала бредить. В забытьи она то и дело произносит ваше имя и говорит о вас с такой пылкостью, что нетрудно понять, до чего вы завладели ее помыслами. Отца стараются к ней не допускать. Очевидно, тетушка кое о чем подозревает. Она даже тревожно спросила меня, не возвратились ли вы. Жизнь ее дочери в опасности, и я думаю, что тетушка на время забыла обо всем остальном и была бы не против того, чтобы вы у нас появились.

Приезжайте немедля. Чтобы переправить вам это письмо, я наняла лодку,— она в вашем распоряжении, возвращайтесь на ней и, главное, не теряйте ни минуты, если хотите еще раз увидеть самую нежную возлюбленную, какую знал мир.

## ПИСЬМО XXVIII

*К Кларе от Юлии*

В разлуке с тобой мне опостылела жизнь, которую ты мне вернула! Выздоравливать ужасно! Страсть, еще более пагубная, чем горячка и бред, ведет меня к гибели. Жестокая! Покидаешь меня, хотя нужна мне как никогда. Ты оставляешь меня на неделю, а быть может, не увидишь вовеки. Ах, если б ты знала, что́ этот безумец посмел мне предложить!.. И с какой настойчивостью... Чтобы я бежала!.. Следовала за ним!.. Чтобы он похитил меня!.. Злодей!.. Но на кого я сетую? Ведь мое сердце, недостойное сердце, твердит мне о том, что во сто крат хуже... великий боже! Если бы он узнал обо всем! Он бы совсем обезумел, увлек бы меня с собою... пришлось бы с ним бежать... я трепещу...

Итак, отец продал меня! Дочь для него — товар, рабыня, он хочет расквитаться за мой счет, платит за свою жизнь моею жизнью; ведь я не переживу этого... Не отец, а мучитель, изверг! Заслуживает ли он... Как, заслуживает ли? Нет, не найти отца лучше! Он просто хочет выдать дочь замуж за своего друга, вот и вся его вина! Но матушка, нежная моя матушка,— какое зло она мне причинила! Ах, большое зло! Она погубила меня из-за своей непомерной любви.

Как же быть, Клара́? Что со мной стане́тся? Ганс все поймет. Не знаю, как переслать тебе письмо, не успеешь ты его получить... не успеешь воротиться... кто знает... я стану бегля́нкой, скиталицей, отверженной... Возврата нет... Возврата нет, настает решительный миг. Через день, час, быть может — минуту... Своей судьбы не избежать!.. Где бы ни привелось мне жить и умереть, в каком жалком убежище ни пришлось бы мне влачить жизнь, полную стыда и отчаяния, помни, Клара, о своей подруге!.. Увы! Сердца изменяются в пи́цете и бесче́стии... О, как же изменится мое сердце, если когда-нибудь забудет тебя!

## ПИСЬМО XXIX

*К Кларе от Юлии*

Оставайся, ах, оставайся дома и никогда не приезжай — ты опоздала. Мне уже нельзя видеться с тобой, мне не выдержать твоего взгляда.

Где же ты была, моя милая подруга, защитница, мой ангел-хранитель! Ты меня покинула, и я погибла. Да ужели твой

роковой отъезд был так надобен, так неотложен? И ты могла предоставить меня самой себе в опаснейшую минуту моей жизни? Как ты сама будешь сожалеть о своем непростительном небрежении! Да, будешь вечно сожалеть о нем, а я — вечно его оплакивать. Твоя утрата так же непоправима, как и моя,— тебе уж не найти другую, достойную тебя подругу, как мне не воротить утраченную невинность.

Что я, несчастная, вымолвила? Не могу ни говорить, ни молчать. Да и чего стоит молчание, когда вопиет совесть? Весь мир укоряет меня за мой проступок! Свой позор я читаю на всех окружающих предметах, я задохнусь, если не изолью душу перед твоею душой. Но ужели тебе, столь снисходительной и столь доверчивой подруге, не в чем упрекнуть и себя? Ах, ведь ты предала меня! Твоя верность, слепая дружба и злополучная услужливость меня погубили.

Разве не по дьявольскому наущению ты призвала его, бессердечного искусителя, опозорившего меня? Не для того ли своими вероломными заботами он вернул меня к жизни, чтобы она стала мне ненавистной? Пусть навсегда исчезнет с глаз моих этот изверг, и если у него сохранилась хоть капля жалости ко мне, пусть он не появляется, не удваивает моих мучений своим присутствием. Пусть откажется от бесчеловечного удовольствия видеть мои слезы. Увы, что я говорю? Он ни в чем не виноват. Виновата во всем только я одна. Я виновница всех своих страданий и упрекать могу лишь себя. Но порок уже развратил мою душу; ведь первое, чему он учит,— обвинять другого в наших же преступлениях.

Нет, нет, он никогда не нарушил бы своих клятв. Его добродетельному сердцу неведомо низкое искусство — осквернять то, что любишь. Ах, вероятно, он умеет больше любить, чем я, потому что он умеет побеждать себя. Сотни раз я была свидетельницей его борьбы и одержанной победы. Его глаза горели огнем желания, в пылу слепого увлечения он устремлялся ко мне. Но внезапно он останавливался, словно меня окружала непреодолимая преграда,— и никогда его пылкая, но безупречная любовь не преступала этой преграды. Однако я была неосторожна и слишком долго созерцала опасное зрелище. Порывы его страсти смущали мой покой, его вздохи теснили мое сердце; я разделяла его муки, а думала, что лишь сострадаю ему. Я была свидетельницей его исступления, когда, изнемогая, он вот-вот, казалось, потеряет сознание и падет к моим ногам. И. может быть, любовь и пощадила бы меня. О сестрица, меня сгубила жалость.

Роковая страсть словно прикрылась маской всех добродетелей, чтобы ввести меня в искушение. В тот день он с еще большим жаром уговаривал меня не упускать времени, последовать за ним. А это означало — огорчить лучшего из отцов на свете; это означало — вонзить кинжал в материнскую грудь. Я не соглашалась, я с ужасом отвергла его замысел. Мысль, что никогда в жизни нам не осуществить своей мечты, и необходимость скрывать это от него, сожаление, что я обманываю доверие столь покорного и нежного возлюбленного — ведь доселе сама поддерживала в нем надежду,— все это ослабляло мое мужество, подрывало силы, лишало меня рассудка. Мне суждено было принести смерть либо тем, кто даровал мне жизнь, либо возлюбленному, либо самой себе. Не понимая, что я творю, я выбрала собственную гибель. Я обо всем забыла, думала только о своей любви. И мгновенное самозабвение погубило меня навеки. Я скатилась в бездну позора, откуда для девушки нет возврата; и я живу лишь для того, чтобы еще острее чувствовать, как я несчастна.

Горько жалуясь, я ищу хоть какого-нибудь утешения на земле. И только ты, любезная подруга, можешь его мне дать. Не отнимай же у меня этой чудесной поддержки, заклинаю тебя, не лишай меня радостей дружбы. Я потеряла на нее право, но никогда так не нуждалась в ней! Пускай жалость заступит место уважения. Приди же, дорогая подруга, всей душою внемли моим жалобам, дай мне выплакаться на твоей груди, огради меня, если это возможно, от презрения к самой себе,— и я поверю, что не все еще потеряно, раз мне преданно твое сердце.

## ПИСЬМО XXX

*Ответ*

Увы, несчастная! Что ты натворила! О господи! А ведь ты могла гордиться своим благоразумием! Не знаю, что и сказать тебе,— ведь ты в таком ужасном положении, в таком унынии! Как быть? Упрекать ли тебя, еще сильнее удручая твое бедное сердце, или постараться его утешить, хотя мое сердце и безутешно. Говорить ли обо всем без прикрас или же все смягчить? Святая и чистая дружба, одари мой рассудок сладостными и несбыточными надеждами, заставь нежное сострадание, внушенное тобою, утаить от меня самой же беды, против которых ты уже бессильна!

Ты ведь знаешь, Юлия, я давно страшилась несчастья, о котором ты сейчас сокрушаешься. Множество раз предрекала его, но ведь ты не слушала!.. Ты пострадала из-за своей безрассудной доверчивости... Ах, говорить об этом поздно. Разумеется, я бы давно выдала твою тайну, если б могла спасти тебя, но я читала лучше тебя самой в твоем слишком чувствительном сердце. Я видела, что его снедает всепоглощающий огонь и что огонь этот не потушить никакими силами. Я чувствовала, заглядывая в твое сердце, трепещущее от любви, что тебе суждено или обрести счастье, или умереть, а когда ты, страшась падения, прогнала своего возлюбленного, выплакав столько слез, я поняла, что тебя скоро не станет или же ты скоро воротишь его. Какой ужас охватил меня, когда жизнь тебе опостылела, когда ты оказалась на краю могилы. Не обвиняй ни своего любовника, ни себя за проступок, в котором больше всего виновата я,— ведь я его предвидела, но не предотвратила.

Правда, я уехала не по своей воле,— ты видела, пришлось подчиниться. Если бы я могла предположить, что ты так близка к падению, я бы скорее дала четвертовать себя, но только не разлучить нас с тобою. Я не ожидала, что опасность рядом. Ты была еще такой слабенькой, изнеможенной; казалось, тебе ничем не грозит моя недолгая отлучка. Я не предугадала, что перед тобою встанет грозная необходимость сделать выбор; не подумала о том, что ты ослабела и твое измученное сердце не в силах будет бороться с собою. Молю о прощении свое сердце — тяжело раскаиваться в ошибке, спасшей твою жизнь. Нет во мне той суровой решительности, с которой ты готова покинуть меня. Я бы умерла от горя, если б потеряла тебя. Нет, я хочу, чтобы ты жила,— страдала, но жила!

Но зачем лить столько слез, дорогая, милая подруга? К чему такое раскаяние — оно превышает твой проступок! К чему это презрение к себе, которого ты не заслужила! Разве минутная слабость затмевает все твои жертвы, а смертельная опасность, которой ты подвергла себя, не доказательство твоей добродетели? Ты только и думаешь о своем поражении, а забываешь, сколько ему предшествовало нелегких побед. Ты боролась больше, чем те, что устояли,— значит, и больше заслуживаешь уважения! Если нет тебе никаких оправданий, подумай все же о том, что служит тебе извинением! Я имею некоторое понятие о чувстве, которое зовется любовью. И я не поддалась бы увлечению. Но любви, подобной твоей, я не могла бы так противиться, как ты, и хоть я и не потерпела поражения, но в целомудрии тебе уступаю.

Мои речи тебе не понравятся: но самое большое твое несчастье в том, что тебе необходимо к ним прислушаться. Я пожертвовала бы жизнью, только бы не говорить все это. Я ненавижу дурные принципы еще более, чем дурные поступки [1]. Если б ошибка еще не свершилась, безнравственно было бы высказывать такие мысли, а тебе — внимать им, мы обе поистине были бы грешницами. Теперь же, душа моя, я должна их высказать, и ты должна внимать им, иначе ты погибла. Ведь в тебе еще осталось множество чудесных качеств, и сохранить их может одно лишь твое уважение к самой себе; непомерное же чувство стыда и самоуничижение неминуемо их разрушат,— только вера в свои достоинства поможет тебе эти достоинства сохранить.

Берегись же, не впадай в опасное уныние,— ведь оно унизит тебя еще больше, чем твоя слабость. Ужели истинная любовь развращает душу? Пусть же ошибка, порожденная любовью, не лишает тебя благородной и пылкой преданности всему чистому и прекрасному, которая всегда тебя окрыляла.

Видно ли пятно на солнце? Сколько еще добродетелей осталось у тебя, взамен утраченной! Разве ты стала менее кротка, искренна, скромна, услужлива,— одним словом, менее достойна всеобщего уважения? Разве честь, человеколюбие, дружба, чистая любовь стали менее дороги твоему сердцу? Разве менее будешь ты чтить добродетель, пускай и утраченную тобой? Нет, дорогая, любезная Юлия, твоя Клара и жалеет и боготворит тебя. Она знает, чувствует, что твоя душа способна ко всему доброму. Ах, поверь, еще многое нужно было бы тебе утратить, чтобы другая девица, пускай и более благоразумная, стала тебя достойна.

Со мной остается Юлия, и это главное! Я утешусь во всех бедах, только б не потерять тебя. Я ужаснулась, прочитав твое первое письмо,— как бы я ждала второго, если б письма не пришли в одно время! Так, значит, ты хотела покинуть подругу, задумала бежать от меня! Ты умалчиваешь о самой непростительной своей вине,— а ведь краснеть за это следовало бы во сто крат больше. Впрочем, неблагодарная думает только о своей любви... Послушай, я убила бы тебя — настигла бы и на краю света.

---

[1] Справедливое и здравое чувство. Разнузданные страсти влекут за собою дурные поступки, но дурные принципы извращают рассудок и не дают более возможности вернуться к добру.

В смертельном нетерпении считаю минуты, которые принуждена провести вдали от тебя. Они тянутся с мучительной медлительностью. Еще около недели мы проведем в Лозанне, а затем я полечу к своей несравненной подруге. Буду ее утешать или горевать вместе с нею, осушать ее слезы или вместе с нею плакать. Пускай наша нежная дружба, а не холодный рассудок усладит твое горе. Милая моя сестрица, будем страдать, любить друг друга и молчать и, если удастся, загладим с помощью добродетели проступок, которого слезами не исправишь. Ах, бедненькая моя Шайо!

## ПИСЬМО XXXI

*К Юлии*

Непостижимая Юлия! Ты — чудо, сотворенное небом! Благодаря какому искусству, известному только тебе, ты соединила в своем сердце столько несовместимых чувств? Мое сердце, опьяненное любовью и негой, объято грустью,— я страдаю, я изнываю от тоски на лоне несказанного блаженства, упрекаю себя за избыток счастья как за преступление. Боже, что за страшная пытка — не сметь всецело отдаться чувству, беспрестанно побеждать одно чувство с помощью другого и вечно отравлять горечью радость! Во сто крат лучше быть просто несчастным!

Увы! Чем обернулось для меня счастье? Теперь я страдаю не от своих, а от твоих страданий, и это еще мучительнее. Напрасно ты пытаешься утаить от меня свои огорчения,— я читаю о них, против твоей воли, в твоих глазах, томных и печальных. Этим глазам, трогающим душу, не скрыть свою тайну от взора любви! Не верю твоему напускному спокойствию,— вижу, вижу, как удручают тебя затаенные горести, и, прячась под нежной улыбкой, твоя печаль тем сильнее надрывает мне сердце.

Тебе уже нельзя таиться от меня. Вчера я был в комнате у твоей матушки; она вышла, и я вдруг услышал стопы,— они проникли мне прямо в душу, поэтому я тотчас же угадал, кто стоит. Спешу туда, откуда они доносились, вхожу в твою спальню, и вот я у твоей рабочей комнаты. Что сталось со мною, когда, полуотворив дверь, я увидел, что та, которой должно восседать на престоле вселенной, сидит на полу и, припав лицом к креслу, обливает его потоками слез. О, лучше бы мне облить его своею кровью! Я тотчас почувствовал нестерпимые угрызения совести. Счастье обернулось пыткой: я мучился

твоими муками и готов был искупить ценою жизни твои страдания и все свои радости. Мне хотелось броситься к твоим ногам, устами собрать твои бесценные слезы, сохранить их в сердце своем, умереть или осушить их навеки. Но тут раздаются шаги твоей матери, надо воротиться немедля. Я унес в своей душе твои муки, унес и свое горькое сожаление, которое исчезнет только с ними.

Как унизительно для меня, как оскорбительно твое раскаяние! Значит, я достоин лишь презрения, если ты презираешь себя за то, что соединилась со мною, если радость моей жизни для тебя — мучение? Будь же справедливей к себе, родная моя Юлия! Взгляни не так предубежденно на священные узы — создание твоего сердца. Разве ты не следовала самому непорочному из всех законов природы? Разве священнейший из союзов ты заключила не по своей воле? Ужели то, что ты сделала, не могут, не должны одобрить и божеские законы, и законы человеческие? Чего же недостает нашему союзу? Лишь одного: надо оповестить о нем. Умоляю тебя, стань моею, и ты ни в чем не будешь виновна. Жена моя, достойная и целомудренная спутница жизни! Радость моя, счастье мое! Не в том преступление, что свершила твоя любовь,— преступно твое желание посягнуть на ее права; только тогда ты оскорбишь чувство чести, если согласишься на брак с другим. Будь вечно верна другу сердца, и ты будешь непорочна. Союз наш законен, и лишь неверность, посмевшая его нарушить, достойна порицания. Отныне только наша любовь должна быть залогом добродетели.

Если же у тебя есть веская причина для печали, важный повод для сожалений, почему ты утаиваешь то, о чем мне подобает знать? Почему не вместе льем мы слезы? Не должно быть у тебя такой горести, которой я бы не испытывал, такого чувства, которое я бы не разделял, и мое сердце в справедливой ревности своей укоряет тебя в каждой слезинке, не пролитой на моей груди. Ответь же, моя сдержанная, скрытная возлюбленная, да разве ты не обкрадываешь нашу любовь, если душа твоя не желает чем-либо делиться с моей? Да разве не должно быть все у нас общим? Или ты уже забыла, что́ сама говорила об этом? Ах, если б ты могла любить, как люблю я, тебя бы утешило мое счастье так же, как меня огорчают твои горести, и ты радовалась бы моим радостям, как я печалюсь твоею печалью.

Но я вижу, ты презираешь меня как безумца, ибо разум мой помутился на лоне наслаждений. Тебя страшит мое стра-

стное исступление, мои восторги вызывают у тебя жалость, да тебе и не понять, что безграничное счастье выше человеческих сил. Или, по-твоему, чувствительная душа не должна безудержно отдаваться невыразимому блаженству? Как же ты хочешь, чтобы она не утратила равновесия, испытав сразу столько упоительных восторгов! Разве ты не понимаешь, что порой наступает предел силам человеческим и рассудок уже не может устоять — тогда никому в мире не сохранить здравый смысл. Сжалься над моим безумием, в которое ты же ввергла меня, не относись с презрением к ошибкам, свершенным из-за тебя. Да, я более не принадлежу себе — моя душа уже не принадлежит мне, она вселилась в тебя. Мне стали более понятны твои горести, и я стал более достоин того, чтобы разделить их. О Юлия, не таись же от самой себя!

## ПИСЬМО XXXII

*Ответ*

Любезный друг, было время, когда письма наши были просты и милы. Чувство свободно лилось, облекаясь в ясные и приятные слова. Лучшим украшением его была чистота, не было нужды в ухищрениях и выспренних речах. Увы, счастливая пора миновала, и нет ей возврата. Мы перестали понимать друг друга — вот первое следствие страшной перемены.

Ты видел, в каком я унынии. И, вообразив, что постиг его причину, пытаешься утешить меня вздорными рассуждениями. Но, друг мой, ты хочешь обмануть меня, а обманываешься сам. Верь мне, верь нежному сердцу своей Юлии! Не так я жалею о том, что слишком много отдала любви, как жалею, что я ее лишила величайшего очарования. Сладостная прелесть добродетели исчезла как сон; погасло то божественное пламя, которое одушевляло и возвышало нашу страсть. Мы погнались за наслаждениями, и счастье бежало нас. Вспомни те восхитительные мгновения, когда наши сердца соединялись тем теснее, чем больше мы уважали друг друга; когда безудержная страсть черпала в себе силы, чтобы преодолеть самое себя; когда невинность наших чувств вознаграждала нас за нашу сдержанность; когда, воздавая должное чести, мы облагораживали нашу любовь. Сравни же то чудесное состояние с нынешним. Сколько сейчас волнений, страхов, сколько мучительных тревог! Наши смятенные чувства утратили свою былую прелесть! Во что превратилась наша горячая приверженность ко всему

разумному, порядочному, которая воодушевляла нас во всех наших поступках и, в свою очередь, придавала любви нашей еще больше очарования! Мы наслаждались безмятежно и долго, а ныне мы в каком-то неистовстве. В нашем безрассудном счастье есть что-то напоминающее приступы исступления, а не ласковую нежность! Чистое, священное пламя сжигало наши сердца,— предавшись чувственной страсти, мы стали самыми обыкновенными любовниками. И надо почитать за великое счастье, если требовательная любовь еще соблаговолит осветить своим присутствием утехи, которыми может без нее наслаждаться презреннейший из смертных.

Вот, мой друг, какие у нас с тобой утраты, плачевные и для меня и для тебя. О своих же особых утратах ничего не добавлю: твое сердце должно все понимать. Смотри на мой позор и страдай, если умеешь любить. Ошибка непоправима, и моим слезам никогда не иссякнуть. О, ты, по вине которого я лью слезы, не посягай на справедливые сожаления! На одно я уповаю — они продлятся вечно. Будет самым страшным несчастьем для меня — забыть о них. Потерять вместе с невинностью и чувство уважения к ней,— значит, навсегда покрыть себя позором.

Я вижу свою участь, понимаю, сколь она ужасна, и все же у меня есть утешение — единственное, но сладостное утешение. Я жду его от тебя, любезный друг. С тех пор как я более не смею глядеть себе в душу, я с еще большей отрадой, чем прежде, устремляю свой взгляд на того, кого люблю. Я воздаю тебе уважение, которое утратила по твоей милости к самой себе. Заставив меня возненавидеть самое себя, ты стал мне еще дороже. Любовь, роковая любовь губит меня, а тебе придает новую цену; тебя возвышает мое падение, твоя душа словно извлекла для себя пользу из моего унижения. Так будь же отныне моей единственной надеждой. Ты один властен оправдать мой проступок, если только это возможно. Искупи его чистотою своих чувств. Пусть сотрут мой позор твои душевные достоинства; да простится мне во имя твоих добродетелей утрата моих, понесенная ради тебя. Пускай же то, чем я была, живет в тебе, я сама уже — ничто. Все, что осталось во мне благородного, вложено в тебя, и покамест будешь достоин уважения ты, я буду достойна не одного лишь презрения.

Как жаль, что я выздоровела, ведь долее скрывать этого нельзя, сам вид мой опровергал бы мои слова, и моя притворная слабость, якобы оставшаяся после болезни, уже никого не обманет. Поспеши же, друг мой, и пока мне не пришлось при-

ступить к своим обычным занятиям, предпримем, как мы условились, решительные действия. Ясно вижу, что у матушки зародилось подозрение и она следит за нами. Разумеется, отцу ничего и в голову не приходит: высокомерный дворянин и помыслить не может, что человек незнатный влюблен в его дочь. Но ты же знаешь о его решении, и если ты не опередишь отца, он опередит тебя, и ты, желая сохранить доброе отношение к себе у нас в семье, добьешься того, что тебе откажут от дома. Послушайся меня, поговори с матушкой, пока еще есть время. Сошлись на какие-нибудь дела, якобы не позволяющие тебе продолжать занятия,— тогда мы не будем видеться часто, но все же будем хотя бы изредка видеться. Ведь если перед тобой закроют двери нашего дома, тебе уже совсем не придется бывать у нас, если же ты сам для себя закроешь их, визиты к нам будут зависеть до некоторой степени от тебя самого. Немного ловкости, услужливости — и со временем удастся чаще посещать нас, не вызывая подозрений. Тут уж никто не найдет ничего предосудительного. Нынче вечером я тебе скажу, что я еще придумала, чтобы нам встречаться, и ты согласишься, что неразлучная сестрица, на которую кто-то так сетовал, окажется полезной влюбленным, которых ей не следовало покидать.

## ПИСЬМО XXXIII

*От Юлии*

Ах, друг мой, на званых вечерах опасно видеться влюбленным. Что за мученье встречаться и сдерживать свои чувства! Во сто раз лучше вовсе не видеться. Как сохранить спокойствие при таком волнении души! Как стать совсем иными! Как думать о том и о сем, когда мысли заняты одним! Сдерживать свои движения, взоры, когда сердце так и рвется из груди? Никогда в жизни я не испытывала такого волнения, как вчера, когда в гостиной г-жи д'Эрвар доложили о твоем приходе. Произнесли твое имя, а мне почудилось, что это меня осуждают. Я вообразила, будто все следят за мной. Сама не знаю, что со мной творилось, а когда ты вошел, я вся вспыхнула, и сестрица, следившая за мной, прикинулась, будто говорит мне что-то на ухо,— склонившись ко мне, она заслонила меня веером. Я боялась, что это также произведет дурное впечатление,— станут гадать, о чем мы перешептываемся. Одним словом, во всем я находила новые поводы для тревоги и никогда еще так ясно не понимала, что нечистая совесть сама дает оружие в руки свидетелей, которые ни о чем и не подозревали.

Клара уверяет, будто и ты вел себя не лучше. Ей показалось, что ты в смущении не знал, как держаться, растерялся, не решался шагу ступить, ни подойти ко мне, ни удалиться совсем и, по ее словам, все оглядывался вокруг, чтобы незаметно взглянуть и на нас. Чуть оправившись от волнения, я и сама увидела, как ты волнуешься, пока г-жа Белон не заговорила с тобой, пока ты не присел рядом с молодой женщиной и не успокоился, беседуя с ней.

Друг мой, мы чувствуем себя принужденно и получаем так мало радости,— право, этот образ жизни для нас не годится: мы слишком любим друг друга и не можем сдерживать себя. Свидания на людях хороши лишь для тех, кому приятно бывать вместе, но кто не знает, что такое любовь, и не скрывает тайну! Мое же волнение слишком велико, а твоя несдержанность слишком опасна, и не всегда г-жа Белон случится рядом, чтобы завладеть твоим вниманием в нужную минуту.

Вернемся же, вернемся к уединенной тихой жизни,— право, так некстати я тебя от нее отвлекла. Ведь ею рождена и вскормлена наша страсть, которая, быть может, уже давно бы погасла при более рассеянном образе жизни. Все большие страсти развиваются лишь в уединении; им подобных не найти в свете, где из-за суеты ничто надолго не запечатлевается, где всегда рассеивается внимание, а это притупляет силу чувств. К тому же уединение более подходит к моей душевной печали. Она питается тем же, что и моя любовь,— и ту и другую поддерживает твой милый образ, и я предпочитаю видеть тебя — нежного и чувствительного — в сердце своем, нежели — скованного и рассеянного — в гостиной.

Впрочем, может статься, наступит время, когда мне придется искать еще большего уединения. О, если б уже настало это желанное время! И голос благоразумия, и мои наклонности велят мне заранее привыкать к тому, чего, быть может, потребует необходимость. Ах, если бы мои проступки подарили меня и возможностью их искупить! Отрадная надежда, что в один прекрасный день я стану... Но я чуть было не проговорилась о планах, занимающих мои помыслы. Прости меня за скрытность, мой единственный друг. Мое сердце никогда не будет хранить тайн, неприятных для тебя. Однако об этой тайне тебе нельзя знать, скажу лишь одно — любовь, виновница всех наших страданий, принесет нам и исцеление. Раздумывай о моих словах, истолковывай их по-своему, если тебе угодно, но ничего не выпытывай,— я тебе это запрещаю.

## ПИСЬМО XXXIV

*Ответ*

Nò, non vedrete mai
Cambiar gl'affetti miei,
Bei lumi onde imparai
A sospirar d'amor [1].

Я готов влюбиться в очаровательную г-жу Белон — благодаря ей я получил столько удовольствия! Прости, божественная Юлия, за то, что я смел наслаждаться твоей нежной тревогой,— это было одно из счастливейших мгновений моей жизни. Сколько прелести было в твоих взорах, когда беспокойно и с любопытством ты украдкой поглядывала на нас, а встретившись со мной взглядом, тотчас же опускала глаза. Что же делал в тот миг твой счастливый возлюбленный? Болтал с г-жою Белон? Ах, милая Юлия, и ты веришь этому? Да нет же, нет, несравненная, он предавался более достойному занятию. С каким восторгом его сердце следило за всеми движениями твоего! С каким жадным нетерпением вглядывался он в милые черты! Твоей любовью, твоей красотой полнилась и восхищалась его душа, она изнемогала от избытка отрадных чувств. И я жалел лишь об одном — что ты, виновница всех моих радостей, не можешь разделить их со мною. Не знаю, о чем говорила в тот миг г-жа Белон. Не знаю, как я отвечал ей. Не знал и беседуя с ней. Вероятно, она никак не могла понять, о чем толкует собеседник, ибо он говорил не думая и отвечал невпопад.

Com'huom, che par ch'ascolti, e nulla intende [2].

Поэтому она отнеслась ко мне весьма пренебрежительно. А потом всем и каждому говорила,— быть может, и тебе,— что у меня нет здравого смысла, и хуже того,— ни капли остроумия, что я глуп, как мои книги. Но мне нет дела до того, что она обо мне говорит и думает. Ибо только моя Юлия решает, как мне жить и какое общественное положение мне надобно. Пусть весь род людской думает обо мне что хочет,— важно только твое уважение.

Ах, верь мне, ни г-же Белон, ни женщинам еще красивей,

---

[1] Я оскорбить не в силе
Своим непостоянством
Глаза, что научили
Меня тоске любви *(итал.)*.

[2] Так слушают порою — и не слышат *(итал.)*.

чем она, не удастся, как ты выражалась, отвлечь меня от тебя хоть на миг, пробудить внимание в моем сердце и глазах. Если ты усомнилась в моей искренности, нанесла такое смертельное оскорбление моей любви и своей красоте, то объясни, как же я могу дать отчет обо всем, что происходило вокруг тебя? Разве я не видел, что ты блистаешь среди юных красавиц, как солнце среди звезд, меркнущих в его лучах? Разве я не заметил угодников [1], столпившихся вокруг кресла, на котором ты сидела? Не видел, как они восхищены тобою, к досаде твоих подруг? Не видел, как они заискивают, увиваются, признаются в нежных чувствах, ухаживают за тобою? Да разве я не заметил, что ты внемлешь им со скромным и безучастным видом, который производит большее впечатление, чем гордая неприступность? Разве не заметил я, с каким восхищением смотрели мужчины на твои обнаженные руки, когда, садясь за ужин, ты сняла перчатки? Разве не видел, как молодой иностранец поднял перчатку и, передавая ее тебе, хотел поцеловать прекрасную руку? Как ты, почувствовав, сколь пылкие взгляды бросает на тебя другой — отъявленный наглец, по милости которого я был сам не свой,— заколола на груди косынку? Юлия, я был не так рассеян, как тебе кажется, я все видел, но ревности не испытывал, ибо я знаю твое сердце. Оно не из тех, что может любить дважды. Ужели ты полагаешь, что мое — может!

Вернемся же к уединенному образу жизни, который я оставил с такою неохотой. Нет, светская суета не дает пищу сердцу. Среди мнимых радостей оно еще горше чувствует, что лишилось радостей истинных, и предпочитает свои муки пустым удовольствиям. Но, Юлия моя, и в нашей неволе нам доступны, должны быть доступны удовольствия, могущие служить нам утехой, а ты о них точно забыла! Как, целых две недели провести вблизи друг от друга — и не видеться, не перемолвиться словом! Ах, что же делать тем временем сердцу, горящему любовью, ведь для него это целая вечность! Пожалуй, и полная разлука была бы не так жестока. К чему эта излишняя осторожность — она приносит, а не предотвращает несчастия. К чему тогда жить? К чему продолжать пытку? Не лучше ли во сто крат — увидеться на миг и сразу умереть?

Не скрою, нежный друг мой, мне бы хотелось разгадать милую тайну, о которой ты умалчиваешь, а ведь никогда еще ничто не касалось нас так близко. Все мои усилия тщетны.

---

[1] «Угодники» — старинное слово, уже не употребляемое: теперь говорят — «мужчины». Я обратился к провинциалам за этими разъяснениями, желая хоть чем-нибудь принести пользу публике.

Однако ж я сохраню молчание, покорный твоей воле, и сдержу нескромное любопытство. Уважая столь сладостную тайну, могу ли я, по крайней мере, помочь самой тебе постичь ее? Кто знает, быть может, твои планы подсказаны тебе пустой игрой воображения? Ах, душа моя, жизнь моя, попробуем все же осуществить их!

P. S. Забыл сказать, что г-н Роген предложил мне командовать ротой в полку, который он набирает для сардинского короля. Такое доверие со стороны этого славного человека растрогало меня. Поблагодарив, я ответил, что близорук и не могу поступить на военную службу, да и страсть к науке несовместима с кочевым образом жизни. И я отнюдь не принес себя в жертву любви. Я убежден, что долг каждого—отдать жизнь и кровь отчизне; но нельзя служить государям, которым ничем не обязан, а тем более продавать себя и превращать благороднейшее в мире занятие в гнусное торгашество. Такие правила были у моего отца, следовать им я был бы счастлив и в любви к своим обязанностям, и в любви к родине. Он не желал служить иностранным королям; в войне же 1712 года с честью взялся за оружие, встав на защиту родины. Он участвовал во многих сражениях, и в одном из них был ранен. В битве под Вильмергеном ему посчастливилось на глазах генерала Саккоиэ захватить вражеское знамя.

## ПИСЬМО XXXV

*От Юлии*

Друг мой, право же, два слова, сказанные в шутку, по поводу г-жи Белон, не стоят таких серьезных объяснений. Иногда, стараясь оправдаться, производишь обратное впечатление. Именно внимание к пустякам может придать им нечто значительное. Но я уверена, что с нами этого не случится, ибо в любящих сердцах нет места мелочности, а в пустых ссорах любовников почти всегда гораздо больше оснований, чем кажется.

Зато благодаря этой безделице нам представился случай поговорить о ревности. К несчастью, предмет этот для меня весьма важен.

Я вижу, друг мой, что, при наших душевных свойствах и сродстве наших наклонностей, любовь явится краеугольным камнем всей нашей жизни. Если она так глубоко запечатлелась в наших душах, то должна убить или даже поглотить все другие страсти. Малейшее охлаждение чувства тотчас же породило бы в нас смертельную тоску. На смену угасшей любви появилось

бы непреодолимое отвращение, вечное уныние, и, разлюбив, мы не прожили бы долго. А мне—да ведь ты отлично знаешь, что только безумная страсть помогает мне переносить весь ужас моего нынешнего положения,— мне суждено или любить без памяти, или умереть от горя. Ты видишь сам, я права, решив серьезно поговорить о том, от чего зависит счастье всей моей жизни.

Насколько могу судить о самой себе, я, мне кажется, хоть подчас и бываю слишком впечатлительна, однако не поддаюсь внезапным порывам. Надобно, чтобы страдания мои перебродили внутри меня,— лишь тогда я решусь заговорить об этом с их виновником, а так как я убеждена, что нельзя оскорбить невольно, то скорее стерплю сотни обид, чем одно объяснение. С подобным характером можно зайти далеко, особенно если есть склонность к ревности, а я очень страшусь, что вдруг обнаружится во мне эта опасная склонность. Знаю, твое сердце создано лишь для моего сердца. Но ведь можно и самому обмануться, принять мимолетное увлечение за страсть и ради прихоти совершить то же, что совершил бы ради любви. Так, если ты сам будешь укорять себя в непостоянстве, хотя оно и мнимое,— тем больше вероятия, что и я, пускай несправедливо, буду обвинять тебя в неверности. Ужасное сомнение отравило бы мне жизнь; я страдала бы не жалуясь и умерла бы неутешной, хотя и любимой по-прежнему.

Заклинаю, предотвратим несчастье,— при одной мысли о нем я содрогаюсь. Поклянись мне, нежный друг, но не любовью (ведь клятвы любви исполняют, когда верны любви и без клятв), а священным именем чести, столь почитаемой тобою,— поклянись, что я вечно буду твоей наперсницей и какие бы изменения ни произошли в твоем сердце, узнаю о них первая. Не уверяй меня, что тебе никогда не придется ни о чем сообщать мне. Верю, надеюсь, что так оно и будет. Но огради меня от безумных тревог, и, если тебе даже не придется исполнить свое обещание, я хочу быть так же спокойна за будущее, как неизменно спокойна за настоящее. Легче будет от тебя узнать, что пришла беда, чем вечно страдать от воображаемых бед. По крайней мере, в утешение мне останутся муки твоей совести. Если ты перестанешь разделять мою страсть, то все же будешь еще делить со мной мои мучения,— и слезы, пролитые на твоей груди, будут не так мне горьки.

Вот почему, милый друг, я поздравляю себя вдвойне с тем, что у меня такой избранник,— думая и о сладостных узах, что соединяют нас, и о твоей порядочности, еще укрепляющей их. Вот как можно применить правила благоразумия в области чи-

стого чувства. Вот как строгая добродетель может устранить горести нежной любви. Если б моим возлюбленным был человек безнравственный, он не мог бы любить меня вечно,— в чем бы видела я залог его постоянства? Каким способом могла бы я избавиться от вечного недоверия? И каким образом убедилась бы я, что не обманута его притворством или своим легковерием? Ты же — достойный и уважаемый друг, ты не способен ни хитрить, ни притворяться. Если ты даешь обещание быть со мною всегда откровенным, ты его исполнишь. Стыдно будет тебе признаться в неверности, но чувство долга возьмет верх в твоей правдивой душе, и ты сдержишь слово. И, если только ты разлюбишь свою Юлию, ты скажешь ей... да, ты можешь ей сказать: «О Юлия! Я не...» Друг мой, дописать эти слова я не в силах.

Согласен ли ты с тем, что я придумала? Только так,— я уверена,— можно искоренить ревность в моей душе. Поддавшись тому, что говорит мне чутье, я доверяю твою любовь твоей совести и не допускаю мысли, что ты сам не поведаешь мне о своей измене. Вот каково, милый друг, надежное действие обязательства, которое я возложила на тебя. Ты можешь быть ветреным любовником, но только не вероломным другом. Я могу усомниться в твоем сердце, зато никогда не усомнюсь в твоей искренности. С какой отрадой я прибегаю ко всем этим ненужным предосторожностям, стараюсь предугадать перемену, зная, что она невозможна. Говорить о ревности с таким верным любовником — восхитительно. Ах, ужели я бы могла так говорить, если б ты стал иным! Мое бедное сердце не было бы таким благоразумным в беде, малейшее недоверие, и я была бы уже бессильна избавиться от подозрений.

Вот, досточтимый наставник, о чем мы можем поспорить нынче вечером,— ибо, по моим сведениям, обе ваши смиренные ученицы будут иметь честь отужинать в вашем обществе у отца «неразлучной». Своими учеными рассуждениями о газетных статьях вы завоевали его расположение,— никаких уловок не понадобилось, чтобы вас пригласили. Дочь уже велела настроить клавесин. Отец перелистал Ламберти. А я, пожалуй, припомню то, что вы преподали мне в роще, в Кларане. О доктор всевозможных наук, вы в чем угодно примените свои знания! Господин д'Орб,— как вы догадываетесь, он тоже не забыт,— будет с ученым видом разглагольствовать о будущей присяге на верность неаполитанскому королю, а мы тем временем удалимся в комнату сестрицы. Там-то, мой верноподданный, преклонив колена пред дамой своего сердца и госпожой своей, взявшись с

нею за руки в присутствии ее канцлера, вы дадите ей присягу на верность и безупречную преданность. То не клятва в вечной любви,— ведь никто не властен ни сдержать, ни преступить такое обязательство,— а в нерушимой правдивости, искренности, откровенности. Вы не будете присягать ей на вечное подданство, а лишь обязуетесь не свершать вероломных деяний и, по крайней мере, объявить войну прежде чем свергнете иго. Выполнив сие, будете возведены в рыцарское достоинство и признаны единственным вассалом дамы и ее верным рыцарем.

Прощай же, милый друг. Мне становится весело при мысли о нынешнем ужине! Ах, как будет мне сладостно это веселье, когда ты разделишь его со мною!

## ПИСЬМО XXXVI

*От Юлии*

Расцелуй это письмо и прыгай от радости — сейчас ты узнаешь новость! И если я не прыгаю и мне нечего целовать, то, пожалуйста, не думай, что я сама не радуюсь. Так вот, батюшке надобно поехать в Берн по тяжебному делу, а оттуда в Солер за пенсионом, он предложил матушке сопровождать его, и она согласилась, надеясь, что перемена воздуха окажет благотворное действие на ее здоровье. Они хотели доставить мне удовольствие и взять меня с собою, а я не сочла удобным высказать свое мнение по этому поводу. Но коляска оказалась такой тесной, что пришлось отказаться от этой затеи, и сейчас все наперебой уговаривают меня не огорчаться. Пришлось притвориться опечаленной, но то, что я принуждена играть роль, внушает мне искреннее огорчение, и муки совести почти избавили меня от необходимости притворяться.

Пока родителей не будет, я не останусь дома, сама себе хозяйкой. Меня отправляют погостить к дядюшке,— все это время я и в самом деле буду неразлучна со своей «неразлучной». Помимо этого, матушка предпочла обойтись без горничной и оставляет Баби опекать меня. Сей аргус не очень-то опасен. Нет надобности подкупать ее верное сердце или делать ее своей наперсницей: в случае нужды от нее не трудно отделаться, стоит лишь предложить ей что-нибудь сулящее выгоду или развлечение.

Видишь, как легко будет нам видеться целые две недели. Но именно сейчас скромность и должна заступить место вынужденной сдержанности: наша обязанность — так же сдержи-

вать себя добровольно, как прежде по принуждению. Не смей приходить к кузине, пока я гощу у них, чаще, чем обычно, дабы не поставить ее в неловкое положение. Надеюсь, нет нужды говорить тебе о том, что ты должен щадить ее скромность, как того требует ее пол, и уважать священные законы гостеприимства,— человек порядочный не нуждается в нравоучениях, он понимает, что любовь должна с почтением относиться к дружбе, предоставившей ей приют. Я знаю твою пылкость, но знаю также, что есть пределы, за которые она не выйдет. Для тебя никогда не было жертвой повиновение чувству чести, не будет и теперь.

Отчего же ты так недовольно хмуришься? Отчего столько печали в твоем взгляде? Зачем роптать на непреложные законы, установленные долгом? Предоставь твоей Юлии смягчить их. Разве ты когда-нибудь раскаивался в том, что был послушен голосу ее рассудка? Возле цветущих берегов, там, у истоков Вевезы, есть уединенное селение,— порой оно служит прибежищем для охотников, а должно было бы служить приютом для влюбленных. Вдали от главной постройки, принадлежащей господину д'Орбу, раскинулось окрест несколько шале [1],— под их соломенными кровлями найдут укромное прибежище любовь и радость — друзья сельской простоты. Румяные молочницы не болтливы и умеют хранить чужую тайну, ибо нуждаются в этом сами. Ручьи, пересекающие луга, окаймлены прелестными рощицами да зарослями кустарника. А дальше, под сенью дремучих лесов, обретаешь приют еще уединеннее, еще глуше.

Al bel seggio riposto, ombroso e fosco,
Ne mai pastori appressan, ne bifolci [2].

Нигде там не встретишь ничего искусственного, созданного руками человека, его суетными заботами, повсюду видишь лишь одни нежные заботы всеобщей нашей Матери. Там находишься только под ее покровительством и можешь подчиняться лишь ее законам.

Клара с таким пылом уговаривала своего батюшку принять приглашение г-на д'Орба, что он решил, пригласив друзей, отправиться на охоту в этот кантон, провести там два-три денька и взять с собою «неразлучных». А ведь тебе ли не знать, что у «неразлучных» есть свои неразлучные. Один из них, хо-

---

[1] Расположенные в горах деревянные домики, где приготовляют сыр и всякого рода молочные припасы.

[2] Приют любезный, в зарослях укрытый,
Неведом овчарам и волопасам *(итал.)*.

зяин дома, будет, разумеется, оказывать почести гостям; другой же окажет почести — хоть и не такие пышные — своей Юлии в скромном шале; и шале, освященное любовью, станет для них Книдским храмом. Чтобы удачно и беспрепятственно осуществить чудесный замысел, надобно кое о чем условиться. Сговориться нам будет нетрудно, и все эти приготовления сами по себе уже составят часть того удовольствия, ради которого они задуманы. Прощай, друг мой, прерываю беседу, опасаясь всяких неожиданностей. К тому же я чувствую, что сердце твоей Юлии раньше времени переносится в шале.

P. S. Хорошо обо всем поразмыслив, я решила, что мы будем встречаться почти ежедневно, то есть через день — у сестрицы, а в другие дни — на прогулке.

## ПИСЬМО XXXVII

*От Юлии*

Вот и уехали нынче утром добрый мой батюшка и несравненная матушка, осыпая самыми нежными ласками свою возлюбленную дочку, столь недостойную их доброты. Я же, обнимая их, чувствовала, как у меня легонько сжимается сердце, но в то же время где-то в глубине этого неблагодарного, бесчеловечного сердца трепетала греховная радость. Увы! Куда же удалилась та счастливая пора, когда я все время была на их глазах, жила в невинности и благонравии, когда мне было хорошо только близ них, и стоило мне отойти, как я испытывала огорчение! Теперь же я, грешная и боязливая, дрожу, думая о них; краснею, думая о себе. Порок осквернил все мои добрые чувства, я изнываю в бесплодных и напрасных сожалениях, даже не вызывающих во мне настоящего раскаяния. Горькие мысли навеяли на меня такую тоску, какой я не испытывала при прощании. После отъезда любезных моих родителей таинная тревога поглотила всю мою душу. Пока Баби складывала вещи, я нечаянно вошла в комнату матери, заметила кое-какие оставленные ею уборы и перецеловала их, заливаясь слезами. Душа моя прониклась умилением,— и это несколько меня утешило. Значит, нежный голос природы еще не совсем заглох в моем сердце. Ах, мучитель мой, напрасно ты стремишься поработить нежное и столь слабое сердце; вопреки тебе, вопреки всем твоим стараньям обольстить его, в нем еще живы праведные чувства; оно еще почитает и лелеет права более драгоценные, нежели твои.

О, прости, любезный друг, за невольные упреки и не бойся, что я пущусь в долгие рассуждения, как, впрочем, следовало бы. Я понимаю, сейчас не время сетовать — быть может, уже никогда наша любовь не будет так свободна; не хочу скрывать от тебя своих страданий, но не хочу и огорчать тебя. Ты должен знать о них,— но не обременяй ими свою душу, а облегчи мою. Ведь только на твоей груди я могу излить свою печаль. Ведь ты — мой нежный утешитель. Ты поддерживаешь мое поколебавшееся мужество. Ты питаешь в моей душе склонность к добродетели, даже после того, как я потеряла ее. Без тебя и без милой моей подруги, рука которой так часто с нежным сочувствием утирала мои слезы, я уже давно зачахла бы от смертельной тоски! Но ваши нежные заботы поддерживают меня. Пока вы меня уважаете, я не могу унизить себя, и я с отрадой думаю о том, что ни она, ни ты не любили бы меня, если б я заслуживала одного лишь презрения. Я лечу в объятия милой кузины — вернее, нежной сестры,— чтобы излить свою невыносимую тоску. Приходи же нынче вечером, верни моему сердцу утраченную радость и спокойствие.

## ПИСЬМО XXXVIII

*К Юлии*

Нет, Юлия, я должен видеть тебя ежедневно,— так хороша была ты вчера. Я все больше подпадаю под твои чары, любви моей суждено непрестанно усиливаться и расти. Ты для меня — неисчерпаемый источник все новых и новых чувств, о коих я даже не мог помышлять. Какой непостижимый вечер! Какое неизведанное наслаждение подарила ты моему сердцу! Какая волшебная печаль! О, томление умиленной души, ты сладостнее всех бурных удовольствий, безудержной веселости, упоительной радости и восторгов, которые вкушают влюбленные в огне нечистовых желаний. Спокойное и чистое наслаждение, чуждое чувственных утех, никогда, о, никогда живая память о тебе не изгладится в моем сердце! О боги! С каким восхищением, с каким жаром смотрел я на двух нежных красавиц, когда они сидели, трогательно обнявшись, когда одна склонилась головкой на грудь другой, когда их сладостные слезы смешались и орошали твою прекрасную грудь,— так небесная роса увлажняет распустившуюся лилию! Я ревновал к их нежной дружбе! Даже находил ее более привлекательной, чем сама любовь, и негодовал на себя, что не могу предложить тебе столь

же отрадное утешение, не нарушив его вспышками страсти. Ничто, ничто на свете не может вызвать столь сладостное умиление, как ваша ласковая дружба, и, право, чета нежнейших любовников не произвела бы на меня более чарующего действия.

С какой страстью влюбился бы я в тот миг в милую кузину, если б не существовала Юлия. Да нет же, то сама Юлия распространила свое непреодолимое очарование на все, что ее окружало. Твое платье, убор, перчатки, веер, рукоделие — словом, все то, что дышит тобой, восхищало мои взоры и пленяло сердце,— от тебя одной исходило все очарование. Довольно, моя нежная подруга! Ты доведешь меня до такого опьянения, когда уже перестают ощущать в нем радость. То, что ты заставляешь меня испытывать, близко к исступлению, и я боюсь, что в конце концов сойду с ума. Позволь мне, по крайней мере, вкусить забвение, познать блаженство. Позволь мне насладиться неизведанным восторгом, более возвышенным, более упоительным, нежели все то, что я знал о любви. Да как ты смеешь почитать себя презренной? Ужели страсть лишила и тебя рассудка? Мне кажется, для смертной ты даже слишком совершенна. Я не поверил бы, что ты — земное создание, если б всепожирающий огонь, охвативший все мое существо, не сочетал меня с тобой и я не увидел, что мы горим одною страстью. Нет, никто на свете не знает тебя. Даже ты сама себя не знаешь. Только мое сердце тебя знает, понимает, воздает тебе должное. Юлия моя! Я не так почитал бы тебя, если б только боготворил. Ах, будь ты всего лишь ангелом, сколько прелести утратила бы ты!

Скажи, может ли еще увеличиться страсть, подобная моей? Не знаю, но чувствую, что может. Твой образ всегда со мною, но за последние дни он, еще более прекрасный, чем обычно, особенно преследует и мучит меня, и нигде, ни на миг нет мне избавления. Право, мне кажется, что ты, окончив свое последнее письмо и уйдя из шале, где ты его писала, оставила там свой образ и меня вместе с ним. С той поры как зашла речь о свидании на лоне природы, я трижды отправлялся побродить за город, и каждый раз ноги сами несли меня в одну и ту же сторону, и каждый раз надежда на сладостное свидание казалась мне все упоительней.

Non vide il mondo si leggiadri rami,
Ne mosse'l vento mai si verdi frondi [1].

---

[1] Ветвей прелестней свет еще не видел,
Листвы свежее ветры не ласкали *(итал.)*.

Право же, сельские просторы стали веселее, а зелень свежее и ярче, воздух чище, небеса яснее, пенье птиц как будто звучит более нежно и призывно, журчанье ручьев пробуждает еще более страстную томность, виноградники в цвету издали доносят неизъяснимо сладостное благовоние. Некая волшебная сила преображает все вокруг, или сам я зачарован. Кажется, будто земля украшает себя, готовя для твоего счастливого любовника брачное ложе, достойное и прекрасной, обожаемой его подруги, и пожирающей его страсти. О моя Юлия! О милая, бесценная половина души моей! Пусть присутствие четы верных любовников поскорее одушевит природу в ее вешнем убранстве! Принесем нашу радость в эти места, являющие лишь ее мнимый образ, вдохнем жизнь в природу, ибо она мертва без пламени любви. Еще три дня ожидания! Целых три дня! Опьяненный любовью, истомленный страстью, с мучительным нетерпением жду я того мгновенья, которое так медлит. Ах, как мы были бы счастливы, если б по воле неба не существовало докучных часов, отдаляющих подобные мгновения!

## ПИСЬМО XXXIX

*От Юлии*

Мое сердце, милый друг, разделяет все твои чувства, но не говори мне о радостях в тот час, когда люди, достойные их более, чем мы, страдают, мучаются, и я невольно упрекаю себя в том, что повинна в их страданиях. Прочти письмо, которое я прилагаю,— и оставайся спокоен, если можешь! Я же — я знаю славную, добрую девушку, написавшую его, и не могу читать письмо без слез раскаяния и жалости. Я отнеслась к ней с преступным небрежением, и это наполняет мне душу раскаянием: в горестном смятении я вижу, что, забыв главную свою обязанность, я забыла и все остальные. Я обещала позаботиться о бедняжке. Я заступилась за нее перед матушкой. Я оберегала ее; и вот, не умея уберечь себя, перестала думать о ней, отдав ее во власть опасностей, более страшных, чем те, перед какими я сама не устояла. Содрогаюсь при мысли о том, что сталось бы с моей подопечной двумя днями позже — бедность и соблазн сгубили бы скромную и разумную девушку,— а ведь она могла бы в один прекрасный день стать превосходной матерью. Друг мой, как только земля терпит негодяев, которые за деньги получают от обездоленных ту награду, какую должно дарить лишь

любящее сердце, и срывают с голодных уст нежные поцелуи любви!

Скажи мне, ужели тебя не трогает дочерняя привязанность моей Фаншоны, ее порядочность, ее наивная чистота? А на редкость нежное чувство ее возлюбленного, продающего себя ради того, чтобы облегчить ей жизнь! Ужели для тебя не будет истинным счастьем, если ты поможешь вступить в брачный союз этой молодой чете? Ах, если уж мы с тобою будем безжалостны к двум сердцам, которым грозит разлука, чего же им ждать? Я решила во что бы то ни стало исправить свою ошибку и сделать все, чтобы моя Фаншона и ее избранник поженились. Надеюсь, небо благословит мой замысел, и это послужит для нас самих счастливым предзнаменованием. Вот что я предлагаю, заклиная тебя именем нашей любви: пожалуйста, нынче же или, на худой конец, завтра утром отправляйся в Невшатель. Поговори с г-ном де Мервейе и выхлопочи увольнение благородному юноше. Не скупись ни на горячие просьбы, ни на деньги. Отвези ему письмо Фаншоны. Чувствительное сердце будет растрогано таким письмом. Словом, каких бы нам это ни стоило денег, каких бы радостей,— не возвращайся, пока не добьешься отпуска Клода Анэ, иначе твоя любовь не принесет мне за всю жизнь ни дня безоблачной радости.

Знаю, как должно возроптать твое сердце, но ужели ты думаешь, что мое сердце уже не возроптало? Однако я настаиваю на своем; ибо если добродетель не пустой звук, то надо приносить ей жертвы. Друг мой, достойный друг, отмененное наше свидание может состояться еще тысячи раз. Несколько приятных часов промелькнули бы как молния и канули в вечность. Если же счастье двух влюбленных, людей порядочных, в твоих руках, подумай о будущем, которое ты уготавливаешь себе. Поверь мне, случай осчастливить людей выпадает гораздо реже, чем мы думаем, и если его упустишь, ты будешь наказан уже тем, что его не вернешь, и от того, как мы поступим, в нашей душе навсегда сохранится либо чувство самоудовлетворения, либо — раскаяние. Прости, что, ревностно взявшись за дело, я пустилась в пространные поучения: в них мало нуждается человек порядочный и во сто крат менее — мой друг. Я превосходно знаю, как тебе ненавистно себялюбивое стремление к радостям жизни, которое делает людей равнодушными к страданиям ближних. Ты сам твердил тысячи раз: горе тому, кто не пожертвует в один прекрасный день своими наслаждениями ради долга человеколюбия.

## ПИСЬМО XL

*От Фашоны Регар к Юлии*

Сударыня! Простите бедную, отчаявшуюся девушку: не знаю, что уж и делать, и осмеливаюсь воззвать к вашему доброму сердцу. Ведь вы неустанно утешаете всех скорбящих, а я так несчастна, что только лишь вас да господа бога не разгневаю своими докучливыми просьбами. Я очень сожалею, что уже не обучаюсь ремеслу в мастерской, куда вы меня определили. К своему горю, я потеряла этой зимой матушку,— пришлось мне вернуться к бедному моему отцу, а он по-прежнему прикован параличом к постели.

Я помню, вы советовали матушке найти мне жениха, порядочного человека, чтоб он взял бы на себя заботы о семье. Клод Анэ (благодаря вашему батюшке он вернулся с военной службы) славный, честный малый; у него в руках хорошее ремесло, и он желает мне одного лишь добра. После всех ваших благодеяний я не смела досаждать вам. Он-то и помог нам пережить зиму. Мы собирались пожениться этой весной, и он всем сердцем мечтал взять меня в жены. Но вот на пасху настал срок уплаты за жилье, а мы не платили уже три года, и меня начали так притеснять, что бедняга, не зная, где взять столько денег, снова, тайком от меня, завербовался в роту г-на Мервейе и принес мне весь задаток. Г-н Мервейе пробудет в Невшателе с неделю, а Клоду Анэ придется через три-четыре дня отправиться в путь — сопровождать рекрутов. Так вот, у нас нет ни времени, ни денег, чтобы пожениться, и он оставляет меня без средств. Может быть, вы или г-н барон похлопочете, добьетесь увольнения от службы хотя бы на пять-шесть недель. А мы постарались бы за это время кое-что уладить: поженились бы или же я возвратила бы деньги бедному малому. Впрочем, я-то хорошо его знаю: он ни за что не возьмет деньги, раз их мне отдал.

Нынче утром ко мне явился один богатый человек, и чего только он мне не сулил! Но бог миловал, я от всего отказалась. Он сказал, что наведается завтра утром, узнать, каково же мое окончательное решение. Я ответила, что ему нечего зря себя утруждать,— ведь мое решение ему уже известно. Господь с ним. Завтра ему будет оказан такой же прием, как и нынче. Ну, а в кассу для бедных обращаться до того унизительно, что лучше уж перетерпеть; да и Клод Анэ такой гордый, что он откажется от девушки, получающей милостыню.

Извините меня за дерзость, добрая барышня. Ведь только вам одной я решилась признаться в своей беде. Сердце у меня так щемит, что лучше уж я кончу письмо. Готовая к услугам, покорная и преданная вам

*Фаншона Регар.*

### ПИСЬМО XLI

*Ответ*

У меня недостало памяти, а у тебя доверия ко мне, моя милая! Мы обе очень-очень виноваты, а моя вина совсем уж непростительна; но, право же, я постараюсь ее загладить. Я велела Бабн, которая и передаст тебе это письмо, поспешить тебе на выручку; она снова придет завтра утром и поможет тебе спровадить незваного гостя, если он появится опять, а после обеда мы с сестрицей проведаем тебя. Я ведь знаю, что ты не можешь оставить своего бедного отца, и хочу сама взглянуть, как идут дела в твоем маленьком хозяйстве.

За Клода Анэ не тревожься. Правда, батюшка в отъезде, но и до его возвращения будет сделано все, что возможно; теперь-то я не позабуду ни о тебе, ни о славном твоем женихе! Прощай же, душенька, и да ниспошлет тебе господь утешение! Хорошо, что ты не прибегла к общественному кошельку, этого никогда не следует делать, пока существует кошелек добрых людей.

### ПИСЬМО XLII

*К Юлии*

Получил ваше письмо и тотчас же отправляюсь в путь — вот мой ответ. Ах, жестокая! Как чуждо мое сердце этой противной добродетели, которую вы мне приписываете и которую я так ненавижу. Но вы приказываете, и я подчиняюсь. Пусть я испытаю все смертные муки, но надобно быть достойным уважения Юлии!

### ПИСЬМО XLIII

*К Юлии*

Я приехал в Невшатель вчера поутру и узнал, что г-н Мервейе в деревне. Я поспешил туда; оказалось, что он на охоте, и я прождал его до самого вечера. Когда ж я объяснил ему,

для чего приехал, и попросил сказать, сколько надобно денег за увольнение Клода Анэ, он и слушать ничего не пожелал. Я вообразил, что устраню все препятствия, предлагая ему значительную сумму, и все увеличивал ее, по мере того как он все решительней отказывался; но, ровно ничего не добившись, я ретировался, предварительно разузнав, застану ли его поутру дома, ибо твердо решил не отступаться, покамест так или иначе, с помощью ли денег, назойливыми ли напоминаниями или же любым иным способом, не добьюсь исполнения своей просьбы, ради которой к нему явился. И вот, встав спозаранок, я только собрался вскочить на лошадь, как явился нарочный от г-на Мервейе и передал мне записку, приложенную к отпускному свидетельству, составленному честь честью на имя нашего молодого человека:

«Вот, милостивый государь, отпускное свидетельство, хлопотать о коем вы приехали. Я отказал в нем, ибо вы предложили мне денежную мзду. Выдаю его только ради ваших милосердных побуждений и прошу поверить, что доброе дело не перевожу на деньги».

Судите по своей радости при этом известии о счастливом исходе, как обрадовался я. Отчего же радость не столь безоблачна, сколь, казалось бы, ей надлежит быть? Почитаю долгом своим навестить г-на Мервейе, поблагодарить его и возместить ему денежные издержки, и если посещение это задержит мой отъезд на день, как я опасаюсь,— не вправе ли я буду заметить, что он проявил великодушие за мой счет? Но пускай будет так! Я доставил вам радость; для этого я готов перенести все! Как счастлив тот, кто может оказать услугу возлюбленной и, таким образом, сочетать наслаждение любовью с добродетелью! Сознаюсь, Юлия, когда я уезжал, сердце мое было исполнено досады и тоски. Я упрекал вас за то, что вы так чувствительны к страданиям других и равнодушны к моим, как будто один я на всем свете не заслужил вашего сочувствия. Я находил, что с вашей стороны слишком жестоко сначала обольстить меня сладостной надеждой, а затем безо всякой нужды лишить радостей, которые вы сами и посулили мне. Но я уже не ропщу: на смену сетований пришло неведомое мне доселе чувство глубокой самоудовлетворенности. Я уже получил утешение, как вы и предсказывали,— ведь вы привыкли делать добро и прекрасно понимаете, какое это доставляет удовольствие. Странной обладаете вы властью: лишениям вы придаете такую же прелесть, как и удовольствиям, а всему, что сделано ради вас,— такую же приятность, какую находишь в том, чего

добился для самого себя! Ах, милая Юлия, сколько раз я твердил, что ты ангел небесный! Твоя душа имеет над моей такую власть, что я готов в ней видеть нечто божественное, а не человеческое. Как же не быть вечно верным тебе, если ты обладаешь неземной властью, как тебя разлюбить, если должно неизменно боготворить тебя?

P. S. По моим расчетам, у нас остается, по крайней мере, пять-шесть дней до возвращения твоей матушки! Неужели не удастся за это время свершить паломничество в шале?

## ПИСЬМО XLIV

*От Юлии*

Не ропщи, милый друг, что отец с маменькой так быстро возвратились. Все складывается благоприятнее, чем кажется, и добрые дела обернулись для нас такою удачей, какой мы не достигли бы и при помощи уловок. Подумай-ка сам, что случилось бы, если б мы следовали своим прихотям. Я бы отправилась в деревню как раз накануне возвращения матушки в город. Не успела бы я все подготовить для нашего свидания, как за мной примчался бы нарочный. Пришлось бы тотчас же выехать, вероятно даже не успев уведомить тебя, и ты ждал бы в смертельной тревоге, да и разлучиться в такую минуту было бы для нас невероятной мукой. К тому же стало бы известно, что и ты и я были в деревне. Несмотря на все наши предосторожности, вероятно, узнали бы, что мы бывали там вместе,— во всяком случае, нас стали бы подозревать, довольно и этого. Забыв скромность в нетерпеливой жажде наслаждений, мы потеряли бы возможность изведать их в будущем, а за то, что мы пренебрегли добрым делом, нас бы всю жизнь мучила совесть.

А теперь сравни все это с обстоятельствами нынешними. Во-первых, твое отсутствие произвело превосходное впечатление. Аргус мой уж непременно доложит матушке, что ты редко бывал у сестрицы. Баби знает о твоей поездке и о ее целях. Вот лишний повод уважать тебя. Да и кто подумает, что люди, живущие в добром согласии, по своей воле выберут для разлуки ту пору, когда б могли беспрепятственно встречаться? К какой хитрости мы прибегли, чтобы отстранить от себя справедливое подозрение? По-моему, к единственной дозволенной порядочным людям, а именно — к соблюдению такой безупречности в поступках, чтобы стать вне подозрений и чтоб все сочли стремление к добродетели за проявление взаимного равнодушия.

Право, друг мой, любовь, утаенная таким образом, столь сладостна для сердец, вкушающих ее! Добавь к этому радостное сознание, что ты соединил отчаявшихся влюбленных и осчастливил молодую чету, столь достойную счастья. Ведь ты видел мою милую Фаншону: не правда ли, она прелестна и заслуживает твоих благодеяний? Не правда ли, она так хороша и так несчастлива, что, пожалуй, оставшись в девицах, сбилась бы с пути? А Клод Анэ, чудом сохранивший нравственную чистоту за три года военной службы, вряд ли выдержал бы еще такой же искус и, наверное, превратился бы в негодяя, как все прочие! Но все обернулось иначе: они любят друг друга и поженятся, они бедны, но им будут помогать; они честные люди и такими же и останутся, ибо батюшка обещал позаботиться об их устройстве. Какое доброе дело сделал ты для них и для нас, с сердечностью посодействовав им, не говоря уж о том, что я твоя должница! Друг мой, таковы благие плоды жертв, которые мы приносим добродетели; и если иной раз жертвы обходятся дорого, зато всегда бывает приятно, что ты принес их, и еще никогда не случалось, чтобы человек раскаялся в добром поступке.

Не сомневаюсь, что ты, по примеру «неразлучной», тоже окрестишь меня «проповедницей»,— да и вправду мои речи сбиваются на проповеди. Но, если они и хуже, чем у заправских проповедников, зато я с удовольствием вижу, что не бросаю слова на ветер, не то что они. Я отнюдь не защищаюсь, любезный друг; я просто хотела бы прибавить к твоим добродетелям столько же добродетелей, сколько сама потеряла из-за своей безумной любви, и, не имея права уважать себя, я бы так хотела уважать себя в тебе. Твоя же единственная обязанность — любить меня совершенной любовью, а уж она довершит остальное. Как, должно быть, тебе приятно сознание, что все увеличиваются долги, уплату которых берет на себя твоя любовь.

Сестрица узнала, что ты вел беседу с ее отцом по поводу г-на д'Орб. Она так растрогана, словно мы не в вечном долгу перед нею за дружеские услуги, которые она нам оказала. Господи, какая же я счастливица, друг мой! Все так любят меня, а это так отрадно! И как бы сильно ни любила я всех — отца, мать, подругу, избранника сердца,— их нежная заботливость всегда опережает или даже превышает мою. Будто все нежнейшие на свете чувства беспрерывно изливаются в мою душу, и мне так жаль, что у меня всего лишь одна душа, дабы наслаждаться таким счастьем.

Забыла сообщить тебе, что завтра поутру мы ждем гостя — милорда Бомстона. Он только что воротился из Женевы, где провел семь-восемь месяцев. Он говорил, что проездом из Италии был в Сионе и виделся там с тобою. Он нашел, что ты хандришь, высказал о тебе много верных суждений. Вчера он так убедительно и кстати расхваливал тебя перед батюшкой, что я готова расхваливать его. И, вправду, я нашла, что его слова исполнены здравого смысла, остроумия и горячности. Когда он рассказывает о великих деяниях, голос его звучит громче и глаза загораются, как это бывает с людьми, способными на такие деяния. С пылом говорит он и об изящных искусствах, в частности об итальянской музыке, которую превозносит до небес. Мне чудилось, что я все еще слышу слова бедного братца. Впрочем, в его речах больше горячности, нежели изящества, и я даже нахожу, что он какой-то колючий. Прощай, друг мой!

## ПИСЬМО XLV

*К Юлии*

Не успел я во второй раз прочесть твое письмо, как появился милорд Эдуард Бомстон. О нем я тебе не рассказывал, мне было не до него: ведь столькими надобно было поделиться с тобою, моя Юлия! Когда один для другого составляет все на свете, приходит ли в голову мысль о третьем? Расскажу теперь то, что о нем знаю, ибо тебе, очевидно, так угодно.

Сделав восхождение на Симплон, он добрался до Сиона, опередив коляску, которую должны были прислать за ним из Женевы в Бриг; в безделье люди становятся довольно общительными, вот он и постарался свести со мною знакомство. Мы с ним сблизились, насколько это возможно между англичанином, от природы весьма замкнутым, и человеком, обуреваемым тревогами и ищущим уединения. И все же мы почувствовали, что подходим друг другу. Ведь бывает некое созвучие душ, которое замечаешь с первой же минуты знакомства. Словом, за неделю мы подружились, и на всю жизнь — так два француза подружились бы за день на все то время, покуда не расстанутся. Он стал рассказывать мне о своих путешествиях, и я, зная англичан, ожидал, что он пустится в описания архитектурных сооружений и живописи. Но немного погодя я с удовольствием увидел, что картины и монументы не помешали ему изучать людей и нравы. Впрочем, и об изящных искусствах он

говорил очень здраво, но сдержанно и скромно. Я нашел, что он судит о них, скорее основываясь на чувствах, нежели на познаниях, на впечатлении, а не на правилах,— это убедило меня, что он наделен чувствительной душой. Как и тебе, мне показалось, что он — восторженный почитатель итальянской музыки. Он даже уговорил меня кое-что послушать,— путешествует он вместе с весьма искусным музыкантом, своим камердинером, который отменно играет на скрипке, сам же Бомстон — довольно сносно на виолончели. Он выбрал несколько пьес — самых, по его мнению, трогательных, однако потому ли, что новые для меня звуки требуют большей музыкальной восприимчивости, то ли очарование музыки, столь приятное, если ты погружен в тихую печаль, исчезает, когда душа в безысходной тоске, но только пьесы эти не доставили мне большого удовольствия; хотя мелодия и в самом деле приятна, звучит она несколько странно и в ней нет экспрессии.

Зашел разговор и обо мне. Милорд с участием осведомился о моем положении. Я рассказал ему все, о чем ему следовало знать. Он предложил мне поехать в Англию, строил планы, сулящие мне счастливое будущее, словно это для меня возможно в том краю, где нет Юлии. Он сказал, что предполагает провести зиму в Женеве, а лето в Лозанне, и побывает в Веве до возвращения в Италию. Слово он сдержал, и вот мы опять увиделись с еще бо́льшим удовольствием.

Характер у него, как мне представляется, резкий и вспыльчивый, но благородный и твердый. Он носится с теми философскими идеями и принципами, о которых мы с вами когда-то толковали. Но думаю, что нрав у него такой от природы, а отнюдь не благодаря его системе, как он воображает,— тот внешний стоицизм, который он постоянно выказывает, сводится лишь к тому, чтобы умными рассуждениями прикрыть веления своего сердца. Меж тем я с немалою досадой узнал о кое-каких его похождениях в Италии и о том, что там он не раз дрался на дуэли.

Не понимаю, почему ты сочла его колючим; правда, он не очень обходителен, но, по-моему, в нем нет ничего непривлекательного. Хотя он и может произвести впечатление человека скрытного, вопреки открытому сердцу, и презирает мелочи, диктуемые приличиями, общение с ним весьма приятно. Ему чужда угодливая и обдуманная вежливость, которая выражается лишь во внешних проявлениях и вывозится нашими молодыми офицериками из Франции, зато он обладает вежливостью человечной, которая заключается не в том, чтобы с первого же

взгляда различать чины и ранги, а в том, чтобы с уважением относиться вообще к каждому человеку. Признаться тебе откровенно? Неучтивость — вот недостаток, который женщины не прощают даже воплощенному достоинству. Боюсь, что Юлия единственный раз в жизни судит как женщина.

Раз уж я пустился в откровенность, скажу тебе, моя прелестная проповедница, что ты тщетно хочешь обойти мои права и что алкающая любовь не насытится проповедью. Подумай, подумай же о справедливом вознаграждении, обещанном тобою. Моральные рассуждения твои очень хороши, но, право, шале было бы куда лучше.

## ПИСЬМО XLVI

*От Юлии*

Ну что это, друг мой, снова и снова — шале! Вся эта история с шале ужас как тяготит твое сердце, и я хорошо вижу, что ценой жизни или смерти, но с шале придется расправиться. Ужели те места, в которых ты никогда и не бывал, до того тебе дороги, что другие их не заменят, и любовь, создавшая в самом сердце пустыни дворец Армиды, не в силах соорудить для нас шале в городе? Послушай: моя милая Фаншона выходит замуж. Батюшка, охотник до праздников и до праздничных хлопот, собирается устроить свадьбу, на которую мы все будем званы, и, уж конечно, на этой свадьбе будет шумно. Тайна умудряется многое облекать своим покровом в самом разгаре веселой суеты и шумных пиршеств. Ведь ты понимаешь меня, друг мой? Как сладостно будет вновь обрести благодаря этой свадьбе те радости, которыми мы ради нее пожертвовали.

По-моему, ты с излишней горячностью взялся защищать милорда Эдуарда: право, я отнюдь не дурного о нем мнения. Да и могу ли я судить о человеке, с которым провела один лишь вечер? И как ты можешь судить о нем, зная его всего только несколько дней? Я, как и ты, высказываю лишь свое предположение. Его замыслы касательно тебя — быть может, лишь туманные обещания, на которые часто бывают щедры иностранцы, ибо от таких проектов, с виду столь веских, потом всегда легко отмахнуться. Однако я узнаю твою увлекающуюся натуру и склонность предвзято, с первого же взгляда, одобрять либо порицать людей. И все же мы на досуге обдумаем его предложения. Если любовь будет благоприятствовать плану,

возникшему у меня, то, пожалуй, нам представятся и лучшие возможности. О милый друг, терпенье горько, зато плоды его сладки.

Вернемся же к твоему англичанину. Я писала тебе, что он, по-моему, обладает возвышенной и твердой душой, скорее это человек просвещенный, нежели приятный. Ты высказал почти такое же мнение. А затем, с чувством превосходства, свойственного мужчинам и никогда не покидающего наших смиренных воздыхателей, стал упрекать меня за то, что я раз в жизни сужу как представительница своего пола,— словно женщина не всегда должна быть женщиной! Помнишь ли, как прежде, читая «Республику» Платона, мы спорили о духовном различии между мужчиной и женщиной? Остаюсь при своем старом мнении и никак не могу представить себе образец совершенства, одинаковый для столь различных созданий. Способность к нападению и защите, отвага мужчин, стыдливость женщин — не условности, как воображают твои философы, а узаконения природы, смысл которых легко установить и следствием которых являются все другие духовные различия. Кроме того, предназначение природы для мужчин и женщин не едино, с чем и сообразуются способности, взгляды и чувства тех и других. Землепашцу и кормящей матери не следует обладать одинаковыми вкусами и одинаковым телосложением. Рост повыше, голос погромче и черты лица порезче как будто не имеют прямого отношения к полу; но отличия во внешности указывают на намерение творца внести различие в духовную природу полов. Совершенная женщина и совершенный мужчина не должны походить друг на друга ни обликом, ни душою. Тщетные попытки подражать противоположному полу — верх безрассудства. Они смешат человека мудрого и обращают в бегство любовь. Да и в конце концов, если ты не пяти с половиной футов роста, не басишь и не отпускаешь бороду, все равно не сойдешь за мужчину.

Видишь, обижая возлюбленную, попадаешь впросак! Ты попрекаешь меня за ошибку, в которой я неповинна,— а если и повинна, то заодно с тобою,— и объясняешь ее таким недостатком, который я ставлю себе в заслугу. Хочешь, я отплачу откровенностью за откровенность и чистосердечно скажу все, что думаю об этом? По-моему, это лишь утонченная лесть, нужная тебе, чтобы награнной прямотой в твоих же глазах придать больше убедительности восторженным похвалам, которыми ты осыпаешь меня по любому поводу. Ты так ослеплен моими мнимыми совершенствами, что у тебя недостает духа основательно

укорить меня в чем-нибудь, дабы не укорять самого себя за столь пристрастное отношение ко мне.

Не стоит труда высказывать мне правду обо мне же, ничего у тебя не получится. Хотя глаза любви и проницательны, но вряд ли они подмечают недостатки! Только неподкупной дружбе дано печься об этом, и тут твоя ученица Клара во сто крат мудрее тебя. Да, друг мой, превозноси меня, восхищайся, находи меня прекрасной, очаровательной, совершенной. Твои похвалы мне приятны, хотя и не обольщают меня. Я знаю, что их подсказывает заблуждение, а не двоедушие, и что ты обманываешь себя сам, а вовсе не желаешь обмануть меня. О, как любезны нам слова, подсказанные обманом любви! Они льстят, но в такой лести есть и правда; рассудок молчит, зато говорит сердце. Возлюбленный, расхваливающий совершенства, которыми мы не обладаем, и вправду видит их в нас. Суждения его ложны, но не лживы; он льстит, не унижаясь, и, по крайней мере, к нему можно питать уважение, хоть ему и не веришь.

С сердечным трепетом я узнала, что завтра на ужин к нам приглашены два философа. Один из них — милорд Эдуард. Другой — ученый муж, который иной раз несколько утрачивает важность у ног своей юной ученицы; вы с ним не знакомы? Пожалуйста, убедите его хранить завтра получше, чем всегда, обличие истинного философа. А я поспешу предупредить малютку: пусть не поднимает глаз и старается перед ним предстать дурнушкой.

## ПИСЬМО XLVII

*К Юлии*

Ах, негодница! Хороша же обещанная осмотрительность! Хорошо же ты позаботилась о моем сердечном покое, хорошо скрыла свои чары! Ведь ты нарушила все свои обещания! Во-первых, ты не надела своих украшений, а сама отлично знаешь, что без них твоя красота всего опаснее. Во-вторых, твоя манера держаться так мила, так скромна, так подчеркивает твою прелесть,— тобой не налюбуешься вдоволь. Ты и говорила меньше, чем обычно, обдуманнее, остроумнее и приковала к себе наше внимание; мы ловили и слухом и сердцем каждое твое слово. Ария, которую ты спела вполголоса, желая придать пению еще больше нежной выразительности, понравилась даже милорду Эдуарду, хоть музыка и французская. А твой застенчивый взгляд, опущенные глаза, внезапный их блеск, повергавший меня в трепет! И, наконец, ты вся дышала

непзъяснимой прелестью, очарованием и всем кружила головы, словно и не помышляя об этом. Право, не знаю, как это все у тебя получается; но если ты таким образом стараешься стать дурнушкой, то уверяю тебя — этого более чем достаточно, чтобы привлечь к себе внимание мудрецов.

Боюсь, бедный английский философ тоже подпал под власть твоих чар. Мы проводили сестрицу, но наше веселое оживление еще не прошло, и он пригласил нас в гости — помузицировать и выпить пунша. Пока созывали слуг, он все твердил о тебе, и его пыл мне пришелся не по вкусу, а похвальное слово тебе из его уст, право, не доставило мне той приятности, с какою ты слушала, как он хвалил меня. Признаюсь, я вообще не люблю, когда кто-нибудь, кроме твоей кузины, говорит о тебе. Мне все кажется, будто слово людей сторонних похищает частицу моей тайны или моих радостей, и что бы ни говорили, в речах слышится столь подозрительное любопытство или же все столь чуждо моим чувствам, что я предпочитаю, чтобы о тебе говорил лишь мой внутренний голос.

Впрочем, я совсем не склонен к ревности, не то что ты. Я лучше знаю твою душу. Надежные ручательства не позволяют мне даже и помыслить, будто ты можешь перемениться. После всех твоих уверений я не завожу разговора о прочих искателях твоей руки. Но он, Юлия... состояние у него порядочное... а предрассудки твоего отца... Ты же знаешь, что речь идет о моей жизни; прошу тебя, скажи хоть слово. Одно лишь слово Юлии, и я успокоюсь раз навсегда.

Всю ночь напролет я слушал итальянскую музыку, и сам был исполнителем, ибо пашлись дуэты, и я отважился петь. Еще не решаюсь говорить о том, какое она произвела на меня впечатление. Боюсь, право, боюсь — вчерашний ужин оставил в душе моей такой след, что это отразилось на всем дальнейшем, и влияние твоих чар я принял за пленительное влияние музыки. В Сионе она показалась мне прескучной, здесь же я пребываю в ином состоянии духа и слушаю ее с удовольствием. Но причина того и другого — одна. Ведь ты — источник всех движений моей души. Мне не устоять перед твоими чарами! А если музыка и вправду производит такое пленительное впечатление, она бы воздействовала и на остальных слушателей. Но пока я, внимая мелодии, упивался восторгом, г-н д'Орб преспокойно дремал в креслах; когда я выражал восхищение, он вместо хвалебных слов ограничился вопросом, знает ли твоя сестрица итальянский язык.

Все это станет яснее завтра, ибо нынче мы сговорились снова устроить музыкальный вечер. Милорд задумал сделать его еще полнее и выписал из Лозанны второго скрипача — по его словам, известного музыканта. Я же принесу кое-какие французские музыкальные пьесы, кантаты,— тогда и увидим!

Придя домой, я почувствовал страшную усталость,— сказалась непривычка бодрствовать ночами, но все как рукой сняло, как только я стал писать тебе. Однако постараюсь час-другой соснуть. Явись же, мой милый друг, привидься мне. И смутит ли меня во сне твой образ, успокоит ли, приснится ли мне свадьба Фаншоны, нет ли, но твой образ подарит мне дивный миг, которого я не упущу,— миг, когда, пробуждаясь, я почувствую свое счастье.

## ПИСЬМО XLVIII

*К Юлии*

Ах, Юлия, какие звуки! Как они трогают душу! Какая музыка! Какой пленительный источник чувств и наслаждения! Сию же минуту старательно собери все свои ноты — оперы, кантаты,— словом, все французские произведения, разожги огонь, да побольше и пожарче, швырни в него всю эту дребедень и хорошенько размешай — пусть эта глыба льда закипит и хоть раз обдаст жаром. Принеси жертву богу вкуса во искупление своих и моих грехов. Мы грешили, опошляя твой голос резкими и заунывными звуками, так долго принимая за язык сердечных чувств оглушительный шум. Твой достойный брат был прав! В каком страшном заблуждении находился я прежде, не понимая творений этого восхитительного искусства! Они оставляли меня равнодушным, и я приписывал это их незначительности. Я говорил: «Да ведь музыка всего лишь пустой звук, она услаждает слух и только косвенно и слабо влияет на душу: воздействие аккорда — чисто механическое и физическое. Что оно дает чувству? Почему прекрасное созвучие должно восхищать больше, чем прекрасное сочетание красок?» В мелодии, приноровленной к звукам речи, я не замечал могучего и таинственного слияния страсти со звуками. Не понимал, что подражание человеческой речи, исполненной чувства, дарует пению власть над сердцами, волнуя их, и что именно выразительная картина движений души, создаваемая при пении, является истинным очарованием для слушателей.

На все это указал мне певец милорда, а он, хоть и музыкант, но довольно сносно рассуждает о своем искусстве. «Гар-

мония,— говорил он,— всего лишь второстепенный аксессуар подражательной музыки. В самой, собственно говоря, гармонии не заложено начал подражания. Правда, она укрепляет напев; она свидетельствует о верности интонации, придает окраску модуляциям голоса, выразительность и приятность пению. Но одна лишь мелодия порождает непобедимое могущество звуков, исполненных страсти, благодаря ей музыка владеет душой. Составьте искуснейшие каскады аккордов, но безо всякой мелодии, и через четверть часа вам станет скучно. А прекрасное пение безо всякой гармонии слушаешь долго, не ведая скуки. И самые нехитрые песенки захватывают тебя, если их одушевляет чувство. Напротив, ничего не выражающая мелодия звучит дурно, а одной только гармонии ничего не удается сказать сердцу.

Вот тут французы и ошибаются в своих суждениях о воздействии музыки,— продолжал он.— Они не владеют мелодией, да им и не найти ее в своем языке, лишенном звучности, в жеманной поэзии, которой всегда была чужда естественность, и потому они воображают, будто сила музыки — в гармонии и в раскатах голоса, делающих звук не мелодичнее, а громче. Они так жалки в своих притязаниях, что даже сама гармония, которую они ищут, от них ускользает. Они теряют чувство меры, неразборчивы в средствах, уже не понимают, что может произвести истинное впечатление, и превращают свои пьесы в нагромождение звуков; они занимаются пустыми поделками, они портят себе слух, чувствительны только к шуму, и чем громче голос, тем он для них прекраснее. Таким образом, не имея самобытного жанра, они всегда только и делали, что неуклюже и отдаленно следовали нашим образцам, а со времен своего знаменитого — вернее, нашего знаменитого — Люлли, который только тем и занимался, что подражал операм, коими в ту пору Италия уже была богата, они тридцать — сорок лет повторяли, и при этом портили создания наших старых композиторов и выделывали с нашей музыкой почти то же, что другие народы выделывают с их модами. Похваляясь своими песнями, они сами себе выносят приговор. Если б они умели воспевать чувство, то не пели бы рассудочно; их музыка бесцветна, поэтому более подходит к песням, нежели к операм, а наша музыка вся проникнута страстью, поэтому она более подходит к операм, нежели к песням».

А потом он исполнил речитативом несколько сцен из итальянских опер, и я понял, как сочетаются музыка и слова в речитативе, музыка и чувства в ариях и какую силу выразительности придают всему точный ритм и стройность звуков. Затем,

когда вдобавок к своему знанию языка я постиг, насколько мог, суть красноречивых и патетических интонаций, то есть искусства говорить без слов, воздействуя на слух и сердце, — я стал внимать этой чарующей музыке и вскоре по волнению, охватившему меня, понял, что это искусство обладает гораздо большим могуществом, нежели я воображал. Незаметно мною овладевала какая-то сладостная нега. Ведь то не было пустое звукосочетание, как в наших пьесах. При каждой музыкальной фразе в моем мозгу возникал образ, а в сердце чувство. Музыка не просто ласкала слух, а проникала в душу; лилась с пленительной легкостью. Казалось, исполнители были одухотворены единым чувством. Певец, свободно владея голосом, извлекал из него все, что требовали слова и мелодия, и душа моя радовалась — я не ощущал ни тяжеловесных каденсов, ни досадной скованности, ни той принужденности, которая чувствуется у нас в пении из-за вечной борьбы мелодии и ритма, неспособных слиться воедино, борьбы, не менее утомительной для слушателя, чем для исполнителя.

После прелестных арий зазвучали музыкальные творения, полные экспрессии,— им дано вызывать и изображать могучие страсти, повергающие нас в смятение, и я с каждым мигом все более утрачивал ощущение музыки, пения, подражания. Мне чудилось, будто я внемлю голосу печали, восторга, отчаяния. Мне чудились безутешные матери, обманутые любовники, жестокосердные тираны. Душа моя пришла в такое волнение, что я чуть не убежал. И я понял, отчего та музыка, которая прежде наводила на меня скуку, ныне воспламенила меня до самозабвенного восторга: я начал постигать ее, и коль скоро я стал доступен ее воздействию, то оно и проявилось со всею своей силой. Нет, Юлия, такие впечатления не испытываешь только отчасти. Они или потрясают, или оставляют равнодушным, но не бывают слабыми или посредственными,— либо ты бесчувствен к ним, либо потрясен ими; либо для тебя это лишь бессмысленные звуки непостижимого языка, либо неудержимый натиск чувств, которые захватывают тебя так, что душа не в силах им противиться.

Я сожалел лишь об одном,— что не из твоей груди льются эти звуки, тронувшие мою душу, что нежнейшие слова любви вылетают из уст какого-то жалкого castrato[1]. О Юлия, душа моя! Не мы ли с тобой имеем право на весь мир чувств? Кто лучше нас ощутит, кто лучше выскажет все то, что должна

---

[1] Кастрата *(итал.)*.

высказать и ощутить растроганная душа? Кто выразительнее нас произнесет нежные слова «cor mio, idolo amato»? [1] О, сколько страсти вложило бы в музыку сердце, если б мы с тобой спели один из прелестных дуэтов, исторгающих отрадные слезы! Прошу тебя, во-первых, не откладывая, послушай или дома, или же у «неразлучной» какую-нибудь итальянскую пьесу. Милорд приведет музыкантов, когда ты пожелаешь, и я уверен, что ты, одаренная таким тонким слухом да вдобавок более сведущая, чем я, в итальянской декламации, после первого же концерта поймешь меня и разделишь мой восторг. А затем — еще одно предложение и еще одна просьба: воспользуйся пребыванием искусного музыканта и поучись у него, что и я стал делать с нынешнего утра. Его метода весьма проста, ясна и построена на наглядности, а не на разглагольствованиях; он не объясняет, что надо делать, а делает; и в данном случае, как и во множестве других, наглядный пример куда лучше правила. Я уже понимаю: главное — подчиниться ритму, хорошо его почувствовать, оттачивать, тщательно оттенять каждую музыкальную фразу, выдерживать звуки, не давая им вырываться с чрезмерной силой,— словом, смягчить громкие раскаты голоса, избавить его от французских прикрас и придать ему задушевность, выразительность и гибкость. Твой голос, от природы поставленный и нежный, легко воспримет новшества. Ты так восприимчива, что быстро обретешь силу и живость звука, одушевляющего итальянскую музыку.

E l'cantar che nell'anima si sente [2].

Оставь же навсегда скучную и пудную французскую манеру петь — это пение напоминает вопли при коликах, а не вздохи восторга. Научись же создавать дивные звуки, вдохновляемые чувством,— ведь только они достойны твоего голоса, только они достойны твоего сердца и передают прелесть и пылкость чувствительных натур.

## ПИСЬМО XLIX

*От Юлии*

Друг мой, ты хорошо знаешь, что я пишу тебе украдкой и всегда боюсь, как бы меня не застали врасплох. Нет у меня возможности писать длинные письма, поэтому-то я только отвечаю на самое важное в твоих письмах или досказываю то, о чем не

[1] Сердце мое, кумир моей любви *(итал.)*.
[2] И пенье, трогающее душу *(итал.)*.

удалось поведать тебе во время наших бесед,— ведь мы и разговариваем тоже тайком. Нынче мне непременно хочется сказать тебе два словечка о милорде Эдуарде, из-за него я даже забыла обо всем остальном.

Друг мой, ты боишься потерять меня, а говоришь со мной о пении! Право, это — изрядный повод для раздоров между любовниками, не столь хорошо понимающими друг друга. Ты и вправду не ревнив. Теперь я, пожалуй, не стану ревновать, ибо я постигла твою душу и чувствую, как велико твое доверие, которое другие могли бы счесть за признак холодности. О, сладостная и отрадная уверенность, порожденная чувством полнейшего душевного единения! Именно благодаря ей ты черпаешь в своем сердце отличное доказательство верности моего; именно благодаря ей и мое сердце оправдывает тебя, и если б тебя волновала ревность, я бы сочла, что ты уже не так сильно влюблен.

Не знаю и не желаю знать, выказывает ли мне милорд Эдуард больше внимания, чем любой мужчина выказывает девице моего возраста. Но дело не в его чувствах, а в чувствах моего отца и в моих, а мы с ним смотрим совершенно одинаково как на милорда, так и на всех мнимых искателей моей руки, о которых, как ты говоришь, ты не говоришь ничего. Если для твоего спокойствия тебе достаточно узнать, что и милорд и все прочие не идут в счет, то больше не тревожься. Как бы ни были лестны для нас намерения столь знатного господина, никогда не будет согласия ни отца, ни дочери на то, чтобы Юлия д'Этанж стала леди Бомстон. Так и знай.

Не думай, что у нас заходил разговор о милорде Эдуарде. Уверена, что из всех нас четверых только ты один и мог предположить, будто я ему понравилась. Во всяком случае, я уже знаю волю батюшки, хотя он мне, да и никому другому, не обмолвился ни словечком; и я бы ничего нового не узнала, если бы он о ней прямо объявил. И этого вполне достаточно, чтобы утолить все твои тревоги, а о большем тебе и знать нечего. Все остальное для тебя — предмет пустого любопытства, а ведь ты знаешь, я решила не потакать ему. Напрасно ты упрекаешь меня, будто я о многом осторожно умалчиваю, и уверяешь, что это во вред нашему общему благу. Когда б я всегда помнила об осторожности, она бы нам сейчас была не так нужна. Если б я не допустила нескромности и не выболтала тебе все, о чем говорила с отцом, ты бы не пришел в такое отчаяние, живя там, в Мейери, и не прислал бы мне оттуда письма на мою погибель. Жила бы я в невинности и еще могла бы мечтать о счастии. Суди же сам, как дорого мне обошелся единственный мой

нескромный поступок, как мне должно быть осмотрительней впредь. У тебя слишком увлекающаяся натура, и ты не можешь быть осмотрительным; пожалуй, тебе легче одолеть свои страсти, чем утаить их. От пустячного повода к тревоге ты приходишь в неистовство, от пустячного проблеска надежды ты забываешь о всех сомнениях! В твоей душе нетрудно прочесть все наши тайны, а твоя горячность может уничтожить все плоды моих стараний. Предоставь же мне заботы любви, себе оставь ее утехи. Или тебе тягостно такое разделение? Пойми, если ты хочешь помочь нашему счастью, от тебя требуется только одно — не создавать к нему препятствий!

Увы! К чему мне отныне все эти запоздалые предосторожности! Поздно прокладывать себе путь, когда оказался на дне пропасти, и предотвращать беды, когда они уже тебя сокрушили. Ах, бедная я, бедная! Мне ли говорить о счастье? Да и место ли счастью там, где царят угрызения совести и стыд? Господи! Как ужасно, когда преступление нестерпимо, но раскаяться в нем ты не можешь,— тебя обступают бесчисленные страхи, тысячи напрасных надежд тебя обольщают, а ты не находишь покоя даже в жутком спокойствии отчаяния! Отныне предаюсь во власть судьбы. Тут уже не имеют значения ни сила духа, ни добродетель, а только лишь счастливый случай и благоразумие. Дело не в том, чтобы погасить любовь мою, которой суждено длиться всю жизнь, а в том, чтобы сделать ее невинной или же умереть грешницей. Обдумай, друг мой, все это и реши, можешь ли ты довериться моей ревностной заботе?

## ПИСЬМО L

*От Юлии*

Вчера, когда мы расставались, мне нисколько не хотелось говорить с вами о причинах уныния, за которое вы меня укоряли: вы были бы не в состоянии понять меня. Терпеть не могу объяснения, но должна объясниться: раз обещала, то исполню обещанное.

Не знаю, помните ли вы, сколько нелепостей наговорили мне в тот вечер и как притом вели себя? Лучше было бы навсегда забыть все во имя вашей чести и ради собственного покоя. К несчастью, негодование мое так велико, что забыть трудно. Подобные выражения порою резали мой слух, когда мне случалось проходить мимо порта; но я никак не думала, что они могут слететь с уст человека порядочного. Во всяком случае, глубоко уверена, что им не место в любовном словаре.

Мне и в голову не могло прийти, что они прозвучат в нашем с вами разговоре. О господи! Что же это у вас за любовь, если она так приправляет свои радости? Правда, вы вышли из-за стола после долгих возлияний, а я вижу, что в наших краях этим обстоятельством приходится оправдывать многие проявления необузданности,— только потому я и объясняюсь с вами. Знайте: если б вы в трезвом состоянии попытались так обойтись со мною наедине, наша встреча была бы последней.

Но вот что меня тревожит: ведь в поведении подвыпившего человека порою обнаруживается то, что обычно он таит в глубине души. Неужели в невменяемом состоянии, когда человек уже не притворяется, вы проявили свою истинную суть? Как же мне быть, если вы трезвый думаете так, как говорили вчера вечером? Чем переносить подобные оскорбления, не лучше ли загасить огонь, порождающий грубые желания, и потерять того, кто, не умея чтить свою возлюбленную, мало заслуживает и ее уважения. Скажите же,— ведь вы так цените благородные чувства,— неужели вы впали в столь жестокое заблуждение и решили, что в счастливой любви неладно щадить стыдливость и что нет нужды уважать возлюбленную, раз уже нечего опасаться ее строгости? Ах, если б вы всегда так думали, то не стали бы так опасны для меня, а я не была бы так несчастна. Не обманывайтесь, друг мой, всего губительней для истинно влюбленных — человеческие предрассудки. Множество людей толкуют о любви, но только немногие умеют любить, большинство принимает за ее чистые и нежные законы презренные правила тех мерзких отношений, при которых пресыщенные чувства поддерживаются чудовищной игрой воображения и развратом.

Быть может, я и обманываюсь, но, по-моему, нет на свете уз целомудреннее, чем узы истинной любви. Только любовь, только ее божественный огонь может очистить наши природные наклонности, сосредоточивая все помыслы на любимом предмете. Любовь оберегает нас от соблазнов и делает так, что существа другого пола, кроме единственного любимого существа, вообще не имеют для нас значения. Для обыкновенной женщины всякий мужчина есть мужчина; для той же, сердце которой познало любовь, кроме ее возлюбленного, мужчин не существует. Что я говорю? Да разве возлюбленный — это просто смертный? Ах, да он нечто гораздо более высокое! Нет больше мужчин на свете для той, которая любит: ее возлюбленный — это все, остальные ничто! Кроме его и ее, нет мужчин и женщин. Они не вожделеют, они любят. Сердце не покорствует жела-

пиям, оно ими управляет; дивным покровом оно окутывает их безумные порывы. Да, непристоен только разврат и его грубый язык. Истинная любовь скромна, никогда она не дерзнет силой добиться благосклонности; она похищает ее застенчиво. Тайна, молчание, робкая стыдливость усиливают и скрывают ее сладостные восторги. Пламя любви облагораживает и очищает любовные ласки; благопристойность и порядочность сопровождают ее даже на лоне сладострастной неги, и лишь она умеет все это сочетать с пылкими желаниями, однако не нарушая стыдливости. Ах, скажите мне,— ведь вы познали истинные наслаждения, ужели наглое бесстыдство может сочетаться с любовью? Ужели оно не уничтожит ее восторги, всю ее прелесть? Ужели не осквернит безупречный образ, в котором мы так любим представлять себе предмет нашей любви? Поверьте, друг мой,— любви и разврату не ужиться и одно не подменит другого. Сердце вкушает подлинное счастье, когда любишь друг друга, и ничто не заменит счастья, когда любить перестаешь.

И если, к несчастью, непристойные речи пришлись вам по вкусу, то как вы решились — столь неуместно — обращаться с ними к той, что любезна вашему сердцу, как допустили тон, повадки, о коих и знать не должен человек порядочный! С каких пор приятно огорчать того, кого любишь, что за удовольствие, противное человеческой натуре,— наслаждаться страданиями другого? Я потеряла право на уважение окружающих и не забыла об этом, а если б даже вдруг и забыла, не вам напоминать. Разве должно виновнику моего падения усугублять кару? Ему бы надлежало утешать меня. Каждый вправе меня презирать, но только не вы. Ведь вы в долгу передо мною, вы — виновник моего унижения. Я пролила потоки слез, оплакивая свою слабость, и вам не пристало подчеркивать ее с такой бессердечностью. К числу недотрог я не принадлежу. Увы! Далеко мне до них — даже не удалось быть благоразумной. Вы-то хорошо знаете, неблагодарный, что мое нежное сердце не умеет отказывать любви! Но если оно и уступает, то, по крайней мере, уступает только ей. Вы сами так хорошо научили меня понимать ее язык, что вам не подменить его иным, столь ей чуждым. Оскорбления и побои огорчили бы меня меньше, чем подобные ласки. Или откажитесь от Юлии, или заслужите ее уважение. Я уже говорила вам — нецеломудренной любви я не признаю. Тяжело утратить вашу любовь, но гораздо тяжелее сохранить ее такою ценой.

Еще столько всего надобно сказать по этому поводу, но пора кончать письмо, и я все откладываю до других времен. А пока-

мест поразмыслите о том, как обернулось ваше превратное понятие о невоздержности в питье. Я уверена,— сердце ваше ничуть не виновно, но вы сокрушили мое сердце и, не ведая, что творите, истерзали его, словно забавы ради. А ведь его так легко привести в смятение, и ни к чему, что исходит от вас, оно не может остаться безучастным.

## ПИСЬМО LI

*Ответ*

Каждая строчка вашего письма леденит мне кровь; я перечитал его раз двадцать, а мне все не верится, что оно обращено ко мне. Как? Я,— да, я! — обидел Юлию?! Осквернил ее стыдливость? Подверг оскорблениям ту, которой поклоняюсь денно и нощно? Нет, тысячу раз я пронзил бы свое сердце, но не позволил бы ему возыметь столь дикое намерение! Ах, как мало ты знаешь это сердце, сделавшее тебя своим кумиром,— сердце, готовое вылететь из груди и повергнуться к стопам твоим, сердце, мечтающее поднести с благоговением тебе одной новые, неведомые остальным смертным, дары любви! О, как же ты мало знаешь это сердце, моя Юлия, если обвиняешь его в том, будто оно не питает к тебе даже того обычного, повседневного почтения, какое проявляет любой самый пошлый человек к своей любовнице! Не верится, что я вел себя бесстыдно и грубо. Я не переношу непристойных речей и никогда в жизни не посещал злачных мест, где им можно научиться. Да ужели я произносил бы их в твоем присутствии, щеголяя ими, вызывая твое справедливое негодование, даже если б я был последним негодяем, если б я провел юность свою в распутстве, если б склонность к постыдным утехам проникла в сердце, где царишь ты? О, скажи мне, Юлия, ангел небесный, скажи, ужели и тогда я мог бы перед тобою вести себя с дерзостью, которую позволяют себе лишь находясь в обществе женщин, до нее падких? О нет,— это невозможно! От одного твоего взгляда унялся бы мой язык и очистилось сердце. Любовь усмирила бы мои пылкие желания, очаровав меня твоею скромностью, и преодолела бы ее, ничем не оскорбив. И в сладостном единстве наших душ только их восторг привел бы нас к самозабвению. Призываю тебя же в свидетельницы. Скажи, разве я, в неистовом порыве беспредельной страсти, хоть на миг забывал чтить ее прелестную виновницу? За свою пламенную любовь я получил достойную награду, но скажи, разве я употребил во зло свое счастье

и оскорблял твою нежную стыдливость? Если моя пылкая и робкая любовь иногда и позволяла мне несмело прикоснуться к твоему прелестному стану — то скажи, отважился ли я хоть раз грубо и дерзостно осквернить эту святыню? А если страсть, забыв о скромности, на миг и сбросит с тебя покровы, то разве милая стыдливость не заменит их тотчас же своими? И этого священного одеяния ты ни на миг бы не лишилась, даже если б совсем была нагою. Оно безупречно, как твоя благородная душа, и ему не могли нанести ущерб мои пылкие желания. Разве столь сладостный и трогательный союз не дает нам полного блаженства? Не составляет счастье всей жизни? Есть ли у нас иные радости, кроме тех, что дает любовь? Да и зачем нам иные? Неужели ты думаешь, что я пожелал бы нарушить это очарование? Возможно ли, чтобы я вдруг забыл о порядочности, о нашей любви, о своей чести, о том незыблемом благоговейном уважении, какое я всегда питал бы к тебе, даже если б тебя не обожал! Нет, не верь этому, не я оскорбил тебя. Ведь я ничего не помню. А провинись я хоть на миг один, ужели угрызения совести не терзали бы меня всю жизнь! Нет, Юлия, то дьявол-искуситель, завидуя чересчур счастливому уделу одного из смертных, вселился в мой образ, чтобы разбить мое счастье, но оставил мне сердце, чтобы сделать меня еще несчастнее.

Я полон омерзения, отрекаюсь от преступных дел, которые, очевидно, свершил, раз ты меня обвиняешь, но свершил помимо воли. Как мне отвратительна пагубная невоздержность в питье,— мне казалось, что она благоприятствует сердечным излияниям, но нет, она жестоко обесчестила мое сердце! Клянусь тебе нерушимою клятвой — с нынешнего дня я на всю жизнь отрекаюсь от вина как от смертоносной отравы. Никогда этому гибельному напитку не смутить мои чувства, не осквернить мои уста, хмель никогда не лишит меня разума и не введет в невольный грех. Любовь, казни меня по заслугам, если я преступлю клятву: пусть тотчас же образ Юлии покинет мое сердце, уступая место холодной безнадежности.

Не думай, будто я собираюсь искупить свой грех таким легким наказанием. Это только предосторожность, а не кара — достойной кары я жду от тебя. Умоляю о ней,— только она облегчит мои муки. Пусть же оскорбленная любовь отомстит и умиротворится. Казни меня, но без ненависти ко мне, и я все снесу без ропота. Будь и справедливой и суровой, так надобно, я с этим согласен. Но если не хочешь лишить меня самой жизни, то отними у меня все, только не свое сердце.

## ПИСЬМО LII

*От Юлии*

Как, друг мой, отказываться от вина ради возлюбленной! Вот так жертва! О, бьюсь об заклад,— во всех четырех кантонах не найти столь пылкого влюбленного! Я не хочу сказать, что среди наших молодых людей нет офранцуженных щеголей, которые не пили бы одну воду из важности; за то тебя первого заставила пить воду любовь. О таком примере стоит упомянуть в любовных летописях Швейцарии. О твоем поведении мне уже известно. С величайшим изумлением я узнала, что вчера, отужинав у господина Вейерана, когда после трапезы все вкруговую осушили шесть бутылок вина, ты даже не прикоснулся к нему устами и выпил столько же воды, сколько другие вина с берегов Женевского озера. Однако это покаянное расположение духа длится уже три дня, с тех пор как я тебе написала, а ведь три дня означают, по крайней мере, шесть трапез. Таким образом, шесть раз ты воздерживался за столом от вина из верности, добавь еще шесть — из страха, да еще шесть — от стыда, да еще шесть — уже по привычке, да еще шесть — из упрямства. Сколько найдется причин для того, чтобы все нести и нести тяжкое бремя лишений, якобы во имя любви, — а соблаговолит ли она принять то, что ей, пожалуй, и не принадлежит?

Но я еще более несдержанна в своих неуклюжих шутках, чем ты в своих непристойных речах. Пора остановиться. Ты серьезен от природы. Я заметила, что долгая болтовня тебе досаждает, как толстяку долгая прогулка. Зато я придумала тебе месть, наподобие мести Генриха IV герцогу Майенскому: твоя повелительница желает подражать в милосердии лучшему из королей. К тому же я боюсь, что после всех своих сетований и извинений ты в конце концов вменишь себе в заслугу свой проступок, столь хорошо искупленный,— вот я и спешу позабыть о нем теперь же — из страха, что, если упустить время, такое великодушие станет уже неблагодарностью!

Что до твоего решения навсегда отказаться от вина, то, на мой взгляд, оно не так блистательно, как ты воображаешь. Сильным страстям нет дела до столь мелких жертв, и любовь не питается учтивостью. Да и, кроме того, в желании извлечь выгоду в настоящем из неопределенного будущего больше хитрости, нежели смелости,— в этом сквозит надежда заранее получить награду за вечное воздержание, от которого при случае можно и отказаться. Эх, милый друг, неужто во всем, что услаждает нашу плоть, излишество неразлучно с наслаждением? Да

разве пить вино непременно надобно допьяна и философия так никчемна или так жестока, что не научит, как с умеренностью пользоваться удовольствиями, а не совсем их лишаться!

Если ты будешь исполнять свой зарок, то лишишься невинного удовольствия и даже подвергнешь опасности свое здоровье, резко меняя образ жизни. Если же ты нарушишь зарок, то нанесешь любви вторичное оскорбление, причем пострадает и твоя честь. Пользуясь своими правами, я не только освобождаю тебя от твоего никчемного обета, принесенного без моего согласия, но даже запрещаю тебе соблюдать его далее предписанного мною срока. Во вторник милорд Эдуард устраивает у нас концерт. За ужином я пошлю тебе бокал, до половины наполненный чистым и целебным нектаром. Осуши его при мне и по моей воле, пролив несколько капель искупительной жертвы грациям,— я так хочу. И с тех пор мой кающийся грешник вернется к привычке умеренно пить вино и будет разбавлять его прозрачной ключевой водой,— как говорит твой добрый Плутарх: «Умерять пыл Бахуса близостью с нимфами».

Кстати, о концерте во вторник: безрассудный Реджанино вбил себе в голову, будто я уже могу пропеть итальянскую арию и даже дуэт с ним. Он хотел было, чтобы дуэт я спела с тобой,— ему вздумалось показать обоих своих учеников. Но в дуэте есть опасные слова, вроде «ben mio» [1] — их нельзя произносить при матери, если сердце им вторит. Отложим до первого же концерта у «неразлучной». Мне так легко вникать в итальянскую музыку, вероятно, оттого, что брат познакомил меня с итальянской поэзией и я много беседовала о ней с тобою,— я легко чувствую ритм стихов и, по словам Реджанино, довольно хорошо улавливаю интонацию. Каждый урок я начинаю с чтения октав Тассо или нескольких сцен из Метастазио. Затем он заставляет меня исполнять речитатив, причем я себе аккомпанирую. И мне все кажется, будто я продолжаю декламировать или читать вслух,— что, конечно, не случалось со мною, когда я исполняла речитативы французские.

После этого я упражняюсь в соблюдении счета при равномерном и точном звучании. Упражнения эти даются мне с трудом: ведь я привыкла к каскаду резких звуков. И, наконец, переходим к ариям,— тут-то и оказывается, что верность и гибкость голоса, патетическая выразительность, усиление звука и все пассажи — естественное следствие мягкой манеры петь и точности ритма. Таким образом, то, что, как мне казалось,

---

[1] Мое сокровище *(итал.)*.

постичь всего труднее, вовсе не нуждается в изучении. Характер мелодии так близок к интонации языка и обладает такой чистотой модуляции, что надобно только прислушиваться к басовым звукам и знать язык, дабы легко толковать смысл. В мелодии все страсти выражены ясно и сильно. В противовес французской манере петь — тягучей и утомительной,— пение в итальянской манере всегда нежно и легко, оно живо трогает душу, многое ей говорит, а усилий не требует. Словом, я чувствую, что эта музыка волнует душу, но не теснит дыхания. Это и нужно моему сердцу и моим легким. Итак, до вторника, любезный друг мой и наставник, мой кающийся грешник, мой проповедник, увы,— если б ты в самом деле был моим! Отчего же недостает тебе одного этого звания, при всех правах на него?

P. S. Знаешь ли, мы вздумали позабавиться, покататься по озеру — как тогда, два года тому назад, вместе с бедненькой Шайо! Как застенчив был в ту пору мой хитрец учитель! Как он трепетал, подавая мне руку, чтобы помочь выйти из лодки! Ах, притвора!.. С той поры он очень изменился.

## ПИСЬМО LIII

*От Юлии*

Итак, обстоятельства расстраивают все наши замыслы, обманывают все ожидания, предают пылкую страсть, а ведь казалось, само небо должно было бы увенчать ее. Мы жалкие игрушки слепой судьбы, несчастные жертвы насмешницы надежды. Нам никогда не достигнуть бегущего от нас, вечно нас манящего наслаждения. Свадьбу, о которой мы тщетно мечтали, должны были отпраздновать в Кларане, но всему помешало ненастье,— ее устроят в городе. Мы рассчитывали уединиться с тобою во время свадьбы. Теперь же надобно будет очень осторожно вести себя: ведь за нами по пятам ходят назойливые соглядатаи, и вместе нам от них не скрыться,— если же одному из нас и посчастливится незаметно ускользнуть, то уж другому не удастся пойти вдогонку. А если, наконец, и выпадет удачный случай, нам нельзя будет им воспользоваться, все испортит мать — жестокая, бессердечная,— и, вместо того чтобы осчастливить двух неудачников, эта минута станет их погибелью! Однако препятствия не обескураживают меня, а лишь подстрекают еще больше. Новая, неведомая сила одушевляет меня. Право, я чувствую в себе смелость, незнакомую мне прежде. И если ты тоже проникнешься ею нынче вечером, то нынче же

я, вероятно, выполню все свои обещания и сразу уплачу тебе долг любви.

Обдумай все хорошенько, друг мой, и реши, сколь дорожишь ты жизнью. Ведь путь, который я предлагаю тебе, может привести нас с тобою к смерти. Если ты боишься ее, брось письмо, не дочитав; если же острие шпаги и ныне не устрашает твое сердце,— а ведь прежде его не страшили пропасти в Мейери,— то и мое сердце устремится навстречу той же опасности и не дрогнет. Так вот слушай.

Обычно Баби почует у меня в спальне, но она уже три дня хворает, и, хотя я непременно хотела ухаживать за нею, ее перевели в другую комнату, наперекор мне. Ей стало лучше, и, как видно, завтра она снова будет ночевать у меня. Комната же, где мы собираемся к столу, находится в стороне от лестницы, ведущей в наши с матушкой покои. В час ужина весь дом пустеет, людно лишь в кухне да столовой. И, наконец, сейчас смеркается рано, и под покровом мрака прохожему легко скрыться от нежелательной встречи, а ведь всех обитателей дома ты хорошо знаешь в лицо.

Итак, ты все понял. Нынче после полудня приходи к Фанионе. Я объясню тебе все остальное и дам необходимые наказы, а если не удастся, я обо всем напишу тебе и записку оставлю в прежнем нашем тайнике, где ты по моему указанию найдешь и это письмо,— ведь оно столь важно, что я никому не решусь его доверить.

О, чувствую, как трепещет твое сердце! Как понятен мне твой восторг, всей душой разделяю его! Нет, нежный друг мой, нет, мы не расстанемся с быстротечной жизнью, не насладясь хотя бы мгновенным счастьем. Однако помни, что миг счастья будет отягчен жестокой угрозою смерти. Помни, тысяча случайностей подстерегает нас на пути к нему, обитель радостей полна опасностей; если нас выследят, мы погибли, и лишь при самых благоприятных обстоятельствах избежим мы этой гибели. Обольщаться нельзя: я слишком хорошо знаю отца и не сомневаюсь, что он немедля пронзит тебе сердце, а может быть, сначала поразит меня, ибо, разумеется, и мне не будет пощады. Уж не думаешь ли ты, что я подвергла бы тебя такой опасности, если б не была уверена, что разделю ее с тобою?

Помни еще и о том, что тебе не придется проявлять храбрость, забудь о ней и думать. Решительно запрещаю тебе брать для самозащиты оружие, даже шпагу,— она тебе ничуть не нужна, ибо вот что я придумала: если нас застанут, я брошусь в твои объятия, крепко обовью тебя руками и приму смертель-

ный удар, чтобы уже не расставаться с тобою вовеки. И, умирая, я буду счастлива, как никогда в жизни.

Но, надеюсь, нам суждена более счастливая участь,— по крайней мере, я чувствую, что мы ее заслужили. Право, судьбе надоест быть несправедливой к нам. Приди же, душа моей души, жизнь моей жизни, приди и воссоединись со своею душой. Приди, и да охранит тебя нежная любовь, прими награду за свои жертвы и за повиновение. Приди, и ты признаешься даже на лоне наслаждений, что лишь союз сердец придает им несказанную прелесть.

## ПИСЬМО LIV

*К Юлии*

Прихожу, исполненный волнения,— оно стало еще сильнее, когда я вступил в приют любви. И вот я в твоей горнице, Юлия, вот я в святая святых той, кого боготворю всем своим сердцем. Светильник любви указывал мне путь, и я прошел незамеченным. Дивный уголок, уголок обетованный, свидетель былого — нежных потупленных взоров, страстных, сдержанных вздохов! Ты видел, как зародилась и разгоралась первая моя пылкая страсть, во второй раз увидишь ты, какая ей дарована награда. Свидетель моего вечного постоянства, будь же свидетелем моего блаженства и навсегда скрой ото всех восторги вернейшего и счастливейшего из смертных!

Как прелестна эта уединенная обитель! Тут все услаждает и поддерживает страсть, снедающую меня. О Юлия, во всем здесь я узнаю тебя, и огонь моих желаний охватывает все, что тебе принадлежит. Мои чувства в упоительном дурмане. Здесь разлит какой-то неуловимый аромат, он нежнее запаха розы и тоньше запаха приса. Мне все слышится здесь твой ласковый голос. То тут, то там разбросаны твои одежды, и моему пылкому воображению чудится, будто они утаили от взоров тебя. Вот воздушный чепчик,— как украшают его твои густые белокурые волосы, которые он пытается прикрывать. А вот счастливица-косынка, один-единственный раз я не буду роптать на нее. Вот прелестное, простенькое утреннее платье во вкусе той, которая его носит; крошечные туфельки,— в них легко проскальзывают твои изящные ножки. А вот расшнурованный корсет, он прикасается, он обнимает... дивный стан... две нежные округлости груди... упоительная мечта... китовый ус сохраняет оттиск... восхитительные отпечатки, осыпаю вас поцелуями! О боже, боже, что будет со мною, когда... Ах, мне чудится,

будто моя счастливая рука уже ощущает биение твоего нежного сердца. Юлия, моя чудесная Юлия! Я вижу тебя, чувствую тебя повсюду, вдыхаю тебя вместе с воздухом, которым ты дышишь. Ты проникаешь в глубь всего моего существа. Как воспламеняет и мучит меня один лишь вид твоей опочивальни. Нет, я изнываю от нетерпения, я терзаюсь. О, приди же, прилети, иначе я погибну.

К счастью, я нашел чернила и бумагу. Поведаю же обо всем, что творится со мной, дабы укротить свои разбушевавшиеся чувства; описывая порывы исступленной страсти, я направлю ее по иному пути.

Мне почудился какой-то шум. А вдруг появится твой бессердечный отец? Право, я не трус. Но как сейчас ужасно умереть! Мое отчаяние было бы так же сильно, как снедающая меня страсть. О небо, подари мне хоть час жизни, остаток же дней своих предаю твоей воле. О, страстное желание! О, тревога! О, жгучий трепет! Кто-то отворяет дверь!.. Кто-то входит!.. Она!.. Она!.. Вглядываюсь, вижу ее, слышу, как затворилась дверь. Сердце мое, бедное мое сердце, ты изнемогаешь от бурного волнения. О, крепись, иначе тебе не вынести блаженства!

## ПИСЬМО LV

*К Юлии*

О, умрем, моя нежная подруга, умрем, любовь моего сердца! Для чего нам отныне наша постылая молодость,— ведь мы изведали все ее утехи. Объясни, если можешь, что довелось мне перечувствовать в ту непостижимую ночь, помоги мне понять то, что я испытал, или позволь расстаться с жизнью, ибо она лишилась всей той прелести, которою я наслаждался вместе с тобой. Я упивался утехами любви, а мнил, что познаю счастье. Ах, я лелеял лишь пустые мечты и грезил о каком-то суетном счастье. Плотские вожделения обольщали мою грубую душу. Только в них я искал наивысшее блаженство, но я постиг, что, лишь изведав чувственные наслаждения, я начал обретать духовные. О чудо природы! Божественная Юлия! Какое блаженство — обладать твоим сердцем, пред этим бледнеют восторги самой пылкой любви. Нет, я скорблю не оттого, что не вкушаю их! О, нет! Откажи мне, если так надобно, в упоительных ласках, за которые я отдал бы тысячекратно свою жизнь, но только дай мне вновь насладиться всем тем, что возвышенное их в тысячу крат. Дай мне вновь насладиться тем слиянием

душ, которое ты предвещала и позволила мне вкусить. Дай вновь насладиться дивной истомой, излияниями наших сердец. Дай вновь насладиться пленительным сном, в который я погрузился, припав к твоей груди, дай вновь насладиться еще более отрадным пробуждением и нашими прерывистыми вздохами, и слезами умиления, и лобзаниями, которыми мы упивались в сладостной неге, и тихими стонами, слетавшими с твоих уст, когда в тесных объятиях сердце твое льнуло к сердцу, созданному для соединения с ним.

Скажи мне, Юлия,— ведь ты так чувствительна, что хорошо умеешь судить о чувствах других,— как ты думаешь, впрямь ли было любовью то, что я чувствовал прежде? Мои чувства, поверь мне, со вчерашнего дня изменились. Не пойму сам, но они не так страстны, зато нежнее, отраднее, волшебнее. Помнишь ли ты о часе, который мы провели в тихой беседе о любви нашей и о нашем смутном и страшном будущем, которое заставляло нас еще живее ощущать настоящее? Помнишь ли ты об этом, увы, быстротечном часе, овеянном легкой печалью, придавшей нашей беседе нечто столь трогательное? Я был спокоен, а ведь я был рядом с тобою. Я обожал тебя, но ничего более не желал. Я даже не представлял себе иного, высшего блаженства,— лишь бы вечно, вот так, лицо твое льнуло к моему, лишь бы чувствовать твое дыхание на своей щеке, лишь бы твоя рука обвивала мою шею. Какое умиротворение всех чувств! Какое чистое, долгое, всеобъемлющее блаженство! Завороженная душа упивалась негой,— казалось, так будет всегда, так будет вечно. Нет, не сравнить исступление страсти с этим душевным покоем. Впервые за всю свою жизнь я испытал его возле тебя. Однако суди сама о той странной перемене, которую я ощущаю: нет в моей жизни часа счастливее, и мне хотелось бы, чтоб только этот час длился вечно[1]. Так скажи, Юлия, разве прежде я не любил тебя? Или не люблю сейчас?

Не люблю? Что за сомнения! Да разве я уже не существую? Или жизнь моя не так же сосредоточилась в твоем сердце, как в моем? Чувствую,— да, я чувствую,— ты стала мне в тысячу раз дороже. В своем изнеможении я обрел новые душевные силы и полюбил тебя еще нежнее. Правда, чувства мои стали

---

[1] О легковерные женщины, угодно ли вам знать, любят ли вас? Подвергните испытанию своего друга после того, как он насладился любовными утехами. О любовь! Если я и сожалею об ушедшей молодости — твоей поре, то вовсе не из-за часа утех, а из-за часа, который за ним следует.

спокойнее, зато и характер их стал еще глубже и многообразнее. Ничуть не ослабнув, они умножились. Кроткое дружеское участие умеряет порывы страсти, и нет, поистине, таких душевных уз, которые не соединяли бы нас с тобою ныне. О моя нежная возлюбленная, о супруга моя, сестра, милая моя подруга! Какую ничтожную долю чувств своих выразил я, перебрав эти имена, самые любезные мужскому сердцу!

Признаюсь, к великому своему стыду и унижению, я стал сомневаться: уж не возвышеннее ли твоя любовь моей любви? Да, Юлия моя, ты — властительница моей жизни, и я обожаю тебя всем своим существом, я обожаю тебя всеми фибрами души,— но у тебя душа более любящая, любовь глубже проникла в твое сердце, это видно, это чувствуется. Она и одухотворяет твою красоту, и сквозит в твоих речах, придает твоим очам трогательную нежность, звукам голоса твоего волнующую проникновенность; она и сообщает другим сердцам в твоем присутствии, неприметно для них, неуловимые движения твоего сердца. Как же далек я от этого очаровательного состояния души, когда она все наполняет собою. Я хочу насладиться любовью, а ты любишь. Я упиваюсь восторгами страсти, ты — самой страстью. Мой любовный пыл — ничто по сравнению с твоею пленительной томностью, а чувства, которыми питается сердце твое, и есть само блаженство. Не далее как вчера я вкусил это,— столь чистое,— наслаждение. Ты мне оставила частицу непостижимой прелести, живущей в твоей душе, и вместе с твоим сладостным дыханием в меня словно проникает новая душа. Так поспеши, заклинаю, завершить свое творение. Возьми у меня то, что еще осталось от моей души, и замени одной лишь своей душой. Да, прекрасный ангел мой, неземное создание, только чувства, подобные твоим, способны воздавать славу твоей красоте. Только ты одна достойна и внушать любовь, и чувствовать ее. Ах, наделя меня своим сердцем, Юлия моя, чтобы я мог так любить тебя, как ты заслуживаешь!

## ПИСЬМО LVI

*От Клары к Юлии*

Любезная сестрица, я должна кое-что сообщить тебе. Вчера вечером милорд Эдуард повздорил с твоим другом. Вот что рассказал мне г-н д'Орб,— он присутствовал при ссоре, беспокоится о ее последствиях и явился ко мне нынче поутру обо всем рассказать.

Оба они ужинали у милорда и часа два слушали музыку, а затем стали беседовать и пить пунш. Твой друг выпил всего лишь бокал, да и то разбавив водою. Остальные не проявили такой же воздержности, и хотя г-н д'Орб и уверяет, что сам он пьян не был, однако я удержала за собой право высказать свое мнение по этому поводу как-нибудь в другой раз. Разумеется, разговор зашел о тебе. Ведь ты знаешь, что милорд только о тебе и говорит. Твоему другу не нравятся его излияния, и, слушая их, он повел себя так неучтиво, что милорд Эдуард, задетый его сухостью и разгоряченный пуншем, в конце концов дерзко заметил, сетуя на твою холодность, что она не так уж свойственна тебе, как это кажется, и что ты неравнодушна к тому, кто не говорит о тебе ни слова. Тут твой друг,— а его вспыльчивость тебе известна,— в ответ на эти слова разразился потоком оскорблений, обвиняя милорда в клевете, и оба схватились за шпаги. Вскакивая, полупьяный Бомстон подвернул ногу, и ему пришлось снова сесть. Нога сразу же распухла, что приглушило ссору лучше всех стараний д'Орба. Но он внимательно следил за всем, что происходит, и видел, как твой друг перед уходом подошел к милорду и вполголоса произнес слова, которые д'Орбу удалось разобрать: «Как только вы будете в состоянии выходить, известите меня, либо я осведомлюсь сам».— «Успокойтесь,— отвечал Эдуард с язвительной усмешкой,— ждать вам придется недолго».— «Посмотрим»,— с холодностью заметил твой друг и вышел. Господин д'Орб передаст тебе это письмо и сообщит все подробности. Благоразумие подскажет тебе, как поступить, как уладить досадное недоразумение, и что поручить мне, дабы тебе помочь. Податель письма будет готов покамест к твоим услугам, приказывай — он все сделает, можешь положиться на него, он все сохранит в тайне.

Ты губишь себя, дорогая,— говорю тебе об этом во имя нашей дружбы. Вашу связь, сама видишь, в нашем маленьком городке долго не утаить, тебе и так посчастливилось: два с лишним года, с той поры как она началась, о тебе еще не судачат,— но, поверь, скоро начнут, если ты не поостережешься. Да уже и судачили бы, если б не так тебя любили. Но всем настолько претят пересуды о тебе, что сплетник, затеяв подобный разговор, попал бы впросак и уж наверняка вызвал бы к себе неприязнь. Однако всему бывает конец. Я дрожу при мысли, не пришел ли конец тайне твоей любви. Весьма вероятно, что подозрения милорда Эдуарда— следствие толков, которые, быть может, до него дошли. Подумай хорошенько об этом, милочка.

Стражник сболтнул, будто недавно видел, как твой друг вышел от тебя в пять часов утра. К счастью, тот одним из первых узнал о рассказах стражника, бросился опрометью к нему и нашел способ добиться его молчания. Но ведь молчание, купленное такой ценой, лишь подтверждает слухи, распространяющиеся втихомолку. К тому же твоя матушка день от дня становится все недоверчивее. Ведь она не раз давала тебе это понять, да и со мной также довольно резко говорила по этому поводу, и если б не страх перед яростью твоего отца, то уже, разумеется, поделилась бы с ним своими подозрениями. Но она не решается на это еще из боязни, что он сразу обвинит ее — ведь она первая познакомила тебя с учителем.

Я готова твердить тебе без устали: подумай о себе, пока есть время. Отошли прочь своего возлюбленного, покамест не пошли пересуды. Предупреди зарождающиеся подозрения: ведь стоит ему исчезнуть, и они тотчас же рассеются. Да и в самом деле, каждый вправе спросить, что он тут делает. Быть может, через полтора месяца, даже через месяц будет уже поздно. Если твой отец услышит какой-нибудь намек,— трепещи,— бог знает что может случиться при столкновении разгневанного старого вояки, помешанного на семейной чести, и дерзкого, запальчивого молодого человека, не способного сносить обиды. Но прежде всего надо тем или иным способом устранить недоразумение с милордом Эдуардом, ибо если ты, не покончив с этим, скажешь своему другу, что ему следует уехать, ты только его рассердишь, он наотрез откажется — и будет прав.

## ПИСЬМО LVII

*От Юлии*

Друг мой, мне известно все, что произошло между вами и милордом Эдуардом. Тщательно разобравшись во всех событиях, ваша подруга хочет вместе с вами обдумать, как вам должно вести себя при возникших обстоятельствах, соблюдая верность тем чувствам, которые вы проповедуете,— а я полагаю, что это не одни пустые, звонкие слова.

Не имею понятия, искусны ли вы в фехтовании, в силах ли дать отпор фехтовальщику, который,— как об этом говорит вся Европа,— в совершенстве владеет оружием, дрался не то пять, не то шесть раз в жизни и всегда убивал, ранил или обезоруживал противника. Допустим, вы пребываете в том

состоянии, когда считаешься не со своим умением, а с отвагой, когда превосходное средство отмстить человеку, осмелившемуся оскорбить тебя,— это пасть от его руки! Но, признавая столь непреложную истину, перейдем к другому. Вы мне скажете, что ваша и моя честь вам дороже жизни: вот о такой точке зрения и следует потолковать.

Начнем с того, что больше касается вас. Скажите, что лично вас оскорбило,— ведь речь шла лишь обо мне? Следовало ли вам в этом случае вступаться за меня, мы сейчас увидим; а пока вы не можете отрицать, что предмет ссоры непричастен к вашей личной чести (конечно, если не считаете за оскорбление намек на то, что любимы мною). Допустим, вас и оскорбили, но лишь после того, как вы первый нанесли жестокое оскорбление. По-моему,— а в нашем роду много военных, и я вдоволь наслушалась споров обо всех этих кровавых делах,— оскорбление, нанесенное в ответ на оскорбление, не заглаживает его, и тот, кого оскорбляют первым, вправе требовать удовлетворения. Так бывает и при непредвиденном сражении, когда только тот, кто напал,— истинный преступник, а тот, кто убивает или ранит ради самозащиты, в убийстве не виновен.

Ну, а теперь поговорим обо мне. Предположим, меня оскорбили слова милорда Эдуарда, хотя они и были справедливы. Но понимаете ли вы, что творите, защищая меня с таким пылом и такой нескромностью? Вы только подкрепляете оскорбление, удостоверяете, что он прав, жертвуете моей честью в угоду своей мнимой чести, позорите свою возлюбленную, а сами такою ценой лишь прослывете храбрецом-забиякой! Укажите мне, пожалуйста, что общего между вашим способом оправдать меня и оправданием истинным. Уж не думаете ли вы, что, защищая меня с такой горячностью, вы докажете, будто мы с вами чужие? Что достаточно вам проявить свою храбрость, и вы докажете, будто вы мне не любовник? Уверяю вас, все намеки милорда Эдуарда принесут мне меньше вреда, чем ваше поведение. На вас одного ляжет вина за то, что своей вспыльчивостью вы способствовали их огласке и подтвердили их. Ему, право, ничего не стоит отклонить удар вашей шпаги на поединке, моя же репутация и, быть может, сама жизнь не избегнет смертельного удара, нанесенного вами.

Вот весьма веские доводы,— против них у вас вряд ли найдутся возражения, но заранее знаю, вы будете оспаривать доводы разума и утверждать, что так принято. Будете говорить, что наша воля не в силах противиться роковому стечению обстоятельств; что как бы то ни было — когда дело принимает

такой оборот, нельзя не драться, иначе обесчестишь себя. Посмотрим, так ли это.

Помните, вы как-то объяснили мне различие между истинной и мнимой честью в связи с неким важным событием? К какому же разряду отнести ту честь, о коей идет речь? Я просто не понимаю, как может возникнуть такой вопрос. Что общего между известностью убийцы и репутацией порядочного человека? И какая цена пустому мнению чужих людей об истинной чести, которая укоренилась в глубине твоего сердца? Как! разве истинные добродетели гибнут от наговоров клеветника! Разве оскорбления пьяного заслуживают внимания и честь умного человека зависит от первого попавшегося грубияна? Или вы скажете, что дуэль — доказательство храбрости и его достаточно, чтоб смыть с себя позор или обвинение в любых пороках? Ну, а я спрошу вас — что же это за честь, если она подсказывает подобное решение? И что это за разум, если он такое решение оправдывает? В таком случае стоит лишь мошеннику подраться, и он уже не будет слыть мошенником. Речи обманщика превратятся в истину, как только их подтвердит острие шпаги. А если вас обвинят в убийстве человека, вы поспешите убить второго, дабы доказать, что все это одни наветы! Итак, добродетель, порок, честь, подлость, правда, ложь,— одним словом, все может найти исход в поединке! Так, значит, фехтовальный зал — это законодательная палата, и нет иного права, кроме права силы, иного доказательства, кроме убийства. Обиженным не приносишь извинения, а убиваешь их, и всякая обида равно смывается кровью и обидчика и обиженного. Если бы волки рассуждали, они бы не придерживались иных правил. Судите сами на вашем собственном примере, преувеличиваю ли я несуразность подобных правил чести. Ну, а какое все это имеет отношение к вам? Вас обвинили во лжи именно тогда, когда вы лгали. Так, значит, вы решили, что убьете правду, если убьете того, кого вы собираетесь покарать за нее! А подумали вы, что, собираясь доказать свою правоту поединком, вы призываете небо свидетельствовать против истины и осмеливаетесь взывать к тому, кто вершит судьбы во всех битвах человеческих: «Приди поддержать неправое дело, дай восторжествовать лжи»? Ужели такое богохульство не устрашает вас? Ужели эта нелепость не приводит вас в негодование? Господи, как презренна та честь, что страшится не порока, а укоров и не позволяет вам стерпеть от другого обвинение во лжи, хотя в ней еще раньше обвиняло вас собственное ваше сердце!

Вы ратуете за то, чтобы каждый извлекал для себя пользу из чтения,— извлеките сами такую пользу и поищите в книгах, был ли сделан хоть один вызов на поединок в те времена, когда земля полнилась героями? Ужели доблестнейшим мужам древности приходило на ум мстить за нанесенные им обиды в поединках? Вызывал ли на поединок Цезарь Катона или Помпей Цезаря за все полученные оскорбления? И ужели величайший полководец Греции считал себя обесчещенным, когда на него замахнулись палкой? Знаю — иные времена, иные нравы. Но все ли нравы хороши теперь и возбраняется ли спросить, всегда ли нравы соответствуют требованиям незыблемой чести? Нет, честь неизменна, не зависит ни от времени, ни от места, ни от предрассудков. Она не может ни исчезнуть, ни возродиться — ее питает вечный источник в сердце справедливого человека и в неизменных законах его нравственного долга. Если самые просвещенные, самые отважные, самые добродетельные народы на свете не имели понятия о дуэли, то я утверждаю, что она — не установление чести, а мерзкий, варварский обычай, под стать зверским нравам, породившим ее. Спрашивается, должен ли человек порядочный, когда дело идет о его жизни и о жизни его ближнего, руководиться лишь обычаем? Не проявит ли он больше истинной отваги, если пренебрежет им? А как вы назовете того, кто поведет себя тоже согласно местному обычаю, но в стране с иными нравами? Ведь в Мессине или Неаполе он подкараулил бы противника и всадил бы ему кинжал в спину из-за угла. В тех краях это называется быть храбрым, и там честь требует, чтобы не тебя убили, а ты сам убил.

Остерегайтесь связывать священное слово «честь» с диким предрассудком, который подвергает испытанию добродетель при помощи шпаги и порождает бесшабашных убийц. Хотя такие взгляды, готова признать, порою и сопутствуют безукоризненной честности, но полезно ли такое сопутствие там, где она царит? А что думать о человеке, который подвергает себя смертельной опасности, доказывая тем самым свою непорядочность? Неужто вы не видите, что преступления, свершенные во имя стыда и чести, прикрываются и умножаются ложным стыдом и боязнью вызвать порицание! Боязнь эта превращает человека в лицемера и лжеца, заставляет проливать кровь друга из-за одного нескромного слова, которым нужно пренебречь, из-за справедливого упрека, который не хочешь стерпеть. Она превращает обольщенную и движимую страхом девицу в фурию ада, направляет — о всемогущий боже! — материнскую руку против нежного плода... При этой страшной мысли душа моя изнемо-

гает, но я благодарю того, кто испытует наши сердца; мое сердце он уберег от подобного чувства чести, которое может толкнуть лишь на злодейство и приводит в содрогание самое человеческую природу. Опомнитесь и подумайте, имеете ли вы право посягать на жизнь человека и подставлять себя под удар из-за дикой, опасной причуды, в которой нет ничего разумного. И горестное воспоминание о пролитой при таких обстоятельствах крови не будет ли в душе у того, кто ее пролил, вечно взывать к отмщению? Назовите преступление, равное умышленному убийству. И если человечность — основание всех добродетелей, что же нам думать о кровожадном изверге, который смел покушаться на нее, покушаясь на жизнь себе подобного? Вспомните, что́ вы сами мне говорили, осуждая тех, кто несет военную службу у иноземцев. Или вы забыли, что долг каждого гражданина — отдать свою жизнь отечеству, что долг не велит располагать ею без позволения законов, а тем более вопреки их запрету! О друг мой! Если вы искренне любите добродетель, научитесь служить ее обычаям, а не обычаям людей. Пускай ради этого приходится сносить кое-какие неприятности, но ужели добродетель для вас — пустой звук, ужели вы добродетельны лишь тогда, когда быть добродетельным ничего не стоит?

Но, в сущности говоря,— что это за неприятности? Пересуды бездельников, негодяев, для которых беды других — забава, которым вечно нужен новый предмет для злословия. Вот поистине возвышенный повод для того, чтобы узнать друг друга. Когда философ и мудрец, разрешая наиважнейшие вопросы жизни, руководится бессмысленной молвою, к чему тогда весь клад познаний, если в существе своем ты — заурядный человек? Итак, вы не решаетесь пожертвовать мстительным чувством во имя чувства долга, уважения, дружбы — из страха, как бы вас не обвинили в том, что вы боитесь смерти? Взвесьте же все обстоятельства, любезный друг, и вы увидите, что гораздо малодушнее бояться такого осуждения, нежели бояться смерти. Бахвал, трус вон из кожи лезет, чтобы прослыть храбрецом.

Ma verace valor, ben che negletto,
E di se stesso a se freggio assai chiaro [1].

---

[1] Но истинная доблесть не в признанье,
В себе самой достоинство находит *(итал.)*.

Тот, кто прикидывается, будто способен смотреть без страха в лицо смерти, лжет. Человек боится смерти, и это великий закон для земных созданий; не будь его, быстро пришел бы конец всему смертному. Страх этот — простое движение души, подсказанное самой природой, не только безобидное, но по сути своей ведущее к добру и способствующее порядку. Он становится постыдным и достойным хулы, когда мешает нам творить благие дела и выполнять долг. Если бы трусость не препятствовала добродетели, она и не была бы пороком. Разумеется, не может прослыть человеком безукоризненно добродетельным тот, кто больше печется о своей жизни, нежели о своем долге. Но растолкуйте мне,— ведь вы во всем ищете разумных оснований,— ужели достойно пренебрегать смертью во имя преступления?

Если навлекаешь на себя презрение, отказавшись от дуэли, то чье же презрение страшнее — презрение людей сторонних при добрых твоих делах или презрение к самому себе — при дурных? Поверьте мне,— тот, кто истинно уважает себя, равнодушно приемлет ни на чем не основанное презрение других и страшится лишь одного — как бы и в самом деле не стать достойным презрения. Ведь добро и честь зависят отнюдь не от людского суда, а от самой природы содеянного, и хотя бы весь мир одобрял поступок, который вы намереваетесь совершить, он не станет менее постыдным. Но, впрочем, и чужого презрения не вызовет тот, кто воздержится от такого поступка во имя добродетели. Если это человек достойный, за всю свою жизнь ничем не запятнанный, не проявлявший и признака трусости, то, отказавшись осквернить свои руки человекоубийством, он вызовет еще большее уважение. Готовый служить отчизне, покровительствовать слабому, выполнять самые опасные обязанности, ценою своей крови защищать в справедливом, честном бою то, что дорого его сердцу, он во всем выказывает непоколебимую душевную твердость, какая дается только неподдельным мужеством. Совесть его спокойна, он шествует, высоко подняв голову, он не избегает встречи с врагом, но и не ищет ее. Сразу видно, что он не так страшится смерти, как страшится дурного деяния; пугает его преступление, а не гибель. Так что, если вдруг мерзостные предрассудки ополчатся против него, то вся его жизнь, достойная почитания, будет свидетельствовать в его пользу и опровергнет наветы,— ведь зная, каких основ придерживается этот человек в своем поведении, объяснят ими и каждый новый его поступок.

Сказать ли вам, почему так трудно смирить себя человеку заурядному? Да потому, что при этом нелегко сохранить достоинство. Потому что и впредь ему нельзя будет свершить ни единого недостойного поступка. Но если боязнь перед дурным поступком не удержала его в данном случае, почему же она удержит его в любом другом, когда, быть может, побуждение будет еще сильнее? Тогда-то и станет ясно, что отказ от поединка продиктован не добродетелью, а малодушием. Тогда-то действительно можно будет посмеяться над совестливостью, которая обнаружится лишь перед лицом опасности. Ужели вы не замечали, что люди, болезненно щепетильные, готовые бросить вызов по любому поводу, в большинстве своем бесчестны? Они боятся, как бы им открыто не выказали презрения, и несколькими поединками в защиту своей чести стараются прикрыть бесчестие своей жизни. Вам ли подражать таким людишкам? Оставим также в стороне военных,— они продают свою кровь за деньги; стараясь сохранить за собою должность, они заботятся о своей чести лишь ради собственной выгоды и с точностью до экю знают цену своей жизни. Друг мой, пусть себе все эти люди дерутся! Нет ничего столь недостойного, как честь, вокруг которой они поднимают столько шума. Ведь это всего лишь безрассудный обычай, мнимое подражание добродетелям, которое чванится вопиющими преступлениями. Честь же такого человека, как вы, ни от кого не зависит, она живет в его душе, а не во мнении других; защита ее — не шпага и не щит, но вся честная и безупречная жизнь, а этот поединок требует куда больше мужества.

Вот в таких принципах вы и найдете объяснение, как сочетаются похвалы, всегда воздаваемые мною настоящему мужеству, с моим неизменным презрением к показной отваге. Я люблю людей смелых и терпеть не могу малодушных. Я порвала бы с возлюбленным, если бы он оказался трусом и бежал от опасности, и мне, как и всем женщинам, кажется, что пламя мужества воодушевляет и пламя любви. Но проявляй доблесть в справедливых делах, а не торопись неуместно щегольнуть ею, словно из боязни, что в случае необходимости не обретешь ее в своей душе. Иной делает над собой усилие и вступает в поединок, чтобы добиться права малодушествовать весь остаток своих дней. В истинном мужестве больше постоянства и меньше горячности; оно всегда таково, каким ему должно быть. Нет нужды ни возбуждать, ни сдерживать его; оно нигде не оставляет человека порядочного — ни в сражении с врагом, ни в собрании, когда он защищает честь отсутствующих и истину,

ни в постели, когда он ведет борьбу с недугом и со смертью. Духовная сила, внушающая ему мужество, проявится всегда; добродетель для него выше всех обстоятельств: дело не в том, чтобы драться, а чтобы ничего не страшиться. Вот какое мужество я всегда восхваляла, любезный друг, и так хотела бы найти в вас. Остальное — всего лишь ветреность, сумасбродство, жестокость; и подчиняться всему этому просто мерзко. И того, кто сам ищет ненужной гибели, я презираю не менее, чем того, кто бежит от опасности, с которой должен встретиться лицом к лицу.

Как будто я доказала вам, что в размолвке с милордом Эдуардом ваша честь ничуть не затронута, что вы бросаете тень на мою честь, прибегая к помощи оружия; что помощь оружия несправедлива, неблагоразумна, недопустима; что она не сочетается с чувствами, которые вы исповедуете; что она годна только для людей бесчестных — ведь для них отвага заменяет добродетель, которой у них нет и в помине, или для военных — ведь они дерутся вовсе не ради чести, а преследуя выгоду. Настоящее мужество состоит в том, чтобы пренебречь таким средством, как дуэль, а не прибегать к ней; неприятности, которым подвергаешь себя, отказываясь от нее,— неизбежны при исполнении истинного долга, и скорее это мнимые, чем действительные неприятности, и, наконец, честность людей, особенно рьяно прибегающих к дуэли, должна вызывать особенные сомнения. Отсюда я прихожу к такому выводу: сейчас, сделав или приняв вызов, вы поступите вопреки рассудку, отвернетесь от добродетели, от чести, от меня. Истолковывайте мои рассуждения, как вам угодно, нагромождайте софизм на софизм,— истина в том, что человеку отважному — не быть трусом, человеку достойному — не быть бесчестным. Итак, мне кажется, я доказала вам, что человек мужественный презирает дуэль и человек достойный чувствует к ней омерзение.

Я полагала, друг мой, что в столь важном деле мне нужно ссылаться лишь на доводы рассудка и описать вам все обстоятельства в истинном свете. Если бы я решила нарисовать их такими, какими они мне кажутся, и заставить говорить чувство человечности, я прибегла бы к иному языку. Вы знаете, что батюшка в молодости имел несчастье убить человека на дуэли — он убил своего друга. Они дрались нехотя, принуждаемые безрассудным представлением о чести. Смертельный удар лишил одного жизни, а у другого навсегда отнял душевный покой. С той поры отец не может избавиться от сердечной тоски и угрызений совести. Часто, оставаясь в одиночестве, он льет

слезы и стонет. Он будто все еще ощущает, как его жестокая рука вонзает клинок в сердце друга. В ночи ему все мерещится мертвое тело, залитое кровью; он с содроганием взирает на смертельную рану,— ему так хотелось бы остановить кровь. Ужас охватывает его, и он кричит; страшный призрак неотвязно его преследует. Уже прошло пять лет, как он потерял милого наследника своего имени, надежду всей семьи, а он до сих пор укоряет себя в его смерти, считая, что это справедливая кара, ниспосланная небом за то, что сам он отнял единственного сына у несчастного отца.

Признаюсь, все это, да вдобавок врожденная нетерпимость к жестокости, внушает мне отвращение к дуэли: она — последняя ступень животной грубости, до которой доходит человек. Тот, кто идет драться с легким сердцем, на мой взгляд — дикий зверь, готовый растерзать другого зверя; если же в душах противников осталась хоть капля чувства, данного человеку природой, то, по-моему, более достоин сожаления не побежденный, а победитель. Вот они, люди, привыкшие к кровопролитию: они пренебрегают угрызениями совести, ибо заглушают в себе голос природы. Они постепенно становятся жестокими, бесчувственными, играют жизнью других — и наконец, в возмездие за то, что могли так погрешить против человечности, утрачивают ее совсем. Во что они превращаются? Отвечай, ужели ты хочешь походить на них? Нет, ты не дойдешь до мерзкого озверения, ты для него не создан. Но остерегайся первого шага: твоя душа пока еще чиста и неиспорчена, не развращай ее, рискуя своей жизнью во имя навязанного себе преступления, недоблестной отваги, бессмысленных требований чести.

Я тебе еще ничего не сказала о твоей Юлии. Может быть, она скорее убедит тебя, взывая к твоему сердцу. Одно лишь слово Юлии, и сердце твое на него отзовется. Ты иногда удостаивал меня нежного имени супруги,— кажется, сейчас я уже должна носить имя матери. Ужели ты хочешь сделать меня вдовой до того, как нас соединят священные узы?

P. S. В этом письме — мое волеизъявление, а в подобном случае человек здравомыслящий всегда повинуется. Если вы не повинуетесь, говорить нам не о чем; но прежде хорошенько подумайте. Даю вам неделю на размышление о столь важном вопросе. Не во имя благоразумия я прошу вас об отсрочке, а во имя себя самой. Помните, что я могу сослаться на право, которое вы сами мне дали, и что уж до таких-то пределов оно простирается.

## ПИСЬМО LVIII

*От Юлии к милорду Эдуарду*

Пишу вам, милорд, отнюдь не собираясь упрекать вас: вы меня оскорбили, следовательно, я в чем-то провинилась перед вами неведомо для себя. Не допускаю мысли, чтобы порядочный человек мог беспричинно обесчестить почтенное семейство! Что ж, получайте удовлетворение, мстите, если у вас есть на то основания. Мое письмо доставит вам легкий способ погубить несчастную девушку: она никогда не простит себе, что обидела вас, и вверяет вам свою честь, которую вы намерены у нее отнять. Да, милорд, ваши обвинения справедливы: у меня есть любовник, и я его обожаю. Он повелитель моего сердца и всего моего существа. Только смерть может порвать эти сладостные узы. Мой возлюбленный тот, кого почтили вы своей дружбой. Он достоин ее, ибо он любит вас и он добродетелен. Однако он погибнет от вашей руки. Знаю, оскорбленная честь жаждет крови. Знаю, отвага погубит его! Знаю, в поединке, не опасном для вас, его неустрашимое сердце без боязни подставит себя под смертельный удар. Я хотела удержать его от опрометчивого, легкомысленного поступка. Я взывала к его рассудку. Увы! Я написала письмо, но почувствовала всю тщетность своих усилий, и хоть я чту его добродетели, однако сомневаюсь, найдутся ли среди них столь возвышенные, что заставят его отрешиться от ложного понятия о чести. Радуйтесь заранее, что пронзите грудь своего друга, но знайте, безжалостный изверг,— вам не придется радоваться ни слезам моим, ни отчаянию. Нет, клянусь любовью, стенающей в глубине моего сердца,— клянусь перед вами нерушимою клятвой: я не проживу и дня после смерти того, ради кого живу. И вы можете тогда похваляться, что единым ударом свели в могилу двух несчастных влюбленных, которые умышленно ничем не погрешили против вас и искренне вас уважали.

Говорят, милорд, у вас прекрасная душа и чувствительное сердце. Если они позволят вам безмятежно наслаждаться своей местью, для меня непонятной, и радоваться тому, что вы сделали людей несчастными, то пусть, по крайней мере, душа и сердце ваши заставят вас, когда меня не будет на свете, позаботиться о моих неутешных родителях,— ведь они потеряют единственное дитя и будут влачить дни свои в вечной скорби.

## ПИСЬМО LIX

*От г-на д'Орба к Юлии*

Спешу, сударыня, по вашему приказанию дать вам отчет о том, как я исполнил ваше поручение. Я только что вернулся от милорда Эдуарда — он все еще не избавился от вывиха и без палки не может ходить по комнате. Я вручил ему ваше письмо, и он с поспешностью его распечатал. Мне показалось, он был взволнован, читая его. Некоторое время он о чем-то раздумывал, потом перечел вторично и пришел в еще большее волнение. Вот что он сказал, прочтя письмо:

«Вам известно, сударь, что дела чести имеют свои правила и преступать их нельзя. Вы сами видели, что произошло вчера между нами; надо покончить с этим по всем правилам. Сделайте одолжение, пригласите двух своих друзей и приходите вместе с ними ко мне завтра поутру. Тогда вы и узнаете мое решение». Я ответил, что все случилось в тесном кругу, без свидетелей — не лучше ли все и завершить таким же манером. «Мне известно, как следует поступать,— резко возразил он,— и я сделаю то, что надобно сделать. Приведите же двух друзей, иначе говорить нам с вами будет не о чем». Я вышел, тщетно стараясь разгадать его страшную затею. Во всяком случае, я буду иметь честь увидеть вас нынче вечером, а завтра исполню то, что вы повелите. Если сочтете нужным, чтобы я отправился к нему на свидание со спутниками, я подыщу таких, на которых можно положиться во всех случаях жизни.

## ПИСЬМО LX

*К Юлии*

Успокойся, милая, дорогая моя Юлия, и, узнав обо всем только что происшедшем, пойми и раздели чувства, которые мне выпало испытать.

Получив твое письмо, я пришел в такое негодование, что не мог прочесть его внимательно, как оно того заслуживает. Я не в силах был побороть себя: слепой гнев превозмог все другие чувства. «Быть может, ты и права,— думал я,— но не требуй, чтобы я позволял тебя оскорблять. Пусть я потеряю тебя, пусть умру виновным, но я не потерплю, чтобы тебе не выказывали должного уважения, и пока бьется мое сердце, ты будешь чтима всеми окружающими так же, как чтит тебя мое сердце». Однако же я, не колеблясь, согласился на недельную отсрочку. И увечье милорда, и мой обет повиноваться тебе — все содействовало

тому, что я признал отсрочку необходимой. Решив по твоему приказанию за это время поразмыслить о сути твоего письма, я стал его перечитывать и обдумывать — не для того, чтобы изменить свой образ мыслей, а чтобы утвердиться в нем.

Нынче утром я снова принялся за это, по моему мнению, слишком благонравное, слишком рассудительное письмо и стал с тревожным чувством перечитывать его, как вдруг в дверь постучались. И спустя мгновение передо мною предстал милорд Эдуард. Он явился без шпаги, опираясь на трость. С ним было еще трое, и среди них господин д'Орб. Меня изумил приход непрошеных гостей, и я молча ждал, что же будет дальше. И тут Эдуард попросил ненадолго принять его и не мешать его действиям и речам. «Прошу вас, дайте мне в этом честное слово,— присутствие этих господ, ваших друзей, порука тому, что вам во вред оно не обернется». Слово я ему дал, не колеблясь, но ты поймешь, как я изумился, когда, не успев договорить, увидел, что Эдуард становится передо мною на колена. Пораженный странной выходкой, я тотчас же бросился поднимать его. Но он напомнил мне о моем обязательстве и повел такую речь: «Я пришел, сударь, во всеуслышанье отречься от тех оскорбительных слов, которые, опьянев, произнес в вашем присутствии. Напраслина оскорбляет самого меня, а не вас, и мой долг засвидетельствовать перед вами, что я от нее отрекаюсь. Я готов нести любую кару, какой только вы вздумаете меня подвергнуть, и считаю, что свою честь я могу восстановить, лишь искупив вину свою. Любой ценой дайте мне прощение, умоляю вас, и возвратите мне свою дружбу».— «Милорд,— немедля отвечал я,— узнаю вашу возвышенную и благородную душу. И превосходно отличаю речи, которые подсказывает вам сердце, от тех речей, что вы ведете, когда не принадлежите себе,— предадим же их вечному забвению». Я тотчас помог ему встать, и мы обнялись. Затем милорд обернулся к свидетелям и молвил: «Благодарю вас, господа, за вашу любезность. Такие смелые люди, как вы,— добавил он взволнованным голосом и гордо приосанившись,— должны понимать, что тот, кто так исправляет свои ошибки, ни от кого не потерпит оскорбления. Можете рассказывать обо всем, что видели!» Вслед за тем он пригласил нас четверых отужинать у него нынче вечером, и свидетели ушли. Лишь только мы очутились наедине, он вновь обнял меня, проявив еще более сердечные, еще более дружеские чувства, а потом, сев рядом со мной, взял меня за руку. «Счастливейший из смертных,— воскликнул он,— наслаждайтесь счастьем, которого вы достойны! Сердце Юлии принадле-

жит вам; так будьте вы оба...» — «Опомнитесь, милорд,— прервал я его.— Уж не потеряли ли вы рассудок?..» — «Нет,— отвечал он с улыбкой,— хотя и в самом деле чуть не потерял. Быть может, и случилось бы это со мною, если бы та, которая отняла у меня рассудок, сама же мне его и не возвратила...» И тут он подал мне какое-то письмо,— и до чего я был удивлен, увидев, что написано оно рукой, никогда не писавшей ни одному мужчине, кроме меня. Как волновалась душа моя, когда я его читал! В нем я узнавал возлюбленную, не имеющую себе равных, готовую погубить себя ради моего спасения,— узнавал свою Юлию. Но когда я дошел до места, где она клянется, что не переживет смерти счастливейшего из людей, я содрогнулся, подумав, какой опасности я избежал, возроптал на то, что слишком любим тобою, ужас объял меня, и я вдруг понял, что ведь и ты смертна. Ах, возврати же мне мужество, которого меня лишаешь... Я обладал им, когда шел навстречу смерти, угрожавшей лишь моему существованию, но не нахожу его, когда подумаю, что ты умрешь вместе со мной.

Меж тем, пока я всей душой предавался горькому раздумью, Эдуард говорил мне что-то, но вначале я почти не обращал внимания на его слова; однако же он принудил меня вслушаться, ибо говорил о тебе, и то, что он говорил, было мне по сердцу и более не возбуждало ревности. Я понял, каким он проникся сожалением, что вспугнул нашу любовь, нарушил твой покой. Тебя он почитает более всего на свете. Но, не смея принести извинения и тебе, он просил меня передать их и уговорить тебя отнестись к ним благосклонно. «Вы для меня — ее полномочный представитель,— говорил он,— и я смиренно обращаюсь к тому, кого она любит, так как не могу ни говорить с нею, ни даже называть ее имя, боясь повредить ее репутации». Он признался, что питает к тебе чувства, которые каждому, кто видит тебя, трудно превозмочь, но скорее это нежность и преклонение, а не любовь. Никогда они не внушали ему никаких притязаний или надежд. Он всецело склонился перед нашими чувствами, как только они стали ему известны, а намеки сорвались с его уст под влиянием пунша, но отнюдь не ревности. Он рассуждает о любви, как надлежит философу, который считает, что душа его превыше всех страстей: быть может, я ошибаюсь, но, по-моему, он уже однажды любил, и это мешает другой любви укорениться в его сердце. То, что вызвано оскудением сердца, он приписывает доводам разума, но ведь я хорошо знаю, что полюбить Юлию и отказаться от нее — доблесть, непосильная для мужчины.

Он пожелал все досконально узнать об истории нашей любви и о препятствиях, мешающих счастью твоего друга. Решив, что после твоего письма полуисповедь была бы вредна и неуместна, я исповедался ему во всем, и он выслушал меня со вниманием, свидетельствовавшим о его искренности. И не раз я примечал, что слезы навертываются ему на глаза, что душа его растрогана; особенно же глубоко был он взволнован победами добродетели, и мне кажется, что у Клода Анэ появился новый покровитель, не менее ревностный, чем твой отец. «Во всем, что вы мне поведали,— промолвил он,— нет ни игры случая, ни приключений, но никакой роман не увлек бы меня до такой степени своими трагическими перипетиями: так жизнь сердца заступает место происшествий, а проявление порядочности заступает место блистательных подвигов. Души у вас обоих столь необыкновенны, что нельзя судить о них по общим правилам. Путь к счастью у вас иной, чем у других, да и само оно иного рода; ведь другие помышляют только о благополучии, о чужом мнении,— вам же надобны только нежность и покой. К любви у вас присоединилось и состязание меж собою в добродетелях, возвышающее обоих; каждый из вас стоил бы куда меньше, если бы вы не любили друг друга. Любовь пройдет,— осмелился он добавить (простим ему святотатство — ведь сердце ему подсказало это по неведению),— любовь пройдет,— повторил он,— но добродетели останутся». Ах! Если бы они могли жить вечно, как наша любовь, Юлия! Само небо не возжелало бы большего.

Словом, я вижу, что ни суровость философическая, ни суровость, свойственная милорду, как сыну своей страны, не заглушили в нашем благородном англичанине прирожденное чувство человеколюбия, и что он с истинным участием относится к нашим бедам. Если бы нам способны были посодействовать влияние и богатство, мы, разумеется, могли бы рассчитывать на него. Но, увы! Власти и деньгам не дано сделать сердца счастливыми!

Часов мы не считали и проговорили до обеденной поры. Я велел подать цыпленка, а после обеда мы продолжали беседу. Милорд завел речь о своем нынешнем поступке, я не удержался и дал понять, как я удивлен столь необычным и решительным поведением. Но к доводам, уже приведенным, он присовокупил, что полуизвинения в вопросах чести недостойны человека смелого: надобно или во всем покаяться, или вовсе не каяться, иначе только унизишь себя, так и не загладив своей вины, и твои нелепые, неохотные извинения будут приписаны только трусости. «Впрочем,— добавил он,— моя репутация уже твердо установилась, я могу поступать по справедливости,— трусом

меня никто не сочтет. Вы же молоды, только вступаете в свет; ваше имя должно быть безупречно после первого вызова, чтобы никто не пытался подстрекнуть вас на другой поединок. Повсюду встретишь ловких трусов, которые, как говорится, «прощупывают врага», стремятся найти кого-нибудь, кто трусливее их, и за его счет набить себе цену. Я не хочу, чтобы столь порядочный человек, как вы, вынужденный наказать одного из подобных молодцов, вступил в поединок, не приносящий никакой славы,— если им понадобится урок, предпочитаю дать его сам: пусть у меня будет одной дуэлью больше — это не повредит человеку, который дрался много раз. Но одна-единственная дуэль может наложить пятно, а возлюбленному Юлии должно быть незапятнанным».

Вот вкратце суть нашей долгой беседы с милордом Эдуардом. Я почел нужным дать тебе отчет — научи, как мне с ним держаться.

Ну, а теперь, когда все закончилось благополучно, умоляю тебя, гони мрачные мысли, которые вот уже несколько дней владеют тобою. Береги себя — так надобно сейчас при твоем положении, внушающем тревогу. О, если б ты вскоре утроила существо мое! Если б вскоре залог любви... Надежда, ты так часто приносила мне разочарование,— ужели ты обманешь вновь?! О, мечты, страх, неизвестность!.. О прелестная подруга моего сердца, будем жить ради любви нашей, в остальном предадимся на волю божию.

P. S. Забыл сказать, что милорд передал мне твое письмо, и я взял его без зазрения совести — ведь такое сокровище нельзя оставлять в чужих руках. Отдам его тебе при первой же встрече: мне твое письмо уже ненадобно — каждая строка так ярко запечатлелась в сокровенной глубине моего сердца, что, право, перечитывать его мне более никогда не понадобится.

## ПИСЬМО LXI

*От Юлии*

Приведи завтра милорда Эдуарда — я паду перед ним на колена, как он пал перед тобой. Какое великодушие, какое благородство души! По сравнению с ним мы так ничтожны. Храни бесценного друга как зеницу ока. Быть может, он многое бы потерял, будь он сдержанее: дано ли человеку без недостатков обладать великими добродетелями?

Тысячи всяческих тревог повергли было меня в уныние,— своим письмом ты воскресил мое угасшее мужество. Рассеяв страхи, ты облегчил мои горести. Ныне у меня достанет сил снести свои муки. Ты жив, ты любишь меня! Твоя кровь и кровь твоего друга не прольется, а честь твоя в безопасности,— значит, я не совсем уж несчастна.

Не пропусти нашего завтрашнего свидания. Мне — как никогда — надобно видеться с тобою, и никогда я так мало не надеялась, что мне суждено еще долго с тобою видеться. Прощай, мой дорогой, единственный друг. По-моему, ты не совсем удачно выразился: «Будем жить во имя нашей любви». Ах, следовало бы сказать: «Будем любить во имя нашей жизни».

## ПИСЬМО LXII

*От Клары к Юлии*

Ужели, любезная сестрица, мне суждено выполнять лишь самые печальные обязательства, налагаемые дружбой? Ужели мне всегда суждено надрывать себе сердце и омрачать твое горестными вестями? Увы! Мы с тобою чувствуем заодно, ты это знаешь, и когда я сообщаю тебе о новых огорчениях, это значит, что я сама их уже чувствую за тебя. Зачем не могу я скрыть от тебя беды, не усугубляя ее? Зачем нежная дружба не обладает обаянием любви? Ах, будь оно так, я б тотчас же заставила тебя забыть о горе, которое приносу тебе своим рассказом.

Вчера после концерта, когда твоя матушка, возвращаясь домой, пошла под руку с твоим другом, а ты — с г-ном д'Орб, наши отцы остались с милордом — поговорить о политике. Предмет этот наводит на меня скуку, и я ушла к себе в спальню. Спустя полчаса я вдруг услышала, что кто-то с горячностью повторяет имя твоего друга. Я тотчас же поняла, что беседа перешла на другую тему, и стала прислушиваться. Разговор продолжался. Судя по всему, милорд Эдуард решился посватать твоего друга — он с гордостью называл его своим другом — и вызвался создать ему по дружбе надлежащее положение. Твой отец презрительно отверг предложение милорда. Тут-то страсти и разгорелись. «Знайте же,— настаивал милорд,— что, вопреки всем вашим предрассудкам, лишь он один на всем свете достоин ее и, быть может, один лишь он и сделает ее счастливой. Природа наделила его всеми дарами, которые не зависят от людей, а к дарам этим он присоединил все, что только зависело от его воли. Он молод, статен и пригож; он силен и ловок; он образован,

добр, честен, смел. У него развитой ум, неиспорченная душа. Чего же ему еще недостает, чтобы заслужить ваше согласие? Богатства? Оно у него будет. Трети моего состояния вполне достаточно, чтобы превратить его в самого крупного богача во всем кантоне Во, а я, если нужно, готов отдать и половину. Благородного звания? Это ненужное преимущество в стране, где оно вредит, а не приносит пользу. Впрочем, уверяю вас, оно у него есть — не записано в старинной дворянской грамоте, зато высечено в глубине его сердца, и письмена эти не стереть. Одним словом, если вы разум ставите выше предрассудков и любите дочь свою больше титулов, то ее руку отдадите ему и никому другому!»

Тут и батюшка твой вскипел. Он назвал предложение Эдуарда нелепым, смехотворным. «Как! Вы, милорд, человек столь знатный,— воскликнул он,— воображаете, будто последний отпрыск благородной фамилии согласится, чтобы его имя утратило свой блеск или покрылось позором, и позволит своей дочери вступить в брак с безвестным бродягой, нищим, живущим на подаяния?» — «Остановитесь! — прервал его Эдуард.— Вы говорите о моем друге. Помните, если его оскорбляют в моем присутствии, значит — оскорбляют меня. Тот, кто поносит порядочного человека, поносит этим самого себя. Подобные безвестные люди более достойны уважения, чем все дворянчики Европы, взятые вместе, и я ручаюсь, что самый почетный путь к богатству — это получить дань уважения и дары дружбы. Человек, которого я прочу вам в зятья, не насчитывает, как вы, целой вереницы предков, всегда несколько сомнительных, зато явится основателем и украшением своего рода, каким некогда для вашего рода был ваш прадур. Уж не сочтете ли вы для себя бесчестием и родство с главою своего рода и не падет ли тогда ваше презрение на вас самих? А сколько знатных имен были бы преданы забвению, ежели таковыми почитать только те, что ведут начало от человека достойного! Будем судить о былом по нынешним временам. На двух-трех граждан, достойных своего знатного имени, приходятся тысячи мошенников, происками добывающих для себя благородное звание, а ведь подобное благородство, которым будут кичиться потомки, восходит лишь к грабежам и распутству, которым предавались предки [1]. Согласен,

[1] Дарование дворянских грамот в нынешнем веке редкость,— по крайней мере, известен как будто лишь один такой случай. Что до благородного звания, добытого ценою денег и купленного на обременительных условиях, то, по-моему, единственная его ощутимая привилегия заключается в том, что его обладателя нельзя казнить через повешение.

и между людьми низкого сословия найдется немало людей бесчестных, но бьюсь об заклад, что среди дворян из двадцати один уж непременно потомок отъявленного плута. Так, если позволите, оставим в стороне происхождение и взвесим личные достоинства и заслуги. Вы были на военной службе у чужеземного государя, его же отец сражался за отчизну, не получая никакой мзды. За вашу отменную службу вам и платили отменно; но какие бы ратные почести вы ни снискали,— право, сотни людей незнатных достойны их еще более.

Чем же может похвалиться сословие, принадлежностью к коему вы так гордитесь? Что совершает оно ради славы отечества или счастья человеческого рода? Смертельный враг законов и свободы, что же породило оно в большинстве стран, где занимает столь блистательное положение, кроме тирании и угнетения народов? Смеете ли вы, живя в республике, почитать сословие, уничтожающее добродетели и человечность, сословие, похваляющееся институтом рабства, сословие, каждый представитель которого стыдится быть человеком! Прочтите летописи своего отечества [1]. Какими заслугами перед ним отмечено ваше сословие? Много ли дворян в числе его освободителей? Да разве Фюрсты, Телли, Штауффахеры были дворянами? Что это за нелепая слава, из-за которой вы поднимаете столько шума? Она на пользу только ее обладателю, а для государства является бременем».

Понимаешь, милочка, что я испытала, видя, как этот благородный человек неуместной резкостью вредит другу, желая ему помочь! И вправду, твой отец, разъяренный нападками и колкостями, впрочем, никого не задевшими, в споре перешел на личности. Он без обиняков сказал милорду Эдуарду, что тот позволяет себе крамольные речи, неслыханные для человека его звания. «Зря вы хлопочете о других,— грубо добавил он.— Хоть вы и важная особа, сомневаюсь, чтобы вы добились успеха, если б хлопотали и о себе самом. Вы сватаете мою дочь за того, кого величаете своим другом, а еще неизвестно, сами-то вы достойны ли ее: я превосходно знаю английское дворянство и, послушав вас, просто стал сомневаться в вашем дворянском происхождении».

«Черт возьми! — воскликнул милорд.— Думайте что угодно, но я не желаю, чтобы о моих достоинствах судили лишь по

---

[1] Здесь множество неточностей: кантон Во никогда не являлся частью Швейцарии; он завоеван бернцами, и жители его не являются ни гражданами, ни независимыми людьми, а подданными.

достоинствам человека, умершего лет пятьсот тому назад. Если же вам знакомо дворянство Англии, то, стало быть, вам известно, что оно всех просвещеннее и всех образованнее, всех разумнее и всех смелее в Европе. Поэтому и нет нужды доискиваться, всех ли оно древнее, ибо когда говоришь о том, каково оно в настоящее время, не помышляешь о том, каким оно было. И правда, мы отнюдь не рабы короля, а его друзья, не тираны народа, а его руководители. Порука вольностей, поддержка отечества и опора трона, наше дворянство сохраняет нерушимое равновесие между народом и королем. Первый свой долг мы выполняем по отношению к нации, второй — по отношению к тому, кто ею управляет; мы сверяемся не с волею государя, а с его правом. Верховные блюстители закона в палате пэров, порою даже сами законодатели, мы соблюдаем справедливость как в отношении народа, так равно и в отношении короля, и мы не потерпим, если кто-нибудь скажет: «Бог — это моя шпага», мы признаем одно: «Бог — это мое право».

Вот, сударь, каково наше дворянство, достойное всяческого уважения, оно самое древнее на свете, но гордится своими личными заслугами, а не предками,— вы толкуете о нем, не зная его. И я занимаю отнюдь не последнее место в рядах знати,— так что, невзирая на все ваши притязания, я ровня вам во всех отношениях. Сестра моя, девица на выданье, благородна, молода, мила, богата. Она уступает Юлии лишь в тех душевных достоинствах, которым вы не придаете значения. И если б молодой человек, пленившийся вашей дочерью, мог обратить свои взоры на другую, я счел бы за великую честь назвать зятем того, кто не имеет ни гроша за душой и кого я предлагаю вам в зятья вместе с половиной моего состояния».

По ответу твоего отца я поняла, что разговор приводит его в ярость, и, при всем моем восхищении благородством милорда Эдуарда, я видела, что такой прямолинейный человек, как он, пожалуй, обернет во вред свою добрую затею. И я поспешила выйти к ним, пока дело не зашло далеко. С моим появлением разговор прекратился, а немного погодя они распрощались весьма холодно. Что до моего отца, то, право, в этой стычке он вел себя отменно. Сначала он с живейшим участием поддержал предложение милорда, но затем, видя, что твой отец и слышать не желает об этом и что спор разгорается, он замолчал, а потом, как и следовало ожидать, принял сторону шурина и, перебивая то одного, то другого миролюбивыми замечаниями, держал спорщиков в границах, из которых они, разумеется, вышли бы, если б остались с глазу на глаз. Как только гости

удалились, батюшка сообщил мне обо всем, что произошло. Я поняла, к чему клонится дело, и поспешила сказать, что теперь, раз уж все так обернулось, будет неловко, если тот, о ком идет речь, станет по-прежнему часто видеться с тобою у нас; что, пожалуй, ему не стоит к нам приходить вовсе, если только это не обидит г-на д'Орба, ибо они друзья, но что я попрошу г-на д'Орба приводить к нам пореже и его, и милорда Эдуарда. Вот, милочка, все, что я могла сделать, дабы не совсем закрыть перед твоим другом двери своего дома.

Но это еще не все. Для тебя настал решительный час, и я вынуждена настаивать на своем мнении. Как и следовало ожидать, ссора милорда Эдуарда с твоим другом вызвала в городе оживленные толки. Хотя господин д'Орб и сохранил в тайне причины ссоры, но в городе известно слишком много обстоятельств, связанных со всем этим, чтобы тайна осталась неразоблаченной. Люди что-то подозревают, строят догадки, называют твое имя. Стали припоминать болтовню стражника, прекращенную, должно быть, уж слишком поздно,— а в глазах обывателей истина предполагаемая почти то же, что и явная. Пускай же хоть одно послужит тебе утешением: все одобряют твой выбор. И все радовались бы союзу такой прекрасной пары; твой друг прижился в наших краях, и его любят ничуть не меньше, чем тебя. Но разве глас народный может воздействовать на твоего непреклонного отца? Слухи до него уже дошли или скоро дойдут, и я дрожу при мысли, чем все это кончится, если только ты не поспешишь отвести его гнев. Тебя ждет ужасное объяснение с ним, а твоего друга, быть может, еще более страшные последствия. Вряд ли твой отец в своем преклонном возрасте скрестит шпагу с молодым человеком, да он и не посчитает его достойным дуэли, зато он пользуется в городе такой властью, что может причинить нашему другу немало неприятностей, и я боюсь, как бы твой батюшка в сердцах с ним не расправился.

На коленях заклинаю тебя, милая сестрица, подумай об опасностях, теснящих тебя со всех сторон,— ведь угроза растет с минуты на минуту. До сих пор тебя спасала неслыханная удача. Пока не поздно, осторожно скрой тайны своей любви и не искушай судьбу,— страшись, чтобы она в твои беды не вовлекла и их виновника. Поверь, ангел мой, будущее так неясно. Тысячи неожиданностей могут придать всему благоприятный оборот. Но что до нынешнего времени, то я тебе уже говорила и повторяю еще настоятельнее: удали своего друга — или ты погибла.

## ПИСЬМО LXIII

*От Юлии к Кларе*

Дорогая, свершилось то, что ты предвидела. Вчера, спустя час после нашего возвращения, отец вошел в комнату матушки,— его глаза сверкали, лицо пылало,— словом, таким я его еще не видывала. Я сразу поняла, что у него была с кем-нибудь ссора или он ищет к ней повод. И моя неспокойная совесть заранее повергла меня в трепет.

Сначала он обрушился в общих словах на тех матерей, которые легкомысленно приглашают к себе в дом юнцов без роду и племени, знакомство с коими лишь позорит и бесчестит. Затем, видя, что матушка робко отмалчивается, он без церемоний привел в пример то, что происходит у нас в доме с той поры, как к нам ввели этого лжеученого, этого болтуна, способного лишь повредить благонравию девицы, а не внушить ей что-либо полезное. Матушка, увидев, что молчать долее нельзя, прервала его, когда он произнес слова «повредить благонравию», и спросила, что же предосудительного в поведении или репутации этого порядочного человека и что дает право высказывать такие подозрения. «Не думала,— добавила она,— что ум и душевные достоинства — повод для изгнания из общества. Перед кем же открывать двери вашего дома, если нравственным достоинствам и талантам нет туда доступа?» — «Перед людьми приличными, сударыня,— с яростью возразил отец,— которые могут восстановить честь девицы, ими поруганную!» — «Полно,— продолжала матушка,— по-моему, следует предпочесть людей добродетельных, которые и не помышляют о таком поругании».— «Да будет вам известно,— сказал отец,— что оскорбительно для чести дома, если какой-либо наглец, не имея на то никаких прав, выскажет желание породниться с ним».— «По-моему, тут нет ничего оскорбительного,— заметила матушка.— Напротив, я усматриваю в этом свидетельство его уважения. Впрочем, я и не знала, что тот, кто вас так разгневал, стремится к родству с нами».— «Вот именно, сударыня, он стремится к этому, а может быть, задумает и кое-что похуже, если я не возьмусь за дело сам. Не извольте сомневаться, уж я-то позабочусь обо всем, о чем вы так плохо заботились».

Тут их пререкания приняли опасный оборот,— но, правда, я поняла, что городские слухи, о которых ты говоришь, еще не дошли до моих родителей; и все же твоя недостойная сестра готова была провалиться сквозь землю. Представь себе, как моя маменька,— самая лучшая из матерей, обманутая самым жесто-

ким образом,— восхваляет свою грешную дочку и, увы, превозносит все ее утраченные добродетели в отменно лестных — вернее, угнетающих мою душу — выражениях. Представь себе, как разгневанный отец разражается оскорбительными речами, но и в пылу гнева ни единым словом не высказывает сомнения в благонравии той, чью душу в это время терзают укоры совести и тяготит стыд. О, какие невероятные муки испытывает нечистая совесть, когда упрекает себя в грехах, коих никто и не думает заподозрить даже в гневе и негодовании! Какую испытываешь гнетущую, невыносимую муку, когда тебя незаслуженно хвалят, воздают тебе дань уважения, втайне отвергаемую твоим сердцем! Мне было так тяжело, что ради избавления от жестокой пытки я бы во всем призналась, если б отец замолчал. Но в своем необузданном гневе он повторял сотню раз подряд одно и то же, а мысль его то и дело перескакивала с предмета на предмет. Он заметил мое замешательство, растерянность, смирение — все признаки угрызений совести. Он не догадался по ним о моем грехе, зато догадался о моей любви. И чтобы окончательно пристыдить меня, он стал так издеваться над моим избранником, осыпать его такою бранью, что я вопреки всем своим усилиям не могла больше слушать и прервала его.

Не знаю, дорогая, откуда только взялась у меня храбрость и как, под действием внезапного помрачения, могла я забыть и долг свой, и стыд, но я вдруг посмела нарушить свое почтительное молчание и поплатилась, как ты сейчас увидишь, суровой карой. «Во имя господа бога,— молвила я,— прошу вас успокоиться. Право, человек, заслуживший подобные оскорбления, никогда не будет для меня опасен». Тут отец, очевидно заподозрив укор в моих словах и ожидая лишь предлога, чтобы излить свою ярость, бросился на твою горемычную подругу, и впервые за всю свою жизнь я получила пощечину, даже не одну, а отец впал в какое-то исступление и, уже более не сдерживая ярости, беспощадно избивал меня, хотя матушка кинулась на мою защиту и, встав между нами, прикрывала меня своим телом, причем сама получила несколько ударов, предназначенных мне. Уклоняясь от побоев, я попятилась, оступилась и упала,— да так, что до крови ушибла лицо о ножку стола.

На этом и закончилось торжество гнева — восторжествовала природа. Мое падение, кровь, слезы, слезы матери растрогали отца. С тревожной поспешностью он поднял меня, усадил на стул и вместе с матерью стал заботливо проверять, не поранила ли я себя при падении. Оказалось, я ударилась легонько лбом, и кровь шла из носа. Однако же по тому, как изменились выра-

жение лица и голос батюшки, я поняла, что он недоволен собою. Правда, он не приласкал меня в знак примирения — чувство собственного достоинства не позволило ему сразу перемениться, зато он в самых нежных словах стал извиняться перед матушкой, и я отлично увидела по взглядам, которые он украдкой бросал на меня, что половина извинений косвенно предназначалась мне. Да, моя дорогая, нет на свете ничего трогательнее смущения, какое выказывает любящий отец, сознающий свою вину. Отцовское сердце чувствует, что создано прощать, а не получать прощение от других.

Наступил час ужина, но ужинать не садились, ждали, пока я не приду в себя. Отцу не хотелось, чтобы слуги заметили, в каком я виде,— он сам принес стакан воды, и матушка обтерла мне лицо. Увы, моя бедная маменька! Она так слаба и больна, что, пережив тягостную сцену, не менее меня нуждалась в заботах.

За столом отец не обмолвился со мною ни словом, но молчал он от стыда, а не от недовольства. Он преувеличенно расхваливал каждое блюдо, все говорил матери, что надо попотчевать меня, все старался найти случай назвать меня своей дочкой, а не Юлией, как обычно,— и это особенно меня умилило.

После ужина в покоях стало прохладно,— матушка велела затопить. Она села по одну сторону камина, а батюшка по другую; я пошла за стулом, собираясь усесться между ними, как вдруг папенька потянул меня за платье, молча привлек и усадил к себе на колени. Все это произошло так внезапно, в таком невольном душевном порыве, что он, пожалуй, тут же и спохватился. Но делать было нечего — я уже сидела у него на коленях, вдобавок он, как назло, потерял всю свою суровую важность,— ведь ему пришлось обнять меня, чтобы мне было поудобнее. Все молчали, но батюшка порою чуть крепче обнимал меня, с трудом подавляя вздох. Какой-то ложный стыд не позволял моему дорогому отцу с нежностью обвить меня руками; своего рода степенность, которую не решаешься оставить, смущение, которое не можешь преодолеть, вызвали у отца с дочкой такое же милое замешательство, как стыдливость и любовь вызывают у влюбленных, а нежная мать, тая от радости, тихонько упивалась сладостным для нее зрелищем. Все это я видела, ангел мой, все чувствовала и уже не в силах была совладать с охватившим меня умилением. Я притворилась, будто падаю, и рукой обвила батюшку за шею. Я припала к его благородному лицу, покрыла это лицо поцелуями и оросила слезами. Слезы катились из его глаз, и я поняла, что с души его упало тяжкое бремя. Матушка

разделила нашу радость. Кроткая и смиренная невинность, тебя одной недоставало в моем сердце,— если б я не утратила тебя, эта сцена, подсказанная самою природой, была бы самым восхитительным мгновением в моей жизни.

Нынче утром — очевидно, сказалась и усталость, и вчерашнее падение,— я дольше, чем обычно, оставалась в постели и еще не встала, когда в комнату вошел батюшка. Он присел у моей кровати и ласково осведомился о моем здоровье. Затем он взял руку мою обеими руками и в самоуничижении дошел до того, что поцеловал ее несколько раз, называя меня милой доченькой и укоряя себя за вчерашнюю вспышку. Я же сказала ему — и совершенно искренне,— что была бы счастлива, если б каждый день получала побои, а затем — такое возмещение, ибо одно ласковое его слово способно изгладить в моей душе воспоминание о самых жестоких обидах.

Немного погодя, заговорив более строгим тоном, он вернулся к вчерашнему разговору и объявил мне свою волю — вежливо, но с суровой непреклонностью: «Ведь ты знаешь, кому в супруги я тебя предназначаю; я сообщил тебе об этом сразу же, как приехал, и не изменю свое намерение никогда. Что же касается того господина, о котором толковал милорд Эдуард, то хотя я отнюдь и не отрицаю его достоинств, признаваемых всеми, хотя и не уверен, сам ли он выдумал смехотворную затею породниться со мной или кто-нибудь внушил ему эту мысль, я никогда бы не согласился, чтобы у меня был такой зять, если б он даже обладал всеми на свете английскими гинеями, а я не предназначал тебя другому. Во имя его безопасности, во имя своей чести не смей никогда в жизни с ним видеться и говорить. Я и раньше не питал к нему расположения, а теперь его ненавижу; из-за него я вышел из себя — и своего грубого поступка не прощу ему вовеки!»

С этими словами он покинул меня, не дожидаясь моего ответа, и был полон почти такой же ярости, в какой только что повинился. Ах, сестрица, предрассудки — сущие исчадия ада, они портят лучшие сердца, то и дело заглушая голос природы.

Вот как, друг мой Клара, произошло объяснение, которое ты предвидела,— я не могла понять его причины, пока не пришло твое письмо. Какой-то переворот произошел в моей душе. Право, с этой минуты я изменилась. Кажется, с еще большим сожалением я обращаюсь мыслью к той счастливой поре, когда тихо и мирно жила в кругу своей семьи, и тем больше сознаю я свою вину, чем больше сознаю утраты, понесенные из-за нее. Скажи, жестокая, ну скажи, если у тебя достанет духу,— так,

значит, пора любви для меня миновала и мне не суждено с ним встретиться! Ужели ты не чувствуешь, как безысходна, как ужасна эта зловещая мысль? А ведь воля отца непреклонна,— мой возлюбленный в явной опасности. Знаешь, что породили во мне все эти столь противоположные чувства, словно ниспровергающие одно другое? Какую-то оторопь, отозвавшуюся в душе моей почти полным бессилием,— мне уж не подвластен ни разум мой, ни мои страсти. Решительная минута настала, ты права, я и сама понимаю,— однако никогда еще так плохо не владела собой. Не раз я бралась за письмо к своему другу, но стоит мне вывести строчку, и я чуть не лишаюсь чувств, я не могу набросать и двух строк. На свете у меня осталась только ты, моя нежная подруга. Так думай же, говори, действуй за меня,— вручаю тебе свою судьбу. Решай,— я заранее со всем согласна. Вверяю твоей дружбе ту роковую власть, которую купила такой дорогой ценой у любви. Навеки разлучи меня со мной самой, прикажи мне умереть, если надобно, но не заставляй меня пронзить собственной рукой свое сердце.

О ангел мой! Моя заступница! Какую ужасную обязанность я возлагаю на тебя! Достанет ли у тебя мужества, выполнишь ли ты свой долг, смягчишь ли всю его жестокость? Увы, ведь тебе придется поразить не только одно мое сердце. Ведь ты-то знаешь, знаешь, как он любит меня! Я даже не могу утешаться тем, будто достойна большего сострадания. Сжалься! Пусть мое сердце говорит твоими устами. Пусть проникнется твое сердце нежною жалостью к влюбленным,— утешь обездоленного! Повтори ему сотни раз... ах, повтори... ужели ты не веришь, дорогая моя подруга, что, невзирая на предрассудки, препятствия, преграды, небо создало нас друг для друга? Да, да, я уверена, нам суждено соединиться. Я не в силах проститься с этой мыслью, отказаться от надежды, которая с нею связана... Скажи ему, пусть не теряет бодрости духа, пусть не отчаивается. Не вздумай и в шутку от моего имени потребовать любви и верности, тем более не давай ему клятву и за меня. Разве уверенность в этом не хранится в глубине наших душ? Разве мы не чувствуем, что они неразделны и что отныне у нас единая, общая душа! Внуши ему только, чтобы он надеялся; судьба нас преследует, но пусть он верит в любовь: ведь я знаю, сестрица, что так или иначе, но любовь сама исцелит нас от всех страданий, которые нам сама и причиняет, и что бы ни судило небо, мы не будем надолго разлучены.

P. S. Закончив письмо, я вошла в матушкину спальню, и вдруг мне стало дурно, пришлось вернуться, лечь в постель.

И я замечаю... боюсь... ах, душа моя, я так боюсь, что вчерашнее падение будет иметь роковые последствия, о которых я и не подумала. Итак, все кончено. Все надежды одновременно покидают меня.

### ПИСЬМО LXIV

*От Клары к г-ну д'Орбу*

Батюшка рассказал мне нынче утром о вашем вчерашнем разговоре. Рада, что все закончилось к вашему, как вы изволили выразиться, счастью. Надеюсь — и вы это знаете — обрести также и свое счастье. Я питаю к вам уважение, дружбу,— и все нежнейшие чувства, на какие способно мое сердце, принадлежат вам. Но не обольщайтесь: право, я какой-то монстр, а не женщина. По странной игре природы, дружба у меня берет верх над любовью. Когда я поведала вам, что Юлия для меня дороже вас, вы рассмеялись, а меж тем это сущая правда. Юлия это отлично чувствует и даже ревнует меня за вас: вы-то довольны, а она все твердит, будто я недостаточно сильно люблю вас. Более того, я так привязываюсь ко всему дорогому ей, что ее возлюбленный и вы занимаете почти равное место в моем сердце, хотя и по-иному. К нему я питаю только чувство дружбы, но чувство это весьма пылкое, в вас я, пожалуй, влюблена, но весьма рассудительно. Кажущаяся равноценность этих чувств может смутить душевный покой ревнивца, но я надеюсь, что ваш покой не так уж сильно нарушен.

Как далеко от наших дорогих страдальцев то блаженное спокойствие, каким мы осмеливаемся наслаждаться; право, не подобает вкушать радости, когда друзья пребывают в отчаянии. Все кончено! Им надобно расстаться, и, может быть, уже настал час их вечной разлуки. И то уныние, за которое мы упрекали их в день концерта, быть может, было предчувствием, что они видятся в последний раз. Однако же ваш друг еще не знает, какая пришла беда,— с уверенностью в сердце он еще упивается счастьем, которое утратил навеки. В этот горестный час он мысленно наслаждается лишь тенью своего счастья, и, подобно тем, кого нежданно-негаданно уносит смерть, наш страдалец думает о жизни и не ведает, что смерть вот-вот похитит его. Увы, от моей руки он должен получить ужасный удар! О божественная дружба, единственный кумир моего сердца, явись и подкрепи меня, помоги мне свершить священный и жестокий долг. Вдохни в меня мужество, сделай безжалостной, позволь достойным образом послужить тебе и исполнить столь тягостную обязанность.

Сейчас я так рассчитываю на вас! Я рассчитывала бы на вас, даже если б вы не так любили меня,— ведь я знаю вашу душу, знаю, что ей ненадобно внимать пылкому голосу любви, когда звучит голос человеколюбия. Прежде всего завтра поутру пригласите нашего друга ко мне. Смотрите, ни о чем не предупреждайте его. Нынче я располагаю собою и после обеда отправлюсь к Юлии. Отыщите милорда Эдуарда, приходите ко мне вдвоем к восьми часам вечера: надо сообща решить, что предпринять, если нашему несчастному другу придется уехать, и как предотвратить его отчаяние.

Возлагаю большие надежды на силу его духа. Еще больше надежд возлагаю на силу его любви. Желание Юлии, опасность, угрожающая ее жизни и чести,— вот причины, которые он не станет оспаривать. Будь что будет. Но так и знайте: о нашей свадьбе и не заикайтесь, покуда Юлия не успокоится, ибо узы, которые должны соединить нас, не могут быть орошены слезами моей подруги. Сударь, если вы и вправду меня любите, ваше благо в данном случае связано с вашим великодушием, и сейчас речь идет не только о чужих делах, но и о ваших собственных.

## ПИСЬМО LXV

*От Клары к Юлии*

Все улажено, и, несмотря на свою неосторожность, моя Юлия в безопасности. Все твои сердечные дела погребены во мраке тайны, ты и в лоне семьи, и в родном краю по-прежнему любима, уважаема, пользуешься безукоризненной репутацией и всеобщим почетом. Оглянись же с содроганием на те опасности, которым подвергли тебя стыд или любовь, толкнув тебя на слишком многое,— или на слишком малое. Отныне научись не примирять несовместимые чувства и благословляй небо, о ты, сочетавшая слепую страсть с девичьей робостью, за то счастье, которое было ниспослано лишь тебе одной.

Не хотелось мне еще более удручать твое сердце подробным описанием его отъезда, вызванного столь жестокой необходимостью. Но ты пожелала все узнать, я обещала выполнить твою просьбу и сдержу слово. Все опишу тебе с присущей нам откровенностью — ведь мы не умеем утаивать правду во имя пользы. Читай же, милая, читай, бедная моя, ибо так нужно. Но мужайся и не падай духом.

Все меры предосторожности, предусмотренные мною,— о них я перед тобою вчера отчиталась, были, конечно, приняты. Дома меня уже ждали г-н д'Орб и милорд Эдуард. Я сразу же

объявила милорду, что мы с тобой знаем о его смелом и благородном поведении и глубоко тронуты. Затем я рассказала им о том, что твоему другу надо немедленно уехать и как будет трудно убедить его. Милорд все отлично понял и был сильно огорчен последствиями своего неуместного рвения. Оба согласились, что весьма важно ускорить отъезд твоего друга, вырвать у него согласие, не дать ему времени одуматься и немедля избавить его от опасности, угрожающей ему в наших краях. Я хотела было поручить г-ну д'Орбу сделать, покуда без ведома нашего друга, все необходимые приготовления к его отъезду, но милорд пожелал обо всем позаботиться сам, считая это своей обязанностью. Он обещал, что коляска будет готова к одиннадцати часам утра, и добавил, что будет сопровождать нашего друга и останется с ним, пока это необходимо; он даже предложил увезти его под другим предлогом, чтобы на свободе добиться его согласия. Я сочла такую уловку недостойной ни нас, ни нашего друга, главное же, мне не хотелось, чтобы первый порыв отчаяния охватил его вдали от нас — ведь милорд вряд ли все приметил бы, как тотчас же приметила бы я. Милорд вызвался переговорить с ним, но я отвергла и это предложение по тем же причинам, и он тотчас же согласился. Я знала, что переговоры требуют большой осторожности, и решила вести их сама. Ведь мне лучше известны все чувствительные струны его сердца, да и, кроме того, в мужских разговорах всегда преобладает какая-то жесткость, а женщина умеет все смягчить. Однако же я поняла, что милорд может оказать нам большую услугу, нравственно подготовив нашего друга. Я знала, как воздействуют на добродетельное сердце слова человека чувствительного, который лишь воображает, будто он философ, и сколько душевной теплоты может придать всем рассуждениям голос друга.

Итак, я предложила милорду Эдуарду провести со своим другом вечер и, конечно, не заводя речей о том, что имеет прямое отношение к его судьбе, неприметно приготовить его душу к стоической твердости. «Ведь вы отменно изучили своего Эпиктета,— сказала я милорду,— вот вам и представился случай с пользой применить его учение. Постарайтесь показать нашему другу различие между истинными и мнимыми благами,— теми благами, которые существуют внутри нас, и теми, которые существуют вне нас. В тот час, когда ему извне готовятся испытания, докажите ему, что зло причиняешь себе только сам, что мудрец, все свое нося с собою, носит в себе и свое счастье». По его ответу я поняла, что моей легкой и безобидной насмешки было достаточно,— он решил рьяно взяться за дело и был уве-

рен, что твой друг явится ко мне поутру хорошо подготовленным. А я именно этого и домогалась: как и ты, я не придаю большого значения философским разглагольствованиям, зато убеждена, что честному человеку бывает чуть-чуть совестно наутро менять свои вчерашние убеждения и нынче опровергать в своем сердце то, что разум диктовал ему накануне.

Господин д'Орб также вызвался принять во всем этом участие и провести вечер с приятелями, но я его отговорила: он и сам бы скучал, да и, пожалуй, помешал бы беседе. Я питаю к нему расположение, но, право же, это не мешает мне видеть, что он человек совсем иного склада. То своеобразное наречие, к которому в своих мужественных размышлениях прибегают эти сильные духом люди,— для него китайская грамота. При прощании я вспомнила о пуше и, опасаясь несвоевременной откровенности милорда, со смехом намекнула ему на это. «Успокойтесь,— отвечал он,— я предаюсь своим привычкам, когда это не угрожает опасностью, но рабом их я еще никогда не бывал. Ведь сейчас идет речь о чести Юлии, о судьбе, а быть может, даже и о жизни человека, к тому же — моего друга. Я буду, по своему обыкновению, пить за нашей беседой, иначе в ней почувствуется что-то нарочитое, но это будет не пунш, а просто лимонад, а так как наш друг не пьет, то ничего и не приметит». Не правда ли, дорогая, унизительно быть во власти привычек, которые принуждают к такой предосторожности?

Я провела ночь в сердечном волнении, и относилось оно не только к тебе. Невинные забавы нашей первой молодости, все прелести давнишней дружбы, частые встречи, мои отношения с твоим другом, окрепшие за последний год, когда ему так трудно стало встречаться с тобой,— все это встало в моей памяти и наполнило душу тоскою разлуки. Мне казалось, что, утратив твое второе «я», я теряю и часть своего собственного существа. С волнением считала я часы. Вот стало светать, и я с ужасом встречала день, которому суждено было решить твою участь. Утро я провела в размышлениях обо всем, что мне надо было сказать, старалась угадать, какое впечатление произведут мои слова. Наконец настал назначенный час, и явился твой друг. Вид у него был встревоженный, и он сразу же забросал меня вопросами о тебе,— ибо на следующий же день после твоей сцены с отцом он проведал, что ты расхворалась, и милорд Эдуард сообщил ему вчера, что ты еще не поднимаешься с постели. Мне хотелось избежать расспросов, и я тотчас же ответила, что вчера вечером мы с тобою виделись, что тебе было уже гораздо лучше, и добавила, что сейчас воротится Ганс, ко-

торого я к тебе послала, и от него мы все узнаем. Мои осторожные ответы ни к чему не привели: он все выспрашивал о твоем состоянии, и это отвлекало меня от моей цели, поэтому я отвечала кратко и принялась сама его расспрашивать.

Сначала я решила выведать, в каком он расположении духа. Я нашла, что он сосредоточен, мыслит здраво, готов взвешивать чувства на весах рассудка. «Хвала небу,— подумала я,— мой мудрец отлично подготовлен, остается одно: подвергнуть его испытанию». Хотя и водится обычай сообщать печальные новости постепенно, но я-то знаю его пылкое воображение,— ведь он при первом же слове впадает в неистовство, поэтому я решила пойти иным путем — сначала оглушить его, а потом утешить и уговорить, не умножать напрасно его страданий, нанося множество ударов вместо одного. Итак, заговорив более серьезным тоном и пристально глядя ему в лицо, я сказала: «Друг мой, известен ли вам предел мужества и добродетели в сильной душе, и полагаете ли вы, что отказаться от любимого существа — выше сил человеческих?» Он тотчас же вскочил как безумный, всплеснул руками и, стиснув их, прижал ко лбу. «Понимаю вас, Юлия умерла, Юлия умерла,— твердил он, и голос его приводил меня в трепет.— Я это чувствую, тщетны все ваши старания, напрасны предосторожности, они только длят часы моей смерти и делают ее еще мучительней».

Нежданная вспышка испугала меня, но я тотчас же догадалась о ее причине и поняла, что известие о твоей болезни, а затем нравоучительные разговоры милорда Эдуарда, наше утреннее свидание, мои неопределенные ответы на его вопросы, мои вопросы к нему — все пробудило в нем ложную тревогу. Я хорошо видела, как благотворно было бы в конце концов это заблуждение, если б не рассеивать его подольше, но я не могла решиться на такую жестокость. Мысль о смерти любимого существа так ужасна, что отраду приносит всякая иная страшная мысль, и я поспешила этим воспользоваться. «Быть может, вы ее и не увидите более,— сказала я,— но она жива и любит вас. Ах, если б Юлия умерла, ужели Клара была бы в силах говорить с вами! Возблагодарите же небо — ведь оно избавило вас от горя, которое еще сильней могло бы отягчить вашу несчастную долю». Он был так растерян, изумлен, поражен, что я могла воспользоваться его молчанием и, снова усадив его, рассказать подробно и по порядку обо всем, что должно было ему узнать, причем постаралась поживее описать поступок милорда Эдуарда, чтобы отвлечь от печали его доброе сердце и вызвать в нем чувство благодарности.

«Вот, дорогой друг,— продолжала я,— как обстоят дела. Юлия на краю бездны, ей грозит позор пред лицом общественного мнения, негодование семьи, суровая кара разгневанного отца и собственное отчаяние. Все растет опасность — если не кинжал отца, то собственный ее кинжал в любую минуту может лишить ее жизни, ведь острие его вот-вот пронзит ее сердце. Лишь одно средство может предупредить беду, и прибегнуть к нему в вашей воле. Судьба возлюбленной в ваших руках. Решайте же, достанет ли у вас мужества спасти ее,— иначе сказать, расстаться с ней, ибо ей запрещено видеться с вами,— или вы предпочтете стать виновником и свидетелем ее гибели и посрамления. Она столько сделала для вас, посмотрим, что ваше сердце сделает для нее. Нет ничего удивительного, что горести подорвали ее здоровье. Вы тревожитесь за жизнь Юлии, так знайте — эта жизнь зависит от вашего решения».

Он слушал, не прерывая, но как только понял, о чем идет речь, сразу изменился,— все исчезло: взволнованные жесты, и горящий взор, и тревожное, но живое и полное огня выражение лица. Печаль и уныние окутали мраком его чело, угасший взор и весь унылый вид говорили о душевной подавленности. Отвечая мне, он с трудом шевелил губами. «Мне надобно удалиться,— проговорил он голосом, который всякому другому показался бы спокойным.— Что ж, удалюсь! Довольно жить на этом свете».— «Полно,— тотчас же возразила я,— надобно жить ради той, которая любит вас: ужели вы забыли, что ее жизнь связана с вашей?» — «В таком случае нельзя разделять эти жизни,— подхватил он,— ведь она могла, да еще и может все поправить». Я притворилась, будто не расслышала последних слов, и тщетно старалась вселить в него надежду, но душа его не внимала моим словам. Тут вошел Ганс и принес добрые вести о тебе. И вмиг радость охватила его, и он воскликнул: «Ах, только б она была жива, только б была счастлива... если это возможно! Я скажу ей последнее прости и уеду».— «Да вы же знаете, что ей запрещено видеть вас! Увы, вы уже сказали друг другу прости, вы уже разлучены. Ваша участь будет не так жестока вдали от нее. Ведь для вас будет так отрадно, что она в безопасности. Бегите нынче же, тотчас же. Остерегайтесь, как бы такая огромная жертва не свершилась слишком поздно. Страшитесь стать причиною гибели Юлии и после того, как пожертвуете собою».— «Как! — воскликнул он с ужасом.— Уехать, не повидавшись с ней! Как! я не увижу ее! Нет, нет: пусть мы оба погибнем, если так надобно. Право, смерть не будет для нее страшна, если мы умрем вместе. Я должен увидеть

ее во что бы то ни стало. Я положу к ее ногам свое сердце и жизнь свою, прежде чем покончу с собою». Мне было нетрудно доказать ему, до чего безумно и жестоко его намерение, но он все твердил: «Как, я не увижу ее!» И этот вопль души становился все печальнее и печальнее; казалось, он взывает хотя бы к надежде на будущее. «Все беды вам кажутся куда страшнее, чем это есть на самом деле,— сказала я.— Почему вы отказываетесь от надежды, когда сама Юлия не потеряла ее? Ужели вы думаете, что она могла бы так расстаться с вами, если б думала, будто вы разлучаетесь навеки? Нет, нет, друг мой, вы же знаете ее сердце. Знаете, что ради любви она готова пожертвовать жизнью. И я, право, очень боюсь (да, должна признаться, я это добавила), что сейчас ради нее она готова пожертвовать всем. Верьте, она надеется, иначе не стала бы жить. Верьте, что во всех своих действиях, подсказанных осторожностью, она гораздо больше, чем кажется, думает о вас, а заботится о себе скорее ради вас, нежели ради самой себя». Тут я вынула твое последнее письмо и указала на строки, в которых безрассудная дева, хотя и полагает, что любовь ей уже не суждена, высказывает другие сладостные надежды; такое признание нежной своей теплотой оживило надежды и в нем. Эти строчки оказались целительным бальзамом, пролитым на разъедаемую ядом рану. Взор его смягчился, глаза увлажнились. Отчаяние сменилось умилением, а прочитав последние, такие трогательные слова, подсказанные тебе самим сердцем: «Мы не будем надолго разлучены»,— он залился слезами. «Нет, моя Юлия, нет,— произнес он, возвышая голос и целуя письмо,— мы не будем надолго разлучены! Небо соединит судьбы наши на земле — или сердца наши в вечной жизни».

Вот в таком состоянии мне и хотелось его видеть. Сухой блеск его глаз, его мрачная тоска вначале тревожили меня. Ни за что я не отправила бы его в путь, если б он пребывал в прежнем расположении духа. А как только я увидела его слезы, как только услышала твое милое имя, с нежностью произнесенное его устами, я перестала страшиться за его жизнь, ибо нежность менее всего согласуется с отчаянием. Но именно в этот миг, вне себя от сердечного волнения, он привел довод, которого я не предвидела. Он заговорил о твоем положении, о твоих подозрениях и поклялся, что скорее тысячи раз подвергнет свою жизнь угрозе смерти, но не покинет тебя в ту пору, когда тебя ждет столько превратностей. Я не стала рассказывать о несчастье, случившемся с тобою, а просто ответила, что ты ошиблась в своих ожиданиях и на сей раз и что надеяться не на что. «Итак,— сказал он

со вздохом,— на земле не останется живого свидетельства о моем счастье. Счастье исчезло как несбывшийся сон».

Предстояло выполнить последнюю часть твоего поручения, но я не думала, что при вашей близости понадобится особая подготовка и таинственность. Я решилась даже слегка побранить его по этому не столь уж важному поводу, дабы отвлечь внимание от других поводов к спорам,— в связи с главным предметом нашей беседы. Я упрекнула его в том, что он с таким небрежением, с такою беззаботностью относится к своим делам. Сказала, как тебя тревожит, что он запустил свои дела, сказала, что ты приказываешь ему беречь свое здоровье — ради тебя, печься о своих нуждах и, пока он не станет на ноги, принять небольшое вспомоществование, которое я вручу ему от твоего имени. Предложение это, по-видимому, нисколько его не обидело и не возмутило. Он чистосердечно ответил, что ты отлично знаешь, с каким восторгом он принимает любые твои дары, но что сейчас все твои заботы излишни, ибо он выручил деньги от продажи домика [1] в Грансоне,— это было все, что оставалось ему от последнего имущества, скудного родительского наследия, и теперь у него больше денег, чем бывало когда-либо за всю жизнь. «К тому же,— добавил он,— у меня есть кое-какие способности, и благодаря им я повсюду найду себе средства к существованию. Я буду счастлив, ежели труды хотя бы немного отвлекут меня от сердечных горестей. С той поры как я воочию увидел, на что Юлия тратит лишние деньги, я почитаю эти деньги неприкосновенным сокровищем вдов и сирот, и отнять у них хоть малую толику не позволяет мне человеколюбие». Тут я ему напомнила о странствии по Вале, о твоем письме и твоем волеизъявлении: ведь основания были те же... «Те же основания? — прервал он меня негодующим тоном.— За свой отказ я был бы тогда наказан разлукой с нею. Так пусть теперь она позволит мне остаться, и я приму ее дар. Если я соглашусь, зачем ей наказывать меня? Если я откажусь, ей все равно ничего уж нельзя прибавить к моей нестерпимой пытке. Те же основания...— твердил он в раздражении.— Нет, тогда союз наших душ только возникал, а сейчас он расторгается. Быть может, мы разлучаемся навеки, у нас не останется ничего общего. Мы будем чужды друг другу». Последние слова он произнес

[1] Трудно понять, как этот безыменный любовник, которому, по его словам, не было еще и двадцати четырех лет, мог продать дом, не достигнув совершеннолетия. Вообще эти письма переполнены подобными нелепостями, и говорить об этом я более не собираюсь. Довольно и того, что я предуведомил читателя.

с такой сердечною тоской, что я затрепетала при мысли, что он впадет в то же уныние, от которого я с таким трудом его избавила. «Право, вы еще совсем дитя,— сказала я с напранной шутливостью,— вам еще нужна опека, вот я и стану опекуншей. Я сохраню ваше достояние, а чтобы умело распоряжаться им в нашем общем деле, я хочу постоянно знать о всех ваших нуждах». Заведя речь о дружеской переписке, я хотела отвлечь его от мрачных мыслей — его бесхитростная душа, которая, так сказать, цепляется за все, что связано с тобою, легко поддалась на обман. Мы условились об адресах для писем — ему было приятно говорить на эту тему, и я поддерживала разговор, подробно все обсуждая до прихода г-на д'Орба, который знаками показал мне, что все готово. Твой друг сразу все понял и принялся настоятельно просить, чтобы я позволила ему написать тебе, но я поостереглась и не разрешила. Я знала, что в приливе нежности сердце его дрогнет, и едва он дойдет до середины письма, как нам уже вряд ли удастся заставить его уехать. «Всякое промедление опасно,— заметила я.— Поскорей добирайтесь до первой почтовой станции, а там пишите, сколько вашей душе угодно». С этими словами я подала знак г-ну д'Орбу и с тоскою на сердце бросилась к нашему другу, прильнула лицом к его лицу. Что было дальше, не помню. Слезы застилали мне глаза, я совсем потеряла голову. Силы мои иссякли, и я не могла уже играть свою роль.

И вдруг я услышала, как они сбегают вниз по лестнице. Я вышла на площадку, посмотрела им вслед. Эта последняя минута довершила мое смятение. Он бросился на колена посреди лестницы и стал осыпать поцелуями ступени. Г-ну д'Орбу с трудом удалось оторвать его от холодного камня, к которому наш страдалец припал с долгими стенаниями, прижался всем телом, лицом, руками. Чувствуя, что из груди моей сейчас вырвутся стоны, я убежала к себе в комнату,— боялась, что рыдания мои поднимут на ноги весь дом.

Немного погодя воротился г-н д'Орб, прижав к глазам платок. «Все кончено,— молвил он,— они уже в дороге. Подойдя к своему дому, ваш друг увидел у ворот коляску. Милорд Эдуард, ждавший его, кинулся ему навстречу, прижал его к своему сердцу и произнес проникновенным тоном: «Приди, несчастный страдалец, приди и излей горе на груди любящего друга. Приди, и, быть может, ты поймешь, что еще не все утрачено в этом мире, раз ты обрел такого друга, как я». И тотчас же, обхватив его своею сильной рукой, милорд увлек его в коляску, усадил, и, крепко обнявшись, они тронулись в путь».

*Конец первой части*

## ПИСЬМО I

*К Юлии*[1]

Сотни раз берусь я за перо, но стоит мне написать первое слово, как я уже полон сомнений, не знаю, каким тоном говорить, не знаю, с чего начать, а ведь я пишу Юлии! О, как я жалок! Что же со мной стало? Да, миновало время, когда тысячи сладостных чувств изливались на бумагу неиссякаемым потоком. Миновала сладостная пора надежд и откровенных признаний. Мы более не принадлежим друг другу, мы уже не те,— право, не знаю, кому же я пишу. Соизволите ли вы получать мои письма? Соизволят ли глаза ваши читать их? Сочтете ли вы их достаточно сдержанными, достаточно осмотрительными? Осмелюсь ли я обращаться к вам с былою задушевностью? Осмелюсь ли говорить в письмах об угасшей или поруганной любви! И не чужд ли я вам еще более, чем в ту пору, когда писал вам впервые? О небо! Как отличается прелесть и отрада тех дней от моего нынешнего отчаяния! Увы! Жизнь для меня только начиналась — и все рухнуло. Радостная надежда прежде одушевляла мое сердце,— ныне предо мной витает образ смерти: прошло только три года — и вот уже замкнулся круг счастливого существования. Ах, почему я не покончил счеты с жизнью раньше, пока не пережил себя! Почему не послушался своих предчувствий, когда, испытав минуты упоительного счастья, уже знал, что ничто не продлит их! Сомнений нет — лучше бы этими тремя годами закончилась и жизнь моя, лучше бы нас вовсе

---

[1] Нет нужды, полагаю, предупреждать, что в этой, второй, части и в последующей наши влюбленные только и делают в разлуке, что говорят вздор и несут чепуху,— бедняги совсем потеряли голову.

не было на свете! Лучше бы не вкушать блаженства, чем, вкусив, утратить. Если бы я избежал этой роковой поры своей жизни, если бы уберегся от взора, который переродил мою душу, я бы отдался умственной деятельности, исполнению долга, возложенного на человека, и, быть может, украсил какими-нибудь достойными делами свою тусклую жизнь. Одна-единственная неожиданность — и все изменилось. Глаза мои осмелились лицезреть то, что мне не должно было видеть. И это привело к неизбежному концу. Постепенно я дошел до неистовства, и теперь я — безумец, жалкий раб, бессильный и малодушный, который позорно влачит бремя цепей и отчаяния.

Бесплодные мечты помутившегося разума! Пустые и обманчивые желания, от которых тотчас же отрекается сердце, едва они возникли! К чему воображать, будто от истинных страданий можно исцелиться таким химерическим способом, который мы сами бы и отринули, если б его нам предложили. Ах, ужели тот, кто познал любовь, поверил бы, увидев тебя, что существует на земле иное счастье, которое я захотел бы купить ценою своей первой любви? Нет, нет, пусть небо оставит при себе свои благостыни, только бы не отнимало у меня моего горя и воспоминания о минувшем счастье. Я предпочитаю память о наслаждениях и скорбь о прошлом, терзающие мне душу, вечному счастью без моей Юлии. Приди, возлюбленный образ, поселись в сердце, живущем только тобою, последуй за мной в изгнание, утешь меня в горестях, оживи и поддержи померкшие надежды. Мое обездоленное сердце вечно будет служить тебе нерушимым святилищем, и никогда ни судьбе, ни людям не изгнать тебя оттуда. Я умер для счастья, но я не умер для любви, которая дает мне право на него. Любовь эта неодолима, как и породившее ее очарование. Она покоится на незыблемой основе, созданной из достоинства и добродетелей. Ей не погибнуть в бессмертной душе, ей более ненадобно опираться на надежду, прошлое придает ей силы для вечной жизни в будущем.

Но ведь и ты, о Юлия,— ты познала, что такое любовь, как же случилось, что твое нежное сердце забыло о том, что составляет всю жизнь его? Как же случилось, что священный огонь погас в твоей чистой душе? Как случилось, что ты утратила вкус к небесным наслаждениям, которые одной только тебе было дано чувствовать и дарить? Ты без жалости отсылаешь меня прочь, изгоняешь с позором, повергаешь в отчаяние — и в заблуждении, помутившем ум твой, не видишь, что, делая меня несчастным, ты сама лишаешься счастья своей жизни! Ах,

поверь мне, Юлия, тщетно ты стала бы искать иное сердце, близкое твоему сердцу. Множество сердец, конечно, будут обожать тебя, но любило тебя лишь мое.

Ответь же мне ныне, возлюбленная моя,— введенная в заблуждение или вводящая в обман,— что же сталось со всеми твоими таинственным планами? Куда исчезли все эти тщетные надежды, которыми ты манила меня столь часто, что в простоте сердечной я им поверил? Где этот желанный, святой союз, нежный предмет жарких воздыханий,— ведь столько раз ты писала о нем, столько раз говорила, поддерживая во мне веру в будущее! Увы, полагаясь на твои обещания, я осмелился мечтать о священном звании супруга и уже почитал себя счастливейшим из смертных. Скажи, жестокая, уж не для того ли ты обманывала меня, чтобы сделать мои муки еще нестерпимее, а мое унижение еще постыдней? Или я сам каким-нибудь проступком навлек на себя несчастье? Или я не выказывал послушания, кротости, скромности? Скажи, разве я недостаточно пылко стремился к тебе и тем заслужил, чтобы меня изгнали? Или, может быть, не хотел подчинить свои пламенные желания твоей верховной воле? Ведь я так старался угодить тебе, а ты покинула меня! Ты обещала печься о моем счастии, а погубила меня! Неблагодарная, дай мне отчет в сокровищах, которые я доверил тебе, дай мне отчет в моей участи,— ведь ты, обольстив мое сердце, подарила мне высшее блаженство, а потом отняла его. Ангелы небесные, я не хотел поменяться с вами судьбой. Я был счастливее всех на свете... Увы! Теперь я уже ничто, во мгновение ока я всего лишился. Я был переполнен счастьем и сразу же повергнут в вечную скорбь,— казалось, вот счастье со мною,— и вдруг оно ускользнуло; казалось, оно рядом — и вдруг я его потерял навеки. Ах, если б я хоть мог поверить, что это непоправимо! Если бы не оставалось пустой надежды на то, что... О скалы Мейери! Мой блуждающий взор измерял вас столько раз, почему не сослужили вы службу моему отчаянию? Когда мне еще неведома была цена жизни, не так жаль было бы расставаться с ней.

## ПИСЬМО II

*От милорда Эдуарда к Кларе*

Мы в Безансоне, и я почитаю своим первейшим долгом рассказать вам о нашем путешествии. Оно прошло если и не спокойно, то хотя бы без каких-либо неприятных случаев, и друг ваш здоров телесно, насколько можно быть здоровым, когда

так уязвлено сердце. Он даже пытается выказать хладнокровие. Он стыдится своего состояния, весьма скрытен со мной, но все выдает его тайные чувства. Я притворяюсь, будто не замечаю его усилий,— пусть сам справляется с собой, таким образом душа его несколько отвлечется от страданий, пытаясь их скрывать.

В первый день он был в унылом расположении духа. Приметив, что чем дальше мы уезжаем, тем сильнее делалась его печаль, я велел остановиться пораньше. Мы и словом не перемолвились: неуместные утешения только растравляют сильное горе. Равнодушие и хладнокровие легко находят слова участия; но истинный язык дружбы — грусть и молчание. Вчера я стал замечать первые проблески исступления — оно неизбежно сменит душевную летаргию. За обедом, не прошло и четверти часа с нашего приезда, как он выразил мне нетерпение. «Да почему же мы медлим? — молвил он с горестной усмешкой.— Торчим здесь, так близко от нее». Вечером, делая над собой усилие, он много говорил, но ни словом не упомянул о Юлии; он спрашивал все одно и то же, а я отвечал раз по десять. Ему хотелось знать, находимся ли мы уже на землях Франции, а потом он спрашивал, скоро ли приедем в Веве. На каждой станции он сразу принимался что-то писать, но тут же разрывал письмо и комкал. Я спас от огня два-три клочка — по ним вам будет ясно, в каком он душевном состоянии. Впрочем, он все же, очевидно, добился своего и письмо написал.

Все это предвестники бурной вспышки, но я не могу сказать, когда и как она произойдет, ибо здесь все зависит от сочетания особенностей человеческой натуры, от характера его страсти, от обстоятельств, которые могут внезапно возникнуть, от великого множества всяких случайностей,— предусмотреть их не дано и прозорливейшему человеку. Ручаюсь, что его исступление пройдет, чего нельзя сказать о его отчаянии,— впрочем, что бы мы ни делали, а человек всегда сам располагает своей жизнью.

Я полагаюсь, правда, на его чувство собственного достоинства и на свои заботы, хотя в данном случае меньше рассчитываю на свое дружеское рвение, в котором, конечно, недостатка не будет, чем на характер его любви и характер Юлии. Если душа долго и глубоко занята предметом своей страсти, то неизбежно усваивает и некоторые его особенности. Редкостная кротость Юлии должна унять жгучую страсть, внушенную ею же, и я не сомневаюсь, что любовь человека столь пылкого придаст и ей чуть больше решительности.

Рассчитываю и на его сердце: оно создано для борьбы и победы. Любовь, подобная его любви,— не столько слабость, сколько неудачно примененная сила! Жаркая и несчастная страсть, быть может, способна на время, а пожалуй, и навсегда, поглотить часть его духовных сил, но она сама по себе служит доказательством того, как они прекрасны и как много пользы мог бы он извлечь из них, укрепляясь в мудрости, ибо возвышенная мысль поддерживается тою же душевной силой, что порождает и могучие чувства, и достойным образом служить философии можно лишь с такою же пылкой страстью, какую питаешь к возлюбленной.

Уверяю вас, любезная Клара, я не менее вас пекусь о судьбе несчастной четы, и не из чувства сострадания, которое порой является лишь признаком малодушия, а из уважения к справедливости и порядку, требующих, чтобы каждый нашел в жизни место наиполезнейшее и для себя, и для общества. Две эти прекрасные души созданы природой друг для друга. В нежном союзе, на лоне счастья, свободно развивая свои силы и упражняясь в добродетели, они просветили бы всех своим примером. Почему же какой-то бессмысленный предрассудок изменил пути провидения и нарушил гармоничный союз двух мыслящих существ? Почему тщеславие жестокого отца скрыло от людей истину и заставило два нежных и добродетельных сердца, созданных всем на утешение, стенать и лить слезы? Ведь брачный союз является не только самым священным, но и самым свободным из обязательств! Да, все законы, стесняющие его свободу, несправедливы, все отцы, посмевшие его навязать или разрушить, — изверги. Эти непорочные узы, созданные самой природой, не зависят ни от власти государя, ни от воли родителей, а только от промысла единого нашего отца, которому дано повелевать сердцами людей,— приказывая им соединиться, он может заставить их и полюбить друг друга [1].

---

Есть страны, где соответствие в положении и богатстве настолько предпочитается соответствию натур и сердец, что если нет первого, то это достаточное препятствие к заключению самых счастливых браков или к расторжению их, невзирая на утрату чести несчастными девицами,— повседневными жертвами мерзких предрассудков. Мне довелось присутствовать в Парижском верховном суде на громком процессе, когда знатное происхождение нагло и всенародно попирало порядочность, долг, супружескую верность и когда презренный отец, выигравший тяжбу, посмел лишить своего сына наследства за то, что тот не захотел стать бесчестным человеком. Невозможно описать, до какой степени в этой столь учтивой стране женщины угнетены законами. Что же удивляться, если они так жестоко мстят за это своим поведением!

Да можно ли жертвовать установлениями природы для установлений, созданных общественным мнением? Брак сглаживает и затмевает различия в состоянии и положении,— они ничего не значат для счастья. Но остаются различия в характере и натуре, и, в зависимости от них, ты счастлив или несчастлив. Руководствуясь только лишь любовью, дети выбирают плохой путь, но еще худший выбирает отец, руководствуясь только лишь мнением общества. Если у дочери нет достаточно разума и опыта для суждения об уме и поведении своего избранника, добрый отец, конечно, должен прийти ей на помощь. И его долг, его обязанность сказать дочери: «Дитя мое, это человек порядочный, а это мошенник; вот это умный человек, а это глупец». Здесь отцу и книги в руки, но пусть дочь сама судит обо всем остальном. Отцы-тираны вопят о том, что таким образом нарушается общественный порядок, и нарушают его сами. Пусть же люди занимают положение по достоинству, а союз сердец пусть будет по выбору,— вот каков он, истинный общественный порядок. Те же, кто устанавливают его по происхождению или по богатству, подлинные нарушители порядка, их-то и нужно осуждать или же наказывать.

Итак, ради всеобщей справедливости следует искоренять такое превышение власти,— долг каждого человека противодействовать насилию, способствовать порядку. И если б от меня зависело соединить наших влюбленных, вопреки воле вздорного старика, я бы, разумеется, довершил предопределение свыше, не считаясь с мнением света.

Вы счастливее, любезная Клара: ваш отец не думает, будто он знает лучше вас, в чем ваше счастье. Быть может, даже и не из высоких соображений, и не из великой любви он дал вам право быть хозяйкой своей судьбы, но не все ли равно, какова причина, если следствия те же и если вам предоставлена свобода, хотя бы по безразличию, а не по указанию разума. Вы ничуть не злоупотребили своей свободой и в двадцать лет выбрали такого жениха, который заслужил бы одобрение благоразумного отца. Ваше сердце, поглощенное дружбой, равной которой не знал еще мир, оставило мало места для жаркой страсти. Вы заменили ее всем, что может ее заменить в браке: вы станете скорее подругой, нежели возлюбленной, не будете нежнейшей супругой, но станете супругой добродетельнейшей, и ваш разумный брак будет крепнуть с годами и продолжаться всю жизнь. Влечение же сердца — слепая, но неодолимая сила, сопротивляться ей — значит, подвергать себя гибели. Есть счастливцы, любовь которых не идет вразрез с разумом, кому нена-

добно преодолевать препятствия и бороться с предрассудками! Такими счастливцами были бы и наши друзья, если б не бессмысленное противодействие несговорчивого отца. Такими счастливцами вопреки ему они еще могли бы стать, если б один из них нашел добрых советчиков.

И ваша участь, и участь Юлии — наглядный пример того, что одни лишь супруги могут судить о том, подходят ли они друг другу. Если не царит любовь, выбор делает только разум — так случилось у вас. Если же царит любовь — значит, выбор уже сделала сама природа — так случилось у Юлии. Таков священный закон природы, и человеку не дано его нарушать; а если он и нарушает его, то это не проходит безнаказанно,— соображения относительно сословного положения в обществе не могут упразднить его, не порождая несчастий или преступлений.

Приближается зима, и мне надобно быть в Риме, но я не оставлю своего подопечного, своего друга до той поры, пока не увижу, что можно быть спокойным за его душевное состояние. Ведь душа его — сокровище, которое мне дорого само по себе, а вдобавок и оттого, что мне его доверили. Если мне не удастся устроить его счастье, я, по крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы он стал благоразумен и с достоинством перенес горести, ниспосланные роду человеческому. Я решил провести с ним здесь недели две — надеюсь, за это время мы получим вести и от Юлии, и от вас, так что вы обе поможете мне наложить повязку на раны изболевшегося сердца, которое пока может внимать голосу разума только лишь с помощью чувства.

Прилагаю письмо к вашей подруге; прошу вас, не доверяйте его посыльному, а передайте сами.

## ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА, ПРИЛОЖЕННЫЕ К ПРЕДЫДУЩЕМУ

### I

Почему мне нельзя было увидеться с вами перед отъездом? Или вы боялись, что я умру, расставаясь? О сердобольная, разуверьтесь. Я чувствую себя хорошо... не страдаю... еще жив... думаю о вас... думаю о том времени, когда был дорог вам... сердце у меня ноет... коляска укачивает... я в унынии... не могу ничего писать нынче. Быть может, завтра прибавится сил... или я уже не буду в них нуждаться.

II

Куда с такою быстротой мчат меня лошади? Куда с таким рвением везет меня человек, называющий меня своим другом? Ужели прочь от тебя, Юлия? Ужели по твоему приказанию меня увозят? Ужели в те края, где нет тебя?.. О, безумная! Я измеряю взором дорогу, по которой стремительно несусь. Откуда я еду? Куда направляюсь? К чему такая быстрота? Жестокие, или вы боитесь, как бы я не опоздал к своей погибели? О дружба! О любовь! И это ваш замысел? И в этом ваше благодеяние?

III

Хорошо ли ты посоветовалась со своим сердцем, прогоняя меня прочь с такой неумолимостью? Как ты могла, скажи мне, Юлия, как могла ты отринуть навсегда... Нет, нет! Знаю, нежное ее сердце любит меня. Вопреки предначертаниям судьбы, вопреки себе оно будет любить меня до гроба... вижу, ты поддалась уговорам... ты приуготовляешь себе вечное раскаяние... увы, будет слишком поздно... ужели ты могла забыть... ужели я мало знал тебя? Ах, подумай о себе, подумай обо мне, подумай о... послушай, еще есть время... ты безжалостно прогнала меня. Я мчусь быстрее ветра... вымолви словечко, одно словечко, и я вернусь с быстротой молнии. Вымолви слово, и мы соединены навеки... мы должны быть вместе... и мы будем вместе... О ветер, унеси к ней мои стенания... и, однако, я уезжаю, я буду жить и умру вдали от нее... жить вдали от нее!

## ПИСЬМО III

*От милорда Эдуарда к Юлии*

Кузина вам расскажет о вашем друге. К тому же, по-моему, он сам посылает вам письмо с этой почтой. Утолите свое нетерпение и начните с его письма, потом уж не спеша прочтите мое, ибо, предупреждаю, содержание его потребует от вас полнейшего внимания.

Я знаю людей, я многое испытал за свою короткую жизнь; я приобрел опыт ценою страданий, а дорога страстей привела меня к философии. Многое довелось мне видеть, но до сих пор я не встречал ничего удивительнее вас и вашего возлюбленного. Это не означает, что оба вы обладаете редкостной натурой, своеобразие которой тотчас же бросается в глаза,— ваши души так

трудно постичь, что, быть может, поверхностный наблюдатель принял бы вас за людей заурядных. Вас и отличает именно то, что отличить вас от других невозможно, и все черты, достойные человека,— а многих из них людям недостает,— сочетаются в ваших натурах. Так каждый оттиск эстампа имеет свои, свойственные ему недостатки, и если встречается один совершенный оттиск, то хотя и сочтут его прекрасным с первого же взгляда, но, чтобы объяснить эту красоту, надобно разглядывать его долгое время. Когда я впервые увидал вашего возлюбленного, я испытал какое-то чувство новизны, и оно возрастало день от дня, по мере того как подтверждалось разумом. По отношению к вам я испытывал нечто иное, и чувство это было столь ярким, что я ошибался касательно самой его природы. Вы произвели на меня еще большее впечатление — и не потому, что вы женщина, а потому, что ваша натура наделена еще большими совершенствами,— и, сердце это чувствует, даже независимо от любви. Ясно представляю себе, что с вами будет без вашего друга, но не могу себе представить, что станется с ним без вас; множество мужчин могут походить на него, но на всем свете есть лишь одна Юлия. После моей выходки,— не прощу себе ее вовеки,— ваше письмо пролило свет на мои подлинные чувства. Я понял, что не ревновал, а следовательно, не был влюблен; понял, что вы слишком хороши для меня; вам нужна первая любовь души, моя же душа не была бы вас достойна.

С той поры я принял к сердцу ваше общее счастье, и нежное сочувствие мое никогда не угаснет. Надеясь устранить все трудности, я неосторожно обратился к вашему отцу,— и постигшая меня неудача должна еще усугубить мое рвение. Пожалуйста, выслушайте меня: я могу поправить зло, которое причинил вам.

Загляните в свое сердце, Юлия, и скажите, возможно ли потушить снедающее его пламя? Вероятно, было время, когда вы еще могли не дать ему разгореться; но если целомудренная и чистая Юлия пала побежденной, ей уже не устоять и в дальнейшем. Как будет она противиться любви-победительнице, оружие которой — опасные картины минувших наслаждений? О юная возлюбленная! Не невольте себя, откажитесь от необдуманных намерений: ведь вы погибнете, если будете продолжать борьбу с собою; вы будете унижены и побеждены, и чувство стыда постепенно заглушит все ваши добродетели. Слишком глубоко проникла любовь в самое существо вашей души, и вам никогда не изгнать ее оттуда. Она проникла во все ее фибры, она пропитала их собою, словно едкая азотная кислота, и вам никогда не стереть глубокие ее следы, не стерев и дивные чув-

ства, дарованные вам самой природой, так что если вы не сохраните в себе любви своей, то не сохраните и ничего достойного уважения. Что же делать, раз вы не в силах изменить велениям своего сердца? Лишь одно, Юлия: узаконить их. Сейчас я предложу вам единственное средство к спасению,— воспользуйтесь им, пока не поздно, воздайте невинности и добродетели высшую награду, хранительницей которой сделало вас провидение, или же бойтесь навсегда унизить его драгоценнейший дар.

В герцогстве Йорк есть у меня изрядное поместье — там испокон веков жили мои предки. Старинный замок уютен и удобен; окрестности пустынны, но приятны и живописны. Парк подходит к реке Оузе, которая прелестно оживляет ландшафт и одновременно облегчает сбыт съестных припасов. Земля дает урожай, достаточный для жизни в довольстве, и он может удвоиться при рачительном хозяйстве. В этот обетованный край нет доступа гнусным предубеждениям. Мирный поселянин еще хранит там простые нравы первобытных времен,— там встретишь нечто подобное тому Вале, которое яркими штрихами проникновенно обрисовал ваш друг. Это — ваше владение, Юлия, если вы соблаговолите поселиться там вместе с ним. Там вы вместе осуществите все любезные вашей душе замыслы, которыми заканчивается упомянутое мною письмо.

Явись же, несравненный образец двух истинно влюбленных, явись, достойная преклонения, верная чета, в тот край, где уготовано убежище для любви и невинности,— явись, дабы заключить там перед богом и людьми нежный союз. Явись, и пусть пример твоих добродетелей окажет честь стране, где народ будет их боготворить и где они послужат образцом для простых людей. Да вкусите вы в этом безмятежном краю вечное счастье, дарованное чистым душам, находя его в чувствах, вас объединяющих. Да благословит небо вашу целомудренную любовь потомством, похожим на вас; да проживете вы там до почтенной старости и да почиете в мире на руках детей своих; и, проходя мимо памятника супружеского счастья, да чувствуют наши потомки его неизъяснимое очарование и да произносят растроганно: «Вот здесь находился приют невинности, здесь была обитель двух влюбленных».

Судьба ваша, Юлия, в ваших руках, тщательно взвесьте все, что я предложил вам, и вникните в самую суть; а я обязуюсь убедить заранее и бесповоротно вашего друга согласиться на предприятие, за которое я отвечаю. Обязуюсь также обезопасить ваш отъезд и вместе с другом вашим оберегать вас, пока вы не очутитесь на месте. Там вы без всяких препятствий гласно

обвенчаетесь, ибо, по нашим обычаям, совершеннолетняя девушка распоряжается собой и не нуждается в чьем-либо согласии. Наши мудрые законы отнюдь не отменяют законов природы, и если такое счастливое согласие иной раз и порождает некоторые помехи, они гораздо незначительнее тех, которые оно упраздняет. В Веве я оставил слугу, своего доверенного, смелого и осторожного,— преданность его вне сомнений. Вы легко с ним сговоритесь устно или письменно, с помощью Реджанино — пусть только последний не знает, в чем дело. Мы приедем за вами, когда все будет готово, и вы покинете отчий дом в сопровождении своего супруга.

Не хочу мешать вашим размышлениям. Но повторяю: бойтесь заблуждений, в которые ввергают вас предрассудки, самообман и жеманство,— то, что они выдают за честь, нередко ведет к пороку. Предвижу, что с вами станет, если вы откажетесь от моих предложений. Тирания несговорчивого отца низвергнет вас в бездну, и вы только тогда это поймете. Ваша невообразимая кротость порою оборачивается робостью. Вас принесут в жертву химере светских условностей[1]. Вам придется взять на себя обязательство, отвергаемое сердцем. Общественному одобрению вечно будут перечить воли совести, вы будете в чести, но будете презрены. Лучше быть забытой, зато добродетельной.

P. S. Не знаю, на что вы решитесь, пишу вам без ведома вашего друга — боюсь, как бы отказ ваш вмиг не уничтожил плоды всех моих забот.

## ПИСЬМО IV

*От Юлии к Кларе*

Ах, душа моя, в каком смятении ты оставила меня вчера вечером! И какую я провела ночь, все раздумывая о роковом письме. Нет, никогда еще столь опасные искушения не одолевали мое сердце, никогда я не испытывала подобного волнения и никогда не была перед ним так беспомощна. Прежде некая мысль, подсказанная благоразумием и рассудительностью, управляла моей волей. Во всех затруднительных случаях я сразу же распознавала самый достойный путь и тотчас же вступала на него. Ныне, униженная, во всем терпящая поражение, я отдалась на произвол противоречивых страстей. Моему

---

[1] Химера светских условностей! И так изъясняется английский пэр! Помилуйте, да все это вымысел! А ваше мнение, читатель?

слабому сердцу суждено только сделать выбор между ошибками, и, к сожалению, я так ослеплена, что если случайно и приду к правильному решению, то отнюдь не по соображениям добродетели, и совесть все равно будет мучить меня. Ты знаешь, кого прочит мне в мужья отец, знаешь, какие узы наложила на меня любовь. Если я останусь добродетельной,— послушание внушит мне одно, а верность другое; если буду следовать склонности сердца, кого же я предпочту — возлюбленного или отца? Увы! Покорствуя любви, покорствуя ли дочерней привязанности, я неминуемо ввергну в отчаяние либо того, либо другого. Принося себя в жертву долгу, я неминуемо свершу прегрешение; и каким бы путем я ни пошла, мне все равно суждено умереть жалкой преступницей.

Ах, милая и нежная моя подруга, ты всегда была моим единственным утешением, столько раз ты спасала меня от смерти и отчаяния,— посмотри, в каком ужасном смятении ныне моя душа: не правда ли, еще никогда твои спасительные заботы не были мне столь необходимы! Ведь ты знаешь, как я послушна твоему мнению, знаешь, что я следую твоим советам, ты видела, что, пожертвовав счастьем всей своей жизни, я не пошла наперекор твоим дружеским наставлениям. Сжалься, ведь ты меня ввергла в безысходное горе, доверши то, что сама начала. Вдохни в меня утраченное мужество, обдумай все за ту, которая мыслит твоими мыслями. И, наконец, ведь ты читаешь в моем сердце, любящем тебя, знаешь его лучше, чем я сама. Скажи, чего же я хочу, сделай выбор за меня, ибо нет у меня больше сил, чтобы желать, нет разума, чтобы выбрать.

Перечти письмо великодушного англичанина. Ангел мой, перечти его несчетное число раз! Ах, пусть твое сердце растрогает чудесная картина того счастья, которое мне еще сулят любовь, душевный мир и добродетель! Сладостный, упоительный союз душ, невыразимое блаженство, несмотря на укоры совести! Господи, да так ли уж терзали бы они мое сердце на лоне добродетельного супружества? Значит, счастье и невинность еще в моей власти. Значит, я могла бы умереть в любви и радости, окруженная заботами обожаемого супруга, бесценными залогами его нежности!.. И я колеблюсь! И я не лечу, не спешу искупить свое прегрешение в объятиях того, из-за кого я его совершила! И не становлюсь добродетельной супругой, целомудренной матерью семейства... О, если б мои родители могли увидеть, как я воспрянула бы после всех унижений! Если б могли они быть свидетелями того, как я стала бы, в свою очередь, выполнять священные обязанности, которые они выполняли по

отношению ко мне... Но кто же выполнит твои обязанности, неблагодарная, преступная дочь,— ты сама предала их забвению! Уж не хочешь ли ты готовиться к материнству, вонзая кинжал в грудь собственной матери? Да может ли та, что обесчестила семью, снискать уважение своих детей? Дочь, удостоенная слепого обожания нежных отца и матери, заставь их сожалеть о том, что они породили тебя. Омрачи их старость горем и позором... а сама наслаждайся, если можешь, счастьем, добытым такою ценой!

Господи! Как мне страшно! Украдкой покинуть отчизну, опозорить семью, бросить всех близких — отца, мать, друзей, родственников и даже тебя, моя милая подруга, тебя, любезная сестрица, тебя, душа моя, в разлуке с которой я с детства и дня не могу прожить; оставить тебя, бежать, потерять тебя и больше никогда не увидеть... Ах, никогда не свидеться!.. Какие муки терзают сердце твоей несчастной подруги! Она испытывает одновременно все горести, предоставленные ее выбору, и ни одно из остающихся на ее долю благ не может ее утешить. Увы! Разум мой помутился. Душевная борьба отнимает у меня все силы и сводит с ума. Я теряю и мужество и рассудок. Одна у меня надежда — на тебя. Или сама сделай выбор, или дай мне умереть.

## ПИСЬМО V

*Ответ*

Для твоего смятения слишком много оснований, дорогая моя Юлия. Я предвидела его, но что мне было делать! Я понимаю тебя, но успокоить не могу и,— что всего хуже в твоем состоянии,— никто не может спасти тебя, кроме тебя самой. Когда речь идет о благоразумии, дружба приходит на помощь смятенной душе. Если речь идет о выборе между добром и злом, страсть, не признающая их, может умолкнуть, внимая бескорыстному совету. Но что до твоего выбора, то каким бы путем ты ни пошла, природа и одобрит его, и осудит, разум и отвергнет и признает, а чувство долга будет молчать или само себе противоречить. Словом, все последствия в равной степени страшны. Нельзя вечно пребывать в нерешительности, но нельзя и сделать удачный выбор; тебе остается лишь сравнивать одни страдания с другими страданиями, и единственный судья — твое сердце. Меня страшит необходимость принять решение, и я с тоскою жду любых его последствий. Какую бы участь ты ни предпочла, она все равно будет недостойна тебя; и я не могу ни указать

тебе правильный путь, ни привести тебя к истинному счастью,— а потому и не смею решать судьбу твою. Впервые твоя подруга отказывает тебе в просьбе и, судя по тому, чего это мне стоит,— в последний раз. Но я предала бы тебя, если б руководила тобой сейчас, когда рассудок налагает на себя молчание, когда надобно следовать одному — слушаться лишь велепия своего сердца.

Не будь несправедлива ко мне, милая подруга, и не осуждай меня до времени. Существуют друзья осмотрительные — боясь попасть в неловкое положение, они не дают советов в беде, и сдержанность их растет вместе с опасностью, нависшей над их друзьями. Ах, ты увидишь, что сердцу, любящему тебя, чужда такая малодушная осторожность. Позволь сказать тебе кое-что не о твоих делах, а о своих.

Ангел мой, ужель ты никогда не замечала, как привязывается к тебе каждый, кому случилось с тобой познакомиться. Разумеется, нет ничего удивительного в том, что отец и мать лелеют единственную дочь; в том же, что пылкий юноша воспламеняется страстью к предмету, любезному его душе,— тем более нет ничего необыкновенного. Но то, что сдержанный пожилой человек, г-н Вольмар, первый раз в жизни влюбился, увидев тебя; что вся семья единодушно тебя обожает, и даже моему отцу, столь мало чувствительному, ты стала дорога, быть может, более собственных его детей; что все друзья, знакомые, слуги, соседи,— словом, весь город вкупе обожает тебя и проявляет к тебе самое сердечное участие,— вот что гораздо удивительнее, милочка, и если такое единодушие оказалось возможным, то причина его заключается в тебе самой. Знаешь ли, друг мой, что это за причина? Она не в красоте твоей, не в уме, не в прелести, не в том, что называется даром обаяния, а в нежной душе, в какой-то удивительной кроткой ласковости со всеми окружающими, в даре любви, пробуждающем любовь к тебе. Можно противиться всему, кроме доброжелательства; самое верное средство завоевать любовь других — подарить им свою любовь. Тысячи женщин на свете красивее тебя, многие очаровательны, как ты. Но в тебе, в твоей прелести есть нечто более обаятельное, и это нечто не только нравится, но и трогает душу, привлекает к твоему сердцу все сердца. Чувствуется, что твое любящее сердце готово отдать себя, и нежность, которую оно склонно питать к другим, возвращается к нему.

Ты, например, удивляешься невероятно сильной привязанности милорда Эдуарда к твоему другу; ты видишь, как он ревностно печется о твоем счастье, ты в восторге внимаешь его

великодушным предложениям, ты приписываешь их одной его добродетели,— и вот моя Юлия растрогана! Милая сестрица, все это заблуждение, самообман! Бог свидетель, я не преуменьшаю благодеяний милорда Эдуарда, не принижаю его великодушия. Но поверь,— какой бы чистотой это рвение ни отличалось, оно было бы менее пылко, имей он дело с другими при тех же обстоятельствах. В этом сказывается непобедимое обаяние ваше — твое и твоего друга; оно-то, незаметно для милорда Эдуарда, и действует на него, побуждая его в силу сердечной привязанности совершать то, что кажется ему лишь долгом чести.

Так всегда и случается с людьми особой закалки: их души, так сказать, переделывают души других на свой лад, у них есть сфера деятельности, где ничто им не воспротивится: узнав их, стремишься подражать им, их возвышенное благородство привлекает к себе всех окружающих. Вот почему, дорогая, ни ты, ни твой друг никогда, быть может, и не узнаете людей — вы всегда будете видеть их такими, какими они становятся под вашим воздействием, а не такими, каковы они сами по себе. Вы будете подавать пример всем, кто будет жить вместе с вами; они или будут избегать вас, или станут на вас походить, и то, что вам доведется видеть вокруг себя, быть может, не найдет ничего себе подобного во всем мире.

Ну, а теперь, сестрица, обратимся ко мне, с детства связанной с тобой прочными узами, ибо в наших жилах течет одна кровь, мы одногодки, а главное, у нас с тобою полнейшее сродство вкусов и склонностей при несхожести нрава.

Congiunti eran gl'alberghi,
Ma più congiunti i cori:
Conforme era l'etate,
Ma'l pensier più conforme [1].

Как же, по-твоему, воздействовало обаяние твоей души, испытываемое всеми, к кому ты приближаешься, на ту, которая провела всю жизнь с тобою? Ужели ты думаешь, что нас соединяют обыкновенные узы? Или мой взгляд не отражает ту нежную радость, которую я, встречаясь с тобою, постоянно вижу в твоих глазах? Разве ты не читаешь в моем умиленном сердце,

---

[1] Дома их близки были,
А ближе были души!
Объединял их возраст,
А больше — сходство в мыслях *(итал.)*.

не видишь, что оно радо разделять с тобою все твои огорчения, плакать вместе с тобою? Забыть ли мне, что при первых восторгах зарождавшейся любви дружба со мной не стала тебе в тягость, и хоть твой возлюбленный выказывал недовольство, ты не отстранилась от меня, не утаила, что поддалась искушению. То была решительная пора для нас, друг мой Юлия. Ведь я-то знаю, чего стоило твоему скромному сердцу признание в охватившем тебя стыде, тем более что я подобного стыда не испытала. Никогда я не стала бы твоей наперсницей, будь я тебе другом лишь наполовину, и наши души так хорошо понимают одна другую, что их отныне не разъединить никакими силами.

Что же делает дружбу между женщинами столь слабой и недолговечной? Я разумею женщин, созданных для любви. Это увлечение любовью, соперничество в красоте, ревность к победам; и, если б нечто подобное могло нас рассорить, мы бы уже давным-давно разошлись. Когда б сердце мое было не так неспособно к любви, когда б я не знала, что ваша обоюдная страсть угаснет только с вашей жизнью, то и тогда твой возлюбленный был бы всегда моим другом, братом моим,— да и где это видано, чтобы истинная дружба кончалась влюбленностью? Разумеется, г-ну д'Орбу долго пришлось бы похваляться тем, что ты к нему неравнодушна, прежде чем я стала бы сетовать на это, да, вероятно, я и не пыталась бы удержать его силой, а ты отнять его у меня. Ей-богу, душенька, я готова была бы потерять его, лишь бы исцелить тебя от твоей страсти! Я принимаю его любовь с отрадою, но я бы уступила ее тебе с ликованием.

Что до внешности, то, право, я могу возомнить о себе все, что угодно,— ты не станешь со мной состязаться, не из той ты породы девиц, и я убеждена, что тебе в жизни не придет в голову мысль спросить себя, кто из нас красивее. Я не была столь равнодушна к этому вопросу и теперь знаю, на что я могу рассчитывать, однако не огорчаюсь. Право, я горжусь тобой, а не завидую тебе, да и твои прелестные черты совсем не подходили бы к моему лицу, твоя красота ничуть не затмевает меня,— напротив, даже словно красит; твое очарование делает меня милее, твои таланты придают мне блеск. Я украшаю себя твоими совершенствами и вкладываю в тебя все свое самолюбие в лучшем смысле этого слова. Однако же я вовсе не боюсь за свое будущее,— ведь я недурна собой, с меня моей красоты довольно. Большего мне и ненадобно, без всякого самоуничижения я уступаю тебе преимущество во всем.

Тебе не терпится узнать, к чему я клоню речь. Слушай же. Не могу я исполнить твою просьбу и дать тебе совет, и ты уже

знаешь почему. Но, решая свою судьбу, ты решаешь и судьбу своей подруги, ибо я разделю твою участь в любом случае. Уедешь — я последую за тобой, останешься — я останусь. Решение мое непоколебимо, мой долг его выполнить, и никакие силы не заставят меня от него отказаться. Моя роковая снисходительность — причина твоей гибели. Должно, чтобы твоя судьба стала моей судьбой,— раз мы с детства неразлучны, моя Юлия, будем же неразлучны до могилы.

Я предвижу, что ты сочтешь это предложение опрометчивым, но, в сущности, оно гораздо разумнее, чем кажется, и у меня нет причин для раздумий, не то что у тебя. Прежде всего, что до моей семьи, то я, правда, оставляю покладистого отца, но, с другой стороны,— отца довольно равнодушного, который позволяет своим детям делать все, что им заблагорассудится, скорее из небрежения, чем из нежной любви. Ведь ты знаешь, что дела Европы его занимают гораздо больше, чем дела собственные, и прагматическая санкция ему дороже дочки. Кроме того, я не единственная дочь — не то что ты; батюшка остается в кругу детей, и вряд ли ему будет недоставать меня.

Я должна вступить в брак и вдруг все бросаю! Manco-male [1], душечка. Придется г-ну д'Орбу, если он меня любит, поискать утешение. Ну, а для меня, хоть я и уважаю его нравственные достоинства, хоть и привязана к нему и жалко мне потерять столь порядочного человека,— для меня он — ничто по сравнению с моей Юлией. Скажи, милочка, ужели душа имеет пол? Право, моя душа беспола. Мне не чужды увлечения, но чужда любовь. Муж, пожалуй, мне пригодится, но будет для меня всего лишь мужем; а пока я свободна и недурна собою, как сейчас, я найду себе мужа где угодно.

Однако берегись, сестрица,— я не раздумываю, но это не значит, что и тебе не должно раздумывать, я не подстрекаю тебя на решение, которое приму сама только в том случае, если ты уедешь. Различие между нами велико, и твои обязанности куда важнее моих. Ведь ты знаешь, в моем сердце живет, пожалуй, одно лишь чувство привязанности. Оно поглощает все остальные чувства, словно уничтожает их. Необоримая и нежная привычка сроднила меня с тобою с детства, я истинно люблю только тебя, и если я порываю некоторые связи, следуя за тобой, то буду ободрять себя твоим примером. Буду говорить себе: «Я подражаю Юлии»,— и в этом находить себе оправдание.

---

[1] Не так страшно *(итал.)*.

## ЗАПИСКА

*От Юлии к Кларе*

Понимаю тебя, несравненный друг мой, и благодарю. По крайней мере, хоть раз в жизни я выполню свой долг и не буду недостойна тебя.

## ПИСЬМО VI

*От Юлии к милорду Эдуарду*

Ваше письмо, милорд, умилило и восхитило меня. Друг, которого вы удостаиваете своим попечением, будет растроган не менее, когда узнает о том, что́ вы собирались сделать для нас. Увы! Только люди обездоленные чувствуют, как бесценны души, творящие добро. Мы и так отлично знаем цену вашей душе, а ваша самоотверженная добродетель всегда будет трогать наши сердца, хотя и не удивит более.

Как отрадно было бы жить счастливо под покровительством столь великодушного друга и черпать из его благодеяний радости, которых лишила меня судьба. Но, милорд, я с отчаянием вижу, как несбыточны ваши добрые намерения,— суровая судьба берет верх над вашими усердными заботами, и сладостный образ тех радостей, которые вы предлагаете мне, делает еще горше их утрату. Вы предоставляете чете влюбленных, подвергнутой гонению, приятное и надежное убежище, облекая законностью их любовь, освящая их союз, и я знаю, что под вашим покровительством я избегну преследований негодующей семьи. Для любви этого много, но достаточно ли для счастья? Нет, и если вы хотите, чтобы я была спокойна и довольна, предоставьте мне еще более надежный приют, где можно было бы избавиться и от стыда и от раскаяния. Вы печетесь о наших нуждах и по беспримерному благородству лишаете себя, для нашего содержания, части своего имущества, предназначенного на содержание вам самому. Благодаря вашим щедротам я стала бы более богатой и уважаемой, чем была бы, получив законное наследство, я восстановила бы близ вас утраченную честь и вы соблаговолили бы заменить мне отца. Ах, милорд, да разве я была бы достойна другого отца, если б покинула того, кто даровал мне жизнь?

Вот где источник укоров устрашенной совести, тайных сетований, терзающих мое сердце. Речь не о том, имею ли я право располагать собою против воли родителей, а о том, могу ли располагать собою, не принеся им смертельного горя, могу ли бе-

жать от них, не ввергая их в отчаяние. Увы! Иными словами, надобно знать, имею ли я право лишать их жизни. С каких это пор добродетель так оценивает права кровного родства и природы? С каких пор чувствительное сердце столь тщательно отмечает границы благодарности? Да разве ты уже не берешь на себя греха, если решил остановиться у рубежей греховного? И станешь ли доискиваться с таким старанием предела своего долга, если у тебя нет искушения преступить его? Как! Я — да, я,— безжалостно брошу тех, благодаря кому я дышу, кто оберегает жизнь, дарованную мне ими же, кто научил меня ценить ее; тех, для кого я — единственное упование, единственная отрада. Брошу отца, который доживает шестой десяток, мать, вечно страдающую от недугов! И я, их единственное дитя, брошу их беспомощных, обреку на одинокую, безрадостную старость в ту пору, когда надобно окружить их нежными заботами, которые они мне столь щедро расточали. Из-за меня они будут влачить остаток своих дней в позоре, сетованиях, слезах. Неспокойная моя совесть будет в ужасе взывать ко мне, и воображению непрестанно будут рисоваться неутешные отец и мать, со смертного одра посылающие проклятия неблагодарной дочери, которая бросила и обесчестила их. Нет, милорд, добродетель, покинутая мною, в свою очередь, покидает меня и уже ничего не говорит моему сердцу. Но теперь не она, а эта ужасная мысль не дает мне покоя, она будет неотступно преследовать и мучить меня всю жизнь и сделает меня несчастной на лоне счастья. Итак, если мне суждено до конца дней предаваться укорам совести, то такая доля столь ужасна, что мне ее не вынести, и я предпочитаю сносить другие укоры.

Признаю, я не могу оспаривать ваши доводы,— ведь мне так хочется согласиться с вами. Но, милорд, ведь вы холосты, а не находите ли вы, что надобно испытать отцовские чувства, дабы иметь право давать советы детям других людей? Решение я уже приняла: родители сделают меня несчастной, я это знаю, но горькая моя доля будет для меня не так мучительна, как мучительно было бы одно сознание, что я виновница их горькой участи. Нет, никогда не покину я отчий дом. Сгинь же, сладостный обман чувствительной души, столь пленительное и столь желанное счастье, сгинь во мраке, где роятся сновидения,— для меня ты уже не существуешь. Вы же, благороднейший друг наш, забудьте о своих милых предложениях, и пусть останется от них след лишь в глубине моего сердца,— оно слишком благодарно, чтобы забыть о них. Если ваша бесконечно добрая душа не устала сочувствовать нашим неслыханным мукам, если вели-

кодушие ваше еще не оскудело, вы с честью употребите его,— тот, кого вы удостоили имени своего друга, воистину заслужит это имя благодаря вашим заботам. Не судите о нем по его нынешнему состоянию; он вне себя не от малодушия, но оттого, что его пылкий и гордый дух восстал против судьбы. Порою под мнимой твердостью характера скрывается тупость, а не мужество. Ничем не примечательный человек не ведает сильных страданий, и великие страсти не зарождаются в душах людей слабых. Увы! Он вложил в свою страсть ту силу чувства, которая свойственна благородным душам, и это повергает меня в стыд и в отчаяние! Прошу вас, верьте мне, милорд,— будь он заурядным человеком, Юлия не погибла бы.

Нет, нет, ваша безотчетная приязнь к нему, которая предшествовала у вас осознанному уважению, не обманула вас. Он достоин всего, что вы для него сделали, даже хорошенько его не зная. Вы сделаете еще больше, если это возможно, когда узнаете его ближе. Будьте же его утешителем, заступником, другом, отцом,— умоляю вас об этом и ради него, и ради вас: он оправдает доверие ваше, будет гордиться вашими благодеяниями. Он применит ваши уроки, будет подражать вашим добродетелям, переймет вашу мудрость. Ах, милорд, если в ваших руках он сделается тем, кем может быть, как станете вы когда-нибудь гордиться созданием рук ваших!

## ПИСЬМО VII

*От Юлии*

И ты, мой нежный друг, и ты, моя единственная надежда, ты тоже терзаешь мне сердце, а ведь оно и без того изнывает от тоски! К ударам судьбы я была готова, уже давно их предчувствовала и перенесла бы их стойко. Но ты, тот, ради кого я страдаю... Ах, мне не снести лишь те удары, которые наносишь ты, и я с ужасом вижу, что мои муки усиливает тот, кто должен был бы сделать их отрадными. Как я надеялась, что ты принесешь мне сладостное утешение, но все надежды улетучились вместе с твоим мужеством. Сколько раз я тешила себя мыслью, что сила твоего духа поддержит мое истомленное сердце, что твое достоинство искупит мой проступок, твои доблести возвысят мою униженную душу. Сколько раз я твердила про себя, утирая горючие слезы: «Я страдаю из-за него, но он этого достоин. Я грешна, зато он добродетелен. Тысячи горестей осаждают меня, но поддерживает его твердость, и в глубине

его сердца я обретаю воздаяние за все свои утраты». Тщетная надежда — ее разрушило первое же испытание! Где ныне та неземная любовь, которая придает возвышенность всем чувствам и способствует расцвету добродетели? Где же все эти суровые правила жизни? К чему свелось подражание великим мужам? Где философ, непоколебимо сносящий горе? Да вот он повержен во прах первою же бедою — разлукой с любовницей. Что отныне будет служить оправданием моему позору в моих же глазах, если ныне я считаю, что мой обольститель — существо, лишенное мужества, расслабленное утехами, трус, побежденный первой неудачей, безумец, не внемлющий велению рассудка именно тогда, когда это особенно нужно! О господи! Я и так познала неслыханное унижение, неужели мне придется краснеть не только за свою слабость, но и за своего избранника?

Посмотри, до чего ты забылся! Твоя растерянная и жалкая душа унизилась до жестокости! Ты еще смеешь меня упрекать! Еще смеешь пенять на меня!.. Свою Юлию!.. Изверг! Да как укоры совести не удержали руку твою? Как, пренебрегая сладостными свидетельствами невиданно нежной любви, осмелился ты оскорблять меня? Ах, как, стало быть, презренно твое сердце, если ты усомнился в моем... Но нет, ты в нем не сомеваешься, не смеешь сомневаться, не этим вызвана твоя ярость. Ведь даже сейчас, когда я с негодованием думаю о том, до чего ты несправедлив, ты превосходно видишь причину моего гнева — гнева, впервые испытанного мною в жизни.

Как ты можешь на меня роптать, ведь я погубила себя, слепо доверившись тебе, а мои планы не осуществились! Ты сгорел бы от стыда за свои жестокие укоры, если б узнал, какою надеждой я жила, какие замыслы осмеливалась вынашивать, мечтая о нашем общем счастье, и как все они рассеялись вместе с моими упованиями! И все же я еще надеюсь, что придет день, ты узнаешь обо всем этом побольше и горькими сожалениями будешь искупать передо мною свои упреки. Ты знаешь о запрете отца; тебе известно, что пошли всякие пересуды. Я опасалась их последствий, сообщила тебе об этом, и ты все понял. Чтобы сохранить нас друг для друга, пришлось предаться на волю разлучницы-судьбы.

И ты осмелился сказать, что я тебя прогнала? Но во имя чего я это сделала, бесчувственный! Какая неблагодарность! Ведь я сделала это во имя сердца, еще более благородного, чем ему самому кажется, во имя сердца, которое согласилось бы испытать тысячу раз смертные муки, только бы не видеть, что я унижена. Скажи, что станется с тобой, когда я буду опозорена?

Уж не вообразил ли ты, что перенесешь картину моего бесчестия? Приезжай, мучитель, если ты так думаешь, приезжай, и я принесу тебе в жертву свое доброе имя, показав тебе пример мужества. Приезжай, не бойся,— та, сердцу которой ты был любезен, от тебя не отречется. Я готова смело объявить перед богом и людьми о том, какие чувства мы питаем друг к другу; назвать тебя своим любовником, умереть в твоих объятиях от страсти и стыда... Пускай весь мир знает о моих нежных чувствах, только б ты ни на миг не усомнился в них, ибо твои упреки мне горше позора.

Никогда больше не будем попрекать друг друга, умоляю тебя,— право, это нестерпимо. О господи! Да можно ли ссориться, когда любишь, и терять время, мучая друг друга, когда жаждешь утешения! Нет, друг мой! Зачем упрекать за мнимые обиды? Будем же сетовать на судьбу, но только не на любовь. Никогда еще мир не видел столь безупречного союза; никогда не видел союза столь постоянного. Наши души срослись в одно, им не разъединиться; а если мы будем жить вдали друг от друга, то уподобимся насильственно разъединенным половинам единого целого. Отчего ты чувствуешь одни лишь свои огорчения? Отчего ты совсем не чувствуешь огорчений своей подруги? Отчего в груди твоей не отзываются ее нежные стоны? Насколько они горестнее твоих запальчивых выкриков! Насколько мои беды, если бы ты разделил их со мною, были б для тебя мучительнее твоих собственных!

Ты считаешь судьбу свою плачевной. Вникни в судьбу своей Юлии и оплакивай только ее. Вникни, кому труднее в общей нашей несчастной доле — мне, женщине, или тебе, мужчине, и суди сам, кто из нас достойнее жалости. Прикидываться равнодушной, когда сама во власти страстей; казаться веселой и довольной, когда ты жертва тысячи невзгод; сочетать внешнее спокойствие с душевной бурей; никогда не говорить то, что думаешь, скрывать все, что чувствуешь; притворяться ради долга и лгать из скромности — вот обычное состояние девушки моего возраста. Лучшая пора ее жизни подчинена тирании приличий, которую, наконец, довершает тирания родителей, выбравших ей супруга не по сердцу. Но напрасно хотят заглушить наши чувства. Сердце покорно лишь собственным законам, оно бежит рабства, отдает себя по своей воле. Тяжелое иго, наложенное не по воле провидения, порабощает тело, а не душу; сама девушка и ее преданное сердце связаны столь разными обязательствами, и несчастную жертву заставляют свершить преступление, принуждая ее так или иначе нарушить священный

долг верности. Но есть на свете девушки более благоразумные! Ах, я знаю это. Счастливицы — они никогда не любили! Они противятся искушению, но ведь и я хотела противиться. Они добродетельнее меня, но любят ли они добродетель больше моего? Не будь тебя, не будь одного тебя, я бы ее любила вечно. Так, значит, верно,— я не люблю ее более!.. Ты погубил меня, и я же тебя утешаю!.. Но что со мною станется? Как слабы дружеские утешения, когда не слышишь утешений любви! Кто утешит меня в моей скорби! Предвижу, какая ужасная судьба ждет меня из-за того, что я уже грешна; но ведь я вновь согрешу, вступив в омерзительный и, быть может, неизбежный союз, который мне угрожает. Достанет ли мне слез, чтобы оплакать свое преступление и своего возлюбленного, если я не устою перед угрозой? Достанет ли сил, чтобы сопротивляться, ведь душа моя в таком унынии! Мне уже чудится ярость негодующего отца. Уже чудится, будто во мне вопиет сама природа, приводя в содрогание все тайники моего существа, будто жалобно стонет любовь, надрывая мне сердце. Утратив тебя, я лишаюсь опоры, помощи, надежды. Прошлое меня унижает, настоящее приводит в отчаяние, будущее ужасает. Я вообразила, будто все, все сделала для нашего счастья, а оказалось,— усугубила наше несчастье, приуготовив невыносимо тягостную разлуку. Не суждены нам обманчивые утехи, нам останутся лишь укоры совести, и ничто не искупит унизительного чувства стыда!

Это мой удел, да, мой удел — быть безответной и несчастной. Не мешай же мне плакать и страдать. Слезам моим не иссякнуть так же, как не исправить мне своей ошибки, и даже великий целитель — время — приносит мне лишь все новые поводы для слез. Но ведь тебе-то никто не угрожает насилием, тебя не унижает стыд, ничто не принуждает к утаиванию своих чувств,— тебя лишь задела злая судьба, и ты наслаждаешься своими прежними добродетелями. Как же ты смеешь до того опускаться, что вздыхаешь, и стонешь, как женщина, и впадаешь в неистовство? Ужели тебе недостаточно того презрения, которое я заслужила из-за тебя,— зачем же ты еще усиливаешь его, становясь сам достойным презрения, зачем удручаешь мою душу и к моему позору добавляешь свой? Обрети прежнюю твердость духа, терпеливо сноси горе, будь мужчиной. Будь по-прежнему — если дозволено мне так называть тебя — избранником Юлии. Ах, пусть ныне я не заслуживаю права вдыхать в тебя мужество, но вспомни, по крайней мере, какою я была, вспомни, что ради тебя я стала иною, и будь достоин этого, не лишай меня чести вторично!

Да, уважаемый друг мой, я, право, не узнала тебя в этом малодушном письме,— мне хочется о нем забыть навсегда, и я верю, ты и сам уже от него отрекся. Но я надеюсь,— да, пусть я и унижена, пусть я и в смятении, я смею все же надеяться,— что память обо мне не внушает тебе столь низменных чувств, что мой прежний образ, более достойный уважения, все еще царит в сердце, которое я могла воспламенить, и что мне не придется укорять себя, помимо своего прегрешения, еще и в низости того, кто в нем повинен.

Ты счастливец, ибо в своей невзгоде ты обрел утешение, утешение самое драгоценное для чувствительных душ. Небо в горе твоем ниспослало тебе друга, да такого, что ты вправе думать, не больше ли стоит возмещение, чем сама утрата. Люби и береги этого благороднейшего человека, который, жертвуя своим покоем, заботится о сохранении твоей жизни, твоего рассудка. Как бы ты был растроган, если б узнал обо всем, что он хотел для тебя сделать. Но не стоит разжигать в тебе чувство благодарности — еще обострять твои муки! Тебе и незачем знать, до какой степени он любит тебя, чтобы понять, каков он; и ты не можешь не оценить его по достоинству, ибо не можешь не любить его как должно.

## ПИСЬМО VIII

*От Клары*

В душе вашей больше любви, чем чуткости, и вы скорее умеете приносить жертвы, чем ценить их. Подумали ли вы, когда писали Юлии, можно ли осыпать ее упреками, когда она в столь тягостном состоянии, и можно ли, только потому, что вы сами страдаете, нападать на нее, еще большую страдалицу. Тысячу раз я твердила вам, что в жизни не видела такого несговорчивого возлюбленного, как вы,— вечно вы спорите по всякому поводу. Любовь для вас какое-то воинственное состояние,— иной раз вы и бываете покорны, зато потом сетуете на это. Э, да таких возлюбленных надо опасаться! Недаром я всегда считала, что влюбляться надо в того, кого можно спровадить с глаз долой, когда заблагорассудится, и притом без всяких слез!

Поверьте мне, говорить с Юлией надо иначе, если хотите, чтобы она осталась жива. Ей не под силу переносить и страдания, и ваши укоры в придачу. Раз навсегда научитесь бережно относиться к этому слишком уж чувствительному сердцу. Ведь ваш долг — проявлять нежное участие, бойтесь усилить и свои,

и ее муки, сетуя на них, ну, а на худой конец, сетуйте только на меня — ведь я одна виновна в вашей разлуке. Да, друг мой, вы угадали: по моему совету она сделала решительный шаг, но это было необходимо для спасения ее чести. Вернее, я принуждала к этому Юлию, преувеличив опасность; я и вас уговорила. Итак, каждый из нас выполнил свой долг. Больше того, я отсоветовала ей принять предложения милорда Эдуарда. Я помешала вашему счастью; но счастье Юлии мне дороже вашего, а я знала, что ей не быть счастливой, если она опозорит и повергнет в отчаяние родителей. И я не представляю себе, как могли бы вы наслаждаться своим счастьем, поправ ее счастье.

Итак, я признаюсь в своих проступках и всех прегрешениях, а раз уж вы хотите ссориться с теми, кто любит вас, укоряйте меня одну. Неблагодарным вы останетесь, зато перестанете быть несправедливым. Но как бы вы себя ни вели, я никогда не изменю своего к вам отношения. Пока Юлия будет любить вас, вы мне будете все так же дороги, и даже больше, если это возможно. Я не раскаиваюсь ни в том, что покровительствовала вашей любви, ни в том, что боролась против нее. Мною руководило чистосердечное рвение дружбы — оно в равной мере оправдывает меня во всем, что я делала для вас и против вас, а если порою я с участием,— быть может, большим, чем подобало,— относилась к вашей любви, мне достаточно свидетельства моего сердца, чтобы успокоить совесть. Я никогда не стану краснеть за те услуги, которые мне удалось оказать сестрице, и я упрекаю себя лишь за то, что они тщетны.

Я помню ваши уроки — вы когда-то говорили о душевной твердости, которую выказывают мудрецы в невзгодах, и ныне, по-моему, кстати напомнить вам о некоторых правилах. Но на примере Юлии я вижу, что девица моего возраста для философа вашего возраста — и плохой наставник, и опасный последователь; да мне и не подобает учить уму-разуму своего учителя.

## ПИСЬМО IX

*От милорда Эдуарда к Юлии*

Мы одержали верх, прелестная Юлия; наш друг провинился, и это вернуло ему рассудок. Ему стало так стыдно, когда он вдруг понял свою вину, что гнева его как не бывало, и он столь послушен, что отныне мы сделаем из него все, что нам вздумается. С удовольствием вижу, что ошибка, в которой он упрекает себя, вызывает у него раскаяние, а не досаду; и я знаю, что он любит меня, ибо в моем присутствии он держится сми-

ренно и пристыженно, но без замешательства и принужденности. Он слишком хорошо сознает, что был несправедлив, и мне незачем об этом поминать. Сознание вины служит больше к чести того, кто вину искупает, чем того, кто извиняет ее.

Я воспользовался внезапной переменой и ее последствиями, чтобы заранее, до нашей разлуки, уговориться обо всем необходимом, ибо я более не могу откладывать отъезд. Рассчитываю вернуться летом, поэтому мы с ним решили, что он будет ждать меня в Париже, а уж оттуда мы вместе отправимся в Англию. Лондон — единственная арена, достойная выдающихся дарований, где перед ними открывается широкое поприще [1]. У него же во многих отношениях дарования выдающиеся, и я верю, что с помощью друзей он в скором времени изберет достойную для себя дорогу. Поделюсь с вами своими замыслами подробнее, когда буду у вас проездом. А пока вы сами понимаете, что мы легко устраним немало затруднений, если придет успех, и что можно добиться такого почетного положения в обществе, которое заменит высокое происхождение, даже во мнении вашего отца. По-моему, это последняя возможность,— ее надо попытать, чтобы добиться вашего общего счастья, раз уж судьба и предрассудки отняли у вас все остальные возможности.

Я написал Реджанино — велел приехать сюда на почтовых, хочу воспользоваться его присутствием за ту неделю-полторы, пока я побуду с вашим другом. Грусть его слишком глубока,— ему не до многословных бесед. Музыка заполнит пустоту молчания, навевая мечты, и постепенно превратит его скорбь в меланхолию. Я подожду, пока он придет в такое состояние, тогда я предоставлю его самому себе,— а до тех пор на это не решусь. Что до Реджанино, то я оставлю его у вас, когда буду у вас мимоездом, и увезу снова на обратном пути из Италии. Полагаю, что тогда он уже вам не будет нужен, судя по тому, каких вы обе добились успехов. Ну, а сейчас он вам наверняка ненадобен, и я вас не обездолю, выписав его на несколько дней.

---

[1] Вот что значит необыкновенное пристрастие к своей стране. Ибо я не слыхивал, что есть на свете страна менее гостеприимная для иностранцев, чем Англия,— нигде им не чинят столько препятствий. В силу национальных пристрастий там их ни в чем не поощряют, в силу формы государственного правления они там ничего не могут достигнуть. Но согласимся также, что англичане и сами не требуют гостеприимства, в котором они вам отказывают у себя на родине. При чьем дворе, помимо лондонского, пресмыкаются сии гордые островитяне? В какой стране, кроме своей отчизны, ищут они богатства? Правда, они суровы, но суровость не претит мне, когда она сочетается со справедливостью. По-моему, хорошо, что они англичане, раз им нет нужды быть людьми.

## ПИСЬМО X

*К Кларе*

Отчего так случилось, что у меня в конце концов открылись глаза на меня самого? Лучше бы закрыть их навеки, чем видеть нынешнее свое унижение, видеть, что я стал презреннейшим из смертных,— а ведь был счастливейшим! Любезный и великодушный друг, вы так часто бывали моей спасительницей, что я еще осмеливаюсь исповедоваться перед вашим сострадательным сердцем в том, как мне стыдно, как я терзаюсь; еще осмеливаюсь вымаливать у вас слова утешения, хотя и сознаю всю свою низость; еще осмеливаюсь прибегать к вам, хотя я сам от себя отрекся. Как она могла,— о небо! — любить такое ничтожество! Как божественный огонь не очистил моей души? Как, должно быть, ныне краснеет за своего избранника та, чье имя я недостоин более упоминать. Как, должно быть, она скорбит оттого, что образ ее осквернен в столь подлом, низком сердце! Как, должно быть, она презирает и ненавидит того, кто любит ее и оказался негодяем! Знайте же о всех моих поступках, милая сестрица[1]. Знайте о моем преступлении и раскаянии. Будьте моим судьей, и пусть я умру; или будьте моим заступником, и пусть та, которая вершит судьбу мою, согласится распоряжаться ею.

Не стану говорить о том, как поразила меня внезапная разлука; ничего не скажу и о безнадежной тоске моей, о безумном отчаянии,— вы все хорошо понимаете, зная, до какого непостижимого умопомрачения все это меня довело. Чем сильнее я чувствовал весь ужас своего состояния, тем менее я представлял себе, что могу добровольно отказаться от Юлии. Это горестное чувство и удивительное великодушие милорда Эдуарда породили во мне подозрения, о которых с ужасом буду вспоминать всю жизнь, а если забуду, то проявлю неблагодарность к другу, который мне все простил.

В каком-то безумии, сопоставив все обстоятельства своего отъезда, я стал подозревать злой умысел и приписал его добродетельнейшему из людей. Как только ужасное сомнение закралось мне в душу, мне стало казаться, будто все улики налицо. И беседа милорда с бароном д'Этанж, и грубоватый тон ее, за

---

[1] Подражая Юлии, он называл ее «сестрица»; подражая Юлии, Клара называла его «мой друг».

который я обвинял милорда, и вспыхнувшая между ними ссора, и то, что мне запретили с ней встречаться, и что решено было отослать меня, и торопливые приготовления, притом украдкой, и его разговор со мною накануне отъезда, и в довершение всего поспешность, с какою меня увезли, а скорее — похитили,— словом, все это, как мне казалось, говорило о том, что милорд задумал разлучить меня с Юлией; я знал, что он воротится к ней, и это, по тогдашнему моему мнению, окончательно изобличало его намерения. Однако же я решил все выведать поточнее, а потом уже объясниться. Задавшись этой целью, я ограничился тем, что стал еще внимательнее все примечать. Но мои нелепые подозрения еще усугублялись: он пекся обо мне из человеколюбия, я же был ослеплен ревностью, и каждый его благородный поступок представлялся мне лишь доказательством его предательства. В Безансоне я разведал, что он написал Юлии, но письмо он мне не показал и даже не упомянул о нем. Тут-то я счел, что сомневаться больше нечего, и только ждал ответа (разумеется, надеясь, что милорд будет им недоволен), чтобы вступить в объяснение, которое я задумал.

Вчера вечером мы вернулись довольно поздно, и я узнал, что он получил почту из Швейцарии, но он промолчал об этом, когда мы расходились по комнатам. Я повременил, пока он не вскроет письма. Из своей спальни я услышал, как он, читая письмо, вслух произнес несколько слов. Я стал прислушиваться. Он ронял отрывистые фразы: «Ах, Юлия!.. А я-то хотел вам счастья... уважаю добродетель вашу... но жалею о вашей ошибке». Я четко различал эти слова и другие в том же духе и уже не мог совладать с собой. Схватив шпагу, я распахнул, скорее вышиб, дверь и ворвался к нему, словно обуянный бешенством. Нет, я не оскверню ни эту страницу, ни ваши взоры и не стану воспроизводить бранные слова, которые мне подсказал гнев, чтобы заставить милорда тотчас же драться.

О сестрица, вот тут я и познал, как велика власть истинной мудрости даже над людьми самыми чувствительными, когда они желают внимать ее голосу. Вначале он никак не мог взять в толк мои речи, решив, что я брежу. Но мои обвинения в предательстве, упреки в тайных кознях, мои беспрестанные упоминания о письме Юлии — письме, которое он все еще держал в руке,— все это в конце концов раскрыло ему причину моей ярости. Он усмехнулся, а потом холодно произнес: «Вы сошли с ума. А с безумцем я не дерусь. Полно, слепец, прозрите,— добавил он помягче,— ужели вы меня обвиняете в предательстве?» Тон его был чужд коварству. При звуках его голоса

сердце мое дрогнуло, и стоило мне взглянуть в его глаза, как все мои подозрения рассеялись, и я с ужасом понял, до чего я непростительно сумасброден.

Он тотчас же заметил перемену во мне и протянул мне руку. «Входите же,— молвил он.— Если б вы опомнились лишь после того, как я доказал бы вам свою невиновность, я бы расстался с вами навеки. Ну вот, вы пришли в себя! Прочтите же это письмо и раз навсегда уверьтесь в своих друзьях». Я стал было отказываться читать, но милорд, получивший надо мною власть благодаря стольким своим душевным преимуществам, потребовал этого повелительным тоном, а волю его рьяно поддержало мое тайное желание прочесть письмо, хотя мои сомнения уже и развеялись.

Представьте себе, что со мною сталось, когда я прочел это письмо и узнал о всех невиданных благодеяниях того, кого я осмелился оклеветать столь недостойным образом. Я бросился к его ногам и, полный восхищения, раскаяния и стыда, крепко обнимал его колена, не в силах вымолвить ни слова. Он воспринял раскаяние мое так же, как воспринял и мои нападки,— в знак прощения, которым он меня удостоил, он потребовал лишь одного — чтобы я никогда более не противился его действиям, направленным мне на благо. Ах, пускай отныне он делает со мной все, что хочет: его возвышенная душа парит над душами человеческими, и противиться его благодеяниям нельзя, как нельзя противиться благодеяниям господа бога.

Затем он передал мне два письма, предназначенные лично для меня. Он не хотел мне давать их, покуда не прочел своего письма и не узнал о решении вашей сестрицы. Я понял, читая их, какую возлюбленную и какого друга ниспослало мне небо, я понял, какими чувствительными и добродетельными существами оно окружило меня, дабы сделать угрызения моей совести еще горше, а низость мою еще презренней. Скажите, да кто же она, эта единственная во всем мире смертная, власть которой неизмеримо больше, чем власть красоты,— ее, словно бессмертных ангелов, боготворишь и за ниспосланное ею добро, и за ниспосланное ею злое горе. Увы! Жестокая отняла у меня все, а я полюбил ее еще больше. Чем становлюсь я несчастнее по ее воле, тем больше почитаю ее. Будто все новые муки, которые она причиняет мне, придают ей все новое и новое достоинство. Жертва, которую она недавно принесла своим дочерним чувствам, и повергает меня в отчаяние, и восхищает. В моих глазах еще увеличилась цена той жертвы, которую Юлия принесла любви. Нет, когда сердце ее в чем-нибудь

отказывает, оно только еще больше заставляет ценить то, что оно дарит.

Вы же, достойная и очаровательная сестрица, вы единственный и безупречный образец друга, равного которому не найти среди женщин всего мира; сердца, чуждые вашему, осмеливаются называть такую дружбу пустою выдумкой,— ах, да не твердите мне более о философии, я презираю ее, она фальшива, все в ней показное, все — пустая болтовня. Она — всего лишь тень, по наущению которой мы издали грозим страстям, но она оставляет нас, как лжегерои, когда они к нам приближаются. Прошу вас, не покидайте меня — жертву собственных заблуждений. Прошу вас, по-прежнему расточайте доброту свою горемыке,— хотя он ее уже и не заслуживает, но зато жаждет ее еще пламенней и нуждается в ней как никогда прежде. Прошу вас, возвратите меня самому себе, и пусть ваш нежный голос заменит моему изнывшему сердцу голос рассудка.

Но нет, я уповаю, что не навсегда опустился нравственно. Я чувствую, как разгорается чистый и священный огонь, который пламенеет во мне,— пример таких добродетелей не пропадает даром для того, на кого они направлены, кто любит их, восторгается ими и хочет вечно им подражать. О моя милая возлюбленная, чьим выбором я должен так гордиться! О друзья мои, чье уважение я так хочу вернуть! Душа моя вновь пробуждается и черпает силу и жизнь в ваших душах. Целомудренная любовь и возвышенная дружба вернут мне мужество, чуть не отнятое у меня презренным отчаянием. Чистые чувства моего сердца заменят мне мудрость; благодаря вам я стану тем, кем мне должно быть, и заставлю вас позабыть о моем падении, если когда-либо воспряну душой. Не знаю и не хочу знать, какую участь уготовало мне небо,— что бы ни случилось, но я хочу стать достойным былой своей участи. Бессмертный образ, который я ношу в душе, будет мне эгидой, и душа моя станет неуязвимой. Разве недостаточно я жил во имя своего счастья? Ныне я должен жить во имя его прославления. О, если б я мог поразить мир своими добродетелями, чтобы люди в один прекрасный день воскликнули, восхищаясь ими: «Да, иначе и не могло быть! Ведь его любила Юлия!»

P. S. «Омерзительный и, *быть может, неизбежный союз!*» Что означают эти слова? Она их написала. Клара, я готов ко всему, покорен воле божьей, я перенесу все испытания судьбы. Но эти слова... никогда, ни за что я не уеду отсюда, пока не получу объяснения.

## ПИСЬМО XI

*От Юлии*

Так это правда — моя душа еще не замкнулась для радостей, и луч света еще может в нее проникнуть! Увы! А ведь с того дня, как ты уехал, я вообразила, что отныне мне суждена одна лишь печаль, вообразила, что вдали от тебя буду непрестанно терзаться, и не представляла себе, что найду утешение в разлуке. Твое чудесное письмо к сестрице убедило меня, что все это не так. Читая, я целовала его со слезами умиления; оно освежило сладостной росой мое сердце, иссохшее от тоски и увядшее от печали. В нем воцарилась благодать, и я поняла, что ты не только вблизи, но и издалека влияешь на чувства своей Юлии.

Друг мой, как отрадно, что ты вновь обрел стойкость, свойственную отважной мужской душе. Я стану больше уважать тебя и не так уж презирать себя, если достоинство безупречной любви не во всем будет унижено и наши сердца не опозорят себя одновременно. Расскажу тебе и о многом другом — ведь ныне мы можем свободнее говорить о наших делах. Отчаяние мое все усиливалось, твое же отчаяние отнимало у нас единственное средство спасения и мешало тебе выказать на деле свои таланты. Ты встретил достойного друга — он ниспослан самим небом. Тебе недостанет жизни, чтобы отплатить за благодеяния, а оскорбления, которое ты недавно нанес ему, тебе не загладить вовеки. Надеюсь, тебя уже ненадобно наставлять — ты научился обуздывать свое пылкое воображение. Ты вступаешь в свет под покровительством этого достойного человека, с помощью его больших связей, руководствуясь его жизненным опытом. Ты попытаешься отомстить жестокой судьбе за свое поправшее достоинство. Сделай же для него то, чего ты не сделал бы для себя; хотя бы из уважения к его добрым поступкам постарайся, чтобы они не остались бесполезными. Радостное будущее еще открыто перед тобой. Тебя ждет успех на том жизненном поприще, где все благоприятствует твоему рвению. Небо щедро тебя одарило, твои богатые природные способности, воспитанные с помощью твоего вкуса, расцвели столькими талантами! Тебе идет двадцать четвертый год, а ты соединяешь с пленительной привлекательностью своего возраста умственную зрелость, которая обычно приходит лишь с годами:

Frutto senile in su 'l giovenil fiore [1].

---

[1] Плод старости — и юности цветенье *(итал.)*.

От занятий науками живость твоя не поубавилась, ты не стал вялым, пошлое волокитство не сузило твой умственный кругозор, не притупило твой рассудок. Пылкая любовь, вселив в тебя возвышенные чувства, ею порождаемые, наделила тебя высокими помыслами и верностью суждений, с коими она нераздельна [1]. Под ее нежными и теплыми лучами твоя душа раскрывала свои блистательные дарования,— так под солнцем распускается цветок. В тебе есть одновременно все, что ведет к богатству, и все, что внушает к нему отвращение. Чтобы добиться земных благ, тебе недостает одного — желания снизойти до стремления к ним, и я надеюсь, что, думая о милом твоему сердцу образе, ты начнешь их добиваться с тем рвением, которого сами по себе они не заслуживают.

О нежный друг! Ты удаляешься от меня!.. О возлюбленный, ты покидаешь свою Юлию!.. Так надобно,— надобно расстаться, дабы в один прекрасный день увидеть счастье. Ты должен добиться цели, в этом наша последняя надежда. Будет ли столь отрадная мысль воодушевлять и утешать тебя в дни долгой и горькой разлуки? Будет ли вселять в тебя ту пламенную силу, которая преодолевает все препятствия и укрощает даже судьбу? Увы! Светская жизнь и труды будут все время отвлекать тебя, рассеивать печаль тягостной разлуки. Я же буду предоставлена самой себе и одиночеству, а то, может быть, подвергнусь гонениям,— значит, непрестанно буду тосковать о тебе. Но я была бы счастлива, если бы напрасные тревоги за тебя не усугубляли моих неизбежных страданий и ко всем горестям моим не присоединялась мысль о бедах, которые, быть может, обрушились на тебя.

Содрогаюсь, думая о тысяче всевозможных опасностей, угрожающих твоей жизни и нравственности. Вряд ли кто-нибудь может и мечтать о таком доверии, какое я питаю к тебе, но ведь судьба разлучила нас,— ах, милый друг, почему ты всего только — человек! В том не знакомом тебе мире, куда ты вступаешь, тебе так нужны будут советы. И не мне, молодой и неопытной, не такой знающей, не такой рассудительной, как ты,— не мне предостерегать тебя. Позаботиться об этом я поручаю милорду Эдуарду. Сама я ограничиваюсь двумя напутствиями (ибо они относятся к области чувств, а не к житейской опытности,— право, я плохо знаю свет, зато хорошо знаю твое сердце): никогда не расставайся с добродетелью и никогда не забывай свою Юлию.

---

[1] Верность суждений, нераздельная с любовью? Милая Юлия! Ваша любовь, право, этим не отличается.

Не стану напоминать тебе о тонких рассуждениях, наполняющих множество книг, но неспособных выпестовать порядочного человека,— ты сам учил пренебрегать ими. О, эти скучные резонеры! Их сердца никогда сами не испытывали и никому не дарили сладостного восторга! Забудь, друг мой, этих пустых моралистов и углубись в свою душу: там ты всегда найдешь источник священного огня, столько раз воспламенявшего нас любовью к высшей добродетели; там ты узришь вечное подобие истинно прекрасного, созерцание которого одухотворяет нас, наполняя священным восторгом,— наши страсти постоянно оскверняют его, но стереть не могут [1]. Помнишь ли ты, как сладостные слезы лились из наших глаз, как трепетали и замирали наши взволнованные сердца, какой восторг возвышал наши души, когда мы читали рассказ о героических жизнях, которые служат вечным укором пороку и составляют славу человечества?

Хочешь знать, к какой жизни нам должно стремиться: к богатой или добродетельной? Поразмысли о той, какую предпочитает сердце, когда выбор его беспристрастен. Поразмысли о том, что именно увлекает нас, когда мы читаем страницы истории. Мечтал ли ты когда-нибудь о сокровищах Креза, о славе Цезаря, власти Нерона, утехах Гелиогабала? Почему же, если они поистине были счастливы, ты в мечтах не становишься ими? Да потому, что они не были счастливы, и ты это отлично чувствовал; да потому, что они низменны и презренны, а благоденствующему злодею никто не завидует. Какие же люди тебе нравились больше всего? Чью примерную жизнь ты превозносил? На кого тебе хотелось бы походить? Непостижимо очарование нетленной красоты! Афинянин, испивший цикуту, Брут, жизнь отдавший за родину, Регул, принявший мучения, Катон, вспоровший свои внутренности,— вот эти доблестные страдальцы и вызывали у тебя зависть. В глубине души ты чувствовал, что они испытали истинное блаженство, которое заглушило их видимые муки. Не думай, что только тебе свойственно это чувство,— оно бывает присуще всем людям, и часто даже помимо их желания. Божественный образец героя,— а каждый из нас носит его в душе,— невольно чарует нас, и мы, прозрев от страсти, мечтаем походить на него, и если бы самый лютый злодей на свете мог перевоплотиться, он поспешил бы стать добродетельным.

Любезный друг, прости мои восторженные чувства. Ведь ты знаешь, я их позаимствовала у тебя, и любовь требует, чтобы

[1] Истинная философия любовников—философия Платона; пока длится очарование, они не ведают иной. Человек чувствительный не может отказаться от этой философии; равнодушный читатель ее не выносит.

я их тебе воротила. Не хочу внушать тебе сейчас твои же принципы — просто я на минутку применила их к тебе, чтобы посмотреть, годятся ли они для тебя: ибо пришло время претворить в действие твои собственные уроки и показать, каким образом осуществляется то, о чем ты так красноречиво говоришь. Речь не о том, чтобы стать Катоном или Регулом, однако долг каждого — любить родину, быть неподкупным и смелым, хранить ей верность, даже ценою жизни. Личные добродетели часто бывают еще возвышеннее, когда человек не стремится к одобрению окружающих, а довольствуется лишь собственным своим свидетельством, когда сознание своей правоты заменяет ему похвалы, разглашаемые на весь мир... И ты поймешь, что величие человека не зависит от сословия и тот не обретет счастья, кто не проникнется самоуважением: если истинное душевное блаженство — в созерцании прекрасного, как может злодей любить прекрасное в другом, не испытывая невольной ненависти к себе самому?

Я не боюсь, что низменные страсти и грубые утехи собьют тебя с пути,— ловушки эти не опасны для чувствительного сердца, ему надобны более утонченные. Но я боюсь тех правил и примеров, с какими ты познакомишься, бывая в свете; боюсь того страшного влияния, которое не может не оказывать пример всеобщей и постоянной порочности; боюсь я искусных софизмов, которыми она себя прикрашает. И, наконец, я боюсь, как бы само твое сердце тебе их не внушило, не принудило стать менее разборчивым в средствах, когда ты будешь добиваться положения, которым пренебрег бы, если б целью твоей не был наш союз.

Предупреждаю тебя, друг мой, об этих опасностях,— благоразумие твое довершит остальное; ведь лучше предохранить себя от них, если их предвидишь. Добавлю лишь одно соображение, которое, по-моему, возьмет верх над фальшивыми рассуждениями порока, над тщеславными заблуждениями светских безумцев, так как, право, его достаточно, чтобы устремить к добру жизнь человека. Дело в том, что источник счастья не в одном лишь предмете любви или сердце, которому он принадлежит, а в отношении одного к другому; и как не всякий предмет любви способен доставить счастье, точно так же и сердце не всегда бывает способно это счастье чувствовать. Если даже самая чистая душа не может довольствоваться для счастья одной собою, то еще вернее то, что все земные утехи не могут дать счастья развращенному сердцу. Ведь с обеих сторон необходима подготовка — некое участие, служащее предпосылкой того драгоценного чувства, которое дорого чувствительному че-

ловеку, но непостижимо для лжемудреца, не способного испытывать длительное счастье, а потому обольщенного мимолетными утехами. Зачем же приобретать одно из этих преимуществ в ущерб другому, выигрывать во внешнем, теряя в душе гораздо больше, и добывать средства для своего счастья, утрачивая искусство ими пользоваться! Не лучше ли, если уж надо выбирать одно из двух, пожертвовать тем, что судьба, быть может, еще возвратит, а не тем, что, раз утратив, никогда не возместить. Кто знает это лучше меня,— ведь я только и делаю, что отравляю себе радости жизни, добиваясь полного счастья. Пусть же говорят что угодно злые люди, выставляющие напоказ свое богатство и прячущие свое сердце; знай, если есть хоть один пример счастья на земле, то он воплощен в человеке добродетельном. Небо подарило тебе счастливое стремление ко всему доброму и порядочному: внимай же только своим желаниям; следуй только своим природным наклонностям; а главное — помни о первой поре нашей любви. Пока эти чистые и дивные мгновения будут тебе памятны, ты не разлюбишь и то, что делает их столь привлекательными, нравственная красота будет обладать неизгладимым очарованием для твоей души, и ты не станешь домогаться своей Юлии с помощью средств, недостойных тебя. Как можно наслаждаться благом, если вкус к нему утрачен? Нет, чтобы владеть тем, что любишь, надобно сохранить неизменным и сердце, познавшее любовь.

А теперь перейдем к другой теме — как видишь, я не забыла своего призвания! Друг мой, можно и без любви обладать возвышенными чувствами, присущими сильной душе; но пока пылает любовь, подобная нашей, она живит и поддерживает душу. Стоит любви угаснуть, и душа впадает в уныние, а разбитое сердце уже ни к чему не пригодно. Скажи, что было бы с нами, если бы мы разлюбили? О, да, право, лучше покончить счеты с жизнью, чем существовать, ничего не чувствуя! Ужели ты бы решился влачить в земной юдоли скучную жизнь заурядного человека, наслаждаясь однажды восторгами, чарующими человеческую душу! Ты будешь жить в больших городах, и там из-за твоей наружности и возраста еще более, чем из-за душевных достоинств, на каждом шагу будут расставлять ловушки для твоей верности. Вкрадчивые кокетки притворятся, будто говорят с тобою на языке любви, и пленят тебя, даже не вводя в обман. Ты будешь искать не любви, а лишь ее утех. Ты станешь наслаждаться без любви и даже не распознаешь этого. Найдешь ли ты где-нибудь сердце своей Юлии,— не знаю, но бьюсь об заклад, тебе никогда не почувствовать вблизи другой

то, что ты чувствуешь вблизи нее. Твое душевное опустошение будет предвестником доли, которую я тебе предсказала. В разгаре легкомысленных забав на тебя будет находить уныние, тебе будет тоскливо и скучно. Воспоминание о первой поре нашей любви помимо воли будет преследовать тебя. Мой образ, во сто крат более прекрасный, чем на самом деле, вдруг встанет перед тобой. И тотчас же отвращением подернутся все твои радости, и тысячи горьких сожалений зародятся в твоем сердце. Возлюбленный мой, нежный мой друг,— ах, неужели ты забудешь меня!.. Увы... я тогда умру, иного удела мне нет. А ты останешься, презренный и несчастный,— и, значит, я умру отмщенною с лихвой.

Так не забывай ту Юлию, что была твоею и никогда не будет сердцем своим принадлежать другому. Ничего больше я обещать тебе не могу, ибо завишу не от себя,— так уготовано мне небом. Но я заклинала тебя хранить верность, и будет справедливо, если и я дам тебе единственный залог верности, который властна дать. Я держала совет не с долгом своим — мой смятенный рассудок его более не знает,— а со своим сердцем, последним судьей для тех, кто уже не в силах руководиться долгом, и вот что оно внушило мне. Замуж за тебя я никогда не выйду без соизволения отца, но без твоего согласия никогда не выйду и за другого,— даю тебе в этом честное слово. И оно будет для меня священным, что бы ни случилось: не в силах человеческих заставить меня его нарушить. Не тревожься о том, что станется со мною без тебя. Смелее, любезный друг, под покровительством нежной любви ищи долю, достойную ее увенчать. Судьба моя в твоих руках до той поры, покуда это зависит от меня, и может измениться только при твоем согласии.

## ПИСЬМО XII

*К Юлии*

O qual fiamma di gloria, d'onore,
Scorrer sento per tutte le vene,
Alma grande parlando con te! [1]

Дай мне перевести дыхание, Юлия! Кровь моя кипит, я дрожу, я трепещу. Твое письмо, как и сердце твое, горит священной любовью к добродетели, и ты заронила в душу мою ее

[1] О, сколь гордо и радостно пламя
У меня пробегает по жилам
При беседе с великой душой! *(итал.)*

небесный пламень. Но к чему все эти увещевания, когда надобно только повелеть? Поверь, если б я до того пал, что нуждался бы в особых доводах для свершения добрых поступков, то от тебя мне никаких доводов не потребовалось бы; твоей воли мне довольно. Да разве ты не знаешь, что я всегда буду стараться угождать тебе и скорее свершу злодеяние, но тебя не ослушаюсь. По твоему приказу я бы сжег и Капитолий, потому что я люблю тебя больше всего на свете! Но знаешь ли ты сама, отчего я так люблю тебя? Ах, бесценный друг мой, да оттого, что ты стремишься лишь к одному — сохранить честь, что любовь к твоей добродетели делает еще непреодолимее мою любовь к твоей красоте.

Я уезжаю, приободренный мыслью о твоем зароке. Тебе следовало бы говорить со мной без обиняков: ведь ты обещаешь никому не принадлежать без моего согласия, значит, обещаешь быть только моею, не правда ли? Я говорю смелее и даю тебе ныне слово порядочного человека, нерушимое слово,— и вот в чем: не знаю, что готовит мне судьба на поприще, где я попытаю силы, чтобы угодить тебе, но никогда ни любовным, ни брачным узам не соединить меня ни с кем, кроме Юлии д'Этанж. Я живу, я существую только во имя ее и умру или одиноким, или ее супругом. Прощай. Время не терпит. Уезжаю сию минуту.

## ПИСЬМО XIII

*К Юлии*

Вчера вечером я приехал в Париж, и тот, кому невыносимо было отдалиться от тебя на расстояние каких-нибудь двух улиц, ныне отдалился более чем на сотню лье. О Юлия, пожалей меня, пожалей своего несчастного друга! Когда бы кровь моя длинными ручьями отмерила этот бесконечный путь, он показался бы мне короче — я бы не мог с большей тоскою чувствовать, как изнемогает моя душа. Ах, если бы я, по крайней мере, знал срок нашей разлуки, как знаю расстояние, разделяющее нас, я бы возместил дальность пространства бегом времени, каждый день, отнятый у моей жизни, я бы считал шагом, приближающим меня к тебе. Но мое скорбное существование теряется во мраке будущего — предел его скрыт от моих слабых глаз. О, сомнения! О, пытки! Мое встревоженное сердце ищет тебя и не обретает. Вот всходит солнце, но я уже не надеюсь на встречу с тобою, вот оно заходит, а я с тобою так и не встретился. Дни мои текут тоскливо, безрадостно, словно беспросветная ночь. Напрасно

я пытаюсь воскресить потухшую надежду,— она дает мне ненадежную опору и обманчивые утешения. Милый и нежный друг души моей, увы, какие же горести мне еще суждены, если по силе своей они будут равны минувшему счастью?

Но пусть моя печаль тебя не тревожит — заклинаю тебя. Она мимолетный отзвук одиночества и путевых размышлений. Не бойся, душевная слабость ко мне больше не вернется: ты владеешь моим сердцем, Юлия! Ты его поддерживаешь, и оно более не поддастся унынию. Одна из утешительных мыслей, навеянных твоим последним письмом,— это мысль о том, что ныне я как бы стал носителем двойной духовной силы, и если бы любовь отняла у меня мою силу, я и не пытался бы ее воротить, ибо душевная бодрость, передающаяся от тебя, поддерживает меня гораздо лучше, чем моя собственная. Я убежден, что человеку нельзя быть одному. Души человеческие жаждут соединения в пары, чтобы обрести всю свою ценность; и сочетание душевных сил друзей, как сила намагниченных пластин, несравненно больше, чем сумма всех сил, взятых порознь. Божественная дружба! Вот где торжество твое! Но что такое одна лишь дружба по сравнению с тем совершенным союзом, который сочетает живую силу дружбы с узами во сто крат более священными? Где же эти грубые люди, принимающие восторги любви лишь за вспышку чувственной страсти, за унизительные вожделения похоти? Пусть придут, пускай приглядятся, пускай поймут, что происходит в глубине моего сердца; пусть увидят бедного влюбленного, отторгнутого от своей возлюбленной,— он не знает, встретится ли с нею, вернет ли свое утраченное счастье, однако воодушевлен тем бессмертным огнем, что передался ему из твоих очей и питал твои возвышенные чувства. Он готов бросить вызов судьбе, готов переносить все превратности ее, даже разлуку с тобою, но он стремится к добродетелям, которые ты внушила ему,— к достойному украшению обожаемого образа, которому вовеки не изгладиться из его души. Чем бы я был без тебя, Юлия! Быть может, меня и просветил бы хладный рассудок — я стал бы умеренным почитателем добра, но крайней мере любил бы его в других. Но ныне я достигну большего,— я буду с жаром творить добро и, проникнутый твоими мудрыми наставлениями, в один прекрасный день заставлю сказать людей, знающих нас: «О, какими мы были бы, если бы мир полнился Юлиями и сердцами, способными их любить!»

Размышляя в пути над твоим последним письмом, я решил составить собрание твоих писем — теперь, когда не могу

беседовать с тобою. Хотя каждое я знаю наизусть — досконально, но, поверь мне, я все же люблю их перечитывать и перечитываю без конца, лишь для того, чтобы вновь и вновь увидеть почерк милой руки,— ведь только одна она и может составить мое счастье. Но бумага незаметно стирается,— пока она не изорвалась, я хочу переписать все письма в чистую тетрадь, которую только что нарочно для этого выбрал. Тетрадь довольно толстая — но я верю в будущее: надеюсь, я не умру совсем молодым и не ограничусь лишь одним томом. Я буду проводить вечера за этим отрадным занятием, буду писать не спеша, чтобы продлить удовольствие. Это бесценное собрание будет со мной неразлучно; оно будет моим руководством в свете, куда я собираюсь вступить; оно будет противоядием для тех правил, которыми там дышат; оно утешит меня в моих горестях; предостережет от ошибок или поможет мне исправить их; оно будет наставлять меня, покуда я молод, и служить нравственной опорой до конца моих дней,— впервые любовные письма найдут себе, кажется, подобное применение.

Что до твоего последнего письма, лежащего перед моими глазами, то, право, хоть оно и прекрасно, но, по-моему, кое-какие его строки надобно вычеркнуть. Само по себе странное рассуждение еще неуместней оттого, что оно касается тебя. Как могла прийти тебе в голову мысль так написать — я ставлю тебе в укор даже это! К чему все эти слова о моей верности, постоянстве? Когда-то ты лучше знала всю силу моей любви и своей власти! Ах, Юлия, да можешь ли ты внушать непостоянные чувства? И если б я даже ничего и не обещал тебе, ужели мог бы не быть твоим? Нет, нет! С того мига, как я впервые встретил взгляд твоих очей, впервые услышал слова, слетевшие с твоих уст, впервые почувствовал восторг в своем сердце, в нем вспыхнуло вечное пламя, и ничто в мире уже не в силах его потушить. И если б мне довелось видеть тебя лишь мгновение, все равно — участь моя была бы решена; уже было бы поздно! — я вовеки не мог бы забыть тебя. А как же забыть тебя ныне? Ныне, когда я упоен своим минувшим счастьем, когда стоит мне о нем вспомнить,— и я снова счастлив! Ныне, когда я тоскую в мечтах о красоте твоей, дышу лишь тобою! Ныне, когда перевозданная моя душа исчезла и меня оживляет та, которой ты меня одарила! Ныне, о Юлия, когда я зол на себя за то, что так нескладно изъясняю тебе все то, что чувствую! Ах, пускай красавицы всего мира пытаются обольстить меня, ты одна — свет моих очей. Пускай всё вступит в заговор, стремясь изгнать тебя из моего сердца; что ж, пускай пронзают,

терзают его, разбивают вдребезги это верное зеркало Юлии, чистый ее образ будет неизменно отражаться в последнем оставшемся осколке,— ничто не вытравит его отражения. Нет, даже верховной силе это не подвластно: она может уничтожить мою душу, но ей не сделать так, чтобы душа моя существовала и не боготворила тебя.

Милорд Эдуард обещал мимоездом навестить тебя и дать тебе отчет обо всем, что до меня касается, и о своих планах на мой счет; но я боюсь, что он дурно выполнит свое обещание и умолчит о том, как сейчас уладил мои дела. Знай же, он позволил себе злоупотребить своей властью надо мной, порука которой — его благодеяния, и осыпал меня щедротами, позабыв о чувстве меры. Благодаря пенсиону, который он заставил меня принять, я могу разыгрывать важную особу, вопреки своему происхождению,— вероятно, мне придется это делать в Лондоне, дабы следовать его намерениям. Здесь же, где у меня нет никаких занятий, я буду жить по-своему: не стану сорить деньгами, растрачивая избыток средств, предназначенных мне на содержание. Ты научила меня, Юлия, что первейшие — или, по крайней мере, самые ощутимые потребности — это потребности сердца, свершающего добрые дела. И покуда существует на свете хоть один неимущий,— людям порядочным не подобает жить в роскоши.

## ПИСЬМО XIV

*К Юлии*

С тайным ужасом вступаю я в обширную пустыню, называемую светом. Эта суета представляется мне лишь воплощением страшного одиночества, царством унылого безмолвия. Моя угнетенная душа жаждет излить свои чувства, но здесь все ее стесняет. «Я меньше всего одинок, когда я в одиночестве»,— говорил некий мудрец древности, и я чувствую себя одиноким лишь в толпе, где сердце мое не может принадлежать ни тебе, ни другим. Оно бы и рало заговорить, но ведь никто не станет ему внимать; оно бы и рало ответить, но то, что оно слышит, до него не доходит. Здешнего языка я не понимаю, да и моего языка здесь не понимает никто.

А ведь встречают меня весьма радушно, по-дружески, предупредительно, принимают, расточая знаки внимания,— но именно на это я и сетую. Ужели сразу можно стать другом человека, которого никогда прежде не видел? Благородное сочувствие к человечеству, простосердечная и трогательная искреп-

ность нетронутой души владеют языком, весьма отличным от проявлений показной учтивости и от тех обманчивых приличий, которых требуют светские правила. Весьма опасаюсь, как бы тот, кто с первого знакомства обходится со мною так, будто мы дружны лет двадцать, не обошелся бы со мною двадцать лет спустя как с незнакомцем, попроси я его о важной услуге. И вот я вижу, что вертопрахи проявляют горячее участие ко многим сразу, и готов предположить, что они не испытывают участия ни к кому.

Однако ж во всем этом может быть и нечто подлинное. Ведь француз от природы добр, чистосердечен, гостеприимен, благожелателен; но вместе с тем есть у французов тысячи пустых фраз, которые никак нельзя понимать буквально, тысячи лицемерных предложений, которые делаются в расчете на то, что вы откажетесь, тысячи всяческих ловушек, которые светская учтивость расставляет перед сельской простосердечностью. Никогда я не слыхивал, чтобы так часто твердили: «Рассчитывайте при случае на меня, к вашим услугам мое влияние, мой кошелек, мой дом, мой экипаж». Если б все эти слова были искренни и не расходились с делом, то в мире не существовало бы народа, столь мало приверженного собственности; общность имущества здесь была бы почти установлена; а так как люди побогаче то и дело вызывались бы помочь вам, а победнее всегда принимали бы помощь, то, разумеется, все бы уравнялось, и даже в Спарте не было такого равенства, какое было бы в Париже. Ну, а вместо этого, пожалуй, нет другого города в мире, где наблюдаешь такое неравенство состояний и где одновременно царят и невероятная роскошь, и самая неприглядная нищета. Легко понять без пояснений, что означает мнимое сострадание, которое как будто готово поспешить на помощь ближнему, и эта кажущаяся сердечность, готовая легкомысленно заключить мгновенный договор о вечной дружбе.

Я не охотник до всех этих подозрительных чувств и лжедоверия — ведь я стремлюсь к просвещению и знанию, ибо здесь-то и находится их источник, любезный моей душе. Поначалу, попав сюда, приходишь в восхищение от мудрости и ума, которые черпаешь в беседах не только ученых и сочинителей, но людей всех состояний и даже женщин: тон беседы плавен и естествен; в нем нет ни тяжеловесности, ни фривольности; она отличается ученостью, но не педантична, весела, но не шумна, учтива, но не жеманна, галантна, но не пошла, шутлива, но не двусмысленна. Это не диссертации и не эпиграммы; здесь рассуждают без особых доказательств, здесь шутят, не играя

словами; здесь искусно сочетают остроумие с серьезностью, глубокомысленные изречения с искрометной шуткой, едкие насмешки, тонкую лесть с высоконравственными идеями. Говорят здесь обо всем, предоставляя всякому случай что-нибудь сказать. Из боязни наскучить важные вопросы никогда не углубляют — скажут о них как бы невзначай и обсудят мимоходом. Точность придает речи изящество; каждый выразит свое мнение и вкратце обоснует его, никто не оспаривает с жаром мнение другого, никто настойчиво не защищает свое. Обсуждают предмет для собственного своего просвещения, спора избегают,— каждый поучается, каждый забавляется. И все расходятся предовольные, и даже мудрец, пожалуй, вынесет из таких бесед наблюдения, над которыми стоит поразмыслить в одиночестве.

Но как ты думаешь, чему, в сущности, можно научиться, слушая столь приятные беседы? Здраво судить о событиях? Уметь извлекать пользу, вращаясь в обществе, и хорошо познавать людей, в кругу которых живешь? Ничего подобного, милая Юлия! Здесь ты научишься искусно защищать неправое дело, колебать с помощью философии все правила добродетели, приправлять тончайшими софизмами свои страсти и свои предрассудки и придавать своим заблуждениям некий лоск во вкусе нынешних модных идей. Нет нужды знать характер людей, зато надобно знать, что им выгодно, дабы отчасти угадать, что они будут говорить по любому поводу. Когда светский человек ведет речь, то, так сказать, от его платья, а не от него самого, зависят его чувства. И он без всякого стеснения частенько меняет их, как и свое звание. Наденьте на него попеременно то длинноволосый парик, то военный мундир, то наперсный крест, и он с одинаковым рвением станет проповедовать то законность, то деспотизм, а то и инквизицию. Один герой стоит за судейское сословие, другой за финансистов, третий за военных. И каждый отличнейшим образом доказывает, как дурны другие,— отсюда легко сделать вывод относительно всех трех сословий [1]. Итак, никто никогда не говорит, что думает, а то,

---

[1] Надобно простить эти рассуждения швейцарцу, который считает, что его страной управляют отменно, хотя ни одно из этих трех сословий там не существует обособленно. Как! Разве государство может существовать без защитников? Нет, государству нужны защитники, но все граждане должны быть солдатами по долгу, и никто — по ремеслу. Одни и те же люди у римлян и у греков были начальниками в военном лагере и должностными лицами в городе,— оба рода деятельности выполнялись лучше в те времена, когда неведомы были нелепые сословные предрассудки, которые ныне разделяют сословия и бесчестят их.

что ему выгодно внушить другому, и кажущаяся приверженность истине — не что иное, как личина своекорыстия.

Вы решите, пожалуй, что люди одинокие, живущие независимо, по крайней мере и мыслят самостоятельно: отнюдь нет, это своего рода машины, они сами не размышляют, их заставляют размышлять,— приводя в действие ту или иную пружину. Познакомьтесь-ка только с их собраниями, разговорами, приятелями, женщинами, с которыми они встречаются, писателями, которых они знают, и вы заранее представите себе, какого они будут мнения о книге, готовой выйти в свет, хотя они ее и не читали, о пьесе, готовящейся к постановке, хотя они ее еще и не видели, о том или ином сочинителе, с которым не знакомы, той или иной системе, хотя они и не имеют о ней ни малейшего понятия. И подобно тому, как часы обычно заводятся лишь на сутки, все эти людишки, являясь ежевечерне на светские сборища, узнают, что им надлежит думать завтра.

Итак, небольшое число мужчин и женщин думают за всех остальных, все же остальные говорят и действуют для них, и поскольку каждый помышляет лишь о собственной выгоде и никто об общем благе, а личные выгоды всегда противоположны, то тут наблюдается вечный круговорот козней и происков, прилив и отлив предрассудков, противоречивых мнений, так что самые горячие головы, подстрекаемые кем-либо, почти никогда и не ведают, в чем же суть вопроса. В каждом кружке свои правила, свои суждения, свои принципы,— в другом их не признают. Тебя считают порядочным человеком в одном доме, зато ты слывешь мошенником в соседнем. Добро, зло, красота, уродство, истина, добродетель имеют лишь ограниченное и местное существование. Если вам по вкусу светский образ жизни и вы посещаете различные круги, вам приходится быть более гибким, чем Алкивиад,— менять свои принципы, переходя из общества в общество, так сказать, приноравливать свой ум к каждому своему шагу и мерить свои убеждения на туазы. Надобно, нанося визит, всякий раз у входа оставлять свою душу, ежели она у вас есть, и брать другую под стать дому, подобно лакейской ливрее,— выходя же из дома заменять ее, если хотите, своею — до нового визита.

Есть кое-что и похуже: дело в том, что каждый беспрестанно противоречит себе, но никто не находит это дурным. Есть принципы для разговоров, а другие для применения в жизни; противоречие между ними никого не возмущает,— по общему убеждению, они и не должны согласовываться между собою; даже от писателя, особенно же от моралиста, не требуют, чтобы

он говорил то же, что пишет в своих книгах, и действовал так, как говорит. Его писания, его речи, его поступки — это три совершенно различных явления, и он вовсе не обязан их согласовывать. Одним словом, все это нелепо, но никого не коробит, ибо к этому привыкли и во всей этой несообразности есть внешняя добропорядочность, которою многие даже гордятся. И впрямь, хотя все с превеликим усердием проповедуют идеи своего сословия, каждый старается выдать себя за кого-то иного. Судейский крючок хочет казаться кавалером; финансист корчит из себя вельможу; епископ изощряется в галантности; придворный философствует; государственный деятель острит; даже простой ремесленник, который не может изменить свои повадки, и тот по воскресеньям ходит в черном, дабы смахивать на дворцового лакея. Одни лишь военные, презирая все другие сословия, без церемоний остаются самими собою и просто несносны. Это не означает, что г-н Мюра был неправ, отдавая предпочтение их обществу,— но то, что соответствовало истине в его времена, ныне ей уже не соответствует. Под влиянием прогресса литературы общий тон изменился к лучшему,— одни лишь военные не пожелали его изменить, и их тон, который прежде был наилучшим, стал наихудшим [1].

Таким образом, люди, с которыми говоришь, отнюдь не общаются с тобою; чувства их не исходят от сердца, знания не коренятся в их уме, речи не отражают их мыслей. Видишь только внешность, и, когда попадаешь в общество, тебе кажется, что перед тобой движущаяся картина, причем только спокойный наблюдатель двигается сам по себе.

Такое создалось у меня представление о большом свете, который мне довелось увидеть в Париже. Быть может, представление это скорее подсказано моим особенным состоянием, нежели истинным положением дел, и, разумеется, изменится при новом освещении. Кроме того, я бываю только в тех кругах общества, куда ввели меня друзья милорда Эдуарда, и я убежден, что надобно бывать среди более низких сословий, чтобы настоящим образом познакомиться с местными нравами, ибо нравы богачей почти всюду одинаковы. В будущем я постараюсь разведать все получше. А покамест суди сама, прав ли был я, назвав светскую толпу пустыней и устрашась одиночества

---

[1] Суждение это — справедливое или ложное — может относиться только к низшим чинам и к тем, кто не живет в Париже, ибо знать в королевстве несет военную службу и даже все придворные — военные. Но различие в манерах, усвоенных во время кампаний в дни войны или на гарнизонной службе, весьма велико.

там, где всё лишь показные чувства и показные истины, которые меняются то и дело, уничтожая сами себя; где вижу я одни личины и призраки, на миг поражающие взор и мгновенно исчезающие, как только ты захочешь их удержать. До сих пор я видел множество масок; когда увижу я человеческие лица?

## ПИСЬМО XV

*От Юлии*

Да, друг мой, мы соединимся, невзирая на разлуку, мы будем счастливы наперекор судьбе. Только союз сердец составляет подлинное счастье; их взаимное притяжение, их сила не ведает закона расстояний, и наши сердца соприкоснулись бы, даже если б были на противоположных концах света. Я согласна с тобой: несметное множество средств помогает влюбленным развеять тоску разлуки и вмиг соединиться; иногда мы даже видимся чаще, чем в ту пору, когда виделись ежедневно, ибо как только один из нас остается в одиночестве, тотчас же мы оказываемся вместе. Ты наслаждаешься этой радостью по вечерам, я же раз по сто на день. Живу я более уединенно, чем ты, все мне напоминает тебя,— стоит мне устремить взор на вещи, окружающие меня, и я вижу тебя тут, рядом со мною.

Qui canto dolcemente e qui s'assise;
Qui si rivolse, e qui ritenne il passo;
Qui co'begli occhi mi trafise il core;
Qui disse una parola, e qui sorrise [1].

Но ты — удовольствуешься ли ты столь безмятежным состоянием? Можешь ли ты наслаждаться спокойной и нежной любовью, которая так много говорит сердцу, не волнуя плоть? Разумнее ли нынешние твои сожаления былых твоих желаний? Тон твоего первого письма привел меня в содрогание. Я боюсь твоих обманчивых восторгов,— они тем коварнее, что воображение, возбуждающее их, не имеет границ, и я опасаюсь, как бы ты не оскорбил свою Юлию из любви к ней. Ах, ты не понимаешь — да, твое нечуткое сердце не понимает,— что пустое

---

[1] Тут — пела нежно, тут она сидела,
Тут — обернулась, тут — остановилась,
Тут — дивным взором мне пронзила сердце,
Тут — словом, тут — улыбкою согрела *(итал.)*.

поклонение оскорбительно для любви. Ведь ты забываешь, что твоя жизнь принадлежит мне, что нередко, кончая самоубийством, люди лишь воображают, будто этим угодят природе. Чувственный человек, неужели никогда ты не научишься любить! Вспомни, вспомни же о спокойном, нежном чувстве, которое ты познал однажды и описал столь трогательно и задушевно. Оно сладостнее всех утех, какими когда-либо упивалась счастливая любовь, и притом оно только и суждено разлученным любовникам; и если ты хоть раз испытал его, то не можешь сожалеть об остальном. Мне вспоминается, как мы, читая твоего Плутарха, рассуждали о развращенном вкусе, оскорбляющем природу. Если нельзя разделять подобные жалкие утехи,— так рассуждали мы тогда,— этого довольно, чтобы считать их ничтожными и презренными. Применим ту же мысль к заблуждениям чересчур пылкого воображения, она к ним подойдет не хуже. Несчастный! Какие же утехи можешь ты вкушать наедине с собой? Восторги в одиночестве — мертвенные восторги. О любовь! Твои восторги живы; ведь их одушевляет союз сердец, и радости, которые мы доставляем любимому существу, придают еще большую цену радостям, которые оно нам дарит.

Скажи, пожалуйста, милый друг мой, на каком языке, а вернее, наречии, ты изъясняешься в своем последнем письме? Уж не хотел ли ты блеснуть остроумием? Если ты намерен часто пользоваться им в переписке со мной, вышли мне словарь. Объясни-ка, пожалуйста, что это за чувство у платья? Что это за душа, которую надеваешь, будто ливрею, под цвет платья здешней челяди? Что это за принципы, которые меряешь на туазы? Уж не думаешь ли ты, что простушка швейцарка поймет столь выспренний язык образов? Другие берут себе душу под цвет ливреи, а ты, кажется, уже окрасил ум свой под цвет местных нравов! Берегись, любезный друг,— право, я боюсь, что краска не подойдет к такому фону! Не думаешь ли ты, что твои метафоры смахивают на «traslati» [1] кавалера Марино, над которыми ты сам частенько потешался? И если в письме можно заставить человеческую одежду создавать мнение, то почему же нельзя в сонете заставить огонь обливаться потом? [2]

За три недели, проведенные в большом городе, собрать наблюдения над нравами всех сословий, определить характер

---

[1] Метафоры *(итал.)*.

[2] Sudate, o fochi, a preparar metalli — стих из сонета кавалера Марино.

речей, которые там ведутся, отличить в них с точностью истину ото лжи, действительное от показного и то, что там говорят, от того, что там думают,— вот в этом-то и обвиняют французов, утверждая, что иногда они якобы так поступают в чужих краях. Но иностранцу не подобает так поступать с ними — они, право, заслуживают основательного изучения. Не одобряю я и того, что человек дурно отзывается о стране, где он живет и где ему оказывают гостеприимство. Лучше быть обманутым видимостью, чем, выступая блюстителем нравственности, осуждать своих хозяев. Ну и, наконец, мне внушает подозрение всякий наблюдатель, притязающий на остроумие. Я всегда боюсь, как бы, помимо своей воли, он не жертвовал истиной ради красного словца и не жонглировал фразами в ущерб справедливости.

Ведь ты знаешь, друг мой, что острословие, как говорит наш Мюра, просто мания всех французов. И я нахожу, что ты склонен к этой же мании, с тем различием, что у них это получается мило и что нет в мире народа, к которому она так нейдет, как к нам. Ты часто пишешь вычурно, шутишь натянуто. Я имею в виду не яркие обороты речи и выражения, исполненные живости и внушенные чувством, а витиеватый слог,— он и не естествен и не самобытен, а лишь тешит самолюбие автора. Ах ты господи! Тешить свое самолюбие в письмах к той, кого любишь! Не лучше ли тешить свое самолюбие, созерцая предмет своей любви! И разве не внушают нам чувство гордости даже те его достоинства, которые возвышают его над нами? Нет, пускай пустую беседу оживляют остротами, что мелькают будто стрелы,— такая болтовня отнюдь неуместна между двумя влюбленными, и цветистый слог салонного волокиты гораздо более чужд истинному чувству, нежели самый простой язык. Сошлюсь на тебя же. Нам было не до острот, когда мы оставались наедине. Волшебная прелесть нашей нежной речи вытесняла их, не дозволяла им появиться. Они и подавно нестерпимы в письмах, всегда отзывающих горечью разлуки, в письмах, где душа говорит еще проникновеннее! Всякая сильная страсть серьезна, и избыток радости чаще вызывает слезы, чем смех, но я, разумеется, не хочу, чтобы любовь всегда была печальной,— нет, я хочу, чтобы веселье ее было простым, неприкрашенным, безыскусным, чистым, как она сама,— словом, чтобы оно блистало естественной прелестью, а не в оправе остроумия.

Я пишу это письмо в комнате у «неразлучной», и она уверяет, будто я начала его в том радостном расположении духа,

какое внушается или, во всяком случае, допускается любовью. Но я сама не понимаю, что со мной вдруг случилось. Я писала, а мою душу постепенно охватывала неизъяснимая тоска, и я едва нашла в себе силы повторить все обидные слова, внушенные сестрицей-злодейкой, ибо следует предупредить тебя, что критика твоей критики — ее творение, а не мое. Она продиктовала мне первую часть письма, причем хохотала как сумасшедшая и не позволила изменить ни словечка. Она сказала, что хочет проучить тебя за то, что ты не почитаешь Марино: ведь она его защищает, а ты над ним подтруниваешь.

Но знаешь ли, что нас с нею привело в такое чудесное расположение духа? Ее предстоящее замужество. Вчера вечером заключен был брачный контракт, свадьба — в понедельник, в восемь часов. Если когда-либо любовь и была веселой, то уж это, разумеется, ее любовь. Никогда в жизни мне не доводилось видеть, чтобы девушка превращала чувство свое в шутку, как делает она. Добряк д'Орб, совсем потерявший голову, очарован шалостями своей невесты. Он не такой нелюдим, каким когда-то был ты, с удовольствием подхватывает шутки и считает высшим проявлением любви искусство веселить свою возлюбленную. Ну, а что до нее, то напрасно ей читали нотации — призывали к благопристойности, толковали, что перед свадьбой ей надлежит вести себя с большей важностью и степенностью, хоть немного выказать привязанность к родному дому, который ей предстоит скоро покинуть. Все это она считает глупым ханжеством и в глаза г-ну д'Орбу говорит, что в день церемонии у нее будет превосходнейшее расположение духа — на свадьбе надо веселиться до упаду. Но моя милая притворщица что-то утаивает. Нынче утром у нее были красные глаза, и я бьюсь об заклад, что ночные слезы — плата за дневное веселье. Она берет на себя новые обязательства, и они ослабят нежные узы дружбы. Ей предстоит вести новый образ жизни, отличный от того, который был доселе любезен ее сердцу. Она была довольна и безмятежна,— а теперь идет навстречу случайностям, неизбежным при самом удачном браке. И что бы она ни говорила, ее робкое, целомудренное сердечко встревожено предстоящим изменением в ее судьбе,— так чистые и безмятежные воды начинают волноваться, когда приближается буря.

О друг мой, как они счастливы! Они любят друг друга. Они вступят в брак и будут наслаждаться любовью без препятствий, без страхов, без угрызений совести. Прощай! Прощай! Я больше не в силах говорить.

P. S. Мы мимолетно виделись с милордом Эдуардом — он снова спешил в путь. Сердце мое было полно благодарности за все, чем мы ему обязаны, и мне хотелось поведать ему о своих и твоих чувствах; но было как-то стыдно завести об этом речь. И в самом деле, благодарить такого человека — это значит оскорблять его.

## ПИСЬМО XVI
*К Юлии*

Сильные страсти превращают человека в сущее дитя! С какой легкостью неистовая любовь питается химерами! И как легко направить по иному руслу свои безумные мечты из-за всякого пустяка. Твое письмо привело меня в такой восторг, какой я испытал бы в твоем присутствии, я был вне себя от радости, и простой листок бумаги заменил мне тебя. Величайшее мученье в разлуке, единственное, против которого рассудок бессилен,— это тревога о том, как чувствует себя сейчас возлюбленная. Ее здоровье, жизнь, покой, ее любовь — все это покрыто мраком неизвестности для того, кто боится утраты; нет веры ни в настоящее, ни в будущее, и всякие беды то и дело мерещатся влюбленному, который их так страшится. И вот наконец я дышу, я живу: ты здорова, ты любишь меня,— вернее, так было целых десять дней тому назад. Кто мне поручится за нынешний день? О разлука, о мученья! О, это странное и тягостное состояние души, когда ты можешь наслаждаться лишь прошлым, а настоящее уже пустой звук!

Даже если б ты и не сказала ничего о «неразлучной», я бы все равно узнал ее язвительный язычок в критике моего отчета и ее злопамятство в похвальном слове Марино, но да будет мне позволено произнести похвальное слово самому себе и отразить нападки.

Прежде всего, названная сестрица (ведь мне приходится отвечать именно ей), поговорим о стиле: я приноровил его к изображаемому предмету, я постарался дать вам понятие о разговорах в современном вкусе и одновременно их образец,— словом, следуя старому правилу, я сам писал вам почти так, как говорят в некоторых кругах общества. Кроме того, я порицаю кавалера Марино не за пристрастие к образным выражениям, а за то, что они нарочиты. Если вас согревает внутренний огонь, вы испытываете потребность говорить образным языком, метафорами, стараясь, чтобы вас поняли. Даже ваши письма, помимо вашей воли, полны ими, и уверяю вас, что только гео-

метр и глупец говорят, не прибегая к образной речи. И в самом деле, разве одна и та же мысль по силе своего выражения не может иметь множество степеней? А от чего зависит эта сила, как не от способа выражения? Мне смешны, признаюсь, иные мои фразы,— они нелепы просто оттого, что вы выхватили их из текста. Оставьте их там, где они написаны, и вы сами увидите, что они ясны и даже выразительны. Ведь если б ваши живые глазки, которыми вы так много умеете выразить, вдруг стали существовать каждый сам по себе и отдельно от вашего лица, то, ответьте, сестрица, что бы они могли сказать при всем своем огне? Честное слово, ничего, даже самому г-ну д'Орбу.

Первым делом, приехав в чужие края, начинаешь наблюдать, каковы характерные черты общества, не правда ли? Так вот, это и было первым моим наблюдением, когда я попал в здешние края; и я рассказал вам о том, что говорят в Париже, а не о том, чем здесь занимаются. И заметил-то я противоречие между словами, чувствами и деяниями людей добропорядочных лишь потому, что это противоречие сразу бросается в глаза. Когда одни и те же господа меняют свои убеждения в зависимости от того, в каком кругу они находятся,— в одном они молинисты, в другом янсенисты, низкопоклонники в гостях у министра, задорные фрондеры в гостях у недовольного; когда богач, купающийся в золоте, порицает роскошь, финансист — налоги, прелат — распущенность; когда придворная дама проповедует скромность, вельможа — добродетель, сочинитель — простоту, аббат — религию, и все эти нелепости никого не коробят,— я тотчас же делаю вывод о том, что здесь никто и не думает говорить или выслушивать правду, никто и не думает убеждать других в своих словах, даже не думает прикидываться, будто и сам в свои слова верит.

Но довольно шутить с сестрицей! Я оставляю такой тон,— он чужд нам троим,— и надеюсь, что с сатирой и острословием в письмах к тебе покончено. Теперь мне следует ответить тебе, Юлия, ибо я отличаю шутливую критику от серьезных упреков.

Не понимаю, как вы обе могли впасть в заблуждение и не понять, о чем я пишу. Да я и не считал, что наблюдаю французский народ: характер наций можно определять только по чертам, отличающим их друг от друга,— как же я, не знающий пока никакой иной нации, мог бы описывать эту! Кроме того, я не так уж недогадлив и не стал бы выбирать столицу местом для наблюдения. Известно, что столицы не очень-то отличаются

одна от другой — национальные характеры в них стираются и большей частию смешиваются под влиянием королевских дворов, всюду одинаковых, и под воздействием многочисленного и спаянного светского общества, которое почти всегда одинаково во всем мире и в конце концов берет верх над самобытными чертами национального характера.

Захотелось бы мне изучить народ, я бы отправился в глухие провинции, где у жителей еще сильны наклонности, данные им природой. Я бы не спеша объехал и тщательно изучил кое-какие провинции, расположенные в отдалении одна от другой. Все те различия между ними, которые мне удалось бы заметить, дали бы мне представление об особом характере каждой из них. Все их общие черты, чуждые другим народам, и обозначили бы для меня их общий национальный дух, а те черты, которые можно повстречать где угодно, я отнес бы к чертам общечеловеческим. Но у меня нет ни столь обширного плана, ни опыта, необходимого для его осуществления. Цель моя — узнать человека, а моя метода — это изучение его в самых различных его взаимоотношениях с другими. Доселе я видел человека в небольших обществах, разбросанных и разрозненных. Теперь же я буду изучать его в местах, кишащих народом, и потому мне удастся судить об истинном влиянии общества: ибо если считать несомненным, что общество благотворно действует на людей, то чем оно многочисленнее и сплоченнее, тем люди будут лучше — и в Париже нравы будут намного чище, чем в Вале; а если исходить из обратного, то пришлось бы вывести противоположное заключение.

Допускаю, что эта метода, пожалуй, могла бы привести меня и к познанию народов, но столь длинным и окольным путем, что всей моей жизни мало, чтобы составить мнение хотя бы об одном из них. Прежде всего мне следует понаблюдать ту страну, куда я попал впервые, затем, постепенно объезжая другие страны, определить различия, сравнить Францию с каждой из них,— так описывают деревья, сравнивая маслину с ивой или пальму с елью. Придется повременить с суждениями о народе, который я наблюдал впервые, пока я не сделаю наблюдений над всеми остальными.

Прошу тебя, очаровательная проповедница, не истолковывай мои философские рассуждения как сатиру на всю нацию. Да я отнюдь не изучаю именно парижан, а просто столичных жителей. И, право, не знаю — быть может, все, что я вижу здесь, свойственно и Риму и Лондону, а не только Парижу. Правила нравственности не зависят от народных обычаев;

таким образом, не обращая внимания на господствующие предрассудки, я превосходно понимаю, что́ здесь по сути своей плохо. Но, быть может, это плохое нельзя приписать именно французам, быть может, оно свойственно человеку и порождено не нравами, а самой природой. Картины порока повсюду оскорбляют взор беспристрастного наблюдателя, и тот, кто хулит пороки, пребывая в стране, где они царят, не более достоин порицания, чем тот, кто осуждает человеческие слабости, живя среди людей. Разве я сам не обратился в парижанина? Быть может, я уже и сам невольно посодействовал тем недостаткам, которые замечаю здесь! Быть может, слишком долгое пребывание в Париже развратило бы мою волю! Быть может, через какой-нибудь год я и сам превратился бы в обывателя, если бы стремление быть достойным тебя не поддерживало во мне дух свободного человека и нравственность гражданина! Дозволь же мне откровенно описывать тех, кому подражать я не мог бы без краски стыда, дозволь воодушевляться чистой любовью к правде, лицезрея господство лести и лжи.

Будь я властен в выборе своих занятий и своей судьбы, я, поверь, нашел бы иные темы для своих писем; ведь не вызывали у тебя недовольства мои письма из Мейери и Вале, но, любезный друг, у меня одно утешение — все описывать тебе, иначе мне недостанет сил выдержать светскую суету, на которую я здесь обречен; одна мысль, что надобно будет обо всем рассказать тебе, вдохновляет меня на поиски тем. Если ты ничего не захочешь видеть вместе со мною, я впаду в уныние, и мне придется все бросить. Подумай-ка, чтобы вести столь чуждый мне образ жизни, я делаю усилие, достойное моей вдохновительницы, и если ты хочешь судить, как труден путь, ведущий к тебе, наберись терпения, когда, порою, я заведу речь о том, с какими правилами здесь надобно считаться и какие препятствия надо преодолевать.

Невзирая на свою медлительность, невзирая на неизбежные отвлечения, я уже закончил труд над собранием твоих писем, когда, мне на радость, пришло дополнение к нему — новое твое письмо; прочтя эти скупые строки, я восхитился твоим умением сжато сказать о многом. Да, я утверждаю — нет на свете более восхитительного чтения, даже для тех, кто не знаком с тобою, если, конечно, это родственные нам души. Как не узнать тебя, читая твои письма! Как приписать столь трогательный слог и столь нежные чувства кому-либо иному? Ведь в каждой твоей фразе чувствуешь нежный взор твоих очей! А в каждом слове слышишь звуки твоего пленительного голоса! Да

кто другой, кроме Юлии, когда-нибудь любил, размышлял, говорил, поступал, писал подобным образом? Не удивляйся же, если письма твои, где столь хорошо вырисовывается твой облик, иной раз действуют на твоего возлюбленного так, словно пред ним появилось его божество. Я их перечитываю и теряю рассудок — голова идет кругом от беспредельного восторга, всепожирающий огонь снедает меня, кровь вспыхивает и клокочет, я весь трепещу от бурной страсти. Словно наяву я вижу тебя, прикасаюсь к тебе, прижимаю тебя к груди... Кумир мой, волшебница моя, источник наслаждений и неги,— когда смотришь на тебя, вспоминаешь гурий, созданных для жителей рая... Ах, приди... Я протягиваю руки,— но она ускользает, и я обнимаю тень... Право, дорогой друг мой, ты слишком хороша и слишком была нежна, мое слабое сердце не вынесло. Оно не в силах забыть твою красу, твои ласки; чары твои сильнее разлуки, ты мне всюду мерещишься, мне следует бежать уединения, я не решаюсь предаваться мечтам о тебе, и это довершает мою муку...

Итак, они соединятся наперекор всем препятствиям,— вернее, уже соединились в тот час, когда я пишу это письмо! Милые и достойные супруги! Да ниспошлет им небо то счастье, коего заслуживает их разумная и спокойная любовь, их нравственная чистота, благородство их душ! Да одарит их бесценным счастьем, которое так скупо отпускается сердцам, созданным для того, чтобы его вкушать! Как они будут блаженствовать, если оно даст им все то, что — увы! — отнимает у нас с тобою! Однако же не чувствуешь ли ты в самих наших горестях некое утешение? Не чувствуешь ли, что неизбывные наши муки не лишены отрады,— и если друзья наши испытывают наслаждения, коих мы лишены, то и у нас есть свои, неведомые им услады. Да, моя нежная подруга, невзирая на разлуку, утраты, тревоги, даже на отчаяние, само всесильное влечение двух сердец приносит нам сокровенную отраду, недоступную безмятежным душам. Обретать радость в самом страдании — это и есть одно из чудес любви, и нам показалось бы злейшею бедою, если бы безразличие и забвение лишили нас способности чувствовать наше горе. Посетуем же на свою долю, о Юлия, но ничьей доле завидовать не будем. А может быть, по правде говоря, и нет участи лучше нашей! И как божество черпает счастье в самом себе, так и сердца, согретые небесным огнем, обретают в своих чувствах чистое и восхитительное наслаждение, которое не зависит ни от удачи, ни от всего остального.

## ПИСЬМО XVII

*К Юлии*

Итак, я в водовороте. Собрание писем я закончил и стал посещать спектакли и ужинать в гостях. Целыми днями я бываю в обществе, всматриваюсь и вслушиваюсь во все, что меня поражает, но, не находя здесь ничего, что было бы сходно с тобою, среди всей этой суеты я ухожу в себя и втайне веду беседу с моей Юлией. Правда, в здешней шумливой и беспорядочной жизни есть известная прелесть, а изумительное разнообразие впечатлений может доставить человеку новому некоторое развлечение. Однако для этого надобно обладать пустым сердцем и легковесным умом — любовь и разум как будто объединились, чтобы вызвать у меня отвращение к светской жизни. Она всего лишь одна видимость, в ней все беспрестанно меняется, поэтому я не успеваю перед чем-либо прийти в волнение, во что-либо вникнуть.

Теперь я начинаю постигать, сколь трудно изучить свет, и даже не знаю, какое нужно занимать положение, дабы лучше узнать его. Философ стоит от него слишком далеко, светский же человек слишком близко. Один из них видит чересчур много, чтобы при этом еще размышлять, другой чересчур мало, чтобы судить о всей картине в целом. Философ рассматривает в отдельности каждый предмет, привлекший его внимание; и, не имея возможности распознать ни связи, ни отношений этого предмета с другими предметами, находящимися вне поля его зрения, философ никогда не видит предмет на надлежащем месте и не постигает ни его смысла, ни истинной ценности. Светский же человек видит все, но размышлять ему некогда. Предметы все время меняются, и он только замечает их, а не рассматривает; они стремительно загораживают друг друга, и от них остается лишь смутное впечатление,— какой-то хаос.

Нельзя также видеть и рассуждать попеременно, ибо зрелище требует постоянного внимания, а оно прерывается размышлением. Если б кто-нибудь решил попеременно то бывать в свете, то предаваться уединению, тогда его постоянно беспокоили бы в его убежище, а в свете он чувствовал бы себя отчужденно — и ни там, ни тут не нашел бы себе настоящего места. И тогда — иного выхода нет — пришлось бы разделить всю свою жизнь надвое: часть времени служила бы для наблюдений, другая для размышлений; но это почти невозможно, ибо разум не мебель, которую передвигаешь, как тебе заблагорассудится, и тот, кто мог бы прожить десять лет не размышляя, не станет размышлять и впредь.

Я нахожу также, что желание изучать общество в роли простого зрителя безрассудно. Тот, кто вздумает только наблюдать, наблюдений не сделает, ибо для дел он непригоден, в удовольствиях он помеха, и его нигде не будут принимать. Действия других видишь только тогда, когда действуешь сам,— в школе света, как и в школе любви, надобно поначалу испытать то, что хочешь понять.

Но какое решение принять мне, чужеземцу, которому нечего делать в этой стране,— ведь само различие в вероисповедании мешает мне добиться какой-нибудь цели! Остается одно — держаться в тени, ради возможности делать наблюдения и, не рассчитывая стать здесь деловым человеком, по мере моих сил прослыть приятным собеседником. Я стараюсь, насколько это возможно, быть учтивым без двоедушия, услужливым без низкопоклонства и до такой степени усвоить от общества все хорошее, чтобы оно меня терпело, хотя я и не перенимаю его пороков. Человеку праздному, желающему увидеть свет, должно до известной степени усвоить его обычаи,— он не имеет права требовать, чтобы его принимали люди, которым он ненадобен, ежели он не обладает искусством нравиться. Но ежели он овладел этим искусством, то от него большего и не потребуется, в особенности когда это иностранец. Он избавляется от участия в происках, козних, распрях; и если он ведет себя как человек порядочный по отношению ко всем, если он не выказывает каким-нибудь женщинам невнимания или, напротив, особого предпочтения, сохраняет тайну того круга, где он принят, в одном доме не высменвает другой, избегает доверительных бесед, не вздорит, повсюду держится с достоинством,— он может спокойно наблюдать свет, сохранять свои нравственные устои, честь, даже откровенность, если только она идет от независимости, а не от предубежденности. Вот так я и постарался себя поставить по совету людей искушенных, выбранных мною себе в руководители среди тех, с кем познакомил меня милорд Эдуард. Итак, меня стали принимать не в столь многочисленном, но зато в избранном обществе. До сих пор я бывал только на обедах, где женщин, кроме хозяйки дома, не увидишь, где принимают всех праздных парижан, хотя бы еле знакомых, где каждый платит за обед как может — либо острословием, либо лестью,— где шумный и невнятный разговор мало отличается от застольной беседы на постоялом дворе.

Ныне я посвящен в более сокровенные таины. Я присутствую на званых вечерах — в домах, где двери закрыты для непрошеного гостя, и ты уверен, что все здесь под стать если не

друг другу, то, по крайней мере, тем, кто их принимает. Здесь женщины ведут себя не так осмотрительно, и можно приступить к их изучению; здесь на свободе злословят остроумнее и язвительнее; здесь не толкуют о событиях, всем известных еще с утра,— о театральных представлениях, о производстве в чины, о смертях, браках, а делают обзор парижских происшествий, разоблачают тайны скандальной хроники, вышучивают и высмеивают и добро и зло, здесь, искусно и с особенным знанием дела обрисовывая характеры других, каждый собеседник тем самым невольно обрисовывает и свой собственный характер. Здесь, спокойствия ради, придумали какой-то усложненный язык — для ушей лакеев,— и, якобы стремясь затемнить смысл насмешки, делают ее еще язвительней. Здесь, одним словом, тщательно оттачивают кинжал под тем предлогом, что это умеряет боль, в действительности же дабы нанести рану поглубже.

И все же, оценивая подобные речи, мы бы ошиблись, назвав их сатирою, ибо они вышучивают, а не бичуют, разят не порочное, а смешное. Вообще сатира не в ходу в столицах, где зло столь обычно, что о нем не стоит и говорить. Что же остается порицать там, где добродетель более не уважают? Что остается осуждать, когда ни в чем уже не находишь дурного? Особенно это относится к Парижу, где всякое явление оценивают только с забавной стороны, а все, что выражает гнев и негодование, принимается плохо, если не облечено в песенку или эпиграмму. Хорошеньким женщинам неугодно сердиться, поэтому их ничто и не сердит; они любят посмеяться, а над преступлением нельзя подшутить, поэтому мошенники, подобно всем,— люди порядочные. Но горе тому, кто дает повод к насмешке,— въедливый отпечаток ее неизгладим. Она поносит не только нравы, добродетели, но клеймит даже порок; она готова оклеветать и негодяев. Но вернемся к нашим ужинам.

Вот что больше всего меня поразило в этом избранном обществе: предположим, подберут здесь человек шесть нарочно для того, чтобы дать им возможность провести вместе время за приятной беседой, тем более что между иными из них существуют тайные связи,— но они и часа не могут пробыть вшестером, а непременно вводят в свою беседу половину Парижа, будто сердца их ничего не могут поведать друг другу и будто нет здесь никого любезного их сердцу. Помнишь ли, Юлия моя, как вечерами за ужином у твоей сестрицы или в твоем доме мы, несмотря на необходимость сдерживаться и хранить тайну, сводили разговор на предметы, касающиеся лично нас, как при каждом суждении, трогающем душу, при каждом тонком намеке

взгляд ярче молнии или вздох, скорее угаданный, нежели замеченный,— от сердца к сердцу переносил сладостное чувство?

Если разговор здесь случайно коснется гостей, то обычно ведут его на некоем светском жаргоне, к пониманию которого надобно иметь ключ. На этом условном языке перекидываются тысячью плоских шуток в модном духе, причем остроумием блещут особы поглупее, а треть всего общества — не посвященные — скучает и молчит или смеется тому, чего не понимает. Вот к чему сведены,— если исключить беседы наедине, которые мне не приходится и не придется вести,— нежные и задушевные отношения между людьми в здешних краях.

Но если вдруг какой-нибудь вельможа выскажет серьезную мысль или затронет важный вопрос, тотчас же к этому новому предмету будет привлечено всеобщее внимание: мужчины и женщины, старики и молодые — все обсуждают его со всех сторон, и просто диву даешься, сколько разумных и здравых мыслей словно взапуски вылетает из уст всех этих шутников [1].

Вопросы нравственности не столь досконально обсуждаются в кругу философов, как в салоне хорошенькой парижанки,— даже выводы у философа бывают не столь суровы, ибо он, желая, чтобы речи его не расходились с делами, взвешивает каждое слово, здесь же, где речь о нравственности всего лишь чистейшее суесловие, можешь быть строгим без всяких последствий, и все охотно, дабы сбить с философов спесь, возносят добродетель так высоко, что ни одному мудрецу до нее не достать. Впрочем, все — и мужчины и женщины,— умудренные опытом светской жизни и показаниями собственной своей совести, сходятся друг с другом во мнении — самом нелестном — о себе подобных, вечно выказывая философическую печаль, вечно принижая из тщеславия человеческую натуру, вечно стараясь найти в добром деянии порочный умысел, вечно злословя о сердце человеческом, судя по своему сердцу.

Невзирая на эту уничижительную систему, здесь чувство — один из излюбленных предметов мирных бесед, но речь идет не о страстных излияниях на лоне любви или дружбы,— помилуйте, это было бы смертельно скучно! Нет, речь идет о великих

[1] Однако до той поры, покуда какая-нибудь нежданная шутка не нарушит эту степенность — а тут уж все стараются перещеголять друг друга,— все вмиг меняется, и уже никакими силами не восстановить серьезную беседу. Мне вспоминается забавный случай — как из-за кулька с бубликами сорвалось представление на ярмарке. Этими актерами, отвлекшимися от своих ролей, были животные. Но сколько есть подобных «бубликов» для великого множества людей! Известно, кого Фонтенель описал под видом тиринфян.

обобщениях, о квинтэссенции чувства, разобранного до тонкости с помощью метафизики. За всю жизнь мне, право, не доводилось слышать так много разговоров о чувстве и так мало их понимать. Утонченность непостижимая. О Юлия, наши грубые сердца никогда и не ведали обо всех этих прекрасных идеях, и я опасаюсь, что с чувством в кругу светских людей творится то же, что с Гомером в кругу педантов, которые приписывают ему несметное множество вымышленных красот, ибо подлинных не замечают. Таким образом, в остроумных речах они расточают все свое чувство, оно испаряется в разговорах, а для жизни его уже не остается. По счастью, чувство здесь восполняют благопристойностью, и учтивость подсказывает почти то же, что подсказало бы чувство,— разумеется, лишь в пределах любезных уверений и мелких услуг, которые люди вменяют себе в обязанность ради своей доброй славы,— ибо когда требуется жертва, чреватая более длительными неудобствами, когда она обходится дороже,— прощай чувство! Благопристойность столь многого не требует. Притом просто не постичь, до какой степени все то, что у них называется «приличиями», обстоятельно обдумано, размерено, взвешено; в той области, которая уже не управляется чувствами, установлены правила, и все живут согласно правилам. Если б эта страна подражательности полнилась людьми самобытными, это так и осталось бы неизвестным, ибо здесь никто не смеет быть самим собой. «Поступай, как поступают все» — вот первое правило здешней житейской мудрости. «Так принято, а так не принято» — подобные суждения непреложны.

Такое внешнее соблюдение приличий придает житейским отношениям характер пресмешной светскости, даже в самых серьезных обстоятельствах. До точности известно, когда надобно осведомиться о здоровье, когда надобно письменно засвидетельствовать свое почтение, то есть нанести визит заочно, когда надобно его нанести собственной персоной; когда дозволено оставаться дома, когда не должно сказываться дома, хотя ты и у себя; какие предложения должен сделать один; от каких предложений должен отказаться другой; какую степень печали должно выказывать, когда скончается та или иная особа; [1] сколько

---

[1] Скорбь по поводу того, что некто скончался,— проявление человечности, свидетельство прирожденной доброты, но отнюдь не долг добродетели, будь даже этот некто тебе отцом. Если же ты ничуть не скорбишь душою, то не должно прикидываться скорбным, ибо гораздо важнее бежать лицемерия, нежели подчиняться правилам благопристойности.

времени должно оплакивать утрату, уединясь в деревне; через сколько дней можно вернуться в город, чтобы утешиться; с какого часа и какой минуты скорбь позволяет дать бал или отправиться в театр. Все тут поступают одинаково при одинаковых обстоятельствах, все рассчитано по времени, как продвижение полков на поле битвы; можно подумать, что это марионетки, прибитые к одной доске или движущиеся на одном шнуре.

Однако невероятно, чтобы все эти люди, с точностью исполняя одно и то же, чувствовали одинаково,— стало быть, дабы их узнать, надобно проникнуть им в душу какими-то иными путями; стало быть, условный их язык всего лишь пустой набор слов, который не так пригоден для суждения о нравах, как о тоне, царящем в Париже. Таким образом, узнаешь, о чем здесь говорят, но ничто не помогает тебе оценить эти речи по достоинству. Это относится и к большей части новых сочинений. Это относится даже и к театральным подмосткам — после Мольера они стали местом, где по большей части лишь ведутся изящные беседы, а не представляется жизнь общества. Здесь три театра, причем на двух показываются какие-то загадочные существа, а именно: арлекины, паяцы, скарамуши — на одном, и боги, черти, волшебники — на другом. А на третьем представляют и бессмертные пьесы, которые мы читали с таким удовольствием, и более современные, которые время от времени появляются на сцене. Эти пьесы в большинстве своем трагедии, но трогают они мало, пускай в них порою проглядывает безыскусственность чувства и правдиво передаются движения человеческого сердца, но они не дают представления о самобытных нравах того народа, который они развлекают.

Возникновение трагедии в глазах ее зачинателей имело религиозную основу,— благодаря этому она была дозволена. Кроме того, для греков трагедия была и поучительным и приятным зрелищем, являя собою картину бед, постигших их врагов — персов, картину преступлений и бесчинства царей, от коих избавился народ. Пускай представляют в Берне, Цюрихе и Гааге пьесы о былой тирании австрийского королевского дома: любовь к отечеству и свободе вызовет у нас интерес к подобным пьесам; но скажите, к чему здесь трагедии Корнеля и какое дело парижанам до Помпея или Сертория! Греческие трагедии строились на происшествиях истинных или почитаемых зрителями за истинные и основанных на исторических преданиях. Вряд ли героическое и чистое пламя воздействует на души вельмож! Со сцены они услышат, что борьба любви и добродетели не дает им мирно почивать и что сердце играет

большую роль в бракосочетании королей! Суди же сама о правдоподобии и пользе пьес, построенных на таком химерическом вымысле.

Что до комедии, то, разумеется, она должна верно представлять нравы народа, для коего написана, дабы, видя ее, он освободился от своих пороков и недостатков,— так, глядясь в зеркало, стираешь с лица какое-нибудь пятно. Теренций и Плавт ошибались в выборе предмета для изображения, но в более ранние времена Аристофан и Менандр показали афинянам афинские нравы, и лишь Мольер столь же правдиво, и даже еще правдивее, вывел в комедиях нравы французов прошлого века, так что они увидели себя воочию. Ныне картина стала иною, а новый живописец не появился. Ныне на театре подражают разговорам, которые ведутся в какой-нибудь сотне парижских гостиных. Вот и все, что можно узнать о французских нравах. В этом большом городе наберется пятьсот — шестьсот тысяч душ, о которых даже нет речи на сцене. Мольер дерзнул нарисовать мещан и ремесленников наряду с маркизами. У Сократа заговорили возничии, столяры, башмачники, каменщики. Нынешние же сочинители, люди совсем иного толка, сочли бы для себя унизительным знать, как протекает жизнь в лавке или в мастерской. Им нужны диалоги между одними лишь знаменитостями, и в звании своих персонажей они мнят обрести для себя то величие, какого им не достигнуть своим дарованием. Да и сами зрители стали до того щепетильны, что побоялись бы замарать себя при посещении театра, словно при неподобающей встрече в гостях,— и не пожелали бы видеть на сцене людей более низкого состояния, чем они сами. Они чувствуют себя как бы единственными обитателями земного шара; все остальные в их глазах ничтожество. Иметь карету, швейцара, метрдотеля означает быть под стать всем. А быть под стать всем означает быть под стать весьма немногим. Те, кто ходит пешком, не принадлежат к свету. Это простолюдины, жители совсем другого мира. А карета, право, не столь уж надобна для поездок, но без нее нельзя существовать. Итак, есть кучка наглецов, возомнивших, будто на земле существуют лишь они одни; с ними не стоило бы и считаться, если бы не зло, которое они творят. Вот для них-то одних и даются спектакли. В театре они одновременно и представлены и представляют сами, их видишь в двойной роли: они — персонажи на сцене и комедианты в креслах. Вот почему круг людей светских и сочинителей так сужен; вот почему современной сцене присуща скучная чопорность. Представляют только вельмож в платье, расшитом золо-

том,— остальное показывать разучились. Можно подумать, что Франция населена одними графами да шевалье; чем хуже, чем беднее живется народу, тем с большим блеском и великолепием изображается картина народной жизни. И вот, показывая смешные черты сословий, служащих примером для всех прочих, скорее распространяешь, нежели исправляешь эти черты, и толпа, которая вечно обезьянничает, подражая богачам, бывает в театре не столько ради того, чтобы посмеяться над их причудами, сколько чтоб им научиться и, переняв, стать еще несуразнее. В этом вина и самого Мольера: исправляя нравы придворной знати, он распространил заразу на городских жителей, и его жеманные маркизы стали первейшим образцом для щеголей из мещан, которые пустились им подражать.

Надо вообще заметить, что на французской сцене много слов и мало действия; происходит это, быть может, оттого, что французы и вправду больше говорят, нежели действуют, или, по крайней мере, гораздо более ценят слова, нежели дело. Некто изрек после представления пьесы о тиране Дионисии: «Ничего я не увидел, зато уж речей наслушался!» Так можно, выходя из театра, отозваться о любой французской пьесе. Да и сами Расин и Корнель при всей своей гениальности лишь говоруны; и их последователь — первый, кто, в подражание англичанам, иногда осмеливался ввести живые сцены в свои пьесы. Вообще же вся суть в звучных диалогах, весьма витиеватых, весьма высокопарных, из которых прежде всего заключаешь, что самое главное для каждого действующего лица — блеснуть во что бы то ни стало. Почти все выражено общими фразами. В каком бы волнении ни пребывали персонажи, они думают больше о публике, чем о своем внутреннем мире; им легче блеснуть каким-нибудь изречением, нежели выразить чувство; оставляя в стороне пьесы Расина и Мольера [1], надо сказать, что «я» так же старательно изгнали с французской сцены, как из писаний монастыря Пор-Рояль, и человеческие страсти, усвоив скромность, подобную христианскому смирению, говорят здесь лишь безличными оборотами. Ко всему этому актерскую игру отличает напыщенная манерность и в движениях и в словах, а это никогда не позволяет страсти говорить своим языком, актеру же воплотиться в свой персонаж и воображе-

[1] Нельзя сопоставлять Мольера и Расина, ибо в творениях первого, как и всех прочих, полным-полно назиданий и поучений, особенно в стихотворных пьесах, а в произведениях Расина все — воплощение чувства, каждый персонаж живет своею жизнью, и именно благодаря этому он единственный настоящий драматург среди писателей его страны.

нием перенестись с ним на место действия, он прикован ко всему, что происходит на сцене под взглядами зрителей. Поэтому самые живые положения никогда не позволяют ему забывать ни об изящном произнесении фраз, ни о красивости позы, и если в порыве отчаяния он вонзает себе в сердце кинжал, то ему мало, падая мертвым, соблюдать приличие, наподобие Поликсены,— нет, он не падает вовсе. Приличие поддерживает его на ногах и после смерти, да и все, кто только что отправился на тот свет, вмиг уже снова на ногах.

Происходит все это оттого, что французы не желают видеть на сцене что-либо естественное и правдоподобное, а ждут лишь острословия и рассуждений, театр для них увеселение, а не подражание жизни, он не увлекает их, а только забавляет. Никто не посещает театр ради театра, а лишь ради того, чтобы посмотреть публику и самому показаться ей, знать о чем посудачить после представления. Смотрят же представление не для того, чтобы задуматься над ним, а чтобы о нем поговорить. Актер для них всегда актер, а не персонаж. Вот этот человек, вещающий как властелин мира, отнюдь не Август, а Барон; вдова Помпея — Адриенна; Альзира — мадемуазель Госсен, а сей великолепный дикарь — Гранваль. Актеры же, со своей стороны, и вовсе пренебрегают миром воображаемым, видя, что никому до него нет дела. Они показывают древних героев между шестью рядами молодых парижан; их римские одеяния воспроизводят французскую моду; у рыдающей Корнелии слой румян толщиною в два пальца, Катон напудрен добела, а Брут — с буфами на бедрах. Все это не оскорбляет ничьего вкуса и не влияет на успех пьесы: ведь в действующем лице видят только актера, а поэтому в драме — только автора; и небрежение ко внешности действующих лиц легко прощается, ибо известно, что Корнель не был портным, а Кребильон — парикмахером.

Итак, с какой стороны ни посмотреть — здесь все болтовня, условный язык, пустые слова. На театре, как и в свете: хоть ты и вслушиваешься, а все равно не понимаешь, что происходит. Да и нужды нет понимать! Человек говорит,— значит, можно заключить о его деяниях. Разве он не делает все, что надобно? Разве суждение о нем не сложилось? Человеком чести считается отнюдь не тот, кто хорошо поступает, а тот, кто прекрасно изъясняется,— одно опрометчивое, необдуманное замечание может причинить тому, кто его обронил, непоправимый вред, его не искупить и за сорок лет праведной жизни. Одним словом, не только деяния людей не походят на их речи,

но и судят о людях только по их словам, деяния же в расчет не принимаются. Кроме того, общество в большом городе кажется более уступчивым, обходительным, достойным доверия, нежели люд, не столь хорошо изученный,— но в самом ли деле оно человечнее, воздержнее, справедливее? Не знаю. Все это только внешние проявления; а при этой наружной искренности и приятной наружности, быть может, сердца более скрытны, более замкнуты, чем наши. Да и что по этому поводу могу сказать я — чужеземец, живущий в одиночестве, без каких-либо дел, без связей, без развлечений, полагающийся лишь на свое мнение?

Однако же я и сам начинаю испытывать какое-то умопомрачение, которое охватывает всякого, кто ведет здешний бурный и суетливый образ жизни; у меня просто голова идет кругом,— словно перед глазами мелькает целая вереница разных предметов. Ни один из них, поражая меня, не привлекает моего сердца, но все вкупе смущают мой покой и захватывают меня, иногда даже заставляя на миг забывать, что я существую и ради кого существую. Каждый день, выходя из дома, я запираю на ключ свои чувства и беру с собою другие — пригодные для пустого суетного света. Незаметно для себя я выражаю мнения и рассуждаю, как выражают мнения и рассуждают все. И если иной раз я и пытаюсь развеять предрассудки и увидеть вещи в их истинном свете, меня тотчас же ниспровергает поток фраз, смахивающих на здравые рассуждения. Мне с очевидностью доказывают, что только тот, кто не дорос до настоящей философии, вникает в суть вещей, что подлинный мудрец рассматривает их только с внешней стороны, что предрассудки должны быть для него принципами, приличия — законом, что наивысшая мудрость — жить под стать глупцам.

Итак, вынужденный по-новому смотреть на вещи, вынужденный считаться со всякими бреднями и заглушать голос природы и разума, я чувствую, как искажается божественный образ, который я ношу в своей душе,— бывший и предметом моих мечтаний, и примером для всех моих поступков; я меняю прихоть за прихотью, вкусы мои зависят от мнения света,— нынче я не ведаю, что мне понравится завтра.

Приведенный в полную растерянность, униженный, сокрушенный тем, как умалено во мне человеческое достоинство, видя, как далека от меня та духовная высота, к которой вместе воспаряли наши пылкие сердца, возвращаюсь я по вечерам домой; я объят тайной грустью, подавлен смертельным отвращением, а сердце мое, опустошенное, но переполненное тоской, напоминает шар, надутый воздухом. О, любовь! О, чистые чув-

ства, которыми она меня одарила!.. С каким восхищением углубляюсь я в себя! С каким восторгом еще обретаю в себе прежние чувства и прежнее достоинство! Как радуюсь, когда вновь вижу перед собою образ добродетели во всем его блеске, созерцаю твоїй образ, о Юлия, на престоле славы — одним дуновением ты рассеиваешь все злые чары. И облегченно вздыхает моя приунывшая было душа, я будто возрождаюсь, вновь живу и вместе с любовью обретаю все те возвышенные чувства, которые делают любовь мою достойноїй ее предмета.

## ПИСЬМО XVIII

*От Юлии*

Милыїй моїй друг, я только что наслаждалась самым отрадным зрелищем, какое только может пленять взоры. Самая благоразумная, самая славная девушка на свете стала наконец достойнейшеї и лучшеї на свете супругой. Человек порядочныїй, чаяния коего сбылись, полон уважения и любви к неї, и цель его жизни — баловать, боготворить ее, сделать счастливоїй. Не могу передать, как мне радостно быть свидетельницеї счастья моеї подруги, — то есть всеї душою разделять его. Ты не останешься равнодушным к нашеи радости, я в этом уверена,— ведь Клара всегда так нежно любила тебя, ты так дорог ей чуть ли не с детских лет, а она тебе — еще дороже после стольких ее благодеяний. Да, все чувства ее находят отклик в наших сердцах. Если они ее радуют, то нас они утешают,— в том-то и ценность дружбы, соединяющей нас троих, что счастье одного облегчает страданья двух остальных.

Не будем, однако, скрывать от себя, что мы отчасти теряем нашу несравненную подругу! Сейчас жизнь у нее идет поиному. Возникли новые отношения с людьми, новые обязанности, и сердце ее, принадлежавшее доныне только нам, теперь в долгу перед новыми привязанностями, и дружба обязана уступить им первое место. Более того, друг мой, мы должны с большею щепетильностью принимать ее ревностную заботу о нас. Нельзя пользоваться тем, что она любит нас, а мы нуждаемся в ее помощи, но надобно и считаться с тем, приличествует ли все это ее новому положению и одобрит или осудит супруг ее поступки. Нет нужды допытываться, что потребовала бы в таком случае добродетель,— достаточно законов дружбы. Тот, кто ради своеї пользы подвел бы друга, не имеет права на дружбу! В девицах она была свободна, за свои поступки отве-

чала сама перед собою — благородство ее намерений оправдывало ее в собственных глазах. Нас она почитала супругами, созданными друг для друга, и в ее чувствительном и непорочном сердце целомудреннейшая стыдливость сочеталась с нежнейшим состраданием к грешной подруге,— она прикрывала мои грехи, сама не греша. Ныне же все изменилось. Она должна давать отчет в своем поведении другому; она не только поклялась в верности,— она поступилась своей свободой. Она одновременно оберегает честь двух человек, и ей нельзя оставаться только порядочной, а надобно, чтобы ее все уважали. Ей уже мало творить добро, а нужно, чтобы все одобряли ее поступки. Добродетельной женщине следует быть не только достойной уважения мужа, но вызывать в нем уважение. Если муж порицает ее,— значит, она заслуживает порицания; и даже если она безгрешна, она становится виноватой, раз ее подозревают, ибо соблюдение приличий — одна из ее многочисленных обязанностей.

Я не совсем уверена, правильны ли все эти соображения,— суди об этом сам, но какое-то внутреннее чувство подсказало мне, что сестрице нельзя по-прежнему быть моей наперсницей и что не она первая должна завести об этом речь. Мои суждения часто вводили меня в обман, но таинные движения души никогда, оттого-то я более доверяю своему чутью, нежели разуму.

Вот почему я под каким-то предлогом взяла твои письма, которые хранила у нее, опасаясь всяких случайностей. Она их вернула с сердечною тоскою, которую сразу угадало мое сердце, и я убедилась, что поступаю правильно. Объяснения у нас не было,— мы все сказали друг другу взглядом. Она со слезами обняла меня. Не проронив ни слова, мы почувствовали, что язык дружбы в речах не нуждается.

Что же до нового адреса для писем, то я прежде всего подумала о Фаншоне Анэ — это было бы всего надежнее. Но если молодая женщина по своему положению ниже сестрицы, так неужели это повод к тому, чтобы меньше уважать ее доброе имя! Не следует ли, напротив, страшиться, что мой пример для нее опаснее — ведь чувства у нее менее возвышенные, и то, что для одной было проявлением самоотверженной дружбы, не станет ли для другой источником развращенности, и, злоупотребляя ее благодарностью, не заставлю ли я добродетель служить орудием порока! Ах, довольно и того, что я грешница,— зачем приобретать соучастников и отягчать свои проступки бременем чужих проступков? Оставим эту мысль, друг мой. Я придумала иной выход,— по правде говоря, он не так надежен, но зато и

не так заслуживает порицания, ибо тут не будет опорочено ничье имя, и мы обойдемся без посредника. Ты будешь писать мне на вымышленное имя, ну, например, г-ну Боске, и вкладывать письмо в конверт, адресованный Реджанино, а уж мое дело предупредить его. Таким образом, и сам Реджанино ничего не узнает. Самое большее — у него возникнут подозрения, но дознаваться он не посмеет, так как милорд Эдуард, от которого зависит его благополучие, мне за него поручился. А пока мы будем переписываться таким способом, я выясню, нельзя ли снова прибегнуть к способу, коим мы пользовались в дни твоих странствий по Вале, или к какому-либо иному,— более постоянному и надежному.

Если б я даже не знала о твоем душевном состоянии, я поняла бы по тону твоих писем, что жизнь, которую ты ведешь, тебе не по вкусу. Письма г-на де Мюра, которыми недовольны во Франции, не столь беспощадны. Подобно ребенку, который досадует на своих учителей, ты на первых же своих наставниках вымещаешь злобу за то, что тебе приходится изучать жизнь света. И всего удивительнее,— в особенное негодование тебя приводит то, что располагает к себе всех иностранцев, то есть радушие французов и их умение держать себя в обществе, хотя, по твоему же признанию, тебе следовало бы все это восхвалять. Ты говорил о необходимости различать, что присуще именно Парижу и что — любому большому городу; однако, не зная, что свойственно тому и другому, ты все порицаешь, не разобравшись, справедливы или пристрастны твои наблюдения. Как бы то ни было, французскую нацию я люблю, и мне не по сердцу, если о ней дурно отзываются. Из хороших книг, которые она нам дарит, я почерпнула — вместе с тобою — большую часть своих познаний. А кому мы обязаны тем, что наша родина уже не варварская страна? Оба величайших и добродетельнейших представителя новых времен — Катина̀ и Фенелон — были французами; Генрих IV, король, которого я люблю, добрый король, тоже был французом. Пусть Франция и не страна свободы, зато она страна правдолюбия; а такая свобода, по мнению мудреца, сто̀ит всякой другой. Французы гостеприимны, покровительствуют чужеземцу, даже прощают ему правду, которую им неприятно слышать; а ведь в Лондоне забросали бы камнями смельчака, сказавшего об англичанах лишь половину тех обидных слов, которые французы дозволяют говорить о себе в Париже. Батюшка провел жизнь во Франции и восторженно отзывается о ее добром и обходительном народе. Он пролил кровь, служа государю, и государь этого не забыл,— сейчас,

когда отец ушел на покой, он все еще удостаивает его своими милостями. Таким образом, меня близко касается добрая слава страны, в которой прославился мой отец. Любезный друг, ведь у всякого народа свои и хорошие и плохие качества,— почитай, по крайней мере, правду восхваляющую так же, как и правду порицающую.

Вот что еще хотелось мне сказать: стоит ли тебе тратить на праздное хождение в гости то время, что тебе еще остается провести в Париже? Ужели Париж более узкое поприще для расцвета талантов, чем Лондон? Или чужеземцам там труднее выйти на путь преуспеяния? Поверь мне, не все англичане лорды Эдуарды и не все французы походят на ненавистных тебе болтунов. Дерзай, пробуй, старайся, хотя бы для того, чтобы глубже познать нравы и судить, каковы на деле те люди, что так хорошо говорят. Как уверяет дядюшка, ты хорошо знаком с государственным устройством империи и ролью ее государей. Милорд Эдуард находит также, что ты недурно изучил основы политики и различные системы государственного правления. У меня нейдет из головы, что тебе подобает жить в той стране, где больше всего почитается достоинство человека, и что, как только тебя узнают, тебе найдется занятие. Что до религии, то почему твое вероисповедание повредит тебе более, чем любому другому? Ведь разум верней всего предохраняет и от нетерпимости и от фанатизма. Или во Франции царит более ханжеский дух, чем в Германии? И кто помешает тебе достичь в Париже того же, чего г-н де Сен-Сафорен достиг в Вене? Когда видишь перед собою цель, то надо не откладывая добиваться ее,— ведь так скорее придет успех. Если говорить о средствах к достижению цели, то, конечно, гораздо порядочнее выдвинуться благодаря своим талантам, чем благодаря друзьям! А подумать... О, это море... Еще более долгий путь... Я бы предпочла Англию, если бы до Парижа было дальше, чем до нее.

Кстати, я приметила что-то нарочитое в твоих письмах об этом большом городе. Ты когда-то с таким увлечением писал мне о жительницах Вале,— отчего же ты обходишь молчанием парижанок? Ужели эти изящные, прославленные женщины меньше заслуживают описания, чем какие-то жительницы гор, простоватые и неотесанные? Уж не боишься ли ты заронить в мое сердце тревогу, набросав портрет самых обворожительных созданий на свете? Полно, не заблуждайся, друг мой,— ведь всего пагубнее для моего душевного покоя именно то, что ты о них не рассказываешь. И что бы ты ни говорил, но твое

молчание внушает мне гораздо больше подозрений, нежели восторженные речи [1].

Мне было бы очень приятно также, если б ты написал хоть несколько слов о парижской опере, о которой здесь рассказывают чудеса. Что ж, пусть музыка плоха, но театральное представление может иметь свою прелесть; а если это и не так, у тебя будет предмет для злословия, и ты, по крайней мере, никого не оскорбишь.

Не знаю, стоит ли говорить, что несколько дней тому назад, воспользовавшись свадебным торжеством, ко мне, словно по сговору, явились еще два жениха: один — уроженец Ивердэна,— шатается из замка в замок в поисках приюта и охотничьих забав; другой — из немецкой Швейцарии — приехал в бернской почтовой кибитке. В первом есть нечто от щеголя, говорит он довольно развязно,— его замечания, вероятно, кажутся остроумными тем, кто не вникает в их суть. Другой же, невероятный балбес, застенчив, но это не милая застенчивость, которая возникает от боязни не понравиться, а замешательство, владеющее глупцом, который не знает, что сказать, и неловкость, появляющаяся у распутника, которому не по себе в обществе порядочной девушки. Достоверно зная намерения отца насчет этих господ, я с удовольствием пользуюсь его позволением обходиться с ними по своей воле, а прихоть моя такова, что скоро и следа, я думаю, не останется от прихоти, приведшей их ко мне. Я ненавижу их — как посмели они посягать на сердце, где царишь ты! Нет у них такого оружия, чтобы отвоевать его у тебя, а если бы и было, я возненавидела бы их еще сильнее. Да где им взять его, и им, и всем другим, и всему свету? Нет, нет, будь покоен, милый друг, когда б я встретила человека, достойного тебя, когда б предстал передо мною двойник твой, то все равно я бы внимала лишь тебе первому. Не тревожься из-за этих проходимцев, о которых мне и говорить не хочется. С каким удовольствием я бы выказала им все свое отвращение, разделив его поровну на две части, да так, чтобы сии господа тотчас же исчезли вместе, как вместе и появились, и чтобы я сообщила тебе сразу же о том, что оба вдруг уехали.

Господин Крузас недавно издал опровержение на «Послания» Попа, оно мне не понравилось. Говоря откровенно, я не

---

[1] Я бы составил дурное мнение о тех, кто, зная характер и положение Юлии, тотчас же не догадался бы, что это любопытство исходит не от нее. Вскоре читатель увидит, что ее возлюбленный в этом не ошибся,— если б он ошибся, это означало бы, что он ее разлюбил.

знаю, кто из двух сочинителей прав. Но я хорошо знаю, что книга г-на Крузаса никогда никого не заставит свершить доброе деяние и что нет такого доброго поступка, какого не попытаешься сделать, прочтя книгу Попа. Я всегда сужу о прочитанном по себе — вдумываюсь, как воздействовало оно на мою душу, и просто не представляю себе, какую пользу может принести книга, ежели она не зовет читателей к добру [1].

Прощай, милый, милый друг мой, не хотелось бы так скоро кончать письмо, да меня уже дожидаются, торопят. С сожалением покидаю тебя, ибо на душе у меня весело, а я люблю делить с тобою все свои радости. За последние дни матушка стала чувствовать себя получше, и это воодушевляет и радует меня. Она так окрепла, что присутствовала на свадьбе, была посаженой матерью своей племянницы — вернее, второй дочери. Бедненькая Клара даже расплакалась от радости. Суди же сам, что творилось со мною,— ведь я недостойна ее и вечно страшусь ее потерять. Право, она так же радушно принимает гостей на семейном торжестве, как в ту пору, когда была в цвете сил, и кажется, что легкое недомогание даже придает какую-то особую прелесть ее непринужденной учтивости. Нет, никогда моя бесподобная маменька не бывала столь доброй, столь обаятельной, столь достойной обожания... Знаешь, она несколько раз справлялась о тебе. Со мною она о тебе не заговаривает, но я знаю, что она любит тебя, и если бы ее слушали, то она первым делом составила бы наше счастье. Ах, если сердце твое умеет чувствовать так, как это ему подобает, сколько долгов обязано оно уплатить!

## ПИСЬМО XIX

*К Юлии*

Ну что ж, Юлия, брани, укоряй, наноси удары,— я все стерплю, но поверять тебе свои мысли не перестану. Только тебе могу я поведать обо всех своих чувствах, которые ты одна умеешь истолковать. Не с кем было бы моему сердцу говорить, если б ты не стала слушать! Я отдаю тебе отчет в своих наблюдениях и суждениях, чтобы ты меня наставила, а не с тем, чтобы одобрила. Чем больше ошибок я допускаю, тем скорее должен я в них тебе исповедаться. Если я порицаю обман, изумляющий меня в этом большом городе, мне нечего корить

---

[1] Если читатель одобряет сие правило и воспользуется им, чтобы судить об этом собрании, издатель возражать не будет.

себя за то, что я доверительно рассказываю тебе о нем, ибо о третьем лице я никогда не говорю такого, чего не сказал бы ему в глаза; и все то, что я пишу тебе о парижанах, я ежедневно говорю им самим. Недовольства они не выказывают и со многим соглашаются. Они жаловались на нашего Мюра, и это вполне понятно. Всякому видно, всякому ясно, что он их ненавидит,— это заметно даже в его похвалах. Когда же я порицаю их, они понимают,— или я жестоко ошибаюсь,— что мною руководят совсем иные чувства. Я так их уважаю, так им благодарен за их доброе отношение ко мне, что становлюсь еще откровеннее,— а это, быть может, кое для кого и не бесполезно, и, судя по тому, как все сносят мои правдивые слова, я смею верить, что они достойны их выслушивать, а я — высказывать. Дело в том, милая Юлия, что правда порицающая гораздо ценнее правды восхваляющей, ибо похвала в конце концов портит тех, кто ею тешится,— особенно скверные люди до нее особенно падки, а критика полезна, и сносит ее только человек достойный. От всего сердца говорю тебе: я почитаю французский народ, ибо только он действительно любит людей и по характеру своему склонен творить добро. Но именно поэтому я и не высказываю ему, как все, восторженного одобрения, хотя он на это всегда притязает даже в отношении к своим недостаткам, которые сам сознает. Когда бы французы вовсе не имели добродетелей, я бы молчал; когда бы они вовсе не имели пороков, они не были бы людьми. У кого так много похвальных свойств, того нельзя все хвалить да хвалить.

Что до попыток, о которых ты говорила, то они неосуществимы,— ведь ради этого пришлось бы пустить в ход средства, для меня не пригодные,— да ты бы и сама их запретила. Республиканская строгость в этой стране не в ходу. Здесь надобно обладать более гибкими добродетелями и притом приноравливаться к тому, что выгодно друзьям или покровителям. Достоинство в почете, согласен, но таланты, ведущие к славе, здесь отнюдь не тождественны тем, что ведут к богатству, и если бы я, к несчастью, был наделен последними, ужели ты, Юлия, согласилась бы стать женою выскочки? Иначе дело обстоит в Англии,— хотя там нравственность, пожалуй, ценится еще меньше, чем во Франции, но это не мешает людям более честными путями добиваться цели, ибо народ там принимает большее участие в управлении государством, поэтому и общественное уважение там больше помогает достичь успеха. Ведь тебе известно, что милорд Эдуард задумал воспользоваться этим средством, чтобы помочь мне, я же задумал не оставить

втуне его усердие. Я далек от тебя повсюду, где я не в силах предпринять ничего такого, что приблизило бы меня к тебе. О Юлия, трудно добиться твоей руки, но еще труднее заслужить ее; и эту благородную задачу возлагает на меня любовь.

На сердце у меня стало легче, когда ты сообщила добрые вести о здоровье твоей матушки. Перед отъездом я видел, как ты обеспокоена, и хотя не решался поведать тебе о своих тревожных мыслях, но находил, что она похудела, осунулась, и боялся какого-нибудь опасного недуга. Сбереги же ее для меня, ибо она дорога мне, ибо всем сердцем я чту ее, ибо у меня одна надежда на ее доброту, а главное, ибо она — мать моей Юлии.

Что до женихов, то должен сказать — не люблю я этого слова, даже произнесенного в шутку. Впрочем, ты говоришь о них таким тоном, что мне нечего опасаться этих неудачливых воздыхателей, и я уже не питаю к ним ненависти, раз ты считаешь, будто их возненавидела. Но я просто восхищен тем, что в душевной простоте ты сочла себя способной ненавидеть. Да неужели ты не понимаешь, что приняла за ненависть негодующую любовь! Так ропщет белая голубка, когда преследуют ее дружка. Полно, Юлия, несравненная моя,— тебе не познать ненависти, как мне — не разлюбить тебя.

P. S. Как мне жаль, что тебе надоедают два этих назойливых глупца! Хотя бы из любви к самой себе поскорее прогони их прочь!

## ПИСЬМО XX

*От Юлии*

Друг мой, я передала г-ну д'Орбу посылку, которую он обещал отправить по адресу г-на Сильвестра для тебя. Но предупреждаю, распакуй ее, когда останешься один, и притом у себя в комнате. Ты получишь вещицу, предназначенную для твоей повседневной жизни.

Это своего рода амулет, который охотно носят любовники. Пользуются им довольно странным образом: каждое утро надобно созерцать его четверть часа, покуда не почувствуешь, что ты весь проникся каким-то умилением, потом надо прикладывать к глазам, устам, сердцу — говорят, это весь день охраняет от тлетворного духа в стране любовных приключений. Таким талисманам вдобавок еще приписывают какую-то особую электрическую силу, но действительную только для

влюбленных, хранящих верность: она помогает за сотни лье чувствовать поцелуи тех, кто нас любит.

Успокойся насчет двух моих воздыхателей, или искателей руки,— зови их как хочешь, ибо отныне название не имеет ровно никакого значения. Они уехали: пусть отправляются с миром. С тех пор как я их не вижу, я уже не питаю к ним ненависти.

## ПИСЬМО XXI

*К Юлии*

Ты этого хотела, Юлия,— что ж, придется описать этих милейших парижанок! Надменная! Твоей красоте недоставало только этой дани восхищения! Невзирая на твою притворную ревность, невзирая на твою скромность и любовь, в твоем любопытстве, право, больше тщеславия, нежели затаенной тревоги. Как бы там ни было, я отвечу тебе правдиво,— мне нетрудно быть правдивым. Я был бы рад, если б мог больше восхвалять их. Отчего они не обворожительней во сто крат, отчего не привлекательней, дабы я мог вновь подчеркнуть всю твою привлекательность!

Ты сетовала, что я о них умалчиваю! Да что говорить о них? Читая это письмо, ты поймешь, почему я с удовольствием рассказывал тебе о жительницах Вале — твоих соседках,— и не рассказывал вовсе о здешних женщинах. Да потому, что одни то и дело напоминали мне тебя, другие же... Читай, а потом уж суди меня. Впрочем, мало кто думает, как я, о француженках,— пожалуй, никто не разделяет моего мнения. Справедливости ради я и предупреждаю тебя об этом: знай же, что я изображаю их, быть может, не такими, какие они есть на самом деле, а какими они мне представляются. Несмотря на эту оговорку, ты, разумеется, уж непременно станешь снова порицать меня, если я буду несправедлив к ним, и будешь еще несправедливей меня, ибо виновата в этом ты сама.

Начнем с облика: почти все наблюдатели этим и ограничиваются. Последуй я их примеру, здешние дамы имели бы право возроптать; внешнее впечатление от их характера, так же как от их лиц, не на пользу им, поэтому было бы ошибкой судить о них лишь по наружности. Они не дурны собой, впрочем, в большинстве случаев скорее некрасивы,— об исключениях не говорю. Фигуры тонкие, но не стройные, стан не отличается изяществом, поэтому они охотно следуют такой моде, которая скрывает его природную форму,— вот почему я на-

хожу неразумным, что женщины в других странах подражают французской моде, созданной для сокрытия изъянов, коих у них-то нет.

Походка у них свободная, непринужденная. Манера держаться естественная, ибо стеснять себя они не любят. Но в них есть некая врожденная «disinvoltura» [1], не лишенная прелести, хотя частенько они стараются придать ей совсем уж взбалмошный характер. Они не белолицы, как правило — несколько тощи, что не служит к украшению их кожи. Бюст у парижанки прямая противоположность бюсту жительницы Вале. Перетягивая стан, они стараются ввести вас в заблуждение и казаться полногрудыми; есть другие уловки — чтобы ввести в заблуждение относительно цвета лица. Я приметил все эти прикрасы на изрядном расстоянии, рассмотреть их не трудно, посему неразгаданного остается мало. Здешние дамы, очевидно, плохо понимают свою выгоду: ведь если личико пригожее, воображение зрителя в остальном будет служить им куда лучше, чем его глаза, и, по словам гасконского философа, неутоленная жадность чувства более остра, чем жадность, удовлетворенная хотя бы одним из наших ощущений.

Черты у них не очень правильные, но, хотя они не красавицы, выражение лица заменяет им красоту, а иной раз даже и затмевает ее. Однако в их живых и блестящих глазах нет ни проникновенности, ни нежности. Они пытаются придать своему взору блеск, нарумянивая щеки, но из-за этого глаза их сверкают как бы гневом, а не любовью,— от природы же им дано выражать лишь жизнерадостность; а если иной раз и чудится, что они взывают к нежным чувствам, то сами никогда их не сулят [2].

Одеваются они так изящно,— во всяком случае, по общепринятому мнению,— что и в этом, как и остальном, служат образцом для всей Европы. И действительно, с непередаваемым вкусом носят они самые немыслимые наряды. Нет на свете женщин, которые так мало подчинялись бы своим же собственным модам. Мода — владычица провинциалок, а парижанки — владычицы моды, и каждая умеет применить ее к себе. Провинциалки — это как бы невежественные и раболепные переписчики, копирующие все, вплоть до орфографических ошибок;

---

[1] Развязность *(итал.)*.

[2] Говорите за себя, любезный философ; а может быть, другим повезло больше? Только кокетка сулит всем то, что должна хранить лишь для одного.

парижанки — это творцы, искусно воссоздающие оригинал и умело исправляющие его ошибки.

Украшения изысканны и совсем не пышны,— тут царствует изящество, а не великолепие. Быстротечная смена моды, каждый год отживающей свой век, и забота об опрятности заставляют парижанок часто менять наряды,— и все это спасает их от смешной роскоши. Тратят они не меньше, зато с бóльшим толком. Здесь видишь не пышные и поношенные, как в Италии, наряды, а простые и всегда свежие. В этом отношении и мужчины отличаются равною умеренностью и чувством изящного, и их вкусы мне очень по душе: приятно, что нет мишуры и грязных пятен. Никакой другой народ, за исключением еще нашего,— особенно же это касается женщин,— не носит так мало раззолоченных нарядов. Все сословия одеты в платья из одних и тех же тканей, и трудно было бы отличить герцогиню от мещанки, когда бы одна не придумывала особенных ухищрений, которые другая не решается перенимать. Однако в этом, по-видимому, есть свои неудобства, ибо какую бы моду ни ввели при дворе, мода эта тотчас же усваивается городом; и в Париже только провинциалки и иностранки следуют устаревшей моде. И в этом тоже все по-иному, чем в других странах, где самые знатные вельможи бывают и самыми богатыми, и поэтому их жены щеголяют такою роскошью, что с ними никто не сравнится. Если бы придворные дамы и здесь пошли этой стезею, их вскоре бы затмили жены финансистов.

Что же они сделали? Они избрали более надежные, более ловкие способы, говорящие о большей сообразительности. Им известно, что требования нравственной чистоты и скромности глубоко запечатлены в душе народа; это и помогло им создать неподражаемые моды. Они приметили, что простой народ с отвращением относится к притираниям, упрямо называет их грубым словцом — притирка, и перестали их делать, теперь они накладывают на лица толстый слой румян; ведь название изменилось,— значит, и суть уже не та. Они приметили, что вырез на груди в народе считается неприличием, и стали делать корсажи с глубоким вырезом. Они приметили... э, да они приметили великое множество всего того, что моя Юлия, моя непорочная голубка, разумеется, никогда бы не приметила. И в их манерах царит тот же дух, что в их прикрасах. Милая стыдливость, которая так отличает, так возвеличивает, так украшает твой пол, им показалась пошлой и простонародной; для оживления они стали придавать своим жестам и речам аристократическое бесстыдство,— всякий порядочный мужчина опускает долу глаза,

встретившись с их дерзким взглядом. Таким образом, перестав быть женщинами из боязни, чтоб их не смешали с другими женщинами, они предпочитают принадлежать к высшему кругу, а не к своему полу, и подражают девкам, лишь бы им не подражал никто.

Право, не знаю, до каких пределов доходят они в своем подражании, но, разумеется, не удалось им предотвратить и подражания им самим, столь для них нежелательного. Что до румян и корсажей с глубоким вырезом, то они получили распространение повсюду, где только это возможно. Парижанки предпочли отказаться от естественного цвета лица и от всей той прелести, какую придает им «amoroso pensier» [1] их возлюбленных, только бы не походить на мещанок; низшие сословия не последовали их примеру лишь потому, что женщине идти пешком в таком виде, пожалуй, небезопасно: как бы простой люд не засыпал их оскорблениями. Оскорбления эти — вопль возмущенного целомудрия, и, в данном случае, как и во многих других, народная грубость, более благородная, чем пристойность тонко воспитанных людей, быть может, удерживает сотню тысяч женщин в границах скромности, на это именно и рассчитывают ловкие изобретательницы подобных мод.

Что до их солдатских манер и гренадерского тона, то все это не так поражает, ибо более распространено и заметно только людям новым. В Париже,— от самого Сен-Жерменского предместья и до главного рынка,— почти все женщины своими вызывающими взглядами и повадками повергают в смущение человека, не видевшего ничего подобного у себя на родине, и он бывает так поражен, что начинает держаться с тою принужденностью, коей попрекают иностранцев. Хуже всего, когда женщина заговорит. Ты не услышишь нежного, милого голоса наших соотечественниц из кантона Во — нет, голос резкий, пронзительный, вопрошающий, повелевающий, насмешливый — и громче мужского. Если в тоне еще сохранилась какая-то милая женственность, то она почти совсем уж заглушена их дерзкой и странной манерой атаковать мужчин. Очевидно, им нравится ввергать в замешательство тех, кто их видит впервые; но, право, замешательство не так бы пришлось им по вкусу, если б они получше разобрались в его причинах.

Однако оттого ли, что я питаю особое пристрастие к красоте или оттого, что она сама безотчетно выставляет себя с выгодной стороны, но мне показалось, что красивые парижанки

---

[1] Любовная мечта *(итал.)*.

ведут себя скромнее и благопристойнее. Сдержанность эта им ничего не стоит,— они хорошо чувствуют свое преимущество, знают, что им ненадобны задорные ужимки, дабы прельщать нас. А может быть, бесстыдство особенно заметно и неприятно в сочетании с уродством — право, некрасивое и притом наглое лицо скорее осыплешь пощечинами, нежели поцелуями,— меж тем если бы оно выражало скромность, то могло бы возбудить нежное сочувствие, иной раз ведущее и к любви. Но хотя здесь, вообще говоря, поведение хорошеньких женщин и приятнее, а все же в их манерах столько жеманства и они так явно заняты собою, что, право, в этой стране никогда не почувствуешь искушения, какое испытал г-н Мюра, встречаясь с англичанками,— искушения сказать женщине, что она прекрасна, просто ради удовольствия открыть ей на это глаза.

Веселость, присущая самой нации, и стремление подражать манерам высшего общества не единственная причина вольности в разговоре и поведении, свойственной здесь женщинам. По всей вероятности, она имеет глубокие корни в местных нравах, в постоянном нескромном смешении полов, при котором оба пола перенимают один у другого повадки, выражения и манеры. Наши швейцарки любят женское общество; [1] их связывает нежная дружба,— как видно, они не пренебрегают и обществом мужчин, но достоверно и то, что присутствие последних вносит какое-то стеснение в маленькое женское царство. В Париже, напротив, женщины любят проводить время только с мужчинами, лишь с ними чувствуют себя непринужденно. В каждом собрании хозяйка дома почти всегда — единственная женщина в кругу мужчин. Непостижимо, откуда берется повсюду столько мужчин. В Париже полным-полно искателей приключений и холостяков, которые только и делают, что шатаются по гостям — так и кажется, что мужчины разменяваются в обращении, как ходячая монета. Вот женщина и учится говорить, действовать, думать под стать мужчинам, а они — под стать ей. Все только за нею одной волочатся, а она преспокойно и с удовольствием выслушивает оскорбительные признания, которым никто даже и не трудится придать хотя бы кажущуюся искренность. За ней ухаживают, это главное, а не все ль равно — всерьез или ради шутки! Но стоит появиться другой женщине, и вся непринужденность исчезает, вместо

---

[1] Все это сильно изменилось. Судя по изображаемым обстоятельствам, письма эти, очевидно, написаны лет двадцать тому назад; а судя по нравам и стилю, кажется, что все происходило в ином веке.

нее — светские манеры, жеманство; внимание мужчин раздваивается, и все втайне чувствуют себя натянуто до тех пор, пока не разойдутся по домам.

Парижанки любят смотреть представления на театре, то есть, иными словами, показывать себя, но всякий раз, собираясь поехать в театр, они в затруднении — надо найти спутницу, ибо женщине нельзя сидеть в ложе одной, даже в обществе мужа, даже в обществе какого-либо мужчины — таков обычай. Нельзя и передать, как в этой столь общительной стране трудно уладить подобное дело,— оно не удается в девяти случаях из десяти. Женщин объединяет желание пойти в театр, но разобщает нежелание быть вместе. По-моему, женщины могли бы легко упразднить этот нелепый обычай. Отчего женщине нельзя показываться одной в обществе,— где тут смысл? Но, быть может, именно благодаря бессмыслице такой обычай и сохраняется. Хорошо по возможности соблюдать приличия там, где нарушать их незачем. К чему женщине право бывать в опере без спутницы? Не лучше ли оставить за собой право принимать у себя приятелей!

Женщины живут отчужденно, обособленно друг от друга среди целого множества мужчин, и тысячи тайных связей — должно быть, следствие такого образа жизни. Ныне все с этим согласны, житейский опыт развеял нелепое утверждение, которое гласило, что якобы, умножая искушения, победишь их. Итак, ныне уже не говорится, что этот обычай честнее, а что он приятнее,— но, по-моему, это не соответствует истине. Да ужели любовь может царить там, где глумятся над стыдливостью? И чем привлекательна жизнь без любви и порядочности? Скука — страшный бич для всего этого веселящегося общества, поэтому женщины стремятся не к тому, чтобы их любили, а чтобы развлекали; волокитство и угождения стоят больше, чем любовь; за вами усердно ухаживают, ну, а влюблены ли — не все ль равно? Даже слова «любовь» и «возлюбленный» изгнаны из задушевной беседы мужчины и женщины и вместе со словами «узы» и «пламенная страсть» перекочевали в романы, которых никто уже не читает.

Как будто весь порядок естественных чувств в здешних местах опрокинут. Сердцу неведомы никакие узы любви: девушке иметь их возбраняется,— а право на них дано лишь замужней женщине, причем эти узы могут соединять ее со всеми, кроме мужа. Пускай у матери будет хоть два десятка возлюбленных, только б ни одного не было у дочери. Никто не станет негодовать, узнав о прелюбодеянии,— в нем не находят

ничего противного приличию; прелюбодеяниями полны пристойнейшие романы, которые всякий читает ради того, чтобы просветиться; и никто не порицает распутство, когда вдобавок к нему нарушается верность. О Юлия! Женщина, которая не страшилась сотни раз осквернять супружеское ложе, посмеет своими нечистыми устами обвинить нашу целомудренную любовь и осудить союз двух искренних сердец, не знавших лжи. Можно подумать, что брак в Париже отнюдь не таков по природе своей, как повсюду. Они притязают на то, что он — таинство, но таинство это не имеет той силы, какой обладают самые обыденные гражданские договоры: очевидно — это соглашение между двумя ничем не связанными людьми, решившими жить вместе, носить общую фамилию, признавать общих детей, но, помимо этого, они не имеют никаких прав по отношению друг к другу; и если бы здесь супруг вздумал заклеймить дурное поведение супруги, то он навлек бы на себя такое же недовольство, какое заслужил бы в наших краях, если б сам вел распутный образ жизни. Да и жены тут не следят со строгостью за своими мужьями, и еще не бывало случая, чтобы они наказывали мужей за то, что те, подражая им, нарушают верность. Впрочем, разве можно ждать и от той и от другой стороны более достойного отношения к брачному союзу, заключенному без участия сердца? Тот, кто сочетается браком с богатством или положением, ничем никому не обязан.

Даже любовь, сама любовь утратила свои права и так же исковеркана, как и брак. Если супруги здесь — холостяки и девицы легкого поведения, живущие совместно ради того, чтобы вольготнее было вести беспутную жизнь, то любовники равнодушны друг к другу и встречаются ради развлечения, из тщеславия, по привычке или по зову минутного вожделения. Сердцу нечего делать в таких союзах,— здесь сообразуются только с удобствами и кое-какой внешней благопристойностью. Все сводится к своего рода знакомству друг с другом, к совместной жизни или к стараниям как-нибудь устроиться, к мимолетным встречам, а то и к меньшему, если это возможно. Любовная связь длится чуть дольше визита; это несколько милых бесед и милых писем, в которых найдешь и описания разных людей, и правила, и философию, и остроумие. Что до утех плоти, то здесь их не утаивают; благоразумно полагают, что следует с легкостью утолять вожделения; первая встречная сходится с первым встречным,— будь то любовник, будь то кто угодно. Ведь мужчина — всегда мужчина; право, почти все стоят друг друга, и в этом, по крайней мере, есть какая-то после-

довательность, ибо зачем хранить бо́льшую верность любовнику, нежели супругу? Да и, кроме того, в определенном возрасте почти все мужчины одинаковы, одинаковы и все женщины. Все это — куклы из одной и той же модной лавки, и стоит ли долго выбирать, когда всего удобнее взять то, что попалось под руку.

Сам я в этом не искушен,— мне обо всем рассказали, да притом в таком несообразном тоне, что я ничего толком и не понял. Усвоил я одно,— у большинства дам любовник на положении лакея: если он с делом не справляется, его прогоняют и берут другого; если он подыскал местечко получше или ему осточертело его ремесло, он уходит, и тогда берут другого. Бывает, говорили мне, что иная причудница заинтересуется вдруг и главой дома, ведь как-никак он тоже мужчина; но такая прихоть мимолетна, и лишь она пройдет, его отстраняют и берут другого, а если он артачится, за ним сохраняют его место, но берут в дополнение еще кого-нибудь.

«Да, но как же,— спросил я своего собеседника, который рассказывал мне об этих престранных обычаях,— как же женщина будет потом встречаться с теми, кто ушел или получил отставку?» — «Да что вы! Станет она с ним встречаться! Они больше не видятся,— раззнакомились. А если вдруг кому-нибудь из них вздумается возобновить связь, то придется вновь знакомиться, и хорошо еще, если его узнают».— «Понимаю,— отвечал я,— но, даже отбросив все преувеличения, я не могу постичь,— ужели после столь нежной близости можно видеться хладнокровно, ужели сердце не колотится при одном имени того, кто был тебе любезен, ужели не испытываешь трепета при встрече?» — «Трепета! Как вы смешны,— перебил он,— или вы хотите, чтобы наши женщины только и делали, что падали в обморок!»

Опусти некоторые слишком уж большие преувеличения в этой картине, рядом с ней поставь Юлию и вспомни о моем сердце,— больше добавлять мне нечего.

Однако следует заметить, что, привыкнув, порою перестаешь замечать и неприятное. Дурное видишь прежде хорошего, но и хорошее, в свою очередь, тоже становится заметно. Обаяние ума и права придает ценность всей личности. Стоит преодолеть неприязнь, и она вскоре превращается совсем в иное чувство. Это другая точка зрения на картину: справедливости ради я не могу изображать все с одной лишь невыгодной стороны.

Всего неприятней в больших городах то, что люди там становятся иными, чем они есть на самом деле, и общество придает им, так сказать, сущность, не сходную с их сущностью.

Эта истина в особенности применима к Парижу и в особенности — к женщинам, цель жизни которых — обращать на себя внимание. Вот вы на балу приблизились к даме, воображая, что перед вами парижанка, а оказывается, перед вами лишь наглядное изображение моды. Рост, пышность форм, походка, стан, грудь, цвет лица, весь облик, взгляд, речи, манеры — все-то у нее поддельное, и когда б вам довелось увидеть ее во всей ее природной безыскусности, вы бы ее не узнали. А ведь такое изменение редко служит к украшению женщины, да и вообще никто не выигрывает, подменяя природу. Впрочем, совсем вытравить природу никогда не удается, она всегда в чем-нибудь да проявится,— искусство наблюдателя и заключается в умении уловить ее. Искусство это нетрудно, когда имеешь дело со здешними женщинами. В них гораздо больше естественности, чем они сами воображают, поэтому коль скоро вы станете поусердней навещать их, коль скоро заставите их забыть о постоянном лицедействе, которое им так нравится, вы увидите их подлинную сущность, и тотчас же первоначальная неприязнь к ним превратится в чувство уважения и дружелюбия.

Вот что мне случилось наблюдать на прошлой неделе в загородном доме, куда нас — меня и еще нескольких новичков-приезжих — весьма опрометчиво пригласили несколько дам, не удостоверившись заранее, подходим ли мы к их обществу, или просто желая позабавиться и вдоволь над нами посмеяться. В первый день так оно и случилось. Поначалу они потешались над нами, осыпая забавными и язвительными шутками, но никто шуток не отражал, и колчан с остротами иссяк. Тут дамы любезно нам уступили; они так и не заставили нас подделаться под их тон, поэтому им пришлось подделаться под наш. Уж не знаю, право, понравилась ли им эта замена, но я чувствовал себя чудесно и с удивлением увидел, что в беседах с ними узнаю куда больше полезного, чем в беседе с иным мужчиной. Остроумие придавало прелесть их здравым суждениям, и мне было досадно, что они его извращали; как я с сожалением увидел при более близком знакомстве со здешними женщинами, эти милые особы не отличаются благоразумием лишь потому, что этого не желают. На моих глазах их безыскусная, врожденная прелесть незаметно вытесняла столичное манерничанье, ибо манеры, даже если и не думаешь об этом, соответствуют теме беседы — умные разговоры нельзя приправлять кокетливыми ужимками. Я нашел также, что они похорошели, как только перестали прихорашиваться, и понял: дабы нравиться, им надобно лишь одно — стать естественными. На этом основа-

нии я и осмелился предположить, что, пожалуй, не найти на свете места, где царила бы такая безвкусица, как в Париже, прослывшем законодателем вкуса, раз все те старания, которые предпринимаются там, чтобы пленять, портят истинную красоту.

Так мы провели вместе четыре-пять дней, довольные друг другом и собою. Вместо того чтобы осматривать Париж во всей его суете, мы просто забыли о нем. Все наши помыслы сводились к одному — насладиться милым, приятным обществом. Для хорошего расположения духа нам ненадобны были ни сатирические шутки, ни язвительные насмешки — и мы смеялись не издевательским, а веселым смехом, как смеется твоя сестрица.

Окончательно изменить мое мнение о парижанках заставило меня еще одно обстоятельство. Часто в разгаре увлекательнейшей беседы к хозяйке дома подходили слуги и шептали ей что-то на ухо. Она тотчас же удалялась и, уединившись у себя в комнате, что-то писала, долго не возвращаясь к гостям. Нетрудно было объяснить эти исчезновения тем, что она пишет любовные записки,— вернее, записки, которые здесь принято называть любовными. Одна из дам намекнула на это, но ее шутку встретили с неодобрением, и я понял, что, может быть, у хозяйки дома нет любовника, зато есть друзья. Однако из любопытства я кое-что выпытал, и каково же было мое удивление, когда оказалось, что она принимает у себя не парижских пустомелей, а крестьян из того прихода, к которому принадлежит ее поместье,— они обращаются с разными нуждами к своей госпоже, испрашивая ее заступничества! Один отягчен податями, от которых освобожден тот, кто побогаче, другого забрали в рекруты, не считаясь ни с его возрастом, ни с тем, что он — отец семейства [1], а еще одного по миру пустил богач сосед, затеяв несправедливую тяжбу, а еще кого-то разорил град, но с него требуют арендную плату. Словом, все приходили просить помощи, всех она терпеливо выслушивала, никого не прогнала прочь и тратила время не на любовные записки, а на прошения в защиту этих несчастных. Не могу передать тебе, с каким удивлением я узнал и о том, сколько отрады доставляли этой молоденькой женщине — любительнице увеселений — сии добрые дела и как мало она ими кичилась. Право же,— говорил я себе в умилении,— право, сама Юлия поступила бы точно так же. И с той минуты я стал смотреть на нее с уважением и более не замечал ее недостатков.

---

[1] Так было в прошлую войну, но не в эту, насколько мне известно. Людей женатых теперь щадят, потому-то многие и вступили в брак.

Как только я начал делать наблюдения в этой области, я понял, что те самые женщины, которых доселе я считал несносными созданиями, обладают тысячью превосходных качеств. Все иностранцы сходятся на том, что стоит их отвлечь от болтовни о модах, и не сыщешь в мире страны, где бы женщины были просвещеннее, разумнее, рассуждали более дельно, умели, когда надобно, лучше помочь советом. Что дает уму и сердцу беседа с испанкой, итальянкой, немкой, ежели оставить в стороне язык любви и острословие? Да ничего. И ты, Юлия, сама знаешь, что это обычно относится и к нашим соотечественницам-швейцаркам. Зато тому, кто не побоялся бы прослыть невежей и принудил бы француженок выйти из их крепости, откуда они, по правде говоря, не очень-то любят выбираться,— тому сразу пришлось бы повести словесный бой в чистом поле, и чудилось бы ему, будто он сражается с мужчиной,— так они умеют вооружаться разумом, когда этого требует необходимость. Что до их доброго нрава, не буду ссылаться на готовность оказывать услуги друзьям, ибо тут, может быть, господствует ретивое самолюбие, одинаковое во всем мире; хотя вообще они любят только себя, но долгая привычка,— если им достает постоянства для ее приобретения,— заменяет в их душе место горячего чувства, и те женщины, которые способны выдержать десятилетний срок своей привязанности, обычно сохраняют ее уже на всю свою жизнь. И любят они старых друзей нежнее, и, по крайней мере, вернее, нежели своих молодых возлюбленных.

По довольно распространенному мнению, исходящему, кажется, от самих женщин, считается, будто они заправляют всеми делами страны, а следовательно, больше творят зла, чем добра. Но оправдывает их то, что они творят зло под влиянием мужчин, добро же они делают по собственному побуждению. Это вовсе не противоречит сказанному выше — что сердце не принимает ни малейшего участия в любовных похождениях и женщин и мужчин, потому что французская обходительность предоставила женщинам всеобъемлющую власть, а для ее поддержки нежные чувства не требуются. Все зависит от женщин; все делается лишь ими и для них — Олимп и Парнас, слава и богатство тоже подчинены их воле. Книги получают ценность, сочинители получают признание, если на то дадут свое соизволение женщины; они всевластно вершат судьбы важнейших и приятнейших наук. В поэзии и прозе, в истории и философии, даже в политике сразу по стилю книг видишь, что они написаны для забавы хорошеньких женщин,— даже Библию

недавно переделали в собрание любовных историй. В делах, чтобы добиться цели, они пускают в ход все свое обаяние, влияя даже на собственных мужей, не потому, что это их мужья, а потому, что они мужчины: так уж повелось, что мужчина ни в чем не отказывает женщине, даже своей жене.

Впрочем, власть эта основана не на привязанности, не на уважении, а всего лишь на вежливости и светских правилах, ибо французской учтивости свойственно не только обходительное, но и презрительное отношение к женщинам. Питать к ним презрение — это своего рода знак высокого достоинства, свидетельствующий, что с женщинами достаточно долго жили и раскусили их. Того же, кто их уважает, они сами считают простофилей, прекраснодушным рыцарем, чудаком, знающим женщин только по романам. Сами женщины составили о себе справедливое суждение, они сочтут тебя недостойным внимания, если ты будешь их уважать, и первейшее качество волокиты, имеющего успех у женщин,— наглая самоуверенность.

Как бы то ни было, напрасно они воображают, будто наделены злым нравом,— они добры наперекор себе, и есть область, где их добросердечность особенно полезна. Во всех странах дельцы обычно непротивны и чужды сострадания; и в Париже, этом деловом средоточии самого великого народа Европы, дельцы — самые жестокосердые люди на свете. И вот, чтобы добиться милосердия, обездоленный обращается к женщинам — своим единственным заступницам,— они не глухи к просьбам, они выслушивают его и утешают, они помогают ему. Порою среди светской суеты они способны, улучив минуту-другую, пожертвовать удовольствиями во имя своей врожденной доброты; а ежели кое-кто из них свои услуги ближнему превращает в позорный промысел, то тысячи других каждый день безвозмездно помогают бедному деньгами, а угнетенному — влиянием. Правду сказать, частенько они при этом бывают неразборчивы в средствах и, помогая знакомым несчастливцам, без зазрения совести вредят незнакомым. Но разве знаешь всех в столь большой стране? И способно ли на большее это милосердие, чуждое истинной добродетели, высший подвиг коей не столько в том, чтобы творить добро, сколько в том, чтобы не совершать зла.

Всего этого я бы и не узнал, когда бы ограничился лишь картинами нравов в романах да комедиях тех сочинителей, которые видят в женщине лишь смешные черты, присущие и им самим, а не хорошие качества, им самим не свойственные, или

описывают образцы добродетели, подражать коим женщина не дает себе труда, считая их пустой выдумкой,— меж тем как следовало бы побуждать ее к добрым деяниям, восхваляя те, которые она уже совершает. Быть может, романы — последнее средство, к коему стоит прибегнуть, наставляя народ, до того испорченный, что все другие средства бесполезны. В таком случае было бы хорошо, если б разрешали писать книги такого рода людям не только порядочным, но и чувствительным, вкладывающим всю душу в свои произведения, сочинителям, которые не взирали бы свысока на человеческие слабости, не изображали бы добродетель, уже парящую в небесах, вне пределов досягаемости, но заставили бы людей полюбить ее, поначалу показав ее не столь строгой, а затем незаметно повлекли бы их к ней из самых недр порока.

Я уже предупреждал тебя, что не разделяю общего мнения о здешних женщинах. Все единодушно находят, что обхождение у них самое обворожительное, красота самая обольстительная, кокетство самое утонченное, что учтивость их верх совершенства, а искусство нравиться поистине несравненно. Меня же их обхождение возмущает, кокетство отталкивает, манеры кажутся бесцеремонными. По-моему, сердце должно замкнуться перед их попытками к сближению, и никто не разубедит меня в том, что, разглагольствуя о любви, они показывают свою неспособность внушить ее и полюбить самим.

С другой же стороны, молва гласит, что надобно остерегаться их нрава,— говорят, они легкомысленны, хитры, неискренни, ветрены, непостоянны, они сладкоречивы, но не умеют размышлять, а еще менее — чувствовать, и растрачивают все свои дарования в пустой болтовне. Мне же представляется, что все это — личина, под стать их фижмам и румянам. Все это — пороки той показной жизни, которую приходится вести в Париже, пороки, таящие под собой и чувства, и здравый смысл, и человечность, и добрые начала. Женщины здесь меньше болтают, меньше сплетничают, чем у нас, и, пожалуй, меньше, чем где-либо. Они гораздо образованнее, а образование помогает им судить здраво. Одним словом, хотя мне претит в них все, что присуще их полу, искаженному по их милости, я уважаю в них все, что сходно с нами и делает нам честь. И я нахожу, что им бы во сто крат больше подходило быть достойными мужчинами, нежели учтивыми женщинами.

Итак, если бы Юлии не существовало, если б мое сердце могло почувствовать другую привязанность, а не ту, для которой оно создано,— я бы никогда не выбрал себе супруги в Па-

риже, а тем болсе возлюбленной, но я с удовольствием приобрел бы там друга-женщину; и такое сокровище, вероятно, утешило бы меня в том, что я не сыскал там ни той, ни другой [1].

## ПИСЬМО XXII

*К Юлии*

С тоїї поры как я получил твое письмо, я ежедневно ходил к г-ну Сильвестру и осведомлялся, не пришла ли посылка. Но она все не приходила, и, снедаемый смертельным нетерпеньем, я семь раз напрасно к нему наведывался. И вот, наконец, на восьмої я получил пакет. Я взял его и тотчас же, даже не заплатив за пересылку, ни о чем не спросив, не сказав никому ни слова, выбежал как сумасшедший с одною лишь мыслью,— как бы поскорее очутиться дома; я так стремительно побежал по незнакомым улицам, что, спустя полчаса, разыскивая улицу Турнон, где я живу, попал на огороды — на противоположный конец Парижа. Пришлось взять наемный экипаж, чтобы побыстрее доехать; впервые я это сделал, выїйдя утром по делу; я весьма неохотно пользуюсь экипажем и по вечерам, отправляясь в гости,— ведь ноги у меня крепкие, и, право, было бы досадно, если б, живя ныне в некотором достатке, я перестал ими пользоваться.

В фиакре я просто не знал, что делать со свертком, но разворачивать его я не хотел до приезда домой — ведь такова была твоя воля. Да и к тому же, если в обыденной жизни я забываю об удобствах, то какое-то сладострастное чувство заставляет меня старательно искать их ради истинных удовольствиї. Тут уж я не стерпел бы никаких отвлечений — мне хотелось на досуге, на приволье насладиться твоим даром. Итак, я смотрел на сверток с тревожным любопытством и, не в силах удержаться, все пытался прощупать сквозь обертку, выяснить, что же внутри,— видя, как я неустанно перебираю сверток, всякий подумал бы, что он жжет мне руки. Дело в том, что и объем его, и вес, и тон твоего письма — все заставило меня заподозрить истину; но непостижимо одно — как тебе удалось найти художника и все устроить? Этого я еще не могу разгадать,— это чудо, сотворенное любовью; чем оно выше моего разумения, тем больше восхищает меня. Я ничего не понимаю — вот одно из удовольствиї, доставленных им.

---

[1] Остерегаюсь высказывать мнение об этом письме, но полагаю, что суждение, которое щедро наделяет женщин качествами, коп они презирают, и отказывает в тех, единственных, коим они придают большое значение, вряд ли будет хорошо принято женщинами.

Наконец приезжаю, бегу стремглав. Запираюсь у себя в комнате, запыхавшись сажусь, подношу дрожащую руку к печати. О, первое воздействие талисмана! С трепещущим сердцем разворачиваю бумагу за бумагой. Немного погодя, перед последней оберткой, я почувствовал такое стеснение в груди, что пришлось передохнуть. Юлия! О моя Юлия!.. Покровы разорваны... я вижу тебя... вижу твои божественные черты! Уста мои и мое сердце отдают им первые почести, я преклоняю колена... дивной твоей красоте еще раз суждено пленить мои взоры! Какое быстрое, могучее и волшебное воздействие оказывают на меня милые черты! Нет, совсем не четверть часа, как ты воображаешь, надобно, чтобы это почувствовать, достаточно было минуты, мига, и грудь мою взволновали тысячи пылких вздохов; твой портрет навеял воспоминания о минувшем счастье! Отчего же, к радости моей, вызванной тем, что я обладатель столь бесценного сокровища, должна примешиваться столь жестокая печаль? С какой безжалостностью оно напоминает мне невозвратное прошлое! И чудится мне, будто вернулась дивная пора, воспоминание о коей ныне стало несчастьем всей моей жизни, ибо, даровав ее мне, небо в гневе своем тотчас же ее отняло. Увы! Один миг, и мечты рассеялись. Тоска разлуки вновь оживает и обостряется, а обманчивая радость исчезает, и я напоминаю страдальцев, которых перестают пытать, чтобы сделать еще чувствительней новые пытки. Боже, какие потоки пламени черпает мой жадный взор в этом нежданном подарке! Он будит в глубине моего сердца страстное влечение, словно сама ты здесь, со мною! О Юлия, а вдруг и вправду талисман сообщит твоим чувствам весь исступленный восторг, всю обманчивую игру моих чувств!.. А что ж,— может быть, и сообщит! Может быть, ощущения, которые с такою силою испытывает душа, передаются, перелетают вместе с нею на далекое расстояние? Ах, моя милая возлюбленная! Где бы ты ни была, что бы ты ни делала сейчас, когда пишется это письмо, когда обожающий тебя возлюбленный произносит перед портретом твоим слова, обращенные к тебе, ужели ты не чувствуешь, как слезы любви и печали орошают твое милое личико? Ужели твои ланиты, уста, перси не изнемогают, не томятся, не трепещут под моими пылкими лобзаниями? Ужели тебе не передается жар моих горящих уст? О небо! Что я слышу? Кто-то идет!.. Ах, запрем, спрячем сокровище... Непрошеный гость... Да будет проклят изверг, смутивший своим приходом столь сладостные восторги! Пусть бы он никогда не полюбил... или жил вдали от возлюбленной.

## ПИСЬМО XXIII

*К г-же д'Орб*

Милая кузина, даю вам отчет об Опере, хотя в письмах вы о ней и не упоминаете, а Юлия хранит вашу тайну, но я-то понимаю, отчего Опера затрагивает ее любопытство! Я уже однажды побывал там, тоже из любопытства, а ради вас я был там еще дважды. Избавьте меня, пожалуйста, от нее, получив это письмо. Я могу еще разок пойти туда и, чтобы услужить вам, зевать, скучать, томиться, ведь слушать со вниманием и интересом просто невозможно.

Прежде чем поделиться с вами мыслями о здешнем пресловутом театре, я дам вам отчет в том, что здесь о нем говорят,— быть может, мнение знатоков исправит мое, ежели я ошибаюсь.

Парижская Опера слывет в Париже местом самых роскошных, самых увлекательных, самых восхитительных зрелищ, какие только создавало искусство. Говорят — это чудеснейший памятник великолепия Людовика XIV. Напрасно вы думаете, что здесь каждый волен высказывать свое мнение по столь важному вопросу. Спорьте обо всем, но только не о музыке и опере. Вы подвергнетесь опасности, если не утаите свое мнение именно на сей счет. Французскую музыку поддерживает весьма жестокая инквизиция. Наставляя приезжих иностранцев, им в первую очередь внушают, что нигде на свете не найдешь ничего прекраснее Парижской Оперы и что каждый иностранец с этим согласен. На самом же деле, надо правду сказать, наиболее вежливые из них помалкивают, а посмеиваются только в своем кругу.

Однако же следует заметить, что в Опере с большими затратами изображают не только все чудеса природы, но и множество других, еще более удивительных чудес, которых никому еще не доводилось видеть, и, разумеется, Поп имел в виду именно этот забавный театр, дав описание сцены, где все — вперемешку: и боги, и домовые, и чудовища, и короли, и пастухи, и феи, и ярость, и веселье, и пламя, и джига, и битва, и бал.

Весь этот великолепный, со тщанием изображенный сумбур смотрится так, будто все происходит на самом деле. Вот появился храм, и всех охватывает священное благоговение; ну, а если богиня пригожа, партер превращается чуть ли не в собрание язычников. Здесь публика более покладиста, чем во Французской Комедии. Те самые зрители, которые там не могут забыть об актере, глядя на персонаж, в Опере не могут от-

делить актера от персонажа. Как будто люди упрямо противятся разумной иллюзии и поддаются ей только тогда, когда она нелепа и топорна. Быть может, богов им легче постичь, чем героев? Природа Юпитера иная, чем у нас,— воображайте о ней все, что угодно; но ведь Катон был человек — а сколько людей в состоянии поверить, что Катон мог существовать?

Итак, здешняя оперная труппа не является, как повсюду, кучкой людей, которым платят за то, что они подвизаются на сцене, хотя это люди, которым публика платит и которые подвизаются на сцене; нет, сама суть тут иная, ибо это Королевская Музыкальная Академия, некоторого рода верховный суд, который безапелляционно выносит приговор в своем собственном деле и не ищет ни иного закона, ни иной справедливости [1]. Так-то вот, сестрица,— в некоторых странах все дело в словах: благородных наименований достаточно, дабы почитать то, что меньше всего заслуживает почитания.

Члены этой высокочтимой Академии не ущемлены в правах, зато отлучены от церкви,— в других странах делается наоборот; но, пожалуй, имея выбор, они предпочли бы быть дворянами, хоть и отлученными, нежели лишенными дворянских привилегий, хоть и отмеченными благодатью. Видел я на театре эдакого римского всадника наших дней, который так же кичился своим ремеслом, как некогда злосчастный Лаберий стыдился его [2], хотя играть его принуждали силой и он декла-

---

[1] Если говорить более откровенно, то такое наблюдение можно еще более подтвердить; но в этом вопросе я пристрастен и должен молчать. Повсюду, где меньше повинуются законам, чем людям, несправедливость приходится терпеливо сносить.

[2] Вынужденный, по воле тирана, выступать на театральных подмостках, он оплакивал свою участь в стихах, весьма трогательных и способных возбудить негодование каждого порядочного человека против прославленного Цезаря. «Честно прожив шестьдесят лет,— говорит он,— я оставил нынче утром очаг свой, будучи римским всадником, а ныне вернулся, будучи уже презренным гистрионом. Увы! Лучше бы мне умереть днем раньше. О фортуна! Если суждено было мне опозорить себя, почему ты не принудила меня к этому, когда я был молод, силен и привлекателен! А ныне я в жалком состоянии предстану перед отбросами римского народа! Еле слышный голос, немощное тело — ведь это труп, живой мертвец, в котором ничего не осталось от меня, кроме имени!» Пролог, который он читал по этому случаю, несправедливость Цезаря, рассерженного благородной независимостью, с коей он мстил за свою поруганную честь, постыдный провал в цирке, низость, с какою Цезарь надругался над его позором, хитроумный и едкий ответ Лаберия — все это сохранилось до наших дней благодаря Авлу Геллию. По-моему, это самый любопытный и самый занимательный отрывок в его скучном труде.

мировал свои собственные творения. Лаберий древних не мог восседать в цирке среди римских всадников, современный же каждый день восседает в креслах Французской Комедии, среди вельмож,— в Риме с таким уважением не говорили о величии римского народа, как в Париже говорят о величии Оперы.

Вот какие сведения мне удалось извлечь из чужих разговоров по поводу этого блистательного зрелища,— ну, а сейчас я расскажу вам то, что я видел сам.

Представьте себе коробку шириною в пятнадцать футов и соразмерной длины; коробка эта и есть театр. По обе стороны, на некотором расстоянии друг от друга, помещаются створчатые ширмы, на которых намалеваны предметы, нужные для обозначения места действия. Задняя декорация — это большой занавес, размалеванный таким же манером и почти всегда кое-где продырявленный или разодранный,— он обозначает то пропасти, зияющие в земле, то просветы в небесах, в зависимости от места. Стоит задеть за кулисы, пробираясь позади,— и они начинают презабавно ходить ходуном, словно во время землетрясения. Голубоватое тряпье, свисающее с балок или веревок, как белье, вывешенное для просушки, изображает небо. Солнце, поскольку его иногда видно,— просто зажженный фонарь. Колесницы же богов и богинь — рамы, сбитые из четырех брусьев и подвешенные на толстой веревке, наподобие качелей; между брусьями перекинута поперечная доска,— на нейто и восседает бог, а спереди ниспадает холщовое, аляповато расписанное полотнище, играющее роль облака, окутавшего сию великолепную колесницу. Пониже этого сооружения виднеется свет, идущий от двух-трех смердящих, нагоревших сальных свечей, и пока действующее лицо беснуется и воинт, сотрясаясь на своих качелях, они преспокойно прокапчивают его: фимиам, достойный божества.

Колесница — самая важная часть оперной машинерии, и, стало быть, по колеснице вы можете судить об остальном. Бурное море должны изображать ряды голубых остроконечных коробок с холщовыми или картонными стенками, нанизанные на параллельные шесты и приводимые в движение какими-то шалопаями. Гром — грохот тележки, передвигаемой при помощи блока, не последней среди инструментов, исполняющих всю эту трогательную и приятную музыку. Молния — вспышка смолы, брошенной на горящий факел; вспышку сопровождает треск петарды.

В полу сцены проделаны маленькие квадратные люки,— когда надобно, они открываются, извещая, что сейчас выйдут из подземелья демоны. Когда им надлежит взлететь в воздух, их ловко подменяют маленькие чучела из темного холста, набитые соломой, а иной раз и настоящие трубочисты, которые болтаются в воздухе, вися на веревках, до тех пор, покуда величественно не исчезают среди тряпья, описанного выше. Подлинная трагедия разыгрывается, когда веревки или плохо прилажены, или рвутся,— в таких случаях духи преисподней и бессмертные боги падают, калечатся, а иногда и разбиваются насмерть. Добавьте ко всему множество чудовищ, которые придают нечто весьма патетическое иным сценам,— таковы, например, драконы, ящеры, черепахи, крокодилы, огромные жабы, ползающие с угрожающим видом,— и перед вами предстанут вместо оперы картины искушений св. Антония. Каждая из сих образин приводится в движение каким-нибудь увальнем-савойцем, которому недостает ума даже для того, чтобы выступать под личиной животного.

Вот, сестрица, какова изнанка царственного великолепия Парижской Оперы, насколько мне удалось все высмотреть из партера с помощью зрительной трубки; не воображайте, пожалуйста, будто все эти уловки хорошо скрыты и производят внушительное впечатление,— я рассказываю о том, что видел своими глазами и что заметит всякий непредубежденный зритель. Однако же уверяют, будто невероятное множество всяких машин приводит все это в движение; мне не раз предлагали показать их; но я никогда не любопытствовал, не желая видеть, как в пустяки вкладываются большие усилия.

Трудно поверить, сколько народу занято на службе в Опере. В оркестре и хоре в общей сложности состоит около ста человек, танцоров множество; на каждую роль два, а то и три актера [1], то есть всегда есть в запасе один или два дополнительных актера, готовых заменить основного и оплачиваемых за безделье до той поры, покуда тому не вздумается, в свою очередь, побездельничать; а это случается частенько. После нескольких представлений актеры на первых ролях, особы важные, не удостаивают более публику своим появлением. Они уступают место дублерам, а дублеры — своим дублерам. Берется такая же входная плата, но не такой дается спектакль.

---

[1] В Италии понятия не имеют о дублерах — публика не стерпела бы их, поэтому представление обходится куда дешевле; слишком дорого обошлось бы, если б дело было поставлено плохо.

Каждый получает билет, словно в лотерее, не зная, каков будет выигрыш; но каким бы он ни был, никто не смеет жаловаться, ибо, да будет вам известно, благородные члены этой Академии не обязаны выказывать ни малейшего уважения публике, а вот публика обязана.

Умолчу о музыке — вы ее знаете. Но вы просто не представляете себе, что за ужасные вопли и завывания раздаются на сцене, пока идет представление. Актрисы чуть не бьются в судорогах, с таким усилием исторгают они из легких визгливые выкрики,— стиснутые кулаки прижаты к груди, голова откинута назад, лицо воспалено, жилы набухли, живот вздымается. Право, не знаю, что противнее — смотреть или слушать; их потуги доставляют столько же мук тем, кто смотрит, сколько их пение тем, кто слушает; но только такому вот зрелищу и рукоплещут, и это всего непонятнее. Судя по рукоплесканиям, можно подумать, будто все глухи, будто очарованы тем, что временами удалось уловить пронзительные звуки, и подстрекают актеров повторить. Я убежден, что в Опере рукоплещут воплям актрисы подобно тому, как на ярмарке рукоплещут ловким штукам фокусника; тебя всегда охватывает досадное и тягостное ощущение,— смотреть неприятно, зато так бывает отрадно, когда все кончается благополучно, что охотно выражаешь свою радость. Подумайте,— такая манера петь служит для выражения всего самого нежного и галантного, созданного Филлисом Кино! Вообразите муз, граций, амуров, самое Венеру, изъясняющихся с подобной утонченностью, и судите о впечатлении! Для чертей, пожалуй, и сойдет: в этой музыке есть что-то адское, им к лицу. Поэтому всякое волшебство, вызывание духов и праздники шабаша больше всего и восхищают почитателей Французской Оперы.

Дивным звукам, столь же правильным, сколь и нежным, весьма достойно вторят звуки оркестра. Вообразите нестройный, нескончаемый гул, лишенный какой-либо мелодии, протяжный, тягучий и неумолчный рокот басов — ничего заунывней, ничего убийственней я в жизни не слыхивал; не проходит и получаса, как у меня начинается сильнейшая головная боль. Все это — такое псалмопение, в каком обыкновенно нет ни напева, ни ритма. Ну, а если случайно возникнет плясовой мотив, все начинают притопывать, партер оживляется, с великим напряжением и великим шумом следя за движениями некоего господина в оркестре [1]. Все восхищены тем, что на миг им дали

[1] «Дровосека».

почувствовать ритм, который они так плохо улавливают, они мучительно напрягают слух, голос, руки, ноги, все тело, чтобы следить за тактом[1], который вот-вот ускользнет от них; не то что немец или итальянец, которые всем существом своим воспринимают музыку, чувствуют ее и усваивают без труда, не нуждаясь в отбивании такта. По крайней мере, Реджанино частенько говаривал, что на оперных представлениях в Италии, проникнутых там чувством и живостью, ни в оркестре, ни среди зрителей никто никогда не сделает ни единого движения в такт музыке. В этой же стране все говорит о грубости музыкального слуха; голоса не гибки, не мягки, изменения голоса резки и громки, звуки напряжены и тягучи; ни ритма, ни мелодичной выразительности в народных песнях. Военные инструменты, рожки пехотинцев, трубы кавалеристов, все их дудки, гобои, уличные их певцы, скрипки в кабачках — все это фальшивит, режет даже самый обычный слух. Не все таланты сразу достаются одним и тем же людям,— очевидно, вообще французы менее всех народов Европы способны к музыке. Милорд Эдуард считает, что и англичане мало к ней способны. Различие в том, что англичане это знают, но ничуть об этом не тужат, французы же скорее отказались бы от тысячи своих подлинных прав и стерпели бы, если б их начали порицать в любом другом отношении, но ни за что не согласились бы, что они не первейшие музыканты в мире. Иные даже охотно сочли бы музыку в Париже государственным делом, вероятно на том основании, что некогда в Спарте возникло государственное дело из-за двух срезанных струн на лире Тимотея. Вы понимаете, что тут ничего больше не скажешь. Как бы там ни было, но, если и допустить, что Опера в Париже превосходнейшее политическое учреждение, это не сделает ее приятнее для людей, обладающих вкусом. Вернемся же к моему описанию.

Балет, о котором мне остается рассказать вам,— блистательнейшая часть оперы, и ежели его рассматривать отдельно, то это зрелище красивое, даже великолепное и поистине сценичное, но оно служит как бы составной частью пьесы, и потому его и следует рассматривать именно так. Вы знаете оперы Филиппа Кино, вам известно, как в них вставлены дивертисменты,— почти так же, а пожалуй, и того хуже, обстоит дело

---

[1] Я нахожу, что очень удачно сравнивают легкую французскую музыку с бегом галопирующей коровы или жирного гуся, пытающегося взлететь.

в пьесах его последователей. Обычно каждое действие на самом занятном месте прерывается — устраивается развлечение для действующих лиц, восседающих на сцене, меж тем зрители партера смотрят на все стоя. При этом о персонажах порой совершенно забываешь или же зрители смотрят на актеров, а актеры куда-то в сторону. Такие дивертисменты вводятся под самым простым предлогом: ежели король на сцене весел — все разделяют его веселие и танцуют, ежели печален — все стараются его развлечь и танцуют. Не знаю, быть может при дворе принято давать бал для развлечения королей, когда они не в духе, но здесь, на театре, не надивишься тому, с какой непреклонной стойкостью они любуются гавотом и слушают песенки в тот час, когда — где-то за сценой — решаются порой вопросы, касающиеся их короны или судьбы. Для танцев есть и много других поводов — танцами сопровождаются самые важные события жизни. Танцуют священники, танцуют солдаты, танцуют боги, танцуют дьяволы, даже на похоронах танцуют,— словом, любой танцует по любому поводу.

Итак, танец — четвертое из тех изящных искусств, которые надобны для постановки музыкальных сцен; но три остальные помогают подражанию,— а чему же подражает это искусство? Да ничему. Итак, оно вне пьесы, когда им пользуются просто как искусством танца, ибо каково значение менуэта, ригодона, чаконны в трагедии? Более того, они оказались бы неуместными, если б даже и подражали чему-нибудь, потому что из всех театральных единств самым непременным является единство языка, и опера, которая наполовину проходит в пении, а наполовину в танцах, еще нелепее оперы, в которой изъяснялись бы на полуфранцузском, полуитальянском языке.

Однако ж, не довольствуясь тем, что танцу отведено существенное место в музыкальном представлении, порою пытаются сделать его основою, и у французов есть опера, именуемая балетом, которая столь скверно оправдывает свое название, что танец еще более неуместен в ней, нежели во всех остальных оперных спектаклях. В этих балетах большею частью столько же разрозненных сюжетов, сколько и действий,— сюжеты соединены между собою столь туманными связями, что зритель о них и не догадался бы, если б автор все не растолковал в прологе. Времена года, века́, чувства, стихии — да какое отношение все это имеет к танцам и что может дать воображению такой спектакль? Иные образы, как Карнавал или Безумие,— чистейшая аллегория, и они всего невыносимей, ибо, хоть они

и хорошо придуманы, и изящны, но в них нет ни чувства, ни выразительности, ни стройности, ни жара, ни увлекательности,— словом, ничего такого, что вдохновляет музыку, приносит отраду сердцу, дает пищу воображению. В этих так называемых балетах действие проходит в пенье, танец прерывает действие,— он возникает случайно и ничему не подражает. Все сводится к тому, что в подобных балетах, еще менее захватывающих, чем музыкальные трагедии, такие переходы менее заметны; если б представления были не так холодны, то танцы коробили бы еще сильнее; но один недостаток скрадывается другим,— искусные сочинители, стараясь, чтобы танец не приедался зрителю, должны позаботиться о том, чтобы пьеса была скучной.

Мне захотелось заняться исследованием настоящего построения музыкальной драмы, но это слишком пространный разговор для письма и уведет нас далеко. Я написал небольшое рассуждение на сей счет и приложил к письму — можете его обсудить с Реджанино. Мне остается сказать лишь одно: по-моему, главнейший недостаток французской оперы — это безвкусная любовь к пышности, из-за него и вводят в представление чудеса, могущие существовать лишь в воображении, а потому уместные в эпической поэме, но смехотворные на сцене. Я бы с трудом поверил, если б не увидел своими глазами, что на свете есть художники, глупые до такой степени, что пытаются воссоздать на сцене колесницу солнца, и зрители, до такой степени ребячливые, что ходят смотреть на это представление. Лабрюйер не постигал, как оперное представление,— зрелище столь великолепное, может, несмотря ни на что, ему прискучить! Я же это постигаю, хотя я и не Лабрюйер. Я утверждаю, что в глазах всякого человека, понимающего толк в изящных искусствах, Парижская Опера — прескучное зрелище, из-за французской музыки, балета и всех постановочных чудес, сваленных в одну кучу. Впрочем, французам, пожалуй, и не требуется ничего более совершенного, по крайней мере в смысле исполнения. И не потому, что они уж очень не способны к восприятию прекрасного, но потому, что в данном случае недостатки забавляют их больше, чем достоинства. Им больше нравится осмеивать, чем рукоплескать; удовольствие, которое они испытывают, наводя критику, вознаграждает их за скучный спектакль,— им куда приятней подшучивать над ним, выйдя из театра, нежели с удовольствием на нем присутствовать.

## ПИСЬМО XXIV

*От Юлии*

Да, да, я знаю — счастливица Юлия по-прежнему дорога твоему сердцу. Тот огонь, что некогда сверкал в твоих глазах, чувствуется в твоем последнем письме,— я нахожу в нем тот пыл, что одушевляет меня, и мой пыл разгорается. Да, друг мой, тщетно судьба стремится разлучить нас: союз наших сердец будет еще теснее, мы сохраним их внутренний жар, не давая разлуке и отчаянию охладить наши чувства, и пускай то, что должно было ослабить нашу привязанность, неустанно ее укрепляет.

Полюбуйся, до чего я наивна! С той поры как я получила твое письмо, я во власти волшебных чар, о которых там говорится. Шутка с талисманом, моя выдумка, обольщает мне душу и уже кажется правдой. Сто раз на день, когда я бываю одна, меня охватывает трепет, как будто ты возле меня. Я представляю себе, как ты держишь мой портрет, и в безумии своем словно чувствую, как ты ласкаешь, как лобзаешь его,— в грезах мои уста ощущают твои поцелуи, в грезах ими упивается мое любящее сердце. О, сладостный самообман, о, несбыточные мечты — последнее пристанище обездоленных! Ах, замените нам действительность, если это возможно. Вы немало значите для тех, кому уже не видать счастья.

Что до уловки, к которой я прибегла, дабы завладеть портретом, то, конечно, тут о нас позаботилась любовь,— впрочем, если бы любовь на самом деле творила чудеса, поверь мне,— она выбрала бы иное чудо. Вот разгадка: некоторое время тому назад в наших краях поселился живописец-миниатюрист из Италии. Милорд Эдуард снабдил его письмами,— вручая их, он, вероятно, предвидел то, что воспоследовало. Г-н д'Орб не упустил случая и заказал портрет сестрицы, мне тоже захотелось его получить. По желанию сестрицы и матушки было написано два моих портрета, а я попросила живописца тайком сделать еще один. Потом, не стесняясь тем, копия то или оригинал, я преловко выбрала из трех портретов тот, что больше всего похож на меня, и послала тебе. Совесть не очень мучит меня за то, что я слукавила,— чуть больше, чуть меньше сходства не имеет ровно никакого значения ни для матушки, ни для сестрицы. А твое восхищение непохожим на меня лицом было бы своего рода изменой, и была бы она тем опасней, чем портрет красивее меня. Не хочу я, чтобы тебе понравилась чужая красота. К тому же художник принарядил меня на

портрете. Моих возражений не послушали, да и сам батюшка велел все оставить именно так. Пожалуйста, поверь мне, что весь наряд, кроме головного убора, списан не с меня,— все это прибавлено по милости художника — он украсил мою особу творениями своего вымысла.

## ПИСЬМО XXV

*К Юлии*

Милая Юлия, я должен еще кое-что сказать о твоем портрете, но уже не в первом порыве восторга, который произвел на тебя такое впечатление, а напротив, с грустью человека, обманутого ложной надеждою, которому ничто не возместит утраченное. В портрете есть и прелесть и красота,— есть даже что-то твое,— сходство передано недурно, и он написан искусным мастером, но нравиться может лишь тому, кто тебя не знает.

И главным образом я недоволен тем, что он сходен с тобою, но он — не ты, что он обладает твоим лицом, но — безжизнен. Напрасно живописец думал, что с точностью изобразил твои глаза и черты. Он не передал того нежного чувства, которое их одухотворяет, а без него они ничто, хоть и прелестны. Красота твоего лица, милая Юлия,— в сердце твоем, а этого не передать. Причина в несовершенстве искусства, согласен, однако художник не соблюдает точности там, где это от него зависит, и тут по меньшей мере его промах. Например, волосы он написал так, что они начинаются слишком далеко от висков,— это придает линии лба менее приятные очертания, а взгляду меньше проникновенности. Он не приметил голубых разветвлений там, где под кожей просвечивают две-три жилки,— почти как на цветах приса, которыми мы любовались однажды в кларанском саду. Румянец рдеет у самых глаз и не переходит книзу в нежные розовые тона, как на лице оригинала,— можно подумать, что наложены румяна, которыми красятся женщины в здешних краях. И это не пустячный недостаток, ибо из-за него взор твой не столь кроток, а выражение лица какое-то дерзкое.

А что он сделал с приютами амуров — уголками твоего рта, которые в дни счастья я иногда осмеливался согревать поцелуями? Ему не удалось передать их прелесть, не удалось придать твоим устам милое и строгое выражение, которое мгновенно меняется, чуть их тронет улыбка, пленяет сердце неведомым очарованием и вмиг приводит его в восхищение, которое

не выразить словами. Правда, портрету не дано то строго глядеть, то улыбаться. Ах, это и печалит меня,— чтобы изобразить всю прелесть твою, надобно было бы писать тебя во все минуты твоей жизни.

Простим художнику, что он не мог передать всю твою красоту, но ведь он лишил твое лицо прелести еще и оттого, что не передал и недостатков. Нет почти неуловимого родимого пятнышка у тебя под правым глазом, ни того, что на шее слева. Он не отметил... о боги,— да он просто какой-то каменный! Он позабыл тоненький рубец, что остался у тебя на подбородке. Волосы и брови он сделал под один цвет, а это совсем не так: брови у тебя потемнее — каштанового тона, а волосы посветлее — пепельного.

Bionda testa, occhi azurri e bruno ciglio [1].

Нижней части лица он придал безукоризненно овальную форму, даже не заметив, что изящный изгиб от подбородка к щекам делает очертания не такими правильными, но еще более прелестными. Вот самые заметные недостатки. Он не передал и многих других, и я недоволен, ибо я влюблен не только в твою красоту,— я люблю тебя всю, такую, какова ты есть. Ты не хочешь, чтобы кисть художника что-нибудь прибавила в твоем портрете, а я не хочу, чтобы она что-нибудь убавила. Моему сердцу безразличны прелестные черты, которых нет у тебя, зато оно ревностно заботится о тех, которые тебе присущи.

Не могу я простить и того, как ты одета,— ведь и в нарядном, и в домашнем платье ты всегда убрана с бóльшим вкусом, нежели на портрете. Головной убор громоздок; мне ответят, что это одни цветы, ну что ж, и цветы в излишке. Помнишь ли тот бал, когда ты была одета на манер жительницы Вале, а я, по словам сестрицы, танцевал на манер философа? Головной убор тебе заменяла корона из длинной твоей косы, заколотая золотой шпилькой, по обычаю бернских поселянок. Нет, даже у солнца в ореоле лучей нет того блеска, каким ты ослепляла глаза и сердца, и, разумеется, всякий, кто видел тебя в тот день, во всю свою жизнь тебя не забудет. Пускай лицо твое украшает золотое руно твоих волос, а не розы, которые скрывают их и кажутся поблекшими,— так ярок цвет твоего лица. Передай сестрице, ибо я во всем вижу ее старания и ее выбор,— что цветы, которыми она украсила твои волосы, выбраны не с лучшим вкусом, чем те, что она собирает в

---

[1] Блондинка, синеока, темноброва *(итал.)*.

«Adone»,— такими цветами можно восполнять, а отнюдь не прикрывать красоту.

Что же касается стана, то возлюбленный в данном случае судит суровей отца, и это просто удивительно. Но, право, наряд твой не отличается строгостью. А портрет Юлии должен быть скромен, как сама она. Любовь! Только тебе одной принадлежат эти заветные таины. Ты говоришь, что все это вымысел художника. Верю, верю! Ах, если б он приметил твою скрытую от глаз красоту, один намек на нее,— он пожирал бы ее глазами, но не пытался бы написать; зачем же его дерзновенная кисть попыталась ее изобразить? И это не только недостаток пристойности, но, разумеется, и недостаток вкуса. Да, лицо твое так целомудренно, что нестерпимо видеть твою обнаженную грудь,— одно не соответствует другому, и сочетать это могли бы только восторги любви, когда пылающая ее рука осмелится сорвать покров стыдливости, а твои упоенные, затуманенные глаза говорят, что ты забыла о своей наготе, но не выставляешь ее напоказ.

Вот какие недостатки я нашел, с неустанным вниманием рассматривая твой портрет. И я решил переделать его по собственному замыслу. Я поведал о нем одному искусному художнику, и, судя по тому, что он уже выполнил, я надеюсь скоро увидеть тебя более похожей на самое себя. Мы боимся испортить портрет и пробуем вносить изменения на копию, которую я заказал ему; он перенесет их на оригинал, когда мы удостоверимся, что они отвечают замыслу. Рисую я весьма посредственно, но художник все удивляется тонкости моих наблюдений; ему не понять, что мною руководит мастер поискусней его. Порою я кажусь ему изрядным чудаком — он уверяет, что я первый из всех любовников на свете вздумал скрывать прелести, на которые другие никак не наглядятся. Когда же я говорю, что надеваю на тебя строгий наряд, дабы лучше всю тебя видеть, он смотрит на меня как на безумца. Ах, насколько твой портрет был бы трогательнее, если б я мог изобрести такое средство, чтобы показать душу твою вместе с лицом и заодно изобразить твою скромность и всю твою красоту! Клянусь тебе, моя Юлия, они выиграли бы от перемены. Зритель видел только ту красоту, которую в воображении своем видел художник; зритель с восторгом увидит ее в своем воображении такою, какова она есть на самом деле. Весь твой образ дышит неизъяснимым, неуловимым очарованием — им будто проникнуто все то, что прикасается к тебе. Видишь оборку твоего платья, и уже боготворишь ту, которая носит его. Глядишь на твои

одежды — и чувствуешь, что покрывало, сотканное самим очарованием, окутывает твою красоту, и чудится, что изысканная скромность твоего наряда рассказывает сердцу о всех прелестях, которые он скрывает.

## ПИСЬМО XXVI

*К Юлии*

Юлия, о Юлия! О та, которую я уже осмеливался называть своею и чье имя ныне недостоин произносить! Перо выскальзывает из моей дрожащей руки; слезы заливают бумагу. Я едва вывел первые строки письма, писать которое мне не должно. Я не могу молчать, но не могу и говорить. Приди, почитаемый мною дорогой образ, приди, очисти и укрепи сердце мое, униженное стыдом и истерзанное раскаянием. Поддержи во мне мужество, ибо оно угасает, укрепи мою совесть, чтобы я признался в невольном преступлении, виновница которого — разлука.

Как будешь ты презирать меня, грешного! И все же гораздо меньше, чем я сам себя. Как бы я ни пал в твоих глазах, я во сто крат ниже пал в своих собственных, ибо понимаю, чем стал ныне, и чувствую себя еще презренней оттого, что ты по-прежнему в моем сердце, отныне столь мало достойном тебя, а воспоминания о чистых радостях любви не уберегли мою плоть от западни, лишенной очарования, от греха, лишенного прелести.

Я в таком неизбывном смятении, что, взывая к твоему милосердию и признаваясь в своем преступлении, страшусь осквернить твои взоры, пробегающие по этим строкам. Прости, непорочная, безгрешная, прости эту исповедь, от которой я избавил бы твою чистую душу, если б это не было единственным средством искупить мои прегрешения. Знаю, я недостоин твоей доброты. Я мерзок, гадок, презрен — пусть так; но зато я не обманщик, не лгун. Что ж, отними у меня свое сердце, а с ним и жизнь мою, но я тебя не введу в обман — ни на миг. Из боязни, как бы меня не заподозрили в том, будто я ищу оправданий, которые только усугубили бы мое преступление, я подробно расскажу тебе обо всем, что со мною случилось. Рассказ мой будет столь же искренен, сколь искренни мои сожаления. Вот и все, что я позволяю себе сказать в свою пользу.

Я свел знакомство с гвардейскими офицерами и другими молодыми людьми — нашими соотечественниками, находил, что они наделены от природы душевным достоинством, но скорбел,

видя, как они портятся, корча из себя светских щеголей, что им совсем не к лицу. Они же, в свою очередь, потешались надо мной, оттого что я и в Париже сохранил пристрастие к простоте, свойственной нравам старой Гельвеции. Они сочли, что мои жизненные правила, мои манеры для них своего рода косвенный укор, обиделись и решили любой ценой заставить меня изменить поведение. После нескольких неудачных попыток они сговорились получше и сделали еще одну попытку, увенчавшуюся превеликим успехом. Вчера утром они пришли ко мне и пригласили отужинать вместе с ними у жены полковника, причем, назвав ее фамилию, добавили, что до нее якобы дошли слухи о моей доброй нравственности и она хочет со мною познакомиться. По глупости я попался на удочку и стал уверять, что лучше поначалу отправиться к ней с визитом; но они подняли на смех мою щепетильность, говоря, что швейцарской прямоте должны быть чужды условности и что все эти церемонии дадут повод к плохому мнению обо мне. Итак, в девять часов мы отправились к этой даме. Она встретила нас на лестнице, чего я еще не видывал ни в одном доме. Войдя в покои, я заметил, что только сейчас зажгли огарки в подсвечниках на камине и что во всем чувствуется какая-то принужденность,— это мне не очень понравилось. Хозяйка дома была хороша собой, хотя уже и не первой молодости; остальные гостьи, почти ее сверстницы, всем своим обликом походили на нее; весьма роскошные наряды отличались скорее пышностью, нежели вкусом; но я уже и прежде заметил, что в здешних краях по платью нельзя судить о положении женщины в обществе.

При первом знакомстве были сказаны слова, которые принято говорить в подобных случаях почти повсюду. Знание светского обращения учит, что надо побыстрее покончить с ними или придать им что-то шутливое, покуда они не прискучили. Но все несколько изменилось, как только разговор стал общим и затронул важные темы. Я заметил, что у дам какой-то смущенный, натянутый вид, словно тон беседы им не привычен; и впервые за все свое пребывание в Париже я увидел, что женщины смешались, не умея поддержать серьезный разговор. И чтобы перевести его на более легкую тему, они принялись болтать о своих семейных делах, а так как я не был знаком ни с одной, то каждая рассказывала все, что ей приходило на ум. Никогда я не слыхивал, чтобы столько раз упоминали «господина полковника», что особенно удивило меня, ибо в этой стране принято называть людей по имени, а не по званию, и те, кто носит какое-нибудь известное имя, обычно имеют и звание.

Эта напускная важность вскоре уступила место более непосредственным манерам. Начали говорить вполголоса, и сама собою появилась неприличная развязность — все перешептывались и посмеивались, поглядывая на меня; хозяйка осведомлялась о моих сердечных делах столь дерзким тоном, что не могла снискать моего душевного расположения. Подали ужин. И застольная непринужденность, которая словно смешивает все чины и звания, но в то же время определяет твое истинное лицо, хотя ты об этом и не подозреваешь, в конце концов показала мне, куда я попал. Отступать было поздно. Итак, считая отвращение залогом безопасности, я решил провести вечер в качестве наблюдателя и ознакомиться с женщинами такого пошиба, воспользовавшись случаем, который представился мне в первый и последний раз в жизни. Я извлек мало пользы из своих наблюдений. Женщины эти не отдают себе отчета в своем нынешнем положении, мало они обеспокоены и своим будущим; тараторят только о своем ремесле и столь скудоумны во всех других отношениях, что первоначальное чувство жалости быстро сменилось во мне презрением. Когда они говорили о радостях любви, я понял, что испытывать их они не способны. По-моему, они с необузданной алчностью относятся ко всему, что прельщает их корыстолюбие,— вообще же с их уст не сорвалось ни единого сердечного слова. Я удивлялся, как могут люди порядочные выносить столь ужасное общество. По-моему, нет этим женщинам более жестокой кары, чем жизнь, на которую они сами обрекли себя.

Меж тем ужин продолжался, становилось все шумнее. Не любовь, а вино горячило гостей. Раздавались не ласковые, а бесстыдные речи, и женщины старались своим небрежным нарядом возбудить вожделения. Сначала все это оказывало на меня совсем противоположное действие, и им не удавалось, вопреки всем стараниям, соблазнить меня,— они вызывали во мне лишь отвращение. «Нежная стыдливость,— думал я про себя,— вот высшее наслаждение! Сколько прелести теряют женщины, когда отказываются от тебя! Знай они твое могущество, сколько стараний приложили бы они, стремясь сохранить тебя,— если даже не из добродетели, то из желания нравиться! Но стыдливость нельзя подделывать — нет ничего смешнее притворной стыдливости. Какое различие,— продолжал я раздумывать,— между грубым бесстыдством этих тварей, их непристойными двусмысленностями и робкими, но страстными взорами, словами, исполненными скромности, задушевности и чувства, которые...» Закончить я не смел; я вспыхнул от столь недо-

стойных сравнений... Я упрекал себя, словно за прегрешения, за то, что предался чудным воспоминаниям, которые преследовали меня помимо моей воли... Но в каком вертепе я осмелился думать о той... Увы! Я не в силах был изгнать из своего сердца любимый образ и постарался окутать его покрывалом.

Шум, слова, которым я внимал, картины, поражавшие мои взоры, незаметно горячили кровь. Обе мои соседки все заигрывали со мной и в конце концов зашли так далеко, что я не мог сохранить бесстрастие. Мысли у меня стали путаться. Я все время пил вино, изрядно разбавленное водою, а тут стал подливать еще больше воды и, наконец, решил пить чистую воду. И тут только понял, что это была не вода, а белое вино,— меня обманывали в течение всего ужина. Выражать недовольство было нельзя — я навлек бы на себя одни лишь насмешки. Но пить я перестал. Однако было слишком поздно — зло свершилось. Немного погодя я совсем охмелел и уже ничего не помнил. Когда я пришел в себя, я с удивлением увидел, что нахожусь в уединенной комнате, в объятиях одной из девиц, и тотчас же мною овладело отчаяние, ибо я почувствовал, как велико мое прегрешение.

Я кончаю этот омерзительный рассказ; да не осквернит он ни твоих глаз, ни моей памяти. О ты, от кого я жду приговора, умоляю тебя — будь сурова, я этого заслуживаю. Любая кара будет не столь жестока для меня, как воспоминание о моем преступлении.

## ПИСЬМО XXVII

*Ответ*

Не бойтесь — не думайте, будто вы меня рассердили: письмо ваше меня огорчило, а не разгневало. Не меня, а вас оскорбило ваше распутство, чуждое вашему сердцу. И это еще больше печалит меня. Я предпочла бы снести любое ваше оскорбление, только б вы не были унижены,— вы причинили зло самому себе, и я не могу вам этого простить.

Все ваши помыслы сосредоточены на вашем проступке,— сгорая от стыда, вы чувствуете себя более преступным, чем это есть на самом деле, я же упрекаю вас только в неосмотрительности. Однако вы сами не замечаете, что все это имеет гораздо более далекие и глубокие причины, и надобно, чтобы на них вам указала дружба.

Вы избрали плохую стезю, вступив в свет,— вот ваша главная ошибка. И чем дальше вы идете, тем больше заблуж-

даетесь, и я с трепетом вижу, что вы погибнете, если не воротитесь вспять. Вас незаметно ввергают в западню, как я и опасалась. Грубые соблазны порока сначала не могли обольстить вас, но дурные приятели решили употребить во зло ваш разум, дабы развратить вашу добродетель, и уже сделали первую попытку подорвать ваши нравственные устои.

Хотя вы и ничего не писали мне о своем образе жизни в Париже, но по вашим письмам легко составить понятие о том обществе, где вы бываете, по вашим суждениям — о тех людях, глазами которых вы смотрите. Я не скрывала от вас, что недовольна вашими описаниями. Но вы продолжали в том же духе, и недовольство мое все росло. В самом деле, письма ваши напоминают язвительные шутки какого-нибудь щеголя [1], а не описания мудреца — право, трудно поверить, что и прежние ваши письма писала та же рука. Как! Вы намерены изучить людей по повадкам каких-то жеманниц и бездельников, и этот поверхностный и изменчивый блеск, на который вам не надлежало бы обращать внимания, является основою для всех ваших наблюдений! Да стоило ли труда с такой тщательностью изучать обычаи и правила благопристойности, которые не просуществуют и десяти лет, тогда как извечный движитель человеческого сердца — сокровенная и постоянная игра страстей — ускользает от ваших наблюдений? Возьмем, например, ваше письмо о женщинах,— что я найду в нем? Описание их наряда, известного всему свету, едкие замечания по поводу того, как они ведут себя и какое производят впечатление, рассуждения о беспутстве иных, несправедливо обобщенные; как будто все благородные чувства померкли в Париже, а все женщины разъезжают в каретах и красуются в ложах бельэтажа. Да из ваших писем я не почерпнула ничего такого, что позволило бы мне судить об их вкусах, взглядах, об их настоящем характере! И не странно ли, что, говоря об уроженках какой-нибудь страны, человек мудрый забывает о домашнем очаге, о воспитании детей? [2] Только один раз на протяжении всего письма

---

Милая Юлия! Вы все время попадаете впросак! Да что говорить! Вы отстали от наших дней. Вы не знаете, что есть «щеголихи», но уже нет «щеголей». Господи! Да что же вы тогда знаете?

[2] А почему он должен помнить об этом? Разве те об этом заботятся? И что станется тогда со светом и государством? Знаменитые сочинители, блистательные ученые, что со всеми вами будет, если женщины перестанут заправлять литературой и делами и возьмутся за домашнее хозяйство?

вы как будто становитесь самим собой, с отрадным чувством хваля их природную доброту, что делает честь доброте вашей. Однако этим вы воздали должное всему женскому полу: ведь в любой стране света кротость и чувство сострадания приятная особенность женщины.

Совсем иная картина предстала бы передо мною, если б вы рассказали мне о том, что видели, а не о том, что слышали, или, по крайней мере, если б держали совет только лишь с людьми здравомыслящими. Как же случилось, что вы, приложив столько стараний, дабы в неприкосновенности сохранить свой взгляд на вещи, как будто умышленно утратили его, став на приятельскую ногу с молодыми ветрогонами, которые, попав в общество людей глубокомысленных, стараются совратить их, а отнюдь не подражать им. Вы поддали под влияние мнимых утех молодости и забыли об истинных утехах, даваемых просвещением и разумом и самых для вас существенных. Невзирая на вспыльчивость, вы наиболее покладистый человек на свете; и, невзирая на вашу умственную зрелость, вас с легкостью ведут на поводу все окружающие: встречаясь со своими сверстниками, вы неминуемо опуститесь и снова превратитесь в юнца. Таким образом, вы обесчестите себя, желая быть им под стать, и потеряете собственное достоинство, если не будете выбирать друзей более мудрых, нежели вы сами.

Я вовсе не укоряю вас за то, что вас завлекли, помимо вашего ведома, в непристойное заведение, а укоряю за то, что вас завлекли туда молодые офицеры: с ними вам не должно знаться или хотя бы не должно разрешать им руководствовать вашими развлечениями. Что касается вашего намерения наставить их на истинный путь, внушить им свои убеждения, то, право, у вас больше рвения, нежели благоразумия,— вы слишком глубокомысленны и не годитесь им в товарищи, слишком молоды и не годитесь им в менторы. Исправляйте других, когда вам уже не надо будет исправлять себя.

Вы охотно провели вечер в злачном месте, столь недостойном вас, не убежали прочь, узнав, в каком заведении оказались,— вот вторая ваша ошибка, еще более тяжелая и еще менее простительная. Доводы, которые вы приводите в свое оправдание,— жалкий лепет. «Отступать было поздно!» Как будто в подобных местах соблюдаются приличия или приличия могут взять верх над добродетелью и как будто бывает поздно противодействовать злу! Не стоит и говорить о том, что в отвращении вы обретали безопасность,— последующее событие доказало вам, насколько она была основательна. Будьте откровенны

с той, которая читает в вашем сердце,— ведь удержал вас ложный стыд. Вы испугались, что над вами станут смеяться, если вы уйдете. Вас устрашило, что вас освищут, и угрызения совести вы предпочли насмешкам. Знаете, каким правилом вы руководствовались? Да тем, что открывает путь пороку в благородную душу, заглушает голос совести голосом молвы и пресекает отважное стремление к благим делам, внушая страх перед осуждением. И вот тот, кто в силах преодолеть искушения, поддается дурным примерам, краснеет, смущаясь своей скромностью, и становится безнравственным из-за своей стыдливости — ложный стыд, больше, чем дурные влияния, портит людей с чистым сердцем. Вы должны особенно охранять свое сердце от этого; страх показаться смешным, хоть вы и презираете его, берет верх над вами, помимо вашей воли. Вы пренебрежете сотнею опасностей, но ни единой насмешкой — право, еще никогда со столь дерзновенной душой не сочеталась такая застенчивость.

Не читаю вам наставлений,— ведь вы знаете лучше меня все правила нравственности. Ограничусь лишь тем, что предложу вам одно средство, дабы уберечь вас от вашего недостатка,— оно, пожалуй, легче и надежнее, нежели все философические рассуждения: произведите в уме легкую перестановку времени и на несколько мгновений предварите будущее. Если бы на этом злосчастном ужине вы стойко выдержали минутные насмешки сотрапезников, подкрепляя себя мыслью о том, как воспарит ваша душа, едва только вы уйдете; если б вы представили себе то внутреннее удовлетворение, которое испытали бы, избежав западни, расставленной пороком; если б представили себе, сколько преимуществ в самой привычке побеждать, которая облегчает победу, и как отрадно будет сознавать, что вы победили, и написать мне об этом, и как будет мне отрадно,— да ужели все это не одержало бы верх над минутным противодействием, коему вы, разумеется, никогда бы не поддались, если б предвидели последствия! Да и что это за противодействие, если вы придаете цену насмешкам людей, с мнением коих не должно считаться! Разумеется, эта мысль спасла бы вас ценою преходящего ложного стыда от стыда подлинного, на всю жизнь, от раскаяния, от опасности и — буду уж до конца откровенной — спасла бы вашу возлюбленную от лишних слез.

Судя по вашим словам, вы хотели воспользоваться тем вечером в качестве наблюдателя. Какое рвение! Какая роль! Ваше самооправдание ввергает меня в краску! Как вы любо-

зпательны! Пожалуй, вам вздумается наблюдать воров в вертепах,— посмотреть, как они готовятся к ограблению прохожих! Или вы не знаете, что есть на свете такие мерзости, на которые порядочному человеку и смотреть не должно, что воинствующая добродетель не переносит одного вида порока? Мудрец наблюдает за распутной жизнью общества и не может положить ей предел — он наблюдает, и на его опечаленном лице отражается душевная боль; что же касается распутства в частной жизни, то он либо противится ему, либо отводит от него глаза, страшась, что своим присутствием даст ему право на самоутверждение. Да и ужели надобно видеть подобные сборища, дабы судить о том, что там происходит и о чем говорится? Судя по цели, которую они преследуют, скорее чем по вашим недомолвкам, я легко догадываюсь обо всем остальном; и, зная, какие утехи там находят, я начинаю лучше постигать тех, кто их ищет.

Быть может, ваша — весьма покладистая — философия, уже согласовалась с мнением, которое, говорят, господствует в больших городах,— что надо снисходительно относиться к подобным заведениям. Однако, надеюсь, вы не принадлежите к той породе людей, которые так презирают себя, что бывают там под предлогом некой вымышленной потребности, понятной одним лишь распутникам,— точно представители двух полов в этом отношении обладают различною природой и в разлуке или безбрачии порядочному мужчине надобно прибегать к помощи средств, в которых не нуждается порядочная женщина. Если это заблуждение и не толкает вас в объятия продажных женщин, боюсь, что оно сбивает вас с пути. Ах, если вам уж так хочется стать достойным презрения, становитесь, но без всяких предлогов — не добавляйте лжи к беспутству. Все эти мнимые потребности порождены не природой, а чувственной разнузданностью. Даже ошибки любви очищаются в целомудренном сердце и развращают лишь развращенное сердце,— напротив, целомудренная чистота сама себя оберегает; вожделения более не возникнут, если будешь постоянно их обуздывать, но искушения множатся, если привыкнешь им поддаваться. Из дружбы к вам я преодолеваю отвращение и беседую с вами на подобную тему во второй — и последний — раз, ибо не надеюсь, что какими-либо иными доводами достигну того, в чем вы откажете порядочности, любви и разуму.

Возвращаюсь к тому важному вопросу, с коего начала письмо. В двадцать один год вы посылали мне из Вале серьезные и правдивые письма; в двадцать пять — отправляете из

Парижа какие-то игривые послания, жертвуя и чувством и мыслью ради забавной шутки, чуждой вашему нраву. Не знаю, право, что случилось, но с тех пор как вы поселились в средоточии талантов, ваши как будто уменьшились; вы много выигрывали, живя среди поселян, и много утратили, живя среди остроумцев. И виновата не страна, в которой вы живете, а знакомства, которые вы приобрели, ибо надо делать самый тщательный выбор, когда перед тобою смесь наилучшего и наихудшего. Если вы желаете изучать свет, посещайте людей рассудительных, знающих его по долгому опыту и по беспристрастным наблюдениям, но не юнцов-вертопрахов, видящих в нем только все внешнее, все его смешные стороны, в которых сами же и повинны. В Париже множество ученых, коим эта обширная арена жизни дает пищу для размышлений. Вы не убедите меня, будто эти серьезные и трудолюбивые мужи посятся под стать вам из дома в дом, из гостиной в гостиную, дабы развлекать женщин и молодых повес, и превращают философию в пустую болтовню. Из чувства собственного достоинства они не станут унижать свое звание, извращать свои таланты и, подавая дурной пример, защищать нравы, которые им должно исправлять. Если большинство так и поступает, то, конечно, многие этого не делают — к знакомству с последними вам и надобно стремиться.

Не странно ли, что вы притом и сами впадаете в заблуждение, в коем укоряете пышных сочинителей комедий,— для вас Париж наполнен только одними знатными людьми, о людях своего круга вы не обмолвились ни словом. Можно подумать, будто вы не возненавидели суетные дворянские предрассудки, которые стоили вам столь дорого, будто вы гнушаетесь порядочными людьми — простыми горожанами, которые, быть может, и составляют самое уважаемое сословие в стране, где вы находитесь! Напрасно вы ссылаетесь на знакомых милорда Эдуарда — с их помощью вы могли бы приобрести знакомства и в низших слоях общества. Столько людей желают возвыситься, что спуститься всегда бывает легко; а по собственному вашему признанию, единственное средство познать истинные нравы народа — это изучать частную жизнь в самых различных сословиях, ибо останавливаться лишь на людях, которые вечно рисуются,— значит, видеть одних комедиантов.

Хотелось бы, чтобы ваша любознательность шла дальше. Почему в столь богатом городе простой люд живет столь убого, меж тем как в наших краях, где миллионеров нет и в помине, редко встретишь безысходную нужду? По-моему, вопрос этот

достоин исследования,— но нечего ждать решения от людей, среди которых вы бываете. Школяр усваивает нравы общества в золоченых покоях, мудрец же изучает его тайны в хижине бедняка. В ней-то и видишь воочию жертвы темных дел, свершаемых пороком, который в обществе прикрывается пышными фразами; в ней-то и узнаешь, с помощью каких скрытых беззаконий вельможа и богач отнимают последний кусок черного хлеба у бесправного бедняка, на людях прикидываясь, будто жалеют его. Э, да если верить нашим бывалым воинам, каких бы чудес вам не порассказали на чердаках шестиэтажных домов о тех кознях, что хранят в глубокой тайне особняки Сен-Жерменского предместья! И в какое замешательство пришли бы речистые умники со своей притворной гуманностью, если б все люди, обездоленные по их милости, явились и разоблачили их.

Знаю, зрелище нищеты неприятно, когда ничем не можешь помочь, и даже богач отвращает взор от бедняка, отказывая ему в помощи,— но ведь не в одних деньгах нуждаются несчастливцы. Только те, кто неохотно идут на доброе дело, творят добро с помощью кошелька. Утешения, советы, попечение, дружба, покровительство — вот те средства, которые нам дарует сострадание вместо богатства, дабы мы помогали неимущему. Часто люди обездолены оттого, что нет у них посредника, который привлек бы внимание к их жалобам. Иной раз они не смеют вымолвить слово, привести доводы, переступить порог в доме вельможи. Незримая помощь бескорыстной добродетели преодолевает неисчислимые преграды, а красноречие человека порядочного может устрашить тиранию, невзирая на ее могущество.

Если вы действительно желаете стать человеком, научитесь снисхождению. Человеколюбие подобно чистому, целебному ручью, что оплодотворяет низины. Оно всегда ищет общего уровня; оно не орошает бесплодные скалы, которые угрожают полям и лугам и отбрасывают на них вредоносную тень или же низвергают обвал, разрушая все вокруг.

Вот, друг мой, как пользуются настоящим, извлекая урок на будущее, и как доброта заранее руководствуется уроками, преподанными мудростью,— если же приобретенные познания и бесполезны, все равно недаром потрачено время на их приобретение. Тому, кто обречен жить среди людей знатных, надобно вооружиться бесчисленными предосторожностями, ограждая себя от их пагубных правил, и только постоянные благодеяния предохраняют лучшие сердца от заразы, которая идет

от честолюбцев. Поверьте мне, вам надобно испытать этот новый способ изучения нравов, он достойнее, нежели все те, которые вы уже испробовали. Разум становится ограниченнее, по мере того как душа развращается,— вы скоро почувствуете, как все возвышенное, напротив, облагораживает и питает дух, а нежное участие к бедам ближнего помогает найти их первопричину и уводит нас от пороков, их породивших.

Вы оказались в таком тягостном положении, что я должна была сказать вам обо всем с дружеской откровенностью, опасаясь, как бы вы не сделали второй шаг по стезе разврата, не погрязли в нем навеки, не успев опомниться. Ну, а теперь, друг мой, я не скрою от вас, что ваше чистосердечное и быстрое признание глубоко меня растрогало, ибо я чувствую, как трудно было вам преодолеть свой стыд и во всем признаться и, следовательно, как стыд от сознания вашей греховности тяготил ваше сердце. Невольный грех легко простить и забыть. Впредь запомните правило, от которого я никогда не отступаю: если случайная ошибка повторяется,— значит, это не случайная ошибка!

Прощай, друг мой! Заботливо печись о своем здоровье, заклинаю тебя, и помни — не должно остаться ни единого следа от греха, который я тебе простила.

P. S. Только что г-н д'Орб дал мне прочитать целую пачку копий с ваших писем к милорду Эдуарду, и мне придется взять обратно часть моих критических замечаний о характере и стиле ваших наблюдений. Согласна, в этих письмах обсуждаются важные материи, и, как мне показалось, они исполнены глубокомысленных и справедливых суждений. Но зато мне ясно, что вы глубоко презираете нас — сестрицу и меня — или мало дорожите нашим уважением, присылая нам описания, искажающие истину, тогда как своему другу вы пишете гораздо лучше. Право же, вы плохо цените свои уроки, раз считаете, будто ваши ученицы недостойны того, чтобы восхищаться вашими талантами. Лучше бы вы прикидывались, хотя б из честолюбия, будто считаете нас способными понять вас.

Признаюсь, политика не та область деятельности, что близка женщинам, а дядя нам так надоел ею, что я понимаю, почему вы тоже боитесь этим надоесть. Да и говоря откровенно, этой науке я не уделяю первостепенного значения,— я не вижу в ней пользы, и ей не увлечь меня, а лучи ее простираются так высоко, что им не ослепить моих глаз. Я обязана любить правительство страны, под небом которой я родилась, и меня мало

заботит, есть ли на свете лучшие правительства. К чему мне знать это, раз я не могу их устанавливать? И к чему сокрушаться душою, созерцая великие бедствия, раз я бессильна помочь, а между тем вокруг меня — иные беды, которым помочь я могу! Но я люблю вас; к трактатам я не питаю интереса, зато интересуюсь тем, кто их пишет. С нежным восторгом вникаю я во все проявления ваших дарований, и, гордая вашими достоинствами, любезными моему сердцу, я прошу у любви, чтобы она даровала мне столько разума, сколько надобно, дабы постичь ваш. Не отказывайте же мне в радости — позвольте мне знать и любить ваши благие начинания. Ужели вы хотите унизить меня и дать мне почувствовать, что если бы небо соединило наши судьбы, вы считали бы свою подругу недостойной размышлять заодно с вами!

## ПИСЬМО XXVIII

*От Юлии*

Все погибло! Все открыто! В тайнике нет твоих писем. Еще вчера они там были. Должно быть, их похитили только нынче. Одна матушка могла обнаружить их. Если батюшка их увидит,— я поплачусь жизнью. Ах, пусть так, не все ли равно, если придется отказаться... О боже! Матушка прислала за мной! Куда бежать? Как выдержу я ее взгляд? О, если б земля разверзлась подо мною! Я дрожу всем телом, не в силах ступить шагу... Стыд, унижение, мучительные упреки... Я все заслужила, я все снесу. Но страданье, слезы неутешной матери... сердце надрывается... Она ждет, медлить нельзя... Она захочет узнать... придется все открыть... Реджанино прогонят. Не пиши мне, покуда я обо всем не сообщу... Кто знает... а вдруг мне удастся... что? Солгать?.. Солгать матери!.. Ах, если для нашего спасения нужна ложь,— то прощай, мы погибли!

*Конец второй части*

## ПИСЬМО I

*От г-жи д'Орб*

Сколько страданий вы причиняете тем, кто вас любит! Сколько по вашей милости пролито горючих слез в несчастной семье, покой которой вы смутили! Страшитесь присоединить к нашей скорби горькую утрату, страшитесь, как бы смерть неутешной матери не стала последней каплей яда, которую вы прольете в сердце дочери, а ваша необузданная страсть в конце концов не принесла вам вечных угрызений совести. Из дружбы к вам я терпела ваши заблуждения, пока их питала хоть тень надежды. Но ныне нельзя мириться с капризным упорством, которое вы выказываете наперекор и чести и рассудку; оно сулит лишь горести и беды и заслуживает одного названия — упрямства.

Ведь вы знаете, каким образом вашу любовь, так долго скрываемую от тетушки, выдали ваши письма. Сколь ни тяжел удар, постигший нежную и добродетельную мать, она больше, чем на вас, негодует на самое себя,— все приписывает своей слепоте и неосмотрительности, оплакивает роковое заблуждение. Мысль о том, что она слишком полагалась на дочь, для нее жестокая пытка, а ее душевные муки для Юлии во сто крат тягостнее всех попреков.

Бедняжка сестрица в невообразимом уныний,— чтобы понять это, надобно ее увидеть. Сердце ее словно замерло от кручины; лицо ее застыло от неизбывного горя, и это страшнее пронзительных воплей. Дни и ночи она стоит на коленях у изголовья матери, уныло опустив глаза; если требуется, то молча, с невиданной доселе заботливостью и расторопностью

ухаживает за нею, а в свободные минуты опять впадает в такое подавленное состояние, что кажется, будто ее вдруг подменили. Ясно видно, что только недуг матери поддерживает дочь, и если б горячее желание быть полезной не придавало ей силы, то ее потухший взгляд, бледность, невероятная угнетенность внушили бы тревожную мысль, что она сама нуждается в заботах, которыми окружает мать. Тетушка тоже это заметила,— с беспокойством осведомляется она о здоровье дочки, и я чувствую, что и та и другая всем сердцем хотят преодолеть ту отчужденность, которая между ними возникла,— вас должно ненавидеть за то, что вы нарушили столь нежное единение душ.

Неловкость усиливается оттого, что надо скрывать ее из-за горячего нрава отца; мать, дрожа за жизнь дочери, оберегает от него опасную тайну. Так повелось, что при нем они держатся с былой простотою. Нежному материнскому сердцу приятно пользоваться этим предлогом, но дочь, полная смущения, не смеет всею душою насладиться материнскими ласками, которые кажутся ей притворными и мучительны для нее, а были бы отрадны, посмей она поверить в их искренность. Стоит отцу приласкать ее, и она взглядывает на мать с таким трогательным, таким смиренным видом, будто само ее сердце, отражаясь в глазах, говорит: «Ах, почему я недостойна и вашей нежности!»

Госпожа д'Этанж не раз говорила со мной наедине, и по тому, как беззлобно она упрекала меня, по тону, каким вела разговор о вас, я поняла, что Юлия положила много сил, дабы умерить ее справедливое негодование, не щадила себя, оправдывая и меня и вас. В самих письмах ваших, полных страстной любви, есть нечто извиняющее вас, и от тетушки это не укрылось. Не так она упрекает вас за то, что вы обманули ее доверие, как самое себя за непредусмотрительность. Уважая вас, она считает, что ни один мужчина на вашем месте не проявил бы такой стойкости, и готова обвинить в ваших недостатках самое добродетель. По ее словам, она поняла, что такое хваленая и безукоризненная честность, которая не мешает человеку порядочному, когда он влюблен, соблазнить при случае добронравную девушку и без зазрения совести обесчестить семью, лишь бы удовлетворить мгновенный порыв страсти. Но к чему говорить о прошлом! Речь идет вот о чем: надобно навсегда скрыть ужасную тайну, надобно, если возможно, уничтожить все ее следы,— благо, по милости самого господа, все обошлось без ощутимых последствий. К тайне причастны шестеро — все

люди надежные. Покой тех, кого вы любили, жизнь матери, повергнутой в отчаяние, честь дома, уважаемого всеми, ваша собственная добродетель — все это еще зависит от вас. Все велит вам исполнить свой долг; вы еще можете стать достойным Юлии и, отказавшись от нее, искупить ее проступок. И если я не обманываюсь в вашем сердце, только величие подобной жертвы сравнится с величием любви, ради которой она совершится.

Всегда питая уважение к вашим чувствам,— уважение, подкрепленное нежным вашим союзом, не знающим себе подобных на свете,— я от вашего имени обещала исполнить все, что надобно; посмейте же обмануть меня, если я слишком понадеялась на вас, или будьте ныне тем, кем вам должно быть. Вам придется или возлюбленную принести в жертву любви, или любовь в жертву возлюбленной, показать, что вы или самый низкий, или самый добродетельный человек.

Несчастная мать хотела написать вам, даже начала было письмо. О боже! Какими разящими ударами были бы для вас ее горестные жалобы! Как истерзали бы ваше сердце ее трогательные мольбы! Каким стыдом наполнили бы вас смиренные просьбы! Я в клочки изорвала ее убийственное письмо — вы бы его не вынесли. Мне нестерпима мысль о том, как унижается мать перед соблазнителем своей дочери. Право, вы достойны иного, на вашу душу нельзя воздействовать средствами, кои пригодны, чтобы разжалобить изверга, но сведут в могилу человека чувствительного.

Если бы любовь потребовала от вас подвига впервые, я бы еще сомневалась в успехе, колебалась бы, не зная, достойны ли вы столь высокого мнения; но жертва, которую вы уже принесли во имя чести Юлии, покинув наши края,— порука тому, что вы принесете жертву и во имя ее покоя, прекратив бесполезное общение с нею. Первые деяния добродетели всего труднее, и вы не допустите, чтобы ваш подвиг, который обошелся вам так дорого, оказался бессмысленным, не станете упрямо поддерживать тщетную переписку, которая грозит вашей возлюбленной страшной опасностью, ничего не сулит вам обоим и только продлит бесплодные мучения. Поверьте, Юлия, которая была столь дорога вам, отныне не должна существовать для того, кого так любила. Напрасно вы скрываете от себя свое несчастье. Вы потеряли ее в тот миг, когда вас разлучили,— вернее, небо отняло ее у вас еще до того, как она отдалась вам. Ее отец, воротившись, обещал ее руку другому, а вам известно, что слово этого непреклонного человека непоколебимо. И как

бы вы ни вели себя, неумолимый рок идет наперекор всем вашим стремлениям, и ей никогда не быть вашей. Иного выбора нет: или столкните ее в пучину горя и позора, или почтительно отнеситесь ко всему, что вы боготворили в ней, вместо утраченного счастья верните ей благоразумие, покой и хотя бы безопасность, которой ее лишила злополучная связь.

Как бы вы опечалились, как измучило бы вас раскаяние, если б вы увидели, в каком удрученном состоянии ваша бедная подруга, в какое уныние повергли ее угрызения совести и стыд! Померкнул блеск ее красоты, угасло очарование; ее чувства, столь прелестные и нежные, сливаются в одно всепоглощающее чувство — скорбь. Ей не мила и дружба,— она едва разделяет мою радость при наших встречах. Ее изболевшееся сердце уже ничего не чувствует, кроме любви и печали. Увы! Во что превратилось любящее и чувствительное создание, где ее чистое стремление ко всему благородному, нежное участие к людям в их горестях и радостях? Разумеется, она и сейчас кротка, великодушна, отзывчива. Милая привычка творить добро никогда не изгладится в ее душе, но ныне это всего лишь слепая привычка, безотчетная склонность. Как и прежде, она помогает ближним, но без прежнего рвения. Возвышенные чувства утратили силу, божественный огонь души угас, ангел превратился в обыкновенную женщину. О, какую душу отняли вы у добродетели!

## ПИСЬМО II

*К г-же д'Этанж*

Измученный горем, коему суждено длиться, пока я жив, припадаю к вашим стопам, сударыня, не с тем, чтобы выразить раскаяние, над которым не властно мое сердце, а чтобы искупить невольный грех, отказываясь от своего счастья. Никогда еще человеческие чувства, даже отдаленно, не уподоблялись тем, что внушила мне ваша достойная обожания дочь,— поэтому никогда и не приносилась жертва, равная той, какую я готов принести самой почтенной из всех матерей на свете. Но Юлия хорошо преподала мне, как надобно жертвовать счастьем во имя долга, мужественно показала мне пример, и мне хоть раз в жизни удастся быть ее последователем. Если б я мог кровью своей исцелить ваши недуги, я бы пролил ее без единого слова, сожалея только о том, что это лишь слабое доказательство моего горячего усердия. Но никакие силы не

заставили бы меня разорвать самые нежные, самые чистые и священные узы, когда-либо соединявшие два сердца,— о нет, я не разорвал бы их ни за что на свете,— и только вам одной удалось этого достигнуть.

Да, обещаю вам жить вдали от нее так долго, как вы прикажете. Отказываюсь от встреч и переписки с нею — клянусь в этом вашей драгоценной жизнью, этим залогом ее жизни. С ужасом, но безропотно подчиняюсь я всему, что вы пожелаете приказать и ей и мне. Скажу больше: быть может, ее счастье утешит меня в горе, и я умру спокойно, если супруг, выбранный вами, будет достоин ее. О, пусть сыщут такого человека и пусть он посмеет сказать мне: «Я буду любить ее сильнее тебя». Сударыня, напрасно он будет наделен всем тем, чего недостает мне,— если у него нет моего сердца, ничто не пленит Юлию. Мое богатство — благородное и любящее сердце. Увы! Больше у меня нет ничего. Любовь делает всех равными, но не дает высокого положения. Она даст только высокие чувства. О, сколько раз, когда я говорил с вами, мои уста произнесли бы нежное имя — мать, если б я смел повиноваться лишь своему чувству!

Прошу вас, доверьтесь клятвенным обещаниям, которые не даны всуе, доверьтесь человеку, коего нельзя назвать лжецом: хотя однажды я и обманул ваше доверие, но прежде всего обманулся сам. Мое неискушенное сердце поняло, что грозит опасность, когда поздно было бежать ее, а ваша дочь еще не преподала мне тогда жестокого искусства побеждать любовь с помощью любви — искусства, которому так хорошо обучила позже. Отгоните от себя все страхи, заклинаю вас. Да найдется ли на свете человек, которому ее покой, счастье, честь были бы дороже, чем мне? Нет, пусть и сердце и слово служат порукой обязательства, которое я принимаю и от лица знатного друга, и от своего. Тайна разглашена не будет, успокойтесь, и когда я испущу последний вздох, никто не будет знать, что за горе свело меня в могилу. Утолите же свою скорбь, которая сокрушает вас и растравляет мои сердечные раны, осушите слезы, терзающие мне душу, выздоравливайте. Возвратите нежнейшей на свете дочери счастье, от коего она отреклась ради вас; будьте сами счастливы ее счастьем,— словом, живите во имя того, чтоб она полюбила жизнь. О, быть матерью Юлии,— невзирая на ошибки, совершенные ею во имя любви,— чудесный удел, позволяющий радоваться жизни.

## ПИСЬМО III

*К г-же д'Орб*

*(Отправлено вместе с предыдущим письмом)*

Вот вам ответ, жестокая! Рыдайте, читая его, если вы знаете мое сердце и если ваше еще сохранило чувствительность. Но, главное, не обременяйте, не мучайте меня своим уважением; по вашей милости оно так дорого обходится мне, превращаясь в мучение всей моей жизни.

Итак, вы безжалостной своею рукой посмели порвать нежные узы, созданные на ваших глазах чуть ли не с детских лет,— а казалось, что ваша дружба укрепляла их с такой радостью. Вы добились своего — я несчастлив, и несчастье мое беспредельно. Ах, понимаете ли вы, какое зло творите? Чувствуете ли, что вы исторгаете из меня душу, отнимаете у меня невозместимое,— ведь во сто крат лучше умереть, чем нам с нею жить порознь! Вы говорите о счастье Юлии? Оно невозможно, если нет сердечной отрады! Говорите об опасности, грозящей ее матери? Но что такое жизнь матери, моя, ваша, даже ее жизнь, что такое бытие вселенной по сравнению с восхитительным чувством, соединяющим нас? Бессмысленная, бессердечная добродетель! Подчиняюсь твоему недостойному голосу. Ненавижу тебя, а делаю все во имя тебя. Напрасны твои утешения; им не утолить мучительной скорби моей души! Прочь, унылый кумир неудачников! Он только усугубляет их горе, отнимая средства к спасению, дарованные судьбой. Но я подчиняюсь. Да, жестокая, подчиняюсь. Если удастся, стану бесчувственным, беспощадным, под стать вам. Забуду обо всем, что мне было дорого. Не желаю более слышать ни имени Юлии, ни вашего имени. Не желаю, чтобы мне напоминали о прошлом, это нестерпимо! Досада, лютая ярость ожесточают меня против превратностей судьбы. В непреклонном упрямстве найду я замену мужеству. Дорого мне стоила чувствительность — лучше отказаться от человеколюбия.

## ПИСЬМО IV

*От г-жи д'Орб*

Ваше письмо надрывает мне сердце. Поведение ваше свидетельствует о такой любви и добродетели, что горечь ваших укоров смягчается; недостает мужества бранить вас, так вы благородны. Тот, кто приносит любви такую жертву, заслужи-

вает похвал, а не упреков, несмотря на свою запальчивость. Ваши речи оскорбительны, но никогда еще вы не были так дороги мне, как с той поры, когда я до конца поняла, чего вы стоите.

Благодарите добродетель, которую вы якобы ненавидите,— она делает для вас больше, чем сама любовь. Своей жертвой вы покорили даже тетушку: она чувствует всю ее цену. Она не могла читать ваше письмо без сердечного умиления, даже поддалась слабости и показала его дочери. Бедняжка Юлия, читая его, с таким трудом сдерживала вздохи и слезы, что потеряла сознание.

Нежная мать, и без того глубоко растроганная вашими письмами, понимает, видя все происходящее, что ваши сердца не подчиняются общим правилам, что ваша любовь — это непреодолимое естественное влечение, и ни время, ни все человеческие усилия ее не уничтожат. Хоть тетушка и нуждается в утешении, но охотно утешала бы дочь, если бы не чувство приличия. Я вижу, она готова стать наперсницей дочери, но мне этой роли она не прощает. Вчера у нее при Юлии вырвалась, пожалуй, несколько неосторожная[1] фраза: «Ах, если бы все зависело от меня...» Она не договорила, но дочь с горячностью запечатлела поцелуй на ее руке, и я поняла, что Юлия отлично постигла смысл этих слов. Не раз г-жа д'Этанж пыталась говорить со своим непреклонным мужем, но всегда робко умолкала, то ли страшась, что гнев разъяренного отца обрушится на дочь, то ли опасаясь за себя. Слабость и недуг ее возрастают с такой очевидностью, что я боюсь, как бы она, не успев хорошенько обдумать свое намерение, уже не лишилась возможности его исполнить.

Одним словом, хотя вы и повинны во многом, но душевное благородство, коим дышит ваша взаимная любовь, внушило ей такое высокое мнение о вас обоих, что она поверила клятвенному обещанию прекратить переписку и, отбросив все предосторожности, не стала бдительнее следить за дочерью. И в самом деле, Юлия, предав ее доверчивость, стала бы недостойна ее забот. Вас обоих следовало бы казнить, если б вы посмели обмануть лучшую из матерей, употребить во зло ее высокое мнение о вас.

Я не пытаюсь воскресить в вашем сердце надежду,— ее нет и у меня самой. Но хочу доказать вам, что самое честное

---

[1] Клара, как вы сами сейчас неосторожны,— и, вероятно, не в последний раз!

решение — также и самое мудрое и что единственный оплот для вашей любви, если он еще возможен,— самопожертвование во имя порядочности и рассудка. Мать, родственники, друзья,— словом, все, кроме отца, на вашей стороне; вы добьетесь и его расположения, встав на этот путь,— или ничего не добьетесь. Вы посылаете проклятия, поддавшись отчаянию, но сами доказывали сотни раз, что нет более надежной дороги к счастью, чем дорога добродетели. Если достигнешь счастья, идя этой дорогой, оно чище, вернее, отраднее; если не достигнешь — его возместит добродетель. Соберитесь с духом, будьте мужчиной, станьте вновь самим собой. Ваше сердце я знаю: всего страшнее для вас — сознание, что вы утратите Юлию из-за того, что недостойны обладать ею.

## ПИСЬМО V

*От Юлии*

Ее больше нет. Глаза мои видели, как она навсегда сомкнула веки. Уста мои приняли ее последний вздох. Мое имя — вот последнее слово, которое она произнесла, ее последний взгляд был обращен на меня. Нет, не о жизни она сожалела,— я так мало сделала, чтобы заставить ее дорожить жизнью,— она прощалась только со мною. Она видела, что у меня нет ни путеводной нити, ни надежды, страдала от моих горестей и проступков, а не смерти боялась. Ее сердце разрывалось оттого, что дочь ее в таком состоянии, а она ее покидает. Она была права. Ей нечего было жалеть на земле. Что в здешней юдоли могла она найти равного тому вечному воздаянию за терпение и добродетели, которое ждало ее на небе? Только одно ей оставалось на свете — оплакивать мой позор! Чистая, непорочная душа, достойная супруга и несравненная мать, ныне ты пребываешь в царстве славы и блаженства. Ты жива, а я, вся во власти раскаяния и безутешного горя, навеки лишенная твоих забот, наставлений, нежных ласк, я мертва для счастья, покоя, непорочности; я чувствую лишь одно — что утратила тебя, сознаю лишь одно — что покрыла себя позором. Моя жизнь отныне — печаль и страдание. Маменька, моя милая маменька, увы, это я мертва, а не ты!

Господи! Какое-то исступление помутило разум у меня, несчастной, я позабыла все свои прежние решения! Кто осушит мои слезы, кто станет внимать моим стенаниям? Пусть ему,

жестокому их виновнику, они и будут вверены! И только вместе с ним, повинным во всех несчастиях моей жизни, я и смею оплакивать эти несчастия! Да, да, бессердечный изверг, разделите же мучения, которые терзают меня из-за вас. Из-за вас я вонзила нож в материнскую грудь — так стенайте от страданий, которые вы мне причинили, и чувствуйте вместе со мной весь ужас матереубийства: ведь это дело ваших рук. Чьим глазам посмею показаться во всей своей низости? Кому с уничижением поведаю, как меня терзают муки совести? Только моему сообщнику понять все это! Обвиняет меня мое сердце, а все объясняют моей нежной привязанностью нечестивые слезы, которые я лью в мучительном раскаянии,— и это для меня самая тяжкая пытка. С трепетом видела я, как скорбь отравляет и ускоряет кончину бедной маменьки. Напрасно из сострадания ко мне она не сознавалась в этом, напрасно старалась приписать ухудшение недуга его первоначальной причине, напрасно о том же твердила и сестрица,— ничто не могло обмануть моего сердца, измученного угрызениями совести. И до самой могилы меня будет терзать ужасная мысль, что я сократила жизнь той, кому обязана своей жизнью.

В последний раз дайте мне выплакать на вашей груди горькие слезы, в которых вы и повинны,— ведь небо в гневе ниспослало вас, чтобы сделать меня несчастной и преступной. Не стану, как прежде, говорить с вами о наших общих горестях. Это невольные вздохи последнего прости. Все кончено — любовь уже не властна над душой, объятой отчаянием. Остаток своих дней я посвящаю скорби, оплакивая лучшую на свете мать. У меня хватит силы принести ей в жертву чувства, стоившие ей жизни. Как я счастлива, что нелегко мне далось победить их, искупая ее страдания. О, если ее бессмертный дух проникает в глубь моего сердца, то он видит, что жертва, которую я приношу ему, не столь уж его недостойна! Разделите же со мной душевное бремя, которое я несу по вашей вине. Если в вашем сердце сохранилась хоть капля уважения к памяти сладостных роковых уз, я заклинаю вас ими: оставьте меня навсегда, не пишите мне, не усугубляйте мук моей совести, дайте мне забыть, если возможно, чем мы были друг для друга. Пусть глаза мои никогда более не увидят вас, пусть я не услышу более вашего имени, пусть воспоминание о вас не смущает моего сердца. Я еще смею говорить от имени любви, с которой должно покончить. Не множьте моих мук мучительной мыслью о том, что ее последняя воля не исполнена. Примите мое последнее прости, дорогой и единственный... О, безумная... Прощайте навек.

## ПИСЬМО VI

*К г-же д'Орб*

Завеса наконец порвана. Самообольщение, длившееся так долго, развеялось. Сладостная надежда угасла; отныне питать вечное пламя любви моей будет лишь горькое и дивное воспоминание, которое поддерживает во мне жизнь и усиливает мои муки, рисуя мнимое, сгинувшее счастье.

Да правда ли, что я вкусил наивысшее блаженство? То ли я существо, что когда-то было счастливо? Да разве тот, кому дано испытывать мои страдания, не родился для вечных страданий! Да разве можно наслаждаться благами, которые я утратил, и пережить их утрату! Могут ли столь различные чувства зародиться в одном и том же сердце? Дни радости и счастья, нет, вы не были уделом смертного, вы были так прекрасны, что не могли быть преходящи. Мы пребывали в каком-то упоительном самозабвении, и время для нас остановилось: мгновение стало вечностью. Ни прошлого, ни будущего для меня не существовало, я вкушал наслаждение за тысячи столетий. Увы! Все исчезло как молния. И эта вечность счастья была лишь мигом моей жизни. Время снова обрело свое медлительное течение в часы моего отчаяния, и тоска будет измерять долгими годами жалкий остаток дней моих.

Чтобы вконец сделать мне жизнь несносной, меня приводят в уныние все больше и больше горестей, и то, что любезно моему сердцу, все больше отстраняется от меня. Сударыня, быть может, вы все еще любите меня; но вас призывают другие заботы, вас занимают другие обязанности. Теперь уже было бы несправедливо отягощать вас своими жалобами, которым вы внимаете с участием. Юлия, Юлия,— она сама в отчаянии и покидает меня. Печаль, угрызения совести прогнали любовь. Все для меня изменилось,— только мое сердце неизменно, и от этого мой удел еще ужаснее.

Но не все ли равно, что со мною и что мне предстоит. Юлия страдает,— разве сейчас время думать обо мне? Ах, от ее мук мне еще тяжелее. Да, я бы предпочел, чтоб она меня разлюбила и была счастлива. Разлюбить!.. Ужели она на это надеется!.. Нет, никогда, никогда! Напрасно запретила она мне видеть ее и писать ей,— так она не избавится от мучений, а останется без утешителя! Надобно ли ей, потеряв нежную мать, лишиться и нежного друга? Не думает ли она утолить свои страдания, умножая их? О любовь! Разве можно мстить тебе за утрату близких?

Нет, нет, тщетно будет она стараться забыть меня! Способно ли нежное сердце отринуть мое? Да разве я не удерживаю его против ее воли? Чувства, которые мы испытали, не забываются. И можно ли вспомнить о них, не испытывая их вновь? Любовь побеждающая сделала ее несчастной на всю жизнь; любовь побежденная сделает еще более достойной жалости. Она будет влачить дни свои в печали, ее будут мучить и тщетные сожаления, и тщетные желания, она никогда не удовлетворит ни любовь свою, ни добродетель.

Не думайте, однако, что, сокрушаясь о ее заблуждениях, я перестаю их уважать. Я принес столько жертв, что отказывать ей в повиновении уже поздно. Она так велит,— этого довольно. Обо мне она больше не услышит. Судите сами, как ужасна моя судьба. И величайшее мое горе не в том, что мне пришлось отказаться от нее! Ах, источник моих самых нестерпимых страданий в ее сердце, и больше всего я мучаюсь оттого, что она несчастна. Клара, милая Клара, вас она любит больше всех на свете, и только вы — после меня — так любите ее, как она заслуживает, ныне вы ее единственное сокровище. И оно столь драгоценно, что поможет ей перенести утрату всех других сокровищ. Подарите ей утешения взамен тех, которые отняты у нее либо отринуты ею самой,— пусть святая дружба заменит ей и нежность матери, и нежность возлюбленного, и прелесть тех чувств, которые должны были сделать ее счастливой. Пусть она будет счастлива, если это возможно, любой ценой. Пусть к ней вернутся безмятежность и душевный мир, которых я лишил ее, и меня не так будут терзать муки совести. Я ничтожество в собственных глазах, удел мой — умереть ради нее, поэтому пусть она думает, будто меня уже нет в живых, если это принесет ей душевный покой. Да обретет она вновь возле вас свои прежние добродетели, свое прежнее счастье! Да станет она, окруженная вашими заботами, такой, какою была прежде, до знакомства со мною!

Увы! Тогда она была дочерью, а ныне у нее нет матери! Вот она, невозвратимая утрата, от нее никогда не найти исцеления, и ничто не утешит того, кто должен укорять себя за нее. Негодующая совесть напоминает ей о нежной, милой матери, ее терзает отчаяние, муки совести присоединяются к ее горю. О Юлия! Ужели ей на долю выпало это ужасное испытание? Вы были свидетельницей болезни и последних минут несчастной матери, умоляю, заклинаю вас, скажите, что мне думать? Пронзите мое сердце, если я виновен. Ежели она была так удручена нашими проступками, что из-за них сошла в могилу,

то мы изверги, мы недостойны остаться в живых. После всего этого одна мысль о столь роковых наших узах сама по себе преступление; преступление — взирать на мир божий.

Нет, я верю, что такая чистая любовь не может породить столь мрачные последствия! Любовь внушила нам слишком благородные чувства,— не может быть, чтобы они повлекли за собою злодеяния, на которые способны лишь бесчеловечные души. О небо, иль ты несправедливо? И ужели та, которая пожертвовала счастьем во имя своих родителей, могла стать причиной этой смерти?

## ПИСЬМО VII

*Ответ*

Да возможно ли меньше любить вас, когда с каждым днем проникаешься все большим к вам уважением! И могу ли я утратить прежние чувства, когда вы с каждым днем заслуживаете все новых? Нет, любезный и достойный друг, какими мы были друг для друга с самой юности, такими и останемся до конца дней своих. Наша взаимная привязанность не увеличивается лишь оттого, что ей уже просто нельзя увеличиться. Все различие в том, что прежде я любила вас как брата, ныне люблю как свое дитя; хотя мы обе и моложе вас, хотя мы даже ученицы ваши, однако мне все кажется, что вы отчасти наш ученик. Уча нас рассуждать, вы у нас научились чувствовать. И что бы ни проповедовал ваш английский философ, одна наука стоит другой: разум заставляет человека действовать, зато чувство им руководит.

Знаете, отчего я как будто изменила свое отношение к вам? Поверьте, не оттого, что изменилось мое сердце, а оттого, что иным стало ваше положение. Я покровительствовала вашей любви до той поры, покуда оставался хоть луч надежды; но вот вы стали упорно добиваться руки Юлии, это повлекло за собой все ее несчастья; мое покровительство повредило бы вам обоим, а не помогло. И я бы предпочла, чтоб вы не огорчались, а сердились. Когда счастье недостижимо, надобно искать свое счастье в счастии того, кого любишь, одно это и остается тому, кто любит безнадежно, не правда ли?

Вы не только думаете так, великодушный друг мой, вы доказываете это на деле,— на столь горестное самопожертвование еще не соглашался ни один верный любовник. Отказываясь от

Юлии, вы покупаете ее душевное спокойствие за счет своего и ради нее готовы на самоотречение.

Едва осмеливаюсь высказать вам те странные мысли, которые приходят мне в голову, но в них черпаешь утешение, и это мне придает смелости. Прежде всего, я полагаю, у любви истинной те же преимущества, что у добродетели,— она воздает за все то, что приносится ей в жертву, и даже находит отраду в своих лишениях, сознавая, чего они стоят и что к ним побудило. Вы докажете, что любили Юлию, как она заслуживала, и полюбите ее еще сильнее и станете от этого еще счастливей. Возвышенное самолюбие, умеющее вознаграждать за все тяжкие жертвы добродетели, придаст еще больше очарования прелести любви. Вы будете говорить себе: «Я умею любить»,— с отрадным чувством, более долговечным и сладостным, чем то, которое заключено в словах: «Я обладаю тем, кого люблю»,— ибо такое чувство испаряется, а то, первое,— нетленно и даже переживет самое любовь.

Кроме того, если и вправду любовь, как вы с Юлией столько раз твердили,— самое утонченное чувство, доступное сердцу человеческому, значит, все, что его продолжает и укрепляет даже ценою тысячи страданий,— благо. Если любовь — страсть, которую разжигают препятствия, как вы сами утверждали, то, право, ей лучше не находить утоления, пусть она длится, пусть будет несчастливой, но не угаснет среди утех. Ваша пламенная страсть прошла через искус обладания, времени, разлуки, всяческих невзгод. Она одолела все препятствия, за исключением наиболее могучего — отсутствия борьбы, предоставляющего любви самой себя поддерживать. Мир еще не видел, чтобы страсть преодолела такое испытание. Какое же вы имеете право уповать, будто ваша любовь его выдержит? Время шло бы, постепенно наступила бы старость, красота увяла бы, и все росло бы чувство пресыщенности, которое испытывает человек после долгих лет обладания,— а для вас благодаря разлуке все как будто остановилось. Вы навсегда сохранитесь друг для друга молодыми и прекрасными; беспрестанно будете вспоминать друг друга такими, какими были при расставании, и в сердцах ваших, соединенных до могилы, будет вечно жить волшебная мечта, воспоминание о молодости, неотъемлемой от любви.

Если бы вы не знали утех любви, вас мучила бы непреодолимая тоска, сердце ваше исходило бы печалью, изныло, грезя о восторгах, достойных его. Ваше горячее воображение беспрерывно рисовало бы вам те радости, которых вы не испытали. Но любовь подарила вам все свои радости,— ведь вы

сами говорите, что за год изведали наслаждения, которые иной не изведает и за всю жизнь. Вспомните о том страстном письме, которое вы написали на следующий день после вашего дерзновенного свиданья. Я его читала с волнением, неведомым мне дотоле, в письме не было умиротворения,— нет, оно дышало страстью, чувствовалось, что сердце ваше еще охвачено самозабвенным восторгом любви, опьянено сладостной негой, и вы сами тогда уверяли, что дважды в жизни нельзя изведать такие восторги,— испытав их, надобно умереть. Друг мой, тогда вы вкусили полное блаженство. И как бы судьба и любовь ни благоприятствовали вам, страсть ваша и счастье ваше стали бы меркнуть. Мгновение это было также и началом ваших невзгод, возлюбленную у вас отняли в ту пору, когда вы изведали все чувства,— словно судьбе было угодно уберечь вашу любовь от неизбежного угасания и сохранить в вашей душе живую память о минувших радостях, более ярких, нежели все те, которыми вы могли бы еще насладиться.

Так не скорбите же об утрате того блага, которое все равно ускользнуло бы от вас рано или поздно, да вдобавок еще унесло бы с собой и другое благо — то, чего у вас теперь не отнять. Ведь счастье и любовь могли исчезнуть вместе; а у вас, по крайней мере, сохранилось чувство,— а ведь любить так отрадно. Образ угасшей любви страшнее для нежного сердца, чем образ любви несчастливой. Чувство отвращения к тому, чем обладаешь, во сто крат хуже сожаления о том, что утратил.

Если упреки, которыми осыпала себя неутешная сестрица из-за смерти матери, были справедливы, то страшное воспоминание отравляло бы, надо признаться, вашу любовь, и мрачная, неотвязная мысль навек заглушила бы ее. Но не верьте Юлии,— душевные муки вводят ее в обман, или скорее — в химерических измышлениях, которые она с ними связывает, она невольно ищет повод, чтобы еще усилить свою скорбь. Ее нежная душа все боится, что горюет недостаточно сильно, и находит какую-то печальную отраду, добавляя к своим страданиям новые. Поверьте, она все это себе внушает. Она недостаточно искренна с собою. Неужто ее сердце вынесло бы угрызения совести, если б она в самом деле думала, что оборвала жизнь матери? Нет, друг мой, нет. Она не оплакивала бы ее, а последовала бы за ней. Болезнь г-жи д'Этанж хорошо известна: у нее был неизлечимый недуг — водянка, ее состояние считали безнадежным еще до того, как обнаружилась ваша переписка. Тетушка, правда, испытала немалое огорчение, зато была вознаграждена и немалыми радостями! Сколь утешительно было

для нежной матери, страдавшей от проступка Юлии, видеть, какими добродетелями дочь искупает его, и, оплакивая проступок дочери, любоваться ее душой. Какой отрадой для матери было чувствовать, сколь она дорога Юлии! Какое неутомимое усердие выказывала Юлия! Какими заботами она беспрерывно окружала свою мать, не отходя от нее! Как раскаивалась, что причинила ей тяжелое горе! Как сожалела о прошлом! Как плакала! Какие трогательные ласки расточала! Как сострадала ее недугу! В глазах дочери читались страдания матери; она прислуживала ей весь день, ухаживала за ней всю ночь; все делала своими руками, помогая ей. Вы бы не узнали свою Юлию. Хрупкость ее исчезла, она стала сильней и крепче, самый тяжелый труд ей был нипочем,— казалось, душа ее облеклась в иное, новое тело. Она делала все сама, но казалось, будто ничего не делает. Она всюду поспевала, но казалось, не отходит от изголовья больной. Бывало, войдешь и всегда застанешь Юлию коленопреклоненной у ложа матери; прильнув губами к ее руке, она вздыхает о своем прегрешении или о страданиях матери, сливая чувства воедино и тем еще углубляя свою скорбь.

Все, кто бы ни входил в тетушкину спальню за последние дни, умилялись до слез, глядя на эту трогательную картину. Видно было, что в минуту страшного расставания сердца́ их старались еще теснее прильнуть друг к другу. Видно было, что мать и дочь печалились только о грозящей им разлуке, что сама смерть для них ничего не значила и они хотели лишь одного: остаться вместе на земле или уйти из жизни вместе.

Не доверяйте же мрачным мыслям Юлии, поверьте, она сделала все во спасение жизни матери и ей в утешение. Она замедлила развитие недуга,— только ее неотступные, ласковые заботы, ее уход продлили жизнь умирающей. Тетушка несчетное число раз твердила, что ее последние дни были для нее самою отрадной порою и что для полного счастья ей только недоставало счастья дочери.

Ежели смерть ее и можно приписать горю, то горе ее давнишнее, и обвинять в нем следует лишь ее супруга. Он был непостоянен, неверен, многие годы расточал пыл молодости в связях с женщинами, менее достойными любви, чем добродетельная спутница его жизни. Когда же, вступив в преклонный возраст, он вернулся к ней, то стал держаться с той неколебимой суровостью, какою обычно неверные мужья только усугубляют свою вину. Бедненькая сестрица почувствовала это на себе. Он кичился благородством своего рода; его упрямый, крутой

нрав ничем нельзя было смягчить,— отсюда и ваше с ней несчастье. Мать Юлии, всегда питавшая к вам душевную склонность, поняла, что вы любите друг друга, но было поздно,— уже нельзя было потушить вашу любовь. Тетушка долго утаивала свое горе, она не в силах была преодолеть ни увлечение дочери, ни упрямство мужа и считала себя первопричиной неисправимого зла. Когда ваши письма внезапно открыли ей, до какой степени вы обманули ее доверие, она испугалась, что все потеряет, стараясь все спасти, и подвергнет опасности жизнь дочери ради того, чтобы восстановить ее честь. Она часто обиняком заговаривала о дочери со своим мужем, но безуспешно; она не раз пыталась откровенно поговорить с ним, указать на его обязанности,— но боязливость и кроткий нрав всегда ее удерживали. Покуда у нее были силы, она колебалась, когда же она захотела все сказать, было уже поздно — силы ей изменили. Она умерла, унеся с собой роковую тайну. И я, зная несдержанный, крутой нрав ее мужа, думаю, что в своем гневе он преступил бы все пределы, и радуюсь, что жизнь Юлии в безопасности.

Ей все это известно. Сказать вам, что я думаю о ее мнимых угрызениях совести? Любовь действует искуснее ее. Юлия горюет о матери, ей бы хотелось забыть вас, все это так, но любовь мучит ее совесть, принуждая ее думать о вас. Любовь заставляет Юлию проливать слезы о возлюбленном. Юлия не посмела бы предаваться такой печали явно, и любовь заставляет ее лить слезы якобы из раскаяния. Она действует с таким искусством, что Юлия предпочитает еще сильнее страдать, лишь бы ввести вас в круг своих помыслов. Ваше сердце, быть может, и не понимает уловок ее сердца, но, право, в них нет ничего напраннного. Хоть любовь в вас и одинаково сильна, но несходна в своих проявлениях: ваша — кипучая и порывистая, ее — нежная и кроткая; ваши чувства буйно рвутся наружу, ее — уходят в глубь сердца и, проникая в недра души, незаметно преображаются, меняются. Ваша любовь возбуждает и поддерживает сердце, ее любовь ослабляет и удручает его. Ее силы иссякают, мужество истощается, и от ее добродетели не остается и следа. Но ее воля не уничтожена,— она только приглушена. В решительную минуту жизни она или возвратится к Юлии во всей своей силе, или же исчезнет безвозвратно. Если Юлия сделает еще шаг и совсем падет духом — все будет кончено. Но если ее редкостная душа хоть однажды воспрянет, то станет еще величественнее, еще сильнее, еще добродетельнее, чем прежде,— и нового падения уже не будет. Поверьте, любезный друг, душа ее в опасности, и вам надобно уважать то, что вы любили. Все,

что исходит от вас, помимо вашей воли, может нанести ей смертельный удар. Если вы будете упорно стремиться к тому, чтобы обладать Юлией, вы легко восторжествуете; но напрасно думаете вы найти в ней прежнюю Юлию,— ее уже не будет.

## ПИСЬМО VIII

*От милорда Эдуарда*

Я приобрел права над твоим сердцем; ты был мне необходим, и я чуть не приехал к тебе. Но что тебе мои права, мои заботы, мое дружеское расположение? Ты забыл меня, уже не удостаиваешь письмами. Знаю, ты живешь нелюдимом,— догадываюсь о твоих тайных намерениях. Жизнь стала тебе в тягость.

Ну что ж, умирай, безумный юнец! Умирай, жестокий, малодушный! Но знай,— когда ты умрешь, в душе порядочного человека, которому ты был дорог, останется горький осадок от сознания, что он втуне заботился о том, кто отплатил ему черной неблагодарностью.

## ПИСЬМО IX

*Ответ*

Приезжайте, милорд. Я думал, что мне уже не суждена на земле радость,— но вот мы увидимся. Не верю, что вы сочли меня неблагодарным. Ваше сердце не способно на это, мое же не знает неблагодарности.

## ЗАПИСКА

*От Юлии*

Настало время отказаться от заблуждений молодости и от обманчивых надежд; я никогда не буду принадлежать вам. Верните мне право на свободу, которое я отдала в ваши руки,— теперь им намерен распорядиться батюшка, или откажите мне и доверните мои страдания, ибо это вам не поможет, а только погубит нас обоих.

*Юлия д'Этанж*

## ПИСЬМО X

*От барона д'Этанж*

*(Прислано с предыдущей запиской)*

Ежели в душе соблазнителя сохранилось еще чувство чести и человечности, то вы ответите на записку несчастной, сердце которой вы погубили. Ее не было бы уже на свете, если б я дерзнул помыслить, что она в увлечении своем забыла стыд. Меня нисколько не удивляет, что та философия, которая научила ее броситься в объятия первому встречному, научила ее и ослушаться отца. Поразмыслите об этом. Во всех случаях я стараюсь обращаться с людьми сердечно и обходительно, когда вижу, что это на них может воздействовать; если я и с вами так обращаюсь, то не воображайте, будто я не знаю, как мстят за честь дворянина, оскорбленного человеком низкого звания.

## ПИСЬМО XI

*Ответ*

Сударь, оставьте свои пустые угрозы, кои нисколько меня не испугали, и несправедливые попреки, коим меня не оскорбить. Знайте, у девицы и юноши, если они сверстники, только один соблазнитель — любовь, и вам не унизить человека, которого ваша дочь почтила своим уважением.

Как смеете вы принуждать меня к такой жертве и кто дал вам право ее требовать? Ужели ради виновника всех своих несчастий я поступлюсь последней надеждой? Я охотно уважал бы отца Юлии, но если надобно мое повиновение, то пусть он соблаговолит быть и моим отцом. Нет, сударь, нет! Самомнение ваше не принудит меня ради вас отказаться от столь дорогих и столь заслуженных прав моего сердца. Мое горе — дело ваших рук. Я питаю к вам одну лишь ненависть, и вы не вправе предъявлять мне какие-либо требования. Просила Юлия,— вот отчего я дал согласие. Ах, пусть ей всегда повинуются! Обладать ею будет другой, но тем самым я стану более достойным ее.

Если б ваша дочь пожелала посоветоваться со мной о пределах вашей власти, я бы, разумеется, внушил ей, что надо противиться вашим несправедливым требованиям. Как бы ни была велика та власть, коей вы злоупотребляете, мои права более священны,— узы, связывающие нас, вне пределов родительской власти даже пред судом человеческим; и вы, осмеливаясь взывать к природе, сами действуете наперекор ее законам.

Не ссылайтесь и на весьма странную и весьма сомнительную честь, за которую вы хотите отмщения. Никто, кроме вас самого, ее и не оскорбляет. Уважайте избранника Юлии, и ваша честь будет в безопасности, ибо мое сердце чтит вас, несмотря на все ваши оскорбления; и, несмотря на допотопные взгляды, союз с порядочным человеком никого унизить не может. Если суждение мое оскорбляет вас, отнимите у меня жизнь, от вас я защищать ее не буду. Кроме того, мне безразлично, в чем заключается честь дворянина,— что до чести порядочного человека, то у меня на нее все права, я знаю, как ее защитить, и сохраню ее незапятнанно чистой до последнего своего вздоха.

Так поразмыслите, жестокосердый отец, столь мало достойный этого сладостного наименования, поразмыслите о вашем неслыханном детоубийстве в тот час, когда нежная и покорная дочь жертвует своим счастьем во имя ваших предрассудков. Горькие сожаления когда-нибудь станут для вас возмездием за все муки, которые вы мне причинили; вы поймете, что ваша слепая, бесчеловечная ненависть пагубна и для вас, но будет уже поздно. Я, разумеется, буду несчастлив; но если когда-нибудь в глубине вашего сердца заговорит голос крови, вы станете еще несчастливей, чем я, оттого что принесли в жертву своим фантазиям единственное свое дитя, ни с кем несравнимое по красоте, достоинствам и добродетели, дитя, которое небеса щедро одарили, забыв об одном — о хорошем отце.

### ЗАПИСКА,

*вложенная в предыдущее письмо*

Возвращаю Юлии д'Этанж право располагать своей судьбой и отдать руку без согласия ее сердца.

*С. Г.*

### ПИСЬМО XII

*От Юлии*

Мне хотелось описать вам сцену, которая только что произошла и объясняет записку, должно быть, уже полученную вами, но отец действовал столь предусмотрительно, что тотчас же отправил посыльного. Письмо отца, конечно, поспело на почту вовремя, а мое письмо, быть может, опоздает; раньше, чем оно будет вам доставлено, вы примете решение и пошлете ответ. Таким образом, подробности уже излишни. Я выполни-

ла свой долг,— вы выполните свой. Но судьба нас преследует, честь нас предает. Мы будем разлучены навсегда, и в довершение ужаса я перейду в... Увы! А ведь я могла быть в твоих! О долг! Чему ты служишь? О провидение!.. Остается только одно: стенать и молчать...

Перо выскальзывает из рук. Несколько дней я прохворала; утренний разговор привел меня в ужасное волнение... болит голова, болит сердце... я изнемогаю... Ужели небо не сжалится надо мной? Я не выдержу. Я слегла, и утешает меня надежда, что я уже не встану. Прощай, моя единственная любовь! Прощай навсегда, милый и нежный друг Юлии! Ах! Раз мне не суждено жить для тебя, значит, с жизнью покончено.

## ПИСЬМО XIII

*От Юлии к г-же д'Орб*

Итак, моя дорогая, моя жестокая подруга, ты действительно воротила меня к жизни и ко всем моим горестям! Я ждала блаженного мига, когда соединюсь с несравненной своей матушкой; из-за твоих бесчеловечных забот мне суждено еще долго оплакивать ее; мне так жаль расстаться с тобой, что это удерживает меня, когда желанье унестись вслед за ней отрывает меня от земли. Я примиряюсь с жизнью только из-за мысли, что не всю меня пощадила смерть. Лицо мое утратило былую прелесть, за которую мое сердце так дорого заплатило. Избавил меня от нее недуг, от коего я только что исцелилась. Утрата меня радует — она умерит грубый пыл бездушного человека, решившего жениться на мне без моего согласия. Я перестану ему нравиться, а на все остальное он не посмотрит. Итак, не нарушая слова, данного отцу, не оскорбляя его друга, которому он обязан жизнью, я отвергну постылого жениха; уста мои будут хранить молчание, красноречив будет мой облик. Я буду внушать ему отвращение, и это охранит меня от его тирании, он увидит, как я безобразна, и не соблаговолит сделать меня несчастной.

Ах, сестрица, ты знала более постоянное и более нежное сердце, оно не оттолкнуло бы меня. Тому человеку нравились не только мои черты и весь облик — он любил меня, а не мою наружность. Мы были соединены друг с другом всем существом,— красота могла и исчезнуть, но пока Юлия оставалась собою, любовь была бы неизменной. Как он мог согласиться... неблагодарный! Но он должен был согласиться, раз я могла это

повелеть! Словами не удержать того, кто хочет отнять свое сердце! Разве я хотела отнять у него свое сердце?.. Разве я сделала это? О боже! Отчего все беспрестанно напоминает мне невозвратное прошлое и любовь, которой должно угаснуть! Напрасно я хочу вырвать из сердца милый образ, накрепко соединенный с ним; оно надрывается, упрямо сохраняет его,— я стараюсь стереть нежное воспоминание, но оно запечатлевается еще сильнее.

Решусь ли я рассказать тебе о горячечном бреде, который не исчез вместе с болезнью и мучит меня еще больше после выздоровления? Что ж, узнай все и пожалей свою несчастную подругу, потерявшую рассудок, возблагодари небо за то, что оно уберегло тебя от исступленной страсти, сводящей с ума. Как-то, когда мне было особенно плохо и жар становился все сильнее, мне почудилось, будто у моей постели появился он — несчастный, уже не такой, каким я любовалась в пору моей быстролетной радости, а бледный, осунувшийся, небрежно одетый, с отчаянием в глазах. Он стоял на коленях, сжимал мою руку и, не брезгуя, не боясь ужасной заразы, покрывал ее поцелуями и оросил слезами. Увидев его, я почувствовала острое и сладостное волнение, как прежде, когда он неожиданно появлялся. Я устремилась к нему, но меня удержали, и ты его увела; особенно растрогали меня его стоны, которые мне слышались, пока он удалялся.

Не могу передать тебе, какое поразительное действие оказало на меня это сновидение. Я долго пролежала в сильном жару. Несколько дней ко мне не возвращалось сознание. В бреду он часто мерещился мне, но уже ничто не производило на меня столь глубокого впечатления. И я не в силах изгладить его образ из памяти и из сердца. Нет минуты, нет мгновения, чтобы он не представлялся мне таким, каким явился тогда; его вид, одежда, движения его, печальные глаза — все еще поражают мой взор; я словно ощущаю, как его уста прильнули к моей руке, залитой его слезами. Его жалобные стенания приводят меня в трепет. Вот его уводят прочь, и я стараюсь удержать его,— сновидение встает в памяти с большей яркостью, чем сама явь.

Долго я колебалась, не решаясь тебе признаться,— стыдно все это выговорить. Но мое волнение не только не утихает, а с каждым днем все растет, и я больше не могу противиться ему, я должна поведать тебе о своем безумии. Ах, пусть же оно завладеет мною! Совсем бы лишиться рассудка! Ведь остаток его только терзает меня.

Возвращаюсь к своему сну. Пожалуйста, сестрица, смейся над моей глупостью, но в этом сновидении есть что-то таинственное, не похожее на обычный бред. Быть может, это предзнаменование, означающее, что лучший на свете человек умрет? Быть может, знак, что его уже нет в живых? И вдруг единственный раз в моей жизни само небо указует мне путь, дабы я последовала за тем, к кому оно внушило мне любовь! Увы! Повеление умереть было бы для меня первым благодеянием неба.

Напрасно я вспоминаю пустые бредни, которыми философия развлекает людей, не способных чувствовать. Она уже не действует на меня, я ее презираю. Призраков никто не видит, охотно верю, но если две души столь тесно сплетены, то нет ли между ними непосредственного общения, независимого от плоти и чувственного восприятия? Что, если непосредственное внушение, идущее от одного к другому, передается в мозг и все переданное отражается им в виде ощущений? Бедная Юлия, что за нелепость,— какими легковерными делают нас страсти! Как трудно сердцу, уязвленному любовью, освободиться от заблуждений, даже если отдаешь себе в них отчет!

## ПИСЬМО XIV

*Ответ*

Ах, неужто ты рождена для одних лишь мук, бедное чувствительное создание? Тщетно хотела я избавить тебя от горестей,— ты как будто сама их неустанно ищешь, и твое тяготение к ним сильнее всех моих стараний. У тебя так много истинных причин для скорби,— не добавляй же к ним воображаемых, и раз моя осторожность приносит тебе вред, а не пользу, избавься от мучительного заблуждения, так как печальная истина, пожалуй, будет для тебя не столь тягостна. Знай же: сон, привидевшийся тебе, отнюдь не сон. Ты видела не призрак своего друга — ты видела его самого, и трогательная сцена, которая беспрестанно представляется твоему воображению, на самом деле разыгралась в твоей спальне, на следующий день после того, как тебе было так худо.

Накануне я ушла от тебя довольно поздно, и г-н д'Орб, который решил сменить меня у твоего изголовья в ту ночь, уже собрался отправиться к тебе, как вдруг неожиданно появился твой несчастный друг и в таком отчаянии бросился к нашим ногам, что нельзя было смотреть на него без жалости. Получив твое последнее письмо, он тотчас же пустился в дорогу на почтовых. Он ехал денно и нощно, совершил весь путь за три дня, оста-

новился на последней почтовой станции, дождался темноты и вошел в город. К своему стыду, признаюсь, я не сразу, в отличие от г-на д'Орба, кинулась к нему на шею — еще хорошенько не зная, чем вызван этот приезд, я уже предвидела его последствия. Множество горестных воспоминаний, опасность, угрожающая тебе и ему, само его смятение — все это отравило неожиданную радость; я была так потрясена, что не оказала ему особенно приветливой встречи. Но вот я обняла его, и сердце у меня, как и у него, сжалось от тоски,— мы поняли друг друга, и наши молчаливые объятия были красноречивее рыданий и слез. Вот первые его слова: «Что с нею? Ах, что с нею? Даруйте мне жизнь или смерть». Мне показалось, он знает, что ты больна, и, вообразив, что ему известно и то, чем именно ты больна, я обо всем поведала ему без всякой предосторожности, только постаравшись приуменьшить опасность. Услыхав, что у тебя оспа, он вскрикнул, ему стало дурно. Вдобавок к душевной тревоге сказались утомление и бессонница, и он вдруг почувствовал такую слабость, что мы долго его отхаживали. Он еле говорил, и мы уложили его в постель.

Природа взяла свое,— он проспал двенадцать часов кряду, но так тревожно, что сон, вероятно, не восстановил, а истощил его силы. На следующий день новое затруднение: он непременно хотел видеть тебя. Я противилась, говоря, что потрясения для тебя вредны; он готов был подождать, пока не минует опасность, но само его пребывание в доме тоже было ужасающе опасно. Я попыталась образумить его. Он сурово прервал меня. «Не тратьте жестокого своего красноречия, довольно в нем упражняться на мою погибель,— сказал он с негодованием.— Не надейтесь, что вам снова удастся прогнать меня, как тогда, когда меня изгнали по вашей милости. Сотни раз ворочусь я с самого края света, чтобы увидеть ее хоть на миг.— И он добавил с непреклонным видом: — Клянусь памятью отца моего, я не уйду отсюда, не повидав ее. На сей раз посмотрим — я ли вас заставлю сжалиться, или вы меня заставите стать клятвопреступником».

Решение его было непреклонным. Г-н д'Орб стал придумывать, каким образом исполнить его желание и поскорее отослать, пока его присутствие не обнаружится,— во всем доме знал его один лишь Ганс, в котором я была уверена, а перед слугами мы стали своего гостя называть вымышленным именем [1]. Я ему обещала, что ночью он тебя увидит, но при одном

[1] В четвертой части читатель увидит, что имя это — Сен-Пре.

условии — что пробудет у тебя с минуту, совершенно молча, и уедет на рассвете. Он мне дал в этом слово. Тут только я успокоилась и, оставив его на попечение мужа, воротилась к тебе.

Я нашла, что тебе стало гораздо лучше; высыпь кончилась,— врач меня подбодрил и обнадежил. Я заранее сговорилась с Баби; но вот тебя слова начало лихорадить, хотя уже и меньше, в сознание ты еще не приходила; под этим предлогом я удалила всех из комнаты и велела передать мужу, чтобы он привел нашего гостя, решив, что до конца приступа ты не в состоянии узнать его. С невероятным трудом нам удалось выпроводить твоего отца, который был в отчаянии и упорно хотел каждую ночь оставаться у тебя. В конце концов я в сердцах сказала ему, что он ничем никому не поможет, ибо я все равно нынче решила бодрствовать, и он отлично знает, что хотя он и твой отец, но я не хуже его позабочусь о тебе. Ушел он неохотно, и мы с тобою остались вдвоем. Г-н д'Орб пришел в одиннадцать часов и сказал, что твой друг ждет на улице. Я пошла за ним, взяла его за руку — он дрожал как лист. Когда он вошел в прихожую, силы его оставили. Он с трудом переводил дыхание, ему пришлось сесть.

И тут, различив кое-какие предметы при слабом свете свечи, горевшей поодаль, он промолвил с глубоким вздохом: «Да, узнаю знакомые места. Раз в жизни я проходил здесь... в этот же час... и так же тайно... трепетал, как нынче... так же колотилось сердце... О дерзкий! Я, смертный, осмелился вкусить... Что увижу я сейчас в том приюте, где все дышало негой, которой упивалась душа моя? Что увижу в облике той, которая даровала мне и разделяла со мною восторги любви? Картину смерти, торжество скорби, несчастную добродетель и умирающую красоту!»

Милая сестрица, щажу твое бедное сердце и опускаю подробности этой трогательной сцены. Он увидел тебя и молчал, сдержав обещание,— но как он молчал! Он пал на колена, плакал, осыпал поцелуями полог кровати, воздевал руки, обращал взоры к небесам. Он глухо стонал, с трудом удерживал рыдания и вопли. Не видя его, ты нечаянно выпростала руку из-под одеяла. Он схватил ее в каком-то неистовом порыве. Огненные лобзания, которыми он осыпал твою слабую руку, пробудили тебя скорее, чем шум и голоса окружающих. Ты узнала его, и я тотчас же, несмотря на его сопротивление и жалобы, выпроводила его из комнаты, надеясь, что все это ты примешь за бред. Но ты так и не обмолвилась об этом ни словом, и я вооб-

разила, что ты ничего не помнишь. Я запретила Баби говорить тебе об этом и знаю, что слово она сдержала. Из-за этой тщетной предосторожности, развеянной любовью, воспоминание словно еще ярче запечатлелось в душе твоей, и его уже не изгладить.

Он уехал, как и обещал. Я заставила его поклясться, что он не останется где-нибудь поблизости. Но, дорогая, это еще не все. Придется поведать тебе о том, что ты все равно скоро узнаешь. Два дня спустя был здесь проездом милорд Эдуард; он поспешил за ним вдогонку, настиг его в Дижоне и застал больным. Несчастный заразился оспой; он скрыл от меня, что не переболел ею раньше, и я привела его к тебе без всяких предосторожностей. Он решил разделить с тобою недуг, от которого не мог тебя исцелить. Мне сразу вспомнилось, как он целовал твою руку; сомнений нет,— он хотел заразиться. Все обстоятельства были на редкость неблагоприятны, но этот недуг привила ему любовь, и все кончилось благополучно. Создатель сохранил жизнь самому нежному на свете возлюбленному — он исцелился, и, судя по последнему письму милорда Эдуарда, они оба, надо полагать, уже уехали в Париж.

Так вот, душенька, избавься от уныния и страхов, терзавших тебя безо всякого повода. От любви своего друга ты уже давно отказалась, а жизнь его в безопасности. Думай теперь лишь о сохранении своей жизни и из любви к отцу с готовностью принеси обещанную жертву. Довольно тебе быть игрушкой напрасной надежды, тешить себя химерами. Ты поспешила похвастаться своим уродством,— будь поскромнее, поверь мне — хвастаться тебе нечем. Ты перенесла тяжелый недуг, но он пощадил твое лицо — пятнышки, которые ты приняла за оспины, сойдут быстро. Мне досталось гораздо больше, и все же не такая уж я, право, дурнушка. Ангел мой, ты останешься прехорошенькой наперекор себе. И бесстрастный Вольмар, влюбившийся за неделю и не исцеленный от любви тремя годами разлуки, вряд ли исцелится, увидев тебя сейчас! Ох, если ты уповаешь только на одно — что ему разонравишься, то участь твоя безнадежна!

## ПИСЬМО XV

*От Юлии*

Нет, это уж чересчур, это чересчур. Возлюбленный, ты победил. Мне не устоять перед такой любовью, я больше не могу сопротивляться. Боролась я всеми силами,— об этом, в утеше-

ние мне, свидетельствует моя совесть. Пускай небо не требует от меня отчета в том, чего мне не даровало. Мое безутешное сердце, которое ты столько раз подкупал, которое так дорого стоило твоему сердцу, принадлежит тебе безраздельно,— ведь оно твое с того мгновения, как я впервые увидела тебя, и останется твоим до моего последнего вздоха. Ты заслужил его ценою таких испытаний, что тебе нельзя терять его, мне же опостылели жертвы во имя воображаемой добродетели наперекор справедливости.

Да, нежный и великодушный возлюбленный, Юлия навсегда останется твоей, будет любить тебя вечно,— так суждено, я этого хочу, таков мой долг. Возвращаю тебе власть, дарованную тебе любовью, и никто у тебя ее больше не отнимет. Напрасно какой-то лживый голос ропщет в глубине моей души,— он меня больше не обманет. Чего стоят пустые обязательства, о которых он твердит мне, противопоставляя их обязательству вечно любить того, кого я люблю по велению неба! Да разве обязательство по отношению к тебе — не самое священное изо всех? Разве я не поклялась быть твоею? Вечно помнить тебя,— разве не таков был первый обет моего сердца? А твоя нерушимая верность разве не укрепляет мою? Ах, страстная любовь возвратила меня к тебе, и я сожалею лишь об одном — что боролась со столь дорогими моему сердцу, столь законными чувствами. Восстанови же все свои права, природа, милая природа! Я отрекаюсь от жестоких добродетелей, которые принижают тебя. Неужто склонности, дарованные тобою, обманут меня более, чем рассудок, столько раз вводивший меня в заблуждение!

Любезный друг, уважай нежные эти привязанности! Ты столь взыскан ими, что не должен их ненавидеть, но признай же справедливость их мирного и сладостного сочетания, признай, что права любви не уничтожают прав кровного родства и дружбы,— не помышляй о том, чтобы я когда-либо оставила отчий дом, дабы последовать за тобою, не надейся, что я откажусь от уз, наложенных на меня священной властью. Жестокая утрата — смерть матери — научила меня еще сильнее опасаться за отца и не огорчать его. Нет, та, которая отныне его единственное утешение, не опечалит его души, угнетенной тоскою. Повинная в смерти матери, не буду я повинна в смерти отца. Нет, нет. Я знаю, что я преступна, и не могу его ненавидеть. Долг, честь, добродетель — все это для меня пустые слова,— однако я ведь не исчадие ада; я слаба, но не лишена человеческих чувств. Участь моя решена. Я не хочу ввергать в отчаяние

никого из тех, кто мне мил. Отец мой, раб своего слова и поклонник пустого титула, будет располагать моей рукою, раз он обещал ее другому, но одна лишь любовь будет располагать моим сердцем; на грудь моей нежной подруги будут вечно литься мои слезы. Да буду я презренна и несчастна, но да будут счастливы и довольны, если это возможно, все те, кто мне дорог. В вас троих да будет вся жизнь моя, и, радуясь вашему счастью, я позабуду о своем горе и своем отчаянии.

## ПИСЬМО XVI

*Ответ*

Мы возрождаемся, моя Юлия! Все истинные чувства наши вновь обретают себя! Природа сохранила нам существование, любовь возвращает к жизни. Или ты сомневаешься в этом? И ты смела думать, что можешь отнять у меня свое сердце? Ну нет, я лучше тебя знаю это сердце, созданное небом для моего сердца. Они живут одною жизнью, и только смерть разрушит этот союз. Не в нашей власти разлучить их,— даже стремиться к этому. Да разве их соединяют те узы, что создаются и разрушаются людьми? Нет, нет, Юлия,— жестокая судьба отказывает нам в сладостном имени супругов, но ничто не в силах отнять имя верных любовников; оно станет нашим утешением в нашем печальном будущем и уйдет с нами в могилу.

Итак, мы начинаем жить сызнова, чтобы сызнова страдать; жить для нас означает одно — скорбеть. Что сталось с нами, обездоленными! Как случилось, что мы перестали быть теми, кем были? Куда исчезло очарование необъятного нашего счастья? Куда делись дивные восторги чувств, которыми добродетель воодушевляла нашу любовь? От нас не осталось ничего, кроме нашей страсти,— осталась только страсть, но исчезли все ее утехи. О рабски покорная дочь, робкая возлюбленная, твои ошибки — источник всех наших несчастий! Увы! Не будь твое сердце столь непорочно, оно не привело бы тебя к такому заблуждению. Да, нас губит благородство твоего сердца. Возвышенные чувства, переполняющие его, вытеснили благоразумие. Ты хотела примирить дочернюю верность с непобедимой любовью; отдаваясь сразу всем своим привязанностям, ты их смешала, а не сочетала, ты стала виновной из-за своих добродетелей. О Юлия! Власть твоя непостижима! Удивительная сила, исходящая от тебя, покоряет мой разум! Даже заставляя

меня краснеть за страсть нашу, ты заставляешь меня уважать твои ошибки; ты внушаешь мне восхищение, хоть я и разделяю укоры твоей совести... Укоры совести! Да тебе ли их испытывать?.. Тебе, которую я любил... тебе, которую я не в силах разлюбить. Разве преступление может приблизиться к твоему сердцу?.. Жестокая, возвращая это сердце, принадлежащее мне, возврати его таким, каким оно было мне отдано впервые.

Что ты сказала? На что осмелилась намекнуть? Ты в объятиях другого!.. Другой будет обладать тобою!.. Ты не будешь моей... или, что всего ужасней, будешь принадлежать не мне одному! И мне суждено испытать эту страшную пытку! Видеть, как ты изживешь самое себя!.. Нет!.. Лучше потерять, чем делить тебя с... Почему небо не вдохнуло в меня мужество, равное по силе порывам моей страсти!.. И тогда,— прежде чем руку твою осквернят эти роковые узы, отвергаемые любовью и порицаемые честью,— я вонзил бы в твою грудь кинжал, обескровил бы твое непорочное сердце, дабы ты не запятнала его изменой. Чистую кровь твоего сердца я смешал бы с кровью, пылающей в моих жилах неугасимым пламенем. Я пал бы в твои объятия, я запечатлел бы на твоих устах последнее лобзание... и вкусил бы твое... Умирающая Юлия... нежные глаза, угасающие в смертной муке... престол любви — грудь, пронзенная моей рукой... кровь, кипящим ключом изливающаяся из нее вместе с жизнью... Нет, живи и страдай, неси бремя моей трусости! Да, я бы хотел, чтобы тебя не стало,— но я так люблю тебя, что поразить кинжалом не могу.

О, если б ты знала, что творится в сердце, удрученном скорбью! Никогда еще оно не пылало таким священным огнем, никогда твоя чистота и твоя добродетель не были ему так дороги. Я твой возлюбленный, и сердце мое умеет любить, но ведь я всего лишь человек, а отказаться от неземного блаженства выше человеческих сил. Ночь, одна лишь ночь навеки изменила мою душу. Отними от меня гибельное это воспоминание, и я стану добродетельным. Но роковая ночь царит в глубине моего сердца и тенью своей осенит остаток моих дней. Ах, Юлия, обожаемая Юлия, нам суждено быть вовеки несчастными, так познаем же еще миг блаженства, а потом вечное раскаяние.

Внемли тому, кто любит тебя. К чему одним нам быть умнее всех на свете и с детской наивностью придерживаться воображаемых добродетелей, о коих все говорят, но коим никто не следует? Как, ужели мы будем нравственнее всей этой толпы умников, коими населены Лондон и Париж, где потешаются

над супружеской верностью, а на прелюбодеяние смотрят как на забаву! Его не осуждают, о нем даже не злословят. Самые порядочные люди смеялись бы над теми, кто из уважения к браку противился бы влечению сердца. «В самом деле,— говорят они,— проступок существует только во мнении людей — значит, его нет, если все скрыто! Что за беда — неверность жены, если муж об этом ничего не знает? Зато как будет угождать жена, дабы искупить свои проступки! [1] Зато как будет она нежна и предупредительна, дабы предугадать или рассеять подозрения мужа. Он лишен мнимого преимущества, но в действительности ему живется еще лучше, а так называемое преступление, вокруг коего поднимают столько шума,— не что иное, как лишняя связь в обществе».

Упаси меня бог, сердечный друг, наставлять тебя в этих постыдных правилах. Я питаю к ним отвращение, хотя и не знаю, как с ними бороться,— совесть моя их оспаривает лучше, чем рассудок. Я не подбадриваю себя на решительный шаг, мне ненавистный, я не влекусь к дорого стоящей добродетели, но мне кажется, будто я становлюсь не столь виновным, когда укоряю себя в своих проступках, а не пытаюсь их оправдать, и, по-моему, величайший грех — желание избавиться от угрызений совести.

Сам не знаю, что я пишу. Душа моя в несказанном смятении,— оно усилилось после твоего письма. Надежда, которую ты мне оставляешь, печальна и мрачна. Она гасит тот чистый свет, который столько раз руководил нами; твои милые черты тускнеют, становясь от этого еще привлекательней. Вижу твое нежное и грустное лицо; слезы, льющиеся из твоих глаз, переполняют мое сердце, и я с горечью упрекаю себя за то, что отныне я могу наслаждаться счастьем лишь за счет твоего счастья.

Однако меня еще воодушевляет затаенное пламя любви, наполняя меня решительностью, которую чуть не сокрушили укоры совести. Да знаешь ли ты, любезный друг, что во всех утратах может тебе принести утешение такая любовь, как моя? Знаешь ли, какую любовь к жизни может вдохнуть в тебя возлюбленный, который не надышится на тебя? Понимаешь ли, что отныне я живу, действую, мыслю и чувствую только во

---

[1] А где наивный швейцарец это видел? Уже давным-давно ими кичатся модные женщины. Они с гордостью водворяют любовников в свой дом и изволят терпеть присутствие мужа лишь в той мере, в какой он выказывает им должное уважение. Утаивая греховную связь, женщина наводит на мысль, что она ее стыдится и будет опозорена; ни одна порядочная женщина не пожелает ее тогда видеть.

имя одной тебя? Да, чудесный источник моего существования, ведь у меня нет иной души, кроме твоей, я только часть тебя самой; обретая чудесную жизнь в глубине моего сердца, ты не почувствуешь, что твоя собственная жизнь потеряла свою прелесть. Что ж! Мы будем виновны, но зла не принесем, мы будем виновны, но всегда будем любить добродетель. Мы не станем оправдывать свои проступки,— нет, мы будем сокрушаться, вместе их оплакивать, мы искупим их, если это возможно, благотворительностью и добротою. Юлия, о Юлия! Что ты делаешь! И что могла бы сделать! Тебе не уйти от моего сердца, ибо оно сочеталось с твоим!

Давным-давно забыты все пустые планы приобрести богатство — планы, столь жестоко обманувшие меня. Теперь долг мой — отплатить за заботы милорду Эдуарду; он хочет поехать со мною в Англию, считая, что там я буду ему полезен. Что ж, я последую за ним, но каждый год я буду урывать время, чтобы уезжать оттуда и тайно являться к тебе. Если мне не удастся говорить с тобою, зато я буду видеть тебя, зато буду целовать следы ног твоих; один лишь взгляд твой подарит мне десять месяцев жизни. А на обратном пути, вынужденный удаляться от той, кого я люблю, я буду себе в утешение считать шаги,— ведь настанет время, и они вновь приблизят меня к ней! Частые путешествия будут обманывать сердце твоего несчастного возлюбленного. Выезжая лишь для того, чтобы увидаться с тобою, уже в воображении он будет наслаждаться встречей; радостные воспоминания будут приводить его в восторг на обратном пути; наперекор жестокой судьбе унылые годы его жизни не пройдут совсем уж втуне,— каждый год будет озарен радостью, ибо краткие мгновенья, проведенные вблизи тебя, умножась, наполнят всю его жизнь.

## ПИСЬМО XVII

*От г-жи д'Орб*

У вас нет больше возлюбленной, я же вновь обрела подругу, а вы нашли друга, чье сердце сторицею воздаст вам за вашу утрату. Юлия вышла замуж и сделает счастливым человека порядочного, пожелавшего соединить свою судьбу с ее судьбой. Возблагодарите небо, что после всех ваших безумств она спасла вас обоих,— себя от позора, а вас, лишившего ее чести, от раскаяния. Посчитайтесь с ее новым положением, больше не пишите ей, она вас просит об этом. Подождите, пока она сама

вам не напишет. Она это сделает скоро. Вот теперь я и могу убедиться, заслуживаете ли вы моего уважения, способно ли ваше сердце на чистую и бескорыстную дружбу.

## ПИСЬМО XVIII

*От Юлии*

Вы так долго были хранителем всех таїн моего сердца, что оно никогда не забудет милоїї привычки все поверять вам. В моеїї жизни случилось такое важное событие, что сердце мое хочет вам обо всем поведать. Раскроїте же перед ним свое сердце, любезныїї друг, пускаїї мои долгие дружеские речи проникнут в самую глубь его. Пусть чувство дружбы заставляет одного из друзеїї говорить порою чересчур уж многословно, зато оно внушает терпение другому; внемлющему.

Связанная нерасторжимыми узами с судьбою супруга, а вернее — с волею отца, я вступаю на новую стезю жизни, которая оборвется только с моеїї смертью. В начале ее оглянемся на прошлое,— отрадно вспомнить пору, любезную нашим сердцам; быть может, я найду в неїї указание, как лучше провести остаток жизни; быть может, она прольет свет на мои поступки, все еще для вас не постижимые. По крайнеїї мере, вникнув в то, чем мы были друг для друга, наши сердца лучше почувствуют, чем будет обязано одно другому до конца наших днеїї.

Почти шесть лет тому назад я увидела вас впервые — вы были молоды, стройны, учтивы; я знавала молодых людеїї и пригожеїї и строїнее вас, но ни один не волновал мне душу — вам же мое сердце предалось с первого взгляда [1]. Я решила, что в ваших чертах отражается родственная мне душа. Мне показалось, что мои ощущения служили посредником более благородных чувств; да и полюбила я вас, пожалуїї, не за наружность, а оттого, что чувствовала вашу душу. Прошло два месяца, а я все еще верила, что не обманулась. «Слепая любовь,— раздумывала я,— оказалась права, мы созданы друг для друга, и я бы принадлежала ему, если бы отношения, подсказанные природоїї, не нарушались людскими порядками,— если бы на земле существовало счастье, мы бы нашли его вдвоем».

---

[1] Господин Ричардсон охотно высмеивает такие влечения с первого взгляда, основанные на каком-то неопределенном сродстве душ. Хорошо над этим смеяться; но, право, таких влеченийй на свете слишком много, поэтому, вместо того чтобы забавы ради отрицать их, не лучше ль научить нас их преодолевать?

И вы и я чувствовали одинаково, иначе это означало бы, что я обманулась в своих чувствах. Любовь, познанная мной, может зародиться только благодаря родству и созвучию душ. Нельзя любить, если тебя не любят,— во всяком случае, тогда любишь недолго. Безответная любовь, которая, как говорят, причиняет столько страданий, основана лишь на чувственности; порою она и проникает в глубь души под действием воображаемого общения душ, но самообман быстро проходит. Чувственная страсть не может обойтись без физического обладания, а с ним страсть угасает. Истинная же любовь не может обойтись без участия сердца и длится, пока длятся отношения, породившие ее [1]. Такой и была вначале наша любовь; такой она, надеюсь, и останется до конца наших дней, если мы сумеем достойно распорядиться ею. Я видела, я чувствовала, что любима, что должна быть любимой; уста мои молчали, взор ничего не выражал, но ты слышал голос моего сердца. Вскоре мы почувствовали, как между нами возникло нечто неизъяснимое,— то, что делает молчание красноречивым, заставляет говорить потупленные взоры, вселяет в душу какую-то дерзновенную робость, когда сама застенчивость выдает страстное влечение, выражает то, что не смеешь выговорить.

Я внняла своему сердцу и поняла, что, услышав первое же ваше признание, погибну. Я заметила, какая пытка для вас ваша сдержанность, оценила ваше почтительное чувство и полюбила вас еще сильнее. Мне хотелось вознаградить вас за тягостное и необходимое молчание, не поступаясь своим целомудрием,— я пошла наперекор себе, стала подражать сестрице, прикинулась ветреной и шаловливой, чтобы предупредить слишком уж серьезные объяснения и в напранном веселии забросать вас тысячью нежных и ласковых слов. Мне хотелось, чтобы ваше положение сделалось для вас отрадным, чтобы из страха изменить его вы стали еще сдержаннее. Удалось мне это плохо: неестественность никогда не остается безнаказанной. Как я была безрассудна! Ведь я ускорила, а не отвратила свою гибель, я воспользовалась ядом для временного облегчения, а то, что должно было принудить вас к молчанию, и заставило вас заговорить. Напрасно я пыталась притворной холодностью отпугнуть вас,— когда мы оставались наедине, эта при-

---

[1] Когда отношения эти — плод воображения, любовь длится столько же, сколько длится самообман, по милости которого мы их себе внушили.

нужденность и предавала меня; вы мне написали, и я не бросила в огонь, не отнесла матушке ваше первое письмо, а осмелилась распечатать его. Вот тогда и свершилось мое грехопадение, все же дальнейшее — неизбежное следствие. Я не позволяла себе отвечать на роковые письма; но не читать их не могла. Страшная борьба подточила мое здоровье — бездна разверзлась, и я готова была в нее ринуться. Я ужасалась самой себе, но не решалась расстаться с вами. Какое-то отчаяние овладело мною; я бы предпочла, чтобы вас не было на свете, если вы не можете стать моим; дошло до того, что я порою мечтала о вашей смерти, чуть не начала вас об этом молить. Небо видело, что творилось у меня на сердце,— пускай же эта мука хоть несколько искупит мои грехи.

Видя, что вы готовы повиноваться мне, я решилась обо всем вам поведать. Благодаря урокам, преподанным мне Шайо, я поняла, какими опасностями чревато такое признание. Любовь, исторгшая его из моей души, научила меня, как избежать их. Я доверилась вам,— моему единственному заступнику,— и ополчила вас против моей слабости; я верила в вашу порядочность, надеялась, что вы меня спасете от меня же самой,— и не ошиблась в вас. Видя, как вы благоговейно относитесь к доверенному вам, я поняла, что страсть не ослепила меня и что вы истинно добродетельны. И я положилась на вас, решила, что я в безопасности, ибо вообразила, что сердцам нашим ничто более непадобно. Уверенная, что в глубине моего сердца царят одни лишь чистые чувства, я перестала быть осторожной и наслаждалась нежной нашей близостью. Увы, зло незаметно укоренялось из-за моей беспечности, и привычка видеть вас стала опаснее любви. Умиленная вашей сдержанностью, я стала чувствовать себя свободней, решив, что это безопасно; желания мои были столь чисты, что я решила поощрить вашу добродетель с помощью нежных и ласковых залогов дружбы. В кларанской роще я поняла, что ошиблась в себе и что нельзя потакать чувственным страстям, когда стремишься их обуздать. Миг,— всего лишь миг,— разжег во мне неугасимый огонь страсти; воля моя еще сопротивлялась, но сердце с той поры уже было совращено.

Вы тоже были в смятении; с трепетом прочла я ваше письмо. Опасность удвоилась,— чтобы уберечься от вас и от самой себя, надобно было вас удалить. То было последнее усилие погибающей добродетели. Уехав, вы добились полной победы; не видя вас, я стала так тосковать, что мне уже недоставало сил сопротивляться.

Батюшка, выйдя в отставку, приехал вместе с г-ном Вольмаром, которому был обязан жизнью,— он сроднился с ним за двадцать лет, и друг стал ему так любезен, что он просто не мог с ним расстаться. Г-н Вольмар старел, но, невзирая на богатство и знатное происхождение, не мог найти супругу по сердцу. Батюшка рассказывал ему о дочке, как рассказывает человек, мечтающий, чтобы друг стал зятем. Оставалось одно — устроить смотрины, с этой целью они вместе и отправились в путь. Судьбе было угодно, чтобы я понравилась г-ну Вольмару, который никогда еще не любил. Они втайне дали друг другу слово, и г-н Вольмар, которому предстояло уладить свои дела при дворе одного из северных государств, где были у него родственники и поместье, попросил отсрочить свадьбу и уехал, твердо полагаясь на уговор. После отъезда г-на Вольмара отец объявил маменьке и мне, что он предназначает его мне в супруги, и тоном, не допускавшим возражений и повергшим меня в трепет, приказал дать согласие на брак. Матушка, которая преотлично заметила влечение моего сердца и чувствовала к вам душевное расположение, не раз пыталась поколебать решение отца; не смея и упоминать о вас как о возможном женихе, она заводила о вас разговор, стараясь привлечь к вам благосклонное внимание батюшки, познакомить с вашими достоинствами, но вы — незнатного происхождения, и он был равнодушен к похвалам и хотя соглашался, что знатность не заменит достоинств, однако считал, что лишь она придает им ценность.

Мысль о моей несчастной участи разожгла, а не потушила мою страсть. Обольстительная мечта прежде поддерживала меня в невзгодах; утратив ее, я утратила и способность сносить их. Если б у меня оставалась хоть капля надежды, что я буду когда-нибудь вашей,— быть может, я и восторжествовала бы над собою; легче было бы сопротивляться вам всю жизнь, чем отказаться от вас навеки; и одна мысль о бесконечной борьбе лишила меня мужественного стремления победить.

Тоска и любовь подтачивали мое сердце. Я впала в уныние, которым дышали мои письма. Ваше письмо из Мейери довершило все: к горьким моим раздумьям добавилась мысль о том, что вы в отчаянии. Увы! Так уж всегда бывает, что слабейшая из двух душ должна принимать на себя муки, гнетущие обе! План, который вы осмелились предложить мне, довершил мое смятение. Мне было отныне суждено одно лишь горе, а в довершение всего предстояло сделать неминуемый

выбор, грозивший несчастьем или родителям, или же вам. Мысль об этом ужасном выборе была мне невыносима. Есть предел силам, дарованным нам природой,— мои силы иссякли от стольких волнений. Я мечтала освободиться от оков жизни. Небо как будто сжалилось надо мною,— однако беспощадная смерть обошла меня на мою погибель. Я увидела вас, я исцелилась — и я пала.

Счастья в своем падении я не обрела, да и не надеялась обрести. Сердце мое создано для добродетели, и без нее не знать ему счастья; я пала, поддавшись слабости, а не заблуждению; я даже не могу извинить себя тем, что меня ослепила страсть. У меня не осталось ни проблеска надежды, я обречена была на одни страдания. Невинность и любовь были для меня равно необходимы, я не могла сохранить и то и другое,— я видела, в каком вы неистовстве; делая выбор, я думала только о вас и погубила себя ради вашего спасения.

Но не так легко, как полагают, отвергнуть добродетель. Долго еще она терзает тех, кто ее покинул, и ее чары, отрада чистых душ, служат первейшим источником страдания для грешника, который все еще стремится к ним, но уже никогда не будет ими наслаждаться. Согрешившая, но не развращенная, я не могла избавиться от угрызений совести, которые были мне суждены. Утраченная непорочность все еще была любезна моей душе, а стыд, хотя и затаенный, не стал от этого менее горек — я бы не восчувствовала его острее, будь весь мир его свидетелем. В муках я находила утешение — так раненый, страшась антонова огня, в ощущении боли черпает надежду на выздоровление.

Однако бесчестие мое было мне ненавистно. Мне так хотелось заглушить укоры совести, не отрекаясь от греха, что со мной произошло то, что происходит с каждым порядочным человеком, который, сбившись с пути, ищет успокоения. Новая обольстительная греза смягчила горечь раскаяния; я надеялась, что мне удастся в своем проступке найти средство искупить его; у меня созрел дерзкий замысел — принудить отца к согласию на наш брак. Первый плод нашей любви должен был скрепить наши нежные узы. Я молила небо о нем — залоге моего возвращения к добродетели и нашего общего счастья. Я мечтала о том, чего всякая другая на моем месте страшилась бы. Нежная любовь всевластно усмиряла ропот совести, утешала меня в скорби: ведь мой проступок мог мне дать средство к спасению; трепетное ожидание стало радостью и надеждой всей моей жизни.

Я решила так: в тот день, когда мое положение станет явным, во всеуслышание объявить о нем г-ну Перре [1] в присутствии всей своей семьи. Правда, я робка; я понимала, чего будет стоить мне это признание; но чувство порядочности пробуждало во мне отвагу, и я предпочитала один раз быть заслуженно посрамленной, нежели вечно таить стыд в глубине сердца. Я знала своего отца: меня ожидали — либо смерть, либо счастье с возлюбленным, и такая альтернатива ничуть не страшила меня. Так или иначе я видела в решительном этом шаге завершение всех своих бед.

Вот она, любезный друг, тайна, которую я хотела скрыть от вас, хотя вы и допытывались о ней с тревожным любопытством. Тысячи причин принуждали меня таить все это от такого несдержанного человека, как вы, уж не говоря о том, что нельзя было давать новый предлог для проявления вашей нескромности и дерзостности. Больше всего я старалась, чтобы вы куда-нибудь уехали на то время, когда произойдет грозное объяснение, а я хорошо знала, что вы ни за что на свете не оставите меня, если проведаете, в какой я опасности.

Увы, и эта сладостная надежда обманула меня. Небо отвергло планы, замышленные в грехе; я не заслужила священного права стать матерью, тщетным оказалось мое ожидание, и мне не дано было искупить мой проступок ценой своей репутации. И вот, поддавшись отчаянию, я согласилась на свидание с вами — неосторожное и безрассудное, грозившее опасностью вашей жизни; моя исступленная страсть убаюкивала меня, находя для меня сладостные оправдания. Я винила себя самое в неуспехе заветного замысла, а мое сердце, обольщенное желаниями, в пылу страсти верило, что, утоляя их, оно стремится лишь к тому, чтобы в конце концов мой план осуществить.

Наступил миг, когда я поверила, что все сбылось,— и это заблуждение стало для меня источником мучительнейших сожалений; любовь, которой вняла природа, была тем вероломнее предана судьбою. Вы знаете [2], что одно печальное происшествие уничтожило вместе с плодом любви, который я вынашивала под сердцем, и последний оплот всех моих надежд. Беда пришла как раз в дни нашей разлуки,— словно небу было угодно ниспослать мне в ту пору все заслуженные мною невзгоды и сразу разорвать все узы, кои могли соединить нас.

---

[1] Местный пастор.

[2] Надо предполагать, что были другие письма, коими мы не располагаем.

С вашим отъездом пришел конец и всем моим прегрешениям, и всем радостям; я поняла, хотя и слишком поздно, что обольщали меня пустые мечты. И я вдруг почувствовала, как стала презренна и на какое несчастье обрекает меня любовь, утратившая невинность, и мечты, утратившие надежду,— все то, от чего я не могу отказаться. Терзаемая тысячью бесплодных сожалений, я отогнала мучительные и напрасные раздумья; уже не стоило труда размышлять о самой себе, и я посвятила всю свою жизнь заботе о вас. Не было у меня отныне иной чести, кроме вашей, не было иной надежды, кроме надежды на ваше счастье, и мне казалось, что только чувства, вызываемые вами, могли еще меня волновать.

Любовь не ослепляла меня, я видела ваши недостатки, но они мне были милы; и она так обольщала меня, что я любила бы вас меньше, если б вы были совершеннее. Я знала ваше сердце, вашу горячность; я знала, что вы мужественнее меня, зато не так терпеливы, что горести, угнетающие мою душу, довели бы вас до отчаяния. Поэтому-то я всегда тщательно скрывала от вас слово, данное батюшкой,— и в дни нашей разлуки, пользуясь тем, что милорд Эдуард со рвением заботится о вашем благополучии, и желая внушить вам такое же рвение к вашим делам, я манила вас надеждой, хотя сама уже не надеялась. Больше того: сознавая, какая опасность грозит нам, я приняла лишь одну меру предосторожности, которая могла еще нас защитить: я вручила вам вместе со своим словом и свою свободу, в той мере, как я располагала ею,— тем самым я стремилась вселить в ваше сердце веру, а в свое твердость; дав обещание, я не посмела бы его нарушить, а вас оно могло бы успокоить. Согласна, в этом обязательстве было что-то ребяческое, однако я бы никогда от него не отказалась. Добродетель так нужна нашим сердцам, что стоит нам отречься от истинной добродетели, как мы тотчас же придумываем какое-нибудь подобие добродетели и придерживаемся его еще упорнее,— быть может, оттого, что оно выбрано нами самими.

Я не стану поверять вам, сколько тревог пришлось мне испытать после вашего отъезда; и мучительней всего терзал меня страх, что вы меня забудете. Общество, в котором вы вращались, вызывало во мне трепет; образ вашей жизни еще больше страшил меня — мне уже представлялось, будто вы до того пали, что превратились в волокиту. Ваше бесчестие было для меня мучительней всех моих невзгод,— я бы предпочла, чтобы вы были несчастливы, только б не презренны; я привыкла к страданиям, но не пережила бы вашего бесславия.

Наконец утихли страхи, сначала поддержанные тоном ваших писем; и утихли они благодаря обстоятельству, которое несказанно встревожило бы всякую другую. Я говорю о том, как вы, позволив вовлечь себя в распутство, сразу же откровенно покаялись мне — это умилило меня как лучшее доказательство вашего чистосердечия. Я слишком хорошо знала вас и поняла, чего стоило бы вам такое признание, даже если б я уже и не была вам дорога,— принудила к нему вас лишь любовь, побеждающая стыд. Я поняла, что столь искреннее сердце не способно к тайным изменам. Как мало значила ваша вина в сравнении с благородной решимостью исповедаться в ней. Мне припомнились ваши прежние пороки, и я навсегда исцелилась от ревности.

Друг мой, счастливей я не стала. Одно мучение исчезло, зато вновь и вновь возникали тысячи новых, и только тут я постигла, как нелепо искать в своем безумном сердце безмятежность, которую обретаешь только в мудрости. Уже давно я украдкою оплакивала лучшую из матерей на свете, которую постепенно подтачивал смертельный недуг. Мне пришлось из-за роковых последствий моего грехопадения довериться Бабе, а она предала меня и рассказала маменьке о нашей любви и о всех моих проступках. Стоило мне взять ваши письма у сестрицы, как они исчезли. Доказательство было неоспоримо; горе лишило матушку последних сил, еще пощаженных недугом. Я чуть не умерла, в раскаянии пав к ее ногам. Но она не выдала меня на смертную кару, а скрыла мой срам и только все стонала — даже вы, столь жестоко ее обманувший, не стали ей ненавистны. Я была свидетельницей того, как ваше письмо тронуло ее чуткое и сострадательное сердце. Увы! Она мечтала о нашем с вами счастье. Не раз пыталась она... Но к чему вспоминать о навеки погибшей надежде? Небо распорядилось иначе. Она кончила горестные свои дни в скорби, сетуя, что ей не удалось смягчить душу сурового супруга, что она покидает дочь, столь мало ее достойную.

Моей душе, угнетенной тяжкою утратой, достало сил лишь на то, чтобы предаться горю,— голос стенающей природы заглушил воркование любви. С каким-то отвращением я стала относиться к источнику всех моих бед — мне так хотелось наконец заглушить ненавистную страсть, повлекшую их за собою, и навек отречься от вас. Конечно, это было необходимо; достаточно было у меня причин, чтобы проплакать весь остаток жизни, не отыскивая беспрестанно новые поводы к слезам. Казалось, все благоприятствовало моему решению. Печаль смяг-

чает душу, а глубокое уныние ее ожесточает. Образ умирающей маменьки вытеснил ваш образ. Мы были в разлуке. Надежда меня покинула. Никогда еще моя несравненная подруга не была так великодушна, так достойна всецело занять мое сердце; казалось, ее добродетель, благоразумие, дружба, нежные ее ласки очистили его от скверны. Я вообразила, что вы забыты; я вообразила, что исцелена. Но было поздно: то, что я сочла за холодность угасшей любви, оказалось лишь безразличием отчаяния.

Вскоре,— как это бывает с больным, который, слабея, уже не страдает, но, если боль обострилась, пробуждается к жизни,— все мои муки возобновились, когда отец сообщил мне, что ждать г-на Вольмара уже недолго. И тут непобедимая любовь возвратила мне силы, хотя я думала, что их уже у меня нет. Впервые осмелилась я пойти наперекор отцу. Я твердо и ясно сказала, что г-н Вольмар всегда будет мне чужим, что я умру в девицах, что отец волен распоряжаться моей жизнью, но не моим сердцем, и что никакие силы не изменят мое решение. Не стоит рассказывать вам ни о его ярости, ни о том, как он со мной обошелся. Я была непреклонна; преодолев робкое смущение, я впала в противоположную крайность; и хоть я говорила не таким повелительным тоном, как отец, но так же решительно.

Он увидел, что я твердо стою на своем и что приказаниями он ничего не добьется. На миг мне показалось, что я избавилась от его настойчивости. Но что со мною стало, когда отец — человек неслыханно суровый — вдруг смягчился и пал к моим ногам, заливаясь слезами! Не позволяя мне встать, он обнял мои колена и, устремив на меня увлажненный взор, молвил прочувствованным голосом, который до сих пор звучит в моей душе: «Дочь моя, пощади седины своего несчастного отца; не дай ему сойти в могилу от горя, как сошла та, что вынашивала тебя во чреве своем; ах, неужто ты хочешь погубить весь свой род?»

Вы понимаете, как я была поражена. Поза его, тон, движения, речи, эта страшная мысль,— словом, все так потрясло меня, что я замертво упала в его объятия и только после долгих рыданий, теснивших мне грудь, ответила слабым прерывающимся голосом: «О батюшка! У меня было оружие против ваших угроз, но против ваших слез нет оружия; не я доведу до смерти своего отца, а вы — свою дочь».

Оба мы были в таком волнении, что долго не могли успокоиться. Однако, повторяя про себя последние слова отца, я

поняла, что ему известно больше, чем я воображала, и, решившись воспользоваться этим, дабы одержать верх, я чуть было, с опасностью для жизни, не сделала признание, которое так долго откладывала, но внезапно он остановил меня, будто предвидя, что́ я собираюсь ему открыть, и, страшась этого, повел такую речь:

«Мне известно о ваших тайных мечтах, недостойных девицы благородного происхождения. Пришла пора пожертвовать во имя долга и чести постыдною страстью, позорящей вас,— своего вы добьетесь только ценою моей жизни. Выслушайте же внимательно, чего требует от вас наша общая честь, и решайте сами свою судьбу.

Господин Вольмар — человек знатного рода, он наделен всеми качествами, которые позволяют ему с достоинством носить свое имя, и пользуется заслуженным уважением в обществе. Он спас мне жизнь; вы знаете о нашем взаимном обязательстве. Вам надлежит еще узнать, что, отправившись на родину, дабы привести в порядок свои дела, он оказался участником недавнего переворота, потерял состояние и избежал изгнания в Сибирь лишь благодаря счастливому случаю,— и вот он возвращается с жалкими крохами былого богатства, полагаясь на слово друга, который еще никогда не нарушал его. А теперь что прикажете делать, какой прием ему оказать! Уж не сказать ли: «Милостивый государь, я обещал вам руку дочери, когда вы были богаты,— ныне вы разорились, и я отрекаюсь от своего слова, да и дочка не желает быть вашей женой». Да откажи я и в иных словах, все равно такой отказ иначе не истолкуешь; ссылки же на вашу любовь он сочтет вымышленным предлогом, а если поверит им, то они лишь усугубят мой позор; вы прослывете погибшим созданием, а я — бесчестным клятвопреступником, который принес в жертву гнусному корыстолюбию и долг и совесть и не только неблагодарен, а еще вероломен. Поздно мне, дочка, позорить себя на склоне беспорочной жизни,— шестьдесят лет, прожитых безупречно, не зачеркивают в четверть часа.

Вот видите,— продолжал он,— все, что вы хотели мне поведать сейчас, неуместно, ведь все те преимущества, которые порицает стыдливость, и преходящие увлечения молодости не перевесят того, чего требуют дочерний долг и честь отца. Если б речь шла лишь о том, кому из нас пожертвовать своим счастьем во имя другого, то нежность моя оспаривала бы у вас столь сладостную жертву; но, дитя мое, заговорила честь, а в нашем роду она решает все».

У меня нашлось немало веских возражений, но предрассудки подсказывают отцу столько правил, чуждых мне, что все доводы, казавшиеся мне неоспоримыми, ничуть его не поколебали. К тому же я не имела понятия о том, откуда ему известно о моем поведении и до чего он дознался; я страшилась, что он уже наперед знает, о чем я стану говорить, если он так раздраженно прерывает меня, и, главное, сгорала от непреодолимого стыда,— а поэтому я предпочла прибегнуть к отговорке, которая, как мне казалось, была всего надежнее, так как больше соответствовала складу его ума. Я без обиняков объявила ему о данном вам обете, поклялась, что не нарушу своего слова и, что бы ни случилось, не выйду замуж без вашего согласия.

И в самом деле, я с радостью заметила, что он не досадует на мою совестливость; он стал сердито укорять меня за обещание, данное вам, но не пренебрег им,— дворянин, исполненный чувства чести, разумеется, превозносит верность своему обету, и слово для него нерушимо. Итак, не тратя времени на пустые доказательства, что обещание это не действительно, с чем я бы никогда не согласилась, он заставил меня написать записку, приложил к ней письмо и все это велел немедля отправить. С каким волнением ждала я ответа, какие давала зароки, чтобы вы оказались не так щепетильны, хотя иным вы быть не могли. Впрочем, слишком хорошо зная вас, я не сомневалась в вашем повиновении и понимала, что чем жертва будет для вас тягостней, тем скорее вы себя на нее обречете. Ответ пришел; его скрыли от меня, пока я хворала; но вот я выздоровела — мои опасения подтвердились, и отговорки уже были невозможны. Во всяком случае, отец объявил мне, что он их и слушать не хочет, и, еще раньше подчинив мою волю — теми ужасными словами! — он взял с меня клятву не говорить г-ну Вольмару ничего такого, что заставило бы его отказаться от женитьбы. «Ведь он,— добавил отец,— подумает, что все это наша с вами выдумка. Нет, ваш брак должен состояться любою ценой, иначе я умру от горя».

Вы знаете, друг мой, что на моем крепком здоровье не отражается ни усталость, ни перемена погоды, но оно не может устоять против бури страстей, что в моем слишком уж чувствительном сердце и таится источник всех моих телесных и душевных недугов. То ли долгие печали тлетворно подействовали на мою кровь, то ли природа избрала эту пору, дабы очистить ее с помощью гибельного творила, но под конец я почувствовала себя дурно. Выйдя из комнаты отца, я с трудом написала

вам записку, и мне стало так плохо, что я слегла, надеясь уже более никогда не встать. Остальное вам хорошо известно; вы явились — и тоже поступили неблагоразумно. Я вас увидела и вообразила, будто все это мне померещилось, как уже часто бывало со мною в бреду. Но узнав, что вы и в самом деле посетили меня, что я видела вас наяву и что вы, желая разделить со мной недуг, который не могли исцелить, намеренно заразились, я не выдержала последнего испытания,— перед лицом нежной любви, пережившей надежду, моя любовь, которую я с таким трудом обуздала, вырвалась на свободу и вскоре вспыхнула с небывалым жаром. Я поняла, что мне суждено любить вопреки своей воле; я почувствовала, что мне суждено быть грешницей; что я не могу сопротивляться ни отцу, ни возлюбленному и что я примирю права любви и крови только лишь за счет порядочности. Итак, все мои добрые чувства в конце концов угасли, все мои нравственные свойства изменились, преступление перестало ужасать меня; внутренне я стала совсем иной. Исступленные вспышки страсти, которую препятствия довели до неистовства, повергли меня наконец в самое безысходное отчаяние, какое только может владеть душою,— я дерзнула разувериться в добродетели. Письмо ваше,— которое скорее могло пробудить укоры совести, нежели успокоить их,— привело меня в полнейшее смятение. Сердце мое было уже до того развращено, что рассудок не мог более противиться речам ваших философов; мерзостные образы, дотоле еще не пятнавшие мою душу, посмели меня преследовать. Воля еще боролась с ними, но воображение уже привыкло их лицезреть, и если я и не вынашивала греховные замыслы в своем сердце, то я более не вынашивала и благородной решимости, которая только и может им противостоять.

Трудно мне продолжать. Передохнем. Вспомните те дни счастья и невинности, когда яркое и сладостное пламя, одушевлявшее нас, очищало все наши чувства; когда благодаря его священному жару [1] стыдливость становилась для нас еще дороже, а порядочность еще любезнее, когда даже сами вожделения возникали словно лишь для того, чтобы мы с честью побеждали их и становились еще достойнее друг друга. Перечитайте наши первые письма, поразмыслите о тех кратких мгновениях, коими мы так мало насладились, когда любовь в наших глазах украшена была всеми прелестями добродетели

---

[1] Священный жар! Юлия, ах, Юлия! Может ли вымолвить такие слова исцелившаяся от страсти женщина, каковой вы себя воображаете!

и когда мы так любили друг друга, что не могли вступить в союз, претивший ей.

Чем были мы — и чем стали ныне? Двое нежных влюбленных провели вместе целый год, храня нерушимое молчание; они удерживали вздохи, но сердца их сроднились; они воображали, что страдают, а были счастливы. Понимая друг друга, они признались в своих чувствах, но, радуясь тому, что умеют торжествовать победу над собою и показывать друг другу благородный пример, они провели вместе еще один год в не менее суровой воздержности; они поверяли друг другу свои страдания и были счастливы. Но они были плохо вооружены для столь долгой битвы; миг слабости ввел их в соблазн; они забылись в утехах любви; они утратили целомудрие, зато хранили верность; зато небо и природа одобрили их союз; зато добродетель по-прежнему была им любезна; они все еще любили ее, все еще умели чтить ее,— они были, пожалуй, не развращены, а приниженны. Уже не так были они достойны счастья, однако все еще были достойны.

Что же случилось со столь нежными влюбленными, которые горели столь чистым пламенем любви и столь хорошо знали цену порядочности? Каждый, узнав об их участи, станет сокрушаться. Они предались греху, и даже мысль об осквернении брачного ложа более не вызывает у них отвращения... Они помышляют о прелюбодеянии! Как! Уж не подменили ли их? Или души у них стали иными? Да как обворожительный образ, чуждый зла, может изгладиться в сердцах, где он сиял? Да как очарование добродетели не отвратит навсегда от порока тех, кто раз ее вкусил? Уж не за века ли свершилась эта удивительная перемена? Сколько времени понадобилось, чтобы у того, кто однажды изведал истинное счастье, развеялось чудесное воспоминание, утратилось представление о нем? Ах, поначалу с трудом, медленно вступаешь на стезю разврата, зато как быстро и с какой легкостью следуешь по ней! Обаяние страсти, ты ослепляешь рассудок,— не успеем оглянуться, а ты уже ввело в обман мудрость и изменило нашу природу! Стоит нам раз в жизни оступиться, стоит только на шаг отклониться от правильного пути, и мы тотчас же неминуемо катимся под откос, навстречу гибели; в конце концов мы падаем в пропасть, а придя в себя, ужасаемся, видя, что погрязли в грехах, хотя наше сердце и рождено для добродетели. Опустим же завесу, любезный друг; нет нужды всматриваться в ужасную бездну, которую она скрывает от нас, дабы не приближаться к ней. Продолжаю свой рассказ.

Господин Вольмар приехал, и я ему не разонравилась. Батюшка не дал мне опомниться. Траур по маменьке кончался, но время не могло совладать с моим горем. Чтобы уклониться от своего обещания, нельзя было ссылаться ни на то, ни на другое,— пришлось его исполнить. День, которому суждено было навеки отнять меня у вас, показался мне моим смертным днем. Не так ужасали бы меня приготовления к моим похоронам, как приготовления к моей свадьбе. Роковой час приближался, и мне все труднее было искоренить в сердце первую любовь; я старалась погасить ее, а она пылала все сильнее. В конце концов я устала от бесплодной борьбы. Даже в тот миг, когда я готова была поклясться в вечной верности другому, мое сердце еще клялось вам в вечной любви; и я была введена в храм, как нечистая жертва, которая оскверняет жертвенник.

Я вошла в церковь и, не успев переступить порог, почувствовала какое-то безотчетное волнение, неведомое мне доселе. Некий священный ужас охватил мою душу в простом и величавом храме, где все дышит могуществом того, кому здесь служат. Мне вдруг стало так страшно, что я задрожала. Дрожа и чуть не падая от внезапной слабости, я с трудом приблизилась к подножию пасторской кафедры. Я не успокоилась и во время торжественного обряда,— напротив, смятение мое все росло, и мне становилось еще страшнее, когда я смотрела вокруг. Полумрак, царивший в церкви, глубокое молчание присутствующих, стоявших задумчиво и скромно, свадебный поезд из всех моих родственников, внушительная наружность моего высокочтимого отца — все придавало происходящему торжественность, настраивало меня на проникновенный и благоговейный лад и заставляло трепетать при одной мысли о клятвопреступлении. Мне чудилось, будто я вижу посланца самого провидения, слышу глас божий, когда священник торжественно произносил слова святой обедни. Чистота, достоинство, святость брака, столь ярко воплощенные в Священном писании, его целомудренные и возвышенные обязанности, столь важные для счастья, порядка, спокойствия, для продолжения человеческого рода, столь отрадные сами по себе,— все это произвело на меня такое впечатление, что мне почудилось, будто во мне произошел внезапный переворот. Словно некая непостижимая сила вдруг умиротворила мои смятенные чувства, вернула их в прежнее русло, подчинив закону долга и природы. Предвечный, раздумывала я, ныне читает всевидящим оком в глубине моего сердца; он сравнивает сокровенные мои помыслы с тем, что произносят мои уста; небо и земля — свидетели священного

обязательства, которое я беру на себя, да будут они и свидетелями моей нерушимой верности. Какие человеческие законы может чтить тот, кто дерзнул нарушить самый главный из них?

Я нечаянно взглянула на супругов д'Орб, стоявших вместе и не сводивших с меня умиленного взора, и вид их взволновал меня сильнее всего. Любезная моему сердцу добродетельная чета, разве из-за того, что вы не познали страстной любви, вас соединяют менее крепкие узы? Долг и порядочность связывают вас; нежные друзья, верные супруги, вы не охвачены всепожирающим огнем, он не снедает вам душу,— нет, вас связывает чистая и нежная любовь, которая питает ее, любовь добронравная и разумная,— и благодаря этому ваше счастье более прочно. Ах, если б в подобном союзе я могла обрести такое же целомудрие и насладиться таким же счастьем! Пусть я и не заслужила его подобно вам, но постараюсь заслужить, следуя вашему примеру. Чувства эти воскресили во мне надежду и мужество. Святой союз, в который я вступала, казался мне обновлением, способным очистить мою душу и вернуть ее ко всем ее обязанностям. Когда пастор спросил меня, даю ли я обет послушания и безупречной верности тому, кого избираю в супруги, это подтвердили и уста мои, и сердце. Я не нарушу обета до самой смерти.

Дома мне хотелось побыть часок в уединении и собраться с мыслями. Добилась я этого не без труда, и хоть я так ждала этого часа, поначалу я с отвращением раздумывала о себе, боясь, что мой душевный порыв мимолетен, вызван лишь переменой в моем положении, и считала, что я окажусь столь же недостойной супругой, сколь была неблагоразумной девицей. Я подвергла себя решительному, но опасному испытанию,— начала думать о вас. Как я убедилась, ни единое нежное воспоминание не осквернило торжественного обязательства, которое я только что приняла. Было непостижимо, каким чудом ваш образ, неотступно преследовавший меня доселе, так долго оставлял меня в покое теперь, хоть и было столько поводов для воспоминаний; я не поверила бы ни в равнодушие, ни в забвение, боясь, что все это обманчивое состояние души, мне не свойственное и, следовательно, преходящее. Но мне нечего было опасаться самообмана, я любила вас по-прежнему и, быть может, даже сильнее, чем прежде; я сознавала это без краски стыда. Да, я могла теперь думать о вас, не забывая при этом, что я жена другого. Я чувствовала, как вы мне дороги, сердце мое было взволновано, но совесть и все существо мое хранили спокойствие, и с этого мгновения я поняла, что действительно

изменилась. Какой поток чистой радости хлынул тогда мне в душу! Какая умиротворенность, давно уже утраченная, оживила мое сердце, иссушенное позором, и вдохнула в меня неведомое прежде безмятежное спокойствие. Я словно возродилась, словно начала жить новой жизнью. Кроткая утешительница добродетель! Я обрела эту жизнь во имя тебя, ты сделаешь ее любезной моему сердцу, ради тебя я и хочу сохранить ее. Ах, я слишком хорошо поняла, что значит тебя потерять, и я больше тебя не оставлю!

Я была так восхищена огромной, нежданной и быстрой переменой, что решилась вникнуть в то состояние, в коем находилась накануне. Я ужаснулась своему постыдному унынию, до которого довело меня забвение долга, ужаснулась и всем опасностям, коим я подвергалась с той поры, как оступилась впервые. Целительная перемена в душе моей указала мне на всю мерзость греха, вводившего меня в искушение, и вновь пробудила во мне любовь к благоразумию. Было бы редкостным счастьем, если бы я сохранила верность нашей любви: ведь изменила же я чести, некогда столь мне дорогой! Требовалась особая милость судьбы, чтобы ваше и мое непостоянство не толкнуло меня на новые увлечения. Разве перед другим возлюбленным могла бы я проявить стойкость, уже преодоленную его предшественником, или стыдливость, уже привыкшую уступать порывам страсти? Разве стала бы я уважать права угасшей любви, если я не выказала уважения к правам добродетели, еще всевластной для меня? Свою уверенность в том, что я буду любить одного лишь вас на всем свете, я черпала во внутреннем чувстве, знакомом всем любовникам, которые клянутся в вечном постоянстве и ненароком нарушают клятву всякий раз, когда небу угодно изменить их чувства! А значит, всякое падение было бы подготовкой к следующему; привычка к греху уничтожила бы в моих глазах всю его мерзость. Влекомая от бесчестия к низости, лишенная опоры, я бы уже не остановилась на этом пути, и из любящей и совращенной я бы превратилась в падшую женщину, опозорила свой пол, повергла в отчаяние свою семью. Кто охранил меня от этих естественных следствий моего грехопадения? Кто удержал после первого шага? Кто спас мое доброе имя и уважение ко мне всех милых моей душе? Кто отдал меня под защиту достойного, благоразумного супруга, наделенного кротким нравом и приятностью, питающего ко мне уважение и привязанность, столь мало мною заслуженные? И, наконец, кто подарил мне надежду стать почтенной женщиной и внушил уверенность, что я этого

достойна? Знаю, чувствую: спасительная длань, что вела меня сквозь мрак, снимает с глаз моих покров заблуждения и возвращает меня к самой себе, вопреки моей воле. Тайный голос, непрестанно раздававшийся в глубине моего сердца, окреп и громко прозвучал в тот час, когда я чуть не погибла. Всеведущий не потерпел, чтобы я отвернулась от его лика, став мерзкой клятвопреступницей, и предотвратил мой грех, внушив мне раскаяние и указав мне на бездну, куда я стремилась. Предвечный, по воле твоей ползает букашка и движутся небесные светила, ты печешься о ничтожнейшем из своих созданий! Ты возвращаешь меня к добру, любовь к коему ты мне внушил! Молю тебя, прими от сердца, очищенного тобою, обет верности, дать который я стала достойна только по воле твоей!

И тотчас же, радостно взволнованная мыслью о том, что я избавилась от опасности и вернулась к порядочной и тихой жизни, я простерлась ниц и, молитвенно воздев руки к небу, стала взывать к всевышнему, который, восседая на престоле своем, нашими же руками укрепляет и разрушает, когда ему угодно, дарованную им свободу. «Я хочу,— твердила я,— блага, тебе угодного, от тебя исходящего. Я хочу любить мужа, которого ты мне дал. Я хочу быть верной супругой, ибо это первейшая обязанность, связующая семью и все общество. Я хочу быть целомудренной, ибо это первейшая добродетель, питающая все остальные. Я хочу подчиняться естественному порядку, тобой установленному, и законам разума, тобою внушенным. Предаю сердце под защиту твою, желания — в руки твои. Сообразуй все дела мои с моею истинной волей, ибо она лишь твоей волей направляется, и не дозволь мимолетному заблуждению одержать верх над тем, что я избрала на всю жизнь».

После этой краткой молитвы,— а я впервые в жизни молилась с истинным усердием,— я почувствовала, что укрепилась во всех своих решениях, мне показалось, что выполнить их мне будет легко и отрадно, и я увидела ясно, где отныне должна черпать силы для противления своему собственному сердцу, раз я не могла их обрести в самой себе. Благодаря этому открытию, я вновь обрела веру и стала оплакивать свое пагубное ослепление, из-за коего я так долго пребывала в неверии. Правда, нельзя сказать, чтобы я не была набожна, но, пожалуй, лучше вовсе не быть набожной, нежели обладать внешним и нарочитым благочестием, которое не умиляет сердце, а только успокаивает совесть, нежели ограничиваться обрядами и усердно чтить господа бога лишь в известные часы, дабы все остальное время о нем и не помышлять. Исправно посещая

церковные службы, я не извлекала из них никаких уроков для жизни. Я считала, что задатки у меня хорошие, и не противилась своим склонностям; я любила размышлять и полагалась на свой рассудок; не в силах примирить дух Евангелия с духом общества — веру с делами, я избрала середину, тешившую мое лжемудрие. Одни правила служили мне для веры, другие для дел; в одном месте я забывала, что́ думала в другом; в церкви я приносила дань набожности, дома — философии. Увы! Во мне не было ни того, ни другого! Молитвы мои были пустыми словами, рассуждения — софизмами, и манил меня не луч света, а коварный блеск блуждающих огней, которые вели меня к гибели.

Не могу передать вам, насколько теперь эти нравственные начала, дотоле во мне столь слабые, внушили мне презрение к тем, которые прежде руководили мною так дурно. В чем же заключалась, скажите мне, их первопричина и на чем они зиждились? По счастливому природному влечению я стремлюсь к добру; в моей душе рождается неистовая страсть, и корень ее в том же влечении; что же должно мне делать, чтобы ее уничтожить? С понятием порядка я связываю красоту добродетели, с общественной пользой — ее ценность. Но что все это значит по сравнению с моей личной выгодой! И что, в сущности, важнее для меня — мое счастье за счет всех остальных людей или же счастье других за счет моего собственного? Если страх перед позором или карою мешает мне творить зло ради собственной выгоды, то я могу творить зло украдкой, и добродетель тут ни при чем; а если меня поймают на месте преступления, то покарают, как в Спарте, не за преступление, а за неловкость. Если бы понятие добра и любовь к добру были запечатлены природой в недрах моей души, я бы следовала им до той поры, пока не исказился бы их образ. Но как удостовериться, что я всегда буду носить в душе во всей его чистоте этот неравенный образ, не имеющий подобия среди одушевленных существ? Ведь известно, что необузданные страсти извращают и рассудок и волю, а совесть неприметно изменяется и искажается в каждом веке, в каждом народе, в каждой личности в силу неустойчивости и разнообразия человеческих предубеждений!

Поклоняйтесь предвечному, достойный и разумный друг, одним мановением вы уничтожите все заблуждения разума, которые обладают призрачной видимостью и бегут как тень перед лицом непоколебимой истины. Все существует лишь по воле вседержителя. Он придает цель правосудию, основание — добродетели, цену — краткой жизни, ему посвященной; он беспре-

станно возвещает грешникам о том, что их скрытые преступления не остаются в тайне, он внушает праведнику, забытому всеми: «У добродетелей твоих есть свидетель». Он в своей неизменной сущности являет истинный прообраз всех совершенств, отражение которых мы носим в своей душе. Напрасно наши страсти стремятся исказить это отражение,— все черты его, неотделимые от предвечной сущности, всегда представляются разуму и помогают ему восстановить то, что исказили лжемудрствование и заблуждение. По-моему, определить все это не трудно,— довольно обладать здравым смыслом. Все то, что неотъемлемо от понятия этой сущности, и есть бог, все же остальное — дело рук человеческих. Созерцая этот божественный образец, душа очищается и воспаряет, она научается презирать низменные свои наклонности и преодолевать свои недостойные влечения. Сердце, исполненное таких возвышенных истин, отвергает мелкие человеческие страсти; бесконечное величие отвращает его от человеческой гордыни; прелесть размышлений отвлекает от земных желаний; а если б даже вездесущего, созерцанием кого поглощено наше сердце, и не было, все равно следовало бы непрестанно помышлять о нем, дабы лучше владеть собою, стать сильнее духом, счастливее и мудрее.

Хотите ли найти явственный пример пустых софизмов, идущих от рассудка, который опирается лишь на себя? Вникнем хладнокровно в рассуждения ваших философов, истых защитников греха, которые могут совратить только уже испорченные сердца. Можно подумать, что, нападая непосредственно на самое священное и самое возвышенное обязательство, эти опасные резонеры решили уничтожить одним ударом все человеческое общество, основанное лишь на соблюдении договоров. Посмотрите-ка, прошу вас, как они оправдывают тайное прелюбодеяние. Они уверяют, что оно не приносит никакого зла даже супругу,— ведь тот пребывает в неведении. А где уверенность, что он никогда ничего не узнает? А разве клятвопреступление и измену можно оправдать тем, что они безвредны для ближнего! Как будто, чтобы заклеймить грех, недостаточно того зла, которое он приносит самому грешнику! Как, разве не зло — изменить своему слову, нарушить клятву во всей ее действенной силе, нарушить самый нерасторжимый договор? Разве не зло — принудить себя к обману и лжи? Разве не зло — связать себя такими узами, которые заставляют вас желать зла и смерти своему ближнему,— желать смерти тому, кого должно любить больше всего на свете, с кем вы поклялись прожить до могилы? Разве уже само по себе не зло — это

состояние, чреватое тысячью других грехов? Даже добро, причинившее столько зла, само бы превратилось во зло.

Вправе ли один из супругов считать себя невиновным потому, что он якобы волен располагать собою и, значит, не нарушает верности! Он жестоко ошибается. Не только благо супругов, но общая польза всех людей требует, чтобы чистота браков оставалась незапятнанной. Когда супруги торжественно сочетаются браком, то всякий раз вступает в силу и молчаливый договор всего рода человеческого об уважении к священным узам, о почитании брачного союза; и, по-моему, это — весьма основательный довод против тайных браков, которые не отмечены никакими символами брачного союза и опаляют невинные сердца греховной страстью. Если же бракосочетание происходит не тайно, то присутствующие при нем могут быть, в некотором роде, порукой тому, что договор будет исполнен, что честь целомудренной женщины берут под защиту все порядочные люди. Поэтому всякий, кто осмеливается соблазнить ее, прежде всего грешен в том, что толкает ее на грех, так как подстрекательство к преступлению — это соучастие в нем; вдобавок он и непосредственно свершает грех, нарушая священную для общества неприкосновенность брачных уз, без которых невозможны никакие устои человеческого общества.

Преступление покрыто тайной, говорят некоторые, поэтому никому не причиняет зла. Когда б эти философы веровали в существование господа бога и в бессмертие души, они бы не назвали такое преступление тайным, ибо оно не укроется от свидетеля, который вместе с тем является и главным обвинителем и единственным справедливым судией. Что же это за странная тайна, которую оберегают от всех, за исключением того, от кого первым делом надобно было бы ее скрыть! Но даже если они не признают вездесущего, то как смеют они утверждать, будто никому не причиняют зла! Как смеют уверять, будто отцу безразлично, что у его наследников чужая кровь, что он обременен бóльшим числом детей, нежели ему должно иметь, и что ему приходится делить свое имение между ними, живым свидетельством его бесчестия, не питая к ним отцовской любви. Предположим, что резонеры — материалисты; тогда тем более можно опровергнуть их ссылкой на сладостный голос природы, который взывает из глубины всех сердец, восставая против надменной философии, и не может быть заглушен никакими рассуждениями. В самом деле, если одна лишь плоть порождает мысль, а чувства зависят только от нашего организма, то разве два существа, в жилах которых

бежит единая кровь, не должны обладать особенно большим сходством, питать друг к другу особенно сильную привязанность, подходить друг к другу и душой и наружностью,— следовательно, особенно любить друг друга?

Так, значит, по-вашему, не приносишь зла, если уничтожаешь или нарушаешь этот естественный союз, внося в него чужую кровь и подрывая самые основы, на которых покоится взаимная склонность? Всякого порядочного человека ужасает мысль о подмене ребенка, отданного кормилице. А ведь не меньшее преступление — подменить дитя во чреве матери!

Если говорить, в частности, о женщинах, то какими бедами грозит их распутное поведение, якобы не приносящее зла! Не зло ли само падение грешной женщины,— ведь с утратой чести она вскоре лишается всех прочих добродетелей. Любящий супруг по множеству верных признаков догадывается о связи, которую пытаются оправдать тем, что она никому не известна. Ведь сразу можно увидеть, что жена разлюбила мужа. Чего она достигнет с помощью коварных ухищрений? Да только скорее обнаружит свое равнодушие! Взор любви не обмануть притворными ласками! А какие испытываешь муки рядом с любимым существом, если руки его обнимают тебя, а сердце тебя чуждается! Предположим, судьба будет благоприятствовать сокрытию тайны, что случается очень редко; забудем на минуту, сколь опасны попытки сохранить свою мнимую невиновность и доверие близкого человека при помощи всяких предосторожностей, то и дело разоблачаемых небом! Но сколько же надобно притворства, лжи, коварства, чтобы утаить постыдную связь, провести мужа, подкупить слуг, обмануть общество! Какой позор для сообщников! Какой пример для детей! Что же будет с их воспитанием, когда ты только и думаешь об утолении своей преступной страсти! Что же будет с мирным домашним очагом и супружеским согласием? Как! Да разве все это не причинит вреда супругу? Кто вознаградит его за утрату сердца, которое должно принадлежать ему? Кто возвратит ему супругу, достойную уважения? Кто даст ему отдохновение и покой? Кто избавит от справедливых подозрений? Кто заставит отца довериться своим родительским чувствам, когда он обнимает свое дитя?

Касательно уз, которые неверность и прелюбодеяние якобы создают между семьями, то, право, это не веский довод, а нелепая и грубая шутка, на которую надобно отвечать лишь презрением и негодованием. Измены, ссоры, драки, убийства, отравления, коими разврат наполнял землю во все времена, достаточно явно показывают, как привязанности, вскормленные

преступлением, угрожают спокойствию и согласию людей. Если благодаря этим гнусным и презренным сношениям и образуется некое сообщество, то оно походит на сообщество разбойников, которое следует разрушить и уничтожить, дабы обезопасить жизнь общества законного.

Я сдерживаю негодование, кое внушают мне эти правила, чтобы спокойно обсудить их вместе с вами. Чем они неразумнее, тем меньше я имею права пренебречь случаем опровергнуть их и пристыдить себя за то, что я внимала им без особого отвращения. Как видите, они не выдерживают испытания, которому подвергает их здравый рассудок. Но где искать здравый рассудок, как не в том, кто является его первоисточником! И что думать о тех, кто обращает на погибель людям его дар — божественный светоч, долженствующий указывать правый путь. Будем же остерегаться философического суесловия, будем остерегаться ложной добродетели, с помощью которой подрывают все добродетели и стараются обелить все пороки, дабы получить право всем им предаваться. Лучший способ обрести благо — искать его чистосердечно; и если будешь его так искать, то вскоре вознесешься душою к всеблагому создателю. Вот что, по-моему, и происходит со мною с той поры, как я посвятила себя очищению своих чувств и помыслов; а вы сделаете это лучше меня, когда вступите на тот же путь. Как утешает меня мысль о том, что вы нередко питали мой дух возвышенными религиозными идеями,— а ведь ваше сердце ни в чем от меня не таилось и вы так не говорили бы со мною, если б чувствовали по-иному. Мне даже кажется, что такие беседы были нам отрадны. Присутствие всевышнего никогда не тяготило нас; оно наполняло нас надеждой, а не страхом,— ведь оно ужасает только душу злодея; нам было радостно, что он свидетель наших разговоров, что мы вместе воспаряем к нему душой. Порою, униженные стыдом, мы говорили друг другу, оплакивая свои слабости: «По крайней мере, господь бог читает в наших сердцах»,— и это нас несколько успокаивало.

Если из-за такого спокойствия мы впали в заблуждение, то сама вера должна вернуть нас на путь истинный. Стыдно человеку вечно жить в разладе с собою, по одному правилу действовать, по другому чувствовать; размышлять так, будто ты не имеешь плоти; поступать так, будто не имеешь души, и ничего, что ты совершаешь в жизни, не сообразовывать с собою, как с цельным существом. Я нахожу, что наши прежние правила делают человека стойким, если только не сводятся к одним лишь пустым теориям. Слабость свойственна человеку, и

милосердный бог, создавший его, без сомнения, простит ее; но преступление свойственно злодею и никогда не останется безнаказанным перед лицом высшего судии. Человек неверующий, но наделенный хорошими задатками, служит добродетелям, которые ему любезны; творит добро по прихоти, а не по убеждению. Он без принуждения следует своим честным наклонностям, но следовал бы и нечестным, ибо зачем бы он стал себя ограничивать? Кто же признает общего отца нашего и служит ему, тот видит для себя более высокое предназначение, тот одушевлен горячим желанием ему следовать и, подчиняясь закону — более надежному руководителю, чем наши наклонности,— способен делать усилие над собою, чтобы творить добро и поступаться желаниями сердца ради долга. Такова, друг мой, доблестная жертва, к которой мы с вами призваны. Любовь, соединявшая нас, была очарованием всей нашей жизни. Она пережила надежду, победила время и разлуку, перенесла все испытания. Столь безупречное чувство не должно погибнуть,— оно достойно того, чтобы его принесли на алтарь добродетели.

Скажу вам более. Наши отношения стали иными, пусть и ваше сердце станет иным — так надо. Юлия де Вольмар — уже не прежняя ваша Юлия. Ваши чувства к ней должны измениться, этого не миновать. Пред вами выбор: стать слугою порока или слугою добродетели. Вспоминаю отрывок из произведения одного сочинителя, слова которого вы не станете оспаривать: «Стоит любви,— говорит он,— проститься с честью, и она лишается самой большой своей прелести; дабы чувствовать всю цену любви, сердцу надобно восхищаться ею и возвышать нас самих, возвышая предмет нашего чувства. Лишите ее идеи совершенства, и вы ее лишите способности восторгаться; лишите уважения, и от любви ничего не останется. Да может ли женщина чтить человека, обесчестившего себя? Да может ли он сам боготворить ту, которая решилась отдаться гнусному соблазнителю? Итак, вскоре они станут презирать друг друга, любовь для них превратится в постыдную связь. Они утратят честь, но не обретут блаженства» [1]. Вот ваши наставления, друг мой, вы мне сами это внушили. Никогда в наших сердцах не было такой нежной взаимной любви, никогда мы так не ценили порядочность, как в ту счастливую пору, когда писалось это письмо. Подумайте, к чему бы ныне привела нас греховная страсть, вскормленная самыми восхитительными восторгами, чарующими душу! Отвращение к пороку, столь естественное и для меня,

[1] См. часть первую, письмо XXIV.

и для вас, распространилось бы вскоре на сообщника преступления,— мы бы возненавидели друг друга за то, что слишком были любимы, а любовь угасла бы от угрызений совести. Не лучше ли очистить наше бесценное чувство, дабы оно стало прочнее? Не лучше ли сохранить лишь все то, что сочетается с целомудрием? А ведь это означает — сохранить всю его прелесть! Да, любезный и достойный друг, во имя нашей вечной взаимной любви надобно отказаться друг от друга. Забудем все остальное — будьте возлюбленным души моей. Эта отрадная мысль утоляет все мои печали.

Вот верная картина моей жизни и откровенная исповедь во всем, что произошло в моем сердце. Люблю я вас по-прежнему, успокойтесь. Чувство привязанности к вам так нежно и еще так живо, что другая женщина, вероятно, была бы встревожена; мне же опасаться нечего — ведь мне знакомо совсем иное чувство. Любовь переменила свою природу, именно поэтому прошлые заблуждения — оплот моей нынешней безопасности. Разумеется, безупречная благопристойность и показная добродетель потребовали бы большего и были бы уязвлены тем, что вы не совсем забыты. Но я считаю, что руководствуюсь более надежным правилом,— и не отступлю от него. Втайне я внимаю голосу своей совести, она меня ни в чем не укоряет, а ведь она никогда не обманет души, которая с ней искренне советуется. Пусть этого недостаточно, чтобы оправдать меня в глазах света, зато достаточно для моего собственного спокойствия. Как же произошла столь счастливая перемена? Не имею понятия. Знаю одно, что я жаждала ее. Господь бог свершил остальное. Я думала, душа, согрешив, вечно будет грешной и по воле своей не возвратится к добру, разве что какое-нибудь неожиданное событие, внезапная перемена судьбы и положения вмиг изменят весь ход жизни и могучий переворот восстановит душевное равновесие. Когда со всем привычным покончено, все чувства изменились, то в этом потрясении иногда вновь обретаешь свой истинный характер и будто превращаешься в новое существо, только что вышедшее из рук природы. И тут воспоминания о низменных поступках, свершенных прежде, могут предохранить от нового грехопадения. Вчера ты был мерзок и слаб, а ныне ты могуч и благороден. Когда видишь воочию, каково твое прежнее и нынешнее состояние, то ясней понимаешь, на какие высоты воспарил, и еще усердней стараешься на них удержаться. Нечто подобное тому, что я пытаюсь вам здесь объяснить, произошло со мною в замужестве. Узы, которых я так страшилась, освобождают

меня от куда более страшного рабства — супруг возвратил меня самой себе и стал мне дорог.

Слишком тесен был наш с вами союз — ему не распасться, даже если изменится само его существо. Вы теряете нежную возлюбленную, зато обретаете верного друга; и как бы мы ни отнеслись к этому тогда, в пору самообольщения, право, для вас такая перемена небесполезна. Заклинаю вас, примите то же решение, что и я, дабы стать лучше и благоразумнее и очиститься от уроков философии с помощью христианской морали.

Не быть мне счастливой, ежели и вы не будете счастливы, а я как никогда понимаю, что без добродетели счастья нет. Ежели вы истинно любите меня, то я найду сладостное утешение в согласии наших сердец, вновь познавших добро,— согласии, не менее полном, чем прежде, когда они заблуждались.

Вряд ли мое длинное письмо нуждается в оправдании. Были б вы мне не так дороги, оно было бы короче. Заканчивая, я прошу вас о милости. Мучительное бремя отягчает мое сердце. Господин Вольмар не знает о моем прошлом, а ведь безграничная откровенность — непременное условие верности, в коей я поклялась ему. Много раз я была готова признаться ему во всем, но меня удерживает мысль о вас. Хотя г-н Вольмар благоразумен и сдержан, но, назвав ваше имя, я все же поставлю вас в неловкое положение,— я не хочу говорить о вас без вашего согласия. Быть может, моя просьба будет вам неприятна, и я самонадеянно полагаюсь на вас, да и на себя, уповая на ваше согласие? Но поймите, умоляю вас, что моя скрытность непростительна, с каждым днем она меня все более мучит, и, покуда я не получу от вас ответа, у меня не будет ни минуты покоя.

## ПИСЬМО XIX

*Ответ*

Так, значит, вы уже не та — не моя Юлия! Ах, не говорите этого, о женщина, столь уважаемая и достойная! Вы все та же, вы — моя Юлия, только еще в большей степени, чем прежде. Вам должна поклоняться вселенная; вас я стал обожать как идеал подлинной красоты; вас я не перестану обожать даже после своей смерти,— если душа сохранит воспоминание о поистине божественных чертах, восхищавших меня при жизни. В силе духа, которая возвращает вас к добродетели, вы обретаете себя. Да, да, Юлия моя, никогда вы не были так прекрасны, как в тот миг, когда отвергли меня, хотя сознавать это и говорить об

этом для меня пытка. Увы! Я вновь вас обрел, теряя вас. Я же, с сердечным трепетом помышляющий о том, что надобно последовать вашему примеру, измученный преступной страстью, которую мне не вынести и не побороть,— да тот ли я, за кого себя принимал прежде? Как я мог вам понравиться? По какому праву докучал я вам своими жалобами, своим отчаянием! И я еще смел вздыхать о вас! И я, ничтожный, любил вас!

Безумец! Довольно мне выпало унижений,— к чему искать еще новые! К чему перечислять различия, которые устранила любовь! Она возвысила меня, и я стал равен вам; ее пламя поддерживало меня; наши сердца сливались; мы разделяли одни чувства, и возвышенность ваших чувств передавалась моим. Но вот я вновь низко пал! Отрадная надежда, питавшая мою душу и так долго обольщавшая меня, ты угасла навеки! Юлия не будет моей. Я потерял ее навсегда! Она составляет счастье другого! О, какая пытка! О, муки ада!.. Ах, неверная, как ты решилась?.. Простите, простите, сударыня! Сжальтесь над безумцем. О господи! Да, вы правы, ее уже нет... нет той нежной Юлии, которой я поверял все свои чувства! Как! Я был несчастлив, я мог жаловаться!.. Она мне внимала! Если тогда я был несчастным, то как же назвать себя ныне! Нет, я не заставлю вас больше краснеть ни за себя, ни за меня. Все кончено. Отречемся же друг от друга, расстанемся. Сама добродетель вынесла этот приговор. Рука ваша, не дрогнув, его начертала. Забудем друг друга... по крайней мере, вы должны забыть меня. Клянусь вам, я так решил — о себе я говорить больше не буду.

Смею ли, однако, я еще говорить о вас и проявлять заботу о вашем благополучии — единственное, что мне осталось в жизни? Вы поведали о своем душевном состоянии, но ни словом не обмолвились о своей участи. Ах, во имя той жертвы, которую я принес вам, избавьте меня, умоляю вас, от невыносимо тягостного сомнения. Счастливы ли вы, Юлия? Если счастливы, то только это утешит меня в безысходном отчаянии, если нет, то, умоляю вас, доверьтесь мне, и тогда мне страдать недолго.

Чем больше я размышляю о задуманном вами признании, тем менее считаю себя вправе дать на него согласие, и непреклонен я по той же причине, из-за которой никогда не мог ни в чем отказать вам. Причина эта столь важна, что я заклинаю вас хорошенько взвесить все мои доводы. Во-первых, мне кажется, что вы заблуждаетесь из-за своей чрезмерной щепетильности,— да на каком основании самая строгая добродетель может потребовать такой исповеди! Ни одно обязательство на свете не имеет обратной силы — нельзя отвечать за прошлое,

как нельзя обещать невыполнимое. Зачем же давать супругу отчет в том, как прежде вы распоряжались своей свободой, своей верностью, еще ему не обещанной? Не обманывайтесь, Юлия,— вы изменили не супругу, а возлюбленному. Небо и природа соединили нас задолго до вмешательства вашего безжалостного отца. Согласившись на иные узы, вы свершили преступление, которое, быть может, не прощают ни любовь, ни честь; это я вправе требовать, чтобы мне вернули сокровище, похищенное г-ном Вольмаром.

Если порою долг и повелевает сделать такое признание, то лишь тогда, когда благоразумная женщина, страшась пасть вторично, ищет защиты от самой себя. Но ваше письмо рассказало мне больше, чем вы думаете, о ваших истинных чувствах; читая его, я понял всем своим сердцем, что вы готовы были еще на лоне любви возненавидеть преступную связь, что только разлука избавила нас от всего этого ужаса.

Ни долг, ни душевное благородство не требуют от вас признания, рассудок же и благоразумие запрещают его,— иначе вы без нужды поставите на карту то, что всего дороже в браке — привязанность супруга, взаимное доверие, спокойствие домашнего очага. Достаточно ли вы обдумали этот шаг? Так ли хорошо знаете своего супруга, что можете не тревожиться за последствия? Ведь многие мужчины, услышав такое признание, почувствовали бы неукротимую ревность, непреодолимое презрение и, пожалуй, посягнули бы на жизнь женщины! Для столь изощренного испытания надобно принимать в расчет время, место и нравы. В стране, где я ныне нахожусь, подобные признания не опасны, и те, кто легкомысленно относятся к супружеской верности, не придают большого значения проступкам, свершенным до брака. Иной раз подобные признания необходимы по особым причинам, у вас не возникшим; случается и так, что женщины, не внушающие к себе истинного уважения, при помощи такого откровенного признания, ничем не вынужденного, придают себе достоинство и, быть может, этою ценою добиваются доверия, которым при надобности можно и злоупотребить. Но в тех краях, где святость брака почитают больше, в тех краях, где эти священные узы прочны, мужья, искренне привязанные к своим супругам, более строго спрашивают у них отчета и хотят, чтобы те любили только их и никогда прежде не ведали иного чувства; они без оснований присваивают себе право требовать, чтобы жены еще до встречи с ними предназначены были только им, и не прощают увлечений свободного сердца, как не простили бы измены в браке.

Поверьте мне, добродетельная Юлия,— остерегайтесь бесплодного и напрасного рвения. Храните опасную тайну,— ведь ничто не принуждает вас к признанию, а оно может погубить вас и не принесет никакой пользы вашему супругу. Если он и достоин такого доверия, он все же будет скорбеть душою и вы без нужды огорчите его. Если недостоин, то зачем давать ему предлог к неприязни! Кто знает, будет ли добродетель, поддерживающая вас в борьбе с вашим сердцем, поддерживать вас и в вечных семейных ссорах? Не усугубляйте сами своих горестей, страшитесь, как бы они не преодолели вашего мужества и как бы из-за чрезмерной щепетильности вы не оказались в еще худшем положении, чем то, из коего вышли с таким трудом. Благоразумие — основа всякой добродетели; сообразуйтесь с ним, заклинаю вас, в самом важном случае жизни; и если роковая тайна так жестоко тяготит вас, то, по крайней мере, облегчите сердце признанием лишь тогда, когда время, годы помогут вам лучше узнать супруга и когда на его сердце будет воздействовать не только ваша красота, но и ваша душевная прелесть и отрадная привычка быть с вами. И наконец, если все эти веские доводы сами по себе не убедят вас, то все же внемлите им хотя бы ради того, кто их высказывает. О Юлия! Послушайтесь человека, способного быть добродетельным, который заслуживает, чтобы вы принесли ему хоть какую-нибудь жертву взамен той, что он приносит вам ныне.

Пора кончать письмо. Знаю, мне не удержаться от тона, коему вам уже нельзя внимать. Я должен покинуть вас, Юлия! Я так молод, а должен отказаться от счастья! О, невозвратное время, время, навсегда минувшее,— источник вечных сожалений! Утехи, порывы страсти, упоительные восторги, восхитительные мгновения, райское блаженство! Любовь моя, единственная моя любовь, честь и отрада моей жизни! Прощайте навек!

## ПИСЬМО XX

*От Юлии*

Вы спрашиваете, счастлива ли я? Вопрос этот трогает меня, и, задавая его, вы мне помогаете и ответить, ибо я не ищу забвения, о коем вы говорите, и, признаюсь, не знала бы счастья, если бы вы меня разлюбили; так, значит, я счастлива во всех отношениях, моему счастью недостает лишь вашего. В предыдущем письме я старалась не упоминать о г-не Вольмаре, щадя вас. Я хорошо знаю, как вы чувствительны, и боюсь обострить ваши муки; но вы тревожитесь о моей участи, и я вынуждена

рассказать о том, от кого она зависит, рассказать тоном, достойным его, как подобает его супруге и истинному другу.

Господину де Вольмару около пятидесяти лет; благодаря спокойной, размеренной жизни и душевной безмятежности он сохранил здоровье и свежесть,— на вид ему не дашь и сорока; о его почтенном возрасте узнаешь только по его житейскому опыту и благоразумию. Наружность у него благородная и располагающая, обхождение простое и искреннее; в манерах чувствуется учтивость, а не услужливость; говорит он мало, и речи его полны глубокого смысла, но он не любит блистать остроумием и читать нравоучения. Держится он со всеми одинаково, знакомств не ищет, но от них не бежит, и его суждениями о людях руководит не пристрастие, а справедливость.

По природе он человек не пылкий, однако в его сердце, словно содействуя намерениям моего отца, возникла склонность ко мне, и он полюбил — впервые в жизни. Его сдержанное, но постоянное чувство так сочетается с его хорошими манерами и так ровно, что ему не пришлось менять поведения, когда произошла перемена в его жизни, и, ничем не нарушая той степенности, которая приличествует супругу, он держится со мною после нашей свадьбы, как прежде. Он не весел, не печален, а всегда всем доволен; он никогда не говорит о себе, редко обо мне; не ищет бесед со мною, но не проявляет неудовольствия, если я сама завожу беседу, и неохотно меня оставляет. Он никогда не смеется; он серьезен, но меня к серьезности не принуждает; напротив, его спокойное обхождение как бы призывает меня к веселости; по-видимому, он радуется только моей радостью, ибо одна из его постоянных забот — развлечь меня. Одним словом, он хочет, чтобы я была счастлива; он мне этого не говорит, но я это чувствую; а ведь желать счастья жене,— значит, уже его создать.

Я внимательно наблюдала, но не обнаружила у него никаких страстей, кроме страсти ко мне. Однако и эта страсть так ровна, так сдержанна,— можно сказать, он любит потому, что стремится любить, а стремится любить потому, что так подсказывает разум. Право, он точно такой, каким хочет стать милорд Эдуард; и я считаю, что в этом отношении он выше всех нас прочих — людей чувства, коими сами мы так восхищаемся; ведь сердце обманывает нас на тысячи ладов и действует только по весьма сомнительным правилам; но у разума и нет иной цели, кроме добра, правила его всегда надежны, ясны, ими легко руководствоваться в жизни, и заблуждается он только тогда, когда пускается в бесплодную отвлеченность,— она не для него.

Излюбленное занятие де Вольмара — наблюдение. Он любит судить о характерах людей и их поступках. И судит он с глубокой проницательностью и полнейшим беспристрастием. Повреди ему какой-нибудь недруг,— он станет обсуждать его побуждения и поступки спокойно, словно это нисколько его не касается. Не знаю, что он о вас слышал, но говорил о вас с превеликим уважением, а к притворству он, я знаю, не способен. Иной раз мне казалось, что, ведя такие беседы, он наблюдает за мной; но, вероятно, я ошиблась под влиянием неспокойной совести. Как бы то ни было, тут я исполнила свой долг — ни страх, ни стыд не принудили меня к несправедливому умолчанию, и я воздала вам должное, как сейчас воздаю должное и ему.

Я забыла рассказать вам о наших доходах и об управлении имением. Остатки богатства г-на Вольмара, вкупе с тем, что предоставил нам отец, сохранивший за собою лишь пенсион,— образуют порядочное, но не столь уж большое состояние, коим г-н Вольмар распоряжается благородно и умело, не заводя в доме нелепой и показной роскоши, а живя в довольстве, уюте [1] и помогая беднякам нашего прихода. Порядок, заведенный в доме,— образец порядка, который царит в глубине его души, и словно отражает в небольшом хозяйстве порядок в устройстве вселенной. Здесь не увидишь непоколебимого соблюдения правил, которое скорее стесняет, нежели приносит пользу, и терпимо только для того, кто к нему принуждает; не увидишь и порожденного обилием беспорядка, из-за коего все приходит в негодность. Здесь всюду видна хозяйская рука, но ее не чувст-

---

Не найти на свете более обычного сочетания, чем сочетание роскоши и скаредности. В угоду мнению жертвуют требованиями природы, истинными удовольствиями и даже необходимым. Один украшает свой дворец в ущерб своему столу, другой предпочитает красивую посуду хорошему обеду, иной устраивает пышный прием, а сам умирает с голоду весь год. Когда я вижу золоченую посуду, я так и жду, что меня угостят отвратительным вином. Часто в загородных домах, вдыхая утренний свежий воздух, любуешься прекрасным садом! Встаешь спозаранку, гуляешь, у тебя разыгрывается аппетит, хочется позавтракать,— но, оказывается, слуги нет дома, или не хватило провизии, или хозяйка не успела распорядиться, и ты мучаешься ожиданием. Иногда же тебе предлагают роскошное угощение в расчете, что ты откажешься. Ты испытываешь муки голода до трех часов и вместо завтрака любуешься тюльпанами. Мне вспоминается, как однажды я гулял по великолепному парку, хозяйка которого, как мне говорили, очень любила кофе, но никогда не пила его, ввиду того что чашка обходилась в четыре су. Зато она щедро платила садовнику тысячу экю. Право, я предпочитал бы, чтобы деревья аллей были не так хорошо подстрижены, зато можно было пить кофе почаще.

вуешь; господин де Вольмар так хорошо все повел с самого начала, что теперь все идет само собою, и наслаждаешься одновременно и порядком и свободою.

Вот, любезный друг, вкратце, но с точностью обрисованный характер г-на Вольмара, насколько мне удалось распознать его за то время, пока мы живем вместе. Таким он показался в первый день, таким, без изменения, кажется и сейчас; поэтому я и надеюсь, что хорошо его узнала и что в нем ничего нового я не обнаружу, ибо, по-моему, он много потеряет, если выкажет себя иным.

Представив себе этот образ, вы на свой вопрос можете ответить сами — надобно глубоко презирать меня, чтобы не считать меня счастливою, когда столько причин для счастья[1]. Мысль о том, что для счастливого супружества нужна любовь, долгое время вводила меня в заблуждение, а вас, пожалуй, обманывает и поныне. Друг мой, это ошибка: порядочности, добродетели, некоторого соответствия, не столько состояний и возраста, сколько души и нрава,— достаточно для супругов, что, впрочем, не мешает возникнуть нежной привязанности между ними, хоть и не порожденной любовью, но тем не менее трогательной и более долгой. Любовь сопровождают вечные муки ревности, сдержанность чувств, не свойственные брачному союзу, который дарует блаженство и покой. Женятся не для того, чтобы думать только друг о друге, но чтобы совместно выполнять обязанности, налагаемые жизнью общества, умело и разумно вести хозяйство, хорошо воспитывать детей. Влюбленные думают только друг о друге, непрестанно заняты лишь собою и умеют только одно — любить. Супруги должны выполнять столько обязанностей, что этого недостаточно. Ни одна страсть так не обольщает нас, как обольщает любовь,— ее неистовую силу принимаешь за призрак ее долговечности; сердце, изнемогая от столь сладостного чувства, так сказать, простирает его в будущее, и пока любовь длится, ты веришь, что ей не будет конца. Но, напротив, это пламя и снедает ее, она уходит вместе с молодостью, блекнет с красотою, угасает под ледяным дуновением старости, и с тех пор как существует мир, еще никому не случалось видеть двух седовласых влюбленных, вздыхающих друг о друге. Итак, надобно предвидеть, что рано или поздно обожать друг друга перестанут; и вот кумир, которому еще недавно служили, разрушен, и видишь друг друга без прикрас.

---

[1] Видимо, она еще не обнаружила роковой тайны, которая так мучила ее впоследствии, или же не хотела поведать о ней своему другу.

С изумлением ищешь предмет былой любви и, не находя, с досадой глядишь на того, кто с тобою остался, и воображение делает его часто еще безобразней — как прежде делало еще прекрасней. «Редко кто,— говорит Ларошфуко,— не стыдится былой своей любви, когда уже перестал любить»[1]. Как следует опасаться, чтобы пресыщение не пришло на смену слишком пламенным чувствам, чтобы на их закате равнодушие не перешло в отвращение, чтобы вконец не надоесть друг другу и чтобы слишком пылкие любовники, вступив в брак, не прониклись взаимной ненавистью. Любезный друг, вы всегда были так обаятельны, на пагубу моей невинности и моего покоя, но вы были только моим возлюбленным,— кто знает, каким бы вы стали, разлюбив? Конечно, любовь погасла бы, но ваша добродетель осталась бы,— однако довольно ли этого для счастливого союза, который ведь должен скрепляться сердцем? И какими несносными мужьями бывают иные добродетельные люди! То же самое вы можете сказать и обо мне.

Что же касается г-на де Вольмара, то мы не самообольщались, мы смотрели друг на друга трезво; чувство, соединяющее нас,— не слепой порыв сердец, горящих страстью, а непоколебимая и постоянная привязанность двух порядочных и благоразумных людей, которые знают, что им суждено провести вместе остаток жизни, довольны своей участью и стараются сделать ее приятной для обоих. Право, мы словно сотворены друг для друга — лучшей пары не придумать. Если б его сердце было так же нежно, как мое, то уж наверняка наша общая чувствительность порою вызывала бы столкновения и приводила бы к ссорам. Если б я была так же спокойна, как он, между нами царила бы чрезмерная холодность, и нам в обществе друг друга было бы не так приятно и отрадно. Если б он не любил меня вовсе, у нас был бы разлад; если б любил страстно, был бы мне непереносим. Мы именно таковы, как должны быть, чтобы подходить друг к другу; он меня просвещает, а я вношу оживление в его жизнь,— это укрепляет наш союз: так и кажется, что нам суждено слиться в одну душу, и он — ее разум, а я — воля. И даже его несколько преклонный возраст служит к нашему общему благу: ибо, конечно, мне, изнемогающей от любви, было бы еще тяжелее выходить замуж, если б он был моложе, и непреоборимое отвращение к нему, вероятно, помешало бы той счастливой перемене, которая во мне произошла.

---

[1] Я был бы крайне удивлен, если б Юлия читала или цитировала Ларошфуко при других обстоятельствах: хорошие люди не могут наслаждаться горькой его книгой.

Друг моїй, небо внушает добрые побуждения отцам и вознаграждает послушание детей. Сохрани меня бог надругаться над вашими невзгодами. Лишь желание окончательно успокоить вас заставляет меня еще кое-что добавить. Когда бы мною владели те чувства, которые я еще недавно испытывала к вам, но я обладала бы знанием жизни, приобретенным мною ныне, и была еще свободна и властна выбирать мужа по сердцу, то — пусть свидетелем искренности моей будет господь бог, который, снизойдя до меня, просветил мне душу и читает в глубине моего сердца! — в супруги я избрала бы не вас, а г-на Вольмара.

Пожалуй, следует для вашего полного исцеления исповедаться вам во всем. Господин де Вольмар старше меня. Если, в наказание за все мои грехи, небо лишило бы меня дорогого супруга, которого я столь мало достоїна, то я заранее твердо решила не выходить за другого. Ему не посчастливилось встретить целомудренную девушку, так пусть же, по крайней мере, он оставит целомудренную вдову. Вы хорошо меня знаете: от этих слов я не отрекусь.

Пусть мой рассказ рассеет ваши сомнения и к тому же поможет убедить вас, что мне должно во всем исповедаться мужу. Он так умен, что не покарает меня после этого унизительного шага, к которому вынуждает меня раскаяние, и я так же не собна пускать в ход уловки тех дам, о коих вы рассказывали, как он — не способен подозревать меня в этом. Касательно довода, который вы приводите, стараясь доказать, что в исповеди нет необходимости, то это, без сомнения, софизм, ибо хотя до брака и не имеешь никаких обязательств перед будущим супругом, но это не означает, что, выїдя замуж, ты вправе прикидываться не тем, кем являешься на самом деле. Поняла я это еще до замужества,— клятва, которую вынудил у меня отец, помешала мне исполнить свой долг, и я стала еще грешнее, ибо, давая ложную клятву, свершаешь первое преступление, а умалчивая о неї,— второе. Но мое сердце не смело себе признаться еще в одной причине, усугубившей мое прегрешение. Хвала небу, ее уже нет.

Есть более справедливое и веское соображение — относительно опасности понапрасну нарушить покой порядочного человека, все счастье для которого проистекает из уважения к супруге. Разумеется, уже не в его воле разорвать узы, соединяющие нас, и не в моей воле стать более достойной их, изменив свое прошлое. Итак, я своим нескромным признанием могу лишь огорчить его, так что искренность моя окажет услугу только мне, избавив мое сердце от роковой тайны, которая тяготит

меня несказанно. Знаю, открыв ее мужу, я обрету больше покоя, но муж, быть может, его утратит,— и плохо бы я загладила свои ошибки, если бы думала только о себе.

Как мне разрешить свои сомнения? Пока само небо не укажет, как мне поступить, я последую вашему дружескому совету — буду молчать, не скажу мужу о своих грехах, но постараюсь искупить их своим поведением и, быть может, в один прекрасный день заслужу его прощение.

Необходимо, чтобы все пошло на новый лад, а ради этого нам придется прекратить всякое общение, и я думаю, друг мой, вы это одобрите. Если б г-н Вольмар услышал мою исповедь, он бы мог судить о том, до какого предела позволительно чувство дружбы, связывающей нас, и ее безобидные свидетельства; но я не смею обратиться к нему за советом, а я слишком хорошо узнала, себе на беду, как далеко могут завести нас привычки, якобы самые извинительные. Пора взяться за ум. Сердце мое в безопасности, но я больше не хочу полагаться на свой собственный суд и, став замужней женщиной, выказывать самонадеянность, погубившую меня в девичестве. Пишу вам в последний раз. Заклинаю — больше не пишите и вы. Но я никогда не перестану относиться к вам с нежным участием, и чувство мое к вам чисто, как солнечный свет, что озаряет меня,— поэтому мне будет так отрадно иногда получать о вас весточки, знать, что вы достигли заслуженного счастья. Время от времени, когда в жизни вашей будет происходить что-либо значительное, вы можете писать госпоже д'Орб. Надеюсь, в ваших письмах всегда будет отражаться ваша благородная душа. Впрочем, добродетельная и благоразумная кузина, конечно, не станет передавать мне то, о чем мне не подобает знать, и прекратит переписку, если вы способны злоупотребить нашим доверием.

Прощайте, дорогой, любезный друг. Если бы я думала, что богатство даст вам счастье, я сказала бы: «Стремитесь к богатству». Но вы, пожалуй, делаете правильно, пренебрегая им, ибо обладаете такими сокровищами, что обойдетесь и без него. И я предпочитаю сказать вам: «Стремитесь к тихому счастью, ибо в нем богатство мудреца». Мы всегда понимали, что счастье не бывает без добродетели, но «добродетель» — слово слишком отвлеченное, так берегитесь — пусть оно будет не так звонко, зато надежно, пусть служит нам не для того, чтобы мы щеголяли им и поражали других, а чтобы испытывали самоудовлетворение. Я содрогаюсь при мысли о том, сколько людей, замышлявших прелюбодеяние, осмеливались говорить о добродетели. Да знаете ли вы, что́ означало для нас столь чтимое и столь осквернен-

ное слово в ту пору, когда нас соединили греховные узы? Исступленная страсть, испепелявшая нас обоих, скрывала свои порывы под видом священного восторга, чтобы мы еще более дорожили ими, чтобы подольше обманывать нас. Смею надеяться, мы с вами созданы, чтобы следовать стезею истинной добродетели и почитать ее, но мы заблудились в поисках ее и следовали за призраком. Пора покончить с самообманом, пора очнуться от слишком долгого заблуждения. Друг мой, вам не трудно возвратиться к добродетели: ваш кормчий у вас в душе, быть может, вы пренебрегли им, но никогда его не отталкивали. У вас цельная душа, она льнет ко всему благому, а если иной раз оно и ускользнет от нее — значит, она не напрягла всех своих сил, дабы его удержать. Вникните в глубь своей совести,— может быть, вы обнаружите в себе забытую нравственную идею, которая отныне будет лучше управлять вашими поступками, надежнее согласует их между собою во имя единой цели. Поверьте, не довольно того, чтобы добродетель служила основанием вашего поведения, ежели вы не воздвигнете это основание на непоколебимых устоях. Вспомните — по индийскому поверью, весь мир держится на огромном слоне, а слон на черепахе; спросите индийцев, на чем держится черепаха, и они не ответят.

Умоляю вас, прислушайтесь к словам друга и изберите более надежный путь к счастью, нежели тот, по которому мы так долго блуждали. Непрестанно буду молить небо, чтобы оно ниспослало вам и мне чистое это блаженство, и возрадуюсь лишь тогда, когда мы оба его обретем. Ах, если сердца наши вспомнят, помимо нашей воли, о заблуждениях нашей юности, сделаем, по крайней мере, так, чтобы отзвуки былого позволили нам сказать словами героя древности: «Увы, мы бы погибли, если б уже не погибли ранее».

На этом кончаются поучения проповедницы; отныне мне придется немало поучать самое себя. Прощайте, любезный друг, прощайте навсегда,— так велит непреклонный долг; но знайте,— сердце Юлии не забудет того, кто был ей дорог... Боже, что со мною?.. Вы все поймете, увидев эту страницу. Ах, ужели не дозволено растрогаться, когда говоришь своему другу последнее прости?

## ПИСЬМО XXI

*К милорду Эдуарду*

Да, конечно, милорд, я изнемогаю душой от бремени жизни, она уже давно мне в тягость. Я утратил все, что придавало ей цену, мне в удел осталась лишь тоска. Но говорят, будто мне

не дозволено распоряжаться своей жизнью без согласия того, кто ее даровал. Более чем на треть она ваша: благодаря вашим заботам она была дважды спасена, благодаря вашим благодеяниям она мне непрестанно сохраняется. Я до той поры не распоряжусь ею, пока не уверюсь, что тут нет греха, и пока буду питать хоть каплю надежды, что мне удастся отдать ее за вас.

Вы говорили, что я был вам нужен,— зачем вы меня обманываете? С тех пор как мы в Лондоне, вы и не думаете заниматься своими делами, а все занимаетесь мною. Сколько я доставляю вам лишних хлопот! Милорд, вы-то ведь знаете, что все грешное я ненавижу более жизни; я чту предвечного. Всем обязан я вам, я люблю вас; только из-за вас я остаюсь на земле — дружба и долг могут приковать к ней несчастливца, но всякими предлогами да софизмами его не удержать. Просветите мой разум, троньте речью своей мое сердце; я готов выслушать вас; но помните, что отчаяние не обмануть.

Вам угодно все это обсудить — что ж, обсудим. Вам угодно, чтобы обсуждение соответствовало важности вопроса, о котором идет речь,— согласен. Поищем истину мирно, спокойно; разберем все обстоятельства, как будто дело касается человека стороннего. Робек восхвалял добровольную смерть, прежде чем лишил себя жизни. Не собираюсь по его примеру писать книгу,— кстати, его книга мне не очень-то нравится; но я постараюсь с таким же хладнокровием вести наш спор.

Долго я размышлял над этим столь важным вопросом,— вам это известно, ибо вам известна моя участь,— а я все еще живу. И чем больше я раздумываю, тем больше прихожу к убеждению, что вопрос сводится к следующему: искать себе блага и бежать от зла любым способом, лишь бы ничем не вредить ближнему,— это право, данное нам природой. Когда жизнь для нас лишь одно зло и никому не приносит блага, от нее дозволено освободиться. По-моему, нет на свете правила яснее и непреложнее, и если уж и его окончательно отвергать, то любое человеческое деяние можно счесть преступным.

Что по этому поводу говорят софисты? Прежде всего они считают, что жизнь нам не принадлежит, ибо она дана нам; но именно потому, что она нам дана, она и принадлежит нам. Господь бог дал людям по две руки, однако тот, кто опасается антонова огня, готов лишиться руки, а если надобно, то и обеих. Сравнение, безусловно, справедливое для тех, кто верит в бессмертие души; ведь я жертвую своей рукой, дабы сохранить нечто более драгоценное, то есть свое тело, я жертвую и телом, дабы сохранить нечто еще более драгоценное, то есть душевное

благополучие. Если все дары, коими наградило нас небо, действительно являются для нас благом, то все же природа их слишком часто меняется, поэтому вдобавок небо и даровало нам разум, дабы мы научились распознавать их. Если б закон этот не давал нам права выбирать одно и отвергать другое, то к чему он людям?

Своим весьма малоосновательным возражением софисты вертят на тысячу ладов. Они считают жителя земли солдатом в карауле. «Господь бог,— говорят они,— повелел тебе жить на этом свете, как же ты уходишь без его соизволения?» Но тебе-то самому он повелел жить в твоем родном городе, как же ты уезжаешь без его соизволения? Разве нет его соизволения на то, чтобы бежать от несчастья? По его воле я пребываю в телесной оболочке, пребываю на земле, но я должен пребывать там лишь до тех пор, покуда мне хорошо, и бросить все, как только жить мне станет плохо. Вот он — глас природы и глас божий. Надобно ждать повеления, согласен. Но когда я кончаю жизнь естественною смертью, бог не повелевает мне покинуть жизнь, а отнимает ее. Делая ее для меня несносной, он тем самым повелевает ее покинуть. В первом случае я изо всех сил сопротивляюсь; во втором готов повиноваться.

Понимаете ли вы, как несправедливы иные люди, считающие, что самоубийство — это бунт против провидения, желание уклониться от его законов? Если ты кончаешь с жизнью, то это отнюдь не означает, что ты от них уклоняешься,— ты их выполняешь. Как! Разве бог властен только над моим телом? Не найти во вселенной места, где бы любое существо не было под его дланью! Да разве он не будет воздействовать на меня более непосредственно, когда душа моя, освобожденная от скверны, станет более целостной и скорее ему уподобится? Нет, его правосудие и благость — моя единственная надежда, и если б я думал, что смерть уведет меня из-под его власти, я бы не хотел умирать.

Вот он, один из софизмов «Федона»,— впрочем, изобилующего высокими истинами. «Если бы раб твой умертвил себя,— говорит Сократ Кебету,— ужели ты не наказал бы его, будь это возможно, за то, что он несправедливо лишил тебя твоего добра!» Добродетельный Сократ, что ты говоришь? Да разве после смерти не принадлежишь богу? Нет, все обстоит совсем иначе,— следовало бы сказать так: «Ежели ты обременишь раба своего одеждой, мешающей ему трудиться тебе же на благо, разве ты накажешь его за то, что он сбросил одежду и стал работать еще лучше?» Величайшая ошибка — придавать слишком большое значение жизни, как будто наше бытие от нее зависит,

как будто после смерти ты — ничто. Жизнь наша — ничто в глазах бога, она — ничто в глазах разума, ей должно быть ничем и в наших глазах. И, оставляя свое тело, мы просто-напросто сбрасываем неудобное одеяние. Стоит ли из-за этого поднимать такой шум? Право, милорд, все эти высокопарные болтуны неискренни; мысли их нелепы и жестоки, они видят тяжкую вину во мнимом грехе, как если бы со смертью самоубийцы прекращалось его существование, а в то же время пророчат ему кару, как если бы он существовал вечно.

Что же касается «Федона», ссылки на которого служат им единственным, на первый взгляд, веским аргументом, то этот вопрос рассматривается в нем поверхностно и как бы мимоходом. Сократу, который по приговору неправого суда через несколько часов должен был умереть, не было нужды подробно обсуждать, дозволено ли ему располагать своей жизнью. Предположим, он и в самом деле произнес те речи, которые ему приписывает Платон, но поверьте, милорд, он лучше обдумал бы их в том случае, если б ему пришлось воплотить их в жизнь. В этом бессмертном творении ничто как следует не опровергает права располагать собственной жизнью, и лучшее этому доказательство то, что Катон прочел его дважды с начала до конца в ту самую ночь, когда покинул землю.

Те же софисты вопрошают, может ли жизнь быть злом? Когда раздумываешь о целом скопище заблуждений, мук и пороков, которыми она полнится, испытываешь гораздо большее искушение спросить: да бывала ли она когда-нибудь благом? Преступные силы беспрерывно осаждают и самого добродетельного человека; в каждое мгновение своей жизни он может стать жертвою зла или сам стать злодеем. Бороться и терпеть — вот удел его в этой жизни; творить зло и терпеть — вот удел человека непорядочного. Во всем они чужды друг другу, и общее у них лишь одно — жизненные невзгоды. Если вам надобны ссылки на людей уважаемых и на случаи из жизни, я приведу в пример речения оракулов, ответы мудрецов, поступки людей добродетельных, получивших в воздаяние смерть. Оставим все это, милорд; беседуя с вами, я спрашиваю вас — каково, по вашему мнению, главнейшее занятие мудреца на земле? Цель его, так сказать, сосредоточиться в глубинах своей души и стать живым мертвецом. Разум пришел к единственному выходу, дабы избавить нас от бедствий, присущих жизни человеческой,— это отвлечься от земной суеты и всего преходящего в нас самих, уйти в себя, вознестись душою, предавшись возвышенному созерцанию. И если наши невзгоды порождены

страстями и заблуждениями, то как мы должны жаждать избавления и от того и от другого! Что же делают люди чувственные, которые множат свои муки, бесстыдно предавшись любострастию! Они, так сказать, превращают в ничто свое существование, принижая его к земле; отягчают свои цепи, заведя множество привязанностей; наслаждения уготовают им тысячи горьких лишений; чем сильнее они чувствуют, тем больше страдают, чем больше они углубляются в жизнь, тем они несчастнее.

Ну, а вообще пусть, если угодно, человек считает за благо жалкое пресмыкание на земле. Я не утверждаю, что весь род человеческий с общего согласия должен принести себя в жертву и превратить мир в общую могилу. Есть,— да, есть на свете несчастливцы, коим присуще нечто особенное, не позволяющее им следовать по общему пути; безнадежная печаль да горькие страдания свидетельствуют об особых правах, данных им самой природой, и поверить в то, что жизнь для них благо, с их стороны так же безрассудно, как софисту Посидонию безрассудно было отрицать, что подагра, мучившая его,— зло. Пока нам живется хорошо, мы жаждем жить, и только величайшие страдания побеждают в нас любовь к жизни; ибо все мы наделены от природы сильнейшим страхом смерти, и этот страх скрывает от наших взоров все убожество человеческого существования. Долго влачит человек тяжкую и скорбную жизнь, прежде чем решится ее покинуть; но стоит отвращению к жизни преодолеть страх смерти, как жизнь для него становится явным злом; таким образом, хотя никто не может с точностью определить, когда именно она перестает быть благом, все, по крайней мере, достоверно знают, что она бывает злом задолго до того, как это обнаружится, и для каждого здравомыслящего человека право отказаться от жизни возникает гораздо раньше, чем желание осуществить его.

Но это не все. Софисты отрицают, что жизнь может стать злом, дабы отнять у нас право от нее избавиться, а затем говорят, что жизнь — зло, дабы укорить нас за то, что мы не можем ее вынести. По их мнению, уклоняться от невзгод и мучений — малодушие и якобы только трусы предают себя смерти. О Рим, покоритель мира,— значит, целая рать трусов завоевала тебе владычество! В их числе и Аррия, и Эпонина, и Лукреция,— правда, они женщины. Но ведь были и Брут, и Кассий, и ты, разделивший с богами дань уважения всего восхищенного мира,— великий, божественный Катон, ты, чей возвышенный и достойный почитания образ воодушевлял римлян, наполняя их священной отвагой, и внушал трепет тиранам! Гордые твои

почитатели не предвидели, что придет день, и в пыльной каморке захолустного коллежа гнусные витии станут доказывать, что ты был всего лишь трусом — за то, что ты отказался признать превосходство удачливого греха над добродетелью в оковах. Как прекрасны нынешние писатели в своем могуществе и величии, как они неустрашимы с пером в руке! Скажите-ка, храбрый, доблестный герой, отважно бегущий сражения, дабы подольше выносить бремя жизни, почему, выводя рукою столь красноречивые фразы, вы стремительно ее отдергиваете, если на нее попадает горящий уголек? Вот как — боитесь, что не вытерпите боли от ожога? Ничто, скажете вы, не принуждает меня сносить боль от ожога. А меня кто принуждает сносить бремя жизни? Или зарождение человека стоило провидению больше, нежели зарождение былинки? И разве они не в одинаковой степени его создания?

Конечно, требуется мужество, чтобы стойко терпеть неизбежные муки, но один лишь безумец добровольно терпит их, когда может от них избавиться, никому не причинив зла. И часто величайшее зло заключено в том, что без нужды его переносишь. И тот, кто не может освободить себя от мучительной жизни и умереть, подобен тому, кто предпочитает, чтобы рана загноилась, только бы не ложиться под спасительный нож врача. Явись же, достопочтенный Паризо [1], отними мне ту ногу, из-за которой я гибну,— я стерплю это, не дрогнув, и пусть назовет меня трусом тот храбрец, который предпочитает сгноить ногу, но не находит в себе мужества прибегнуть к той же операции. Согласен, обязательства по отношению к ближнему не позволяют тебе располагать собою, но зато сколько обязательств тебя к этому принуждает! Пусть судья, охраняющий благо отечества, пусть отец семейства, кормилец своих детей, пусть несостоятельный должник, не желающий разорить своих заимодавцев,— пусть все они живут во имя долга, что бы ни случилось; пусть из-за тысячи других уз, гражданских и семейных, человек несчастливый и порядочный сносит все беды жизни, дабы избежать еще большей беды,— несправедливого деяния; но разве позволительно при совсем иных обстоятельствах сохранять жизнь свою, уподобляясь толпе неудачников,— жизнь, которая надобна только тому, кто не осмеливается умереть? «Убей меня,— говорит дряхлый дикарь сыну, который несет его,

---

[1] Врач из Лиона — достойный человек, хороший гражданин, нежный и великодушный друг, остающийся без внимания, но не забытый теми, кому выпала честь пользоваться его благодеяниями.

сгибаясь под тяжестью,— вон там наши враги, ступай; сражайся плечо к плечу со своими братьями, спасай детей своих, но не отдавай отца живым в руки тех, чьих родичей он пожрал». Голод, лишения, нищета — эти враги домашнего очага, еще более страшные, чем дикари, заставляют жалкого калеку, не способного подняться с постели, съедать хлеб, который семья с трудом добыла для себя,— почему же он, ничем не привязанный к жизни, в одиночестве влачащий свое земное существование, никому не приносящий пользы, не может совершить добрый поступок, почему, по крайней мере, он не имеет права оставить временное свое обиталище, где он всем досаждает своими стонами и мучится понапрасну?

Взвесьте все эти соображения, милорд, обобщите все эти доводы — и вы поймете, что они сводятся к простейшему из всех прав, данных природой, в коих человек здравомыслящий никогда и не сомневался. В самом деле, почему нам дозволено излечиваться от подагры и нельзя излечиться от жизни? Ведь и то и другое дается нам одною рукой. Умирать тяжело, но и лечиться тоже. Кому приятно пить всякие снадобья! Множество людей предпочитает смерть врачеванию! Вот оно, доказательство, что природе претит и то и другое. Пускай мне докажут, что избавлять себя от преходящей болезни с помощью лекарства позволительнее, чем от неисцелимой болезни — с помощью самоубийства, и почему тот, кто принимает хину от лихорадки, не так грешен, как тот, кто из-за камней в почках выпивает опий? Если говорить о цели, так и то и другое избавляет нас от дурного самочувствия. Если говорить о средствах — так и то и другое в равной степени естественно; если говорить об отвращении к ним — так оно одинаково и в том и в другом случае; если говорить о воле господа бога, так любая болезнь, с которой мы боремся, ниспослана им. Любое страдание, от коего мы хотим избавиться, исходит от него. Где же кончается его власть и когда можно законно сопротивляться ему? Значит, нам не дозволено изменять что бы то ни было, раз все сущее возникло по его замыслу! Значит, в этом мире ничего нельзя делать из страха нарушить его законы,— но ведь что бы мы ни делали, нам не удастся их нарушить! Нет, милорд, призвание человека значительнее и благороднее. Господь бог не для того дал ему душу, чтобы он был бездеятелен, вечно безучастен ко всему окружающему. Бог даровал ему свободу, чтобы он делал добро, совесть, чтобы стремился к добру, и рассудок, чтобы распознавал добро. Бог поставил его самого единым судьей собственных действий. Вот что он начертал в сердце его: «Свершай то, что

тебе на благо и никому не во вред». Ведь если мне лучше умереть, я противлюсь его велению, упорствуя и оставаясь жить, ибо, внушая мне желание смерти, он повелевает мне ее искать.

Бомстон, взываю к вашей мудрости и искренности. Да какие еще правила, более неопровержимые, может разум извлечь из религии, когда речь идет о самоубийстве? Христиане установили противоположные правила, потому что они извлекли их не из принципов веры, не из единственного свода ее повелений — Священного писания, а почерпнули всего лишь у языческих философов. Лактанций и Августин, первые распространители этого нового учения, о котором ни Иисус Христос, ни его апостолы не обмолвились ни словом, основывались только на рассуждениях в «Федоне», которые я уже опроверг, и, таким образом, верующие, воображая, что подчиняются авторитету Евангелия, на самом деле подчиняются лишь авторитету Платона. И действительно, во всей Библии не найти запрета самоубийства или даже просто его осуждения. И не странно ли, что в притчах о людях, добровольно предавших себя смерти, нет ни слова порицания? Более того, соизволение на самоубийство Самсона подтверждается чудом, принесшим кару его врагам. Так ужели чудо содеяно лишь для того, чтобы оправдать преступление? И ужели этот человек, обольщенный женщиной и утративший силы, вновь обрел их, чтобы свершить подлинное злодеяние,— как будто господь бог пожелал обмануть людей!

«Не убий»,— гласит заповедь. Что же отсюда следует? Если понимать это повеление буквально, то нельзя убивать ни злодеев, ни врагов,— значит, Моисей, погубивший столько народа, плохо понял свой же собственный закон. Если же есть исключения, то в первую очередь — в пользу самоубийства, ибо оно свободно от насилия и несправедливости, двух условий, делающих человекоубийство преступным, и сама природа ему достаточно противодействует.

Но вот что еще говорят софисты: «Терпеливо сносите беды, ниспосланные богом, и вам воздастся за муки ваши». Так применять христианское учение — значит плохо понимать его дух. Человек терпит несметные муки, жизнь его — переплетение невзгод, и кажется, будто рожден он лишь для одних страданий. Разум требует, чтобы человек избегал страданий, которых может избежать, и религия, никогда не противоречащая разуму, это одобряет. Но у человека гораздо больше таких страданий, которые волей-неволей приходится сносить. Милосердный бог позволяет людям ставить себе в заслугу именно эти страдания, как добровольную жертву принимая дань, к коей он нас при-

нуждает,— и безропотное смирение в этой жизни засчитывается в жизни будущей. Истинному наказанию подвергает человека природа, заставляя его сносить все, что ему так трудно сносить; в этом отношении он выполняет все повеления господа бога, но тот, кто из тщеславия берет на себя еще более тяжкое бремя,— безумец, которого следует посадить под замок, или плут, которого следует наказать. Так будем же со спокойной совестью избегать тех страданий, каких можем избежать,— ведь и так их остается слишком много. Избавимся же, без всяких нравственных сомнений, даже от жизни, как только она станет для нас злом, раз это зависит от нас, и, право, мы этим не оскорбим ни бога, ни людей. И если всевышнему нужна жертва, то разве не превыше всего — умереть? Воздадим жертву богу своею смертью, к которой он нас призывает голосом разума, с миром вернем в лоно божье свою душу, которую он вновь требует к себе.

Вот в общих чертах те указания, которые диктует всем людям здравый смысл и поддерживает религия[1]. Поговорим о себе. Вы изволили открыть мне свою душу. Я знаю о всех ваших невзгодах. Страдаете вы не меньше меня. Ваше горе, так же как и мое, неисцелимо, тем более неисцелимо, что законы чести более незыблемы, чем законы общественного неравенства. Признаю, вы переносите его с твердостью. Вас поддерживает добродетель; но еще шаг, и она вас оставит. Вы призываете меня к терпению, а я, милорд, призываю вас покончить со страданиями; судите же сами, кто из нас дороже друг другу.

Надобно решиться на то, что все равно неизбежно,— к чему мешкать? Ждать, пока старость и годы не разовьют в нас низменную привязанность к жизни, уже лишенной всей своей прелести, и мы с трудом, позором и муками будем влачить свое

---

[1] Странное письмо для того, кто принял подобное решение! Можно ли так спокойно рассуждать о таком вопросе, когда рассматриваешь его применительно к себе? Или письмо подделано, или автору хочется, чтобы его опровергли. Вызывает сомнение пример Робека, который он приводит, как якобы подтверждающий его мысли. Робек был так убежден в своей правоте, что ему достало терпения написать книгу — толстую, длинную, увесистую, холодную книгу; и когда он решил, что право на самоубийство им доказано, он покончил с собой так же хладнокровно. Примем во внимание предрассудки, свойственные эпохе и нации. Когда кончать жизнь самоубийством не модно, считается, что кончают самоубийством одни безумцы; проявление смелости для слабых душ кажется химерой,— всякий судит о других только по себе. Однако сколько у нас есть примеров тому, что люди мудрые во всех отношениях, не терзаемые угрызениями совести, гневом, отчаянием, отказываются от жизни только потому, что она им в тягость, и умирают с бóльшим спокойствием, чем жили.

немощное, одряхлевшее тело? В наши годы душевные силы с легкостью освобождают нас от жизненных пут, и человек еще готов умереть; позднее он стенает, расставаясь с жизнью. Воспользуемся же тою порой, когда нам так опостылела жизнь, что смерть стала желанной; надо страшиться, чтобы она не пришла, вызывая в нас ужас, в тот миг, когда мы не захотим умирать. Однажды я молил небо даровать мне один только час жизни, и я бы умер в отчаянии, если б мне было отказано. Ах, сколь тягостно разрывать узы, соединяющие сердца наши с землею, но сколь благоразумно покинуть ее, как только они разорваны. Право, оба мы, милорд, достойны более чистой обители; добродетель указует нам ее, и судьба призывает нас к ней устремиться. Пускай дружба соединяет нас и в наш смертный час. О, какое блаженство для двух истинных друзей добровольно покончить дни свои в объятиях друг друга, когда с последним дыханием, слившимся воедино, одновременно отлетят обе половины их единой души! Ни печали, ни сожалению не отравить их последний миг! Что оставляют они, уходя из жизни! Они уходят вместе,— им оставлять нечего.

## ПИСЬМО XXII

*Ответ*

Юнец! Слепое исступление вводит тебя в обман! Будь скромнее,— испрашивая совета, сам советов не давай. Мне довелось испытать иные беды. Я тверд духом; я — англичанин. Я в силах умереть, ибо в силах жить и страдать, как подобает мужчине. Смерть я видел рядом с собою и взираю на нее равнодушно, поэтому и не ищу ее. Но поговорим о тебе.

Ты действительно был мне нужен. Моя душа нуждалась в твоей. Твои заботы были бы мне полезны. Твой разум мог бы меня поддержать верными советами в самые важные минуты моей жизни. Но кто, скажи, виноват, что я не прибег к нему? Где он? Что с ним сталось? На что ты способен? Куда ты годишься, дойдя до такого состояния? Как могу я рассчитывать на твои услуги? Из-за своей безумной скорби ты потерял рассудок, стал жесток. Да, ты не человек, а ничтожество; и если б я не знал, каким ты можешь быть, то, видя тебя сейчас, я решил бы, что ты самое низкое существо на свете.

Лучшее доказательство этому твое письмо. Прежде я находил в тебе и ум и правдивость. Ты был прямодушным, справедливым, и полюбил я тебя не только по душевной склонно-

сти,— я отличил тебя, я черпал мудрость в беседах с тобою. Что же я нахожу ныне во всех твоих рассуждениях,— в этом письме, которым ты, кажется, очень доволен? Жалкое и тягучее суесловие, заблуждения рассудка, говорящие о заблуждениях сердца,— горячечный бред, на который я и отвечать бы не стал, если б он не вызвал у меня жалости.

Дабы сразу опровергнуть все это, спрошу тебя об одном. Ведь ты веришь в существование бога, бессмертие души, свободу человека и не думаешь, конечно, что разумное существо получает телесную оболочку и место на земле случайно, ради того только, чтобы жить, страдать и умереть. А быть может, в жизни человеческой осуществляется некий смысл, некая цель, некая нравственная задача? Прошу тебя дать мне на это ясный ответ; а засим мы разберем твое письмо слово за словом, и тебе станет стыдно, что ты его написал.

Но оставим общие положения, вокруг коих бывает много шума, хотя никто им не следует; им всегда сопутствуют какие-то особые условия, так все изменяющие, что никто не считает для себя обязательным правило, соблюдать которое он предписывает другим. И хорошо известно, что человек, измышляющий какие-то общие положения, воображает, будто все обязаны выполнять их, кроме него. Еще раз поговорим о тебе.

Стало быть, по твоему мнению, тебе дозволено покончить с жизнью? Доказательства у тебя довольно странные: ты просто хочешь умереть. Вот уж поистине довод, удобный для злодеев! Они будут тебе весьма обязаны за оружие, коим ты их снабжаешь,— отныне любое злодейство они будут оправдывать тем, что не совладали с искушением, и когда неистовая страсть возьмет верх над страхом перед преступлением, то и желание причинять зло они тоже найдут справедливым.

Стало быть, тебе дозволено покончить с жизнью! Хотелось бы мне знать — начал ли ты жить? Как! Ужели ты существуешь ради того, чтобы бездельничать? Ужели небо не возложило на тебя вместе с жизнью и дело, которое ты обязан выполнить! Если ты окончил дневные свои труды до наступления вечера, ступай на отдых, это дозволено. Но в чем твои труды? Какой ответ ты дашь всевышнему судье, когда он потребует отчета в том, как ты употребил свое время? Что, скажи, ты ему ответишь? «Я обольстил порядочную девицу, я бросаю друга в горе». Жалкий человек! Найди-ка праведника, который похвалился бы тем, что он достаточно прожил,— я бы поучился у него, как нужно прожить жизнь, дабы заслужить право оставить ее.

Ты перечисляешь бедствия человеческие. Тебе не стыдно

ссылаться на прописные истины, которыми нам прожужжали уши, и ты говоришь: «Жизнь есть зло». Но оглянись, вникни в порядок вещей, и, быть может, ты найдешь добро без примеси зла. Да можно ли говорить, что во вселенной добра не существует? И как ты можешь смешивать то, что является злом по своей природе, с тем, что становится злом только случайно? Ты сам говорил, что косная жизнь человека — ничто, что она имеет отношение только к его телу, от которого он скоро будет освобожден; но деятельная, духовная жизнь, которая должна влиять на все его существо, состоит в упражнении его воли. Жизнь — зло для благоденствующего злодея и добро для несчастливого, но порядочного человека, ибо не преходящие явления, а связь с основной целью делает ее хорошей или плохой. Какое же горе заставляет тебя покончить с жизнью? Уж не думаешь ли ты своим притворно беспристрастным перечислением всех зол скрыть от меня, что тебе стыдно за себя самого? Послушай, не теряй сразу всех своих добродетелей,— сохрани, по крайней мере, чистосердечие и откровенно скажи своему другу: «Я потерял надежду развратить честную женщину, я принужден быть хорошим человеком, поэтому уж лучше я умру».

Тебе скучно жить — и ты говоришь: «Жизнь есть зло». Рано или поздно ты утешишься, тогда-то ты и скажешь: «Жизнь есть благо». Ты скажешь это, а ведь ничто не изменится, кроме самого тебя. Переменись же отныне, и если от дурного расположения духа все для тебя стало злом, преодолей смятение чувств и не сжигай дома своего только потому, что тебе не хочется приводить его в порядок.

«Я страдаю,— говоришь ты.— Не от меня ли зависит прекратить свои страдания?» Прежде всего, надобно по-иному ставить вопрос, ибо дело не в том, страдаешь ли ты, а в том — действительно ли жизнь для тебя зло. Но оставим это. Ты страдаешь, так постарайся не страдать более. Посмотрим, надобно ли для этого умирать.

Вдумайся хоть немного — ведь естественное развитие душевных недугов прямо противоположно развитию телесных, ибо душа и тело противоположны по своей природе. Вторые, со временем все более застарелые, все более вредоносные, разрушают в конце концов нашу бренную оболочку. Первые, напротив, будучи только внешними и преходящими изменениями бессмертного и единого существа, незаметно сглаживаются, и оно остается в своем первоначальном виде, который уже ничто не может изменить. Печаль, тоска, сожаления, отчаяние — это невзгоды преходящие, не укореняющиеся в душе; и опыт нас

учит, как обманчиво горькое чувство, под влиянием которого мы думаем, что наши беды вечны. Мало того,— я не считаю, что даже пороки, развращающие нас, более присущи нам, чем наши горести,— я не только думаю, что они погибают вместе с телом, но не сомневаюсь в том, что долгая жизнь могла бы исправить человека, и если б молодость тянулась несколько веков, мы бы убедились, что нет ничего лучше добродетели.

Как бы то ни было, но раз наши телесные недуги беспрерывно усугубляются, то жестокие боли, когда они неисцелимы, могут дать человеку право располагать собою; ибо, когда от невыносимых болей он лишается сил, то воля и разум бездейственны, болезнь неизлечима, он уже не человек, хотя еще не умер, и, лишив себя жизни, он только довершает разрушение бренной оболочки, которая ему еще в тягость, но уже покинута его душой.

Совсем иное происходит со страданиями души — как бы сильны они ни были, они всегда несут с собою и исцеление. Поистине, что делает всякую боль непереносимой? Ее длительность. Обычно хирургическое вмешательство мучительнее боли, от которой избавляет, но при недуге боль непрерывна, а при операциях преходяща, поэтому мы ее и предпочитаем. Зачем же прибегать к операции при тех страданиях, которые со временем сами угасают, меж тем как только длительность могла бы сделать их невыносимыми? Да разумно ли применять столь сильно действующее средство при болезнях, которые проходят сами по себе? Какое же из двух средств, избавляющих от страданий, предпочтет тот, кто обладает стойкостью и знает, как быстролетны годы,— смерть или исцеление временем? Потерпи, и ты исцелишься. Что тебе еще надобно?

«Ах, одна мысль, что мои мучения закончатся, усиливает мои муки». Пустой софизм скорби! Острое словцо, лишенное смысла, справедливости и, пожалуй, даже искренности. Какая нелепая причина для безнадежности — надежда, что придет конец несчастью [1]. Даже предположив, что можно испытывать такое странное чувство, кто не согласится обострить боль на один миг в уверенности, что ей придет конец,— так иссекают рану, дабы она затянулась! И если бы в муках было нечто отрадное и мы полюбили бы свои страдания, то, избавляясь от них

---

Нет, милорд, так со своими несчастьями не кончают — напротив, они становятся еще сильнее, ведь разрываешь последние узы, соединявшие нас со счастьем. Скорбя о том, что нам было дорого, ты все еще чувствуешь, что сама печаль тебя еще связывает с предметом твоей печали, и это не так ужасно, как знать, что порваны все связи.

благодаря самоубийству, разве мы не осуществили бы именно то, что нас страшит в будущем?

Подумай-ка об этом хорошенько, мой молодой друг. Что такое десять, двадцать, тридцать лет для существа бессмертного! Страдания и наслаждения промелькнут как тень. Жизнь проносится мгновенно. Сама по себе она ничто,— вся ценность ее в том, как мы ею пользуемся. Только содеянное нами добро непреходяще, и только благодаря ему жизнь наша чего-нибудь стоит.

Так не говори же, что жизнь для тебя зло, ведь от тебя одного зависит, чтобы она стала благом,—ну, а если твоя прошлая жизнь зло, так это лишний довод, чтобы ты продолжал жить. Так не говори больше, что тебе разрешено умереть: ибо это все равно что сказать, будто тебе дозволено не быть человеком, будто тебе дозволено восстать против своего создателя и изменить своему предназначению. Кстати, ты вдобавок ко всему утверждаешь, будто твоя смерть никому не принесет зла,— а подумал ли о том, что осмеливаешься это говорить своему другу!

Твоя смерть не принесет никому зла! Так значит ты готов умереть нам на горе — оно для тебя безразлично. Не говорю тебе о правах дружбы, которую ты презираешь! Но разве нет других прав, еще более драгоценных[1], ради коих ты обязан сохранить жизнь? Есть на свете одно существо, которое так тебя любит, что не переживет тебя,— ведь для счастья ее необходимо, чтоб ты был счастлив,— рассуди, ужели ты ей ничем не обязан? Ведь исполнение твоего мрачного замысла нарушит покой души, с таким трудом вернувшейся к первоначальной своей чистоте! Или ты не боишься разбередить едва зажившую рану, нанесенную ее нежному сердцу? Не боишься, что твоя гибель повлечет за собою другую, еще более жестокую гибель,— отнимет у жизни и добродетели самое достойное украшение? А если она и переживет тебя, ужели ты не страшишься возбудить в ее душе угрызения совести, более тягостные, чем все тяготы жизни! Неблагодарный друг, возлюбленный без сердца, ужели ты всегда будешь занят лишь собою? Ужели ты всегда будешь думать только о своих страданиях? Ужели для тебя ничего не значит счастье того, кто был тебе дорог, и ты не будешь жить ради той, которая хотела умереть вместе с тобою?

Ты говоришь об обязанностях должностного лица и отца семейства,— на тебя они не возложены, вот ты и почитаешь себя свободным. Ну, а общество, которое тебя охраняет, которому

---

[1] Права, которые дороже прав дружбы! И это говорит мудрец! Но этот мнимый мудрец был влюблен сам.

ты обязан своими талантами и образованием? А твое отечество, которому принадлежит твоя жизнь? А обездоленные, которые в тебе нуждаются? Да разве ты им ничем не обязан? Нечего сказать, прекрасно ты рассчитываешься! Среди обязанностей, перечисленных тобою, забыты только обязанности человека и гражданина. Что же сталось с добродетельным патриотом, который отказывался продать свою кровь иностранному государю, ибо считал себя вправе пролить ее только за свою родину, а ныне в отчаянии хочет лишить себя жизни вопреки прямому запрету законов. Законы, законы, молодой человек! Разве мудрец их презирает? Из уважения к ним невиновный Сократ не пожелал покинуть темницу. Ты же без колебания готов попрать их, чтобы недостойно покинуть жизнь, да еще спрашиваешь: «Какое зло я свершаю?»

Ты ссылаешься на примеры. Ты смеешь помнить римлян! Ты — и римляне! Ты дерзаешь произносить их достославные имена! Скажи, уж не умер ли Брут от безнадежной любви? Уж не вспорол ли себе чрево Катон ради любовницы? Малодушный, жалкий человек! Что общего между Катоном и тобою? Укажи мне, что роднит эту высокую душу с твоею! Умолкни же, дерзкий! Я страшусь оскорбить его имя, вставая на его защиту! Услышав это священное, величественное имя, всякий друг добродетели должен пасть ниц и в молчании почтить память величайшего из смертных.

Плохо же ты выбрал примеры, плохо судишь о римлянах, если воображаешь, будто они считали, что вправе лишать себя жизни, как только она станет им в тягость! Вспомни прекрасную пору республики,— вряд ли тебе удастся привести имя хотя бы одного добродетельного гражданина, избавившегося таким образом от своего долга, даже после самых тяжких испытаний. Разве посмел бы Регул, возвращаясь в Карфаген, покончить самоубийством, дабы избежать грозивших ему мучений? Чего бы только не дал Постумий, чтобы это средство было ему разрешено в Кавдинском ущелье! Какую силу духа проявил консул Варрон, пережив свое поражение и изумив этим даже сенат! По какой причине столько полководцев добровольно предались в руки врага, хотя бесчестие для них было ужасно, а умереть было так легко? Да потому, что они считали своим долгом отдать отчизне всю свою кровь, всю свою жизнь до последнего вздоха — ни стыд, ни позор не могли отвратить их от этого священного долга. Когда же законы были уничтожены и государство стало добычей тиранов, граждане вернули себе свободу и право быть господами своей жизни. Когда не стало Рима,

римляне получили право на самоубийство,— свой долг на земле они выполнили, отечества у них не было, они могли располагать собою и сами воспользоваться свободой, которую уже не в силах были возвратить своей стране. Посвятив жизнь служению умирающему Риму и борьбе за законы, они умерли, полные добродетели и величия, как жили, и смерть их была новой данью славе римлян,— никто из них не явил собою недостойного примера того, как истинный гражданин служит узурпатору.

Но что представляешь собою ты? Что свершил ты? Или ты хочешь оправдаться тем, что ты человек безвестный? Но скромная участь освобождает ли тебя от обязанностей и можешь ли ты не подчиняться законам своей родины только потому, что у тебя нет ни имени, ни положения! Да пристало ли тебе говорить о смерти, когда ты обязан посвятить жизнь своим ближним! Знай же, смерть, к которой ты стремишься, постыдна и малодушна. Ты ограбишь род человеческий. Прежде чем покинуть его, воздай ему за все, что он для тебя сделал. «Меня ничто не удерживает... я никому не нужен...» Философ на час! Да понимаешь ли ты, что тебе на каждом шагу найдется на земле дело,— каждый человек полезен человечеству, даже одним тем, что существует.

Безумный юноша, послушай,— ты любезен моему сердцу, и мне жаль, что ты так заблуждаешься. Если в глубине твоей души осталась хоть капля добродетели, явись ко мне, и я заставлю тебя полюбить жизнь. Всякий раз, когда ты почувствуешь искушение оставить ее, скажи себе: «Сделаю еще одно доброе дело, а потом умру». А затем отыщи какого-нибудь несчастливца и утешь его, отыщи какого-нибудь угнетенного и защити его. Приводи ко мне обездоленных, которые не смеют ко мне обратиться сами; без стеснения пользуйся моим кошельком и связями; щедро расточай мои богатства и этим обогащай меня. Если мысль эта удержит тебя ныне, она удержит тебя и завтра, и послезавтра, и во всю твою жизнь. А не удержит — что ж, умирай; значит, ты человек низкий.

## ПИСЬМО XXIII

*От милорда Эдуарда*

Любезный друг, сегодня мне не удастся заключить вас в свои объятия, как я надеялся,— еще дня на два я остаюсь в Кенсингтоне. Жизнь при дворе такова, что все суетятся без толку, все завалены делами, но ничто не доводится до конца. Дело,

из-за которого я нахожусь здесь уже целую неделю, можно было бы покончить за два часа, но ведь самое главное дело министров — всегда хранить деловой вид, и, без конца откладывая решение, они тратят гораздо больше времени, чем если бы они приняли его сразу. Явное мое недовольство не избавляет меня от всех этих отсрочек. А вы знаете, что жизнь при дворе меня тяготит; я совсем не переношу ее с тех пор, как мы с вами живем вместе,— во сто крат приятнее разделять вашу печаль, нежели скучать в кругу всей этой челяди, наводнившей здешние места.

Однако же как-то в беседе с этими вечно занятыми безделышками меня осенила мысль, касающаяся вас, и я только жду вашего согласия, чтобы распорядиться вашей судьбой. В борьбе со своими невзгодами вы страдаете одновременно и от горя, и от необходимости ему сопротивляться. Вы хотите жить и исцелиться не столь во имя чести и разума, сколь не желая огорчать своих друзей. Любезный друг, этого мало: надобно вновь полюбить жизнь, чтобы как следует выполнить свой долг,— если с таким безразличием относишься ко всему окружающему, никогда ничего не достигнешь. Как бы мы с вами ни старались, с помощью лишь одного разума вам не возвратить себе разум. Надобно, чтобы множество новых и ярких впечатлений хотя бы отчасти избавили вас от тяжкой мысли, сосредоточенной на одном лишь предмете и удручающей ваше сердце. Чтобы обрести себя, перестаньте в себя углубляться — только волнения деятельной жизни вернут вам покой.

Сейчас можно попытать это, ибо представился удачный случай и пренебрегать им не стоит,— речь идет об одном великом, прекрасном начинании, подобного коему уже много веков не знавал мир. В вашей воле стать его свидетелем и для него потрудиться. Перед вами предстанет самое величавое зрелище, какое только может поразить взор человеческий; ваша склонность к наблюдению найдет себе пищу. Вы будете выполнять почетные обязанности, и, при ваших талантах, от вас потребуется лишь смелость и крепкое здоровье. Служба опасная, но не стеснительная, и поэтому еще больше подходит вам. И, наконец, служить вам придется не очень долго. Ныне я не могу сказать вам ничего более, ибо этот замысел хотя и скоро начнет осуществляться, но еще держится в тайне, и раскрыть ее я не властен. Добавлю только, что такой благоприятный и редкостный случай вряд ли еще когда-либо представится, и если вы пренебрежете им, то, быть может, будете сожалеть об этом всю жизнь.

Я велел нарочному, с которым отправляю вам это письмо, разыскать вас во что бы то ни стало и не возвращаться без ответа. Медлить нельзя — я, в свою очередь, должен дать ответ до отъезда.

## ПИСЬМО XXIV

*Ответ*

Поступайте, милорд, как знаете; располагайте мною; отдаюсь на вашу волю. Я еще не заслужил права оказывать вам услуги, но, по крайней мере, я во всем подчиняюсь вам.

## ПИСЬМО XXV

*От милорда Эдуарда*

Вы одобряете мой замысел, поэтому, не теряя времени, сообщаю вам, что дело сделано, и сейчас объясню, о чем идет речь, ибо получил на это соизволение, поручившись за вас.

Вам известно, что в Плимуте недавно снаряжена эскадра из пяти военных кораблей,— она уже готовится поднять паруса. Командир ее, г-н Джордж Ансон, искусный и храбрый офицер,— мой старинный приятель. Эскадре предстоит плавание по Южному морю,— куда она войдет через пролив Лемера,— и обратный путь вдоль берегов Восточной Индии. Стало быть, речь идет не о чем ином, как о кругосветном путешествии,— очевидно, экспедиция продлится года три. Я бы мог зачислить вас волонтером, но дабы экипаж относился к вам с бóльшим почтением, я придумал вам звание, и вы внесены в список в чине инженера десантного отряда,— вам это тем более подобает, что и прежде вы хотели заняться инженерным делом, и мне известно, что вы обучались ему с юности.

Собираюсь завтра воротиться в Лондон [1],— представлю вас г-ну Ансону дня через два. А пока позаботьтесь о своем снаряжении, обзаведитесь приборами и книгами, ибо все уже готово к отплытию и ждут лишь приказа. Любезный друг, уповаю, что, с помощью господа бога, вы возвратитесь из долгого плавания здоровым и душою и телом и что мы тогда станем жить вместе, более никогда не разлучаясь.

---

[1] Мне это не совсем понятно. Ведь Кенсингтон находится в четверти лье от Лондона, и вельможи, приезжающие ко двору, там не ночуют,— однако, как видите, милорду Эдуарду пришлось провести там бог весть сколько дней.

## ПИСЬМО XXVI

*К г-же д'Орб*

Милая, обворожительная сестрица, я отправляюсь в кругосветное плаванне. Быть может, в другом полушарии найду я душевный покой, которого не обрел в этом. Безумец! Я буду скитаться по вселенной, но не найти мне такого обетованного края, где бы успокоилось мое сердце. Искать на свете пристанища, чтобы быть подальше от вас! Но надобно уважать волю друга, благодетеля, отца. На исцеление я не надеюсь, но должен к нему стремиться, ибо таково повеление Юлии и добродетели. Через три часа я отдамся на волю воли. Через три дня я потеряю из виду Европу, через три месяца буду плыть по неведомым морям, где царят вечные бури. Через три года, быть может... ужели мы более не увидимся,— как это ужасно! Увы, величайшая опасность затаена в глубине моего сердца. Что бы ни случилось со мною, судьба моя решена,— клянусь вам. Или я буду достоин встречи с вами, или вы меня более не увидите.

Милорд Эдуард будет у вас проездом, по пути в Рим,— он передаст вам это письмо и подробно расскажет о всех моих делах. Душу его вы знаете, и вам легко будет отгадать все то, о чем он умолчит. Знали вы и мою душу, судите же сами о том, о чем я умалчиваю. Ах, милорд! Вы-то их вновь увидите!

Так, значит, ваша подруга, как и вы, познала счастье материнства! Так, значит, она могла бы стать матерью и... Неумолимое небо!.. О матушка, зачем оно в гневе своем подарило тебе сына!

Пора кончать. Простите, прелестные подруги! Простите, бесподобные красавицы! Простите, чистые, небесные души! Простите, нежные неразлучные сестрицы,— самые лучшие женщины на свете. Каждая из вас — единственный предмет, достойный сердца другой. Заботьтесь о счастье друг друга! Прошу вас, вспоминайте подчас о неудачнике, который существовал лишь ради того, чтобы посвящать вам обеим все чувства своей души, и перестал жить, разлучившись с вами... Если когда-нибудь... Но вот подают сигнал, я слышу крики матросов. Ветер крепчает, раздувая паруса. Пора подниматься на борт, пора в путь. Море безбрежное, море бескрайнее, если ты не поглотишь меня, не скроешь в недрах своих, обрету ли я, плавая по волнам, тот покой, который бежит моего мятежного сердца?

*Конец третьей части*

## ПИСЬМО I

*От г-жи де Вольмар к г-же д'Орб*

Как долго ты не возвращаешься! Все эти приезды и отъезды совсем мне не нравятся. Сколько часов ты тратишь на то, чтобы добраться туда, где тебе всегда надлежит быть, и (что еще хуже!) сколько часов ты тратишь на то, чтоб удалиться от меня! А когда мы вместе, все удовольствие портит мысль, что мы свидимся на краткий срок. Ужель не чувствуешь ты, что встречаться поочередно то у тебя, то у меня,— это, в сущности, не встречаться нигде? Уж не придумала ли ты способа сделать так, чтобы нам пребывать у себя дома и в то же время находиться друг у друга?

Да что ж мы делаем, дорогая сестра! Сколько драгоценных минут теряем, а ведь нам уже нельзя расточать их! Лет нам становится все больше, улетает наша молодость, жизнь проходит; недолгое счастье, которое она может дать,— в наших руках, а мы им пренебрегаем, не хотим насладиться им. Помнишь ли дни девичества нашего, дни далекие и невозвратные, столь прелестные, столь сладостные, что сердцу трудно забыть их? Сколько раз, бывало, когда приходилось нам расставаться на несколько дней и даже на несколько часов, мы печально говорили, обнимая друг друга: «Ах, если бы мы могли располагать собою, мы больше бы никогда не разлучались». Ну вот теперь мы располагаем собою, а шесть месяцев в году проводим врозь. Как! Ужели мы теперь меньше любим друг друга? Дорогой и искренний друг мой, мы обе чувствуем, насколько время, привычка и твои благодеяния сделали нашу привязанность крепкой, нерасторжимой. С каждым днем разлука наша для меня

все нестерпимей, и я больше не могу ни одного мгновения жить без тебя. Дружба связывает нас все тесней, и, думается мне, это вполне естественно: основой ее служат и наше с тобой положение, и наши характеры. С возрастом все чувства становятся более сосредоточенными, каждый день приходится терять что-либо дорогое нам, и утрата остается незаменимой. Так душа наша умирает постепенно, до тех пор, пока человек уже любит лишь самого себя,— то есть перестает чувствовать и жить еще до того, как перестанет существовать. Но чувствительное сердце всеми силами защищается от этой преждевременной кончины, и когда холод смерти подкрадывается к нему, оно собирает вокруг себя все, что согревает его естество: чем больше у него утрат, тем сильнее любит оно тех, кто остался ему, и с последним предметом своей любви оно как бы соединено узами всех былых привязанностей.

Вот что, мне кажется, испытываю я сейчас, хотя молодость еще не покинула меня. Ах, дорогая, бедное мое сердце так горячо любило, что рано иссякли все его силы, и оно постарело до времени: столько разнообразных нежных чувств его поглощало, что в нем уже нет места для новых привязанностей. Ты видела меня дочерью, подругой, возлюбленной, супругой и матерью. Ты знаешь, сколь дороги мне все эти имена! Иные из этих уз оборвались, другие ослабели. Моей матери, милой моей матери уже нет в живых; я могу лишь оплакивать ее память и лишь наполовину вкушать сладкое чувство, вложенное в нас природой. Любовь угасла, угасла навсегда, и уже ничто не заменит ее в моем сердце. Мы потеряли твоего мужа, доброго и достойного человека; я любила его, как самое дорогое тебе существо, он вполне заслуживал твоей нежности и моей дружбы. Будь мои сыновья постарше, материнская любовь заполнила бы пустоту, возникшую взамен утраченных привязанностей, но материнская любовь так же, как и всякая иная, нуждается во взаимности, а какой взаимности ожидать матери от ребенка четырех-пяти лет? Дети дороги матери задолго до того, как они могут это чувствовать и, в свою очередь, любить ее. А ведь как велика у нас потребность сказать кому-нибудь, кто может понимать нас, как сильно мы их любим! Мой муж понимает меня, но у него, думается мне, недостает воображения, он не способен безумно любить детей, как я их люблю; его нежность к ним слишком рассудительна; мне хочется, чтобы чувство его было горячее и больше походило бы на мое чувство к детям. Мне нужна подруга, такая же сумасшедшая мать, как я сама. Словом, материнство сделало для меня дружбу еще более необходи-

мой,— ведь какое это удовольствие постоянно говорить с подругой о своих детях и знать, что не докучаешь ей! Право, мне вдвое приятнее ласкать маленького моего Марселина, когда я вижу, что и ты ласкаешь его. Когда я обнимаю твою дочку, мне кажется, что это тебя я прижимаю к своей груди. Сто раз мы с тобой говорили: если наши дети играют вместе, мы, две матери, единые сердцем, путаем трех этих малюток и уже не знаем, кому из нас какой принадлежит.

Это еще не все,— у меня есть очень важные основания желать, чтобы мы постоянно были вместе: ведь твое отсутствие по многим причинам — жестокое мученье для меня. Вспомни, как мало во мне скрытности, а меж тем уже шесть лет я непрестанно должна принуждать себя к сдержанности, ибо не смею открыться человеку, самому дорогому для меня на свете. Моя мерзкая тайна все больше печалит меня, но с каждым днем я все больше убеждаюсь, что должна молчать. Честность требует признаться, а благоразумие вынуждает хранить молчание. Можешь ты вообразить, как ужасно для женщины искренней не доверять, лгать, даже в объятиях супруга, не сметь открыть свое сердце тому, кто владеет им, скрывать половину своей жизни, чтобы обеспечить покой другой ее половины. Боже великий, от кого приходится мне таить самые заветные свои мысли, скрывать движения души, которые обрадовали бы его! Ведь муж мой достойнейший человек, небо могло бы послать его в супруги какой-нибудь целомудренной девушке в награду за ее добродетель. Я обманула его, и из-за того, что обманула один раз, вынуждена обманывать каждый день, постоянно чувствовать себя недостойной его благодеяний! Сердце мое не смеет принять никакого свидетельства его уважения ко мне, самые нежные его ласки вызывают у меня краску стыда, все знаки его почтительного внимания ко мне превращаются для моей совести в знаки бесчестия и презрения. Как тяжко постоянно говорить себе: «Это не меня, а другую, воображаемую Юлию он чтит. А если б он знал, какова я на самом деле, то обращался бы со мною иначе». Нет, я больше не могу выносить столь ужасное состояние! Лишь только я остаюсь наедине с этим благородным человеком, я готова упасть перед ним на колени, признаться ему в своей вине и умереть у ног его от горя и стыда.

Однако причины, с самого начала удерживавшие меня от признания, с каждым днем приобретают все больше силы, и каждое основание к тому, чтобы все сказать, становится основанием молчать. Видя тихую и мирную жизнь семейства моего, я с ужасом думаю, что одно-единственное слово может внести

в нее непоправимое смятение. Ужели после шести лет счастливого союза я нарушу душевный покой моего мужа, столь достойного и мудрого человека, у которого нет иных желаний, кроме желаний его счастливой супруги, нет большего удовольствия, как радоваться порядку, миру и покою, царящим в его доме? Ужели решусь я омрачить своими семейными тревогами старость отца моего, которого я вижу таким довольным, с умилением взирающим на счастье своей дочери и своего зятя, друга своего? Ужели я допущу, чтобы дорогие мои дети, такие хорошие, так много обещающие, вырастали в пренебрежении, воспитаны были кое-как, имели перед глазами дурной пример, став жертвами родительских раздоров, видя отца, пылающего справедливым негодованием, терзающегося ревностью, и жалкую преступную мать, постоянно обливающуюся слезами? Я знаю, каков господин Вольмар сейчас, когда он уважает свою жену, но разве я знаю, каков он будет, перестав ее уважать? Почем я знаю, не потому ли он сдержан, что страсть, господствующая в его характере, еще не развилась, не имея для того основания. Не будет ли он настолько же резок и вспыльчив, насколько теперь кроток и спокоен, когда ничто его не раздражает? Ежели я обязана позаботиться обо всех моих близких, то не должна ли я также подумать немного и о себе самой? Разве шесть лет честной, нравственной жизни нисколько не стирают заблуждения юности? И нужно ли мне еще подвергать себя наказанию за проступок, который я так долго оплакиваю? Признаюсь, сестра, я с отвращением обращаю взор на прошлое,— оно так унизительно, что я падаю духом: я слишком чувствительна к позору, при мысли о нем мной овладевает какое-то отчаяние. Прошло уже достаточно времени со дня моего замужества, и мне пора было бы успокоиться. Душевное состояние мое внушает мне веру в себя, только докучные воспоминания способны лишить меня этой веры. Как мне радостно лелеять в своем сердце благородные чувства, которые, думается мне, я вновь обрела. Положение супруги и матери возвышает душу и служит мне поддержкой, когда совесть упрекает меня за прошлое. Когда вокруг меня мои дети и отец их, мне кажется, что все в нашем доме дышит добродетелью, мне и на мысль не приходит былой мой грех. Чистота души моих близких служит мне опорой, они мне еще дороже, оттого что благодаря им я сделалась лучше; все, что оскорбляет правила порядочности, внушает мне ужас, и мне даже как-то не верится, что я могла когда-то забыть о них. Я сейчас так далека от той Юлии, какою я была, так уверена в той, какою стала. Еще немного, и я, пожалуй, готова

буду сказать, что признание, которое я могла бы сделать, касается не меня, а какой-то посторонней женщины, и я уже не обязана его делать.

Вот какие колебания и тревоги непрестанно томят и терзают меня в разлуке с тобою. Знаешь, что может случиться в один прекрасный день? Отец мой скоро уедет в Берн и намерен остаться там до тех пор, пока не решится в суде тяжба, которая идет уже так долго: он не хочет оставлять нам в наследство это бремя да, кажется, и не доверяет нашим способностям ревностно защищать в суде свои интересы. До его возвращения мы с мужем останемся в доме одни, и я чувствую, что мне почти невозможно будет сохранять свою роковую тайну,— признание невольно вырвется у меня. Когда у нас гостит кто-нибудь, господин Вольмар, как ты знаешь, зачастую удаляется от общества, так как любит побродить в одиночестве по окрестностям; он разговаривает с крестьянами, расспрашивает, как им живется; смотрит, в каком состоянии у них земля; в случае нужды помогает им деньгами и советами. Но когда у нас нет чужих, он ходит на прогулки только со мною, он не расстается с женой и с детьми и разделяет с ними их забавы с какой-то милой простотой; чувство мое к нему становится тогда еще нежнее, чем обычно. Это умиление опасно: ведь в такие минуты мне трудно таиться, тем более что он сам дает мне повод нарушить молчание, ибо много раз он вел весьма странные речи, словно побуждал меня довериться ему. Чувствую, что рано или поздно я открою перед ним свое сердце. Но ты хочешь, чтобы я сделала это в согласии с тобою и приняла все предосторожности, которых требует благоразумие,— так возвращайся поскорее и не расставайся со мною надолго, иначе я ни за что не отвечаю.

Милая моя подруга, пора кончать письмо, а между тем мне еще надо сказать тебе кое-что важное, и говорить об этом всего труднее. Ты мне необходима не только тогда, когда я бываю с детьми или с мужем,— больше всего ты нужна своей бедной Юлии, когда она остается одна: одиночество опасно для меня, потому что оно мне сладостно, и зачастую я безотчетно сама его ищу. И ты ведь знаешь — не потому я стремлюсь к уединению, что в сердце еще не зажила старая рана: нет, сердце мое исцелилось, я это знаю, вполне в этом уверена; я дерзаю считать себя добродетельной. Не настоящего я боюсь, а прошлого; прошлое меня мучит. Ведь иные воспоминания страшнее, чем чувства, которые владеют нами в настоящем; умиляешься, обратившись к пережитому, и плачешь над ним, стыдишься своих

слез и все же плачешь, даже еще сильнее... Проливаешь слезы сострадания, сожаления, раскаяния. Любви уже нет,— она уже ничто для меня, но я оплакиваю печальную участь достойного человека, которого нечаянно разгоревшийся в сердце пламень лишил покоя и, быть может, жизни. Увы! Он, несомненно, погиб в долгом и опасном путешествии, которое предпринял с отчаяния. Если б он остался жив, то, даже очутившись на краю света, он подал бы нам весть о себе. Прошло уже четыре года со дня его отъезда. Говорят, эскадра, в которой он находился, испытала множество бедствий и потеряла три четверти своего экипажа; несколько кораблей затонуло, а что сталось с остальными, никто не знает. Его больше нет на свете, нет на свете! — так говорит мне тайное предчувствие. Да и почему бы судьба пощадила его, погубив всех несчастных его спутников? Море, болезни, а еще более того — жестокая печаль сократили дни его жизни. Так угасает все, что промелькнет, блистая, на земле. Ко всем терзаниям совести моей прибавилось еще одно мученье: мысль, что я виновата в смерти благородного человека. Ах, дорогая моя, какая это душа была! Как он умел любить! Он мог жить достойно. А если умер,— пред высшим судией предстанет душа слабая, но чистая и поклоняющаяся добродетели. Тщетно я стараюсь отогнать эти печальные мысли,— против моей воли они возвращаются поминутно. Чтобы их прогнать или упорядочить их течение, мне необходимы твои заботы, и раз уж я не могу забыть этого несчастного, лучше мне говорить о нем с тобою, нежели думать о нем в одиночестве.

Видишь, сколько причин усиливают постоянную мою потребность видеть тебя, беседовать с тобою! Ты благоразумнее, ты счастливее меня, и у тебя не может быть таких причин, как у меня, но разве в твоем сердце нет той же потребности? От родни твоего покойного мужа тебе мало радости, и если правда, что ты не хочешь идти еще раз замуж, то в чьем же доме тебе будет лучше, чем у нас? Я так болею душой, что ты живешь среди чужих людей; ведь хоть ты и скрываешь это, а я знаю, как тебе там живется, меня не обманывает твой шаловливый и веселый вид, который ты напускаешь на себя в Кларане. Ты упрекала меня за мои недостатки, но я, в свою очередь, должна упрекнуть тебя за очень большой недостаток: ты всегда замыкаешься в себе и не хочешь, чтобы кто-нибудь разделял твои огорчения. Ты скрываешь свое горе, словно тебе стыдно плакать при твоей подруге. Клара, мне это не нравится. Я не такая несправедливая, как ты; я не порицаю тебя за твои сожаления о былом; я не требую, чтобы ты через два года, через десять

лет или хотя бы в конце жизни перестала чтить память милого своего супруга; я осуждаю тебя лишь за то, что в самую лучшую пору своей жизни ты плакала вместе с Юлией над ее горем, а теперь лишаешь ее радости плакать вместе с тобою и омыть этими более достойными слезами позор тех слез, кои она проливала когда-то на твоей груди! Если горевать со мною тебе неприятно — стало быть, ты не знаешь настоящего горя. Если же ты находишь в нем некую утеху, почему же ты не хочешь разделить его со мною? Разве ты не знаешь, что общение сердец придает печали нечто сладостное и трогательное, чего нет в удовлетворении жизнью? И не для того ли дана несчастным дружба, чтобы они находили в ней облегчение своим страданиям и утешение в своих горестях?

Вот, дорогая моя, соображения, которые я должна была привести тебе, и к ним следует еще добавить, что, предлагая тебе переехать к нам, я говорю это не только от своего имени, но и от имени мужа. Не раз мне казалось, что он удивлен и почти обижен, отчего такие задушевные подруги, как мы с тобою, не живут вместе. Он уверяет, что говорил это и тебе самой, а ведь он слов на ветер не бросает. Не знаю, какое решение ты примешь после моих уговоров, однако питаю надежду, что желание мое исполнится. Как бы то ни было, мое решение принято и бесповоротно. Я не забыла, как ты хотела когда-то следовать за мною в Англию. Друг мой бесценный, теперь моя очередь. Ты знаешь мое отвращение к городскому шуму, знаешь, как мне нравится сельская жизнь, сельские работы и как я за три года жизни в Кларане полюбила свой дом. Ты, конечно, понимаешь также, как хлопотно переселяться с целой семьей и как мне неловко злоупотреблять добротою отца, часто заставляя его переезжать с нами из одного места в другое. И все-таки! Если ты не хочешь расставаться со своим хозяйством, не желаешь переехать ко мне и управлять моим хозяйством, я решила снять дом в Лозанне, и мы все переедем туда, чтобы жить с тобою. Решай сама. Все требует нашего соединения — мое сердце, мой долг, мое счастье, спасенная моя честь, возвратившийся ко мне разум, мое положение, мой муж, мои дети, я сама. Ведь я всем обязана тебе,— все, что есть во мне хорошего, исходит от тебя, и без тебя я — ничто. Приезжай же, моя ненаглядная, мой ангел-хранитель, доверши дело рук твоих, порадуйся плодам твоих благодеяний. Будем жить одной семьей, ведь у нас с тобою одна душа,— самое дорогое наше достояние; ты будешь следить за воспитанием моих сыновей, а я за воспитанием твоей дочери. Мы поделим меж собою материн-

ские обязанности, и тогда они будут нам вдвое приятнее. Вместе мы вознесем сердца наши к тому, кто твоим предстательством вернул чистоту моей душе; и, не имея более никаких желаний в этом мире, мы в лоне семьи, исполненной невинности и дружбы, будем в спокойствии душевном ожидать перехода в иную жизнь.

## ПИСЬМО II

*Ответ*

Боже мой, какое удовольствие доставило мне, дорогая сестра, твое письмо! Ты прекрасная проповедница — право, прекрасная, но именно проповедница. Восхитительные речи, а дел очень мало. Помнишь, некий афинский зодчий... ну знаешь, тот краснобай... у старика Плутарха... пышно описывал, какой великолепный храм он построит!.. А когда он наговорился вдоволь, пришел другой,— человек простой, с виду скромный, серьезный и степенный... вроде твоей двоюродной сестрицы Клары. Глухим голосом, медленно и даже немножко гнусаво он заявляет: «То, что он сказал, я сделаю». Сказал и умолк, а кругом загремели рукоплескания. Прощай, говорун! Дитя мое, мы с тобою два этих зодчих, а воздвигнуть нам нужно Храм Дружбы.

Перескажем вкратце прекрасные твои речи: во-первых, оказывается, мы любим друг друга, во-вторых, я тебе необходима, и ты мне тоже необходима, а в-третьих, поскольку мы вольны провести нашу жизнь вместе, нам и следует так ее провести. И ты пришла к этой мысли одна, своим умом? Сказать по правде, ты красноречивая особа! Ну так вот, я тебе сейчас доложу, чем я занималась, пока ты обдумывала свое возвышенное послание. А после этого суди сама, что ценнее: твои слова или мои дела. С тех пор как я потеряла мужа, ты заполнила пустоту, оставленную им в моем сердце. При жизни мужа я делила свою привязанность между им и тобою. Его не стало, и я уже всецело принадлежу тебе. Даже моя любовь к дочери, согласно твоей мысли о сочетании материнской нежности и чувства дружбы, лишь укрепляет узы, связывающие нас. Я не только решила провести с тобой остаток дней своих,— у меня замысел более широкий. Для того чтобы две наши семьи стали единой семьей, я предполагала, если все в отношениях наших будет благополучно, соединить когда-нибудь браком мою дочь и твоего старшего сына; шутливое его прозвище «Генриеттин женишок» казалось мне добрым предзнаменованием, обещавшим, что когда-нибудь он и в самом деле станет ее мужем.

В этом намерении я постаралась прежде всего устранить помеху, каковой были мои запутанные дела с наследством, и, так как состояние у меня достаточное, позволила себе пожертвовать кое-чем, распорядившись доставшимися мне владениями; я думала лишь о том, чтобы поместить долю моей дочери в надежные ценности и обезопасить ее от всяких судебных тяжб. Ты знаешь, что у меня бывает много причуд, и вот тут мне пришло безумное желание приготовить тебе сюрприз. Воображение рисовало мне, как в одно прекрасное утро я войду в твою спальню, держа за руку свою дочь, а в другой руке держа бумажник, и произнесу приятные слова. Я отдам под твою опеку мать, дочь и их состояние, то есть приданое этой дочери. «Управляй им,— хотела я тебе сказать,— соответственно интересам твоего сына, отныне это его и твое дело, а я ни во что не стану вмешиваться».

Я была захвачена своей мыслью, я искала, кому бы открыться, кто поможет мне ее осуществить. И вот угадай, кого я выбрала, кому доверилась? Некоему господину де Вольмару. Ты с ним не знакома? «Как, сестрица? Моему мужу?» Да-с, твоему мужу, сестрица. Тому самому человеку, от которого тебе так трудно скрывать свою тайну, хотя ему лучше ее не знать, и который сумел от тебя скрыть другую тайну, хотя ему было бы весьма приятно ее сообщить тебе. Она и служила предметом наших загадочных уединенных бесед, против коих ты, смешная, ополчалась. Видишь, какой скрытный народ, эти мужья! Не забавно ли, что они обвиняют женщин в скрытности? От твоего супруга я потребовала даже больше, чем сохранения тайны. Я прекрасно видела, что ты обдумываешь такой же самый план; но ведь ты из числа тех людей, кто все выпаливает в себе и изливает свои чувства лишь в порыве откровенности. Желая сделать тебе особливо приятный сюрприз, я попросила господина де Вольмара, чтобы он, когда ты предложишь ему объединить наши семьи, встретил этот план довольно холодно и не спешил выразить согласие. На это он дал такой ответ, который мне очень запомнился, да и ты должна крепко его помнить,— сомневаюсь, чтобы хоть один из мужей, с тех пор как они существуют на свете, мог бы так ответить. Вот что он сказал: «Кузина, я знаю Юлию, хорошо знаю... быть может, лучше знаю, чем она это думает. Сердце у нее столь благородное, что нам не должно противиться ни одному ее желанию, и столь чувствительное, что отказ жестоко ее огорчит. Пять лет, как мы женаты, и я не помню, чтобы я причинил ей за эти годы хоть какое-нибудь, хоть маленькое огорчение, и я надеюсь, что до

самой своей смерти ни разу не обижу ее». Подумай хорошенько, сестра, вот какой у тебя муж; а ты все замышляешь нарушить его покой неуместным признанием.

У меня, конечно, меньше деликатности или больше веры в твою кротость; я так естественно уклоняюсь от иных предметов разговора, к которым тебя часто влекло твое сердце, что ты, не имея причин заподозрить меня в охлаждении к тебе, готова была вообразить, будто я стремлюсь второй раз выйти замуж, а тогда, хоть я люблю тебя больше всех, супруг будет мне дороже. Видишь, бедняжка, от меня не укроется ни малейшее движение твоей души. Я угадываю все, что в ней творится; вижу ее насквозь, проникаю в самые глубокие ее тайники. Но именно поэтому я всегда обожала тебя. Я сочла превосходным приемом поддерживать твое неверное, но такое удобное для меня подозрение. И вот я принялась изображать из себя кокетливую вдовушку, да так хорошо это проделывала, что обманула тебя; для этой роли у меня не хватает не столько таланта, сколько желания ее играть. Очень ловко я пускала в ход задорные ужимки, которые неплохо мне удаются, недаром же мне случалось для забавы пронзать сердца молодых фатов. А ты легко поддалась обману и подумала, что я ищу преемника человеку, заменить коего труднее всего на свете. Но я слишком откровенна, не могу долго притворяться, и поэтому ты вскоре успокаивалась. Хочу, однако, успокоить тебя еще больше, объяснив тебе мои истинные чувства в этом отношении.

В девушках я сто раз говорила: я не гожусь в жены. Если б это зависело от меня, я бы никогда не выходила замуж; но наш пол может приобрести свободу только ценою рабства,— сначала будешь служанкой, а когда-нибудь станешь хозяйкой. Отец не стеснял меня, но жилось мне дома нелегко. Желая вырваться на свободу, я вышла за господина д'Орба. Он был такой благородный человек и так нежно любил меня, что я и сама искренне его полюбила. По своему опыту я составила себе о браке более высокое понятие, нежели мои прежние представления о нем,— рассеялось то впечатление, которое создали у меня рассказни нашей Шайо. Господин д'Орб сделал меня счастливой, и в этом ему не пришлось раскаяться. С другим мужем я, конечно, всегда была бы верна долгу, но жестоко огорчала бы его. Право, мне нужен был очень хороший муж, чтобы ради него я стала хорошей женой. Можешь себе представить, я готова была жалеть, что он такой хороший муж. Дитя мое, мы слишком глубоко любили друг друга, в нас совсем не было веселости. Будь наше чувство более легким, мы были бы шаловливы, и,

кажется, я предпочла бы жить менее счастливо, но чаще смеяться.

А тут еще прибавилась тревога, которую вызывало у меня твое положение. Нет нужды вспоминать, каким опасностям подвергала тебя безрассудная страсть; я видела их и трепетала. Если бы гибель грозила только жизни твоей, быть может, веселость не совсем еще покинула бы меня; но тут печаль и ужас проникли в мою душу, и до тех пор, пока ты не вышла замуж, я не знала ни минуты покоя. Ты ведала, что меня томит скорбь, ты чувствовала ее, доброе твое сердце не осталось к ней равнодушно; и я не перестану благословлять спасительные свои слезы, ибо они, быть может, и оказались причиной твоего возвращения на благой путь.

Вот как прошло время, прожитое мною с мужем. Суди сама, могла ли я, когда господь отнял его у меня, найти другого супруга себе по сердцу и возникал ли у меня соблазн поискать его. Нет, сестра, брак — дело слишком серьезное. Степенность и важность не подходят к моему нраву, они наводят на меня уныние, они мне не к лицу, не считая того, что всякое стеснение невыносимо для меня. Ты хорошо меня знаешь, подумай же, каковы были для меня брачные узы, когда я за семь лет не посмеялась вволю и семи раз. Я не хочу быть в двадцать восемь лет почтенной матроной. Нет, я молодая и довольно привлекательная вдовушка, за которую еще можно посвататься; думаю, что, будь я мужчиной, я бы, пожалуй, осталась вполне довольна такой женой. Но чтобы я да второй раз пошла замуж! Увольте! Послушай, я искренне оплакиваю своего мужа. Я бы отдала полжизни, чтобы прожить с ним вторую ее половину; и все же, если б он мог воскреснуть, я, думается, даже его взяла бы в супруги лишь потому, что он уже был моим избранником.

Вот я изложила тебе свои истинные намерения. Если мне еще не удалось осуществить их, несмотря на хлопоты господина де Вольмара, то единственно по той причине, что чем больше я стараюсь преодолеть препятствия, тем больше они возрастают, как будто нарочно. Но мое рвение все же окажется сильнее их, и, надеюсь, еще до конца лета мы соединимся в одну семью и будем так жить до конца наших дней.

Мне остается только оправдаться в том, что я, как ты коришь меня, скрываю от тебя свои горести и предпочитаю плакать вдали от тебя; не отрицаю,— здесь я немало времени провожу в слезах. Стоит мне войти в дом, всюду я вижу следы прежней жизни с тем, из-за кого мне был так дорог мой дом. На каждом шагу, в каждой вещи вижу я знаки его нежной любви,

доброты сердечной, как же мне не волноваться? Когда я нахожусь здесь, я не могу не скорбеть о своей утрате; а близ тебя я вижу только то, что мне еще осталось в жизни. Неужели ты поставишь мне в вину твою власть над душевным моим состоянием? Если я плачу в разлуке с тобой и смеюсь близ тебя,— что за причина такой разницы? Неблагодарная девчонка! Ведь ты утешаешь меня во всех горестях, и я уже ни о чем не тоскую, когда обладаю твоим сердцем.

Ты наговорила много хорошего о прежней нашей дружбе, но я не могу простить тебе, что ты позабыла одно обстоятельство, которое более всего делает мне честь: ведь я обожаю тебя, хотя ты меня затмеваешь. Радость моя, ты создана для того, чтобы царствовать. Твоя власть самая неограниченная, другой такой я не знаю,— ты повелеваешь даже волей твоих подданных, и я это испытываю на себе более, чем кто-либо. Как же это происходит, сестра? Мы с тобой обе чтим добродетель, обеим нам одинаково дорого благородство души; у нас одинаковые желания; я почти так же умна, как ты, и не менее хороша собою. Все это я прекрасно знаю, и все же ты, Юлия, внушаешь мне какое-то почтение, ты меня покоряешь, повергаешь ниц, твоя душа бесконечно выше моей, и перед тобою я ничто. Даже в ту пору, когда в твоей жизни была недозволенная связь, за которую ты сама себя корила, а я, не следуя твоему примеру, не совершила такой ошибки и должна была бы почувствовать наконец свое превосходство, ты по-прежнему была выше меня. Твоя слабость, за которую я тебя порицала, казалась мне почти что добродетелью... Меня, против воли моей, восхищали в тебе те черты, за которые я осуждала бы другую женщину. Словом, даже в то время я всегда подходила к тебе с чувством невольного уважения. Лишь по несказанной своей доброте, лишь благодаря привычному нашему близкому общению ты сделала меня своей подругой, но по природе своей мне бы следовало быть твоей служанкой. Объясни, если можешь, эту загадку, а я ничего тут не понимаю.

Нет, все-таки кое-что понимаю, и, кажется, я даже когда-то объяснила такое положение: ведь твоя сердечность животворно действует на всех окружающих,— влагает в их душу что-то новое, хорошее, и они поневоле питают к тебе почтение, чувствуя, что без тебя в них не было бы этого. Признаю, я оказала тебе важные услуги, да ты так часто об этом вспоминаешь, что мне нет никакой возможности забыть о них. Без меня ты бы погибла, не отрицаю этого. Но ведь я только заплатила тебе свой долг. Возможно ли человеку постоянно видеть тебя и не поддаться

исходящему от тебя очарованию добродетели, не проникнуться сладостным чувством дружбы? Ужели ты не знаешь, что всякого, кто приблизится к тебе, ты сама наделяешь оружием для того, чтобы он стал твоим защитником, и у меня перед другими лишь то преимущество, каким обладали телохранители Сезостриса: я твоя ровесница, существо одного с тобою пола и была воспитана вместе с тобою. Как бы то ни было, но Клара, сознавая, что она не стоит своей сестры Юлии, находит себе утешение в том, что без Юлии она была бы еще хуже; и, кроме того, сказать по правде, я полагаю, что мы с тобой очень нужны друг другу и мы обе очень много потеряли бы, если бы судьба нас разлучила.

Итак, дела все еще удерживают меня здесь, и мне это особенно досадно из-за того, что я все время опасаюсь, как бы с уст твоих не сорвалось неосторожное слово и ты не раскрыла бы свою тайну. Умоляю, помни, что хранить ее заставляет тебя здравый смысл, голос рассудка, а стремление признаться порождено слепым чувством. Даже наши с тобой подозрения, что эта тайна уже не является тайной для лица, коего она затрагивает, не могут служить основанием к тому, чтобы во всем признаться, хотя бы и с величайшей осторожностью. Быть может, сдержанность твоего мужа должна служить примером и наукой для нас с тобою: ведь в таком деле большая разница, сохранять ли притворное неведение или же быть вынужденным знать. Так подожди же, пока мы еще раз поговорим с тобою. Заклинаю тебя — не спеши! Если предчувствие не обмануло тебя и уже нет на свете твоего злополучного друга, разумнее всего, чтобы его история и твои несчастия остались погребенными вместе с ним. Но ежели он, как я на это надеюсь, жив, все может повернуться по-иному. Однако надо хорошенько проверить, жив ли он. Как бы то ни было, разве не должна ты прислушаться к последним советам бедного юноши, чье злосчастье — дело рук твоих?

Что касается опасностей одиночества, я понимаю и разделяю твою тревогу, хотя и знаю, что она совсем неосновательна. Из-за ошибок, совершенных в прошлом, ты стала боязливой. Этот страх — хороший залог для настоящего. Ты была бы менее боязлива, будь у тебя больше причин страшиться своей слабости. Но я не могу простить тебе ужасных мыслей об участи бедного нашего друга. Помни, что теперь, когда характер твоей привязанности к нему изменился, он мне не менее дорог, чем тебе. Однако мое предчувствие совершенно противоположно твоему и куда более согласно с голосом рассудка. Милорд Эдуард два

раза получал от нашего друга вести и после второй написал мне, что Сен-Пре плывет в Южном море, что для него уже миновали опасности, о коих ты говоришь. Ты это знаешь не хуже моего, а так горюешь, будто ничего тебе неизвестно. Пора сообщить тебе еще одну новость: корабль, на борту коего он находится, два месяца тому назад проплыл близ Канарских островов, по направлению к Европе. Об этом написали из Голландии моему отцу — а он не преминул уведомить меня, так как, по обычаю своему, извещает меня о делах других людей гораздо более точно, чем о своих собственных. Сердце говорит мне, что теперь нам недолго ждать вестей о нашем философе; довольно уж тебе проливать слезы,— разве только что, оплакав его смерть, ты еще вздумаешь плакать из-за того, что он остался жив... Но, слава богу, до этого ты, наверно, не дойдешь.

Deh! fosse or qui quel miser pur un poco,
Ch'è già di piangere e di viver lasso [1].

Вот и все, что я могу тебе ответить. Люблю тебя и разделяю сладостную твою надежду на долгое, вечное наше соединение. Как видишь, не тебе первой пришло это намерение, и оно гораздо скорее может осуществиться, чем ты думала. Потерпи еще одно лето, нежный друг мой, лучше нам соединиться немного позднее, нежели вновь разлучиться.

Ну что, прекрасная дама, сдержала я свое слово? Я торжествую, сударыня! Какой триумф! Скорее преклоните колена, почтительно читайте сие послание и смиренно признайте, что хоть раз в жизни Юлия де Вольмар была побеждена своей подругой [2].

## ПИСЬМО III

*К г-же д'Орб*

Сестра моя, моя благодетельница, друг мой! Был на краю света, приехал, и сердце мое полно вами. Четыре раза пересек экватор; побывал в обоих полушариях, видел четыре части све-

---

[1] Увы, бедняк еще так мало прожил,
А так уже устал от горькой жизни *(итал.)*.

[2] Какой счастливый нрав у этой доброй швейцарки: когда ей весело, она весела без изысканного остроумия, без ребячливости, без лукавства. Она и не подозревает, какие в нашем обществе требуются ухищрения, дабы человеку простили хорошее расположение духа. Ей неизвестно, что в хорошем расположении духа надлежит быть не для себя самого, а для других, и смеяться следует не потому, что тебе смешно, а для удовольствия публики.

та; находился от вас на расстоянии, равном диаметру земного шара,— и ни на одно мгновение не мог уйти от вас. Тщетны все попытки бежать от того, кто тебе дорог,— милый образ быстрее волн морских и ветров следует за тобою на край света, и, куда ты ни направишься, всюду уносишь с собою то, что составляло смысл твоей жизни. Я много перенес страданий и еще горшие страдания видел у других. Сколько несчастных умерло на моих глазах! Увы! Они так дорожили жизнью! А я вот уцелел... Быть может, меня стоило меньше жалеть, нежели моих спутников: их муки были для меня чувствительнее, нежели мои собственные; они же, как я видел, всецело находились во власти своих страданий и должны были мучиться больше моего. Я, бывало, думал: мне очень тяжко здесь, но есть у меня на земле уголок, где царит покой и счастье, и, переносясь на берег Женевского озера, я вознаграждал себя за все, что претерпевал в океане. Возвратившись, я имел счастье увидеть подтверждение своим надеждам: милорд Эдуард сообщил мне, что вы обе здоровы и живете в спокойствии. Я уже знаю, что вы, Клара, потеряли мужа, но ведь у вас осталась верная подруга, осталась дочь, и это должно утешать вас в несчастье.

Очень спешу отправить вам письмо, а потому не могу рассказать подробно о своем путешествии; надеюсь, что вскоре представится для сего более удобная оказия. Пока же постараюсь дать вам кое-какое представление о моих странствиях, скорее для того, чтобы возбудить, нежели удовлетворить ваше любопытство. Четыре года потратил я на свое долгое плавание, о коем говорил в начале письма, и возвращаюсь я на том самом корабле, на котором отбыл,— лишь одно это судно капитан привел обратно из всей своей эскадры.

Прежде всего увидел я Южную Америку, обширный континент, обитатели которого из-за отсутствия железа покорились европейцам, а те превратили сии земли в пустыню, дабы обеспечить свое господство. Я видел берега Бразилии, где Лиссабон и Лондон черпают свои сокровища и где нищие туземцы попирают ногами золото и алмазы, не смея поднять их с земли. Я спокойно пересек бурные моря, лежащие у Южного полярного круга; зато Тихий океан встретил меня ужаснейшими бурями.

E in mar dubbioso sotto ignoto polo
Provai l'onde fallaci, e'l vento infido [1].

---

[1] В неверном море за полярным кругом,
Познал коварство волн и прихоть ветра *(итал.)*.

Я видел издали страну пресловутых великанов [1] — они, впрочем, велики лишь мужеством своим, и независимость сей страны более обеспечивается простым образом жизни и воздержностью ее жителей, нежели высоким их ростом. Три месяца я прожил на очаровательном безлюдном острове, сохранившем дивный трогательный образ древней красы природы, казалось, еще оставшейся на краю света, в уголке, предназначенном служить убежищем для преследуемой невинности и любви; но алчные европейцы, верные своему свирепому нраву, не дают индейцам жить на этом острове, да,— верно, в наказание себе,— и сами тут не живут.

На побережье Мексики и в Перу видел я ту же картину, что и в Бразилии: редкое и несчастное население — жалкие остатки двух могущественных народов — влачит свою жизнь в оковах, в нищете среди драгоценных металлов и со слезами упрекает небо за то, что оно так щедро наделило сокровищами их землю. Я видел ужасный пожар, когда был предан огню целый город, хотя он не оказывал сопротивления и не имел защитников. Сожгли его «по праву войны» — вот оно каково у просвещенных, гуманных и цивилизованных народов Европы: они не ограничиваются тем, что причиняют врагу всякое зло, если могут извлечь из того какую-либо выгоду, но даже считают выгодой для себя всяческое, хотя бы и совсем бесцельное зло, которое могут причинить. Я обогнул почти все западное побережье Америки и был охвачен изумлением, видя, что берег, протяженностью в полторы тысячи лье, и самый большой океан в мире находятся под властью одной державы, в руках которой, таким образом, оказались ключи ко всему западному полушарию земли.

Переплыв большое море, я очутился около другого континента, где предстало передо мною иное зрелище. Я увидел многочисленную и самую прославленную в мире нацию, подчиненную горсточке разбойников; я близко видел этот знаменитый народ и теперь уже не удивляюсь, что он порабощен. Сколько раз на него нападали и покоряли его, всегда он был добычей первого попавшегося и будет ею до скончания века. Я увидел, что он достоин своей участи, ибо не имеет даже мужества сетовать на нее. Образованные, трусливые, лицемерные шарлатаны; краснобаи, которые болтают без толку; острословы без единой искры даровитости, бесплодные умы, богатые знаками, выражающими мысль, но самих мыслей не имеющие; учтивые, льсти-

---

[1] Патагонцев.

вые, ловкие, коварные и бесчестные, они чувство долга заменили этикетом, мораль превратили в кривлянья, а гуманность свели к комплиментам и реверансам. Нежданно очутился я на втором безлюдном острове, еще более неведомом у нас, еще более очаровательном, чем первый; и жестокий случай едва не заточил нас там навсегда. Пожалуй, лишь меня одного совсем не испугала мысль оказаться изгнанным в столь приятное место. Ведь я повсюду теперь изгнанник, не так ли? На этом острове очарования и страха я видел, что может сделать человеческая изобретательность, стараясь спасти цивилизованных людей, исторгнув их из уединенного уголка, где у них ни в чем не было недостатка, и вновь ввергнуть их в бездонную пучину все возрастающих потребностей.

Я видел, как в пустынных просторах океана, где, казалось бы, людям так приятно встретить других людей, два больших корабля разыскивали друг друга, а встретившись, ринулись в такой ожесточенный бой, словно каждому из них было мало места в этом громадном пространстве. Они изрыгали пламя и чугунные ядра. Довольно короткое их сражение явило мне образ ада. Я слышал радостные крики победителей, заглушавшие жалобные мольбы раненых и стоны умирающих. Краснея от стыда, я принял свою долю огромной добычи, принял ее лишь на хранение,— и если у несчастных отняли ее, несчастным она и будет возвращена.

Я видел Европу, перенесенную на оконечность Африки; это совершено было стараниями жадного, терпеливого и трудолюбивого народа, победившего при помощи времени и настойчивости препятствия, которые весь героизм других народов не мог преодолеть. Я видел обширные и несчастные страны, казалось, предназначенные лишь для того, чтобы разводить на земле новые стада рабов. При виде этих жалких созданий я отводил взгляд и полон был презрения, ужаса и жалости; зная, что четвертая часть человечества — мои ближние — обращена в скотов и существует лишь на потребу своих господ, я стенал — зачем я человек.

Наконец, я видел спутников своих, людей отважных, гордых и вольнолюбивых, пример коих восстановил в моих глазах честь рода человеческого: для них мучения и смерть — ничто, и они ничего на свете не боятся, кроме голода и скуки. Я видел их начальника,— капитана корабля, солдата и кормчего, мудреца и великого человека и, чтобы лучше охарактеризовать его, скажу, что он достойный друг Эдуарда Бомстона; но нигде, в целом мире, я не встретил никого похожего на Клару д'Орб и на

Юлию д'Этанж, никого, кто мог бы утешить любящее сердце, лишившееся их...

Что вам сказать о моем исцелении? Ведь это из ваших уст должен я узнать о нем. Возвратился ли я более свободным и более разумным, нежели был до своего отъезда? Думаю, что это так и есть, но утверждать не смею. Все тот же образ царит по-прежнему в моем сердце; вам известно, может ли он исчезнуть; но теперь такое владычество более достойно его; и хоть я не тешу себя обманчивыми надеждами, он царит в этом несчастном сердце так же, как в вашем. Да, кузина, думается мне, что ее добродетель меня покорила, и ныне я хочу быть для нее лишь другом, самым лучшим и самым нежным другом, какие возможны на свете, и только; я обожаю ее так же, как вы ее обожаете; вернее сказать, чувство мое не ослабло, но, думается мне, стало чище; и сколь бы тщательно я ни разбирался в себе, я вижу, что любовь моя так же чиста, как и предмет ее... Что могу я сказать вам более, пока не пройду через испытание, которое даст мне право судить о себе? Я говорю искренне и правдиво: хочу стать таким, каким мне должно быть; но как ручаться за свое сердце, когда столько есть оснований не доверять ему? Разве я властен над своим прошлым? Могу ли я изменить то обстоятельство, что меня когда-то пожирало пламя тысячи костров? Как мне отличить одним лишь воображением то, что есть, от того, что было? И как мне представить себе своим другом ту, в которой я всегда видел свою возлюбленную? Что бы вы ни думали о тайных побуждениях моей горячей просьбы — они чисты и разумны; они вполне заслуживают вашего одобрения. За свои намерения я, во всяком случае, заранее отвечаю. Позвольте мне увидеться с вами, и сами присмотритесь ко мне; или дайте мне увидеть Юлию, и тогда я буду знать, что со мною.

Я должен сопровождать милорда Эдуарда в Италию. Я буду проезжать неподалеку от вас, и неужто мы так и не увидимся? Ужели вы думаете, что это возможно? Если у вас хватит жестокости потребовать этого, вы будете заслуживать, чтобы я ослушался вас. Но к чему бы вам этого требовать? Разве вы не прежняя Клара, столь же добрая и сострадательная, сколь добродетельная и благоразумная? Та Клара, которая удостоила меня своей любви в самой нежной юности, и ныне должна бы любить меня еще больше, когда я всем обязан ей [1]. Нет, нет, дорогой и

[1] «Чем уж он так обязан этой женщине, которая стала причиной стольких несчастий в его жизни?» Ах, несчастный вопрошатель! Он обязан ей честью, добродетелью, покоем той, которую он любит: следовательно, обязан ей всем.

прелестный друг мой, ответить столь жестоким отказом вам несвойственно, а мне подчиниться ему невозможно; нет, вы не довершите им моих тяжких бедствий. Еще раз, еще один раз в жизни я положу свое сердце к вашим ногам. Я увижу вас, вы дадите на это свое согласие. Я увижу ее, она даст на это свое согласие. Вы обе хорошо знаете, как я чту ее. Вы знаете, что я не мог бы показаться ей на глаза, чувствуя, что я недостоин предстать перед нею. Она так долго оплакивала то, что совершило ее очарование! Ах, неужели же хоть раз не посмотрит она на то, что совершила ее добродетель?

P. S. Дела удерживают здесь милорда Эдуарда на некоторое время; если мне дозволено будет увидеться с вами, почему бы мне не поехать раньше его, чтобы поскорее взглянуть на вас!

## ПИСЬМО IV

*От г-на де Вольмара*

Хотя мы еще не знакомы, мне поручено написать вам. Самая разумная и самая любимая из всех женщин открыла свое сердце своему счастливому супругу. Он считает, что вы были достойны ее любви, и предлагает вам приют в своем доме. В нем царят невинность и мир; вы найдете в нем дружбу, гостеприимство, уважение, доверие. Спросите свое сердце, и если в нем нет ничего, что вас пугает, приезжайте без страха. Уезжая, вы оставите здесь еще одного друга.

*Вольмар*

P. S. Приезжайте, друг мой, ждем вас с нетерпением. Надеюсь, вы не огорчите нас отказом.

*Юлия*

## ПИСЬМО V

*От г-жи д'Орб*

*(В которое вложено было письмо г-на де Вольмара)*

Добро пожаловать! Сто раз скажу: «Добро пожаловать, дорогой Сен-Пре!» [1] Я полагаю, это имя останется за вами, по крайней мере в нашем обществе. Думается, это достаточно ясно

---

[1] Именем «Сен-Пре» г-жа д'Орб назвала его перед своими слугами во время предыдущего его приезда. См. третью часть, письмо XIV.

говорит, что никто не собирается исключить вас из нашего кружка, если только вы сами не пожелаете оставить нас. Прилагаю при сем письмо, из коего вы увидите, что я сделала больше, чем вы просили; имейте же больше доверия к своим друзьям и не упрекайте их за то горе, которое они, повинуясь рассудку, поневоле вам причинили и всем сердцем разделяют его с вами. Господин де Вольмар хочет видеть вас, он предлагает вам приют в своем доме, свою дружбу, свои советы. Этого более чем достаточно, для того чтобы успокоить меня, и теперь я не страшусь вашего приезда; мне стало бы стыдно за самое себя, если б я хоть на минуту потеряла доверие к вам. Господин де Вольмар намерен сделать еще больше; он хочет исцелить вас и говорит, что иначе ни Юлия, ни он, ни вы, ни я не можем быть вполне счастливы. Хотя я многого жду от его благоразумия и еще большего жду от вашей добродетели,— не знаю, право, увенчаются ли успехом его старания. Но я уверена, что при такой жене, как у него, заботы, кои он берет на себя, будут для вас целительны.

Итак, приезжайте, любезный друг. Благородному сердцу нечего тут страшиться; удовлетворите наше горячее желание поскорее обнять вас, увидеть вас спокойным и довольным; приезжайте в родные края отдохнуть среди друзей от долгих странствий и позабыть перенесенные вами мученья. В последний раз, как мы видались с вами, я была степенной матроной, а моя подруга лежала при смерти; но теперь, когда она вполне здорова, а я вновь не замужем, я стала такой же сумасбродкой, как раньше, и почти такой же миловидной, как перед свадьбой. И уж, во всяком случае, бесспорно то, что к вам я ни капельки не переменилась и, сколько бы вы ни совершали кругосветных путешествий, вам не найти никого, кто бы вас любил больше меня.

## ПИСЬМО VI

*К милорду Эдуарду*

Встал среди ночи, чтобы написать вам. Иначе не буду знать ни минуты покоя. Взволнованное, переполненное восторгом сердце рвется из груди, ему надо излиться. Вы столько раз спасали меня от отчаянья, и кому же как не вам поведаю первые радости, которые я вкусил за столь долгий срок!

Я видел ее, милорд! Мои глаза узрели ее! Я слышал ее голос; ее руки коснулись моих рук; она узнала меня, она обрадовалась, увидев меня, она назвала меня своим другом, дорогим

своим другом; она приняла меня в своем доме; ни разу в жизни я еще не был так счастлив, и я живу под одной кровлей с ней, а сейчас, когда пишу эти строки, нахожусь от нее в тридцати шагах.

Я так взволнован, что не могу последовательно излагать свои мысли — слишком много их сразу приходит в голову, и они мешают друг другу. Лучше прервать ненадолго письмо и постараться внести хоть немного порядка в свой рассказ.

Едва я свиделся с вами после долгой разлуки и, обняв вас, своего друга, своего спасителя, отца своего, излил перед вами первую радость встречи, как вы уже замыслили путешествие в Италию. Вы внушили мне желание поехать туда, надеясь снять с меня тяжелое бремя от сознания своей бесполезности для вас. Убедившись, что вам не так-то скоро удастся закончить дела, кои удерживали вас в Лондоне, вы предложили мне выехать раньше, желая дать мне возможность подождать вас здесь. Я попросил дозволения приехать и, получив его, отправился. И хотя передо мною витал образ Юлии, хотя я заранее радовался, видя ее глазами души своей и зная, что я приближаюсь к ней, мне было горько уезжать от вас. Милорд, мы с вами квиты — одной этой горестью я за все заплатил вам.

Нечего и говорить, что всю дорогу я был поглощен целью своей поездки; но вот что замечательно: я в ином свете видел теперь предмет моей любви, никогда не покидавший моего сердца. До сих пор в моих воспоминаниях она всегда блистала очарованием, как в дни юности; я так ясно видел ее прекрасные живые глаза, горевшие огнем разделенной любви; моему взору представлялись черты милого лица, сулившие мне столько счастья; взаимная наша любовь так сливалась с ее образом, что я не мог отделить их друг от друга. А теперь мне предстояло увидеть иную Юлию, Юлию — замужнюю женщину, Юлию — мать семейства, Юлию — равнодушную ко мне. Меня тревожила мысль, что за восемь лет красота ее могла увянуть! Ведь Юлия перенесла оспу и должна была измениться. Но как велика эта перемена? Воображение мое упорно отказывалось видеть рябины на этом прелестном лице; иногда мне удавалось представить себе чью-нибудь физиономию, изрытую оспой, но только уж не личико Юлии. И еще я тревожился, думая о предстоящем нашем свидании. Какой прием окажет мне Юлия? Тысячу раз в день приходили мне на ум мысли о первых, самых быстролетных минутах встречи.

Когда я заметил в небе вершины Альп, сердце мое заколотилось, как будто говорило мне: «Она там». То же самое проис-

ходило со мною в море, возле берегов Европы. И то же самое испытал я некогда в Мейери, завидев дом барона д'Этанж. Мир всегда делится для меня на две части: та, где находится Юлия, и та, где ее нет. Первая часть расширяется, по мере того как я удаляюсь от нее, и сужается, когда я к ней приближаюсь,— словно заколдованное место, которое мне достичь невозможно; сейчас границами ее служат стены комнаты Юлии. Но это единственное обитаемое место на свете: во всей остальной вселенной — пустота.

Чем ближе была Швейцария, тем больше я волновался. То мгновение, когда с Юрской возвышенности открылся вид на Женевское озеро, было мгновением восторга и счастья. Родной пейзаж, столь милый сердцу, дорогой мне край, где потоки радости вливались в мою душу; целительный и чистый воздух Алы, живительный воздух отечества, более сладостный, чем благовония Востока, богатая, плодородная земля, пейзаж, единственный в мире, самый прекрасный из всех, когда-либо ласкавших взор человеческий, прелестный уголок, равного коему не нашел я в кругосветных своих путешествиях, довольный вид счастливого и свободного народа, мягкая погода, здоровый климат, тысячи чудесных воспоминаний, пробудивших прежние чувства,— все приводило меня в неописуемый восторг и, казалось, возвратило мне былое наслаждение жизнью.

Когда же мы спустились к берегу озера, я испытал совсем иное, доселе неведомое мне волнение — какой-то страх, невольное смятение вдруг овладели мною, и сердце мое болезненно сжалось. Этот страх, причины коего я не мог открыть, возрастал, по мере того как я приближался к городу Веве; стремление мое поскорее прибыть все ослабевало, и наконец быстрый бег упряжки стал беспокоить меня не менее, чем тревожила прежде неторопливая ее рысца. А при въезде в город я испытывал чувство крайне тяжелое: у меня поднялось сильнейшее сердцебиение, в груди стеснилось дыхание, голос мой срывался и дрожал. Едва слышно я спросил, дома ли господин де Вольмар,— осведомиться о его жене я бы никогда не дерзнул. Мне сказали, что Вольмар живет в Кларане. При этой вести у меня отлегло от сердца и как будто гора свалилась с плеч. Мне еще надо было проехать два лье, но эта проволочка, которая в другое время привела бы меня в отчаяние, показалась мне желанной передышкой, и я радовался ей; зато с глубокой грустью услышал я, что госпожа д'Орб живет в Лозанне. Я зашел в гостиницу, чтобы подкрепиться,— силы меня оставили; однако я не мог проглотить ни куска: у меня от волнения сдавило горло; с великим

трудом, маленькими глотками, выпил я стакан вина. Ужасный страх, томивший меня, возрос вдвое, когда запрягли лошадей и надо было ехать дальше. Кажется, отдал бы все на свете, чтобы дорогой у нас сломалось колесо. Перед глазами моими уже не стоял образ Юлии, смятенное воображение рисовало мне лишь смутные картины, душа моя изнемогала от бурного волнения. В жизни мне не раз доводилось спознаться и с горем и с отчаянием; сейчас я предпочел бы их тому ужасному душевному состоянию, в коем находился. Право, могу сказать, что никогда еще я не испытывал столь жестокого волнения, как во время этого короткого перегона, и я убежден, что мне бы не вынести таких мук, продлись они целый день.

Приехав, я велел остановиться у ворот и, будучи не в силах сделать ни одного шага, послал кучера сказать, что некий иностранец хотел бы поговорить с господином де Вольмаром. Он был с женой на прогулке, за ними послали, и они пришли,— но не с той стороны, с которой я их ожидал,— ведь я в смертельной тоске глаз не сводил с въездной аллеи, полагая, что вот-вот кто-нибудь появится на ней.

Едва Юлия заметила меня, она сразу меня узнала. Увидев, вскрикнула, побежала, бросилась в мои объятия — все слилось в единый порыв души. При звуке ее голоса я вздрогнул, обернулся, увидел ее, почувствовал ее. О милорд! О друг мой!.. Не могу передать словами... Прощай страх! Прощай ужас, испуг, боязнь суда людского. Ее взгляд, ее крик, ее жест в одно мгновение возвратили мне надежду, мужество, силы. Я почерпнул в объятиях Юлии животворное тепло, я трепетал от радости, обнимая ее. Охваченные священным восторгом, долго молчали мы, крепко обняв друг друга. И лишь когда мы очнулись от потрясения, смешались наши голоса и наши радостные слезы. Господин де Вольмар был тут, я это знал, я это видел. Но что мог я видеть? Да если бы вся вселенная обратилась против меня, если б окружили меня орудия пыток, я не лишил бы свое сердце ни единой из нежных ее ласк, залога чистой и святой дружбы, которую мы унесем с собою на небо.

Когда улеглось первое бурное волнение, госпожа де Вольмар взяла меня за руку и, обернувшись к мужу, сказала с прелестным выражением невинности и чистосердечия, запавшим мне в душу: «Хоть он мне старый друг, я не стану знакомить вас с ним,— я хочу принять его из ваших рук: отныне он будет моим другом лишь при том условии, что вы почтите его своей дружбой». «Я рад,— ответил он, обнимая меня.— Старый друг, говорят, лучше новых двух, но ведь и новые друзья могут ста-

реть и в дружбе другим не уступят». Я разрешил обнять себя, но сердце мое измучилось. Я не ответил на его ласку.

После этой краткой сцены я заметил краешком глаза, что чемодан мой отвязали, лошадей отпрягли, а экипаж поставили в сарай. Юлия взяла меня под руку, и я пошел вместе с супругами к дому, почти подавленный радостью, что в этом доме завладели мною.

И только тогда я уже спокойнее стал всматриваться в обожаемое лицо, которое думал увидеть подурневшим,— однако я с горьким и сладостным изумлением должен был убедиться, что Юлия похорошела, что красота ее никогда еще не была столь блистательна. Прелестные черты окончательно определились, она чуть-чуть пополнела, и от этого белизна ее стала ослепительной. Оспа оставила лишь несколько едва заметных рябин на ее щеках. Вместо страдальческой стыдливости, некогда заставлявшей Юлию держать глаза опущенными долу, взгляд ее выражал теперь спокойную уверенность добродетели, чистоту души, сочетавшуюся с кротостью и чувствительностью; держалась она теперь не менее скромно, чем прежде, но уже не так робко. Несомненно, она чувствует себя теперь свободнее; непринужденная грация пришла на смену стесненности, сочетавшейся с томной нежностью, и если сознание своей вины прежде делало ее облик более трогательным,— вновь обретенная чистота ныне делает его небесным.

Как только мы вошли в гостиную, она куда-то исчезла, но через минуту вернулась. Она пришла не одна... Как вы думаете, кого она привела с собою? Милорд, она привела своих детей, двух мальчиков, пригожих, как ясный день, и похожих на мать,— детские их лица уже полны ее очарования и привлекательности. Что стало со мной при виде их! Словами этого не передашь, вчуже этого не понять, надо самому это пережить. Тысячи противоположных чувств вдруг нахлынули на меня, тысячи восхитительных и жестоких воспоминаний ожили в моем сердце. О, какое зрелище! О, сколько сожалений! Душу мою терзали муки и переполняла радость. Та, которая была мне столь дорога, как бы умножилась. Увы, я тотчас же увидел в этом живое, ясное доказательство, что я теперь ничто для нее, и, казалось, моя утрата также умножилась.

Она взяла детей за руки и подвела их ко мне. «Взгляните,— сказала она таким тоном, что у меня вся душа встрепенулась,— вот дети вашей подруги; когда-нибудь они станут вашими друзьями, будьте же ныне их другом». И тотчас два этих маленьких существа запрыгали вокруг меня, уцепились за мои

руки и своими невинными ласками взволновали и умилили меня до слез. Я обнял того и другого и прижал к груди, где так сильно билось мое сердце. «Дорогие и любезные дети,— сказал я со вздохом.— Вам предстоит сделать очень много. Как я хочу, чтобы вы походили на тех, кто дал вам жизнь, следовали бы примеру добродетельных своих родителей и когда-нибудь стали утешением для их несчастных друзей». Госпожа де Вольмар в порыве восторга еще раз бросилась мне на шею; казалось, она хотела отплатить мне своими ласками за те ласки, коими я осыпал ее сыновей. Но, к удивлению моему, второе ее объятие совсем не походило на первое. Я сразу это почувствовал. Теперь я держал в своих объятиях мать семейства, вокруг были ее дети и муж, и это внушало мне почтение к ней. Лицо ее выражало глубокое достоинство,— это сперва не бросилось мне в глаза; я невольно чувствовал к ней какое-то новое уважение; и то, что она обращалась со мною запросто, мне стало почти тягостно; какой ни была она прекрасной в моих глазах, я бы охотнее поцеловал край ее платья, чем ее щечку; словом, в ту минуту я почувствовал, что она, а может быть, и я сам уже не те, какими мы были прежде, и я счел это хорошим для себя предзнаменованием.

Господин де Вольмар взял меня под руку и повел в отведенное мне помещение. «Вот ваши апартаменты,— сказал он мне,— в них никогда не жили и не будут жить посторонние люди. Отныне эти покои будут заняты только вами или будут пустовать». Судите сами, как мне приятно было слышать столь лестные слова, но так как я еще недостаточно их заслужил, то они повергли меня в смущение. Г-н де Вольмар вывел меня из затруднительного положения, ибо, не дожидаясь моего ответа, пригласил пройтись с ним по саду. Там он сумел так повести себя, что я почувствовал себя свободнее; по тону его видно было, что ему известны прежние мои заблуждения, но что он верит в мою прямоту; он говорил со мною как отец с сыном и, выказывая мне уважение, тем самым делал для меня невозможным совершить что-либо недостойное. Да, милорд, он не ошибся, я никогда не забуду, что должен оправдать его и ваше доверие. Но почему на сердце у меня тяжело от его благодеяний? Зачем человек, которого я должен любить, оказался мужем моей Юлии?

В этот день мне, очевидно, было определено пройти через всевозможные испытания. Когда мы возвратились в гостиную, к Юлии, г-на де Вольмара позвали по поводу какого-то его распоряжения, и я остался с Юлией наедине.

Я вновь попал в затруднительное положение, еще более тягостное и совсем непредвиденное. Что ей сказать? Как начать? Осмелюсь ли я напомнить ей о былой нашей близости, о прежних столь памятных днях? Или пусть лучше считает она, что я все забыл и более о прошлом не думаю? Какая пытка обращаться с женщиной словно с посторонней, меж тем как образ ее всегда у тебя в сердце! Но что за гнусность злоупотребить гостеприимством и повести с нею речи, каких она более не должна слышать! Тревожные эти размышления привели меня в полную растерянность, лицо у меня запылало, я не смел ни заговорить, ни поднять глаза, ни пошевелиться, и, думается, я бы так и просидел до возвращения мужа, если б она не вывела меня из этого мучительного состояния. Ее, по-видимому, нисколько не смущало то, что мы остались с глазу на глаз. Она держала себя так же просто, ее манеры не изменились — говорила она или же молчала. Я заметил только, что она старалась вложить в слова свои больше веселья и непринужденности и смотрела на меня взглядом отнюдь не робким или нежным,— взгляд ее был добрым и ласковым, как будто она хотела ободрить, успокоить меня и помочь мне избавиться от стесненности, которой не могла не заметить.

Она говорила о долгих моих странствиях: ей хотелось узнать все подробно, особливо о тех опасностях, каким я подвергался, и о перенесенных мною бедствиях,—ей хотелось, как она мне сказала, по долгу дружбы вознаградить меня за все испытания. «Ах, Юлия,— печально заметил я,— всего минуту я нахожусь возле вас, а вы уже готовы отправить меня обратно в Индию».— «Нет, нет! — ответила она, смеясь.— Но я тоже хочу побывать там».

Я ответил, что написал для вас отчет о моем путешествии и привез для нее копию с этой реляции. Тогда она с живым интересом спросила, как вы поживаете. Я рассказал о вас, и пришлось мне, конечно, при этом вспомнить о своих страданиях и о тех огорчениях, какие я вам причинил. Она была растрогана и, заговорив более серьезным тоном, стала оправдываться и доказывать, что она должна была сделать то, что сделала. Как раз тут вошел г-н де Вольмар, и, к великому моему смущению, она и при нем продолжала свою речь, словно его и не было в комнате. Заметив, как я удивлен, он не мог сдержать улыбки. А когда Юлия кончила свои объяснения, он сказал: «Вот вам образец откровенности, царящей у нас. Если вы искренне хотите быть добродетельным, старайтесь следовать примеру Юлии: это единственная моя просьба к вам и единственное мое наставление. Желание держать в тайне самые невинные поступки —

первый шаг к пороку; кто прячется от людей — рано или поздно будет иметь для того основания. Все предписания морали можно заменить следующим правилом: «Никогда не делай и не говори ничего такого, что бы ты не решился сделать известным всем и каждому». Я, например, всегда считал достойнейшим человеком того римлянина, который решил построить свой дом таким образом, чтобы каждый мог видеть, что там происходит.

Я хочу,— добавил г-н де Вольмар,— предложить вам два решения. Вы вольны выбрать то, какое вам больше по душе, но выбрать надо обязательно». Взяв за руку жену и меня, он сказал, пожимая мне руку: «Начинается наша дружба, вот милые сердцу узы ее; пусть будет она неразрывна. Обнимите Юлию, всегда обращайтесь с нею как с сестрою и другом своим. Чем задушевнее станут ваши отношения, тем лучшего мнения о вас я буду. Но, оставаясь наедине с нею, ведите себя так, словно я нахожусь с вами, или же при мне поступайте так, будто меня около вас нет. Вот и все, о чем я вас прошу. Если вы предпочитаете второе решение, можете спокойно избрать его; я оставляю за собой право уведомлять вас о том, что мне не нравится в вашем поведении. Условимся так: если я ничего вам не говорю, значит, вы можете быть уверены, что ничем не вызвали моего недовольства».

Два часа назад такие речи привели бы меня в глубокое смущение; но г-н де Вольмар уже начинал оказывать на меня столь сильное влияние, что я почти привык слушаться его. Мы продолжали вести втроем мирную беседу, и, обращаясь к Юлии, я всякий раз называл ее «сударыня». «Скажите откровенно,— заметил наконец муж, прервав меня,— скажите, в недавнем своем разговоре с глазу на глаз вы называли ее «сударыня»?» — «Нет,— ответил я несколько растерянно,— но ведь правила приличия...» — «Правила приличия — это маска, которую надевает порок. А там, где царит добродетель, она излишня. Я ее отвергаю. Называйте при мне мою жену — Юлия, если хотите, а наедине называйте ее «сударыня»,— это мне безразлично». Я уже начинал понимать, с каким человеком имею дело, и решил всегда держать себя так, чтобы совесть моя была чиста.

Я был разбит усталостью, тело мое нуждалось в пище, а душа в отдыхе; то и другое я нашел за столом. После стольких лет разлуки и мучений, после долгих странствий я думал в каком-то упоении: я возле Юлии, я вижу ее, говорю с ней, сижу с нею за столом, она смотрит на меня без всякой тревоги, принимает меня без всякого страха, ничто не омрачает нашей радости быть вместе. Сладостная и драгоценная невинность, я еще

не ведал твоей прелести и только сегодня начинаю жить без страданий.

Вечером я удалился к себе и, проходя мимо опочивальни хозяев дома, видел, как они вместе вошли туда; печально побрел я в свою спальню, и, признаюсь, эта минута была для меня далеко не из приятных.

Вот, милорд, как прошло это первое свидание, которого я так страстно желал и так жестоко страшился. Оставшись один, я попытался собраться с мыслями, поглубже заглянуть в свое сердце. Но еще не улеглось волнение, пережитое за истекший день, и я не мог сразу же разобраться в истинном состоянии души своей. Твердо знаю только то, что, если характер моих чувств к ней не изменился, очень изменилась их форма. Я теперь всегда стараюсь видеть третье лицо меж нами и, насколько прежде жаждал свиданий наедине, настолько ныне страшусь их.

Рассчитываю съездить на два-три дня в Лозанну. Могу сказать, что я не видел как следует Юлии, раз я еще не свиделся с ее двоюродной сестрицей, с ее любимой, милой подругой, которой я обязан всем и которая, так же как и вы, милорд, неизменно будет предметом моей дружбы, моих забот, признательности и всех добрых чувств, какими располагает мое сердце. По возвращении я не замедлю написать вам более подробное письмо. Мне необходимы ваши советы, и мне нужно лучше разобраться в себе. Я знаю свой долг и выполню его. Как ни приятно для меня жить в этом доме, клянусь, я немедленно покину его, если только замечу, что мне здесь слишком приятно быть.

## ПИСЬМО VII

*От г-жи де Вольмар к г-же д'Орб*

Если бы ты осталась у нас до того дня, как мы тебя просили, ты бы перед отъездом имела удовольствие обнять своего подопечного. Он приехал третьего дня и нынче хотел отправиться к тебе; но у него что-то вроде прострела (результат усталости от нелегкой дороги) — и пришлось ему полежать в постели; нынче утром ему пускали кровь [1]. Впрочем, я твердо решила, тебе в наказание, не отпускать его так скоро; придется тебе самой приехать сюда, иначе ты еще долго его не увидишь, так и знай. Вот ведь какую штуку придумали: свидания порознь с неразлучными подругами!

---

[1] Зачем пускали кровь? Стало быть, и в Швейцарии такая мода?

Ах, сестрица, совсем напрасно я так страшилась его приезда, и мне, право, стыдно, что я сему противилась. Я так боялась встретиться с ним, а ведь как я бы сейчас досадовала, если бы мы не свиделись. Лишь только он появился, исчезли все страхи, которые еще терзали меня и могли стать оправданными из-за постоянного моего беспокойства о нем. Теперь же моя привязанность не только не пугает меня, но, думается, я потеряла бы уважение к себе, будь он мне менее дорог. Нет, я люблю его все так же нежно, как прежде, но люблю по-другому. Сравнивая то, что я испытываю при виде его, с тем, что испытывала когда-то, я проникаюсь уверенностью, что опасность миновала; чувства мои стали совсем иными, куда менее бурными, и разница эта ощущается очень ясно.

Что касается его самого, то, хоть я и узнала его с первого взгляда, он, по-моему, очень изменился; и даже произошло то, что прежде я считала бы невозможным: во многих отношениях он изменился к лучшему. В первый день он явно был смущен, да и сама я с трудом скрывала свое смущение; но вскоре он заговорил твердым тоном и с открытым видом, вполне соответствующим его характеру. Прежде он всегда держался со мною робко и боязливо, опасаясь не понравиться мне; быть может, втайне стыдясь своей роли, недостойной порядочного человека, он всегда держался при мне как-то раболепно, и ты не раз справедливо высмеивала его за это. Теперь же, вместо рабской покорности, он держится с уверенностью друга, который умеет отнестись с почтением к женщине, достойной этого; он говорит спокойно, ведет благородные речи, не боится того, что правила нравственности пойдут вразрез с его интересами, не опасается повредить себе или оскорбить меня, похвалив то, что заслуживает похвалы; и во всем, что он говорит, чувствуется прямота и уверенность человека, который в собственном сердце ищет одобрения своим словам, тогда как раньше искал этого в моем взгляде. Я нахожу также, что благодаря знакомству с обычаями света и жизненному опыту он избавился от назидательного и резкого тона, каким грешат кабинетные ученые. Он уже не так поспешно судит о людях, с тех пор как больше наблюдал их, не торопится устанавливать общеобязательные правила с тех пор, как видел столько исключений из правил; и вообще любовь к истине исцелила его от педантичности, так что теперь он менее блестящ, но более рассудителен, и гораздо большему можно у него поучиться с тех пор, как у него поубавилось учености.

Не меньше изменился и внешний его облик, и тоже к лучшему; поступь у него теперь более решительная, манеры более

непринужденные, осанка более гордая; в своих плаваниях он приобрел воинственный вид, который очень ему идет, тем более что его жесты, живые и быстрые, когда он воодушевляется, стали более степенны и неторопливы. Сразу виден моряк — человек наружно флегматический и холодный, но иногда в разговоре проявляющий свою кипучую и бурную натуру. Теперь, когда ему уже за тридцать, его мужественная красота достигла полного своего расцвета, огонь юности соединяется в нем с величавостью человека зрелого. Цвет лица у него просто неузнаваем,— наш Сен-Пре теперь черен, как мавр, и, кроме того, стал рябым после оспы. Дорогая, надо уж сказать всю правду: мне больно смотреть на эти рябины, и все же я часто ловлю себя на том, что против воли своей смотрю на них.

Но если я рассматриваю его, то и он, кажется, не менее внимательно разглядывает меня. Вполне естественно, что люди после столь долгой разлуки взирают друг на друга с каким-то любопытством; но если это любопытство как будто и связано с былою страстью, какая разница во внешнем выражении, да и в причинах его! Взоры наши теперь встречаются не столь часто, как прежде. Зато мы смотрим друг на друга более свободно. И кажется, будто мы по безмолвному уговору поочередно устремляем друг на друга взгляд. Каждый из нас словно чувствует, чей черед смотреть, и, выжидая своего срока, отводит взгляд. Можно ли видеть без глубокого удовольствия, хоть и без прежнего волнения, того, кто был когда-то любим нами столь нежно, а ныне любим столь чистой любовью? Как знать, не стремится ли самолюбие оправдать прошлую ошибку? Как знать, не бывает ли приятно каждому возлюбленному, когда страсть уже не ослепляет его, сказать себе: «А ведь выбор мой был совсем не плох!» Во всяком случае, я готова смело повторить еще раз, что у меня сохранились самые нежные чувства к нему, и такими они останутся до конца жизни моей. Я не только не корю себя за эти чувства, но радуюсь им; не будь их у меня, я бы краснела от стыда, видя в том признак испорченности или черствого сердца. Что же касается Сен-Пре, смею думать, что после добродетели он больше всего на свете любит меня. Я знаю, чувствую, что он гордится моим уважением к нему, а я горжусь его уважением и постараюсь всегда быть достойной такой чести. Ах, видела бы ты, с какою нежностью он ласкал моих детей, знала бы ты, с каким удовольствием он говорит о тебе, сестрица,— ты убедилась бы, что я все еще дорога ему!

Наше с тобой мнение о нем правильно, оно окрепло вдвойне, потому что и господин де Вольмар его разделяет; встретившись

с Сен-Пре, он и сам увидел в нем все то хорошее, о чем мы ему говорили. Он много беседовал со мною об этом два вечера, радовался решению, которое принял, и журил меня за то, что я тому противилась. «Нет,— говорил он мне вчера,— мы не допустим, чтобы столь благородный человек сомневался в себе самом, мы научим его больше полагаться на свою добродетель и, быть может, будем когда-нибудь вознаграждены за свои заботы гораздо более, чем ожидаем. Но и сейчас я уже могу сказать, что его характер мне нравится; особенно же я ценю в нем черту, которой он в себе и не замечает, а именно — его холодность по отношению ко мне. Чем меньше он выражает мне дружелюбия, тем более вызывает у меня уважения. Не могу и сказать, как я боялся, что он станет заискивать во мне. То было первое испытание, которое я ему назначил; ему предстоит еще второе испытание[1], и я буду тогда наблюдать за ним, а уж после того брошу наблюдать». На это я сказала: «Сейчас поведение Сен-Пре доказывает лишь откровенность его характера. Ведь не в силах он был заставить себя принять покорный и любезный вид при встречах с моим отцом, хоть это было бы крайне выгодно для нас, и к тому же я настоятельно просила его об этом. С горестью видела я, что он лишает себя единственной поддержки, но не могла сердиться на него за то, что он не умеет ни в чем притворяться».— «Но тут дело совсем иное,— заметил мой муж,— между ним и вашим отцом была вполне естественная антипатия, исходящая из противоположности их воззрений. А поскольку у меня нет нетерпимости, нет предрассудков, я уверен, что у него не может быть ко мне естественной ненависти. Да и кто будет ненавидеть меня? Человек, не имеющий страстей, ни у кого не может вызывать ненависть. Но я похитил у него сокровище. Это он не так-то скоро простит. Зато тем больше он будет любить меня, когда убедится, что обида, которую я нанес ему, не мешает мне смотреть на него благожелательно. Если б он сейчас ластился ко мне, то я счел бы его мошенником; если он никогда не будет ласков со мною — значит, он чудовище».

Вот, милая Клара, как у нас обстоит дело, и я уже начинаю верить, что небо благословит прямоту наших сердец и добрые намерения моего мужа. Но зачем же это я тебе подробно рассказываю? Ты совсем не заслуживаешь, чтобы я с таким удовольствием беседовала с тобой. Больше ничего тебе говорить не буду, если хочешь узнать что-либо еще, приезжай, сама увидишь.

---

[1] Письмо, в котором говорится об этом втором испытании, было уничтожено, но я постараюсь рассказать об этом при случае.

P. S. Нет, все-таки надо рассказать тебе о том, что произошло в связи с этим письмом. Ты знаешь, с какой снисходительностью г-н де Вольмар встретил запоздалое признание, к коему принудило меня нежданное возвращение Сен-Пре. Ты видела, как ласково сумел он осушить мои слезы и рассеять мой страх позора. То ли действительно ему все уже было известно, как ты разумно предполагала, то ли он был тронут моим признанием, понимая, что этот шаг продиктован раскаянием; как бы то ни было, он продолжал относиться ко мне так же, как прежде, и, казалось, его заботы, его доверие и уважение ко мне даже возросли,— он словно хотел вознаградить меня за то, что я преодолела мучительный стыд, которого стоили мне мои признания. Сестра, ты знаешь мое сердце, суди сама, какое впечатление это произвело на меня.

Лишь только он дал согласие на то, чтобы приехал бывший наш учитель, я тотчас же приняла сильнейшие меры предосторожности против себя самой: я решила все поверять мужу, передавать ему каждую беседу, какую случится мне вести отдельно от него, показывать ему все свои письма. Я даже вменила себе в обязанность писать каждое письмо так, словно он не будет его видеть, а затем показывать ему. Ты и в этом письме найдешь строки, написанные именно таким образом, и надо сказать, когда я писала их, то не могла забыть, что муж это прочтет, и все же не изменила там ни единого слова; но когда я принесла ему письмо, он посмеялся надо мною и не соблаговолил его прочесть.

Признаюсь, я была немного обижена: мне почудилось, что он усомнился в моей честности. От него не ускользнуло это движение души моей, и он поспешил успокоить меня. Право, он самый прямой и самый великодушный из людей. «Признайтесь,— сказал он,— что в этом письме вы говорили обо мне меньше, нежели обычно». Я это подтвердила: разве пристало бы много говорить о нем, а затем показать ему, что именно я о нем сказала. «Ну так вот,— улыбаясь, заметил он,— лучше не показывайте мне, что вы обо мне говорите, но зато говорите побольше». Затем он продолжал уже более строгим тоном: «Брак — это дело важное, серьезное, тут неуместны мелкие излияния чувств, какие допускает нежная дружба. Иной раз она очень кстати смягчает крайнюю суровость брачных уз, и очень хорошо, если порядочная и благоразумная женщина может найти у верной подруги утешение, совет и поддержку, коих она в иных вопросах не осмеливается просить у мужа. Пусть вы никогда и не говорите меж собой ничего такого, что вам не хоте-

лось бы передавать мне, но остерегайтесь обращать эти сообщения мужу в закон для себя, иначе они могут стать стеснительной обязанностью, и ваши откровенные беседы со мной будут более пространными, но менее приятными. А душевные излияния делаются сдержанными при любом свидетеле. Есть множество секретов, которые должны знать трое друзей, но говорить об этом они могут лишь с глазу на глаз. Вы сообщаете одно и то же своей подруге и мужу, но говорите с ними по-разному, а если вздумаете все смешать, то окажется, что ваши письма предназначаются больше мне, нежели ей, и вы не будете чувствовать себя свободно ни с нею, ни со мной. Я говорю все это и в своих и в ваших интересах. Разве вы не видите, что уже боитесь хвалить меня в своих письмах? И это вполне естественно, но зачем вы хотите лишить себя удовольствия сказать своей подруге, как вам дорог муж, а меня — удовольствия думать, что даже в самых задушевных беседах вам приятно говорить обо мне? Юлия, Юлия,— добавил он, сжимая мне руку и ласково глядя на меня,— вы унижаете себя предосторожностями, совсем для вас ненужными. Неужели вы никогда не научитесь по достоинству ценить себя?»

Дорогая моя подруга, не могу передать, как все это выходит у него, у несравненного моего мужа, а только мне теперь не стыдно перед ним. Вопреки всему он поднимает меня так высоко, и я чувствую, что своим доверием он научит меня, как заслужить это доверие.

## ПИСЬМО VIII

*Ответ*

Как, сестрица, наш путешественник прибыл, а я еще не видела его у моих ног, нагруженного трофеями его охоты в Америке! Так и знай, я обвиняю в этом промедлении не его, а тебя,— ведь он томится нетерпением не меньше моего, но я вижу, что он не так уж позабыл, как ты уверяешь, обязанности твоего раба, и я сетую не столько на его пренебрежение, сколько на твою тиранию. Я полагаю также, что очень дерзко с твоей стороны требовать, чтобы такая строгая и педантичная особа, как я, сама сделала бы первый шаг и без всяких церемоний помчалась к вам, желая расцеловать черномазого и щербатого [1] странника, четыре раза проплывшего под солнцем в зените и видевшего страну пряностей. Смешно, что ты принялась

[1] То есть рябого — на местном наречии.

журить меня, боясь, как бы я первая тебя не побранила. Хотела бы я знать, зачем ты беренься не за свое дело? Вот я по этой части мастерица, нахожу в ссорах удовольствие, и это самое подходящее для меня занятие. Но ты в нем до крайности неловка и совсем не умеешь ссориться. А если бы ты знала, как ты мила, когда бываешь в чем-нибудь виновата, какую прелесть придает тебе смущение и молящий взгляд,— право, вместо того чтобы журить друзей, тебе бы надо всю жизнь просить у них прощения, если не по чувству долга, то хотя бы из кокетства.

Ну, а теперь проси у меня прощения всяческим образом. Нечего сказать, хороший замысел: взять супруга в поверенные своих тайн и принимать хитроумные предосторожности в такой святой дружбе, как наша. Несправедливая подруга, малодушная женщина! Кому же из всех людей на свете откроешь ты свою добродетельную душу, если не доверяешь и своим и моим чувствам? Можешь ли ты, не оскорбляя нас обеих, бояться своего сердца и моей снисходительности, когда ты связана священными узами? С трудом могу понять, как тебя не возмутила мысль допустить кого-то третьего в сокровенные беседы двух подруг. Я очень люблю вволю поболтать с тобою, но если б я знала, что взгляд мужчины будет шарить в моем письме,— для меня уже не было бы никакого удовольствия писать тебе; вместе со сдержанностью закралась бы холодность, и мы уж больше не любили бы друг друга так, как прежде. Видишь, какой опасности подвергло бы нас твое глупое недоверие, не будь твой муж умнее тебя.

Он поступил очень благоразумно, отказавшись читать твое письмо. Быть может, оно не доставило бы ему такого уж удовольствия, как ты надеялась,— еще меньше, чем мне, ибо состояние, в каком я тебя видела, позволяет мне судить, что с тобою сейчас делается. Все мудрые созерцатели, посвятившие свою жизнь изучению сердца человеческого, знают о безошибочных признаках любви куда меньше, чем самая ограниченная, но чувствительная женщина. Г-н де Вольмар прежде всего заметил бы, что в твоем письме с начала и до конца говорится только о нашем друге, и он не обратил бы внимания на добавление, где о Сен-Пре нет ни слова. Если б это добавление ты писала десять лет назад, уж не знаю, дитя мое, как бы ты это сделала, но, несомненно, и в нем присутствовал бы наш друг, пробравшись какой-нибудь лазейкой, тем более что мужу не полагалось бы видеть этой приписки.

Господин де Вольмар заметил бы еще, что ты чрезвычайно внимательно изучила гостя и с большим удовольствием его

описываешь. Но твоему супругу надо проглотить всего Аристотеля и Платона, чтобы узнать, что женщина смотрит на своего возлюбленного, а не изучает его. Для всякого изучения требуется хладнокровие, которого никогда не бывает при встрече с тем, кого любишь.

Наконец, твой муж вообразит, что все замеченные тобою перемены ускользнули бы от чужого взора, а я, наоборот, боюсь найти такие перемены, которых ты не уловила. Как бы ни изменилась наружность твоего гостя, как бы она ни отличалась от его былого облика, если б сердце твое не изменилось, ты видела бы его прежним. Как бы то ни было, ты отводишь взгляд, когда он на тебя смотрит,— это все же хороший признак, очень хороший. Ты теперь, значит, отводишь взгляд, а не опускаешь глаза? Да? Ведь ты, наверно, не оговорилась? Как ты думаешь, наш мудрец тоже заметил это?

Есть еще одно, что может встревожить любого супруга,— а именно какая-то умиленная нежность, сохранившаяся в твоих речах о том, кто был тебе дорог. Читая твое письмо, слушая твои слова, можно ошибиться в оттенке твоего чувства к нему, и надо очень хорошо тебя знать, чтобы не обмануться тут,— надо знать, что ты говоришь просто о друге и что ты говоришь так о всех своих друзьях. Это черта, свойственная твоему характеру; твой муж хорошо ее знает и не станет тревожиться. Да и как может быть, чтобы в столь нежном сердце, как твое, чувство чистой дружбы чуточку не походило на любовь? Слушай, сестрица, пусть мои слова хорошенько приободрят тебя, но не внушают тебе гордости. Ты сделала большие успехи, и это очень много значит. Я полагалась только на твою добродетель, а теперь уже полагаюсь и на твой разум; я думаю теперь, что если ты и не совсем еще исцелилась, то, по крайней мере, легко можешь исцелиться, и ты уже так много для этого сделала, что будет непростительно, если ты не доведешь исцеление до конца.

Перед твоим добавлением к письму я заметила маленький отрывочек, который ты по своей добросовестности не вычеркнула и не изменила, памятуя о том, что муж твой должен его увидеть. Я уверена, что при чтении этих фраз его уважение к тебе возросло бы вдвое, если это возможно, но особого удовольствия они бы ему не доставили. Вообще это письмо могло бы внушить ему полное доверие к твоему поведению, но большие опасения относительно твоей склонности. Признаться, боюсь я этих рябин, с которых ты глаз не сводила. Никогда любовь не прибегала к столь опасным прикрасам. Я знаю, другую женщину они бы не привлекли, но ты всегда помнишь о той, кого

не могли пленить ни юность, ни красота возлюбленного, а погубила мысль о тех страданиях, которые он из-за нее перенес. Несомненно, по воле неба у него остались следы этой болезни для испытания твоей добродетели, а у тебя их не осталось для испытания твоей стойкости.

Перехожу к главному предмету твоего послания; ты ведь знаешь, когда было получено письмо нашего друга, я тотчас прилетела к тебе — дело было очень важное. Но теперь... Если б ты знала, как мне трудно оторваться хотя бы на несколько дней, сколько у меня сейчас всяких дел, ты бы поняла, что мне пока невозможно уехать из дому, иначе все совсем запутается и я должна буду провести тут еще и будущую зиму, а ведь это не входит ни в твои, ни в мои планы. Не лучше ли нам лишить себя удовольствия побыть вместе два-три дня, побеседовать наспех, зато уж через полгода зажить вместе? Полагаю также, что будет совсем не бесполезно, если я поговорю в отдельности и не спеша с нашим философом,— ведь надо разузнать, что у него на сердце, ободрить его и дать ему полезный совет, как вести себя с твоим мужем и даже с тобою; не думаю, чтобы ты могла свободно говорить с ним об этом, и вижу по твоему письму, насколько он нуждается в добром совете. Мы с тобою так привыкли руководить им, что отчасти отвечаем за него перед своей совестью; и до тех пор, пока его разум совсем не избавится от наваждения, мы должны ему помогать. Что до меня, то я всегда с удовольствием готова оказать ему поддержку,— он весьма почтительно прислушивался к моим советам, хотя это и очень дорого ему стоило. Я никогда этого не забуду и, после покойного мужа, больше всех уважаю и люблю нашего друга. Я приберегаю для него удовольствие оказать мне здесь некоторые услуги. У меня многие бумаги в большом беспорядке, он поможет мне в них разобраться; кроме того, есть несколько запутанных дел, и тут мне очень будут полезны его познания и его хлопоты. Впрочем, я надолго не задержу его у себя — дней пять-шесть, не больше, а может быть, отошлю его к тебе обратно на другой же день; у меня слишком много самолюбия, чтобы ждать, пока гостя не охватит нетерпение и не захочется ему поскорее возвратиться домой, и слишком зоркий взгляд, который не даст мне тут ошибиться.

Итак, лишь только он отдохнет с дороги, немедленно пришли его ко мне,— то есть дозволь ему поехать. Тут уж я шуточек не потерплю. Ты прекрасно знаешь, что если я иной раз и смеюсь сквозь слезы, а все же огорчаюсь всегда искренне, если и браню кого-нибудь посмеиваясь, то все-таки чувствую гнев.

Если ты будешь умницей и все сделаешь, как я прошу, обещаю тебе прислать с ним хороший подарок, который доставит тебе большое-пребольшое удовольствие... А если заставишь меня томиться ожиданием, так и знай, ничего не получишь.

P. S. Кстати, скажи мне: курит наш моряк? ругается? пьет водку? носит большую саблю? похож на пирата?.. Боже мой, как мне любопытно посмотреть на человека, возвратившегося от Антиподов.

## ПИСЬМО IX

*От Клары к Юлии*

Ну вот, сестрица, возвращаю тебе твоего раба. Целую неделю он был моим собственным рабом и носил свои оковы столь охотно, что, как видно, прямо создан для услуг. Скажи спасибо, что я не задержала его еще на неделю, потому что, не в обиду тебе будь сказано, если бы ждать того дня, когда ему станет скучно со мной, то я могла бы и не отсылать его к тебе так скоро. Словом, я без зазрения совести держала его у себя, только вот не осмелилась поселить его в своем доме. Не раз в жизни я чувствовала гордость душевную, которая презирает раболепие перед благоприличиями и так подходит добродетели. На этот раз я почему-то оказалась более робкой. Однако ж могу заверить, что скорее готова была упрекать, нежели хвалить себя за такую сдержанность.

Но знаешь ли ты, почему наш друг так спокойно переносил свое пребывание здесь? Во-первых, он был в моем обществе, и смею утверждать, что одно уж это обстоятельство помогло ему набраться терпения. Во-вторых, он избавил меня от некоторых неприятностей, оказал мне услуги в моих делах, а другу такое занятие не кажется скучным. В-третьих, ты хотя и виду не подаешь, но, несомненно, сразу угадала, что мы говорили о тебе, и если вычесть часы, уходившие на эти беседы, из того времени, которое он провел здесь, ты убедишься, что на мою долю оставалось очень мало. Разве не странная фантазия — оставаться вдали от тебя ради удовольствия говорить о тебе? Да нет, не такая уж странная. В твоем присутствии он чувствует себя стесненно, ему постоянно приходится следить за собою, малейшая нескромность стала бы преступлением, а в такие опасные минуты благородное сердце послушно лишь голосу долга; но вдалеке от тех, кто нам дорог, можно позволить себе думать о них. Человек подавляет в душе чувство любви, ставшее преступным; но зачем ему корить себя за прошлое, когда

его любовь преступной не была? Могут ли быть преступными сладостные воспоминания о былом законном счастье? Вот, думается, рассуждение, которое тебе будет не по вкусу, но ведь он-то в конце концов может себе позволить такие мысли. Он, так сказать, поднялся вверх по течению своей любви. В наших беседах воскресла первая его молодость. Он вновь повторил то, что когда-то поверял мне; он вспомнил счастливые дни, когда имел право любить тебя; он живописал мне прелесть пламенной и невинной любви... несомненно, он ее приукрасил.

О нынешнем своем отношении к тебе он говорил мало, и в том, что он говорил, было больше почтительности и восхищения, нежели любви; по-моему, он возвратится к тебе с гораздо более спокойным сердцем, чем приехал сюда. Конечно, лишь только речь заходит о тебе, в словах его звучит какая-то нежность, поднимающаяся из глубины его чувствительного сердца, однако дружба, как и прежде трогательная, придает ей другой тон; правда, я уже давно заметила, что никто не может ни видеть тебя, ни говорить о тебе равнодушно; и если к этому всеобщему чувству умиления, возникающего при виде тебя, прибавить чувство более нежное, вызванное незабвенными воспоминаниями, мы поймем, что трудно и даже невозможно, чтобы при самой строгой добродетели он относился к тебе иначе, нежели теперь. Я внимательно его расспрашивала, внимательно наблюдала и слушала, изучала его, насколько то было возможно: я не могу как следует разобраться, что творится в его душе, да и он сам не лучше в этом разбирается; и все же могу поручиться, что он проникся твердым сознанием своего и твоего долга; представить себе Юлию развращенной, достойной презрения, для него было бы страшнее смерти. Сестра, я хочу дать тебе лишь один совет, но прошу тебя послушаться меня — избегай воспоминаний о прошлом, и я отвечаю за будущее.

Что касается возвращения портрета, о котором ты говоришь,— об этом нечего и думать. Я исчерпала все мыслимые доводы. Я просила, настаивала, молила, заклинала, сердилась, целовала его, взяла его за руки и стала бы перед ним на колени, если б он допустил это. Он ничего и слушать не хочет. Негодование и упорство его беспредельны, он даже поклялся, что скорее согласится никогда более не видеть тебя, нежели отдать твой портрет. И, дав мне потрогать эту миниатюру, висящую у него на груди, он, задыхаясь от волнения, в порыве гнева промолвил: «Вот он, вот этот портрет, единственное оставшееся у меня сокровище, которое хотят вырвать у меня!

Будьте уверены, что его отнимут у меня только вместе с жизнью». Послушай меня, сестрица, разумнее всего оставить ему портрет. В сущности, разве тебе так уж важно, чтоб он не оставался у Сен-Пре? Пусть упрямец хранит миниатюру. Ему же хуже.

Излив свою душу, он, видимо, почувствовал облегчение, немного успокоился и тогда заговорил о своих делах. Оказывается, ни время, ни рассудок не изменили его намерение: по-прежнему его честолюбие ограничивается желанием провести всю жизнь близ милорда Эдуарда. Я могла лишь одобрить столь благородные планы, отвечающие его характеру и чувству признательности, которое он должен питать к милорду за беспримерные его благодеяния. Он сообщил мне, что и ты высказала такое же мнение, но что г-н де Вольмар на сей раз промолчал. И тут у меня мелькнула догадка. По поведению твоего мужа, надо сказать довольно странному, и по некоторым другим признакам я подозреваю, что у него есть какие-то свои виды на нашего друга, о которых он пока умалчивает. Предоставим ему действовать и доверимся его рассудительности. Он принялся за дело таким способом, что нам должно быть достаточно ясно, насколько все задуманное им будет лишь к выгоде человека, о котором он так заботится.

Ты недурно описала наружность и манеры нашего друга,— видно, наблюдала за ним весьма пристально, чего я не ожидала от тебя,— это хороший признак. Но, Юлия, разве ты не находишь, что долгие лишения и привычка мужественно переносить их сделали его лицо еще более значительным, чем прежде? Несмотря на твой рассказ, я боялась встретить в нем ту жеманную учтивость, то обезьянство, которыми люди неизбежно заражаются в Париже, живя среди бездельников, заполняющих свой праздный день всякими пустяками. Но оттого ли, что светский лоск не пристает к иным душам, оттого ли, что морской воздух совсем стер этот глянец,— я не заметила ни малейшего его следа, и то горячее внимание, которое наш друг мне выказывал, несомненно шло от сердца. Он говорил со мною о бедном моем муже, но предпочел плакать вместе со мною, чем утешать меня, и не произнес по поводу моей утраты ни одной из тех фраз, какие говорят молодым вдовам. Он ласкал мою дочку, но, вместо того чтобы восторгаться ею вместе со мной, он, так же как и ты, упрекал меня за ее недостатки и жалел, что я балую девочку; он ревностно занялся моими делами и почти ни в чем не был согласен с моими мнениями. Вдобавок, когда яркое солнце режет мне глаза, он и не поду-

мает подбежать к окну и задернуть занавеску; а если мне надо перейти из одной комнаты в другую, то сколько б я ни совершала это утомительное путешествие, он не бросится мне на помощь и не предложит галантно руку, обернув ее полой кафтана; вчера мой веер добрую минуту лежал на полу, а мой кавалер так и не кинулся с другого конца комнаты и не подхватил его, как будто вытаскивая из огня. Утром, до того как прийти ко мне, он ни разу не посылал справиться о моем здоровье. На прогулке он не стремился, как то велит хороший тон, всегда держать шляпу на голове, как будто она приколочена к черепу гвоздями [1]. За столом я частенько просила у него табакерку (которую он не называет «коробочкой»), и он всегда подавал мне ее попросту рукой, а не на тарелке, словно лакей; раза два-три за обедом он пил за мое здоровье, и готова держать пари, что ежели б он остался у нас на зиму, то по вечерам грелся бы вместе с нами у камелька, как старый буржуа. Тебе, конечно, смешно, сестрица, но укажи мне среди наших знакомых, недавно приехавших из Парижа, хоть одного человека, сохранившего такую простоту нравов. Впрочем, тебе, вероятно, показалось, что в одном отношении наш философ изменился к худшему: теперь он немножко больше обращает внимания на людей, которые говорят с ним, а ведь это возможно только в ущерб его вниманию к тебе; думаю, однако, дело не дойдет до его примирения с госпожой Белон. А по-моему, знаешь, он изменился к лучшему — стал еще серьезнее и степеннее, чем прежде. Душенька, побереги его хорошенько до моего приезда. Он сейчас как раз такой, что мне будет очень приятно дразнить его с утра до вечера.

Подивись же моей скромности: я еще ничего тебе не сказала, какой подарок тебе посылаю,— и какой другой подарок вскоре за ним последует; но ты увидишь первое подношение прежде, чем распечатаешь мое письмо, и, зная, как я обожаю то, что тебе преподношу сейчас, и какие у меня к тому есть основания, ты, которая так тосковала об этом подарке, должна будешь признать, что я сделала даже больше, чем обещала.

---

[1] Парижане гордятся, что сумели сделать светскую жизнь легкой и удобной. Однако же эта легкость состоит из множества правил, столь же важных, как и упомянутые здесь. В хорошем обществе все становится обычаем и законом. И обычаи в нем возникают и исчезают с молниеносной быстротой. Воспитанность в том и состоит, чтобы держаться настороже и ловить все модные новшества на лету, преувеличивать их и показывать, что тебе известны самые последние. И все это для простоты!

Ах, Юлия, в ту минуту, когда ты читаешь эти строки, моя милая дочка, наверное, уже сидит у тебя на коленях. Ты обнимаешь ее. Она гораздо счастливее матери. Но через два месяца я буду счастливее, чем она, потому что больше почувствую свое счастье. Ну, дорогая сестра, разве ты не владеешь мною целиком и полностью? Там, где ты находишься, где находится моя дочка, там и я пребываю,— какой частицы моей души нет возле вас? Так вот, прими это милое дитя, прими как родную дочку; я тебе уступаю ее, отдаю ее тебе, вручаю тебе материнскую власть над нею, исправь мои ошибки в ее воспитании, возьми на себя заботы, с которыми я, по-твоему, очень плохо справляюсь; будь уже сейчас матерью девочки, которая когда-нибудь станет женою твоего сына; для того чтобы она стала мне еще дороже, сделай из нее, если возможно, вторую Юлию. Она уже похожа на тебя лицом, предвижу, что по характеру будет такая же серьезная особа, как ты, и такая же любительница читать проповеди; когда ты отучишь мою дочь от капризов, виновницей коих считают меня, она как две капли воды станет похожа на мою кузину Юлию; только будет счастливее, ибо меньше слез ей придется лить и меньше борений выдерживать. Если бы небо сохранило ей отца, лучшего из отцов, он ни за что не стал бы мешать ее сердечным склонностям, да и мы с тобою не будем им противиться. С какой радостью я вижу, что ее склонности согласуются с нашими планами. Знаешь ли ты, что она жить не может без своего маленького «жениха», отчасти поэтому я и посылаю ее к тебе. Вчера у нас с ней был забавный разговор,— наш друг просто умирал от смеха. Прежде всего выяснилось, что ей нисколько не жаль расстаться со мною,— хотя я с утра до вечера угождаю ей как самая покорная служанка и ни в чем не могу ей отказать. Ты же по двадцать раз в день говоришь ей «нет», но именно ты для нее «дорогая мамочка», которую она видит с радостью и, несмотря на все твои запреты, любит больше, чем меня со всеми моими лакомствами. Когда я ей сказала, что собираюсь отправить ее к тебе, она, как ты, конечно, и ожидала, пришла в неописуемый восторг; но, желая ее подразнить, я добавила, что на ее место ты пришлешь мне «маленького жениха», а это ей совсем не по нраву. Она растерянно спросила, «зачем он мне». Я ответила, что хочу оставить его себе. Она сделала гримасу. «Так что же, Генриетта, ты, значит, не хочешь уступить мне твоего «маленького жениха»?» — «Нет»,— довольно сухо ответила она. «Нет? А я тоже не хочу его уступить. Кто же разрешит наш спор?» — «Маменька, пусть все решит мамоч-

ка».— «Ну, значит, верх будет мой, ты же знаешь: чего я хочу, того и она хочет».— «Ах, но ведь мамочка всегда хочет только разумного».— «Как, мадемуазель, а разве это не одно и то же?» Девочка лукаво улыбнулась. «Но все-таки,— продолжала я,— почему бы ей и не отдать мне «маленького жениха»?» — «Потому что он вам не подходит».— «А почему он мне не подходит?» В ответ опять лукавая улыбка. «Ну говори откровенно,— по-твоему, я слишком стара для него?» — «Нет, маменька, но он слишком молод для вас...» Сестрица, подумай, ведь девчушке только семь лет! Право, если голова у меня не пошла кругом, то, верно, это уже произошло раньше.

Мне хотелось еще ее подразнить. «Дорогая Генриетта,— сказала я с самым сердитым видом,— он и тебе не подходит, уверяю тебя».— «Почему это?» — воскликнула она встревоженно. «Он для тебя слишком большой проказник».— «Да? Это ничего, мама. Он у меня будет умником».— «А если, не дай бог, он и тебя с ума сведет?» — «Ах, милая маменька, вот хорошо! Я хочу походить на вас».— «На меня? Ах ты, дерзкая девчонка!» — «Ну да, маменька, вы же целый день говорите, что я вас с ума свожу. Ну так вот, пусть он меня с ума сводит, вот и все».

Я знаю, ты не одобряешь этой милой детской болтовни и скоро сумеешь положить ей конец. Мне она кажется очаровательной, но я не хочу ее оправдывать, а только показать тебе, что твоя дочка уже очень любит своего «маленького жениха», и хотя он на два года младше ее, она вполне достойна авторитета, который ей дает ее старшинство. В противоположность участи твоей покойной матери, я вижу по твоему, да и по своему примеру, что, когда в доме властвует женщина, порядки в нем совсем неплохие. Прощай, моя любимая, прощай, дорогая моя, неразлучная подруга. Считайте дни, время идет, и к сбору винограда я уже буду у вас.

## ПИСЬМО X

*К милорду Эдуарду*

Сколько радостей, пришедших слишком поздно, вкусил я за последние три недели! Как сладостно проводить дни в лоне спокойной дружбы, укрывшись от урагана страстей. Милорд, какое приятное и трогательное зрелище — простой, хорошо налаженный дом, где царит порядок, мир, невинность, где нет ни пышности, ни блеска, но соединено все, что соответствует истинному назначению человека. Леса и нивы, уединение, покой,

летнее время года, широкая водная гладь, расстилающаяся перед моими глазами,— все напоминает мне мой прелестный остров Тиниан. Казалось, воплотились пламенные мечты, кои столько раз лелеял я там; жизнь, которую я здесь веду, мне по вкусу, люди, среди которых живу я, мне по сердцу. Для полноты счастья недостает мне среди собравшихся здесь лишь двух человек: но я надеюсь вскоре их увидеть.

В ожидании тех дней, когда с приездом вашим и госпожи д'Орб достигнут предела сладостные и чистые радости, кои мне довелось испытать здесь, я хочу дать вам о них представление, подробно описав здешний уклад жизни, свидетельствующий о семейном счастье хозяев дома, которое разделяют и все, живущие под их кровом. Быть может, мои рассуждения когда-нибудь пригодятся вам при осуществлении плана, занимающего вас, и эта надежда еще больше побуждает меня рассказать о том, что я здесь вижу.

Я не стану описывать дом в Кларане,— вы его знаете. Вы знаете, что он стал просто очарователен, что с ним связаны для меня сладкие воспоминания и он дорог для меня как тем, что я вижу в нем сейчас, так и тем, что он мне напоминает. Г-жа де Вольмар с полным основанием предпочитает жить тут, а не в Этанже,— большом великолепном замке, но таком старом, унылом и неудобном, да еще и не имеющем в окрестностях ничего, что могло бы сравниться с красотами Кларана.

С тех пор как хозяева дома переехали сюда, они постарались обратить себе на пользу то, что прежде служило лишь для украшения,— теперь это уже дом, предназначенный не для любования им, а для постоянной жизни. Исчезли длинные неуютные анфилады, так как сквозные пролеты заделаны и двери прорезаны в другом месте; огромные покои перегорожены, и комнаты теперь расположены лучше. Старинную богатую мебель заменили простой и удобной. Все теперь тут так приятно и весело, все дышит изобилием и домовитостью, ни в чем нет кричащего богатства и роскоши. В каждой комнате чувствуется, что ты в деревне, и вместе с тем найдешь тут и все городские удобства. Подобные же перемены произведены и в служебных постройках. Птичий двор расширили, потеснив каретники, на месте старой развалившейся бильярдной стоит теперь амбар с прекрасным точилом для выжимки винограда, а там, где прежде обитали крикливые павлины, от которых теперь отделались, устроили сыроварню. Огород был слишком мал для надобностей кухни, и часть цветника засадили овощами, но грядки этого второго огорода расположены так умело,

содержатся в такой опрятности, что этот переряженный цветник еще больше, чем прежде, ласкает взор. Мрачные тисы, закрывавшие стены дома, заменены приветливыми шпалерами плодовых деревьев. Вместо бесполезного индийского каштана во дворе уже начинают давать тень молодые тутовые деревья, осыпанные черными ягодами; даже въездная аллея до самой дороги обсажена теперь двумя рядами ореховых деревьев вместо старых тополей. Повсюду приятное заменено полезным, и почти всегда приятное от этого только выиграло. По крайней мере, я нахожу, что шум, доносящийся с птичьего двора, пение петухов, мычание коров, ржание лошадей, которых запрягают в телеги, трапезы в поле, возвращение работников и все признаки деревенского хозяйства придают дому характер более сельский, более живой, более веселый, что-то радостное, говорящее о благополучии,— чего у него не было, когда он стоял, замкнувшись в угрюмой важности.

Вольмары не сдают землю в аренду фермерам, а обрабатывают ее своими стараниями, и это занимает много места в их занятиях, в их доходах, в их удовольствиях. Имение баронов д'Этанж состоит из полей, лугов и леса, но в Кларане основа хозяйства — виноградники, и тут еще больше, чем на хлебных полях, урожай зависит от способов обработки — еще одна экономическая причина, по которой супруги Вольмар предпочли жить в Кларане. Однако почти каждый год они оба ездят в Этанж ко времени жатвы, а Вольмар довольно часто бывает там и без жены. Они положили себе за правило извлекать из сельского хозяйства все, что оно может дать,— но не с целью наживы, а для того, чтобы кормить как можно большее число людей. Г-н де Вольмар утверждает, что плодородие земли пропорционально количеству рук, ее возделывающих, чем лучше земля возделана, тем больше она родит. А изобильные урожаи дают возможность еще лучше ее возделывать; чем больше людей и скота для сего употребляют, тем больше избытков дает земля для их содержания. Никто не знает, говорит он, где предел этому непрестанному и взаимосвязанному увеличению плодородия земли и количества земледельцев, занятых на ней. Наоборот, земли запущенные теряют плодородие; чем меньше в стране людей, тем меньше съестных продуктов она производит; из-за недостатка населения нельзя и прокормить его; и в каждом краю, который обезлюдел, уцелевшие его обитатели рано или поздно должны умирать с голоду.

Так как в Кларане много земли и вся она обрабатывается с великим тщанием, то, кроме дворовых слуг, тут еще нужно

много поденщиков; следовательно, супруги Вольмар дают, к своему удовольствию, пропитание многим людям. Нанимая поденщиков, они предпочитают брать местных крестьян или жителей соседних деревень, а не пришлых и незнакомых людей. Если при этом хозяева кое-что теряют, ибо не всегда получают самых сильных батраков, зато выигрывают они в другом: местные поденщики признательны им за предпочтение, они всегда под рукой, и на них можно рассчитывать круглый год, хотя платят им не за все месяцы.

Для всех нанятых батраков устанавливаются две цены. Одна цена обычная, получаемая по праву, ходовая цена в этой местности, обязательная плата за работу, на которую взяли людей. Другая цена немного выше первой,— поощрительная; ее платят работникам только в том случае, если довольны ими, и почти всегда бывает так, что они стараются изо всех сил и выработка их стоит больше добавочной платы. Ведь г-н де Вольмар — человек прямой и строгий, он никогда не позволит обратить в обычай и употребить во зло то, что установлено для поощрения и в целях благодеяния. За поденщиками присматривают и подгоняют их надсмотрщики. Надсмотрщики и сами работают на скотном дворе и заинтересованы в усердной работе других, так как сверх своего жалованья получают еще некую долю со всего, что бывает собрано благодаря их стараниям. Кроме того, почти ежедневно, а то и по нескольку раз в день, к ним наведывается сам г-н де Вольмар; жена охотно сопровождает его на прогулках. Наконец, во время больших работ Юлия каждую неделю дает двадцать батцев[1] награды лучшему из работников — безразлично, поденщику или батраку,— тому, кто, по мнению хозяина, трудился усерднее всех за истекшую неделю. Все эти меры, побуждающие к соревнованию, применяются осмотрительно, со справедливостью, и незаметно делают всех трудолюбивыми и проворными и, хотя кажутся убыточными, в конечном счете приносят больше, чем стоят. Но так как прибыль от них видна бывает лишь со временем и при постоянном их применении, то лишь немногие знают, насколько они выгодны, и желают ими пользоваться.

Есть одно средство, действующее еще сильнее, единственное, на которое никак не могут натолкнуть хозяйственные расчеты — средство, особенно свойственное г-же де Вольмар,— а именно уменье завоевывать сердца всех этих славных людей, даря им свою привязанность. Она полагает, что деньгами нель-

---

[1] Местная мелкая монета.

ся расквитаться за труд, выполняемый для нас, и каждому за услугу надо платить услугой. Работники, батраки, слуги и вообще все, кто трудится для нее хоть один день, становятся ее детьми; она принимает участие в их радостях, в их горестях, в их судьбе; она справляется, как идут их дела, вникает в их интересы, окружает их заботами, дает им советы, примиряет их раздоры и сердечность свою проявляет не в медоточивых, пустых словах, а в настоящей помощи, в постоянных добрых делах. Со своей стороны, они по малейшему ее знаку бросают все и спешат к ней,— стоит ей сказать слово, они летят как на крыльях; одним лишь взглядом своим она усугубляет их рвение, они рады ее присутствию, без нее говорят о ней и всегда ревностно ей служат. Тут много значат ее обаяние и ее речи, а более того — чары ее добродетели. Ах, милорд, какую дивную и могучую власть имеют красота и добросердечие!

Что касается домашней прислуги, то в Кларане она состоит из восьми человек — трех служанок и пяти слуг, не считая камердинера и батраков, работающих на скотном дворе. Никогда не бывает, чтобы немногочисленная челядь работала плохо; но в Кларане слуги отличаются особым усердием, как будто каждый, помимо своих обязанностей, считает своим долгом трудиться и за остальных семерых, и работа идет так согласно, словно все делается одним человеком. Никогда не увидишь, чтобы они сидели сложа руки, играли от безделья в кости в передней или шалопайничали во дворе; нет, они всегда заняты каким-либо полезным делом, помогают на скотном дворе, в винном подвале, в кухне; у садовника, кроме них, других подручных не имеется, и самое приятное то, что всякую работу они делают весело и с удовольствием.

Чтобы получить таких хороших слуг, их приучают к делу с юности. Здесь не придерживаются правила, господствующего, как я заметил, и в Париже и в Лондоне, где предпочитают нанимать хорошо вышколенных слуг, то есть законченных мошенников, которые без конца меняют места, ища условий повыгодней, и в каждом доме, где они промелькнут, успевают перенять недостатки и лакеев и хозяев и, ловко угождая всем, никогда ни к кому не привязываются. Среди такой подлой челяди не может царить ни честность, ни преданность; во всех богатых домах этот сброд разоряет хозяев и развращает детей. Зато в Кларане выбор слуг признается важным делом. Тут их не считают просто наемниками, от коих требуют только исправного исполнения обязанностей; на них смотрят скорее как на членов семьи и глубоко огорчаются, ежели они дурно ведут

себя. Прежде всего от них требуют честности, во-вторых, хотят, чтобы они любили хозяина, в-третьих, служили бы охотно. Но если хозяин хоть немного рассудительный человек, а слуга попадается понятливый, третье требование всегда выполняется само собой, как естественное следствие двух первых обстоятельств. Итак, слуг здесь берут не из города, а из деревни. В этом доме они начинают свою службу, и, конечно, все сколько-нибудь стóящие люди здесь и закончат ее. Обычно слуг здесь выбирают из больших, многодетных семей, причем отец и мать сами приводят своих детей и просят взять их. Выбирая этих юных слуг, смотрят, чтобы они были хорошо сложены, отличались крепким здоровьем и приятным лицом. Г-н де Вольмар их расспрашивает, рассматривает, а затем представляет жене. Если кандидаты нравятся обоим хозяевам, их берут в дом, сначала на испытание, а затем принимают в число слуг, то есть, можно сказать, родных детей, и некоторое время их терпеливо и старательно учат всему, что они обязаны делать. Обязанности эти так просты, служба идет так ровно, размеренно, у хозяев так мало причуд и привередливости, слуги так быстро привязываются к господам, что быстро всему научаются. Живется им хорошо, они чувствуют вокруг достаток, какого дома у них не было; но им не дают изнежиться в безделье, ибо праздность — мать всех пороков. Здесь не потерпят, чтобы они корчили из себя бар и гордились бы лакейским своим положением. Они продолжают работать, как работали в родном доме; они как будто сменили отца и мать, приобрели более богатых родителей. И поэтому никто из них не питает презрения к прежней своей сельской жизни. Если они когда-нибудь и расстаются с этим домом, то всякий из них охотно возвращается к крестьянской работе, не желая менять ее на какое-либо иное занятие. Словом, я никогда не видел дома, где каждый слуга работал бы так усердно и так мало чувствовал себя слугой.

Итак, воспитывая и обучая своих слуг, не надо выставлять обычные нелепые возражения: «Зачем мне готовить их для других хозяев». На это можно ответить: «Воспитывайте их как следует, и никогда они не уйдут от вас к другим хозяевам. А если, обучая их, вы думаете только о себе, то и они в полном праве подумать о себе и расстаться с вами в любую минуту. Уделяйте им больше забот, и они будут к вам привязаны. Благодарность люди чувствуют только за сознательно сделанное им добро, а тот, кто случайно пользуется благами, которые я предназначаю лишь для себя самого, не обязан питать ко мне признательности».

Желая надежнее предотвратить подобное неудобство, супруги де Вольмар прибегают еще к другому средству, мне оно кажется весьма разумным. Устраивая свое хозяйство, они присматривались, какое количество слуг держат в домах, поставленных приблизительно так же, как у них самих,— оказалось, что число этих слуг достигало пятнадцати — шестнадцати человек; для того чтобы им служили хорошо, Вольмары сократили это число вдвое; прислуги стало меньше, но работать она стала добросовестнее. А чтоб работа шла еще лучше, хозяева сделали так, чтобы людям выгодно было служить у них подолгу. Поступая к ним, слуга получает обычное жалованье, но это жалованье ежегодно увеличивается на одну двадцатую; таким образом, через двадцать лет оно более чем удвоится, и тогда содержание слуги обойдется хозяевам в изрядную сумму; но не надо быть большим математиком, чтобы высчитать, что это более мнимое, нежели действительное увеличение расхода; что двойное жалованье придется платить немногим; но если б его даже пришлось платить всем, этот добавочный расход с лихвой окупится преимуществом иметь усердных слуг в течение двадцати лет. Вы, конечно, согласитесь, милорд, что это надежный способ постоянно увеличивать старательность слуг и вызывать в них привязанность к дому. Подобные меры подсказываются не только благоразумием, но и чувством справедливости. Разве справедливо, чтобы новичок, ко всему в доме равнодушный, и, может быть, даже дурной человек, поступив в услужение, получал бы такое же жалованье, как испытанный старый слуга, доказавший за долгие годы службы свое усердие и преданность, к тому же человек, приближающийся к старости, когда он уже не в силах будет зарабатывать кусок хлеба. Впрочем, последний довод для владельцев Кларана не подходит, ибо смею вас уверить, что столь гуманные хозяева не могут пренебречь долгом, который просто из тщеславия выполняют многие жестокосердые господа, и, конечно, здесь не оставляют без помощи своих людей, когда недуг или старость лишат их возможности служить.

У меня перед глазами имеется довольно разительный пример такой заботливости. Барон д'Этанж, желая вознаградить за долгую службу своего камердинера почетной отставкой, выхлопотал для него у сенаторов выгодную и легкую должность. Недавно Юлия получила от этого старого слуги трогательное письмо, в коем он умоляет избавить его от необходимости принять эту должность. «Я стар,— пишет он,— я потерял всю свою семью; нет у меня иных родных, кроме моих господ; я

так надеялся мирно окончить дни свои в том доме, где я провел жизнь... Сударыня, я в младенчестве вашем носил вас на руках и просил тогда у бога, чтобы довелось мне носить на руках детей ваших; и бог услышал мою молитву; не отказывайте же мне в радости видеть, как и они растут и благоденствуют... Я привык жить в доме, где царит мир, а разве еще найду я подобный дом, в коем упокоили бы мою старость?.. Явите божескую милость, напишите барону и заступитесь за меня. Ежели он недоволен мною, пусть выгонит меня и не даст мне никакой должности; но ежели он признает, что я верно служил ему целых сорок лет, пусть позволит мне закончить дни жизни своей на службе ему и вам; вот лучшая для меня награда». Нечего и спрашивать, написала ли Юлия отцу. Я вижу, что ей было бы так же горько лишиться этого старика, как и ему расстаться с нею. Разве я не прав, милорд, когда сравниваю столь любезных хозяев с отцами, а слуг с их детьми? Как видите, они и сами так смотрят на себя.

Еще не было случая, чтобы в этом доме кто-нибудь из слуг попросил расчета. И редко бывает, чтобы кого-нибудь здесь грозили уволить. Эта угроза страшит слуг, поскольку служить здесь легко и приятно. Больше всего она тревожит самых лучших, но приводить ее в исполнение случается лишь в отношении тех, кого не жаль потерять. Тут тоже установлен свой порядок. Если г-н де Вольмар скажет: «Я вас выгоняю», еще можно молить г-жу де Вольмар о заступничестве; иной раз можно по ее ходатайству получить прощение и быть возвращенным; но если уж она сама прогонит слугу — решение ее непреложно, на прощение надеяться нечего. Такого рода соглашение между нею и супругом хорошо обдумано и целью своей имеет умерить дерзкую уверенность в снисходительности супруги и жестокий страх перед непреклонной твердостью мужа. И тем не менее все до крайности боятся услышать от справедливого и невспыльчивого хозяина грозные слова: «Выгоняю вас»,— ведь не только нельзя быть уверенным, что получишь прощение, а известно, что оно дважды не дается; но при этой угрозе провинившийся теряет право на прибавку за выслугу, и даже, если его примут обратно, он заново начинает службу; эта предупредительная мера спасает хозяев от нахальства старых слуг и увеличивает осмотрительность работников по мере того, как возрастает то, что они могут потерять.

Женская прислуга состоит из горничной, няни, приставленной к детям, и кухарки. В кухарки нанята очень опрятная и очень толковая крестьянка, которую г-жа де Вольмар сама

научила стряпать; в этой стране нравы еще простые[1], и молодых девиц любого сословия приучают ко всем работам, кои когда-нибудь будут делаться у них в доме служанками: воспитательницы хотят, чтобы в случае нужды хозяйка умела руководить слугами, а не давала бы им верховодить. Горничная теперь уже не Баби — ее отослали в Этанж, на родину; ей поручено обихаживать замок и надзирать за поступлением доходов, так что она стала кем-то вроде контролера при управителе. Г-н де Вольмар уже давно уговаривал жену произвести это перемещение, но она не могла решиться удалить от себя старую служанку своей матери, хотя имела много оснований быть ею недовольной. Недавно мужу удалось наконец убедить ее, она дала согласие, и Баби уехала. Баби женщина умная и преданная, но она во все вмешивается и не умеет держать язык за зубами. Подозреваю, что она не раз выдавала тайны своей госпожи; очевидно, г-ну де Вольмару это известно, и, желая предотвратить излишнюю ее откровенность с посторонними, этот разумный человек сумел дать ей такое назначение, при коем ее хорошие качества окажутся полезны, а дурные не будут вредить. На ее место взяли ту самую Фаншону Регар, о которой, как вы слышали, я отзывался с большой похвалой. Несмотря на покровительство Юлии, на ее благодеяния, на благодеяния барона д'Этанжа и ваши, милорд, эта молодая женщина, такая честная и рассудительная, несчастлива в семейной жизни. Клод Анэ, так мужественно переносивший бедность, не мог справиться с искушениями, возникшими при более легкой жизни. Видя в доме достаток, он забросил свое ремесло, совсем сбился с пути и бежал куда-то из родных мест, бросив жену с ребенком, который потом у нее умер. Юлия взяла ее к себе и научила всяким рукоделиям, какие полагается знать горничной, и в день моего приезда в Кларан я был весьма приятно удивлен, увидев Фаншону при исполнении обязанностей. Г-н де Вольмар относится к ней с большим уважением, и оба они с женой поручили ей присматривать за их детьми и за неопытной няней. Няня, тоже взятая из деревни, женщина простая и бесхитростная, но заботливая, терпеливая и послушная. Словом, здесь все предусмотрено для того, чтобы пороки городов не проникали в дом, хозяева коего этими пороками не страдают и не выносят их.

Хотя все слуги едят за одним столом, мужчины и женщины мало общаются меж собою,— этот вопрос признают здесь

---

[1] Простые? Значит, они с тех пор очень переменились.

очень важным. Супруги де Вольмар совсем не согласны с мнением иных хозяев, кои равнодушны ко всему, кроме своей выгоды, и требуют только, чтобы им хорошо прислуживали, не беспокоясь о поведении своих людей. А здесь, наоборот, полагают, что те, кто ищет только усердия слуг, недолго будут им пользоваться. Слишком тесная близость двух полов никогда к добру не ведет. Из тех разговоров, какие происходят в каморках горничных, и проистекает большинство беспорядков в хозяйстве. Если какая-нибудь из горничных поправится дворецкому, он не преминет ее соблазнить, чем причиняет вред хозяевам. Сговор между лакеями или между служанками не всегда чреват опасными последствиями. Но если в сговоре участвуют и слуги и служанки, это обязательно приводит к их тайному господству, что в конце концов разоряет самые состоятельные семьи. Итак, здесь добиваются степенного и скромного поведения служанок не только из любви к благонравию и порядочности, но и из соображений правильно понятого личного интереса; ведь что ни говори, а хорошо исполняет свои обязанности только тот, кто их любит, а любить свои обязанности всегда могут только люди, у коих есть чувство чести.

Дабы не допустить опасного сближения между слугами и служанками, здесь отнюдь не связывают их строгими правилами, кои им соблазнительно было бы тайком нарушить, но, как будто и не думая об этом, здесь вводят обычаи, действующие куда сильнее, чем сама хозяйская власть. Слугам не запрещают встречаться, но делают так, что для этого у них не бывает ни возможности, ни желания. Должного результата достигают тем, что мужчинам назначают одни занятия, а женщинам другие; мужчинам прививают одни привычки и вкусы, а женщинам другие; придумывают для мужчин одни развлечения, а для женщин другие. Видя, какой замечательный порядок царит здесь, они чувствуют, что в столь благоустроенном доме мужчины и женщины должны мало общаться друг с другом. Будучи принуждаемы к сему приказами, они усмотрели бы в них прихоть хозяина, а тут без всякого отвращения подчиняются установленному укладу жизни, который формально не предписывается им, но который они сами признают наилучшим и вполне естественным. Юлия полагает, что так оно есть и на самом деле; она утверждает, что ни из любви, ни из супружеского союза вовсе не проистекает необходимость постоянного общения между мужчинами и женщинами. По ее мнению, жена и муж, конечно, должны жить вместе, но не одинаково; они должны действовать согласно, но делать не одно и

то же. Образ жизни чрезвычайно приятный для одного, был бы невыносимым для другого,— говорит она; склонности, которые вложила природа в мужчин, столь же отличны от природных склонностей женщин, как и применение их, к которому природа побуждает человека. Развлечения их так же отличны друг от друга, как и обязанности; словом, муж и жена идут к общему счастью разными путями, и это разделение трудов и забот — самые крепкие узы, связующие их.

Что до меня, то мои собственные наблюдения благоприятствуют такому взгляду. В самом деле, ведь у всех народов мира, кроме французов и тех, кто им подражает, давно установился обычай, чтобы мужчины жили своей жизнью, а женщины своей. Видят они друг друга урывками и почти что украдкой, как супруги в древней Спарте, а вовсе не пребывают в постоянном и нескромном смешении, способном спутать и исказить самые разумные различия между полами, установленные природой. Даже у дикарей не увидишь беспорядочно перемешанных между собою скопищ мужчин и женщин. Вечером семья собирается, каждый проводит ночь возле своей жены; с наступлением дня опять происходит разделение полов, и они уже не имеют меж собою ничего общего,— самое большее — общую трапезу.

Таков порядок, существующий во всем мире, и одно уж это доказывает, что это порядок самый естественный, и его следы видны даже в тех странах, где он извращен. Во Франции мужчинам полагается жить наподобие женщин и непрестанно находиться возле них в душных комнатах, но невольное беспокойство, еще сохранившееся даже у этих мужчин, показывает, что не для того они были предназначены. Женщины безмятежно сидят в креслах или возлежат на шезлонгах, меж тем как мужчины с какой-то тревогой то и дело встают с места, снуют по комнате, опять садятся: безотчетный инстинкт борется в них с принуждением, которое они на себя наложили, и толкает их к деятельной и трудолюбивой жизни, для коей они созданы природой. Французы — единственный в мире народ, у коего мужчины смотрят в театре спектакль стоя, как будто приходят туда отдохнуть от целодневного сидения в гостиной. Им так надоедает женообразная изнеженность, существование в четырех стенах, что они пытаются внести в него некое подобие деятельности и, уступив у себя дома место чужим мужьям, отправляются к чужим женам, надеясь уменьшить свое отвращение к скучной жизни.

Воззрения г-жи де Вольмар прекрасно подтверждаются на примере, который мы видим в ее доме. Здесь каждый, так сказать, вполне принадлежит своему полу, и женщины отделены от мужчин. Г-жа де Вольмар обладает секретом предупреждать возникновение подозрительных связей, мужчины и женщины у нее постоянно заняты; а так как работы у них неодинаковые, то собираются они вместе лишь в часы досуга. С утра каждый занят своим делом, ни у кого нет времени мешать другому выполнять свои обязанности. После обеда мужчины работают в саду, на скотном дворе или выполняют какие-нибудь иные поручения; женщины хлопочут в детской до часа прогулки, на которую они ходят с детьми, а зачастую и со своей госпожой; прогулка доставляет им удовольствие, ибо это единственное время, когда они могут подышать воздухом. Мужчины, достаточно наработавшись за день, не имеют желания прогуляться и предпочитают отдохнуть дома.

Каждое воскресенье после вечерни женщины опять собираются в детской вместе с какой-нибудь своей родственницей или подругой, по очереди приглашая к себе гостей с согласия госпожи. В ожидании маленького пиршества, устраиваемого для них хозяйкой, идут беседы, пение, играют в волан, в бирюльки или в какую-нибудь другую игру, в которой нужно проявить ловкость; дети с удовольствием смотрят, пока и сами будут способны забавляться такими играми. Затем подают угощение: молочные блюда, вафли, пышки, хворост или другие кушанья, которые любят дети и женщины. Вином никогда не угощают, мужчины и вообще-то редко бывают в здешнем маленьком гинекее [1], а на женские пирушки совсем не допускаются. Юлия редко пропускает эти празднества. Я до сих пор был единственным, получившим такую привилегию. В прошлое воскресенье я дерзко напросился сопровождать туда Юлию. Она постаралась подчеркнуть, что мне оказана великая милость, и во всеуслышание заявила, что разрешение мне дается лишь на один раз и что она отказала в нем даже самому г-ну де Вольмару. Вообразите, как было польщено их женское тщеславие и как, верно, хотелось кому-нибудь из лакеев, чтобы не для барина, а для него было сделано исключение.

Угощение было превосходное. Может ли быть на свете что-нибудь вкуснее молочных яств, приготовляемых в здешних краях! Судите сами, каковы должны быть сливки с фермы, которой руководит Юлия, да еще вкушаемые близ самой хозяйки.

---

[1] Женские покои.

Фаншона подала мне простоквашу, варенец, вафли и коврижки. Все исчезло в одно мгновение. Юлия посмеивалась над моим аппетитом. «Я вижу,— сказала она, наложив мне еще целую тарелку крема,— что ваш желудок оказывает честь всяким блюдам и что в женском обществе вы пируете не хуже, чем в мужской компании».— «Но не более безнаказанно,— заметил я,— ведь можно иной раз опьянеть и тут и там; случается, что в скромной хижине человек потеряет рассудок скорее, чем в винном погребке». Она молча потупила взор и, покраснев, стала ласкать своих детей. Этого оказалось достаточно, чтобы во мне пробудились угрызения совести. Милорд, то была первая и, надеюсь, последняя нескромность с моей стороны.

На нашем маленьком собрании царил дух старинной простоты, умилявшей моё сердце; у всех лица выражали веселость, и, пожалуй, я видел бы в них меньше откровенности, будь тут мужчины. Взаимное доверие и привязанность приводили к непринужденности, царившей между служанками и госпожой, но это лишь укрепляло уважение к ней и власть ее, а услуги, которые оказывали друг другу сотрапезницы, казалось, свидетельствовали только о взаимной дружбе. Самый выбор кушаний для этого пиршества делал его приятным для всех. Женщине свойственно любить молочные яства и сахар, кои словно являются символами невинности и кротости — самых милых украшений женского пола. Большинство мужчин, наоборот, предпочитают кушанья с острым вкусом и спиртные напитки; им нужна пища, более соответствующая деятельной и трудолюбивой жизни, для которой природа их предназначила; а когда сие различие вкусов стирается и все смешивается,— перед нами почти безошибочный признак беспорядочного смешения полов. Я замечаю, что во Франции, где женщины постоянно бывают в обществе мужчин, они совершенно утратили вкус к молочным кушаньям, а мужчины — вкус к вину; зато в Англии, где гораздо меньше наблюдается смешение полов, их прирожденные вкусы лучше сохранились. В общем, думается мне, в выборе блюд, кои предпочитает человек, зачастую сказывается его характер. Итальянцы употребляют растительную пищу,— они женоподобны и вялы. Вы, англичане, много едите мяса — в ваших непреклонных добродетелях есть что-то жестокое, варварское. Швейцарец, по природе своей холодный, миролюбивый и простой, но в гневе лютый и неистовый, любит и мясную и растительную пищу, пьет молоко и вино. Гибкий и переменчивый француз употребляет всякие блюда и приноравливается ко всяким характерам. Примером может служить

Юлия: в еде она разборчивая чревоугодница и лакомка, не любит ни мяса, ни дичи, ни солений и никогда не пробовала неразбавленного вина. Превосходные овощи, яйца, сливки, фрукты — вот обычная ее пища, и не будь она большой любительницей рыбы, ее могли бы считать настоящей пифагорейкой.

Но сдерживать женщин — этого еще мало, если не сдерживать мужчин, и эта вторая часть домашнего устава, не менее важная, чем первая, еще более трудна; ведь обычно наступление куда сильнее, чем оборона. В республике граждан сдерживают нравы, принципы и добродетель; но можно ли обуздать слуг, наемников, иначе как принуждением, стеснением. Все искусство хозяина состоит в том, чтобы скрыть это принуждение под покровом удовольствия или выгоды;— пусть они думают, будто по собственной воле делают то, что на самом-то деле их заставляют делать. Праздность в воскресные дни, неотъемлемое право слуги пойти куда вздумается, когда обязанности не удерживают его в доме хозяев, зачастую в один-единственный день уничтожают влияние доброго примера и наставления, кои воздействуют на него в течение остальных шести дней недели. Привычка бражничать в кабаках, компания приятелей и их понятия, связи с распутными женщинами,— из-за всего этого слуги скоро становятся погибшими для своих господ и губят самих себя; в них развивается множество недостатков, из-за коих они не способны служить и недостойны свободы.

Во избежание такой беды надо добиться, чтобы те же самые побуждения, которые тянули их на гулянки, удерживали их дома. Каких развлечений они искали? Выпить в кабаке и поиграть в какие-нибудь игры. Так теперь они пьют и играют дома. Вся разница в том, что вино им ничего не стоит, что они не напиваются допьяна, что в играх, которыми они развлекаются, кто-нибудь выигрывает, а проигравших не бывает. Вот как это делается. За домом есть крытая аллея, на ней устроили площадку для игр. По воскресеньям после обедни там собираются слуги из господского дома, батраки со скотного двора, и начинаются игры, причем играют не на деньги — это не допускается, не на вино,— вино они и так получают, а ставку дают хозяева от щедрот своих. Всегда ставкой бывает какая-нибудь приятная вещица или что-нибудь из одежды. Число конов зависит от стоимости ставки, и если она довольно ценная, как, например, серебряные пряжки для башмаков или запонки для воротника, шелковые чулки, шляпа из тонкого фетра и что-либо подобное,— обычно разыгрывается она в несколько

партий. На одной игре не останавливаются, а разнообразят их для того, чтобы искусник, наловчившийся в какой-нибудь игре, не выигрывал все ставки, и для того, чтобы путем разнообразных физических упражнений люди делались ловчее и сильнее. То устраивают бег наперегонки до какой-нибудь цели, поставленной на другом конце аллеи. То бросают по очереди один и тот же камень — кто бросит дальше; то состязаются, кто дальше пронесет один и тот же груз, то разыгрывают приз, стреляя в мишень. Для большинства игр придумывают какие-нибудь маленькие приспособления, чтоб игра шла дольше и была увлекательней. Зачастую господа удостаивают эти состязания своим присутствием; тогда приводят туда и детей. Бывают тут из любопытства и посторонние, и многие из них с удовольствием приняли бы участие в этих развлечениях, но никого к ним не допускают без разрешения господ и без согласия самих игроков, которое те дают не очень-то охотно. Постепенно этот обычай превратился в своего рода спектакль, и актеры, воодушевленные взглядами публики, предпочитают славу и рукоплескания выгоде и дорогим призам. Став более сильными и проворными, они питают к себе больше уважения, привыкают скорее гордиться своими достоинствами, нежели своими прибытками, и даже лакеям в их положении честь становится дороже денег.

Было бы слишком долго перечислять все блага, кои приносит забота о развлечениях, с виду ребяческих и столь презираемых пошлыми умами, хотя истинной изобретательности свойственно достигать великих результатов малыми средствами. Господин де Вольмар сказал, что эти скромные начинания, о коих первая подумала его жена, обходятся ему не дороже пятидесяти экю в год. «Но,— добавил он,— насколько больше выгоды приносит нам и в хозяйстве, и в других делах усердие наших слуг и внимание их к своим обязанностям, их преданность господам, которые заботятся об их удовольствиях; рачительность слуг об интересах дома, на который они смотрят как на родной дом; их телесная сила, возросшая к нашей пользе благодаря этим играм, и то преимущество, что они у нас всегда здоровы и не знают ни излишеств, обычных для их братии, ни болезней, которые вызываются излишествами; и то, что мы предотвращаем всевозможные плутни, неизбежные при беспорядочной жизни, и то, что мы оберегаем честность наших слуг. И, наконец,— какое удовольствие доставляют нам самим эти развлечения, требующие так мало издержек! Если среди наших слуг найдется кто-нибудь — безразлично, мужчина это

или женщина,— кто не желает приноровиться к нашим правилам и предпочитает под разными предлогами вырваться на волю и бегать, где ему вздумается, мы тем людям никогда не отказываем в разрешении; но считаем их склонность отпрашиваться со двора весьма подозрительным признаком и спешим от них отделаться. Итак, те самые забавы, которые помогают нам удержать у себя хороших слуг, помогают также выбрать действительно хороших». Признаюсь, милорд, лишь здесь я увидел впервые, как стараниями господ одни и те же существа становятся хорошими домашними слугами и хорошими земледельцами, хорошими солдатами — защитниками родины и просто хорошими людьми, коими они и останутся в любом положении, к которому приведет их судьба.

Зимою меняются и труды и развлечения. По воскресеньям все домочадцы Вольмаров и даже соседи — мужчины и женщины, безразлично,— собираются после церковной службы в низкой зале, где их ждет жаркий огонь, вино, фрукты, пирожные и скрипка, под которую они танцуют. Г-жа де Вольмар всегда появляется на этих собраниях, хотя бы на несколько минут,— для того чтобы ее присутствие способствовало порядку и скромности, и нередко бывает, что она и сама танцует, и даже со своими слугами. Когда я узнал о таких обычаях, мне они показались мало соответствующими протестантской строгости правов. Я сказал об этом Юлии, и вот что приблизительно она мне ответила. Чистота правов ограждается столь суровыми заветами, что если к ним еще добавляют безразличные для сущности ее предписания, это всегда бывает в ущерб основному. Говорят, так и получается у большинства монахов: они подчинены множеству бесполезных правил, но не знают, что такое честь и добродетель. У нас, протестантов, меньше излишних строгостей, но и мы от них не свободны. Наши служители церкви настолько же превосходят мудростью всяческих священников, насколько наше вероисповедание святостью своей выше всех других, и все же некоторые воззрения протестантов как будто основаны скорее на предрассудках, нежели на доводах разума. Таково, например, их осуждение танцев и собраний,— словно танцевать грешнее, чем петь, словно оба эти развлечения не подсказаны нам равным образом самой природой и словно это преступление собраться и потешить себя невинной и благопристойной забавой. А я, наоборот, полагаю, что когда собираются вместе мужчины и женщины, то всякое публичное развлечение является невинным именно потому, что

оно публичное, тогда как самые похвальные занятия, если они происходят с глазу на глаз, могут стать предосудительными [1]. Мужчина и женщина предназначены друг для друга, природа хочет, чтобы они были соединены браком. Всякая ложная религия борется с природой, и одна только наша религия следует велениям природы и выправляет их, объявляя брак господним установлением, приличествующим человеку. К затруднениям гражданского порядка, коими окружен брак, не следует добавлять еще правила, не предписанные Евангелием и даже противоречащие самому духу христианства. Пусть мне скажут, где юноши и девушки брачного возраста могут понравиться друг другу и встречаться с большей благопристойностью, нежели на вечеринке, когда весьма внимательные чужие взоры заставляют их тщательным образом следить за своим поведением? Чем могут прогневить бога танцы, если они представляют собою приятное и полезное для здоровья и подобающее жизнерадостной молодежи развлечение, когда пары выступают с пристойной грацией, а присутствие зрителей обязывает соблюдать строгие и обязательные для всех приличия? Можно ли представить себе более благородный способ, никого не обманывая (по крайней мере с внешней стороны), показать свои привлекательные черты и недостатки людям, для коих важно хорошенько узнать нас, прежде чем нас полюбить? Разве долг взаимной супружеской любви не включает в себя и обязанности привлекать друг друга, разве для добродетельных и воспитанных в христианской вере молодых людей, желающих соединиться браком, не является достойной заботой подготовить свои сердца ко взаимной любви, указанной им богом?

А что происходит в здешних краях, где вечно царит скованность, где за самую невинную веселость наказывают, как за преступление, где юноши и девушки никогда не смеют публично собраться вместе и где какой-нибудь беззастенчивый и суровый пастор может насаждать во имя божие лишь рабскую стесненность, уныние и скуку? Люди стараются ускользнуть от невыносимой тирании, противной и природе и разуму. Когда жизнерадостную и шаловливую молодежь лишают дозволенных удовольствий, она заменяет их утехами самыми опасными. Вместо встреч на общественных гуляньях ловко устраивают

---

[1] В своем «Письме к д'Аламберу о зрелищах» я приводил следующий за сим отрывок и еще некоторые, но так как в то время я только еще подготовлял издание настоящей книги, то считал себя обязанным подождать, пока она выйдет, и лишь тогда цитировать извлечения из нее.

свидания наедине. Прячутся, будто преступники, и оттого подвергаются соблазну действительно стать ими. Невинной радости любо изливаться при свете божьего дня, но пороку милы потемки, и никогда невинность и тайна долго не уживаются вместе. «Дорогой друг,— добавила она, сжимая мне руку, словно хотела передать мне силу своего раскаяния и чистоту своего сердца,— кто больше нас с вами может понять всю важность этого правила? Сколько горя и мук, сколько укоров совести довелось нам изведать, сколько слез проливали мы долгие годы, а ведь мы и не знали бы их, если б хоть немного предвидели, каким опасностям подвергается в свиданиях с глазу на глаз добродетель, которую мы оба так любили.

Скажу еще раз,— продолжала г-жа де Вольмар, уже спокойнее,— более всего нравы подвергаются порче не в многочисленных сборищах, где все нас видят и слушают, но в беседах наедине, в которых царит тайна и полная свобода. Вот почему я бываю очень довольна, когда на вечеринках мои слуги собираются все вместе. Я даже разрешаю им приглашать молодых людей из соседних деревень, если только эта дружба не может повредить им; и с большим удовлетворением я узнала, что, когда хотят похвалить нравственность какого-нибудь молодого нашего соседа, о нем говорят: «Он принят у господина де Вольмара!» Тут мы исходим еще из одного соображения. Наши слуги все холосты, а из женской прислуги няня еще не замужем, и было бы несправедливо, чтобы сдержанность, в которой они живут, лишила их возможности честным образом устраивать свою жизнь. Мы стараемся предоставить им для этого условия, помочь им сделать хороший выбор, и маленькие вечеринки, происходящие на наших глазах, способствуют заключению счастливых браков, а вместе с тем они и нам самим приятны.

Мне остается еще оправдаться в том, что я позволяю себе потанцевать с этими славными людьми, но я готова перенести осуждение за эти свои проступки и откровенно признаюсь, что самая главная их причина — удовольствие, которое они мне доставляют. Вы ведь знаете, что я, так же как и кузина моя, страстная любительница танцев, но после смерти матушки я навсегда отказалась от балов и больших собраний. Я сдержала свое слово даже на своей свадьбе, и впредь буду ему верна, но полагаю, что не нарушаю его, танцуя изредка со своими гостями и слугами. Это упражнение полезно для здоровья, особенно при той сидячей жизни, которую мне приходится вести зимою. Оно доставляет самое невинное удовольствие, и когда я натан-

цуюсь вволю, совесть ни в чем меня не упрекает. Доставляет оно удовольствие и г-ну де Вольмару, а все мое кокетство ограничивается желанием нравиться ему. Ради меня он приходит посмотреть на танцы; наши слуги очень довольны такой честью и рады также видеть меня среди танцующих. Наконец, я нахожу, что такая умеренная близость между нами и слугами создает сладостные узы привязанности, вносит в наши отношения немножко естественной человечности, уменьшая приниженность слуг и суровость хозяйской власти».

Вот, милорд, что мне сказала Юлия по поводу танцев; и меня восхищало, что при столь большой благосклонности господ среди слуг царит полное послушание. Юлия и ее муж могут снисходить до них и вести себя как равные им, а меж тем это не вызывает у слуг искушения, так сказать, поймать их на слове и считать себя действительно равными господам. Не думаю, чтобы в Азии нашлись государи, которым в их дворцах прислуживали бы с бо́льшим почтением, чем служат этим добрым хозяевам в их доме. Пожалуй, нигде не отдают слугам распоряжений так учтиво, как здесь, и нигде так проворно не исполняются хозяйские распоряжения: тут попросят — слуга летит стремглав, тут прощают — слуга чувствует свою вину. Никогда еще я так глубоко не понимал, как мало сила приказа зависит от его грубого тона.

И тут мне пришли на ум мысли о тщетной строгости, обычной у хозяев. Ведь не столько их фамильярность, сколько их недостатки вызывают у домочадцев презрение к ним, и дерзость слуг скорее свидетельствует о пороках, чем о слабостях господ; ничто не придает слуге столько смелости, сколько хорошо известные ему барские пороки, и каждый недостаток, который слуги открывают у своего господина, служит в их глазах основанием не слушаться хозяина, ибо они уже не могут его уважать.

Лакеи подражают барам, подражают грубо, и поэтому все хозяйские недостатки выступают в их поведении заметнее, нежели у воспитанных господ, у коих они скрыты светским лоском. В Париже я судил о правах знакомых мне дам по выдержке и по тону разговора их горничных, и это правило никогда меня не обманывало. Помимо того, что горничная, являясь хранительницей тайн своей госпожи, заставляет последнюю дорого оплачивать ее молчание, она еще действует под стать своей госпоже и выдает все ее нравственные правила, неуклюже применяя их. Пример хозяев всегда сильнее их власти, и было бы неестественно, если бы слуги стремились стать по-

рядочнее своих господ. Сколько угодно кричите, браните́сь, угрожайте зуботычинами, выгоняйте, переме́ните всю свою челядь,— от этого вам лучше служить не будут. Если человек не стесняется вызывать своим поведением презрение и ненависть у своих слуг, но при этом воображает, будто они хорошо служат ему,— стало быть, он довольствуется показным их усердием, не замечая множества неприятностей, которые они тайком делают ему на каждом шагу. И никогда ему не понять источника этой беды; но найдется ли человек, настолько лишенный чувства чести, что он может спокойно переносить презрение всех окружающих? Найдется ли женщина столь бесстыдная, что она не чувствительна к оскорблениям? Сколько есть и в Париже и в Лондоне знатных дам, кои мнят себя весьма почитаемыми, но они залились бы слезами, если б услышали, что говорят о них в передних. К счастью для своего душевного покоя, они полны утешительной уверенности, что их домашние аргусы круглые дураки и не замечают того, что господа даже не удостаивают скрывать от слуг. И вот, неохотно повинуясь таким хозяйкам, слуги, в свою очередь, нисколько не скрывают своего презрения к ним. Словом, и слуги и господа ясно показывают друг другу, что они не желают добиваться взаимного уважения.

Суждение слуг мне кажется самой строгой и самой верной оценкой добродетели господ, и я помню, милорд, что, будучи с вами и еще не зная вас, я вынес высокое мнение о вашей добродетели просто потому, что слышал, как вы довольно резко говорили со своими людьми, и вместе с тем я замечал, что от этого их привязанность к вам не уменьшалась и что в вашем отсутствии они разговаривали о вас с таким почтением, словно вы могли слышать их.

Говорят, никто не герой в глазах своего лакея. Может быть, это и верно, но справедливый человек всегда внушает своему лакею уважение,— достаточно убедительное доказательство, что героизм — суетная видимость, а надежнее добродетели нет ничего. И как раз в доме Вольмаров из суждения слуг я узнал, насколько сильна власть добродетели. Суждения эти тем более верны, что не представляют собою пустых похвал,— люди бесхитростно выражают в них свои чувства. Так как здесь они никогда не слышали речей, из коих могли бы заключить, что их хозяева на других не похожи, они не хвалят своих господ за добродетель, полагая, что она свойственна всем, но в простоте души возносят хвалу богу за то, что он

повелел богатым быть на земле для счастья тех, кто им служит, и для облегчения участи бедняков.

Рабство столь мало естественно для человека, что оно не может существовать без некоторого недовольства. Однако здесь господина уважают и дурно о нем не говорят. А что касается госпожи, то если слуги иной раз и возропщут на нее, то их ропот лучше всяких похвал. Никто не скажет, что она не благоволит к нему, но обижается, зачем она столь же добра и к другим; никто не желает, чтобы она приравняла его усердие к усердию его сотоварищей, и каждый хочет быть первым в ее милостях, полагая, что он превосходит всех в привязанности к ней. Вот единственный предмет их сетований и самая большая в их глазах несправедливость.

Помимо подчинения нижестоящих, есть еще согласие между равными — и эта часть управления домашними делами не менее трудна. Соперничество, зависть и корысть непрестанно разделяют прислугу в любом доме, даже столь немногочисленную, как здесь,— объединяются же они почти всегда во вред хозяину. Если они приходят к соглашению, то лишь для того, чтобы воровать совместно; если же они верны хозяину, то каждый старается возвысить себя в ущерб другим; меж собою они всегда или враги, или сообщники, и трудно придумать, как избежать их мошенничества и их раздоров. Большинству отцов семейств приходится лишь выбирать между двумя этими неприятностями. Одни, предпочитая свой личный интерес порядочности, подогревают склонность лакеев к тайному паушничеству и воображают, что поступают в высшей степени благоразумно, обращая своих слуг в шпионов и побуждая следить друг за другом. Другие, более беспечные, предпочитают, чтобы их обкрадывали, но не мешали им жить спокойно; они считают для себя, так сказать, делом чести всегда оказывать весьма дурной прием предупреждениям, каковые иной раз усердие вырвет у какого-нибудь верного слуги. Те и другие действуют неразумно. Первые сами возбуждают в своем доме постоянные свары, несовместные с добрыми правилами и порядками, и челядь их представляет собою скопище плутов и доносчиков, которые предают своих товарищей, а быть может, наловчившись, продадут когда-нибудь и своих господ. Вторые, не желая знать, что творится в их доме, тем самым позволяют чинить козни против них, поощряя зловредных, отталкивают добронравных и содержат дорогостоящих наглых плутов и лентяев, каковые, действуя в сговоре меж собою, наносят вред хозяину да еще

полагают, что служат ему из любезности, а воруют у него по праву [1].

Большая ошибка — пытаться в домашнем хозяйстве, так же как в общественном, побороть один порок другим или создать нечто вроде равновесия между ними. Словно то, что подрывает основы порядка, может когда-нибудь помочь его установлению! Таким дурным способом можно лишь навлечь на себя все беды. Пороки, кои терпят в доме, не живут в одиночку: позвольте укорениться одному, за ним придет множество других. Вскоре они погубят слуг, заразившихся ими, разорят хозяев, которые их допускали, и развратят или оскорбят душу детей, наглядевшихся на них. Найдется ли столь недостойный отец, что он посмел бы поставить свою выгоду на одну доску с таким злом? Какой порядочный человек согласится быть главой семьи, если он не в силах установить в своем доме мир и верность и если усердие своих слуг ему приходится покупать ценою их взаимной вражды.

Если бы кто-нибудь видел один лишь дом Вольмаров, он бы даже и помыслить не мог, что подобные трудности могут существовать,— настолько явственно здесь единение домочадцев вытекает из их привязанности к хозяевам. Здесь мы находим наглядный пример, говорящий, что кто искренне любит хозяина, любит и все то, что ему принадлежит,— эта истина служит основой веры христианской. Ведь так естественно, что дети одного отца относятся друг к другу по-братски. Каждый день об этом говорят нам в храме, но не могут заставить нас прочувствовать это; а вот здесь все обитатели дома без всяких назиданий чувствуют взаимную братскую приязнь.

Прежде всего способствует сердечному согласию самый выбор слуг. Принимая их в свой дом, г-н де Вольмар не только выясняет — подходят ли они его жене и ему самому, но подходят ли они друг для друга, и достаточно ему установить, что между двумя превосходными слугами царит антипатия, как он немедленно одного из них уволит: ведь дом со столь малочисленной прислугой, говорит Юлия, дом, из коего слуги никогда не выходят и где они всегда живут на глазах друг у друга, дол-

---

[1] Я довольно близко наблюдал порядки в богатых домах и ясно видел, что хозяину, имеющему двадцать слуг, никогда не удается узнать, есть ли среди них хоть один честный человек, и он считает честным наихудшего мошенника. Из одного уж этого не хотел бы я быть в числе богачей. Для них, несчастных, потеряны самые сладостные утехи жизни: доверие и уважение к окружающим. Дорого платят они за свое золото.

жен быть им всем любезен, и если в нем не будет мира, он станет для них адом. Они должны смотреть на него как на родительский дом, где все живут одной семьей. Если кто-нибудь из них не нравится другим, дом этот может стать для них противным; оттого что неприятный им человек постоянно торчит у них на глазах, они будут плохо себя чувствовать здесь, а это скажется на нас.

Как можно лучше подобрав слуг, их объединяют, так сказать, помимо их воли, незаметно побуждая их оказывать друг другу услуги, и добиваются того, чтобы каждый почувствовал, насколько ему необходима любовь всех его сотоварищей. Когда человек приходит просить милости не для себя, а для другого, его принимают гораздо лучше; поэтому тот, кто желает получить милость, старается найти для себя ходатая, и сделать это ему нетрудно, тем более что, удовлетворят ли его просьбу или откажут в ней, посреднику всегда поставят в заслугу его заступничество. А тех, кто хлопочет только о себе, встречают неприветливо. Почему это я должен заботиться о ваших интересах, когда сами вы никогда ни о ком не заботились? Разве справедливо, чтобы вы были счастливее ваших товарищей, хотя они гораздо внимательнее к людям, нежели вы? Здесь добиваются большего: побуждают помогать друг другу втайне, без шуму, без хвастовства. И достигают этого без особого труда, тем более что, оказывая товарищу услугу, человек прекрасно знает, что хозяин замечает его скромность и чувотвует к нему больше уважения; итак, здесь сочетаются личный интерес и удовлетворенное самолюбие. Слуги здесь так убеждены во взаимной благожелательности и среди них царит такое доверие друг к другу, что если кому-либо надо попросить хозяев о какой-нибудь милости, он рассказывает об этом за столом в разговоре; зачастую больше ему ничего и делать не приходится — просьба его оказывается исполненной, и, не зная, кого благодарить, он чувствует себя обязанным всем товарищам.

Таким способом и другими подобными сему средствами здесь достигли того, что между слугами царит привязанность, родившаяся из их всеобщей привязанности к хозяину и послушания ему. Поэтому они далеки от всяческих сговоров в ущерб хозяину, наоборот,— их сплачивает желание как можно лучше служить ему. Как бы ни была для них приятна взаимная дружба, им еще приятнее угодить хозяину; усердие к своим обязанностям берет у них верх над взаимной благожелательностью, все они считали бы, что им самим наносят ущерб, если причиняют хозяину убытки, из-за которых он меньше имеет

возможности вознаградить хорошего слугу, и все они равно не способны молча терпеть поступок, коим кто-нибудь из слуг вредит хозяину. В этой части установившийся в доме уклад поражает меня какими-то возвышенными чертами. Я не могу надивиться, как супругам де Вольмар удалось превратить низкую обязанность обвинителя в дело высокого рвения, неподкупной честности и мужества, в такое же благородное, по крайней мере, столь же похвальное дело, каким оно было у древних римлян.

Прежде всего здесь постарались при помощи простых наставлений и убедительных примеров разрушить или предотвратить действие той преступной и рабской морали, той круговой поруки во вред хозяину, которой дурной слуга немедленно старается обучить честных слуг под видом товарищеской помощи. В доме Вольмаров слугам втолковали, что прикрывать проступки ближнего возможно лишь в том случае, если они никому вреда не приносят, а если видишь да утаиваешь чужое беззаконие, совершенное во вред третьему лицу, ты сам совершаешь беззаконный поступок, и поскольку лишь сознание собственных недостатков заставляет нас прощать недостатки других людей, всякий, кто склонен терпеть мошенников, сам из породы таких же мошенников. Из этих принципов, вообще правильных для отношений между людьми и еще более необходимых в тесных рамках отношений между господином и слугой, здесь выводят следующее бесспорное положение: всякий, кто видит, как хозяину причиняют вред, и не разоблачает сей проступок, более виноват, нежели человек, совершивший проступок, ибо он-то пошел на злое дело, соблазнившись какой-то выгодой для себя, а хладнокровный и якобы бескорыстный укрыватель молчал лишь из глубокого равнодушия к справедливости, к благоденствию дома, в котором служит, а также из затаенного желания последовать примеру того мошенника, которого он укрывает. Таким образом, если ущерб нанесен значительный, тот, кто это сделал, иной раз еще может надеяться на прощение, но свидетель проступка, умолчавший о нем, обязательно должен быть уволен, как человек с дурными наклонностями.

Зато здесь не потерпят никакого обвинения, ежели подозревают, что оно является необоснованным или клеветническим, и потому не слушают обвинения в отсутствие обвиняемого. Если кто-нибудь приходит к хозяину, желая в приватном разговоре донести о проступке товарища или пожаловаться на личную свою обиду, его спрашивают, достаточно ли он осведом-

лен, то есть постарался ли он сначала выяснить дело с тем человеком, на коего приносит жалобу. Если обвинитель говорит, что не выяснял, ему задают другой вопрос: как может он судить о том или ином поступке, не зная в достаточной мере его причин? «Может быть,— говорят ему,— этот поступок зависит от другого поступка, вам неизвестного; может быть, имеются какие-то обстоятельства, оправдывающие или извиняющие его, а вы этих обстоятельств не знаете. Как же вы осмеливаетесь осуждать поведение человека, не зная, чем именно оно вызвано? Может быть, одним своим словом он все объяснит и оправдает себя в ваших глазах. Что, если вы осуждаете его несправедливо? Да еще и меня склоняете разделить ваше несправедливое мнение». Если жалобщик уверяет, что он уже все выяснил с обвиняемым, ему отвечают: «Почему же вы пришли без него, словно боитесь, что он опровергнет ваши утверждения? По какому праву вы не даете мне принять необходимые меры предосторожности, хотя сами вы сочли своим долгом их принять? Хорошо ли с вашей стороны добиваться, чтобы я только на основании ваших слов вынес суждение о данном поступке,— меж тем как сами вы не пожелали довериться лишь свидетельству собственных своих глаз, и разве не будете вы ответственны за пристрастное мое суждение, какое я могу вынести, если удовлетворюсь одним лишь вашим показанием?» Затем обвинителю предлагают привести обвиняемого; если он соглашается на это, дело быстро удается разрешить; если обвинитель противится, его отсылают прочь, крепко пожурив его; но слова его хранят в тайне и внимательно наблюдают как за обвиняемым, так и за обвинителем, так что вскоре становится ясно, кто из них виноват.

Правило это здесь хорошо известно, очень крепко утвердилось, и в этом доме вы никогда не услышите, чтобы слуга дурно отзывался о своем отсутствующем сотоварище, ибо все они хорошо знают, что, поступая так, он прослывет подлецом или лгуном. Здесь, ежели кто и обвиняет в чем-либо другого, то выступает открыто, прямо, и не только в присутствии обвиняемого, но и в присутствии всех сотоварищей, дабы свидетели могли подтвердить его добросовестность. Ежели речь идет о личных ссорах, почти всегда их улаживают через посредников, не докучая господам, но когда дело касается священных интересов хозяина, его уже не держат в секрете,— тут требуют, чтобы виновник сам признался в своем проступке или был бы разоблачен обвинителем. Эти маленькие судебные разбирательства случаются весьма редко, и происходят они за трапезой во время

обхода, который Юлия совершает ежедневно в час обеда или ужина своих слуг и который г-н де Вольмар, смеясь, называет ее «большими выходами». Спокойно выслушав жалобу и ответ на нее, Юлия, если дело касается домашней прислуги, приступает к разбирательству, поблагодарив обвинителя за его усердие.

«Я знаю,— говорит она ему,— что вы любите своего товарища, вы всегда хорошо отзывались о нем, и я хвалю вас за то, что чувство долга и справедливости для вас выше личных привязанностей: вы поступили как верный слуга и честный человек». Если обвиненный не был виноват, она к оправданию добавляет какую-нибудь похвалу. Но если он действительно виноват, она старается не позорить его перед другими. Она высказывает предположение, что он не хочет говорить об этом при всех; она назначает ему час, чтобы выслушать его в отдельности, и уж тогда она или ее муж говорят с ним как следует. Удивительно то, что из двух судей больше страха внушает не тот, кто судит строже, и суровых выговоров г-на де Вольмара виновные боятся меньше, нежели трогательных упреков его жены. Г-н де Вольмар говорит во имя справедливости и правды, унижает и смущает виновных, а Юлия вызывает у них горькое раскаяние в своей вине, показывая им, как ей больно, что она вынуждена лишать их своего благоволения. Зачастую она исторгает у них слезы скорби и стыда, нередко она сама бывает растрогана и, видя их раскаяние, уже питает надежду, что не будет необходимости сдержать свое слово.

Тот, кто вынесет свое суждение обо всех этих заботах, исходя из того, что бывает у него в доме или у соседей, возможно, сочтет их излишними или тягостными. Но у вас, милорд, высокие понятия об обязанностях и радостях главы дома, вы знаете, сколь естественна власть разума и добродетели над сердцем человеческим, и вы поймете важное значение сих мелочей, вы почувствуете, от чего зависит их благотворное действие. Богатство не делает нас богатыми, говорит «Роман Розы». Благосостояние человека не в содержимом его сундуков, а в том, как он употребляет свои сокровища; вещи, коими мы обладаем, становятся нашей собственностью, лишь если мы пользуемся ими, а способы злоупотребления всегда более неистощимы, нежели сокровища; поэтому люди наслаждаются благами жизни не сообразно своим расходам, а сообразно умению тратить разумно. Сумасшедший может бросать в море слитки золота и говорить, что он насладился ими; но можно ли сравнивать столь дикое наслаждение с тем, какое разумный человек мог бы получить, израсходовав самую малую долю сего золота! Только порядок,

только уменье умножить и упрочить пользование благами могут обратить удовольствие в счастье. Ведь если подлинная наша собственность на вещи скорее возникает из их употребления, нежели из их приобретения, что может быть важнее для отца семейства, чем его домашнее хозяйство и добрый уклад в доме, где самые совершенные отношения непосредственно зависят от него и где благополучие всех членов семьи увеличивает его собственное благополучие.

Разве самые большие богачи являются самыми счастливыми людьми? Служит ли изобилие благ счастью? Но всякий хорошо налаженный дом является образом души его хозяина. Золоченые карнизы, роскошь и пышность говорят лишь о тщеславии того, кто их выставляет напоказ. Но повсюду, где вы увидите, что в доме царит порядок без уныния, мир без порабощения, достаток без излишества,— скажите с уверенностью: как счастлив тот, кто распоряжается здесь.

Что касается меня, я думаю, что уединенная жизнь в кругу домочадцев — самый верный признак душевного удовлетворения, и тот, кто беспрестанно ходит по чужим людям, ища себе радости, в своем доме ее не имеет. Отец семейства, которому приятно быть у своего очага, за непрестанные заботы о своем доме вознагражден неизменным ощущением сладчайшего чувства, вложенного в нас природой. Единственный из всех смертных, он творец своего блаженства, ибо он счастлив как сам господь и ничего не желает более того, что у него есть; как сие беспредельное существо, он и не помышляет о том, чтобы увеличить свои владения, но лишь о том, чтобы сделать их поистине своими, установив в них отношения самые совершенные и управление самое разумное. Ежели он и не обогащается посредством новых приобретений, то все же становится богаче, лучше владея тем, что у него имеется. Он распоряжался лишь доходом от своих земель, а теперь пользуется самими землями, руководя их обработкой и постоянно объезжая их. Слуга был для него посторонним, он делает его своим ближним, своим дитятей, своим достоянием. Он имел право только требовать от слуги тех или иных действий, а теперь приобретает право влиять на его желания. Он был господином только в силу власти денег, он становится господином священной властью уважения и благодеяний. Пусть судьба лишит его богатства, она не в силах отнять у него сердца людей, полных привязанности к нему, она не отнимет детей у своего отца; вся разница в том, что вчера он их кормил, завтра они будут кормить его. Вот так-то мы научаемся находить истинную радость в

своем достоянии, в своей семье и в самих себе; вот так мелочи домашнего быта становятся приятнейшими для порядочного человека, который знает им цену: он не только не смотрит на свой дом как на тяжелое бремя, он видит в нем счастье для себя, а трогательные и благородные обязанности главы семьи наполняют его гордостью и радостным сознанием, что он человек.

Если сии драгоценные радости находятся в пренебрежении или мало кому ведомы и если те немногие, которые ищут их, редко их достигают,— все это исходит из одной и той же причины. Существуют простые и вместе с тем высокие обязанности, кои немногим дано любить и выполнять. Таковы обязанности отца семейства,— им противны шум, светская суета, и человек плохо с ними справляется, ежели выполнять их побуждает его лишь скупость и корысть. Такой-то считает себя хорошим отцом семейства, а на деле он лишь бдительный эконом; имущество его может процветать, а дом поставлен будет очень плохо. Надо иметь более возвышенные воззрения для того, чтобы направлять и руководить в столь важном деле и вести его счастливо и успешно. Кто печется о порядке в доме, прежде всего должен допускать в него только достойных людей, не питающих тайного желания нарушать порядок. Но настолько ли совместимы рабство и порядочность, чтобы можно было надеяться найти среди слуг порядочных людей? Нет, милорд, чтобы их иметь, надлежит не искать, а создавать их, и только хороший человек обладает искусством делать других хорошими. Пусть лицемер старается говорить тоном добродетели, он не в силах внушить любовь к ней, а если б ему удалось сделать кому-нибудь любезной добродетель — значит, он сам ее полюбил. Куда годятся холодные назидания, постоянно опровергаемые собственным примером и внушающие мысль, что тот, кто читает сии наставления, ведет игру, пользуясь людским легковерием? Какую великую нелепость совершают проповедники, заклиная нас следовать их словам, а не делам их! Кто не знает того, о чем говорит, никогда не скажет этого хорошо, ибо в его словах не хватает сердечности, а ведь лишь она одна трогает и убеждает. Мне не раз приходилось слышать те грубо назидательные речи, какие ведут в присутствии слуг или при детях, чтобы косвенным путем преподать им урок. Ни на одно мгновение не верил я, что их слушателей удалось провести, я всегда видел, что они исподтишка посмеиваются над бездарным наставником, который, принимая их за дураков, неуклюже изрекает перед ними

правила морали, хотя сам тех правил вовсе не придерживается, что окружающим прекрасно известно.

Всех этих напрасных хитростей здесь в доме не знают, и великое искусство здешних господ делать своих слуг такими, какими желательно их видеть, состоит в том, что господа показывают себя перед слугами такими, каковы они в действительности. Поведение их всегда прямое и открытое, ибо они не боятся, что у них поступки противоречат словам. Их собственная мораль не отличается от той морали, какую они стараются внушить другим, а посему им не нужна чрезвычайная осмотрительность в речах; неосторожно сорвавшееся слово не может ниспровергнуть принципы, кои они пытались установить. Они не говорят беззастенчиво о всех своих делах, но свободно говорят о своих правилах. За столом, на прогулке, с глазу на глаз или при всех они изъясняются одинаковым языком; обо всем бесхитростно говорят то, что думают, и хотя никого не стремятся наставлять, каждый находит в их речах что-либо поучительное. Так как слугам здесь никогда не приходится видеть, чтобы их господин в своих поступках не был прямым, честным и справедливым, они не смотрят на честность как на тяжкую обязанность бедняков, как на иго, возложенное на несчастных, как на одно из бедствий их положения. Забота хозяина, не желающего зря гонять работников, не заставляющего их терять целые дни, добиваясь получения платы за поденщину, приучает их чувствовать цену времени. Видя, что хозяин старается беречь их время, каждый заключает, что временем надо дорожить, и считает праздность величайшим для себя преступлением. Вера в их честность придает силу установленным в доме порядкам и предотвращает злоупотребления. Слугам не приходится бояться, что при еженедельной выдаче наград хозяйка обязательно найдет, что самый молодой и крепкий был и самым усердным в работе. Старому слуге нечего бояться, что какими-нибудь придирками его постараются лишить положенной прибавки к жалованью. Никто здесь не питает надежды воспользоваться раздорами в доме и, хвастаясь своими заслугами, получить от одного то, в чем отказывает другой. Те, кто собирается вступить в брак, не боятся, что господа помешают им устроить свою жизнь, желая подольше держать их у себя,— таким образом, их усердие не идет им во вред. Ежели какой-нибудь посторонний лакей пришел бы и сказал слугам этого дома, что господин и его слуги всегда находятся в состоянии подлинной войны меж собой; что слуги, причиняя господину наибольшее зло, на какое они способны, делают это по праву;

что поскольку все господа — узурпаторы, лгуны и мошенники, нет ничего дурного в том, чтобы поступать с ними так же, как они сами поступают с государем, или с народом, или с частными лицами, и ловко отплатить им за все зло, которое они делают открыто, пользуясь своей силой,— того, кто попробовал бы так говорить, никто не стал бы слушать; здесь никому и ненадобно бороться с такими речами или опровергать их, пусть этим занимаются те, кто порождает подобные проповеди.

Здесь повиновение никогда не бывает угрюмым или враждебным, ибо в приказах нет надменности или прихоти, здесь требуют только разумного, только полезного и, уважая достоинство человека, хотя бы и подчиненного, заставляют его делать только то, что нисколько его не принижает. Кроме того, здесь низким считают лишь порок, а все, что полезно и справедливо, признается порядочным и благопристойным.

Поскольку в этом доме не терпят никаких интриг, никто и не пытается их затевать. Здесь слуги хорошо знают, что для них самое надежное — связать свою судьбу с судьбой хозяина, ибо у них ни в чем не будет недостатка, пока его дом будет процветать. Следовательно, служа ему, увеличивая его достояние, они заботятся и о самих себе, что делает их работу приятной; вот в чем самая большая выгода для них. Но, право же, это слово совсем тут неуместно,— я никогда еще не видел дома, так хорошо поставленного при помощи разумно направляемого личного интереса, где выгода все же имела бы столь малое влияние на слуг: все тут делается из привязанности. Можно подумать, что души этих наемников очищаются, вступив в приют разума и согласия. Словно некая доля просвещенности хозяина и чувств хозяйки передалась слугам,— настолько находишь их умнее, благожелательнее, честнее и во всех отношениях выше уровня, обычного для челяди. Внушать уважение к себе, пользоваться почетом и благоволением — вот предел их честолюбия, и доброе слово для них дорого не меньше, чем подарки, которые им делают на Новый год.

Вот, милорд, основные мои наблюдения над той стороной здешнего домашнего уклада, которая касается слуг и вообще наемных людей. Что же до образа жизни господ и воспитания детей, то каждый из сих предметов заслуживает отдельного письма. Вы знаете, с каким намерением я решил сообщить вам сии замечания; право же, все здесь составляет поистине чудесную картину, и смотреть на нее так приятно! Поневоле любуешься ею и бескорыстно радуешься ей.

## ПИСЬМО XI

*К милорду Эдуарду*

Да, милорд, я от своих слов не отрекаюсь: во всем, что видишь в этом доме, приятное соединяется с полезным; но здесь полезные занятия не ограничиваются заботами о прибыли — в них входят всякие невинные и простые утехи, воспитывающие склонность к уединенной жизни, к труду, умеренности, и у тех, кто им предается, они сохраняют душевное здоровье, избавляя сердце от смятения страстей. Беспечная праздность порождает уныние и скуку, а прелесть сладостных досугов есть плод трудолюбивой жизни. Люди работают для того, чтобы наслаждаться: чередование трудов и наслаждений — поистине необходимо для нас. Отдых от трудов, дающий силы и дальше трудиться, нужен человеку не менее, чем самый труд.

Вдосталь налюбовавшись плодами бдительного попечения достойнейшей матери семейства о ее домашнем распорядке, я увидел, чем она развлекается в уединенном уголке, в ее любимом месте прогулок, которое называет она своим Элизиумом.

Уже несколько дней я слышал разговоры об этом Элизиуме, но для меня его окружали какой-то тайной. Наконец вчера, после обеда, когда и на дворе и в доме стояла почти одинаковая невыносимая жара, г-н де Вольмар предложил жене немного отдохнуть от работы и, вместо того чтобы отправиться в детскую, где она обычно оставалась до вечера, пойти с нами подышать воздухом в саду; она согласилась, и мы отправились все вместе.

Место это совсем близко от дома, но так хорошо скрыто тенистой аллеей, за которой оно прячется, что его ниоткуда невозможно увидеть. Густая листва деревьев, окружающих его, не дает взору проникнуть туда, а вход всегда заперт на ключ. Едва вошел я в калитку, замаскированную ветвями ольхи и орешника, оставляющими лишь два узких прохода в живой изгороди, как, обернувшись, уже не мог обнаружить калитки, через которую проник; я словно упал сюда с облаков.

Лишь только я очутился в этом так называемом Элизиуме, меня охватило приятное ощущение прохлады, стоявшей в густой тени деревьев, меня восхитили яркие краски свежей зелени, цветы, разбросанные повсюду, журчанье ручейка и пение множества птиц; все тут действовало на воображение и на чувства, и в то же время мне казалось, что я вижу место совсем дикое, уединеннейший уголок природы, что я первый смертный, проникший в это безлюдье. Изумленный, пораженный, восхищен-

ный нежданным зрелищем, я на мгновение замер и невольно вскрикнул от восторга: «О Тинпан, о Хуан Фернандес! [1] Юлия, самые далекие уголки мира от вас в двух шагах!..» — «Многие находят это так же, как и вы,— с улыбкой сказала Юлия,— а ступят еще двадцать шагов и снова видят перед собою Кларан. Посмотрим, дольше ли у вас продлится очарование. Ведь это тот же самый сад, где вы прогуливались когда-то и где вы сражались с моей кузиной лопатками. Вы знаете, что трава здесь была негустая, деревьев росло немного и давали они мало тени, воды совсем не было. А вот теперь здесь все свежо, зелено, одето растительностью, все принаряжено, разубрано цветами, орошено влагой. Как вы думаете, чего мне стоило привести это место в такое состояние? Да будет вам известно, что я стала главным управителем этого уголка и муж предоставил его мне в полное распоряжение».— «Но, право же,— возразил я,— вам он не стоит больших усилий. Уголок, разумеется, очаровательный, но запущенный и дикий, нигде не видно следов человеческого труда. Вы заперли калитку: каким-то образом притекла сюда вода, все остальное совершила сама природа; с ее делами вам никогда не удалось бы сравняться».— «Это верно,— промолвила Юлия,— все сделала природа, но под моим руководством,— ни в чем решительно я не давала ей своеволничать... Ну вот поломайте еще раз голову, угадайте».— «Во-первых,— заметил я,— мне непонятно, как можно, даже вложив и деньги и труд, ускорить работу времени. Вот эти деревья...» — «Подождите,— прервал меня г-н де Вольмар,— вы, конечно, заметили, что очень высоких деревьев в Элизиуме немного,— они и раньше здесь росли. Кроме того, Юлия начала здесь садить деревья задолго до своего замужества,— почти тотчас же после смерти матери, когда приехала сюда с отцом, ища уединения».— «Хорошо,— сказал я,— вы хотите уверить меня, что все эти массивы кустов, эти широкие крытые аллеи, эти плакучие ивы, эти тенистые рощицы разрослись за семь-восемь лет и что здесь замешано искусство человека. В таком случае это стоило больших денег. Ежели вы потратили две тысячи экю, чтобы сделать все это на столь обширном участке земли, то это совсем недорого».— «Вы ошиблись всего лишь на две тысячи экю,— возразила Юлия.— Мне это ничего не стоило».— «Как ничего?» — «Да, ничего, если не считать, что наш садовник работает здесь дней двенадцать в году, да столько же тратят

---

[1] Пустынные острова Южного моря, ставшие знаменитыми после путешествия адмирала Ансона.

времени двое-трое наших слуг, и по нескольку дней здесь работает сам Вольмар, ибо и он не гнушается иной раз выступить в роли подручного моего садовника». Я ничего не мог понять в этой загадке, но Юлия, до тех пор удерживавшая меня около себя, вдруг предложила мне пройтись одному по дорожке. «Ступайте,— сказала она,— смотрите, и вы все поймете. Прощай, Тинпан, прощай, Хуан Фернандес, прощай все очарование! Через минуту вы возвратитесь из путешествия на край света».

Я с восторгом принялся осматривать этот преображенный садик и нигде не нашел ни экзотической растительности, ни индийских плодов, а лишь местные растения, но расположенные в таком сочетании, что они производили наиболее веселое и приятное впечатление. Зеленый низкий газон, расстилавшийся плотным ковром, был перемешан с богородичной травкой, бальзамином, тимьяном, душицей и другими благоухающими травами. Тут блистало красой множество полевых цветов, и среди них глаз с удовольствием различал некоторые садовые цветы, казалось, естественно выросшие среди полевых. Время от времени надо мною смыкалась тесная сень ветвей, непроницаемая для лучей солнца, как в лесной чаще; навесы эти образованы были из самых гибких деревьев, ветви коих пригнули к земле, и искусство садовода заставило их пустить корни, подобно тому как это происходит естественно с ветвями манглии в Америке. В самых открытых местах я увидел разбросанные в беспорядке, без всякой симметрии, густые кусты роз, малины, смородины, целые заросли сирени, орешника, бузины, жасмина, дрока, трилистника, украшавшие землю и придававшие ей вид первозданной целины. Я бродил по извилистым кривым дорожкам, окаймленным этими цветущими кущами, под сенью красивых гирлянд плюща, дикого винограда, хмеля, повилики, брионии, ломоноса и других вьющихся растений, среди коих удостаивали переплетать свои ветви жимолость и жасмин. Сии гирлянды, казалось, небрежно переброшенные с одного дерева на другое, как мне не раз случалось видеть в лесах, образовывали над нашими головами нечто вроде драпировок, защищавших нас от солнца; под ногами у нас было сухо, и так удобно и приятно было ступать по мягкому мху, не утопая в песке, не путаясь в траве, не задевая за сучковатые побеги. И лишь тогда я обнаружил с некоторым удивлением, что пышные зеленые балдахины, издали производившие столь внушительное впечатление, образованы из вьющихся паразитических растений, кои обвивали стволы деревьев, окружали их макушки густолиственным венцом и отбрасывали к их подножию тень и прохладу. Я даже

заметил, что благодаря довольно простым приспособлениям некоторые из этих растений пускали корни в самих стволах деревьев и поэтому проделывали путь короче, зато дальше простирали гирлянды. Вы, конечно, понимаете, что подобные заросли далеко не благоприятствуют плодовым деревьям, но этот уголок — единственный во всем имении, где полезным пожертвовали ради приятного, а на всех остальных землях так тщательно ухаживают за ягодными кустами и плодовыми деревьями, что и без этого сада фруктов и ягод здесь собирают достаточно — еще больше, чем прежде. Вспомните, как радостно бывает, когда найдешь в лесу плод дикой яблоньки или груши и освежишься им, и вы поймете, с каким удовольствием находят в этой искусственной пустыне отменные зрелые плоды, хотя они попадаются лишь изредка и с виду совсем неказисты. Но оттого, что приходится разыскивать и выбирать, удовольствие лишь увеличивается.

Вдоль всех этих узких дорожек текли, а кое-где и пересекали их, прозрачные светлые ключи, то пробегавшие почти незаметными струйками между травами и цветами, то сливавшиеся в ручейки побольше, протекая по чистенькой и пестрой гальке, отчего они казались еще милее. Кое-где били из земли и бурлили родники, а местами, в более глубоких каналах, в спокойных, тихих ручьях четко отражались окружающие предметы... «Я теперь вас понимаю,— сказал я Юлии,— но все эти воды, которые я здесь повсюду вижу...» — «Они взяты вон оттуда,— промолвила Юлия, указывая в ту сторону, где была разбита площадка в саду Вольмаров.— Мы воспользовались тем самым ручьем, который дает столь дорого стоящую воду для фонтана — красы наших цветников, хотя никого он не интересует. Господин де Вольмар не хочет разрушать фонтан из уважения к моему отцу, приказавшему его устроить; но с каким удовольствием мы ежедневно приходим сюда полюбоваться, как бежит здесь вода, на которую мы и не смотрим в нашем большом саду. Фонтан бьет для посторонних, ручей течет для нас. Правда, я присоединила к нему воду из общественного водоема, которая стекала в озеро, но на пути пересекала большую дорогу, размывала ее, в ущерб прохожим, и всем решительно причиняла вред. Ручей этот, бежавший меж двумя рядами ветел, делал излучину, подходившую к моему садику; я замкнула ее в моем владении, и вода стала протекать через него окольными путями.

Я увидела, что все дело в том, чтобы расходовать воду бережно, разбивая ручеек на извилистые рукава, а местами соеди-

няя их, насколько возможно уменьшать скат, дабы замедлить течение, и кое-где устраивать маленькие водопады, радующие слух своим журчанием. Ложе ручья покрыто слоем глины, на который насыпан слой озерного гравия с вершок толщиной, а по нему разбросаны ракушки. Рукава ручья кое-где пробегают в канавках под широкими черепицами, покрытыми сверху землей и дерном, и по выходе из-под них образуют искусственные ключи. При помощи сифонов воду поднимают на возвышенные места, откуда она стекает бурливыми ручейками. Земля, которую освежали и увлажняли таким способом, давала все новые и новые цветы, всегда была покрыта зеленой прекрасной травой».

Чем дольше я бродил по столь прелестному убежищу, тем сильнее становилось восхитительное ощущение, овладевшее мною, когда я вошел сюда. Меня одолевало любопытство, мне гораздо больше хотелось глядеть на то, что окружало меня, чем разбираться в своих впечатлениях, мне так приятно было созерцать эту очаровательную картину, не утруждая себя никакими размышлениями. Однако г-жа де Вольмар отвлекла меня от моих мечтаний,— взяв меня под руку, она сказала: «Вы видите здесь лишь мир растительный и неодушевленный, но что бы мы с ним ни сделали, он всегда будет вызывать у нас печальное чувство одиночества. Пойдемте посмотрим на него там, где он полон жизни и воодушевления, там, где он пленяет изменчивой прелестью, иной в каждое мгновение дня».— «Вы наводите меня на некую мысль,— ответил я.— Недаром же я слышу шумное и разноголосое щебетанье, а между тем птиц вокруг вижу довольно мало. Наверное, у вас тут устроена вольера».— «Вы угадали,— ответила Юлия.— Подойдите же к ней». Я еще не решился высказать свое мнение о вольерах, но мне было как-то неприятно думать, что здесь имеется вольера,— мне казалось, что она совсем не соответствует всему остальному в этом приюте.

По тропе, делавшей множество поворотов, мы спустились в низинку, где все воды, кои орошают сад, сливаются в красивый ручей, протекающий меж двух рядов старых ветел, которые тут, как видно, усердно подстригались. Их облысевшие кроны и дуплистые верхушки стволов образовали своего рода вазы, откуда благодаря искусству садовода, о коем я упоминал, вздымались ветви жимолости,— одни из них, переплетаясь, обвивали все дерево, а другие изящно склонялись к берегу ручья. Почти в самом конце ложбинки устроен, окруженный водяными травами и тростником, небольшой водоем, где утоляют жажду обитатели вольеры; он служит также водохранилищем — это по-

следнее место, где задерживается столь драгоценная и бережно хранимая влага.

За водоемом находилась площадка, заканчивавшаяся пригорком, густо засаженным всякого рода деревцами,— самые маленькие росли вверху, а чем ближе к подножию, тем деревья были выше, так что уровень древесных вершин был почти горизонтальный,— во всяком случае, видно было, что когда-нибудь он будет таковым. Спереди росло с десяток молодых деревьев, обещавших со временем стать весьма высокими,— вязы, бук, ясень, белая акация. Роща, покрывавшая этот пригорок, как раз и служила приютом множеству птиц, чье щебетанье я слышал издали; они ютились под тенистой листвой, словно под большим зонтом, порхали, перелетали с места на место, пели, дрались, словно не замечали нас. Лишь очень немногие из них улетели, когда мы приблизились. Согласно предвзятому своему представлению, я решил, что они заперты в клетку, но, подходя к водоему, увидел, как несколько птиц опустились на землю и побежали по короткой аллейке, что разделяет площадку надвое и ведет от вольеры к водопою. Обогнув водоем, г-н де Вольмар достал из кармана и разбросал по аллейке две-три пригоршни корму, состоявшего из различных зерен, и лишь только он отошел, птицы слетелись и принялись клевать зерна так же спокойно, как куры,— видно было, что они к такому обхождению привыкли. «Вот прелесть! — воскликнул я.— Слово «вольера» в ваших устах удивило меня, но теперь мне все понятно. Вы хотите иметь тут гостей, а не пленников».— «А кого вы называете гостями? — спросила Юлия.— Мы сами у них в гостях. Они здесь хозяева, и мы им платим дань за то, что они иногда терпят нас здесь».— «Отлично,— заметил я,— но каким же образом пернатые хозяева завладели этим местом? Как удалось собрать здесь столько крылатых обитателей? Никогда не слышал я о подобных опытах и никогда бы не поверил, что они могут быть успешны, если бы перед глазами у меня не было разительного доказательства».

«Терпение и время совершили это чудо,— промолвил г-н де Вольмар.— К таким средствам отнюдь не прибегают богачи, жаждущие удовольствий. Они всегда спешат наслаждаться, им известны лишь два способа достигнуть желаемого: сила и деньги; у них есть певчие птицы в клетках, у них есть друзья за столько-то франков в месяц. Если бы приставили к этому месту лакеев, вскоре бы вы не увидели здесь ни одной птицы, а если их сейчас здесь много, то потому, что они всегда здесь жили. Трудно приманить птиц туда, где их нет, но где они есть, легко

добиться, чтобы их стало больше; нужно предусматривать каждую их потребность, никогда их не пугать, дать им возможность в полной безопасности выводить птенцов, не разорять их гнезд, и тогда птицы, имеющиеся в данном месте, в нем остаются, и к ним прилетают еще новые. Эта роща существовала и раньше, но была отделена от сада забором. Юлия только велела разобрать забор и окружила рощу живой изгородью, расширила ее и украсила новыми насаждениями. Вы видите, что слева и справа от аллеи, ведущей к вольере, имеются два поля, засеянные вперемешку травами, злаками и иными растениями. По приказанию Юлии, здесь каждый год сеют пшеницу, просо, подсолнечник, коноплю и овес — вообще всякие растения, зерна коих птицы любят клевать,— и здесь никогда не жнут. Кроме того, почти каждый день, зимой и летом, жена и я приносим для них корму, а если мы не приходим, нас обычно заменяет Фаншона; вода у них, как видите, в двух шагах. Юлия простирает свою заботливость до того, что каждую весну раскладывает здесь кучки конского волоса, соломы, шерсти, мха и других материалов, нужных птицам для того, чтобы свивать гнезда. И вот соседство с такими материалами, изобилие пищи, великая забота людей, изгоняющих отсюда всех врагов птичьего племени[1], постоянное спокойствие, коим пернатые здесь наслаждаются, и побуждает их всегда класть яйца в столь удобном месте, где они ни в чем не знают недостатка и где никто их не обижает. Вот почему родина отцов становится и родиной детей, вот почему этот народец плодится здесь».

«Ах! — воскликнула Юлия.— И больше вы ничего не видите? Каждый думает только о себе! Как же вы позабыли о неразлучных супружеских парах, о ревностном усердии птиц в их домашних делах, об отеческой и материнской их нежности к своим птенцам? Стоило прийти сюда два месяца тому назад, и перед вами предстало бы очаровательное зрелище, ласкающее взор и радующее сердце проявлением самого сладостного чувства».— «Сударыня,— довольно грустно промолвил я,— вы супруга и мать, вам, конечно, понятны такие радости». Тотчас г-н де Вольмар взял меня за руку и, сжав ее, сказал: «У вас есть друзья, у друзей этих есть дети. Как же может быть вам чужда отеческая привязанность?» Я посмотрел на него, я посмотрел на Юлию, они переглянулись и ответили мне столь трогательным взглядом, что я обнял их обоих и с умилением ответил: «Ваши дети мне так же дороги, как вам». Не знаю, как

---

[1] Сурков, мышей, сов и, главное, детей.

случается, что одно слово может перевернуть душу, но с этой минуты г-н де Вольмар кажется мне другим человеком, и я теперь меньше вижу в нем мужа женщины, некогда столь любимой мною, нежели отца двух детей, за коих я жизнь готов отдать.

Я решил обогнуть водоем и посмотреть поближе на очаровательный приют и его маленьких обитателей; но г-жа де Вольмар удержала меня. «Никто,— сказала она,— не тревожил наших птиц в их доме, и из всех наших гостей вас первого мы привели сюда. От калитки в изгороди есть четыре ключа: один у моего отца, у нас с мужем по ключу, а четвертый у Фаншоны, ибо она приходит сюда в качестве надзирательницы и иногда приводит с собою детей,— цену этой милости увеличивает требование держать себя крайне осмотрительно, пока они здесь находятся. Даже сам Гюстен приходит сюда только с кем-нибудь из нас четверых; да и то после двух весенних месяцев, в течение коих его работа нужна в моем саду, он почти и не бывает здесь. В этом приюте мы все делаем сами».— «Итак,— заметил я,— боясь, как бы птицы не стали вашими рабами, вы сами отдали себя им в рабство».— «Сразу видно тирана,— ответила она,— тирана, полагающего, что он лишь тогда наслаждается свободой, когда стесняет чужую свободу».

Когда мы тронулись в обратный путь, г-н де Вольмар бросил в водоем горсть ячменя, и, приглядевшись, я заметил в воде маленьких рыбешек. «Ага, ага! — тотчас воскликнул я.— У вас, оказывается, есть и пленники».— «Да — это военнопленные, которым пощадили жизнь»,— ответил г-н де Вольмар. «Совершенно верно,— добавила его жена.— Недавно Фаншона утащила из кухни плотичек и принесла сюда без моего ведома. Я оставила их тут, боясь, что обижу ее, если выпущу рыбок в озеро. Пусть уж лучше они живут в тесноте, чем я буду огорчать такую славную женщину».— «Вы правы,— согласился я.— И рыбок нечего жалеть, раз им удалось такой ценой спастись от сковороды».

«Ну как вам теперь кажется? — спросила она, когда мы шли обратно.— Вы все еще на краю света?» — «Нет,— ответил я,— я вообще не на этом, а на том свете,— вы поистине перенесли меня в Элизиум».— «Пышное название, какое Юлия дала своему саду, вполне заслуживает вашей насмешки,— заметил г-н де Вольмар.— Но все же немного похвалите эту детскую игру и знайте, что никогда она не шла в ущерб заботам матери о своей семье».— «Я это знаю,— проговорил я,— вполне в этом уверен, и такого рода детские игры мне нравятся гораздо больше, чем хлопоты взрослых людей.

Все же есть здесь кое-что, не понятное для меня,— продолжал я.— Ведь для того, чтобы это место стало совсем иным, чем прежде, потребовалось заботливо возделывать землю; однако я нигде не вижу ни малейших следов такого труда. Все здесь зелено, свежо, все буйно разрослось, а нигде не чувствуется рука садовода, ничто не противоречит мысли, что ты попал на пустынный остров, как это мне сперва показалось, когда я вошел сюда. Нигде не вижу я отпечатков ног человеческих».— «Ах! — воскликнул г-н де Вольмар.— Тут очень старались стереть их. Я зачастую был свидетелем этих стараний, а иногда и соучастником такого надувательства. На всех вспаханных полосах земли посеяна трава, и, вырастая, она быстро скрывает следы вспашки; места с тощей, неплодородной почвой зимою покрывают несколькими слоями удобрения; удобрение съедает мох, питает крупные растения и траву; да и деревьям от удобрения изрядная польза, а летом его уже совсем и незаметно. Что касается мха, покрывающего иные дорожки, то секрет его выращивания нам прислал из Англии милорд Эдуард. Вот здесь наш сад замкнут с двух сторон стеной, стену мы замаскировали не шпалерами плодовых деревьев, а густо насаженными деревьями разных пород, так что границы сада можно принять за начало леса. С двух других сторон идет сильно разросшаяся живая изгородь, в которой вы увидите и ольху и боярышник, омелу, бересклет и другие кустарники, все вперемешку,— кажется, будто перед вами не изгородь, а лесная чаща. Здесь вы не увидите ничего вытянутого по линеечке, ничего выравненного; никогда шнурок планировщика не протягивался в этом уголке, ведь природа ничего не растит по ранжиру; мнимая неправильность извилистых дорожек достигнута с большим искусством для того, чтобы удлинить место прогулок, скрыть пределы «необитаемого острова», увеличить кажущуюся его протяженность и вместе с тем избежать неудобных и слишком частых поворотов» [1].

Обозревая все это, я все же находил довольно странным, что здесь потрачено столько труда на то, чтобы скрыть приложенный труд. Не лучше ли было бы избежать таких хлопот? «Несмотря на все, что мы вам говорили,— ответила Юлия,— вы судите об этом приложенном труде по его результатам. Но, право, вы ошибаетесь. Все, что вы тут видите,— это дикорасту-

---

[1] Следовательно, это совсем не похоже на нынешние модные боскеты, где аллейки изогнуты такими нелепыми зигзагами, что на каждом шагу приходится делать на них пируэты.

щие травы и кустарники, крепкие и здоровые,— достаточно воткнуть их в землю, и они уже сами примутся. К тому же природа как будто хочет скрыть от взоров человека свои подлинные красоты, ибо люди к ним не только мало восприимчивы, но еще и уродуют их, если могут наложить на них руку; природа бежит людных мест — лишь на вершинах гор, в глубине лесов, на пустынных островах она пленяет самыми своими трогательными красотами. Кто любит природу, но не может искать ее так далеко, вынужден прибегнуть к насилью над ней и, так сказать, принудить ее жить возле нас, а этого невозможно достичь без неких иллюзий».

При этих словах воображение нарисовало мне картину, вызвавшую у обоих супругов смех. «Я представляю себе,— сказал я им,— как сюда приезжает из Парижа или из Лондона богатый человек, ставший хозяином этого дома, и привозит с собою дорого оплаченного архитектора, назначение коего — испортить природу. С каким презрением вошел бы он в этот простой и приветный уголок! С каким негодованием велел бы он вырвать все эти жалкие растения! Как замечательно он все выровняет по линейке! Какие замечательные аллеи прикажет проложить. Замечательные дорожки, в виде «гусиных лапок», замечательные деревья, подстриженные в форме зонта, в форме веера! Замечательные, украшенные статуями зеленые беседки! Замечательные, превосходно проложенные буковые аллеи, то прямые, как стрела, то красиво изогнутые! Замечательные лужайки, покрытые мягким английским газоном, лужайки круглые, полукруглые, квадратные, овальные! Замечательные тисы, подстриженные в виде драконов, китайских пагод, причудливых фигур и всяческих чудовищ. Замечательные бронзовые вазы, каменные фрукты, коими украсит он свой сад!..» [1] — «А когда все это будет сделано,— сказал г-н де Вольмар,— получится замечательное местечко, куда никто не станет ходить, а если кто и попадет в него, то живо сбежит и отправится на лоно природы, в поля и леса; унылое получится место, где гулять не станут, а лишь будут проходить через него, отправляясь на прогулку, тогда как теперь, прогуливаясь в лугах, я зачастую тороплюсь возвратиться, чтобы побыть в своем саду.

---

[1] Я убежден, что в недалеком времени в садах не захотят иметь ничего такого, что бывает в природе, не пожелают видеть в них ни травы, ни кустов, ни деревьев, а лишь фарфоровые цветы, фарфоровых мандаринов, трельяжи, песочек разных цветов и прекрасные, ничем не наполненные вазы.

В обширных и богато изукрашенных садах я вижу только тщеславие собственника земли и архитектора, всегда готовых выставить напоказ — первый свое богатство, а второй свой талант; и оба они, затратив большие деньги, готовят скуку тому, кто вздумал бы полюбоваться их творением. Ложный вкус к величию, совсем не предназначенному для простых смертных, отравляет ему все удовольствие. Величественный вид всегда наводит тоску, вызывает мысль о ничтожестве того, кто похваляется своим величием. Среди великолепных цветников и широких аллей его собственная персона нисколько не увеличивается в росте, а дерево высотою в двадцать футов покрывает его своею тенью не хуже, чем гиганты в шестьдесят футов вышиной;[1] всегда он занимает площадь в три квадратных фута и в своих огромных владениях теряется, как букашка в поле.

Но есть и другая склонность, прямо противоположная первой и еще более нелепая, потому что она не дает возможности прогуливаться по саду, хотя сады именно для прогулок и предназначены».— «Понимаю,— проговорил я,— вы имеете в виду тех любителей цветочков, которые млеют от восторга перед люпиками и простираются ниц перед тюльпанами». И тут я рассказал им, милорд, что случилось со мною в Лондоне, в саду, изобиловавшем цветами, где, восхищая взоры наши, на четырех слоях навоза блистали пышною красой сокровища голландских садоводов. Никогда не забуду церемонии торжественного вручения мне зонтика и палочки, коей почтили меня, недостойного, так же как и остальных зрителей. Я смиренно поведал моим слушателям, как я, желая отплатить за такую честь, дерзнул выразить свой восторг при виде тюльпана, яркая окраска коего показалась мне красивой, а форма изящной, и как меня за это вышутили, высмеяли, освистали все мои ученые спутники и как профессор-садовод, перенося свое презрение к скромному цветку на меня, его панегириста, более не удостоил меня ни единым взглядом за все время осмотра. «Полагаю,— добавил

---

[1] Было бы весьма не лишним сказать более пространно о существующей у нас дурной манере нелепым образом подрезать деревья, для того чтобы они, как шесты, возносились к небесам, лишая их прекрасной кроны и возможности отбрасывать густую тень, истощая их соки и не дозволяя им приносить пользу. Правда, эта метода приносит садовнику дрова, но зато отнимает дрова у страны, где их и без того не так-то много. Можно подумать, что во Франции природа устроена иначе, чем во всем остальном мире, так здесь стараются ее обезобразить. Во французских парках произрастают только длинные жерди; это леса из корабельных мачт или «майских деревьев», здесь прогуливаешься с досадой, ибо нигде не находишь тени.

я,— что ему очень жалко было своей палочки и зонтика,— ведь я подвергнул их такой профанации!»

«В этой любви к цветочкам,— сказал г-н де Вольмар,— когда она вырождается в манию, есть какая-то мелочность и тщеславие, из-за чего она делается ребяческой, да еще и обходится до нелепости дорого. В склонности к величественному есть, по крайней мере, благородство, возвышенность и какая-то доля истины; но какую же ценность имеет корешок или луковица цветка, которые точит личинка насекомого и, может быть, уничтожает его как раз в ту минуту, когда идет торг? И что драгоценного в цветке, который прекрасен в полдень, но увянет еще до заката солнца? И чего стоит условная красота, пленительная лишь для взора знатоков и признаваемая красотою лишь потому, что им угодно считать ее таковой? Может быть, настанет время, когда в цветах будут искать свойства, совершенно противоположные тем, какие ищут в них сейчас, и тогда вы, в свою очередь, станете ученым, а ваши знатоки окажутся невеждами. Все их мелкие наблюдения, превращающиеся в науку, совсем не занимают разумного человека, который в прогулке ищет для тела своего неутомительного упражнения, а для ума — отдыха в беседе с друзьями. Цветы созданы для того, чтобы ими любовались мимоходом, а вовсе не для того, чтобы их для удовлетворения любопытства своего анатомировали...[1] Поглядите, как повсюду в этом саду блещет белизною душистая таволга. Она наполняет благоуханием воздух, она чарует взор и почти не требует никаких забот, никакого ухода. Поэтому-то любители цветов ею и пренебрегают: природа создала ее столь прекрасной, что им невозможно прибавить ей условных красот, а так как взращивать ее можно без всяких хлопот, то они и не находят в этом ничего лестного для себя. Так называемые знатоки и ценители совершают следующую ошибку: повсюду они желают видеть мастерство человека и никогда не бывают довольны, если мастерство это в глаза не бросается; меж тем подлинно тонкий вкус состоит в том, чтобы скрыть мастерство, особливо когда дело идет о творениях природы. К чему эти прямые посыпанные песком аллеи, на которые в их садах наталкиваешься непрестанно, или аллеи, расположенные звездообразно? Воображают, что такие ухищрения увеличивают для

---

[1] Рассудительный Вольмар тут говорит необдуманно. Ужели он, который так умел наблюдать людей, так плохо наблюдал природу? Ужели он не знает, что если творец вселенной велик в большом, он еще более велик в малом?

наших глаз пространство парка, а на самом деле они весьма неловко показывают его границы. Разве в лесах вы увидите речной песок? И мягче ли вашим ногам ступать по этому песку, нежели по мху или по лужайке? Разве природа употребляет непрестанно угольник и линейку? А может быть, знатоки боятся, как бы не узнали природу, несмотря на все старания изуродовать ее? Наконец, не смешно ли, что уже в начале прогулки они как будто чувствуют себя усталыми и желают идти только самым прямым путем, чтобы поскорее дойти до цели? И разве неверно, что, выбирая кратчайший путь, они скорее совершают путешествие, чем прогулку, и, как только выйдут из дому, уже спешат вернуться?..

А что же сделает человек, действительно обладающий вкусом, человек, который живет для того, чтобы жить и радоваться жизни, человек, который ищет подлинных и простых удовольствий и хочет иметь место для прогулок поблизости от дома? Он сделает это место удобным и приятным, дабы оно нравилось в любой час дня, и вместе с тем столь простым и естественным, что как будто сам он тут даже и не прикладывал рук. В этом месте у него будет привлекательное сочетание воды, зелени, тени и прохлады, ибо и в природе они обычно бывают в сочетании. Он постарается везде избежать симметрии: ведь симметрия — враг природы и разнообразия; обычно в садах знатоков все аллеи до такой степени похожи одна на другую, что всегда кажется, будто ты ходишь по одной и той же аллее. Он выровняет землю, чтобы удобно было прогуливаться, но стороны его аллей не всегда будут в точности параллельны, проложены они будут не всегда по прямой линии, в направлении их должно быть нечто неопределенное, как в поступи досужего человека, который, выйдя на прогулку, бродит неспешно; вовсе нет нужды устраивать где-нибудь вдалеке красивые перспективы. Вкус к бельведерам и открывающимся оттуда далям исходит из склонности большинства людей любить только те края, где их нет. Их всегда влечет то, что далеко и недоступно, и художник, который не умеет сделать так, чтоб его заказчики были довольны окружающим, прибегает в угоду им к ухищрениям; но у человека, о котором я говорю, нет такого беспокойного стремления, и когда ему хорошо там, где он находится, он не стремится унестись куда-то в другое место. Из нашего сада, например, не увидишь ландшафтов, открывающихся за его пределами, и мы даже довольны, что не видим их. Нам кажется, что здесь заключены все красоты природы, и я очень боюсь, что малейший просвет во внешний мир намного уменьшит приятность наших

прогулок [1]. Несомненно, что всякий, кому не нравится проводить погожие летние дни в столь простом и приятном месте, не обладает ни верным вкусом, ни здоровой натурой. Признаю, что сюда не стоит торжественно привозить посторонних; но зато по этому саду может быть очень приятно прогуляться в одиночестве, не показывая его чужим людям».

«Сударь,— заметил я,— у богачей, которые устраивают в своих владениях великолепные парки, имеются веские причины не любить одиноких прогулок и не оставаться наедине с самими собой; поэтому они поступают очень умно, когда и свои сады устраивают только для посторонних. Впрочем, я видел в Китае именно такие сады, какие вам нравятся, причем устроены они со столь великим искусством, что этого искусства совсем и незаметно. Однако затраты на них так велики, уход за ними обходится так дорого, что при мысли об этом у меня пропадало всякое удовольствие любоваться ими. Там были скалы, гроты, искусственные каскады,— и ведь все это создано на песчаных равнинах, где нет иной воды, кроме колодезной; там были цветы и редкостные растения, собранные из всех климатических поясов Китая и Татарии и выращиваемые на одной и той же почве. Правда, там не увидишь ни красивых аллей, ни правильно разбитых клумб, но зато найдешь изобильное скопление чудес, какое в других местах можно увидеть лишь рассеянными по отдельности. Природа представлена в этих садах с самых разнообразных сторон, но там совершенно отсутствует естественность. Вы же не перетаскивали в ваш сад ни чернозема, ни каменных глыб, не устраивали ни насосов, ни резервуаров для воды, вам не нужны ни теплицы, ни печи, ни стеклянные колпаки, ни соломенные маты. Место здесь совершенно ровное, и украшено оно довольно просто. Самые обыкновенные травы, самые обыкновенные деревья, несколько струек проточной

---

[1] Не знаю, пробовали ли когда-нибудь придать длинным аллеям, расходящимся лучами звезды, легкий изгиб для того, чтобы глаз не мог свободно видеть каждую аллею на всем ее протяжении и чтобы дальний ее конец был скрыт от зрителя. Правда, при этом потеряется красивая перспектива, зато будет достигнуто преимущество, дорогое для владельца парка: воображение увеличит место прогулки, и на середине довольно-таки небольшой «звезды» человеку будет казаться, что кругом его огромный парк, где можно заблудиться. Я убежден, что благодаря этому прогулки будут менее скучны, хотя и более одиноки. Ибо все, что дает пищу воображению, возбуждает работу мысли и обогащает ум; но строители садов не из тех людей, кто чувствует такие вещи. У кого из них мог бы в сельской местности выпасть из рук карандаш, как у Ленотра в парке Сент-Джемс, и разве они знают, как он, что́ придает жизненность природе и прелесть ее картинам?

воды — все так бесхитростно, так непринужденно, но этого вполне достаточно, чтобы место стало красивее. Это как изящная игра, в которой не чувствуется тяжелых усилий, и самая ее легкость увеличивает удовольствие зрителя. Я знаю, что ваш приют мог бы стать еще краше, но тогда он нравился бы мне куда меньше. Возьмем, например, знаменитый парк милорда Кебхем в Стоу. В нем столько красивых, весьма живописных видов, как будто собранных из разных стран, и все там кажется естественным, кроме их сочетания, как в садах Китая, о которых я говорил вам. Владелец и созидатель этого роскошного места уединения даже приказал воздвигнуть там развалины храма; древние строения, далекие времена и далекие края представлены там с великолепием сверхчеловеческим. Вот как раз на эти выдумки я и жалуюсь. Мне хочется, чтобы забавы людей всегда имели вид непринужденный, не вызывали бы мысли о слабости человека и чтобы к восхищению самими чудесами не примешивались назойливые мысли о затратах денег, коих все это стоило. Разве мало судьба посылает нам тягостного? Нет нужды отягощать еще и свои утехи.

Я могу сделать вам лишь один упрек,— добавил я, глядя на Юлию,— но, пожалуй, вам он покажется серьезным: ваш Элизиум, по-моему,— излишняя забава. Для чего вам новое место прогулок, когда у вас по другую сторону дома зеленеют очаровательные, но такие запущенные рощицы?» — «Это верно,— ответила Юлия, несколько смутившись,— но здесь мне больше нравится».— «Если б вы подумали хорошенько,— сказал г-н де Вольмар, прервав меня,— вы не задали бы такого вопроса, признав его более чем нескромным. Со дня свадьбы моя жена ни разу не бывала в рощицах, о коих вы упомянули. И мне известны причины этого, хотя она никогда мне о них не говорила. Вы тоже знаете их, так уважайте же место, в коем мы сейчас находимся,— рука добродетели насадила в нем деревья».

Лишь только я получил эту справедливую отповедь, как в сад, из коего мы вышли, явилось маленькое семейство под предводительством Фаншоны. Три прелестных ребенка бросились супругам на шею. И меня они не обошли милыми своими ласками. Мы с Юлией вернулись в Элизиум, прогулялись там немного с детьми, а затем присоединились к г-ну де Вольмару, говорившему о чем-то с работниками. По дороге Юлия мне сказала, что с тех пор как она стала матерью, одна мысль, которая часто приходит ей в голову, побуждает ее старательно ухаживать за садом. «Я подумала,— сказала она,— что, когда дети подрастут, работа в саду будет для них забавой и принесет

пользу их здоровью. Уход за нашим садом требует больше заботы, чем труда, тут нужно скорее придавать определенный изгиб ветвям растений, чем копать и вспахивать землю; я хочу со временем сделать детей моими маленькими садовниками; здесь у них будет достаточно телесных упражнений, необходимых для укрепления их организма и вместе с тем неутомительных. Трудную работу, непосильную в их возрасте, за них будут делать другие, а сами они ограничатся лишь той, которая для них будет забавой. Не могу и сказать,— добавила она,— как мне сладостно представить себе, что мои дети заняты работой, что они оказывают мне маленькие услуги, которые я с таким удовольствием сейчас делаю для них, как нежным своим сердцем они радуются, видя, что их мать с наслаждением прогуливается под сенью дерев, за коими они сами ухаживали. Право, друг мой,— промолвила она взволнованным голосом,— на радостно проведенных днях есть отсвет блаженства, уготованного людям в иной жизни, и, думая об этом, я не без оснований назвала свой сад Элизиумом». Милорд, эта женщина — несравненная мать и несравненная супруга; столь же несравненна была она и в дружбе, и в дочерней любви, и, к вечному мучению сердца моего, она была несравненной возлюбленной.

Восхищенный сим очаровательным приютом, я попросил вечером хозяев дома, чтобы, на время моего пребывания у них, Фаншона доверила мне свой ключ и обязанность кормить птиц. Тотчас Юлия прислала в мою комнату мешочек зерен и отдала мне свой собственный ключ. Не знаю почему, но мне было как-то больно взять его: думается, я предпочел бы получить ключ г-на де Вольмара.

Нынче утром я встал очень рано и с детским нетерпением поспешил замкнуться на моем пустынном острове. Каких приятных мыслей я ожидал в этом уединенном месте, где одна лишь сладостная картина природы должна была изгнать из моих воспоминаний искусственный строй жизни, сделавший меня таким несчастным. Все, что будет меня здесь окружать, создано женщиной, которая была мне так дорога. Во всем я буду здесь видеть ее. На что бы я ни взглянул — всего касалась ее рука; я буду целовать цветы, по которым она ступала; буду вдыхать увлажненный росою воздух, которым она дышала; я узнаю ее вкусы, коими отмечены здесь все ее утехи, и предо мною предстанет вся ее прелесть. Я буду находить ее здесь повсюду, так же как нахожу ее в глубине своего сердца.

Вот в каком расположении духа я вошел в Элизиум, но тотчас же мне вспомнились слова г-на де Вольмара, сказанные

накануне, почти на том же самом месте, где я сейчас находился. И тотчас же воспоминание об этих немногих словах изменило все мое душевное состояние. Я увидел, казалось мне, образ добродетели там, где искал образ наслаждения. Этот новый образ слился в моем уме с чертами г-жи де Вольмар, и впервые после моего возвращения я в отсутствие Юлии увидел ее не такою, какой она некогда была для меня и какою я все еще люблю ее вспоминать, но такою, какой она является передо мною ежедневно. Милорд, мне казалось, я вижу эту очаровательную, целомудренную, добродетельную женщину среди той самой свиты, что окружала ее вчера. Я видел, как трое милых детей, резвившихся вокруг нее,— святой и драгоценный залог супружеского союза и нежной дружбы,— осыпали ее трогательными ласками и она отвечала им тем же. Я видел рядом с ними степенного г-на де Вольмара, супруга, столь любимого, столь счастливого и столь достойного быть счастливым. Я словно все еще видел, как он устремляет на меня прозорливый взгляд, проникающий в глубину сердца, и краска стыда бросилась мне в лицо, будто все еще звучали сорвавшиеся с его уст слова вполне заслуженного упрека и наставление, которое я так плохо слушал. А затем я увидел Фаншону Регар, живое доказательство торжества добродетели и человечности, победивших самую пламенную страсть. Ах! Разве могло бы какое-либо запретное чувство дойти до Юлии сквозь эту нерушимую ограду? С каким негодованием я подавил бы низкие порывы преступной и не вполне угасшей страсти! Как я сам презирал бы себя, если бы осквернил единым вздохом столь дивную картину торжества невинности и порядочности. Я воскресил в памяти разговор, который она вела со мною, выходя из сада, потом, проникнув вместе с нею мысленным взором в будущее, я увидел, как эта нежная мать отирает у своих детей пот со лба, целует их раскрасневшиеся щеки и предается сердцем, созданным для любви, самому сладостному чувству, вложенному в нас природой. Решительно все, вплоть до наименования сада Элизиумом, помогало мне погасить пламень воображения и внесло в мою душу драгоценное спокойствие, которое должно предпочесть волнению самых соблазнительных страстей. Слово «Элизиум» до некоторой степени отображало внутренний мир женщины, придумавшей это название,— ведь при смятении душевном невозможно было бы выбрать такое наименование. Я говорил себе: мир царит в ее сердце, так же как и в приюте, который она так назвала.

Я надеялся, что мне приятно будет помечтать здесь,— приятность эта превзошла мои ожидания. Я провел в Элизиуме два

часа, милее коих еще не было в моей жизни. Видя, как отрадостно и как быстро они протекли, я нашел, что размышления, полные благородных мыслей, порождают блаженное ощущение, неведомое людям испорченным, а именно: чувство удовлетворения самим собой. Если подумать об этом без предвзятости, я не знаю, какое другое удовольствие может сравниться с этим чувством. Полагаю, во всяком случае, что тот, кто любит, подобно мне, уединение, должен опасаться, как бы не уготовить самому себе муки душевные. Быть может, руководствуясь теми же самыми началами, удастся найти ключ к ложному суждению людей о преимуществах порока и о преимуществах добродетели; ведь радости, которые дает добродетель, чисто внутренние и заметны лишь тому, кто их переживает. А роскошества порока бросаются в глаза, но кто их имеет, знает, чего они ему стоят.

Se a ciascun l'interno affanno
Si leggesse in fronte scritto,
Quanti mai, che invidia fanno,
Ci farebbero pietà! [1]

Я и не заметил, как пробыл в Элизиуме до позднего утра, но тут за мной пришел г-н де Вольмар и сообщил, что Юлия ждет меня с чаем. «Это из-за вас я опоздал к завтраку,— сказал я, оправдываясь.— Вчера вечером мне было так хорошо в вашем саду, вот я и вернулся нынче утром, чтобы еще раз насладиться им. К счастью, вы меня подождали с завтраком, стало быть, я ничего не потерял».— «Как же иначе? — отвечала г-жа де Вольмар.— Лучше ждать до полудня, чем лишиться удовольствия позавтракать всем вместе. Чужие никогда не допускаются по утрам в мою комнату и завтракают каждый у себя.

---

[1] Если б муку и печали
Многие не стали прятать.
К ним не зависть бы питали —
Жалость, больше ничего! *(итал.)*

Сен-Пре мог бы привести вдобавок и продолжение этих стихов, очень красивое и не менее соответствующее теме:

Si vedria che i lor nemici
Anno in seno, e si riduce
Nel parere a noi felici
Ogni lor felicità.

[Палачом неумолимым
Для себя иной бывает;
Лишь кичиться счастьем мнимым —
Вот все счастье для него! *(итал.)*]

К завтраку мы приглашаем только друзей; лакеев всегда высылаем, докучные здесь не показываются; сотрапезники говорят все, что думают, открывают свои тайны, не подавляют никаких своих чувств, без всякой опаски предаются сладостной доверчивости и непринужденности. Пожалуй, за весь день это единственная минута, когда каждому тут дозволяется быть таким, каков он есть. Как было бы хорошо, чтобы эта минута длилась весь день».— «Ах, Юлия,— хотелось мне сказать,— какое у вас прекрасное желание!» Но я промолчал. Первое, что я вычеркнул из своей жизни вместе с любовью,— это славословия. Хвалить кого-нибудь в лицо (кроме своей возлюбленной, разумеется) — разве это не значит подозревать его в тщеславии? А ведь вы знаете, милорд, можно ли г-жу де Вольмар упрекнуть в тщеславии... Нет, нет, я так ее почитаю, что буду чтить ее в молчании. Смотреть на нее, слушать ее, наблюдать за каждым ее движением — разве при этом я недостаточно возношу ей хвалы?

## ПИСЬМО XII

*От г-жи де Вольмар к г-же д'Орб*

Видно, тебе на роду написано, дорогая моя подруга, всегда оберегать меня от меня самой. После того как ты с таким трудом освободила меня от ловушек, расставленных сердцем, ты спасаешь меня от ловушек разума. После стольких жестоких испытаний я теперь начинаю опасаться заблуждений, не меньше чем страстей, которые их зачастую порождают. Зачем не было у меня всегда такой осторожности! Если бы в прошлом я меньше полагалась на свою рассудительность, мне бы меньше пришлось краснеть за свои чувства.

Пусть это предисловие не тревожит тебя. Я была бы недостойна твоей дружбы, если бы мне все еще приходилось советоваться с тобою по важным вопросам. Преступные склонности всегда были чужды моему сердцу, и, смею думать, сейчас я от них дальше, чем когда бы то ни было. Выслушай же меня спокойно, сестрица,— и поверь, что мне никогда не понадобится обращаться за советом в тех случаях, когда сомнения может разрешить одна лишь внутренняя порядочность.

Шесть лет мы с Вольмаром прожили душа в душу, в полном согласии, какое только возможно между супругами, и ты знаешь, что он никогда не говорил со мною ни о своей семье, ни о себе самом, а я, приняв мужа из рук отца, заботившегося о счастье дочери и о чести дома, ни разу не выказывала горячего

желания узнать о нем более того, что он считал уместным поведать мне. Довольная тем, что я ему обязана и жизнью того, кто дал мне жизнь, и честью своей, и покоем, и разумом, и счастьем иметь детей, и всем, что придает мне некоторую цену в собственных моих глазах, я вполне была уверена, что все, чего я не знаю о нем, не противоречит уже известному, и мне не нужно было знать больше, чтобы любить, уважать, почитать его всеми силами души.

Нынче утром за завтраком он предложил нам прогуляться, пока еще не жарко, и под тем предлогом, что ему неудобно уходить далеко от дому в халате, он повел нас в рощицу,— и как раз, моя дорогая, в ту самую рощу, где начались все несчастья моей жизни. Когда мы приблизились к сему роковому месту, у меня ужасно забилось сердце, и я отказалась бы войти в рощу, если б не стыд и воспоминания о словах, сказанных недавно в Элизиуме,— я боялась, что отказ мой будет истолкован неверно. Не знаю, был ли спокоен наш философ, но, взглянув на него через некоторое время, я увидела, что он бледен, изменился в лице, и не могу тебе сказать, как мне это было больно.

Войдя в рощу, я заметила, что муж смотрит на меня и улыбается. Он сел между нами в середине и, помолчав немного, сказал, взяв нас за руки: «Дети мои, я убеждаюсь, что планы мои совсем не напрасны, и нас троих может связать долгая прочная привязанность, которая сделает нас счастливыми и будет мне утешением на старости, уже приближающейся; но я вас знаю обоих лучше, нежели вы меня знаете, и справедливо, чтобы мы были в равном положении. Хотя мне нечего рассказать вам о себе очень уж занимательного, я больше не хочу иметь от вас секретов, раз вы их от меня не имеете».

И тут он открыл нам тайну своего рождения, известную до сих пор лишь моему отцу. Когда ты узнаешь ее, ты подивишься самообладанию и сдержанности человека, способного шесть лет скрывать от жены такую тайну; но для него это ничто,— он не думает об этом, ему не надо делать над собою особых усилий, чтобы молчать.

«Не буду останавливать вашего внимания на событиях моей жизни,— сказал он нам,— для вас важнее узнать мой характер, нежели мои приключения. Они очень просты, и, поняв хорошенько, что я собой представляю, вы легко поймете, что я мог совершить. У меня от природы душа спокойная, а сердце холодное. Я из числа тех людей, коих называют бесчувственными, желая их оскорбить, тогда как они просто лишены страстей, мешающих следовать велениям разума, истинного руководителя

человека. Будучи мало чувствителен и к удовольствию и к скорби, я лишь в слабой степени испытываю гуманное сочувствие к ближнему, вызывающее у людей привязанность к нам. Если мне тяжело видеть страдания хороших людей,— то жалость тут ни при чем, ибо мне нисколько не жалко, когда страдает человек дурной. Самым главным началом моих чувств является прирожденная любовь к порядку; удачное сочетание игры фортуны и действий человека нравится мне точно так же, как прекрасная симметрия в картине художника или как хорошо поставленная на театре пьеса. Ежели и есть у меня какая-либо страсть, то лишь страсть к наблюдениям: я люблю читать в сердцах людей, и поскольку мое собственное сердце не порождает у меня иллюзий, поскольку наблюдения я веду хладнокровно и безучастно, а долгий опыт развил во мне проницательность, я никогда не обманываюсь в своем предвидении; это тешит мое самолюбие и служит мне единственной наградой в постоянных моих наблюдениях; сам я не люблю играть роли — люблю только смотреть, как играют другие. Мне нравится лишь созерцать общество людей, и вовсе не по вкусу быть составной его частицей. Если бы я мог изменить самую природу своего естества и стать живым оком, я бы охотно произвел такую перемену. Но равнодушие к людям вовсе не делает меня независимым от них; я нисколько не стремлюсь быть у них на виду, однако чувствую потребность видеть их, а следовательно, хоть и не питаю к ним нежности, они мне необходимы.

Два общественных сословия, которые мне довелось наблюдать первыми, а именно лакеи и придворные, гораздо менее отличаются друг от друга по внутренней сущности, нежели по внешнему виду, и оба они столь мало достойны изучения, столь легко их узнать, что и те и другие сразу же наскучили мне. Расставшись с королевским двором, где скоро все видишь насквозь, я, сам того не ведая, спасся от большой опасности, которой мне бы там не удалось избежать. Я переменил имя и, желая познакомиться с нравами военных, уехал в чужие края и поступил на службу к тамошнему государю. И тут-то я имел счастье, Юлия, оказать услугу вашему отцу, когда он, в отчаянии от того, что убил на поединке друга, отважно, но противно долгу военачальника, бросался навстречу смерти. Узнав чувствительное и благородное сердце этого храброго офицера, я составил лучшее мнение о людях. Нас связали узы дружбы, которой он подарил меня и на которую я не мог не ответить взаимностью; с тех пор сердечные отношения меж нами не только не прекращались, но становились с каждым днем все

теснее. В новом своем положении я узнал, что корысть не является, как мне думалось, единственным побуждением человеческих действий, и среди сонма предрассудков, враждебных добродетели, есть и такие, которые благоприятны для нее. Я постиг ту истину, что основное свойство человека — любовь к самому себе, черта по природе своей безразличная, ибо она становится дурной или хорошей в зависимости от обстоятельств, а те, в свою очередь, зависят от обычаев, законов, положения в обществе, богатства и от всего нашего общественного уклада Отдавшись своей склонности к наблюдениям и презирая суетное мнение об общественных рангах, я перепробовал самые различные занятия, что давало мне возможность сравнивать между собою людей разных состояний и узнавать одних через других. Я почувствовал то, о чем вы говорили в каком-то своем письме,— промолвил он, обращаясь к Сен-Пре,— почувствовал, что, если ограничиться одним лишь созерцанием, ничего не увидишь,— надо действовать, и тогда увидишь, как люди действуют. И вот я стал актером, чтобы сделаться зрителем. Спускаться гораздо легче, чем подниматься; я изведал множество общественных положений, какие и не снились человеку моего звания. Я даже крестьянствовал, и когда Юлия сделала меня в своем Элизиуме подручным садовника, я оказался в этом деле не таким уж новичком, как она полагала.

Помимо подлинного знания людей, о коих бездеятельная философия дает лишь мнимое представление, я обрел еще и другое, неожиданное для меня преимущество. Деятельная жизнь усилила во мне прирожденную любовь к порядку, и добро приобрело новую привлекательность в моих глазах, ибо мне было приятно содействовать ему. Это чувство сделало меня несколько менее созерцательным, немного примирило меня с самим собой, и вследствие такого развития своего характера я пришел к мысли, что я совсем одинок. Одиночество, и прежде докучное, теперь стало для меня просто нестерпимым, я уже не надеялся свыкнуться с ним. Я не избавился от своей холодности, но почувствовал потребность в привязанности; прежде времени меня удручали мысли о старости, лишенной утешения, и впервые в жизни я познал тревогу и тоску. Я поведал мое горе барону д'Этанж. «Не надо стареть холостяком,— сказал он.— Я и сам, после того как жил почти независимо, невзирая на узы брака, чувствую теперь желание вновь стать супругом и отцом и намерен вскоре вернуться в свою семью. Вы можете войти в эту семью и заменить мне сына, которого я потерял. У меня есть дочь, единственное мое дитя, девушка

на выданье. Она не лишена достоинств; сердце у нее чувствительное, а сознание долга побуждает ее с любовью принимать все, что долг возлагает на нее. Она не красавица, не сверхъестественная умница, но приезжайте посмотрите, и если ничего не почувствуете к ней, стало быть, вы ни к одной женщине в мире никогда ничего не почувствуете». Я приехал, увидел вас, Юлия, и нашел, что отец дал вам слишком скромную оценку. Ваш восторг, слезы радости, которые вы проливали, обнимая его, вызвали у меня первое — вернее, единственное в моей жизни,— волнение. Пусть впечатление казалось легким, оно было необычайным, да и нуждаются впечатления в силе лишь тогда, когда воздействуют на тех, кто им сопротивляется. Три года разлуки не изменили состояния сердца моего. Когда же я возвратился, состояние вашего сердца, Юлия, не укрылось от меня. И сейчас я хочу отомстить за признание, которое вам так дорого стоило». Суди сама, дорогая, с каким изумлением узнала я тогда, что все мои тайны были ему известны еще до свадьбы, и он женился на мне, зная, что я принадлежала другому.

«Поведение мое было непростительным,— продолжал Вольмар.— Я поступил неделикатно и неблагоразумно, я подверг опасности вашу и свою честь, я должен был страшиться, что ввергну и вас и себя в пучину безысходного несчастья. Но я полюбил вас, любил лишь вас одну. Все остальное мне было безразлично. Как подавить страсть, даже самую слабую, когда у ней нет противовеса? Вот в чем недостаток холодных и спокойных характеров. Пока холодность оберегает их от искушений, все идет хорошо. Но лишь только искушение затронет их,— оно тотчас же побеждает; разум, управлявший чувствами, пока господствовал он один, не в силах противодействовать малейшему их напору. Я испытал искушение только один раз в жизни и сразу был повергнут ниц. А если бы меня еще охватило смятение и других страстей, каким неустойчивым бы я оказался, сколько раз спотыкался бы и падал. Только пламенные души умеют бороться и побеждать. Все великие усилия, все высокие действия доступны им, холодный разум никогда не сделал ничего достойного славы, и над страстями можно восторжествовать, лишь противопоставляя их одну другой. Когда возносит свою силу страсть к добродетели, она господствует одна и все держит в равновесии. Вот так человек и становится мудрецом,— ибо и мудрец не свободен от страстей, но умеет побеждать одни страсти другими, уподобляясь лоцману, который ведет корабль, пользуясь противными ветрами.

Как видите, я не собираюсь умалить свои грехи: если бы здесь была хоть одна ошибка, я без всяких споров признал бы ее; но, Юлия, я хорошо знал вас и, женившись на вас, не совершил ошибки. Я чувствовал, что от вас зависит счастье всей моей жизни, и знал, что только я могу сделать вас счастливой. Я знал, что вашему сердцу необходимы невинность и мир, а любовь, заполнившая вас, никогда их не даст вам. И что изгнать ее из вашего сердца может лишь ужас перед преступлением. Я видел,что душа ваша подавлена, что от этого состояния подавленности вы можете избавиться лишь путем новой борьбы и, почувствовав, что вы еще можете быть достойной моего уважения, постараетесь заслужить его. Сердце ваше было разбито; поэтому меня не остановила разница в возрасте, лишавшая меня права притязать на любовь вашу, которой уже не мог воспользоваться тот, кто был ее предметом, а никто другой не мог бы добиться. Напротив, видя, что в моей жизни, уже наполовину протекшей, впервые пробудилась сердечная склонность, и полагая, что она будет длительной, я с радостью решил посвятить ей остаток дней своих. Долго искал я и, не найдя никого, кто мог бы сравниться с вами, подумал, что если вы не дадите мне счастья, никто другой в мире не может этого сделать; я дерзнул поверить в добродетель и женился на вас. Вы скрывали свою тайну, но это меня не удивляло; я знал причины молчания, а ваше благоразумное поведение дало мне основание надеяться, что оно всегда останется таким. Из уважения к вам я, по вашему примеру, тоже соблюдал сдержанность, не желая отнять у вас чести сделать когда-нибудь самой признание, ибо видел, что оно ежеминутно готово сорваться с ваших уст. Я ни в чем не ошибся. Вы оправдали все мои чаяния. Когда я решил выбрать себе жену, я желал найти в ней любезную, разумную и счастливую подругу. Два первые пожелания исполнились. Дитя мое, надеюсь, что исполнится и третье».

При этих словах, несмотря на все мои усилия не прерывать его, я со слезами бросилась ему на шею и воскликнула: «Дорогой муж мой, лучший и самый любимый из всех людей, знайте же, что если не для вашего, то для моего счастья недостает лишь одного: чтобы я более заслуживала его...» — «Вы счастливы, насколько можете быть сейчас счастливой,— сказал он, прервав меня,— вы этого заслуживаете, и настало время, когда вы в спокойствии душевном можете наслаждаться счастьем, которое стоило вам многих тревог. Если б для меня достаточно было одной лишь верности вашей, я нисколько не

усомнился бы в ней, раз вы дали обещание хранить ее. Но мне хотелось большего, хотелось, чтобы долг супружеской верности стал для вас легким и сладостным, и оба мы, в полном согласии, без слов стремились к этому. Юлия, нам это удалось, и, может быть, даже больше, чем вы думаете. Вы виноваты только в том, что все еще доверяете себе меньше, чем должно, и недостаточно себя уважаете. Не только в гордости, но и в чрезмерной скромности есть своя опасность. Из-за дерзкой отваги, толкающей нас на непосильное, порывы наши бывают тщетными, а из-за страха, который отнимает у нас веру в свои силы, они становятся бесполезными. Истинное благоразумие состоит в том, чтобы хорошо знать свои силы и на них полагаться. Когда изменилось ваше положение, вы обрели новые силы. Ведь вы уже не та несчастная девушка, которая поддалась слабости и оплакивала ее; вы самая добродетельная из женщин, требования супружеского долга и чести для вас непреложный закон, и лишь одно можно поставить вам в упрек: зачем так живы у вас воспоминания о былых ваших ошибках? Вместо того чтобы принимать оскорбительные предосторожности против самой себя, научитесь полагаться на свои силы, и тогда ваша уверенность в себе возрастет. Отбросьте несправедливое недоверие к себе, а то, пожалуй, и в самом деле оживут те чувства, коими оно было вызвано. Утешьтесь тем, что в юном возрасте, когда так легко ошибиться, выбор ваш пал на честного человека и что прежний возлюбленный ныне может стать для вас другом даже в глазах вашего мужа. Как только мне стала известна ваша связь, я вынес суждение о вас обоих. Я понял, что обоих вас ослепила восторженность; но она рождается лишь в прекрасных душах, и если иногда губит их, то все же влечет друг к другу только высокие души. Я угадал, что вас соединили равно возвышенные стремления и союз ваш тотчас же распадется, лишь только станет преступным, ибо порок мог проникнуть в ваши сердца, но не мог в них укорениться.

И тогда я понял, что вас связывают узы, коих не следует разрывать: ведь в вашей привязанности было столько похвального, что скорее следовало бы исправить ее, чем уничтожить; для вас обоих невозможно забыть друг друга без ущерба для своего достоинства. Я знал, что жестокая борьба только разжигает слепые страсти, и если яростные усилия укрепляют душу, они стоят ей таких мучений, что эти долгие пытки могут ее убить. Я направил природную кротость Юлии на то, чтобы умерить ее суровость к себе. Я поощрял ее дружеские чувства к вам,— сказал он Сен-Пре.— Я освободил ее приязнь

от всего лишнего и, думается мне, сохранил для вас в ее сердце больше места, чем она отвела бы вам, если б я предоставил ее себе самой.

Достигнутые успехи ободрили меня, и вскоре я решил попытаться исцелить вас, так же как я исцелил Юлию; ведь я уважал вас и всегда считал, что, вопреки предрассудкам порочных людей, можно доверием и откровенностью пробудить в благородной душе самые высокие чувства. Мы встретились, и я увидел, что вы нисколько меня не обманывали и впредь не будете обманывать. И хотя вы еще не стали тем, кем должны быть, я разгадал вас лучше, чем вы думаете, и доволен вами больше, нежели вы сами довольны собою. Мое поведение может, конечно, показаться странным,— я нарушаю общепринятые правила; но ведь правила эти тем больше допускают исключений, чем лучше мы читаем в человеческих душах, и супруг Юлии не должен вести себя так же, как любой другой человек. Дети мои,— сказал он с волнением глубоко трогательным, ибо говорил это человек по натуре спокойный,— будьте такими, как вы есть, и мы все будем счастливы. Опасность таится лишь в неверном мнении о себе; не бойтесь самих себя, и вам ничего не надо будет бояться; думайте лишь о настоящем, и я отвечаю за будущее. Ничего больше сейчас не могу вам сказать; но если замыслы мои осуществятся и моя надежда не обманет меня, жизнь наша будет более полна, и оба вы будете счастливее, чем если бы вы принадлежали друг другу».

Встав с места, он поцеловал нас и пожелал, чтобы и мы с Сен-Пре обменялись поцелуем в этой роще... в той самой роще, где когда-то... Клара, о добрая моя Клара, как ты меня всегда любила! Я не воспротивилась желанию мужа, увы! Зачем мне было противиться! Наш поцелуй нисколько не походил на тот, из-за которого эта роща стала столь опасной для меня. Мне было и грустно и радостно: я поняла, что сердце мое изменилось больше, нежели я осмеливалась думать.

Когда мы направились обратно к дому, муж взял меня за руку и, остановив, указал на рощу, из которой мы выходили. «Юлия,— сказал он мне, улыбаясь,— не страшись больше сего приюта,— он утратил свои чары». Ты вот не хочешь верить мне, Клара, но клянусь тебе, мой муж наделен каким-то сверхъестественным даром видеть, что таится в глубине сердца человеческого. Да сохранит ему небо такую прозорливость, ведь сколько бы ни было у него причин презирать меня, именно ей я обязана тем, что он так снисходителен ко мне.

Ты пока еще не видишь никаких поводов дать мне совет. Потерпи, мой ангел, сейчас найдешь повод; но передать тебе этот разговор было необходимо, чтобы стало ясно все остальное.

На обратном пути мой муж, которого уже давно ждут в Этанже, сказал мне, что он рассчитывает завтра отправиться туда, что проездом он увидится с тобою и вернется дней через пять-шесть. Не высказывая всего, что я думала о столь неуместной поездке, я лишь заметила, что она не кажется мне столь необходимой, чтобы из-за нее бросать гостя, которого он сам пригласил. «Ужели вы хотите,— возразил он,— чтобы церемонным обращением я показал ему, что он не у себя дома? Я стою за гостеприимство в духе радушия жителей Вале. Пусть он найдет здесь такую же откровенность, а мы, по их примеру, будем вести себя свободно». Видя, что муж не желает меня слушать, я прибегла к иному средству: стала уговаривать нашего гостя поехать вместе с ним. «Вы увидите,— сказала я,— замок, в котором есть свои красоты, и, несомненно, они понравятся вам. Вы осмотрите владение моих предков, а ныне мое владение; ваше доброе отношение ко мне позволяет мне думать, что вам не безразлична будет эта картина». И я уже хотела было добавить, что замок этот похож на замок милорда Эдуарда, каковой... но, к счастию, вовремя прикусила язычок. Сен-Пре очень просто ответил, что я права, и он сделает все, что мне будет угодно. Но Вольмар, словно желая вывести меня из терпения, возразил, что Сен-Пре должен поступить, как ему самому будет угодно: «Чего вам больше хочется: поехать или остаться?» — «Остаться»,— ответил Сен-Пре без всяких колебаний.— «Ну вот и оставайтесь,— продолжал мой муж, пожимая ему руку.— Вы честный и правдивый человек, и я доволен вашим ответом». Пререкаться при свидетеле было невозможно. Я промолчала, но от мужа не укрылось мое огорчение. «Так что ж,— с недовольным видом сказал он, когда Сен-Пре был далеко от нас.— Неужто я бесполезно защищал от вас самих вашу дружбу? Ужели для добродетели моей жены необходимы какие-то особые обстоятельства? Что до меня, то я более требователен, я хочу, чтобы верностью моей Юлии я обязан был лишь ее сердцу, а не обстоятельствам, и мне мало того, что она блюдет свою честь,— для меня оскорбительно, что она сомневается в себе».

Затем он провел нас в свой рабочий кабинет, и там я чуть не упала в обморок, когда он достал из ящика стола вместе с копиями посланий нашего друга, которые я сама ему дала, подлинники тех самых писем, которые, как я полагала, Баби

сожгла в спальне моей матери. «Вот,— сказал он, показывая нам эти письма,— вот залог моего спокойствия. Если они обманули меня, стало быть, нельзя верить ничему, что уважают люди, это было бы безумием. Жена моя, смело вверяю свою честь той, кто, будучи соблазненной девушкой, ради доброго дела отказался от единственного и безопасного свидания с любовником. Юлию, ныне супругу и мать, я вверяю тому, кто некогда сумел победить свое вожделение, чтя в Юлии влюбленную девушку. Если вы, Сен-Пре, или ты, Юлия, думаете, что я ошибаюсь,— я сейчас же возьму свои слова обратно». Сестрица, как ты думаешь, легко ли было ответить, когда он заговорил таким языком?

И вот днем, улучив минуту, когда муж был один, я пришла поговорить с ним, и, не вдаваясь в рассуждения, в которых мне неудобно заходить слишком далеко, я только попросила у него два дня сроку. Он тотчас согласился, и эти два дня я употребила на то, что послала тебе с нарочным письмо, ожидая от тебя немедленного ответа, в котором ты посоветуешь, как мне поступить.

Я знаю, стоит мне попросить мужа не уезжать, и он, который никогда мне ни в чем не отказывал, и на этот раз не откажет мне в столь малой милости. Но, дорогая моя, я вижу, как ему приятно выразить мне свое доверие, и боюсь, что он отчасти утратит уважение ко мне, если подумает,что мне нужно больше сдерживать себя, чем он полагает. Я знаю также, что стоит мне слово сказать, и Сен-Пре без колебаний отправится сопровождать его, но как примет мой муж такую перемену решения? Да и могу ли я сделать этот шаг? Не покажется ли тогда, что я сохранила некую власть над Сен-Пре и что это словно дает ему какие-то права на меня? Боюсь к тому же, как бы он не заключил из подобной предосторожности, будто она мне необходима, а тогда это средство, с первого взгляда самое легкое, окажется опаснейшим. Я, конечно, понимаю, что никакие соображения нельзя ставить на одну доску с действительной опасностью, но существует ли она, эта опасность? Как раз это сомнение ты и должна разрешить.

Чем глубже я всматриваюсь в состояние души моей, тем меньше нахожу поводов тревожиться. В сердце у меня все чисто, совесть спокойна, я не чувствую ни смятения, ни страха, и обо всем, что происходит во мне, без всякого усилия могу чистосердечно признаться мужу. Правда, иные невольные воспоминания вызывают в душе моей умиление, которого лучше бы мне не знать; но воспоминания воскресают вовсе не при

взгляде на того, кто породил их,— напротив, мне кажется, они возникают реже с тех пор, как он возвратился, и как бы ни было для меня приятно видеть его,— не знаю почему — такая странность! — мне приятнее думать о нем. Словом, я нахожу, что мне даже не нужна помощь добродетели, чтобы оставаться спокойной в его присутствии, и если б даже преступная страсть не внушала мне ужаса,— чувствам, уничтоженным добродетелью, трудно было бы возродиться.

Но, ангел мой, достаточно ли того, что сердце успокаивает меня, когда разум бьет тревогу? Я потеряла право полагаться на себя. Кто поручится, что моя уверенность в себе не есть обольщение порока? Как довериться чувствам, столько раз обманывавшим меня? Разве греховные поступки не начинаются всегда с горделивого презрения к соблазну? Не таится ли в игре с опасностью, когда-то погубившей меня, желание пасть еще раз?

Вникни в эти соображения, сестра, и ты увидишь, что, как бы ни были они безосновательны сами по себе, они вызваны важными причинами и над ними стоит призадуматься. Избавь меня от порожденного ими смятения. Укажи, как поступить в столь трудных обстоятельствах,— ведь прошлые мои заблуждения лишили меня уверенности в себе. Я робею и уже не могу, как прежде, спокойно судить обо всем. Что бы ты ни думала о себе самой, в душе твоей мир и спокойствие,— я в том убеждена; все предметы отражаются в ней, как в тихом озере,— такими, каковы они в действительности; а моя душа всегда волнуется, словно воды под ветром, волнение все смешивает и искажает. Я не могу довериться тому, что говорят мне мои глаза и чувства, и, несмотря на долгое раскаяние, с грустью убеждаюсь, что бремя давней ошибки приходится нести всю жизнь.

## ПИСЬМО XIII

*Ответ*

Бедная сестрица! Как ты сама себя мучаешь, хотя у тебя столько оснований жить в спокойствии! «Все беды твои от тебя самого, о Израиль!»

Ежели бы ты следовала собственному своему правилу и помнила, что тебе в делах чувства надобно слушаться только внутреннего голоса и что твое сердце должно заставить рассудок умолкнуть, ты без всяких рассуждений верила бы внушению сердца и не страшилась бы, вопреки его свидетельству, мнимой опасности, ибо она может гнездиться лишь в сердце твоем.

Я понимаю тебя, прекрасно тебя понимаю, Юлия! Ты гораздо более уверена в себе, чем стараешься это показать: придумывая возможные новые заблуждения, ты хочешь покарать себя за прошлые ошибки; твои угрызения совести не столько предосторожность против будущего, сколько наказание за смелость, некогда погубившую тебя. Ты все сравниваешь две поры своей жизни. Полно тебе! Сравни уж и обстоятельства и вспомни, что тогда я тебя упрекала в самонадеянности, а ныне могу упрекнуть в трусости!

Напрасно ты чернишь себя, дорогая; нельзя же до такой степени обманываться в себе. Случается, что человек не знает, каково его душевное состояние, ибо совсем о нем не думает. Но стоит ему заглянуть в свою душу, он все увидит,— от себя самого не скроешь ни собственных добродетелей, ни пороков. Но своей кротости и благочестию своему ты склонна к самоуничижению. Бойся сей опасной добродетели, ибо она лишь питает тайное тщеславие смиренников. Ведь это «унижение паче гордости». Поверь, благородная откровенность и прямота гораздо лучше. Если умеренность нужна даже в благоразумии, то следует соблюдать меру и в предосторожностях, продиктованных им; надо страшиться, как бы заботы, оскорбительные для добродетели, не принизили душу и как бы воображаемая опасность не стала действительной из-за того, что мы все тревожимся, все думаем о ней. Разве ты не знаешь, что, поднявшись после падения, надо твердо стоять на ногах, и если качнешься в другую сторону, наверняка опять упадешь. Сестрица, ты в любви была подобна Элоизе, ты стала и такой же набожной, как она. Дай бог, чтобы тебе это больше принесло удачи, чем ей. Право, ежели бы я не знала, какая ты робкая от природы, твои страхи и меня напугали бы; а будь я столь же щепетильной, как ты, то, постоянно страшась за тебя, стала бы бояться и за себя самое.

Подумай об этом хорошенько, милая моя подруга. Характер у тебя нежный, кроткий и столь же благородный, чистый; но не вносишь ли ты чересчур большую, не подобающую тебе суровость в свои взгляды на разделение полов. Я с тобою согласна, что мужчины и женщины не должны быть постоянно вместе и жить одинаково, но посмотри, не нуждается ли на деле это важное правило во многих оговорках и следует ли применять его ко всем безразлично — к женщинам и к девушкам, к многочисленному обществу и к беседам наедине, к трудам и к развлечениям; не должны ли благопристойность и порядочность, внушающие это правило, иной раз смягчать его!

Ты хочешь, чтобы в тех краях, где царит благонравие и где браки заключают с соблюдением вполне естественных приличий, устраивали бы собрания, на которых молодые люди обоего пола могли видеть друг друга, знакомиться и делать выбор; и ты с полным основанием запрещаешь им встречаться наедине. Но ведь это требование совершенно не подходит для замужних женщин, для матерей семейств, у коих не может быть никакого законного интереса показываться в обществе, ибо домашние дела удерживают их у своего очага, а между тем они не должны отказывать себе ни в чем, что вполне прилично для хозяйки дома. Я бы, конечно, не хотела, чтобы ты сейчас торговалась с приезжими купцами и водила их в ваши подвалы пробовать вина или, бросив детей, сидела бы и подводила счета с вашим банкиром; но если какой-нибудь порядочный человек придет к вам в гости или по делу, а мужа твоего не будет в это время дома, неужели ты откажешься принять гостя в его отсутствие, не проявишь радушия из страха очутиться с мужчиной наедине? В каждом правиле обратись к его основе, и все станет ясно. Почему мы считаем, что женщины должны жить уединенно и отдельно от мужчин? Ужели мы захотим нанести оскорбление нашему полу и решим, что это требование вытекает из слабости женщин и цель его — не вводить женщину в искушение? Нет, дорогая, эти недостойные страхи совсем не к лицу благонравной женщине, матери семейства,— ведь все окружающее постоянно питает в ней чувство женской чести, и она поглощена выполнением самого почтенного и естественного долга. От мужчины нас отделяет сама природа, предписывая нам совсем иные занятия; нас отделяет нежная и робкая скромность, которая хоть и не твердит неустанно о целомудрии, однако является самой надежной его порукой; нас держит в отдалении от мужчин наша лукавая сдержанность, которая возбуждает в мужских сердцах желание, но вместе с этим и уважение, и служит, так сказать, кокетством добродетели. Вот почему даже супружеские пары не представляют исключения. Вот почему самые честные женщины обычно больше всего и сохраняют власть над своими мужьями: ведь благодаря разумной и тонкой сдержанности, не прибегая ни к капризам, ни к отказам, они умеют в самом нежном союзе держать мужа на известном расстоянии и никогда не дают ему пресытиться ими. Ты, надеюсь, согласишься со мною, что твое строгое правило должно допускать исключения, и поскольку в основе его не лежит долг, требующий неуклонного исполнения, то со всей благопристой-

ностью, ради коей и выставляется твое требование, можно иной раз и не соблюдать его.

Осторожность, которую ты обосновываешь былыми своими ошибками, при нынешнем твоем положении оскорбительна; я бы никогда не простила ее твоему сердцу и с трудом прощаю ее твоему разуму. Ужели оплот, ограждающий твою честь, не мог избавить тебя от постыдного страха? Да как же моя кузина, моя сестра, моя подруга, моя Юлия может смешать слабость слишком чувствительной девушки с неверностью преступной жены? Посмотри вокруг. Все, что ты увидишь, должно возвышать твою душу и укреплять ее силы,— твой муж, который так верит тебе и чье уважение ты должна оправдать; твои дети, которых ты обязана научить добру и которые когда-нибудь будут гордиться своей матерью; твой почтенный и столь любимый тобою отец, который радуется твоему счастью и гордится своей дочерью даже больше, чем своими предками; твоя подруга, чья участь зависит от твоей участи и коей ты обязана возвращением друга, ибо она сему содействовала; дочь твоей подруги, для коей ты должна служить примером всех добродетелей, какие ты желаешь воспитать в ней; твой друг, во сто крат более преклоняющийся перед твоими добродетелями, нежели перед прелестью твоей, исполненный столь большого почтения к тебе, что оно превышает все твои страхи; наконец, ты сама, ибо в нынешнем своем благоразумии ты находишь награду за дорого стоившие тебе усилия, и ни на одно мгновение тебе не придет желание потерять плоды твоих трудов,— вот сколько оснований, кои должны поднять твое мужество и внушить тебе стыд за то, что ты посмела сомневаться в себе! Но чтобы поручиться за мою Юлию, нужно ли мне рассуждать о том, какою она стала? Разве недостаточно мне знать, какою она была в пору своих заблуждений, которые она оплакивает? Нет, если бы сердце твое было склонно к неверности, я бы поняла твою боязнь и сама сказала бы тебе: страшись сей опасности. Но вспомни, какой ужас внушила тебе одна лишь мысль о том, что ты могла бы совершить неверность, и во сколько же раз этот ужас был бы сильнее теперь, перед лицом действительно возникшей опасности.

Вспомни, как мы когда-то дивились, узнав, что есть такие страны, где слабость девушки, ставшей любовницей, считают недопустимым преступлением, тогда как прелюбодеяния в браке мягко именуют там галантными похождениями, и где женщина, выйдя замуж, открыто вознаграждает себя за кратковременное стеснение в девичью свою пору. Я знаю, какие правила

царят там, в большом свете, где добродетель не ставят ни во что, где все лишь суетная видимость, где на супружеские измены смотрят сквозь пальцы, ибо трудно доказать их, да и доказывать считается смешным и неприличным, раз обычаи дозволяет их. Но ты, Юлия, горевшая пламенем чистой и верной любви, ты была преступной лишь в глазах людей и ни в чем не могла бы упрекнуть себя перед небом; ты, внушавшая уважение к себе, несмотря на свой грех, ты, предававшаяся бессильным сожалениям, ты заставляла нас чтить ту добродетель, которой сама уже не имела; ты, которая ненавидела и презирала себя, хотя все, казалось бы, могло служить тебе извинением, как смеешь ты опасаться, что способна ныне совершить преступление, когда так дорого заплатила за свою слабость? Как смеешь думать, что ты стала хуже, нежели в ту пору, когда ты пролила столько слез? Нет, дорогая, былые заблуждения не только не могут тревожить тебя, но должны поднимать в тебе мужество; столь жгучее раскаяние не приведет к новым угрызениям совести, и тот, кто так чувствителен к позору, не навлечет на себя бесчестье.

Если слабым душам нужна поддержка против собственной слабости,— такая поддержка у тебя есть; сильная душа обретает опору в себе самой,— и разве твоя душа нуждается в иной опоре? Ну подумай, есть ли у тебя причины бояться себя? Вся твоя жизнь была непрестанной борьбой; и даже после поражения честь и долг продолжали сопротивляться и в конце концов одержали победу. Ах, Юлия! Да разве я поверю, что после стольких мучений, и горя, и слез, пролитых за двенадцать лет, и славы, сиявшей шесть лет, ты боишься недельного испытания? Короче говоря, будь искренней сама с собою; если опасность существует, спасайся и красней за свое сердце; если опасности нет, то страшиться опасности, для которой ты недосягаема,— значит, оскорблять свой рассудок, порочить свою добродетель. Разве ты не знаешь, что есть позорные соблазны, от коих благородная душа всегда будет далека,— соблазны, которые даже стыдно побеждать, и предосторожности против них не столько смиряют, сколько унижают человека.

Я вовсе не считаю свои доводы несокрушимыми, а лишь хочу показать, что иные из них опровергают твои рассуждения, и этого достаточно, чтобы оправдать мой совет. Не полагайся тут на себя самое, ибо ты не умеешь справедливо судить о себе, не полагайся и на меня, ибо даже и в недостатках твоих я видела лишь твое сердце и всегда обожала тебя; но верь своему мужу, ибо он видит тебя такою, какова ты есть, и судит о тебе

по заслугам. Как и все чувствительные люди, я сразу составляю себе дурное мнение о тех, кто не отличается чувствительностью, и потому опасалась его вмешательства в тайны нежных сердец; но с тех пор как возвратился наш путешественник, я вижу по письмам г-на де Вольмара, как прекрасно он знает, что творится в ваших сердцах, и ни одно ваше душевное движение не ускользает от его наблюдательности. Я даже нахожу, что он все подмечает очень тонко и верно, прежнее мое отношение к нему круто изменилось, и я чуть не бросилась в другую крайность и готова поверить, что степенные люди, более полагаясь на свои глаза, чем на свое сердце, лучше судят о чужих страстях, нежели особы порывистые и живые или легкомысленные, вроде меня, которые всегда начинают с того, что ставят себя на место других, но никогда не умеют разгадать, что эти другие чувствуют. Как бы то ни было, г-н де Вольмар хорошо тебя знает, уважает и любит, а судьба его связана с твоей судьбой. Почему ж тебе не предоставить ему всецело руководить твоим поведением, раз сама ты не в силах ручаться за себя? Быть может, чувствуя приближение старости, он хочет подвергнуть тебя испытаниям, дабы успокоить себя и предотвратить ревность, которой обычно терзается пожилой муж, имея молодую жену; быть может, он нарочно оставляет тебя одну и желает, чтобы ты и без него сохраняла непринужденные отношения с твоим другом, считая, что они не должны тревожить ни твоего мужа, ни тебя самое; быть может, он лишь хочет дать достойное тебя доказательство своего доверия и уважения к тебе. Никогда не следует уклоняться от подобных испытаний чувства, словно ты считаешь их непосильными для себя; ты, по-моему, лучше всего удовлетворишь требованиям осторожности и скромности, если всецело будешь полагаться на его нежность и разум.

Послушай, хочешь ты наказать себя за гордость, которой ранее никогда у тебя не было, и предотвратить уже несуществующую опасность? Оставшись с философом одна, прими все меры предусмотрительности, которые сейчас излишни, а были когда-то так необходимы; заставь себя соблюдать такую сдержанность, словно ты сомневаешься и в своей добродетели, и в своем сердце, и в его сердце. Избегай слишком нежных разговоров, нежных воспоминаний о прошлом, прекращай или предупреждай слишком долгие беседы с глазу на глаз; постоянно держи возле себя своих детей; пореже бывай с ним наедине дома, в Элизиуме или в роще, хотя она уже утратила свои чары. А главное, принимай все эти меры самым естест-

венным образом, как бы случайно, пусть он и не подозревает, что ты страшишься его. Ты любишь кататься на лодке, но лишаешь себя этого удовольствия ради мужа, ибо он боится воды, и ради детей, не желая подвергать их опасности. Позволяй себе это развлечение в отсутствие г-на де Вольмара, оставляя детей под надзором Фаншоны. Во время этих прогулок тебе можно будет безопасно предаваться сердечным излияниям и наслаждаться долгими беседами с ним под покровительством гребцов, ибо они все видят, но не слышат, и от них нельзя удалиться.

Мне пришла еще одна мысль, она может показаться смешной, но тебе, я уверена, понравится, а именно: веди в отсутствие мужа правдивый дневник и покажи ему эти записи, когда он вернется, и при всех своих беседах думай о том, что они должны войти в дневник. По правде сказать, для многих женщин подобный прием вряд ли окажется полезным, но у души открытой и не способной лукавить всегда найдутся средства защититься от порока, какие не действуют на других. Нельзя пренебрегать ничем, что помогает сохранить чистоту, и малые предосторожности иной раз оберегают великие добродетели.

Впрочем, раз твой муж намерен проездом повидаться со мной, надеюсь, он поведает мне истинные причины своего путешествия, и если я найду их неосновательными, то я или отговорю его продолжать поездку, или, будь что будет, сама сделаю то, чего он не захочет сделать: можешь на это рассчитывать. Пока что я, думается, сказала достаточно, чтобы внушить тебе потребное количество мужества для недельного испытания. Право, Юлия, я так хорошо тебя знаю, что могу за тебя поручиться как за самое себя и даже больше, чем за себя. Ты всегда будешь такой, какою хочешь и должна быть. Если ты станешь полагаться единственно лишь на благородство души своей, то тогда тебе не грозит опасность,— я не верю в неожиданные поражения; напрасно прикрашают добровольные грешки, кокетливо именуя их слабостями; никогда женщина не падет, если сама того не пожелает; но если б я думала, что подобная участь может постигнуть и тебя, поверь мне, поверь моей нежной дружбе, поверь всем чувствам, какие только могут зародиться в сердце твоей бедной Клары,— для меня так важно было бы спасти тебя от такой беды, что я никогда бы не бросила тебя на произвол судьбы.

Если г-ну де Вольмару, как он заявил тебе, все было известно до свадьбы, то это мало меня удивляет: ты знаешь, что я всегда это подозревала, и скажу больше,— я тут предполагала не только болтливость Бабн. Никогда не поверю, что столь

прямой и правдивый человек, как твой отец, даже если бы у него были только подозрения, решился бы обмануть своего зятя и друга. Если он так усиленно уговаривал тебя хранить все в тайне, то лишь потому, что ты открыла бы ее совсем иначе, чем он, а он хотел придать делу такой оборот, который для г-на де Вольмара был бы менее огорчителен, нежели твое признание. Но пора уж отослать обратно твоего нарочного. Мы поговорим с тобою обо всем этом на досуге через месяц.

Прощай, милая сестрица моя, довольно уж мне читать проповеди проповеднице,— можешь вновь приняться за свое ремесло, и с полным к тому основанием. Как мне обидно, что я все еще не с тобою. Торопясь покончить со своими делами, я только все путаю и сама не знаю, что делаю. Ах, Шайо, бедняжка Шайо!.. Ну, что бы мне быть чуточку поумнее... Нет, верно, уж я всегда останусь дурочкой.

P. S. Кстати, я и забыла поздравить вашу светлость! Напиши поскорее, кем сделали твоего супруга: атаманом, князем или же боярином? [1] Неужели тебя надо теперь именовать боярыней? Нет, не могу,— похоже на какое-то бранное слово. О бедное дитя! Ты так печалилась, что родилась аристократкой, а вот тебе еще посчастливилось стать супругой князя! Между нами говоря, для столь знатной дамы у тебя довольно мещанские страхи. Ужели ты не знаешь, что чрезмерная щепетильность под стать лишь мелкоте? Недаром же в свете смеются, когда какой-нибудь высокородный юнец считает себя законным сыном своего отца.

## ПИСЬМО XIV

*От г-на де Вольмара к г-же д'Орб*

Еду в Этанж, кузиночка; предполагаю по дороге заехать повидаться с вами, но из-за небольшой задержки, причиной коей являетесь вы, должен спешить и поэтому предпочитаю заночевать в Лозанне на обратном пути, чтобы провести с вами несколько часов. Мне о многом надо посоветоваться с вами, и я хочу заранее сказать, о чем именно, для того чтобы вы имели время поразмыслить и сказали бы мне свое мнение.

Я не хотел говорить вам, какие у меня возникли планы касательно нашего молодого друга, до тех пор, пока личное знакомство с ним не подтвердило сложившееся у меня доброе

---

[1] Госпожа д'Орб, очевидно, не знает, что два первых наименования действительно высокие титулы, а боярин — это просто дворянин.

мнение о нем. Теперь я уже достаточно в нем уверен и могу сказать вам по секрету, что я задумал поручить ему воспитание моих детей! Я знаю, конечно, что столь важное дело — главный долг отца, но когда придет пора взять на себя такие заботы, я буду уже слишком стар для них; к тому же натура у меня чересчур спокойная, созерцательная, во мне так мало живости, что я не сумею управлять резвой юностью. Да и Юлия, по причинам вам известным [1], будет тревожиться, если я возьму на себя обязанности, с коими мне трудно справиться так, чтобы она осталась довольной. Но по многим основаниям вашему полу не подходит воспитывать мальчиков,— поэтому Юлия займется воспитанием милой своей Генриетты; вам же я предназначаю править хозяйством по плану, нами установленному и вами одобренному; а на мою долю выпадет радость видеть, как стараниями трех благородных людей в доме воцаряется счастье, и на старости лет наслаждаться покоем, который будет делом их рук.

Я всегда знал, что моей жене великое отвращение внушает мысль отдать воспитание своих детей в руки нанятых людей, и я не мог порицать ее за это. Достойные обязанности наставника требуют столько талантов, что их оплатить невозможно, столько бесценных добродетелей, что их не купишь ни за какие деньги. Только в даровитом человеке можно встретить просвещенного наставника, только сердце самого нежного друга может питать отеческую заботу о чужих детях; а ведь даровитость и тем более привязанность не продаются.

У вашего друга, думается мне, есть все необходимые для наставника качества, и если я верно постиг его душу, то, полагаю, он был бы счастлив способствовать тому, чтобы милые наши дети всегда были радостью и утешением своей матери. Насколько я могу судить, единственным препятствием к осуществлению моего замысла служит привязанность Сен-Пре к милорду Эдуарду: трудно ему будет расстаться с другом, столь дорогим его сердцу и к тому же с благодетелем, коему он столь многим обязан. Разве только что Эдуард сам потребует этой разлуки. Мы очень многого ждем от такого необыкновенного человека, как милорд Бомстон, а поскольку вы имеете большое влияние на него, то, если он действительно таков, каким вы его изобразили мне, я настоятельно просил бы вас взять на себя переговоры с ним.

---

[1] Читателю эти причины еще неизвестны, но просим его запастись терпением.

Теперь я дам вам, кузиночка, разгадку всему моему поведению, которое могло казаться весьма странным, а теперь, надеюсь, получит одобрение и со стороны Юлии, и с вашей стороны. Счастье иметь такую жену, как Юлия, позволяет мне прибегнуть к средствам, совершенно невозможным с какой-нибудь другой женщиной. Вполне доверяя Юлии, я оставляю ее вдвоем с бывшим ее возлюбленным под охраной одной лишь ее добродетели. Было бы, конечно, нелепо дать молодому человеку приют в своем доме, не имея твердой уверенности в том, что он никогда уже не будет любовником твоей жены,— а как же я мог бы получить сию уверенность, будь у меня жена, на которую я полагался бы менее, чем на Юлию?

Не раз я видел, как вы улыбаетесь на мои замечания относительно любви, но вот сейчас я могу вас очень смутить. Я сделал открытие, какого ни вы и ни одна женщина в мире, при всей тонкости, приписываемой вашему полу, никогда бы не сделали,— хотя, пожалуй, вы-то сразу же почувствуете, что мое открытие — самая очевидная истина, или, по крайней мере, сочтете его вполне доказанным, когда я объясню вам, на чем я основываюсь. Думается, если бы я поведал вам, что два этих молодых существа влюблены друг в друга более, чем когда-либо, вы не сочли бы это очень большим чудом. Если я стану заверять в обратном и скажу, что они совершенно исцелились, вы, зная, сколь много может сделать разум и добродетель, тоже не нашли бы тут великого чуда; однако оба эти противоположные утверждения являются истиной. Юлия и Сен-Пре пылают друг к другу любовью более, чем когда-либо, и вместе с тем меж ними нет ничего, кроме честной привязанности; по-прежнему влюбленные, они уже стали только друзьями,— вот что, вероятно, окажется для вас более неожиданным и куда менее понятным, а между тем это сущая правда.

Вот где разгадка частых противоречий, какие вы, должно быть, замечали и в их речах, и в письмах. То, что вы написали Юлии по поводу портрета, раскрыло мне тайну более, нежели все остальное, и я вижу, что они всегда искренни, хотя то и дело сами себе противоречат. Я говорю «они», но подразумеваю главным образом Сен-Пре, а о вашей подруге можно говорить лишь предположительно. Сердце ее так окутано покровами благоразумия и порядочности, что невозможно проникнуть в него взору человеческому, даже ее собственному взору. Только одно заставляет меня думать, что ей еще надо преодолеть некоторое недоверие к самой себе,— она все ищет в своей душе то, что было бы в ней, если б она совсем исцелилась, и так

старательно это делает, что если бы действительно уже пришло исцеление, и то она вела бы себя не столь сдержанно.

Что до вашего друга, то, сколь он ни добродетелен, его меньше пугают сохранившиеся у него чувства; я вижу, что в его сердце еще жива любовь, расцветшая в дни юности; но вижу также, что я не вправе мнить себя оскорбленным. Ведь он влюблен не в Юлию де Вольмар, а в Юлию д'Этанж; он не питает ко мне неприязни как к человеку, обладающему ныне той женщиной, которую он любит, но как к похитителю той, которую он любил когда-то; чужая жена уже не его любовница, мать двоих детей уже не прежняя его ученица. Правда, она еще похожа на прежнюю Юлию и часто пробуждает в нем воспоминания. Он любит ее в прошлом,— вот ключ к загадке. Отнимите у него память о минувшем, и вместе с нею исчезнет любовь.

Это вовсе не пустое умничанье, кузиночка, но весьма существенное наблюдение, и, будучи распространено на романы других людей, оно, пожалуй, может получить более общий характер, чем это кажется. Я даже полагаю, что в данном случае все не трудно было бы объяснить вашими собственными представлениями. В те дни, когда вы разлучили двоих этих влюбленных, их взаимная бурная страсть достигла высшего предела. Останься они вместе надолго, быть может, любовь постепенно остыла бы, но в разлуке взволнованное воображение непрестанно рисовало любимый образ таким, каким он был в минуту расставанья. Юноша, не видевший, как быстротекущее время изменяет облик его возлюбленной, любил ее такою, какой была она прежде, а не тою, какою она стала [1]. Чтобы сделать его счастливым, надо было бы не только ее возвратить ему, но возвратить в том же возрасте и в тех же обстоятельствах жизни, в каких была она в начале их любви; малейшие изменения во всем этом испортили бы все счастье, какого он ждал от соединения с нею. Она похорошела, но она изменилась, и, таким образом, даже расцвет красоты обращается ей

---

[1] Как вы безумны, женщины, когда ищете прочности в столь легковесном и преходящем чувстве, как любовь! Все в природе меняется, все течет, а вы хотите внушить постоянную пламенную страсть! Но по какому праву притязаете вы на то, чтобы вас любили сегодня, оттого что любили вчера? Сохраните-ка неизменным и свое лицо, и свой возраст, и расположение духа, будьте всегда такими же, как прежде, и вас будут любить всегда, если то возможно. Но непрестанно изменяться и желать, чтобы вас любили,— значит, желать, чтобы каждое мгновение вас переставали любить, и стало быть, вам нужно сердце непостоянное, столь же переменчивое, как ваше существо.

во вред,— ведь Сен-Пре влюблен в прежнюю, а не в теперешнюю Юлию.

Ошибка, порождающая в нем жестокое смятение, состоит в том, что он смешивает прошлое с настоящим и зачастую упрекает себя в чувстве, которое считает истинным, тогда как это всего лишь отзвук слишком нежного воспоминания; но я не знаю, стоит ли открыть ему глаза, не лучше ли его исцелить. А для этого, быть может, полезнее оставить его в заблуждении, нежели пролить на все свет. Открыть ему подлинное состояние его сердца — это значит поведать ему о смерти всего, что дорого ему, и, стало быть, ввергнуть его в тоску,— состояние опасное, ибо грусть всегда благоприятствует любви.

Освобожденный от стеснительных укоров совести, он, быть может, охотнее станет возрождать те воспоминания, коим следует угаснуть, будет говорить о них менее сдержанно, а черты Юлии не настолько еще стерлись в облике госпожи де Вольмар, чтоб он, жадно отыскивая их, не мог их вновь увидать. Я полагаю, что разубеждать его во мнении, будто он достиг больших успехов в борьбе с самим собою, не следует, ибо это поднимает его дух и помогает ее завершить. Нет, вместо того следует изгнать из его памяти прошлое, которое он должен забыть, и отвлечь его от столь дорогих ему воспоминаний, внушая ему иные мысли. Вы способствовали возрождению его мыслей о прошлом, и, более чем кто-либо, вы можете содействовать их угасанию; а когда вы уже совсем переедете к нам, я скажу вам на ушко, что вам надо для этого сделать; если только я не ошибаюсь, сия задача не будет для вас обременительной. Пока что я стараюсь, чтоб он свыкся с мыслями, которые сейчас его страшат, направляю их так, чтоб они уже не были опасными для него. Он человек пылкий, но слабохарактерный и легко поддается влиянию. В данном случае это преимущество, и я пользуюсь им, воздействуя на его воображение. Вместо прежней любовницы я заставляю его видеть перед собою супругу честного человека и мать моих детей; одну за другой я стираю в его памяти картины былого и заслоняю прошлое настоящим. Норовистого коня нарочно подводят к предметам, пугавшим его, для того чтоб он перестал их бояться. Так же надо поступать и с молодыми людьми, у коих воображение еще пылает, когда сердце уже охладело, отчего вдалеке они видят призраки, исчезающие, однако, лишь только к ним приближаются.

Я, думается, хорошо знаю силы и Юлии и Сен-Пре, а посему подвергаю их лишь тем испытаниям, какие им по плечу, ибо благоразумие состоит не в том, чтобы принимать без раз-

бору всевозможные предосторожности, но выбирать из них только полезные, а излишними пренебрегать.

Семидневной моей отлучки, во время которой они останутся одни, может быть, окажется достаточно для того, чтобы они разобрались в своих чувствах и поняли, кем они в действительности стали друг для друга. Чем больше они будут видеться наедине, тем легче им будет понять свое заблуждение, сравнивая то, что они чувствуют, с тем, что они чувствовали бы прежде в подобном положении. Добавляю еще, что для них очень важно привыкать к непринужденной, но безопасной близости,— ведь, возможно, мои замыслы осуществятся. По поведению Юлии я вижу, что она получила от вас советы, коим она не могла не последовать, дабы не причинить себе вреда. С каким удовольствием я дал бы ей доказательство своего глубокого уважения к ней, однако муж такой женщины, как она, не может вменять себе в заслугу доверие к жене! Но даже если это не принесет радости ее сердцу, все такой же останется ее добродетель, которая восторжествует, какой ценой ни обошлась бы ей победа. Сейчас если ей и приходится терпеть боль душевную, то лишь при волнующих сердце беседах, но ведь она всегда может их избежать, заранее их предчувствуя. Словом, как видите, о моем поведении следует судить не по обычной мерке, но исходя из тех целей, которые я себе поставил, и из необычного характера той, о ком я забочусь.

Прощайте, кузиночка,— до моего возвращения. Хоть я и не давал Юлии всех этих разъяснений, не требую от вас держать их в тайне от нее. Я взял за правило не разъединять друзей хранением секретов. Итак, передаю мой секрет на ваше усмотрение,— поступайте так, как вам подскажут благоразумие и дружба: я знаю, что все сделанное вами будет хорошим и благородным.

## ПИСЬМО XV

*К милорду Эдуарду*

Господин де Вольмар уехал вчера в Этанж. Я не думал, что отъезд его так меня опечалит. Пожалуй, разлука с его женой меньше бы меня огорчила. Без него я чувствую себя еще более стесненно; в сердце моем воцарилось мрачное безмолвие, тайная боязнь заглушает его ропот, и, волнуемый не столько желаниями, сколько страхами, я испытываю ужас перед возможностью преступления, хотя оно и не искушает меня своими соблазнами.

Знаете ли вы, милорд, где душа моя обретает бодрость и освобождается от недостойных опасений? Близ госпожи де Вольмар. Лишь только я подхожу к ней, от одного ее вида волнение мое стихает, от взгляда ее чище становится сердце. Таково уж влияние ее души, которая, видимо, всегда разливает вокруг чувство невинности и покоя. К несчастью для меня, ее образ жизни не позволяет ей весь день проводить в обществе друзей, а в те минуты, когда я не имею возможности видеть Юлию, я страдаю и, кажется, страдал бы меньше, будь я где-нибудь далеко от нее.

Еще более питает тоску, гнетущую меня, то, что́ Юлия сказала мне вчера после отъезда мужа. До этой минуты она держалась довольно спокойно, а тут долго смотрела ему вслед с видом глубокого волнения, и я сперва приписал его огорчению от разлуки со счастливым супругом; но из речей ее понял, что есть еще и другая, не известная мне причина этой грусти. «Вы видите, как мы живем,— сказала мне она,— и знаете, как он мне дорог. Не думайте, однако, что чувства, соединяющие меня с ним, столь же нежные, как любовь, но более глубокие, имеют те же слабости, что и любовь. Если нам тяжело, когда нарушается сладостная привычка жить вместе с другом, нас утешает уверенность в скором соединении. В столь установившейся жизни, как у нас, мало причин опасаться превратностей, и когда отсутствие друга длится лишь несколько дней, мы не столько грустим от краткой разлуки, сколько с удовольствием думаем, что скоро она кончится. Огорчение, которое вы читаете в глазах моих, имеет более важную причину, и, хоть она касается Вольмара, разлука отношения к сему не имеет.

Друг мой,— добавила она, проникновенным тоном,— нет на земле истинного счастья. Муж мой — человек самый порядочный и самый кроткий, нас соединяют не только узы долга, но и взаимная сердечная привязанность; у него нет иных желаний, кроме моих; дети приносят мне одни лишь радости, да и в будущем, кажется, обещают быть утешением матери своей; никогда еще не было на свете подруги более верной, более добродетельной, более любящей, чем моя подруга, моя обожаемая Клара; скоро мы будем жить вместе; благодаря вам жизнь станет для меня еще милее, ибо вы оправдали мое уважение и привязанность к вам; скоро кончится долгая и докучная судебная тяжба, и в объятия мои возвратится лучший из отцов; все нам улыбается, в доме царят порядок и покой; наши слуги усердны и преданны; соседи всячески выказывают нам свою приязнь, мы пользуемся уважением общества. Все ко мне

благосклонно — небо, фортуна и люди; я вижу, как все способствует моему счастью. Но его отравляет тайное горе, одно-единственное горе, и я несчастлива». Юлия произнесла эти слова со вздохом, пронизавшим мою душу, но я слишком хорошо видел, что ко мне он не относится. Она несчастна, говорил я себе, вздыхая, в свою очередь, но теперь уже не я тому причина.

Эта горькая мысль в одно мгновение перевернула все мои думы и смутила покой душевный, коим я начинал уже наслаждаться. Сгорая желанием разрешить невыносимые сомнения, вызванные ее словами, я так настоятельно молил ее до конца открыть другу свое сердце, что она наконец поведала свою роковую тайну и дозволила сообщить ее вам. Но вот уже настал час прогулки,— г-жа де Вольмар выйдет сейчас из своих покоев и отправится гулять с детьми,— только что она прислала за мной. Бегу, милорд,— на сей раз прощаюсь с вами, а в следующем письме возобновлю прерванный разговор о предмете, затронутом мною сегодня.

## ПИСЬМО XVI

*От г-жи де Вольмар к мужу*

Жду вас во вторник, как вы обещали, все будет сделано согласно вашему желанию. На обратном пути повидайтесь с г-жой д'Орб; она вам расскажет, что произошло в ваше отсутствие; я предпочитаю, чтобы вы узнали это от нее, а не от меня.

Вольмар, это правда,— я, думается мне, заслуживаю вашего уважения, но поступки ваши не заслуживают похвалы, и вы жестоко играете добродетелью своей жены.

## ПИСЬМО XVII

*К милорду Эдуарду*

Хочу, милорд, рассказать вам, какой опасности мы подвергались на этих днях, хотя, к счастью, отделались страхом да некоторой усталостью. Событию сему стоит посвятить особое письмо, и, читая его, вы поймете, что́ побуждает меня написать о случившемся.

Вы знаете, что дом г-жи Вольмар недалеко от озера и что она любит прогулки по воде. Три дня тому назад бездействие, в коем живем мы в отсутствие г-на де Вольмара, и прекрасный тихий вечер внушили нам мысль покататься на другой

день в лодке. На рассвете мы пришли на берег; взяли лодку и рыбачьи сети, захватили с собою съестных припасов для обеда; с нами поехали трое гребцов и один слуга. Я взял ружье, собираясь пострелять базолетов [1], но Юлия сказала, что стыдно понапрасну убивать птиц,— из одного удовольствия делать зло. Я для забавы только посвистывал иногда, подзывая толстозобиков, тиутиу, крякв, свистунов [2], и выстрелил лишь один раз в чомгу, но она была очень далеко, и я промахнулся.

Часа два мы ловили рыбу в пятистах шагах от берега. Рыба шла хорошо, но, за исключением одной форели, которую оглушили веслом, Юлия велела весь улов выбросить в озеро. «Ведь это живые существа,— сказала она,— они страдают, освободим их. Как они радуются, что избавились от опасности! Ведь это и нам приятно, правда?» Освобождение пленниц гребцы производили медленно, скрепя сердце, и я хорошо видел, что им больше по вкусу пришлась бы пойманная рыба, нежели мораль, спасавшая ей жизнь.

Затем мы поплыли по озеру; с молодою живостью, от которой мне еще надо избавиться, я принялся рулить [3] и все правил на середину озера; вскоре мы уже отплыли больше, чем на одно лье от берега [4]. Там я стал показывать Юлии все стороны великолепного кругозора, открывшегося нам. Мы увидели издали устье Роны, бурное течение коей, очень заметное на протяжении четверти лье, вдруг как будто останавливается, словно страшится замутить своими водами лазурный хрусталь озера. Я указывал на выступы гор, подобные крепостным редутам; их соответствующие друг другу углы и параллельные грани, огораживая разделяющее их ущелье, образуют русло, достойное могучей реки, его заполняющей. Отвлекая взоры Юлии от наших берегов, я призывал ее полюбоваться богатыми и очаровательными берегами кантона Во, где множество городов, бесчисленное население, зеленеющие и разубранные цветами холмы составляют чудесную картину; земля, повсюду возделанная и плодородная, дает землепашцу, пастуху и виноградарю за труды их надежную награду, ибо ее не пожирает алчный откупщик. Затем, показывая ей, на противоположном

---

[1] Перелетные птицы, встречающиеся на Женевском озере. Базолет для еды не годится.

[2] Различные виды птиц Женевского озера,— все годятся в пищу.

[3] Термин лодочников, означающий: держать кормовое весло, дающее направление лодке.

[4] Как же так? Для этого нужно, чтобы Женевское озеро против Кларана имело два лье в ширину!

берегу озера, Шабле — край, не менее благодатный, но являющий картину нищеты,— я старался, чтоб Юлия ясно увидела, как разница в способах управления двумя этими провинциями резко отражается на богатстве, численности и благосостоянии населения. «Вот так и получается,— говорил я ей,— что земля открывает свое плодоносное лоно и щедро дарит свои сокровища счастливым народам, когда они возделывают ее для самих себя. Она будто улыбается и оживает, радуясь сладостному зрелищу свободы, она любит питать людей. Зато убогие лачуги, полуопустевший край, где земля заросла вереском и терновником, издали возвещают, что там властвует всегда отсутствующий господин и что земля скупо дает рабам те жалкие плоды, коими они имеют право пользоваться».

Пока мы с приятностью проводили время, озирая ближние берега, поднялся свежий ветер и погнал нашу лодку к противоположному берегу; когда мы вздумали плыть обратно, ветер оказал такое сильное сопротивление, что нашему утлому челну невозможно было его преодолеть. Вскоре волны стали ужасными; нужно было добраться до Савойского берега и постараться причалить у деревни Мейери, напротив которой мы как раз очутились,— это почти единственное место, где удобно к сему берегу пристать. Но ветер переменился и все крепчал, тщетны были упорные старания наших гребцов, нас отнесло ниже Мейсри, к гряде отвесных скал, где уж не найти было пристанища.

Мы все сели на весла, и почти в то же мгновение я с горестью увидел, что Юлия, в приступе дурноты, близкая к обмороку, приникла к борту лодки. К счастью, она привыкла к волнам, и такое состояние длилось у нее недолго. Опасность все возрастала, возрастали и наши усилия; от жары и усталости мы обливались потом, задыхались и совсем изнемогли. И тогда к Юлии возвратилось все ее мужество, она ободряла нас своими неустанными ласковыми заботами, всем без различия она вытирала влажные лица; смешав в сосуде вино с водой, чтобы мы не опьянели, она по очереди поила самых изнуренных. Нет, никогда еще Юлия, ваш восхитительный друг, не блистала столь дивной красою, как в эти минуты, когда зной и волнение оживили ее лицо ярким румянцем, увеличившим ее прелесть; растроганный ее вид говорил, что все ее заботы исходили не столько от страха за самое себя, сколько из сострадания к нам. Лишь в одно-единственное мгновение, когда от удара о скалу расселись две доски и волна захлестнула всех, Юлия, решив, что лодка разбилась, вскрикнула, а вслед за сим я отчетливо услышал ее слова: «О дети мои, дети! Ужели я больше не увижу

вас!» Что до меня, то воображение мое всегда преувеличивает беду, и хоть я знал, что положение наше не безнадежно, мне поминутно казалось, что лодку поглотит пучина, а эта женщина, пленительная столь трогательной красотой, тщетно будет бороться с волнами, и смертельной бледностью сменятся розы на ее лапитах.

С великими усилиями поднялись мы обратно в Мейери, больше часа бились в десяти шагах от берега, пока наконец не удалось высадиться. Едва мы причалили, как вмиг позабылись все мученья. Юлия горячо благодарила каждого за понесенный им труд,— в разгар опасности она думала лишь о нас, а теперь, на суше, ей казалось, что мы спасли лишь ее одну.

Мы пообедали с волчьим аппетитом, какой всегда приходит после тяжелой работы. Подали форель. Юлия очень любит ее, но тут взяла себе совсем немного, да и меня не упрашивала отведать рыбы. Я понял, что она не хочет, чтобы гребцы пожалели о принесенной ими жертве. Милорд, вы мне тысячу раз говорили: ее любящая душа сказывается и в большом и в малом.

Волнение все не стихало, да и лодка нуждалась в починке,— ехать было нельзя, и поэтому после обеда я предложил Юлии прогуляться. Она отказывалась, ссылаясь на ветер, солнце, усталость. Мне хотелось поставить на своем, и на каждое возражение у меня нашелся ответ. «Я с детства привык,— говорил я,— к трудным упражнениям, и они не только не повредили мне, а наоборот, здоровье мое окрепло, а последние мои путешествия значительно прибавили мне сил. Что касается солнца, то от него вас защитит ваша соломенная шляпка, от ветра мы укроемся где-нибудь за утесом или в рощах; надо только подняться по тропинке меж скалами, но ведь вы не любите равнины и подъем не найдете утомительным». Юлия сдалась наконец на мои уговоры, и пока наши люди обедали, мы отправились.

Вы знаете, что десять лет тому назад после моего изгнания из Вале я приехал в Мейери и ждал там разрешения возвратиться. Всецело поглощенный своей Юлией, я провел там столь печальные и столь восхитительные дни и оттуда написал ей письмо, так ее растрогавшее. Мне всегда хотелось еще раз посетить этот уединенный уголок, где я нашел себе пристанище меж вечных снегов и где единственной отрадой сердцу моему оставались воспоминания о том, что было для него всего дороже в мире. Тайной причиною прогулки и было это желание увидеть столь милые мне места, да еще вместе с тою, чей образ когда-то неотступно преследовал меня здесь; мне отрадно было

показать ей памятники страстной моей любви, столь постоянной и несчастной.

Целый час мы шли по извилистым тропинкам, плавно поднимавшимся в тени дерев и скал,— единственным неудобством пути была его продолжительность. Приближаясь к цели путешествия, я узнавал старые приметы и едва не лишился чувств; но я преодолел себя и затаил свое волнение. Наконец мы пришли. Уединенное сие место осталось все таким же диким, пустынным, но полным красот, кои пленяют чувствительные души, а другим кажутся ужасными. В двадцати шагах от нас горный поток мчал свои пустынные воды, с шумом перекатывая камни, песок и тину. Позади нас тянулась цепь неприступных скал, отделяющая площадку, где мы находились, от тех альпийских высот, кои именуются ледниками, ибо со дня сотворения мира их покрывают огромные и непрестанно возрастающие пласты льда [1]. Справа была печальная сень темных елей. Слева, за бурным потоком зеленела дубовая роща, а под нами раскинулась водная ширь Женевского озера, простирающаяся в лоне Альп,— она отделяла нас от богатых берегов кантона Во, картину коего венчали величественные вершины Юры.

Среди всех этих высот и чудесных ландшафтов то место, где мы находились, пленяло очарованием приветного сельского уголка: несколько ручейков бежали тут из-под утесов и несли по зеленому склону кристально чистые струи свои. Несколько плодовых деревьев-дичков склоняли ветви над нашими головами; влажная нетронутая земля была покрыта травой и цветами. Сравнивая столь милый и мирный уголок с окружающими его картинами, я думал, что сие пустынное место кажется приютом, где могли бы укрыться двое влюбленных, кои одни спаслись от потопа и землетрясения.

Достигнув знакомого этого уголка и полюбовавшись им, я сказал Юлии, устремив на нее глаза, увлажненные слезами: «Ужели ваше сердце ничего не говорит вам здесь? Ужели вы не чувствуете тайного волнения при виде сего места, где все полно вами?» Не ожидая ответа Юлии, я подвел ее к скале и показал ее вензель, вырезанный во многих местах, а также стихи Петрарки и Тассо, рисующие такое же состояние души, в каком я пребывал, высекая сии строки на камне. Вновь увидев их после столь долгого времени, я испытал на себе, как

[1] Горы сии столь высоки, что и через полчаса после захода солнца вершины еще освещены бывают его лучами и багрянец заката окрашивает прекрасные белые гребни красивыми розовыми отсветами, которые видны издали.

живо окружающие предметы могут возродить бурные чувства, некогда волновавшие нас возле них. Я сказал с некоторой горячностью: «Юлия, Юлия! Вечная владычица сердца моего! В сих местах некогда вздыхал, тоскуя о тебе, самый верный в мире любовник. Твой милый образ составлял все его счастье и приуготовлял блаженство, которое ты ему наконец подарила. Тогда не было здесь ни плодов, ни лесной сени, зелень и цветы не украшали склоны пестрым ковром; не бороздили их поверхность быстрые ручьи, не слышно было веселого щебетания птиц; лишь прожорливый коршун да зловещий ворон и грозный орел, обитатель Альп, оглашали криками своими ущелья; со всех скал свешивались тогда огромные льдины; только снег украшал эти деревья белыми фестонами; ото всего веяло здесь суровостью зимы и ужасом холода; лишь пламень, горевший в сердце, давал мне силу терпеть пребывание здесь, и целые дни я проводил в думах о тебе. Вот камень, на который я садился и созерцал видневшийся вдали счастливый твой приют; а вот на этом обломке скалы я сидел, когда писал письмо, растрогавшее твое сердце; вот эти острые осколки кремня служили мне резцом, которым я начертал на скале твой вензель; вот здесь я перебирался через замерзший поток, чтобы поймать одно из твоих писем, унесенное ветром; вот тут я перечитывал и покрывал несчетными поцелуями прощальное твое письмо; вот у этого края скалы я жадным и мрачным взором измерял глубину пропастей; наконец, именно сюда я пришел перед злосчастным своим отъездом — пришел, чтобы плакать о тебе, умирающей, и тут я принес клятву не пережить тебя. Как я любил тебя, тебя, для которой я был рожден! Ужели для того мы ныне оказались с тобою в сих горах, чтобы я с сожалением вспомнил о далеких днях, кои провел я здесь в стенаниях, страдая от разлуки с тобою?» Я хотел продолжать, но Юлия, видя, что я подошел к краю пропасти, испугалась и, схватив меня за руку, молча сжала ее; она глядела на меня с нежностью, с трудом сдерживая тяжкие вздохи; потом вдруг отвратила взгляд в сторону и, потянув меня за руку, сказала взволнованным голосом: «Пойдемте отсюда, друг мой, воздух здешних мест нехорош для меня». Я горько вздохнул, но ничего не ответил и пошел вслед за нею, навсегда простившись с печальным сим приютом, словно простился с самой Юлией.

Медленно шли мы обходными тропинками и у пристани расстались. Юлии хотелось побыть одной, и я продолжал прогулку, сам хорошенько не зная, куда иду; когда я вернулся, лодка еще не была готова, да и волнение на озере еще не стихло.

Мы поужинали; оба были печальны, сидели, опустив глаза, и думали о своем, ели мало, а говорили и того меньше. После ужина пошли посидеть на берегу в ожидании отъезда. Незаметно поднялась луна, озеро стало спокойнее, и Юлия предложила ехать. Я подал ей руку, чтобы помочь взобраться в лодку, и сел рядом с нею, не выпуская ее руки. Мы не перемолвились ни словом. Равномерный плеск весел склонял к задумчивости. Приятное посвистывание бекасов [1], возрождавшее воспоминания об утехах юности, не веселило меня, а наводило грусть. Тоска, удручавшая душу, все возрастала. Безоблачное небо, кроткое сияние луны, серебристая рябь, блиставшая на воде вокруг нас, сочетание самых милых впечатлений, даже близость дорогого существа — ничто не могло отвратить мое сердце от горестных чувств.

Мне вспомнилась подобная же прогулка, которую мы некогда совершили с нею в дивную пору первой любви. Все сладостные чувства, наполнявшие тогда мою душу, возродились в ней, но стали теперь ее мукой: все события дней юности, наши занятия, наши беседы, наши письма, наши свидания, наши утехи.

Et tanta fede, e si dolci memorie,
Et si lungo costume! [2]

Память воскресила тысячи мелочей, являвших мне образ погибшего счастья, усиливавших теперешние мои мученья. «Все кончено,— мысленно говорил я себе,— прошло счастливое время, миновало навеки. Увы! никогда оно не вернется; а ведь мы оба живы, мы вместе, и по-прежнему сердца наши едины!» Мне, кажется, легче было бы перенести ее смерть или разлуку с нею, и, право, я меньше страдал все те годы, что провел вдали от нее. Когда я скитался в дальних краях, надежда вновь увидеть ее облегчала сердечную мою скорбь; я лелеял мечту о встрече нашей, когда в одно мгновенье исчезнут все мои страдания или хотя бы станут менее жестокими,— все казалось мне возможным. Но быть близ нее, но видеть ее, касаться ее руки, говорить с нею, любить ее, обожать, почти что обладая ею, как прежде, и чувствовать, что она навсегда потеряна

---

[1] Бекас Женевского озера совсем не та птица, которая носит такое название во Франции. Более быстрые и веселые звуки, издаваемые нашими бекасами, разносятся над озером и придают ему в летние ночи живую и свежую прелесть, увеличивают очарование его берегов.

[2] [Как позабыть доверчивую нежность
И близость долгую... *(итал.)*.]

для меня,— вот что повергало меня в ярость, в бешенство и, постепенно возрастая, довело меня до исступления. И вскоре в мозгу моем зародились роковые замыслы, и в порыве отчаяния, о коем мне страшно вспомнить, я готов был уступить соблазну — схватить Юлию в объятия и броситься вместе с нею в воду, чтобы покончить с жизнью и с долгими своими муками. Ужасное это искушение стало наконец столь сильным, что я вдруг резко оттолкнул ее руку и, поднявшись, пересел на нос лодки.

И тогда произошел поворот в неистовых моих порывах,— более мягкое чувство закралось мне в душу, умиление взяло верх над злобной тоской, из глаз хлынули слезы. Душевное это состояние после того, что я пережил, не лишено было услады. Я плакал много, долго и почувствовал облегчение. Наконец, совсем оправившись, я вернулся на свое место и, сев возле Юлии, вновь взял ее за руку; она держала носовой платок, я почувствовал, что он весь мокрый. «Ах,— тихо промолвил я,— видно, сердца наши и доныне не утратили способности слышать друг друга».— «Это правда,— ответила она дрожащим голосом,— но пусть они в последний раз говорят так, как было сейчас». И мы повели спокойную беседу, а через час плаванье наше, не омраченное новым злоключением, закончилось. Когда возвратились мы домой, я при свете увидел, что у Юлии глаза покраснели и опухли от слез; наверно, она также заметила, что и мои глаза не в лучшем состоянии. После утомительного дня ей очень нужно было отдохнуть, она удалилась к себе, и я тоже лег спать.

Вот, дорогой друг, подробный отчет о том дне моей жизни, когда я, бесспорно, пережил самые сильные волнения. Надеюсь, что то был перелом, после коего я окончательно приду в себя. Кстати, должен сказать вам, что сие приключение, более чем любые доводы, убедило меня в свободе воли нашей и в силе добродетели. Сколько людей готовы пасть, поддавшись даже слабому искушению! А Юлия!.. Глаза мои видели и сердце мое чувствовало, что в тот день она выдержала жесточайшую борьбу, какую может вести человеческая душа, и вышла из нее победительницей. Но я? Что удержало меня на далеком расстоянии от нее? О Эдуард, когда тебя соблазняла любовница и ты нашел в себе силы восторжествовать над своим собственным и над ее вожделением, разве не был ты воистину человеком? Не будь твоего примера, меня, быть может, ждала бы гибель. Сто раз в тот страшный день я вспоминал о твоей добродетели,— ты возвратил на путь добродетели и меня.

*Конец четвертой части*

## ПИСЬМО I

*От милорда Эдуарда*[1]

Расстанься с детством, друг, пробудись. Не отдавай всей своей жизни долгому сну разума. Годы идут, времени остается немного, надо взяться за ум. Когда человеку за тридцать, пора поразмыслить над собою; прежде всего сосредоточься, загляни в себя и хоть раз в жизни будь мужчиной.

Дорогой мой, у вас сердце долго брало верх над рассудком. Вы желали философствовать, прежде чем были к сему способны, голос чувства вы приняли за голос разума. В своих выводах вы довольствовались впечатлением, какое предмет производил на вас, и никогда не знали истинной его цены. Правдивое сердце (признаю сие) важнее всего для познания истины; кто ничего не чувствует, ничему не научится, лишь будет переходить от одного заблуждения к другому; приобретает он лишь ненужные, бесплодные сведения, а важнейшие для нас познания об отношениях между человеком и внешним миром всегда сокрыты от него. Но мы лишь наполовину проникнем в сию науку, ежели не будем изучать отношений, существующих во внешнем мире, для того чтобы лучше судить об его отношении к нам. Недостаточно знать страсти человеческие, если не можешь разбираться в предметах страстей, а эту вторую половину изысканий производить можно лишь в спокойствии и в размышлениях.

Для мудреца молодость — время приобретения опыта житейского, орудиями познания жизни тут становятся его страсти; но, открыв свою душу для впечатлений внешнего мира, он затем сосредоточивается в себе самом, дабы созерцать, сравнивать, познавать. Вот что вам следовало бы делать, более чем кому-либо другому в мире. Все утехи и горести, какие только

[1] Письмо это, по-видимому, написано до получения предыдущего.

может испытать чувствительное сердце, вы уже испытали; все, что человек может увидеть, вы уже видели. За какие-нибудь двенадцать лет вы изведали все чувства, какие можно познать лишь на протяжении долгой жизни, и, будучи еще молодым, приобрели опыта не меньше, чем глубокие старцы. Первые ваши наблюдения были обращены на людей простых — они словно только что вышли из рук природы, дабы послужить вам мерилом для сравнения. Изгнанный в столицу самого знаменитого в мире народа, вы, так сказать, одним прыжком очутились в другой крайности; но человек одаренный может обойтись без посредствующих ступеней. Оказавшись среди той нации, какая единственно еще заслуживает наименования человеческой среди различных толпищ, коими покрыта земля, если вы и не увидели там царства закона, вы все же могли убедиться, что закон еще существует, вы научились распознавать по безошибочным признакам сей священный орган воли народной и поняли, что власть общественного разума есть истинная основа свободы. Вы знаете теперь все климаты, вы видели все края, кои освещает солнце. Ныне вы наслаждаетесь зрелищем более редкостным и более достойным взоров мудреца — вы видите возвышенную и чистую душу, восторжествовавшую над страстями, подчинившую их своей воле. Сие поразило вас с первого взгляда и все еще поражает, хоть вы и многое видели на свете. Вы имеете полное основание восхищаться предметом восторга вашего. Больше уж не найдется ни чувств, ни зрелищ, кои могли бы увлечь вас. И, кроме как к самому себе, вам больше не к чему присматриваться; нет для вас также иных радостей, кроме блаженства мудрости. Вы пережили все, что может дать краткая жизнь человеческая; подумайте, как вам жить ради жизни бесконечной.

Ваши страсти, чьим рабом вы были долго, оставили вас добродетельным. Честь вам и слава,— бесспорно немалая слава; но не очень гордитесь,— сама ваша сила порождена слабостью вашей. Знаете ли вы, что́ всегда побуждало вас любить добродетель? Она приняла в ваших глазах облик обожаемой женщины и, видя перед собою воплощение добродетели в столь дорогом образе, вам даже трудно было бы отвратиться от нее. Но любили ли вы когда-нибудь добродетель ради нее самой? Устремлялись ли вы когда-нибудь к добру, опираясь, подобно Юлии, лишь на собственные силы? Праздный поклонник ее высоких достоинств, вы только восторгаетесь ими, но никогда им не подражаете. Вы с жаром говорите о том, как выполняет она обязанности супруги и матери; но когда же вы сами, по ее примеру, выполните долг мужчины и друга? Женщина восторжест-

вовала над собою, а вам, философу, трудно себя победить! Вы, стало быть, желаете быть просто краснобаем, как другие, и предпочли бы отличиться хорошими книгами, а не хорошими поступками [1]. Берегитесь, дорогой мой: в ваших письмах царит тон чувственный и томный, мне он не нравится, в нем гораздо более сказывается еще неугасшая страсть, нежели ваш характер. Больше всего на свете я ненавижу слабость и не хочу терпеть ее в душе друга моего. Без силы воли не может быть добродетели, и к пороку нам прокладывает путь слабодушие. Как вы дерзаете рассчитывать на себя, ежели в сердце вашем нет мужества? Несчастный! Будь Юлия слабовольной, ты бы завтра же пал и оказался бы низким прелюбодеем. Но вот теперь ты остался с ней один: постарайся хорошенько узнать ее и красней за себя.

Я надеюсь скоро приехать к вам. Вы знаете цель моего путешествия. Двенадцать лет полны были заблуждений и смятения,— теперь я сам себе не доверяю; противиться соблазнам я мог и один; но чтобы сделать выбор, мне нужны глаза друга; и было бы так приятно, когда бы нас сближали узы взаимной признательности и привязанности; но, однако, не ошибайтесь,— прежде чем оказать вам доверие, я еще посмотрю, заслуживаете ли вы его и достойны ли вы отплатить мне за мои заботы о вас. Я знаю ваше сердце и доволен им; но этого мало: мне нужен ваш совет для выбора, в коем должно руководствоваться только разумом, а мое собственное суждение может обмануть меня. Я не боюсь страстей, когда они открыто ведут с нами войну, предупреждают о необходимости защищаться и при всей своей силе оставляют нам сознание нашей вины, ибо покоряется

---

[1] Нет, век философии не может не породить истинного философа. Я знаю такого философа — сознаюсь, одного-единственного, но и то уже хорошо; и, в довершение счастья, он существует на моей родине. Осмелюсь ли назвать здесь имя того, кто, к вящей своей славе, сумел остаться малоизвестным. Ученый и скромный Абозит, пусть ваша возвышенная простота простит моему сердцу сие рвение, ибо предметом своим имеет оно отнюдь не ваше имя! Нет, не вас хочу я сделать известным нашему веку, недостойному восхищаться вами,— я хочу прославить Женеву, ибо вы обитаете в ней; я хочу почтить сограждан моих, высоко вас почитающих. Счастлива страна, где ценят заслуги человека, и тем выше, чем больше он скрывает их! Счастлив народ, в коем кичливая юность смягчает свой догматический тон и краснеет за свои пустые знания перед ученым незнанием мудреца. Почтенный и добродетельный старец, вас не прославляли светские умники, в шумных их академиях не звучали похвалы вам; вместо того чтобы, подобно им, вкладывать мудрость в книги, вы вложили ее в свою жизнь и стали примером для родины, которую вы удостоили себе выбрать, которую вы любите и где вас почитают. Вы жили, как Сократ, но Сократ погиб от руки сограждан, а вы дороги своим согражданам.

страстям только тот, кто хочет покориться. Я боюсь их обольщения, когда они не принуждают, а обманывают, и неведомо для нас заставляют делать совсем не то, что мы хотим сделать. Чтобы подавить свои склонности, человеку достаточно самого себя, но иной раз только с помощью друга можно различить те склонности, следовать коим дозволительно; вот тогда-то и надо обратиться к человеку разумному — пусть он посмотрит на вещи, кои нам важно знать, с иной точки зрения. Постарайтесь же разобраться в себе и скажите, всегда ли вы будете терзаться напрасными муками душевными, кои не принесут пользы ни вам, ни другим людям, и скоро ли вы вновь обретете власть над собою и окажетесь в состоянии помочь другу разобраться в его душе.

Дела мои задержат меня в Лондоне недели на две, не больше; сначала я поеду в нашу армию, находящуюся во Фландрии, там я рассчитываю пробыть тоже недели две; так что не ждите меня раньше чем через месяц или в начале октября. Пишите теперь не в Лондон, а в армию — по прилагаемому адресу. Продолжайте ваши описания: невзирая на достойный осуждения тон ваших писем, я нахожу их трогательными и даже поучительными; они вызывают у меня мечты о том, как я выйду в отставку и буду жить на покое жизнью, подобающей моим воззрениям и возрасту. А главное, поскорее успокойте мою тревогу относительно г-жи Вольмар. Уж если ее судьба несчастна, кто же имеет право надеяться на счастье? После признания, которое она вам сделала, я все думаю и не могу понять, чего же ей недостает для счастья [1].

## ПИСЬМО II

*К милорду Эдуарду*

Да, милорд, с великой радостью подтверждаю, что сцена, произошедшая в Мейери, была переломом в моем безумстве и в моих бедах. Объяснения г-на де Вольмара касательно состояния моего совершенно меня успокоили. Душа слишком слабая исцелилась, насколько то возможно для нее; и лучше уж печалиться, сожалея о воображаемом счастье, нежели непрестанно страшиться возможного преступления. С тех пор как вернулся достойный г-н де Вольмар, я уже без колебаний называю его своим другом, дорогим мне именем, всю цену коего

[1] Бессвязное письмо нравится мне, ибо вполне соответствует характеру доброго Эдуарда,— он лучше всего философствует, когда делает глупости, и никогда так хорошо не рассуждает, как в тех речах, когда сам не знает, что говорит.

дали мне познать вы, милорд. И как же иначе должен я называть того, кто помогает мне возвратиться в лоно добродетели? Ныне в душе моей — мир, как и в том приюте, где я обитаю. Я уже не испытываю прежней неловкости и начинаю чувствовать себя как дома; правда, я не распоряжаюсь тут по-хозяйски, но мне еще приятнее, чтоб на меня смотрели как на близкого родного. Простота, равенство, царящие здесь, радуют мою душу, трогают и вызывают во мне уважение. Целые дни я провожу меж живым олицетворением разума и воплощенной добродетелью. Всегда общаюсь я со счастливыми супругами, их влияние постепенно действует на меня, и ныне сердце мое бьется в унисон с их сердцами, подобно тому как голос наш усваивает интонации окружающих, с коими мы постоянно беседуем.

Чудесный уединенный уголок! Очаровательное жилище! Чем дольше обитаешь в нем, тем оно милее сердцу! На первый взгляд здесь как будто мало блеску, но трудно не полюбить этот дом сразу же, как познакомишься с ним. Г-жа де Вольмар с такой любовью исполняет свои благородные обязанности, так хочет сделать счастливыми и добрыми всех, кто служит предметом ее забот — мужа, детей, каждого гостя и каждого слугу, что это благотворно сказывается и на них. В сем мирном приюте не услышишь суматошных возгласов и суеты, шумных игр и громких взрывов хохота; зато везде тут найдешь довольные сердца и веселые лица. Если здесь иногда и проливают слезы, то лишь слезы умиления и радости. Мрачным заботам, унынию и скуке доступ сюда заказан так же, как и пороку и неизбежным его последствиям — угрызениям совести.

Что касается Юлии, то, если не считать ее тайной мучительной горести, о причинах коей я писал вам в прошлом письме [1], она должна быть счастлива,— все тут бесспорно сему способствует. Но вопреки многочисленным к тому основаниям тысячи женщин на ее месте пришли бы в отчаяние: однообразная и уединенная жизнь была бы для них невыносима; возня с детьми выводила бы их из терпения, заботы о домашнем хозяйстве наскучили бы им; они не полюбили бы деревню; мудрость и благородство мужа, скупого на ласки, казались бы им недостаточным возмещением за его холодность и пожилой возраст; его общество и сама его привязанность были бы для них тягостны. Они нашли бы ловкий способ держать его вдали от дома, желая жить на полной свободе, или же сами где-нибудь

---

[1] Письмо сие так и не найдено. Причина горести Юлии выяснится дальше.

пропадали бы; презирая семейные радости, они искали бы вдалеке опасных утех и чувствовали бы себя хорошо в своем собственном доме лишь тогда, когда стали бы в нем чужими. Надобно обладать здоровой душой, чтоб почувствовать прелесть уединения; только хорошим людям приятно быть в кругу своей семьи и добровольно замкнуться в нем, и ежели есть на свете счастливая жизнь, то это, бесспорно, та жизнь, какую они ведут. Но орудие счастья ничто для тех, кто не умеет пользоваться им, и лишь тот понимает, в чем истинное счастье, кто способен насладиться им.

Ежели меня попросили бы определить, как в этом доме достигают счастья, мне кажется, самым правильным было бы дать такой ответ: «Здесь умеют жить», употребив это выражение не в том смысле, какое придают ему во Франции, где оно означает: прожигать жизнь, подчиняясь всем прихотям моды,— а подразумевая иное: жить подлинно человеческой жизнью, для коей мы и рождены, той жизнью, о какой вы мне говорили, жизнью, пример коей вы подаете, жизнью, которая продлится и за ее земными пределами, ибо в день смерти нашей мы ее не утратим.

Отец Юлии печется о благосостоянии своей семьи. Ведь у Юлии есть дети, их надлежит обеспечить средствами к существованию. Сие должно быть главной заботой человека, живущего в обществе, первостепенным его делом. Супруги Вольмар в равной мере заняты им. Вступая в брак, они выяснили размеры своего имущества, но их более интересовало, соответствует ли оно их нуждам, чем вообще достаточно ли оно для их звания. Убедившись, что любая почтенная семья могла бы удовлетвориться таким состоянием, и не имея дурного мнения о своих детях, они не боятся, что тем окажется недостаточно родительского наследства. Поэтому они больше стараются улучшить свое хозяйство, чем расширить свои владения; деньги свои они поместили более надежно, нежели прибыльно; вместо того чтобы приобретать землю, они подняли ценность имеющейся у них земли; они хотят увеличить наследство, которое оставят детям, единственным сокровищем — примером своего поведения.

Правда, когда состояние не возрастает, оно может вследствие разных бедственных случайностей уменьшиться; но ежели такого соображения и достаточно для того, чтобы один раз увеличить именье, доколе же сей страх будет служить предлогом для того, чтобы непрестанно его расширять? Состояние придется разделить между несколькими детьми. Но разве они должны жить в праздности? Разве плоды собственных трудов

не будут дополнением к полученной ими доле? При определении части, назначенной наследникам, разве не должна входить в расчет их собственная предприимчивость? Под маской благоразумия прокладывает себе дорогу ненасытная алчность,— судорожное стремление обеспечить себя от превратностей и ведет к сему пороку. «Тщетны попытки,— говорит г-н де Вольмар,— придать делам человеческим несвойственную им от природы прочность: разум велит нам многое оставлять на волю случая; а уж если жизнь и достояние человека, невзирая на все его ухищрения, зависят от случая, то сущее безумие — непрестанно мучить себя в настоящем, стремясь предотвратить возможные бедствия и неизбежные опасности в будущем». Г-н де Вольмар решил принять лишь одну меру предосторожности, а именно: прожить один год на свой капитал, не тратя доходов, и тогда в дальнейшем поступления всегда будут на год опережать расходы. Он полагает, что лучше немного уменьшить свой капитал, нежели без удержу гоняться за доходами. Такое уменьшение капитала десятикратно возмещено тем преимуществом, что благодаря ему не приходится при каких-либо превратностях прибегать к разорительным сделкам. Порядок и разумные правила заменяют г-ну де Вольмару бережливость; и то, что он тратит, обогащает его.

Хозяева сего дома имеют состояние весьма скромное по понятиям светских людей о богатстве; но по сути дела я не знаю людей, живущих в большем достатке, чем они. Абсолютного богатства не существует. Слово «богатство» означает лишь соотношение между желаниями богача и более чем достаточными возможностями удовлетворить таковые. Один бывает богат, имея какой-нибудь арпан земли, а другой беден, обладая грудами золота. Беспорядочность и прихоти пределов не имеют и порождают больше бедняков, нежели истинные нужды. В Кларане равновесие держится на такой основе, которое делает его незыблемым,— а именно на совершеннейшем согласии супругов. На муже лежит обязанность получать доходы, жена ведает их расходованием, и согласие меж супругами стало источником их богатства.

В доме Вольмаров достаток, свобода и веселость сочетаются с порядком и аккуратностью — и сие поначалу меня поражало. Ведь неприятной стороной хорошо поставленных домов надо считать царящую там атмосферу уныния и принужденности. Чрезмерная рачительность хозяев всегда немного отдает скупостью, все вокруг них дышит стеснением: в неукоснительно строгом порядке там есть что-то, говорящее о рабстве, и сей дух переносится с трудом. Слуги исправно делают свое дело,

но вид имеют недовольный и боязливый. Гостей принимают хорошо, но они с недоверием пользуются предоставленной им свободой,— ведь если чувствуется, что ты на каждом шагу нарушаешь какие-то правила, то ты не смеешь и пошевелиться, боясь показаться неделикатным. Чувствуется также, что родители там рабы, которые живут не для себя, а для наследства своих детей, забывая о том, что они не только родители, но и люди и обязаны подавать детям пример достойной жизни и счастья, сочетаемого с благоразумием. А в Кларане следуют более справедливым правилам: здесь думают, что одна из главных обязанностей родителей заключается не только в том, чтобы у них в доме было весело и хорошо детям, но и в том, чтобы и самим родителям жизнь в доме была сладостна, дабы дети чувствовали, что такая жизнь дает счастье, и никогда у них не возникал бы соблазн искать счастья в образе жизни, противоположном родительскому. Одно из любимейших изречений г-на де Вольмара, которое он повторяет чаще всего по поводу развлечений своей жены и ее кузины, гласит, что унылая и убогая жизнь отцов и матерей почти всегда бывает первопричиной беспутства их детей.

Что касается Юлии, у нее нет иного указчика, кроме собственного сердца,— указчика самого надежного, она внемлет его советам без всяких опасений, делает все, что оно повелевает ей, и потому всегда поступает хорошо. Сердце ее требует многого, и никто лучше Юлии не умеет ценить радостей жизни. Да и как же столь чувствительная душа осталась бы бесчувственной к удовольствиям? Наоборот, она их любит, она их ищет, она никогда не отказывается от удовольствий, какие ей больше всего нравятся; сразу видно, что она умеет ими наслаждаться; это не просто удовольствия, а удовольствия, созданные для Юлии. Она не пренебрегает ни своими удобствами, ни удобствами дорогих ей людей, то есть всех окружающих. Она не считает излишним ничего, что может способствовать благополучию разумных существ; излишним она называет все, что служит лишь для показного блеска, поэтому в ее доме вы найдете ту роскошь, что дает отраду чувствам, но не говорит об изнеженности и изысканности. Что касается великолепия и роскоши, отдающей тщеславием, то ее тут увидишь только в том, что сделано по вкусу отца, которому Юлия не могла перечить, да и тут всегда сказывается ее собственный вкус, стремление придать вещам не столько пышности и блеска, сколько изящества и тонкости. Когда я говорю ей, что в Париже и в Лондоне изобрели нынче способ мягче подвешивать кузов кареты, она сие одобряет; но когда я говорю, до каких цен дошла теперь лаки-

ровка карет, она перестает интересоваться и спрашивает, становятся ли кареты более удобными от прекрасной лакировки. Ей кажется, будто я сильно преувеличиваю, говоря, что дверцы роскошных экипажей нынче украшают весьма дорогостоящей нескромной росписью, вместо изображения гербов, коими их когда-то расписывали; оказывается, нынче седоку куда приятнее представить себя прохожему человеком дурных нравов, нежели человеком знатным! Особенно она возмутилась, когда узнала, что обычай этот ввели и поддерживают женщины и что от мужских экипажей женские кареты отличаются лишь тем, что роспись на них несколько более сладострастна. По сему поводу мне пришлось привести остроту вашего знаменитого друга, которую Юлия выслушала с неудовольствием. Однажды я был у него, когда ему показали двухместную карету такого сорта. Бросив взгляд на ее роспись, он тотчас пошел прочь, сказав хозяину экипажа: «Показывайте вашу карету придворным дамам, порядочный человек не решится ею пользоваться».

Подобно тому как первый шаг к добру — не делать зла, так и первый шаг к счастью — не страдать. Сии два правила, будучи восприняты людьми, сделали бы излишними многие предписания морали, и они любезны сердцу г-жи де Вольмар. Ко всякому злополучию,— касается ли оно ее самой или других,— она крайне чувствительна, и быть счастливой, видя кругом несчастных, для нее было бы так же нелегко, как нелегко для человека чистого всегда сохранять свою добродетель незапятнанной, живя среди порочных людей. Она совсем не обладает жалостью черствых людей, которые лишь отводят взор от тех страданий, кои они могли бы облегчить; Юлия сама ищет страдальцев, чтобы им помочь; ее мучит не то, что она видит несчастных, а то, что на свете существуют несчастные; для ее счастья надобно, чтобы она знала, что несчастных нет, по крайней мере вокруг нее,— ведь было бы безумием ставить свое счастье в зависимость от счастия всех людей. Она разузнает о нуждах своих соседей и так близко принимает их к сердцу, словно дело идет о ее собственных интересах; она знает всех окрестных жителей и, так сказать, расширяет круг своей семьи, включая в него этих людей, и не жалеет никаких усилий, дабы избавить их от горя и страданий, коим подвержена жизнь человеческая.

Милорд, я рад воспользоваться вашими уроками; но я уверен, вы простите мне мои восторги, за которые я себя уже не упрекаю,— вы, несомненно, их разделяете. На свете нет и не будет второй Юлии. Провидение охраняло ее,— все, что касается

Юлии, не могло быть делом случая. Кажется, что небо послало ее на землю, дабы показать людям, как прекрасна может быть человеческая душа и каким счастьем может она наслаждаться в безвестности частной жизни, не проявляя перед светом тех блистательных добродетелей, кои могли бы поднять ее выше обычного уровня, не зная славы, которая могла бы воздать ей должное. Ее грех,— если даже признать, что она совершила грех,— привел лишь к тому, что возросли ее душевные силы и мужество. Родители, друзья и слуги ее — все, по счастью, как будто созданы были для того, чтобы любить ее и быть ею любимыми. Ее родина — единственная страна, где ей и подобало родиться; простота, которая придает Юлии столько благородства, должна царить и вокруг нее; для того чтобы быть счастливой, ей надобно жить среди счастливых людей. Когда бы, на свою беду, она родилась в краю несчастного народа, который стонет под бременем угнетения и ведет безнадежную и бесплодную борьбу с пожирающей его нищетой, каждая жалоба угнетенных отравляла бы ей жизнь, всеобщее отчаяние удручало бы, и ее доброе сердце, разделяющее чужое горе и муки, непрестанно заставляло бы ее сочувствовать страданиям, кои она не может облегчить.

А здесь, наоборот, все воодушевляет и поддерживает природную ее доброту. Ей не приходится оплакивать общественные бедствия. У нее нет перед глазами ужасной картины нищеты и отчаяния. Поселяне здесь зажиточны [1] и более нуждаются в ее советах, нежели в ее благостыне. Ежели и найдется где-либо сирота, слишком еще юный для того, чтобы добывать себе хлеб насущный, или покинутая людьми вдова, страдающая втайне, или одинокий старец, лишившийся детей и не имеющий средств к существованию, ибо силы его с годами ослабели, Юлия не боится, что ее благодеяния станут для них тягостны, что из-за этого на бедняков возложат всякие повинности, освобождая от таковых влиятельных мошенников. Она делает добро с радостью, сознавая, что оно идет людям на пользу. Счастье, вкушаемое ею, широко распространяется вокруг нее. Во всех домах, куда она входит, вскоре воцаряется благо-

---

[1] Близ Кларана есть селение, называющееся Мутрю, где община так богата, что могла бы содержать всех своих членов, если бы даже у них не имелось ни одной пяди собственной земли. Поэтому жители этого селения столь же надменны, как буржуа города Берна. Как жаль, что им не прислали какого-нибудь порядочного человека, который научил бы синдиков Мутрю быть более человеколюбивыми, а буржуа — немного меньше чваниться.

получше, подобное тому, которое видишь в ее собственном доме, ибо достаток — наименьшее из благ, коим они обязаны ей; вслед за ним из семьи в семью проникают согласие и добрые нравы. Когда она выходит из своего дома, глазам ее предстоят лишь приятные предметы; возвратившись, она находит еще более сладостные предметы, повсюду она видит то, что любезно ее сердцу; и эта душа, не знающая чувства любви к себе, научится любить себя в своих благодеяниях. Да, милорд, повторяю, все, что касается Юлии, не безразлично для добродетели. Ее прелесть, ее дарования, ее склонности, ее борьба, ее ошибки, ее раскаяние, ее дом, ее друзья, ее семья, ее горести, ее радости и вся ее судьба говорят нам, что ее жизнь — образец единственный, коему немногие женщины захотят последовать, но коим против воли будут восхищаться.

В здешних заботах о счастье ближнего мне более всего нравится то, что они всегда разумны и не имеют дурных последствий. Не всякому, кто хочет делать добро, это удается,— зачастую тот или иной, думая, что оказывает людям важные услуги, видит лишь то малое благо, какое они приносят, и не замечает их вреда. Г-жа де Вольмар обладает качеством, редким у женщин, даже самых лучших, у нее же развившемся блестяще: она тонко понимает, как надобно оказывать помощь, какие средства выбирать для этого, на каких людей изливать свою доброту. Тут она выработала себе известные правила и никогда от них не отступает. Она умеет и удовлетворить просьбу, и отказать так, чтобы в ее доброте не было слабости, а в отказе — каприза. Тот, кто совершил в своей жизни дурное дело, может надеяться лишь на справедливость с ее стороны и на прощение, если он ее оскорбил, но пусть не ждет от нее ни милостей, ни покровительства, ибо она предпочитает оказывать их более достойным людям. Однажды я слышал, как она довольно сухо отказала плохому человеку, который просил у нее о милости, зависевшей только от нее одной. «Желаю вам счастья,— сказала она ему,— но способствовать ему не хочу, ибо опасаюсь повредить другим, если мою помощь вы употребите во зло. На свете не так уж мало хороших людей, чтобы я обязана была заботиться о вас». Правда, подобная суровость весьма дорого ей стоит, и Юлии редко приходится к ней прибегать. Для нее закон — считать хорошим каждого, пока не доказано, что он плохой человек, а ведь очень мало найдется плохих людей, которые не умеют ловко укрываться от разоблачений. Ее деятельная доброта совсем не похожа на ленивое милосердие богачей: те деньгами откупаются от несчастных,

отвергая их мольбы, и всегда вместо благодеяния, о коем их умоляют, только подают милостыню. Кошелек Юлии никак не назовешь неисчерпаемым, однако, став матерью семейства, она лучше умеет им пользоваться. Из всех видов помощи, коими можно облегчить участь несчастных, милостыня, по правде сказать, меньше всего стоит труда, к тому же это помощь самая преходящая и наименее надежная; а Юлия вовсе не стремится отделаться от несчастных, но хочет быть им полезной.

Не дает она также всем без разбора советов, не оказывает без разбора услуги, не зная хорошенько, воспользуются ли ими разумно и честно. Никогда не откажет она в покровительстве тому, кто действительно в нем нуждается и заслуживает его; но людям беспокойным или честолюбивым, желающим возвыситься и выбиться из своего сословия, в котором им вовсе не так уж плохо живется,— редко удается упросить ее вмешаться в их дела. Возделывать землю и жить ее плодами — это естественные условия существования человека. Мирные обитатели сел счастливы, но, чтобы восчувствовать свое счастье, надо, чтобы они сознавали его. Все истинные утехи человека им доступны, они страдают лишь от тех несчастий, кои неразлучны с человеческой природой, и тот, кто воображает, будто избавился от них, на деле лишь променял их на другие, более жестокие несчастья [1].

Сословие земледельцев — единственно необходимое и самое полезное; человек в нем становится несчастным, лишь когда его тиранят, измываются над ним, развращают его примером своих пороков. И ведь именно в этом сословии залог истинного процветания страны, силы и самобытного величия народа, который ни в чем не зависит от других наций, не вынужден нападать на них, дабы возвысить себя, и находит самые надежные средства для своей защиты. Когда хотят определить мощь какой-либо страны, светские умники осматривают дворцы государя, его гавани, его войска, арсеналы и города; а настоящие политики осматривают поля и нивы, идут в хижину землепашца. Первые видят то, что сделано, а вторые — то, что можно сделать.

Исходя из сего правила, в Кларане, а еще более — в Этанже стремятся сделать жизнь поселян сколь возможно приятнее, но никогда не помогают им выйти из своего сословия. Ныне и самые зажиточные, и самые бедные словно с ума посходили: все посылают своих детей в города — одни отправляют их

---

[1] Человек, лишившись первобытной своей простоты, до того тупеет, что сам не знает, чего ему желать. Богатство приносит ему лишь осуществление прихотей, а не счастье.

учиться, дабы они стали когда-нибудь господами; других родители отдают в услуженье, желая снять с себя бремя их содержания. Зачастую молодые люди сами стремятся побродить по белу свету; девушки мечтают о господских уборах, юноши поступают за границей на военную службу; им кажется, будто они стали более важными особами, когда принесли в родное селенье вместо былой любви к родине и свободе заносчивость и вместе с тем раболепство солдат-наемников и смешное презренье к прежнему своему состоянию. В Кларане всем поселянам доказывают, сколь вреден такой их предрассудок, ибо дети их в городах развращаются, бросают своих родителей, в постоянной погоне за фортуной рискуют своей жизнью, утратой нравственности, но очень редко достигают преуспеяния, ибо оно достается одному из сотни. Если упрямцы не слушают увещеваний, никто не поощряет их нелепых фантазий; им скрепя сердце предоставляют возможность устремиться навстречу порокам и нищете. Зато тех, кого удалось убедить, в Кларане изрядно вознаграждают за сию жертву, принесенную ими здравому смыслу. Их учат уважать свое естественное состояние и тем самым уважать самих себя; с крестьянами здесь обращаются просто, без городских церемоний, держат себя с ними степенно и непринужденно — так, чтобы сама манера обращения ставила каждого на свое место, но учила бы соблюдать свое достоинство. Не найдется ни одного добропорядочного крестьянина, который не почувствовал бы уважения к себе, когда ему покажут, что к нему относятся иначе, чем к мелким выскочкам, кои на краткое время покажутся в деревне, чтобы покрасоваться там и приобретенным лоском затмить родителей. Г-н де Вольмар и барон д'Этанж, когда он бывает здесь, редко пропустят деревенские празднества — присутствуют на гимнастических состязаниях, на раздаче наград, на военных смотрах, устраиваемых в Кларане и в окрестностях. Здешние молодые люди по натуре своей пылкие и воинственные; видя, что старым офицерам нравятся их сборища, они проникаются уваженьем к себе и больше верят в свои силы. У этих юношей сознание своего достоинства еще более возрастает, когда им показывают, что отставные солдаты, служившие в чужих странах, во всех отношеньях менее искусны, чем они; ведь, что ни говорите, а никогда пять су жалованья и страх перед палкой офицера не вызовут того соревнованья, на какое способен человек свободный и стоящий под ружьем в присутствии своих родителей, своих соседей, друзей, своей возлюбленной, человек, желающий прославить свой край.

Итак, у г-жи де Вольмар имеется строгое правило: не помогать поселянам в их попытках переменить свое сословие, но стараться сделать счастливым каждого, кто остается ему верен, и в особенности препятствовать тому, чтобы сословие, самое счастливое из всех, а именно сословие крестьян в свободном государстве, уменьшилось в численности в пользу других.

На это я возразил, указав на разнообразные дарования, каковые природа распределила между людьми, словно для того, чтобы каждый применял свои способности, в каком бы сословии он ни родился. Тогда Юлия ответила мне, что, помимо дарований, нужно прежде всего принять в соображение нравственность и счастье. «Человек,— сказала она,— существо слишком благородное, чтобы служить просто-напросто орудием других людей, не следует употреблять его для каких-либо дел, не спрашивая, подходят ли они ему, ведь не люди созданы для мест, а места созданы для людей, и чтобы произвести достодолжное их распределение, надобно заботиться не только о том, чтобы приставить каждого человека к такому делу, к какому он больше всего подходит, но и о том подумать, какое дело больше всего годится для сего человека, чтобы он был честным и счастливым. Никому не позволено губить душу человеческую ради выгоды других людей, обращать человека в негодяя только потому, что он нужен как слуга знатным господам.

Однако на каждую тысячу людей, покидающих деревни, не найдется и десятка таких, кого город не погубил бы; в своей испорченности они заходят даже дальше, чем люди, привившие им свои пороки. Те, кто преуспел и составил себе состояние, почти все достигли сего бесчестными путями: ведь только они одни и ведут к богатству. Несчастные, коим не повезло, уже не возвращаются к прежнему положению и нищенствуют или воруют, лишь бы не стать снова крестьянами. Ежели из этой тысячи найдется один, кто устоит перед дурными примерами и останется честным человеком,— как вы думаете, можно ли, взвесив все обстоятельства, сказать, что он живет столь же счастливо, как жил бы вдали от неистовых страстей, в тишине и безвестности первоначального своего положения?

Для того чтобы следовать своему призванию, надобно его знать. А разве легко распознать дарования людей? И если в том возрасте, когда решается судьба молодого человека, так трудно бывает определить таланты юношей, даже когда за ними наблюдали самым внимательным образом, то как же простой крестьянин сумеет сам определить свои способности? Нет

ничего более ненадежного, чем признаки тех или иных наклонностей, кои сказываются с детских лет,— зачастую здесь подражание играет бóльшую роль, нежели талант; наклонности скорее зависят от случайной встречи, нежели от определившейся способности, и даже сама наклонность еще не говорит о большом даровании. Подлинному таланту, подлинно даровитому человеку присуща известная простота, он менее беспокоен, менее пронырлив, меньше стремится выставить себя напоказ, нежели мнимый талант, который принимают за настоящий, хотя он представляет собою лишь суетное желание блистать, не имея к тому никаких возможностей. Один, например, услышит дробь барабана и хочет стать генералом; другой увидит, как строят дом, и вообразит себя архитектором. Гюстен, мой садовник, видя, как я рисую, возымел склонность к рисованию; я отправила его учиться в Лозанну; он уже считает себя художником, а на самом деле он только садовник... При выборе ремесла нередко все решает случай или желание выдвинуться. Еще недостаточно чувствовать в себе дарование, надобно, кроме того, хотеть всецело отдаться ему. Разве какой-нибудь принц пойдет в кучера, потому что он хорошо правит лошадьми, запряженными в его карету? А разве чревоугодник герцог, который придумал превосходное рагу, захочет стать поваром? Талант желают иметь, чтобы возвыситься, но опускаться при помощи талантов никто не пожелает. Как по-вашему, это закон природы? Ежели бы даже каждый знал, какой у него имеется талант, и захотел бы следовать своему призванию, многие ли могли бы это сделать? Много ли тех, кто в состоянии преодолеть несправедливые препятствия или победить недостойных конкурентов? Тот, кто чувствует свою слабость, призывает себе на помощь коварство и козни, коими другой, более уверенный в себе, пренебрегает. Разве вы сами не говорили мне сто раз, что чрезмерное старание покровительствовать искусствам лишь вредит им? Безрассудно увеличивая число служителей муз, вносят путаницу; истинные достоинства глохнут в этом скопище, и все почести, которые должно было бы оказывать самому искусному, достаются самому ловкому интригану. Ежели бы существовало общество, в коем все должности и звания распределялись бы в полном соответствии с дарованиями и личными заслугами людей, каждый мог бы притязать на такой пост, где он больше всего оказался бы на месте; в реальной действительности, однако, надобно держаться более верных правил и отказаться от вознаграждения талантов, раз к преуспеянию ведет лишь самый низкий из них.

Скажу более,— продолжала она,— мне трудно поверить, что все это множество разнообразных дарований следует развивать: для сего надобно, чтобы количество людей одаренных в точности соответствовало потребностям общества; ведь если бы для земледельческого труда оставили только тех, кто имеет явные способности к хлебопашеству, и взяли бы оттуда всех, кто более способен к другой работе,— пожалуй, не осталось бы достаточного числа землепашцев, некому было бы возделывать землю и кормить нас. С дарованиями, думается мне, дело обстоит так же, как с лекарствами, кои природа дает нам для исцеления наших недугов, хотя в ее намерения входит, чтобы мы не имели нужды во врачебных снадобьях. Есть ядовитые растения, отравляющие нас, есть дикие звери, пожирающие людей, есть пагубные для людей таланты. Ежели бы всегда нужно было каждую вещь употреблять сообразно ее главным свойствам, пожалуй, это принесло бы людям больше зла, чем добра. Народы добрые и простые не нуждаются в большом количестве талантов; они лучше обеспечивают свои потребности благодаря простоте жизни, нежели другие при всей своей изобретательности. Но, по мере того как народы развращаются, развиваются их таланты, словно для того, чтобы заменить собою утраченные добродетели и заставить даже злых быть против их воли полезными для общества».

Нашелся и другой предмет, относительно коего мне трудно было согласиться с Юлией,— а именно подаяние нищим. Дом Вольмаров стоит у большой дороги, по ней проходят много нищих, и в подаянии здесь никому не отказывают. Я убеждал Юлию, что милостыня — это не только зря выброшенное добро, отнятое таким образом у настоящих бедняков, но сей обычай способствует умножению числа попрошаек и бродяг, коим нравится их низкое занятие,— они становятся бременем для общества, да еще лишают его плодов полезного труда, какой они могли бы нести.

«Я вижу,— сказала она,— что вы набрались в больших городах взглядов, которыми угодливые краснобаи любят польстить черствым богачам; вы даже употребляете их выражения. Ужели вы хотите унизить бедняка, презрительно именуя его попрошайкой? Как может столь сострадательный человек, как вы, произносить это слово? Забудьте его, друг мой, вам и не пристало употреблять его; сие слово больше позорит черствого человека, который им пользуется, нежели несчастного, коего так называют. Я не стану разбираться, правы или не правы эти хулители подаяния, я знаю только то, что мой

муж,— а он нисколько не уступает в здравом смысле вашим философам,— часто передавал мне все, что они говорили по поводу милостыни, желая заглушить в человеческом сердце природное сострадание и развить в нем бесчувственность,— он всегда презирал их речи и нисколько не осуждал моего поведения. Его доводы весьма просты. У нас терпят и даже поддерживают, расходуя на то немалые средства, множество бесполезных занятий, из коих иные служат только разложению и порче нравов. Если даже смотреть на нищенство как на своего рода ремесло (хотя и нет оснований опасаться, что до этого дойдет дело), то окажется, что оно воспитывает в нас чувство сострадания, человечность, кои должны были бы объединять всех людей. Ежели считать, что для нищенства надобны особые способности, то почему бы нам не вознаграждать красноречие нищего, умеющего растрогать нас и склонить к оказанию ему помощи,— так же как мы платим актеру, исторгающему у нас бесплодные слезы? Актер вызывает у меня восхищение чужими добрыми делами, а нищий побуждает нас самих сделать доброе дело; все, что зрители чувствуют, когда смотрят трагедию, забывается тотчас же, как люди выйдут из театра, но память о несчастном, коему мы помогли, доставляет незабываемую и все возрождающуюся радость. Ежели большое количество нищих обременительно для государства, то разве нельзя сказать того же относительно других занятий, каковые у нас поощряют или хотя бы терпят? Только правитель может сделать так, чтобы нищих совсем не было, но неужели необходимо обратить граждан в бесчеловечных извергов лишь для того, чтобы отвратить нищих от их занятия? [1] Что до меня,—

---

[1] «Кормить нищих,— говорят нам,— значит разводить воров; и наоборот,— препятствуя нищенству, мы уничтожим рассадник воровства». Я согласен: не следует поощрять, чтобы бедняки просили подаяние, но раз уж они сделались нищими, надобно их кормить, иначе они станут ворами. Ничто так не побуждает человека переменить свое занятие, как невозможность прокормиться им, а уж если кто испробовал сие праздное ремесло, то чувствует такое отвращение к труду, что скорее предпочтет воровать и кончить жизнь на виселице, чем вновь заставить руки свои работать. Нищему недолго попросить лиар, недолго и отказ услышать, но когда двадцать раз откажут, он потеряет терпенье, и, право уж, лучше дайте ему двадцать лиаров, чтоб он мог на эти деньги поужинать. Кто бы решился отказать нищему в сем необременительном подаянии, если бы помнил, что оно может спасти двух человек,— одного от смерти, а другого от преступления. Я где-то читал, что нищие — это паразиты, которые льнут к богачу. Вполне естественно, что дети льнут к родителям. Но сии богатые и жестокосердые отцы знать их не желают и предоставляют беднякам самим себя кормить.

продолжала Юлия,— то я не знаю, кем являются нищие для государства, но знаю, что все они мои братья, и с моей стороны будет непростительной жестокостью отказать им в малом вспомоществовании, коего они просят. Большинство из них,— согласна с этим,— бродяги, но я слишком хорошо знаю жизненные тяготы, и мне известно, как много несчастий может обрушиться на честного человека и довести его до нищенской сумы, и могу ли я быть уверенной, что человек, умоляющий меня Христа ради подать ему милостыню и жалкий кусок хлеба, не является честным человеком, что ему не грозит смерть от голода и что отказ мой не повергнет его в отчаяние? Милостыня, которую я приказываю подать у ворот, нас не разорит. Полкрутца [1] и кусок хлеба — в этом у нас никому не отказывают, а калекам подают вдвое больше. Если на пути своем они столько же будут получать в каждом зажиточном доме, этого достаточно, чтобы им можно было прокормиться в дороге,— а только этим мы и обязаны помочь чужому прохожему, просящему подаяния. Если даже сие для них и не будет настоящей помощью, то, по крайней мере, покажет, что люди принимают в их горе участие, хотят смягчить жестокость отказа, услышанного в других домах, ответить своего рода приветом на их поклоны. Полкрутца и кусок хлеба дать ничего не стоит, и это ответ гораздо более человечный, нежели обычное «бог подаст», как будто даяние господа бога не находится в руке человеческой и будто, кроме амбаров богачей, у бога есть еще какие-то житницы. Словом, какого бы мнения ни держаться о сих несчастных и если даже полагать, что ты ничего не обязан давать просящему, то, хоть из уважения к самому себе, чти в бедняке образ страдания человеческого и не давай зачерстветь своему сердцу, равнодушно взирая на скорбную нищету.

А вот как я поступаю с недобросовестными, с теми, кто, так сказать, просит милостыню без крайней в том нужды. Ежели кто называет себя батраком и жалуется, что он не имеет работы, для того у меня всегда найдутся инструменты и работа. Стало быть, мы и помогаем и подвергаем испытанию их добрые намерения; лгуны так хорошо знают наш обычай, что больше и не являются к нам».

Итак, милорд, сия ангельская душа в добродетели своей всегда находит силу побороть те суетные ухищрения, коими люди порочные и жестокосердые стараются оберечь свой покой.

---

[1] Местная мелкая монета.

Сии заботы о несчастных и другие, подобные им, как будто доставляют ей удовольствие и заполняют изрядную часть времени, остающегося после исполнения самых дорогих ей обязанностей. Исполнив все, что она считает своим долгом в отношении ближних, она позволяет себе позаботиться и о себе самой, но то, что она делает, дабы жизнь была для нее приятной, тоже можно отнести к числу ее добродетелей,— так похвальны и благородны все ее побуждения и столько воздержности и рассудительности в ее желаниях! Она хочет нравиться мужу, а он любит видеть ее веселой и довольной; она хочет привить своим детям вкус к невинным удовольствиям, столь милым в доме, где царят умеренность, порядок и простота, удовольствиям, отвращающим сердце от бурных страстей. Она веселится для того, чтобы повеселить детей, подобно тому как голубка размягчает в своем зобу зерна, коими хочет накормить птенцов.

У Юлии и душа и тело одинаково чувствительны. Ощущения ее столь же тонки, как и чувства ее. Она создана для того, чтобы познать все удовольствия и насладиться ими; долгое время она даже добродетель любила как приятнейшее наслаждение. И ныне, когда в спокойствии душевном Юлия видит высшее блаженство, она, вкушая его, не лишает себя ни одной из тех радостей, какие могут сочетаться с добродетелью; но наслаждается она ими на свой лад и кое в чем бывает похожа на суровых ригористов,— ибо у нее в искусство наслаждения удовольствиями входит и умение воздерживаться от них; но это совсем не тяжелые, не горькие лишения, кои противоречат природе человеческой и в коих творец увидит только нелепые и ненужные ему жертвы,— нет, Юлия прибегает к лишениям кратковременным и умеренным, кои сохраняют всю власть разума и служат приправой к удовольствиям, предотвращают злоупотребление ими и пресыщение. По ее мнению, все, что ласкает наши чувства, но не является необходимым для жизни, изменяет свою природу, как только обращается в привычку, перестает быть удовольствием, становится потребностью, а тем самым, говорит она, мы надеваем на себя цепи и лишаемся наслаждения; она считает также, что всегда предупреждать желания — это вовсе не способ удовлетворять их, а способ угасить их совсем. Сама же она, желая придать цену малейшему удовольствию, прежде чем насладиться им один раз, двадцать раз откажет себе в нем. Простая ее душа сохраняет таким образом первоначальную свежесть, ее желания не притупляются, ей никогда ненадобно подхлестывать их излишествами, и я

зачастую вижу, с каким наслаждением она смакует самое незамысловатое, детское удовольствие, меж тем как другим оно показалось бы ничтожным.

Она ставит перед собою еще и другую, более благородную цель: всегда оставаться госпожой самой себя, приучать свои страсти к повиновению и подчинять свои желания правилам. Для нее в этом еще один способ быть счастливой,— ведь человек наслаждается без тревоги лишь тем, что ему не горько будет утратить, и ежели истинное счастье ведомо лишь мудрецу, то бывает так потому, что из всех людей судьба менее всего может обездолить мудреца.

Особенно удивительным мне кажется то, что Юлия приходит к умеренности по тем же причинам, кои толкают сластолюбцев к излишествам. «Жизнь коротка, это правда,— говорит она,— стало быть, надо испить чашу ее всю до дна, искусно пользоваться ею, взять от нее самое лучшее, что может она дать. Ежели один день пресыщения отнимает у нас целый год наслаждения,— стало быть, всегда идти туда, куда влекут нас желания,— дурная философия; следует поразмыслить, не исчерпаем ли мы таким образом наши силы быстрее, нежели пройдем жизненный путь, и не умрет ли наше сердце раньше нас самих. Я вижу, что пошлые эпикурейцы, боящиеся потерять хотя бы единый случай насладиться, теряют все к тому случаи и, вечно томясь скукой среди утех, никогда не вкушают ни единой радости. Они думают сберечь время, а на деле расточают его, они подобны скупцу, разоряющемуся из-за того, что он не умеет в нужную минуту понести малые потери. Я сторонница противоположного правила и, пожалуй, предпочитаю тут больше суровости, чем послабления. Иной раз случается, что я прерываю какую-нибудь игру, доставившую мне удовольствие, и единственно потому прерываю, что она слишком меня увлекает; когда я возобновляю ее, она доставляет мне вдвое больше наслаждения. Как видите, я упражняю свою волю, желая сохранить власть над собой, и пусть лучше считают меня капризной, чем я позволю своим прихотям властвовать надо мною».

Вот на каких началах создана здесь приятная жизнь, в которой вкушают самые чистые радости. Юлия любит полакомиться и во всевозможных заботах о своем хозяйстве отнюдь не пренебрегает кухней. Дом у нее — полная чаша, о чем свидетельствует прекрасный стол, но это совсем не разорительное изобилие,— здесь царят здоровые вкусы без изощренного чревоугодия, все блюда — обыкновенные, но превосходные, готовят

их просто, но очень вкусно. Всякая пышность, всякое стремление пустить пыль в глаза, все утонченные и изысканные яства, привлекающие только своей редкостью и вызывающие похвалы лишь когда произносят их названия, изгнаны отсюда навсегда; и даже из числа тех деликатесов и отборных блюд, какие здесь позволяют себе употреблять, иные кушанья появляются за столом далеко не каждый день,— их предназначают для особых случаев, когда хотят придать трапезе праздничный вид и сделать ее особливо приятной, не производя излишних расходов. Как вы думаете, что это за блюда, к коим относятся столь бережно? Редкая дичь? Морская рыба? Чужеземные, привозные лакомства? Нет, кое-что получше: великолепные местные плоды, какие-нибудь сочные овощи, произрастающие в наших огородах, свежая рыба, пойманная в Женевском озере и приготовленная особым способом, некоторые молочные яства, привезенные из наших горных селений, некоторые пирожные в немецком вкусе, а к сему еще прибавляют охотничий трофей кого-нибудь из домочадцев,— вот и все чрезвычайные блюда, вот то, чем уставлен и украшен стол, что возбуждает и удовлетворяет наш аппетит в торжественные дни. Сервирован стол скромно и на сельский лад, но все очень опрятно и выглядит так весело! Здесь все мило, все доставляет удовольствие; веселость и аппетит всему придают еще больше вкуса. Здесь на столе вы не увидите вместо дымящихся блюд пустые золоченые подносы, вокруг коих гости умирают с голоду, и великолепные хрустальные вазы с букетами цветов вместо всякого десерта; здесь совсем неизвестно искусство насыщать желудок посредством глаз, но зато здесь прекрасно умеют прибавить приятности хорошему столу, покушать плотно, не причиняя себе вреда, повеселиться и выпить, не теряя рассудка, сидеть за трапезой подолгу, не испытывая скуки, и вставать из-за стола, не чувствуя пресыщения.

Помимо столовой, устроенной в нижнем этаже, где Вольмары обычно обедают, есть еще другая столовая, поменьше, во втором этаже. Эта трапезная находится в угловой комнате, и окна ее выходят на две стороны. Из одного окна виден сад, а за ним сквозь деревья блещет озеро, из другого окна открывается вид на высокий холм, покрытый виноградниками, и они уже начинают дразнить наши взоры богатыми плодами, которые будут собирать там через два месяца. Комната невелика, но убрана всем, что могло сделать ее уютной и веселой. Именно в ней Юлия учиняет маленькие пиршества для своею отца, для мужа, для своей кузины, для меня, для себя

самой, а иногда и для детей. Когда она приказывает накрыть на стол в этой комнате, все уже знают, что это значит, и г-н де Вольмар в шутку называет эту столовую «триклинпумом Аполлона»; однако она отличается от лукулловского триклиниума не только выбором приглашенных, но и выбором кушаний. Посторонние сюда доступа не имеют; здесь никогда не обедают, ежели в доме есть чужие; в сем неприкосновенном приюте царят доверие, дружба и свобода. Общество, встречающееся здесь за столом, соединяет сердечная привязанность; здесь происходит своего рода посвящение в сан задушевного друга, и собираются в этой комнате лишь те, кто хотел бы никогда не разлучаться. Милорд, такое же празднество ждет и вас: вашу первую трапезу в Кларане вы совершите на втором этаже.

Я не сразу удостоился такой чести. Только после моего возвращения от г-жи д'Орб меня пригласили в «триклиниум Аполлона». Казалось бы, прием, оказанный мне по приезде, был выше всяких похвал, но этот ужин превзошел все, что было до той поры. Я испытывал такое сладостное, смешанное чувство душевной близости, удовольствия, дружеского единения, непринужденности, какого дотоле еще не знал. Я чувствовал себя более свободно, хотя никто меня к сему не призывал: мне казалось, что мы понимаем друг друга лучше, чем прежде. Отсутствие слуг побуждало меня отбросить сдержанность, еще таившуюся в глубине сердца, и в тот же день я, вернувшись к привычке, оставленной уже много лет тому назад, выпил по настоянию Юлии, вместе с хозяевами, неразбавленного вина за десертом.

Ужин этот привел меня в восторг, мне хотелось бы, чтобы так проходили все наши трапезы. «А я и не знал вашей прелестной столовой,— сказал я г-же де Вольмар,— почему вы не всегда кушаете здесь?» — «Посмотрите, какая она красивая, разве не жаль было бы ее испортить?» Такой ответ, казалось, совсем не соответствовал характеру Юлии, и я заподозрил в нем некий скрытый смысл. «Почему же вам хотя бы не иметь в обычной вашей столовой те же удобства, какие собраны здесь для того, чтобы можно было удалить слуг и беседовать более свободно?» — «Да потому,— ответила она,— что так было бы чересчур приятно; всегдашняя непринужденность и удобства наскучат нам, что хуже всего!» Слов этих было для меня достаточно, чтобы понять ее систему, и я сделал вывод, что искусство увеличивать силу удовольствий заключается в умении скупо отмерять их.

Я заметил, что теперь Юлия одевается более тщательно, чем прежде. Когда-то ее можно было упрекнуть лишь за одну-единственную черту тщеславия, а именно, за нарочитое пренебрежение к своему туалету. Гордячка имела на то причины: она отнимала у меня всякий повод усомниться в ее очаровании, приписывая его красоте уборов. Но что бы она ни делала, прелесть ее была слишком велика, я не мог считать ее естественной и упорно искал особого искусства в небрежных нарядах Юлии. Оденься она в мешок, я и тогда обвинил бы ее в кокетстве. Теперь ее очарование было бы не менее всесильным, но она не удостаивает пользоваться им. И я готов был подумать, что она для того и одевается с таким изяществом, что желает казаться просто красивой женщиной, но вдруг открыл причину не свойственной ей заботы о своей внешности. В первое время я ошибался: я дерзнул приписать себе честь ее изысканного наряда, не думая о том, что она также была одета в день моего приезда, когда совсем и не ждала меня. Я понял свое заблуждение во время отлучки г-на де Вольмара. На следующий же день после его отъезда уже не было в ее туалете ни того изящества, коим взгляд мой не мог налюбоваться накануне, ни умилительной томной простоты, некогда пленявшей меня, но в наряде ее была та скромность, что ласкает глаз и говорит сердцу, внушает уважение и оставляет впечатление особливо глубокое благодаря красоте женщины. Весь ее прелестный облик был исполнен достоинства супруги и матери; ее взор, робкий и нежный, стал более строгим; и какая-то благородная величавость появилась в выражении кроткого ее лица. Однако держалась она все так же, нисколько не изменились ее манеры; ее ровный характер, ее простодушие никогда не допустили бы кривлянья. Она лишь прибегала к чисто женскому таланту,— ведь женщины обладают врожденным даром воздействовать иной раз на наши чувства и мысли, изменив свой наряд, по-иному убрав волосы, надев платье другого цвета, и пленяют сердца тонкостью своего вкуса, умея из ничего сделать что-то милое. В тот день, когда Юлия ждала возвращения мужа, она вновь обрела искусство оживлять природную свою прелесть и уже нисколько ее не скрывала.

Она была просто ослепительна, когда вышла из своей туалетной комнаты; я обнаружил, что она равно владеет искусством затмить блеск самого изысканного убора и украсить самый простой наряд, и, догадываясь о причине видимой перемены в ней, я с досадой подумал: «Хлопотала ли она когда-нибудь столько во имя любви?»

Хозяйка сего дома умеет принарядиться и принарядить всех и вся вокруг себя. Муж, дети, слуги, лошади, постройки, сады, мебель — обо всех и обо всем она заботится рачительно, все содержит в таком порядке, что каждому ясно: здесь нет великолепия лишь потому, что им пренебрегают. Точнее сказать, великолепие тут есть, ежели верно, что оно состоит не в роскоши, а в прекрасном строе всего целого, в согласованности его частей и единстве в замысле устроителя [1].

Я, по крайней мере, нахожу, что куда более возвышенные и благородные мысли вызывает простой и скромный дом, в коем дружно и счастливо живет все малое количество обитателей его, нежели пышный дворец, где царят раздоры и смута и где каждый ищет себе богатства и счастья в разорении другого и всеобщем беспорядке. Хорошо налаженный дом образует единое целое, на его убранство приятно посмотреть; во дворце найдешь только путаное скопление различных предметов, между коими существует лишь мнимая связь. На первый взгляд будто и есть общее им всем назначение, а присмотревшись, убеждаешься в своей ошибке.

Ежели обратиться к самому естественному впечатлению, то окажется, что, для того чтобы пренебречь блеском и роскошью в убранстве дома, нужна не только скромность,— тут еще более нужен вкус. Симметрия и стройность нравятся каждому. Образ благосостояния и счастья умиляет сердце человеческое, жаждущее их; убранство вычурное, где нет ни стройности, ни образа счастья, назначением своим имеет ослеплять показной роскошью, но какую лестную для хозяина мысль может она вызвать у зрителя? Мысль о хорошем вкусе? Разве хороший вкус не сказывается в простых вещах во сто крат больше, нежели в тех, кои испорчены вычурами богатства? Мысль об удобстве? Но есть ли что-либо менее удобное, чем пышность? [2] Мысль о величии? Как раз наоборот. Когда я вижу, что тут задавались

---

[1] Сие мне кажется бесспорным. В симметрии частей большого дворца есть великолепие, его нет в беспорядочном скопище домов. Есть великолепие в единообразии построенного в боевом порядке полка, его совсем нет в толпе, взирающей на сей полк,— хотя, быть может, в ней нет ни одного человека, чья одежда не была бы лучше солдатского мундира. Словом, подлинное великолепие — не что иное, как стройный порядок, особливо заметный в больших размерах; вот почему из всех зрелищ, какие только можно вообразить, самыми великолепными являются картины природы.

[2] Шум, производимый многочисленной челядью, непрестанно нарушает покой хозяина дома; он ничего не может скрыть от стольких аргусов; у него толпа почитателей, но его осаждает толпа кредиторов.

целью построить большой дворец, я тотчас спрашиваю себя: «Почему не построили его еще больше? Почему тут только пятьдесят слуг, а не сто? Почему вместо прекрасной серебряной утвари не завели золотую утварь? Почему сей человек, разъезжающий в золоченой карете, не велел раззолотить стены своего дома? А если стены позолочены, почему не позолочена крыша?» Тот, кто вздумал построить высочайшую башню, хорошо сделал, что решил воздвигнуть ее до самого неба; иначе как бы высоко ни находилась точка, на коей вынуждены были бы остановиться, она служила бы лишь доказательством его бессилия. О человек, мелкий и тщеславный, покажи мне свое могущество, я покажу тебе твое ничтожество.

Наоборот, тот порядок вещей, где ничего не делается в угоду тщеславию, где все имеет действительно полезное назначение и отвечает потребностям природы человеческой, являет картину не только одобряемую разумом, но ласкающую глаз и любезную сердцу, ибо в ней выступают лишь черты, приятные для человека, его самоудовлетворенность, а его слабости в ней не видно, и сия отрадная картина никогда не вызывает печальных размышлений.

Я уверен, что всякий здравомыслящий человек, пробыв один час в княжеском дворце и видя вокруг блистательную пышность, не может не впасть в меланхолию и не оплакивать судьбу человечества. Но в Кларане весь уклад дома и налаженная простая жизнь его обитателей полны очарования и вливают в душу наблюдателя тайный и все возрастающий восторг. Горсточка добрых и мирных людей, объединенных потребностью друг в друге и взаимной благожелательностью, различными своими трудами способствуют общей им всем цели; каждый находит в своем положении все, что ему нужно, а посему доволен им, нисколько не стремится его изменить, привязывается к дому так, словно должен провести в нем всю жизнь, и единственное

---

Апартаменты его до того роскошны, что он вынужден спать в каком-нибудь закоулке, где может чувствовать себя непринужденно,— у иного богача ручная обезьяна имеет лучшее жилье, чем ее хозяин. Захочется ему пообедать — он зависит от своего повара и никогда не поест вдосталь; захочет выйти из дому — он во власти своих лошадей; тысячи помех задерживают на улице его карету; ему не терпится быть поскорее на месте, но он позабыл, для чего ему даны ноги. Хлоя ждет его, а грязь на улице его задерживает. Золотое шитье кафтана — тяжелое бремя, бедняга не может пройти пешком и двадцати шагов, но если он и пропустит свидание с любовницей, то все же будет утешен любопытством прохожих: ведь каждый замечает ливреи его лакеев, любуется его каретой и во весь голос говорит, что в ней сидит господин Такой-то.

его честолюбие состоит в желании достойно исполнять свои обязанности. Те, кто распоряжается, так скромны, а те, кто повинуется, так ревностны, что равные по положению могли бы обменяться местами и никто бы не был в обиде. Здесь друг другу не завидуют; каждый полагает, что он может увеличить свой достаток, лишь увеличивая благосостояние дома. Сами господа не отделяют своего благополучия от благополучия окружающих. Здесь ничего нельзя ни добавить, ни убавить,— ведь в доме видишь только полезные вещи, и все они на своем месте; не хочется внести сюда что-либо иное, чего здесь нет, а про то, что видишь здесь, не скажешь: почему сего не завели побольше? Прибавьте-ка сюда позументы, картины, блеск, позолоту — и вы все обедните. Замечая такое изобилие в необходимом, но без всякого излишества, любой скажет, что, очевидно, ничего излишнего и не хотели здесь иметь, а если бы захотели, то его имели бы в таком же изобилии, как и необходимое. Постоянно видя, как из дома рекой текут вспомоществования бедным, многие подумают: «У них столько богатства, что некуда его девать». Вот, по-моему, истинное великолепие.

Эта видимость изобилия самого меня испугала, когда я узнал, что стоит ее поддерживать. «Вы разоритесь,— сказал я Юлии и г-ну де Вольмару,— невозможно, чтобы вашего скромного дохода хватало на все расходы». Они оба засмеялись и доказали мне, что, ничего не изменяя в укладе своего дома, они могут, при желании, делать сбережения и скорее уж увеличить свои доходы, нежели разориться. «Мы обладаем секретом быть богатыми,— сказали мне они,— состоит он в том, чтобы иметь мало денег и, пользуясь поместьем, избегать, насколько возможно, сделок через посредников, стоящих между продуктом и его потребителем. Каждая такая сделка приносит некоторый убыток, и многочисленные мелкие убытки в сумме своей могут свести почти на нет довольно большое состояние, так же как при бесконечных перепродажах через старьевщиков красивый золотой ларчик становится жалкой безделушкой. Перевозок собранного урожая мы избегаем, употребляя его на месте; обмена мы тоже избегаем, потребляя собранное натурой; а когда необходимо обменять излишки наших припасов на то, чего нам не хватает, то вместо продажи и покупки на деньги, что удвоило бы убыток, мы стараемся прибегнуть к действительному обмену, в коем удобство для договаривающихся сторон заменяет им обоим прибыль».

«Мне понятны,— сказал я,— все преимущества вашей методы, но, думается, она не лишена и неудобств. Помимо боль-

ших хлопот, коих она требует, прибыток здесь больше кажущийся, нежели действительный, и вы столько теряете на мелочах при управлении своим поместьем, что, вероятно, вам нередко выгоднее было бы иметь дело с фермерами,— ведь обработка земли крестьянину обходится куда дешевле, нежели вам, и урожай он соберет более тщательно, нежели вы».— «Вы ошибаетесь,— ответил Вольмар,— крестьянин не столько заботится о том, чтобы земля у него больше родила, сколько старается поменьше расходоваться, потому что затратить вперед деньги для него тяжело, а прибытку он получит не так уж много; и если его цель не столько повысить ценность своих владений, как поменьше вложить в них денег, то он обеспечивает себе доход не улучшением состояния земли, а ее истощением,— для нее полезнее было бы, чтоб он плохо ее возделывал, нежели истощал. Ради того чтобы получить без хлопот небольшие деньги, ленивый помещик сдает ее в аренду, но тем самым готовит себе или своим детям большие убытки, большие в будущем хлопоты, а иной раз и разоряет свое наследственное достояние.

К тому же,— продолжал г-н де Вольмар,— хоть я и не спорю с вашим утверждением, будто обработка земли мне обходится дороже, нежели фермеру, но ведь и прибыль-то свою фермер получил бы за мой счет; а землю я возделываю гораздо лучше, нежели он, зато и родит она гораздо больше; следовательно, расходов у меня больше, но и прибыли я получаю больше; да и увеличение расходов только кажущееся, а в действительности оно приводит к большой экономии: ведь если бы не мы сами, а фермеры возделывали нашу землю, мы бы стали жить в городе, жизнь в городах куда дороже, нам понадобились бы развлечения, они обходились бы гораздо дороже, чем те развлечения, какие мы находим здесь, и были бы для нас менее приятны. Хлопоты наши вы называете большими, но мы считаем их своим долгом, и, кроме того, они доставляют нам удовольствие; благодаря предусмотрительности и разумному распорядку они никогда не бывают в тягость, они заменяют нам множество разорительных прихотей, ибо сельская жизнь спасает от склонности ко всяческим фантазиям, и все, что способствует нашему благополучию, становится для нас развлечением.

Посмотрите хорошенько вокруг,— добавил сей рассудительный отец семейства,— вы увидите тут только полезные вещи, они нам почти ничего не стоят и избавляют нас от множества напрасных трат. На столе у нас яства только из местных про-

дуктов, для обивки мебели и для одежды своей мы употребляем почти один только местные ткани; мы ничего не презираем лишь за то, что оно есть у всех; ничем не восхищаемся только за редкость. Все привозное из далеких краев обычно служит предметом мошенничества и подделки, а мы по своей разборчивости и умеренности ограничиваемся выбором лучшего из того, что находим поблизости и что не вызывает сомнений по своему качеству. Блюда у нас простые, но отборные. Для того чтобы наш стол признали роскошным, недостает лишь одного — чтобы все эти яства доставлялись издалека: ведь в светском обществе изысканным признается только редкостное, и ежели бы какой-нибудь чревоугодник ел в Париже форели из нашего озера, он нашел бы, что вкус у них отменный.

Того же правила придерживаемся мы и в выборе нарядов: ими, как видите, мы не пренебрегаем, но хотим лишь, чтобы они были изящными,— роскошь мы всегда отвергаем, а уж моду тем более. Ведь большая разница между теми достоинствами, какие мода придает вещам, и действительной их ценностью. Лишь этой последнею Юлия и дорожит, и когда надо выбрать материю, ее не столько беспокоит старомодная эта ткань или новинка, а хороша ли она и пойдет ли к лицу. Зачастую бывает, что именно новинки она и отвергает, ежели по причине новомодности за них берут несусветную цену, а долго их не проносишь.

Обратите также внимание на то, что здесь каждый предмет производит приятное впечатление не столько сам по себе, сколько в сочетании со всем остальным; и вот из вещей недорогих Юлия создала обстановку весьма ценную. Человек со вкусом любит создавать, придавать ценность вещам. Насколько законы моды непостоянны и разорительны, настолько законы хорошего вкуса экономны и устойчивы. То, что хороший вкус признает хорошим, таким навсегда и останется; пусть это редко бывает модным, зато уж никогда не бывает смешным; скромная простота, гармоническое сочетание, приятность и удобство вещей — вот неизменные и надежные правила, кои остаются в силе, когда мода на то или иное давно прошла.

Добавлю, что изобилие только в необходимом не может привести к злоупотреблению им,— ведь необходимое имеет свой естественный предел и потребности истинные никогда не ведут к излишествам. Можно потратить на один кафтан столько, сколько стоят двадцать кафтанов, и проесть за обедом доходы за целый год; но двух кафтанов за раз не наденешь и два обеда за раз не съешь. Итак, требования тщеславия беспредельны,

тогда как природа нас останавливает и тут и там; и тот, кто, обладая не очень большими средствами, ограничивается скромным благополучием, нисколько не рискует разориться.

Вот, дорогой мой,— продолжал сей разумный человек,— как можно благодаря бережливости и неустанным заботам жить лучше, чем, казалось бы, дозволяют средства. Если бы мы захотели, то вполне могли бы увеличить свое состояние, нисколько не меняя нашего образа жизни; ведь у нас почти каждое вложение денег имеет целью производство какого-нибудь продукта, и все, что мы тратим, дает нам возможность тратить еще больше».

И что ж, милорд, с первого взгляда этого совсем и не заметно. Здесь изобилие скрывает основу, на коей оно зиждется: не сразу разглядишь, что здесь действуют строгие законы, кои умеряют роскошь, приводят к достатку и к удовольствиям, и поначалу трудно понять, как можно наслаждаться тем, что сберегается. А когда поразмыслишь, приходишь к приятным выводам, что источник благосостояния здесь неисчерпаем и что умение пользоваться счастьем жизни служит еще и к продлению его. Да может ли наскучить положение, столь согласное с природой? Можно ли истощить наследственное имущество, ежедневно улучшая его? Можно ли разориться, когда тратишь одни только доходы? Ежели каждый год ты уверен, что благополучен будешь и в следующем году, кто нарушит твое спокойствие? Здесь плоды прошлых трудов поддерживают изобилие в настоящем, а плоды трудов, совершенных в настоящем, обещают изобилие в будущем; здесь на пользу людям идет и то, что они расходуют, и то, что собирают; здесь как будто соединяется прошлое и будущее, дабы обеспечить людям надежное настоящее.

Я входил в рассмотрение всех частей хозяйства и видел, что повсюду царит тот же дух. Все вышивки и кружева делаются на женской половине, все полотно ткут на дворе свои ткачихи или нуждающиеся крестьянки, коим хотят дать пропитание. Шерсть посылают в мануфактуры, а в обмен получают оттуда сукно на одежду для челяди; вино, оливковое масло и хлеб — домашнего изготовления, дров всегда вдоволь, рубят их в своем лесу на отведенных для того делянках; за мясо расплачиваются с мясником скотиной; бакалейщик получает за свои поставки пшеницу; батракам и слугам платят жалованье из того, что приносит земля, ими возделываемая; денег, кои пришлось бы платить за наем городского дома, Вольмарам вполне достаточно для меблировки господского дома в поместье; доходы с ценных

бумаг идут на содержание хозяев, на приобретение красивой посуды, каковую они в небольшом количестве позволяют себе покупать; выручку от продажи вина и пшеницы, оставшихся от потребления, держат про запас на случай чрезвычайных расходов,— этой казне благоразумие Юлии никогда не дает иссякнуть, а милосердие не дает ей возрастать. На всякого рода удовольствия она отводит лишь доходы от тех работ, что выполняются в доме, да от распашки залежных земель, от разведенного в именье сада и так далее. Таким образом, производство и потребление всегда соответствуют друг другу; по самой природе установленного уклада равновесие никогда не бывает нарушено, и тревожиться не приходится.

Более того, лишения, кои Юлия себе предписывает, умеряя свою любовь к лакомствам, как я уже о том говорил, стали для нее источником удовольствия и вместе с тем новым способом экономии. Юлия, например, очень любит кофий, у матери она пила его каждый день; однако эту привычку она оставила для того, чтобы кофий казался ей вкуснее, и ныне пьет его, только когда приезжают гости, да еще в «триклиниуме Аполлона», желая подчеркнуть праздничный характер сих трапез. Таким образом, это маленькое чувственное удовольствие становится для нее привлекательнее, обходится дешевле, изощряет и сдерживает ее гурманство. Зато с какой заботливостью она стремится угадать и удовлетворить желания отца и мужа, делает это с такой естественной щедростью, угощает так мило, с таким удовольствием, что им вдвойне приятно это баловство. Они оба любят подольше посидеть за столом, по-швейцарски, и Юлия никогда не забывает распорядиться, чтобы после ужина им подали бутылку вина, более тонкого и более выдержанного, нежели то, какое обычно подается в их доме. Поначалу я верил пышным наименованиям этих вин,— по-моему, и в самом деле они превосходны; я думал, что они привезены из тех местностей, чьи названия им присвоены, и однажды ополчился на Юлию за то, что она нарушает собственные правила бережливости; но Юлия, смеясь, напомнила мне отрывок из Плутарха — то место, где Фламинин сравнивает азиатские войска Антиоха, носившие множество варварских названий, с различными видами жаркого, коими угощал его приятель, скрывая, что все они приготовлены из одного и того же куска мяса. «Так же дело обстоит и с моими иностранными винами, за кои вы меня упрекаете. Рансио, херес, малага, шассень, сиракузское, которые вы пьете с таким удовольствием, на самом деле местные вина, только по-разному выделанные, и вы можете увидеть отсюда из окна

тот виноградник, чьи лозы дают все эти якобы привозные вина. Может быть, они по качеству и ниже прославленных марок, названия коих мы им дали, зато не имеют некоторых неприятных их свойств, мы совершенно уверены в их составе, и, по крайней мере, их можно пить без опаски. Я полагаю,— продолжала она,— что моему отцу и моему мужу они нравятся не меньше, чем самые редкостные вина».— «Ее вина,— сказал тогда г-н де Вольмар,— отличаются совсем особым вкусом, какого у других вин не найдешь: ведь она с таким удовольствием их выделывала».— «Ах,— ответила Юлия,— значит, они всегда будут превосходны».

Сами посудите, можно ли скучать от праздности и безделья, когда так много забот и хлопот? Тут уж нет необходимости искать себе компании и совсем нет времени для визитов, для увеселений в обществе посторонних. У соседей Вольмары бывают достаточно часто, для поддержания приятного знакомства, но не настолько, чтобы это оказалось игом рабства. Гостей принимают радушно, но по ним не скучают. В общем, вращаются в свете ровно настолько, чтобы сохранить вкус к уединенной жизни; пустые забавы заменяют сельскими занятиями, а для того, кто в лоне семьи своей находит самое приятное для себя общество, всякая иная компания весьма докучна. Времяпровождение обитателей Кларана крайне просто, всегда однообразно, и вряд ли такой образ жизни многих соблазнит [1]. Но супруги Вольмар, избравшие его, сделали сие по влечению сердца, и поэтому он им интересен. Разве могут люди со здоровой душой скучать, когда они выполняют самые любезные им и самые восхитительные из человеческих обязанностей, да еще делая обоюдными стараниями совместную свою жизнь счастливой? Каждый вечер Юлия, довольная истекшим днем, желает, чтоб и завтра день прошел точно так же, а по утрам просит у неба, чтоб оно ниспослало ей день, во всем подобный вчерашнему; дела ее всегда одни и те же и не могут наскучить ей, ибо она знает, что это хорошие дела, что ничего лучшего она не могла бы делать. Несомненно, при такой жизни Юлия вкушает

---

[1] Если б кто-нибудь из наших остроумцев, путешествуя по Швейцарии, посетил проездом Кларан и был бы принят и обласкан в этом доме, то, думается, он впоследствии потешал бы своих приятелей весьма забавным рассказом о том, какую жизнь ведут там эти «мужланы». Впрочем, по письмам миледи Кетсби я вижу, что подобная склонность свойственна не только французам,— очевидно, и в Англии существует обыкновение и благодарность за гостеприимство поднимать любезных хозяев на смех.

блаженство, насколько то возможно для человека. Быть довольным собою на протяжении всей своей жизни — разве это не вернейший признак полного счастья?

Здесь редко увидишь кучу бездельников, именуемую хорошим обществом, зато все, кого встречаешь в сем уголке, располагают к себе чем-либо привлекательным в своей натуре и множеством добродетелей искупают какие-нибудь смешные свои черты. Местные жители, не знающие светских манер и учтивости, но добрые, простые, честные и довольные своей судьбой; отставные офицеры; коммерсанты, коим надоела погоня за богатством; разумные матери, воспитывающие дочерей своих в школе скромности и добронравия,— вот свита, которую Юлия любит собирать вокруг себя. Ее муж не прочь присоединить к ним иной раз былых искателей приключений, коих исправили годы и житейский опыт, после чего, умудренные всяческими превратностями, они остепенились и без печали возвратились домой возделывать отцовскую ниву, сожалея лишь о том, что когда-то ее покинули. Ежели кто-нибудь из них рассказывает за столом о своей жизни, то это отнюдь не волшебные приключения богатого Синдбада, повествующего среди восточной изнеженности, как добыл он свои сокровища; нет, сии повествования гораздо проще, и ведут их здравомыслящие люди, коих капризы судьбы и несправедливость людская отвратили от тщетной погони за ложными благами, вернув им уважение к благам истинным.

Представьте, что даже обычная беседа с крестьянами имеет свою прелесть для сих возвышенных душ, у коих могли бы поучиться иные мудрецы. Г-н де Вольмар, человек справедливый, находит, что среди простодушных поселян больше попадается ярких характеров, больше самобытных умов, нежели среди горожан, носящих единообразную личину, ибо там каждый хочет показаться таким же, как другие, а не таким, каков он на самом деле. Нежная Юлия находит в поселянах сердца, чувствительные к малейшей ласке, почитающие за счастье, что она печется об их нуждах. Ни в чувствах, ни в мыслях у них нет никакой искусственности, они не научились подражать нашим образцам, и можно не бояться, что тут встретишь людей, созданных людьми, а не природой!

Нередко, обходя свои владения, г-н де Вольмар встречает какого-нибудь славного старика, поражающего своим здравым смыслом и рассудительностью, и г-ну де Вольмару приятно бывает вызвать его на разговор. Он ведет старика к своей жене, Юлия оказывает ему радушный прием, свидетельствующий не

столько об учтивости и аристократической воспитанности, сколько о врожденной доброте и человечности. Старика оставляют обедать, Юлия сажает его рядом с собою, угощает, говорит с ним ласково, с участием расспрашивает о его семье, о его делах, не улыбается, видя его смущение, не обращает внимания на его деревенские повадки, держится так просто, что он чувствует себя свободно, и неизменно она выказывает ему ласковое и трогательное почтение, полагая, что все должны уважать немощного старца, у коего за плечами долгая и безупречная жизнь. Восхищенный старик расцветает душой, и как будто на миг к нему возвращается живость молодых его дней. Вино, выпитое за здоровье молодой хозяйки, согревает его охладевшую кровь. Он оживленно рассказывает о прежних временах и сердечных своих делах, о военных походах, о сражениях, в коих участвовал, о храбрости своих соотечественников, о возвращении на родину, о жене, о детях, о сельских работах, о злоупотреблениях, им замеченных, о средствах их устранить. Нередко из его речей, по-стариковски пространных, выносишь какое-либо превосходное нравственное назидание или же урок земледелия; да ежели бы он даже говорил лишь для удовольствия поговорить, у Юлии и тогда хватало бы терпения слушать его.

После обеда она идет в свою комнату и выносит оттуда маленький подарок — что-нибудь из одежды, что может пригодиться жене или дочерям старика. Подарок вручают дети Юлии, а он в ответ дарит им какую-нибудь простенькую, но забавную игрушку, которую она сама же тайком заказывает ему. Так с самой ранней поры детства завязываются тесные дружеские отношения, связующие два сословия, столь различные. Дети приучаются почитать старость, уважать простоту и различать достойных людей в любых сословиях. Крестьяне, видя, как в уважаемом всеми доме чествуют их стариков отцов, сажают там за стол с хозяевами, не обижаются, что их самих туда не зовут; причину тому они усматривают не в своем общественном положении, а в своем возрасте,— они не говорят: «Мы для этого слишком бедны», а говорят иное: «Мы еще слишком молоды, не заслужили такого обращения». Почет, оказанный их старикам, и надежда когда-нибудь разделить его с ними утешают их в том, что сейчас они лишены его, и побуждают стать достойными уважения.

И вот старик, умиленный ласковым приемом, оказанным ему, возвратясь в свою хижину, спешит показать жене и детям, какие подарки он принес; эти скромные дары доставляют ра-

дость всем домочадцам старика, они гордятся, что и о них не забыли. С воодушевлением старик рассказывает, как его принимали, чем потчевали, какие вина он отведал, что за любезные речи с ним вели, как участливо расспрашивали о семье, как приветливы были хозяева и внимательны слуги,— и вообще говорит обо всем, что придавало особую цену знакам уважения и благожелательности, выказанным ему. Рассказывая, он вторично все переживает, домочадцы как будто все переживают вместе с ним и радуются почету, оказанному их главе. Все дружно шлют благословения знатному и великодушному семейству, которое, подавая пример великим мира сего, протягивает руку помощи малым, отнюдь не презирает бедняка и воздает честь его сединам. Вот фимиам, приятный для благодетельных душ! Ежели небо и внемлет хвалам людей, прославляющих благодетелей, то уж, конечно, не тем, кои льются из уст низких льстецов в присутствии тех, кого они громогласно восхваляют,— нет, бог внемлет благословениям, звучащим у камелька в незаметной сельской хижине, где их подсказывает бесхитростное и признательное сердце.

Вот так приятное и сладостное чувство может придать очарование уединенной жизни, докучной для равнодушных сердец; такие труды и заботы могут стать утехами, если искусно их распределять. Душе здоровой радостны самые заурядные занятия, так же как здоровому телу приятна самая простая пища. Скучающие люди, коих так трудно бывает развлечь, обязаны своей хандрой усвоенным ими порокам, и чувство удовольствия они теряют вместе с чувством долга.

У Юлии все произошло как раз наоборот,— заботы, коими она в тоске душевной некогда пренебрегала, теперь ей милы, ибо милы стали побуждения к ним. Надобно быть бесчувственным, чтобы никогда не проявлять живости. Живость ее развилась по тем же причинам, какие когда-то ее подавляли. Сердце ее искало уединения и тишины, дабы спокойно предаться чувствам, проникшим в него; и ныне, когда установились новые жизненные связи, Юлия приучилась к новой деятельности. Она не принадлежала к числу тех беспечных матерей, которые только еще собираются обучаться, когда уже надобно действовать, и, присматриваясь, как другие матери выполняют свои обязанности, лишь теряют драгоценное время, ибо сами-то они ничего не делают. Сейчас Юлия прилагает на деле познания, приобретенные ею раньше. Она уже не учится, уже не читает — она действует. Встает она на час позднее мужа, зато и ложится часом позже. Это единственный час, который она еще посвя-

щает чтению, и день никогда не кажется ей слишком длинным,— так много у нее дел, и к тому же дел приятных.

Вот, милорд, что хотелось мне рассказать вам об укладе сего дома, а также о личной жизни его хозяев, установивших такие порядки. Довольные своей участью, они мирно наслаждаются ею; довольные своим состоянием, они трудятся не ради того, чтобы нажить побольше для своих детей, они желают передать им в сохранности наследственное имущество, привести землю в хорошее состояние, оставить им преданных слуг, воспитать в детях своих трудолюбие, вкус к порядку, умеренность и все то, что может для человека здравомыслящего сделать жизнь сладостной и даже восхитительной при скромном достатке, честно приобретенном и разумно сохраненном.

## ПИСЬМО III

*От Сен-Пре к милорду Эдуарду* [1]

В последнее время у нас были гости, вчера они уехали, вновь мы остались втроем и находим великую приятность в столь малочисленном обществе, тем более что теперь уже нет у нас в сердцах ничего потаенного, что хотелось бы скрыть друг от друга. Как радостно чувствовать, что я становлюсь другим человеком, достойным вашего доверия! При каждом знаке уважения, коим дарит меня Юлия или муж ее, я с некоторою гордостью говорю себе: «Наконец-то мне не стыдно будет предстать перед ним». Ведь лишь благодаря вашим заботам мое настоящее, надеюсь, сотрет прошлые мои ошибки. Угасшая любовь опустошает душу, любовь покоренная вместе с сознанием победы порождает в нас новые возвышенные порывы и более живое влечение ко всему высокому и прекрасному. Кто же захочет лишиться плодов жертвы, стоившей нам так дорого? Нет, милорд, я чувствую, что, по вашему примеру, мое сердце обратит себе на пользу все пламенные чувства, им побежденные, я чувствую, что надо было быть тем, кем я был, чтобы стать тем, кем я хочу быть.

[1] Два письма, написанные в разное время, трактовали одни и те же предметы, что вызывало ненужные повторения. Дабы лишнее выбросить, я соединил эти два письма в одно. Не собираясь оправдывать чрезмерные длинноты многих писем, из которых составлен настоящий сборник, должен, однако, указать, что одинокие люди обычно пишут редко, но длинные письма, а люди светские пишут часто и коротко. Стоит только заметить эту разницу, как тотчас станут понятны и причины ее.

Шесть дней мы потратили на пустые разговоры с безразличными нам людьми, а нынче провели первое утро на английский лад, то есть собрались все трое, но молчали, наслаждаясь удовольствием быть вместе и чувством тихой сосредоточенности. Ах, сколь немногим знакомо это блаженное состояние! Во Франции я не видел никого, кто имел бы об этом хоть слабое представление. Меж друзьями беседа никогда не затихает, говорят они. Конечно, при поверхностной приязни язык вертится легко и болтовня идет сама собой. Но дружба, милорд, дружба! Чувство животворное и небесное, какие речи достойны тебя? Какими словами передать тебя? Разве то, что говоришь своему другу, может выразить, какие чувства ты испытываешь близ него? Сколь много могут сказать пожатие руки, оживленный взор, объятие и вздох, что следует за ним! И каким холодным в сравнении с этим покажется произнесенное слово. О вечера в Безансоне! Мгновения безмолвия, посвященные дружбе и понятые ею! О Бомстон, высокая душа, благородный друг! Нет, я не опошлил того, что ты для меня сделал, и уста мои никогда об этом ничего тебе не сказали.

Несомненно, в созерцательном состоянии много прелести для чувствительных душ. Я всегда находил, что докучные болтуны мешают им наслаждаться и что друзьям необходимо побыть одним, без посторонних, иметь возможность говорить меж собой непринужденно. Они жаждут, так сказать, сосредоточиться друг в друге; и как бывает невыносимо, ежели что-либо их от этого отвлекает и делает беседу принужденной! Иной раз с уст сорвется сердечное слово,— и как приятно бывает произнести его без стеснения! Кажется, нельзя и думать свободно, раз не смеешь свободно говорить; кажется, от одного лишь присутствия постороннего сникнет чувство и сожмется душа, меж тем как без чужих все так хорошо понимали друг друга.

Два часа провели мы в мирной радости, в тысячу крат более сладостной, нежели холодный покой богов Эпикура. После завтрака в комнату пришли дети, но, вместо того чтобы удалиться с ними в детскую, Юлия, как бы желая вознаградить нас за потерянное время, против обыкновения, оставила детей при себе, и мы не расставались до обеда. Генриетта, уже начинающая владеть иголкой, сидела за работой впереди Фаншоны, а та плела кружева, держа подушку на спинке низенького креслица Генриетты. Мальчики, устроившись за столом, перелистывали альбом с картинками, и старший старательно объяснял их младшему. Генриетта прислушивалась, и когда мальчик ошибался,

она, зная все картинки наизусть, поправляла его. Нередко, притворяясь, будто она не разобрала, какую гравюру они рассматривают, она под этим предлогом вставала и подходила к ним. Эти прогулки от креслица к столу и обратно, видимо, ей нравились, и всегда в это время девочку поддразнивал ее «женишок»; иной раз вдобавок к шалостям он неловко протягивал для поцелуя свои детские губки, и Генриетта, уже более понятливая, охотно избавляла его от лишних церемоний. Пока шли эти маленькие уроки, младший братишка потихоньку перебирал бирюльки, спрятанные им под книгу.

Госпожа де Вольмар вышивала у окна, близ своих детей; ее муж и я еще сидели за чайным столом, читали газету, на которую она довольно мало обращала внимания. Но когда прочли статью о болезни французского короля и необычайной привязанности к нему народа, сравнимой лишь с привязанностью римлян к Германику, она сказала несколько слов о прекрасных чертах этой любезной и благожелательной нации, которую все ненавидят, меж тем как сама она ни к одной нации ненависти не питает, и добавила еще, что она, Юлия, завидует августейшим особам лишь за то, что их так любят,— это такая большая радость! «Не завидуйте,— промолвил ее муж таким тоном, каким мне пристало бы это сказать,— с его дозволения, конечно.— Не завидуйте монархам, ведь мы уже давно ваши подданные». При этих словах вышиванье выпало у нее из рук, она повернула голову и бросила на своего достойного супруга такой умильный, такой нежный взор, что даже я затрепетал. Она ничего не сказала — какие слова могли бы сравниться с этим взором? Глаза наши встретились. Муж ее сжал мне руку, и я почувствовал, что одинаковое волнение охватило всех нас и что благодатное влияние этой щедрой души распространяется на всех окружающих и торжествует даже над бесчувственностью.

В миг такого душевного состояния воцарилось безмолвие, о коем я уже говорил вам: сами видите, что в нем не было ни холодности, ни скуки. Тишину нарушало лишь щебетание детей; да и то, едва перестали мы разговаривать, они, из подражания взрослым, притихли, словно боялись нарушить нашу сосредоточенность. Пример подала маленькая командирша Генриетта: она понизила голос, знаками останавливала братцев, перебегала к столу на цыпочках; игры их стали еще забавнее, так как легкая стесненность придавала им особую прелесть. Это зрелище, казалось, для того возникшее перед нами, чтобы про-

длить наше умиление, произвело на нас естественное свое воздействие.

Ammutiscon le lingue, e parlan l'alme [1].

Сколько всего было сказано, хотя мы не размыкали уст! Сколько пламенных чувств мы излили друг другу без холодного посредничества слов! Неприметно Юлией завладело чувство, преобладавшее над остальными. Глаза ее уже не отрывались от троих детей, дивный экстаз, переполнявший сердце, оживлял ее прелестное лицо самым трогательным выражением материнской нежности.

Плененные созерцанием сей дивной картины, мы оба с Вольмаром предались своим мечтам, как вдруг дети, вызвавшие эти грезы, прервали их. Старший мальчик, забавлявшийся гравюрами, заметил, что бирюльки отвлекают внимание братишки, и, улучив минуту, когда малыш собрал их в горсть, ударил его по руке так, что бирюльки разлетелись по полу. Марселин заплакал; однако госпожа де Вольмар не бросилась его успокаивать, а, не повышая голоса, сказала Фаншоне, чтобы та унесла бирюльки. Мальчик тотчас умолк, но бирюльки все же были унесены, и вопреки моим ожиданиям слез больше не было. Этот пустячный случай напомнил мне и многие другие подобные ему происшествия; прежде я не обращал на них внимания, а теперь, поразмыслив, могу сказать, что никогда еще не видел таких детей, как у Юлии, детей, которым так мало читали бы наставлений и которые так мало бы всем докучали. Они почти не отходят от матери, но их присутствие едва замечаешь. Все трое веселы, резвы, шаловливы, какими и следует быть в их возрасте, но совсем не назойливы, не крикливы, и сразу видно, что они деликатны, хотя еще и не знают, что такое деликатность. Размышляя над этим, я сделал такой удивительный вывод, что все у них получается как бы само собой, ибо Юлия, при всей своей страстной нежности к детям, не суетится вокруг них. В самом деле, никогда не бывает, чтобы она заставляла их говорить или молчать, что-нибудь предписывала или запрещала им. Она никогда не спорит с ними, не мешает их забавам, кажется, что она лишь смотрит на них с любовью, и если проведет с ними день, то в этом и состоят ее материнские обязанности.

Хотя приятнее было смотреть на это мирное спокойствие, нежели на хлопотливую заботливость других матерей, меня поразила эта кажущаяся беспечность, не отвечающая моим

[1] Язык молчит, но говорят сердца *(итал.)*.

воззрениям. Мне хотелось бы, чтобы, несмотря на все основания быть довольной, она все же не успокаивалась бы: ведь беспокойство за детей, пусть даже чрезмерное, как-то пристало материнской любви. Все хорошее, что я видел в детях Юлии, мне хотелось приписать ее заботам; хотелось, чтобы эти малютки менее были обязаны природе, нежели матери; мне почти хотелось, чтобы у них были какие-нибудь недостатки и она бы старалась исправить их.

Довольно долго думал я над этим и наконец, прервав молчание, поделился с Юлией своими мыслями. «Я вижу,— сказал я ей,— что небо вознаграждает добродетель матерей добрыми наклонностями их детей; но ведь эти добрые наклонности нужно развивать. Воспитание должно начинаться со дня рождения ребенка. Какая пора более пригодна для воспитания их характеров, чем та, когда совсем не приходится их переламывать. Ежели с самого раннего детства предоставить их самим себе, то в каком же возрасте ждать от них покорности? Пусть даже вам учить их нечему, все же надобно научить их слушаться».— «А разве вы заметили, что они меня не слушаются?» — спросила Юлия. «Это заметить трудно,— возразил я,— ведь вы им ничего не приказываете». Она с улыбкой поглядела на мужа и, взяв меня за руку, повела в кабинет, где дети не могли нас слышать.

И там она на досуге объяснила мне свои правила, показав мне, что за мнимой ее небрежностью скрывается самое бдительное внимание любящей матери. «Долго я держалась тех же мыслей, что и вы, о раннем воспитании, и когда вынашивала первого ребенка, со страхом думала о предстоящих мне вскоре обязанностях и часто с тревогой говорила о них с мужем. Кто же мог быть для меня в этом лучшим руководителем, нежели он, человек просвещенный и наблюдательный, у коего отцовское чувство сочеталось с хладнокровием философа! Он оправдал и превзошел мои ожидания: он рассеял мои предрассудки и научил меня, как достигать в этом деле наибольших успехов с наименьшим трудом. Он убедил меня, что первоначальная и самая важная, но всеми забытая основа воспитания [1] состоит в том, чтобы сделать ребенка восприимчивым к тому, что ему внушают. Родители, кои мнят себя весьма осведомленными, совершают одну и ту же ошибку: они

[1] Сам Локк, мудрый Локк, позабыл сию основу; он больше говорит о том, что следует требовать от детей, нежели о том, как этого добиться от них.

считают детей своих существами разумными уже со дня рождения и говорят с ними как со взрослыми людьми еще до того, как они научатся говорить. Они считают разум средством воспитания, меж тем как надобно еще применить столько иных средств, чтобы воспитать в ребенке разум, и из всех сторон развития, свойственного человеку, позже всего и труднее всего достигается именно развитие разума. Если с детьми говорят с самого раннего возраста языком, совсем для них непонятным, их тем самым приучают болтать с важным видом и не уважать взрослых, критиковать все, что им говорят, мнить себя столь же мудрыми, как их учителя, быть своевольными спорщиками, а тогда всего, чего хотели достигнуть, взывая к их разуму, на деле достигают лишь застращиванием или воздействуя на их тщеславие.

С детьми, коих желают воспитывать таким образом, нет сладу; и родители, наскучив, возмутясь, измучившись вечными дерзкими выходками, к коим они сами же и приучили своих чад, будучи более не в силах выносить столь неприятные хлопоты, вынуждены бывают удалить детей от себя и препоручить учителям; как будто можно надеяться, что у наставника, чужого человека, окажется больше терпения и ласки, чем у отца.

Природа хочет,— продолжала Юлия,— чтобы дети были детьми прежде, чем стать взрослыми. Ежели мы вздумаем исказить такой порядок вещей, мы получим лишь слишком ранние плоды, в коих не будет ни зрелости, ни сочности и кои скоро испортятся; у нас будут чересчур юные ученые и престарелые младенцы. Дети все думают, чувствуют и видят по-своему. Нет ничего более бессмысленного, как стремиться заставить их все воспринимать по-нашему и требовать от десятилетнего ребенка глубокой рассудительности,— это все равно что желать его видеть ростом в пять футов.

Разум начинает развиваться лишь через несколько лет после рождения ребенка, когда и тело его достигает известной силы. Следовательно, таково уж намерение природы: сначала должно окрепнуть тело, а потом развивается разум; дети всегда в движении, покой и размышления противны детскому возрасту; сидячая жизнь и прилежание мешает детям расти и совсем им не на пользу; ни их ум, ни тело не могут вынести принуждения. Если держать их постоянно взаперти, в комнате, за книгами, они теряют всю свою бодрость, становятся хрупкими, слабенькими, болезненными и скорее отупевшими, нежели рассудительными, и всю жизнь душа их будет чувствовать, что заключена она в чахлом теле.

Даже если б все эти вредные попытки преждевременного развития разума вдруг да оказались для него полезными, то и тогда в них был бы один большой изъян, а именно — желание применять одни и те же приемы ко всем без различия, не отыскивая тех способов, какие больше всего подходят к духовному складу того или иного ребенка. Ведь, кроме духовного строя, общего для всего рода человеческого, каждый от рождения наделен своим особым темпераментом, определяющим его склонности и его характер, и задача состоит не в том, чтобы изменить или подавить эти его свойства, но развивать их и совершенствовать. По мнению г-на де Вольмара, все характеры сами по себе хорошие и здоровые.

«У природы,— говорит он,— ошибок не бывает;[1] все пороки, кои приписывают природным наклонностям, на деле развиваются вследствие дурного воспитания. Нет такого негодяя, чьи наклонности, будь они лучше направлены, не превратились бы в большие достоинства. Нет такого вертопраха, в коем не воспитали бы полезных дарований, сжели бы подошли к сему с нужной стороны, подобно тому как иные бесформенные и уродливые фигуры ваятель делает прекрасными и пропорциональными, поставив их в определенном ракурсе. В системе мироздания все способствует всеобщему благу. В идеальном, наилучшем порядке вещей каждому человеку отведено свое место,— надобно лишь найти его, сие место, и не портить общего порядка. К чему приводит воспитание, которое дают с колыбели, всегда по одной и той же схеме, не считаясь с поразительным разнообразием характеров? Большинству людей дают воспитание для них вредное или неподходящее и лишают их такого воспитания, которое им подошло бы, всячески стесняют их природные наклонности, сглаживают высокие качества, заменяя их малыми и мнимыми, не имеющими подлинной ценности, стараются одними и теми же приемами развивать самые разнообразные способности, уничтожая при этом одну другой или внося в них невообразимую путаницу, и, потратив столько усилий на то, чтобы испортить истинные, природные дарования детей, воспитатели вскоре видят, как меркнет тот кратковременный и суетный блеск, который предпочли природным дарованиям, а подавленные способности уже не возродятся, потерянным окажется и то, что наставники разрушили, и то, что они привили своим питомцам, и в конце

---

[1] Это воззрение, столь верное, кажется мне удивительным для г-на де Вольмара; вскоре станет ясным — почему.

концов, в награду за тяжкий, но неразумный труд, все эти юные гении обратятся в ничтожества, не обладающие ни силой ума, ни достоинствами души, и единственно примечательные своей слабостью и никчемностью».

«Правила весьма понятные,— сказал я Юлии,— но как-то трудно согласовать их с вашими же собственными воззрениями,— ведь вы говорили, что развитие природных талантов и способностей каждого человека мало способствует как счастью отдельной личности, так и подлинному благу всего общества. Не лучше ли, много лучше, мысленно создать совершенный образец разумного и честного человека и стараться путем воспитания приблизить ребенка к такому образцу, возбуждая в юном питомце одни качества, сдерживая другие, подавляя страсти, развивая разум, исправляя природу?..» — «Исправлять природу! — воскликнул Вольмар, прервав меня.— Прекрасные речи! Но прежде чем вымолвить такое слово, следовало бы ответить на то, что сейчас сказала вам Юлия».

И тут я, думается мне, ответил самым решительным образом, отвергнув то положение, которое выставила Юлия. Вы постоянно предполагаете, что разнообразие умов и дарований, отличающее людей, создано самой природой, и это совершенно очевидно. Ведь если умы различны по складу своему — значит, они неравны и по силе; создав их неравными, природа наделила одних предпочтительно перед другими несколько большей тонкостью ощущений, лучшей памятью и силой внимания; что касается ощущений и памяти, то разная степень их тонкости и совершенства вовсе не является мерилом человеческого ума, а что касается силы внимания, то она всецело зависит от силы страстей, воодушевляющих нас; к тому же доказано, что все люди по природе своей способны испытывать достаточно сильные страсти, кои могут поднять у них силу внимания до той степени, с которой связано превосходство ума. А если разница в степени ума идет не от природы, а от воспитания, то есть от различных мыслей, различных чувств, которые с детства вызывают в нас предметы, поражающие нас, обстоятельства, в коих мы находимся, и впечатления, воспринимаемые нами, то для воспитания детей незачем ждать, когда мы узнаем, каков их духовный склад, а наоборот, следовало бы поскорее развить в них желательный нам духовный склад через подобающее ему воспитание.

На это г-н де Вольмар ответил мне, что он не придерживается правила отрицать очевидные явления потому лишь, что не понимает их. «Взгляните на этих двух собак во дворе; они

одного помета, их никогда не разлучали, кормили одинаково и одинаково с ними обращались; однако же одна из них веселая, живая, ласковая и очень умная; другая неуклюжая, неповоротливая, злобная, и никогда ее не удавалось ничему научить. Только разницей в темпераменте и объясняется разница в их характерах, так же как только разницей во внутренней организации людей и объясняется разница в их уме, когда внешняя среда была одинакова...» — «Одинакова? — спросил я, перебивая его.— Помилуйте, всегда есть разница! Сколько мелочей оказывало воздействие на одного, не затрагивая другого! Сколько мелких обстоятельств по-разному врывались в его жизнь, а вы этого и не замечали!» — «Ну вот,— заметил он,— вы рассуждаете, как былые астрологи. Когда их противники говорили, что у двух людей, родившихся под одинаковым сочетанием светил, судьба оказалась совершенно различной, они решительно отвергали это тождество. Они утверждали, что ввиду непрестанного вращения небесных сфер могла быть огромная разница во взаимоположении звезд, при котором родился один, и тем положением, при котором родился другой, и если бы точно было установлено, в какое мгновение родился тот и другой, возражения противников обратились бы в доказательство правоты астрологов.

Оставим, пожалуйста, все эти тонкости и будем держаться бесспорных наблюдений. Опыт показывает, что бывают характеры, которые сказываются почти что со дня рождения, бывают дети, которых можно изучать уже у груди кормилицы. Но это совсем особая порода людей, они воспитываются с самого начала своей жизни; что касается остальных, развивающихся менее быстро, то, пытаясь развить их ум, не изучив его склада, мы рискуем испортить то хорошее, что дала человеку природа, и вложить вместо него дурное. Разве Платон, учитель ваш, не утверждал, что все знания, приобретенные человечеством, вся философия могут извлечь из души человеческой лишь то, что в нее вложила природа, подобно тому как химия никогда еще и ни из какой смеси не извлекала больше золота, чем его там содержалось? Это верно в отношении наших чувств и наших мыслей, но не верно в отношении наклонностей, ибо их можно приобрести. Чтобы изменить склад ума, должно было бы изменить всю внутреннюю нашу организацию, а чтобы изменить характер, нужно изменить темперамент, ибо от него-то и зависит характер. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы человек горячий стал флегматиком, а у холодного педанта появилось воображение? По-моему, этого так же не легко

добиться, как обратить блондина в брюнета, а глупца в человека умного. Напрасно полагают возможным переделывать людей различного склада по одному для всех образцу. Их можно принудить, но не изменить; можно помешать людям показывать себя такими, каковы они в действительности, но нельзя их переделать; если в обыденной жизни они и лицемерят, то во всех важных случаях вы увидите их истинный нрав, который они покажут без всякого стеснения, ибо тут они сбрасывают свою личину. Еще раз повторяю, дело не в том, чтобы изменить характер ребенка или подавлять природные его качества,— наоборот, их следует развивать как можно более, воспитывать их и не давать им перерождаться; ведь именно таким путем человек достигает всего, что можно было бы от него ожидать, и дело природы завершается воспитанием. Однако, прежде чем воспитывать характер, нужно его изучить, спокойно ждать, когда он проявится, предоставлять ему случаи проявить себя. Лучше воздерживаться от всяких действий, чем действовать некстати. Один талант следует окрылить, а на другой накинуть путы; одного нужно подталкивать, а другого сдерживать; одного необходимо приласкать, а другого приструнить; приходится то просвещать, то притуплять остроту умов. Ведь иной создан для того, чтобы вести познания человеческие до последнего их предела, а для другого даже умение читать и то окажется пагубным. Подождем, когда у ребенка блеснет первая искорка разума,— это она дает определиться характеру, по-настоящему выказывает его, с ее помощью воспитывают характер, и пока не разовьется разум, подлинного воспитания и не может быть.

Что касается доводов Юлии, против коих вы возражаете, я не понимаю, какие вы усматриваете в них противоречия,— по-моему, у нее все в полном согласии: каждый человек рождается с тем или иным дарованием и способностями, свойственными ему. Тот, кому суждено провести жизнь в сельской простоте, не нуждается для счастья своего в развитии природных способностей; его скрытые дарования подобны золотоносным рудам в Вале, кои ради блага общественного не дозволяется разрабатывать. Но в гражданском обществе, где не так нужны крепкие руки, как умные головы, и где каждый должен знать цену и себе и другим, очень важно научиться извлекать из человека все, чем одарила его природа, и направлять его по тому пути, по какому он может больше всего продвинуться, а главное, нужно питать его наклонности всем, что может сделать их полезными. В первом случае считаются

лишь со всем родом,— каждый делает то же, что и все остальные; пример является единственным правилом, привычка — единственным талантом, и каждый развивает лишь те черты своей души, которые стали общими для всех. Во втором случае приноравливаются к отдельной личности, к человеку, взятому вообще; добавляют то, в чем данный человек может превзойти других; его наклонности развивают до предела, поставленного ему природой, и он станет самым великим человеком, если у него есть для того способности. Два эти правила столь мало противоречат друг другу, что в раннем возрасте они на деле одинаковы. Не давайте образования ребенку поселянина, раз ему совсем не нужно быть образованным. Не давайте образования ребенку горожанина, раз вы еще не знаете, в каком духе его давать. И, во всяком случае, сперва предоставьте телу сформироваться, а когда в голове ребенка забрезжит свет разума, тогда и придет пора воспитывать его».

«Все это, по-моему, превосходно,— заметил я,— и я вижу тут только один недостаток, который должен сильно умалить ожидаемые вами преимущества такой методы: вы будете мешкать, а дети тем временем успеют усвоить множество дурных привычек, меж тем это можно предотвратить, привив им хорошие привычки. Взгляните на детей, предоставленных самим себе: они очень быстро перенимают недостатки родителей, имея перед глазами их примеры,— ведь следовать дурным примерам не представляет труда; но никогда такие дети не подражают хорошим поступкам, ибо это дается нелегко. Привыкнув получать все, чего им хочется, они во всем требуют исполнения своей неразумной воли, становятся взбалмошными, упрямыми, непослушными».

«Подождите,— возразил г-н де Вольмар,— мне думается, вы могли заметить в наших детях совсем иные черты,— ведь это и послужило поводом для нашей беседы».

«Совершенно верно,— сказал я,— как раз это меня и удивляет. Как Юлия сделала их послушными? К чему она прибегала? Чем заменила дисциплину?»

«Игом, куда более неумолимым,— тотчас ответил г-н де Вольмар,— игом необходимости. Но пусть Юлия сама вам все подробно расскажет, и вы тогда лучше поймете ее воззрения». Г-н де Вольмар предложил Юлии объяснить мне ее методу, и, подумав немного, она сказала мне приблизительно следующее:

«Счастливы дети хорошие от рождения, любезный друг мой! Я не возлагаю таких больших надежд на родительские заботы, как мой муж. Вопреки его мнению, я сомневаюсь, что

можно сделать нечто доброе из дурного характера и обратить ко благу все природные наклонности ребенка. Впрочем, я не только убеждена, что его метода правильна,— я на деле стараюсь сообразовать с ним все свое руководство детьми. Правда, я надеюсь на то, что у меня не могли родиться дурные дети; а кроме того, я питаю надежду, что детей, которых послал мне бог, я воспитываю под руководством их отца достаточно хорошо, чтоб они походили на него. Я постаралась усвоить правила, которые он мне внушал, и лишь дала им основу менее философскую и более соответствующую материнской любви, а именно — желание, чтобы мои дети были счастливы. Таково было первое стремление сердца моего, когда я стала называться сладостным именем матери, и с тех пор все мои заботы повседневно направлены на то, чтобы чаяние это осуществилось. Когда я в первый раз прижала к сердцу старшего своего сына, я подумала, что годы детства — почти четверть самой долгой жизни, что редко люди проживут до конца остальные три четверти и что наше благоразумие весьма жестоко, раз мы обрекаем человека на несчастье в первую четверть его жизни ради его счастья в остальное время, которое, быть может, совсем и не настанет! Я подумала, что в нежном возрасте дети еще очень слабы, а посему всецело подчинены природе, и было бы просто варварством прибавлять к этому еще и требования подчиняться нашим прихотям и отнимать у детей весьма ограниченную свободу, которой они еще и не могут злоупотребить. Я решила избавить своего сына, насколько это мне удастся, от всякого принуждения, предоставить ему полную возможность пользоваться своими детскими силенками и ни в чем не стеснять естественных его стремлений. И это уже дало мне два больших преимущества: во-первых, я отстранила от его расцветающей души ложь, тщеславие, гнев, зависть,— словом, все порождаемые рабством пороки, кои волей-неволей разжигают у детей, дабы воспитуемые выполняли наши требования; во-вторых, я дала возможность его маленькому телу развиваться, предоставив ему свободу в физических упражнениях, к коим его влечет безотчетно. Подобно крестьянским ребятишкам, он привык бегать и в жару и в холод с непокрытой головой, носиться, пока не запыхается, обливаться потом, и он закален так же, как крестьянские дети, ему не страшна простуда, он стал крепче, жизнерадостнее. И тут всегда надо помнить о том, что ждет человека в зрелом возрасте, подумать о недугах, подстерегающих его. Как я уже говорила вам, я боюсь губительной трусости родителей, ибо своими хлопотами и

заботами они расслабляют, изнеживают ребенка, мучают его постоянным принуждением, сковывают множеством ненужных предосторожностей и, наконец, достигают того, что на всю жизнь обрекают его неминуемым опасностям, от коих они желали уберечь его на короткий срок; своими стараниями спасти ребенка в детстве от безобидного насморка они заранее накликают на него воспаление легких, плевриты, солнечные удары и безвременную кончину.

Что касается детей, предоставленных самим себе, то большинство недостатков, о которых вы говорили, развиваются у них в том случае, когда они не только сами делают то, что им хочется, но и других заставляют выполнять их желания, пользуясь нелепым баловством матерей, которым можно угодить, только потакая всем капризам их милых деток. Друг мой, льщу себя надеждой, что вы не замечали в моих детях ничего похожего на попытки властвовать и распоряжаться, даже в обращении с самой последней судомойкой, и вы не замечали также, что я втайне одобряю вредную снисходительность к ним. Мне кажется, я нашла новый и верный путь к тому, чтобы сделать ребенка свободным, покладистым, ласковым и послушным существом,— средство для этого самое простое: надо доказать малышу, что он только ребенок.

Ведь что такое детство? Есть ли в мире существо более слабое, более хрупкое, находящееся в полной власти от всего, что его окружает, более нуждающееся в жалости, любви и покровительстве, чем ребенок? Не кажется ли вам, что именно поэтому природа и заставила его подавать первую весть о себе жалобным криком и плачем; что именно поэтому она дала ему столь милое личико и столь трогательный вид — все для того, чтобы каждый, кто приблизится к малютке, почувствовал сострадание к его слабости и поспешил бы ему помочь. И как это возмутительно, как это противоречит естественному порядку, когда видишь, что балованный, капризный ребенок распоряжается всеми окружающими и говорит повелительным, хозяйским тоном с теми, кому стоит только бросить его, чтобы обречь его на гибель, а слепые родители поощряют дерзкие замашки маленького деспота; он тиранит свою кормилицу, а когда-нибудь будет тиранить и их самих.

У нас в доме этого нет, я так старалась, чтобы перед глазами сына моего не было опасного образа господства и рабства и чтобы мальчику никогда и на ум не пришла мысль, что ему служат скорее по обязанности, чем из чувства сострадания к нему. Это, пожалуй, самый трудный и самый важный вопрос в

воспитании ребенка, и я бы никогда не кончила, если б вздумала подробно рассказывать, какие предосторожности мне приходилось принимать, чтобы предотвратить безотчетное и быстрое уменье ребенка отличить наемные услуги от материнских забот.

Прежде всего я постаралась, как я вам уже говорила, хорошенько убедить его, что ребенок его лет никак не может прожить без помощи взрослых. И затем не представило большого труда показать ему, что всякая помощь, которую мы вынуждены принимать от другого, ставит нас в зависимость от него; что слуги имеют над ним неоспоримое преимущество,— поскольку он-то не может без них обойтись, а они прекрасно без него обходятся; таким образом, их услуги не только не льстят его тщеславию, но он принимает их с некоторым чувством смирения, как доказательство собственной его слабости, и горячо желает поскорее вырасти и набраться сил, дабы иметь честь самому обслуживать себя».

«Подобные мысли,— сказал я,— трудно было бы внушить в такой семье, где и отец и мать заставляют слуг ухаживать за ними, как за малыми детьми; но в вашем доме, где каждый, начиная с вас самой, выполняет определенные обязанности и где отношения слуг с господами представляют собою взаимный обмен вниманием и заботами, пожалуй, можно так воспитывать детей. Вот только мне еще остается понять, каким образом дети, привыкшие к тому, что все их потребности удовлетворяются беспрекословно, не распространяют этого права и на свои прихоти, да и не страдают ли они иной раз от дурного расположения духа своей нянюшки, которая назовет блажью то, что является подлинной потребностью ребенка».

«Друг мой,— ответила госпожа де Вольмар,— непросвещенная мать из всего делает себе пугало. Подлинных потребностей как у детей, так и у взрослых совсем немного, и надо больше заботиться о длительном благополучии, чем о минутном удовольствии. И ужели вы думаете, что ребенок, которого ни в чем не стесняют, может на глазах матери пострадать от дурного расположения духа своей няньки? Вы воображаете всякие неприятности, кои проистекают из пороков, уже развившихся в детях, и не думаете о том, что я всячески стараюсь не дать порокам зародиться у них. Разумеется, женщины любят детей. Раздоры тут возникают лишь из-за того, что один хочет подчинить другого своим прихотям. Но у нас этого не может случиться ни с ребенком, ибо от него ничего не требуют, ни с нянькой, ибо ребенок ничего ей не приказывает.

Тут я поступаю совсем иначе, нежели другие матери, которые якобы желают, чтобы ребенок слушался слуги, а на деле хотят, чтобы слуга повиновался ребенку. У нас здесь никто не повелевает и никто не повинуется; но ребенок знает, что насколько он будет хорош с окружающими, настолько и они будут с ним хороши. И вот, чувствуя, что у него нет над ними иной власти, кроме их благожелательности к нему, он становится послушным и учтивым; стараясь расположить их к себе, он и сам привязывается к ним; ибо тот, кто стремится внушить людям любовь к нему, и сам начинает любить их,— таково уж неизменное следствие любви человека к самому себе; а из взаимной привязанности, порожденной равенством, без труда вырастают многие добрые качества, которые тщетно стараются внушить всем детям, никогда не пробуждая в них ни одного.

Я подумала, что важнейшая сторона воспитания детей, о которой никогда вопрос не поднимается в самом тщательном воспитании, состоит в том, чтобы заставить ребенка почувствовать свою незначительность, слабость, свою зависимость и, как говорил вам мой муж, ощутить тяжкое иго необходимости, которое природа наложила на человека. Сделать это надобно не только для того, чтобы ребенок был признателен за все, что делают взрослые для облегчения ему этого ига, но главным образом для того, чтобы он с малых лет понял, на какое место его поставило провидение, не презирал бы себе подобных и чтобы ничто человеческое не было чуждо ему.

Привыкнув со дня рождения к баловству, в коем их воспитывают, ко всеобщему вниманию к ним, к легкости получать самые приятные удовольствия и полагая, что все обязаны исполнять их прихоти, молодые люди вступают в жизнь, проникнутые сим дерзким предубеждением, и зачастую исцеляются от него дорогой ценой, претерпев много унижений, обид и неприятностей. А мне очень хочется спасти своего сына от этого второго воспитания, внушив ему с самого начала жизни более правильное представление о многих вещах. Сначала я было хотела разрешать ребенку все, что ему захочется, полагая, что первые природные движения души у детей всегда бывают хорошими и здоровыми; но вскоре мне пришлось убедиться, что дети, получив право требовать повиновения себе, очень быстро, чуть ли не со дня рождения, выходят из природного состояния и приобретают пороки — одни по нашему примеру, другие по нашему недосмотру. Я увидела, что если я стану удовлетворять прихоти моего сына, то, чем больше я

буду потакать им, тем больше они будут расти, а так как придется все же когда-нибудь остановиться, то непривычный отказ окажется для него весьма болезненным. И вот, не имея возможности избавить неразумное дитя от всяких огорчений, я причиняю ему самое маленькое и недолгое огорчение. Чтобы отказ в удовольствии стал для него не столь жестоким, я прежде всего приучила ребенка подчиняться отказу,— и во избежание долгих и неприятных упрашиваний, жалоб, капризов — у меня всегда отказ бесповоротный. Правда, я стараюсь отказывать как можно реже и прежде, чем решиться на это, хорошенько все обдумаю. Все, что можно позволить, я позволяю сразу, без всяких оговорок, по первой же просьбе ребенка, и в этом отношении я очень снисходительна; но приставанием он никогда ничего не добьется,— не помогут ни слезы, ни мольбы. И он уже так хорошо в этом убедился, что больше к ним и не прибегает; при первом же слове — «нет» он примиряется со своей участью и без особых душевных мук смотрит, как я убираю кулечек с конфетами, которыми ему хотелось полакомиться, так же как смотрит на упорхнувшую птицу, которую ему хотелось бы поймать,— в обоих случаях он чувствует, что желание его неосуществимо. Когда у него отбирают что-нибудь, он чувствует только, что этого ему нельзя было получить; как не станет он колотить стол, о который ушибся, так не вздумает ударить человека, который противится его желанию. Во всем, что его огорчает, он чувствует власть необходимости и свою собственную слабость, никогда не усматривая тут злой воли окружающих... Погодите минутку,— торопливо произнесла она, видя, что я хочу что-то сказать.— Я уже предчувствую, какое возражение вы собираетесь сделать, сейчас я к этому подойду.

Что усиливает детский плач и крики? Внимание, которое на них обращают, то желая успокоить ребенка, то решив припугнуть его. Иной раз дети способны проплакать целый день только потому, что взрослые уговаривают их не плакать. Упрашивают ли их, грозят ли им,— любые средства, какие употребляют, чтобы они замолчали, для них вредны и почти всегда бесполезны. Чем больше уделяют внимания их слезам, тем усерднее они плачут, а как только заметят, что никто на них и не смотрит, то быстро успокаиваются,— ведь ни большой, ни малый не любят попусту стараться. Как раз это и случилось с моим старшим сыном. Сначала он был ужасным плаксой, оглушал всех своим ревом,— а теперь вы сами свидетель, что его совсем и не слышно, как будто в доме нет

детей. Он плачет и кричит, когда ему больно,— это голос природы, ей нельзя противоречить; но лишь только боль стихнет, он умолкает. Поэтому я весьма внимательно отношусь к его слезам, ибо уверена, что он никогда напрасно их не проливает. Благодаря этому я всегда вовремя узнаю, болит у него что-нибудь или не болит, неможется ему или он здоров,— это большое преимущество, которого не бывает, если дети плачут от капризов или для того, чтобы их успокаивали. Должна, впрочем, сказать, что тут матери не так-то легко сговориться с кормилицами и няпюшками: ничего нет докучнее, как слышать хныканье ребенка, и добросердечные женщины, всегда думая лишь о данной минуте, спешат утихомирить плаксу, нисколько не беспокоясь о том, что ежели сегодня его ублажат, то завтра он будет плакать еще больше. Хуже всего, что это приучает его к упрямству, дурные последствия коего с возрастом усиливаются. Одна и та же причина делает его в три года крикуном, в двенадцать лет — дерзким мальчишкой, в двадцать — забиякой, в тридцать — тираном и в течение всей жизни — несносным существом.

Теперь перехожу к вашим сомнениям,— улыбаясь, сказала она.— Во всем, что позволяют детям, они с легкостью видят желание угодить им; во всем, чего от них требуют или в чем им отказывают, они должны предполагать какие-то основательные причины, не спрашивая о них. Вот вам второе преимущество, которого достигают, больше прибегая к власти, чем к убеждениям,— конечно, в случае необходимости, ибо можно допустить, что иной раз маленькие дети даже понимают, по какой причине им отказали, и уж тем более естественно такое положение, когда они чувствуют, что причина есть, хотя еще не в состоянии понять, в чем она заключается. И наоборот, ежели обращаются к их рассудительности, они желают судить и рядить обо всем, становятся заядлыми софистами, врунами, спорщиками и всегда стараются переспорить тех, кто имел слабость обратиться к их умишку. Когда взрослым приходится отдавать детям отчет в том, чего они еще не могут понять, то эти судьи приписывают капризу самый обоснованный поступок, если он выше их разумения.

Словом, вот единственное средство заставить их покоряться рассудку: не рассуждать с ними, а только втолковывать им, что в их возрасте разума еще не бывает, и тогда они,— как то и должно,— будут считать, что разумом обладают взрослые (конечно, если только взрослые не дадут детям основание думать иначе). Наши дети прекрасно знают, что их

не хотят мучить, ибо они уверены, что их любят,— а в этом дети редко ошибаются. И вот когда я решительно отказываю им в чем-нибудь приятном, я не пускаюсь в рассуждения, не объясняю причины отказа, но делаю так, что они и сами ее понимают,— насколько то для них возможно, а иногда понимают это задним числом. Таким образом, они привыкают к мысли, что я никогда не отказываю, не имея разумной к тому причины, хотя они и не всегда ее замечают.

Исходя из тех же самых основ, я не допускаю также, чтобы мои дети вмешивались в разговоры рассудительных людей,— ведь если взрослые терпят их надоедливый лепет, дети глупо воображают себя их ровней. Я хочу, чтоб мои дети отвечали скромно и немногословно, когда их о чем-нибудь спрашивают, но никогда не болтали бы по своему почину и, главное, не задавали бы неуместных вопросов людям старше их, к которым они должны относиться с почтением».

«Право, Юлия, все это очень суровые правила для такой нежной матери, как вы! — сказал я.— Пифагор и то не был так строг со своими учениками, как вы со своими детьми. Вы не только не обращаетесь с ними, как со взрослыми, но словно боитесь, как бы они не стали слишком скоро взрослыми. Может ли быть для них более приятный и верный путь к познанию вещей, им не знакомых, как возможность расспрашивать о них людей более сведущих, нежели они сами? Что подумают о ваших правилах парижские дамы? Ведь они находят, что их дети никогда не болтают в обществе взрослых слишком рано для своих лет или слишком долго, и судят об их будущем уме по тем глупостям, которые те лепечут в младенческие свои годы. Господин Вольмар, наверное, скажет, что это и хорошо для такой страны, где главным достоинством человека считается краснобайство и где говорун избавляется от необходимости думать, лишь бы он легко разглагольствовал. Но ведь вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми детьми, как же вы можете сочетать сладостную участь с таким принуждением? И во что превращается среди всей этой стесненности свобода, которую вы, по вашему утверждению, им предоставляете?»

«Как же так? — тотчас ответила Юлия.— Разве мы стесняем свободу детей, ежели не даем им посягать на нашу собственную свободу? Неужели они могут быть счастливы лишь в том случае, когда целое общество взрослых, не смея при них слово вымолвить, молча любуется их ребячествами? Нет, уж лучше не давать зародиться у них тщеславию, или, по крайней мере, надобно помешать ему развиваться,— ведь тем самым мы

действительно будем способствовать их счастью: тщеславие — источник величайших горестей; даже человеку самому совершенному, но избалованному почестями [1], тщеславие приносит больше огорчений, чем удовольствия.

Что может вообразить о себе ребенок, когда видит вокруг целый синклит взрослых, здравомыслящих людей, которые его слушают, поддразнивают, восхищаются им и, словно изречений оракула, ждут с низкой угодливостью забавных словечек, исходящих из его уст, да радостными возгласами приветствуют каждую дерзость, которую он говорит? У взрослого и то голова закружится от подобного фальшивого восхищения, так сами посудите, что творится в голове ребенка! С детской болтовней случается то же, что с предсказаниями календарей. Было бы просто чудом, если бы среди множества пустых слов случайно не оказалось счастливого совпадения с действительностью. Вообразите же, как действуют лестные восторги слушателей на бедняжку мать, и без того ослепленную своей любовью, и на ребенка, который сам не знает, что говорит, но видит, как его за это прославляют. Не думайте, однако, что если я разбираюсь в этих заблуждениях, то сама им не подвержена: чужую ошибку я вижу, но иногда и сама в нее впадаю; но если и восхищаюсь замечаниями моего сына, то, по крайней мере, делаю это втайне; он никогда не станет, видя одобрение матери, тщеславным болтуном, а льстецы, повторяющие родителям словечки их детей, не будут иметь удовольствия посмеяться над моей слабостью.

Однажды к нам приехали гости, я вышла дать какое-то распоряжение, а возвратившись, увидела, что вокруг моего сына собрались и забавляются его болтовней четверо-пятеро взрослых дураков; эти господа уже собирались с пафосом рассказать мне, сколько они слыхали от моего малыша потешных и милых словечек, которые, казалось, привели их в восторг. «Господа,— сказала я им довольно холодно,— я нисколько не сомневаюсь, что вы умеете заставить марионеток лепетать премилые вещи, но я надеюсь, что когда-нибудь мои дети будут людьми, что они будут действовать и говорить самостоятельно, и тогда со всею радостью материнского сердца я буду слушать о том, как хорошо говорят и поступают мои сыновья». И вот с тех пор, как стало известно, что ко мне таким способом не подольстишься, с моими детьми обращаются как с детьми, а не

---

[1] Если когда-нибудь тщеславие и делало кого-либо в мире счастливым, то, несомненно, сей счастливец был просто-напросто глуп.

забавляются ими как куклой; они больше не фокусничают и стали гораздо лучше оттого, что ими перестали восхищаться.

Что касается вопросов, то мы не запрещаем задавать какие бы то ни было вопросы. Я первая говорю детям, чтобы они тихонько, в отдельном разговоре, спрашивали у отца или у меня о том, что им хочется знать. Но я не допускаю, чтоб они перебивали людей, занятых серьезной беседой, и преподносили им какую-нибудь глупость, которая пришла им в голову. Искусство спрашивать не такое уж легкое, как кажется. Это скорее искусство учителей, нежели учеников; надобно знать многое, чтобы уметь спрашивать о том, чего не знаешь. «Ученый знает и спрашивает,— говорит индийская пословица,— а невежда не знает даже, о чем спрашивать» [1]. Дети, коим предоставлена свобода, зачастую задают нелепые и ненужные вопросы или же вопросы слишком серьезные и даже непристойные, разрешение коих для них недоступно, и так как вовсе не надо, чтобы ребенок все знал, то и не следует давать ему право обо всем расспрашивать. В общем, дети приобретают гораздо больше полезных сведений, когда их спрашивают, чем когда сами задают вопросы.

Даже если б назойливое вопрошательство и было бы для детей столь полезным, как это полагают, то разве уменье помолчать и соблюдать скромность не самая важная для них наука? Есть ли на свете что-либо такое, чему они должны научиться в ущерб сим качествам? К чему приводит детей безудержная свобода болтать, предоставленная им раньше, чем они умеют говорить, и право бесстыдно подвергать взрослых допросу? Маленькие болтливые вопрошатели допытываются обо всем не столько из любознательности, сколько из желания докучать взрослым, быть предметом всеобщего внимания, и они получают особое удовольствие от своей болтовни, когда видят, что своими нескромными вопросами иной раз всех повергают в смущение — и до такой степени, что стоит им открыть рот, каждый чувствует беспокойство. Словом, это не столько средство для их образования, сколько для развития в них легкомыслия и тщеславия; а по-моему, эти недостатки перевешивают пользу от такой методы,— ведь невежество с годами постепенно уменьшается, а тщеславие всегда только растет.

Самым худшим следствием слишком долгого ограничения может быть то, что мой сын, когда он подрастет и войдет в

---

[1] Пословица взята из Шардена. Том V, стр. 170, in 12°.

разум, не будет отличаться особой словоохотливостью, легкостью и живостью в разговоре; но, зная, что привычка проводить жизнь в пустословии притупляет ум, я готова считать эту похвальную неспособность к болтовне скорее благом, нежели злом. Люди праздные, сами себе надоевшие, придают особую цену искусству развлекать их; и, пожалуй, уменье держать себя в свете состоит в том, чтобы говорить только пустяки, так же как и дарить только бесполезные безделки, но ведь у общества цели более благородные, и в его утехах должно быть больше основательности. Человеческая речь — глас истины, самая достойная наша способность, единственное, что отличает нас от животных; дар речи дан людям не для того, чтобы они пользовались им не лучше, чем животные своими криками. Мы опускаемся ниже животных, когда говорим для того, чтобы ничего не сказать, и человек должен быть человеком даже в своих развлечениях.

Ежели считается любезностью оглушать всех пустой трескотней, я считаю куда более учтивым предоставить говорить другим, слушать со вниманием их речи, а не свои собственные разглагольствования, и показать собеседникам, что из глубокого уважения к ним ты не считаешь возможным забавлять их глупостями. Признак хорошего воспитания — черта, особенно привлекательная и внушающая симпатию, заключается не в стремлении блеснуть своими достоинствами, а в умении помочь другим блеснуть, самому же держаться скромно, не задевая их гордости. Нечего бояться, что человек неговорливый, сдержанный и скромный может прослыть глупцом. В любой стране о человеке не судят на основании того, чего он не сказал, и не презирают его за молчаливость. Наоборот, можно заметить, что люди молчаливые больше внушают уважения, при них каждый следит за собой в разговоре, а когда говорят молчаливые, все слушают их внимательно, им не мешают самим выбирать случай выразить свое мнение, и все стремятся ничего не упустить из сказанного ими,— словом, преимущество на их стороне. Ведь даже самому мудрому человеку трудно сохранить самообладание, коли он впадает в многоречивость и очень редко бывает, чтобы у него не вырвались слова, в коих он потом раскаивается,— а потому благоразумный предпочтет лучше уж не сказать что-либо хорошее, нежели обмолвиться, сказав нечаянно что-нибудь дурное. И, наконец, ежели кто не участвует в разговоре, отнюдь не по недостатку ума, то как бы ни был он скромен,— в его молчании виноваты окружающие болтуны.

Но от шести лет до двадцати еще далеко: сын мой не навеки же останется ребенком, и, по мере того как в нем будет пробуждаться разум, отец намерен всячески развивать его. А мое дело к тому времени будет окончено. Я ращу детей и не притязаю на то, чтобы воспитывать взрослых людей. Я надеюсь,— сказала она, глядя на мужа,— что этот благородный труд выполнят более достойные руки. Я женщина и мать и знаю свое место. Еще раз скажу,— я взяла на себя обязанность не воспитать своих сыновей, а подготовить их к предстоящему воспитанию.

Даже и в этом я в точности следую методе мужа, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь, какая это превосходная и верная метода и как она согласуется с моими воззрениями. Присмотритесь к нашим мальчикам, в особенности к старшему,— встречали вы где-нибудь более счастливых, более веселых, менее назойливых детей? Вы видели, что они целый день прыгают, бегают, смеются и никогда никому не надоедают. Разве они не пользуются, и даже чересчур, всеми удовольствиями, всей независимостью, доступными в их возрасте? Они не знают никакого принуждения ни при мне, ни в мое отсутствие. Даже наоборот,— при мне они чувствуют себя более уверенно, и хоть все строгости и требования исходят от меня, они считают, что мама «меньше всех строгая»,— да ведь я и не могла бы перенести мысли, что не меня дети мои любят больше всех на свете.

В отношении взрослых их обязывают соблюдать лишь те правила, кои являются законами самой свободы, а именно — не стеснять общество, раз оно их не стесняет, не заглушать наши разговоры своим криком; и так как никто не заставляет их обращать на нас внимание, то и я тоже не хочу, чтобы они притязали на наше внимание к ним. Когда они нарушают столь справедливые законы, вся кара состоит в том, что их немедленно выпроваживают, и все мое искусство,— если только это искусство,— направлено на то, чтобы им нигде не было так хорошо, как здесь. А кроме этих правил, они не подчинены никаким требованиям; их ничему не заставляют учиться, им не докучают бесполезными выговорами, никогда их не бранят; они получают лишь один вид уроков, а именно: чисто практические назидания, взятые из простых порядков природы. Относительно этих примеров каждый в доме сообразуется с моими указаниями, и все так умно и старательно способствуют моим намерениям, что лучшего нечего и желать, а если иной раз и возможен какой-нибудь промах, я или предотвращаю его, или без труда исправляю.

Вчера, например, мой старший сын отнял у младшего барабан, и мальчик заплакал. Фаншона ничего не сказала, но через час, когда обидчик с великим увлечением колотил в барабан, она отняла у него эту игрушку; он побежал за ней, упрашивал вернуть и тоже расплакался. Фаншона сказала ему: «Ты у братца силой отобрал барабан, а теперь я его у тебя отняла... Ну что ты можешь сказать? Я ведь сильнее тебя?» И она тоже принялась бить в барабан, словно это доставляло ей большое удовольствие. До тех пор все шло прекрасно. Но через некоторое время она хотела было отдать барабан младшему, тогда я остановила ее, ибо это уже не было уроком, взятым из природы, и могло заронить первое зерно зависти между братьями. Лишившись барабана, младший испытал на себе суровый закон необходимости, а старший почувствовал свою несправедливость, оба убедились в своей слабости, и оба через минуту утешились».

Столь новая система, противоречащая общепринятым понятиям, поначалу испугала меня. Когда же мне хорошо все объяснили, я стал ее почитателем; и я понял, что для руководства человеком лучше всего обращаться к естественному ходу вещей в природе. Я нашел в этой методе лишь один недостаток, показавшийся мне, однако, весьма большим: тут пренебрегли единственной способностью, которая в детстве бывает у человека в полной силе, а с годами всегда ослабевает. Мне казалось, что, согласно собственным воззрениям Вольмара и Юлии, чем слабее развито понимание у маленького ребенка, тем более нужно было бы упражнять и укреплять у него память, которая в этом возрасте может выполнять большую работу. «Ведь именно память,— говорил я,— должна заменять ребенку разум, пока тот не пробудится, и память должна обогащать разум, когда он развился. Ум, который ни на чем не упражняют, от бездействия становится неповоротливым и тупым. Брошенные в плохо подготовленную почву семена не дадут ростков, а что за странная подготовка детского ума, ежели сделать первой ступенью к разуму — тупость».— «Почему «тупость»? — с негодованием воскликнула г-жа де Вольмар.— Как вы можете смешивать две таких различных и почти что противоположных способности, как память и понимание? [1] Да разве большое количество плохо переваренных и бессвязных сведений, коими набивают еще слабую голову

[1] Такой взгляд мне кажется неправильным. Ничто не бывает столь необходимо для понимания, как память,— правда, не память на слова.

ребенка, не принесет его разуму больше вреда, чем пользы? Я признаю, что из всех способностей человеческих первой развивается память, и всего проще развивать ее у ребенка; но что, по-вашему, следует предпочесть — то, что детям легче всего вытвердить наизусть, или же то, что для них важнее всего знать?

Посмотрите, на что употребляют эту способность, какому насилию и постоянному стеснению приходится подвергать детей, чтобы можно было щегольнуть их памятью, и сравните ту пользу, какую они от этого получают, с тем вредом, какой им тут причиняют. Как!.. Заставлять ребенка изучать языки, на которых он никогда говорить не будет, меж тем как он и свой родной язык еще как следует не знает; заставлять его непрестанно заучивать стихи и разбирать их размеры, в коих он ничего не смыслит,— ибо для него вся гармония стиха состоит в отсчитывании слогов по пальцам; забивать его мозг окружностями и шарами, о коих он не имеет ни малейшего понятия, запоминать тысячи названий городов и рек, кои он постоянно путает и заново заучивает каждый день,— да разве такое развитие памяти идет на пользу способности к суждению? И разве вся эта белиберда стоит хоть одной слезы ребенка, а ведь он проливает из-за нее потоки слез.

Ежели бы это было только бесполезно, я бы меньше сетовала, но разве это безделица — приучать ребенка довольствоваться словами и воображать, что он знает то, чего он в действительности и понять не в состоянии? Возможно ль, чтобы огромное скопище пустых слов нисколько не вредило первоначальным понятиям, коими следует вооружить голову человека? Не лучше ли совсем не иметь памяти, нежели загромождать ее всяким хламом в ущерб необходимым познаниям, место коих он занимает?

Нет, если природа наделила детский мозг гибкостью, восприимчивостью ко всякого рода впечатлениям, то вовсе не для того, чтобы запечатлевать в нем имена королей, даты, термины геральдики, астрономии, географии и прочие слова, бессмысленные для детского возраста и бесполезные для всякого возраста,— они представляют собою тяжкое бремя, из-за коего так уныло и бесплодно проходит детство; нет, мозг дан ребенку для того, чтобы все впечатления, касающиеся человека, его счастья и его обязанностей, с детских лет врезались в него неизгладимыми чертами и помогли бы ему устроить свою жизнь согласно своей натуре и своим способностям.

Ежели ребенок не учится по книгам, память его отнюдь не бездействует: все, что он видит и слышит, его поражает и запоминается ему; он словно ведет в своем мозгу запись людских действий и слов, и все окружающее его — это книга, благодаря коей он безотчетно обогащает свою память в ожидании того времени, когда его суждения могут сим воспользоваться. Подлинное искусство развивать память, первую из способностей ребенка, как раз и состоит в выборе этих предметов, в старании непрестанно показывать ему то, что ему следует знать, скрывать от него то, чего ему знать не следует, и стараться составить ему запас познаний, полезных для его воспитания в дни юности и для его поведения в течение всей жизни. Правда, такая метода не дает возможности взращивать маленьких гениев и не позволяет гувернанткам и наставникам блеснуть своими талантами,— зато она помогает воспитывать людей рассудительных, крепких, здоровых телом и умом, людей, которые, не вызывая восхищения в юности, внушают к себе уважение в зрелом возрасте.

Не думайте, однако,— продолжала Юлия,— что мы здесь пренебрегаем теми заботами, коим вы придаете столь большое значение. Сколько-нибудь внимательная мать умеет управлять страстями своих детей. Есть средства возбудить и поддержать у ребенка желание учиться или заниматься каким-нибудь делом; и насколько эти средства могут сочетаться с полной свободой ребенка и не заронят в него ни единого зерна порока, я довольно охотно применяю их, но, не упрямясь, отступаю, когда они не приводят к успеху, ибо учиться ребенок всегда еще успеет, а нельзя терять ни минуты, когда хочешь развить в нем природное доброе начало; муж мой держится такого же мнения относительно первоначального развития разума и утверждает, что, если даже его сын ничего не будет знать в двенадцать лет, все равно к пятнадцати годам он будет образованным юношей; не говоря уже о том, что человеку нет никакой необходимости быть ученым, зато ему очень нужно быть разумным и добронравным.

Вы знаете, что наш старший сын уже недурно читает. И вот как ему пришла охота научиться грамоте. У меня было намерение читать ему иногда какую-нибудь басню Лафонтена, чтобы позабавить его, и я было начала это делать, как вдруг он меня спросил: «Разве вороны умеют говорить?» Я тотчас увидела, как ему трудно понять разницу между ложью и притчей; я, как могла, вышла из положения; но, убедившись, что басни созданы для взрослых, а детям мы всегда должны гово-

рить правду, я отменила Лафонтена. Я заменила его сборником интересных и поучительных историй, по большей части взятых из Библии; потом, увидев, что они нравятся мальчику, я задумала сделать это чтение еще более полезным и попробовала сама сочинять рассказы, сколь возможно для меня занимательные, и всегда, так сказать, на злобу дня. По мере того как они создавались, я записывала их в красивую книгу с картинками, которую всегда держала под замком, и время от времени читала сыну рассказики из нее,— изредка и не подолгу, зачастую одни и те же, добавляя к ним всякие пояснения, а потом переходила к новым. Ежели ребенку нечего делать, ему порою бывает скучно,— мои сказочки служили развлечением. Но, бывало, когда я видела, что он слушает с жадным вниманием, я вдруг будто бы вспоминала, что мне надо распорядиться по хозяйству, и, прервав чтение на самом интересном месте, выходила из комнаты, небрежно бросив книгу на столе. Тотчас мальчик принимался упрашивать свою няню, или Фашону, или еще кого-нибудь прочесть рассказ до конца, но так как ему не позволяется приказывать, а все были предупреждены мною, его не очень-то слушались. Один отказывался наотрез, у другого находились какие-то дела, третий читал, запинаясь на каждом слове, а четвертый, начав читать, по моему примеру, бросал рассказ на середине. Видя, что мальчик весьма огорчен своей зависимостью от всех, кто-то осторожно подсказал ему мысль самому научиться читать, дабы ни от кого не зависеть и перелистывать книгу, сколько душе угодно. Мысль мальчику понравилась. Теперь ему надо было найти кого-нибудь, кто любезно согласился бы давать ему уроки,— новое затруднение, которое мы не стали затягивать более, чем следовало. Несмотря на эти предосторожности, он раза три-четыре бросал,— его не уговаривали. Я только старалась сделать рассказы еще более занимательными, и тогда он так горячо взялся за дело, что не прошло и полгода с тех пор, как он по-настоящему начал учиться, а уж он скоро будет в состоянии самостоятельно читать сборник.

Примерно таким же способом я постараюсь пробудить в нем ревностное желание приобрести знания, требующие последовательных занятий, усердия и подходящие для его возраста; но хоть он уже учится читать, знания эти он получит не из книг,— там он их не найдет, да и совсем не следует ребенку быть книжным червяком. Я хочу, чтоб у него с малых лет ум заполняли мысли, а не слова, вот почему я никогда и ничего не заставляю его учить наизусть».

«Никогда? — переспросил я.— Это уж слишком. Ведь должны же дети знать катехизис и молитвы».— «Вы ошибаетесь,— возразила она.— Что касается молитв, то я каждое утро и каждый вечер в детской читаю вслух молитву, и этого достаточно, чтоб они ее без всякого принуждения выучили; а о катехизисе они и понятия не имеют, не знают, что это такое».— «Как, Юлия! Ваши дети не учат катехизиса?» — «Нет, друг мой, не учат».— «Помилуйте, Юлия! У такой благочестивой матери, как вы? Не понимаю вас, совершенно не понимаю! Почему ваши дети не учат катехизиса?» — «Да потому, что я хочу, чтобы они когда-нибудь верили в то, что там написано, хочу сделать из них когда-нибудь христиан».— «Ах, вот в чем дело! — воскликнул я.— Вы хотите, чтобы они верили не только на словах, не только знали бы, чему учит религия, но верили бы в ее учение. Вы справедливо полагаете, что человек не может верить в то, чего он не понимает».— «Вы очень требовательны,— улыбаясь, сказал мне г-н де Вольмар.— А ведь вы христианин?» — «Стараюсь им быть,— ответил я с твердостью.— В религии я верю всему, что могу понять, а ко всему остальному отношусь с уважением и не отвергаю это». Юлия взглядом одобрила меня, и мы вернулись к предмету нашей беседы.

Войдя в некоторые другие подробности, показавшие мне, насколько матери в заботах о своих детях деятельны, неутомимы и предусмотрительны, Юлия в заключение заметила, что своей методой она преследует две определенные цели: а именно — хочет предоставить свободно развиваться природным наклонностям детей и изучить их. «Мои дети не знают никакого стеснения,— сказала она,— и не могли бы злоупотребить своей свободой; душа их не может развратиться или искалечиться от принуждения; мы спокойно даем окрепнуть их телесным силам и пробудиться их разуму; их не принижает рабство, чужой взгляд не подстегивает их самолюбие; они не мнят себя могущественными особами и не чувствуют себя зверьками на привязи — они полны радости счастливого и свободного детства.

От пороков, чуждых детской душе, их спасает средство, по-моему, куда более сильное, нежели наставления, которые детям всегда непонятны и очень быстро наводят на них скуку: от испорченности их ограждает пример чистых нравов всего окружающего мирка и те разговоры, какие люди ведут здесь между собой совершенно естественно, а вовсе не в назидание детям; мир и единение, свидетелями коих дети являются;

согласие, неизменно царящее здесь, как в отношениях между всеми, так и в поведении и речах каждого в отдельности.

Раз они живут в состоянии первобытной простоты, откуда у них взяться порокам, примера коих у них нет перед глазами, страстям, зародиться коим нет ни малейшего повода, предрассудкам, коих никто не может им внушить? Сами видите, чужие заблуждения не могут их заразить, а собственных дурных черт в них пока что не заметно. Они невежественны, но совсем не упрямы, не упорствуют в своих прихотях. Вообще, когда наклонности к дурному предотвращены, вполне оправдано бывает доверие к натуре ребенка,— все мне доказывает, что в недостатках детей виноваты не они, а мы сами.

И вот дети наши свободно отдаются наклонностям сердца, которые ничто не прикрывает и ничто не искажает, поэтому в них нет никакого внешнего лоска, ничего искусственного, характер их полностью сохраняет свои врожденные черты; характер этот с каждым днем развивается у нас на глазах, без всяких помех, и мы можем, таким образом, изучать природные движения их натуры вплоть до самых тайных ее основ. Уверенные, что никогда их не будут ни бранить, ни наказывать, они не умеют ни лгать, ни таиться и во всем, что говорят друг другу или нам, без опаски открывают свою душу. Они свободно болтают между собою целый день, даже и не думая стесняться при мне. Я никогда их не одергиваю, не заставляю молчать и не притворяюсь, будто слушаю их с огромным интересом, и если бы даже они говорили совсем недозволенные вещи, я бы сделала вид, что ничего не замечаю; а на самом деле я слушаю с величайшим вниманием, о чем они и не подозревают; я подмечаю все, что они делают, все, что говорят,— ведь все это естественные проявления натуры, которую нужно воспитывать. Дурное слово в их устах — это нечто чужеродное, плевел, семена коего занес ветер; если я оборву его выговором, он вскоре опять вырастет, и вместо этого я потихоньку отыскиваю самый его корень и стараюсь его вырвать. Я ведь всего лишь служанка садовника,— сказала она, смеясь,— я пропалываю сад и избавляю его от сорных трав, а уж дело садовника — взрастить все хорошее.

Надо также признаться, что при всех моих трудах и стараниях я могла надеяться на удачу только благодаря помощи со стороны, и добрые плоды моих забот зависели от стечения благоприятных обстоятельств, каких, пожалуй, в другом месте я бы никогда не встретила. Нужен был ясный ум просвещенного отца, чтобы сквозь туман укоренившихся предрассудков

увидеть начала подлинного искусства воспитывать детей с колыбели, нужно было все его терпение, чтобы повседневно осуществлять задуманное, да еще так, чтобы слово не расходилось с делом; нужно было, чтобы у детей оказались хорошие задатки, коими природа достаточно наделила бы их, одним уже этим привлекая к ним сердца; нужно было, чтобы окружавшие нас слуги оказались людьми умными и благожелательными и всегда содействовали намерениям хозяев, а стоило бы очутиться среди них одному-единственному грубому и льстивому лакею, и все было бы испорчено. Право, как подумаешь, сколько посторонних обстоятельств могут повредить самым лучшим намерениям и разрушить самые обдуманные планы! Надо благодарить судьбу, когда удается сделать что-нибудь хорошее в жизни, и всегда надо помнить, что мудрость во многом зависит от счастья».

«Добавьте, что счастье еще больше зависит от мудрости! — воскликнул я.— Ужели вы не видите, что содействие людей, коему вы так радуетесь,— дело ваших рук, ибо всякий человек, находясь близ вас, волей-неволей начинает на вас походить. Матери семейств! Когда вы сетуете, что никто вам не помогает, как плохо вы знаете свою власть! Будьте такими, какими должно вам быть, и вы преодолеете все препятствия; вы каждого заставите выполнять его обязанности, если хорошо выполните свои собственные обязанности. Ведь ваши права вам дала сама природа. Несмотря на все внушения порока, они всегда останутся дороги сердцу человеческому. Ах, только будьте достойными супругами и матерями, и самое сладостное владычество из всех существующих на земле будет также и самым почитаемым».

В заключение нашей беседы Юлия заметила, что все стало гораздо легче с тех пор, как приехала Генриетта. «Разумеется,— добавила она,— мне понадобилось бы куда меньше забот, хлопот и стараний, если б я захотела добиться соревнования между братьями; но это средство кажется мне весьма опасным; лучше уж мне положить больше труда, нежели рисковать хотя бы малой долей их взаимной привязанности. Впрочем, благодаря Генриетте это стало и ненужным,— ведь она особа женского пола, старшая из них, и оба братца любят ее до безумия; я воспользовалась тем, что она умна не по возрасту, и сделала ее, так сказать, их главной няней — план тем более удачный, что ее наставления меньше их раздражают.

Ее собственным воспитанием ведаю я сама, но тут основы совсем иные, и о них стоит поговорить особо. Могу лишь

заранее сказать,— трудно что-либо добавить к тем дарам, коими ее наделила природа, и придет время, когда она сравняется с матерью, если только кто-нибудь в мире может сравняться с Кларой».

Милорд, вашего приезда ждут здесь со дня на день,— вероятно, это последнее мое письмо к вам из Кларана. Но я догадываюсь, из-за чего вы задерживаетесь в армии, и боюсь за вас. Юлия тревожится не меньше моего. Она просит, чтобы вы почаще подавали нам вести о себе, и заклинает вас не подвергать себя опасности и помнить, как беспокоятся о вас ваши друзья. А сам я не знаю, что сказать вам. Исполняйте свой долг. Призывы к осторожности не могут исходить из моего сердца, да и ваше сердце не станет им внимать. Дорогой Бомстон, я слишком хорошо это знаю. Единственным достойным концом твоей жизни была бы смерть на поле брани, где ты сложил бы голову за свою отчизну, но неужели ты нисколько не должен поберечь себя ради того, кто сохранил жизнь благодаря тебе?

## ПИСЬМО IV

*От милорда Эдуарда*

Из двух ваших последних писем видно, что до меня не дошло то письмо, которое им предшествовало,— вероятно, первое письмо, посланное вами мне в армию,— то самое, где дано было объяснение тайной грусти г-жи де Вольмар. Письма этого я не получил: полагаю, что оно было в сумке того нарочного, коего перехватил неприятель; повторите, друг мой, что там было написано, у меня ум за разум заходит от догадок, и на сердце так беспокойно: ведь уж если счастья и мира нет в душе Юлии, то где же их прибежище на земле?

Успокойте ее относительно опасностей, коим я, по ее мнению, подвергаюсь. Мы имеем дело с неприятелем весьма искусным: в сражения он нас не вовлекает, но, имея горсточку людей, ухитряется сковать наши силы, и нам никак не удается атаковать его. Впрочем, мы так полны уверенности в себе, что могли бы преодолеть трудности, непреодолимые для самых лучших полководцев, и в конце концов заставить французов разгромить нас. Предвижу, что первый наш успех дорого нам обойдется, и за сражение, выигранное в Деттингене, мы поплатимся поражением во Фландрии. Во главе неприятельской армии стоит крупный полководец, и мало того, войска доверяют ему; а когда французский солдат доверяет своему гене-

ралу, он непобедим; и, наоборот, он ничего не стоит, когда им командуют придворные щеголи, коих он презирает, а это случается так часто, что надо лишь следить за придворными интригами, и, выждав случай, можно наверняка победить храбрейшую на континенте нацию. Они и сами это хорошо знают. Милорд Мальборо, обратив внимание на бравый и воинственный вид солдата, взятого в плен под Блейнхеймом [1], сказал ему: «Ежели бы во французской армии было пятьдесят тысяч человек таких, как ты, она бы не дала себя расколотить».

«Эх, дьявол! — ответил гренадер.— У нас было достаточно таких, как я, не хватало нам только одного человека,— такого, как вы». Однако ныне именно такой человек командует французской армией, а у нас такого нет; но мы об этом совсем и не думаем.

Как бы там ни было, но мне хочется видеть, как маневрируют войска и чем кончится кампания, и я решил остаться в армии, пока полки не пойдут на зимние квартиры. Мы все выиграем от этой отсрочки. Зимой уже нельзя будет перевалить через горы, мы с вами проведем зиму там, где вы находитесь, а ранней весной поедем в Италию. Передайте Юлии и г-ну де Вольмару, что я изменил свои планы только для того, чтобы вволю налюбоваться трогательной картиной, которую вы так хорошо описываете, и поглядеть, как г-жа д'Орб устроилась вместе с ними. Пишите мне, друг мой, так же аккуратно, как прежде,— мне это будет приятно, как никогда; мою карету захватил неприятель, я остался без книг, но зато читаю и перечитываю ваши письма.

## ПИСЬМО V

*К милорду Эдуарду*

Какую радость доставили вы мне нежданной вестью, что зиму мы с вами проведем в Кларане! Но как дорого заставляете вы меня заплатить за нее, раз вы хотите продлить свое пребывание в армии! Особливо грустно мне то, что еще до нашей разлуки вы приняли решение проделать кампанию,— это ясно теперь видно, а мне вы ничего не пожелали сказать. Милорд, я знаю, по какой причине вы держали это в тайне, но не могу вам быть за это благодарным. Ужели вы так презираете меня, что допускаете мысль, будто мне хотелось бы пережить вас, или же

[1] Так англичане называют сражение под Гохштедтом.

вам известны какие-то мои привязанности, столь низкие, что ради них я готов отказаться от чести умереть с моим другом? Если я не был достоин сопровождать вас, нужно было не посылать меня сюда, а оставить в Лондоне,— это было бы менее оскорбительно.

Из последнего письма вашего явствует, что одно из моих писем затерялось, а посему два следующих были для вас во многих отношениях туманны; разъяснения, необходимые для их понимания, я пока отложу и дам их на досуге. А сейчас самое главное — избавить вас от беспокойства по поводу тайной грусти г-жи де Вольмар.

Я не стану пересказывать вам продолжение того разговора, который у нас с нею был после отъезда ее мужа. С тех пор произошло так много всего, что я уже отчасти и позабыл сию беседу. Мы столько раз возобновляли ее за время отсутствия г-на де Вольмара, что я, дабы избежать повторений, все передам вкратце.

Так вот, она мне сказала, что ее супруг все делает для того, чтобы она была счастлива, и вместе с тем он единственный виновник ее горя, и чем искреннее их взаимная привязанность, тем больше Юлия страдает. Подумайте только, милорд! Оказывается, Вольмар, человек столь мудрый, столь рассудительный, столь далекий от всяких пороков, столь мало подверженный страстям человеческим, при всей безупречности своей добродетельной жизни, носит в сердце ужасное равнодушие скептиков. И, думая о таком противоречии, Юлия скорбит еще больше. Кажется, она скорее простила бы мужу, если б он отвергал творца всего сущего, имея основания страшиться суда его, или, одолеваемый гордыней, бросал бы ему вызов. «Пусть преступник успокаивает свою совесть заблуждениями разума, пусть проповедник лжеучения считает для себя честью мыслить иначе, чем простые смертные. Но,— сказала она со вздохом,— как это можно, чтобы столь благородный человек, столь мало кичащийся своими знаниями, был неверующим!»

Надо знать характер обоих супругов, надо представить себе, что вся жизнь их сосредоточена в лоне семьи, что они заменяют друг другу весь мир; надо знать, какое единение царит меж ними во всем остальном, и лишь тогда можно понять, как разногласие в одном лишь этом вопросе может нарушить их счастье. Г-н де Вольмар, воспитанный в правилах греческой церкви, по натуре своей не мог переносить нелепости этого вероисповедания. Разум его был гораздо выше глупого ига, коему его желали подчинить, и вскоре он с презрением сбросил его,

откинув вместе с тем и все, что шло от столь сомнительного авторитета; вынуждаемый быть нечестивцем, он стал атеистом.

В дальнейшем он жил всегда в странах католицизма, наблюдал там это вероисповедание, и его мнение о христианском учении не улучшилось. В религии он видел лишь корыстные интересы священнослужителей. Он увидел, что и тут все состоит из пустых кривляний, более или менее ловко замаскированных ничего не значащими словами; он заметил, что все порядочные люди единодушно придерживались такого же мнения, совсем того не скрывая, и что само духовенство, немного более сдержанно, но все же смеялось втайне над тем, что оно публично проповедовало, и Вольмар не раз заявлял мне, что он за всю свою жизнь после долгих и тщетных поисков нашел лишь троих священников, веривших в бога [1]. Искренне желая постичь сей предмет, он погрузился в дебри метафизики, где у человека нет иного руководителя, кроме тех систем, которые он привносит туда, и, видя всюду только сомнения и противоречия, он попытался снова возвратиться к христианству, но было слишком поздно: его душа уже оказалась замкнутой для восприятия истины, разуму его стала недоступна уверенность в чем-либо; все, что ему доказывали, разрушало чувство веры и ничего не ставило на ее место, и в конце концов он отринул всякого рода догмы,— он перестал быть атеистом лишь для того, чтобы стать скептиком.

Вот какого человека небо предназначило в мужья Юлии, а ведь вы знаете, что она полна бесхитростной веры, кроткой набожности. Но лишь тот, кто, подобно ее кузине и мне, жил в близком общении с нею, знает, насколько эта нежная душа по природе своей устремляется к небу. Право, как будто ничто земное не может утолить томящую ее потребность любить; крайняя чувствительность сама собой приводит ее к источнику любви. Но у нее это совсем не так, как у святой Терезы, у которой влюбленное сердце, искавшее самообольщения, обманывалось в предмете своей любви; в сердце Юлии поистине неисся-

---

[1] Видит бог, я не одобряю эти резкие и безрассудные заявления; я лишь указываю, что есть люди, которые так говорят, и поведение духовенства во всех странах и во всех сектах слишком часто оправдывает подобные выпады. Однако в сем примечании я вовсе не собираюсь укрыться за чужой спиной и сейчас изложу свое собственное мнение в данном вопросе. Я считаю, что ни один истинно верующий не должен быть нетерпимым к чужим верованиям или быть их преследователем. Будь я судьей и существуй у нас закон, карающий смертью за атеизм, я начал бы с того, что отправлял бы на костер всякого, кто явился бы доносить на атеистов.

каемый родник, и ни любовные чувства, ни дружба не могли исчерпать его,— избыток любви оно несет единственному существу, достойному поглотить его [1]. Любовь к богу не отдаляет ее от людей, не придает ей ни суровости, ни резкости. Все ее земные привязанности порождены одной и той же причиной, одна другую оживляют и оттого становятся для нее еще милее и слаще, и, думается мне, она была бы менее набожна, если бы не столь нежно любила отца своего, мужа, детей, кузину и меня, грешного.

Но удивительное дело, чем больше в ней любви к богу, тем меньше Юлия замечает ее и тем больше жалуется, что душа у нее сухая, совсем не способная любить бога. «Что ни говори,— заявила она,— а в сердце может возникнуть привязанность лишь через посредство чувств и воображения, которое они питают, а возможно ли видеть или вообразить бесконечность великого существа [2]. Когда я хочу вознестись к нему душой, я не знаю, где я, не видя никакой связи меж ним и мною; и, не зная, как достигнуть его, я больше ничего не вижу, ничего не чувствую,— я как будто и не существую; и если б я смела судить о других по себе самой, пожалуй, я заключила бы, что мистические экстазы рождаются не столько в переполненном сердце, сколько в пустой голове.

Как же мне быть? — продолжала она.— Как избавиться от призрачных видений ослепленного разума? Я заменяю грубым, но доступным мне культом возвышенное созерцание, которое мне не по силам. Увы! я принижаю божественное величие: между богом и собою я ставлю предметы, воспринимаемые чувствами; мне не дано созерцать божественную сущность, я поклоняюсь ей в ее творениях, я славлю ее в благих делах ее; но как бы я ни поклонялась ей, вместо чистой любви, которой

---

[1] Как! Стало быть, сердце отдает богу только то, что осталось в нем после любви к его творениям? Нет, наоборот, земные творения так мало могут занять сердце человеческое, что, когда кажется, будто оно полно ими, в нем все еще пустота. Нужна бесконечность, чтобы заполнить его.

[2] Несомненно, душе нелегко возноситься до высокой идеи божества, а простому народу подходит культ, основанный больше на чувстве, с ним спокойнее. Народ любит, чтобы ему предлагали разные божественные предметы, которые избавляют его от мыслей о боге. Исходя из этих начал, разве плохо поступали католики, заполнив свои легенды, свои календари и свои церкви ангелочками, прекрасными юношами-великомучениками и красивыми великомученицами? Младенец Иисус в объятиях прелестной и скромной матери — это один из самых трогательных и самых милых образов, которые христианское благочестие предлагает верующим.

она требует, в сердце у меня лишь корыстная признательность к ней».

Итак, в чувствительном сердце все обращается в чувство. У Юлии все в мире вызывает умиление и благодарность богу; повсюду она видит благодетельную божию десницу; детей она считает драгоценным кладом, врученным ей на хранение; в том, что родит ее земля, она видит дары провидения; заботами его накрыт для нее стол; она засыпает под его покровом; оно ниспосылает ей мирное пробуждение, в несчастьях своих она чувствует его уроки, а в радостях — его милость; все блага, коими наслаждаются дорогие ей создания, служат для нее новым поводом для хвалы провидению; если образ зиждителя вселенной сокрыт от ее слабого взора, она зато повсюду видит небесного отца всех людей. Чтить таким образом господние благодеяния — не значит ли это в меру сил своих служить предвечному?

Вообразите же, милорд, каково жить в уединении бок о бок с тем, кто разделяет наше существование, но не может разделить надежду, благодаря коей жизнь дорога нам; каково это — не иметь возможности вместе с ним благословлять деяния господа, говорить со своим супругом о грядущем блаженстве, которое обещает он людям по милости своей; видеть, что супруг, делая добрые дела, остается равнодушным к тому, ради чего их радостно творить, и знать, что он с удивительной непоследовательностью мыслит как нечестивец, а живет как христианин! Представьте себе Юлию на прогулке рядом с ее мужем. Любуясь богатым и блистательным убором, коим ласкает взор наш земля, она восхищается творением и дарами создателя мира; а он видит во всем этом лишь случайное сочетание явлений, соединенных между собой только слепою силой. Представьте себе супругов, связанных искренней любовью, но из страха огорчить друг друга не дерзающих предаться — он размышлениям, а она чувствам, которые внушают им окружающие их предметы, ибо сама их взаимная привязанность обязывает обоих непрестанно сдерживать себя. Когда мы с Юлией отправляемся на прогулку, то почти всегда какой-нибудь чудесный, живописный вид напоминает ей об этом горестном разногласии. «Увы! — говорит она с чувством.— Картины природы, для нас столь веселые, полные жизни, мертвы в глазах несчастного моего мужа, и даже в этой гармонии бытия, где все говорит о боге, говорит столь сладостным голосом, он видит лишь вечное безмолвие».

Вы хорошо знаете Юлию, знаете, как радостно бывает общительной душе излиться, и вы, конечно, поймете, как она

страдает из-за этих недомолвок, даже если б единственной неприятной их стороной было печальное разногласие меж теми, у кого все должно быть общим. Но вслед за этой мыслью у нее возникают еще и другие, более зловещие. Как ни старается она отбросить невольные свои страхи, они возвращаются и поминутно ее смущают. Как ужасно для столь нежной супруги опасаться того, что верховное существо покарает за непризнание его божественной сущности, как ужасно думать, что счастье человека, который сам дарит ей счастье, окончится вместе с его земной жизнью, и видеть в отце своих детей создание, отвергнутое богом. От этой ужасной мысли она, при всей своей мягкости, готова впасть в отчаяние, и только вера в божественное милосердие спасает ее, дает ей силы перенести такую мысль. «Если небо,— часто говорит она,— отказывает мне в счастье обратить к богу такого благородного человека, я прошу у него только об одной милости: пусть умру я раньше мужа».

Такова, милорд, вполне понятная причина ее тайных горестей; таковы внутренние ее муки из-за того, что ее супруг очерствел сердцем, муки тем более жестокие, что ей приходится их тщательно скрывать. Атеизм, который у пашистов не надевает маски, вынужден таиться в любой стране, где разум одобряет веру в бога и где неверие лишено поэтому единственного своего оправдания. Неверие — система, разумеется, прискорбная; если у нее находятся сторонники среди знатных и богатых людей, коим она на руку, то повсюду она внушает ужас угнетенному и несчастному народу, ибо он видит, что с тиранов снята единственная узда, которая еще может их сдерживать, а у бедняков отнята надежда на загробную жизнь, и, стало быть, они лишаются единственного утешения в земной жизни. Юлия, чувствуя, что пирронизм Вольмара оказал бы здесь дурное действие, и, главное, желая оградить детей от столь опасного примера, без труда склонила мужа держать все в тайне,— он человек искренний и правдивый, но очень скрытный, простой, чуждый тщеславия и очень далекий от желания отнять у других то благо, лишение коего горестно и для него самого. Он никогда не выказывает себя педантом, ходит вместе с нами в церковь, считается с установленными обычаями; из уст его не услышишь исповедания веры, которой нет у него, но чтобы не вводить других в соблазн, в отношении культа, признанного законами, он выполняет все, что государство может требовать от гражданина.

Почти уже восемь лет, как они женаты, но одной только госпоже д'Орб известна эта тайна, и то лишь потому, что ей доверили ее. Кстати сказать, в этом доме приличия соблюдаются без

всякой подчеркнутости и настолько хорошо, что вот уже полтора месяца, как я живу здесь в самом тесном общении с супругами, а ни малейшего подозрения не возникало у меня, и никогда бы я не узнал правды, если бы Юлия сама мне ее не открыла.

Многие причины побудили ее довериться мне. Прежде всего, совместима ли скрытность с такою дружбой, какая соединяет нас? И разве человек усугубляет без нужды свои муки, когда лишает себя утешения разделить горе с другим? Помимо этого, она еще и не хотела, чтобы и дальше мое присутствие мешало разговорам, которые они часто ведут меж собою об этом предмете, ибо Юлия очень близко принимает его к сердцу. И наконец, узнав, что вы скоро должны приехать сюда, она с согласия мужа решила уведомить вас о его воззрениях,— ведь она надеется, что ваша мудрость станет поддержкой нашим тщетным усилиям и окажет достойное вас воздействие.

Но почему она поверила мне свое горе именно теперь? У меня возникла мысль, что есть тому и какая-то другая причина, о коей Юлия не решилась сказать. Муж ее собирался уехать, мы должны были остаться одни, сердца наши некогда соединяла любовь, и память о прошлом в них не угасла, и если бы на мгновение мы забылись, все способствовало бы нашему позору. Я видел ясно, что она страшится быть со мною наедине, старается защититься, а сцена, произошедшая в Мейери, очень хорошо показала мне, что из нас двоих только я, полный самоуверенности, не могу доверять себе.

В несправедливом недоверии к себе, внушенном ей природной робостью, она сочла самой надежной предосторожностью присутствие свидетеля, коего следует чтить, призывая в качестве третьего лица неподкупного и грозного судию, того, кто видит тайные действия людей и читает в глубине сердец. Оплотом ей было величие господне. Непрестанно я видел бога между ней и мною. Какое же преступное желание могло бы преодолеть такую преграду? Мое сердце очистилось в огне ее веры, и я разделил ее добродетельные чувства.

Столь важные вопросы и были предметом наших уединенных бесед в дни отсутствия ее мужа, а с тех пор как он возвратился, мы часто говорим о них и в его присутствии. Он принимает участие в этих разговорах, как будто речь идет о ком-то другом, не презирает наши заботы и даже дает нам нередко советы, как нам следует рассуждать с ним. Как раз это и заставляет меня отчаиваться в успехе; не будь Вольмар так чистосердечен, можно было бы полагать, что его неверие коренится

в душевном изъяне, и вести нападение с этой стороны; но если нужно переубедить его доказательствами, то где же нам найти такие познания, каких у него не было бы, и такие доводы, кои без нас не приходили ему на ум? Когда я вздумал вступить с ним в спор, то увидел, что все аргументы, какие я мог привести, уже были исчерпаны Юлией и не имели успеха и что моей сухости далеко до того красноречия сердца, до той нежной убедительности, которые изливаются из ее уст.

Милорд, мы никогда не обратим к богу этого скептика; он слишком холоден, и, хотя совсем не злой человек, нечего и надеяться растрогать его: ему недостает внутреннего довода — чувства, а ведь только оно одно и может сделать несокрушимыми все остальные доказательства.

Как ни старается жена таить от него свою печаль, он ее угадывает и разделяет; столь зоркий взгляд, как у него, нельзя обмануть, и подавленная скорбь не может от него укрыться. Он говорил мне, что несколько раз пытался сделать вид, будто он уступает, и для спокойствия Юлии притворно выражать чувства, коих нет у него, но оказался не способен на такую низость души. Да это притворство не только не принесло бы радости Юлии, но еще больше мучило бы ее. Исчезли бы царящие в их отношениях взаимное доверие, откровенность, единение сердец, столь утешительные в любых несчастьях. Разве мог он притворством рассеять ее страхи? Она только меньше стала бы уважать его. Вместо того чтобы лицемерить, он честно говорит ей то, что думает, но говорит это так просто, так мало выказывает презрения к общепринятым взглядам и так мало в нем насмешливой гордости вольнодумцев, что его прискорбные признания больше огорчают Юлию, нежели возбуждают у нее гнев, и, будучи не в силах вложить в его сердце свои чувства и надежды, она еще больше стремится собрать вокруг него те преходящие утехи, коими и ограничивается его счастье. «Ах! — горестно промолвила она.— Если он, бедный, создает себе раи в земном мире, постараемся сделать эту обитель как можно любезнее для него» [1].

Эта противоположность взглядов налетом грусти омрачает их союз, но Юлия к грусти примешивает утешение, и, пожалуй,

---

[1] Насколько это чувство, исполненное человечности, более естественно, нежели ужасное рвение преследователей, всегда стремящихся терзать людей неверующих, словно желая подвергнуть их адским мукам уже в земной жизни, стать, таким образом, предшественниками дьяволов! Никогда не перестану повторять, что эти гонители вовсе не являются верующими, они просто негодяи.

она одна-единственная в мире умеет так утешить,— вот доказательство непобедимой силы ее души. Все их столкновения, все споры по столь важному вопросу не только не приводят к досаде, презрению, к ссорам, но всегда кончаются какой-нибудь умилительной сценой, и после нее они становятся друг другу еще дороже.

Вчера у нас беседа зашла о том предмете, коего мы часто касаемся, когда остаемся одни,— а именно: говорили мы об источнике зла, и я старался доказать, что в системе мироздания не только не существует какого-то общего для всех абсолютного зла, но даже частные случаи зла на деле гораздо менее страшны, нежели то кажется на первый взгляд, и их значительно превосходят частные случаи добра и личного блага. Я привел г-ну де Вольмару в пример его собственную жизнь и, восторгаясь счастливым его положением, нарисовал ее столь верными чертами, что он, видимо, и сам был тронут. «Вот она, пленительная манера Юлии,— сказал он, прерывая меня.— Доводы рассудка Юлия всегда заменяет чувством и убеждает так трогательно, что вместо всякого ответа остается расцеловать ее. Уж не у своего ли учителя философии она научилась доказывать таким способом?»

Два месяца тому назад эта шутка жестоко смутила бы меня, но время душевного смятения миновало, я только засмеялся в ответ, и хотя Юлия немного покраснела, она казалась не более смущенной, чем я. Мы продолжили наш разговор. Не споря о количестве зла в мире, Вольмар ограничился следующим утверждением: если зло,— много ли, мало ли его,— существует, то из самого его существования, по мнению г-на де Вольмара, нужно сделать такой вывод, что в первопричине всех вещей нет либо всемогущества, либо всеблагости. Я же, со своей стороны, доказывал, что источник физического зла — в природе материи, а морального зла — в свободной воле человека. Я утверждал, что господь мог все сделать, не мог только сотворить другие субстанции, столь же совершенные, как его собственная, и недоступные злу. В самый разгар спора я заметил, что Юлия куда-то исчезла. «Угадайте, где она»,— сказал г-н де Вольмар, видя, что я ищу ее взглядом. «Верно, вышла дать какое-нибудь распоряжение по хозяйству».— «Нет,— сказал он,— никакие дела сейчас не могли бы отвлечь ее от такого разговора. Она не бросает меня ради хозяйства,— там все идет своим чередом, и я никогда не видел, чтобы она при мне что-нибудь делала сама».— «Стало быть, она в детской?» — «Тоже маловероятно: спасение моей души ей дорого не меньше, чем дети».— «Ну что ж,— заметил

я,— не знаю, что она сейчас делает, но, несомненно, она занята чем-то полезным».— «Вот уж нисколько,— холодно ответил он.— Пойдемте-ка, пойдемте, сами увидите, верно ли я угадал».

Неслышной поступью он вышел из комнаты, я следовал за ним на цыпочках. Мы подошли к дверям кабинета; они были затворены. Вольмар распахнул их. Милорд, какую картину я увидел! Юлия, вся в слезах, стояла на коленях и молилась. Она поспешно поднялась, отерла глаза и, пряча лицо, попыталась убежать. Никогда я не видел такой стыдливости. Муж не дал ей скрыться. Он подбежал к ней, охваченный каким-то восторгом. «Дорогая супруга,— сказал он, обнимая ее,— как пламенно ты взывала к небу,— сразу понятно о чем. Чего же не хватает твоим мольбам, чтоб они оказали свое действие? Право, если бы там, вверху, кто-нибудь внимал им, то уж, верно, исполнилось бы твое желание».— «Оно исполнится,— промолвила Юлия с твердой уверенностью.— Не знаю ни дня, ни часа, ни обстоятельств, когда это совершится,— но это будет. О, если бы я могла заплатить за это своей жизнью! Пусть это будет последний мой день — тогда он будет лучшим из всех».

Приезжайте, милорд, оставьте эти проклятые сраженья, приезжайте,— здесь ждет вас более благородный долг. Ужели мудрый человек предпочтет честь убивать многих людей делу спасения одного человека? [1]

## ПИСЬМО VI

*К милорду Эдуарду*

Как! Расставшись с армией, вы хотите еще совершить путешествие в Париж? Неужто вы совсем позабыли Кларан и ту, что живет в нем? Неужто вы нам менее дороги, нежели милорду Гайду? Неужели вы ему более необходимы, нежели тем, кто ждет вас в Кларане? Вы заставляете нас возносить мольбы, чтобы намерение ваше не осуществилось. Я хотел бы стать влиятельным человеком при французском дворе и добиться, чтобы вам не дали разрешения на въезд, коего вы сейчас ждете. Ну уж так и быть, удовлетворите свое желание, повидайтесь со своим достойным соотечественником. Все равно мы отомстим и вам и ему за это предпочтение. Как бы вам ни было приятно у своего друга, уверен, что, когда вы будете с нами, вы

[1] Тут следовало длинное письмо милорда Эдуарда к Юлии. В дальнейшем об этом письме будет сказано; по причинам, достаточно основательным, мне приходится исключить его.

пожалеете, зачем потратили время, зачем не приехали к нам раньше.

Получив ваше письмо, я сперва подумал, что на вас возложено секретное поручение... Можно ли найти более достойного посредника для заключения мира!.. Но разве короли облекают своим доверием людей добродетельных? Решаются ли они слушать правду? Умеют ли хотя бы уважать истинные заслуги?.. Нет, нет, дорогой Эдуард, вы не созданы для роли посла; и я держусь о вас столь высокого мнения, что уверен: не будь вы от рождения пэром Англии, вы никогда бы им не стали.

Приезжай, мой друг, в Кларане тебе будет куда лучше, чем при дворе. О! какую зиму мы проведем, когда соберемся все вместе. Лишь бы не обманула меня надежда на соединение наше! Каждый день подготовляет его, ибо приводит сюда кого-либо из избранных душ, столь дорогих друг другу, столь достойных взаимной привязанности и как будто ожидающих только вас одного, чтобы обойтись без всех на свете. Узнав, что счастливый случай привел сюда противника барона д'Этанж в судебной его тяжбе, вы заранее предсказали, какой оборот может принять сия встреча [1], и действительно так оно и случилось. Этот старый сутяжник, почти такой же упрямый и неуступчивый, как барон д'Этанж, не мог устоять перед обаянием той, которая всех нас покорила. Увидев и услышав Юлию, поговорив с нею, он устыдился того, что ведет тяжбу против ее отца. Он выехал в Берн в самом хорошем расположении духа, готовый пойти на мировую, и сейчас дело уже совсем близко к окончанию: в последнем своем письме барон сообщает, что на днях он возвратится домой.

Все это вы, вероятно, уже знаете от г-на де Вольмара. Но, думаю, вам еще не известно, что г-жа д'Орб, закончив наконец свои дела, с четверга находится здесь и впредь будет жить в доме своей подруги. Будучи уведомлен о дне ее приезда, я потихоньку от г-жи де Вольмар, которой мы хотели сделать сюрприз, выехал навстречу г-же д'Орб, дождался ее за Лютри и вместе с нею приехал в Кларан.

Клара, по-моему, стала еще живее и очаровательнее, чем прежде, но сейчас она беспокойна, рассеянна, плохо слушает, отвечает невпопад, говорит бессвязно и редко,— словом, она полна тревоги, от которой никак не может избавиться на

[1] Видно, что между этим посланием и предыдущим не хватает нескольких писем; такие же пробелы заметны и в других местах. Читатель, пожалуй, скажет, что подобные пропуски — удачный способ выйти из затруднительного положения, и я вполне с ним согласен.

пороге исполнения своей заветной мечты. Можно подумать, что она все боится и каждую минуту с трепетом ждет, как бы ее не вернули обратно. Отъезд ее долго оттягивался, а в конце концов он произошел в такой спешке, что и у самой хозяйки, и у слуг голова шла кругом. В мелких вещах, привезенных Кларой с собою, царил забавный беспорядок. Когда горничная охала, что она забыла захватить то или другое, Клара неизменно заверяла, что она все положила в ящик для вещей, устроенный в карете, и так потешно было, когда в этот ящик заглянули и там ровно ничего не оказалось.

Так как Клара не хотела, чтобы Юлия услышала стук колес, она вышла из кареты на въездной аллее, как сумасшедшая пробежала по двору и помчалась по лестнице так быстро, что на первой же площадке ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Г-н де Вольмар вышел встретить ее, она не могла промолвить ни слова.

Отворив двери в спальню, я увидел, что Юлия сидит у окна и держит на коленях маленькую Генриетту, как она это часто делает. Клара заранее обдумала превосходную речь, где, по ее обыкновению, смешивались искреннее чувство и шутка, но лишь только ступила она на порог, и речь и веселость — все было позабыто; Клара бросилась к подруге и воскликнула в восторге, передать который невозможно: «Сестра, всегда, навсегда, до самой смерти!» Генриетта, увидев мать, спрыгивает на пол, кричит во весь голос: «Мама! мама!» — мчится ей навстречу и, столкнувшись с ней, опрокидывается навзничь. Это неожиданное появление и это падение, эта радость, это волнение так потрясли Юлию, что она пронзительно вскрикнула, сделала шаг, протягивая руки, и вдруг ей стало дурно. Клара хочет поднять дочку, но, заметив, что подруга бледна как полотно, уж и не знает, к кому броситься. Видя, что я поднял Генриетту, она кинулась к Юлии, лишившейся чувств, и сама рухнула на нее в таком же состоянии.

Увидев, что обе они недвижимы, Генриетта расплакалась, закричала, а тогда примчалась Фаншона; девочка подбежала к матери, а горничная к своей госпоже. Я же, потрясенный, преисполненный восторга, как в бреду, ходил по комнате большими шагами и вне себя восклицал что-то в безотчетном порыве, с коим не мог совладать. Сам Вольмар, холодный Вольмар, был взволнован. О чувство, чувство! сладостная жизнь души! Найдется ли такое каменное сердце, которого ты никогда не умиляло? Где тот несчастный смертный, у коего ты никогда не исторгало слез? Вместо того чтобы кинуться к Юлии, ее счаст-

ливый супруг бросился в кресло и не отрывал взгляда от этого трогательного зрелища. «Не бойтесь,— сказал он, видя наше смятение и тревожную суету.— Избыток радости и счастья лишь на миг ослабляет нашу натуру, но тут же он придает человеку новые силы. Никогда такие волнения не бывают опасными. Дайте же мне насладиться счастьем, которое и вы со мной разделяете. Каким же оно должно быть для вас! Никогда я не видел ничего подобного, а значит, я наименее счастливый из нас шестерых».

Милорд, по этой первой минуте вы можете представить себе и все остальное. Встреча друзей наполнила весь дом веселым шумом и возбуждением, которые и до сих пор еще не улеглись. Юлия себя не помнит от радости, и я никогда еще не видел ее такой взволнованной; весь день мы ни о чем не могли думать, все только смотрели друг на друга да обнимались, вновь предаваясь восторгу. Никто и не вспомнил о «трикликии Аполлона», да и не стоило туда удаляться — нам повсюду было хорошо. Лишь на следующий день, когда все немного успокоились, в доме занялись приготовлением к празднеству, но не будь тут г-на де Вольмара, все шло бы вкривь и вкось. Все работы были отменены, кроме тех, кои оказались необходимы для предстоящих увеселений. Устроили праздник, и пусть он не блистал пышностью, зато уж веселье било на нем через край, во всем была трогательная путаница, радостная суматоха, придававшая ему особую прелесть.

Утром госпожу д'Орб облекли званием управительницы и дворецкого, и она принялась за исполнение своих обязанностей с такой готовностью и детским увлечением, что мы хохотали. Когда пришли в красивую столовую обедать, две кузины увидели кругом на стенах свои переплетенные инициалы, составленные из цветочных гирлянд. Юлия сразу угадала, кто об этом позаботился, и в порыве радости поцеловала меня. Клара, против прежнего своего обыкновения, не сразу подарила меня поцелуем. За это Вольмар пожурил ее, и она, краснея, решилась последовать примеру своей кузины. Я заметил румянец, вспыхнувший на ее лице; не могу передать, какое впечатление он произвел на меня, но, во всяком случае, в ее объятиях я чувствовал себя несколько взволнованным.

В середине дня на женской половине было подано угощение для прислуги, в этот день на пиршество допустили хозяина дома и меня; для мужчин устроили состязание в стрельбе,— разыгрывали приз, который дала г-жа д'Орб. Победителем оказался прибывший в дом новичок, хотя он был менее искусен в

этой игре. Клару не обманула его неожиданная ловкость, да и сам Ганс этому не поверил и отказался от приза, однако все дружно запротестовали и заставили нового своего товарища принять выигрыш; вам, конечно, ясно, что подобная любезность с их стороны втуне не пропала.

Вечером все домочадцы, число коих ныне увеличилось на три человека, собрались на танцы. Клару, казалось, наряжали на бал руки граций,— никогда еще она не была так прелестна, как в этот вечер. Она танцевала, она болтала, она хохотала, она отдавала распоряжения, она все поспевала делать. Зато меня она поклялась уморить танцами, не давала мне ни минуты передышки и после пяти или шести весьма быстрых контрдансов не забыла, по своему обыкновению, упрекнуть меня, что я танцую, как философ. А я сказал ей, что она танцует, как эльф, и не меньше сих маленьких лукавых духов может натворить бед; мне боязно, вдруг она не даст мне покоя ни днем, ни ночью. «Наоборот,— возразила она,— сейчас мы постараемся, чтобы вы спали беспробудно всю ночь», и мигом увлекла меня танцевать.

Клара была неутомима. Иное дело Юлия,— бедняжка едва держалась на ногах, и ей было не до танцев; ее так переполняло умиление, что она лишилась веселости, часто слезы радости текли из глаз ее; она глядела на свою кузину с восхищением, ей нравилось воображать себя в своем доме гостьей, приглашенной на праздник, а на Клару смотреть, как на хозяйку, всем распоряжающуюся на торжестве. После ужина я пускал ракеты, привезенные мною из Китая, и они произвели большое впечатление. Мы засиделись допоздна. Пришлось все-таки расстаться,— ведь г-жа д'Орб утомилась или, во всяком случае, должна была утомиться, и Юлия наконец заставила нас лечь спать.

Мало-помалу вновь воцарилось в доме спокойствие, а вместе с ним и порядок. Резвушка Клара, когда захочет, умеет говорить властным тоном, и ее слушаются. К тому же она не уступает Вольмару по части здравого смысла, понимания людей и проницательности, и она так же добра, как Юлия. И хотя очень щедра, но при всей своей тороватости весьма благоразумна; благодаря сим качествам она, овдовев в столь молодые годы и будучи облечена обязанностями по опеке над наследством дочери, выказала такую рачительность, что и собственные ее владения, и достояние Генриетты достигли процветания; итак, нет причин беспокоиться, что под ее началом управление домом Вольмаров ухудшится. Теперь Юлия может позволить себе удовольствие всецело отдаться занятию, которое

ей более всего по душе, а именно — воспитывать детей; и я не сомневаюсь, что Генриетте будут чрезвычайно полезны заботы одной из ее матерей, которая освободила от них другую мать,— говорю «ее матерей», ибо, видя, как они относятся к Генриетте, трудно отличить, кто же из них родная мать. Чужие люди, приехавшие к нам нынче в гости, кажется, все еще пребывают в сомнении на этот счет. Ведь обе матери называют девочку одинаково: то Генриеттой, то дочкой. А она зовет их: одну — маменька, а другую — мамочка; обеих матерей и дочь связывает одинаковая взаимная нежность, девочка одинаково слушается их обеих. Если у Клары и у Юлии спрашивают, чья это дочь, каждая отвечает: «Моя». Если спрашивают Генриетту, то оказывается, что у нее две матери. Тут уж люди приходят по меньшей мере в недоумение. Самые проницательные в конце концов признают матерью Юлию. Она блондинка, а Генриетта тоже белокурая, потому что вышла цветом волос в отца; лицом девочка походит на Юлию. Кроткие глаза Юлии даже больше выражают материнскую нежность, нежели веселые взоры Клары. Генриетта разговаривает с Юлией более почтительно, чем с Кларой, и при ней как-то больше следит за собой. Безотчетно девочка чаще подсаживается к Юлии, ибо той чаще бывает надобно сказать ей что-нибудь. Словом, все внешние признаки говорят в пользу «мамочки»; и, как я заметил, вызываемая этим ошибка столь приятна обеим кузинам, что всякий, кто желал бы подольститься к ним, постарался бы тут ошибиться нарочно.

Милорд, через две недели здесь только вас одного будет недоставать. А когда и вы приедете, право, очень дурно пришлось бы подумать о том человеке, кто не признал бы, что нигде в мире не найдешь столько добродетели и радости, сколько будет их в этом доме.

## ПИСЬМО VII

*К милорду Эдуарду*

Уже третий день все пытаюсь по вечерам написать вам. Но после целодневных трудов одолевает сон, лишь только войдешь в спальню, а утром на рассвете надо вновь приниматься за работу. Душа моя взволнована, полна восторга, охвачена опьянением более приятным, чем от вина, и я не могу оторваться ни на одну минуту от утех, столь для меня новых.

При том обществе, какое меня здесь окружает, думается, любой уголок земного шара пришелся бы мне по вкусу. Но

знаете ли вы, чем Кларан мне нравится сам по себе? Здесь я действительно чувствую себя в деревне и, пожалуй, впервые в жизни могу это сказать. Горожане не любят деревню, они даже и не умеют жить в ней; очутившись в деревне, они вряд ли знают, что люди там делают, они презирают и труды и удовольствия сельских жителей; да просто-напросто ничего в них не смыслят; в родном краю они словно иностранцы, и потому не удивительно, что все им не по душе. В деревне надо жить по-деревенски или совсем туда не ездить, а иначе что же тут чужакам делать? Парижане воображают, что они приехали в деревню, но на самом деле это не так: они привезли с собою Париж. Певцы, острословы, сочинители, прихлебатели — вот какая свита следует за ними. Карты, музыка, комедии — только этим они в деревне и занимаются [1]. Стол у них сервируют так же, как в Париже, едят у них в те же часы, подают те же кушанья и соблюдают тот же этикет; словом, делают все то же, что и в столице. Так лучше было бы там и остаться,— ведь как бы ни был богат человек и как бы он ни старался воспроизвести столичную жизнь, всегда чего-нибудь недостанет, ибо нельзя захватить с собою весь Париж целиком. Итак, они сами лишают себя разнообразия, коего так жаждут: они умеют жить только на один лад и от этого всегда скучают.

На труды поселянина приятно смотреть, и сами по себе они не так уж тяжелы, чтобы возбуждать сострадание. Они вызывают уважение, ибо приносят пользу как всему обществу, так и отдельным лицам, и к тому же возделывание земли было первым призванием человека; сии труды приводят на ум милые образы, напоминают сердцу о радостях золотого века. Воображение не может оставаться равнодушным, когда видишь, как вспахивают ниву или жнут хлеб. В простоте жизни пастухов и земледельцев есть что-то трогательное. Стоит поглядеть на луга, усеянные поселянами, которые ворошат сено, оглашая воздух песнями, посмотреть на стада, пасущиеся вдалеке, и невольно почувствуешь умиление,— а почему, и сам не знаешь. Так иногда голос природы смягчает наши черствые сердца и хотя порождает в душе нашей лишь бесплодное сожаление, зов природы так сладок, что невозможно слушать его без наслаждения.

---

[1] Надо сюда добавить еще охоту. Да и охота-то им нужна со всеми удобствами, так что она не приносит им ни усталости, ни удовольствия. Но я не стану говорить здесь о сем многосложном предмете: в примечании трактовать его не годится. Быть может, представится случай поговорить о нем в ином месте.

Признаюсь, нищета, царящая среди полей в тех странах, где откупщик податей отбирает все плоды, землей произведенные, неистовая жадность скупого мызника, неумолимая суровость бесчеловечного владельца земли намного лишают сии картины привлекательности. Заморенные лошаденки, кои вот-вот испустят дух под ударами кнута, несчастные крестьяне, изнуренные невольным постом, измученные усталостью, одетые в рубище, их деревушки, их лачуги являют зрелище печальное, совсем не радующее взор; и как подумаешь о тех несчастных, чью кровь тебе приходится пить, почти жалеешь, что ты человек. Но как отрадно видеть добрых и разумных управителей, для коих земледелие является средством их благодеяний, их утех и удовольствий! Сколь щедро оделяют они своих ближних дарами, ниспосланными провидением, питают сытно всех, кто их окружает — и людей и животных,— делятся всеми благами, наполняющими их житницы, их погреба, их амбары, разливают вокруг изобилие и радость и обращают труд, обогащающий их, в непрестанный праздник! Как не предаться мечтаниям, порожденным сими картинами? Забываешь и свой век, и своих современников; переносишься во времена патриархов; хочется и самому приложить руку к сельским трудам и вкусить удовольствия, связанного с ними. Вспоминаются времена любви и невинности, когда женщины были нежны и скромны, а мужчины простодушны и довольны жизнью своею! О Рахиль, дева прелестная и любимая столь постоянной любовью, счастлив был тот, кто, желая получить тебя в жены, без сожаления провел четырнадцать лет в рабстве! О кроткая питомица Ноэмини! Счастлив был тот добрый старец, кому согревала ты и ноги и сердце! Нет, нигде красота не царит так полновластно, как среди сельских забот. Лишь там престол истинных граций, украшенных простотою, оживленных веселостью и вызывающих невольное восхищение. Простите, милорд, возвращаюсь к нашим делам.

Целый месяц стояла жаркая осень, приуготовлявшая обильный сбор винограда; начало ему положили первые заморозки: [1] засохшие на холоду листья уже не закрывали гроздий, и сии дары отца Лиэя манили взор и, казалось, призывали смертных овладеть ими. Все эти виноградники, где лозы гнутся под тяжестью благодетельных гроздьев, кои небо посылает несчаст-

---

[1] В кантоне Во виноград собирают очень поздно, ибо там главным образом выделывают различные сорта белого вина, для коих полезно, если гроздья были тронуты заморозками.

ным для забвения их горестей, стук молотков, которыми вокруг набивают обручи на бочонки, бочки, чаны и фудеры;[1] песни, которыми сборщицы винограда оглашают холмы; непрестанное движение людей, несущих собранный виноград к точилу; хриплые звуки рожков и волынок, подбадривающие людской муравейник, любезная и умилительная картина всеобщего веселья, ибо оно в этот час как будто разливается по лицу земли, и, наконец, утренняя дымка, которую солнце поднимает ввысь, словно театральный занавес, чтобы открыть всем взорам чудесное зрелище,— решительно все, будто в тайном сговоре, придает картине праздничный вид; и празднество это кажется еще прекраснее, когда подумаешь, что оно единственное, где люди умеют сочетать приятное с полезным.

Господин де Вольмар, у коего лучшая часть его здешнего имения занята виноградниками, заранее приготовил все необходимое. Чаны, точило, погреб, бочки ждали только сладкого сока, для коего они предназначены. Госпожа де Вольмар взяла на себя сбор винограда: в ее ведении находятся работники, порядок и распределение работ. Г-жа д'Орб ведает трапезами для сборщиков и оплатой работников, согласно установленным в Кларане незыблемым правилам. На моей обязанности лежит — наблюдать, выполняются ли при выжиме винограда на точиле указания Юлии, ибо сама она при сем не присутствует, так как не выносит винных паров, исходящих из чанов; и Клара не преминула поздравить меня с таким назначением, заявив, что оно вполне подходит для любителя выпить.

Итак, все заботы по руководству распределили, у сборщиков же одно общее им всем дело — наполнить виноградом пустые вместилища. С рассвета все уже на ногах, и мы отправляемся на виноградники. Деятельной г-же д'Орб всегда кажется, что она занята недостаточно, и сверх своего дела она еще взяла на себя обязанность торопить и подталкивать ленивых; могу похвастать, что в отношении меня она проявляет весьма лукавую бдительность. Что касается старого барона д'Этанж, то, пока мы все работаем, он прогуливается с ружьем, а иной раз приходит за мною и, отрывая меня от надзора за сборщиками, уводит с собою пострелять дроздов; при этом Клара всегда подшучивает, что я сам тайком его позвал, так что постепенно я теряю прозвище «философ» и приобретаю новое — «лентяй», хотя по сути два эти наименования мало чем отличаются одно от другого.

---

[1] Местное название большой бочки.

Из моих слов, касающихся барона, вы, конечно, поймете, что мы с ним достигли искреннего примирения и что Вольмар может быть доволен вторым испытанием, коему он подверг меня [1]. Разве могу я питать ненависть к отцу моей подруги? Да будь он мне самому родным отцом, и то я не мог бы выказывать ему более глубокую почтительность. Право же, я еще не встречал человека более прямого, более откровенного, более великодушного и во всех отношениях более достойного уважения, чем этот славный дворянин. Но у него удивительно странные предрассудки. Теперь же, когда он уверился, что я не войду в его семью, он выражает мне полное уважение; лишь бы я не был его зятем, и он охотно поставит себя ниже меня. Не могу только простить ему одно: когда нас никто не слышит, он иной раз подтрунивает над «философом» по поводу его прежних уроков. Мне тяжело слушать эти шуточки, и я всегда встречаю их очень сердито, но он смеется над моим гневом и говорит: «Пойдемте стрелять дроздов, довольно вам аргументировать!» И кричит мимоходом: «Клара! Клара! приготовь своему учителю хороший ужин, уж я постараюсь, чтобы у него разыгрался аппетит». И действительно, в свои преклонные годы он бегает с ружьем по виноградникам так же бодро, как я, а стреляет куда лучше моего. Возмездием за все его насмешки надо мной служит то, что перед своей дочерью он тише воды, ниже травы; прежняя школьница внушает теперь своему отцу не меньше почтения, чем своему наставнику. Но возвратимся к сбору винограда.

Вот уже неделя, как мы работаем, а едва ли сделали и половину дела. Помимо тех вин, что предназначаются для продажи и в запас для повседневного домашнего употребления,— вин простых, для выделки коих требуется лишь осторожно

---

[1] Это будет видно еще яснее из следующего отрывка письма Юлии, отсутствующего в сборнике:

«Вот,— сказал г-н де Вольмар, отведя меня в сторону,— вот второе испытание, коему я решил его подвергнуть. Если бы он не был ласков с вашим отцом, я бы не мог доверять ему».— «Но,— возражала я,— разве совместимы это ласковое обращение и назначенное вами испытание с той враждебностью, которую вы сами замечали прежде меж ними?» — «Враждебности уже нет,— ответил он.— Предрассудки вашего отца причинили Сен-Пре все то зло, какое могли они принести, больше ему нечего бояться, и у него больше нет ненависти к барону, она сменилась состраданием. И барон тоже не боится его больше,— у него доброе сердце, он чувствует, что причинил Сен-Пре много зла, и жалеет его. Я вижу, что им вместе очень хорошо; они с удовольствием будут встречаться, поэтому я впредь вполне полагаюсь на Сен-Пре».

перелить их из чанов в бочонки,— добрая волшебница Юлия выделывает еще и более тонкие вина для ценителей и знатоков; и я помогаю ей в тех магических действиях, о которых я уже упоминал, говоря, что из гроздьев, собранных с одного и того же виноградника, у нее получаются вина всех стран. В одном случае она заставляет скручивать стебелек, на коем висит спелая гроздь, для того чтобы солнце провялило ее на лозе; в другом велит оборвать все виноградинки с кисти и отсортировать перед выжимкой; в третьем, по ее приказу, собирают янтарный виноград еще до рассвета и осторожно несут его в точило, когда ягоды еще покрыты сизым налетом и окроплены росой,— из этого винограда выделывают белое вино. Юлия приготовляет и ликерные вина, смешивая в бочках выжатый сок с виноградным суслом, превратившимся на огне в сироп; при выделке сухого вина она не дает ему долго бродить в чане; умеет она приготовлять и полынную настойку, полезную для желудка;[1] выделывает она и мускат из самого простого винограда. Все эти разнообразные вина приготовляются различными способами, но всегда остаются натуральными и не приобретают вредных свойств; таким образом, хозяйственная выдумка заменяет собою природное разнообразие почв и климатов: у Юлии в Кларане сочетаются климаты двадцати стран.

Вы не можете и представить себе, как усердно, как весело все это делается. Весь день люди поют, хохочут, а работа от этого только лучше спорится. Среди участников сбора царят самая тесная близость и равенство, но никто при этом не забывается. Дамы не напускают на себя важности, а крестьянки держат себя очень прилично, мужчины шутят, но не грубо. Идет настоящее состязание: кто споет самую красивую песню, кто расскажет самую занимательную сказку, кто удачнее всех сострит. Единение сказывается даже в шутливых ссорах,— люди друг друга поддразнивают лишь для того, чтобы показать взаимную свою прочную привязанность. Господа не спешат вернуться домой и не держат себя по-барски; на виноградниках они проводят весь день. Юлия приказала построить там домик, и в него приходят укрыться от дождя или погреться, когда холодно. Обедают господа вместе с крестьянами в обычный для них час, так же как и работают вместе с ними. С аппети-

---

[1] В Швейцарии много пьют полынной настойки; и вообще, поскольку альпийские травы более целебны, чем растущие на равнинах, здесь больше употребляют различных настоек.

том едят их похлебку — грубоватую, но вкусную, здоровую, сваренную с превосходными овощами. Никто не чванится перед крестьянами, не смеется над их неловкими манерами и над деревенскими их любезностями. Они замечают эту снисходительность и очень к ней чувствительны; видя доброе желание господ забыть ради них о своем звании, они тем охотнее держатся на своем месте. К обеду приводят детей Вольмаров и Генриетту, и они уже до вечера остаются на виноградниках. С какой радостью встречают добрые поселяне их появление! «О счастливые детки! — восклицают они, сжимая их в крепких своих объятиях.— Да пошлет вам милостивый господь долгий век, а наш пусть зато укоротит, коли на то пошло. Растите большими, на отца с матерью похожими, и будьте, как они, благословением края своего». Часто думаю я о том, что большинство этих крестьян носило оружие и умеет действовать шпагой и мушкетом так же хорошо, как садовым ножом и мотыгой, и когда я вижу среди них Юлию, такую прелестную и окруженную таким почтением, когда слышу трогательные приветствия, обращенные к ней самой и к ее детям, мне вспоминается знаменитая и добродетельная Агриппина, показывающая своего сына войскам Германика. О Юлия, женщина несравненная! В простоте частной жизни ты пользуешься несокрушимой властью мудрости и благодеяний; для всего края ты милое и священное сокровище, которое каждый хочет оберегать и готов защитить ценою собственной крови; народ, среди коего ты живешь, почтил тебя любовью, и она служит для тебя более надежной охраной, нежели для королей охрана из всех солдат, коими они себя окружают.

Ввечеру все вместе весело возвращаются домой. Поденщики получают кров и пищу на все время сбора винограда; а в воскресенье, после вечерни, все собираются вместе и танцуют до ужина. В будние дни, воротясь домой, мы тоже не сразу разлучаемся; только барон, который никогда не ужинает, очень рано ложится спать, а поэтому Юлия вместе с детьми поднимается в отцовские покои и остается там, пока он не уйдет в свою опочивальню. Но, кроме сего, с первого дня, как принимаются за сбор винограда, и до того дня, как расстаются с сим занятием, обычаев городской жизни более не примешивают к жизни сельской. Наши сатурналии куда более приятны и разумны, нежели сатурналии римлян. Перемена ролей в древнем Риме была только мнимая и не могла быть назидательной ни для господина, ни для раба; но сладостное равенство, царящее здесь, восстанавливает естественный порядок вещей и, служа

для одних уроком, для других утешением, всех соединяет узами дружбы [1].

Местом собраний служит убранная на старинный лад зала с большим камином, где разводят жаркий огонь. Комната освещается тремя лампами,— к ним г-н де Вольмар прибавил только колпаки из белой жести, которые защищают от копоти и отражают свет. Дабы не возбуждать зависти и печали, хозяева постарались не украшать залу такими вещами, каких эти славные люди не могут видеть в своих домах, так что достаток оказывается здесь лишь в хорошем отборном качестве предметов самых обычных и в несколько более щедром их распределении.

Ужинают тут за двумя длинными столами. Роскоши и парадной сервировки здесь не найдете, зато увидите изобилие и радость. За стол садятся все вместе — и господа, и батраки, и слуги; каждый без различия встает с места, чтобы услужить другим, не делая никаких исключений, не оказывая никому преимущества, и прислуживают всегда любезно и охотно. Пить разрешается сколько угодно,— предел свободы устанавливает только порядочность. Присутствие хозяев, столь почитаемых всеми, сдерживает сотрапезников, но не мешает непринужденности и веселью. Ежели случится, что кто-нибудь забудется, праздник не омрачают выговорами, но на следующий же день виновника увольняют и помилования никогда не дают.

Я, так же как и все, наслаждаюсь утехами, обычными для здешних краев в дни сбора винограда. Снова живу на приволье, свойственном жителям Вале, и довольно часто пью неразбавленное вино; но пью лишь ту чару, которую наливает мне одна из кузин. Они берут на себя обязанность соразмерять мою жажду с моими силами и оберегать мой разум. Кто же лучше их знает, как надо им управлять, кто искуснее их умеет лишать меня разума и вновь мне его возвращать? Ежели цело-

---

[1] Раз это порождает всеобщее праздничное расположение духа, одинаково сладостное как для тех, кто нисходит до нижестоящих, так и для тех, кто поднимается к вышестоящим,— не вытекает ли отсюда, что любое положение в обществе само по себе безразлично, было бы только желание и возможность иной раз выйти из него. Нищие несчастны оттого, что всегда остаются нищими, а короли — оттого, что всегда остаются королями. Различные ступени среднего состояния, из которого выйти легче, расширяют кругозор людей, его занимающих, ибо дают им больше возможности распознать всяческие предрассудки и больше возможности для сравнений. Вот почему, думается, главным образом в среднем состоянии встречаются люди наиболее счастливые и здравомыслящие.

дневный труд, долгая и веселая трапеза придают больше крепости вину, налитому мне дорогой рукой, то я без стеснения изливаю свои восторги,— в них теперь уже нет ничего такого, о чем должен я молчать, ничего такого, чему может служить помехой присутствие рассудительного Вольмара. Я теперь нисколько не боюсь, что его проницательный взор читает в глубине моего сердца, и когда нежное воспоминание вдруг шевельнется в душе, взгляд милой Клары отвлечет меня, а взгляд Юлии заставит меня покраснеть.

После ужина еще не расходятся часок-другой,— треплют коноплю; каждый по очереди поет какую-нибудь песню. Иногда поют хором все вместе, или же одна работница запевает, а другие подхватывают припев. По большей части поют старинные песни, в мелодиях коих мало живости, зато есть черты седой древности и нечто сладостное, что так и хватает за душу. Слова самые простые, бесхитростные, зачастую печальные, и все же приятно их слушать. Невольно Клара улыбается, Юлия краснеет, а я вздыхаю, когда мы находим в этих песнях те самые обороты и выражения, какие мы сами употребляли когда-то. Тогда я гляжу на двух кузин, вспоминаю далекие невозвратные дни, трепет волнения охватывает меня, на сердце вдруг наваливается тяжелый камень, и мною овладевает мрачное чувство, от коего я освобождаюсь с трудом. И все же в этих посиделках есть какая-то неизъяснимая прелесть, к ней я весьма чувствителен. Это соединение людей, совсем разных по своему положению, простая работа, коей они тут занимаются, ощущение отдыха, дружеского согласия, мира наполняет душу чувством покоя и умиления, отчего и песни становятся краше. Да и хор женских голосов не лишен приятности. Я даже уверен, что пение в унисон приятнее всех гармонизаций, а если нам требуются аккорды, то лишь потому, что у нас извращенные вкусы. В самом деле, разве вся гармония уже не заключена в любом звуке? Что можем мы к нему добавить, не искажая самой природой установленного соотношения в силе гармонически сливающихся дополнительных звуков? Когда мы удваиваем силу лишь некоторых звуков, а не усиливаем их все одинаково, разве мы не разрушаем тем самым сих естественных соотношений? Природа постаралась все сделать как можно лучше, но мы хотим переделать ее и все портим.

В вечерней работе идет такое же соревнование, как и в дневной; вчера я вздумал было немножко сплутовать, и как же меня за это пристыдили! Я не очень-то большой мастер трепать коноплю, да еще частенько бываю рассеянным, и, к моей

досаде, все надо мной смеются из-за того, что я меньше всех наработал,— и вот я потихоньку пододвинул к себе ногой кострику, сброшенную на пол моими соседями,— я хотел, чтобы у меня куча была побольше; но безжалостная Клара тотчас все заметила, подала знак Юлии, и та, поймав меня с поличным, строго меня отчитала. «Господин мошенник,— громко сказала она,— никаких обманов — даже в шутку! А то ведь и в самом деле можно привыкнуть к плутовству и, что еще хуже, посмеиваться при этом» [1].

Вот как здесь проходит вечер. А когда уже пора бывает расходиться, г-жа де Вольмар говорит: «Идемте пускать фейерверк». Тотчас каждый берет свою кучу кострики — почетное доказательство проделанной работы; все торжественно несут кострику во двор, складывают в одну груду, словно трофеи, взятые на поле брани, и поджигают. Но эта честь достается не каждому, ее присуждает сама Юлия, поднося горящий факел тому или той, кто больше всех за вечер натрепал конопли; если это она сама, то и себе самой без стеснения оказывает эту честь. Столь величественная церемония сопровождается веселыми возгласами и рукоплесканиями. Кострика горит ярким пламенем, которое поднимается до облаков, а вокруг этого костра прыгают, скачут, хохочут. Затем всех присутствующих угощают вином,— каждый пьет за здоровье победителя в состязании и отправляется спать, довольный истекшим днем, полным трудов и невинной веселости, столь любезной сердцу, что каждому хотелось бы, чтобы так было завтра, и послезавтра, и всю жизнь.

## ПИСЬМО VIII

*К г-ну де Вольмару*

Порадуйтесь, дорогой Вольмар, плодам трудов ваших. Примите почтительное восхищение просветленного сердца, которое вы с таким трудом сделали достойным вашей дружбы. Никогда еще человек не предпринимал того, что вы решились предпринять; никто даже и не пытался сделать то, что вы совершили, никогда еще благодарное и чувствительное сердце не испытало тех чувств, какие вы внушили мне. Душа моя утратила всю свою силу, всю энергию, самую свою суть; вы все мне возвратили; я обязан вам той нравственной жизнью, в коей чувствую себя возродившимся. О благодетель мой! Отец мой! Я готов

[1] Ты, кто присвоил себе масло, не мешало бы тебе знать об этом.

всецело отдать себя вам, но и тут могу только, как богу, принести вам лишь то, чем вы одарили меня.

Нужно ли мне признаться в своей слабости и в страхах своих? До сей поры я постоянно не доверял себе. Лишь неделю тому назад мне пришлось краснеть от стыда за себя, и я считал всю вашу доброту напрасной. То был миг жестокого испытания, опасного для добродетели. Благодаря небу, благодаря вам,— он миновал и больше не вернется. Я считаю себя исцелившимся, и не только потому, что вы мне это говорите, но и потому, что сам это чувствую. Теперь уже не нужно, чтобы вы ручались за меня,— благодаря вам я и сам в силах отвечать за себя. Стоило мне разлучиться с вами и с нею, и я понял, кем бы я был без вашей поддержки. Вдали от мест, где она обитает, я убедился, что могу без страха находиться близ нее.

Я подробно описал г-же д'Орб наше путешествие. Не стану повторять здесь свое описание. Очень хочу, чтобы вам стали известны все мои слабости, но у меня духу не хватает рассказать вам о них. Дорогой Вольмар, это последнее мое прегрешение; с некоторой гордостью чувствую, что оно уже совсем далеко от меня, но само мгновение так еще близко, что признаваться мне тяжело. Вы, который смогли простить мне мои заблуждения, ужели не простите вы мне то, что вызывает в душе моей стыд и раскаяние?

Теперь ничто не препятствует моему счастью,— милорд мне все сказал. Так, значит, дорогой друг, я буду членом семьи вашей, буду воспитывать ваших детей? Я, старший из ваших сыновей, буду воспитывать обоих младших. Как пламенно я этого желал! И надежда, что вы признаете меня достойным столь высокого назначения, удваивала мои старания заслужить ваше доверие! Сколько раз я дерзал показывать Юлии это свое стремление! С каким удовольствием я зачастую толковал в свою пользу ее и ваши речи! Но хотя Юлия не оставалась равнодушна к моему рвению и, казалось, одобряла его цель, я не замечал, чтобы она вполне согласна была с моим желанием, и потому не решался открыто заговорить о нем. Я чувствовал, что надо заслужить эту честь, а не требовать ее. Я ждал от вас и от нее сего свидетельства вашего доверия и уважения ко мне. Надежда не обманула меня; друзья мои, поверьте, я не обману ваших надежд.

Вы знаете, что после тех бесед о воспитании детей, кои мы вели с вами, я набросал на бумагу мысли, на которые меня эти беседы натолкнули,— вы эти мысли одобрили. После моего

отъезда мне пришли новые соображения о том же предмете, и я все это свел в своего рода систему и, когда приведу ее в порядок, сообщу вам, дабы и вы, в свою очередь, разобрались в ней. Надеюсь, что по прибытии в Рим мне удастся привести свои записки в такое состояние, что можно будет их показать вам. Система моя начинается как раз с того, чем кончается система Юлии,— или, вернее, является ее продолжением и развитием, ибо в целом она направлена на то, чтобы не испортить естественную натуру человеческую, приноравливая ее к обществу.

Благодаря вашим заботам я вновь обрел рассудок: я вновь стал свободен и здоров душою, я чувствую себя любимым всеми, кто мне дорог, передо мною открывается чудесное будущее,— положение, казалось бы, восхитительное, но, видно, уж мне на роду написано не знать душевного спокойствия. Приближаясь к концу своего путешествия с милордом, я вижу, что наступает решающая пора жизни моего достославного друга, и не кто иной, как я, должен, так сказать, решить его судьбу. Могу ли я сделать для него хоть один раз то, что он много раз делал для меня? Могу ли я достойно выполнить величайший в моей жизни, важнейший долг? Дорогой Вольмар, я храню в сердце все уроки, преподанные вами, но как сделать их полезными и для других? Ах, почему нет у меня вашей мудрости? Ах, если б я увидел когда-нибудь Эдуарда счастливым! И если бы, согласно его собственным и вашим намерениям, мы собрались все вместе и никогда уж больше не разлучались,— чего мне еще желать? Лишь одна остается у меня мечта, но осуществление ее зависит не от вас, не от меня и ни от кого на свете, а лишь от того, кто должен вознаградить добродетели вашей супруги и ведет втайне счет добрым делам вашим.

## ПИСЬМО IX

*К г-же д'Орб*

Где вы, прелестная кузина? Где вы, любезная наперсница слабого сердца, владеть которым у вас столько прав и которое вы столько раз утешали? Придите, дайте мне покаяться вам в последнем своем заблуждении. Ведь вы всегда помогали душе моей очиститься от скверны, не правда ли? И может ли она еще упрекать себя за те грехи, в коих исповедалась вам? Нет, я теперь уже не тот, каким был прежде, и переменой этой обязан вам: вы вложили в грудь мою новое сердце, и первые

свои чувства оно несет вам; но пока я не отдал в ваши руки прежнее мое сердце, я не поверю, что избавился от него. О вы, видевшая его рождение, примите его последний вздох.

Можете вы себе это представить? Никогда в жизни я не был так доволен собою, как в минуту расставания с вами. Раскаявшись в долгих своих заблуждениях, я полагал, что в эту минуту совершится запоздалое мое возвращение на стезю долга. Наконец-то заплачу я за все, чем обязан другу своему,— ради него я покидаю столь дорогой мне приют и следую за мудрым своим благодетелем. А он делал вид, будто нуждается в моей помощи, хотя тем самым подвергал риску успех своего начинания. Чем горше была мне разлука с вами, тем больше я гордился такой жертвой. Потратив половину жизни на все возраставшую несчастную любовь, я отныне посвящаю другую половину жизни на то, чтобы оправдать ее и воздать своими добродетелями самую достойную хвалу той, которой так долго отдавал я весь жар своей души. Как радовался я первому дню, в который за меня не придется краснеть ни вам, ни ей и никому из тех, кто мне дорог.

Милорд Эдуард боялся трогательных проводов, и мы с ним решили уехать потихоньку от всех; но, хотя весь дом еще спал, мы не могли обмануть вашей дружеской бдительности. И вот я увидел, что ваша дверь полуоткрыта и ваша горничная сторожит возле нее, затем увидел вас, идущей нам навстречу, а в столовой нашел приготовленный для чая стол,— и все это привело мне на память схожие обстоятельства,— в другие времена; сравнив нынешний свой отъезд с тем, который он мне напомнил, я почувствовал, насколько я стал теперь другим, порадовался, что Эдуард будет свидетелем произошедшей во мне перемены, и возымел надежду, что в Милане я заставлю его забыть ту недостойную сцену, какая была в Безансоне. Никогда еще у меня не было столько мужества, и мне так хотелось выказать его при вас; я желал блеснуть твердостью, которой вы еще никогда у меня не видели; я гордился тем, что, расставаясь с вами, на мгновение предстану перед вашим взором таким, каким я буду теперь всегда. От этой мысли мужество мое возрастало, надежда на ваше уважение придавала мне силы, и, быть может, при прощании с вами глаза мои остались бы сухи, но когда потекли у меня по щеке ваши слезы, я не мог сдержаться и заплакал вместе с вами.

Я уехал, полный сознания своих обязанностей,— особенно тех, кои налагает на меня ваша дружба, и полный решимости употребить остаток своей жизни на то, чтобы заслужить эту

дружбу. Эдуард произвел смотр всем моим провинностям и, перечисля их, нарисовал весьма нелестную для меня картину; вполне справедливо и весьма строго он порицал сии многочисленные слабости, конечно нисколько не опасаясь последовать моему примеру. Однако он делал вид, будто страшится сей возможности, с большим беспокойством говорил о нашей поездке в Рим и о недостойных привязанностях, кои, против его воли, опять влекут его туда. Впрочем, я без труда угадал, что он преувеличивает грозящие ему опасности, для того чтобы я больше беспокоился за него и отвращался от предстоящих мне искушений.

Когда приближались мы к Вильневу, лакей милорда, ехавший верхом на норовистой лошади, упал и ушиб себе голову. Милорд велел пустить ему кровь и решил заночевать в этом городе. Мы рано пообедали, а затем наняли лошадей и отправились в Бе поглядеть на соляные промыслы, и, поскольку у милорда есть свои особые причины интересоваться ими, я произвел промеры и сделал чертеж градирни; в Вильнев мы возвратились лишь к ночи. После ужина мы беседовали за стаканом пунша, засиделись до позднего часа. И вот тогда милорд Эдуард сообщил, какие обязанности мне будут доверены и что уже сделано для того, чтобы я мог их выполнять. Вы, конечно, понимаете, как взволновала меня эта весть. Какой уж там сон после такого разговора! А все же надо было ложиться спать.

Войдя в отведенную мне спальню, я узнал ту самую комнату, в которой останавливался некогда по дороге в Сион. Трудно и передать, какое впечатление произвело это на меня. Я был поражен, на мгновение показалось мне, будто я все тот же, каким вы знали меня тогда; десять лет жизни стерлись, все несчастья позабылись. Увы! Заблуждение было мимолетным, и в следующее мгновение еще тяжелее стало бремя всех пережитых страданий. Какие печальные размышления овладели мною после первой волшебной минуты! Какое горестное сравнение предстало моему уму! Очарование первой молодости, восторги первой любви, зачем еще вспоминать о них сердцу, объятому гнетущей тоской, измученному своими печалями. О минувшее время, счастливое время, тебя уж боле нет! Я любил, я был любим. В спокойствии невинности я предавался восторгам разделенной любви; я жадно вкушал дивное чувство, в коем для меня была вся жизнь, сердце мое упивалось сладостной надеждой, восторг, восхищение, блаженство поглощали все силы души моей! Ах! на скалах Мейери, зимой, средь ледников и ужасных пропастей, чей жребий в мире мог с моим

сравняться?.. А я еще плакал, я еще почитал себя достойным жалости, я еще смел тосковать. А ныне!.. Что делать мне теперь, когда я всем владел и все потерял?.. Я заслужил вполне свое несчастье, ибо мало сознавал прежнее свое блаженство... В те дни я плакал... Ты плакал? Несчастный, ты больше не плачешь... Ты даже не имеешь права плакать... «Зачем она не умерла!» — дерзнул я воскликнуть в исступлении. Да, тогда я был бы менее несчастным, я осмелился бы предаться скорби, не ведая укоров совести, я целовал бы холодный камень на ее могиле; мои страдания были бы ее достойны; я говорил бы: «Она слышит мои жалобы, она видит мои слезы, мои стенания трогают ее, она им рада и не отвергает чистой моей любви, поклонения моего...» У меня по крайности была б надежда уйти к ней... Но она жива, она счастлива... Она живет, и ее жизнь — это моя смерть, ее счастье — пытка для меня; а небо, отняв ее у меня, лишило меня права вспоминать о прошлом!.. Она живет не для меня, она живет, чтоб повергать меня в отчаяние. И во сто крат я дальше от нее, чем если б не было ее среди живых.

Я лег в постель во власти этих печальных мыслей; они преследовали меня и во сне, наполняя его мрачными видениями. Горькие муки, сетования, смерть — вот что рисовали мне сонные грезы, все былые мои страдания принимали в моих глазах новый облик и вторично терзали меня. И все один и тот же сон, самый жестокий из всех, упорно преследовал меня; одно за другим являлись мне смутные видения, но все они кончались этим сном.

Мне снилось, будто достойная матушка вашей подруги лежит на смертном одре, а дочь ее, опустившись на колени, проливает слезы, целует ей руки, принимает ее последний вздох. Картину сию вы когда-то мне описали, и я всегда буду ее помнить. «О матушка,-- говорила в моем сне Юлия голосом, терзавшим мне душу.— О матушка, вы дали мне жизнь, а из-за меня умираете. Ах, отнимите у меня ваш благодетельный дар, без вас он для меня дар роковой».— «Дитя мое...— с нежностью отвечала ей мать.— Покорись участи своей... бог справедлив... ты тоже будешь когда-нибудь матерью...» Она не могла договорить. Я поднял глаза, хочу взглянуть на нее и уже не вижу ее. На ее месте лежит Юлия: я сразу узнал ее, хотя лицо ее было закрыто покрывалом. Я вскрикнул, бросился к ней, хочу откинуть покрывало и не могу его коснуться; в мучительных попытках протягиваю руки и хватаю пустоту. «Друг, успокойся,— говорит она слабым голосом,— меня спрятало от тебя

грозное покрывало, ничья рука не может откинуть его». При словах этих я вновь бросаюсь, хочу сорвать покрывало и... пробуждаюсь: нет ничего, лежу в постели, разбитый усталостью, весь в испарине, и слезы льются по щекам.

Вскоре ужас рассеивается, измученный, я вновь засыпаю,— все тот же сон и те же страдания; я пробуждаюсь и засыпаю в третий раз. Все та же зловещая картина — опять смертное ложе, опять непроницаемый покров, ускользающий от рук моих, скрывает от глаз ту, что испускает последний вздох.

Когда я пробудился в третий раз, ужас мой был так велик, что я и наяву не мог его преодолеть. Я соскочил с постели, сам не зная, что делаю. Я ходил по комнате, испуганный, как ребенок, ночными тенями; вокруг, казалось мне, витали призраки, а в ушах моих все еще так жалобно звучал знакомый голос, который никогда не мог я слышать без волнения. Предрассветный сумрак, где уже обозначались очертания предметов, преображал их по воле моих смятенных чувств. Ужас мой все усиливался, я уж ничего не мог соображать; с трудом найдя дверь, я выбежал из комнаты и ворвался в спальню Эдуарда. Раздвинув полог, я рухнул на его постель и воскликнул, задыхаясь: «Все кончено, я больше ее не увижу!» Эдуард мгновенно проснулся и схватил шпагу, полагая, что на него напали воры. Но тотчас он узнал меня, а я очнулся и второй раз в жизни предстал на суд его в ужаснейшем смущении,— оно, конечно, вам понятно.

Эдуард усадил меня, стал успокаивать, расспрашивать. Лишь только он узнал в чем дело, то попытался все обратить в шутку; но, видя, что я глубоко потрясен и что впечатление это не так-то легко рассеять, он переменил тон. «Вы не заслуживаете ни моей дружбы, ни моего уважения,— сказал он мне довольно резко.— Если бы я проявил к своему лакею хоть четвертую долю тех забот, какими окружал вас, то, несомненно, сделал бы из него человека. Но вы — ничтожество!» — «Ах! Вы совершенно правы! — ответил я.— Все, что во мне было хорошего, исходило от нее; а я больше ее никогда не увижу; я теперь ничтожество!» Он улыбнулся и обнял меня. «Успокойтесь,— сказал он,— возьмите себя в руки, завтра вы будете рассудительнее; я все беру на себя». После того, переменив разговор, он предложил мне ехать дальше. Я согласился. Приказали запрягать лошадей; мы оделись. Взбираясь в карету, милорд что-то сказал на ухо кучеру, и мы отправились.

Мы ехали молча. Я так был поглощен мыслями о своем зловещем сне, что ничего не слышал, ничего не видел; я даже

не заметил, что накануне озеро было у нас справа, а теперь — слева. И лишь когда колеса застучали по булыжнику мостовой, я с весьма понятным удивлением обнаружил, что мы возвратились в Кларан. Шагах в трехстах от ворот милорд приказал кучеру остановиться и, отведя меня в сторону, сказал: «Вы видите, каков мой план,— объяснений он не требует. Ступайте, ясновидящий,— добавил он, сжимая мне руку,— ступайте, повидайтесь с нею. Хорошо, что вы показываете свои безумства только тем, кто любит вас. Поторопитесь, я жду вас, но, главное,— возвращайтесь лишь после того, как выбросите из головы и разорвете приснившееся вам зловещее покрывало».

Что мне было сказать? Я двинулся, не отвечая. Я шел очень быстро, но, приближаясь к дому, в раздумье замедлил шаги. В какой роли я сейчас предстану? Как мне показаться вам на глаза? Какой предлог придумать для непредвиденного сего возвращения? Да хватит ли у меня дерзости рассказать о своих нелепых страхах и выдержать презрительный взгляд великодушного Вольмара? Чем ближе подходил я к воротам, тем более ребяческими казались мне мои страхи, и мне стыдно было за свою выходку. Но все же мрачное предчувствие еще тревожило меня, и я никак не мог успокоиться. Я продолжал свой путь, хотя брел весьма медленно, а когда был уже у самых ворот, услышал, как отворили и заперли на ключ калитку в ограде Элизиума. Видя, что никто не вышел, я обогнул изгородь с наружной стороны и пошел по берегу ручья, как можно ближе к вольере. И тогда, насторожив слух, я услышал, Клара, что вы беседуете с нею, и хотя не мог уловить ни единого слова, различил в вашем голосе какую-то томную негу, что привело меня в волнение, а в голосе Юлии была, как всегда, ласковая кротость и такое безмятежное спокойствие, что вмиг мое смятение прошло, и я действительно пробудился от страшного сна. Сразу я почувствовал себя другим человеком, и моя напрасная тревога мне самому показалась смешной. Стоило мне перескочить через изгородь и пробраться сквозь кусты, и я увидел бы живой, невредимой и здоровой ту, которую, мнилось мне, я уже никогда более не увижу; и тут я навеки отрекся от своих страхов, от ужасных химер, и даже без труда принял решение уехать, не взглянув на нее. Клянусь вам, Клара, не только я не видел ее, но, тронувшись в обратный путь, я преисполнился великой гордостью: ведь я не позволил себе посмотреть на нее хотя бы одно мгновение, не был до конца слабым и суеверным и, по крайней мере, хоть показал себя достойным дружбы Эдуарда, преодолев веру в сновидения.

Вот, дорогая кузина, что я хотел сказать вам, решив во всем признаться на прощанье. В остальном наше путешествие не представляло ничего занимательного,— не стоит его описывать; скажу лишь, что после того случая не только милорд доволен мною, но я сам еще больше доволен собою, ибо хорошо чувствую полное свое исцеление, а ему оно не так заметно. Боясь вызвать у него напрасное недоверие, я не сказал ему, что совсем не видел вас. Он только спросил меня, отбросил ли я покрывало, я без малейших колебаний ответил утвердительно, и больше мы об этом не говорили. Да, кузина, я навсегда отбросил покрывало, так долго затмевавшее мне свет разума. Все мучительные тревоги улеглись. Я отлично вижу свой долг и радуюсь ему. Вы обе стали мне еще дороже, чем прежде, и сердце мое уже не отличает вас одну от другой: неразлучные подруги, вы и в сердце моем неразлучны.

Позавчера приехали мы в Милан. Послезавтра едем дальше. Рассчитываем через неделю быть в Риме; надеюсь, что там нас будут ждать весточки от вас. Мне не терпится увидеть двух удивительных женщин, кои уже так давно смущают покой величайшего из людей. О Юлия! О Клара! только равная вам заслужила бы право подарить ему счастье.

## ПИСЬМО X

*Ответ г-жи д'Орб*

Мы все с нетерпением ждали вести от вас; не надо и говорить, какое удовольствие ваши письма доставили нашей маленькой общине; но вы, конечно, не догадываетесь, что меня они, быть может, порадовали меньше всех в доме. Все были довольны, узнав, что вы благополучно перевалили через Альпы, а я думала о том, что вы теперь по ту сторону Альп.

Относительно некоторых обстоятельств, сообщенных вами в письме ко мне, барону мы ничего не сказали, да и остальным я сочла совершенно излишним передавать кое-какие ваши разговоры с самим собою. Г-н де Вольмар, как человек рассудительный, только посмеялся над вами, но Юлия вспомнила о последних минутах жизни своей матушки, вновь затосковала о ней и проливала горькие слезы. В вашем сне она заметила лишь то, что оживило ее скорбь.

Что касается меня, должна сказать вам, дорогой мой наставник, следующее: для меня уже совсем не удивительно, что вы непрестанно любуетесь самим собою, всегда прощаетесь с

каким-нибудь безумством и собирастесь стать благоразумным; вы всю жизнь только и делаете, что корите себя за вчерашний день и расхваливаете себя за то, каким вы будете завтра.

Должна признаться также, что великое усилие воли, проявленное вами, когда вы очутились так близко от нас, и мужественная решимость уйти не солоно хлебавши не кажется мне столь великолепной, как вам. На мой взгляд, тут больше тщеславия, нежели здравого смысла, и в конечном счете я предпочла бы поменьше силы характера, но побольше рассудительности. Раз вы таким образом удалились, разрешите спросить, зачем вы приходили? Вам стыдно было показаться, а следовало стыдиться того, что вы не смеете нам показаться; ужели сладость свидания с друзьями не перевесила бы во сто крат маленькое огорчение от их насмешек? Да разве не было бы для вас счастьем предстать перед нами с испуганным видом, вызвать наш хохот? Ну так вот,— тогда я над вами не смеялась, зато теперь смеюсь,— правда, я лишена удовольствия хорошенько позлить вас,— поэтому не могу и посмеяться от всей души.

К сожалению, вы сделали еще и кое-что похуже: вы заразили меня своими страхами, но не передали мне своего успокоения. В вашем сне есть что-то ужасное, против моей воли он печалит и тревожит меня. Читая ваше письмо, я порицала вас за такие волнения, а когда кончила читать, рассердилась, зачем вы так уверены, что все будет хорошо. Право, невозможно понять, почему вы так взволновались и почему так быстро успокоились. Что за странность! Отчего мрачные предчувствия владели вами до той минуты, когда вы могли, но не пожелали их рассеять? Один только шаг, одно движение руки, одно слово — и все было бы кончено. Без оснований вы встревожились и без оснований успокоились; у вас страх прошел, но передался мне; и получилось так, что вы единственный раз в жизни проявили силу характера, но сделали это за мой счет. После вашего рокового письма у меня все время щемит сердце; я смотрю на Юлию с ужасом, вся трепещу от мысли: вдруг мы ее потеряем; и мне поминутно кажется, что уже смертельная бледность разливается по ее лицу; нынче утром я обняла ее и вдруг, не знаю почему, расплакалась. Ах, это покрывало! Это покрывало!.. В этом есть что-то зловещее. Я как подумаю о нем, прихожу в смятение. Нет, не могу простить вам, что вы имели возможность сорвать покрывало и не сделали этого, и боюсь, что у меня не будет ни минуты покоя, пока я не увижу вас близ нее. Подумайте только, как долго вы говорили о

философии, а в конце концов показали себя философом совсем не к месту. Ах, пусть уж вам снятся безумные сны, но не таитесь от своих друзей,— это куда лучше, чем быть мудрецом и бежать от них.

Из письма милорда к г-ну де Вольмару, кажется, можно заключить, что он имеет серьезные намерения приехать сюда и обосноваться в Кларане близ нас. Лишь только он примет такое решение и умом и сердцем, возвращайтесь оба и благополучно бросьте здесь якорь,— вот желание всей нашей маленькой общины и особенно вашего друга

*Клары д'Орб.*

P. S. Кстати сказать, ежели вы ничего не слышали из нашего с Юлией разговора в Элизиуме, то, пожалуй, оно и лучше для вас,— вы ведь знаете, как я проворна: сразу увижу человека, хоть он меня и не замечает, и по своему коварству подниму на смех того, кто подслушивает.

## ПИСЬМО XI

*Ответ г-на де Вольмара*

Я написал милорду Эдуарду и так много говорил о вас, что теперь, взявшись за перо, чтоб написать вам, могу только отослать вас к этому письму. В ответ на ваше послание мне, может быть, следовало бы выразить столь же благородные чувства, какими оно исполнено, но призвать вас в свою семью, обращаться с вами как с братом, как с другом своим, сделать сестрой вашей ту, что была вашей возлюбленной; вручить вам родительскую власть над моими детьми, доверить вам свои права после того, как я отнял у вас ваши права,— вот какой похвалы я счел вас достойным. А если вы оправдаете мое доверие и заботы о вас,— это будет вполне достойной благодарностью с вашей стороны. Я старался почтить вас своим уважением, почтите и вы меня вашими добродетелями.

Сон ваш нисколько не поразил меня, я, право, не вижу, почему вы корите себя за то, что он вам приснился. Думается мне, для человека философического склада ума повторение сна дело вполне естественное.

Но я готов упрекнуть вас не столько за впечатление, какое ваш сон произвел на вас, сколько за характер его, и вовсе не по той причине, которую вы, вероятно, предполагаете. В древности некий тиран приказал умертвить человека, видев-

шего во сне, что он его заколол кинжалом. Вспомните, какое обоснование дано было казни, и примените его к себе. Как! вы едете в Италию для того, чтобы решить судьбу друга своего, а думаете о своей былой любви! Ежели бы не те разговоры, что были ввечеру, накануне того дня, никогда я бы вам не простил такого сна. Думайте-ка днем о том, что вам предстоит совершить в Риме, и тогда меньше будете по ночам грезить о том, что делается в Веве.

Наша Фаншона заболела, а посему жена моя очень занята, и ей некогда было написать вам. Но есть здесь одна особа, охотно заменившая ее в сей заботе. Счастливец вы, господин Сен-Пре! Все способствует вашему счастью: всяческие награды за добродетель сами ищут вас и просят: «Заслужи нас». Но я прошу вас, никому не препоручайте наградить меня за доброе мое отношение к вам,— я жду сего только от вас.

## ПИСЬМО XII

*К г-ну де Вольмару*

Никто не должен знать о сем письме, кроме нас с вами. Пусть в глубокой тайне будут сокрыты заблуждения самого добродетельного из людей. Какой опасный шаг я задумал! О мудрый и добрый друг мой! Если б мог я хранить в памяти все ваши советы, как храню в сердце все благодеяния ваши! Никогда еще так не нуждался я в благоразумии, и никогда еще страх, что у меня его недостаточно, так не мешал мне пользоваться имеющейся у меня малой его крупицей. Ах, где же ваши отеческие заботы, где наставления ваши и светлый разум ваш? Как мне быть без вас? В сих трудных обстоятельствах я пожертвовал бы всеми надеждами жизни своей, лишь бы вы побыли тут одну неделю!

Я обманывался в своих предположениях, до сего дня я делал лишь ошибку за ошибкой. Я опасался одной только маркизы. Увидев эту женщину, я испугался ее красоты и ловкости и постарался совсем отвратить от нее душу ее бывшего любовника. Усердствуя в своем намерении отвлечь его в ту сторону, где я не видел ничего страшного, я говорил о Лауре с уважением и восторгом, которые она и в самом деле мне внушала; я хотел сильнейшую привязанность Эдуарда ослабить другою связью, надеясь, что в конце концов он разорвет с обеими.

Поначалу он со мною соглашался, даже чересчур слушался моих советов и, быть может, желая немножко напугать

меня в наказание за мою докучливость, стал выказывать Лауре преувеличенную, как ему казалось, нежность. Но что мне теперь сказать? Нежность все та же, но только в ней уже нет никакого притворства. Сердце его устало от стольких боренийй, и Лаура воспользовалась минутой слабости Эдуарда. Впрочем, трудно, будучи близ нее, лишь притворяться влюбленным. Судите, что должен чувствовать предмет ее пламенной страсти. В самом деле, невозможно видеть сию несчастную и не быть тронутым ее видом и всем ее обликом; выражение томное и унылое не оставляет очаровательного ее лица и, смягчая его живость, придает ему еще больше прелести; подобно тому как лучи солнца пробиваются сквозь тучи, ее глаза, омраченные скорбью, мечут порою огненные взоры. Даже ее самоуничижение обладает всеми чарами скромности; глядя на Лауру, ее жалеешь, а слушая — почитаешь ее; словом, должен сказать в оправдание моего друга, что я знаю лишь двоих мужчин в целом мире, кои могут без опасности для себя находиться близ нее.

Эдуард ослеплен. О Вольмар, я это вижу, я чувствую это и с горечью в сердце об этом вам говорю. Я трепещу, боясь, что в ослеплении своем он может забыть, кто он такой, забыть свой долг перед самим собою. Я страшусь, что отважная его любовь к добродетели, внушающая ему презрение к людской молве, может привести его к другой крайности, и он бросит вызов священным законам благопристойности и порядочности. Эдуарду Бомстону заключить такой брак!.. Представьте только!.. На глазах у своего друга, который это допускает!.. который готов стерпеть это... друга, который всем ему обязан!.. Нет, пусть он сначала собственной своей рукой вырвет из моей груди сердце, а тогда уж и позорит себя.

Но что мне делать? Как вести себя? Вы знаете неистовую натуру Эдуарда. Уговорами его не возьмешь. А с недавних пор он ведет такие речи, что они отнюдь не могут успокоить мои опасения. Сначала я притворялся, будто не понимаю его; пытался косвенным путем его образумить, приводил общие истины; тут он, в свою очередь, перестал меня понимать. Если я пробую задеть его за живое, он отвечает сентенциями и полагает, что опроверг меня; если я настаиваю, он горячится, начинает говорить таким тоном, какого с близким другом не следовало бы позволять себе, ибо ждать дружеского ответа тут не приходится. Поверьте, что при таких обстоятельствах я не могу обвинить себя ни в боязливости, ни в робости, ведь когда чувствуешь, что ты исполняешь долг свой, то готов гордиться

сим, но здесь гордость надо отбросить, а думать лишь об успехе дела и помнить, что один неверный шаг может повредить наилучшим средствам. Я теперь не решаюсь вступать с ним в споры, ибо всякий раз чувствую, сколь были вы правы, когда предупреждали меня, что в доводах Эдуард сильнее меня и что никогда не стоит разжигать его страсти, противореча ему.

К тому же он как будто немного охладел ко мне. Можно подумать, что я мешаю ему. Как минутная слабость принижает человека, даже человека, во всех отношениях превосходящего простых смертных! Эдуард, душа возвышенная и гордая, боится своего друга, творение свое, ученика своего! Судя по некоторым его замечаниям, брошенным по поводу выбора того места, где он поселится, ежели не вступит в брак, кажется, что он хочет испытать мою верность на оселке личного интереса. Меж тем он хорошо знает, что я не имею права, да и не хочу расставаться с ним. О Вольмар, я исполню свой долг и повсюду последую за своим благодетелем. Да если б я оказался человеком подлым и низким, что выиграл бы я от своего вероломства? Разве Юлия и достойный ее супруг доверили бы своих детей неблагодарному? Вы не раз говорили мне, что мелкие страсти никогда со следа не сбиваются и всегда идут прямо к цели, но большие страсти можно обратить против них самих. Мне кажется, что именно здесь применимы ваши слова. В самом деле, сострадание, презрение к предрассудкам, привычка — все, что определяет на сей раз поведение Эдуарда, в действительности уходит на мелкую страсть, к нему почти невозможно подступиться, тогда как истинная любовь неразлучна с великодушием, и, обращаясь к этому чувству, всегда окажешь на любящего некоторое воздействие. Я попытался пойти сам окольным путем и уже не отчаиваюсь в успехе. Средство кажется жестоким, я прибегнул к нему с отвращением. Однако, взвесив все, я, думается, окажу услугу и самой Лауре. Что будет с нею в том высоком положении, до коего она вдруг поднимется? Сразу тогда скажется ее позорное прошлое. Но какого душевного величия она может достигнуть, оставаясь в своем положении! Ежели только я не ошибаюсь, эта странная девушка по натуре своей скорее способна найти радость в той жертве, какой я жду от нее, нежели в том высоком звании, от коего она должна будет отказаться.

А ежели и этот способ не поможет, остается обратиться к правительству, сослаться на разницу их вероисповедания, но уж к такому средству я решусь прибегнуть лишь в самом крайнем случае, когда все перепробую. Как бы то ни было, я пойду

на все, чтобы предотвратить недостойный, позорный союз. Ах, Вольмар, почтенный друг мой, каждую минуту жизни своей я хочу быть достоин вашего уважения. Что бы вам ни написал Эдуард, что бы вы от него ни услышали, помните, что никогда, пока сердце бьется у меня в груди, я не допущу, чего бы мне это ни стоило, чтобы *Лауретта Пизанская* стала леди Бомстон.

Ежели вы одобряете те меры, которые я принимаю, письмо это не требует ответа. Но ежели я ошибаюсь, научите, как поступить. Только поторопитесь, нельзя терять ни минуты. На моем письме адрес будет написан чужой рукой. Сделайте то же самое и вы, посылая мне ответ. Обдумав, что следует сделать, сожгите письмо и забудьте его содержание. Вот первая и единственная в моей жизни тайна, которую я хочу скрыть от двух сестриц: если бы я смел больше доверять своему разуму, даже и вы бы никогда ничего не узнали [1].

## ПИСЬМО XIII

*От г-жи де Вольмар к г-же д'Орб*

Курьер из Италии как будто нарочно ждал твоего отъезда, в наказание тебе за то, что ты так долго из-за него задерживалась. Это милое открытие принадлежит не мне: муж заметил, что, приказав заложить лошадей к восьми часам, ты выехала только в одиннадцать, и вовсе не из любви к нам,— ты двадцать раз изволила спросить: «Пробило десять часов?» — так как обычно в этот час привозят почту.

Ну вот ты и попалась, бедненькая сестрица, теперь уж ты не можешь отпираться. Вопреки мнению нашей милой Шайо: «Эта Клара с виду такая шалунья, а на самом-то деле особа весьма благоразумная», ты не могла остаться благоразумной до конца: ты запуталась в тех же сетях, из коих когда-то с большим трудом высвободила меня, ты возвратила мне свободу, но для себя самой не могла ее сохранить. Не пришла ли моя очередь посмеяться над тобой? Нет, дорогая подруга, надо обладать твоим очарованием и живой твоей прелестью, чтобы уметь пошутить так, как ты шутишь, и придать самой насмешке

---

[1] Чтобы лучше понять это письмо, а также письмо третье шестой части книги, надо знать историю любви милорда Эдуарда, и я сперва было решил включить ее в настоящий сборник. Поразмыслив, я не мог решиться испортить простую историю двух любовников романическими приключениями милорда. Лучше кое-что предоставить догадкам читателя.

нежный и трогательный оттенок милой ласки. Да ведь и какая разница меж нами! Мне ли потешаться над бедою, виновницей коей я стала сама, меж тем как меня ты от нее избавила? Нет ни единого чувства в сердце у тебя, за которое я не обязана была бы питать к тебе признательность; и решительно все в тебе, даже сердечная слабость твоя, порождено твоей добродетелью. Вот что меня утешает и радует. Меня приходилось жалеть, приходилось оплакивать мои ошибки, а над тобою можно с умилением посмеяться за краску ложного стыда, которую вызывает у тебя столь чистая твоя привязанность.

Возвратимся к курьеру из Италии и на минутку оставим наставления. Нельзя же мне так злоупотреблять своими старыми правами,— проповедникам дозволяется усыпить своих слушателей, но не вызывать у них нетерпения. Ну так вот! Что привез нам курьер, который у меня что-то все задерживается? Добрые вести о здоровье наших друзей и, кроме того, большое письмо для тебя. «Ах так? Прекрасно!» Вижу, что ты уже улыбаешься и вздыхаешь с облегчением: раз письмо пришло, ты уже более терпеливо будешь ждать, когда познакомишься с его содержанием.

Письма придется тебе подождать, но, конечно, оно — желанное, дорогая, ибо от него веет столь... Нет, будем говорить только о новостях, а то, что я собиралась сказать, для нас с тобой отнюдь не новость.

Вместе с письмом к тебе пришло также письмо моему мужу от милорда Эдуарда и сердечные приветствия нам всем. Вот в его письме действительно есть новости и тем более неожиданные, что в первом письме ничего о них не было сказано. Друзья наши должны были на следующий день отправиться в Неаполь, там у милорда есть какие-то дела, а оттуда они хотели съездить посмотреть на Везувий. Не понимаю, что уж такого привлекательного в этом зрелище, не правда ли, дорогая? А вернувшись в Рим,— ты только подумай, Клара!..— Эдуард собирается жениться... благодарение богу, не на своей недостойной маркизе,— у той, напротив, дела плохи. Так на ком же? На Лауре, на милой Лауре, которая... Но как же это?.. Вот удивительный брак!.. Наш друг не говорит об этом ни слова. Тотчас после свадьбы они все трое приедут сюда для последнего устройства дел. Муж не сказал мне — каких, но он по-прежнему рассчитывает, что Сен-Пре останется у нас.

Признаюсь, его молчание несколько тревожит меня. Мне трудно во всем этом разобраться. Тут нахожу я положение весьма странное и непонятную игру страстей. Как мог такой

добродетельный человек питать столь долгую страсть к такой дурной женщине, как эта маркиза? А она сама? Как могла она, при столь неистовом и жестоком характере, возыметь такую жаркую любовь к человеку, совсем не похожему на нее,— если, конечно, можно почтительно назвать любовью какую-то исступленную страсть, способную толкнуть на преступления? Как могло юное сердце, великодушное, нежное, бескорыстное сердце Лауры переносить прежнюю распутную жизнь? Как Лаура отошла от нее, почувствовав сердечную склонность, которая так часто бывает обманчива и ослепляет женщин? И как могла любовь, губительная для многих честных женщин, как могла она победить порок и сделать Лауру честной? Скажи мне, Клара, разъединить два сердца, полные взаимной любви, но не подходившие друг другу, соединить сердца, кои неведомо для них самих созданы друг для друга, добиться торжества любви с помощью самой любви; из бездны порока и позора исторгнуть счастье и добродетель; освободить своего друга от чудовища, указав ему на достойную подругу... несчастную, правда, но милую, даже честную, если только, как я на то дерзаю надеяться, утраченная честь может возродиться,— скажи: ужели сделать все это было бы преступно и следует ли осуждать того, кто против этого не восстанет?

Итак, леди Бомстон приедет сюда! Сюда, мой ангел! Что ты об этом думаешь? В конце концов ведь сущим чудом должна быть эта удивительная девушка, которую воспитание погубило, а сердце спасло, ибо любовь привела ее к добродетели! Кому же больше восторгаться ею, как не мне, ведь сама-то я полная ее противоположность: все способствовало доброму моему поведению, сердечная склонность ослепила меня. Правда, я унизилась меньше, но разве я поднялась потом так высоко, как она? Разве довелось мне избегать стольких ловушек, разве я принесла столько жертв, как она? Она нашла в себе силы подняться с последней ступени позора до первой ступени чести. Когда-то она была грешницей, но тем более, во сто крат более, достойна теперь уважения. Она чувствительна и добродетельна,— чего же еще надобно, чтобы походить на нас? Если не будет у Лауры возврата к заблуждениям молодости, то разве она меньше, чем я, имеет право на снисхождение? У кого могу я надеяться найти себе прощение? Могу ли я притязать на то, чтобы меня уважали, если сама откажу ей в уважении?

Вот что, сестрица, говорит мне разум, а сердце ропщет, и сама не знаю почему, но мне надо еще убедить себя, что хорошо будет, если Эдуард соединится с нею браком, и что друг

наш принимает в этом участие. О людское мнение! людское мнение! Как трудно сбросить твое иго! Всегда оно склоняет нас к несправедливости; дурное в настоящем заслоняет хорошее в прошлом; ужели же никогда и ничем хорошим не изгладится дурное прошлое?

Я поделилась с мужем своей тревогой относительно поведения Сен-Пре в этом деле. «Мне думается,— сказала я,— ему стыдно говорить об этом с моей кузиной. Он не способен поступить недостойно, но он слаб... слишком снисходителен к ошибкам друзей своих...» — «Нет,— ответил он,— Сен-Пре выполнит свой долг. Выполнит... Я это знаю. Больше ничего не могу вам сказать. Но Сен-Пре порядочный человек. Ручаюсь за него. Вы будете им довольны...» Клара, не может быть, чтобы Вольмар меня обманывал или сам обманывался. Уверенные его слова успокоили меня, я пришла в себя. И я поняла, что все мои страхи — от ложной щепетильности, а будь я менее суетна и более справедлива, я нашла бы, что новая леди Бомстон более достойна сего звания, нежели это кажется.

Но оставим ненадолго леди Бомстон и поговорим о нас самих. Не чувствуешь ли ты, читая это письмо, что друзья наши вернутся раньше, чем мы их ожидали? И неужели сердце ничего тебе не говорит? Не бьется ли оно сейчас сильнее, чем обычно, это сердце, столь нежное и столь похожее на мое сердце? Не думаешь ли ты о том, как опасно жить в дружеской близости с неким существом, видеть его каждый день, устроить свой приют под одной кровлей с ним? Ежели прошлые мои ошибки не лишили меня твоего уважения, то, скажи, не вызывает ли у тебя то, что было со мной, каких-либо опасений за себя самое? Сколько раз в молодые наши годы рассудок, дружба, честь внушали тебе страх за меня, а моя слепая любовь заставляла меня пренебрегать им! Теперь пришел мой черед бояться за тебя, милая моя подруга; а чтобы заставить тебя прислушаться к моим словам, на моей стороне преимущество печального опыта. Так вот, послушайся меня, пока еще не поздно, а то может случиться, что ты полжизни оплакивала мои ошибки, а вторую ее половину будешь оплакивать свои собственные. Главное же, больше не доверяй себе: шаловливая веселость охраняет лишь тех женщин, коим нечего бояться, но губит тех, на кого надвинулась опасность. Клара! Клара! некогда ты смеялась над любовью, но лишь потому, что не знала любви; тебя не коснулись ее стрелы, и ты возомнила себя недосягаемой для них. Теперь любовь мстит за себя и, в свою очередь, смеется над тобою. Научись не доверять своей преда-

тельской веселости, не то страшись, как бы она не стоила тебе когда-нибудь горьких слез. Дорогая подруга, пора тебе внимательно заглянуть в себя, ведь до сих пор ты плохо в себе разбиралась, у тебя сложилось ошибочное мнение о своем характере, и ты сама себе цены не знала. Ты верила словам Шайо; а она, судя по твоей шутливой живости, очень мало видела в тебе чувствительности; но такое сердце, как твое, недоступно ее разумению, где же ей было понять тебя,— да и никто в мире тебя не знает, кроме меня одной! Даже наш друг скорее чувствовал, чем знал, чего ты стоишь. Я нарочно оставляла тебя в заблуждении, пока это шло тебе на пользу, а теперь заблуждение сие может быть для тебя гибельным, и надобно его рассеять.

Ты такая живая и потому считаешь себя недостаточно чувствительной. Бедная девочка, как ты ошибаешься! Самая твоя живость доказывает обратное: разве не обращается она всегда на предметы, затрагивающие чувство? А разве не от сердца твоего исходит твоя прелестная жизнерадостность? Твои насмешки — ведь это признаки внимания, более трогательные, нежели приятные слова иного учтивого человека; когда ты резвишься — ты ласкаешь; ты смеешься, но смех твой проникает в душу; ты смеешься, но вызываешь при этом слезы умиления, а с теми, кто тебе безразличен, я почти всегда вижу тебя серьезной.

Ежели бы ты и в самом деле была такою, какою мнишь себя,— скажи, что могло бы так крепко соединить нас? Откуда возникли бы узы нашей беспримерной дружбы? Каким чудом моя привязанность искала бы отклика именно в сердце, неспособном к привязанности? Как! Та, что жила лишь для своей подруги, не умеет любить? Та, что хотела покинуть отца, супруга, близких и родину свою, дабы последовать за своей подругой, ничем не может пожертвовать во имя дружбы? А что делала я, у которой в груди бьется чувствительное сердце? Сестра, я только разрешала любить себя, при всей моей чувствительности всего лишь отплатила тебе равной дружбой.

Эти противоречия внушили тебе самые странные мысли о твоем характере, какие только могут быть у подобной сумасбродки: ты вообразила, что ты любящая подруга, но холодная возлюбленная. Не в силах оторваться от нежной привязанности, совсем заполнившей тебя, ты полагала себя неспособной ни на какую любовь. Ты думала, что, кроме участи твоей Юлии, ничто на свете не может взволновать тебя; словно у сердца, обладающего природной чувствительностью, она устремляется лишь на один предмет, и, словно привыкнув любить меня одну, ты могла ограничиться этой любовью! Ты шутливо

спрашивала, какого пола у человека душа? Ах, дитя мое, у души нет пола, но в наших привязанностях сказывается пол, и ты это уже начинаешь чувствовать. Первый, кто влюбился в тебя, не пробудил в тебе волнений страсти, и из этого ты тотчас заключила, что и не можешь их испытывать; раз у тебя не было любви к первому твоему вздыхателю, ты решила, что вообще не можешь никого полюбить. Однако, когда он стал твоим мужем, ты его полюбила, да так сильно, что от этого даже пострадала наша близость; в твоей бесчувственной душе нашлась достаточно нежная замена любви, осчастливившая порядочного человека.

Бедная моя сестрица, теперь ты сама должна разрешить свои сомнения. Если правда,

Ch'un freddo amante è mal sicuro amico [1],—

тогда, значит, у меня есть еще одно основание полагаться на твою дружбу. Боюсь, что так оно и есть. Однако надо уж до конца высказать тебе свою мысль.

Я подозреваю, что ты, сама того не ведая, полюбила гораздо раньше, чем думаешь,— во всяком случае, та самая склонность, которая погубила меня, ввела бы в искушение тебя, ежели бы я тебя не опередила. Ужели ты думаешь, что чувство столь естественное и столь сладостное так медлило бы зародиться? Ужели ты полагаешь, будто в том возрасте, в каком мы с тобою были тогда, можно было безнаказанно находиться в постоянном и близком общении с любезным молодым человеком и что при таком совпадении вкусов, как у нас с тобою, тут они вдруг разошлись? Нет, ангел мой, ты влюбилась бы в него, ежели бы я первая не полюбила его. Менее слабая, но не менее чувствительная, чем я, ты оказалась бы благоразумнее, но не счастливее меня. Но какая сердечная склонность могла бы победить в твоей благородной душе ужас перед предательством и неверностью в дружбе? Дружба спасла тебя от ловушек любви; в возлюбленном твоей подруги ты уже видела только своего друга, и таким образом ты спасла свое сердце за счет моего.

Предположения мои не столь уж гадательны, как ты думаешь; и если бы я захотела вспомнить те времена, кои надобно предать забвению, мне не трудно было бы доказать, что

---

[1] Холодный любовник — ненадежный друг *(итал.)*.

В оригинале утверждение дано в обратном порядке, и пусть на нас не посетуют милые дамы — у поэта это изречение имеет смысл более верный и прекрасный.

в твоем участии к моей, и только моей, как ты полагала, судьбе крылось не менее живое участие и к судьбе того, кто был мне дорог. Не осмеливаясь его любить, ты хотела, чтобы я любила его; ты считала, что мы с ним не можем быть счастливы друг без друга; и из-за этого сердце твое, коему нет равного в мире, еще нежнее любило нас обоих. Будь уверена, что, ежели бы не твоя тайная слабость к нему, ты была бы менее снисходительна ко мне; а за справедливую суровость ты упрекала себя, считая ее ревностью. Ты не чувствовала себя вправе бороться с моею склонностью, которую должно было победить, и, больше из боязни оказаться вероломной подругой, нежели из благоразумия, ты ради моего счастья пожертвовала своим счастьем, но считала, что сделала это во имя добродетели.

Родная моя, вот твоя повесть; вот как твоя тираническая дружба заставляет меня быть тебе благодарной за мой позор и быть тебе признательной за мою вину. Не думай, однако, что я теперь хочу подражать тебе,— я не склонна следовать твоему примеру, так же как и ты моему; а поскольку нечего бояться, что ты повторишь мои ошибки, у меня, благодарение небу, нет и твоих причин для снисходительности. Ты возвратила мне добродетель, и я хочу употребить ее на то, чтобы сохранить твою добродетель,— цель самая достойная, не правда ли?

Надобно еще сказать, что я думаю о нынешнем твоем состоянии. Долгая разлука с нашим учителем не изменила твоего расположения к нему; ты вновь стала свободной, а он возвратился,— вот новые и важнейшие обстоятельства, коими воспользовалась любовь. Разве в твоем сердце зародилось новое чувство? Нет, просто любви, таившейся в нем так долго, стало привольнее,— вот и все. Теперь ты с гордостью призналась в этом самой себе и поспешила рассказать об этом и мне. Признание казалось тебе почти необходимым для того, чтобы почувствовать себя совсем невиновной: став преступлением для твоей подруги, любовь эта для тебя перестала быть преступной; быть может, даже ты покорилась недугу, против коего боролась столько лет лишь для того, чтобы окончательно исцелить от него меня.

Я все это угадала, дорогая; меня совсем не встревожила сердечная склонность, которую ты питаешь, ибо мне она во спасение, а тебе не в укор. За эту зиму, которую мы провели все вместе в мире душевном и в дружбе, мое доверие к тебе возросло еще более,— ибо веселость твоя не только не уменьшилась, но как будто даже возросла. Ты была к нему нежна, заботлива, внимательна, но так откровенна в своих ласках, так

простодушна в своих шутках; ты ничего не таила, была всегда бесхитростна, и в самых насмешливых твоих поддразниваниях все скрашивала невинная жизнерадостность.

Но со дня нашей беседы в Элизиуме я тобою недовольна: ты теперь печальна и задумчива, тебе как будто приятнее быть одной, чем с подругой; речи твои не изменились, но в голосе нет прежней уверенности, шутки стали какими-то робкими, ты уже не смеешь говорить о нем так часто, как прежде,— ты словно всегда боишься, не слышит ли он тебя, и хоть ты не спрашиваешь, пришли ли вести от него, но по твоему беспокойству видно, как ты их ждешь.

Боюсь, милая сестрица, что ты не чувствуешь всей силы своего недуга: стрела вонзилась глубже, чем тебе кажется. Поверь мне и хорошенько загляни в свое израненное сердце и, повторяю, откровенно скажи себе, возможно ли для женщины, при всем ее благоразумии, без всякого риска для нее жить близ любимого, и не представляет ли для тебя опасности то самое, что погубило меня — уверенность в себе? Вы оба свободны, и как раз это усугубляет искушение. В добродетельном сердце не может быть той слабости, за которую расплачиваются угрызениями совести, и я с тобою согласна, что против преступления мы всегда бываем достаточно сильны. Но, увы, кто может поручиться, что Сен-Пре никогда не будет слаб? А посмотри, каковы последствия, подумай о муках стыда. Чтобы тебя чтили, надо самому себя почитать. Как можно заслужить у людей уважение, если сам себя не уважаешь? И если женщина без ужаса делает первый шаг на пути порока, где же она остановится? Вот что я сказала бы светским дамам, для коих нравственность и религия — ничто, ибо у них есть лишь один закон — мнение света. Но ты, женщина добродетельная и верующая, сознающая свой долг и любящая его, ты знаешь иные правила поведения, нежели суждение общества, и следуешь им; для тебя самое главное — суд твоей совести, и ты должна сохранить уважение к себе.

Знаешь, в чем твоя вина во всем этом деле? Да в том,— еще раз скажу тебе,— в том, что ты краснеешь за свое честное чувство, меж тем тебе нужно сказать о нем открыто, и оно станет невинным...[1] Но, при всей твоей шаловливой резвости, ты существо самое робкое; ты все шутишь, храбришься, а я

[1] Почему издатель оставил непрестанные повторения, коими полно и это письмо, и многие другие? По той простой причине, что его нисколько не беспокоит, нравятся ли эти письма особам, способным задать такой вопрос.

вижу, что сердечко у тебя трепещет; в любви, над которой ты притворно смеешься, ты ведешь себя, как ребенок, который, боясь темноты, начинает петь громко-громко, чтобы придать себе храбрости. О дорогая моя подруга, вспомни — ты сама тысячу раз говорила, что ложный стыд приводит к настоящему стыду, а добродетель краснеет лишь за поступки и чувства действительно дурные. Разве любовь сама по себе — преступление? Разве не является она самой чистой и самой сладостной склонностью, вложенной в нас природой? И разве не имеет она доброй и похвальной цели? Разве не презирает она души низкие и подлые? Разве не воодушевляет она души великие и сильные? Разве не облагораживает она все их чувства? Разве не живут они тогда вдвойне? Не подымаются ли они выше обычного своего уровня? Ах, ежели честной и благоразумной можно быть, лишь оставаясь неуязвимой для стрел любви, что же останется на земле для добродетели? Выродки, самые презренные из смертных?

Что дурного ты сделала? За что тебе упрекать себя? Разве ты не остановила свой выбор на человеке порядочном? Разве он не свободен? Разве ты не свободна? Разве он не заслуживает глубокого уважения с твоей стороны? И разве он не питает к тебе такое же уважение? Ужели не была бы ты более чем счастлива составить счастье друга, столь достойного сего имени, и, отдав ему свое сердце, всецело предавшись ему, уплатить старые долги твоей подруги и, подняв его положение до твоего, воздать должную честь благородному человеку, обиженному судьбой?

Я прекрасно знаю, какие деликатные соображения тебя останавливают: как можно, дескать, изменить принятое и всем объявленное решение и дать преемника покойному супругу, публично признаться в своей слабости, выйти замуж за искателя приключений! — ведь люди низкие, щедрые на оскорбительные прозвища, несомненно, так назовут его; вот по каким причинам ты коришь себя за свою склонность, вместо того чтобы оправдать ее, и предпочитаешь таить свой пламень в сердце, нежели сделать его законным. Но, скажи на милость, что постыдно: выйти замуж за любимого или любить его без замужества? Выбирай, воля твоя. Чтя память покойного мужа, ты обязана уважать и себя, как его вдову, скорее уж выйти замуж, чем взять себе любовника, и коли молодость побуждает тебя заполнить место, когда-то занятое мужем, ты опять-таки окажешь честь его памяти, выбрав человека, который был ему дорог.

Что касается неравенства, мне думается, я оскорбила бы тебя, ежели бы стала опровергать столь легковесный довод, ибо тут речь должна идти лишь о благоразумии и порядочности. Я знаю только одно постыдное неравенство, а именно неравенство в характерах или в воспитании. Какого бы высокого положения ни достиг человек, проникнутый низкими нравственными правилами, союз с ним всегда остается позором; но человек, в коем воспитали чувство чести, равен кому угодно,— нет ни одного высокого положения, где он не оказался бы на своем месте. Ты знаешь, какого мнения держался даже твой отец, когда встал вопрос о том, чтобы отдать меня за нашего друга. Он принадлежит к семье порядочной, хотя и безвестной, он пользуется уважением общества, и, конечно, заслуженно. Да если бы даже он был последним из людей, и то не следовало бы колебаться: лучше погрешить против знатности, нежели против добродетели,— жена угольщика более достойна уважения, нежели любовница принца.

Вижу еще одно затруднение: тебе необходимо будет объясниться первой; ведь ты, конечно, понимаешь, что он лишь тогда дерзнет домогаться твоей руки, ежели ты ему сие разрешишь, и вполне справедливо, что оборотной стороной неравенства зачастую бывает необходимость для вышестоящего делать унизительные для него первые шаги. Страх перед таким затруднением я тебе прощаю и признаюсь даже, что оно показалось бы мне весьма важным, если бы я не взяла на себя заботу устранить его. Надеюсь, ты полагаешься на меня и веришь, что я все сделаю, не унижая тебя; с другой стороны, я вполне рассчитываю на успех и спокойно беру на себя эту обязанность; ведь сколько бы вы оба мне ни говорили, что трудно женщину-друга превратить в возлюбленную, все же, если только я не ошибаюсь в том сердце, в коем слишком хорошо когда-то умела читать, не думаю, что в данном случае подобное превращение потребует чересчур большого искусства с моей стороны. Итак, я предлагаю тебе возложить на меня эти переговоры, для того чтобы ты могла радоваться его возвращению открыто, без всяких тайн, без сожалений, без опасений и ложного стыда. Ах, сестрица! Какая радость для меня соединить навеки два сердца, созданные друг для друга и давно уже соединенные в моих заветных мечтах! Пусть же они соединятся еще более, ежели то возможно, пусть сольются воедино в ваших чувствах и в моих. Да, моя ненаглядная, ты еще раз окажешь услугу своей подруге, увенчав его любовь; я еще более буду

уверена в своих чувствах, когда они равно будут относиться к вам обоим.

А если вопреки моим доводам этот план тебе не подходит, то, по-моему, необходимо будет во что бы то ни стало удалить от нас сего страшного человека, неизменно опасного для нас обеих: ведь как бы ни было важно для нас воспитание детей, добродетель матери еще важнее. Поразмысли хорошенько во время своего путешествия. Когда возвратишься, поговорим об этом.

Я решила отправить свое послание прямо в Женеву, потому что в Лозанне ты только переночуешь и письмо тебя уже не застанет там. Жду от тебя подробнейшего рассказа о маленькой республике. Все так расхваливают этот очаровательный город, и я считала бы тебя счастливицей, что ты его увидишь, если бы могла завидовать удовольствиям, которые покупаются ценою огорчения друзей.

Я никогда не любила роскоши, а теперь ненавижу ее за то, что она тебя отняла у нас на целую вечность. Дорогая, ни ты, ни я не ездили в Женеву покупать себе подвенечные уборы, но думаю, что, каковы бы ни были достоинства твоего брата, вряд ли его невеста, разодетая во фландрские кружева и индийские кашемиры, будет счастливее нас, при всей простоте наших нарядов. Но хоть я сержусь, а все же поручаю тебе уговорить твоих родных сыграть свадьбу в Кларане. Об этом пишет также мой отец твоему отцу, а мой муж — матери невесты; прилагаю оба письма, передай их и поддержи приглашение своим возрождающимся влиянием; вот и все, что я могу сделать для того, чтобы присутствовать на празднестве: ведь я ни за что на свете не соглашусь расстаться со своей семьей. Прощай, сестрица, черкни хоть маленькую записочку, скажи, когда тебя ждать. Нынче второй день, как ты уехала, и, право же, я не могу долго жить без тебя.

Пока я заканчивала это прерванное письмо, мадемуазель Генриетта с важным видом тоже писала тебе в соседней комнате. По-моему, дети всегда должны говорить то, что они думают, а не то, что их заставляют говорить; и поэтому я предоставила твоей любопытной девчурке писать все, что ей вздумается, и не поправила в ее послании ни одного слова. Вот тебе еще третье приложение к моему письму. Разумеется, не ее каракуль ты искала, торопливо разбирая пакет. Но уж насчет четвертого приложения можешь не беспокоиться,— ты его не найдешь. То письмо адресовано в Кларан, следовательно, в Кларане ты и должна его прочесть... Прими это к сведению.

## ПИСЬМО XIV

*От Генриетты — матери*

Маменька!

Где же вы? Говорят, в Женеве, а ведь это так далеко, так далеко, что надо ехать туда два дня с утра до ночи. А может быть, вы отправитесь еще и вокруг света? Мой папочка нынче утром уехал в Этанж, а дедуся на охоте. Мамочка заперлась и пишет. Все меня бросили. Только душенька Пернетта и душенька Фашиона меня не бросили. Господи боже ты мой, уж не знаю, почему так получается, но с тех пор, как наш друг уехал, все куда-то подевались. Вы, маменька, первая начали. И так уж было скучно, когда вам некого стало дразнить. А теперь вот и вы уехали, и мне еще скучнее, потому что и мамочка без вас сделалась какая-то грустная. Маменька, мой женишок здоров, но только он вас больше не любит, потому что вы вчера не подбрасывали его на коленях, как прежде. А я, может быть, еще буду немножко любить вас, только вернитесь поскорее, а то нам очень скучно. Если хотите меня утешить, привезите моему женишку что-нибудь хорошее. А чтобы его самого утешить, вы, наверно, тоже что-нибудь придумаете. Ах, боже мой, если бы наш друг был дома, он бы сразу догадался. Ведь мой красивый веер совсем сломался, голубое платье стало просто тряпкой, блондовая косынка изорвалась, кружевные митенки никуда не годятся. До свиданья, маменька, надо кончать письмо, потому что мамочка уже кончила писать и вышла из кабинета. По-моему, у нее красные глаза, но я не смею этого сказать ей. Но когда она будет читать мое письмо, то узнает, что я это заметила. Милая маменька, какая вы злая, раз из-за вас плачет моя мамочка.

Целую дедушку, целую дядей, целую новую тетю и ее маму; целую всех, кроме вас, маменька. Слышите? Для вас у меня не хватает поцелуев.

*Конец пятой части*

## ПИСЬМО I

*От г-жи д'Орб к г-же де Вольмар*

Перед отъездом из Лозанны хочу написать тебе коротенько, сообщить, что я доехала благополучно; только мне не так весело, как я надеялась. Я так радовалась этому путешествию — ведь мысль о нем тебя самое соблазняла; но раз ты отказалась поехать со мной, оно мне стало почти неприятным. Что мне в нем без тебя? Если оно окажется скучным, придется скучать одной; если будет веселым, жалко будет веселиться без тебя. Мне нечего возразить против твоих доводов, но неужели ты думаешь, что я довольна? Право, кузина, ты очень ошибаешься, и обидно то, что я даже не имею права обижаться. Скажи, злая, не стыдно ль тебе, что ты всегда права и постоянно противишься всем удовольствиям твоей подруги и даже не даешь ей поворчать? Неужели мир перевернулся бы, ежели бы ты на недельку рассталась со своим супругом, своим хозяйством и своими детками? Правда, это было бы легкомысленно, но зато ты стала бы во сто крат милее; а ты вот желаешь быть совершенством, хотя это никому не нужно, и тебе придется искать себе друзей среди ангелов.

Несмотря на прошлые неприятности, я все же растрогалась, оказавшись в своей семье; встретили меня с радостью, во всяком случае, щедро расточали мне ласки. О брате пока говорить не буду, подожду, когда лучше познакомлюсь с ним. Он довольно красив, только вид у него чопорный,— недаром воспитывался в Англии. Он ужасно важный и неприступный; я вижу в нем даже некоторую надменность; очень боюсь, что юная его невеста не найдет в нем такого хорошего мужа, каких мы с тобой нашли,— пожалуй, став супругом, он захочет царить в семье.

Мой отец был счастлив свидеться с дочерью и, заключив меня в объятья, на радостях даже оторвался от чтения реляции о большом сражении, которое французы только что выиграли у англичан, словно желая оправдать предсказание нашего друга. Как хорошо, что в том сражении наш друг не участвовал. Можешь ты себе представить, чтобы отважный Эдуард спокойно смотрел, как бегут от врага англичане, а вместе с ними и сам ударился бы в бегство?.. Да ни за что на свете!.. Скорее он сто раз дал бы себя убить...

А кстати, о наших друзьях — что-то давно они нам не писали. Кажется, вчера был почтовый день, не правда ли? Если от них будут письма, надеюсь, ты не забудешь, как они интересуют меня.

Прощай, сестрица, пора ехать. Жду, что получу весточку от тебя в Женеве, где мы рассчитываем быть завтра к обеду. Имей, однако, в виду, что так или иначе, а свадьба без тебя не состоится, и если ты не хочешь приехать в Лозанну, я привезу всю компанию к тебе и мы разграбим твой Кларан и выпьем все твои пресловутые иноземные вина.

## ПИСЬМО II

*От г-жи д'Орб к г-же де Вольмар*

Отлично, сестра-проповедница! Но, мне думается, ты преувеличиваешь спасительное действие своих проповедей; не стану спорить,— может быть, они и действовали некогда усыпляющим образом на твоего друга, но ныне — уведомляю тебя — они нисколько не усыпили твою подругу; твои наставления, полученные мною вчера, отнюдь не нагнали на меня сон — напротив, я всю ночь не смыкала глаз. Берегись истолкований нашего аргуса, если только он увидит это письмо! Но я тут живо наведу порядок и клянусь, что ты скорее обожжешь себе пальцы, сжигая это письмо, чем покажешь его мужу.

Если бы я стала обсуждать твои назидания пункт за пунктом, боюсь, как бы мне не присвоить себе твои права; лучше уж буду говорить как вздумается; прежде всего, из скромности и не желая играть тебе на руку, я не стану в первых же строках говорить о наших путешественниках и почте из Италии. Если со мной это случится, придется переписать письмо и начало перенести в конец. Поговорим прежде всего о предполагаемой леди Бомстон.

Один уж этот титул возмущает меня. Я не простила бы Сен-Пре, если б он допустил, чтобы это звание досталось такой особе, не простила бы Эдуарду, если б он дал ей право на этот титул, не простила бы тебе, если б ты признала ее. Юлия де Вольмар и вдруг примет в своем доме *Лауретту Пизанскую!* Будет терпеть ее возле себя! Да что ты, детка, опомнись! Какой, однако, жестокой может быть твоя кротость! Разве ты не знаешь, что атмосфера вокруг тебя убийственна для бесчестья? Да как же это несчастное существо дерзнет смешать свое дыхание с твоим? Как посмеет она дышать близ тебя? Да она будет чувствовать себя хуже, чем бесноватый, коснувшийся святых мощей; от одного твоего взгляда она готова будет провалиться сквозь землю. Одна уж тень твоя убила бы ее.

Я нисколько не презираю Лауру, упаси боже,— наоборот, я восхищаюсь ею и уважаю ее, тем более что подобное возрождение нельзя не признать героическим и редкостным. Но разве его достаточно, чтобы оправдать те унизительные сравнения, коими ты осмелилась осквернять самое себя? Подумай, ведь даже в величайших своих слабостях истинная любовь, ограждая женщину, требует, чтобы она ревниво берегла свою честь. Но я понимаю и извиняю тебя. Предметы отдаленные и низкие смешиваются теперь в твоих глазах; ты так высоко паришь над землею, что, взирая на нее, уже не видишь ее неровностей. Все идет на пользу твоему благочестивому смирению — даже сама твоя добродетель.

Прекрасно! Но что ж из этого следует? Разве естественные чувства все же не заговорят в тебе? А самолюбие не окажет своего действия? Свое невольное отвращение ты именуешь гордыней и пытаешься побороть его, приписывая его боязни общественного мнения. Добрая душа! Но с каких это пор позор, который навлекает на себя порок, зависит только от общественного мнения? И какое же общение возможно с женщиной, при которой нельзя произнести слов: «целомудрие», «чистота», «добродетель», ибо ты этим заставишь ее проливать слезы стыда, оживишь ее горестные воспоминания и почти оскорбишь кающуюся грешницу? Поверь мне, мой ангел, надо уважать Лауру, но никогда не встречаться с нею. Именно из уважения к ней честные женщины должны ее избегать, в нашем обществе она слишком страдала бы.

Прислушайся — твое сердце говорит тебе, что этот брак не должен состояться. А разве это не значит, что он никогда и не состоится? Наш друг, как ты пишешь, уже и не упоминает о нем в своем письме... в том самом письме, которое он, по твоим

словам, написал мне... (Письмо это, как ты говоришь, очень длинное, верно?) А потом эти рассуждения твоего мужа... Таинственный человек — твой супруг!.. Вы с ним чета мошенников и, сговорившись, разыгрываете меня... Впрочем, его чувства тут не имеют такого уж большого значения... в особенности для тебя, раз ты читала письмо, да и для меня, хоть я письма и не читала... Я вполне уверена в нашем с тобою друге, больше уверена, чем во всей философии.

Ах, подумай! Неизвестно как и почему, а уж этот докучный человек тут как тут в моем письме. Ну, раз я о нем заговорила, то из опасения, что он еще раз появится, надо исчерпать сей предмет и больше к нему не возвращаться.

Не будем уноситься в страну химер. Если бы ты не была моей Юлией, если бы твой друг не был когда-то твоим возлюбленным, не знаю, что стало бы с тобою, не знаю, что было бы и со мной. Одно знаю, что если б злая звезда сего молодого человека не направила его сначала к тебе, то не сносить бы ему головы, и уж сумасшедшая я или нет, но его-то я непременно свела бы с ума. Но что до того, кем я могла бы стать? Поговорим лучше о том, кем я стала. Первое, что я совершила в мире,— это полюбила тебя. В самых юных летах я отдала тебе свое сердце. Сколь ни была я нежна и чувствительна, я уже не могла любить и чувствовать сама по себе. Все мои чувства исходили от тебя, ты заменила мне все и всех, и я жила лишь для того, чтобы быть твоей подругой. Бедняжка Шайо сразу это заметила и на этом основала свое суждение обо мне. Ответь, сестрица, ошибалась ли она?

Ты знаешь — твоего друга я сделала своим братом: возлюбленный моей подруги как будто стал сыном матери моей. Такой путь избрала я не разумом, а сердцем. Будь я даже еще более чувствительной, я любила бы его лишь братской любовью. Обнимая того, кто был тебе всего дороже в мире, я в его лице обнимала тебя; залогом чистоты моих ласк была сама моя непринужденность. Разве девушка может так обращаться с тем, кого она любит? Разве ты сама так обращалась с ним? Нет, Юлия, девичья любовь робка и боязлива: сдержанность, стыдливость — вот ее оружие, она сквозит в словах отказа, и когда, преобразившись, подарит вдруг неожиданной лаской, возлюбленный сразу узнает ей цену. Дружба щедра на нежности, любовь на них скупа.

Я признаю, что слишком тесная близость всегда опасна в том возрасте, в коем мы были с ним тогда; но у нас обоих в сердце был один и тот же предмет, и мы так привыкли ставить

тебя меж нами, что, только уничтожив тебя, могли бы соединиться. Сама непринужденная близость, ставшая для нас сладостной привычкой, близость, которая при иных обстоятельствах бывает столь опасной, служила тогда мне оплотом. Чувства человека зависят от его мыслей, а если уж мысли приняли какое-то направление, они с трудом его меняют. Слишком долго говорили мы одним тоном, чтобы заговорить иначе; мы зашли слишком далеко, чтобы повернуть вспять. Любовь хочет развиваться собственными силами, и ей не нравится, когда половину пути за нее проделывает дружба. И, наконец, я и раньше говорила и сейчас уверена в том, что не срывают страстных поцелуев с тех самых уст, которые дарили тебе поцелуи невинные.

Поддержку этим чувствам оказал мне тот, кто по воле неба озарил недолгим счастьем мою жизнь. Ты хорошо его знала, сестрица, он был молод, красив, был человек порядочный, любезный, снисходительный; он не умел любить так, как любил тебя твой друг; но ведь он любил именно меня, а не тебя, а когда у женщины сердце свободно, страсть, обращенная к ней, таит в себе нечто заразительное; и вот в ответ на его любовь я дала ему все, что еще оставалось в моем сердце,— на долю моего мужа выпало еще достаточно нежности, и ему не пришлось пожалеть, зачем выбор его пал на меня. И тогда уж чего мне было страшиться? Признаюсь даже, права пола, соединенные с долгом замужней женщины, на некоторое время взяли верх над твоими правами, и, поглощенная новым своим положением, я поначалу больше думала о муже, нежели о подруге своей; но, возвратившись в лоно дружбы, я принесла тебе два сердца вместо одного, оставшись же одинокой, я никогда не забывала, что обязана уплатить двойной долг.

Что мне еще сказать тебе, милая моя подруга? Когда вернулся бывший наш учитель, он как будто стал для меня новым знакомым, я увидела его другими глазами; обнимая его, я почувствовала трепет, дотоле мне неведомый; и чем слаще было мне это волнение, тем больше я страшилась его: сердце забило тревогу, словно с моей стороны было преступлением чувство, которое и возникло-то лишь потому, что уже не могло считаться преступным. Слишком много я думала о том, что Сен-Пре уже не возлюбленный твой и более не может им быть; слишком хорошо я почувствовала, что он свободен, да и я тоже свободна. Все остальное тебе известно, сестрица; о моих страхах, угрызениях совести ты узнавала тотчас же, как они возникали. Столь новое для меня состояние так пугало мое неопытное

сердце, что я корила себя, зачем так спешу переселиться к тебе, словно мы не договорились об этом еще до возвращения нашего друга. Мне совсем не нравилось, что он находится там, где я так стремилась жить, и, думается, я предпочла бы, чтоб это стремление охладело, если б не думала, что мой приезд очень важен для тебя.

Но наконец я переехала к тебе и тогда почти успокоилась. Я меньше упрекала себя за свою слабость, с тех пор как призналась в ней тебе. А близ тебя я еще меньше корила себя: очутившись под твоей охраной, я перестала бояться за себя. По твоему совету я решила держать себя с ним так же, как прежде. Прояви я больше сдержанности, это, несомненно, стало бы своего рода изъяснением в благосклонности,— а разве нужно было увеличивать еще одним признанием те свидетельства, кои могли у меня вырваться против моей воли? Я из стыдливости продолжала дурачиться, я из скромности вела себя непринужденно; но, может быть, все это стало теперь менее естественным, я проявляла тут меньше чувства меры. Из шаловливой я сделалась шалой, и сознание, что я безнаказанно могу себе это позволить, увеличивало мою самоуверенность. Но то ли потому, что твоя победа над собою давала мне силу последовать твоему примеру, то ли потому, что Юлия делает чистым всякого, кто находится близ нее, я постепенно совсем успокоилась, и от первоначальных моих волнений осталось лишь одно чувство,— очень сладостное, правда, но спокойное и мирное; сердце мое жаждало лишь одного — чтобы вечно длилось это состояние души.

Да, дорогая моя подруга, я столь же нежна и чувствительна, как и ты, но только на свой лад. Мои привязанности живее, твои — более глубоки. Быть может, при моей живости легче находить себе развлечения, и та самая веселость, которая многим и многим стоила утраты невинности, у меня всегда ее оберегала. Должна признаться, не всегда это давалось мне без всякого труда. Да разве можно, оставшись вдовою в мои годы, не чувствовать, что жизнь только наполовину состоит из дней? Но как ты однажды сказала, по собственному своему опыту, осторожность — наилучшее средство вести себя благоразумно; ведь при всей твоей великолепной выдержке, не думаю, чтобы твое состояние так уж сильно отличалось от моего. Вот жизнерадостность и приходит мне на помощь и, может быть, делает для спасения добродетели больше, чем строгие поучения рассудка. Сколько раз в ночной тиши, когда от себя убежать невозможно, я отгоняла назойливые мысли тем, что обдумы-

вала какие-нибудь проказы на следующий день! Сколько раз во время опасной беседы с глазу на глаз я спасалась какой-нибудь сумасбродной выходкой! Слушай, дорогая, стоит только поддаться своей слабости, и неизбежно наступает минута, когда на смену веселости приходит уныние, но для меня эта минута никогда не настанет. Думается мне, я это хорошо знаю и даже дерзну за это поручиться тебе.

Ну, а после всего сказанного я свободно могу подтвердить то, что я говорила тебе недавно в Элизиуме относительно привязанности, зародившейся в моей душе, и о том великом счастье, коим я наслаждалась этой зимой. От всего сердца я отдавалась радости жить близ любимого и чувствовала, что больше мне ничего на свете не надо. Если бы так могло длиться вечно, об ином счастье я бы и не помышляла. Моя веселость вовсе не была деланной,— она исходила из душевного удовлетворения. Я изливала в шаловливых проказах удовольствие постоянно заниматься им. Я чувствовала, что, если ограничусь шутками и смехом, мне не придется плакать.

А честное слово, сестрица, иной раз я замечала, что и ему игра пришлась по вкусу. Хитрец на самом-то деле нисколько не сердился, что его стараются рассердить, и успокаивался с великим трудом лишь затем, чтобы его подольше успокаивали. Пользуясь случаем, я тогда будто в насмешку говорила ему довольно нежные слова, и мы с ним соперничали в ребячествах. Однажды он, когда тебя не было, играл с твоим мужем в шахматы, а я в той же зале играла с Фаншоной в волан; Фаншона тараторила, а я наблюдала за нашим философом. По его смиренно-гордому виду и быстроте, с коей он делал ходы, я догадалась, что он выигрывает. Столик был маленький, шахматная доска выступала за его края. Я выждала удобный момент и как будто нечаянно опрокинула ракеткой шахматы. Тебе, наверно, никогда не доводилось видеть такой гнев; наш философ до того был взбешен, что, когда я подставила ему щеку и предложила — на выбор — наказать меня пощечиной или поцелуем, он отвернулся. Я стала просить прощения, он был неумолим; если бы я бросилась перед ним на колени, он бы и не подумал меня поднять. В конце концов я сыграла с ним другую шутку, он позабыл первую комедию, и мы помирились.

При иной методе мне, несомненно, куда труднее было бы выйти из положения, и однажды я заметила, что если б я захотела, игра очень и очень могла бы пойти всерьез. Это было в тот вечер, когда он аккомпанировал нам,— мы с тобой пели такой простой и трогательный дуэт Лео: «Vado a morir, ben

mio» [1]. Ты пела довольно небрежно, а я, наоборот, была в ударе; я стояла, опершись рукой на клавесин, и в самый патетический момент, когда я даже сама взволновалась, он запечатлел на этой руке поцелуй, и сердце мое отозвалось на него. Не так уж хорошо я разбираюсь в любовных поцелуях и могу лишь сказать, что никогда дружба, даже такая дружба, как наша, не дарила и не получала подобных поцелуев. Ну и вот, детка, как ты думаешь, что делается с женщиной после таких мгновений, когда она уходит помечтать в одиночестве и уносит с собою волнующее воспоминание? Я же оборвала идиллию, потребовала сыграть плясовую, заставила философа танцевать; потом мы ужинали почти что под открытым небом, засиделись допоздна, я легла в постель очень усталая и спала беспробудным сном до утра.

Итак, у меня есть все основания не портить себе расположения духа и не изменять своих повадок. Минута, когда перемена станет необходимой, уже так близка, стоит ли ее предварять? Слишком скоро наступит пора жизни, в которой женщине положено быть благоразумной и сдержанной, а пока я еще веду годам счет от двадцати, надо мне попользоваться своими правами: ведь после тридцати милая проказница станет молодящейся дурочкой, и недаром же твой рассудительный супруг осмелился сказать, что мне еще только шесть месяцев остается «брать салат пальчиками». Ну погодите! В отместку за эту насмешку я буду брать салат руками не шесть месяцев, а шесть лет, и ему уж придется волей-неволей есть этот салат. Но возвратимся к делу.

Если мы не вольны в своих чувствах, то властны над своими поступками. Конечно, я готова попросить у неба больше спокойствия сердечного, но как бы я хотела в свой смертный час предстать перед высшим судией нашим, прожив жизнь столь же невинную, какой была она в нынешнюю зиму. В самом деле, ведь я ни в чем не могу упрекнуть себя за свои отношения с тем человеком, который один только и мог обратить меня в грешницу. Но с тех пор, как он уехал, дорогая,— это уже не так; в разлуке я привыкла думать о нем, думаю о нем с утра до ночи, каждое мгновение, и нахожу, что образ его опаснее, чем он сам. Когда он далеко — я влюблена, когда он близко — я только проказничаю; пусть возвращается, я его больше не боюсь.

---

[1] «Иду на смерть, мой любимый» *(итал.)*.

В разлуке с ним я тоскую, и к горести этой еще примешивается беспокойство из-за того сна, который приснился ему. Если ты всю мою печаль приписываешь любви, то ошибаешься: ты забыла о дружбе. С тех пор как путешественники наши уехали, ты была так бледна, так изменилась, и я все думала: она заболела, того и гляди, сляжет. Я не суеверна, но боязлива. Хорошо понимаю, что сновидения не могут быть причиной событий нашей жизни, но всегда боюсь — вдруг после них да что-нибудь случится. Из-за этого проклятого сна я вряд ли хоть одну ночь спала спокойно, пока не убедилась, что ты уже оправилась и посвежела. Если даже я, сама того не ведая, с неким подозрительным интересом прочла об этой скачке Сен-Пре, наверняка я отдала бы все на свете, чтобы он нам показался, когда прилетел обратно в Кларан, как дурак. Но все мои опасения исчезли, когда ты стала поправляться. Твое здоровье, твой аппетит успокоили меня больше, чем твои шуточки: ты так прекрасно орудовала за столом ножом и вилкой, что весь мой страх рассеялся. В довершение счастья Сен-Пре возвращается — событие приятное во всех отношениях. Возвращение его не только не тревожит, но, наоборот, успокаивает меня, и как только мы его увидим, мне уже нечего будет бояться ни за твою жизнь, ни за мой покой. Сестра, сохрани мне мою подругу, а за свою подругу не беспокойся,— я отвечаю за себя, пока ты жива... Но, боже ты мой, что со мною? Отчего мне все еще тревожно? Сама не знаю почему, щемит сердце. Ах, детка моя, ужели когда-нибудь одна из нас переживет другую? Горе той, которой выпадет столь жестокий жребий! Жизнь ее будет мало достойна сего имени, иначе говоря,— уцелевшая будет мертва прежде смерти своей.

Ну, скажи, пожалуйста, по какому поводу я предаюсь глупым причитаниям? Прочь мучительные страхи, в коих нет ни крупицы здравого смысла. Зачем говорить о смерти? Поговорим о свадьбе, это куда веселее. Мысль выдать меня замуж уже давно пришла твоему мужу, а если бы не он, сама я никогда бы до этого не додумалась. После нашего с ним разговора я иной раз размышляла о такой возможности, но всегда с пренебрежением. Фи! Второй брак старит молодую вдову, и будь у меня во втором браке дети, я бы казалась себе бабушкой Генриетты. А ты-то! Ишь какая добрая! Как ревностно ты оберегаешь честь своей подруги и, желая таким образом устроить ее судьбу, находишь, что она должна благодарить тебя за твои заботы и несказанное твое милосердие. Нет, подожди. я покажу тебе, что все доводы, на коих основаны твои любезные

хлопоты, не устоят перед малейшим из моих аргументов против вторых браков...

Поговорим серьезно. У меня не такая низкая душа, чтобы относить к числу доводов «за» или «против» второго брака стыд отказаться от смелого обязательства, взятого лишь мною одной, или страх, что люди меня будут осуждать за отказ от исполнения этого долга, или неравенство состояний, когда вся честь на стороне того из брачащихся, которому другой согласен быть обязанным своим богатством; не стану повторять и того, что я уже столько раз говорила тебе о своем независимом характере и прирожденном отвращении к ярму супружества,— остановлюсь лишь на одном возражении: его подсказывает мне священное чувство, к коему никто в мире не относится с таким уважением, как ты. Опровергни этот довод, сестра, и я сдамся. При всех моих шалостях, так тебя пугающих, совесть моя оставалась спокойной. Воспоминание об умершем муже не вызывало у меня краски стыда; мне нравилось призывать его в свидетели моей невинности, да и почему бы я боялась при воспоминании о нем делать то, что я делала когда-то у него на глазах? А разве я испытывала бы то же самое, Юлия, если бы нарушила священные обеты, соединявшие нас, и дерзнула бы поклясться другому в вечной любви, в коей столько раз клялась первому мужу? Если бы, недостойным образом поделив меж ними свое сердце, я осквернила память о покойном, отдав свою привязанность его преемнику, я не могла бы исполнять долг перед вторым супругом, не оскорбляя первого. Тот самый образ, который мне так дорог, внушал бы мне ужас и, пугая меня, непрестанно отравлял бы мое счастье, а воспоминания, услаждавшие мою жизнь, стали бы мне пыткой. Как можешь ты уговаривать меня взять преемника покойному мужу, меж тем как сама ты поклялась никогда не давать преемника своему супругу? Разве те доводы, какие ты мне приводишь, менее применимы в отношении тебя? Покойный муж мой и Сен-Пре любили друг друга? Что ж, тем хуже. С каким негодованием он увидел бы, что человек, который был ему дорог, похитил его права и склонил его жену к неверности! И наконец, если бы даже оказалось правдой, что я свободна от всех обязательств перед ним, то разве нет у меня никаких обязанностей перед залогом его любви? Могу ли я поверить, что он избрал бы меня супругой, если бы знал, что я когда-нибудь причиню его единственной дочери обиду, смешав ее с детьми от другого мужа?

Ну, еще одно слово, и я кончу. А кто тебе сказал, что все препятствия исходят только от меня одной? Ты ручаешься за

человека, коего это дело касается, но не говорит ли тут больше твое желание, чем твоя власть? Даже если ты уверена в его согласии, неужели тебе нисколько не совестно предлагать мне сердце, опустошенное страстью к другой женщине? Как ты думаешь, может ли мое сердце удовлетвориться этим и могу ли я быть счастлива с человеком, коего я не в силах сделать счастливым? Сестра, подумай хорошенько; я больше не требую страстной любви, ибо и сама уже не могу ее испытывать, но хочу, чтоб мне отвечали взаимностью на то чувство, коим я еще могу одарить, и женская моя гордость не примирится с тем, что я не нравлюсь моему мужу. Скажи, какие у тебя основания надеяться? Нам с ним довольно приятно видеть друг друга, но, быть может, причиной тому только дружба? Мимолетное же увлечение в нашем возрасте может возникнуть просто оттого, что мы с ним существа разного пола. Разве это достаточные основания для ваших планов? А если увлечение перешло в прочное чувство, так почему же он ничего не сказал об этом — не только мне, но и тебе, и твоему мужу, хотя уж Вольмар-то встретил бы такие речи самым благожелательным образом. Да, отчего Сен-Пре никому не сказал ни слова? В наших беседах с глазу на глаз мы говорили только о тебе. А разве в ваших беседах заходила когда-нибудь речь обо мне? И разве могу я думать, что у него есть сердечная тайна, которую трудно хранить? Ведь я непременно заметила бы его смущение, стесненность, и разве у него когда-нибудь не вырвалось бы неосторожное слово? А с тех пор как он уехал, о ком он больше всего говорит в письмах, кто тревожит его сон? Право, удивляюсь тебе! Ты считаешь меня чувствительной и нежной, а как же ты не подумала, что я все это скажу самой себе? Зато я прекрасно вижу ваши хитрости, милочка моя. Для того чтобы иметь право карать и миловать, вы, дорогая, заверяете, что некогда спасли мое сердце, пожертвовав для сего своим собственным сердцем. Меня такими уловками не проведешь.

Вот и вся моя исповедь, сестрица. Я хотела только просветить тебя, а вовсе не желаю тебе перечить. Мне остается только объявить, к какому я пришла решению. Ты теперь так же хорошо, как я сама,— а может быть, и лучше меня,— знаешь все, что творится в моей душе; моя честь, мое счастье дороги тебе так же, как мне самой, и в спокойствии, чуждом страстей, твой разум лучше покажет тебе, где мне искать и чести и счастья. Руководи отныне моим поведением, я всецело на тебя полагаюсь. Вернемся каждая к свойственному нам состоянию,— лишь поменяемся ролями,— тогда мы обе лучше выйдем из

затруднительного положения. Управляй, я буду покорна, ты должна указать, как мне поступить, а я должна выполнить твою волю. Укрой мою душу в своей душе, зачем неразлучным подругам иметь две отдельные души?

Ах да, обратимся теперь к нашим путешественникам; но я уже столько говорила об одном, что не дерзаю заговорить о другом,— боюсь, как бы не стала слишком заметной разница в стиле и как бы дружеская моя приязнь к англичанину не свидетельствовала о чересчур большой приязни к некоему швейцарцу. Да и что можно сказать о письмах, которых я и в глаза не видела? Что же ты не переслала мне хотя бы письма милорда Эдуарда? Конечно, ты не решилась это сделать, не приложив другого послания, и правильно поступила. Однако ты могла бы сделать еще лучше... Ах, да здравствуют двадцатилетние дуэньи,— они более сговорчивы, чем в тридцать лет.

Ну, в наказание тебе, я должна рассказать, что ты натворила своей замечательной сдержанностью. Ты заставила меня гадать, что же было в письме... в том самом письме... и воображать во сто раз больше, нежели есть там в действительности. С досады на тебя и себе в утешение я сочиняю такие вещи, каких там, верно, и в помине нет. Ну постой, если я не найду в этом письме преклонения перед моей особой, ты поплатишься за такое разочарование.

Право, я даже не понимаю, как ты смеешь говорить о курьере из Италии. Ты хочешь показать мне, в чем я виновата,— не в том, что не стала ждать курьера, а в том, что ждала его недостаточно долго. Подождать бы еще каких-нибудь четверть часика, и можно было бы выйти ему навстречу, первой завладеть пакетом и прочитать все на свободе. Вот тогда бы была моя очередь важничать. Ах, зелен виноград!.. Вы изволили задержать два письма, но у меня есть два других, и хочешь верь, хочешь нет, а я на те задержанные письма ни за что на свете их не променяю. Клянусь тебе, что письмо Генриетты не только может сравняться с твоим письмом, но даже превосходит его, и ни тебе, ни мне никогда в жизни не написать такого прелестного письма. А мы-то позволяем себе называть это маленькое чудо дерзкой девчонкой. Разумеется, мы так говорим из зависти, просто из зависти. И подумать только! Разве ты стоишь когда-нибудь перед ней на коленях, смиренно целуя ее ручонки, то одну, то другую? А ведь именно благодаря тебе она стала скромна, как пресвятая дева, и строга, как Катон, почитает решительно всех, вплоть до своей маменьки, и даже невозможно посмеяться над ее словечками, разве только над ее

каракулями. Ну и вот, раз уж я открыла этот новоявленный талант, то, пока ты еще не испортила ее писем, так же как ты испортила ее изустную речь, я намереваюсь установить почтовое сообщение между ее комнатой и моей, и уж тут-то никто не посмеет перехватывать письма, как из итальянской почты.

Прощай, сестрица. Надеюсь, мои ответы научат тебя относиться с почтением к моему возрождающемуся влиянию. Я хотела поговорить с тобой о здешнем крае и его обитателях, но мне уже пора кончать сей фолиант, да и, кроме того, ты сбила меня с толку своими фантазиями,— из-за возможного мужа я почти что позабыла о своих хозяевах. Но ничего, я здесь пробуду еще пять-шесть дней и успею получше разглядеть все, что предстало перед моим взором, а следовательно, ты ничего не потеряешь, если подождешь немножко. Можешь рассчитывать получить вскоре второй фолиант, который я напишу до отъезда.

## ПИСЬМО III

*От милорда Эдуарда к г-ну де Вольмару*

Нет, милый Вольмар, вы не ошиблись: на молодого моего спутника можно положиться, а на меня нисколько, и я дорогой ценой убедился в этом. Без Сен-Пре я пал бы, не выдержав испытания, меж тем как сам он с честью справился с тем испытанием, какому я подверг его. Ради его чувства признательности ко мне и ради того, чтобы заполнить его душу новыми заботами, я старался придать нашему путешествию значение более важное, чем оно имело для меня в действительности. Я предпринял его лишь для того, чтобы предаться старым склонностям, лишний раз последовать давней привычке да сделать для Сен-Пре то, что считал для него полезным. Проститься навсегда с привязанностями молодых своих лет, возвратиться с другом, совершенно исцелившимся,— вот что было бы для меня желанным плодом нашего путешествия.

Я вам писал, как меня встревожил сон, преследовавший Сен-Пре в Вильневе. Из-за этих сновидений мне стала подозрительна восторженная радость, которую он выражал, узнав от меня, что он получает право воспитывать ваших детей и провести с вами свою жизнь. Чтобы понаблюдать его получше в час сердечных излияний, я хотел было сразу же устранить все трудности, заявив ему, что и сам хочу обосноваться возле вас, а следовательно, его дружба ко мне уже не может служить

препятствием к осуществлению вашего плана. Но мне пришлось принять иное решение и заговорить другим языком.

Не успел он и трех раз увидеть маркизу, как мы с ним пришли к полному согласию во взгляде на нее. На свою беду, она старалась очаровать его, но безуспешно. Зря только показала ему свои уловки. Несчастная! Сколько в ней высоких качеств — и нет добродетели, сколько любви — и нет чести. Искренняя и пламенная ее страсть трогала меня, питала во мне ответную привязанность; но эта страсть принимала окраску черной души маркизы и в конце концов стала внушать мне ужас. О любви к ней больше и речи не могло быть.

Когда же Сен-Пре увидел Лауру и ближе узнал ее, он оценил не только красоту, но и сердце, и ум, и беспримерную самоотверженную любовь ко мне этой женщины, как будто созданной для того, чтобы дать мне счастье; я воспользовался случаем, чтобы выяснить душевное состояние моего друга. «Если я женюсь на Лауре,— сказал я ему,— я вовсе не намерен везти ее в Лондон, где кто-нибудь может ее узнать; я думаю поселиться с нею в таком месте, где люди умеют чтить добродетель в каждом, у кого она есть; вы же будете нести там свои обязанности, и мы по-прежнему станем жить вместе. А если я раздумаю и не решусь взять Лауру в жены, мне надобно будет от всех удалиться. Вы знаете мой дом в Оксфордшире, и вот вам придется сделать выбор: воспитывать ли вам детей вашего друга или же сопутствовать второму вашему другу и разделить с ним его уединение. Сен-Пре дал мне такой ответ, какого я и должен был ждать от него, но мне хотелось посмотреть, как он поведет себя: будет ли способствовать моей женитьбе ради того, чтобы жить в Кларане, хотя ему следовало бы осуждать мой брак, или же в этих щекотливых обстоятельствах он своему счастью предпочтет добрую славу своего друга. В том и другом случае я подвергал его испытанию и мог судить о его сердце.

Сперва Сен-Пре показал себя таким, каким я и желал его видеть: он был решительно против намерения, которое я возымел, он вооружился всеми доводами, какие должны были помешать мне жениться на Лауре. Я чувствовал лучше его, насколько справедливы эти доводы, но ведь я постоянно бывал с Лаурой, видел ее скорбь и нежность. Сердце мое совсем отвратилось от маркизы, зато я привязался к Лауре и часто встречался с нею. В ее чувствах я нашел то, что еще больше усиливало мою привязанность. Мне стыдно было принести ее в жертву презренной людской молве и отречься от уважения к

достоинствам Лауры; и разве не налагала на меня обязанностей надежда, которую я внушил ей, если не словами, то своими заботами? Я ничего не обещал ей, но разве я не обману ее, если нисколько не оправдаю ее надежду? Обман этот был бы варварской жестокостью. Словом, к сердечной склонности прибавилось своеобразное чувство долга, и, радея больше о своем счастье, нежели о доброй своей славе, я под конец стал любить Лауру и по рассудку; я решил поддерживать ее мечтанья до последнего предела, даже добиться, чтобы они стали действительностью, если иначе нельзя будет выйти из положения, не совершив несправедливости.

Однако мне внушал беспокойство наш молодой человек,— я видел, что он не в полной мере выполняет ту роль, какую взял на себя. Правда, он противился моим намерениям, порицая узы, коими я собирался связать себя, но он плохо боролся с моей зарождавшейся склонностью и отзывался о Лауре с такими великими похвалами, что, якобы желая уговорить меня отказаться от этого брака, он лишь усиливал мое влечение к ней. Такое противоречие обеспокоило меня. Я нашел, что у Сен-Пре нет должной твердости. Казалось, он не решался смело нападать на мое чувство, он ослабевал, встречая сопротивление с моей стороны, боялся разгневать меня, и я полагал, что в выполнении своего долга он не проявлял той отваги, которую придает любовь к другу.

Я сделал и другие наблюдения, усилившие мое недоверие; мне стало известно, что он тайком видится с Лаурой; я подметил знаки, коими они обменивались,— знаки, говорившие о взаимном понимании. Надежда соединиться с тем, кого она так любила, казалось, не радовала ее. В ее взорах я по-прежнему читал нежность, но близ меня к этой нежности не примешивалось веселье,— всегда в ней преобладала грусть; я замечал, как зачастую при самых сладостных излияниях сердца она украдкой бросает взгляд на молодого Сен-Пре, и вслед за тем на глаза ее навертываются слезы, но она старается скрыть их от меня. Словом, вела она себя так загадочно, что я встревожился.

Как мне было не удивляться? Сами посудите. Что я мог подумать? Уж не пригрел ли я змею на своей груди? До чего я только не доходил в своих подозрениях! Я даже готов был обвинить его так же несправедливо, как он когда-то обвинил меня. Слабые, жалкие существа, мы сами виновники своих несчастий! Чего уж там жаловаться, что нас мучают злые люди, если и хорошие терзают друг друга!

Все побуждало меня сделать решительный шаг. Хоть я и не догадывался о сути этой интриги, но видел, что сердце Лауры не изменилось, и от этого испытания она стала мне еще дороже. Я решил объясниться с нею, прежде чем прийти к окончательному выводу, но мне хотелось оттянуть это, насколько возможно, и сначала все выяснить. А в отношении Сен-Пре я решил убедиться сам и его уличить,— словом, установить все до конца прежде, чем что-либо сказать ему и что-либо предпринять, ибо предвидел возможность бесповоротного разрыва и опасался, как бы мои подозрения не перевесили все, что дала мне его благородная натура и честная долголетняя дружба.

Маркизе стало известно все происходившее меж нами. У нее были свои соглядатаи в монастыре Лауры, и ей удалось выведать, что у нас поднялся вопрос о браке. Этого было вполне достаточно, чтобы в ней пробудилась лютая злоба, она принялась писать мне угрожающие письма. И она не только писала, а от угроз перешла к действиям. Но так как это случалось уже не раз, мы держались настороже, и все ее попытки оказались тщетными. Зато я имел удовольствие увидеть, что Сен-Пре умеет постоять за друга и не щадит себя, дабы спасти его жизнь.

Сраженная бешеными порывами ненависти, маркиза заболела и уже не встала. Пришел конец ее мукам [1] и преступлениям. Узнав о ее состоянии, я не мог не почувствовать скорби. Я послал к ней доктора Эдвина; от моего имени ее навестил и Сен-Пре; она не пожелала видеть ни того, ни другого; обо мне она и слышать не хотела, и всякий раз, как при ней произносили мое имя, осыпала меня ужасными проклятиями. Я печалился о ней и чувствовал, что едва затянувшаяся рана вот-вот раскроется вновь; рассудок победил еще раз, но я был бы самым последним негодяем, если бы помышлял о женитьбе, когда женщина, в прошлом столь дорогая мне, находилась при последнем издыхании. Опасаясь, что я в конце концов поддамся желанию увидеться с маркизой, Сен-Пре предложил мне съездить вместе с ним в Неаполь, и я согласился.

Через день после нашего прибытия он пришел ко мне в комнату с видом решительным и строгим; в руке он держал письмо. Я воскликнул: «Маркиза умерла!» — «Дал бы бог,—

---

[1] Из предыдущего письма милорда Эдуарда, не включенного в сборник, видно, что, по его мнению, со смертью злых людей душа их уничтожается.

холодно ответил он,— лучше ей не жить на свете, чем делать людям зло. Но сейчас не о ней речь. Выслушайте меня». Я молча смотрел на него.

«Милорд,— сказал он.— Дав мне священное имя друга, вы научили меня носить его. Я выполнил обязанность, возложенную вами на меня, а теперь, видя, что вы готовы забыться, я должен сказать вам: «Опомнитесь!» Вы могли разорвать свои цепи только при помощи других цепей. И те и другие были недостойны вас. Если бы дело шло только о неравном браке, я бы сказал вам: не забывайте, что вы пэр Англии,— отрешитесь от почестей или отнеситесь к людской молве с уважением. Но вступить в столь позорный союз! Это вам-то!.. Да разве такую вам следовало выбрать себе супругу? Она должна быть не только добродетельной, но и непорочной. Не так-то легко найти жену для Эдуарда Бомстона. Посмотрите, что я сделал».

И он протянул мне письмо. Письмо было от Лауры. Я с некоторым волнением распечатал его. «Любовь победила,— говорилось в нем.— Вы хотели жениться на мне. Я удовлетворена. Ваш друг напомнил мне, в чем состоит мой долг. Я выполнила его без сожаления. Опозорив вас, я была бы несчастна; оставив вашу славу неприкосновенной, я как будто и сама к ней приобщаюсь. Всем своим счастьем я пожертвовала во имя долга. Жестокая жертва, но благодаря ей я забываю позор, осквернивший мою юность. Прощай. Отныне я уже не в твоей власти, да и сама не вольна в себе. Прощай навеки. О Эдуард! Не повергни меня в отчаяние в моем затворничестве. Исполни мою последнюю волю. Не отдавай другой женщине то место, которое я не имела права занять. Помни, было на свете сердце, созданное для тебя,— сердце твоей Лауры».

От волнения я не мог говорить. Сен-Пре воспользовался моим безмолвием и сказал, что после моего отъезда Лаура приняла постриг в том самом монастыре, где ей дали приют; что римская курия, узнав о намерении Лауры выйти замуж за лютеранина, дала распоряжение не разрешать мне свидания с нею, и Сен-Пре откровенно признался, что всех этих мер добился он сам, в согласии с Лаурой.

«Я не противился вашим планам столь решительно, как мог бы это делать,— сказал он,— ибо опасался, что вы вернетесь к маркизе, и хотел отвлечь вас от прежней вашей страсти новой любовью. Однако, увидев, что вы зашли слишком далеко, я обратился к доводам рассудка, но, так как мои собственные ошибки давали мне право не доверять ему, я исследовал

сердце Лауры и, найдя в нем великодушие, неразлучное с истинной любовью, воззвал к нему, дабы склонить ее к тоїй жертве, которую Лаура ныне принесла. Уверенность, что вы уже не презираете ее, укрепила в ней мужество и сделала ее еще более достоїйной вашего уважения. Она исполнила своїй долг. Исполните своїй долг и вы».

Он подошел ко мне и в порыве чувств воскликнул, прижав меня к своей груди: «Друг, небо послало нам с вами общую участь, и в ней я читаю общий для нас закон. Царство любви миновало, пусть начнется царство дружбы; сердце мое слышит теперь лишь ее священный призыв и не знает иных уз, кроме тех, что связывают меня с тобою. Выбери сам, где нам с тобою жить — в Кларане, в Оксфорде, в Лондоне, Париже или в Риме,— мне все равно где, лишь бы не разлучаться с тобою. Поезжай куда пожелаешь, ищи приюта в любом краю, я всюду последую за тобой. Пред лицом господа бога даю торжественную клятву, что до самоїй смерти я тебя не покину».

Я был тронут. В глазах моего молодого друга горел огонь пламенного чувства. В эту минуту я позабыл и о маркизе и о Лауре. Можно ли о чем-нибудь на свете тосковать, когда ты сохранил друга! Сен-Пре принял свое решение без колебаний, и я тогда увидел, что он деїствительно исцелился и ваши труды не пропали даром; обет навсегда связать свою судьбу с моеї он дал от чистого сердца; наконец-то я убедился, что он более принадлежит добродетели, нежели прежним своим склонностям. Итак, я с полным доверием к Сен-Пре могу привезти его к вам; да, дорогоїй Вольмар, он достоин чести воспитывать людеї и более того -- счастья жить в вашем доме.

Несколько днеї спустя я узнал о смерти маркизы,— но для меня она уже давно была мертва, и эта утрата меня не растрогала. До тех пор я смотрел на брак как на некую обязанность, которая ложится на каждого при его рождении, как на долг перед своим родом, перед своеї страной; жениться я решил не столько по сердечноїй склонности, сколько во имя этого долга. Я изменил свое мнение. Обязанность вступить в брак распространяется не на всех, это зависит от того положения в обществе, которое человек занимает по воле судьбы: для простого народа, для ремесленников, для крестьян, для людей, деїствительно полезных обществу, безбрачие незаконно; для сословиї, господствующих над другими, для тех самых, в которые все непрестанно тянутся и которые всегда слишком многочисленны, безбрачие дозволительно и даже приличествует им. Иначе

государство пострадает из-за умножения числа обременяющих его подданных. Господ у людей всегда будет достаточно, и скорее уж Англии будет не хватать землепашцев, нежели пэров.

Итак, благодаря тем условиям, в кои небо поставило меня от рождения, я считаю себя свободным, и, думается мне, я вправе распорядиться своей судьбой. В моем возрасте сердечные утраты уже непоправимы. Отныне я посвящаю себя привязанностям, еще остающимся мне. Собраться с силами я могу только в Кларане. И вот я принимаю все ваши предложения при том условии, что тут будет вложено и мое состояние,— иначе оно окажется для меня бесполезным. После того обязательства, которое принял Сен-Пре, у меня нет иного средства удержать его близ вас, как самому поселиться в Кларане, а если когда-нибудь он станет там лишним, достаточно будет, чтобы я уехал. Единственным затруднением остается необходимость для меня бывать в Англии,— ибо хоть я уже и не пользуюсь более никаким влиянием в парламенте, все же я являюсь его членом и, следовательно, обязан выполнять свой долг до конца жизни. Но среди моих коллег у меня есть надежный друг, коему я могу передоверять свой голос в текущих делах. А в тех случаях, когда я почту своим долгом самому присутствовать в палате, наш питомец может ездить со мною в Англию и даже вместе со своими питомцами, когда они подрастут и вы соблаговолите доверить их нам. Эти поездки принесут им пользу, но, дабы не доставлять большого огорчения их матери, будут непродолжительны.

Я не показывал Сен-Пре своего письма, а вы можете показать его вашим дамам, но только не все; важно, чтобы замысел этого испытания для всех и навсегда оставался тайной и был известен только нам. А помимо этого, не скрывайте от них ничего такого, что делает честь моему достойному другу, хотя бы это было и в ущерб мне. Прощайте, дорогой Вольмар. Посылаю вам план моего флигеля. Переделайте чертежи, измените, как вам будет угодно, но прикажите приступить к работам уже сейчас, если это возможно. Я хотел было отказаться от музыкальной комнаты, так как все мои склонности к искусствам угасли и ничто меня больше не увлекает. Оставил я эту комнату по просьбе Сен-Пре — он хочет, чтобы в ней упражнялись ваши дети.

Посылаю еще кое-какие книги для пополнения вашей библиотеки. Но что нового найдете вы в них? О Вольмар! Вам надо лишь научиться читать в книге природы, и вы будете тогда самым мудрым из смертных.

## ПИСЬМО IV

*Ответ*

Я так ждал развязки ваших долгих приключений, дорогой Бомстон. Было бы очень странно, если бы после упорного сопротивления своей склонности вы поддались ей как раз в то время, когда вам оказывает поддержку ваш друг; хотя, по правде сказать, мы зачастую бываем более слабы, когда опираемся на кого-нибудь, чем когда рассчитываем только на свои силы. Признаюсь, однако, что меня очень встревожило ваше последнее письмо, в коем вы сообщали о своей женитьбе на Лауре как о деле окончательно решенном. Несмотря на ваши уверения, я все же сомневался, и если бы не произошло того, что я ожидал, я до конца дней своих не пожелал бы видеть Сен-Пре. Вы оба не обманули моих надежд и вполне оправдали суждение, которое я составил о вас; мне остается только радоваться, что вы намереваетесь возвратиться к нашим прежним планам устройства жизни. Я в восторге. Вы редкостные люди. Приезжайте, дабы увеличить и разделить с нами счастье, царящее в нашем доме. Как бы я ни относился к надежде верующих на загробную жизнь, мне приятно проводить с ними земную жизнь, и я чувствую, что все вы больше подойдете мне такими, как вы есть, чем если бы вы, на свое несчастье, мыслили так же, как я.

Кстати, вы, наверно, помните, что я говорил вам о Сен-Пре перед вашим отъездом. Чтобы составить о нем мнение, мне не нужно было ваше испытание — я уже подверг его испытанию и, думается, хорошо знаю его, насколько человек может знать своего ближнего. К тому же у меня достаточно причин полагаться на его сердце,— тут найдутся поручители получше, чем он сам. Хоть он как будто и собирается, по вашему примеру, отказаться от брака, вы, пожалуй, найдете в Кларане основания к тому, чтобы убедить его изменить свое намерение. Когда вы вернетесь, я все объясню яснее.

Что касается ваших рассуждений о безбрачии, я нахожу различия, которые вы тут устанавливаете, совершенно новыми и весьма тонкими. Я даже готов считать их правильными для политики поддержания равновесия в соотношении сил в государстве. Но уж не знаю, право, достаточно ли убедительны эти доводы в качестве нравственных принципов, могут ли они освободить людей от долга, возложенного на них самой природой. Мне кажется, жизнь есть дар, который мы получаем с обяза-

тельством передать его другим,— своего рода субституция, наследство, переходящее из поколения в поколение, и всякий, имеющий отца, должен, в свою очередь, стать отцом. Ведь и вы до сих пор держались такого взгляда, и это была одна из причин вашего путешествия; но я знаю, откуда у вас эта новая философия, ибо видел в письме Лауры аргумент, против коего сердце ваше не находит возражений.

Кузиночка наша уже дней восемь или десять находится со своими родными в Женеве — поехала туда за покупками и по другим делам. Со дня на день ждем ее возвращения. Из вашего письма я передал жене все, что ей следовало знать. От г-на Миоля мы уже слышали, что помолвка ваша расторгнута, но Юлии не известно, какую роль Сен-Пре сыграл в этом событии. Будьте уверены, ей доставит живейшую радость все, что он сделает, дабы отплатить вам добром за ваши благодеяния и оправдать ваше уважение. Я показал ей план вашего флигеля, она находит, что все задумано с большим вкусом; нам придется, однако, кое-что изменить, как того требует местоположение; от этих перемен ваше жилище будет только удобнее; несомненно, вы их одобрите. Производить мы их не будем, пока не посоветуемся с Кларой,— вы ведь знаете, что без нее у нас ничего не полагается делать. А пока что я поставил людей на работу и надеюсь, что до наступления зимы каменщики уже много успеют сделать.

Благодарствуйте за книги; но я не читаю и тех книг, какие понимаю, а учиться читать книги, для меня не понятные, уже слишком поздно. Однако я не такой уж невежда, как вы полагаете. По-моему, сердце человеческое — вот истинная книга природы, и моя дружеская приязнь к вам доказывает, что я умею читать эту книгу.

## ПИСЬМО V

*От г-жи д'Орб к г-же де Вольмар*

Я в обиде на наше временное пристанище, и, прежде всего, из-за того, что мне хочется в нем остаться. Город прелестный, жители радушные, нравы самые порядочные, а главное, свобода, которую я ценю превыше всего, как будто избрала Женеву своим приютом. Чем больше смотрю я на это маленькое государство, тем больше сознаю, как хорошо иметь отчизну! Да помилует бог тех несчастных, кто полагает, что у них есть отчизна, а на самом деле всего лишь страна, где они жи-

вут! Что до меня, то если бы я родилась здесь, моя душа была бы достойна римлянки. Однако теперь я не смею сказать:

Не в Риме больше Рим — он там, где буду я!

Боюсь, как бы ты, лукавая, не подумала совсем иное. Да что это все Рим да Рим! Останемся лучше в Женеве.

Не стану описывать здешний край. Он походит на наш, только не такой гористый; полей здесь больше, и крестьянские хижины не так близко находятся от города [1]. Ничего не скажу также о здешнем способе правления. Впрочем, если господь бог не сжалится над тобой, мой отец досконально расскажет тебе об этом: он тут отводит душу — с утра до вечера толкует с здешними представителями власти о политике, и я уже слышу, как он возмущается, что «Газета» слишком мало говорит о Женеве. Можешь судить об этих собеседованиях по моим письмам. Когда такие разговоры мне надоедают, я удираю и, чтобы прогнать скуку, докучаю тебе.

Из всех этих долгих бесед мне запомнилось только то, что следует питать глубокое уважение к здравому смыслу, царящему в Женеве. Действительно, как поглядишь на действие, противодействие и взаимодействие всех частей государства, сразу убедишься, что для управления столь маленькой республикой требуется больше искусства и способностей, чем для управления обширными государствами, где все держится собственной массой и где бразды правления даже могут попасть в руки глупца, но все будет по-прежнему идти своим чередом. Ручаюсь, что здесь это было бы невозможно. Когда я слушаю отцовские рассказы о великих министрах августейших дворов, мне вспоминается тот несчастный музыкант, который с такой гордостью барабанил на большом органе в Лозанне и на том основании, что производил много шуму, считал себя большим виртуозом. У этих людей имеется только маленький спинет, но они играют искусно и извлекают из него гармонические звуки, хотя инструмент зачастую бывает довольно плохо настроен.

Ничего не скажу также... Нет, так мне никогда не кончить письма. Лучше уж сказать о чем-нибудь и поскорее двинуться дальше. Из всех народов в мире обитатель Женевы наиболее бесхитростно проявляет свой характер, и поэтому узнать его можно очень скоро. Его нравы, даже его пороки отмечены полной откровенностью. Он чувствует, что натура у него хорошая, и этого для него достаточно, чтобы показывать

---

[1] Издатель находит, что теперь они несколько приблизились.

себя таким, каков он есть. Он отличается великодушием, здравомыслием, проницательностью, но чересчур уж любит деньги. Недостаток этот я приписываю его положению, при коем деньги для него необходимы,— ведь территория государства слишком мала для того, чтобы прокормить население. Поэтому жители Женевы растекаются в целях обогащения по всей Европе и перенимают там чванливость иностранцев; заразившись пороками тех стран, где они жили, швейцарцы торжественно привозят их к себе на родину вместе с нажитыми своими богатствами [1]. И вот, насмотревшись на роскошь у других народов, они начинают презирать старинную простоту; гордая свобода кажется им грубой; они куют себе серебряные цепи и видят в них не оковы, а украшение.

Ну вот, опять я увязла в этой проклятой политике. Я совсем в ней теряюсь, утопаю в ней, погружаюсь в нее с головой и не знаю, как мне из нее выбраться. Разговоров о политике я не слышу только тогда, когда отец уходит из дому, то есть в часы прибытия почты. Это из-за нас и под нашим влиянием тут постоянно толкуют о политике, а вообще беседы местных жителей разнообразны и полезны; все хорошее, что можно узнать из книг, здесь узнаешь из разговоров. Так как в прошлом и в эту страну проникли английские обычаи, мужчины здесь все еще живут несколько в стороне от женщин, даже более, чем в наших краях, говорят меж собой весьма серьезным тоном, и вообще в их речах больше основательности. Это качество положительное, но есть и досадные черты, очень скоро дающие себя знать. Раздражающие длинноты, бесконечные аргументы, рассуждения, некоторая деланность, иной раз напыщенность; очень редко бывает в разговорах легкость, и никогда в них нет того наивного простодушия, когда чувство, опережая мысль, придает словам очарование. Французы пишут, как говорят, а женевцы говорят, как пишут, и преподносят вам вместо веселой болтовни ученые рассуждения. Всегда кажется, что они собрались на защиту диссертации. Они устанавливают различия, разделения, все разбивают на пункты, подпункты и вкладывают в свои речи такую же методичность, как и в свои книги; они неисправимые авторы, и всегда только авторы. Говорят они словно читают вслух перед публикой, старательно соблюдая правила этимологии, и отчетливо произносят все буквы. Они отчеканивают каждый слог и говорят: taba-k, а не taba, pare-sol, а не

---

[1] Ныне швейцарцев избавляют от труда куда-то ездить на поиски пороков,— иностранцы сами привозят испорченность в их страну.

parasol, ясно выговаривают avan-t-hier, а не avanhier, и называют «озером любви» лишь то озеро, где люди тонятся, а не вешаются на его берегах; они точнейшим образом произносят все конечные звуки даже в неопределенных формах глагола; слова их всегда торжественны, они не разговаривают, но держат речь и проповедуют даже в гостиной.

Странно то, что, при столь догматическом и холодном тоне, они отличаются живостью, порывистым характером и пылкими страстями; они даже довольно хорошо могли бы говорить о чувствах, если бы не рассуждали так досконально и если б обращались не только к слуху, но и к сердцу. Но они с невыносимой аккуратностью расставляют в своей речи все точки и запятые и с такой педантичностью описывают самые бурные чувства, что, когда закончат свои разглагольствования, так и хочется поискать среди окружающих, где же тот человек, который способен чувствовать то, что они описали.

Должна, впрочем, признаться, что я по собственному опыту составила хорошее мнение об их сердцах и полагаю, что и вкус у них недурен. Доверю тебе тайну: некий франтоватый господин в возрасте, подходящем для женитьбы, и, говорят, большой богач, удостаивает меня вниманием и выказывает довольно нежные чувства в красноречивых тирадах, автором коих, несомненно, является он сам. Ах! явись он полтора года тому назад, с каким удовольствием я обратила бы сего правителя в своего раба и вскружила бы голову одному из «великолепных сеньоров». Но теперь у меня у самой голова кружится, и эта игра не доставила бы мне удовольствия; я чувствую, что вместе с рассудком исчезло у меня и прежнее мое сумасбродство.

Скажу еще о любви к чтению, побуждающей жителей Женевы мыслить. Она распространена во всех сословиях и весьма выгодно сказывается на каждом. Француз читает много, но только новинки, вернее, он пробегает их не столько для того, чтобы прочесть, сколько для того, чтобы сказать, что он их читал. Женевец читает только хорошие книги; он их читает, усваивает, оценки их не делает, но хорошо их знает,— оценка же и отбор происходят в Париже, в Женеву идут почти одни только отобранные книги. Благодаря этому там нет такой мешанины в чтении, и оно больше приносит пользы. Читают и женщины в своем уединении [1], и это отражается на их разговорах,

---

[1] Напоминаем, что это письмо написано давненько, но, пожалуй, это и без напоминания легко заметить.

но на иной лад, чем у мужчин. Прелестные дамы здесь большие модницы и щеголяют острословием, совсем как у нас. Даже молоденькие мещаночки заимствуют из книг замысловатый язык и некоторую изысканность выражений, удивительную в их устах, как иной раз удивляют слова взрослых в лепете ребенка. Нужен весь здравый смысл здешних мужчин, вся веселость женщин, весь ум, свойственный женевцам, для того, чтобы постороннему первые не казались немножечко педантами, а вторые немножко жеманницами.

Вчера, сидя у окна, я видела, что на другой стороне улицы две хорошенькие девушки, дочери мастеровых, весело разговаривают у дверей лавки. Мне стало любопытно. Я прислушалась, и что же оказалось! Одна из собеседниц, смеясь, предлагала другой вести ежедневно дневник происшествий. «Прекрасно,— тотчас же отозвалась вторая,— но утром — дневник, а вечером объяснения событий». Что скажешь, сестра? Не знаю, обычный ли это тон разговоров у дочерей ремесленников, но полагаю, что надо проводить время в бешеном напряжении, чтобы ежедневно делать хотя бы объяснения происшествиям. Несомненно, эта юная особа начиталась сказок «Тысяча и одной ночи».

Несмотря на некоторую напыщенность такого стиля, жительницы Женевы обладают живостью и привлекательностью, и сильных страстей тут, наверно, не меньше, чем в какой-нибудь столице мира. Простота уборов лишь подчеркивает их грацию и хороший вкус; хороший вкус сказывается и в их разговорах, и в их манерах; так как мужчины здесь менее галантны, чем нежны, то женщины менее кокетливы, чем чувствительны, и эта чувствительность придает даже самым порядочным женщинам приятный и тонкий склад ума — мысли их идут от сердца и в том черпают тонкость. Пока жительницы Женевы останутся самими собою, они будут милейшими женщинами во всей Европе; но в скором времени они пожелают сделаться француженками, и тогда француженки будут милее их.

Итак, все портится при порче нравов. Самый лучший вкус зависит от добродетели: исчезнет она — пропадет и он, уступив место искусственным, изощренным вычурам, порожденным модой. Почти так же обстоит дело и с подлинным умом. Ведь именно скромность, присущая нашему полу, вынуждает нас прибегать к тонким уловкам, чтобы оттолкнуть зангрывание мужчин, и если им нужно обладать искусством заставить слушать себя, нам нужно не меньше искусства для того, чтобы их не слышать. Разве это не верно? Разве не сами они развивают в женщинах бойкость ума, так что у нас развязывается

язык и мы за словом в карман не полезем? И не сами ли они вынуждают нас смеяться над ними? Ведь, что ни говори, а некоторая лукавая кокетливость куда больше сбивает с толку вздыхателей, чем безмолвие и презрение. И до чего ж приятно видеть, как обескураженный Селадон приходит в волнение, смущение, теряется при каждом нашем насмешливом ответе; до чего же приятно отбиваться от вздыхателей стрелами, не столь жгучими, как стрелы любви, но зато более острыми, или же осыпать их колкостями, тем паче язвительными, что они холодны как лед и замораживают поклонников.

А ты-то сама! Как будто не понимаешь ничего, но разве в твоих простодушных и ласковых манерах, в твоем робком и кротком виде таится меньше хитрости и тонкого кокетства, чем во всех моих проказах? Честное слово, милочка, если посчитать, кто из нас сколько поклонников высмеял, сомневаюсь, чтобы ты при всех твоих лицемерных повадках отстала от меня. До сих пор еще я не могу удержаться от смеха, как вспомню беднягу Конфлана — он прибегал такой возмущенный и в ярости корил меня за то, что ты с ним слишком любезна. «Она такая ласковая,— говорил он.— Право, мне не на что и жаловаться! Она говорит со мною так рассудительно, что мне стыдно отвечать ей в шом тоне; и я нашел в ней такого пре-

красного друга, что не смею выступать в роли вздыхателя».

Не думаю, чтобы где-нибудь в мире нашлись более согласные, более дружные супружеские пары, чем в этом городе; семейная жизнь здесь приятна и сладостна; здесь можно встретить любезных мужей и женщин почти таких же, как Юлия. Твоя система здесь очень хорошо оправдывается. При разделении полов в трудах и в утехах мужчины и женщины выигрывают во всех отношениях, ибо тогда они друг другу не надоедают, и тем приятнее им бывает видеться. Мудрец всегда таким образом изощряет удовольствие; воздерживайся, чтобы наслаждаться,— вот твоя философия; это разумный эпикуреизм.

К сожалению, старинная скромность приходит в упадок; ныне мужчины и женщины встречаются чаще, а сердца их друг от друга удаляются. Здесь, так же как и у нас, во всем перемешаны добро и зло, но в иных размерах. Женевец сам себе обязан своими добродетелями, а пороки приходят к нему извне. Он много путешествует, легко перенимает нравы и повадки других народов; он с легкостью говорит на всех языках; без труда усваивает любое произношение, хотя у самих женевцев очень заметный медлительный выговор, особенно у женщин, кои путешествуют меньше, чем мужчины. Женевец больше смущается

малыми размерами своего государства, нежели гордится своей свободой, и в чужой стране стыдится своей родины; он, так сказать, спешит натурализоваться в том краю, где поселился, и словно хочет предать забвению родной край; быть может, столь недостойному стыду способствует дурная слава стяжателей, коей пользуются женевцы. Конечно, стереть своим бескорыстием позор, запятнавший имя «женевец», было бы куда лучше, чем еще больше унижать это имя боязнью носить его, но женевец презирает его, даже когда делает его достойным уважения; и на нем лежит еще бо́льшая вина: он не чтит по достоинству свою родину.

Но каким бы алчным существом ни был женевец, он никогда не станет наживать богатство нечистыми средствами и раболепствовать ради него; он совсем не любит угодничать перед великими мира сего и пресмыкаться при дворах. Личное рабство для него не менее противно, чем рабство гражданское. Гибкий и общительный, как Алкивиад, он столь же мало переносит порабощение, и когда приноравливается к обычаям чужестранцев, то лишь подражает, но не покоряется им. Из всех способов обогащения торговля наиболее совместима со свободой, поэтому женевцы ее и предпочитают. Почти все они — купцы или банкиры, и из-за главного для них стремления разбогатеть — зачастую остаются втуне редкостные дарования, коими их щедро наделяет природа. Тут я возвращаюсь к тому, что говорила в начале письма. Они даровиты и мужественны, энергичны и проницательны; нет такой благородной и высокой цели, которая не была бы им по плечу. Но они более жаждут денег, чем славы, и, чтобы жить в достатке, умирают в безвестности, оставляя своим детям в качестве единственного примера любовь к богатству, которое они нажили для своих наследников.

Все это я слышала от самих жителей Женевы,— ведь они говорят о себе весьма беспристрастно. Что до меня, то я не знаю, каковы женевцы в чужих краях, а у себя дома они, на мой взгляд, очень приятные люди, и я знаю лишь одну причину, чтобы расстаться с Женевой без сожаления. Какая же это причина, сестрица? О, сколько ни напускай на себя, по обычаю своему, смирения, честное слово, если ты скажешь, что еще не угадала, в чем тут дело,— я отвечу тебе: «Неправда!» Послезавтра наша веселая компания садится на красивую, празднично разукрашенную бригантину,— мы выбрали водный путь по случаю летней поры и для того, чтобы всем быть вместе. Рассчитываем переночевать завтра в Морже, на другой день

в Лозанне [1] состоится обряд бракосочетания, а через день... Поняла? Когда увидишь издали сверкающие огни, развевающиеся флаги и услышишь грохот пушки,— пробеги по всему дому как безумная и кричи: «К оружию! К оружию! Враги напали! Враги!»

P. S. Хотя распределение комнат бесспорно входит в мои права и обязанности, я на этот раз слагаю их с себя. Хочу только, чтобы папу поместили в комнаты милорда Эдуарда, поскольку там висят географические карты. И пусть уж в этих покоях окончательно завесят картами все стены сверху донизу.

## ПИСЬМО VI

*От г-жи де Вольмар*

С каким отрадным чувством берусь я за это письмо! Впервые в жизни я могу писать вам без страха и без стыда. Я горжусь соединяющей нас дружбой, как беспримерным преображением чувства. Великую страсть можно подавить, но очень редко она обретает чистоту. Забыть то, что было дорого, когда честь того требует,— для этого нужно огромное усилие, однако благородная душа его достигает; но после того, что меж нами было, прийти к тому, что ныне сближает нас,— вот истинное торжество добродетели. Причиной, пресекающей любовь, может оказаться порок, но причина, обращающая нежную любовь в не менее нежную дружбу, не может быть недостойной.

Да разве мы достигли бы такой победы одними своими силами! Никогда, никогда, добрый друг мой! Даже попытка была бы слишком большой смелостью с нашей стороны. Избегать друг друга — вот что было бы первой нашей обязанностью, непременным нашим долгом. Мы, конечно, всегда уважали бы друг друга, но перестали бы встречаться и переписываться; мы старались бы больше не думать о своем чувстве, и величайшей честью, которую мы оказывали бы друг другу, явился бы полный отказ от всякой близости меж нами.

А посмотрите, как нам живется теперь? Есть ли на свете жизнь более сладостная, и разве не радуемся мы ей по тысяче раз на день, хоть и достигли сего ценою тяжелой борьбы? Постоянно видеться, любить друг друга, чувствовать свое

---

[1] Как так? Лозанна не стоит на берегу Женевского озера: от пристани до города около полулье, и дорога там весьма дурная; да еще приходится предположить, что всему этому не помешает ветер.

счастье, проводить все дни вместе, в братской близости, в покое невинности, заботиться друг о друге, думать об этом без угрызений совести, иметь право говорить об этом не краснея и с гордостью смотреть на ту самую привязанность, за которую нам так долго приходилось корить себя,— вот чего мы с вами достигли. О друг! Какой славный путь мы уже прошли. Дерзнем же похвалить себя за то, что у нас хватит силы не сбиться с прямого пути и дойти до конца столь же твердой поступью, как и вначале.

Кому же обязаны мы нашим редкостным счастьем? Вы это знаете. Я видела, что ваше чувствительное сердце полно признательности к лучшему из людей за его благодеяния, что вы любите его проникновенной любовью; да и как могли бы его благодеяния быть нам в тягость? Ведь они не налагают на нас никаких новых обязанностей, из-за них становятся лишь более дорогими прежние обязанности, которые и без того были для нас священны. Единственная возможность отблагодарить его за все его заботы — это оказаться достойными их. Пусть наградой ему будет то, что они достигли цели. Направим же на это все свое рвение. Заплатим нашему покровителю за добро нашими добродетелями — вот и весь наш долг перед ним. Возвратив нас на стезю добра, он достаточно сделал и для нас, и для самого себя. Друг с другом вместе иль в разлуке, живые или мертвые, мы всегда и всюду останемся свидетельством его благого дела, не оказавшегося напрасным для каждого из нас троих.

Вот каким размышлениям я предавалась втайне, когда мой муж решил поручить вам воспитание наших детей. А когда милорд Эдуард сообщил нам о близком возвращении, своем и вашем, мне пришли на ум те же мысли, к ним прибавились и другие, и для меня очень важно поделиться с вами своими думами, пока еще не поздно.

Речь пойдет не обо мне, но о вас; мне кажется, теперь я больше вправе давать вам советы, ибо делаю это ныне совершенно бескорыстно и, не имея в виду свою собственную безопасность, думаю лишь о вас самом. Нежная моя дружба, конечно, не вызывает у вас никаких подозрений, а мой опыт, купленный дорогой ценой, должен заставить вас прислушаться к моим словам.

Позвольте мне нарисовать вам картину того положения, в которое вы собираетесь поставить себя,— я хочу, чтобы вы вгляделись в нее и сами сказали мне, нет ли в ней чего-либо внушающего вам страх. О добрый мой Сен-Пре! Если вам любезна добродетель, прислушайтесь с открытой душой к советам

вашего друга. Сейчас я с трепетом поведу речь о том, что хотелось бы обойти молчанием. Но могу ли я молчать о сем предмете, не совершая в отношении вас предательства? Ведь если сейчас не сказать о том, чего вам следует бояться, не поздно ли будет говорить об опасностях, когда вы зайдете слишком далеко? Нет, друг мой, я единственный человек в мире, достаточно близкий вам, чтобы указать вам на них. Разве я не имею права говорить с вами, когда требуется, как сестра, как мать? Ах, если бы наставления чистого сердца могли загрязнить ваше сердце, уже давно мне нечего было бы вам сказать!

«С жизненным поприщем уже все кончено!» — говорите вы. Сознайтесь, однако, что кончено раньше времени. Любовь угасла, ее переживет страстность, а сего безумия тем более надо опасаться, что единственного чувства, которое ее сдерживало, у вас уже нет, и для того, кто ничем не дорожит, все служит поводом к падению. Человек пылкий и чувствительный, молодой и не связанный узами брака, хочет быть воздержным и целомудренным; он знает, он чувствует, он тысячу раз говорит, что сила души, источник всех добродетелей, зависит от целомудрия, которое их всех питает. В молодости любовь уберегла его от дурного поведения, а теперь он хочет, чтобы разум всю жизнь его оберегал; он знает, какая награда служит утешением за суровые требования долга, и хоть нелегко дается победа над собою, ужели он сделает во имя бога, коему поклоняется, меньше, чем ради возлюбленной, чьим рабом он некогда был? Таковы, мне кажется, ваши правила нравственности, а также и правила поведения вашего; ведь вы всегда презирали тех, кто довольствуется видимостью,— тех, у кого слово расходится с делом и кто, возлагая на других тяжкое бремя долга, себя самого не желает им утруждать.

Какой же образ жизни выбрал этот разумный человек, желая следовать законам, кои он предписал себе? Не возомнив себя образцом добродетелей и того менее — стоиком, он не руководствовался в своих поступках самонадеянностью: он знает, что легче избегать искушений, чем побеждать их, и вместо того чтобы подавлять разгоревшиеся страсти, лучше не давать им зарождаться! Но сам-то он уклоняется ли от опасностей? Избегает ли предметов, способных привести его в волнение? Обращает ли он смиренное недоверие к себе в оплот своей добродетели? Совсем наоборот,— он, не колеблясь, готов броситься в битву, требующую величайшего мужества. В тридцать лет он собирается замкнуться в уединении вместе с женщинами его возраста, из которых одна была слишком дорога ему, чтобы у него

вполне изгладились опасные воспоминания; с другой его соединяет тесная близость, а с третьей связывают те права, кои благодеяния имеют над признательными душами; он сам идет навстречу обстоятельствам, которые могут пробудить в нем не вполне угасшие страсти; и вскоре он запутается в сетях, коих ему следовало бы страшиться. В его положении решительно все должно вызывать у него недоверие к своим силам, ибо единственная минута слабости навсегда унизит его. Где же у него та великая сила души, в которую он так смело верит? Совершила ли она в прошлом нечто такое. что может быть залогом для будущего? Исторгла ли она его в Париже из дома разврата? Уж не она ли подстроила ему прошлым летом то, что произошло в Мейери? Спасла ли она его этой зимой от чар другой женщины, а этой весной — от ужаса, внушенного ему сновидением? Одержал ли он благодаря этой силе хоть раз победу над самим собой и может ли поэтому надеяться всегда побеждать себя? Он способен, когда того требует долг, бороться против страстей своего друга, а против собственных страстей?.. Увы, оглянувшись на прожитую им лучшую половину жизни, он должен быть скромным в своих мыслях о другой ее половине.

Кратковременные треволнения можно перенести. Полгода, год — это не так страшно; видишь впереди конец испытаниям и набираешься мужества. Но кто же может вынести такое состояние, если оно будет длиться всю жизнь? Кто может одерживать победы над самим собою до дня своей смерти? О друг мой! Жизнь коротка для наслаждений, но как она длинна для подвигов добродетели! Все время надо держаться настороже, минута блаженства промелькнет и никогда уж больше не вернется, а угрызения совести за дурной поступок будут терзать всю жизнь. Забудется человек на одну секунду, и все погибло. Да разве возможно при таком ужасном состоянии спокойно проводить дни жизни своей? И не служат ли те дни, когда мы спаслись от опасности, основанием к тому, чтобы не подвергать себя ей в другие дни?

Сколько еще возможно случаев столь же опасных, как и те, которых вы избежали, и столь же непредвиденных! Ужели вы думаете, что страшные памятники нашего прошлого остались только в Мейери? Они — всюду, где мы находимся. Мы их носим в себе. Ах, вы же знаете, что умиленная душа во всей вселенной видит отражение своей страсти, и даже после того как она исцелилась от страсти, картины природы все еще напоминают ей о том, что душа когда-то испытывала при виде их. И все же я верю, осмеливаюсь верить, что былые опасности более не

возвратятся,— тому порукой мое сердце, оно поможет вашему сердцу. Но если вы и не опуститесь до низкого поступка, разве ваша увлекающаяся натура всегда будет недоступна слабости и разве лишь ко мне одной вы должны здесь относиться почтительно, а может быть, это будет для вас не так-то легко? Помните, Сен-Пре, что все дорогие мне существа должны пользоваться таким же уважением, какое вы обязаны оказывать мне; помните, что вам придется отвечать невинным чувством на невинную игру прелестной женщины; помните, что вы навлечете на себя вечное презрение, если когда-нибудь сердце ваше посмеет на минуту забыться и осквернить то, что оно должно чтить, имея множество к тому оснований.

Я хочу, чтобы долг, честь и давняя дружба всегда останавливали вас; чтобы препятствия, воздвигнутые добродетелью, лишали вас тщетных надежд и чтобы вы, хотя бы с помощью рассудка, подавляли бесплодные желания. Но можете ли вы избавиться от власти взволнованных чувств и ловушек воображения? Вам волей-неволей придется уважать обеих подруг и забывать, что мы женщины, но вы будете видеть женщин в наших служанках и в низком их положении найдете себе оправдание; а смягчит ли это вашу вину? Разве разница в общественном положении жертвы меняет сущность преступления? Наоборот, вы тем больше унизите себя, чем менее честными средствами добьетесь успеха. И какими средствами! И кто? Вы? Будь проклят тот недостойный, кто покупает сердце женщины и делает ее любовь продажной! Он сеет преступления, к которым приводит разврат. Разве не будет всегда продавать себя женщина, продавшаяся один раз? А когда она упадет в пучину позора, кто окажется виновником ее гибели,— грубое животное, оскорбляющее ее в притоне, или соблазнитель, ввергнувший ее туда, ибо он первым купил ее милости?

Осмелюсь добавить еще одно соображение, которое, думается мне, растрогает вас. Вы видели, как я старалась внедрить в своем доме порядок и благонравие; здесь царят скромность и мир, все дышит счастьем и невинностью. Друг мой, подумайте о себе, обо мне, о том, кем были мы и кем стали, кем мы должны быть. Ужели когда-нибудь мне придется пожалеть о напрасных своих трудах и сказать с укором: «Это из-за него проникло в мой дом распутство»?

Надо уж сказать все, раз это необходимо, даже пожертвовать скромностью ради истинной любви к добродетели. Мужчина не создан для безбрачия,— редко бывает, чтобы состояние, столь противоречащее природе, не приводило к распущенности,

всем известной или скрытой. Можно ли убежать от врага, которого всегда носишь в себе самом? Взгляните, что делается в других странах с теми храбрецами, которые приносят обет не быть мужчинами. Они искушают господа, и за это господь покидает их; они называют себя святыми, а на деле они бесчестные люди; за мнимой их воздержностью таится мерзость, и, желая презреть человеческое естество, они опускаются ниже его. Я, конечно, понимаю, что им ничего не стоит показывать себя требовательными в выполнении законов, которые сами они соблюдают лишь по видимости; [1] но тот, кто искренне хочет быть добродетельным, чувствует, что это налагает на него достаточно обязанностей, и не станет брать на себя еще новый долг.

Дорогой Сен-Пре, подлинное смирение христианина состоит вот в чем: всегда полагать, что выпавшая на твою долю задача для тебя непосильна, и уж ни в коем случае не стараться из гордости делать ее вдвое тяжелее. Примените к себе это правило, и вы поймете, что положение, которое кого-либо другого могло бы лишь тревожить, вас по тысяче причин должно ужасать. Чем меньше вы боитесь, тем больше вам надо бояться, и если требования долга вас не страшат, не надейтесь его выполнить.

Таковы опасности, вас ожидающие здесь. Поразмыслите, пока еще не поздно. Я знаю, что с умыслом вы никогда не совершите дурного поступка, и единственное зло, которое, как я опасаюсь, вы можете совершить, вы просто не предвидите. Я не требую, чтобы вы приняли решение, основываясь лишь на моих доводах, я прошу только взвесить все обстоятельства. Найдите какой-нибудь выход, удовлетворяющий вас, и я буду удовлетворена; осмельтесь положиться на себя, и я положусь на вас. Скажите мне: «Я ангел», и я приму вас с распростертыми объятиями.

Да что ж это! Всегда лишения и мучения! Всегда суровый долг, всегда избегай дорогих тебе людей! Нет, любезный друг мой. Какое счастье, когда можешь сказать человеку: вот тебе здесь, на земле, награда за добродетель. И я вижу, какой награды достоин дорогой мне человек, умевший бороться и стра-

---

[1] Некоторым воздержность дается без всякого труда, другие соблюдают ее во имя добродетели, и я не сомневаюсь, что последнее приложимо ко многим католическим священникам; но навязывать безбрачие столь многочисленной корпорации, как духовенство римско-католической церкви,— это значит не столько запрещать этим людям иметь жен, сколько заставлять их довольствоваться чужими женами. Удивляюсь, как это в любой стране, где благонравие еще в чести, законы и власти терпят столь возмутительный обет.

дать во имя добродетели. Быть может, я слишком высокого мнения о своей догадливости, но полагаю, что этой наградой, которую я осмеливаюсь назначить вам, я уплачу весь долг свой перед вами, и вы получите больше, чем в том случае, если б небо благословило нашу с вами первую склонность друг к другу. Так как я не могу сделать вас ангелом, я хочу дать вам ангела-хранителя, который будет оберегать вашу душу, очистит ее от скверны, оживит, и под его покровом вы могли бы жить с нами в мире и покое, словно в райской обители. Мне думается, вам не трудно догадаться, что я хочу сказать: предмет этот, по-моему, почти уже утвердился в том сердце, которое он должен когда-нибудь заполнить, если мой план осуществится.

Я вижу все трудности на пути к этому, но они не пугают меня, ибо замысел мой самый благородный. Я знаю, какое большое влияние на свою подругу я имею, и совсем не боюсь, что злоупотреблю им, ежели воспользуюсь им для вашего счастия. Но вам известно, какое решение она приняла, и прежде чем ее отговорить, я должна быть уверена в ваших намерениях. Умоляя ее дозволить вам домогаться ее руки, я хочу поручиться за вас и за ваши чувства. Ведь если неравенство положения, по воле судьбы разделяющее вас, лишает вас права самому сделать ей предложение, оно еще меньше позволяет, чтобы она дала вам это право, не зная, как вы воспользуетесь им.

Мне хорошо известна ваша деликатность, и я уверена, что, ежели у вас найдутся возражения против моего плана, вы больше будете думать о ней, чем о себе. Оставьте излишнюю щепетильность. Ужель вы больше моего ревнуете о чести моей подруги? Нет, не беспокойтесь, как бы вы ни были мне дороги, я не предпочту ваши интересы ее доброй славе. Но насколько я ценю уважение здравомыслящих людей, настолько же презираю дерзкие суждения толпы, которая так легко приходит в восторг от мишурного блеска и не замечает ничего истинно благородного. Даже если б разница в состоянии была во сто крат больше, нет такого высокого положения, на которое не имел бы права притязать человек даровитый и нравственный; и почему женщина сочла бы для себя постыдным взять в мужья того, чьей дружбой она гордится? Вы знаете, каковы у нас обеих взгляды относительно этого. Из-за ложного стыда и боязни людской молвы совершают куда больше гадких, чем хороших, поступков, а добродетель заставляет краснеть лишь за то, что действительно является дурным.

Что касается вас, то тут совершенно неуместна гордость, которую я иной раз в вас замечала, и, право, с вашей стороны

было бы неблагодарностью бояться, что Клара окажет вам еще одно благодеяние. А кроме того, как бы вы ни были щепетильны, согласитесь, что гораздо приятнее и приличнее быть обязанным своим состоянием жене, чем другу,— ведь ей вы будете теперь покровителем, а для друга так и останетесь подопечным, и что ни говорите, но для порядочного человека лучшим другом всегда будет жена.

Если в глубине души вашей еще таится некоторое отвращение к узам новой привязанности, постарайтесь поскорее его рассеять,— ради своей чести и ради моего покоя: ведь я до тех пор не могу быть довольной ни вами, ни собою, пока вы не станете тем, кем обязаны быть, и не будете с любовью исполнять требования долга, лежащего на вас.

Ах, друг мой, мне следует меньше бояться этого отвращения, нежели слишком большой вашей верности прежним чувствам. Чего только я не сделаю, чтобы расквитаться с вами? И я отдарю вас больше, чем обещала. Разве я не отдам вместе с Кларой и Юлию? Разве не будет у вас лучшей части моего существа? И разве не станете вы мне от этого еще дороже? С какою радостью я без боязни предамся своей привязанности к вам! Да, перенесите на Клару все, в чем вы мне некогда клялись: пусть в союзе с нею ваше сердце исполнит все данные мне обеты; пусть оно даст ей, если то возможно, все, что вы должны были дать мне. О Сен-Пре! я передаю ей ваш давний долг. Помните, что не легко уплатить его.

Вот, друг мой, какое средство я придумала для безопасного нашего соединения, для того, чтобы в нашей семье вы заняли такое же место, какое занимаете в наших сердцах. Когда всех нас свяжут дорогие, священные узы, мы будем меж собою братья и сестры и вы уже не окажетесь врагом ни себе самому, ни нам: сладчайшие чувства, став законными, не будут более опасны, раз не надо будет ни подавлять, ни бояться их. Мы уже не станем противиться этим восхитительным чувствам, они окажутся для нас и долгом и утехой; только мы полюбим друг друга более совершенной любовью, которая поистине соединит нас, и вкусим очарование любовной дружбы и невинности. Вы будете нести обязанности, взятые вами на себя, и если за эти заботы о наших детях небо вознаградит вас счастьем самому сделаться отцом семейства, вы поймете тогда, как дорога была для нас ваша помощь. Вознесясь на вершину истинного человеческого счастья, вы научитесь с удовольствием нести сладкое бремя жизни, полезной для ваших близких; вы почувствуете наконец то, чему суетная мудрость испорченных людей никогда не

могла поверить: вы убедитесь, что есть на свете счастье, которое могут познать лишь друзья добродетели.

Обдумайте на досуге мое предложение — не для того, чтобы решить, подходит ли оно вам (тут мне и не нужен ваш ответ), а для того, чтобы поразмыслить, подходит ли оно госпоже д'Орб и можете ли вы составить ее счастье, так же как она сделает счастливым вас. Вы знаете, как она выполняла свой долг: она была примерной супругой во всех отношениях; и по тем качествам, коими она обладает, судите, чего она вправе требовать от вас. Она способна любить так же, как Юлия, и ее надо любить не меньше, чем Юлию. Если вы чувствуете, что достойны Клары, откройтесь ей; в остальном положитесь на меня — я постараюсь убедить Клару. Но, может быть, я слишком понадеялась на вас? Что ж, вы, во всяком случае, порядочный человек, вы знаете ее душевную тонкость, вы не захотите достигнуть счастья ценою ее несчастья. Пусть сердце ваше будет достойно ее, или же не домогайтесь ее руки.

Еще раз говорю, хорошенько разберитесь в себе. Взвесьте все, прежде чем дать ответ. Когда речь идет о судьбе человека, о всей его жизни, благоразумие не допускает легкомысленных решений; всякое легкомыслие преступно, когда решается участь добродетельной души. Укрепите же, добрый друг мой, свою душу всеми силами разума. О, неужели ложный стыд помешает мне напомнить вам о самой надежной опоре? Религия не чужда вам, но боюсь, что вы не ищете в ней поддержки в решительные минуты, не руководствуетесь ею на жизненном своем пути, и возможно, что с высот философии вы с презрением смотрите на простодушие христианина. Я замечала, что относительно молитвы вы держитесь таких взглядов, которые мне не нравятся. По вашему мнению, смиренные мольбы наши совершенно для нас бесполезны, так как господь вложил в нашу совесть все, что может вести нас к добру, а затем предоставил нас самим себе и повелел нам действовать свободно. А ведь не тому учит нас святой Павел и не то проповедует наша церковь. Мы свободны,— это правда,— но ведь мы невежественны, слабы, склонны ко злу, и откуда же придет к нам свет и сила, если не от того, кто является их источником? А как же мы обретем свет и силу, если не потрудимся просить бога о ниспослании их? Берегитесь, друг мой, как бы к вашим возвышенным представлениям о верховном существе гордыня не примешала низкие понятия, перенесенные с человека, словно те средства, какие при нашей слабости облегчают нам действия, подобают и всемогущему богу, словно ему необходимо, так же как и нам, обоб-

щать для того, чтобы легче было разбираться. Послушать вас, так всемогущему богу трудно заботиться о каждой отдельной личности, вы опасаетесь, что для него утомительно дробить свое внимание, и полагаете куда более для него удобным, чтобы он действовал согласно общим законам, ибо это стоит ему меньше хлопот. О великие философы, как господь бог должен быть вам обязан за то, что вы подсказываете ему удобные способы действий и облегчаете его труд!

И для чего нам, говорите вы, что-нибудь просить у бога? Разве он не знает все наши нужды? Разве он не отец наш? А кому же как не отцу положено заботиться о нуждах своих детей? Разве мы лучше его знаем, что нам требуется, и хотим себе счастья больше, чем он хочет нам дать его? Дорогой Сен-Пре, сколько тут пустых софизмов! Важнейшая из наших нужд, единственная, которую мы сами можем удовлетворить,— это необходимость чувствовать свои нужды: ведь для того, чтобы выбраться из беды, надо первым делом знать ее. Исполнимся смирения и тогда достигнем мудрости, постараемся увидеть свою слабость, и тогда мы будем сильны. Ведь именно таким образом справедливость сочетается с милосердием и благодать царит наравне со свободой. Слабость делает нас рабами, а молитва дарует нам свободу, и только от нас зависит, обретем ли мы силу, которую сами по себе не имеем и не можем иметь: надо просить ее у бога, и она дана будет нам.

Научитесь же полагаться в затруднительных обстоятельствах не только на самого себя,— пусть просветит вас тот, в ком могущество соединяется с разумом и кто подскажет нам лучшее решение из всех, какие возможно принять; в человеческой мудрости, даже той, что направлена на добродетельные цели, есть великий изъян, а именно — чрезмерная самонадеянность наша, когда мы о будущем судим по настоящему и по одной минуте о всей жизни. Одно мгновение мы чувствуем себя твердыми и уже думаем, что никогда не поскользнемся. Мы полны гордыни, хотя жизненный опыт повседневно ее посрамляет, и воображаем, что, избегнув западни один раз, мы уже можем ничего не бояться. Истинно доблестный человек скромно скажет: в такой-то день я был храбрым; а тот, кто говорит: я храбрый человек, не может знать, будет ли он храбрым завтра, и раз он мнит своей собственной заслугой качество, которым не сам себя наделил, он заслуженно может утратить отвагу, когда вздумает ее проявить.

Как должны быть смешны все наши намерения, как бессмысленны наши рассуждения пред лицом предвечного, для

кого нет преград во времени и пространстве! Мы считаем пустяком все, что далеко от нас, мы видим лишь то, что близко нас касается; с переменой места зачастую изменяются и наши суждения, становясь противоположными прежним, но от того они не делаются более обоснованными. Мы строим планы на будущее, сообразуясь с тем, что нам подходит сегодня, а не знаем, подойдет ли нам это завтра; о себе самих мы думаем так, словно всегда остаемся прежними, а на деле мы с каждым днем меняемся. Кто знает, будем ли мы любить то, что любим сейчас, и будем ли желать того, чего сейчас желаем; останемся ли такими, каковы мы ныне, не произведут ли посторонние предметы и изменения, произошедшие в нашем теле, глубокие перемены в наших душах, и не станет ли для нас несчастьем то, что мы замыслили для своего счастья? Укажите мне правила мудрости человеческой, и я буду руководствоваться ими. Но раз ее наилучшее наставление учит нас не доверять ей, будем прибегать к той мудрости, которая никогда не обманывает, и постараемся делать то, что она внушает нам. Я молю ее просветить меня, когда я даю вам советы, молитесь и вы, чтобы она просветила вас и помогла вам принять правильные решения. Я твердо знаю — какое бы вы ни приняли решение, вы всегда будете преследовать благую и честную цель. Но этого еще недостаточно: надо стремиться к тому, что пребудет навсегда, а судить об этом не можем ни вы, ни я.

## ПИСЬМО VII

*Ответ*

Юлия! Письмо от вас!.. После семилетнего молчания... Вот оно, это письмо; я его вижу, осязаю его; да разве глаза мои не узнали бы этот почерк, которого сердце не может забыть? Как! Вы еще помните мое имя? Вы еще не разучились писать его?.. И рука ваша не дрогнула, когда вы написали это имя на бумаге?..[1] Я как в бреду, и это по вашей вине. Форма, конверт, печать, адрес — все в этом письме напоминает мне другие, совсем другие ваши письма. Сердце ваше и рука будто противоречат друг другу. Ах, если б та же рука выразила иные чувства!

Быть может, вы найдете, что слишком много я думаю о прежних ваших письмах и тем самым подтверждаю опасения,

---

[1] Уже было указано, что Сен-Пре — имя вымышленное. Быть может, письмо адресовано на настоящее имя.

выраженные вами в последнем письме. Вы ошибаетесь. Я прекрасно разбираюсь в себе, я уже не тот, что прежде, или вы уже не та, какою были; и вот вам доказательство: кроме очарования и доброты, все, что я нахожу в вас из прежних ваших черт, стало для меня новым и таким удивительным. Этим наблюдением я заранее хочу успокоить ваши страхи. Я нисколько не доверяю своим силам, зато доверяю чувству, которое избавляет меня от необходимости прибегать к этим силам. Глубоко уважая ту, которую я уже не смею обожать, я знаю, как высоко должен почитать ее, забыв былое поклонение. Я полон самой нежной признательности к вам, и хоть люблю вас так же, как прежде, но более всего привязывает меня к вам разум, который ко мне вернулся. Он показывает мне вас такою, какова вы есть, и служит вам лучше, чем сама любовь. Нет, если бы я сохранил прежнюю, ныне преступную склонность, вы бы не были мне так дороги.

С тех пор как я перестал обманываться и с помощью проницательного Вольмара разобрался в себе, я понял истинные свои чувства и меньше боюсь своей слабости. Пусть она и увлекает мое воображение, пусть былое заблуждение все еще сладостно,— для моего покоя достаточно знать, что оно уже не может оскорбить вас; и химера, к которой я влекусь в мечтах, спасает меня от действительной опасности.

О Юлия! Есть вечно живые впечатления, которых ни время, ни усилия наши не могут изгладить. Рана заживает, но шрам остается, и шрам этот становится священной печатью, ограждающей сердце от нового покушения. Непостоянство несовместимо с любовью: любовник, который изменился,— не просто изменился: он начинает или перестает любить. Что до меня, то я перестал любить, но хоть я более и не принадлежу вам, я по-прежнему под вашей защитой. Я больше не боюсь вас, но благодаря вам не боюсь и другой женщины. Нет, Юлия, нет, благородная душа, всегда я для вас буду лишь другом, почитателем ваших добродетелей, но наша любовь, наша первая и единственная любовь, никогда не покинет мое сердце. Неувядаемой останется для меня память о цветущих моих годах. Проживи я хоть целые века, не померкнут воспоминания о сладостной невозвратимой поре молодости. Пусть мы уже не те, что прежде, мне не забыть, кем мы были. Но поговорим о вашей кузине.

Дорогой друг, должен признаться, что, с тех пор как я не смею больше любоваться вашей прелестью, я стал более чувствителен к ее чарам. Чьи же глаза могли бы созерцать то одни

красоты, то другие, никогда не останавливаясь ни на какой из них? И не раз я смотрел на вашу кузину, пожалуй, с чересчур большим удовольствием, а в разлуке с нею ее черты, уже запечатлевшиеся в моем сердце, глубже проникают в него. Святилище замкнуто, но в храме есть и ее образ. Незаметно я становлюсь для нее тем, кем был бы, если б никогда не видел вас; и лишь вы одна могли бы дать мне почувствовать разницу меж тем, что она мне внушает, и любовью; волнение крови, свободное от этой грозной страсти, присоединилось к сладостному чувству дружбы. Но разве от этого дружба становится любовью? Ах, Юлия! Как велика разница! Где восторги? Где поклонение? Где дивное безумие, более блистательное, более возвышенное и более могучее, чем разум, и во сто крат прекраснее его? Их нет. Я загораюсь лишь на минуту, мимолетное волнение тут же покидает меня. Вновь мы с нею становимся друзьями, которые нежно любят друг друга и спокойно говорят об этом. А разве так любят влюбленные? Слова «вы» и «я» изгнаны из их языка, ибо влюбленные душой нераздельны, они слились в единое существо.

Но действительно ли я спокоен? И как это возможно? Она прелестна, она и ваша и моя подруга, меня привязывает к ней признательность: с нею связаны самые сладкие мои воспоминания. Вот сколько прав у нее над моей чувствительной душой. И как же отделить от всех этих вполне законных чувств более нежное чувство? Увы! Верно, мне на роду написано не знать ни минуты покоя между ней и вами.

Женщины! Женщины! Создания милые и роковые, коих природа одарила прелестью нам на мученье, вы караете тех, кто вам бросает вызов, и преследуете тех, кто вас страшится, ваша ненависть и любовь равно для нас опасны, и нам нельзя безнаказанно ни искать вашего внимания, ни бежать от вас!.. Женщина! Красота, обаяние, привлекательность, прелесть, существо реальное или непостижимая химера, бездна скорби и наслаждений! Красота, более грозная для смертных, нежели стихия, из которой ты родилась. Горе тому, кто доверится твоему обманчивому спокойствию! Ведь это ты вызываешь бури, терзающие род человеческий. О Юлия! О Клара! Дорогой ценою плачу я за жестокую дружбу, которой вы вместе хвалиться передо мной!.. Я пережил столько бурь, и всегда их вызывали только вы. Но сколь различны волнения, которые каждая из вас заставила мое сердце изведать. Волны Женевского озера не походят на волны беспредельного океана. На озере волны вскипают быстро; короткие, с острым гребнем, непрестанно набегают они, бурлят,

порой захлестывают, но никогда не вырастают в грозные валы. А на море, с виду спокойном, чувствуешь, как тебя поднимает, несет так мягко и так далеко медленная и почти незаметная волна; кажется, ты не двигаешься с места, а тебя унесло на край света.

Столь же различно действуют на меня ее и ваши чары. Первая и единственная моя любовь, решившая мою судьбу, всю жизнь мою, любовь, которую ничто, кроме нее самой, не могло победить, зародилась совсем незаметно для меня; она уже меня захватила, а я еще этого не знал; я потерял дорогу, не замечая, что заблудился. Пока бушевал ветер, я был то на небесах, то в пучине; улегся ураган, и я уже не знаю, где нахожусь теперь. Близ Клары я замечаю, я чувствую свое смятение и представляю его себе более сильным, нежели в действительности; мимолетные мои восторги, однако, не имеют никаких последствий; на мгновение я увлекусь, и тут же успокаиваюсь; тщетно волна тревожит корабль, ветер не в силах надуть паруса; ее чары пленяют меня, но сердце мое не возвышает их никакими иллюзиями, я смотрю на нее и вижу, что она даже красивее, чем рисовало мне воображение, и я больше страшусь ее вблизи, чем вдалеке,— почти полная противоположность тому действию, какое вы оказывали на меня: я постоянно испытывал это в Кларане.

Правда, с тех пор как я уехал, ее образ порой обретает надо мною больше власти. К несчастью, мне трудно видеть ее мысленным взором одну. А все-таки я вижу ее, и это уже не мало. Но не любовь пробуждает она в моем сердце, а только волнение.

Вот верная картина моих чувств к вам и к ней. Все остальные женщины для меня ничто, долгие мои мучения заставили меня забыть о них:

E fornito il mio tempo a mezzo glianni [1].

Несчастье заменило мне силу воли, ибо помогло победить природу и восторжествовать над искушениями. Когда страдаешь, мало возникает желаний; а вы к тому же научили меня их укрощать, сопротивляться им. Большая и несчастная любовь — лучшее средство привести человека к мудрости. Теперь мое сердце, так сказать, управляет моими желаниями: когда оно спокойно, мне ничего не надо. Оставьте его в покое, и вы и Клара,— и тогда из этого спокойствия оно не выйдет никогда.

---

[1] Мой путь закончен в середине жизни *(итал.)*.

Что ж мне бояться самого себя при таком душевном состоянии? А вы хотите из какой-то жестокой осторожности отнять у меня мое счастье, чтобы не подвергать меня опасности потерять его? Зачем? Что за прихоть! Заставили меня сражаться и победить для того, чтобы лишить меня плодов победы! Разве не вы сами порицаете тех, кто без нужды бросается навстречу опасности? Зачем вы призвали меня, дозволили жить близ вас, если это так опасно? И зачем теперь понадобилось меня изгонять, когда я достоин остаться? Зачем допустили, чтобы ваш супруг потратил столько труда? Почему вы не уговорили его отказаться от хлопот, раз вы решили сделать их напрасными? Отчего вам не сказать ему: «Оставьте его на краю света, потому что все равно я отошлю его туда обратно»? Увы! Чем больше вы боитесь за меня, тем скорее вам нужно призвать меня. Нет, опасность для меня не в близости к вам, а в разлуке с вами, и я боюсь вас лишь там, где вас нет. Когда грозная Юлия преследует меня, я нахожу себе убежище близ госпожи де Вольмар, и тогда я спокоен. А куда мне бежать, если этот приют отнимут у меня? Вдали от госпожи де Вольмар во всякое время и во всяком месте мне грозит опасность — повсюду меня подстерегают Клара или Юлия. И та и другая по очереди мучили меня в прошлом, мучают и теперь; лишь при виде вас я чувствую, как успокаивается мое смятенное воображение, лишь ваша близость для меня надежная защита от меня самого. Как объяснить вам перемену, происходящую во мне, когда я приближаюсь к вам? Ваша власть надо мною все та же, что и прежде, но действие ее противоположно прежнему: она подавляет те восторги, которые вы когда-то порождали, она стала еще больше и чище; на смену бурных волнений страсти пришли умиротворенность и безмятежный покой; мое сердце всегда уподоблялось вашему сердцу, любили мы одинаково, и, по вашему примеру, душа моя пришла к спокойствию. Но это лишь кратковременный отдых, недолгая передышка. Если мне и удается в вашем присутствии подняться до вас,— расставшись с вами, я падаю с этой высоты и становлюсь самим собою. Право, Юлия, у меня словно две души, и одна из них, лучшая, отдана вам на хранение. Ах, неужели вы хотите разлучить меня с нею?

Но вас тревожат возможные во мне волнения чувств, вас страшат остатки молодости, угасшей под бременем печали, вы боитесь за молодых женщин, коих опекаете; словом, вы опасаетесь таких поступков с моей стороны, каких не ждал от меня и осторожный Вольмар. О боже, как меня унижают все эти страхи! Ужели вы так мало уважаете вашего друга? Меньше,

чем последнего из ваших слуг? Я готов простить, что вы дурно думаете обо мне, но никогда не прощу вашего неуважения к самой себе. Нет, нет, огонь, которым горел я, очистил мою душу, у меня уже нет обычных мужских слабостей. Если б я после всего, что было, мог хоть на мгновение оказаться подлецом, я убежал бы на край света, да и тогда все еще считал бы, что я недостаточно далеко скрылся от вас.

Как! Мне возмутить тот любезный сердцу порядок в вашем доме, коим я так восхищался? Мне осквернить приют невинности и мира, в коем жил я, исполненный уважения к нему? Да разве я могу быть таким негодяем!.. Послушайте, ведь самого испорченного человека и то растрогала бы столь прелестная картина! Разве не раскаялся бы он в этом приюте любви и честности? Не только не занес бы он туда своей безнравственности, но и сам избавился бы от нее... Как! Я, Юлия, я? Так поздно? Да еще на ваших глазах?.. Дорогой друг, без страха откройте мне двери дома вашего; для меня он — храм добродетели: повсюду я вижу ее величественный образ и возле вас могу служить только ей. Правда, я не ангел, но ведь я буду жить в обители ангелов и следовать их примеру. Лишь тот, кто не хочет походить на них, должен обратиться в бегство.

Видите, с каким трудом я подошел к главному в вашем письме предмету, к первому, о коем только и следовало думать, единственному, коим буду я занят, если дерзну притязать на то счастье, о коем вы мне возвещаете. О Юлия! Добрая, несравненная душа! Предлагая мне лучшую половину своего существа, драгоценнейшее после вас сокровище, какое только есть на свете, вы для меня делаете, если это возможно, больше чем все, что вы уже сделали. Любовь, слепая любовь могла заставить вас отдаться мне; но вы хотите отдать мне руку вашей подруги — вот неоспоримое доказательство уважения. С этой минуты я считаю, что и в самом деле обладаю некоторыми достоинствами, раз вы оказываете мне такую честь. Но каким жестоким станет для меня почетное свидетельство вашего доверия! Приняв его, я не оправдаю ваших надежд, и, чтобы его заслужить, я должен от него отказаться. Вы знаете меня, так судите сами. Ведь недостаточно того, чтобы ваша прелестная кузина была любима,— надо, чтобы ее любили не меньше, чем вас,— и я это знаю. Но будет ли она так любима? Может ли это быть? И зависит ли это от меня? Отвечу ли я ей взаимностью в должной мере? Ах, если уж вы пожелали соединить нас с нею, зачем не оставили вы мне мое сердце, все сердце, дабы она вдохнула в него новые чувства и приняла в дар первый их

цвет? А найдется ли сердце менее пригодное для нее, чем то, которое так любило вас? Мне надо бы иметь душу свободную и мирную, как у доброго и благоразумного д'Орба, чтобы я мог, так же как и он, думать лишь о ней; надо быть достойным д'Орба, чтобы стать его преемником, иначе в сравнении с прошлым настоящее будет для нее невыносимым; слабая и неполная любовь второго супруга не только не утешит ее, но лишь оживит сожаление о покойном. Вместо нежного и признательного друга у нее будет самый заурядный муж. Разве выиграет она от такой перемены? Напротив, потеряет вдвойне. Для ее нежной и чувствительной души будет слишком ощутима эта потеря, а каково мне-то будет постоянно видеть, что она грустит, знать, что я тому виною, и быть не в силах исцелить ее от сей печали. О! Я прежде ее умер бы от горя. Нет, Юлия, я не хочу для себя счастья ценою ее несчастья. Слишком сильно я ее люблю и поэтому отказываюсь жениться на ней.

Счастья для себя? Да разве я могу быть счастливым, если не дам ей счастья? Разве в браке один из супругов может жить отдельной жизнью? Разве не общие у них и радости и беды, сколько бы их ни было? И разве огорчения, которые муж и жена приносят друг другу, не удручают самого виновника разлада? Из-за ее страданий я и сам был бы несчастлив, а ее благодеяния не принесли бы мне радости. Любезность, красота, высокие достоинства, привязанность, богатство — все способствовало бы моему блаженству, но сердце, одно лишь сердце мое все отравило бы, и я был бы таким жалким среди своего «счастья».

Ныне мое душевное состояние близ нее полно прелести, однако радости мои не только не возрастут в более тесном союзе, но я лишусь нынешних моих самых больших удовольствий. В порыве нежной дружбы она при своем шаловливом нраве изливает ее в милых ласках, но только на людях. Близ нее я, случается, испытываю живое волнение, но лишь когда ваше присутствие отвлекает меня от мыслей о вас. Всегда вы находитесь меж нею и мною, когда мы с ней бываем наедине, и только благодаря вам эти минуты восхитительны. Чем сильнее наша привязанность, тем больше мы думаем о том, из каких звеньев составилась эта цепь, сладостные узы нашей дружбы становятся еще крепче, и мы любим быть вместе для того, чтобы говорить о вас. Итак, подругу вашу и вашего друга соединяет множество воспоминаний, дорогих ей и еще более дорогих ему; если же нас соединят узы брака, мысли о прошлом придется отбросить. Ведь эти упоительные воспоминания станут неверностью в отношении вашей кузины, не так ли? Не будет ли с моей

сторопы наглостью брать любезную и достойную свою супругу в наперсницы и рассказывать ей об оскорблениях, кои мое сердце невольно наносило бы ей? Сердце мое больше не осмеливалось бы излиться перед нею, при ней оно всегда замыкалось бы. Не дерзая больше говорить о вас, я вскоре перестал бы говорить и о себе. Мой долг, моя честь требовали бы от меня еще большей сдержанности, и постепенно жена стала бы для меня совсем чужой, я лишился бы руководительницы и советчицы, некому было бы просветить мою душу, помочь мне исправлять свои ошибки. Такой ли чести она заслуживает? Это ли дань нежности и признательности, которую я должен принести ей? Могу ли я, таким образом, составить ее счастье, да и свое?

Ужели вы забыли, Юлия, наши клятвы? Что до меня, я не забыл их нисколько. Я все потерял, мне осталась только верность, и я буду хранить ее до гроба. Я не мог жить для вас, так пусть я умру свободным. Если надо в этом поклясться, готов хоть сейчас это сделать. Ведь если брак является для каждого долгом, еще более важный долг — не делать никого несчастным, а связав себя узами супружества с другой, я буду чувствовать лишь одно: вечное сожаление о тех узах, на которые я в прошлом дерзнул притязать. Я вступил бы в святой союз с мыслью о том, что́ некогда надеялся найти в нем. И эта мысль обратилась бы в пытку и для меня, и для моей жены. Я все домогался бы от нее того счастья, которого когда-то ждал от вас. Сколько сравнений мне приходило бы на ум! Какая женщина могла бы их выдержать? Ах, да разве мог бы я утешиться и в том, что не принадлежу вам, и в том, что стал супругом другой женщины!

Дорогой друг, зачем хочешь ты поколебать решение, от коего зависит спокойствие жизни моей? Не старайся исторгнуть меня из бездны небытия, в которую я низвергся,— ведь вместе с чувством существования ко мне вернется и сознание моего несчастья, снова раскроются и причинят мне жестокую боль мои старые раны. Со времени возвращения своего я почувствовал более живой интерес к вашей подруге, и это не вызывало у меня беспокойства: я хорошо знал, что состояние моего сердца не даст разгореться этой склонности, и, видя, что моя всегдашняя нежная привязанность к Кларе обретает для меня новую прелесть, я даже радовался сему волнению, ибо оно помогло мне отвлечься от мыслей о вас, и мне легче было переносить воспоминания. В волнении этом есть нечто подобное радостям любви и нет ее мук. Удовольствие видеть Клару не омрачается желанием обладать ею. Я хотел бы всю жизнь прожить так же, как провел

эту зиму,— меж вами двумя, вкушая сладостный покой душевный [1], который умеряет суровость добродетели и делает приятными ее наставления. Если какой-либо напрасный порыв взбудоражит меня на миг, все помогает подавить его, и смятение стихает; я столько уже преодолел более опасных волнений, что теперь мне нечего бояться. Я чту вашу подругу не меньше, чем ее люблю,— этим все сказано. Даже если бы я думал только о себе, права нежной дружбы мне так дороги, что я не дерзнул бы подвергнуться опасности утратить эти права, пытаясь их расширить; и мне совсем не нужно думать о своем долге быть почтительным с Кларой,— я и так, хотя бы в беседе с глазу на глаз, никогда не скажу ей ни единого слова, которое ей пришлось бы разгадывать или якобы не расслышать. Быть может, она порою подмечала в моем обхождении слишком много горячей симпатии, но, конечно, не видела в моем сердце желания выразить это чувство. Каким я был с нею последние шесть месяцев, таким останусь всю жизнь. Я полагаю, что после вас она самая совершенная женщина в мире, но, даже будь она лучше вас, я чувствую, что стать ее возлюбленным мог бы лишь в том случае, если бы никогда не имел счастья любить вас.

Прежде чем кончить свое послание, хочу еще сказать, что я думаю о вашем письме. Я нахожу в нем глубокую осторожность добродетели, страх боязливой души, которая вменяет себе в обязанность всюду видеть ужасы и полагает, что надо всего бояться, дабы от всего себя обезопасить. Чрезмерная робость не менее опасна, чем крайняя самонадеянность. Непрестанно она показывает нам чудовищ там, где их нет и в помине, утомляет нас, заставляя бороться с химерами, и приводит к тому, что из-за беспричинной боязни мы меньше держимся настороже против подлинных опасностей и уже не способны разглядеть их. Перечитывайте иногда письмо, которое милорд Эдуард написал в прошлом году по поводу вашего мужа; вы там найдете добрые советы, во многих отношениях полезные и вам самой. Я не порицаю вашего благочестия, оно столь же трогательно в своей милой кротости, как вы сами. Но берегитесь, как бы из-за вашей чрезмерной робости и предусмотрительности оно не привело вас к квиетизму, только противоположным путем: повсюду пока-

[1] Несколькими страницами выше он говорил совершенно противоположное. Бедный философ, оказавшись меж двух хорошеньких женщин, думается мне, попал в забавное и затруднительное положение. Можно подумать, что ему хочется не питать любви ни к той, ни к другой, дабы можно было любить их обеих.

зывая вам грозящие опасности, оно под конец внушает вам отвращение ко всему в жизни. Дорогой друг, разве вы не знаете, что добродетель — это состояние войны? Ведь для того чтобы жить в добродетели, надо всегда бороться с собою. Будем же меньше думать об опасностях, чем о нас самих, дабы душа наша была готова достойно встретить любое испытание. Кто ищет соблазнов,— конечно, может пасть и заслуживает такой участи, но кто слишком осторожен и убегает от соблазнов, тот нередко уклоняется из-за этого от выполнения долга; посему не стоит непрестанно думать об искушениях даже для того, чтобы их избежать. Я никогда не буду искать опасных минут, искать уединенных свиданий с женщинами, но в какое бы положение меня впредь ни поставило провидение, порукой мне будут те восемь месяцев, которые я провел в Кларане, и я теперь не боюсь, что кто-нибудь отнимет у меня право на награду, которую я заслужил благодаря вам. Я не буду слабее, чем прежде, да мне и не придется вести великие сражения; я изведал горечь укоров совести, я вкусил сладость победы, и, сравнивая их, уже не станешь колебаться в выборе; все, вплоть до прошлых моих ошибок, служит мне ручательством за будущее.

Я не собираюсь вступать с вами в новые споры касательно устроения вселенной и руководства существами, ее населяющими; скажу лишь одно: в вопросах, столь превышающих силы человеческие, судить о том, что сокрыто от взора, мы можем лишь исходя из того, что видим воочию, и все аналогии говорят в пользу общих законов, которые вы, кажется, отвергаете. Сам разум и здравые представления о высшем существе благоприятствуют такому мнению; ведь хотя бог, обладая всемогуществом, и не нуждается в приемах, облегчающих его труды, все же мудрости подобает действовать наиболее простыми путями, не допуская ничего бесполезного как в способах действия, так и в следствиях. Создав человека, творец наделил его всеми способностями, необходимыми для совершения того, что он требует от нас, и когда мы молимся ему о даровании нам силы следовать по пути добра, мы просим лишь того, что он уже дал нам. Он дал нам разум, дабы мы познали, что есть добро, дал нам совесть, дабы мы любили добро [1], и свободу воли, дабы мы могли выбрать добро. В этих величайших дарах и состоит благодать, и поскольку все мы их получили, все мы ответственны за них.

---

[1] Для Сен-Пре нравственное сознание есть чувство, а не способность суждения, что противоречит определениям философов. Однако я полагаю, что тут их мнимый собрат оказался прав.

Я слышал многие рассуждения, отрицающие свободу человека, но я презираю эти софизмы; сколько бы ни доказывал какой-нибудь резонер, что воля моя не свободна, мое внутреннее чувство сильнее всех его доводов и постоянно их опровергает; и какое бы решение я ни принял, обдумав какое-нибудь дело, я прекрасно знаю, что только от меня зависит принять противоположное решение. Все эти ученые тонкости совершенно излишни именно потому, что они слишком много доказывают,— одинаково ополчаются они и против истины, и против лжи, и, утверждая, например, что свобода воли существует, они с одинаковым успехом могут служить для доказательства, что свободы воли нет. Послушать этих господ, так и сам бог не свободен, и самое слово «свобода» не имеет никакого смысла. Они торжествуют, но не потому, что разрешили вопрос, а потому, что поставили на его место свои домыслы. Они начинают с предположения, что всякое мыслящее существо всецело пассивно, а затем из сего предположения делают выводы, доказывающие, что оно не является деятельным. Удобный метод! Напрасно только они воображают, будто их противники рассуждают таким же способом. Мы вовсе не предполагаем, а чувствуем, что мы деятельны и свободны. Пусть они нам докажут, что это чувство может нас обмануть и что оно и в самом деле обманывает нас [1]. Епископ Клюнский доказывал, что без всякого изменения для наших ощущений материя и тела могли бы и не существовать! Достаточно ли этого для утверждения, что они не существуют? Во всяком случае, тут наши ощущения важнее, чем реальность, я придерживаюсь того, что проще.

Итак, я не верю, что, позаботившись о всех потребностях человека, бог оказывает одному предпочтительно перед другим особую помощь: ведь тот, кто дурно пользуется общей для всех милостью провидения, сего недостоин, а тот, кто употребляет ее во благо, в такой помощи не нуждается. Пристрастное отношение к людям оскорбительно для божественного правосудия. Если бы столь суровая и безнадежная доктрина даже вытекала из самого Священного писания, не является ли моим первым долгом чтить господа бога? И сколь ни должен я почитать слова Священного писания, еще более обязан я чтить творца вселенной; я скорее уж поверю, что текст Библии подделан или непонятен, нежели допущу мысль, что господь неспра-

---

[1] Речь идет вовсе не об этом. Речь идет о том, чтобы установить, действует ли наша воля без причины или же существует причина, направляющая волю.

ведлив и делает зло людям. Святой Павел полагает, что глиняный сосуд не должен говорить горшечнику: «Почему ты создал меня таким?» Это правильно при условии, что горшечник требует от сосуда лишь тех услуг, для коих его и сделал; но если горшечник сердится на сосуд за то, что он не годится для такого употребления, для коего он не был создан, то разве сосуд не вправе ему сказать: «Почему ты меня создал таким?»

Следует ли отсюда, что молитва бесполезна? Упаси меня боже лишать себя этой поддержки против моей слабости. Всякое устремление мыслей наших к богу поднимает нас над самими собой; моля бога о помощи, мы учимся находить ее. Не он меняет нас, мы сами меняемся, возносясь к нему душою [1]. Все, чего человек горячо просит, он сам себе дает, ибо, как вы справедливо сказали, признавая свою слабость, он благодаря этому становится сильнее. Но если он злоупотребляет молитвословиями и впадает в мистику, он губит себя своими воспарениями в небеса — он ищет благодати, отказываясь от разума; испрашивая один небесный дар, он попирает ногами другой дар провидения; усердно моля небо просветить его, он гасит светоч, который ему дарован. Да кто мы такие, чтобы требовать от бога: «Соверши чудо!»

Вы хорошо знаете: любое доброе качество можно довести до крайности, достойной порицания, даже набожность, которая становится тогда безумием. Ваша набожность слишком чиста и поэтому никогда не дойдет до такой ступени, но крайности, приводящие к ослеплению, начинаются раньше, и вы должны опасаться даже их зачатков. Я часто слышал, как вы порицаете экстазы аскетов, а известно вам, как эти экстазы возникают? Молитвы, коим предаются аскеты, длятся так долго, что силы человеческие сего не выдерживают. Ум изнемогает, зато разгорается фантазия и порождает видения; духовидцы становятся боговдохновенными пророками, а тогда прощай здравый смысл, прощай дарования, ничто уже не спасет от фанатизма. Вы вот часто запираетесь в своем кабинете, погружаетесь в себя и по-

---

[1] Наш влюбленный философ, подражавший поведению Абеляра, кажется, вздумал заимствовать также и его учение. Их взгляды на молитву во многом схожи. Многие из приверженцев этой ереси найдут, что лучше упорствовать в заблуждении, нежели впасть в новую ошибку,— я думаю иначе. Не такая уж большая беда — ошибиться, куда хуже — дурно вести себя. Слова эти, по-моему, нисколько не противоречат тому, что я говорил выше об опасности ложных правил нравственности. Но надо предоставить кое-что и размышлению читателя.

стоянию молитесь; вы еще не встречаетесь с пиетистами [1], но вы читаете их книги. Я никогда не порицал вашу склонность к творениям Фенелона, но что вам делать с писаниями его ученицы? Вы читаете Мюра; я тоже его читаю, но я выбираю его «Письма», а вы выбрали его «Божественный инстинкт». Вспомните, как Мюра кончил, пожалейте о заблуждениях этого мудрого человека и подумайте о себе. Женщина благочестивая, христианка, ужели вы хотите стать ханжой?

Дорогой и уважаемый друг мой, я принимаю ваши суждения с детской покорностью и высказываю вам свои мнения с отеческой заботой. С тех пор как добродетель не только не разорвала нашу близость, но сделала ее нерасторжимой, ее права сочетаются с правами дружбы. Нам с вами одинаково нужны наставления, нас влекут к себе одинаковые цели. Когда бы ни говорили друг с другом сердца наши, когда бы ни встречались наши взоры, мы оба видели в них лишь взаимную заботу о чести и доброй славе нашей, которая возвышает нас обоих, и всегда для каждого из нас будет важно нравственное совершенство другого. Но если мы обсуждаем сии предметы вместе, решение тут не может быть совместным,— принимать его надлежит вам одной. А вы, от кого всегда зависела моя участь, ужели вы перестанете быть ее судьей? Взвесьте мои доводы и скажите свое слово; приказывайте,— я всему готов подчиниться, по крайней мере буду тогда достоин, чтобы вы и впредь руководили мною. Даже если мне пришлось бы никогда более не видеть вас, вы всегда будете со мною, будете направлять мои действия; даже если бы вы решили лишить меня чести воспитывать ваших детей, вы не отнимете у меня тех добродетелей, кои сами же взрастили во мне,— это дети души вашей, моя душа приняла их, и уже ничто не может их отнять у нее.

Говорите со мною прямо, Юлия. Я очень ясно обрисовал вам свои чувства и мысли. Теперь скажите, что мне делать. Вы знаете, как тесно судьба моя связана с судьбою моего знаменитого друга. Я с ним не советовался, не показывал ему ни вашего, ни своего письма. Если он узнает, что вы не одобряете его план или, вернее, план вашего супруга, он и сам откажется от него; и я совсем не намерен добиваться от него возражений

---

[1] Своеобразные безумцы, коим пришла фантазия объявить себя истинными христианами и буквально следовать Евангелию вроде того, как это делают в наши дни методисты в Англии, моравские братья в Германии, янсенисты во Франции; но стоило бы янсенистам оказаться господами положения, и они стали бы более суровыми и нетерпимыми, чем их враги.

против ваших страхов; надо только, чтобы до вашего окончательного решения он ничего не знал о них. А пока я постараюсь отсрочить наш отъезд, изобрету для этого предлоги, которые, быть может, покажутся ему странными, но он, несомненно, их примет. Что до меня, то уж лучше мне никогда более не видеть вас, чем увидеться лишь для того, чтобы вновь сказать вам прости. А жить близ вас в качестве постороннего человека — для меня незаслуженное унижение.

## ПИСЬМО VIII

*От г-жи де Вольмар*

Ну вот, опять заговорило ваше напуганное воображение! А на каком основании, позвольте спросить? На основании свидетельства уважения и дружбы, самого подлинного из всех, какие вы когда-либо получали от меня; на основании спокойных рассуждений, внушенных мне искренней заботой о вашем счастье, на основании самого любезного, самого выгодного для вас, самого почетного предложения из всех, какие вам когда-либо делали; на основании горячего, но, быть может, неделикатного стремления связать вас с моей семьей нерасторжимыми узами, желания сделать своим родственником — неблагодарного, который думает или притворяется, будто он думает, что я не хочу больше видеть в нем друга. Чтобы избавиться от беспокойства, по-видимому овладевшего вами, следовало принимать то, что я написала, в самом прямом, естественном смысле. Но вы уже давно привыкли мучить себя несправедливыми подозрениями. В письме вы, как и в жизни, то возноситесь в небеса, то ползете по земле, то полны силы, то ребячливы. Дорогой мой философ, ужели вы никогда не перестанете быть ребенком?

Откуда вы взяли, что я вознамерилась навязывать вам какие-то законы, решила разорвать с вами и (воспользуюсь вашими собственными словами) отослать вас на край света? Положа руку на сердце, скажите, ужели вы и впрямь находите, что дух моего письма именно таков? Да ведь совсем наоборот,— я заранее радовалась удовольствию жить вместе с вами, только боялась неурядиц, которые могли бы омрачить эту радость, и старалась найти средство предупредить их, да так, чтобы средство это было приятным, сладостным для вас и чтобы благодаря ему судьба ваша стала достойной и ваших заслуг, и моей привязанности к вам. Вот и вся моя вина. Мне кажется, тут не из-за чего так сильно тревожиться.

Вы не правы, друг мой, ведь вам известно, как вы мне дороги; но вам нравится, чтобы я это повторяла, а так как мне и самой это приятно не меньше вашего, вам совсем нетрудно добиться этого, не прибегая к жалобам и гневу.

Словом, будьте уверены, что, если ваше пребывание здесь желанно вам, оно не менее желанно и мне, и что из всего сделанного Вольмаром ради меня ничто меня так не трогает, как его решение пригласить вас в наш дом и его заботы о том, чтобы вы навсегда остались у нас. С удовольствием признаю, что мы с вами полезны друг другу. Ведь и вам и мне более свойственно прислушиваться к добрым советам, нежели полагаться только на свое разумение; оба мы нуждаемся в руководителях. И что именно подходит одному, другой почувствует лучше всех, ибо прекрасно его знает. Не правда ли? А кто лучше нас с вами угадает опасность потерять голову при трудных для нас встречах? Кто лучше всего может напомнить нам об этой опасности? Перед кем мы больше краснели бы, если б унизили свою великую жертву? После того как мы разорвали такие узы, разве не должны мы в память их не делать ничего недостойного благородных побуждений, заставивших нас разорвать эти узы? И вот какую верность вам обещаю я всегда хранить: всю жизнь я буду брать вас в свидетели каждого своего поступка; я хочу, чтоб о каждом чувстве, воодушевляющем меня, я могла бы сказать: «Вот то, что я предпочла вам». Ах, друг мой, я сумею достойно выполнить обет, который дала в сердце своем. Я могу оказаться слабой перед кем угодно на свете, но в отношении вас я ручаюсь за себя.

Именно в этой благородной преданности, всегда переживающей истинную любовь, а не в деликатных заботах Вольмара, надо искать причину того возвышенного состояния души и той внутренней силы, какие испытываем мы близ друг друга,— и, думается, я чувствую это так же, как и вы. Подобное объяснение, по крайней мере, более естественно, больше делает чести нашим сердцам, нежели объяснение Вольмара, и больше побуждает идти благим путем,— этого достаточно, чтобы его предпочесть. Итак, поверьте, я очень далека от того странного расположения духа, в котором, как вам кажется, я нахожусь,— наоборот, чувства мои совершенно сему противоположны. И если придется отказаться от намерения нашего жить вместе, я буду смотреть на эту перемену как на великое несчастье для вас, для меня, для детей моих и даже для моего мужа, ибо он, как вам известно, в значительной мере является причиной моего желания видеть вас здесь. Но если уж говорить только о

моей личной приязни к вам, вспомните о первых минутах нашей встречи, когда вы приехали сюда: разве я меньше проявила радости, увидев вас, нежели вы обрадовались, подойдя ко мне? Ужель вам казалось, что ваше пребывание в Кларане для меня докучно или тягостно? Ужель вы полагаете, что ваш отъезд доставил бы мне удовольствие? Право, надо уж идти до конца и все сказать с обычной моей откровенностью. Признаюсь без обиняков, что последние полгода, которые мы прожили вместе с вами, были счастливейшей порой моей жизни, и в этот краткий промежуток времени я изведала все радости, коих жаждала моя душа.

Никогда не забуду тот зимний вечер, когда мы собрались все вместе, читали вслух заметки о ваших путешествиях и о приключениях вашего друга, а потом перешли ужинать в «триклиниум Аполлона», и там, думая о счастье, которое господь послал мне в этом мире, я видела вокруг себя своего отца, мужа, детей своих, кузину, милорда Эдуарда, вас, не считая Фаншоны, которая совсем не портила картины; а ведь все собрались тут ради счастливицы Юлии. И я думала: «Вот в этой комнатке находится все, что дорого моему сердцу, и, может быть, лучше этого нет ничего на свете. Вокруг меня — все, кто мне любезен, для меня здесь целый мир; здесь все доставляет мне радость: моя привязанность к друзьям и их ответная привязанность, их привязанность друг к другу; взаимная их благожелательность или исходит от меня, или ко мне относится; здесь вижу я лишь то, от чего ширится душа моя, ничто не вносит в нее разлада: она сливается со всем, что меня окружает,— для того, что находится вдали от меня, не остается ни малейшей частицы моего существа; воображению моему нечего больше рисовать, да и желать мне больше уж нечего; чувствовать и наслаждаться теперь для меня одно и то же; я живу во всем, что я люблю; я насытилась счастьем и жизнью. О смерть, приходи когда хочешь, я больше не боюсь тебя, я жила, я тебя опередила, мне уже не изведать никаких новых чувств, тебе нечего отнять у меня».

Чем радостнее мне было жить вместе с вами, тем приятнее было рассчитывать на это в будущем, и потому все, что могло нарушить эту радость, внушало мне беспокойство. Оставим на минуту в стороне мою «боязливую» мораль и пресловутую мою набожность, за которые вы меня корите. Сознайтесь, по крайней мере, что вся прелесть нашего маленького мирка была в чистосердечии, все чувства, все мысли были у нас общими, а оттого каждый чувствовал себя таким, каким он и должен быть, и

показывал себя таким, каков он есть. Предположите на минуту, что появилась бы какая-нибудь интрига, которую нам надо было бы скрывать, какое-нибудь основание для замкнутости и таинственности: сразу исчезло бы все удовольствие встречаться; мы испытывали бы какую-то неловкость друг перед другом, старались бы спрятаться, затаиться, когда мы собираемся вместе; осмотрительность, благоприличия приводят к взаимному недоверию и отвращению. Разве можно долго любить тех, кого боишься? Люди становятся неприятны друг другу... Юлия окажется неприятна?.. Неприятна своему другу? Нет, нет, этого никогда не будет. Надо бояться только тех несчастий, какие человек в силах перенести.

Простодушно излагая вам свои страхи, я не хотела заставить вас переменить свое намерение, а только пролить на все свет. Я опасалась, что, делая этот шаг, вы не предвидели всех его последствий, а потом стали бы раскаиваться, не решаясь, однако, отступить. А если вы говорите, что у Вольмара не было подобной боязни в отношении вас, то ведь не ему, а вам нужно было ее иметь: кто лучше может судить, какой беды можно ждать от вас, кроме вас самого?

Поразмыслите хорошенько, и если после этого вы скажете мне, что опасности нет, я больше о ней и думать не стану: я знаю вашу прямоту и никогда не поверю, что вы таите дурные намерения. Если сердце ваше и способно на непредвиденный проступок, то, конечно, предумышленное зло никогда не находило доступа к нему. А ведь именно это и отличает человека слабого от дурного человека.

Да если бы мои возражения и были обоснованы более, чем мне хотелось бы, зачем сразу же на все смотреть так мрачно, как вы? Я вовсе не предлагала столь строгих мер предосторожности, какие предусматриваете вы. Ужели вам необходимо тотчас разрушать все ваши планы и навсегда бежать от нас? Нет, любезный друг мой, столь печальные средства вовсе не нужны. Право, умом вы все еще дитя, а сердцем уже старик. Большая пережитая страсть отвращает от других страстей, мир душевный, наступающий вслед за нею,— единственное чувство, которым все сильнее начинаешь дорожить. Чувствительное сердце бежит покоя, пока его не знает, но стоит ему хоть раз изведать покой, и оно уж не захочет его лишиться. Сравнив два столь противоположные состояния души, как не предпочесть лучшее из них? Но для сравнения необходимо познать их оба. И вот я вижу, что минута безопасности вашей, быть может, ближе, чем вам это кажется. Чувство ваше было слишком пылким, а посему

не может быть долгим, вы любили слишком страстно и должны перейти к равнодушию: не разгорится пепел, оставшийся в погасшем горниле, но надо подождать, пока там все перегорит. Еще несколько лет внимательно приглядывайтесь к себе, а потом вам уже нечего будет страшиться.

Та жизнь, какую я хотела для вас создать, уничтожила бы всякую опасность; да подумайте и о том, что она была бы сама по себе сладостна, была бы завидной участью; если вы по щепетильности своей не смеете на нее притязать, я и без ваших слов знаю, чего вам стоит такая сдержанность; боюсь, однако, что к причинам решения вашего примешались основания скорее надуманные, нежели уважительные; боюсь, что, с гордостью выразив непреклонное намерение выполнить обязательство, от коего решительно все освобождает вас и о коем никто уж не думает, вы идете ложным путем, называете добродетелью какое-то ненужное постоянство, более достойное порицания, нежели похвал, и ныне уже совсем неуместное. Я вам говорила когда-то: хранить верность преступной клятве — это вторичное преступление; а ваша клятва если и не была преступной, то теперь стала ею; этого достаточно, чтобы отринуть ее. Всегда нужно быть верным своему слову, быть человеком порядочным и твердым в исполнении долга; но изменить свое решение, когда изменяется самый долг,— это вовсе не легкомыслие, но твердость. Некогда вы, быть может, хорошо поступили, когда дали обещание, а ныне было бы дурно соблюдать его; всегда поступайте так, как того требует добродетель, и вы никогда не впадете в противоречие с самим собою.

Если среди ваших сомнений и есть какое-нибудь основательное, мы с вами можем разобраться в нем на досуге, а пока что я не очень сержусь на то, что вы не ухватились за мою мысль с такой же горячностью, как я сама, и, следовательно, моя опрометчивость,— если только я тут допустила опрометчивость,— не окажется для вас такой жестокой. Я обдумала этот план в отсутствие моей кузины. Она возвратилась, когда я уже отослала письмо, и после этого мы несколько раз в общих чертах касались в разговоре вопроса о вторых браках; мне кажется, что сама она чрезвычайно далека от подобного намерения, и, хоть мне хорошо известны ее чувства к вам, полагаю, что победить даже в вашу пользу ее отвращение ко второму браку было бы возможно лишь благодаря величайшей настойчивости с моей стороны, что я считаю недопустимым: ведь есть предел, далее которого не должны заходить права дружбы,— следует уважать наклонности и правила каждого человека и его представления

о своем долге, быть может, и произвольные сами по себе, но оправданные состоянием души, которая возлагает на себя обязательства.

Признаюсь, однако, что я еще не отказалась от своего плана: он так всем нам подходит и к тому же дает возможность таким приличным способом вывести вас из ненадежного положения, в коем вы живете на белом свете. А как слились бы тогда наши интересы, каким естественным долгом стала бы для нас наша дружба, столь сладостная нам,— нет, я не могу расстаться со своим планом! Друг мой, никогда я не буду считать, что мы слишком тесно сблизились; мне даже мало того, чтобы вы стали моим родственником, мне хотелось бы, чтобы вы были родным моим братом.

Как бы вы ни посмотрели на мои замыслы, воздайте должное моим чувствам. Принимайте без всяких оговорок мою дружбу, мое доверие, мое уважение. Помните, что мне уж более ничего не надо вам предписывать,— я не вижу в этом никакой нужды. Не лишайте меня права давать вам советы, но не считайте их приказами. Если вы чувствуете, что можно безопасно жить в Кларане, приезжайте, живите здесь,— я буду в восторге. Если же вы полагаете необходимым пробыть в отсутствии еще несколько лет, памятуя о последних и коварных вспышках буйной молодости,— пишите мне, пишите чаще, приезжайте повидаться с нами когда пожелаете, поддерживайте самую задушевную близость с нами. Какое горе не смягчится при таком утешении? Какую разлуку не перенесут люди, если надеются кончить дни свои вместе? Я даже сделаю больше: я готова доверить вам одного из своих сыновей, твердо веря, что в ваших руках ему будет лучше, чем в моих. Когда же вы привезете его мне обратно, не знаю, чье возвращение, его или ваше, больше обрадует меня. А если вы совсем образумитесь да откажетесь от своих бредней и пожелаете заслужить руку моей кузины,— приезжайте; любите ее, служите ей, постарайтесь окончательно ее пленить,— по правде сказать, я думаю, что начало уже положено вами. Восторжествуйте над ее сердцем, над теми преградами, какие оно воздвигает меж вами; я помогу вам всей силой своего влияния. Дайте, наконец, друг другу счастье, и тогда мое счастье будет полным. Но к какому бы решению вы ни пришли, серьезно обдумав его, принимайте его смело и не оскорбляйте больше своего друга Юлию, обвиняя ее в недоверии к вам.

Я вот все рассуждаю о вас, а о себе позабыла. Надо, однако ж, поговорить и обо мне, а то вы в споре поступаете с друзь-

ями так же, как со своими противниками в шахматах,— защищаясь, вы нападаете. Оправдывая свое философическое вольномыслие, вы обвиняете меня в ханжестве — это так же как если бы я отказалась от вина, раз вы захмелели. Так я, по-вашему, ханжа или готова стать ханжой? Пусть так. Разве уничижительные наименования меняют суть дела? Если набожность хорошее качество, почему ж его не иметь? Но, может быть, само слово слишком низко для вас? Достоинству философа подобает презирать заурядное благочестие; философы желают служить богу более благородным способом, они возносят до самого неба свои притязания и свою гордыню. Ах, бедные мои философы!.. Но вернемся ко мне.

Я с детства любила добродетель, а кроме того, всегда старалась развить свой ум. При помощи чувства и просвещенности я хотела сама управлять собою, а между тем повела себя дурно. Прежде чем отнять у меня руководителя, ныне избранного мною, дайте мне взамен что-нибудь другое, на что я могла. бы опереться. Добрый друг мой, во всем у людей гордость, что бы они ни делали; гордость вас возвышает, а меня привела к унижению. Мне думается, я не хуже других, а все же тысячи женщин были в жизни благоразумнее меня. Значит, у них имелась какая-то поддержка, которой у меня не было. Почему я, чувствуя, что родилась с хорошими задатками, вынуждена все же скрывать свою жизнь? Почему я, ненавидя все дурное, против своей воли поступила дурно? Я полагалась только на свои силы, а их всегда недостаточно. Мне думается, я оказала самое решительное сопротивление, какое женщина может ожидать от себя, и все же пала. А как же другие могли устоять? У них была опора лучше, чем у меня.

И когда я, по их примеру, обратилась к этой опоре, я нашла в ней еще и другое преимущество, о коем и не думала. В мире чувств всегда бывает так, что страсти наши помогают душе переносить мучения, которые сами же они и вызывают; рядом с желанием неизменно горит огонек надежды. Пока у человека есть желание, он может обойтись без счастья: он все будет ждать, вот-вот придет счастье, а если счастье не приходит, надежда все же не угасает, и чары самообмана длятся до тех пор, пока жива страсть, породившая их. Словом, это самодовлеющее состояние, а тревоги, которые оно приносит, доставляют нам некое особое наслаждение, подменяя действительность.

И, быть может, они гораздо лучше действительности. Жалок тот, кому уже нечего желать. Он, так сказать, теряет все, чем обладает. Люди гораздо меньше наслаждаются тем, чего

они уже достигли, нежели надеждой достигнуть желанного, и счастливы они бывают только в преддверии счастья. И в самом деле, человеку, существу алчному и ограниченному, созданному для того, чтобы всего желать, а получать немного, небо ниспослало утешительную надежду, приближающую к нему все, чего он желает, покоряющую все желанное силе воображения, которое обращает это желанное в осязаемое, видимое и как бы отданное в полнейшую его власть; а для того чтобы воображаемое обладание стало еще более сладостным, картины его меняются по воле наших страстей. Но все очарование исчезает пред лицом действительности, ничто уже не украшает предмет желания, не надо стараться представить его себе,— он перед твоими глазами, а воображение не способно украшать то, чем мы уже владеем; чары рассеиваются, как только начинается обладание. В этом мире лишь страна мечты — достойный приют души нашей, ибо дела человеческие ничтожны и, кроме единосущного, несотворенного, прекрасно лишь то, чего нет на свете.

Пусть даже это не всегда сказывается на отдельных предметах наших страстей, но в общем строе чувств, включающем все наши страсти,— это бесспорно. Жить без борения человеку не свойственно, такая жизнь все равно что смерть. Тот, кто, не будучи богом, обладал бы всемогуществом, оказался бы несчастнейшим созданием,— он лишился бы удовольствия желать, а легче перенести всякое иное лишение [1].

Вот и я со времени моего замужества и со дня возвращения вашего испытываю отчасти то же самое. Все вокруг должно меня радовать, а радоваться не могу. Таиная тоска закралась в душу, такая в ней пустота, и сердце все щемит,— словом, то же, что вы говорили о себе. Привязанности моей ко всем дорогим мне существам недостаточно, чтобы она целиком захватила меня,— еще остается у меня бесполезная сила, и я не знаю, куда девать ее. Непонятное горе,— сознаюсь в этом, но я действительно страдаю, друг мой, я слишком счастлива, счастье наскучило мне [2].

---

[1] Отсюда следует, что всякий государь, стремящийся к деспотизму, стремится умереть со скуки. Кто больше всех скучает во всех монархиях на свете? Идите прямо к монарху, в особенности если власть у него неограниченная. А стоило ли ему делать несчастными такое множество людей? Разве не может он скучать и без таких хлопот?

[2] Как, Юлия! И у вас тоже противоречия? Ах, очень боюсь, прелестная богомолка, что и вы не в ладу с собою! Впрочем, признаться, это письмо кажется мне лебединой песней.

Знаете ли вы какое-нибудь средство против отвращения к благополучию? Это чувство, столь безрассудное и совсем невольное, во многом отняло цену у жизни, меж тем как прежде я ею так дорожила. Я не могу себе представить, найдутся ли в жизни такие радости, коих у меня нет и кои дали бы мне удовлетворение. Быть может, другая женщина на моем месте была бы более чувствительна, чем я? Неужели она сильнее любила бы своего отца, своего мужа, своих детей, своих друзей, своих близких? Неужели и они ее любили бы сильнее? Возможно ли, чтобы она вела жизнь более соответствующую своим наклонностям? Или была более свободна выбрать себе другой образ жизни? Может быть, у нее здоровье было бы лучше? Может быть, она была бы лучше защищена от скуки и более крепкие нити привязывали бы ее к миру? И все же меня терзает тревога: сердце не знает, чего ему недостает, и смутные желания томят его.

Не находя на земле радости себе, душа моя жадно взыскует ее в ином мире; возносясь к источнику всех чувств и самого бытия, она освобождается от своего томления, от тоски своей, она возрождается, оживает, обретает новые силы и познает там новую жизнь; она получает новое существование; чуждое плотских страстей, или, вернее, она уже не во мне, она вся растворяется в том беспредельном существе, которое она созерцает, освободившись на мгновение от пут своих, а когда снова чувствует их на себе, утешается мыслью, что изведала состояние блаженства и исполнилась надежды на недалекое и вечное вступление в него.

Вы улыбаетесь? Понимаю вас, добрый друг мой; ведь когда-то я, высказывая свое суждение о молитвенном восторге, порицала его, а теперь признаюсь, как он любезен мне. На это могу ответить только то, что раньше я сего состояния просто не знала. Я никак не собираюсь оправдывать его. Я не говорю, что склонность к нему разумна, а говорю только, что состояние это сладостно, что оно заменяет иссякающее чувство счастья, заполняет пустоту в душе и бросает новый свет на прожитую жизнь. Если оно приводит к чему-то дурному, нужно от него, разумеется, отказаться; если оно обманывает сердце приятным заблуждением, опять-таки нужно от него отказаться. Но кто в конце концов ближе к добродетели: философ со своими великими принципами или христианин в простоте своей? Кто счастливее в этом мире — мудрец, гордый своим разумом, или набожный безумец? Зачем мне мыслить, зачем воображать в тот миг, когда все способности отняты у меня? В опьянении есть

своя сладость, говорили вы. Ну что ж, мой восторг — тоже опьянение. Или оставьте меня в этом сладостном для меня состоянии, или покажите, что будет для меня лучше.

Я осуждала экстазы мистиков. Я и сейчас их осуждаю, если они отрывают нас от исполнения долга нашего и отвращают нас от деятельной жизни чарами созерцания; эти экстазы ведут к квиетизму, к которому вы меня считаете близкой, хотя я так же далека от него, как и вы.

Служить богу вовсе не значит проводить всю жизнь в молельне, преклоняя там колена,— я это прекрасно знаю; служить богу — значит выполнять на земле обязанности, кои он возложил на нас; богу угодно, чтобы мы делали все, что подобает положению, в каковом мы по воле его пребываем.

...il cor gradisce;
E serve a lui chi'l suo dover compisce [1].

Прежде всего делать то, что ты обязан делать, а потом уж молиться, когда возможно,— вот правило, коему я стараюсь следовать; стремление сосредоточиться в самой себе, за которое вы меня упрекаете, вовсе не какое-то занятие: это отдых, самое большое и самое невинное удовольствие из всех, кои доступны мне, и я не понимаю, почему я должна отказывать себе в нем.

После вашего письма я постаралась глубже заглянуть в себя. Я много думала о том, какое воздействие оказывает на мою душу моя склонность к сосредоточению в себе, которая, по-видимому, очень не нравится вам, и пока что я не вижу в этом ничего опасного,— вряд ли эта моя склонность может (по крайней мере в скором времени) перейти в злоупотребление дурно понятой набожностью.

Во-первых, у меня вовсе нет чересчур большого влечения к молитвам; я не страдаю, когда бываю лишена возможности помолиться, и не раздражаюсь, когда меня отрывают от молитвы. Желание помолиться не повергает меня в рассеянность, не преследует весь день, не вызывает у меня отвращения к моим делам или нетерпеливого стремления покончить с ними поскорее. Если иной раз мне просто необходимо побыть одной в своем кабинете, то случается это, когда что-нибудь сильно взволнует меня, и мне легче успокоиться там, чем где-нибудь в другом

---

[1] Его вы сердцем чтите:
Свершайте долг свой — тем ему служите *(итал.)*.

месте. Там я сосредоточусь в себе, и разум мой обретет спокойствие. Если меня тревожит забота, если меня удручает горе, я иду туда, чтобы посетовать на них. И тогда все треволнения исчезают перед лицом более важного. Стоит мне подумать о благодеяниях провидения, и стыдно становится, что я так чувствительна к малым огорчениям и забываю великие милости неба. Мне не надо ни частых, ни долгих минут уединения в своем убежище. Когда печаль и там, вопреки воле моей, не оставляет меня, я, случается, и поплачу, но слезы, пролитые пред лицом утешителя, тотчас же облегчают сердце. Мои размышления никогда не бывают ни горькими, ни скорбными; даже раскаяние мое свободно от тревоги, мои прегрешения меньше вызывают у меня ужаса, чем стыда; я испытываю тогда сожаление, а не укоры совести. Бог, коему я служу,— бог милосердный, отец наш; меня трогает именно его всеблагость, она заслоняет от моих глаз все остальные его свойства; она — единственное постижимое для меня свойство. Его всемогущество меня поражает, его необъятность повергает меня в смятение, его правосудие... Он создал человека слабым, но он справедлив и потому милосерден. Бог мстительный — это бог злых сердец, я же не могу ни страшиться его за себя самое, ни призывать его гнев на других. О бог миролюбия, бог доброты, тебе поклоняюсь я. Чувствую, что я творение твоих рук, и надеюсь, что в день последнего суда найду тебя таким же, каким сердце мое видело тебя всю жизнь.

Не могу и передать вам, каким сладостным успокоением полнятся дни жизни моей от этих мыслей, какую радость несу я в глубине сердца. Когда я выхожу из своей комнаты в таком расположении духа, я чувствую какую-то легкость во всем существе, мне так легко и радостно. Все горе рассеивается, все неприятности забываются, исчезает все грубое, резкое, все становится простым и легким, все кажется милее и приветливее. Мне теперь уж ничего не стоит быть снисходительной, и от этого я еще больше люблю своих близких и сама становлюсь любезнее им. Муж даже находит, что я стала веселее, и очень этим доволен. Набожность, по его мнению,— опиум для души: в малых дозах бодрит, оживляет и поддерживает, в слишком сильных дозах усыпляет или же приводит в исступление, а то и убивает. Надеюсь, я до этого не дойду.

Как видите, называться ханжой не кажется мне столь обидным, как вам, пожалуй, того хотелось бы, но я и не считаю чрезмерную набожность столь похвальной, как вы думаете. Я, например, не люблю, когда ее выставляют напоказ и как будто

обращают ее в некое занятие, избавляющее человека от всех других дел. Мне думается, куда лучше было бы, если б эта самая госпожа Гюйон, о коей вы говорите, исполняла свои обязанности матери семейства, воспитывала в духе христианской веры своих детей, разумно вела свой дом, чем сочиняла книги о набожности, спорила с епископами и в конце концов попала в Бастилию за какие-то бредни, в коих ничего невозможно понять. Не люблю я также этот мистический образный язык, ибо он смущает сердце химерами воображения, подменяет подлинную любовь к богу чувствами, подражающими земной любви и весьма способными пробудить ее. Чем нежнее у человека сердце, чем живее у него воображение, тем больше следует ему избегать всего, что может их взволновать; и возможно ли такой натуре воплотить свое отношение к предмету мистического поклонения иначе, чем в виде человеческой любви? И как решается порядочная женщина представить в воображении то, на что она никогда не решилась бы смотреть? [1]

Но более всего отталкивает меня от завзятых святош их черствость, их равнодушие к людям, их чрезмерная гордость, из-за которой они с презрительной жалостью смотрят на всех остальных смертных. Они великолепно умеют возноситься к небесам, а если удостоят снизойти до какого-нибудь доброго дела, то при этом так унижают человека, таким жестким тоном выражают свое сострадание, вершат свое правосудие столь сурово, и милосердие их столь тягостно, их рвение столь полно горечи, а презрение так походит на ненависть, что бесчувствие светских людей можно считать менее варварским, чем сострадание святош. Любовь к богу служит для них извинением в том, что они никого на земле не любят, даже друг друга: видел ли кто-нибудь истинную дружбу меж святошами? Но чем больше они отдаляются от людей, тем больше предъявляют к ним требований, и можно подумать, что они возносятся к небесам лишь для того, чтобы властвовать на земле.

Мне противны все эти злоупотребления, и естественное отвращение предохраняет меня от них. Если я сама впаду в такой грех, то, разумеется, невольно, и, надеюсь, что окружающие по дружбе укажут мне на это. Признаюсь, меня долго тревожили мысли об участи, ожидающей моего мужа, и, быть может, из-за

---

Возражение это кажется мне настолько основательным и бесспорным, что, будь у меня хоть сколько-нибудь власти в церкви, я употребил бы ее на то, чтобы из наших священных книг вычеркнули «Песнь песней», и очень бы жалел, что это сделано так поздно.

этого я в конце концов стала бы угрюмой. К счастью, благодаря убедительному письму милорда Эдуарда, на которое вы с полным основанием ссылались, благодаря его разумным и утешительным беседам со мною, вашим беседам мой страх совсем рассеялся и взгляды мои изменились.

Я вижу, что нетерпимость неизменно приводит к черствости. Разве можно с нежностью любить тех людей, коих ты осуждаешь? Как можно быть милосердным, живя среди грешников, осужденных на вечные муки? Ведь, любя их, мы должны ненавидеть бога, приуготовляющего им кару. Так вот,— хочешь быть человечным? Тогда осуди поступки, а не людей! Не надо брать на себя ужасные обязанности дьяволов. Не будем с такою легкостью отворять нашим братьям врата адовы. Полно, ведь если бы ад предназначался для тех, кто ошибается, то кто же из смертных мог бы его избежать?

О друзья мои, от какого тяжкого бремени вы избавили мое сердце! Внушив мне, что заблуждение еще вовсе не преступление, вы освободили меня от множества мучительных тревог. Я оставляю в стороне непонятные мне тонкости в истолковании догматов веры. Я придерживаюсь истин ясных как день, истин, бросающихся в глаза и убеждающих мой разум, истин практических, открывающих мне мой долг. Что касается всего остального, то для меня стало правилом то, что вы однажды ответили Вольмару [1]. Разве человек волен верить или не верить? Разве это преступление, что он не умеет правильно мыслить? Нет. Совесть вовсе не говорит нам, что есть истина, но внушает нам сознание своих обязанностей; она вовсе не подсказывает, что следует думать, а что следует делать: она отнюдь не учит нас хорошо рассуждать, а учит хорошо поступать. В чем мой муж может быть преступен перед лицом господа? Ужели он отвратил от бога взор свой? Ведь это господь закрыл от него свое лицо. Мой муж не бежит истины. Это истина бежит его. Вовсе не гордыня владеет им,— он заблуждается, но никого не хочет вести вслед за собою, он сам рад, что мы думаем иначе, чем он. Ему любезны наши чувства, он хотел бы, но не может их иметь. Наши надежды, наше утешение — все недосягаемо для него. Он делает добро, не ожидая за это награды себе; он более добродетелен, более бескорыстен, чем мы. Увы! Как он достоин жалости! За что же его карать? Нет, нет! Доброта, прямодушие, нравственность, благородство, добродетель — вот чего бог требует от нас, вот за что он

---

[1] Смотрите часть V, письмо III.

вознаграждает; вот истинное поклонение, коего бог ждет от нас, и, следовательно, мой муж все дни жизни своей поклоняется ему. Если бог судит о вере человека по делам его, то всякий, кто творит добро, верит в бога. Истинный христианин — это человек праведный; а кто вершит зло — поистине неверующий человек.

Не удивляйтесь же, мой любезный друг, что я не спорю с вами о многих местах вашего письма, где мнения наши не совсем сходятся. Я слишком хорошо знаю ваше сердце, а потому не могу огорчаться вашими взглядами. Какое мне дело до всех этих праздных рассуждений о свободе воли? Хочу ли я добра потому, что воля моя свободна сама по себе, или потому, что воля к добру мне ниспосылается по молитве моей, не все ли равно, раз я нахожу в себе силу поступать хорошо. Сама ли я, творя молитву, добьюсь того, чего мне недостает, или бог посылает мне это по просьбе моей, раз всегда нужно попросить для того, чтобы получить,— нужны ли мне иные разъяснения? Так хорошо, что взгляды наши сходятся в основных вопросах христианского вероучения, и зачем же идти дальше этого? Ужели мы хотим погрузиться в бездонные и безбрежные пучины метафизики и терять в спорах о божественной сущности краткие дни нашей жизни, кои даны нам для того, чтобы прославлять бога? Мы не знаем, какова сущность божия, но знаем, что бог есть, и этого с нас достаточно; сущность его проявляется в его делах, мы чувствуем ее внутри нас. Мы можем сколько угодно спорить о ней, но не можем искренне не признавать бога. Бог даровал нам ту степень чувствительности, благодаря коей мы его постигаем, ощущаем его. Пожалеем же тех, кому это не дано, но не станем льстить себя надеждой просветить их без помощи господней. Кто из нас способен сделать то, чего бог не пожелал совершить? Будем безропотно чтить его волю и исполнять свой долг,— это лучший способ научить тому же и других.

Знаете ли вы человека более здравомыслящего и разумного, чем Вольмар? Человека более искреннего, прямого, справедливого, правдивого, менее подвластного страстям,— человека, который больше выиграл бы от существования божественной справедливости и бессмертия души? А знаете ли вы человека более сильного, возвышенного, благородного, более грозного противника в споре, чем милорд Эдуард? Человека более достойного по своей добродетели защищать дело господне, более верящего в существование бога, более проникнутого благоговением пред величием всевышнего, более ревнующего о славе

его и более доблестного в служении ей? И вы видели, как они три месяца прожили вместе в Кларане; вы видели, как два эти человека, полные взаимного уважения и чуждые школярской педантичности по своему положению и по склонностям, всю зиму провели в спорах мудрых и мирных, но очень горячих и глубокомысленных и, стараясь просветить друг друга, нападали, защищались, схватывались по всем важным вопросам, какие только может объять ум человеческий, углублялись в такую материю, к которой оба они имели одинаковый интерес, и желали достигнуть согласия.

Что же случилось? Взаимное их уважение возросло, но каждый остался при своих взглядах. Если этот пример не исцелит навсегда разумного человека от страсти к спорам, значит, у него совсем нет любви к истине,— он хочет только блистать.

Что касается меня, то я навсегда отказалась от столь бесполезного оружия и решила больше ни слова не говорить мужу относительно религии, кроме тех случаев, когда зайдет речь о моей вере. Не думайте, что, уповая на долготерпение господне, я безразлично отношусь к тому, что у Вольмара нет веры, столь необходимой ему. Хоть я и спокойна теперь за его участь в будущем мире, мое горячее желание, чтобы он обратился, нисколько не уменьшилось. Ценою крови своей я хотела бы увидеть его обращенным,— если не ради его блаженства в том мире, то для его счастья здесь, на земле. Ведь сколь многих радостей он лишен! Какое чувство может его утешить в горестях? Кто зрит добрые его дела, кои он творит втайне? Какой голос может говорить в глубине его души? Какой награды может он ждать за свою добродетель? Как должен он смотреть в лицо смерти? Нет, я надеюсь, он не встретит ее в этом ужасном состоянии. У меня остается лишь одна возможность вывести Вольмара из заблуждения, и я посвящу этому остаток жизни своей: его нужно не убеждать, а растрогать, показать ему пример, который захватит его, и тогда вера станет ему столь любезна, что он не в силах будет противиться ей. Ах, друг мой! Каким доводом против неверия может быть жизнь истинного христианина! А есть ли на свете душа более испытанная, нежели у него? Вот какую задачу я отныне на себя беру,— помогите мне выполнить ее. Вольмар холоден, но его нельзя назвать бесчувственным. Как можем мы растрогать его сердце, когда и друзья, и дети, и жена будут содействовать его обращению! Какая поучительная картина предстанет перед ним, когда они, не проповедуя, не упоминая бога в речах своих,

покажут Вольмару присутствие бога в делах, вдохновленных небом, в добродетелях, порожденных им, в радости быть угодным небесам; он увидит прообраз небесного блаженства, блещущий в доме его, и по сто раз на день, волей-неволей, будет говорить себе: «Нет, человек не может быть таким сам по себе,— что-то иное, более чем человеческое, царит здесь».

Если мое намерение вам по душе, если вы чувствуете себя достойным содействовать ему, приезжайте; тогда мы проведем вместе дни жизни нашей и не расстанемся до самой смерти. Если же замысел мой не нравится вам или страшит вас, прислушайтесь к голосу совести,— она вам подскажет, в чем состоит ваш долг. Мне больше нечего вам сказать.

Судя по тому, что пишет милорд Эдуард, нам можно ждать вас обоих в конце будущего месяца. Вы не узнаете своих комнат; но в переделках, произведенных там, вы почувствуете сердечные заботы одной доброй души, коей приятно было украшать ваши покои. Вы найдете там также подбор книг, привезенных ею из Женевы,— все они гораздо лучше и куда более тонкого вкуса, нежели «Адонис», хотя и его туда добавили, шутки ради. Но, смотрите, ничего ей не передавайте,— она не хочет, чтобы вы знали, что все это исходит от нее, и я спешу написать вам о ее подвигах, пока она мне его не запретила.

Прощайте, друг мой. Поездка в Шильонский замок[1], которую мы собирались совершить в вашем обществе, состоится завтра — без вас. От этого она, конечно, приятнее не станет, хоть мы и едем с удовольствием. Господин бальи пригласил нас вместе с детьми, так что у меня не было предлога отказаться; но не знаю почему, а мне хочется, чтобы все уже кончилось и я вернулась бы домой.

---

[1] Шильонский замок — прежняя резиденция господ бальи города Веве, построен на скале, выступающей в Женевское озеро в виде полуострова; возле него на моих глазах измеряли глубину озера — лот опускали более чем на сто пятьдесят брассов, то есть почти на восемьсот футов, а дна не достигли. В этой скале вырыты подвалы и кухни ниже уровня озера, и когда нужна вода, там стоит только открыть краны. В этом замке содержался заточенным Франсуа Бонивар, настоятель собора св. Виктора, человек редких достоинств, прямой и непоколебимо твердый, друг свободы, хоть он и савояр, отличавшийся терпимостью, хоть он и был священником. Кстати сказать, к тому времени, когда, по-видимому, были написаны эти письма, бальи города Веве уже давно не жили в Шильонском замке. Можно предположить, что бальи, пригласивший Вольмаров, просто поехал туда на несколько дней.

## ПИСЬМО IX

*От Фаншоны Апэ*

Ах, сударь! Ах, благодетель мой! Подумать только, что мне поручили сообщить вам!.. Госпожа... бедная моя госпожа... О боже! Я уже вижу, как вы испугались... но вы не можете себе представить наше отчаяние... Нельзя мне терять ни минуты, надо поскорее все вам сообщить... надо бежать... Хотела бы я, чтоб вам уже сказали... Ах, что будет с вами, когда вы узнаете о нашем несчастье!..

Вчера господа всей семьей поехали в Шильон, на обед. Господину барону нужно было поехать в Савойю,— он собирался провести несколько дней в замке Блоне; после обеда он отправился. Его проводили немножко, а потом пошли погулять по плотине. Госпожа д'Орб и супруга господина бальи шли впереди с нашим барином. Вслед за ними шла барыня, ведя за руку Генриетту и Марселина. Я шла позади всех со старшим мальчиком. Господин бальи остановился поговорить с кем-то, а потом догнал гостей и предложил нашей барыне руку. Она пошла с ним под руку, а Марселина отослала ко мне, он бежит ко мне, а я ему навстречу бегу, и вдруг он оступился,— нога у него подвернулась,— и он упал в воду. Я закричала; барыня обернулась, увидела, что сын упал в озеро, помчалась стрелой и бросилась вслед за ним...

Ах, я несчастная!.. Почему же я-то не бросилась, почему не пошла ко дну!.. Увы! Я удерживала старшего брата,— он хотел броситься вслед за матерью... а она боролась с волнами, прижимая к груди Марселина. Поблизости не было ни людей, ни лодки,— не сразу утопающих вытащили из воды... Ребенок оправился, но мать.. Потрясение, прыжок с высокой плотины да еще отчаяние... кто же лучше моего знает, сколь опасно так упасть в воду!.. Она очень долго была без сознания. А лишь только пришла в себя, потребовала, чтоб ей показали сына... С какой радостью она обняла его! Я думала, все благополучно кончилось, но через минуту вся ее живость пропала; она захотела домой, дорогой ей несколько раз было очень плохо; а какие распоряжения она мне давала: видно, думает, что ей уже не встать. До чего ж мне горько! Она не оправится! Госпожа д'Орб в лице переменилась больше ее. Все так волнуются... Во всем доме я сейчас самая спокойная... Ох, мне уж не до волнений!.. Добрая госпожа моя! Коли я вас потеряю, для кого мне жить? А вы-то, барин дорогой! Да пошлет вам господь силы

в таком испытании... Прощайте... Вышел из спальни доктор. Побегу к нему... Если он подаст хоть малую надежду, я вам напишу... А если ничего не скажу, значит...

## ПИСЬМО X

*Начатое г-жой д'Орб и законченное г-ном де Вольмаром*

Все кончено. О безрассудный, несчастный, бедный снови-дец! Вы больше никогда ее не увидите. Покрывало... Юлии уже нет на свете.

Она вам написала. Ждите ее письма. Помните о ее послед-ней воле. Вам еще остается исполнить высший долг на земле.

## ПИСЬМО XI

*От г-на де Вольмара*

Я не хотел ничего писать вам в первые скорбные дни,— мое письмо только растравило бы вашу рану. Вы не в силах были бы перенести некоторые подробности, а я не мог бы о них говорить. Быть может, ныне они будут дороги нам обоим. Мне остались лишь воспоминания о ней, мое сердце жаждет их!

Вы можете теперь лишь плакать о ней, и слезы эти будут вашим утешением. В сем облегчении горестей мне, скорбя-щему, отказано,— я несчастнее вас.

Говорить я хочу не о недуге ее, но о ней самой. Другие матери тоже могут броситься в воду, чтобы спасти своего ре-бенка. Несчастный случай, болезнь, смерть — все это естествен-но: это обычная участь людей; но ее последние минуты, ее сло-ва, ее чувства, душа ее — все было необыкновенным и могло быть только у Юлии. Она жила совсем не так, как другие; и я не знаю никого, кто бы умер так, как она. Вот что я один мог заметить и что вы можете узнать только от меня.

Вам уже известно, что от ужаса, от волнения она, после того как ее спасли и вытащили из воды, долго была без чувств и окончательно пришла в себя только дома. Когда ее привезли в Кларан, она снова пожелала увидеть сына, его привели; убе-дившись, что он твердо стоит на ногах, ходит и отвечает на ее ласки, она совсем успокоилась и согласилась немного отдох-нуть. Она забылась коротким сном, а потом, пока не приехал лекарь, позвала нас — Фаншону, свою кузину и меня, и попро-сила сесть возле ее постели. И она стала говорить о своих

детях, о том, как она по-особому воспитывает их и как требует это воспитание постоянных забот, как тут опасно хоть краткое небрежение воспитателя. Своему недугу она не придавала большого значения, но предвидела, что некоторое время он не даст ей нести обязанности, выпавшие на ее долю в сих заботах, и она поручала нам распределить их меж собою вдобавок к нашим обязанностям.

Она говорила о всех своих планах и о ваших намерениях, о том, какие средства лучше всего употребить, дабы успешно осуществить их; говорила о своих наблюдениях, показывавших, что́ для сих замыслов благоприятно, а что́ может им повредить,— словом, обо всем, что должно было помочь нам заменить ее в материнских трудах на все то время, пока она вынуждена будет прервать их. «Как много распоряжений,— думал я.— Разве так говорила бы она, полагая, что будет лишена дорогих ей занятий всего лишь на несколько дней». И совсем уж испугали меня ее речи, когда она еще подробнее стала давать наставления относительно Генриетты. Распоряжения о сыновьях касались лишь раннего их детства, словно заботы о воспитании их в юности она переложила на кого-то другого, но для девочки она предусматривала и всю пору молодости, чувствуя, что никто не может прийти к тем размышлениям, кои подсказывал ей собственный опыт, она коротко, но очень твердо и ясно изложила нам задуманный ею план воспитания Генриетты и, обращая к ее матери самые убедительные, самые трогательные доводы, заклинала Клару следовать ее предначертаниям.

Все эти мысли о воспитании юного поколения и об обязанностях матерей, перемежавшиеся с воспоминаниями о собственной ее жизни, не могли не сделать ее речи горячими. Я видел, что она слишком оживлена. Клара держала ее за руку и, поминутно приникая к руке устами, в ответ только рыдала; не более спокойна была и Фаншона; я заметил, что у самой Юлии слезы навертываются на глаза, но она не позволяет себе плакать, боясь еще больше встревожить нас. И тотчас я подумал: «Она уверена, что умрет». У меня оставалась лишь одна надежда: быть может, перенесенный ужас вводит ее в заблуждение, она преувеличивает опасность, а на самом деле ее состояние, возможно, не так уж плохо. Но я слишком хорошо ее знал и, к несчастью, не мог полагать, что она ошибается. Я несколько раз пытался ее успокоить; все просил ее не волновать себя понапрасну такими разговорами,— обо всем этом можно поговорить на досуге. «Ах! — воскликнула она.— Для женщи-

ны вреднее всего молчание. И раз уж меня немножко лихорадит, а жар, как известно, располагает к болтливости, лучше потолковать о полезных вещах, чем нести всякий вздор. Не правда ли?»

Лишь только прибыл врач, в доме поднялось неописуемое волнение. Все слуги столпились у дверей спальни и, сложив молитвенно руки, вперив в него тревожный взгляд, ждали его слов о состоянии больной их госпожи, словно приговора, решающего их собственную участь. Зрелище это так потрясло бедняжку Клару, что я стал опасаться за ее рассудок. Пришлось под различными предлогами удалить слуг, для того чтобы у нее перед глазами не было этой ужасающей картины. Врач подал некоторую надежду, но весьма туманно и таким тоном, что вполне мог лишить меня всякой надежды. Юлия тоже не сказала, что она думает,— при Кларе ей приходилось скрывать это. Когда доктор кончил, я пошел его проводить. Клара хотела идти с нами, но Юлия, бросив на меня взгляд, который я прекрасно понял, удержала свою кузину возле себя. Я поспешил предупредить врача, что, если есть опасность, надо ее скрыть от госпожи д'Орб так же заботливо, как от самой больной, и, быть может, еще старательнее, а иначе Клара придет в полное отчаяние и уже будет не в силах ухаживать за своей подругой. Врач заявил, что действительно опасность есть, но, так как несчастье случилось лишь сутки тому назад, нужно немного выждать, а иначе невозможно с уверенностью дать заключение об исходе болезни,— все решит следующая ночь, и лишь на третий день он скажет свое слово. Единственной свидетельницей этого разговора была Фаншона, и, не без труда обязав ее сдерживать свои чувства, мы договорились, что́ и как следует сказать госпоже д'Орб и всем остальным в доме.

Ввечеру Юлия уговорила свою кузину, которая всю прошлую ночь провела у ее постели, пойти отдохнуть несколько часов. И в этот промежуток времени больная, узнав, что ей собираются пустить кровь и что уже делают приготовления к этому, велела позвать врача и обратилась к нему с такими словами: «Господин дю Боссон, когда люди считают своим долгом обмануть боязливого больного и скрыть от него истинное его состояние, я считаю такие старания гуманными и одобряю их; но ведь это сущая жестокость — распространять на всех одинаково неприятные для больных заботы, из коих многие совершенно не нужны. Предпишите мне что угодно, но только действительно полезное, и я всему подчинюсь беспрекословно. Но что касается средств, действующих только на воображение,—

пощадите меня; болезнь постигла мое тело, а не дух моїі, я не боюсь смерти, а боюсь плохо воспользоваться оставшимися мне днями. Последние минуты жизни слишком драгоценны, и нельзя зря растрачивать их. Если вы не можете продлить мою жизнь, то хоть не сокращаїте ее, отнимая у меня те мгновения, кои еще подарила мне природа. Чем меньше остается их у меня, тем более должны вы уважать их. Спасите мне жизнь или оставьте меня в покое; я прекрасно могу умереть и одна». Вот так Юлия, женщина столь застенчивая и кроткая в обычных отношениях с людьми, заговорила твердым и решительным тоном при обстоятельствах исключительных.

Решающая ночь была страшноїі: удушье, стеснение в груди, обмороки, горячая и сухая кожа. В бреду лихорадки Юлия часто вскрикивала и громко звала Марселина, словно хотела удержать его, а иногда произносила и другое имя, которое некогда столь тревожно повторяла она при подобных же обстоятельствах. Наутро врач напрямик заявил мне, что больноїі, как он полагает, не прожить и трех днеїі. Эту страшную таїну он доверил мне одному, и я пережил ужаснеїшие часы, когда хранил его приговор в глубине сердца своего, не зная, как мне поступить. Одиноко бродил я в рощах, раздумывая, какое решение принять, и мне невольно приходили печальные мысли о жестокости судьбы, ибо на старости лет она вновь привела меня к одиночеству, коим томился я до того, как познал жизнь более сладостную.

Накануне я обещал Юлии в точности передать еї заключение врача, и она так трогательно заклинала меня сдержать свое слово. Я чувствовал, что обязан выполнить обещание. Но как быть? Во имя мнимого и бесполезного долга мне придется опечалить ее душу, из-за меня она заранее изведает весь ужас смерти. Зачем так жестоко предварять события? Возвестить умирающеї, что близится ее последнііі час,— разве это не значит ускорить его? Что станется тогда с ее желаньями, надеждами, всеми основами жизни? Разве можно радоваться жизни, видя, что так близок миг расставания с нею? Ужели я сам, своею рукой должен умертвить Юлию?

Я шел стремительным шагом, охваченныі таким волнением, какого еще никогда не испытывал. Тяжкая тоска неотступно томила меня; невыносимое бремя навалилось на сердце. Наконец мне пришла мысль, заставившая меня решиться. Не старайтесь угадать, сейчас все расскажу вам.

Ради кого веду я эту борьбу? Ради нее или ради себя? Из чего исхожу я в своих рассуждениях? Из ее взглядов или из

моих? Что является для меня доказанным в тех и других? То, во что я верю, является именно моим верованием,— то есть моим мнением, обладающим некоторой вероятностью. Правда, нет никаких доказательств, опровергающих мое мнение, но какие доказательства подтверждают его? То, во что она верит, является только ее верованием — то есть тоже ее мнением, но она-то усматривает в нем очевидность; это мнение в ее глазах служит доказательством. И раз дело идет о ней, какое право имею я предпочесть свое мнение, для меня самого спорное, ее мнению, которое она считает непреложным? Сравним последствия как моих, так и ее воззрений. По мысли Юлии, от расположения ее души в последний час жизни на веки веков зависит ее участь в ином мире. По моему мнению, бережная забота о ее спокойствии, которую я хочу проявить, через три дня будет ей безразлична. Через три дня она, по моему убеждению, уже ничего более не будет чувствовать. Но, быть может, она права? Как велика тогда разница: вечное блаженство — или же вечная мука!.. Быть может... Ужасное слово! Несчастный! Рискуй своей, но не ее душою.

Вот первое сомнение, вызвавшее у меня подозрение в правильности тех взглядов, на которые вы так часто нападали. Первое, но не последнее,— с тех пор оно часто возникало у меня. Как бы то ни было, сомнение это избавило меня от мучительных колебаний,— я тотчас же принял решение и, опасаясь изменить его, поспешил к Юлии. Приказав всем выйти, я сел у ее постели,— посудите сами, в каком я был состоянии. Я не стал принимать тех предосторожностей, кои необходимы в отношении людей малодушных. Я ничего не сказал, но, взглянув на меня, она все поняла. «Вы думаете — я не знаю? — сказала она, протягивая мне руку.— Нет, друг мой, я хорошо это чувствую. Смерть торопит меня, надо нам расстаться».

И тут она долго говорила со мной. Когда-нибудь перескажу вам ее слова, коими она вписала мне в сердце свое завещание. Если б я даже не знал ее сердца, достаточно было бы мне услышать последние ее распоряжения, чтобы постигнуть его.

Она спросила, знают ли в доме, в каком она состоянии находится. Я ответил, что все глубоко встревожены, но никто ничего толком не знает, что Боссон открыл истину лишь мне одному. Она стала умолять меня сохранить все в тайне до конца дня. «Ведь Клара,— добавила она,— может вынести такой удар лишь от моей руки. Если кто-нибудь другой нанесет его,

она умрет. Для печальной сей обязанности я отвожу нынешнюю ночь. Из-за этого-то я главным образом и хотела знать мнение врача. Я боялась на основе одного лишь своего чувства подвергать несчастную свою сестру столь тяжкому испытанию. Постарайтесь, чтобы она ничего не узнала раньше времени, а иначе вы можете лишиться верного друга и оставить детей своих без матери».

Она спросила об отце. Я признался, что послал за ним в Блоне нарочного. Но не решился сказать, что посланный, вместо того чтобы только передать письмо, как я ему велел, не удержался и тут же стал рассказывать, да так неловко, что мой старый друг вообразил, будто дочь его утонула; от ужаса он упал на лестнице, сильно расшибся и несколько дней будет прикован к постели. Надежда увидеть перед смертью отца весьма ее обрадовала, но я-то знал, что чаяния ее напрасны, и это было одним из многих огорчений, кои мне пришлось тогда пережить.

От страданий, перенесенных в прошлую ночь, она чрезвычайно ослабла. Долгий разговор не способствовал укреплению ее сил. Придя в полное изнеможение, она днем попыталась уснуть; лишь через день я узнал, что спала она очень мало.

Тем временем в доме царила мертвая тишина, каждый в мрачном молчании ждал, чтобы мы облегчили его горькую муку, но никто не осмеливался расспрашивать, боясь услышать больше того, чем ему хотелось знать. Все думали: если вести будут добрые, нас поспешат порадовать, а если пришла беда, мы и так все узнаем слишком рано. Исполненные страха, они и тем уж были довольны, что ничего нового не произошло. Все пребывали в угрюмом бездействии, одна госпожа д'Орб была деятельна и говорлива. Лишь только она выходила из комнаты Юлии, то, вместо того чтобы пойти к себе отдохнуть, она обежит весь дом, каждого остановит, спросит, что сказал врач и что об этом говорят. Она была свидетельницей событий прошлой ночи и не могла не знать того, что происходило у нее на глазах; но все пыталась сама себя обмануть и не желала верить собственным глазам. Люди, коих она спрашивала, давали ей лишь утешительные ответы; это побуждало ее расспрашивать и других, и она делала это с такой горячей тревогой, с таким испуганным лицом, что, если бы даже собеседники ее знали всю правду, они ни за что не решились бы открыться ей.

Близ Юлии она сдерживала свои чувства, и трогательный вид больной склонял ее к тихой скорби, а не к бурному горю. Больше всего она боялась показать Юлии свои опасения, но ей

плохо удавалось скрыть их: ее смятение сквозило даже в самом старании казаться спокойной. Со своей стороны, Юлия не жалела усилий, чтобы ее обмануть. Боли у нее не стихали, но она уверяла, что они совсем прошли, и, казалось, горевала лишь о том, что не так-то скоро выздоровеет. А для меня было пыткой видеть, как они стараются ободрить друг друга, я знал, что у них обеих нет в душе той надежды, какую каждая из них пыталась внушить подруге.

Госпожа д'Орб не спала две ночи кряду, третий день не раздевалась. Юлия предложила ей пойти поспать,— Клара ни за что не соглашалась. «Ну что же,— сказала Юлия,— пусть поставят в моей спальне раскладную кровать,— и, подумав немного, добавила: — А может быть, она захочет лечь со мной? Что на это скажешь, сестрица? Болезнь у меня не заразная, ты мною не брезгаешь, ложись-ка со мною рядышком». Так и решили сделать. Меня же отослали в мою спальню,— я и в самом деле нуждался в отдыхе.

Утром встал я очень рано. С тревогой я думал о том, как прошла ночь, и при первом же звуке голосов вошел в комнату Юлии. Помня, в каком состоянии была накануне госпожа д'Орб, я полагал, что найду ее в полном отчаянии и буду свидетелем исступленного горя. Войдя, я увидел, что она сидит в креслах, расстроенная и бледная, без кровинки в лице, с потускневшим и почти угасшим взором; но она была кротка, спокойна, говорила мало, без возражений подчинялась всему, что ее просили делать. Что до Юлии, то она казалась не такой слабой, как накануне; голос ее стал тверже, движения быстрее, словно к ней перешла живость ее кузины. Мне не трудно было понять, что мнимое улучшение на самом деле лишь лихорадочное возбуждение, но я видел также, что глаза ее блестят от какого-то тайного и радостного волнения, и не мог угадать его причины. Однако врач уверенно подтвердил свое вчерашнее заключение; больная думала то же самое, и у меня не осталось ни малейшей надежды.

Я должен был на некоторое время отлучиться, а когда возвратился, заметил, что комната тщательно прибрана, что в ней царит порядок и изящество; Юлия приказала поставить на камин горшки с цветами, занавеси на окнах были раздвинуты и подобраны; комнату проветрили, в воздухе разливался приятный аромат. Никто бы не сказал, что это спальня больного. Столь же тщательно Юлия позаботилась о своем туалете. В ее, казалось бы, небрежном наряде было столько вкуса и прелести. Можно было подумать, что это светская дама, ожидающая

гостей, а не сельская жительница, приготовившаяся к смертному своему часу. Заметив мое удивление, она улыбнулась; она угадала мои мысли и уже хотела ответить мне, но тут привели детей. Речь пошла только о них; и вы, конечно, хорошо понимаете, что, чувствуя близость расставания с ними, Юлия не могла ограничиться спокойными ласками. Я даже заметил, что она чаще других и более пламенными ласками дарит того, чье спасение стоило ей жизни, как будто из-за сей жертвы он стал ей еще дороже.

Все эти объятия, вздохи, восторги были для бедняжек детей непостижимой тайной. Они любили ее нежно, но с тою нежностью, какая возможна в их возрасте; им не понятны были ни ее состояние, ни горячность ее ласк, ни горькие ее сетования на то, что больше она не увидит их; они заметили, как мы печальны, и потому все трое расплакались, а понять ничего не могли. Сколько ни твердите детям слово «смерть», они не имеют о ней никакого представления, они не боятся ее,— ни для себя, ни для других; они боятся физической боли, а не смерти. Когда страдания исторгали стоны у матери, дети оглашали воздух жалобными криками, когда же им говорили, что они потеряют мать, они стояли как дурачки. Одна лишь Генриетта,— ибо она постарше братьев и у девочек чувства и ум развиваются раньше,— забеспокоилась, встревожилась, увидя, что мамочка ее все еще лежит в постели, меж тем как она всегда вставала раньше детей. Помню, что по этому поводу Юлия высказала мысль, очень для нее характерную: она посмеялась над глупым тщеславием Веспасиана, который возлежал на своем ложе, когда мог действовать, и встал, когда уж ничего не мог делать [1]. «Не знаю,— добавила она,— должны ли императоры умирать стоя, но хорошо знаю, что матери семейства дозволительно слечь, только когда она умирает».

Излив на детей родник любви, переполнявшей ее сердце, Юлия каждого из них подозвала в отдельности; особенно долго держала она возле себя Генриетту и осыпала ее поцелуями, на которые девочка отвечала, стеная и плача, а затем Юлия попросила подвести к ней всех троих, благословила их и, указы-

---

[1] Это не совсем точно. Светоний говорит, что Веспасиан и на смертном своем одре работал, как обычно, и даже давал аудиенции; но, пожалуй, и в самом деле лучше было бы ему встать для этих аудиенций и затем возлечь на ложе, чтобы умереть. Я знаю, что Веспасиан, не будучи великим человеком, был тем не менее великим государем. Впрочем, какая бы роль ни выпала нам в нашей жизни, не следует играть комедию в смертный час.

вая на госпожу д'Орб, сказала: «Вот, детки, ваша вторая мать, сам господь дает ее вам, он не оставил вас сиротами; ступайте бросьтесь к ее ногам». И тотчас дети подбегают к Кларе, становятся перед ней на колени, цепляются за ее руки, называя ее маменькой, второй своей матерью. Клара наклонилась к ним, схватила их в объятия, но тщетно пыталась заговорить: из уст ее вырывались лишь стенания, она задыхалась от слез и не могла произнести ни слова. Судите сами, как была взволнована Юлия. Сцена становилась слишком тяжелой. Я постарался прекратить ее.

Когда миновала минута умиления, все собрались у постели больной, началась беседа, и хотя Юлия опять ослабела и не было в ней прежнего оживления, ее черты, как и раньше, выражали удовлетворенность; обо всем она говорила с интересом, слушала внимательно, что доказывало полную свободу ее души от горестных забот; ничто от нее не ускользало, она всецело отдавалась разговору, словно больше ей нечего было делать; чтоб не расставаться с нами ни на минуту, она предложила нам пообедать в ее спальне; вы, конечно, понимаете, что отказ был просто невозможен. На стол накрыли без шума, без суеты, все шло в таком прекрасном порядке, будто Юлия угощала нас в «триклинии Аполлона». Дети и Фаншона сидели с нами за столом. Видя, что ни у кого нет аппетита, Юлия сумела заставить нас попробовать всего понемногу,— то, словно желая проверить, удалось ли кушанье кухарке, то якобы намереваясь узнать от нас, стоит ли ей самой отведать его, то убеждая нас поесть ради собственного здоровья, которое нам необходимо для того, чтобы ухаживать за ней; и постоянно она показывала нам, какое большое удовольствие мы доставляем ей, принимаясь за еду. Ну, как тут можно было отказаться? — да еще она вкладывала столько веселости в свои речи, что отвлекала нас от печального предмета, занимавшего мысли наши. Словом, самая разумная хозяйка дома, пользуясь цветущим здоровьем и желая оказать внимание гостям, не могла бы проявить больше приветливости, любезности, заботливости, чем проявила их умирающая Юлия, когда угощала свою семью. Не осуществлялись мои предвидения, казалось бы, вполне вероятные, а то, что я видел, не укладывалось в моей голове. Я не знал, что и подумать, я уже ничего не мог понять.

После обеда доложили, что пришел священник. Он зашел запросто, как друг дома,— он бывал у нас очень часто. Хоть я и не посылал за ним, потому что Юлия не просила меня об этом,— признаюсь, меня крайне обрадовал его приход: пола-

гаю, что и горячо верующий человек не был бы так рад видеть священника при подобных обстоятельствах. Ведь он мог разрешить многие мои сомнения и вывести из довольно странного замешательства.

Вспомните, какая причина побудила меня открыть Юлии, что смерть ее близка. По-моему, весть эта должна была оказать вполне определенное действие, и для меня непостижимым было то впечатление, какое она произвела в действительности. Как! Женщина благочестивая, которая ни одного дня не могла провести без уединенной молитвы и для которой молитва была одной из первых радостей существования, умирает, ей жить осталось не больше двух дней; она полагает, что после кончины своей предстанет перед грозным судией; но, вместо того чтобы подготовиться к сему страшному мгновению, вместо того чтобы привести в порядок свою совесть, она тешит себя совсем иными заботами: украшает свою спальню, принарядилась, беседует с близкими, старается развлекать их за трапезой; и во всех ее речах нет ни слова о боге, о спасении души! Что же я должен думать о ней и об истинных ее чувствах? Совместимы ли подобные поступки с моим представлением о ее благочестии? Как согласовать ее поведение в последние минуты жизни с ее словами, когда она говорила врачу, что эти минуты дороги ей? На мой взгляд, все это представляло необъяснимую загадку. Конечно, я не ожидал найти у нее ханжеского кривлянья богомолок, но мне все же казалось, что ей пора подумать о том, что для нее так много значило и уже не терпело никаких отлагательств. Если человек пронес свою набожность через всю земную суету, разве может он измениться в минуту расставания с жизнью, когда ему остается думать лишь об ином мире?

Сии размышления породили во мне удивительное душевное состояние, коего я никак не ожидал. Я почти начал тревожиться, что взгляды мои, кои я не стеснялся защищать перед Юлией, в конце концов на нее повлияли. Я не соглашался с ее взглядами и все же не хотел бы, чтобы она отказалась от них. Если б я заболел, то, конечно, умер бы с теми самыми убеждениями, с коими жил, но мне хотелось, чтоб и она умерла, верная своим убеждениям, и я полагал, что она, так сказать, подвергает себя опасности больше, нежели я. Противоречия эти, несомненно, покажутся вам весьма странными; я и сам не нахожу их разумными, и тем не менее они существовали. Я не пытаюсь в них разобраться, а просто о них рассказываю.

И вот пришла минута, когда мои сомнения должны были разрешиться: легко было предвидеть, что рано или поздно пастор заведет речь о том, что составляло его обязанность как священнослужителя; и если б даже Юлия была способна хитрить в своих ответах, ей было бы трудно притворяться в такой мере, чтобы я, внимательный и осведомленный слушатель, не мог угадать ее истинных чувств.

Все произошло так, как я и ожидал. Я оставляю в стороне те избитые фразы, перемешанные с похвалами, кои послужили пастору мостиком для перехода к основному предмету беседы, оставляю в стороне и трогательные его рассуждения о том, какое счастье для человека увенчать свою добродетельную жизнь христианской кончиной. К сему он добавил, что, откровенно говоря, он иной раз замечал, что в некоторых вопросах ее взгляды не вполне согласуются с учением церкви, то есть с тем учением, которое здравый смысл может извлечь из Священного писания; но так как она никогда не дерзала упрямо защищать эти свои мнения, он надеется, что Юлия пожелает умереть так же, как и жила,— то есть в единении с истинно верующими и полностью принимая общее для всех христиан исповедание веры.

Ответ Юлии, разрешивший мои сомнения и не заключавший в себе ничего еретического против общих догматов, я передам почти дословно, так как слушал речи ее очень внимательно и тотчас же записал их.

«Прежде всего я хочу, сударь,— сказала она,— поблагодарить вас за все ваши заботы обо мне. Вы всегда старались направить меня на благой путь — на путь нравственности и веры христианской. И еще позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы с такою мягкостью поправляли или сносили мои ошибки, когда я заблуждалась. Глубоко ценя ваше рвение, я полна также признательности к вам за вашу доброту и с радостью заявляю, что вам я обязана всеми своими благими решениями, что вы всегда призывали меня к хорошим поступкам и к вере в истину.

Я жила и умираю в протестантском вероисповедании, которое правила свои извлекает лишь из Священного писания и разума человеческого. Сердце мое всегда было согласно с тем, что произносили мои уста; и если поучения ваши я, быть может, не всегда воспринимала со всею должной покорностью, то причиною тому было отвращение мое к любому притворству: если для меня невозможно было верить в то или иное, я не могла сказать, что я верю; я всегда искренне искала того, что

согласуется с истиной и славой божией. В поисках своих я могла ошибаться; у меня нет горделивой уверенности, что я всегда была права,— может быть, даже я всегда заблуждалась; но намерения мои всегда были чисты, и если я говорила: «Верю», то действительно в это верила. Вот и все, что зависело от меня в вопросах веры. Если бог не просветил мой разум выше сего, что ж... ведь он милосерден и справедлив,— разве может он призвать меня к ответу за то, что нет у меня дара, коим он не наделил меня?

Вот, сударь, самое главное, что я хотела сказать вам касательно взглядов, кои я исповедую. Что до всего остального, то не забудьте нынешнее мое состояние. Недуг отвлекает меня, бред лихорадки владеет мною, где же мне сейчас рассуждать лучше, чем прежде я рассуждала, когда разум мой был в полной силе. Если я прежде ошибалась, то разве теперь я способна судить вернее? И ныне, когда все силы мои подавлены, могу ли я верить иначе, чем так, как верила, будучи здоровой? Ведь именно разум наш решает, какие взгляды нам должно предпочесть, а мой разум утратил лучшие свои свойства, и разве могут жалкие его крохи дать мне уверенность в правоте мнения, которое я теперь предпочту? Что же мне остается? Только полагаться на то, чему я верила раньше; намерения мои столь же чисты, как и прежде, умалилась лишь способность суждения. Если я заблуждаюсь, то невольно, и этого достаточно, чтобы мне не тревожиться за свои верования.

Мне должно подготовиться к смерти, и я уже подготовилась, сударь,— правда, плохо подготовилась, но старалась, как умела, и, во всяком случае, лучше, нежели могла бы подготовиться к ней сейчас. Чтобы выполнить столь важный долг, я не дожидалась того времени, когда это уже невозможно сделать. Будучи здоровой, я молилась, а ныне смиренно терплю. Терпение — вот молитва больного; честно прожитая жизнь — вот приуготовление к смерти, иного приуготовления я себе и не мыслю. Когда я беседовала с вами, когда я сосредоточивалась мыслями в уединении, когда я старалась выполнять обязанности, возложенные на меня господом,— я уже тогда готовилась предстать перед ним, и я поклонялась ему, устремляя к сему все силы, дарованные мне небом. А что я могу сделать ныне, утратив их? Способна ли ослабевшая душа вознестись к богу? Достойное ли это приношение господу — остатки полугасшей жизни, поглощенной страданием? Нет, сударь, он дарует их мне, чтобы я посвятила их тем, кого он повелел мне любить и с кем я по воле его расстаюсь: я прощаюсь с ними,

чтобы уйти к нему. Мне надо побыть с ними, ведь я скоро буду только с ним одним. Последние мои радости на земле — вместе с тем и последние мои обязанности: разве это не значит служить господу и выполнять волю его, когда мы предаемся заботам, которые человеческие чувства налагают на нас, пока еще душа не покинула бренную свою оболочку? Должна ли я успокоить свое душевное смятение? Но его нет у меня! Совесть моя спокойна: если иной раз ее тревожили страхи, то я испытывала их гораздо больше, когда была здорова. Моя воля рассеивает их, я говорю себе, что милосердия у господа больше, чем у меня грехов, и моя надежда на прощение возрастает по мере того, как я чувствую, что все больше приближаюсь к нему. Я не принесу ему неполное, запоздалое, вынужденное раскаяние, подсказанное страхом, а потому неискреннее,— раскаяние, которое является лишь уловкой, желанием обмануть господа. Я не хочу принести ему в дар свои последние дни, полные боли и тоски, недугов, страданий и страха смерти,— убогое окончание жизни, которое я бы посвятила богу лишь оттого, что мне оно уже ни к чему. Я несу ему всю свою жизнь, полную грехов и ошибок, но свободную от угрызений совести, терзающих людей нечестивых, и от преступлений злых сердец.

На какие муки господь мог бы осудить мою душу? Отверженные, говорят, ненавидят его. Но разве он мешал мне любить его? Нет, я не боюсь, что увеличу собою легион ненавистников господа. О предвечный! Боже великий, верховный разум, источник жизни и радости, творец и вседержитель, отец человека и царь природы, боже всемогущий, всеблагий, ни на миг не усомнилась я в тебе и всегда хотела жить перед всевидящим твоим взором. Скоро я предстану и перед престолом твоим и, зная это, радуюсь. Пройдет несколько дней, и душа моя, сбросив бренную свою оболочку, начнет более достойно возносить тебе бессмертную хвалу, которая будет блаженством моим на веки веков. А все, что совершится до этого мгновения, уже никакого значения не имеет. Тело мое еще живет, но духовная жизнь моя кончена. Я уже завершила свой жизненный путь и должна быть судима по прошлой своей жизни. Страдать и умереть — вот все, что мне еще остается,— это дело природы; но я всегда старалась жить так, чтобы мне не надо было бояться смерти, и ныне, когда она близится, я без страха смотрю ей в лицо. Кто засыпает в лоне отца своего, не боится пробуждения».

Эта речь, произнесенная вначале спокойно и сдержанно, а затем более выразительным и звонким голосом, произвела на

всех присутствующих, не исключая и меня, живейшее впечатление, тем более что глаза говорившей горели огнем сверхъестественным; лицо ее оживилось яркими красками и, казалось, излучало сияние; если есть что-либо в мире, что заслуживает наименования небесного,— то, конечно, небесным было в тот миг лицо Юлии.

Сам пастор был поражен, преисполнился восторга, услышав такие слова, и, воздев к небу руки и взор свой, воскликнул: «Боже великий, вот поклонение, достойное тебя; будь милостив к душе сей, господи. Немногие смертные радеют о славе твоей, подобно ей!»

«Сударыня,— сказал он, подойдя к постели больной,— я думал преподать вам наставление, но не я, а вы наставили меня. Мне больше нечего вам сказать. Вы познали истинную веру, веру, исполненную любви к богу. Унесите с собой сей драгоценный покой чистой души,— он не обманет вас; я видел многих христиан в таком же состоянии, как ваше, но лишь в вас одной я нашел сие спокойствие. Как не похожа столь мирная кончина на последние мучительные часы трепещущих от страха грешников: они нагромождают целые горы сухих и бесплодных, тщетных молитв — молитв, ибо были недостойны того, чтоб небеса вняли им. Сударыня, кончина ваша так же проста, как и жизнь ваша: вы жили ради добрых дел, вы умираете мученицей материнской любви. Сохранит ли господь вам жизнь, дабы вы служили нам примером, призовет ли он вас к себе, дабы вознаградить на небесах за добродетели ваши,— о, если б все мы могли жить и умереть так же, как вы! Тогда мы были бы уверены, что в мире ином нас ждет вечное блаженство!»

Он хотел удалиться. Юлия удержала его. «Ведь вы принадлежите к числу моих друзей,— сказала она ему,— да еще таких друзей, которых видеть мне особенно приятно: из-за них мне и дороги последние минуты жизни. Нам предстоит расстаться надолго, стало быть не надо расставаться так быстро». Пастор остался с великой радостью,— и тогда я вышел из комнаты.

Возвратившись, я увидел, что они продолжают беседовать. Разговор шел о том же, но совсем в другом тоне,— словно о безразличном предмете. Пастор говорил о ложном понимании христианства, которое превращают в религию умирающих, делая из священников вестников несчастья. «На нас смотрят,— говорил он,— как на посланцев смерти; согласно весьма удобному мнению, достаточно четверть часа покаяться, и тебе про-

стится пятьдесят лет преступной жизни; а посему нас охотно видят только перед смертью. Нам полагается носить одежду мрачных цветов, иметь особо суровый вид и всячески стараться, чтобы наш облик внушал людям страх. В других религиях дело обстоит еще хуже. Умирающего католика нарочно окружают предметами, вызывающими у него ужас, и совершают над ними такие обряды, словно заживо хоронят его. Да еще столь старательно отгоняют от него дьяволов, что ему кажется, будто вся комната полна ими; бедняга сто раз умирает от ужаса, прежде чем его доконают,— и ведь в это состояние смертельного страха церковь любит погружать верующих для того, чтобы побольше выгрести из его кошелька».— «Возблагодарим небо,— сказала Юлия,— что мы не принадлежим от рождения к одной из тех алчных религий, кои убивают людей для того, чтобы попользоваться их наследством, и продают местечки в раю богачам, перенося тем самым и в загробный мир несправедливое неравенство, царящее в земной жизни. Я нисколько не сомневаюсь, что эти мрачные выдумки порождают неверие и вызывают вполне естественное отвращение к религии. Надеюсь,— добавила она, устремив на меня взгляд,— надеюсь, что тот, кому предстоит воспитывать наших детей, будет придерживаться противоположного воззрения и не сделает для них религию учением мрачным и печальным, постоянно примешивая к ней мысли о смерти. Если он научит их жить достойно, они сумеют и умереть достойно».

Во всем этом разговоре, который был менее последовательным и более отрывистым, нежели в моей передаче, мне окончательно стали ясны воззрения Юлии и понятным сделалось ее поведение, сперва испугавшее меня. Все ее поступки объяснялись тем, что, зная, насколько положение ее безнадежно, она думала лишь о том, чтобы устранить ту бесцельную, зловещую обстановку, которую охваченные страхом умирающие создают вокруг себя,— то ли она хотела смягчить нашу скорбь, то ли хотела избавить себя от удручающего и совершенно ненужного зрелища. «Смерть и без того тяжела,— говорила Юлия,— зачем же делать ее еще и отвратительной? Другие тщетными усилиями пытаются продлить свою жизнь, а я стараюсь радоваться жизни до последнего ее мгновения: надо только смириться, и тогда все пойдет само собою. Неужели я превращу свою спальню в больницу, в место, внушающее отвращение и тоску, тогда как мое последнее желание — собрать здесь всех, кто мне дорог? Если я допущу, чтобы в этой комнате был спертый, тяжелый воздух, придется удалить отсюда

детей или подвергать опасности их здоровье. Если я своим убранством буду пугать людей, никто меня не узнает,— я уже не буду прежней Юлией; вам останется только вспоминать, как вы любили меня, но смотреть на меня станет несносно, и еще при жизни передо мною будет жестокая картина: я увижу, как облик мой внушает ужас даже друзьям моим, словно я лежу на постели уже мертвая. А я нашла способ прожить последние свои часы полной жизнью, не пытаясь продлить ее. Я существую, я люблю, я любима, я действительно буду жить, пока не испущу последний вздох. Мгновение смерти ничто; страдания, установленные природой, не так уж страшны,— а духовные страдания я изгнала».

Все эти беседы и другие, подобные им, происходили между Юлией, пастором (а иногда и врачом), Фаншоной и мною. Госпожа д'Орб при этих разговорах присутствовала, но не вмешивалась в них. Со страстным вниманием следила она за всем, что нужно больной подруге, и мгновенно исполняла все ее желания. Остальное время, оцепеневшая, почти безжизненная, она взирала на нее, не произнося ни единого звука, не слыша ни единого слова окружающих.

Что касается меня, то я боялся, как бы эти долгие беседы совсем не изнурили Юлию, и, воспользовавшись минутой, когда врач и пастор о чем-то разговорились между собой, сказал ей на ухо: «Больным нельзя столько разговаривать, и слишком много работает у вас рассудок, хоть вы и считаете себя не в состоянии рассуждать».

«Да,— чуть слышно ответила она,— больным не разрешают много говорить, но умирающим дозволяется, ведь скоро я умолкну навсегда. А что до рассуждений, то сейчас они мне ни к чему, я уже все решила раньше, будучи здоровой. Я ведь знала, что придется когда-нибудь умереть, и часто думала о предсмертной своей болезни; вот нынче я и пользуюсь плодами своей предусмотрительности. Мне уже больше не под силу думать и гадать,— я лишь высказываю то, что прежде обдумала, и осуществляю то, что когда-то решила».

Кроме нескольких приступов удушья, день до самого вечера прошел спокойно,— почти так же, как прежде, когда в доме все было благополучно. Юлия была такая же кроткая и ласковая, говорила столь же разумно, как прежде, столь же свободно работала ее мысль, все так же она была полна безмятежного спокойствия и порою даже веселости; в глазах ее светилось радостное выражение, замеченное мною утром и все больше тревожившее меня; я решил объясниться с нею.

Едва я дождался вечера,— больше откладывать я не хотел. Заметив, что я устроил так, чтобы нам остаться с глазу на глаз, она сказала мне: «Вы меня опередили,— я сама хотела побеседовать с вами».— «Вот и отлично,— ответил я.— Но раз уж я опередил вас, позвольте мне высказаться первому».

И, сев у ее изголовья, я пристально поглядел на нее и сказал: «Юлия, моя дорогая Юлия, какую боль вы причинили моему сердцу! Увы, долго же вы таились. Да, да,— продолжал я, видя, что она с удивлением смотрит на меня.— Я все разгадал. Вы радуетесь смерти, вы довольны, что можете наконец расстаться со мной. Но вспомните, каким был ваш супруг все то время, пока мы живем вместе. Ужели заслужил он такую жестокость с вашей стороны?» Тотчас она взяла меня за руки и проговорила таким тоном, что слова ее хватали за душу: «Как? Я? Я хочу расстаться с вами? Так вот вы что прочли в моем сердце? Вы, значит, уже позабыли вчерашний наш разговор?» — «И все-таки,— повторил я,— вы довольны, что умираете. Я это видел и вижу...» — «Остановитесь! — сказала она.— Да, я довольна, что умираю. Но довольна тем, что умираю так же, как и жила... что я достойна называться супругой вашей. Больше у меня ничего не спрашивайте, я не стану говорить. Но вот тут,— добавила она, вынув из-под подушки какую-то бумагу,— вы найдете окончательную разгадку тайны». И она протянула мне бумагу: я увидел, что это письмо, адресованное вам. «Вручаю вам его незапечатанным,— сказала она,— прочтите его и сами решите: послать его или уничтожить,— поступите, как того требует ваш разум и моя честь. Прошу вас прочесть письмо тогда лишь, когда меня не станет. Я уверена, вы исполните мою просьбу, и не хочу брать с вас слова». Письмо ее, дорогой Сен-Пре, я при сем прилагаю. И хоть я знаю, что той, которая написала его, уже нет на свете, мне трудно поверить, что это голос из-за могилы.

Передав письмо, Юлия с тревогой заговорила об отце. «Как же так? — сказала она.— Он знает, что дочь его в опасном положении, и о нем нет ни слуху ни духу! Уж не случилось ли с ним какого несчастья? А может быть, он разлюбил меня! Как же так! Отец... Такой нежный отец и вдруг бросил меня. Ужели он хочет, чтобы я умерла, не простившись с ним, не получив благословения его и последнего поцелуя. О боже, как ему будет горько! Как он будет сам упрекать себя, когда уже не найдет меня в живых!..» Это были тяжкие для нее мысли. Я рассудил, что ей легче будет перенести известие о болезни отца, нежели подозрение в его равнодушии к ней.

Я решил сказать всю правду. И в самом деле: тревога, вызванная такой вестью, оказалась для нее менее жестокой, нежели первоначальная мысль. И все же сознание, что более она не увидит отца, глубоко ее удручало. «Увы! — воскликнула она.— Что станет с ним без меня? Что будет его теперь привязывать к жизни! Пережить всю свою семью!.. Что ждет его впереди! Он будет так одинок! Это не жизнь». То была одна из роковых минут, когда веет на человека ужасом смерти и дает себя почувствовать власть природы. Юлия вздохнула, сложила руки и устремила взор к небу. Я догадался, что она мысленно произносит ту тяжкую молитву, которую называют молитвой умирающих.

Затем Юлия обратилась ко мне. «Чувствую, что силы оставляют меня,— сказала она.— Наверно, это наш последний разговор. Во имя нашего союза, во имя наших детей, кои были его залогом, прошу вас: будьте же справедливы к супруге вашей! Как! Я радуюсь разлуке с вами? С вами, с человеком, у которого в жизни было лишь одно желанье: дать мне счастье и покой! Вы подходили мне больше всех людей на свете, вы единственный, с кем я могла жить в глубоком согласии и стать добродетельной женой. Ах, поверьте, если я дорожила жизнью, то лишь потому, что хотела прожить ее с вами». Слова эти так взволновали меня, что я заплакал и, приникнув устами к ее рукам, кои держал в своих руках, орошал их слезами. Не думал я, что глаза мои могут проливать слезы — то были первые и последние в жизни моей. Их могла исторгнуть только кончина Юлии, ничего иного я не стал бы оплакивать.

Эти сутки были для нее утомительными: ночью — беседа с госпожой д'Орб, приуготовление ее к предстоящей разлуке, утром — прощание с детьми, днем — беседа с пастором, вечером — разговор со мной. Юлия совсем изнемогла. Ночь, однако, прошла спокойно, то ли по причине крайнего упадка сил у больной, то ли оттого, что лихорадка и приступы удушья уменьшились.

На следующий день утром мне доложили, что какой-то человек, одетый очень плохо, настойчиво просит дозволения поговорить с Юлией отдельно от других. Ему объяснили, в каком она состоянии. Но он настаивал на своем, говоря, что тут речь идет о добром деле, что он хорошо знает госпожу де Вольмар и уверен, что она рада будет помочь ему. Так как Юлия установила нерушимое правило никогда не отказывать просителям, особливо людям бедным, этого человека не решились выгнать и доложили мне о нем. Я приказал позвать его. Он одет

был почти что в рубище, вид имел самый нищенский, да и тон был у него такой же. Впрочем, ни в выражении лица, ни в его словах я не заметил ничего, предвещающего недобрые намерения. Он заявил, что ему нужно поговорить с Юлией. Я сказал, что если он хочет попросить о пособии, то для сего вовсе не следует утомлять умирающую женщину,— я готов сделать для него все, что сделала бы она. «Нет,— отвечал он,— я совсем не прошу денег, хотя они и очень нужны мне,— я прошу оказать мне благодеяние: я надеюсь, что госпожа де Вольмар возвратит мне то, что для меня дороже всех сокровищ в мире,— это великое благо я утратил по собственной вине, и одна только супруга ваша, из рук которой я получил его, может мне его вернуть».

Я ничего не понял в этой речи, но все же решил исполнить его желание. Злонамеренный человек мог бы сказать то же самое, но не таким тоном. Он просил соблюсти тайну — пусть при разговоре не будет ни лакеев, ни горничных. Подобные предосторожности показались мне странными, но я согласился и на это. Наконец я повел его в комнаты, он сказал мне, что госпожа д'Орб знает его; когда мы прошли мимо нее, она его даже не заметила, и меня это мало удивило. Зато Юлия сразу его узнала и, увидев его в убогой одежде, упрекнула меня, зачем я оставил его в таком виде. Это была трогательная встреча. Клара, очнувшись при звуке голосов, подошла близко и, узнав наконец пришельца, даже выразила некоторую радость. Но проявление ее сердечной доброты подавляла глубокая скорбь,— одно-единственное чувство поглощало несчастную Клару, больше ничто ее не трогало.

Думается, не надо вам говорить, кто был этот человек. Его появление пробудило много воспоминаний. Но когда Юлия стала его утешать и ободрять, у нее вдруг случился припадок удушья, и ей стало так плохо, что, казалось, вот-вот она умрет. Не желая волновать ее такими сценами, которые к тому же могли отвлечь нас от ухода за ней, когда следовало думать лишь о том, чтобы помочь ей,— я велел этому человеку пройти в кабинет и запереть за собою дверь. Затем я позвал Фаншону, и через некоторое время благодаря принятым мерам больная очнулась наконец от обморока. Видя, что мы стоим вокруг нее, оцепенев от ужаса, она сказала: «Дорогие мои, это был только первый шаг. И, право, это не так уж страшно, как думают».

Все немного успокоились. Но тревога была так мучительна, что я совсем забыл про человека, находившегося в кабинете, а когда Юлия тихонько спросила меня, куда он девался, уже

накрыли на стол, все собрались. Я хотел выйти в кабинет поговорить с тем человеком, но он запер дверь изнутри, как я ему велел. До конца трапезы было неудобно выпускать его оттуда.

За столом дю Боссон, обедавший с нами, упомянул об одной молодой вдове, собиравшейся, как говорили, выйти еще раз замуж, и добавил несколько слов о печальной участи вдов. «Но гораздо более следует пожалеть,— сказал я,— тех женщин, кои стали вдовами при живых мужьях».— «Ваша правда,— согласилась Фаншона, поняв, что речь идет о ней,— и это особливо тяжело, когда муж был тебе дорог». И тогда разговор зашел о ее муже; Фаншона всегда говорила о нем с любовью, и вполне естественно, что так же заговорила она о нем в такую минуту, когда с утратой ее благодетельницы разлука с мужем должна была стать для нее еще тяжелее. Она отзывалась о нем в самых умилительных словах, хвалила его хорошую натуру, говорила о том, что его соблазнили дурные примеры, горевала о нем искренне и, будучи и без того склонна к печали, взволновалась до слез. Вдруг дверь кабинета распахнулась, какой-то оборванный человек вышел оттуда стремительным шагом, бросился к ногам Фаншоны и, обняв ее колена, разрыдался. Фаншона выронила стакан, который держала в руках. «Ах, несчастный! Откуда ты взялся?» — воскликнула она и приникла к мужу, но вдруг так ослабела, что упала бы без чувств, если б не поспешили прийти ей на помощь.

Остальное легко себе вообразить. Мгновенно по всему дому разнеслась весть, что пришел Клод Ани — муж доброй Фаншоны. Вот радость! Едва вышел он из комнаты, как его тотчас одели с головы до ног. Будь у каждого только по две рубашки, все равно с ним каждый поделился бы, и у него одного оказалось бы столько рубашек, сколько у всех прочих вместе. Когда я вышел распорядиться, чтоб его одели, то увидел, что меня опередили и позаботились о нем даже слишком усердно,— пришлось прибегнуть к власти и заставить людей взять обратно свои дары.

Однако Фаншона не хотела отойти от своей госпожи. Для того чтобы она уделила несколько часов мужу, пришлось изобрести предлог. Мы сказали, что детям нужно подышать свежим воздухом, и поручили ей с супругом повести детей на прогулку.

Эта сцена, в противоположность предыдущей, нисколько не имела дурных последствий для больной, все тут было трогательным и очень обрадовало Юлию. После обеда только мы с Кларой остались возле нее, часа два у нас шла мирная беседа,

и Юлия сумела сделать ее столь занимательной, столь захватывающей, что, пожалуй, такой у нас еще никогда и не было.

Сперва она сказала несколько слов об умилительной картине, глубоко взволновавшей всех нас и напомнившей Юлии дни ее первой молодости; затем, вспоминая череду событий, она вкратце перебрала всю свою жизнь, желая показать нам, что, в общем, судьба ее сложилась хорошо, счастливо и постепенно привела ее на вершину благополучия, какое только возможно на земле, и что несчастье, оборвавшее ее жизненный путь на середине его естественного срока, совершилось в переломный момент, отделяющий былые радости от предстоящих горестей.

Она благодарила небо за то, что оно дало ей сердце чувствительное и жаждущее добра, здравый рассудок и приятную внешность; благодарила за то, что родилась она в стране свободы, а не среди рабов, в семье почтенной, а не в каком-нибудь злодейском роду, что получила порядочное воспитание, но не знала ни светского великолепия, развращающего душу, ни нужды, принижающей человека. Она радовалась, что отец и мать ее были людьми добродетельными и отзывчивыми, почитали правду и честь и, взаимно умеряя присущие им недостатки, развивали ее разум по своему подобию, не передав ей, однако, своих слабостей и предрассудков. Она радовалась как милости неба, что была взращена в правилах разумной и святой религии, которая не только не притупляет ум человеческий, но облагораживает его и возвышает; религии, которая не благоприятствует развитию как нечестия, так и фанатизма, дает возможность быть мудрым и вместе с тем верить в бога, быть человечным и вместе с тем благочестивым.

Затем, сжимая руку Клары, которую держала в своей руке, и глядя на сестру кротким взором, вам, верно, хорошо знакомым, а тут, при томной ее слабости, особливо трогательным, она сказала: «Все это небо ниспосылает и многим другим, но вот что небо дало лишь мне одной. Я родилась женщиной, и у меня была подруга: по воле неба мы родились в одно время; в наших с тобою наклонностях, Клара, небо установило нерушимое согласие. Сердца наши были созданы друг для друга; небо соединило нас с колыбели, на всю жизнь сохранили мы эту близость, и твоя рука, Клара, закроет мне теперь глаза. Найдите в мире пример подобной любви, и тогда мне уже нечем будет похвалиться. Каких только разумных советов сестра мне не давала! От каких только опасностей она меня не спасала! В каких только горестях она не утешала меня! Что ста-

лось бы со мною без нее? А если б я больше слушала ее, чего бы я только не достигла! Может быть, я теперь даже сравнялась бы с нею». Клара вместо всякого ответа спрятала лицо на плече подруги, ей так хотелось слезами облегчить душившее ее горе,— но она не могла плакать. Юлия прижала ее к своей груди. Настало долгое молчание. Ни слова, ни рыдания не нарушали тишины.

Подруги справились с волнением, и Юлия продолжала свою речь: «Радости были перемешаны с горем,— такова уж судьба человеческая. Сердце мое создано для любви, я была крайне требовательна к личным достоинствам молодых людей и совершенно равнодушна к тем благам, которые так ценятся людским мнением. Было почти невозможно, чтобы предрассудки отца моего не стали преградой для моей сердечной склонности. Мне нужен был такой возлюбленный, коего бы я сама отличила. Он явился; я считала его своим избранником, но, несомненно, само небо избрало его для меня, дабы я, предавшись заблуждениям страсти, не дошла бы до ужасов преступления и сохранила бы в душе добродетель даже после своего проступка. Речи его были благородны и пленительны, как у множества вероломных лгунов, кои повседневно обольщают девушек знатного рода, но он был честный человек, единственный, кто действительно думал то, что говорил. Что помогло мне открыть это? Мое благоразумие? Нет, сначала меня увлекли его речи, души же его я не знала. В минуту отчаяния я сделала то, что другие делают по бесстыдству своему: я, как говорил отец, сама бросилась ему на шею. Он отнесся ко мне почтительно. И лишь тогда я могла узнать, что это за человек. У мужчины, способного на такие поступки, должна быть прекрасная душа. На такого человека можно положиться. Но я лишь поначалу полагалась на него, а потом дерзнула полагаться на самое себя. Вот так-то девушки и гибнут».

Она с большим уважением говорила о достоинствах своего возлюбленного. Конечно, Юлия лишь отдавала ему должное, но видно было, что хвалит она его от всего сердца. Она превозносила его даже в ущерб себе. Стараясь быть к нему справедливой, она была несправедливой к самой себе, принимала вину на себя, а ему воздавала честь. Она даже утверждала, будто прелюбодеяние ему внушало больше ужаса, нежели ей, не помня, что он сам опровергал подобное утверждение. Так же подробно вспоминала она всю свою жизнь. Милорд Эдуард, муж, дети, ваше возвращение, наша дружба — все в ее речах предстало в самом лучшем свете. Даже пережитые несчастья,

оказывается, избавили ее от более тяжелых горестей. Она лишилась матери в такую минуту, когда эта утрата была для нее особенно тяжкой; но ежели бы небо сохранило ей мать, вскоре в семье начался бы ужасный разлад. Как ни была слаба поддержка матери, но, чувствуя ее за собой, дочь нашла бы в себе мужество сопротивляться отцу, а тогда пошли бы ссоры и раздоры, быть может, произошла бы катастрофа, позорные, страшные дела, если бы брат ее остался в живых. Против своей воли она вышла замуж за человека, которого не любила; но она заявила, что ни с кем другим не могла быть так счастлива, даже со своим возлюбленным. Смерть господина д'Орба лишила ее друга, но зато возвратила ей подругу. Даже свои горести и страдания она считала полезными для себя, ибо они не дали ее сердцу зачерстветь и проникнуться равнодушием к несчастиям ближних. «Если бы вы знали,— сказала она,— какая сладостная жалость пронизывает сердце, когда раздумаешься над своими бедами и горем других людей. Чувствительность всегда дает душе некое удовлетворение, независимое от удачливой судьбы человека и приятных для него событий. Сколько я стенала, сколько слез пролила! И что же! Если бы пришлось родиться вновь и жить при тех же обстоятельствах, я хотела бы вычеркнуть лишь то дурное, что я совершила, а то, что я выстрадала, готова еще раз пережить». Сен-Пре, я передал вам собственные ее слова; когда вы прочтете ее письмо, быть может, вы лучше их поймете.

«Вы сами видите, какого блаженства я достигла,— промолвила она.— У меня было много радостей, я ждала еще большего. Семья моя благоденствует, дети хорошо воспитываются, вокруг меня собрались или вскоре соберутся все, кто мне дорог. И настоящее и будущее равно улыбалось мне. Наслаждение тем, чем я обладала, сочеталось с надеждами на предстоящее, и я была счастлива; счастье мое, все возрастая, достигло высшего предела и в дальнейшем могло лишь уменьшаться. Оно пришло нежданно, а когда я считала его прочным, вдруг все рухнуло. Да и как могла бы судьба удержать его ради меня на прежней высоте? Разве дано в удел человеку неизменное счастье? Когда мы всего достигнем, приходится что-то и утратить, хотя бы саму радость обладания,— ведь она постепенно притупляется. Отец мой уже стар, дети еще в нежном возрасте, когда постоянно приходится трепетать за их жизнь. Какие страшные утраты могли постигнуть меня, утраты невозвратимые! Материнская любовь непрестанно возрастает, сыновняя же ослабевает, когда дети начинают жить вдали от матери.

Подрастая, мои сыновья все дальше отходили бы от меня. Они вращались бы в свете и, пожалуй, стали бы пренебрегать мной. Вы вот хотели послать их в Россию,— сколько бы слез стоила мне разлука с ними! Мало-помалу все отошло бы от меня, и ничто не возместило бы мои утраты. Сколько раз мне, быть может, довелось бы переносить то мучительное душевное состояние, в коем я вас оставляю. А все равно умереть когда-нибудь надо. Что, если бы я пережила всех своих близких и умерла бы одинокая, заброшенная! Чем дольше человек живет, тем более дорожит жизнью, хотя уже решительно ничем не наслаждается в ней. На старости я изведала бы все горести жизни и ужас смерти — обычное следствие старости. А вместо всего этого последние мои мгновения все еще сладостны, и у меня хватит силы умереть мужественно. Умереть! Разве мы умираем, если остаются живыми все, кого мы любим? Нет, друзья, нет, мои дорогие, мы не разлучаемся, я останусь с вами. Я оставляю вас в глубоком единении, моя душа, мое сердце пребудут с вами. Вы постоянно будете видеть меня среди вас и постоянно чувствовать, что я где-то близко, что я возле вас. А потом мы встретимся и будем все вместе, я уверена в этом. И даже добрый мой Вольмар от меня не убежит. Пока же я одна возвращаюсь к богу; душа моя спокойна, господь поможет мне в тяжкую смертную минуту; он и вам пошлет такую же участь, как и мне. Мой жребий перейдет со мною в иную жизнь и утвердится. Я была, есмь и буду счастлива, мое счастье укрепилось, я вырвала его у судьбы, пределами его может быть только вечность».

При этих словах вошел пастор. Он действительно почитал и глубоко уважал Юлию. Лучше чем кто-либо он знал, как горяча, как искренна ее вера. Его поразил вчерашний разговор и выдержка, которую выказывала Юлия. Нередко люди умирали на его глазах, умирали мужественно, но никогда не видел он у них такого светлого душевного покоя. Быть может, к сочувствию, которое Юлия вызывала у него, примешивалось теперь тайное желание узнать, продержится ли у нее это спокойствие до самой кончины.

Ей не надо было круто менять предмет беседы и переводить ее на предметы, подобающие сану нового собеседника — пастора. Она, и будучи здоровой, никогда не вела пустых разговоров, а теперь, на смертном одре, спокойно продолжала говорить о том, что было интересно для нее самой и для ее друзей. Смело затрагивала она вопросы самые глубокие.

Заговорив о том, что может остаться от ее существа среди нас, на земле, она передала нам свои прежние размышления о состоянии душ, разлучившихся с телом; ее удивляла наивность людей, обещающих своим близким навещать их после смерти и подавать вести о загробном мире. «Это столь же разумно,— говорила она,— как сказки о привидениях, кои вносят великий сумбур в умы и пугают деревенских кумушек. Будто у духов есть голос, и они могут говорить, есть руки, и они могут колотить живых [1]. Да как же это возможно, чтобы бесплотный дух воздействовал на душу, обитающую в живом теле, а следовательно, способную воспринимать что-либо только посредством органов чувств? Это просто бессмыслица. Но, признаюсь, я не вижу ничего нелепого в том, что душа, освободившаяся от тела, в коем она некогда обитала на земле, может возвращаться на землю, блуждать, а возможно, и постоянно находиться близ тех, кто был ей дорог. Не для того, чтобы известить нас о своем присутствии,— у нее нет для этого никаких возможностей; не для того, чтобы влиять на нас и сообщать нам свои мысли,— она не в силах воздействовать на вещество нашего мозга; не для того, чтобы следить за нашими поступками,— для сего ей были бы нужны органы чувств, но для того, чтобы ей самой знать, что мы думаем и чувствуем, и узнает она об этом непосредственно, подобно тому как господь читает мысли человека еще и в земной его жизни, и читает их в ином мире, где мы встречаемся с господом лицом к лицу [2]. Тогда ни к чему нам будут органы чувств, им не найдется никакого приложения. Предвечного невозможно ни видеть, ни слышать, а только чувствовать; он говорит не глазам, не слуху нашему, но сердцу».

По ответу пастора, по некоторым взглядам и знакам, говорившим о взаимном понимании, я догадался, что раньше меж ними одним из спорных вопросов было учение о воскресении во плоти. Я заметил также, что мое внимание теперь привле-

---

[1] Платон сказал, что только души праведных, ничем себя не запятнавшие на земле, во всей своей чистоте освобождаются от материи. Что же касается тех, кто на земле был рабом своих страстей, добавляет он, то их души не сразу обретают первоначальную чистоту, но влачат за собою частицы земных чувств и как бы прикованы ими к бренным останкам тела своего. «Вот что порождает,— говорил он,— чувствующие призраки, кои блуждают порою по кладбищам в ожидании новых переселений души». Тут перед нами обычная страсть философов всех веков: они всегда готовы отрицать существующее и объяснять несуществующее.

[2] По-моему, это удачно сказано: встретиться с господом лицом к лицу, разве это не значит — читать мысли высшего разума?

кают догматы религии, которую исповедовала Юлия, где вера сочетается с разумом.

Сердцу Юлии столь любезны были ее верования, что, раз она сама не подвергала их сомнению, было бы жестокостью разрушать хоть одно из укоренившихся ее воззрений, сладостных для нее в дни смертельного недуга. «Право же,— говорила она,— мне особливо приятно бывало делать доброе дело, когда воображению моему представлялось, что покойница матушка где-то близко, возле меня, что она читает в сердце дочери своей, одобряет ее. Сколь утешительна мысль, что, пока ты жив, на тебя взирают те, кто был тебе так дорог. Ведь оттого они для нас мертвы лишь наполовину». И вы, конечно, представляете себе, что в минуты этой беседы часто сжимала она руку Клары.

Пастор отвечал Юлии весьма мягко и сдержанно и старался показать, что он ни в чем не хочет ей противоречить, но, по-видимому, опасаясь, как бы его умолчание не сочли согласием с нею, он все-таки не выдержал и, на минуту показав себя церковником, изложил перед нами совершенно противоположное учение о загробной жизни. Он сказал, что беспредельность, слава божия и все атрибуты вседержителя — вот чем будут поглощены души, удостоенные вечного блаженства; что счастье созерцать господа изгладит все воспоминания, что души умерших не встретятся, не узнают друг друга даже в небесах и, с восторгом созерцая то, что откроется перед ними, позабудут все земное.

«Это возможно,— промолвила Юлия.— Низменные наши мысли так далеки от божественной сущности, что мы не можем судить сейчас, какое действие произведет она на нас, когда нам будет дано созерцать ее. А все же трудно допустить, что некоторых привязанностей, столь дорогих сердцу, в иной жизни у меня уже не будет; тут я даже составила своего рода доказательство, питающее мою надежду. Я говорю себе, что некоторая доля счастья в загробном мире будет зависеть от сознания, что совесть моя чиста. Следовательно, я должна помнить, что я делала на земле, и вспоминать дорогих мне людей, а значит, они все еще будут мне дороги; не видеть [1] их для меня было бы мукой, а в селениях праведных никаких мук не

---

[1] Легко понять, что под словом «видеть» Юлия подразумевает акт бесплотного проникновения, подобно тому как бог видит нас и как мы его видим. Чувствами мы не можем представить себе непосредственного общения душ, но разум прекрасно может постигнуть его, и, думается мне, общение это легче понять, нежели сообщение движения одному телу другим телом.

должно быть. Впрочем,— добавила она, довольно лукаво взглянув на пастора,— если я и ошибаюсь, то через день, через два заблуждения мои рассеются,— на сей счет я скоро буду более осведомлена, чем вы сами. А сейчас я вполне уверена вот в чем: в ином мире я вечно буду помнить, что жила когда-то на земле, и буду любить тех, кого там любила, и мой духовный пастырь займет среди них не последнее место».

Так шли наши беседы в этот день, когда вера, надежда, умиротворенность более чем когда-либо сияли в душе Юлии и, по суждению священника, являли собою предвкушение блаженного покоя праведных, в обитель коих ей предстояло вскоре вступить. Никогда еще она не была столь нежной, столь искренней, столь ласковой и милой,— словом, сама собой. И как всегда, она мыслила здраво, чувствовала глубоко, полна была твердости мудрецов и христианской кротости. Ни малейшей напыщенности, ни малейшей деланности,— во всем бесхитростное выражение чувств, во всем — сердечная простота. Если она порой сдерживала стоны, исторгаемые страданиями, то вовсе не из желания выказать перед нами стоическое мужество, а просто из боязни огорчить нас, и в те мгновения, когда ее человеческое естество содрогалось от ужаса перед близостью смерти, она не скрывала своего страха и принимала наши утешения, а лишь только ей становилось лучше, она сама утешала других: мы видели, мы чувствовали, как она возвращается к жизни,— ее ласковый взгляд говорил нам об этом. Ее веселость отнюдь не была притворной, шутки ее были так трогательны, мы слушали их с улыбкой на устах, а на глаза навертывались слезы. Не будь в душе у нас ужаса, который не дает человеку наслаждаться тем, чего он вот-вот лишится, она казалась бы еще более прекрасной, более пленительной, чем в пору здоровья своего, и последний день ее жизни был бы полон для нас очарования.

К вечеру у нее был еще один приступ, не такой сильный, как утром, но все же не позволивший ей долго разговаривать с детьми. Однако она сразу заметила, что Генриетта переменилась. Няня сказала, что девочка все плачет, не ест ничего. «Ну, от чувствительности ее не исцелишь,— сказала Юлия, глядя на Клару,— болезнь у нее в крови».

Почувствовав себя лучше, она пожелала, чтобы ужин в тот вечер подали в ее спальне. Как и утром, с нами был доктор. Фаншона, которую обычно надо было приглашать, когда ей полагалось есть с нами за столом, на сей раз пришла сама, без зова. Юлия заметила это и улыбнулась. «Да, дорогая,—

сказала она,— поужинай со мной еще разок; муж куда дольше будет с тобою, нежели твоя хозяйка». Потом она взглянула на меня. «Я думаю, мне не надо просить вас за Клода Анэ?» — «Нет, конечно нет! — ответил я.— Все, кого вы удостоили своего благоволения, не будут знать нужды».

Ужин прошел еще более приятно, чем я ожидал. Юлия убедилась, что она может переносить яркий свет, и попросила придвинуть стол к постели; у нее даже появился аппетит — обстоятельство непостижимое при ее состоянии. Доктор, уж не считая нужным держать ее на диете, разрешил ей съесть кусочек белого куриного мяса. «Нет, не хочу курицы,— ответила она,— зато с удовольствием отведаю ферра» [1]. Ей дали кусочек, она съела его с хлебом и нашла, что это очень вкусно. И пока она ела, госпожа д'Орб не сводила с нее глаз. Ах, если б вы видели, как она смотрела на Юлию! Словами этого не передашь. После еды больной нисколько не стало хуже, наоборот — она чувствовала себя прекрасно, была в веселом расположении духа и с шутливым упреком заметила, что давно за столом не подают иностранных вин. «Подайте мужчинам бутылку испанского». Догадавшись по лицу доктора, что он приготовился попробовать настоящее испанское вино, Юлия с улыбкой поглядела на кузину. Я заметил, что Клара не обратила на это внимания и с каким-то странным волнением смотрит то на Юлию, то на Фаншону, словно хочет что-то сказать или спросить.

Вина долго не приносили: оказалось, не могут найти ключ от подвала; наконец догадались, что камердинер барона, ведавший винами, нечаянно увез с собою ключ. Поговорив со слугами, выяснили, что вино, отпущенное на один день, держится уже пять дней,— вернее сказать, его просто не подавали, и никто того не замечал, хотя несколько ночей людям пришлось провести без сна [2]. Доктор упал с облаков на землю. Что до меня, то хоть я и не знал, чему приписать это равнодушие к вину, проявленное нашими слугами,— печали или воздержанности,— но мне стало стыдно прибегать в отношении таких людей к обычным мерам предосторожности,— я велел выло-

---

[1] Ферра — вкуснейшая рыба, которая в определенную пору ловится в Женевском озере.

[2] Читатели, имеющие превосходных лакеев, не спрашивайте с язвительной усмешкой, откуда Вольмары взяли таких слуг. Ведь мы уже говорили: их ниоткуда не брали,— их воспитывали. Задача заключается всего лишь в одном условии: найдите такую госпожу, как Юлия, остальное приложится. В общем, люди не бывают такими или сякими сами по себе,— они таковы, какими их сделали.

мать дверь подвала и распорядился, чтобы всем давали вина вволю.

Наконец нам принесли бутылку «испанского», и мы ее распили. Все нашли, что вино отменное; даже больной захотелось попробовать, и она попросила дать ей ложку вина, разбавленного водой. Доктор налил ей вина в рюмку и сказал, чтобы она выпила его без воды. Тут Клара стала чаще переглядываться с Фаншоной, но украдкой и словно боясь сказать глазами слишком много.

Все эти дни Юлия почти ничего не ела — так была слаба, да и так не привыкла к вину, что оно очень сильно подействовало на нее. «Ах, вы меня подпоили! — воскликнула она.— Столько времени я с вином не зналась, поздновато теперь начинать, и к тому же пьяная женщина — зрелище отвратительное». И она сделалась очень оживленной, говорливой, хотя речи ее были, как всегда, полны здравого смысла. К удивлению моему, она ничуть не разрумянилась. Блеск загоревшихся глаз гасила болезненная томность, и все же, если бы не бледность, ее можно было счесть здоровой. Теперь волнения Клары невозможно было не заметить. Она вскидывала глаза то на Юлию, то на меня, то на Фаншону, но больше всего смотрела на доктора, и каждый ее взгляд выражал безмолвный вопрос, который она не смела задать: казалось, вот-вот она заговорит, но страх услышать роковой ответ сковывал ее уста! Тревога Клары была так сильна, что в груди у нее стеснило дыхание.

Осмелев от ее знаков, Фаншона решилась заговорить и, замирая от волнения, промолвила: «А барыне-то как будто полегчало немножко, да и приступ был нынче не такой сильный, как вчера». И Фаншона растерянно умолкла. Клара, вся трепеща, как листок на ветру, вперила взгляд в глаза доктора и не смела дышать, боясь не расслышать его ответа.

Только тупица мог бы не угадать ее чувств. Дю Боссон поднялся, подошел к больной и, пощупав ей пульс, сказал: «Это отнюдь не возбуждение от вина или от лихорадки — пульс очень хороший». Клара воскликнула, простирая к нему руки: «Так это правда, сударь? Правда? И пульс? И лихорадки нет?» Голос у нее сорвался, и она умолкла, но все еще протягивала к доктору руки, впиваясь в него горящим взглядом; казалось, каждый мускул на лице ее пришел в движение. Ничего не ответив, доктор снова обхватил пальцами запястье больной, потом взглянул в ее зрачки, осмотрел язык и, подумав некоторое время, сказал: «Сударыня, я очень хорошо вас понимаю. Сейчас не могу сказать ничего определенного, но если завтра

к этому времени больная будет в таком же состоянии, я ручаюсь за ее жизнь». Клара вихрем помчалась к нему, уронив по дороге два стула и чуть не опрокинув стол, кинулась ему на шею и разрыдалась; заливаясь слезами, она расцеловала его в порыве бурного восторга, сняла с пальца дорогое кольцо и, несмотря на отказы доктора, надела ему на палец. «Ах, доктор,— воскликнула она, задыхаясь от волнения,— если вы вернете ее к жизни, вы спасете не только ее одну!..»

Юлия видела всю эту душераздирающую сцену. Пристально посмотрев на подругу, она сказала с нежным и скорбным упреком: «Жестокая, как ты заставляешь меня жалеть о жизни! Ужели ты хочешь, чтобы я умерла в отчаянии? Ужели мне придется вторично подготовлять тебя?» Эти немногие слова подействовали, будто удар молнии,— восторженное ликование сникло, но возродившаяся надежда все же не могла совсем угаснуть.

Ответ доктора мгновенно стал известен всем домочадцам нашим. Эти славные люди вообразили, что госпожа их уже поправилась. Они единодушно решили сделать доктору подарок в складчину, если Юлия выздоровеет; каждый определил на это свое трехмесячное жалованье, и деньги тотчас были отданы на хранение Фаншоне; у кого недоставало, занимал у товарищей. Решение приняли так дружно, с такой горячностью, что Юлия услышала из своей спальни громкие, радостные возгласы. Судите сами, какое впечатление произвело это на нее,— ведь бедняжка знала, что она умирает. Она поманила меня к себе и сказала шепотом: «Мне дают до дна выпить горькую и сладостную чашу чувствительности».

Когда настало время расходиться, госпожа д'Орб, решившая провести эту ночь, как и две предыдущие, вместе со своей подругой, велела позвать свою горничную для того, чтобы она сменила ночью Фаншону, но Фаншона возмущенно отвергла это предложение; и, быть может, она проявила бы меньше рвения, если бы муж не возвратился к ней. Но госпожа д'Орб тоже заупрямилась, и в конце концов обе горничные бодрствовали всю ночь в кабинете, я же провел ее в соседней комнате; надежда так взволновала слуг, что ни приказаньями, ни угрозами я не мог никого удалить; итак, в ту ночь весь дом был на ногах; и, думается, многие отдали бы не малую часть своей жизни, чтобы скорее наступило девять часов утра.

Ночью я слышал какое-то хождение, однако в нем не было ничего тревожного, но под утро, когда в доме настала полная тишина, глухой стук поразил слух мой. Мне послышались

рыдания. Я бросился в спальню, вбегаю, отдергиваю полог... Сен-Пре, дорогой Сен-Пре, что же я увидел! Обе подруги, обнявшись, простерты недвижимо: одна — в глубоком обмороке, другая — отходит в вечность. Я вскрикнул, хотел отдалить или хоть принять ее последний вздох, кинулся к ней. Ее уже не стало.

Слышите вы, верующий в бога, она скончалась! Не буду рассказывать, что творилось в доме несколько часов, не знаю, что было со мной. Опомнившись от первого потрясения, я спросил о госпоже д'Орб. Мне сказали, что ее пришлось на руках отнести в спальню и даже запереть там, ибо она то и дело входила в комнату Юлии, бросалась на хладный труп, желая согреть его своим телом, пыталась оживить усопшую и, прильнув к ней с каким-то неистовством, сжимала в объятиях, со страстной нежностью окликала ее, называя множеством ласкательных имен, и сими бесплодными усилиями лишь растравляла свое отчаяние.

Войдя к ней в комнату, я увидел, что она совсем обезумела, никого не замечает, ничего не слышит, ломает себе руки, катается по полу, кусает ножки стульев, бормочет какие-то странные слова, а иногда испускает дикие вопли, от которых все вздрагивали. За спинкой кровати стояла ее горничная, пораженная, испуганная, едва дышавшая от ужаса, и, дрожа всем телом, старалась укрыться от своей госпожи. Действительно, в судорогах, сотрясавших Клару, было что-то ужасное. Я подал горничной знак удалиться, боясь, что одно-единственное неуместное слово утешения может привести Клару в бешенство.

Я не пытался заговорить с нею,— она не стала бы слушать, да и просто не услышала бы моих речей. Я выждал некоторое время и, видя, что она совсем разбита усталостью, поднял ее на руки и усадил в кресла; сев подле нее, я взял ее за руки; затем приказал, чтобы привели детей, и велел им стать вокруг нее. К несчастью, первым она заметила как раз того, кто оказался невинным виновником смерти ее подруги. При виде его Клара затрепетала, лицо ее исказилось, и она с каким-то ужасом отвела от него взгляд; руки ее судорожно напряглись: несомненно, она хотела оттолкнуть его. Я привлек мальчика к себе. «Несчастное дитя,— сказал я.— Оттого что ты слишком дорог был матери, ты стал ненавистен ее сестре, не во всем они были едины сердцем». Слова эти разъярили Клару,— в ответ она наговорила мне всяких резкостей. Все же мое вмешательство оказало свое действие. Она обняла ребенка и попыталась приласкать его. Тщетные усилия: почти тотчас же

она отдала его мне; еще и теперь ей менее приятно видеть его, чем старшего брата, и я очень доволен, что не Марселин предназначен в мужья ее дочери.

Люди чувствительные, что делали бы вы на моем месте? Конечно, то же, что и госпожа д'Орб. А я, отдав распоряжения о детях, о госпоже д'Орб и о похоронах Юлии, единственной женщины, которую любил в своей жизни, должен был со смертью в душе сесть в седло и ехать через горы, чтобы принести несчастному отцу весть о смерти дочери. Я нашел его в постели, он был болен после своего падения и терзался жестокой тревогой за свою дочь. Уезжая обратно, я оставил его раздавленным тяжестью скорби, той мучительной скорби, которая как будто и незаметна, не изливается у стариков ни в драматических жестах, ни в воплях, но постепенно их убивает. Отец ненадолго переживет дочь. Я в этом уверен. И уж предвижу, какой новый удар довершит несчастье его друга. На следующий день я уже мчался обратно, спеша приехать пораньше, дабы отдать последний долг достойнейшей из женщин. Но испытания мои не кончились. Нужно было, чтобы она воскресла, а я изведал бы весь ужас вторичной ее утраты.

Подъезжая к дому, я увидел, что один из слуг опрометью бежит мне навстречу. Он еще издали кричал мне во весь голос: «Сударь, сударь, скорее! Барыня не умерла!» Я ничего не мог понять из столь нелепых слов, но все же хлестнул лошадь. Вижу, во дворе полно народу, все плачут от радости и в громких возгласах благословляют свою госпожу. Я спрашиваю, что случилось,— все в восторге, никто мне толком не может ответить, у моих домочадцев голова кругом пошла. Бегу в покои Юлии. У ее постели стоят на коленях человек двадцать и не сводят с усопшей глаз. Я подхожу. Она простерта на смертном своем одре уже одетая, в красивом уборе. Сердце у меня заколотилось. Я вглядываюсь! Увы! Она мертва. Минута ложной радости и столь жестоко обманутой надежды была самой горькой в жизни моей! Я не гневлив, но тут почувствовал сильнейшее негодование. Мне захотелось узнать причину этой удивительной сцены. В рассказах все было перепутано, изменено, искажено; с великим трудом удалось восстановить истину. Наконец я разобрался, и вот какова история чуда.

Мой тесть, встревоженный вестью о недуге дочери, решил, что может пока обойтись без камердинера, и незадолго до моего приезда послал его справиться о здоровье Юлии. Для старика камердинера верховая езда была утомительна, он поплыл на лодке, ночью переправился через Женевское озеро и прибыл в

Кларан утром перед моим возвращением. Увидев, что в доме нашем все убиты горем, он понял, что́ случилось; стеная, поднялся он по лестнице в опочивальню Юлии, стал на колени у изножия кровати и, проливая слезы, вперил в нее унылый взгляд. «Ах, дорогая моя госпожа,— восклицал он.— И что же это господь не призвал меня вместо тебя. Ведь мне, старику, жизнь в тягость, ни на что я не годен, зачем мне зря землю бременить? А ты, голубушка наша, такая молодая, красавица ты наша, гордость всему роду-племени, своему дому радость светлая, всем несчастным упование... Горе мне! На глазах моих ты родилась, ужель затем, чтобы увидел я тебя мертвой!»

Предаваясь этим причитаниям, исторгнутым горячей преданностью и добрым сердцем, он не отрывал взора от усопшей, и вдруг ему почудилось, что лицо ее дрогнуло, и тут воображение его было потрясено. Старику померещилось, что Юлия открыла глаза, смотрит на него, кивает ему головой. В восторге он поднялся с колен и побежал по всему дому, оповещая людей, что барыня не умерла, что она его узнала, что она, право слово, жива и обязательно поправится. Этих уверений было совершенно достаточно. Все сбежались — домочадцы, соседи, бедняки, только что оглашавшие воздух громкими сетованиями; все кричали: «Она не умерла!» Слух разнесся мгновенно и все разрастался; в народе любят чудеса, и все с жадностью внимали необыкновенной вести, все ей поверили, ведь все так хотели, чтобы Юлия была жива, каждый ликовал от души и, ища себе утешения, поддерживал всеобщее легковерие. Вскоре уже передавали, что покойница не только кивнула головой, но и поднялась и заговорила; появилось двадцать свидетелей, очевидцев всяческих обстоятельств, коих и в помине не было.

Лишь только люди уверовали, что Юлия жива, они приложили множество стараний, чтобы ее привести в чувство, все теснились около нее, заговаривали с нею, прыскали ее настоянными на спирту снадобьями, проверяли, не появился ли у нее пульс. Служанки, возмущенные тем, что госпожа их лежит в небрежном одеянии, меж тем как вокруг толпятся мужчины, велели всем выйти и вскоре убедились, как велико было всеобщее заблуждение. Однако, не решаясь разрушить любезное всем самообольщение, а быть может, еще питая надежду на некое чудо, они заботливо нарядили мертвое тело, и хотя весь гардероб Юлии был оставлен им в наследство, не пожалели для нее дорогих уборов; затем они положили покойницу на постель и, оставив складки полога незадернутыми, опять принялись плакать, омрачая всеобщую радость.

Я прибыл в разгар возбуждения. Вскоре я убедился, что образумить сие скопище людей невозможно, что, если я прикажу запереть двери дома и затем отнести усопшую на кладбище, может вспыхнуть бунт; во всяком случае, я прослыву убийцей, допустившим, чтобы жену его похоронили заживо, и тогда я буду внушать ужас всему краю. Я решил выждать. Однако через полутора суток, при удушливой жаре, стоявшей тогда, тело начало портиться; хотя черты ее не расплылись и хранили кроткое выражение, на лице появились признаки тления. Я сказал об этом госпоже д'Орб, которая, еле живая, сидела у изголовья смертного ложа. Она имела счастье не поддаться столь грубому самообольщению, но притворялась, что разделяет его,— она хотела найти предлог быть неотлучно возле усопшей и смотреть на нее, терзая свое сердце сим скорбным зрелищем.

Клара услышала мои слова и, тотчас приняв решение, молча вышла из комнаты. Через минуту она возвратилась, держа в руках золототканое, расшитое жемчугом покрывало, которое вы привезли ей из Индии [1]. Она подошла к постели и, поцеловав покрывало, плача, закрыла им лицо умершей подруги, а затем воскликнула звенящим голосом: «Да будет проклят недостойный, чья рука дерзнет поднять покрывало! Да будет проклят нечестивец, чьи глаза посмеют взглянуть на ее обезображенное лицо!» Сие опущенное покрывало и сии слова так поразили зрителей, что тотчас же они, словно по внезапному вдохновению, многоголосым эхом повторили ее заклятие. Оно произвело глубокое впечатление на всех наших слуг и на весь собравшийся народ, и лишь только покойницу положили в гроб в нарядных ее одеждах, ее понесли с великой торжественностью и похоронили, закрытую этим покрывалом,— не нашлось столь дерзновенного человека, который посмел бы коснуться смертного покрова [2].

Стократ достоин жалости несчастный, когда он, мучаясь сам, должен еще утешать других. А мне ведь предстоит утешать своего тестя, госпожу д'Орб, друзей и родственников, со-

---

[1] Ясно, что сновидение Сен-Пре, не выходившее у госпожи д'Орб из головы, и внушило ей мысль принести это покрывало. Полагаю, что, если вникнуть хорошенько, такая же взаимосвязь существует во многих случаях, когда сбывается то или иное пророчество. Предсказанное событие не обязательно должно совершиться, но совершается оно именно потому, что было предсказано.

[2] Хотя в провинции Во все принадлежат к протестантскому вероисповеданию, народ там отличается крайним суеверием.

седей и своих домочадцев. Главное, как быть со старым моим другом, как приступиться к госпоже д'Орб? Посмотрели бы вы на нее, сразу бы поняли, сколько горя она мне доставляет, сверх моего. За все заботы о ней она нисколько мне не благодарна,— напротив, корит за них, мое внимание досаждает ей; моя «холодная» печаль оскорбляет ее,— Кларе нужно, чтобы мы, подобно ей, предавались горьким сетованиям, она терзается жестокой скорбью и требует от нас такого же бурного отчаяния. С нею ни в чем нельзя быть уверенным, и что тяжелей всего: то, что как будто приносит ей облегчение, через минуту ее раздражает. Ее речи, ее поступки граничат с безумием и людям сдержанным показались бы подчас даже смехотворными. Мне много придется перенести, но я не отступлюсь. Служа тем, кого любила Юлия, я, думается, чту ее память лучше, нежели проливая потоки слез.

Приведу один пример, он даст вам представление о многих и многих подобных ему случаях. Я, казалось, сделал все для того, чтобы побудить Клару поберечь себя, ведь иначе ей не выполнить долг, возложенный на нее умершей подругой. Изнуренная треволнениями, бессонными ночами, отвращением к пище, она как будто опомнилась и решила наконец вернуться к обычному образу жизни, участвовать в наших трапезах. Когда она в первый раз вышла в столовую, я приказал подать детям обед в их комнате, не решаясь произвести при них этот опыт, ибо нехорошо, когда на глазах детей разыгрываются бурные сцены,— это опасный для них пример. В страстях, доходящих до крайностей, всегда есть нечто ребяческое, забавляющее детей, привлекающее их,— им начинает нравиться то, чего им следует страшиться [1]. А наши дети и так уж многого навидались.

Выйдя к обеду, Клара бросила взгляд на накрытый стол и увидела, что поставлено только два прибора; тотчас же она опустилась на первый попавшийся стул и отказалась сесть за стол, не желая, однако, объяснять, чем вызван такой каприз. Мне показалось, что я угадал причину, и я приказал поставить третий прибор на то место, где обычно сидела за столом Юлия. Тогда Клара беспрекословно позволила взять ее за руку, подвести к столу и, садясь, старательно подобрала платье, словно опасалась, что складки его заденут пустой стул Юлии. Но едва поднесла она ко рту первую ложку супу, как тотчас оттолкнула

---

[1] Вот почему мы все любим театр, а многие из нас любят романы.

ее и резким тоном спросила, зачем поставили третий прибор, когда никто на этом месте не сидит. Я ответил, что она совершенно права, и приказал убрать прибор. Она попробовала есть, но не могла себя принудить. Тоска сжимала ее сердце, неровное, шумное дыхание походило на горестные вздохи. Вдруг она вскочила с места и молча ушла к себе в комнату, не слушая моих уговоров, и весь день ничего не ела, только пила чай.

На следующий день все началось сначала. Я придумал способ образумить Клару, воспользовавшись самими ее причудами, и смягчить суровое отчаяние, приведя ее к более кротким чувствам. Как вам известно, ее дочка очень похожа на Юлию. Клара любила усиливать это сходство одинаковым покроем платьев, сшитых к тому же из одинаковой материи; из Женевы она привезла им много таких нарядов, и нередко Юлия и Генриетта выходили к столу в одинаковых уборах. Я велел одеть девочку так, чтобы она как можно больше походила на Юлию, рассказал, как ей надо вести себя, и велел сесть за стол, накрытый, как и накануне, на три прибора. Клара сразу угадала мое намерение, была им тронута и взглянула на меня с нежной признательностью. Впервые за это время она почувствовала мою заботу о ней, и мне казалось, что такими средствами удастся смягчить ее горе.

Генриетта с гордостью подражала своей «мамочке» и превосходно разыгрывала эту роль, столь хорошо, что, как я заметил, слуги наши плакали. Однако она по-прежнему называла Клару маменькой и, разговаривая с нею, проявляла должную почтительность; затем, осмелев от успеха и от моего одобрения, прекрасно ею замеченного, она вдруг позволила себе следующую выходку: взяла в руки ложку и, указывая на блюдо, спросила: «Клара, положить тебе этого?» Она так хорошо передала и жест и звук голоса Юлии, что Клара вздрогнула. Но тотчас она рассмеялась и, протягивая тарелку, сказала: «Да, дорогая детка, положи мне. Ты у меня прелесть». И тут она принялась есть с необычайной жадностью, удивившей меня. Внимательно приглядываясь, я заметил, что глаза у нее какие-то дикие, движения стали резкими и порывистыми. Я отобрал у нее тарелку, и хорошо сделал,— через час у нее поднялась ужасная тошнота, и она, несомненно, задохнулась бы, если бы съела больше. Тогда я решил прекратить все эти игры,— они могли до того воспламенить воображение Клары, что было бы невозможно справиться с ним. Так как от горя исцелить легче, нежели от безумия, я готов согласиться, чтобы она страдала еще сильнее, чем подвергать ее опасности потерять рассудок.

Вот, дорогой Сен-Пре, как обстоят у нас дела. С тех пор как возвратился барон, Клара каждое утро заходит к нему,— то когда я сижу у него, то когда я ухожу; они проводят вместе час-другой, и ее заботы о старике облегчают наши заботы о ней самой. Впрочем, она стала уделять больше внимания и детям. Один из мальчиков заболел, как раз Марселин, которого она любит меньше. При сих злополучных обстоятельствах Клара почувствовала, что ей грозят новые утраты, и тогда к ней вернулось прежнее ревностное отношение к своему долгу. И все ж ее скорбь еще не смягчилась, еще не пришли слезы, чтобы излиться, они ждут вас, и вам предстоит осушить их. Вы должны понять меня. Вспомните о предсмертном совете Юлии. Я первый дал вам его и ныне, более чем когда-либо, полагаю его полезным и разумным. Приезжайте, соединитесь с теми, кого Юлия оставила на земле. Ее отец, ее друзья, муж, дети — все ждут вас, все хотят, чтобы вы были с ними, вы всем необходимы.

Наконец, скажу без лишних слов: приходите разделить со мною горе мое и исцелите мою рану; быть может, я буду обязан вам больше всех.

## ПИСЬМО XII

*От Юлии к Сен-Пре*

*(Вложенное в предшествующее)*

Надобно отказаться от наших планов. Все изменилось, добрый друг мой. Примите перемену безропотно,— ее совершила рука более мудрая, чем мы. Задумали мы соединиться, но это соединение не привело бы к добру! Воспрепятствовав сему, небо совершило благодеяние: тем самым оно избавило нас от ужасных бедствий.

Долго я сама себя обманывала, и самообман сей был для меня спасителен; рассеялся он лишь теперь, когда уж более не нужен мне. Вы полагали, что я исцелилась, и я сама думала так же. Возблагодарим того, кто длил наше заблуждение, пока оно было для нас полезно: как знать, не закружилась ли бы у меня голова, если б я увидела, что стою у края бездны. Да, как я ни старалась заглушить первое чувство, ставшее для меня смыслом жизни, оно укрылось в сердце моем. И вот оно пробудилось в тот час, когда мне уже незачем страшиться его; оно поддерживает дух мой, когда силы оставляют меня, оно вливает в меня жизнь, когда я умираю. Друг мой, я не сты-

жусь признания своего: вопреки всем моим усилиям любовь так и осталась у меня в душе, любовь невинная; во имя долга я сделала все, что зависит от моей воли, но в сердце своем я не вольна, и если оно принадлежит вам, то это мука моя, а не грех. Я сделала все, что должна была сделать,— добродетель моя не запятнана, и любовь моя свободна от угрызений совести.

Я дерзаю гордиться своею твердостью в прошлом, но кто поручится мне за будущее? Быть может, еще один день, и я стала бы преступницей! Что ожидало бы нас, когда бы мы всю предстоящую нам жизнь прожили вместе? Каким опасностям я подвергалась, сама того не ведая! С какими опасностями, еще более страшными, мне пришлось бы вскоре столкнуться!.. Я полагала, что боюсь за вас, но, несомненно, боялась за самое себя. Мы прошли через все испытания, но ведь они могли бы возродиться! Немало лет я прожила счастливо и добродетельно. Вот и достаточно. А что за радость мне жить теперь? Пусть небо отнимет у меня жизнь, мне о ней жалеть нечего, да еще и честь моя будет спасена. Друг мой, я ухожу вовремя, довольная и вами и собою, ухожу с радостью, и в расставании с жизнью не вижу ничего страшного. Столько уже принесено жертв, и после них я ни во что ставлю свою последнюю жертву: мне предстоит всего только умереть, лишний раз умереть.

Я предвижу, я чувствую, я знаю, как будет достойна жалости ваша участь. Не могу не сострадать вашему горю, и это тягчайшее чувство я унесу с собою. Но посмотрите, что оставляю я вам в утешение! Сколько забот возложила на вас та, которая была вам дорога. Ради нее вы должны сохранить свою жизнь. Вам еще многое остается сделать: послужите мне в образе той, что воплощает лучшую часть моей души. Со смертью Юлии вы утратили только то, чего лишились уже давно. А все лучшее, что было в ней, осталось с вами. Придите, соединитесь с моей семьей. Да пребудет сердце мое среди вас. Пусть соберутся все, кого любила Юлия, в них возродится новое ее бытие. Ваши труды, ваши радости, ваша дружба — во всем будет она участница. Узы вашего единения вернут ее к жизни, она умрет лишь вместе с последним из вас.

Подумайте о том, что я оставляю вам вторую Юлию, не забывайте свой долг перед нею. И вы и она утратили половину жизни своей — соединитесь, чтобы сохранить оставшиеся вам дни; сей союз и заботы о моей семье, о детях моих для вас единственное средство пережить меня. Ах, почему не могу я придумать более тесный союз, чтобы узы его соединяли всех,

кто дорог мне! Как вы с Кларой необходимы друг для друга! И как должна эта мысль усилить вашу взаимную привязанность! Ваши возражения против этого брака ныне должны быть новыми основаниями для того, чтобы заключить его. Оба вы будете говорить обо мне с умилением. И разве это может быть иначе? Нет, Клара и Юлия сольются для вас воедино, и сердцу вашему невозможно будет отделить их друг от друга. Ее сердце вознаградит вас за все, что вы чувствовали к ее подруге,-- она будет вашей наперсницей и предметом вашей любви; вы будете счастливы благодаря той, которая осталась вам, и по-прежнему будете верны той, которую утратили; пора радостей любви и жизни для вас еще не миновала, после стольких сожалений и мук вы возгоритесь пламенем законной любви и насладитесь невинным счастьем.

Сей целомудренный союз даст вам право всецело и без страха предаться заботам, кои я завещаю вам; когда довершите вы сей труд, вам легко будет сказать, что доброго совершили вы на земле. Вы знаете, есть человек, достойный вечного блаженства, к которому, однако, он не стремится. Человек этот — ваш избавитель. Муж вашей подруги, возвративший ее вам. Одинокий, утративший цель жизни, не веря в жизнь загробную, не ведая ни радостей, ни утешения, ни надежды, он вскоре будет несчастнейшим из смертных. Вы должны позаботиться о нем так же, как он заботился о вас, и вы знаете, чем можете быть ему полезным. Вспомните предыдущее мое письмо. Я хочу, чтобы вы провели с ним свою жизнь. Пусть никто из любивших меня не оставляет его. Он возвратил вам стремление к добродетели,— покажите ему, в чем ее назначение и что служит наградой за нее. Будьте христианином, дабы и он им стал. Он ближе к этому, чем вы думаете: он выполнил свой долг, выполню и я свой, выполните и вы то, что стало вашим долгом. Бог справедлив, вера моя не обманет меня.

Хочу сказать еще о своих детях. Я знаю, как много забот потребует от вас их воспитание; но хорошо знаю также, что вам заботы эти не будут в тягость. В минуты раздражения и усталости, неразлучной с таким трудом, говорите себе: «Ведь это дети Юлии», и вам станет легко. Вольмар передаст вам мои замечания касательно вашей записки о воспитании и касательно характеров моих сыновей. У меня все вчерне, только наброски,— свои наблюдения я не выдаю за правила и полагаюсь на ваш просвещенный разум. Не делайте из них ученых, пусть будут они добрыми и справедливыми людьми. Иногда говорите им о матери... вы знаете, как они были ей дороги...

Скажите Марселину, что мне не жаль было умереть за него. Брату его скажите, что благодаря ему я полюбила жизнь... Вот и устала я. Пора кончать письмо. Завещаю вам своих детей — так мне легче будет умереть: я как будто остаюсь с ними.

Прости, прости мой ненаглядный друг... Увы! Кончаю жизнь так же, как начала ее. Может быть, слишком уж откровенно я говорю, но в такую минуту сердце ничего не может скрыть. Да и что мне бояться сказать то, что я чувствую? Это ведь не я с тобой говорю — я уже в объятиях смерти. Когда ты увидишь сии строки, черви будут глодать и лицо твоей возлюбленной, и сердце ее, где тебя уже не будет. Но разве без тебя душа моя может существовать? Что мне за радость без тебя в вечном блаженстве? Нет, я не расстаюсь с тобою, я буду ждать тебя. Добродетель, разлучившая нас на земле, соединит нас в вечной жизни. В сем сладостном ожидании я и умру. Какое счастье, что я ценою жизни покупаю право любить тебя любовью вечной, в которой нет греха, и право сказать в последний раз: «Люблю тебя».

## ПИСЬМО XIII

*От г-жи д'Орб*

Говорят, вам уже стало лучше, и можно надеяться, что скоро мы увидим вас в Кларане. Друг мой, постарайтесь преодолеть свою слабость,— надо поспешить проехать через горы, пока зима не совсем еще закрыла перевалы. Воздух наших краев вам будет на пользу; в доме вы увидите лишь скорбь и уныние, и, быть может, среди всеобщего горя легче станет сердцу вашему. Вы мне необходимы,— я должна излить свое горе; ведь я одна, не с кем мне ни поплакать, ни поговорить о ней, никто меня не понимает. Вольмар слушает меня и ничего не отвечает. А несчастный отец замкнулся в себе, полагая, что его страдания самые жестокие, чужого горя он не видит и не чувствует,— сердечные излияния невозможны для стариков. Мои дети трогают меня, но сами никогда не могут растрогаться. Я тут совсем одна; вокруг царит мрачное молчание. Душу гнетет какая-то тупая тоска, я ни с кем не общаюсь; сил у меня хватает лишь на то, чтобы сознавать, как ужасна смерть. Придите скорее, придите разделить со мной мою скорбь, ведь мы оба понесли невозвратимую утрату, придите, чтобы оживить горе мое своими сетованиями, растравить рану сердца своими

слезами,— это единственное утешение, коего могу я ждать, единственно оставшаяся мне радость.

Но, прежде чем мы встретимся, прежде чем я узнаю ваше мнение о том плане, о коем, как мне известно, с вами говорили, я хочу, чтобы вы заранее знали мое решение. Я простодушна и откровенна, я не стану ничего от вас скрывать. Признаюсь, я любила вас; быть может, люблю еще и сейчас, и очень может быть, всегда буду любить,— этого я не знаю и не хочу знать. Кое-кто о чувствах моих догадывается,— я на это не сержусь, мне все равно. Но вот что я хочу сказать вам и прошу вас непременно запомнить: если человек, который любил Юлию д'Этанж, может решиться взять себе в супруги другую женщину,— он в моих глазах существо низкое и подлое, и я сочла бы для себя бесчестьем быть его другом; а касательно меня самой, ручаюсь вам, что, если какой-нибудь мужчина впредь посмеет заговорить со мною о любви,— больше он ни разу в жизни не скажет мне о сем предмете ни слова.

Подумайте о заботах, кои ждут вас, о требованиях долга, на вас возложенных, и о той, кому вы обещали выполнить их. Ее дети подрастают и развиваются, ее отец постепенно угасает, ее муж полон тревоги и волнения. Тщетно старается он убедить себя, что ее больше нет. Его сердце восстает против пустых доводов рассудка. Вольмар говорит о ней, говорит с нею, вздыхает. Мне кажется, что осуществляется то, о чем она молила небо столько раз, вам предстоит довершить сие великое обращение.

Видите, сколько обязательств призывают сюда вас и вашего друга. Вполне достойно великодушного Эдуарда то, что наше несчастье не заставило его изменить прежнее решение.

Итак, приезжайте, дорогие и уважаемые друзья наши, соединитесь с теми, кто осиротел после нее. Соберем здесь всех, кто был ей дорог. Исполнимся духа ее, пусть ее сердце соединит наши сердца, пусть всегда она видит нас вместе в жизни нашей.

Я хочу верить, что из обители вечного покоя, где она пребывает, душе ее, по-прежнему любящей и чувствительной, сладко будет возвращаться к нам, находиться среди друзей, хранящих о ней память, видеть, как они подражают ее добродетелям, слышать, как они прославляют ее, чувствовать, как они лобзают ее гробницу и, стеная, произносят ее имя. Нет, она не покинула сих мест, благодаря ей они стали для нас столь милыми — тут все полно ею. Каждый предмет напоминает о ней, на каждом шагу я чувствую ее, каждое мгновение слышу звук ее голоса. Здесь она жила, здесь покоится ее прах... Пока лишь половина

ее праха. Два раза в неделю, когда иду я в храм, я вижу место ее упокоения... Красота, так вот где последнее твое убежище!.. Вера, дружба, добродетель, радость, беспечная веселость — все поглотила земля... Неведомая сила влечет меня. Я приближаюсь... я трепещу... Мне страшно, страшно ступать по сей священной земле... Мне кажется, она колышется. Вздрагивает под моими ногами... Я слышу, как жалобный голос тихо зовет меня: «Клара! Родная моя! Где ты? Что делаешь ты вдали от подруги своей?..» В гробнице еще есть место... оно ждет новой своей добычи. Недолго придется ей ждать [1].

*Конец шестой части*

---

[1] Перечтя еще раз собранные здесь письма, я, думается мне, понял, почему, невзирая на малую занимательность, они доставляли мне приятность и будут, полагаю, любезны каждому благожелательному читателю; ведь их малая занимательность чиста,— к ней не примешивается ничего тягостного, она не вызывается какими-нибудь черными злодействами и муками ненависти. Не могу постигнуть, что за удовольствие вообразить себе и нарисовать в качестве действующего лица какого-нибудь злодея, ставить себя на его место, пока ты изображаешь его, и всячески стараться придать ему особую значительность и блеск. От души жалею тех сочинителей, которые написали уйму трагедий, полных всяческих ужасов, и посвящают свою жизнь тому, чтобы выводить в своих творениях такие персонажи, кои видеть и слушать сущее мученье. Как, думается мне, должен сетовать на свою участь человек, осужденный на столь жестокий труд. Должно быть, писателей, находящих в нем удовольствие, пожирает ревностная забота о пользе общественной. Что до меня, то я дивлюсь их прекрасным талантам, но благодарю бога, что он не наделил меня подобным дарованием.

## ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ МИЛОРДА ЭДУАРДА БОМСТОНА

Странные приключения милорда Эдуарда в Риме были столь необычайны, что примешать их к повествованию о сердечных делах Юлии было бы невозможно без ущерба для его простоты. Посему удовольствуюсь я лишь кратким изложением означенных происшествий, чтобы можно было понять два-три письма, где о них говорится.

Милорд Эдуард, путешествуя по Италии, свел в Риме знакомство с некой знатной неаполитанкой и тотчас в нее влюбился; да и она, со своей стороны, воспылала к нему страстью, которая пожирала ее до конца жизни и свела в могилу. Этот человек, суровый и не склонный к любовным похождениям, но наделенный чувствительной душою, благородный и во всем доходивший до крайности, не мог ни внушать, ни испытывать привязанностей заурядных.

Стоические взгляды сего добродетельного англичанина тревожили маркизу. Она решила выдать себя на время отсутствия мужа за вдову — это оказалось нетрудным, так как и она, и супруг ее были чужестранцами в Риме, а маркиз служил в войсках императора. Влюбленный Эдуард вскоре заговорил о браке. Маркиза ссылалась на разницу в вероисповедании, находила и другие предлоги. В конце концов меж ними возникла свободная любовная связь и длилась до тех пор, пока Эдуард не открыл, что муж маркизы жив, а тогда он осыпал ее самыми горькими упреками и решил порвать с нею, ибо не мог перенести мысли, что, неведомо для себя, оказался виновным в преступлении, вызывавшем у него ужас.

Маркиза, женщина безнравственная, но ловкая и полная очарования, всячески старалась удержать при себе Эдуарда и добилась своего.

Прелюбодеяние оборвалось, но встречи продолжались. Маркиза была недостойна любви, однако она любила; ей пришлось согласиться на бесплодные свидания,— ведь она обожала милорда и не могла сохранить его иначе; добровольно воздвигнутые преграды разжигали в обоих любовь, и от запрета она лишь воспламенялась сильнее. Маркиза была соблазнительна и красива, она не пренебрегала ничем, лишь бы заставить возлюбленного позабыть свои решения. Напрасные усилия,— англичанин оставался тверд, его высокая душа выдерживала испытание. Величайшей его страстью была добродетель: он пожертвовал бы жизнью ради любовницы, но любовницей пожертвовал бы ради долга. А когда искушение стало чересчур сильным, он вознамерился прибегнуть к такому средству, которое остановило бы маркизу и сделало тщетными все ее уловки. Мы даем волю плотским чувствам не по слабости, а по малодушию. Для кого преступление страшнее смерти, того никогда не сделаешь преступником.

Немного на свете сильных душ, способных увлечь за собою других в свою возвышенную сферу. Все же встречаются и такие. Эдуард принадлежал к их числу. Маркиза надеялась покорить его своей воле, но незаметно сама ему покорилась. Когда в уроках добродетели слышался голос любви, маркизу это умиляло, и она проливала слезы; в эту низменную душу Эдуард заронил искру священного огня, воодушевлявшего его самого. Ее пленяли чары справедливости и чести, дотоле ей неведомые, ей стало теперь нравиться истинно прекрасное: если бы порочная натура могла переродиться, сердце маркизы изменилось бы.

Но от этих легких волнений изменилась лишь ее любовь,— она приобрела больше тонкости, в чувствах маркизы появились черты великодушия; обладая пылким нравом, живя в том климате, где так велика власть страстей, она позабыла о собственных наслаждениях и думала лишь об усладах своего возлюбленного; лишившись возможности их разделять с ним, она пожелала, чтобы Эдуард был ими обязан ей самой. По крайней мере, так она объясняла свой поступок, хотя при ее характере и хорошо ей известном характере Эдуарда эта выходка могла оказаться утонченным соблазном.

Она приказала искать по всему Риму, не жалея золота и хлопот, юную красотку, доступную и надежную; такую особу нашли, правда не без труда. Однажды вечером после нежной беседы маркиза представила ее Эдуарду. «Располагайте ею,— сказала она с улыбкой.— Пусть она воспользуется правами моей любви; но я хочу, чтоб она была единственной. С меня достаточно, если вы иной раз вспомните близ нее о той, из чьих рук вы получили

ее». И, сказав это, маркиза хотела выйти из комнаты. «Остановитесь! — воскликнул Эдуард.— Если вы считаете меня подлецом, способным принять подобное предложение, да еще в собственном вашем доме,— жертва не велика: о таком негодяе и жалеть не стоит».— «Но раз вы полагаете, что не вправе принадлежать мне,— ответила маркиза,— я хочу, чтобы вы не принадлежали никому; уж если любовь должна утратить свои права, позвольте ей, по крайней мере, распорядиться ими по-своему. Почему вам тягостна моя забота о вас? Вы боитесь оказаться неблагодарным?» Тут она убедила его записать, где проживает Лаура (так звали юную прелестницу), и потребовала от него клятвенного обещания воздержаться от других любовных связей. Это должно было растрогать Эдуарда, и он растрогался. Ему труднее было сдержать чувство признательности, нежели чувство любви; никогда еще маркиза не ставила ему такой опасной ловушки.

Маркиза, доходившая, подобно своему возлюбленному, во всем до крайности, пригласила Лауру поужинать с ними и обласкала ее, словно хотела с особой торжественностью совершить величайшую жертву, на какую способна любовь. Эдуард был поражен и охвачен восторгом; волнение чувствительной души изливалось в его взорах, в его жестах; каждое его слово выражало страсть самую пламенную. Лаура была прекрасна, но он едва удостаивал ее взглядом. Не следуя примеру сего равнодушия, она смотрела внимательно, ибо картина истинной любви, оказавшаяся перед ее глазами, являла собою нечто новое, совершенно новое для нее.

После ужина маркиза отослала Лауру и осталась наедине со своим возлюбленным. Она рассчитывала, что теперь свидание с глазу на глаз будет опасным для него, и не ошиблась в этом; однако ее расчеты, что он поддастся искушению, не оправдались; вся ее ловкость сделала торжество добродетели лишь более блистательным и для обоих более тяжелым. Именно к этому вечеру и относится, в конце четвертой части «Юлии», восхищение, которое испытывал Сен-Пре перед силою воли своего друга.

Эдуард был добродетелен, но он был мужчина; он отличался прямотою человека чести и презирал фальшивое благоприличие, коим ее подменяют в свете, где весьма им дорожат. Проведя еще несколько вечеров близ маркизы все в том же восторженном упоении, он почувствовал, что опасность возрастает, что вот-вот он будет побежден, и предпочел погрешить против правил деликатности, нежели против добродетели. Он навестил Лауру.

Увидев его, она вся затрепетала. Он заметил, как она грустна, и вздумал ее развеселить. Ему казалось, что его попытки

увенчаются успехом без особых с его стороны усилий. Но добиться этого оказалось не так легко. Ласки его были встречены весьма холодно, все его предложения были отвергнуты, да еще с таким видом, какого нельзя ожидать, когда за притворным отказом скрывается согласие.

Столь удивительный прием не отпугнул Эдуарда. Ужели он должен, словно юнец, почтительно обращаться с девицей такого пошиба? И он решил без стеснения воспользоваться своими правами. Несмотря на слезы, вопли, сопротивление, Лаура очутилась в его власти, но, почувствовав себя побежденной, она отчаянным усилием вырвалась и, отбежав в другой конец комнаты, крикнула дрожащим голосом:

— Убейте, если хотите, но живой я вам не дамся. Никогда!

И жест ее, и взгляд, и тон не оставляли в том никакого сомнения. Эдуард был удивлен до крайности, и это подействовало на него отрезвляюще; он взял Лауру за руку, усадил ее рядом с собою и молча смотрел на нее, холодно ожидая развязки комедии.

Лаура не промолвила ни слова, она сидела, потупив глаза, дышала неровно, сердце ее колотилось, и все в ней изобличало необычайное волнение. Наконец Эдуард, нарушив молчание, спросил, что значит сия странная сцена.

— Разве вы не Лауретта Пизанская? — добавил он.— Может быть, я ошибся?

— Увы, не ошиблись! — воскликнула она дрожащим голосом.

— Вот как! — сказал он с насмешливой улыбкой.— Уж не переменили ли вы свое ремесло?

— Нет,— ответила Лаура.— Я все та же. Из моего положения вырваться невозможно.

Слова эти и выражение, с коим Лаура произнесла их, были столь необычны, что Эдуард подумал, не сошла ли она с ума. Однако он продолжал:

— Так почему же, прелестная Лаура, вы делаете для меня исключение? Скажите, чем я навлек на себя вашу ненависть?

— Ненависть? — воскликнула она с живейшим волнением.— Я ничуть не любила тех, кого принимала, я могу вытерпеть любого, но только не вас!

— Да почему же? Лаура, скажите яснее, я вас не совсем понимаю.

— Ах, да разве я сама себя понимаю? Знаю только, что вы никогда меня не коснетесь... Нет,— повторила она с горячностью,— никогда вы не коснетесь меня! В ваших объятиях меня

терзала бы мысль, что вы видите во мне продажную девку, и я бы умерла от бешенства.

Она воодушевилась, говоря это; Эдуард заметил в ее глазах выражение скорби, отчаяния, и это его тронуло. Обращение его стало менее презрительным, тон более учтивым, сердечным. Она отворачивалась от него, избегала его взглядов. Он ласково взял ее за руку. Почувствовав это прикосновение, Лаура подняла к своим губам его руку, прильнула к ней поцелуем и, разрыдавшись, зашлась слезами.

Этот язык, довольно ясный, все же не был точным. Лишь с трудом Эдуарду удалось добиться откровенного изъяснения чувств. Вместе с любовью вернулось целомудрие, и никогда Лаура, расточая ласки, не ведала такого стыда, какой испытывала теперь, признаваясь в любви.

Едва зародившись, любовь вспыхнула с великой силой. Лаура обладала натурой живой и чувствительной, была достаточно хороша, чтобы внушить страсть, достаточно нежна, чтобы ее разделить; но еще в ранней юности она была продана недостойными родителями, и прелесть ее, запятнанная развратом, потеряла свое очарование. Среди постыдных утех любовь бежала от нее: разве распутники могли чувствовать или внушать любовь? Воспламеняющиеся вещества не возгораются сами собой, но достаточно одной искры — и вспыхнет пламя. Сердце Лауры зажглось огнем при виде восторгов Эдуарда и маркизы. Неведомый ей прежде язык любви вызвал в ее душе дивный трепет; она прислушивалась внимательно, смотрела жадным взглядом, и от нее ничто не ускользало. Сверкающий взор счастливого любовника проник до самой глубины ее сердца; кровь горячей побежала по ее жилам; переливы голоса Эдуарда волновали ее, все его жесты, казалось ей, выражали нежное чувство; страсть, оживлявшая его черты, захватила ее. Впервые возник перед нею образ любви, и она полюбила того, кто был проникнут столь глубоким чувством. Если б он ничего не питал к другой, быть может, и Лаура осталась бы к нему равнодушной.

Смятение чувств не стихало. Волнения зарождающейся любви всегда нам сладостны. Первым стремлением Лауры было предаться столь новому для нее очарованию, а вторым — открыть глаза на самое себя. Тогда она постигла свое положение и пришла в ужас. Все, что питает надежды и желания влюбленных, бушевало в исполненной отчаяния душе. Отдаться возлюбленному полагала она невозможным, видя в том свидетельство гнусного, подлого ремесла продажной твари, ласками которой тешатся, но презирают ее; услады счастливой любви были бы

осквернены развратом. Итак, она стала мученицей своей страсти. Чем легче было утолить желание, тем ужаснее представала перед нею ее судьба; женщина без чести, без надежды, без опоры в жизни познала любовь лишь затем, чтобы тосковать о восторгах любви. Так начались ее долгие страдания и кончилось мимолетное счастье.

Зародившаяся страсть унижала Лауру в собственных глазах, но возвышала в глазах Эдуарда. Увидев, что она способна любить, он уже не презирал ее. Но какого утешения могла она ждать от него? Какое чувство мог он ей выказать, кроме неглубокого сострадания, кроме жалости, каковую благородное сердце, поглощенное другим чувством, может питать к несчастному созданию, сохранившему лишь крупицу чести, достаточную, однако, для того, чтобы терзаться сознанием своего позора?

Эдуард утешал Лауру, как мог, и обещал прийти еще раз. Ни слова не сказал он о ее ремесле, не стал даже уговаривать бросить сие занятие. Зачем было усугублять ее отвращение к самой себе, раз оно и без того переполняло ее безысходным отчаянием? Не стоило касаться сего предмета: всякое неосторожное слово как бы создавало близость меж ними, а близость была невозможна. Величайшая беда позорного ремесла — то, что, бросив его, человек ничего не выигрывает.

После второго посещения Эдуард, не позабыв обычной английской щедрости, послал ей шкафчик китайского лака и несколько драгоценностей, вывезенных из Англии. Лаура все отослала обратно со следующей запиской:

«Я потеряла право отказываться от подарков; все же дерзаю возвратить вам ваши дары,— ведь, может быть, вы не имели намерения унизить меня. Если снова пошлете, мне придется принять... Но как жестока ваша щедрость!»

Эдуарда поразила эта записка, он усматривал в ней и смирение и гордость. Даже в презренном своем состоянии Лаура сохраняла некоторое человеческое достоинство. Самоуничижением она почти стерла свой позор. Эдуард уже не испытывал презрения к ней, он начинал ее уважать. Он продолжал навещать Лауру, не говоря с ней ни слова о подарке, и хотя не мог гордиться ее любовью к нему, невольно ей радовался.

Он не скрывал от маркизы своих посещений,— у него не было причин их скрывать, к тому же она могла бы счесть это неблагодарностью. Ей хотелось все узнать подробно. Он поклялся, что не прикоснулся к Лауре.

Его сдержанность произвела впечатление совсем для него неожиданное. «Как! — воскликнула маркиза в ярости.— Вы

ездите к ней и с ней не сблизились? Зачем же вы у нее бываете?»

И тогда в ней забушевала адская ревность, не раз побуждавшая ее посягать на жизнь Эдуарда и на жизнь Лауры и терзавшая ее бешеной злобой до самой смерти.

Были и другие обстоятельства, кои распалили ее неистовую страсть и раскрыли истинную натуру этой женщины. Я уже упоминал, что Эдуард, при всей своей неподкупной честности, не отличался большой деликатностью. Он преподнес маркизе те самые подарки, кои возвратила ему Лаура. Маркиза приняла подношение — не из алчности, а потому, что при их близости они нередко обменивались подарками,— правда, маркиза при этом не бывала в убытке. К несчастью, она узнала о первоначальном назначении сих даров и о том, как они к ней попали. Нечего и говорить, что с ней стало: тотчас же все было сломано, разбито и выброшено за окно. Судите сами, что должна чувствовать в подобных случаях ревнивая любовница, и к тому же знатная дама.

А Лаура чем больше сознавала, как позорно ее положение, тем менее пыталась избавиться от него; в отчаянии махнула она на все рукой и презрение к себе самой перенесла и на своих совратителей. В ней не было гордости,— какое право имела она гордиться? Глубокая тоска, невыносимое отчаяние, постоянная мысль, что она так замарала себя и не может бежать от своего срама, возмущение сердца, еще сохранившего крупицу чести и чувствовавшего себя навеки опозоренным,— все это терзало ее душу и внушало отвращение к утехам, оскверненным продажной любовью. Даже в низкой душе распутников шевелилось невольное чувство уважения к их жертве, заставлявшее их забывать обычный свой тон, и странное смятение отравляло им все удовольствие: растроганные жребием Лауры, они, уходя от нее, плакали над ее участью и краснели от стыда за себя.

Тоска снедала ее. Эдуард, постепенно проникавшийся дружеской приязнью к ней, видел, что она совсем пала духом, что скорее уж следует подбодрить ее, нежели окончательно добивать. Он навещал ее, этого было достаточно, чтобы ее утешить. Беседы с ним были целительны, они поднимали в ней дух; речи Эдуарда, всегда возвышенные и глубокие, возрождали в ее уязвленной душе утраченную силу. Чего не сделают слова, кои исходят из любимых уст и проникают в благородное сердце, обреченное судьбой позорной участи, но от природы созданное для чистой жизни! В сердце Лауры слова Эдуарда пали на добрую почву, и уроки добродетели принесли плоды.

Своими благодетельными заботами он в конце концов внушил Лауре более высокое мнение о себе самой. «Пусть люди навеки отмечают клеймом бесчестья растленное сердце, но я чувствую в себе силы стереть свой позор,— говорила она себе.— Пусть меня по-прежнему презирают,— презрение отныне будет незаслуженным, и сама я уже не буду себя презирать. А когда спасусь от ужасов порока, менее горьким станет для меня и людское презрение. Что для меня приговор всего света, если Эдуард будет уважать меня? Пусть взглянет он на дело рук своих и одобрит свое творение — вот что будет мне за все наградой. Если чести мне от того не прибавится, зато прибудет силы в любви. Да, да,— я дам сердцу, горящему любовью, более чистое обиталище. Дивное чувство любви! Никогда не оскверню я твоих восторгов. Мне не суждено изведать счастье. Увы! Я недостойна ласк моего любимого. Но никогда я не потерплю ничьих других ласк»».

Состояние Лауры было чересчур тяжким, терпеть его дальше было невозможно; но когда она попыталась избавиться от него, ей встретились непредвиденные помехи. Она убедилась, что, отказавшись от права располагать собою, женщина не может вновь обрести это право по своей воле, что женщина, потерявшая честь, беспомощна пред лицом гражданских законов. Чтобы избавиться от преследований, Лаура нашла лишь один выход: внезапно бежать в монастырь, оставив свой дом почти что на разграбление,— ведь она жила в роскоши, как живут в Италии подобные ей создания, когда молодость и красота придают им цену. Она ничего не сказала Бомстону о своих замыслах, почитая низостью говорить о них до их осуществления. Укрывшись в своем убежище, она сообщила о сем милорду в записке и попросила у него защиты от могущественных особ, которые находили для себя приятность в ее распутстве и будут недовольны ее бегством. Эдуард примчался в ее дом вовремя,— он спас ее имущество. Будучи чужестранцем в Риме, он все же являлся человеком знатным, уважаемым, богатым и, настойчиво защищая дело чести, вскоре добился того, что Лауру оставили в монастыре и даже дозволили ей пользоваться пенсией, назначенной ей по завещанию тем кардиналом, коему она в юности была продана родителями.

Эдуард навестил Лауру. Она была красива и любила его, она раскаивалась в прошлом и была обязана Эдуарду всем, чем могла стать в будущем. Сколько оснований затронуть сердце такого человека, как он! Эдуард пришел к ней, исполненный всех чувств, какие могут оказать благое воздействие на вне-

чатлительные души и привести их на путь добра: не хватало у него лишь одного чувства,— как раз того, которое могло сделать Лауру счастливой,— в этом он не был волен; но даже и такое его отношение превосходило все ее мечты. Она полна была восторга и уже горела той лихорадкой, от коей редко исцеляются. Она говорила себе: «Я честная женщина; добродетельный человек принимает во мне участие. О любовь, мне более не жаль ни слез, ни вздохов, коих ты мне стоишь, ты меня уже за все вознаградила! Ты моя сила, ты мне награда, ты научила меня чтить требования долга, и ты сама — мой первый долг. Сколько счастья уготовано мне одной! Любовь возвышает меня, любовь возвращает мне честь, любовь исторгла меня из бездны преступлений и позора; любовь может угаснуть в моем сердце лишь вместе с добродетелью. Ах, Эдуард! Тогда лишь разлюблю тебя, когда вновь стану достойной презрения».

Бегство Лауры в монастырь наделало много шума. Низкие души, кои всех меряют на свой аршин, не могли поверить, что Эдуард защищает ее лишь из сострадания и благородства. Лаура была весьма привлекательна, а посему заботы, расточаемые ей мужчиной, казались им подозрительны. Маркиза, имевшая своих шпионов, первая узнала обо всем; горячность, которой она не могла сдержать, окончательно разоблачила ее связь с Эдуардом. Слухи о сем дошли наконец до ее мужа, находившегося в Вене, и на следующую зиму он приехал в Рим, желая ударом шпаги восстановить свою честь, которая от сего, однако ж, ничего не выиграла.

Так начался этот двойной роман. В такой стране, как Италия, он, естественно, подвергал Эдуарда множеству всяких опасностей — то со стороны мужа, военного человека; то со стороны ревнивой и мстительной женщины; то со стороны поклонников Лауры, приходивших в бешенство из-за того, что они лишились ее. Странный роман, какого, пожалуй, и не встретишь более, и, однако ж, из-за него Эдуард бесцельно шел навстречу опасностям, метался меж двух страстно влюбленных в него женщин, не обладая ни одной из них: отвергнутый куртизанкой, которую не любил, он отвергал знатную даму, хотя ее обожал. Конечно, Эдуард остался добродетельным; но, полагая, что идет путем благоразумия, повиновался лишь своим страстям.

Трудно сказать, что влекло друг к другу столь противоположные натуры, как Эдуард и маркиза, но, невзирая на разницу в нравственных правилах, они не могли совсем расстаться. И можно представить себе отчаяние этой пылкой женщины, когда она решила, что сама, по безрассудному своему велико-

душию, нашла себе соперницу, да еще какую соперницу! Упреки, презрение, оскорбления, угрозы, нежные ласки — ко всему она поочередно прибегала, лишь бы оторвать Эдуарда от недостойной дружбы, и никак не могла поверить, что сердце Эдуарда тут не затронуто. Он оставался непоколебимо твердым, он дал себе в этом слово. Вся надежда Лауры, все ее счастье заключалось лишь в одном: изредка видеть Эдуарда. Рождавшаяся в ней добродетель нуждалась в опоре; Лауру влекло к тому, кто пробудил в ней добрые чувства, а он считал своим долгом поддержать ее,— вот что он говорил маркизе и самому себе, но, может быть, говорил не все. Где найдется столь суровый человек, что он готов бежать от взоров прелестной женщины, жаждущей лишь позволения любить его? Где найдется благородный человек, чье сердце хоть немного не растрогают слезы прекрасных глаз? Где найдется человек, чье самолюбие не тешит мысль о добром деле, которое он совершил, и кто не хотел бы насладиться его плодами? Эдуард, благодаря коему Лаура стала достойной уважения, уже не мог только уважать ее.

Не будучи в силах добиться, чтобы он больше не виделся с этой несчастной, маркиза пришла в ярость. У нее недоставало мужества порвать с Эдуардом, но он внушал ей теперь некий ужас. Она вздрагивала при виде его кареты, подъезжавшей к крыльцу; она трепетала от страха, слыша его шаги, когда он поднимался по лестнице. Она почти лишалась чувств при взгляде на него. Она едва дышала, пока он находился близ нее; на прощанье она осыпала его упреками; расставшись, плакала от бешеной злобы; на уме у нее была только месть; кровожадная ненависть этой женщины подсказывала ей замыслы, достойные ее. Несколько раз маркиза подсылала убийц, и на Эдуарда нападали, когда он выходил из монастыря, где укрывалась Лаура; маркиза устраивала ловушки и самой Лауре, желая выманить ее за монастырские стены и похитить. Все это не могло исцелить Эдуарда. На следующий день он возвращался к той, которая накануне пыталась его убить; не отказываясь от своего несбыточного намерения вернуть ей разум, он сам едва не лишился разума и, полагая, что служит добродетели, лишь поддавался своей слабости.

Через несколько месяцев муж маркизы, у кого плохо залечили рану, умер в Германии; быть может, его свело в могилу горе и дурное поведение жены. Это событие, казалось, должно было сблизить Эдуарда и маркизу, однако оно еще более отдалило их друг от друга. Эдуард нашел, что вдова слишком спешит воспользоваться полученной свободой, и с дрожью отвращения от-

вергал ее ласки. Одна уж мысль, что рана, полученная маркизом, быть может, способствовала его смерти, леденила его сердце и гасила в нем желание. Он думал: «Права супруга умирают вместе с ним, но для его убийцы они должны оставаться нерушимыми. Если бы даже человечность, добродетель и законы ничего тут не предписывали, то разве разум не говорит нам, что наслаждения, связанные с продолжением рода человеческого, не должны покупаться ценою крови? Иначе средства, предназначенные природой для зарождения жизни, были бы источником смерти и вели бы к гибели рода человеческого, а не к сохранению его».

Так прошло несколько лет; Эдуард все не принимал решения и метался от одной возлюбленной к другой, зачастую испытывая желание порвать с обеими, и все не мог расстаться ни с Лаурой, ни с маркизой; рассудок, приводя ему сотни доводов, гнал его прочь от них, а чувства тысячью голосов звали его обратно; тщетны были его усилия разорвать сети — с каждым днем он все сильнее запутывался в них, то уступая сердечной склонности, то покоряясь долгу; бежал в Лондон, оттуда мчался в Рим, из Рима снова устремлялся в Лондон и нигде не мог обосноваться; натура пылкая, живая, страстная, никогда не был он слабым или развращенным существом, силу свою он черпал в высокой и прекрасной душе, хотя и полагал, что обязан ею разуму; каждый день возникали у него безумные замыслы, но всякий раз, опомнившись, он отбрасывал их и жаждал разбить оковы недостойной страсти. Во время одного из первых приступов отвращения к маркизе он чуть было не отдал свою привязанность Юлии д'Этанж, и весьма вероятно, что так бы оно и случилось, не окажись ее сердце занятым.

Однако же маркиза все больше теряла в его глазах из-за своих пороков, а Лаура все больше привлекала его своими добродетелями. Постоянством две эти женщины были равны друг другу, но заслуга их в том была неодинакова. К тому же маркиза, огрубев, нравственно опустившись, дойдя до преступления и устав от безнадежной любви, прибегла к утешениям, коих Лаура себе не дозволяла. При каждом своем путешествии в Рим милорд Бомстон находил в Лауре все новые совершенства: она научилась говорить по-английски, она знала наизусть все, что Эдуард ей советовал читать, она искала просвещения во всех областях, занимавших его; она стремилась претворить свою душу по его образу и подобию, и то, что оставалось в ней от прежней Лауры, не претило ему. И, надо сказать, она еще была в том возрасте, когда красота с каждым годом возрастает, а маркиза уже вступила в ту пору, когда женская краса клонится

к упадку; и хотя она настраивала свои чувства на такой лад, который пленяет и трогает, и так мило говорила о человечности, верности, о добродетели,— такие слова при ее поведении казались смешными, дурная слава, ходившая о ней, противоречила этим прекрасным речам. Эдуард слишком хорошо ее знал и уже не питал никакой надежды, что она исправится. Он все больше отдалялся от маркизы, но не мог порвать с нею,— не скоро еще он стал к ней равнодушен: сердце вновь и вновь влекло его к маркизе, ноги сами собой приводили его к ней. Чувствительный человек, что бы ни делал, никогда не забывает прежнюю близость. Козни, коварство, черные преступления маркизы внушили ему наконец презрение, но, и презирая эту женщину, он все еще жалел ее и никогда не мог забыть ни жертв, принесенных ею ради него, ни прежнего своего чувства.

Итак, оказавшись в плену сердечных склонностей, а еще более того — в плену привычки, Эдуард не в силах был разорвать узы, привязывавшие его к Риму. Мечта о радостях счастливого супружества вызывала у него желание изведать их, пока не пришла старость. Иной раз он обвинял себя в несправедливости, в неблагодарности и причиною всех дурных черт маркизы считал ее страсть к нему; иногда он забывал, кем прежде была Лаура, и сердце его, без всяких рассуждений, преодолевало преграду, стоявшую меж ними. Впрочем, он стремился и разумом оправдать свою склонность к Лауре; задуманное же путешествие послужило ему поводом для того, чтобы подвергнуть испытанию своего друга, причем он и не подумал, что и самого себя подвергает испытанию, коего без своего друга не выдержал бы.

Успех его замысла и развязка событий, к сему относящихся, подробно описаны в XII письме пятой части и в III письме шестой части, так что все становится ясным, несмотря на скупые сведения, разбросанные в предшествующих письмах. Эдуард, любимый двумя возлюбленными и не обладавший ни той, ни другой, как будто оказался в смешном положении, но добродетель принесла ему радости более сладостные, нежели обладание красавицами, и к тому же радости неисчерпаемые. Отвергая любовные утехи, он был более счастлив, чем какой-нибудь сластолюбец, жадно вкушающий их. Он любил дольше, оставаясь свободным, и лучше наслаждался жизнью, нежели тот, кто прожигает свою жизнь. Ах, слепцы мы, слепцы! Все гонимся за химерами. Уже ли мы так никогда и не узнаем, что из всех безумств человеческих счастье приносят лишь безумства благородной души?

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К «НОВОЙ ЭЛОИЗЕ»

N.— Вот ваша рукопись. Я прочитал ее всю.

R.— Всю? Понимаю: вы полагаете, что мало кто последует вашему примеру.

N.— Vel duo, vel nemo [1].

R.— Turpe et miserabile? [2] Но прошу вас высказаться.

N.— Не смею.

R.— Вы уже посмели — одним этим словом. Скажите подробнее.

N.— Суждение зависит от ответа, который вы дадите мне. Скажите, это настоящая или вымышленная переписка?

R.— Не вижу связи. Для того чтобы сказать, хороша или плоха книга, разве важно знать, как она возникла?

N.— Очень важно — касательно этой книги. Схожий портрет всегда ценен, какой бы странной ни была натура. Но в картине, созданной воображением, каждый человеческий образ должен иметь черты, свойственные человеческой природе, а иначе картина ничего не стоит. Предположим даже, что и портрет и картина хороши,— останется та разница, что портрет заинтересует немногих, а публике может понравиться только картина.

R.— Понимаю теперь. Если эти письма — портрет, они никого не заинтересуют, если же это — картина, она плохо подражает действительности. Верно я понял?

N.— Совершенно верно.

R.— Итак, я вырвал у вас ответ прежде, чем вы ответили. А что до заданного вами вопроса, не могу удовлетворить ваше любопытство, придется вам пока обойтись без моего ответа и сначала ответить мне. Предположите самое худшее: моя Юлия...

N.— О! Если б она действительно существовала!

---

[1] Либо двое, либо никто *(лат.)*.

[2] Глупо и ничтожно *(лат.)*.

R.— Ну и что же?

N.— Но ведь это, конечно, вымысел.

R.— Допустим.

N.— В таком случае трудно представить себе что-либо скучнее: письма — не письма, роман — не роман,— все действующие лица из какого-то другого мира.

R.— Очень огорчен за наш мир.

N.— Утешьтесь. Сумасшедших в нем достаточно, но ваши безумцы неестественны.

R.— Я мог бы... Нет, нет! Вижу, что любопытство завело вас в сторону. Но почему вы так решили? Разве вы не знаете, насколько люди отличны друг от друга, насколько противоположны их характеры? Насколько нравы и предрассудки меняются в зависимости от времени, места и возраста? Кто же дерзнет установить точные границы естественности и скажет: вот до сего предела человек может дойти, а дальше нет?

N.— При таком прекрасном рассуждении неслыханных уродов, великанов, пигмеев, всякого рода чудищ — решительно все можно почитать естественным и возможным в природе. Тогда все было бы искажено, у нас больше не стало бы общего для всех образца. Повторяю — в картинах, изображающих человечество, каждый должен узнавать человека.

R.— Согласен, лишь бы умели различать то, что составляет разновидность от основного, существенного для всего рода человеческого. Что вы скажете о тех, кто распознавал бы людей только в том случае, если они одеты во французские кафтаны?

N.— А что сказали бы вы о тех, кто не изображал бы ни черт лица, ни стана да еще вздумал бы закутывать человеческую фигуру в покрывало? Разве вы не имели бы право спросить его: «Где же человек?»

R.— Ни черт лица, ни стана? Разве это справедливо? В моем сборнике нет никаких совершенных людей,— вот и весь сказ. Девушка, погрешившая против добродетели, которую чтит, и вновь обращающаяся к долгу, так как устрашилась более тяжкого проступка; слишком уступчивая подруга, наказанная наконец в своем собственном сердце за чрезмерную снисходительность; благородный, чувствительный, красноречивый, но слабохарактерный молодой человек; упрямый старик аристократ, кичащийся своей знатностью, готовый всем пожертвовать мнению общества; великодушный и отважный англичанин, всегда страстный, при всем своем благоразумии, всегда рассуждающий безрассудно...

N.— Благодушный и гостеприимный муж, любезно предоставляющий приют у себя в доме бывшему любовнику своей жены...

R.— Отсылаю вас к подписи под гравюрой [1].

---

[1] Смотри седьмую гравюру.— *Ред.*

N.— «Доверие прекрасных душ»! Отлично сказано.

R.— О философия! Как ты стараешься очерствить сердца и умалить людей!

N.— А прихотливое воображение их возвышает и обманывает. Но возвратимся к предмету нашей беседы. Две подруги? Что вы о них скажете? А этот внезапный душевный переворот в храме? Благодать, конечно, да?..

R.— Сударь!..

N.— И дальше — христианка, благочестивая женщина, не желает обучать своих детей катехизису, а умирая, не хочет помолиться богу. И вдруг оказывается, что ее смерть наставляет в вере пастора и обращает к богу атеиста!.. О-о!

R.— Сударь!

N.— Что до занимательности, то она во всем одинакова — ее совсем нет. Ни одного дурного поступка, ни одного испорченного человека, который вызвал бы у читателя страх за добродетельных героев; все события до того обыденные, до того простые, что, право, тошно; ничего неожиданного, никаких театральных эффектов. Все предусмотрено, и все происходит, как предусмотрено. Стоит ли труда подробно описывать то, что каждый может ежедневно видеть у себя дома или у соседей?

R.— Стало быть, вам нужны заурядные люди и необыкновенные события? А по-моему, лучше наоборот. Впрочем, вы судите так потому, что прочли эти письма как роман. А это вовсе не роман, как вы сами сказали. Это собрание писем...

N.— ...которые вовсе не письма, как я уже сказал?.. Какой же это эпистолярный стиль! Все так напыщенно! Сплошь восклицания! Все так вычурно! Высокопарно высказываются самые обыкновенные мысли! Громкие слова для убогих рассуждений; редко встретишь здравый смысл и верные суждения; нигде нет ни тонкости, ни силы, ни глубины. Парение в облаках и удивительно ползучие мысли. Если ваши действующие лица взяты с натуры, признайтесь, что в их стиле мало натурального.

R.— Конечно, с вашей точки зрения так и должно казаться.

N.— А вы полагаете, что публика посмотрит иначе? Зачем же вы тогда спрашиваете мое мнение?

R.— Я вам возражал для того, чтобы вы подробнее высказались. Я вижу, вам хотелось бы читать такие письма, которые и предназначены были для печати.

N.— Желание законное, раз вы их собираетесь напечатать.

R.— Стало быть, в книгах мы всегда будем видеть только таких людей, какими они желают казаться?

N.— Автора мы будем видеть таким, каким он желает себя показать, а тех, кого он описывает,— такими, каковы они в действительности. Но этого достоинства здесь тоже нет. Ни одного четко написанного портрета,

ни одного яркого характера, ни одного основательного замечания, никакого знания света. Чему мы научимся в маленьком мирке, состоящем из двух-трех влюбленных или друзей, неизменно занятых только самими собою?

R.— Мы научимся любить человечество. В многолюдном обществе можно научиться лишь ненавидеть людей. Ваше суждение сурово, а публика будет судить еще строже... Не обвиняя ее в несправедливости, я, в свою очередь, хочу вам сказать, как я смотрю на эти письма,— и не столько для того, чтобы извинить те недостатки, за которые вы их браните, как для того, чтобы найти источник этих недостатков.

В уединении человек привыкает видеть и чувствовать иначе, чем в общении с людьми; страсти там другие, а следовательно, и проявляются иначе, воображение всегда поражают одни и те же предметы, а потому они и воспринимаются живее. Небольшое число повторяющихся образов влияет на весь строй его мыслей, придавая им тот странный оборот и монотонность, какие заметны в речах одиноких людей. Следует ли отсюда, что их язык очень энергичен? Отнюдь нет,— он только необычен. Лишь вращаясь в обществе, научишься говорить бойко — прежде всего потому, что там каждый пытается говорить иначе и лучше, чем другие; и, кроме того, там поминутно приходится утверждать то, во что сам говорящий не верит, выражать чувства, которых у него совсем и нет, а поэтому всякий там стремится придать убедительный тон своим речам, за отсутствием внутренней убежденности. Ужели вы думаете, что у людей, действительно охваченных страстью, был бы такой живой, убедительный, цветистый слог, каким вы восхищаетесь в драмах и романах? Нет! В излияниях истинной страсти, переполняющей сердце, больше широты, чем красноречия,— она даже не старается убеждать, она и не подозревает, что можно в ней сомневаться. Когда влюбленный говорит о том, что чувствует, то не столько хочет изложить это другим, сколько облегчить себя. В больших городах любовь живописуют ярче,— следует ли из этого, что там любят сильнее, чем в малых деревушках?

N.— Стало быть, вялость языка доказывает силу чувства?

R.— Иной раз она, по крайней мере, доказывает искренность чувства. Прочитайте любовное письмо, сочиненное в кабинете каким-нибудь светским острословом, желающим блеснуть,— если у него хоть немножко найдется огня в голове, его слова, как говорится, прожгут бумагу; но дальше пожар не пойдет. Вы будете восхищены, и, может быть, даже взволнованы,— но волнение будет мимолетным и поверхностным, от него останутся у вас в памяти только слова. Наоборот, письмо, продиктованное любовью, письмо поистине страстного любовника окажется бессвязным, расплывчатым, будет грешить длиннотами, повторениями. Сердце, переполненное чувством, все твердит одно и то же и никак не может остановиться: чувства его — словно живой родник, непрестанно текущий

и неиссякающий. В таком письме не найдешь ничего выдающегося, ничего примечательного; не запомнишь ни слов, ни оборотов, ни красивых фраз; ничто в нем не вызывает восхищения, ничто не поражает. И все же оно умиляет, чувствуешь себя растроганным, сам не зная почему. Если не поражает тебя сила чувства, трогает его искренность,— вот уж где действительно сердце находит путь к сердцу. Но кто ничего не чувствует, кто лишь владеет пышным жаргоном страстей, тот не признает такого рода красот и презирает их.

N.— Продолжайте, я слушаю.

R.— Отлично. В письмах влюбленных мысли высказываются самые обычные, зато слог необычный,— да так оно и должно быть. Ведь любовь — самообман. Она создает себе, так сказать, другой мир, окружает себя предметами несуществующими, которым лишь она одна дает бытие; и так как она выражает все чувства образами, язык у нее всегда имеет фигуральный смысл. Но в ее фигуральности нет ни логики, ни последовательности, ее красноречие — в беспорядочности мыслей; и чем меньше тут рассуждают, тем больше доказывают. Энтузиазм — вот высшая ступень страсти. Достигнув предела, она видит предмет своей любви совершенным, она превращает его в кумир, возносит на небеса, и как набожность в состоянии восторга заимствует язык любви, так и восторженная любовь заимствует язык набожности. Она видит лишь райские кущи, ангелов, добродетели святых угодников, блаженство в небесной обители. В порыве восторга, видя вокруг такие возвышенные образы, разве будет она прибегать к избитым выражениям? Разве опустится до того, чтобы унизить свои чувства пошлыми словами? Разве не будет она стремиться к высокому слогу? Не придаст ли ему благородство, достоинство? Что вы там говорите о письмах, об эпистолярном стиле? Когда пишешь любимому созданию, об этом и думать не станешь! Тут не письма пишешь, а создаешь гимны!

N.— Сударь, разрешите пощупать ваш пульс!..

R.— Не надо. Не те годы. В одном возрасте приобретают опыт, в другом предаются воспоминаниям. Чувства в конце концов угасают, а душа остается чувствительной.

Возвращаюсь к письмам. Если вы их станете читать как произведения сочинителя, желающего понравиться или возомнившего себя большим писателем, они покажутся вам отвратительными. Но примите их такими, каковы они есть, и судите их, как подобает этому виду писаний. Два-три человека, молодые годами, простодушные, но чувствительные, ведут между собою беседу о том, что важно для их сердец. Они вовсе не собираются блистать. Они друг друга хорошо знают, их соединяет взаимная и столь глубокая любовь, что самолюбию здесь нет места. Они еще дети — разве они могут мыслить как взрослые? Они чужестранцы — разве могут они писать правильно? Они живут отшель-

никами — разве могут они знать свет и общество? Полные чувства, которое одно только их и занимает, они бредят, а думают, что способны философствовать. И вы хотите, чтобы они умели наблюдать, судить, размышлять? Ничего этого они не умеют. Они умеют только любить и все связывают с поглощающей их страстью. Своим безумным мыслям они придают важнейшее значение, но разве движения души менее занимательны, чем глубокомыслие, которым они вздумали бы щегольнуть? Они говорят обо всем и всегда обманываются, они знакомят нас лишь с ними самими, но, познакомившись с ними, мы тотчас начинаем их любить; их заблуждения нам милее, чем познания мудрецов; их благородные сердца вносят во все, даже в ошибки, предвзятые суждения добродетели, всегда доверчивой и всегда обманутой. Никто их не понимает, никто им не отвечает, все рассеивает их заблуждения. Они отказываются верить горьким истинам; нигде не находя отклика своим чувствам, они замыкаются в себе, отдаляясь от всего мира, и, соединившись, создают свой собственный мирок, отличный от нашего, являющий поистине новую картину.

N.— Согласен с вами, что молодой человек двадцати лет и восемнадцатилетние девицы при всей их образованности не должны рассуждать как философы, даже если им кажется, что они рассуждают именно так. Признаюсь также (эта черта от меня не ускользнула), что девицы стали в дальнейшем достойными женщинами, а в молодом человеке развилась наблюдательность. Я не могу поставить рядом начало и конец сочинения. Картины семейной жизни стирают ошибки юных лет: целомудренная супруга, разумная женщина, достойная мать семейства заставляет нас забыть о согрешившей любовнице. Но это тоже может служить предметом порицания: по сравнению с концом сборника начало его становится особенно предосудительным: право, это как будто две разные книги, которые не следует читать одному и тому же лицу. Если желают изобразить людей разумных, зачем показывать их прежде, чем они таковыми стали? Детские забавы, предшествующие урокам мудрости, отвлекают от ее назиданий: зло возмущает прежде, чем добро может наставить, и, наконец, читатель в негодовании отбросит книгу как раз в ту минуту, когда мог бы извлечь из нее пользу для себя.

R.— Я же думаю, что, наоборот, конец сборника был бы лишним для читателя, возмущенного началом, и что это самое начало должно быть увлекательным для тех, кому конец может принести пользу. Стало быть, тот, кто не захочет дочитать книгу до конца, ничего не потеряет, потому что книга ему не подходит; а тот, кому она принесет пользу, не стал бы ее читать, окажись начало более строгим. Чтобы сказанное тобою принесло пользу, надо сперва привлечь внимание тех, для кого слова твои предназначены.

Я изменил средства, но не цель. Когда я пытался говорить со взрослыми людьми, меня совсем не слушали: может быть, лучше будут меня слушать, ежели я стану говорить с детьми; а детям голые нравоучения нравятся не больше, чем неподслащенные лекарства.

Cosi all'egro fanciul porgiamo aspersi
Di soave licor gl'orli del vaso;
Succhi amari ingannato in tanto ci beve,
E dall'inganno suo vita riceve [1].

N.— Боюсь, как бы вы опять не ошиблись: они обсосут края чаши, а лекарства пить не станут.

R.— Ну, это уж случится не по моей вине: я сделаю все, что в моих силах, чтобы они проглотили лекарство.

Мои молодые герои очень милы, но, чтобы их полюбить тридцатилетними, надо их знать в двадцать лет. Надо прожить с ними долго, чтобы привязаться к ним; и лишь когда оплачешь их ошибки — оценишь их добродетели. Их письма заинтересуют не сразу, но постепенно они захватят вас, и тогда уже, без всяких восторгов, вы не сможете от них оторваться. Нет в них ни изящества, ни легкости, ни рассудительности, ни остроумия, ни красноречия; зато есть чувство; мало-помалу оно передается сердцу и под конец все заменяет. Эти письма — словно длинная песня, куплеты которой, взятые отдельно, не имеют в себе ничего трогательного, но череда их в конце концов оказывает свое действие. Вот что я испытываю, читая эти письма; скажите мне, чувствуете ли вы то же самое?

N.— Нет! Но мне понятно, что они вас так волнуют. Если вы их сами сочинили, объяснение просто. А если не сочинили, то и тут вас можно понять. Однако человек, вращающийся в обществе, не может привыкнуть к сумасбродным мыслям, к напыщенному пафосу, к постоянным нелепостям ваших милых героев. Человеку, живущему в уединении, такие письма могут прийтись по вкусу: вы сами разъяснили почему; но прежде чем обнародовать эту рукопись, вспомните, что публика состоит не из отшельников. В лучшем случае вашего Сен-Пре примут за Селадона, вашего Эдуарда — за современного Дон-Кихота, ваших болтушек кузин — за двух Астрей и станут смеяться над всеми этими персонажами, как над сумасшедшими. Но долгие безумства совсем не смешны: надо писать так, как Сервантес, чтобы заставить публику прочесть шесть томов фантастических видений.

---

[1] Так по краям вареньем смажут чашку
С лекарством горьким — и дадут ребенку.
И он глотнет, не чувствуя сомненья.
Такой обман — малютке во спасенье *(итал.)*.

R.— Причины, по которым вы, вероятно, уничтожили бы это произведение, как раз и побуждают меня опубликовать его.

N.— Как! Уверенность, что его никто читать не станет?

R.— Наберитесь терпения, выслушайте меня.

В смысле нравственном, по-моему, не может быть чтения, полезного для светских людей. Во-первых, по той причине, что множество новых книг, которые они пробегают и которые говорят — одни — «за», другие — «против», взаимно уничтожают свое воздействие на публику, напрочь его изглаживают. Книги избранные, которые публика перечитывает, опять-таки не оказывают на нее воздействия: если они поддерживают нравственные правила светского общества — они излишни, а если борются с этими правилами — они бесполезны. Ведь те, кто их читает, скованы с пороками общества неразрывными цепями. Ежели светский человек, отдавшись душевному порыву, захотел бы вступить на путь добродетели, ему со всех сторон оказали бы непреодолимое сопротивление, и он вынужден был бы сохранить прежние свои взгляды или возвратиться к ним. Я убежден, что мало найдется высокородных людей, которые хоть раз в жизни не делали бы такой попытки, но после тщетных усилий они разочаровываются и больше уже не повторяют ее, а на книжную мораль привыкают смотреть как на суесловие праздных людей. Чем дальше от деловой суеты, от больших городов, от многочисленных кружков, тем меньше препятствий. И есть предел, где препятствия уже перестают быть непреодолимыми, а тогда книги могут принести некоторую пользу. Когда люди живут в уединении, они не спешат проглотить книгу, чтобы похвастать своей начитанностью, читают меньше, зато больше размышляют над прочитанным; и так как высказанные в книгах мысли не встречают столь большого противодействия извне, они сильнее влияют на внутренний мир. Скука, этот бич как одиночества, так и большого общества, заставляет прибегать к занимательным книгам — единственному источнику развлечений для того, кто живет одиноко и не находит этого источника в самом себе. В провинции романов читают гораздо больше, чем в Париже, в деревне их читают больше, чем в городе, и они там производят больше впечатления,— вы видите, почему так и должно быть.

Но книги, которые могли бы служить и для развлечения, и для назидания, и для утешения сельского жителя — несчастного лишь потому, что он мнит себя несчастным,—как будто нарочно написаны для того, чтобы сделать ему ненавистным собственное положение, ибо они развивают и усиливают те предрассудки, из-за которых он это положение презирает.

Люди с изысканными манерами, светские модницы, вельможи, военные — вот герои ваших романов. Утонченные вкусы горожан, правила придворной жизни: стремление к роскоши, эпикурейская мораль — вот что они проповедуют, вот в чем дают наставления. Но сравне-

нию с яркими красками их мнимых добродетелей тускнеет блеск подлинных добродетелей: хитроумными требованиями этикета они подменяют требования подлинного долга; краснобайство там ставят выше благородных поступков, а простоту нравов почитают грубостью.

Какое влияние окажут подобные картины на дворянина, живущего в деревне, если он видит, что в них высмеивается бесхитростное радушие, с которым он принимает гостей, что там именуют грубой оргией веселую пирушку, на которую он приглашает весь кантон? Какое воздействие эти книги окажут на его жену, которая из них узнает, что заботы матери семейства ниже достоинства дамы столь высокого звания, как она; па его дочь, которая, обучившись там жеманным манерам и столичному жаргону, начнет презирать деревенские повадки честного малого, своего соседа, за которого она уже готова была выйти замуж? Все они единодушно не желают больше быть мужланами и, преисполнившись отвращения к деревне, бросают старый замок, который вскоре становится лачугой, и переезжают в столицу, где отец, хоть и носит крест святого Людовика, из важного барина, каким он был, становится лакеем или проходимцем; мать устраивает в своем доме настоящий игорный дом, дочь завлекает игроков; и нередко бывает, что все трое ведут самую мерзкую жизнь и умирают в нищете и бесчестии.

Сочинители, литераторы, философы непрестанно кричат, что исполнять долг гражданина и служить ближним можно лишь живя в больших городах; по их мнению, не любить Париж значит ненавидеть род человеческий; в их глазах деревенский люд — ничто: послушать их, право, подумаешь, будто люди только там, где пенсии, академии и званые обеды.

Мало-помалу все сословия вступают на тот же скользкий путь. Повести, романы, театральные пьесы — все мечут свои стрелы в провинциалов, все насмехаются над простотой сельских нравов, все восхваляют манеры и удовольствия большого света: стыдно, мол, не знать их; сущее несчастье — не вкусить столичных радостей. А знает ли кто-нибудь, сколько мошенников и гуляющих девок с каждым днем прибавляется в Париже, куда их влекут эти воображаемые удовольствия? Так-то вот предрассудки и молва усиливают действие политических установлений, и вследствие этого в каждой стране население скучивается в каких-нибудь пунктах территории, а вся остальная ее часть бывает заброшена и пустеет; так-то вот ради того, чтобы блистали столицы, хиреют нации и уменьшаются в численности; и из-за этого мишурного блеска, пленительного для глупцов, Европа быстрыми шагами идет к разорению. Для счастья людей очень важно остановить поток тлетворных идей. Проповедники привыкли кричать нам: «Будьте хорошими, будьте умниками!» — это их ремесло, они мало заботятся о воздействии своих речей; но гражданин, для которого это воздействие

важнее всего, не должен кричать по-дурацки: «Будьте хорошими», а внушить нам любовь к такому состоянию, которое побуждает нас действительно быть хорошими.

N.— Погодите минутку, передохните. Я уважаю полезные цели и так внимательно вслушивался в вашу назидательную речь, что, думается, смогу ее продолжить вместо вас.

Из ваших рассуждений явствует, что придать творениям сочинителей ту единственную полезность, которую они способны иметь, можно лишь одним способом: направить воображение авторов на цели, противоположные тем, какие они себе ныне ставят: удалять людей от искусственности, приводить их к природе, внушать им любовь к спокойной и простой жизни, излечить от модных прихотей, возвратить вкус к подлинным радостям; привить любовь к уединенному и мирному существованию, в коем они будут держаться на некотором расстоянии друг от друга; и, вместо того чтобы возбуждать в них жажду тесниться в городах, призывать их расселиться по всему краю, чтобы повсюду оживить его. Я понимаю, конечно, что вовсе не надо воспитывать толпы Дафнисов, Сильвандров, аркадских и лиьонских пастушков, высокородных поселян, собственноручно возделывающих свою ниву и философствующих по поводу природы, ни иных подобных им поэтических созданий, существующих лишь в книгах,— но необходимо показать зажиточным людям, что в сельской жизни и в земледелии есть свои радости, которых они не умеют ценить, что эти радости не так уж пелены, не так уж грубы, как они полагают, что там могут царить и вкус, и выбор, и тонкость; что почтенный человек, который пожелал бы удалиться со всем своим семейством в деревню и занять место своего арендатора, мог бы вести там жизнь столь же приятную, как и среди городских развлечений; что хозяйка, управляющая полевыми работами, может быть прелестной женщиной, пленяющей даже более трогательным очарованием, чем все щеголихи, вместе взятые; и, наконец, что нежнейшие чувства сердца могут более приятно оживлять общество, чем изощренный язык светских салонов, где наши язвительные и сатирические насмешки служат печальной заменой веселья, которого там уже не знают. Правильно я сказал?

R.— Совершенно правильно... Я добавлю лишь одно соображение. У нас все жалуются, что романы мутят головы, и я этому охотно верю. Читателям они постоянно рисуют мнимые прелести чужого положения и тем самым побуждают, презирая собственное, воображать себя в том положении, которое им так расхваливают. Желая быть не тем, кто он есть, человек может уверить себя, что он совсем иной, и вот так люди сходят с ума. Если бы романы рисовали читателям лишь картины окружающей жизни, говорили о выполнимых обязанностях, свойственных их обстоятельствам,— не сводили бы они с ума, а развивали бы благо-

разумие. Надо, чтобы произведения, написанные для людей, живущих уединенно, говорили их языком,— ведь книги только тогда могут наставлять, когда они нравятся и увлекают; и надо, чтобы они внушали людям удовлетворенность своим положением, показывая его приятные стороны. Они должны бороться против нравственных основ большого света, рисуя их такими, каковы они на деле, то есть ложными и достойными презрения. А посему светские модники обязательно освищут всякий хороший или хотя бы полезный роман, возненавидят его, будут кричать, что это книга пошлая, нелепая, смехотворная,— эти светские болтуны на свой лад весьма благоразумны.

N.— Такой вывод напрашивается сам собою. Лучше и нельзя предвидеть собственный провал и подготовиться с гордостью претерпеть неудачу. Остается, однако, по-моему, одно затруднение. Провинциалы, как известно, читают, лишь руководствуясь нашими отзывами: к ним доходит лишь то, что мы им посылаем. Книга, предназначенная для людей, живущих уединенно, сперва подвергается суду светских людей; если они ее отвергнут, остальные читать ее не будут. Что вы на это ответите?

R.— Ответить не трудно. Вы имеете в виду провинциальных умников, а я говорю о настоящих сельских жителях. У вас, людей, блистающих в столице, есть кое-какие предрассудки, от которых вас нужно исцелить: вы полагаете, что задаете тон всей Франции, однако ж три четверти Франции и не подозревает о вашем существовании. Книги, которые проваливаются в Париже, обогащают провинциальных издателей.

N.— Зачем же вы хотите их обогащать за счет столичных издателей?

R.— Нечего насмешничать! Я настаиваю на своем. Если писатель жаждет славы, надо, чтобы его читали в Париже; а если он хочет быть полезным, пусть домогается, чтобы его читали в провинции. Сколько порядочных людей проводят жизнь свою в далеких сельских местностях, возделывая наследственное достояние отцов, и не смотрят на себя как на изгнанников из-за скромного своего состояния. Липенные общества, они в долгие зимние вечера допоздна читают у камелька занимательные книги, какие им попадают под руку. В грубой своей простоте они не мнят себя ни знатоками литературы, ни острословами,— они читают от скуки, а не ради поучения,— книг назидательных и философских для них хоть бы и вовсе не было на свете. Напрасно и писать для этой публики такие книги,— они никогда до нее не дойдут. Но зато уж ваши романы не только не дают читателям ничего подобающего их положению, а делают его еще более для них горьким. Превращая их уединение в ужасную пустыню, эти романы, вслед за несколькими часами развлечения, на долгие месяцы поселяют в их душе недовольство жизнью и тщетные сожаления. Отчего же мы не осмелимся предположить, что по какой-либо счастливой случайности

эта книга, как и многие другие, гораздо хуже ее, попадет в руки обитателей сельских краев и что изображение радостей, возможных в их положении, сделает его более сносным? Мне приятно воображать, как супружеская пара, читая вместе этот сборник писем, почерпнет в нем новое мужество для того, чтобы сообща нести бремя своих трудов, быть может, новый взгляд на свои труды и стремление сделать их полезными. Неужели, увидев в этой книге картину семейного счастья, они не испытают желания подражать столь милому образцу? Неужели, умиляясь прелестями супружеского союза, даже лишенного прелести любви, они не почувствуют, что их собственный союз становится теснее и крепче? Расставшись с прочитанной книгой, они не будут удручены собственным положением и не возненавидят свои труды. Наоборот, все вокруг покажется им более приветливым, повседневные обязанности облагородятся в их глазах; они вновь обретут способность радоваться природе; истинные, естественные чувства возродятся в их сердцах, и, видя, что счастье им доступно, они научатся наслаждаться им. Они будут выполнять те же обязанности, но в ином расположении духа,— все, что они делали как крестьяне, они будут делать как истые патриархи.

N.— Пока что все объясняется превосходно. Мужья, жены, матери семейств... Ну, а девушки? О них вы что-нибудь скажете?

R.— Нет. Порядочная девица романов читать не станет. А уж если барышня, зная название этой книги, прочтет ее, то пусть не вздумает жаловаться, что ее развратили. Это будет ложью. Зло свершилось раньше. Девице уже нечего было терять.

N.— Чудесно! Авторы эротических сочинений, пожалуйте сюда, поучитесь. Вы все оправданы.

R.— Да,— если только их оправдает собственная совесть и цель их писаний.

N.— И вы тоже в таком положении?

R.— Мне гордость не позволяет ответить на такой вопрос, но вспомните, какое правило составила себе Юлия для суждения о книгах; если вы находите, что правило у нее хорошее, воспользуйтесь им для оценки этой книги.

У нас, видите ли, хотят, чтобы чтение романов приносило пользу молодому поколению. По-моему, нелепейший замысел. Это все равно что поджечь дом, чтобы посмотреть, как работают пожарные насосы. Согласно этой безумной идее, назидательные сочинения обращаются со своими проповедями не к тем, кто в них нуждается, но к молодым девицам [1], никто и не подумает о том, что молодые девицы не причастны к той распущенности, на которую сетуют сочинители романов. В общем, девицы ведут себя пристойно, даже когда сердца их развра-

---

[1] Это касается только современных английских романов.

щены. Они слушаются своих матерей в ожидании того времени, когда станут подражать им. Если жены будут выполнять свой долг, будьте уверены, что дочери никогда не нарушат своих обязанностей.

N.— Однако наблюдения говорят нам совсем иное. Право, кажется, что и женщинам тоже надо повольничать в ту или иную пору жизни. Дурная закваска рано или поздно обязательно забродит. У народов, имеющих нравственные правила, девушки бывают легкомысленны, зато замужние женщины строго блюдут себя, у народов же безнравственных — как раз наоборот. Следовательно, одни народы боятся проступка, а другие — только скандала, заботятся лишь о том, чтобы не было доказательств, а грех не ставят ни во что.

R.— А если судить по последствиям, этого не скажешь. Но будем справедливы к женщинам: причина их распущенности не столько в них самих, сколько в дурных установлениях.

С тех пор как естественные чувства, вложенные в человека природой, подавлены крайним неравенством, виною пороков и несчастья детей надо почитать несправедливый деспотизм отцов. Связанные брачными узами по принуждению — да еще с человеком неподходящим,— молодые женщины, жертвы родительской алчности или тщеславия, своим распутством, которым они даже гордятся, вознаграждают себя за возмутительный поступок в отношении их. Вы хотите исправить зло? Начните с его источника. Если еще можно попытаться достигнуть улучшения в нравах общества, надо начать с правил домашней жизни, а это зависит лишь от отцов и матерей. Однако не эту цель преследуют назидательные книги: ваши трусливые сочинители проповедуют тем, кого угнетают, и их мораль всегда будет бесполезной, ибо она не что иное, как угодничество перед более сильным.

N.— В вашей морали, разумеется, нет угодничества, она свободна, но не слишком ли? Достаточно ли того, что она обращается к источнику зла? Вы не боитесь, что она сама причиняет зло?

R.— Причиняет зло? Кому? Во времена эпидемий и заразы, когда все поражены болезнями с самого детства, разве можно запрещать продавать лекарства, полезные для больных, под тем предлогом, что они могут повредить людям здоровым? Сударь, в данном вопросе мы с вами расходимся во мнениях. Если бы я мог надеяться на некоторый успех этих писем, они, я глубоко убежден, принесли бы больше пользы, чем самая лучшая книга.

N.— Правда, у вас там есть замечательная проповедница. Вы, оказывается, примирились с женщинами,— очень рад, а то я досадовал, что вы им запрещаете читать нашему брату наставления [1].

R.— Вы очень находчивы, мне придется помолчать: я не такой

---

[1] См. «Письмо к д'Аламберу о зрелищах», стр. 81, 1-е изд.

безумец и не такой мудрец, чтобы всегда быть правым. Бросим эту кость критике, пусть погрызет.

N.— Бросим, по доброте душевной,— не то бедненькой критике, пожалуй, нечего будет ухватить. Но скажите, разве против всего остального никто не может ничего возразить? Как простить суровому цензору зрелищ весьма рискованные положения и страстные чувства, которыми полон этот сборник? Укажите мне хоть одну сцену в театральных пьесах, подобную тому, что происходит в рощах Кларана или в туалетной комнате? Перечитайте «Письмо о зрелищах» и перечитайте этот сборник. Будьте последовательны или откажитесь от своих взглядов... Что я, по-вашему, должен тут думать?

R.— По-моему, сударь, всякий критик сам должен быть последователен и, прежде чем судить, хорошенько разобраться. Перечитайте внимательнее «Письмо», упомянутое вами, перечитайте также предисловие к «Нарциссу», и вы там найдете ответ на упрек в непоследовательности, который вы мне бросили. Зубоскалы, заявляющие, что я непоследователен, ибо написал «Деревенского колдуна», несомненно, найдут здесь еще больше поводов для насмешек. Таково уж их ремесло. Но вы, сударь!..

N.— Я вам напомню два отрывка...[1] Вы мало уважаете своих современников.

R.— Сударь, я ведь сам их современник. О, зачем я не родился в том веке, когда мне надлежало бы предать огню этот сборник!

N.— Вы, по обыкновению своему, преувеличиваете. Но в известной мере ваши правила довольно верны. Например, если бы ваша Элоиза всегда была благоразумна, она была бы куда менее поучительна. Кому она тогда послужила бы образцом? Только в самые развращенные времена любят уроки чистейшей нравственности. Это избавляет от необходимости применять их на деле и позволяет способом очень легким — праздным чтением — удовлетворить остатки своего стремления к добродетели.

R.— Высокопарные сочинители, опустите ближе к земле ваши образцы, если хотите, чтобы им старались подражать. Для кого вы воспеваете незапятнанную чистоту? Лучше расскажите нам о том, как можно вновь обрести чистоту. Быть может, кто-нибудь станет вас тогда слушать.

N.— Ваш герой уже высказал такую мысль, но все равно: вам поставят в вину, что вы сперва показываете то, что делается, а затем то, что следовало бы делать. Да еще примите во внимание, что вдохновлять девушек на любовную страсть, а замужних женщин на строгую сдержанность значит ниспровергать установленный порядок и возвращаться к той мещанской морали, против которой ополчилась философия. Что ни говорите, а любовные приключения непристойны и зазорны для девушек; только в замужестве женщине разрешается завести любовника.

---

[1] «Предисловие к «Нарциссу», стр. 28 и 32, и «Письмо к д'Аламберу», стр. 223, 224.

Какая непростительная оплошность: быть снисходительным к девушкам, хотя им не дадут читать вашу книгу, и быть суровым в отношении женщин, хотя они-то и будут вашими судьями! Поверьте, если вы страшитесь успеха, то можете успокоиться: вы приняли все меры к тому, чтобы избежать подобного оскорбления. Но как бы то ни было, я сохраню вашу тайну. Будьте же опрометчивы лишь наполовину. Если вы полагаете, что издаете книгу полезную, в добрый час — издавайте. Но смотрите же, не признавайтесь в авторстве.

R.— Не признаваться? Разве честный человек скрывает свое имя, когда обращается к публике? Разве он осмелится напечатать произведение, которое не решается признать своим? Я издатель этой книги, и назову себя в ней издателем.

N.— Назовете свое имя? Вы?

R.— Да, я самый.

N.— Что? Так и поставите свое имя?

R.— Да, сударь.

N.— Настоящее свое имя? *Жан-Жак Руссо* — черным по белому?

R.— Жан-Жак Руссо, черным по белому.

N.— Нет, и не думайте! Что о вас скажут?

R.— Пусть говорят, что хотят. Я назову свое имя в начале сборника не затем, чтобы приписать его себе, а затем, что хочу нести за него ответственность. Если он причиняет какой-либо вред, пусть вину возлагают на меня; если он может принести пользу, я вовсе не собираюсь присваивать себе эту честь. Если найдут, что книга просто-напросто плоха, тем больше оснований, чтобы я поставил на ней свое имя. Я вовсе не хочу, чтобы меня считали лучше, чем я есть на самом деле.

N.— Вы серьезно это говорите?

R.— Да. В наше время никто не может быть хорошим.

N.— А прекрасные души? Вы о них позабыли?

R.— Природа создает их прекрасными, а ваши установления портят их.

N.— В заглавии любовного романа прочтут такие слова: «Издано Ж.-Ж. Руссо, гражданином Женевы».

R.— Гражданином Женевы? Нет, этого не прочтут. Я не оскверню имя своей родины, его я ставлю только на таких произведениях, которые, думается мне, могут принести ей честь.

N.— Да у вас и у самого почетное имя, так что и вы тоже можете кое-что потерять: вы напечатаете слабую и плоскую книгу, и она повредит вам. Мне хотелось отговорить вас от ее обнародования, но если уж вы твердо решили сделать такую глупость, я одобряю то, что вы намерены выступить смело и откровенно. Это, по крайней мере, в вашем характере. А кстати, вы поставите на этой книге свой девиз?

R.— Мой издатель уже сыграл со мною по этому поводу шутку, и я нашел ее столь удачной, что обещал ему публично похвалить его. Нет, сударь, я ни в коем случае не поставлю на этой книге своего девиза, но из-за этого не откажусь от него и меньше, чем когда-либо, пугаюсь того, что взял себе такой девиз. Напомню, что я собирался напечатать эти письма, когда писал против зрелищ, и желание оправдать одно из двух произведений отнюдь не заставило меня исказить истину в другом. Я заранее обвинил себя, и, быть может, сильнее, чем кто-либо другой может меня обвинить. Тот, кто истину предпочитает славе, может надеяться, что он предпочтет истину собственной своей жизни. Вам угодно, чтобы человек всегда был последовательным. Возможно ли это? Сомневаюсь. Но для человека возможно всегда быть правдивым,— вот таким я и пытаюсь быть.

N.— Так почему же вы уклоняетесь от ответа, когда я вас спрашиваю, не вы ли автор этих писем?

R.— Потому, что не хочу солгать.

N.— А вместе с тем отказываетесь сказать правду.

R.— Но ведь даже и тогда выражаешь почтение к правде, когда заявляешь, что не хочешь ее говорить. И вы меньше уважали бы человека, которому ничего не стоит солгать. Да и разве люди понимающие ошибутся? Разве они не угадают перо любого известного автора? Как вам не стыдно задавать вопрос, на который вы сами должны ответить?

N.— В отношении некоторых писем я бы ответил без запинки: «Они написаны вами». Но в других письмах я вас не узнаю. Сомневаюсь, чтобы можно было до такой степени довести подделку. Природа не боится, что ее могут не узнать, и зачастую изменяет свой вид; искусство же нередко выдает себя тем, что хочет быть более естественным, чем природа: вспомните, как в басне у некоего подражателя крик животного получился более естественным, чем у самого животного. Ведь в этих письмах множество неловкостей, которых последний бумагомарака мог бы избежать. Напыщенность, повторения, противоречия, постоянное пережевывание одного и того же. Найдется ли сочинитель, который решился бы писать так плохо, если он может написать гораздо лучше? Кто же оставил бы в своем романе то бесстыдное предложение, какое делает Юлии этот сумасшедший Эдуард? Кто не постарался бы исправить нелепый образ своего героя, больного ребенка, который все хочет умереть, оповещает об этом весь свет, а в конце концов всегда пребывает в добром здравии? Где же найдется писатель, который, взявшись за перо, не скажет себе: «Надо постараться ясно очертить характеры, непременно надо разнообразить язык героев»! Несомненно, при таких намерениях он даже превзошел бы самое природу.

Я замечал, что в очень интимных кружках у людей вырабатывается сходство и в речах и в характерах, что не только во всем становятся

они единомышленниками, но и чувствуют и говорят одинаково. Если Юлия действительно была такова, какою выступает в письмах, то она, право, настоящая волшебница, и все ее близкие должны были на нее походить — вокруг Юлии все должно носить ее отпечаток; у всех ее друзей, конечно, был одинаковый тон. Но такие вещи чувствуются, а представить их себе в воображении невозможно. Если б даже удалось их вообразить, тот, кто до этого додумается, не посмел бы применить подобные догадки в своих сочинениях. Ему нужны лишь те черты, которые поражают толпу, а простота, достигаемая тонкостью, ей не по вкусу. Но как раз здесь-то и лежит печать истины, именно тут внимательный взор ищет и находит природу.

R.— Прекрасно. Каковы же у вас выводы?

N.— У меня нет выводов. Я сомневаюсь — даже передать не могу, до чего меня мучило сомнение, когда я читал эти письма. Бесспорно вот что: если все это вымышлено, вы написали плохую книгу; но если эти женщины действительно существовали, я буду ежегодно перечитывать книгу до конца жизни своей.

R.— Ах, что за важность знать, существовали ли они? Напрасно искать их на земле. Их уже нет.

N.— Их уже нет? Значит, были?

R.— Нет, это условное умозаключение. Если они были, значит, их уже нет.

N.— Между нами будь сказано, эти тонкие уловки гораздо больше определяют, чем запутывают. Сознайтесь.

R.— Пусть они будут какими угодно, лишь бы не были коварными и лживыми.

N.— Право, как ни старайтесь, а вас и против вашей воли разгадают. Разве вы не видите, что уж один ваш эпиграф все раскрывает?

R.— Я полагаю, что касательно вопроса, занимающего вас, он ничего не раскрывает: кто же может знать, нашел ли я этот эпиграф в рукописи или сам его поставил? Кто может сказать, не мучает ли и меня такое же сомнение, какое беспокоит вас? Не притворяюсь ли я, не напустил ли нарочно таинственности — именно для того, чтобы скрыть от вас свое неведение в том, что вам так хочется узнать?

N.— Но хоть места-то эти вы знаете? Были вы когда-нибудь в Веве, в кантоне Во?

R.— Был несколько раз. И заявляю вам, что не слыхал там ни о бароне д'Этанже, ни о его дочери. Имени господина де Вольмара там тоже никто не знает. Я был в Кларане и не видел там никакого дома, похожего на тот, который изображается в письмах. Я был в Кларане проездом, возвращаясь из Италии, в тот самый год, когда произошло роковое событие, и, насколько мне известно, никто не оплакивал там Юлию де Вольмар или какую-либо другую женщину, похожую на нее.

И, наконец, припоминая природу края, я заметил в письмах или нарочитые изменения в описаниях местности, или ошибки,— то ли автор не знал ее как следует, то ли хотел обмануть читателя. Вот и все, что я вам скажу по этому поводу, и будьте уверены, что и другие не вырвут у меня того, что я отказываюсь вам сказать.

N.— Всех будет разбирать такое же любопытство, как и меня. Если вы напечатаете это произведение, скажите публике хоть то, что сказали мне. А еще лучше запишите наш с вами разговор и поместите вместо всякого предисловия,— в нем читатели найдут все необходимые разъяснения.

R.— Вы правы, получится куда лучше, чем если б я сам придумал. Однако ж такого рода защита никогда успеха не имеет.

N.— Не имеет, когда видно, что автор в них щадит себя; но я постарался, чтобы этого недостатка тут не оказалось. Только я посоветую вам переменить роли: будто бы я уговариваю вас опубликовать сборник, а вы на это не соглашаетесь. Вы выставляете возражения, а я отвечаю на них. Это покажется скромнее и произведет более приятное впечатление.

R.— А скажите, подобные приемы тоже в моем характере, за который вы меня только что хвалили?

N.— Нет. Я хотел поставить вам ловушку. Пусть все остается, как оно есть.

## СЮЖЕТЫ ГРАВЮР

В отношении большинства гравюр подробные указания даны не столько для того, чтобы они были воплощены в рисунке, сколько для того, чтобы сюжет стал художнику понятнее: ведь создать удачную иллюстрацию он может лишь в том случае, когда хорошо представляет себе изображаемое — и не только таким, каким оно ляжет на бумагу, но каким было в натуре. Карандаш не делает различия между блондинкой и брюнеткой, но воображение, которое руководит рисовальщиком, должно их различать. Резец плохо передает световые блики и тени, если гравер не видит в воображении цвета натуры. Точно так же, если желают изобразить фигуры в движении, надо ясно представлять себе, что предшествовало сему движению и что за ним следовало, представить движение во времени, иначе не уловишь, какое мгновение следует запечатлеть. Искусство художника в том и заключается, чтобы зритель увидел многое, чего нет на гравюре, а это зависит от умелого подбора переданных художником обстоятельств, которые зрителя наводят на мысль о других, не изображенных обстоятельствах.

Итак, думается нам, автору нечего бояться, что он, будучи полным невеждой в живописи, входит в излишние подробности, излагая сюжеты гравюр. Впрочем, вполне понятно, что все это написано не для публики; издавая гравюры отдельно, сочли необходимым добавить к ним и эти объяснения.

В гравюрах повторяются четверо-пятеро персонажей — других фигур там почти нет. Важно, чтобы они явно отличались друг от друга и наружностью и характером одежды, чтобы легко было каждого узнать.

1. Юлия — главный образ. Белокурые волосы, кроткие, нежные черты; сама скромность, само очарование. Природная прелесть, ни малейшего жеманства; в одежде — изящная простота, даже некоторая небрежность, которая, однако, ей идет больше, чем самый пышный наряд; мало украшений, всегда много вкуса; грудь прикрыта, но как то подобает скромной девице, а не как у хапжи.

2. Клара, или кузина. Задорная брюнетка; вид более лукавый, более энергичный, более веселый, чем у Юлии; одевается более нарядно и почти кокетливо, и все же в облике ее должны чувствоваться скромность и благонравие. Ни та, ни другая никогда пе носят фижм.

3. Сен-Пре, или друг. Молодой человек обыкновенной наружности,— ничего изысканного; лицо, однако, интересное и говорит о чувствительности. Одет очень просто; довольно застенчив и в обычном состоянии смущается, не знает, как себя держать, но в минуты страстного волнения весь кипит.

4. Барон д'Этанж, или отец. Появляется только один раз,— ниже будет сказано, каким он должен быть.

5. Милорд Эдуард, или англичанин. Облик величественный, что исходит больше от душевного склада, нежели от сознания своего высокого ранга; черты отмечены печатью мужества и добродетели, но вместе с тем некоторой резкостью и суровостью. Вид строгий и стоический, под которым Эдуард с трудом сдерживает чувствительность. Одет по английской моде; платье на нем подобающее знатному человеку, но не роскошное. Недурно было бы добавить ко всем этим штрихам еще и довольно воинственную осанку.

6. Господин де Вольмар, муж Юлии. Вид холодный и сдержанный. Ничего фальшивого или натянутого. Делает мало жестов, очень умен; взгляд довольно проницательный; изучает людей без всякой нарочитости.

Таковы должны быть характеристические черты действующих лиц. Перехожу к содержанию гравюр.

## Первая гравюра

*Часть I, письмо XIV*

Сцена происходит в роще. Подарив своему другу поцелуй cosi saporito [1], Юлия едва не лишилась чувств. Видно, что она в истоме клонится, падает в объятия своей кузины, а та спешит ее поддержать, что,

[1] Столь сладостный *(итал.)*.

однако, не мешает ей с улыбкой смотреть уголком глаза на своего друга. Сен-Пре протягивает к Юлии обе руки — одной он только что обнимал ее, другой хочет поддержать; шляпа его упала на землю. Вся его поза и выражение лица должны быть проникнуты чувством восхищения, живейшего восторга и вместе с тем — тревоги. Юлия млеет от блаженства, но она не в обмороке. Картина должна дышать страстным упоением и в то же время скромностью, от которой она становится еще более трогательной.

Подпись под первой гравюрой:

*Первый поцелуй любви.*

## Вторая гравюра

*Часть I, письмо LX*

Сцена происходит в весьма просто убранной комнате. На гравюре — пять действующих лиц. Милорд Эдуард без шпаги, с тростью в руке, становится на колени перед другом,— тот сидит у стола, на котором лежат его шпага и шляпа, а ближе к нему — книга. В смиренной позе англичанина не должно быть ни самоуничижения, ни робости,— напротив, на лице его можно прочесть гордость, чуждую надменности, и высокое мужество; он пришел не для того, чтобы своим смирением пристыдить Сен-Пре, и не потому, что боится его,— к благородному поступку его побуждают уважение к самому себе и чувство справедливости. Видя англичанина у ног своих, друг поражен, взволнован и в великой тревоге в смущении пытается его поднять. Трое свидетелей (все трое при шпагах) выражают, каждый по-своему, удивление и восхищение. Суть избранного сюжета в том, что человек, стоящий на коленях, внушает всем остальным глубокое уважение,— кажется, что они сами готовы стать перед ним на колени.

Подпись под второй гравюрой:

*Героизм добродетели.*

## Третья гравюра

*Часть II, письмо X*

Сцена происходит в номере гостиницы, в отворенную дверь видна другая комната. У камина, за столом, на котором горят две свечи, сидит милорд Эдуард в халате, перед ним лежат несколько распечатанных писем и один еще не распечатанный пакет. Уронив от удивления руку, в которой зажато письмо, Эдуард смотрит на вошедшего в комнату молодого человека в верхней одежде, в шляпе, надвинутой на глаза; в одной руке у гостя шпага, другою он с запальчивым и угрожающим

видом указывает на шпагу англичанина, положенную им на кресло подле себя. Англичанин левой рукой делает резкий жест, выражающий холодное презрение. В то же время он смотрит на горячего юношу с явным состраданием, взгляд его способен образумить безумца, и поза последнего должна показывать, что он уже начинает приходить в себя.

Подпись под третьей гравюрой:

*Ах, молодой человек! Ведь это твой благодетель!*

## Четвертая гравюра

*Часть II, письмо XXVI*

Сцена происходит на улице, перед домом подозрительного вида. Дверь отворена. На крыльце лакей освещает дорогу двумя канделябрами. В нескольких шагах от двери дожидается наемная карета, кучер распахнул дверцу, к карете направляется молодой человек. Это Сен-Пре, выходящий из притона разврата; весь его вид свидетельствует о раскаянии, унынии и подавленности. Одна из обитательниц притона провожает его до улицы, в ее прощании с Сен-Пре видны ликование, разнузданность и наглое самодовольство восторжествовавшей искусительницы. Удрученный скорбью и стыдом, он не обращает на нее внимания. Из окон смотрят молодые офицеры и две-три подруги той женщины, что стоит у подъезда. Зрители эти рукоплещут и выкрикивают насмешливые поздравления, глядя на идущего Сен-Пре, но он их не замечает, не слышит их слов. В повадках женщин и беспорядке их одежды должно царить бесстыдство, не оставляющее никакого сомнения в том, что они собою представляют, и это еще более выделяет уныние, владеющее главным персонажем.

Подпись под четвертой гравюрой:

*Стыд и угрызения совести мстят за поруганную любовь.*

## Пятая гравюра

*Часть III, письмо XIV*

Сцена происходит ночью, в спальне Юлии; кругом беспорядок, обычный в комнате больного. Юлия, заболевшая оспой, лежит в постели; у нее жар. Полог задернут неплотно. Видна свисающая с кровати рука, к которой приник поцелуем Сен-Пре; почувствовав его поцелуй, Юлия другой рукой отдергивает полог и, узнав своего друга, смотрит на него, удивленная, взволнованная, готовая броситься к нему. Сен-Пре стоит на колепях у постели и, схватив руку Юлии, целует ее в порыве скорби и любви,— видно, что он не только не боится заразиться страшной болезнью, но хочет этого. Клара, стоящая с зажженной свечой, за-

мечает движение Юлии и, взяв Сен-Пре за руку, отрывает его от печального свидания, чтобы насильно увести из комнаты. В это время к изголовью кровати подходит горничная, уже немолодая женщина, и старается удержать Юлию. Надо каждое действующее лицо показать в движении — очень жизненном, быстром, и чтобы в изображаемый момент все они составляли единое целое.

Подпись под пятой гравюрой:

*Заражение во имя любви.*

## Шестая гравюра

*Часть III, письмо XVIII*

Сцена происходит в комнате отца Юлии, барона д'Этанж. Юлия сидит на стуле, рядом — пустое кресло: отец, встав с него, бросился на колени перед дочерью и, сжимая ее руки, проливает слезы; поза его выражает горячую мольбу. Юлия смотрит на него смущенным, взволнованным, скорбным взглядом; по ее утомленному лицу понятно, что она долго и тщетно пыталась поднять отца с колен или хотя бы высвободить свои руки, но, чувствуя свое бессилие, откинула голову на спинку стула,— видно, что она близка к обмороку, руки ее все еще протянуты к отцу. У барона д'Этанжа должен быть облик почтенного человека, седые волосы и, несмотря на умоляющую позу, военная выправка, в которой есть что-то благородное и гордое.

Подпись под шестой гравюрой:

*Отеческая власть.*

## Седьмая гравюра

*Часть IV, письмо VI*

Сцена происходит в аллее, ведущей к усадьбе; в нескольких шагах от решетчатых ворот остановилась почтовая карета: на козлах сидит кучер, на запятках привязан чемодан. Расположение фигур в этой гравюре очень простое и все же требует большой выразительности. Тут необходимо дать пояснение.

Друг Юлии возвращается из долгого путешествия, и, хотя муж знает, что до его женитьбы Сен-Пре был счастливым любовником Юлии, он так доверяет благородству их обоих, что сам пригласил Сен-Пре в свой дом. Минута прибытия Сен-Пре и служит сюжетом гравюры. Поцеловав друга, Юлия берет его за руку и представляет своему мужу, который подходит к ним, желая, в свою очередь, обнять Сен-Пре. Г-н де Вольмар, человек по натуре холодный и степенный, должен тут иметь лицо открытое, почти улыбающееся, взгляд спокойный, внушающий доверие.

Сен-Пре, одетый в дорожное платье, подходит к г-ну де Вольмару с почтительным видом; хотя в нем и чувствуется некоторая принужденность и смущение, но нет ни тягостной угрюмости, ни подозрительного замешательства. Что касается Юлии, то у нее и в выражении лица, и во всем облике столько невинности и чистосердечия, что в это мгновение открывается вся ее душевная чистота. Юлия должна смотреть на мужа со скромной уверенностью, во взгляде ее — умиленная признательность за великое доказательство уважения, которое он дал ей, и сознание, что она того достойна.

Подпись под седьмой гравюрой:

*Доверие прекрасных душ.*

## Восьмая гравюра

*Часть IV, письмо XVII*

Тут надо с величайшей точностью изобразить пейзаж. По-моему, лучше всего может о нем дать понятие отрывок из письма, в котором он описывается:

«С полчаса мы шли по извилистым тропинкам, плавно поднимавшимся в тени дерев и скал,— единственным неудобством пути была его продолжительность. Уединенное сие место осталось все таким же диким, пустынным, но полным красот, кои пленяют чувствительные души, а другим кажутся ужасными. В ста шагах от нас горный поток, образовавшийся от таяния снегов, мчал свои мутные воды, с шумом перекатывая камни, песок и тину. Позади нас тянулась цепь неприступных скал, отделяющая площадку, где мы находились, от тех альпийских высот, кои именуются ледниками, ибо со дня сотворения мира их покрывают огромные и непрестанно возрастающие пласты льда. Справа была печальная сень темных елей. Слева, за бурным потоком, зеленела дубовая роща, а под нами, под отвесным обрывом, раскинулась водная ширь Женевского озера, простирающаяся в лоне Альп,— она отделяла нас от богатых берегов кантона Во, картину коего венчали величественные вершины Юры.

Среди всех этих высот и чудесных ландшафтов то место, где мы находились, пленяло очарованием приветного сельского уголка: несколько ручейков бежали тут из-под утесов и несли по зеленому склону кристально чистые струи свои; несколько плодовых деревьев-дичков склоняли ветви над нашими головами, нетронутая земля была покрыта травой и цветами. Сравнивая столь милый и мирный уголок с окружающими его картинами, я думал, что сие пустынное место кажется приютом, где могли бы укрыться двое влюбленных, кои одни спаслись от потопа и землетрясения».

К этому описанию надо добавить, что почти на краю площадки должны находиться две глыбы, упавшие с вершины гряды,— они могут слу-

жить столом и сиденьем; вдали виден берег Женевского озера, в стороне кантона Во, и разбросанные на нем селения,— во всяком случае, необходимо, чтобы одно из них виднелось напротив описанной выше площадки.

На площадке стоят Юлия и Сен-Пре, единственные персонажи этой гравюры. Положив руку на одну из каменных глыб, Сен-Пре другой рукой указывает на буквы, вырезанные на обрывах утесов, окружающих площадку. Он с жаром что-то говорит Юлии; взгляд Юлии выражает умиление, которое вызывают у нее и речи ее друга, и то, что он показывает ей; но вместе с тем видно, что добродетель в ней сильнее всего и не страшится опасных воспоминаний.

Между восьмой гравюрой и первой — промежуток в десять лет, за это время Юлия стала женой и матерью; ранее было сказано, что в девушках она позволяла себе несколько пренебрегать нарядами, отчего становилась еще милее; став замужней женщиной, она одевается более тщательно. Такою и следует ее изобразить на седьмой гравюре, а здесь она появляется без уборов, в утреннем платье.

Подпись под восьмой гравюрой:

*Памятники былой любви.*

## Девятая гравюра

*Часть V, письмо III*

Гостиная; семь персонажей. В глубине слева — стол, накрытый для чая, на нем три чашки, чайник, сахарница и т. д. Вокруг стола сидят: лицом к переднему плану г-н де Вольмар, по правую руку от него, вполоборота,— Сен-Пре с газетой в руках; тому и другому видно, что делается в комнате.

Справа, также в глубине, сидит г-жа де Вольмар, занятая вышиванием; рядом с нею горничная плетет кружева; подушечку для плетения подпирает спинка другого стула, пониже, на котором сидит Генриетта. Горничная та же самая, что изображена на одиннадцатой гравюре,— она моложе той, которая показана на пятой гравюре. В семи-восьми шагах как от тех, так и от других на переднем плане сидят за круглым столиком и смотрят гравюры в альбоме два мальчугана. Старший с увлечением разглядывает картинки и показывает их младшему, но тот украдкой перебирает бирюльки, прячась за приподнятой крышкой альбома. Девочка, постарше их — лет восьми, встала со своего стульчика, и на цыпочках проворно идет к мальчуганам. Она что-то говорит властным тоном, указывая одной рукой на картинку, на которой развернута книга,— в другой руке у нее шитье.

Надо показать, что г-жа де Вольмар, оторвавшись от вышивания, смотрит на проделки детей; мужчины, прервав чтение, смотрят на г-жу де Вольмар и троих малышей. Горничная продолжает плести кружева:

Дети заняты своими делами, а трое зрителей смотрят на них с ласковым вниманием — в особенности мать должна казаться охваченной сладостным умилением.

Подпись под девятой гравюрой:

*Утро на английский лад.*

## Десятая гравюра

*Часть V, письмо IX*

Комната в трактире. Конец ночи. Уже обозначаются очертания предметов, но в сумраке они еще едва видны.

Внезапно пробудившись от тяжелого сна, Сен-Пре соскочил с постели, поспешно набросил на себя халат. Лицо его выражает ужас, он взволнованно ходит по комнате и делает резкие жесты, словно отгоняя от себя фантастические видения. Он ощупью пытается найти дверь. Очень темный тон гравюры, выразительная поза Сен-Пре и его испуганное лицо должны создавать впечатление зловещее и вызывать у зрителей ощущение страха.

Подпись под десятой гравюрой:

*Куда ты хочешь бежать? Призрак — в сердце твоем.*

## Одиннадцатая гравюра

*Часть VI, письмо II*

Сцена происходит в гостиной. У камина, где разведен огонь, за столиком сидят г-н де Вольмар, лицом к переднему плану, а напротив него — Сен-Пре, фигура которого видна сбоку, так как он передвинул свой стул; лица не видно — оно обращено к г-ну де Вольмару.

На полу валяется упавшая со столика шахматная доска, шахматы разлетелись во все стороны. Клара, наполовину умоляя, наполовину поддразнивая, подставляет Сен-Пре щеку, предоставляя ему право наказать ее за проказу поцелуем или пощечиной — на выбор. О том, что именно Клара опрокинула шахматы, свидетельствует ракетка, которую она держит в руке. Она тянет Сен-Пре за рукав, упрашивая его повернуться к ней, но он упрямится и сидит, сердито опустив голову, не желая смотреть на Клару. Падение шахматной доски не вызвало грохота,— надо изобразить складную сафьяновую доску, которая закрывается, как книга, и нарисовать ее лежащей у ножки стола в полураскрытом виде.

На переднем плане — вторая женская фигура, в которой по фартуку можно узнать горничную; подле нее на стуле лежит ракетка. В подпятой руке горничная держит волан, другой рукою как будто расправляет на нем перышки, а сама исподтишка смотрит, улыбаясь, на сцену, происходящую около камина.

Госпожа де Вольмар сидит, закинув руку на спинку их кресла, словно хочет расположиться поудобнее в качестве зрителя, а пальцем грозит горничной, чтобы она не засмеялась и тем не смутила участников этой сцены.

Подпись под одиннадцатой гравюрой:

*Клара! Клара! Дети поют в темноте, когда им страшно.*

## Двенадцатая гравюра

*Часть VI, письмо XI*

Спальня, в убранстве которой видна изящная простота, но нет никакой роскоши; на каминной полке горшки с цветами. Полог полураздвинут, складки подхвачены шнурами. Видно, что Юлия, мертвая, простерта на постели, ее уже обрядили в красивые одежды. В комнате много народа — мужчин и женщин, те, кто ближе к кровати, опустились на колени, остальные стоят, некоторые сложили молитвенно руки. Все смотрят на умершую Юлию с тоской и страстным волнением, словно все еще ищут в мертвом теле признаки жизни.

Клара стоит у постели, подняв лицо к небу. Из глаз ее бегут слезы. Она что-то говорит, а по ее лицу видно, что слова эти пронизаны пламенной силой. Обеими руками она держит богато расшитое покрывало, которое только что поцеловала, и хочет покрыть им лицо умершей подруги.

У изножия кровати стоит г-н Вольмар, весь вид его свидетельствует о глубоком горе и даже о жестокой муке, но он, как всегда, держится спокойно и сосредоточенно.

В этой последней гравюре образ Клары, держащей покрывало, очень важен, и передать его нелегко. Французские моды таковы, что при некотором беспорядке и небрежности одежда не может оставаться пристойной. По-моему, тут подошел бы очень простой утренний пеньюар, заколотый спереди булавкой, а для того чтобы этот наряд не казался убогим, он должен ложиться широкими складками и быть несколько длиннее обыкновенного платья. На груди небрежным узлом завязана простая косынка, без кружев и оборок; на плечо свешиваются выбившиеся из прически локоны или прядь волос. Словом, во всем должен быть виден беспорядок, говорящий об искреннем горе, но беспорядок трогательный, а вовсе не смешной.

Во всякое иное время Клара только хорошенькая, но надо, чтобы в слезах она стала красивой и, главное, чтобы ее облик передавал возвышенное и бурное отчаяние.

Эту гравюру следует оставить без подписи.

# ПРИМЕЧАНИЯ

«Новая Элоиза» вышла в свет в Амстердаме в начале 1761 года (издательство Рея) и в феврале уже поступила в продажу в Париже, одновременно с параллельным парижским изданием. Отдельными выпусками в том же году появились в Париже «Второе предисловие» и сборник гравюр к «Новой Элоизе», выполненных Гравело и сопровожденных пояснениями автора.

Рассказывая в «Исповеди» об обстоятельствах, при которых создавался роман, Руссо сообщает, что в феврале 1758 года «Новая Элоиза» была написана «едва наполовину» и завершена зимой 1758/59 года. Но, как показывают новейшие исследования (память здесь изменяет автору), его роман в основном был закончен гораздо раньше.

Девятого апреля 1756 года Руссо поселился в Эрмитаже, вилле в лесу Монморанси, любезно предоставленной ему г-жой д'Эпине, одной из почитательниц французских энциклопедистов, подругой Гримма. Летом Руссо задумывает роман в письмах о любви между учителем и его ученицей; к концу 1756 года первые две части уже были готовы. Весной следующего года Руссо посетила Софи д'Удето, родственница г-жи д'Эпине, и страсть, внушенная ею, дала роману новое направление. Г-жа д'Удето, которая любила поэта Сен-Ламбера и тосковала по своему возлюбленному, находившемуся тогда в Германии, просила Руссо удовольствоваться ролью друга. После возвращения Сен-Ламбера летом 1757 года Руссо, подобно Сен-Пре, еще мечтал жить вблизи любящей четы и около года поддерживал переписку с Софи д'Удето, послужившей прообразом для Юлии — верной супруги и добродетельной матери. В декабре 1757 года Руссо, по свидетельству Мармонтеля, уже читал своему другу Дидро весь роман, а в сентябре 1758 года вступил в переговоры с издателем Реем, сообщив, что все шесть частей романа готовы. Таким образом, «Новая Элоиза» была написана приблизительно за восемнадцать месяцев пребывания в Эрмитаже, хотя автор отделывал роман еще на

протяжении почти целого года, после того как, поссорившись со своими друзьями-философами и покинув Эрмитаж (в декабре 1757 г.), он переехал в Монморанси.

Печатание романа по разным причинам задерживалось, но еще до выхода в свет его содержание стало известно в литературных кругах. Руссо охотно читал «Юлию» своим друзьям и дарил собственноручно переписанные копии. Из его переписки с историком Дюкло и маршалом Люксембургским видно, что в 1760 году роман ожидали «с нетерпением», но успех «Новой Элоизы» превзошел все ожидания. Несмотря на многочисленные перепечатки и подделки амстердамского издания в Лионе, Руане, Бордо, Авиньоне, Льеже, а также за границей, удовлетворить спрос публики было невозможно. Книгопродавцы выдавали роман для чтения по двенадцать су за час. За первые сорок лет (до 1800 г.) «Новая Элоиза» выдержала свыше шестидесяти изданий — успех, какого не имело ни одно произведение французской литературы XVIII века (для сравнения укажем, что даже «Кандид» Вольтера издавался за это время только пятьдесят раз).

Названием «Новая Элоиза» Руссо напоминает о сходстве в положении своих героев с трагической судьбой средневековой любящей четы. Пьер Абеляр (1079—1143) — известный философ, родоначальник рационалистического и критического направления в схоластике, чье учение при жизни дважды было осуждено церковью, а «Введение в теологию» предано сожжению. Блестящие лекции Абеляра привлекали в Париж слушателей из разных стран Европы. Полюбив свою ученицу Элоизу (1101—1164), Абеляр вступил с ней в брак, который они оба хранили в тайне, ибо для карьеры ученого-теолога безбрачие было обязательным условием. Настаивая на сохранении тайны, Абеляр вызвал гнев приемного отца Элоизы, каноника Фюльбера, который из мести подослал лиц, совершивших над Абеляром насильственное оскопление. Элоиза удалилась в монастырь и оттуда, согласно преданию, поддерживала переписку со своим супругом, также оставившим свет, ободряя его и обнаруживая в горестях более стойкий характер, чем Абеляр.

Знаменитые «Письма Элоизы и Абеляра», замечательное произведение средневековой латинской литературы, были еще в XIII веке переведены на французский язык. Интерес к горестной судьбе этой любящей четы возродился с конца XVII века, когда известный вольнодумец Бюсси-Рабютен выпустил свою «Историю Элоизы и Абеляра». На этот сюжет во французской литературе до Руссо написано не менее шестидесяти романов, поэм и драм. Одно из лучших стихотворений Александра Попа, главы английского классицизма, «Послание Элоизы Абеляру» (1717) трижды переводилось на французский язык в стихах и дважды в прозе.

Первое издание знаменитого романа Руссо на русском языке появилось еще при жизни автора, в 1769 году, в переводе Павла Потемкина.

В 1792 году был опубликован второй перевод (анонимный). В XIX веке «Новая Элоиза» также переводилась дважды: Александром Палицыным в 1803—1804 годах (второе издание в 1820—1821 гг.) и Петром Кончаловским в 1892 году.

Настоящий перевод сделан по критическому изданию текста, опубликованному Даниэлем Морне (J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Nouvelle édition publiée d'après les manuscrits et les éditions originales avec des variantes, une introduction, des notices et des notes par Daniel Mornet. I—IV, Paris, Hachette, 1925. Les grandes écrivaines de France, deuxièmes série, dix-huitième et dix-neuvième siècle. Publiée sous la direction de Gustave Lanson).

В нижеследующих примечаниях использован богатый комментарий этого издания.

Стр. 23. Эпиграф: *Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe:*
*Conobill'io ch'a pianger qui rimasi.*

Мир не знал ее, пока она была жива,
Но знал я и остался ее оплакивать —

стихи из сонета Петрарки (CCCXXXVIII) [1] на смерть Лауры.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стр. 30. *E poi ch'amor...*— стихи из баллады Петрарки (XI) на жизнь Лауры.

Стр. 45. *E v'è il piacer...*— стихи из «Храма вечности» итальянского поэта Метастазио. Эней, спустившись в ад, видит вокруг себя тени и хватается за меч. Его спутник Деифоб объясняет, что эти тени безобидны и представляют «идеи», среди которых Деифоб называет «наслаждение» и «целомудрие». Пьетро Антонио Метастазио (1698—1782) — самый яркий представитель поэзии рококо в Италии, автор трагедий и лирических драм, создавших ему европейскую славу. Современники, в частности Вольтер и Руссо, ставили его рядом с Корнелем и Расином. В России Метастазио также был очень популярен — его переводил Г. Р. Державин и переделывал Я. Б. Княжнин.

Стр. 51. *...приучают пользоваться подачками, а не своим добром.*— См. М. Монтень, Опыты, кн. 3, гл. XII, М.—Л. 1960, стр. 324.

Стр. 52. *...один и тот же источник.*— Учение о едином источнике доброго и прекрасного, морального и эстетического является общим местом в эстетических теориях XVIII в. и направлено против рассудочных, внешних правил эстетики XVII столетия. «Вкус», согласно Воль-

---

[1] Номера стихотворений Петрарки приводятся по итальянским изданиям со сплошной нумерацией.— *Ред.*

теру,— это «быстрое суждение, которое предваряет размышление» (статья «Вкус» в «Энциклопедии»); это «способность отыскать в произведениях искусства то, что нравится чувствительным душам, и то, что их коробит» (Монтескье). Руссо вносит в это учение новый, полемический оттенок, настаивая на том, что суждение о добром, как и о прекрасном, имеет своим источником непосредственное чувство, которое, однако, подлежит воспитанию и развитию.

Стр. 55. *...получила подобно царю Соломону... о чем даже не просила.*— Библейский царь Соломон просит у бога даровать ему разумное сердце. На это бог отвечает, что в награду за такую просьбу он дарует Соломону все, о чем тот просил. и «то, чего ты не просил» (Третья Книга царств, гл. III, ст. 5—19).

Стр. 56. *...с Гюстеном, сыном садовника...*— Живя в Монморанси (1758—1759 гг.), Руссо был знаком с неким садовником Гюстеном, который в 1791 г. еще принимал участие в торжествах в честь Руссо. Эпизодические лица в «Новой Элоизе» часто носят имена людей, с которыми Руссо был лично знаком.

Стр. 57. *Кларан* — селение в Швейцарии (кантон Во), относящееся к коммуне Монтре. После выхода в свет «Новой Элоизы» Кларан стал местом паломничества восторженных почитателей Руссо.

Стр. 58. *Вале* — швейцарский кантон, граничащий на юге и западе с Италией и Францией.

*Кантон Во* — кантон во французской Швейцарии, граничащий с Женевским кантоном.

*Сион* — главный город кантона Вале.

Стр. 61. *Веве* — город на берегу Женевского озера в кантоне Во.

Стр. 64. *Sol che son figlia...*— стих из драмы Метастазио «Аттилий Регул» (II, 9). Дочь римского консула Регула (см. ниже, прим. к стр. 203), узнав о героическом решении отца вернуться в Карфаген, где его ждет смерть, желает последовать за ним и отвечает этими словами брату, отговаривающему ее.

Стр. 66. *...nodo piu forte...*— стихи из трагедии Метастазио «Демофон» (III, последняя сцена). Герой узнает, что Тимант не его сын, но уверяет, что будет по-прежнему любить его, как сына.

Стр. 70. *Qui non palazzi...*— стихи из сонета Петрарки (X) на жизнь Лауры. Поэт посылает этот сонет своему другу и покровителю Стефано Колонна, приглашая его приехать и насладиться красотами природы. Описание гор в этом и других письмах «Новой Элоизы» произвело большое впечатление на современников, и можно с полным правом сказать, что Руссо открыл в европейской литературе поэзию горного ландшафта и особенно швейцарской природы. Ср., напр., осенний пейзаж из письма Сен-Пре к Юлии, включенный Карамзиным в «Письма русского путешественника».

Стр. 73. *...как Дон-Кихот в замке герцогини.*— Сен-Пре здесь вспоминает эпизод из второй части «Дон-Кихота» (гл. 32), где рассказывается о том, как при дворе герцогини четыре девушки, потешаясь над ламанчским рыцарем, принялись мыть и намыливать ему бороду.

*...моделью для коей служила прекраснейшая на свете грудь.*— В «Естественной истории» (кн. XXXIII, гл. 23) римского ученого Плиния Старшего (ум. в 79 г. н. э.) есть рассказ о том, что Елена Прекрасная подарила в храм Минервы на острове Родосе чашу из янтаря, сделанную в форме ее груди.

*Parte appar delle tamme...*— стихи из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (IV, 31), описывающие красоту волшебницы Армиды, которая явилась в стан воинов-крестоносцев, чтобы заманить их к себе и отвлечь от их цели — завоевания града господня.

Стр. 75. *...подобно безумцу из басни...*— Сен-Пре имеет в виду басню Лафонтена «Безумец, который продавал мудрость» (кн. IX, 8). Безумец ходил по улицам, крича, что продает мудрость, и каждому, кто желал ее купить, давал пощечину и длинный шнурок. Смысл этих даров истолковал мудрец: «Надо держаться от безумцев на длину этого шнурка, не то получишь пощечину».

Стр. 78. *Sentirsi, oh Dei, morir...*— стихи из трагедии Метастазио «Антигон» (I, 2). Береника, пленница Александра Македонского, узнает, что ее возлюбленному грозит смертная казнь, но не смеет признаться в своем отчаянии, чтобы не выдать своих чувств перед влюбленным в нее Александром.

Стр. 79. *Мейери* — селение на берегу Женевского озера. Руссо посетил Мейери в сентябре 1754 г., во время путешествия вокруг озера, предпринятого им совместно с друзьями.

Стр. 83. *Левкадийская скала.*— С высокой скалы на о-ве Левкаде (теперь о-в Санта-Мавра Ионического архипелага), согласно преданию, бросались в море несчастные влюбленные, и если не погибали, то исцелялись от любви.

Стр. 95. *Nò, non vedrete mai...*— стихи из драмы Метастазио «Узнанный Кир» (III, 12). Кир, избранный царем Персии, уверяет свою возлюбленную, которую полюбил еще будучи простым пастухом, что его чувства к ней не изменятся.

*...как мои книги.*— Это единственное место в «Новой Элоизе», где Руссо дает понять, что его герой, прототипом которого является автор, был также писателем.

Стр. 97. *...г-н Роген предложил мне командовать ротой в полку, который он набирает для сардинского короля.*— Руссо сам был знаком с неким полковником Рогеном, дядя которого был его «давним другом».

*...на глазах генерала Сакконэ захватить вражеское знамя.*— В Швейцарии в 1712 г. происходила война между протестантскими кантонами Цюрихом и Берном и католическими кантонами. В битве под Вильмергеном (25 июля 1712 г.) бернцы одержали решительную победу, после чего католики уступили победителям Базель, Раппершвиль и другие города. Генерал Сакконэ (1646—1729), главнокомандующий армией кантона Берн, был под Вильмергеном дважды ранен.

Стр. 99. *Ламберти* Гильом де (1660—1742) — швейцарский дипломат и историк, автор ряда мемуаров о современных политических событиях.

*...о будущей присяге на верность неаполитанскому королю...*— Одним из центральных вопросов европейской политики 30-х годов XVIII в. было признание папой испанского инфанта дона Карлоса неаполитанским королем. В 1734 г. (когда Юлия пишет это письмо) дон Карлос, завоевав Неаполитанское королевство, принадлежавшее Австрии, должен был, согласно обычаю, прислать в Рим дары в обмен на признание его неаполитанским королем. Но австрийский император, не желая отказываться от своих владений, также прислал папе соответствующие дары, в связи с чем папский двор оказался в затруднительном положении. Лишь в 1737 г., после долгих переговоров и демаршей, папа признал Карлоса.

Стр. 101. *Al bel seggio riposto...*— стихи из аллегорической канцоны Петрарки (CCCXXIII), воспевающей добродетель умершей Лауры.

Стр. 102. *Книдский храм* — знаменитый храм древней Греции, посвященный Венере и воспетый Монтескье в дидактической поэме «Книдский храм» (1725).

Стр. 104. *Non vide il mondo...*— стихи из аллегорической секстины Петрарки (CXII) на жизнь Лауры.

Стр. 106. *Невшатель* — главный город кантона Невшатель на берегу Невшательского озера.

*...отпуска Клода Анэ...*— Клодом Анэ звали управляющего и любовника г-жи де Варанс, которая приютила молодого Руссо.

Стр. 114. *Дворец Армиды.*— Роскошный дворец и сады, воздвигнутые в пустыне чарами волшебницы Армиды, описаны в песне XVI поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». Соблазнительные «сады Армиды» стали нарицательным выражением.

Стр. 115. *...о духовном различии между мужчиной и женщиной?* — Этот вопрос рассматривается в книге V «Государства» Платона, который считает, что женщины наделены теми же способностями, что и мужчины, однако стоят ниже по степени совершенства.

Стр. 119. *Люлли.*— Известный французский композитор Жан-Батист Люлли (1633—1687) был по происхождению итальянцем.

Стр. 121. *E'l cantar che nell'anima...*— стих из сонета Петрарки (CCXIII) на жизнь Лауры, где прославляется ее чарующее пение.

Стр. 128. *...вина с берегов Женевского озера.*— Жители четырех «лесных» кантонов — Люцерна, Ури, Швица и Унтервальда, расположенных вокруг Люцернского озера, славились приверженностью к вину, которое, однако, им приходилось покупать в кантоне Во, то есть в окрестностях Женевского озера, где было много виноградников.

*Герцог Майеннский.*— Карл Лотарингский, герцог Майеннский (1554—1611), вождь католической Лиги, главнокомандующий королевской армией, сражавшейся против гугенотов. Был одним из претендентов на французский трон после убийства Генриха III (1589 г.) и несколько лет боролся против Генриха IV. Примирение состоялось в 1596 г. Генрих IV пригласил к себе герцога, отличавшегося тучностью, и, взяв его под руку, стал быстро прогуливаться с ним, чем довел толстяка до одышки. Тогда король, смеясь, сказал своему бывшему врагу, что этим и ограничится его месть, и пожаловал герцогу ряд поместий и крупную сумму денег.

Стр. 140. *...величайший полководец Греции... когда на него замахнулись палкой.*— Имеется в виду эпизод из жизни известного афинского полководца Фемистокла (525—460 гг. до н. э.), когда он находился во главе афинского флота, выступившего вместе с объединенной армией других греческих государств против вторгшихся в Грецию персов. На военном совете перед Саламинским сражением (486 г. до н. э.), в котором греки разбили персов, Фемистокл настаивал на том, чтобы начать бой. Тогда командовавший объединенными силами Греции Эврибиад, который был противоположного мнения, в гневе замахнулся на Фемистокла палкой, на что тот ответил: «Бей, но выслушай».

*...под стать зверским правам, породившим ее.*— Дуэль восходит к обычаям древних германцев и франков, то есть «варваров». Вопрос о нравственной стороне дуэли живо интересовал Руссо, как, впрочем, и многих других французских и английских мыслителей XVIII в. (Стиль, Аддисон, Монтескье, Вольтер, Прево и др.).

Стр. 141. *Ma verace valor...*— стихи из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (II, 60), в которых восхваляется доблесть и скромность вождя крестоносцев Готфрида Бульонского.

Стр. 143. *...продают свою кровь за деньги...*— Это мнение Юлии, жительницы Швейцарии, о военных не случайно и основано на том, что швейцарцы массами отправлялись служить в качестве наемников в иностранных армиях.

Стр. 145. *...бессмысленных требований чести.*— Это письмо произвело большое впечатление на современников и широко цитировалось противниками дуэли. По свидетельству Мерсье, автора «Картин Парижа» и

последователя Руссо, дуэли в эпоху перед революцией 1789 г. стали во Франции редким явлением «благодаря философам», которые сумели достичь того, что не удавалось сделать королю.

Стр. 154. *Фюрсты, Телли, Штауффахеры.*— Речь идет о борцах за независимость Швейцарии, восставших против австрийского владычества в начале XIV в. и воспетых в народных сказаниях.

Стр. 169. *Грансон* — городок на берегу Невшательского озера в кантоне Во.

*...не достигнув совершеннолетия.*— В кантоне Во, как и во Франции, совершеннолетними считались граждане, достигшие возраста двадцати пяти лет.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стр. 175. *...стать бесчестным человеком.*— Имеется в виду нашумевший в 40-х годах XVIII в. процесс дворянина Ля Бедуайера, который женился на актрисе и после судебного дела, возбужденного его отцом, был вынужден расторгнуть брак.

Стр. 185. *Congiunti eran gl'alberghi...*— стихи из пасторали Т. Тассо «Аминта» (I, 2): герой рассказывает другу Тирсиду, как он полюбил пастушку Сильвию.

Стр. 187. *Прагматическая санкция.*— Речь идет о так называемой «прагматической санкции», которой германский император Карл VI объявил в 1713 г. свою старшую дочь Марию-Терезию наследницей престола. На протяжении ряда лет император добивался признания этой «санкции» европейскими государствами. Однако после его смерти в 1740 г. императором под именем Карла VII был избран маркграф Баварский, вследствие чего завязалась война за австрийское наследство (1741—1748 гг.). В этой войне Франция и Пруссия выступали в защиту Карла VII, а Марию-Терезию поддержала Англия. Война окончилась победой Марии-Терезии над ее соперником.

Стр. 201. *Frutto senile in su 'l giovenil fiore...*— стих из сонета Петрарки (CCXV) на жизнь Лауры, в котором поэт, прославляя Лауру, говорит, что она в расцвете юности обладает мудростью зрелого возраста.

Стр. 203. *Философия Платона.*— Руссо имеет в виду учение о любви, которое развивает Платон в диалоге «Пир». Участвующий в этом диалоге Сократ определяет любовь как путь, ведущий через созерцание красоты — отблеска «истины» — к высшей добродетели.

*...утехах Гелиогабала.*— Гелиогабал (204—222) — римский император, известный своей жестокостью и необузданным развратом.

*Афинянин, испивший цикуту...*— Речь идет о Сократе (468 г.— ок. 400 г. до н. э.), который был обвинен в безбожии и осужден выпить яд цикуты.

*Регул* (III в. до н. э.) — римский консул, прославившийся своим патриотизмом. Попав в плен к карфагенянам, он был отпущен ими в Рим с условием, что убедит сенат принять предложение Карфагена об обмене военнопленными. Но Регул, заботясь об интересах Рима, уговорил сенат отвергнуть это предложение и вернулся в Карфаген, где его ждала мучительная смерть.

*Катон* — Катон Младший, или Утический (95—46 гг. до н. э.) — защитник республиканских свобод Рима, выступивший против Юлия Цезаря. После поражения республиканцев покончил с собой, бросившись на свой меч.

Стр 206. *O qual fiamma di gloria...*— стихи из драмы Метастазио «Аттилий Регул» (II, 2). Узнав о намерении Регула просить сенат отклонить предложение Карфагена, римлянин Манлий выражает в этих стихах свое восхищение его героизмом.

Стр. 210. *...некий мудрец древности...*— Сен-Пре вспоминает слова римского полководца Сципиона Африканского (234—183 гг. до н. э.), приведенные Цицероном в трактате «Об обязанностях» (III, 1).

Стр. 212. *...все граждане должны быть солдатами по долгу, и никто — по ремеслу.*— В Женеве существовал постоянный гарнизон из восьмисот человек, но главной воинской силой были «роты горожан», состоявшие из добровольцев, которые проходили военное обучение, не образуя регулярной армии.

Стр. 213. *Алкивиад* (450—404 гг. до н. э.) — известный афинский политический деятель и полководец, отличавшийся крайним честолюбием и несколько раз менявший политическую ориентацию.

Стр. 214. *Мюра* — Беат-Луи де Мюра — уроженец Берна, писатель-моралист, чьи «Письма об англичанах и французах» (1726) имели большой успех. Руссо высоко ценил Мюра и в «Новой Элоизе» использовал его сравнительное описание английских и французских нравов, а также критические замечания о светском обществе.

Стр. 215. *Qui canto dolcemente...*— стихи из сонета Петрарки (CXIII) на жизнь Лауры. Поэт рассказывает другу о своей любви к Лауре.

Стр. 216. *Кавалер Марино* — Джамбатиста Марино (1569—1625), известный итальянский поэт, создатель вычурного стиля, названного по его имени «маринизмом». Главное его произведение — поэма «Адонис», воспевающая любовь Адониса и Венеры. Марино писал также и сонеты, однако цитируемого стиха в этих сонетах нет, и, по-видимому, Руссо ошибочно приписал его Марино. Установить автора этого стиха не удалось.

Стр. 220. *...в одном они молинисты, в другом янсенисты...*— Молинисты — приверженцы Луиса Молины (1535—1600), испанского иезуита, учение которого о благодати было осуждено церковью. Янсенисты — сторонники также осужденного церковью учения, созданного голландским

теологом Корнелиусом Янсением (1585—1638). Несмотря на преследования со стороны церкви и светской власти, янсенисты, враждебные иезуитам, пользовались большим влиянием во французском обществе XVII—XVIII вв.

Стр. 225. *...мешает мне добиться какой-нибудь цели!* — Во Франции времен Руссо протестантам не разрешалось занимать государственные должности.

Стр. 227. *...под видом тиринфян.*— Рассказ о тиринфянах находится в «Диалогах мертвых» Фонтенеля (1657—1757) («Пармениск и Теокрит Хиосский»). По преданию, жители Тиринфа (город в Древней Греции) отличались необычайной смекалистостью. Желая избавиться от этого недостатка, они обратились за советом к дельфийскому оракулу, который им приказал принести в жертву быка, ни разу не засмеявшись. Жертвоприношение поручили совершить самым угрюмым людям: старикам, больным, мужьям, у которых были злые жены, и т. д. Однако в последнюю минуту к жертвеннику пробрался мальчик и, когда его захотели прогнать, ответил: «Неужто вы боитесь, что я съем вашего быка?» Эта шутка рассмешила всех.

Стр. 228. *...то же, что с Гомером в кругу педантов...*— намек на известный «спор о древних и новых писателях», возникший во Франции еще в конце XVII в. и возродившийся в 1714 г. в связи с переводом на французский язык «Илиады» Гомера. Спор шел о том, кто выше — античные писатели или новейшие французские классики, и представлял для Руссо большой интерес, так как здесь впервые был поставлен вопрос о прогрессе в литературе и искусстве.

Стр. 229. *...три театра...*— В то время, к которому относится письмо Сен-Пре, в Париже было три больших театра, пользовавшихся субсидией правительства. Сен-Пре характеризует эти театры в следующем порядке: театр Итальянской комедии, Королевская музыкальная академия (или Опера) и театр Французской комедии.

*...Помпея или Сертория.*— Гней Помпей (106—48 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, возглавивший борьбу против Юлия Цезаря, в которой потерпел поражение и бежал в Египет, где был убит. Квинт Серторий (ум. в 72 г. до н. э.) — римский полководец времен первой гражданской войны в Риме, враг Суллы, бежавший в Испанию, где поднял восстание против Рима и создал самостоятельное правительство. Перу Корнеля принадлежат трагедии «Смерть Помпея» (1643) и «Серторий» (1662).

Стр. 230. *...комедианты в креслах.*— Руссо имеет в виду привилегию знати занимать места прямо на сцене. Этот обычай был упразднен только в 1759 г., через год после окончания «Новой Элоизы».

Стр 231. *...их последователь...*— Речь идет о Вольтере, который, реформируя классицистскую трагедию, усилил в ней зрелищные эле-

монты, не без влияния английского театра, и в частности трагедий Шекспира.

*Пор-Рояль* — женский монастырь, бывший главным очагом янсенистской мысли. Закрыт по приказанию Людовика XIV в 1705 г.

Стр. 232. *Барон* Мишель (1653—1729) — знаменитый актер и автор комедий, игравший в труппе Мольера. *Адриенна* Лекуврер (1692—1730) и *мадемуазель Госсен* (1711—1767) — известные трагические актрисы. *Альзира* — героиня одноименной пьесы Вольтера. *Великолепный дикарь* — Замор, персонаж из той же пьесы. *Гранваль* — актер, выступавший на сцене до 1761 г.

*Кребильон* Клод-Проспер Жолио де, или Кребильон Старший (1674—1762) — известный в XVIII в. драматург, который ввел в трагедию классицизма тематику «ужасов».

Стр. 236. *Катина* и *Фенелон*.— Катина Никола (1637—1712) — видный французский полководец и политический деятель, одержавший ряд блестящих побед над герцогом Савойским. Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651—1715) — архиепископ г. Камбре и известный писатель, автор философско-политического романа «Приключения Телемаха», проникнутого критическими тенденциями. Руссо восторженно отзывался о Катина и Фенелоне, особенно о последнем, и собирался написать историю их жизни.

Стр. 237. *...чего г-н де Сен-Сафорен достиг в Вене*.— Генерал Франсуа де Сафорен (ум. в 1737 г.) — уроженец кантона Во, служил голландскому, затем австрийскому правительству, а в 1716 г. перешел на службу к Англии и был английским послом в Вене.

Стр. 238. *Иверден* — небольшой город в кантоне Во.

*Господин Крузас недавно издал опровержение на «Послания» Попа...*— Крузас Жан-Пьер де (1663—1748) — швейцарский математик и философ. В 1736 г. перевел «Опыт о человеке» Попа, а в 1737 г. опубликовал разбор этого произведения. Поп Александр (1688—1744) — крупный поэт и моралист, глава английского классицизма. Его «Опыт о человеке» пользовался во Франции, как и во всей Европе, большим успехом и ко времени создания «Новой Элоизы» вышел в семи переводах и изложениях.

Стр. 243. *...по словам гасконского философа...*— См. Монтень, Опыты, кн. 3, гл. V, М.—Л. 1960, стр. 101: «Вовсе не утоленный голод ощущается острее, чем утоленный наполовину, хотя бы глазами».

Стр. 251. *Так было в прошлую войну...*— Под «прошлой войной» подразумевается война за польское наследство (1733—1738 гг.), происходившая в то время, к которому Руссо относит действие первых частей «Новой Элоизы» (письмо Сен-Пре написано примерно в 1734 г.). Сам Руссо был очевидцем войны за австрийское наследство (1741—1748 гг.) См. выше, прим. к стр. 187.

Стр. 252—253. *...даже Библию... переделали в собрание любовных историй.*— Имеется в виду «История божьего народа» П. Берруйе, опубликованная в 1727 г. В 1762 г. эта «История» была осуждена Сорбонной и включена папой в список запрещенных книг.

Стр. 257. *...этот забавный театр...*— Описание современного английского театра приводится А. Попом в песне III сатирической поэмы «Дунсиада».

Стр. 258. *...римского всадника наших дней...*— Речь идет о дворянине де Шассе, который выступал в Опере с 1720 по 1757 г. В действительности де Шассе избрал профессию актера по необходимости, так как семья его была разорена.

*...злосчастный Лаберий...*— История римского патриция Лаберия рассказана в произведении латинского писателя V в. Макробия «Сатурналии». Ссылка Руссо в примечании на Авла Геллия (латинский писатель и грамматик II в.) ошибочна и была им исправлена в издании 1763 г. В основу настоящего перевода, как и критического французского издания, положен текст 1761 г.

Стр. 261. *Филипп Кино* (1635—1688) — французский драматург, современник Расина, более всего известный своими галантными «лирическими трагедиями» — либретто к операм Люлли на мифологические и пасторальные сюжеты.

*«Дровосек».*— «Дровосеком» прозвали в насмешку дирижера оркестра в Опере, который, отбивая такт, очень сильно стучал.

Стр. 262. *Тимотей* (446—357 гг. до н. э.) — греческий поэт и музыкант, стремившийся усовершенствовать музыку древних и добавивший к семи струнам лиры еще две (по другой версии — четыре) струны. Это вызвало возмущение ревнителей древней музыки, и когда Тимотей явился в Спарту для участия в состязании, старейшины заставили его публично порвать лишние струны.

Стр. 263. *...каково значение... ригодона, чаконны в трагедии?* — Ригодон — старинный провансальский танец двудольного размера. Чаконна — очень распространенный в XVII—XVIII вв. танец, ведущий свое происхождение из Испании.

Стр. 264. *...как оперное представление... может... ему прискучить!* — См. Жан де Лабрюйер, Характеры (О произведениях ума), СПб. 1890, стр. 53: «Не понимаю, как это опера с ея столь совершенной музыкой и поистине королевскими затратами могла в конце концов мне наскучить».

Стр. 267. *Bionda testa, occhi azurri...*— стих из поэмы Марино «Адонис» (III, 23).

Стр. 270. *...старой Гельвеции.*— Гельвеция — латинское название Швейцарии, часто употреблявшееся в литературе.

Стр. 299. *С. Г.*— инициалы подлинного имени героя; Сен-Пре — имя вымышленное, о чем см. ниже, прим. Руссо к письму XIV (часть III).

Стр. 302. *...общения, независимого от плоти и чувственного восприятия?* — Вера в духов и магию была в XVIII в. еще очень распространена даже среди людей образованных. Но Юлия заявляет, что верит не в духов, а в некую «телепатию». Руссо, по-видимому, первый среди писателей высказал предположение о возможности такого рода «общения душ».

Стр. 329. *...оправдывают тайное прелюбодеяние.*— В действительности ни в одном из философских сочинений этого времени нет защиты прелюбодеяния. Возможно, Руссо здесь имеет в виду нравы века, описанные в романах Кребильона Младшего, но, скорее всего, основанием для этой полемики с «философами» послужили беседы и споры в салонах, где бывал Руссо.

Стр. 330. *...против тайных браков...*— Тайные браки были во Франции XVIII в. довольно распространенным явлением, хотя из-за несоблюдения некоторых формальностей (присутствие двух священников, оглашение брака и др.) не давали никаких гражданских прав.

*...берут под защиту все порядочные люди.*— В этом восхвалении опеки общества над нравственностью граждан сказывается и швейцарское происхождение Руссо. В кальвинистской Женеве поведение каждого жителя находилось под неусыпным надзором всех окружающих, а также женевской консистории, которая наказывала за всякое отступление от принятых норм. Так, например, в 1701 г. тетки Руссо подверглись осуждению за то, что в воскресенье играли в карты у дверей своего дома (см. также прим. к части IV, стр. 420).

Стр. 342. *...горькой его книгой.*— См. Ларошфуко, Максимы, М.—Л. 1959, стр. 16. В «Исповеди» Руссо называет книгу Ларошфуко «печальной и вселяющей отчаяние», а в «Эмиле», не называя имени Ларошфуко, осуждает «чудовищную философию», которая отыскивает во всяком добродетельном поступке низменные побуждения.

Стр. 343. *...от этих слов я не отрекусь.*— В издании 1763 г. к этой фразе Руссо добавил следующее примечание, которое он считал очень важным и вписал собственноручно в несколько экземпляров «Новой Элоизы» предшествующих изданий:

«Разные обстоятельства определяют и изменяют, помимо нашей воли, все сердечные привязанности: мы до тех пор порочны и злы, пока нам это выгодно, и, к несчастию, цепи, обременяющие нас, множат нашу корысть. Все старания направить по истинному пути наши желания почти всегда тщетны и редко бывают искренни. Следует изменить не наши

желания, а обстоятельства, которые их вызывают. Если мы желаем стать хорошими, упраздним обстоятельства, которые нам мешают быть хорошими,— иного способа нет. Я бы ни за что на свете не хотел иметь право на наследство, в особенности если человек, оставивший мне наследство, мне дорог, ибо, как знать, сколь ужасное намерение могла бы внушить мне нужда! Исходя из этого, вникните внимательно в решение Юлии, в признание, которое она сделала своему другу; взвесьте ее решение и все обстоятельства, и вы увидите, как искреннее сердце, будучи в разладе с собою, умеет при нужде отвергнуть все противное долгу. Отныне Юлия, несмотря на любовь, которую еще хранит ее сердце, всем существом отдается добродетели,— она, так сказать, заставляет себя полюбить Вольмара, как своего единственного избранника, как человека, с которым проведет всю свою жизнь; она отбрасывает затаенную мысль о его смерти и мечтает сберечь его. Или я ничего не смыслю в человеческом сердце, или только в этом решении, о котором столько толкуют, заключается торжество добродетели в будущей жизни Юлии и в том искреннем и постоянном чувстве привязанности, которое до конца дней она питала к своему мужу».

Стр. 345. *...словами героя древности...*— Плутарх, Жизнеописание Фемистокла. Афинский полководец Фемистокл (см. выше, прим. к стр. 140), изгнанный из Афин по обвинению в растрате государственных денег, нашел убежище в Персии, где, по преданию, однажды произнес эти слова.

Стр. 346. *Робек* Иоганн — автор книги, восхваляющей самоубийство, изданной в 1736 г. Закончив свою книгу, Робек утопился. Руссо, по-видимому, ссылается на него по книге Форме «Философская смесь» (1754). Робек упоминается также в «Кандиде» Вольтера, но в 1759 г., когда вышел «Кандид», «Новая Элоиза» была уже закончена. Проблема дозволенности самоубийства живо обсуждалась в литературе XVIII в. (см. Монтескье, Персидские письма; аббат Прево, Клевеланд, кн. 6 и др.).

Стр. 347. *«Федон»* — знаменитый диалог Платона, названный по имени греческого философа Федона (V в. до н. э.), друга и ученика Сократа. В этом диалоге Сократ перед смертью ободряет горюющих друзей, убеждая их в том, что душа бессмертна.

*Кебет* (V в. до н. э.) — греческий философ, ученик Сократа, фигурирующий в нескольких диалогах Платона.

Стр. 348. *...располагать своей жизнью.*— На самом деле в диалоге «Федон» Сократ весьма основательно разбирает этот вопрос, доказывая, что люди принадлежат богам и не имеют права кончать жизнь самоубийством.

Стр. 349. *...что подагра... зло.*— Анекдот о Посидонии рассказывает Цицерон в «Тускуланских беседах» (II, 25).

*...и Аррия, и Эпонина, и Лукреция...*— Аррия — римская матрона, жена Пета, участника заговора против императора Клавдия (10 г. до н. э.—54 г. н. э.). Когда заговор был раскрыт и Пета приговорили к самоубийству, Аррия, желая вдохнуть мужество в супруга, вонзила себе в грудь кинжал и затем вытащила его и вручила мужу со словами: «Пет, не больно». Эпонина (ум. в 78 г. н. э.) — жена галльского вождя Сабина, восставшего против римлян и потерпевшего поражение. Когда Сабина повели на казнь, его жена добровольно последовала за ним. Лукреция — знатная римлянка, покончившая с собой, после того как ее обесчестил сын царя Тарквиния Гордого. Возмущенный народ сверг царя, и в Риме установилась республика (510 г. до н. э.). Руссо оставил незаконченную трагедию на этот сюжет.

Стр. 352. *Лактанций* и *Августин.*— Лактанций (ум. в 325 г.) — апологет христианства в борьбе с язычеством, прозванный «христианским Цицероном». Блаженный Августин (354—430) — виднейший из «отцов церкви».

*...самоубийство Самсона.*— По библейскому сказанию, когда филистимляне привели слепого Самсона на пир, чтобы надругаться над потерявшим свою силу героем, Самсон обратился к богу с мольбой вернуть ему хоть на миг прежнюю мощь, чтобы он мог отомстить врагам. Ухватив руками столбы здания, где пировали филистимляне, Самсон обрушил его, погубив и врагов и себя («Книга судей», гл. 17).

Стр. 353. *...законы общественного неравенства.*— Намек на любовную историю милорда Эдуарда (см. Приложения), нравственные проблемы которой обсуждаются в письме III шестой части.

Стр. 354. *...самые важные минуты моей жизни.*— Об этом см. часть пятую, письмо XII, и часть шестую, письмо III.

Стр. 359. *...отказывался продать свою кровь...*— Об отказе Сен-Пре вступить в качестве наемника в армию сардинского короля см. P. S. к письму XXXIV первой части.

*...в Кавдинском ущелье.*— В 321 г. до н. э. римская армия во главе с консулами Ветурием Кальвином и Постумием Альбином была окружена в Кавдинском ущелье войсками самнитов. Чтобы унизить гордых римлян и в то же время избежать массового избиения, самниты заставили римлян бросить оружие и пройти под игом.

*Варрон* — римский консул (III в. до н. э.), проигравший сражение при Каннах (216 г. до н. э.), где римское войско было разбито Ганнибалом и потеряло пятьдесят тысяч человек. Собрав остатки войска, Варрон вернулся в Рим, где сенат и народ встретили его с почестями, благодаря за то, что он не поддался отчаянию и не отказался от управления государством.

Стр. 362. *Джордж Ансон* (1697—1762) — известный английский моряк, совершивший кругосветное плавание (1740—1743 гг.), во время кото-

рого завоевал г. Паита в Перу (тогда испанской колонии) и захватил богатый испанский галион. В 1761 г. за успешные действия против французов получил звание адмирала.

*Пролив Лемера* — пролив, расположенный к югу от мыса Горн.

*Кенсингтон* — бывшее предместье Лондона, теперь западная часть столицы; в эпоху Руссо там находилась одна из резиденций английского двора.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 371. *«То, что он сказал, я сделаю».*— Анекдот о двух архитекторах приводится Плутархом («Наставление занимающимся государственными делами») с целью показать, что тот, кто хочет воздействовать на народ, должен быть хорошим оратором. Руссо придает этой истории обратный смысл — надо не говорить, а действовать.

Стр. 376. *...телохранители Сезостриса.*— Сезострис — легендарный египетский фараон, часто упоминавшийся в античной литературе; ему приписывали множество завоеваний, введение различных законов и обычаев.

Стр. 377. *Deh! fosse or qui quel miser...*— стихи из сонета Петрарки (CCXLIII) на жизнь Лауры.

Стр. 378. *E in mar dubbioso sotto ignoto polo...*— стихи из «Освобожденного Иерусалима» Тассо (III, 4).

Стр. 379. *Патагонцы* — индейцы, населявшие Патагонию (южная часть Аргентины и Чили). Местное название этого края «патагон», означающее «террасы, уступы», было воспринято испанцами в смысле испанского слова «patagón» — «долговязый». Отсюда и возникло представление о якобы необычайном росте патагонцев.

Стр. 396. *...видевшего страну пряностей.*— «Страной пряностей» или «Пряными островами» называли Молуккские о-ва, откуда преимущественно доставлялись в Европу пряности.

Стр. 400. *...возвратившегося от Антиподов.*— «Антиподы» на французском языке XVII—XVIII вв — обозначение мест очень далеких, «на краю света».

Стр. 403. *...всегда держать шляпу на голове...*— До середины XVIII в., по правилам хорошего тона, шляпу полагалось носить под мышкой во всякую погоду. Но во второй половине века в моду вошла другая крайность — не снимать шляпы нигде, даже в театре.

*...пил за мое здоровье...*— Во времена Руссо обычай пить за здоровье был в светском обществе отменен и сохранялся только в низших кругах.

Стр. 406. *...мой прелестный остров Тиниан.*— Остров Тиниан, иначе Буэнависта, находится в южной части Океании. В его описании, так же как и в других путевых впечатлениях Сен Пре, Руссо основывается на

книге Р. Вальтера о кругосветном плавании адмирала Ансона. изданной в 1745 г. в Лондоне и переведенной на французский язык в 1750 г.

Стр. 418. *...считать настоящей пифагорейкой.*— Ученики и последователи Пифагора (VI в. до н. э.) были обязаны соблюдать ряд запретов в пище.

Стр. 420. *...их осуждение танцев и собраний...*— Еще в начале XVIII в. танцы в Женеве были под запретом. Давид Руссо, дед Жан-Жака, получил в 1706 г. выговор от женевской консистории за то, что устраивал у себя танцевальные вечера. К середине века эти строгости ослабли, но и в это время в Бернском кантоне, где находится Кларан, запрещались танцы по воскресеньям.

Стр. 430. *«Роман Розы»* — знаменитая аллегорико-дидактическая поэма Гильома де Лориса и Жеана де Мен (XIII в.). Была переиздана в 1735 г. в Амстердаме. Руссо цитирует стих 5191 этого издания.

Стр. 435. *Элизиум,* или Елисейские поля — согласно греческим легендам, блаженные края, где нет бурь и непогод и куда после смерти переносятся тени героев и добродетельных людей.

Стр. 436. *Хуан Фернандес* — группа островов в Тихом океане в 565 км. от берегов Чили, получившая название по самому крупному из них. Остров Хуан Фернандес, так же как и Тиниан (см. прим. к стр. 406), упоминается в книге о путешествиях адмирала Ансона. На одном из необитаемых островов Хуан Фернандес с 1704 по 1709 г. прожил моряк Александр Селькирк, прототип Робинзона Крузо. Руссо необычайно высоко оценил в «Эмиле» роман Дефо, как книгу, которая может заменить воспитаннику все книги на свете.

Стр. 445. *Майское дерево.*— Во Франции существовал обычай в первый день мая ставить перед домом того человека, которого хотели почтить, срубленное дерево, обычно очень высокое.

*...на четырех слоях навоза...*— Употребление слова «навоз» (le fumier) было смелостью со стороны Руссо, что отметил его последователь Бернарден де Сен-Пьер.

Стр. 448. *...как у Ленотра в парке Сент-Джемс...*— Андре Ленотр (1613—1700) — известный французский садовый декоратор, создатель Версальского парка. Парк Сент-Джемс находится в Лондоне при дворце с тем же названием, где долгое время была королевская резиденция. Когда английский король Карл II пригласил Ленотра в Англию, чтобы тот привел в порядок парк Сент-Джемс, Ленотр, пораженный естественной красотой этого парка, убедил короля ничего там не менять.

*Татария* — так называли в это время большую часть Азии, включавшую Монголию, Маньчжурию, Туркестан, Афганистан и Белуджистан.

Стр. 449. *...парк милорда Кебхем в Стоу* — знаменитый во второй половине XVIII в. парк в Англии.

Стр. 452. *Se a ciascun l'interno affanno...*— стихи из трагедии «Узнанный Иосиф» Метастазио. Иосиф доверил своего брата Веньямина двум другим братьям, Иуде и Симеону, и тревожится, что они долго не возвращаются. Стихи передают размышления наперсника, видящего на лице Иосифа выражение тревоги.

Стр. 479. *Шабле* — старинная французская область на берегу Женевского озера в Верхней Савойе.

Стр. 483. *Et tanta fede, e si dolci memorie...*— стихи из трагедии «Демофон» Метастазио (III, 9). Один из героев, Тимант, скорбит о том, что должен расстаться с женой, так как думает, что она его дочь.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Стр. 486. *...власть общественного разума есть истинная основа свободы.*— Милорд Эдуард имеет в виду Англию, где Сен-Пре побывал, перед тем как отправился в путешествие с Ансоном. В этой высокой оценке английских порядков у Руссо сказывается влияние Монтескье.

Стр. 487. *Ученый и скромный Абозит...*— Абозит Фирмен (1679—1767), протестантский богослов и философ, француз по происхождению, живший в Женеве, где он пользовался всеобщим уважением. По своим религиозным взглядам был близок Руссо. Просветители высоко ценили Абозита; Вольтер отзывался о нем как о «самом ученом человеке в Европе». Однако Абозит, отражая мнение официальных кругов кальвинистской Женевы, выразил в письме к Руссо неудовлетворение «Новой Элоизой», где автор не воздал должное «стыдливости, скромности и добродетели женщин».

Стр. 494. *Мутрю* — народное швейцарское название города Монтре на берегу Женевского озера.

Стр. 496. *...естественные условия существования человека.*— Одной из целей, которые ставил себе Руссо, создавая «Новую Элоизу», было предотвратить переселение сельских жителей в город (об этом см. «Второе предисловие»).

Стр. 497. *...соблюдать свое достоинство.*— В своем «Проекте конституции для Корсики» Руссо пишет: «Необходимо, чтобы каждый труженик не считался по рождению ниже любого из граждан».

Стр. 500. *...проходят много нищих...*— В кантоне Во нищенство, по свидетельству современников, было в это время настоящим общественным бедствием, которое не удавалось ликвидировать, несмотря на неоднократные указы, запрещавшие попрошайничество.

*...вы даже употребляете их выражения.*— Руссо здесь полемизирует с Вольтером, писавшим, что нищие — это «паразиты, которые льнут к богачу».

Стр. 501. *Лиар* — мелкая монета достоинством в $^1/_4$ су.

Стр. 514. *...то место, где Фламиний сравнивает...*— В действительности имеется в виду Тит Квинкций Фламинин (конец III — начало II в. до н. э.) — римский консул и полководец (см. Плутарх, Сравнительные жизнеописания).

Стр. 515. *...письмам миледи Кетсби...*— Руссо имеет в виду роман французской писательницы г-жи Риккобони «Письма миледи Джульетты Кетсби к ее подруге, миледи Генриетте Кемпли», вышедший в 1759 г. Героиня, миледи Кетсби, посещает поместья сельских дворян и описывает в смешном виде хозяев тех замков, где она гостила.

Стр. 521. *Германик* (14 г. до н. э.— 19 г. н. э.) — известный римский полководец, победитель Арминия Херуска, пользовавшийся большой любовью народа.

Стр. 522. *Ammuliscon le lingue, e parlan l'alme.*— Стихи эти Руссо приписывает поэту Джамбатисте Марино (см. выше, прим. к стр. 216), но в сочинениях Марино их нет.

Стр. 523. *Локк* Джон (1632—1704) — знаменитый английский философ и педагог. Согласно Локку, при воспитании ребенка надо действовать убеждением, обращаясь к его разуму. Руссо, в полном соответствии со всей своей «философией чувств», расходится в этом важнейшем вопросе не только с Локком, но и со всеми предшествующими авторитетами педагогической мысли во Франции. Монтень, Лабрюйер, Фенелон, аббат Сен-Пьер советуют апеллировать к разуму воспитанника, так как ребенок доступен убеждению уже «после грудного возраста» (Монтень).

Стр. 536. *Пифагор и то не был так строг...*— Согласно Плутарху («О любопытстве», XIV), ученики Пифагора обязаны были в течение пяти лет соблюдать молчание.

Стр. 538. *Шарден* Жан (1643—1713) — французский путешественник, автор книги «Путешествия кавалера Шардена в Персию и Восточную Индию», изданной в Париже в 1723 г. Это сочинение служило ценным источником сведений о Востоке для писателей XVIII в.

Стр. 548. *...сражение, выигранное в Деттингене...*— победа, одержанная в 1743 г. англичанами и австрийцами над французами во время войны за австрийское наследство. Деттинген — деревня на берегу Майна в Баварии.

*Во главе неприятельской армии стоит крупный полководец...*— Речь идет о графе Морисе Саксонском, маршале Франции (1696—1750), командовавшем французскими войсками во Фландрии и одержавшем ряд побед в войне за австрийское наследство.

Стр. 549. *Милорд Мальборо.*— Герцог Джон Черчилль Мальборо (1650—1722) — английский полководец и политический деятель, участник войны за испанское наследство (1701—1713 гг.).

*Сражение под Гохштедтом.*— Гохштедт — городок в Баварии на Дунае, где произошли два сражения (в 1703 и 1704 гг.) в войне за испанское наследство. Во втором из них французы были разбиты союзной армией во главе с принцем Евгением Савойским и герцогом Мальборо.

Стр. 554. *Пирронизм.*— Пирронизмом (по имени греческого философа Пиррона — IV в. до н. э.) называли до середины XVIII в. философский скептицизм. Термин «скептицизм» был введен Дидро.

Стр. 558. *Милорд Гайд* виконт Корнбери (ум. в 1753 г.) — английский политический деятель, друг Попа и Болингброка, часто бывавший в Париже, где Руссо познакомился с ним.

Стр. 559. *Мотри* — селение на берегу Женевского озера, в нескольких километрах от Лозанны.

Стр. 564. *Надо сюда добавить еще охоту.*— Мысли Руссо об охоте изложены в «Эмиле» (кн. II и кн. IV).

Стр. 565. *...провел четырнадцать лет в рабстве!* — Согласно библейскому рассказу, Иаков, полюбив красавицу Рахиль, четырнадцать лет прослужил ее отцу, прежде чем тот отдал Рахиль ему в жены.

*...согревала ты и ноги и сердце!* — В библейской книге «Руфь» рассказывается о том, что Ноэмин научила свою невестку Руфь, когда та овдовела, как напомнить Воозу, их богатому родственнику, что его долг — позаботиться о вдове. Ночью Руфь пришла к Воозу, который спал в поле, и легла у его ног, после чего Вооз женился на ней.

*...дары отца Лиэя...*— Лиэй — одно из имен бога вина Вакха, как утоляющего печали.

Стр. 569. *...Агриппина, показывающая своего сына войскам Германика.*— Тацит рассказывает о том, что, когда воины Германика (см. прим. к стр. 521) задумали поднять мятеж против него, жена Германика Агриппина появилась перед ними с сыном на руках, и это зрелище растрогало и устыдило суровых воинов. По-видимому, Руссо имел в виду другую Агриппину, мать Нерона, которая добровольно вывела своего сына к войскам, чтобы, узнав о смерти императора Клавдия, они тут же провозгласили императором Нерона.

*...сатурналии римлян.*— Сатурналиями назывались в Древнем Риме празднества, когда, в память об ушедшем золотом веке, связываемом с именем бога Сатурна, и царившем тогда равенстве, господа наряжали своих рабов в тоги и услуживали им.

Стр. 571. *...разве вся гармония... не заключена в любом звуке?*— Руссо имеет в виду обертоны, которые сопровождают звучание основного звука и содержат основные элементы его гармонии (квинта, терция, ок-

тава). По мнению Руссо, сопровождая мелодию аккордами и тем самым усиливая эти дополнительные звуки, мы нарушаем их естественное звучание и соотношение с основным звуком.

Стр. 572. *Ты, кто присвоил себе масло, не мешало бы тебе знать об этом.*— Руссо вспоминает здесь о случае, происшедшем со старухой Левассер, матерью его жены Терезы. Родственница выслала ей корзинку с двадцатью фунтами масла, но посылка по ошибке попала к некоему графу де Ластик. Граф присвоил масло, и когда Левассер послала свою дочь с просьбой вернуть масло, граф и его жена с насмешками выгнали ее (см. об этом письмо Руссо к графу де Ластик от 20.XII.1754 г.).

Стр. 582. *В древности некий тиран...*— Этот рассказ из жизни тирана Дионисия Сиракузского (IV в. до н. э.) Руссо мог найти у Плутарха («Жизнеописание Дионисия») или у Монтескье («Дух законов», кн. XII, гл. XI)

Стр. 591. *Ch'un freddo amante...*— стихи из драмы Метастазио «Китайский герой» (III, 5), где, на уговоры возлюбленной не рисковать жизнью ради спасения друга, герой отвечает: «Холодный друг — ненадежный любовник».

Стр. 595. *...нежели любовница принца.*— О гневе, который вызвало это смелое заявление у г-жи де Помпадур и других титулованных особ, Руссо рассказывает в «Исповеди».

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Стр. 599. *...сражении, которое французы... выиграли у англичан...*— Речь идет о победе, одержанной французами в Фонтенуа (11.V. 1745 г.).

Стр. 604. *Лео* Леонардо (1694—1746) — итальянский композитор, автор многочисленных опер и церковной музыки.

Стр. 619. *Не в Риме больше Рим...*— стих из трагедии Корнеля «Сертий» (III, 1).

*«Газета»* — так до 1672 г. называлась первая французская газета, основанная в 1631 г. по указанию Ришелье и переименованная затем в «Газет де Франс».

*Спинет* — старинный музыкальный инструмент, разновидность клавикордов.

Стр. 620. *...иностранцы сами привозят испорченность в их страну.*— Руссо здесь имеет в виду Вольтера, который, живя вблизи Женевы, где не было театра, стремился привлечь женевскую молодежь к участию в спектаклях, устраивавшихся в его замке. В 1755 г. Женевский совет обсуждал проект, представленный Вольтером, об учреждении театра в самой Женеве. Проект был отклонен, и женевцам запретили принимать участие в театральных представлениях. Кальвинистские противники

театра нашли поддержку у Руссо, опубликовавшего в 1758 г. «Письмо к д'Аламберу о зрелищах», которое было направлено также против Вольтера. Но в конце концов Вольтер добился своего — в 1766 г. в Женеве был организован театр.

Стр. 621. *Великолепный сеньор.*— Такова была официальная форма обращения к членам Малого совета, высшего органа власти в Женеве, куда избирались представители местной знати.

Стр. 629. *...купил ее милости.*— Руссо был одним из первых писателей XVIII в., кто заговорил о проститутках как о жертвах общественного неравенства. После него Гольбах в «Общественной системе» (1773) требовал, чтобы закон карал соблазнителей.

Стр. 637. *...стихия, из которой ты родилась.*— Намек на античный миф о рождении Афродиты из пены морской.

Стр. 643—644. *...не привело вас к квиетизму...*— Квиетизм — мистическое течение в христианстве, отвергающее деятельную жизнь и проповедующее пассивное единение с богом, которое должно даровать душе верующего спасение и покой (лат. «quies»). Во Франции в начале XVIII в. к квиетизму склонялся известный писатель Фенелон (см. выше, прим. к стр. 236), которого Руссо чрезвычайно высоко ставил, расходясь с ним, однако, в этом вопросе.

Стр. 645. *Епископ Клюнский.*— Джордж Беркли (1684—1753) — епископ англиканской церкви в Ирландии, видный английский философ-идеалист. Главное его произведение — «Трактат о началах человеческого знания».

Стр. 646. *...и его учение.*— Не ясно, что подразумевает здесь Руссо, говоря об учении Абеляра. Абеляр, напротив, был сторонником «молитвы-просьбы» о ниспослании помощи, тогда как Сен-Пре отстаивает лишь «молитву-восхваление».

Стр. 647. *...методисты в Англии, моравские братья в Германии, янсенисты во Франции...*— Руссо перечисляет секты и течения, отклонившиеся от официальной церкви.

*...его ученицы.*— Речь идет о г-же Гюйон (1648—1717), ревностной последовательнице квиетизма, которая за упорство в распространении своих взглядов была на некоторое время заключена в Бастилию.

*Мюра* (см. выше, прим. к стр. 214) — был убежденным пиетистом, за что и подвергся изгнанию вначале из Берна, а затем из Женевы. Возможно, Руссо имеет в виду это несогласие с официальной церковью, толкнувшее Мюра на путь ереси. Но возможно и другое толкование этого места — а именно, как намека на то, что Мюра к концу жизни помешался. Сочинение «Божественный инстинкт, рекомендуемый людям» написано Мюра в 1727 г.

Стр. 655. *...кроме единосущного...*— Руссо делает в этом месте примечание, убранное им в издании 1763 г., по поводу грамматической ошибки,

которую Юлия допустила, написав «qu'hors» вместо «que hors». «Конечно, г-жа де Вольмар знала, что следовало написать «que hors». Но помимо того, что она иногда делает ошибки по неведению или по рассеянности, у нее, очевидно, был очень тонкий слух, а поэтому она не всегда рабски подчиняется правилам, даже когда их знает. Нетрудно встретить слог более безупречный, но не столь нежный, не столь благозвучный, как в ее письмах».

Стр. 657. *...il cor gradisce...*— стихи из драмы Метастазио «Смерть Авеля». Ева поучает Авеля и Каина, что каждый из них может угодить богу, занимаясь своим делом.

Стр. 659. *«Песнь песней».*— Чувственные образы библейской «Песни песней», начиная с средних веков, толковались христианскими мистиками как слияние души с богом. Квиетистка г-жа Гюйон также написала сочинение с подобным толкованием «Песни песней», которое и имеет в виду Руссо в своем примечании к словам Юлии о «порядочной женщине».

Стр. 663. *...хоть он и савояр...*— Ф. Бонивар (1493—1570), уроженец Савойи, был видным политическим деятелем Женевы и за поддержку женевских горожан в их борьбе против герцога Савойи Карла III подвергся в 1550 г заточению в Шильонском замке, где просидел шесть лет. Воспет Байроном в поэме «Шильонский узник», переведенной на русский язык Жуковским.

Стр. 667. *Господин дю Боссон.*— В Веве действительно был врач дю Боссон.

Стр. 672. *Светоний говорит...*— Гай Светоний Транквил (75—150) — римский писатель. Руссо ссылается на его «Жизнеописание цезарей» (§ 24), где Светоний приводит предсмертные слова императора Веспасиана (7—79): «Императору подобает умирать стоя».

Стр. 689. *Платон сказал...*— Руссо в этом примечании пересказывает мысли Платона о бессмертии души, изложенные в знаменитом диалоге «Федон», где их высказывает Сократ перед смертью. Однако Руссо, который мог читать Платона лишь во французском переводе г-жи Дасье и, по-видимому, пересказывал по памяти, передает мысли Платона не совсем точно. Платон, находившийся под влиянием индийских учений о переселении душ, не утверждает, что души праведников обретают после смерти первоначальную чистоту, но что души, в соответствии со своим поведением в прежней жизни, вселяются в тела различных животных и насекомых.

## ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ МИЛОРДА ЭДУАРДА БОМСТОНА

В «Исповеди» Руссо указывает, что решил не включать эту новеллу в основной текст романа, так как она по своему тону противоречит общему стилю «Новой Элоизы» и «трогательной простоте» ее сюжета.

«Любовная история» была написана для герцогини Люксембургской, почитательницы Руссо, и подарена ей вместе с рукописной копией «Новой Элоизы», собственноручно выполненной автором. Оригинал «Любовной истории» Руссо уничтожил, опасаясь, что в образе маркизы могут усмотреть некоторое сходство с герцогиней Люксембургской. Новелла была впервые напечатана лишь после смерти Руссо в женевском издании «Новой Элоизы» 1780 г. по копии, сделанной с экземпляра, подаренного герцогине. Бальзак в рассказе «Златоокая девушка» высоко оценил «Любовную историю» как воплощение «одной из наиболее утонченных по-европейски идей» романа Руссо.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### *Второе предисловие к «Новой Элоизе»*

«Второе предисловие» вышло отдельным выпуском в Париже 16 февраля 1761 г., через несколько дней после поступления в продажу первого, амстердамского издания «Новой Элоизы». Это предисловие не может поэтому рассматриваться как возражение на критику романа в печати.

Стр. 727. *Cosi all'egro fanciul...*— стихи из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (I, 3).

*...за Селадона... за двух Астрей...*— Селадон — герой знаменитого пасторального романа «Астрея» О. д'Юрфе (1568—1625); его имя стало нарицательным для обозначения верного и томного воздыхателя. Астрея — героиня того же романа.

Стр. 729. *...действие политических установлений...*— намек на «меркантилистов», которые полагали, что богатства государства создаются торговлей и промышленностью, то есть городом. В противоположность им «зифиократы» во второй половине XVIII в. учили, что богатство создается только земледелием.

Стр. 730. *...толпы Дафнисов, Сильвандров, аркадских и линьонских пастушков...*— Дафнис, Сильвандр — обычные имена героев пасторальных произведений, где действие происходит в некой блаженной стране («Аркадия» в древних эклогах). Герои романа д'Юрфе «Астрея» живут на берегах речки Линьон (небольшой приток Луары).

Стр. 735. *...нести за него ответственность.*— Во французской литературе XVIII в. анонимное сочинительство — по разным соображениям и, в частности, во избежание преследований — было весьма распространенным. К нему часто прибегали Вольтер, Прево, Гольбах и др. Со стороны Руссо было большой смелостью всегда подписывать своим именем издаваемые произведения, в том числе и «Новую Элоизу», которая в парижском издании подверглась ряду сокращений. Жестокие гонения, ко-

торые Руссо претерпел, особенно после опубликования «Эмиля», в значительной мере были вызваны тем, что он открыто выступал как автор своих произведений.

*...свой девиз.*— Девизом Руссо были слова из четвертой сатиры Ювенала (ст. 91): «vitam impendere vero» — «посвятить жизнь истине». Издатель «Новой Элоизы» Рей хотел поместить этот девиз на фронтисписе, но Руссо решительно воспротивился этому, считая дурным вкусом помещать на заглавной странице смесь французского, латинского и итальянского текстов.

Стр. 736. *...писал против зрелищ.*— «Письмо к д'Аламберу о зрелищах» написано в 1758 г., по окончании «Новой Элоизы».

*...чем у самого животного.*— Намек на рассказ Плутарха («Пиршественные исследования»). Некий Парменон превосходно подражал крику поросенка. У него нашелся соперник; предложив устроить соревнование, он спрятал у себя под одеждой настоящего поросенка Состязание окончилось победой Парменона — судьи признали, что его крик более естествен.

### *Сюжеты гравюр*

Еще в 1757 г. Руссо, ведя переговоры со своим издателем Реем, предлагал сопроводить текст «Новой Элоизы» гравюрами, сюжеты которых он сам наметил. Предполагалось поручить их выполнение художнику Буше. Но издатель и художник не сошлись в цене, и тогда Руссо через своего друга Кокле договорился с художником Гравело. За выполнением гравюр Руссо следил очень внимательно и посылал Гравело подробные критические замечания, с которыми, однако, тот не всегда считался. Так как издание «Новой Элоизы» уже близилось к концу, то гравюры вместе с пояснениями вышли отдельным выпуском в издательство Дюшена в 1761 г., вслед за романом. При перепечатке «Новой Элоизы» новым изданием Рей скопировал эти гравюры и поместил их в тексте романа.

Стр. 742. *Заражение во имя любви.*— В оригинале буквально: «Прививка любви». Кокле писал Руссо, что в этом названии гравюры усматривают двусмысленность, и предлагал изменить его. Однако Руссо ответил, что другого названия придумать не может и скорее согласится изъять эту гравюру.

*Е. Лысенко*

СОДЕРЖАНИЕ

*Н. Берцман.* Философско-лирический роман XVIII века . . 5

ЮЛИЯ, ИЛИ НОВАЯ ЭЛОИЗА

Предисловие. *Перевод А. Худадовой* . . . . . 25
Часть первая. *Перевод А. Худадовой* . . . . . 27
Часть вторая. *Перевод А. Худадовой* . . . . . 171
Часть третья. *Перевод А. Худадовой* . . . . . 281
Часть четвертая. *Перевод Н. Немчиновой* . . . 364
Часть пятая. *Перевод Н. Немчиновой* . . . . . 485
Часть шестая. *Перевод Н. Немчиновой* . . . . . 598
Любовная история милорда Эдуарда Бомстона. *Перевод Н. Немчиновой* . . . . . 707

Приложения. *Перевод Н. Немчиновой* . . . . . 721
Примечания *Е. Лысенко* . . . . . 749

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 58

*Жан-Жак Руссо*
ЮЛИЯ, ИЛИ НОВАЯ ЭЛОИЗА

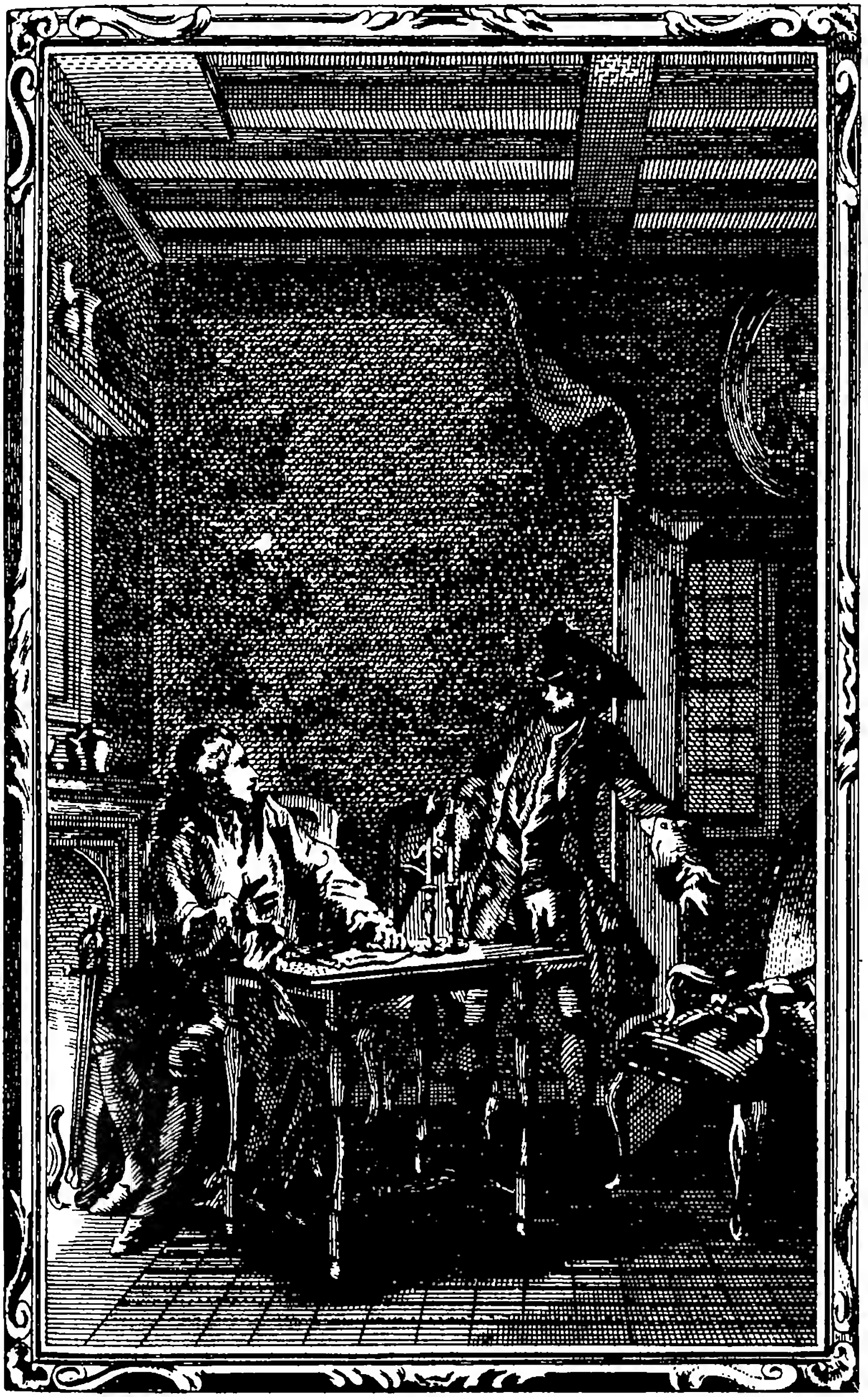
*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
М. Позднякова
Корректоры Е. Патина
и Р. Андрианова

*

Сдано в набор 29/XI 1967 г. Подписано к печати 28/III 1968 г. Бумага типографская № 1 $60\times84^{1}/_{16}$ — 48,5 печ. л. = 45,25 усл. печ. л. 45,62 уч.-изд. л. + 6 накидок и 1 вкл. = 46,40 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2185 Цена 1 р. 86 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Гравюрные работы
Ю. Стольцера

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28